

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARIES

A standard linear barcode consisting of vertical black lines of varying widths.

3 1761 00324278 1



*H. Kippax*





120

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
Н. Н. КАРАЗИНА.

---

Дадъ

# ГОЛОСЪ КРОВИ.

---

Романъ въ 3-хъ частяхъ.

---

---



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ИЗДАНІЕ П. П. СОЙКИНА.

КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ  
Отремянная, 12, соб. домъ.



КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ  
Невскій, 98, уг. Надежд.



Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 10 сентября 1905 г.

P6  
3467  
K33  
1904  
t.5

Типографія П. П. Сойкина, С.-Петербургъ, Стремянная, 12.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

---

### П р о л о гъ.

— Nadine, вамъ письмо!

Это произнесла полная, приземистая классная дама, появившаяся въ дверяхъ общей залы института.

— Тамъ еще какой-то военный хочетъ васъ видѣть. Онъ и письмо это привезъ. Поправьте вашу косынку, приведите въ порядокъ прическу, прочтите прежде, что вамъ пишутъ, и можете выйти въ пріемную.

Nadine вспыхнула до ушей, широко раскрыла свои и безъ того замѣчательно большие, сѣрые глаза, словно испугалась чего то, робко протянула за письмомъ свою пухлую ручку и принявъ толстый пакетъ съ темно-буровой печатью и съ четко, крупно выведеннымъ адресомъ, хотѣла было, по институтской привычкѣ, спрятать его подъ перегородку.

— Прочтите же! не заставляйте себя ждать! — подтвердила классная дама. — Mesdames, не мѣшайте Горкиной, — обратилась она къ другимъ институткамъ.

Пять или шесть «mesdames», такихъ же юныхъ, только что окончившихъ курсъ, взялись подъ руки и отошли отъ своей подруги, а Надя, тутъ же посреди зала, надорвала конвертъ и принялась за чтеніе.

Ея глаза оживлялись все болѣе и болѣе, бѣлая косынка на груди заколыхалась живѣе и выше... Машинально она подвигалась къ сторонѣ оконъ, ближе къ свѣту и, коснувшись колѣномъ дубоваго диванчика, сѣла, опустила руку съ письмомъ, наскоро отерла слезу другою, свободною, и тотчасъ же снова принялась за чтеніе, жадно впиваясь глазами въ каждую строчку, въ каждое слово.

— Не надо волноваться! Это и наивно, и вредно! — внушительно замѣтила классная дама и направилась къ своему креслу, гдѣ лежалъ ея мѣшокъ съ какою то начатою вязалью работою.

Надя читала... Подруги ея заговорили шепотомъ, держась въ сторонѣ. Въ залѣ стало совсѣмъ тихо... Только издали, изъ классныхъ комнатъ, доносился монотонный голосъ учителя, да по временамъ слышалась дробная топотня маленькихъ ножекъ, пробѣгавшихъ украдко по коврамъ длинныхъ полутемныхъ коридоровъ.

Надя читала... А въ открытыя высокія окна, словно на штурмъ, лѣзли зеленые вѣтви старыхъ липъ институтскаго сада, широкими волнами врывался теплый весенний воздухъ, и будто изъ иного, полнаго невѣдомой жизни, волшебно-таинственного міра, неслись чарующіе звуки: пѣніе птицъ, грохотъ колесъ, плескъ прибоя, свистки пароходовъ, обрывки то заунывной, то бойко-разгульной пѣсни, глухой гуль базарной площади, протяжный, мирный звонъ монастырскаго колокола... И всѣ эти звуки глубоко проникали въ душу читавшей девушки, рисуя передъ ея глазами чудныя картины этого иного міра; и картины эти сливались во-едино со смысломъ словъ и строкъ письма; онѣ безконечною лентою вились и сплетались со строками, разстилая передъ Надей чудную панораму, пополняющую писаное слово живою иллюстрацією.

Глухія рыданія неожиданно, разомъ, огласили пыльные своды институтской залы, но въ этихъ рыданіяхъ не слышалось горѣ... Это были слезы счастья, слезы перехода изъ одной жизни въ другую, слезы цѣлой массы сразу нахлынувшихъ, неопределенныхъ предчувствій...

Поднявшаяся было въ залѣ суматоха по этому случаю, требование воды и спирту, сочувственные «ахи» и «охи»... все это улеглось очень скоро. Роковое письмо перешло въ руки классной дамы, а все еще всхлипывающую, сквозь слезы уже смѣющущуюся Надю окружили ея подруги, тоже взволнованныя, сгорающія любопытствомъ, предлагающія ей всевозможныя успокаительныя услуги.

---

«Милое мое, горячо любимое, родное дитятко, Надюшенька!» читала въ свою очередь классная дама, сдвинувъ брови и придавъ своему лоснящемуся лицу самое сосредоточенное выраженіе.

«Въ нашу глухую сторону—почта хоть и нескоро доходитъ, да все-таки доходитъ же. И, вотъ, спустя два мѣсяца, я получилъ твое письмечко, несказанно меня порадовавшее и утѣшившее. Эхъ, кабы матушка твоя жива была, да мы бы вмѣстѣ это письмо читали, то-то бы ей радость была!.. Не привелъ Господь!.. Его на то Святая Воля! Благодареніе Все-вышнему, ты выдержала молодцомъ свой послѣдній, выпускной экзаменъ и теперь вольный казакъ! Прочель я и отмѣточки, къ сему твоему письму приложенныя, и очень уже особенно порадовало меня, что по Закону Божию и по русской словесности у тебя по пятку, да еще съ крестами. Это самое главное! По математикѣ у тебя слабѣе, да это не бѣда! Было-бы что считать, послѣ, въ жизни своей, еще научишься. За музыку тоже спасибо! Оно, знаешь ты, очень пріятно, когда, вечеркомъ, зимою, на фортепьянѣ... Я даже приторговалъ здѣсь, въ Ташкентѣ, одить инструментикъ, недорого, и не такъ, чтобы уже очень подержанный. Языки, особенно французскій, это тоже очень хорошо! У насъ многія дамы изъ высшаго начальства и сама губернаторша любятъ, когда сойдутся гдѣ, перекинуться на семъ діалектѣ, при прочей публикѣ; въ случаѣ чего и ты у меня передъ ними лицемъ въ грязь не ударишь... Да это все потомъ увидимъ, а вотъ теперь перейдемъ къ главному.

«Осталась ты у меня, Надюха, послѣ твоей покойной матушки и моей супруги Марии Дементьевны, малолѣткою по девятому году. Милостью начальства и щедротами хозяина моего, Михайлы Алексѣевича, свезъ я тебя въ институтъ и помѣстилъ на все казенное содержаніе, да съ тѣхъ самыхъ поръ и не видѣлись мы съ тобою болѣе, только письмами перекидывались. Шутка ли! Вѣдь безъ малаго три тысячи верстъ разстоянія нась раздѣляло. Семь лѣтъ пропло, и въ эти семь лѣтъ много воды утекло... Многое перемѣнилось! Помню я тебя ребенкомъ, милымъ, ласковымъ, послушнымъ, а по письмамъ твоимъ вижу, что ты теперь еще лучше стала... Умница ты, моя драгоцѣнная!.. То-то, думаю, какая ты теперь у меня изъ себя красавица... Была, вѣдь, ты ребенкомъ только мастью въ меня, а лицомъ, глазами особенно, вся въ покойницу маменьку. Пріѣдешь, погоди, у нашихъ здѣшнихъ молодцовъ какъ глаза разгорятся!.. Пишешь ты, что трудиться хочешь, мѣстовъ

искать въ гувернантки, или тамъ въ учительницы какъ... но надо—брось! Своихъ, можетъ быть, крошечъ учить будешь... довольно съ тебя этого, имъ вотъ и передашь всѣ свои знанія... Да ты не стыдись, голубушка, не краснѣй, читай мои простыя слова, я вѣдь и за три тысячи верстъ сердцемъ своимъ тебя какъ глазами вижу. Извѣстно, дѣло житейское!

«Люди же, не знаю, какъ у васъ, а въ нашей сторонѣ есть отличные! ребята отмѣнныe! Укажу котораго,—бери смѣло, если сердце у тебя отзовется... Жду не до дождусь такой себѣ подъ старость радости... Сторона же у насъ превосходная! Вѣришь ли? Осетрина свѣжая по шести копѣекъ, икра зернистая по гривеннику, фазановъ пара пятнадцать копѣекъ, а винограду, персиковъ, фруктовъ разныхъ, такъ даромъ бери и кушай—сколько душа потребуетъ...

«Домъ я себѣ здѣсь, въ «Глухомъ фортѣ», отстроилъ хороший; при домѣ и главная контора нашего торгового агентства—шесть комнатъ, конюшня о четырехъ стойлахъ, коровникъ, ледникъ первый въ фортѣ, садъ на восьми безъ малаго гектарахъ (такая мѣра есть) и какой садъ! Тѣни-то, тѣни сколько! И купальня въ немъ устроена съ палаткою.

«По вечерамъ у насъ музыка батальонная на барабанѣ играетъ, господа офицеры собираются, изъ жителей, что почище, флотские тоже, когда пароходы снизу подходятъ.... Помнишь ты Ивана Акимовича? высокаго такого, толстаго... Онъ еще тебѣ куклы все шилъ изъ цветного сукна?.. Онъ живъ! Въ полковники теперь вышелъ, и у насъ артиллерийскимъ складомъ завѣдуетъ... Два года тому назадъ сынъ его изъ кадетскаго корпуса пріѣхалъ, ротою въ здѣшнемъ батальонѣ командуетъ. Отличный молодой человѣкъ, красавецъ писанный, только усовъ еще и признака не имѣется, а все-таки покручиваетъ пальцами по голой губѣ. Забавно!

«Мы часто вмѣстѣ юздимъ на затоны рыбу ловить, самоваръ беремъ съ собою,—сазаны больше аршина попадаются. Иванъ Акимовичъ мнѣ говорить какъ-то: «Скоро ли, говорить, эта красоточка наша пріѣдетъ?» а самъ это искося на сына поглядываетъ, да меня въ бокъ локтемъ толкаетъ... Чударь, право!.. Ну, да тамъ, впрочемъ, все сама увидишь.

«Батюшка нашъ, отецъ Павель, все тотъ же, что и тогда, помнишь, молебень служилъ напутственный, просфору тебѣ даль

большую? Много новыхъ попаѣхало въ нашъ край, много старыхъ перемерло; многое вообще перемѣнилось. Дѣлишки мои тоже поправились; будешь съ чѣмъ коротать остатокъ жизни, да и тебѣ останется... Ты вѣдь у меня теперь не безприданница! Тысячъ десять тебѣ наличными припасъ, не считая дома и всякаго прочаго. Душою рвался самъ къ тебѣ, да дѣла не позволили. Хозяинъ у насъ новый объявился, сдача дѣль и суммъ, время горяче! Все на моихъ плечахъ: и по красному товару, и по питейному. И вотъ надумалъ я послать за тобою Силантий Иванова, потому на этого человѣка у меня какъ на самого себя полное упованіе. Онъ тебя привезетъ сюда бережно и сохранно какъ царицу индіанскую. Таrantасъ велѣлъ купить новый, покойный, съ фордекомъ и на прогоны денегъ не жалѣть, а пароходомъ по Волгѣ-матушкѣ вплоть до Самары поѣдешь, такъ наказъ мой Силантию, чтобы въ первомъ классѣ особую каюту взялъ и зорко бы поглядывалъ,—дабы кто тебя, не только дѣломъ или словомъ, взглядомъ бы какимъ пустымъ не обидѣлъ бы.

«Дорога предстоитъ тебѣ дальняя, да ты не торопись, ночью не ѻзи, а пережидай на станціяхъ, спи покойно, не утомляй себя напрасно. Изъ Ташкента вышлешь съ письмомъ нарочнаго, мы тебѣ здѣсь торжественную встрѣчу устроимъ.

«Силантию Иванову предписано передъ выѣздомъ молебень отслужить съ водосвятіемъ въ вашей же институтской церкви и пакетъ вручить вашему батюшкѣ, со вложеніемъ; таковой же пакетъ и ея высокопревосходительству, начальницѣ вашей, съ благодарностью; не побрезгуетъ пустъ, отъ чистоты признательности отцовскаго сердца. Окромя этихъ двухъ пакетовъ, Силантию дано на дорогу пятьсотъ рублей, да и сотню особенно, на твои собственные руки... Можетъ, что купить понадобится, или задолжала кому въ институтѣ—плати и покупай, не стѣсняйся.

«Третьаго дня у насъ саранча пролетѣла, чуть только шего сада не задѣла... Туча-тучею! даже темно середъ полуночи стало. Шелобовъ капитанъ, волкъ его зайши, молодчина! Седьмого тигра одинъ на одинъ ухлопалъ и, вѣришь ли?—пить пересталъ... уже второй годъ, послѣ болѣзни своей и видѣній разныхъ. Отслужилъ молебенъ, девять дней отговѣлъ, исповѣдался, святыхъ тайнъ принять сподобился и бросилъ... Узнать

нельзя что за человѣкъ сталъ: здоровый, могучій, богатырь-богатыремъ, только натурою сталъ словно не такъ весель какъ прежде— степеннѣе.

«Теперь у насъ въ степи покойнѣе стало, а то было начали пошаливать азіаты. Наши въ отрядѣ отсюда ходили, мѣсяца три въ походѣ пробыли. Водилъ маіоръ Грузиковъ (это изъ новыхъ), а я спиртъ и аптечный товаръ поставлялъ; аттестовать благодарный получилъ отъ самого генераль-губернатора.

«Здоровьемъ я отмѣнно хороши, хоть и посѣдѣлъ сильно, только о тебѣ, ангелѣ моемъ утѣшителѣ, все скучаю... Ну, да ужъ недолго осталось! Получилъ твое письмо послѣднее, Силантия отправилъ, и въ домѣ у меня веселѣе стало, чувствуется будто ты уже здѣсь. То по комнатамъ, то въ саду— все твой голосокъ звонкій слышится. А за чай сажусь, такъ ужъ нарочно. налью себѣ стаканъ, да и сяду въ сторонѣ, и кажется, что ты изъ-за самовара выглядываешь, спрашивашь: «А не налить ли тебѣ, папочка, еще стаканчикъ горяченька-го...» Я это сейчасъ говорю: «Налей, душенька»,—самъ обойду стороной, да и самъ же налью себѣ... Мыслю это о тебѣ словно ребенокъ брежу... Хе-хе... вотъ оно мнѣ старику какое счастье сказочное подваливаетъ!

«Вчера Павлуша приходилъ (это сынокъ Ивана Акимыча), принесъ лозу виноградную, изъ Бухары ему особенную привезли. Самъ и посадилъ ее передъ твоими окошками. Говорить, будто гроздь розовая будетъ и жасминомъ пахнуть... Да, чуть не забылъ! Днемъ въ дорогѣ будетъ жарко, а ночи пойдутъ холодныя, такъ ты на ночь ножки хорошенъко мѣхомъ окутывай. Я тебѣ съ Силантиемъ, сего ради, выслалъ одѣяло бѣлое изъ тибетскихъ козъ... Не забудь же!

«На сырье, на арбузы, дыни и что подобное сразу не накидывайся. Да, впрочемъ, во всемъ слушайся Силантия, я его настроилъ какъ слѣдуетъ, да и самъ онъ стариkъ разсудительный и бывалый.

«Еще разъ заочно благословляю тебя, крѣпко прижимаю къ своему родительскому сердцу и жду не дождусь твоего прїѣзда—моя родная, ненаглядная голубка-Надюшенька.

Твой, горячо-любящій тебя отецъ

Федоръ Горкинъ.

«Р. С. Платьевъ себѣ много не надѣлывай, потому тащить ихъ такую дорогу не стоитъ, да и здѣсь у насъ разныхъ матерій сколько хочешь! И дешевле, и не въ примѣръ добротиѣ. А ложки серебряныя, что я съ тобой въ институтъ далъ, не оставляй, заплати деньгами лучше, хоть вдвое, что слѣдуетъ, потому на ложкахъ этихъ вензеля твоей покойной матушки, а моей супруги, Марии Дементьевны. Царство ей Небесное! Еще разъ до свиданья и еще разъ заочно благославляю тебя и крѣпко ѡѣлу...»

«И я тоже... Въ пріятномъ ожиданіи,

Иванъ Акимовъ, сынъ Глухаревъ, подполковникъ и кавалеръ».

«Позвольте и мнѣ приписать, хотя и не имѣю чести Васъ знать лично, но съ позволенія Вашего батюшки, что, вполнѣ сочувствуя радости Вашего родителя, присоединяю и свои искреннія пожеланія счастливой и скорой дороги.

Павелъ Глухаревъ, подпоручикъ».

---

— Quelle drôle de mani re d'écrire! — пожавъ плечами улыбнулась классная дама, дочитавъ все письмо до конца очень внимательно, и отправилась съ нимъ въ комнаты директрисы. Прходя черезъ приемную, она съ такимъ же вниманіемъ осмотрѣла съ ногъ до головы высокаго старика, въ длинномъ солдатскомъ, отставномъ сюртукѣ, сидѣвшаго на кончикѣ стула, у самой двери.

Шелестъ дамскаго платья заставилъ старого инвалида вскочить и вытянуться по военному, въ струнку.

— Ахъ! это вы за дѣвицею Надеждою Горкиной? — полюбопытствовала дама.

— Такъ точно, ваше высокопревосходительство!

— Силантій?

— Такъ точно, ваше высокопревосходительство!

— Ахъ, Боже мой! зачѣмъ же такъ громко!.. Надя Горкина сейчасъ выйдетъ...

— Слушаю-съ, ваше высокопревосходительство!..

Титулы эти видимо понравились дамѣ; она снисходительно улыбнулась и прошла мимо, а старый служивый все еще не рѣшался присѣсть, несовсѣмъ ловко чувствуя себя въ этой, непривычной для него, обстановкѣ приемнаго институтскаго зала.

I.

— Итакъ, Поль, вотъ, гдѣ судьба привела намъ увидѣться!

— Да, Анатоль! Я радъ отъ души! Здѣсь вѣдь просто одичать можно! Словомъ перекинуться не съ кѣмъ...

— Да, послѣ петербургской жизни тебѣ, я думаю, трудновато. Два года, кажется, какъ ты здѣсь, въ «ссылькѣ»?

— Почти два. Проклятый Шефель, помнишь? представилъ таки въ штабъ мои векселя. Поднялась цѣлая исторія... Еслибы не тетушка и бузина Мэдъ, хоть въ отставку подавай... Кое-что уплатили, кое-гдѣ пообѣщали... кое-кого въ шею, а меня сюда! Хоть бы въ казаки,—еще ничего бы, а то въ этотъ батальонъ, въ эту трущобу и на неопределеннное время.

— Какъ неопределеннное?!

— Очень просто... «Для поправленія дѣлъ». А какъ ты ихъ тутъ поправишь, когда и роты не даютъ. Багринцевъ хлопочетъ о переводѣ меня въ оренбургское войско... Тамъ получу сотню; но вѣдь это все такие пустяки... Впрочемъ, я думаю, все это скоро уладить... Ну, а ты какъ сюда попалъ?..

— Я командированъ сюда въ распоряженіе генераль-губернатора. Тамъ у насъ довольно сносно... Я даже не ожидалъ—нашихъ много, и живется недурно... Впереди все-таки карьера!.. Теперь, вотъ, поручили это слѣдствіе — Ренгардть говорилъ мнѣ передъ отъездомъ, что ты здѣсь. Я выхожу отъ губернатора, а онъ дежурнымъ былъ въ этотъ день, и говорить мнѣ: «Знаешь, тамъ ты встрѣтишь стараго знакомаго». «Кого?» спрашиваю. «Поля Криницына!..» Я очень обрадовался и...

— А мнѣ сообщилъ комендантъ, что назначенъ Грунинъ. Я думаю: ужъ не тотъ ли? Бѣгу сюда—и прямо въ твои объятія.

— Fatalit ..

— Fatalit ..

Такъ разговаривали два молодыхъ человѣка, сидя у стола въ комнатѣ довольно большой и свѣтлой, но болѣе чѣмъ скромно обставленной. Стѣны этой комнаты были начисто оштукатурены аглобастромъ, потолокъ въ натяжку подбитъ—тоже выкрашенный известкою холстомъ, полъ новый, досчатый, не-

крашеный. Вдоль стѣнъ стояло нѣсколько вѣнскихъ магазинъ стульевъ, мягкий диванъ, обитый ковромъ и ярко-цвѣтный кауасомъ, большой столъ, покрытый зеленымъ сукномъ, мѣсто засѣданія молодыхъ людей, и солидно сколоченный шкафъ, съ стеклянными дверцами, съ полками, установленными фарфоровыми вещицами, пакетиками въ синей бумагѣ и разною мелочью. На стѣнахъ висѣли въ самодѣльныхъ рамкахъ двѣ роскошныя литографіи, изображающія морскія сраженія; карта туркестанскаго края съ помѣтками и, почернѣвшій отъ пыли, портретъ женщины, въ платѣ на головѣ и въ кѣтчатомъ платьѣ. Другой портретъ, фотографической, стоялъ на столѣ, но этотъ портретъ изображалъ молодую дѣвушку въ институтскомъ костюмѣ.

Передъ Анатолемъ, собесѣдникомъ въ штатскомъ платьѣ, лежалъ на столѣ большой кожаный портфель съ мѣдными застѣжками и оковками ремней, а передъ другимъ собесѣдникомъ, Полемъ, въ бѣломъ офицерскомъ кителѣ, лежала фотографическая карточка той же дѣвушки, которую онъ только что передъ этимъ разсматривалъ, повидимому очень внимательно, да и теперь искоса поглядывалъ на нее, приговаривая:

— Mais, parole d'honneur! Преинтересная мордочка!..

---

Встрѣча этихъ двухъ молодыхъ людей произошла въ «Глухомъ форѣ», въ домѣ Федора Петровича Горкина, отставнаго штурманскаго офицера и главнаго торговаго агента фирмы «Хмуроў и Компанія». Изъ оконъ комнаты виднѣлась широкая пыльная площадь форштата, за нею рядъ жиденькихъ тополей, за ними плоскія крыши базарныхъ сакель съ закопченными, приземистыми трубами, дальше серебристая лента рѣки, съ тонувшими въ знойномъ туманѣ очертаніями противоположнаго, поросшаго камышами, берега. На площади человѣкъ восемь казаковъ, въ сѣрыхъ рубахъ и желтыхъ кожаныхъ шароварахъ, держали въ поводу своихъ осѣдланыхъ лошадей; ближе къ крыльцу стоялъ распраженный тарантасъ, въ глубинѣ которого вкопошилась фигура денщика, выгружавшаго разныя дорожныя вещи. Пестрая группа туземцевъ сидѣла на кирточкахъ, въ тѣни глинобитнаго забора, другая группа русскихъ женщинъ и мужчинъ, обитателей форта, держалась ближе, почти у самыхъ оконъ, а ребятишки,

такъ тѣ, цѣпляясь за подоконники, пытались заглянуть внутрь: «что, молъ, тамъ дѣлается?...» Хоть ихъ и отгонялъ, грозя нагайкою, казакъ-урядникъ, ожидавшій «начальство» у послѣдней ступеньки крыльца.

На всѣхъ лицахъ ясно выражалось тревожное любопытство и ожиданіе. Очевидно было, что произошло нѣчто необыкновенное, разомъ нарушившее ихъ однообразное, сѣреое проживаніе въ Глухомъ фортѣ.

По боковой улицѣ, ведущей къ воротамъ форта, окруженная облакомъ пыли, быстро приближалась конная группа, мелькали бѣлыя офицерскія фуражки и доносился сдержанній храпъ горячившихся лошадей.

— Его высокоблагородіе, господинъ комендантъ! — добавилъ урядникъ, заглядывая въ дверь, и скомандовалъ выстроившимся казакамъ:

— Смирно!

Поль и Анатоль встали и взялись за фуражки.

Первый успѣлъ сунуть карточку институтки въ карманъ и вытянулся въ струнку; второй, сохранивъ небрежную независимую позу, ограничился только тѣмъ, что вынулъ изо-рта окурокъ сигары.

— А въ саду стоять часовые?.. Поставить, поставить, непремѣнно поставить! Вездѣ насовать часовыхъ!.. Мало ли что!.. Печати печатями, а дѣло дѣломъ... Прапорщикъ Ползунковъ!.. Позвать прапорщика Ползункова!.. — раздавался на крыльцѣ комендантскій голосъ. — А гдѣ господинъ пріѣзжій слѣдователь?..

И на порогѣ появился маленький старичекъ, совсѣмъ лысый, съ коротко подстриженными, сѣдыми усами, съ ярко-красными щеками и носомъ, и съ самыми добродушными, заплывшими жиромъ глазами.

— А, очень пріятно! — обратился онъ къ штатскому. — Скоренько пожаловали. Это хорошо! Анатолій Робертовичъ Грунинъ, если не ошибаюсь? очень радъ!.. Полковникъ Огурчиковъ, здѣшній комендантъ! Пріятно познакомиться... Господа!.. Позвольте васъ познакомить съ моими офицерами!... Господа офицеры!.. Иванъ Тимфѣевичъ, Павелъ Ивановичъ, Иванъ Кузничъ... Вотъ слѣдователь! Грунинъ, коллежскій совѣтникъ, Анатолій Робертовичъ. Такъ за дѣло — за дѣло-сь!.. Время те-

рять нельзя! Прапорщикъ Ползунковъ, распорядились на счетъ лошади господину слѣдователю?

— Готово, полковники!

— Такъ єдемъ, єдемъ скорѣе... Господи благослови!.. лошадь! Урядникъ, возьми портфель у господина слѣдователя...

— Я полагаю,—началь было слѣдователь,— что прежде надо сдѣлать осмотръ на мѣстѣ, то есть, я хочу сказать,—здѣсь... Снять иѣкоторыя предварительныя показанія съ домашнихъ...

— Это не уйдетъ, батюшка, не уйдетъ... Домъ то у меня еще до свѣта опечатанъ, часовые разставлены... Вы изволите видѣть какая жара... страсть!.. Дали то мнѣ знать вчера, въ восьмомъ часу вечера, я команду туда послалъ, для неприкосновенности, да нарочнаго въ городъ... Вы изволили въ котормъ часу выѣхать?..

— Въ половинѣ восьмаго, утромъ...

— А теперь уже безъ четверти три по полудни-съ... Такъ-то! Тутъ позамѣшаемъ, темно станеть... скакать то верстъ четырнадцать... Тамъ до утра отложить придется... Потомъ и къ тѣлу не подступишься... Вѣрно я говорю, господинъ докторъ?..

— Вѣрно, вѣрно!—отозвался докторъ, съ трудомъ взбираясь на казачью лошадь.

— А развѣ нельзя доѣхать туда въ экипажѣ?..—замялся Анатолій Робертовичъ, подозрительно поглядывая на корнайухаго, рыжаго жеребчика, не особенно ласково косившагося умнымъ глазомъ: какого это моль ему сѣдока аллахъ посылаетъ?..

— Не проберемся въ тарантасѣ... За гнильмъ ставочъ вязко будетъ на колесахъ то, — отвѣчалъ кто-то изъ толпы...

— Садитесь!..

— Сѣли!..

Всадники, потѣснясь немнога въ воротахъ, выбрались на просторъ. Два казака впереди разогнали съ дороги пѣшій людъ. Облако сплошной пыли скоро затянуло кавалькаду, и опять въ этомъ облакѣ замелькали бѣлые шапки и разномастные хвосты галопирующихъ лошадей.

Впереди, легко покачиваясь въ сѣдлѣ, дробною иноходью єхалъ комендантъ, за хвостомъ его лошади подскакивалъ казакъ съ полковничьей шинелью черезъ сѣдло и едва сдерживалъ горячаго карабаира щеголеватый адъютантъ Ползунковъ.

Сторонкою, отъ пыли подальше, рисиль докторъ, распустивъ поводья и пыталась свернуть себѣ папироску... Непривыкшій къ верховойъ ъездѣ, пріѣзжій слѣдователь поминутно терялъ стремя и прихватывалъ за переднюю луку сѣдла, бокъ-о-бокъ съ нимъ фыркаль и широко раздувалъ ноздри вороной жеребецъ Криницына... Остальные офицеры отстали значительно: «что моль за охота глотать пыль изъ подъ начальства, поспѣемъ!..» Встрѣчные по пути конные киргизы и сарты почтительно сворачивали съ дороги, торопливо соскакивали съ лошадей и низко кланялись, сложивъ руки на животѣ... Вдали, у переправы черезъ рѣку, гдѣ надъ потемнѣвшою сплошною щеткою камышей развѣвался полосатый флагъ и кудрявымъ столбомъ поднимался дымъ сторожеваго костра, толпилось уже нѣсколько конныхъ, ранѣе прибывшихъ, и даже бѣлье холщевой верхъ чьего то тарантасика...

— Никому не позволю, никому!.. — ворчалъ комендантъ, — что за балаганъ! нечего тамъ смотрѣть... Ишь наѣхало сколько! Все равно никому не позволю!..

Кавалькада остановилась у переправы.

— Я былъ тамъ, сейчасъ только что вернулся, — подъѣхалъ къ коменданту высокій, сутуловатый, пожилой офицеръ, съ длинными сѣдыми усами.— Иванъ Тимофеевичъ съ Павлушей тамъ остались, а я вотъ за вами...

Это былъ капитанъ Шелобовъ.

— Ежели мы, — продолжалъ онъ, — поднимемся еще верстъ пятьокъ повыше, тамъ теперь обмелѣло, по брюхо коню, больше не будетъ, да и коса песчаная выходитъ... Много короче будетъ, чѣмъ по дорогѣ. Гнилой затонъ-то въ сторонѣ придется, обѣзжать не надо...

— Обмелѣло?

— Только что по брюхо...

— Въ бродъ, такъ въ бродъ... — согласился коменданть.— Господа, гайда за мною... Что же, и въ бродъ можно!.. Мадамъ, бонжуръ-сь!.. — сдѣлалъ онъ ручкою двумъ дамамъ, тревожно выглядывающимъ изъ подъ зонта тарантаса.

— Полковникъ, полковникъ!.. Семенъ Семеновичъ!.. — зашпили дамы и даже платками замахали.

Но коменданть сдѣлалъ видъ, что не слышитъ, и вся кавалькада снова тронулась въ путь, растянувшись по узкой,

кочковатой береговой тропинкѣ, межъ сплошными стѣнами не-  
пролазно-спутанного камыша.

— Mon cher! — обратился Бриницынъ къ своему другу,  
слогка коснувшись ручкою хлыста его локтя.

— Tiens! — отозвался тотъ.

Они заговорили по-французски.

— Я хочу... ты позволишь мнѣ сдѣлать тебѣ маленькое  
замѣчаніе?.. По нашей старой дружбѣ...

— О, сдѣлай одолженіе!

— Ты назначенъ сюда слѣдователемъ специальнно по этому  
дѣлу. Ну, такъ я тебѣ скажу: держись независимѣй... Ты  
зѣсь главное лицо...

— О, я понимаю это... Я отдаю отчетъ только своему  
прямому начальству... Мои полномочія... мои специальные  
знанія...

— То-то... А уже на тебя сразу насыль этотъ толстый  
шутъ, нашъ комендантъ... Ты уступилъ сразу... А я бы на  
твоемъ мѣстѣ, не стѣсняясь, замѣтилъ бы ему, что, моль, не  
ваше дѣло!..

— То есть почему же?.. Я самъ нашелъ нужнымъ...  
время дѣйствительно жаркое... чрезмѣрное разложеніе труса...

— Который и до завтра могъ бы пролежать тамъ очень  
покойно, а ты бы не тресся на этой клячѣ, по этой мерзѣй-  
шей дорогѣ,—и они врутъ, что нельзя доѣхать въ экипажѣ,—  
просто горячку порвать, и тебя заставляютъ... C'est drôle!..

— Ты правъ, mon cher. Видишь, я соглашаюсь... ты  
правъ... Однако это сѣдо мнѣ ужасно третъ лѣвую ногу. И  
куда они дѣйствительно ломать, очертя голову!

— Сюда! — послышался голосъ капитана Шелобова.

Онъ ѿхалъ впереди, указывая дорогу, и, махнувъ рукою,  
уже повернувъ къ рѣкѣ и началъ осторожно спускаться съ  
осыпающагося подъ конскими ногами глинистаго берега.

— Какъ это все глупо,—ворчалъ Бриницынъ.—Вся эта  
суматоха, эта масса непрошенныхъ помощниковъ, сующихъ  
свой носъ... По моему, это все только мѣшаетъ правильному  
и покойному ходу слѣдствія... Подбирай, mon cher, ноги выше,  
подбери поводъ—споткнется конь, выкупнаешься...

— Да, что если Бланшъ и Бека увидали меня въ этомъ  
положеніи!?.—кисло улынулся Грунинъ...

Выбравшися на песчаную косу лошади стали встряхиваться, рыжий жеребчикъ обнаружилъ было желаніе повалиться, и навѣрное привель бы это желаніе въ исполненіе, еслибы Криницынъ ударомъ хлыста по его жирному крупу, не привель бы его въ повиновеніе...

Переправа совершилась вполнѣ благополучно.

— Теперь уже недалеко, господа, недалеко! — кричали комманданты. — Ну, съ Богомъ... Надай, ребята! Прапорщикъ Ползунковъ, а кажется я свой портсигаръ-то тю-тю! Нѣтъ, здѣсь! Урядникъ — огниво!..

И снова густыя чащи камыша засверкали по сторонамъ, и то и дѣло, чуть не изъ-подъ ногъ всадниковъ, поднимались шумные взлеты перепуганныхъ фазаньихъ выводковъ.

## II.

Узкая тропинка раздвоилась, обходя громадный кустъ камыша; этотъ кустъ былъ сильно примятъ; длинные, надломленные стебли загораживали лѣвый обходъ и изъ-за нихъ виднѣлась какая то неопределенная масса, прикрытая рогожами. Шагахъ въ трехъ отъ нея стоялъ казакъ, съ саблею наголо. Еще нѣсколько казаковъ сидѣли въ сторонѣ, шагахъ въ сорока, около небольшого костра, полупотухшаго, гдѣ на таганѣ кипѣлъ походный котелокъ... Лошади этихъ казаковъ, осѣдланныя, но стреноженные, паслись неподалеку; неистово отмахиваясь хвостами отъ докучливыхъ комаровъ и слѣпицей. По правой тропинкѣ, заложивъ краснья, сильныя руки за спину, не выпуская изъ зубовъ коротенькой трубки, взадъ и впередъ прохаживался старый офицеръ, по своей колосальной фигурѣ очень похожій на Шелобова, видимо погруженный въ глубокую думу... Дѣло подходило къ вечеру, но солнце еще припекало порядочно; только съ рѣки, да со стороны широкихъ, сверкающихъ сквозь густой камышъ, водныхъ затоновъ, доносился легкій вѣтерокъ, предвѣщающій вечернюю свѣжесть...

Топотъ копытъ приближающейся кавалькады заставилъ богатыря выйти изъ своего раздумья. Онъ остановился, поглядѣль изъ подъ руки вдали по дорогѣ, вынуль изъ зубовъ свою, давно уже потухшую, трубку и небрежно сунулъ ее въ карманъ широкихъ кожаныхъ шароваръ.

— А Павлушки то все еще нѣть! — произнесъ онъ, обращаясь должно быть къ самому себѣ. — И куда это онъ запропастился?

Кавалькада сильно растянулась по дорогѣ; за комендантскимъ иноходцемъ трудно было угнаться. Больше всѣхъ отсталъ губернаторскій слѣдователь, а съ нимъ и Павелъ Петровичъ Криницинъ.

Когда наши друзья подѣхали, уже всѣ спѣшились и молча окружили лежащую подъ рогожею массу... Криницинъ слышалъ, какъ Иванъ Тимофеевичъ, тотъ, кто прогуливался въ ожиданіи кавалькады, говорилъ:

— Вотъ тутъ, господа, не топчитесь... осторожнѣй... Тутъ есть слѣдочки, которые весьма желательно было бы сохранить.

— Господи! да здѣсь кажется всѣ записались въ слѣдственные волонтеры!.. — пожавъ плечами, вполголоса обратился Криницинъ къ Грунину.

А тотъ, измученный быстрою непривычною Ѣздою, едва переступалъ своими затекшими ногами, отирая потъ съ своего, прежде временно полысѣвшаго, лба тонкимъ, надушеннымъ батистомъ.

— Не теряя времени приступимъ! — пригласилъ комендантъ.

Груша офицеровъ подалась назадъ. Всѣ молчали, не отрывая глазъ отъ рогожъ... Часовой казакъ стоялъ, какъ столбъ, вытянувшись въ струнку, не смѣя даже согнать комаровъ, усѣвшихся на его носъ и калмыцкія, выщуклыя скулы.

— Мой портфель!.. Разстегни его па...жалуста... Спасибо, братецъ...

Грунинъ вытащилъ изъ портфеля чистый листъ съ помѣченнымъ заголовкомъ и номеромъ, отвинтилъ крышку дорожной чернильницы и приготовился было писать.

— У меня все уже приготовлено... Вотъ... первое постановлѣніе: осмотръ тѣла на мѣстѣ...

— Сними рогожи! — скомандовалъ комендантъ... — Однако того! уже попахивать начинаетъ... Я говорилъ, потарапливаться надо!

Слѣдователь приблизился къ трупу.

— Я бы обратилъ вниманіе ваше, господинъ слѣдователь, на черезчуръ уже спокойное положеніе трупа... — глухимъ голосомъ, въ которомъ слышалось волненіе горя, началъ Иванъ Тимофеевичъ...

Грунинъ поднялъ глаза и тотчасъ же встрѣтился съ полунасмѣшивымъ взглядомъ Криницына и съ его характернымъ движеніемъ плечъ.

— Я бы прежде всего попросилъ, господа, не вмѣшиваться въ мои прямые обязанности,—сухо отвѣчалъ онъ, не обращаясь лично къ вопрошавшему, а такъ вообще.—Криницынъ, не будете ли такъ добры записывать, что я буду диктовать...

— Нѣть,—сухо отвѣтилъ Павелъ Петровичъ.

— Позвольте мнѣ-съ!—подскочилъ адъютантъ Ползунковъ.

— Сдѣлайте одолженіе!

— По прибытіи на мѣсто происшествія,—диктовалъ Грунинъ,—тѣло было найдено въ лежачемъ положеніи, лицомъ внизъ, затылокъ кверху, руки вытянуты вдоль тѣла, съ открытыми ладонями, ноги также... головою обращено къ сѣверо-востоку.

— Прямо на югъ, вдоль дороги,—замѣтилъ Шелобовъ.

— Благодарю васъ! — въ свою очередь пожавъ по криницынски плечами, кивнулъ головою слѣдователь.

— Къ югу...—записалъ Ползунковъ...—Я къ «югу» записаль, господинъ слѣдователь!

— Merci, пишите дальше: тѣло одѣто въ суконное пальто, такие же панталоны, на ногахъ высокіе сапоги—безъ шпоръ, черезъ плечо сумка кожаная, замокъ которой... посмотрите, пожалуйста, замокъ отпертъ, или нѣть?

— Замокъ безъ ключа,—просто защелкнуть...—нагнулся къ тѣлу одинъ изъ сопровождавшихъ офицеровъ, — суха пустая...

— Такъ и запишите. Я думаю теперь все!.. Докторъ, что вы скажете о ранѣ?

— Рана видимо смертельная,—нагнулся и докторъ:—затылочная кость раздроблена совсѣмъ, вонъ и мозгъ виденъ... Вотъ послѣ вскрытия я и дамъ вамъ свое заключеніе; не тутъ же вскрывать, на дорогѣ...

— Хорошо... Ахъ, да... Господинъ Ползунковъ, если не ошибаюсь, потрудитесь еще записать... Тамъ есть графа: «осмотрѣ мѣстности»... нашли-съ?

— Нашель-съ!..

— Мѣстность ровная, поросшая кустарниками и высокой травой...

- Камышемъ! — подсказалъ опять кто-то.
- Камышемъ... въ четырнадцати верстахъ оть форта Глухаго, по дорогѣ... Куда ведеть эта дорога, господа?
- Въ Алаевскіе аулы!
- Такъ и запишите... Вблизи берега рѣки, въ двѣнадцати шагахъ оть казачьяго поста...
- Позвольте-съ, позвольте-съ, — вмѣшался тутъ самъ комендантъ, — этого поста здѣсь не существуетъ вовсе; это специально къ тѣлу командировалъ я... Поднимутъ тѣло, сейчасъ телъгѣ пріѣдетъ, и посты снимутъ.
- Въ самомъ дѣлѣ?!.. Ну, такъ не пишите... Теперь, значитъ, все!.. Что же, господа, неужели же мы назадъ опять верхомъ пойдемъ?
- А то какже... — отозвался докторъ.
- Что, батенька, заморились? Хе-хе, по штатскому то положенію! — подшутилъ комендантъ. — Ну, да ничего; мы то назадъ полегоньку, шажкомъ пойдемъ. Оно даже пріятно по вечерней прохладѣ, кончили-съ?
- Полагаю, что больше здѣсь нечего дѣлать... Казакъ, подай портфель!
- Нѣть, уже позвольте! — подошелъ тутъ Иванъ Акимович... — не все-съ! Вы хоть и обидѣлись на мое вмѣшательство... Позвольте представиться: полковникъ Глухаревъ! Прошу не упустить: главное то вы проморгать изволили... Тѣло-то гдѣ лежитъ? Здѣсь? Такъ. А убить-то этотъ человѣкъ гдѣ-съ? Здѣсь, скажете? Нѣть-съ. Вонъ оно гдѣ! шаговъ пятьдесятъ отсюда, и съ того мѣста его, за воротникъ,ничкомъ сюда приволокли. Вотъ онъ и слѣдъ, точно метлой мели... видите-съ?!
- Грунинъ опѣшился немного... Криницынъ закусилъ губы, — словно ему досадно и больно стало за своего товарища и друга.
- Я вашему показанію, господинъ подполковникъ, охотно дамъ мѣсто въ журналъ слѣдствія, хотя самъ и не признаю особенной важности выясняемаго вами факта...
- Чего важнѣе... Тамъ вонъ... Эхъ, господа, ну что вы топчетесь, право!.. Павелъ Петровичъ, — ну, чего вы тамъ разгарцевались!.. Всѣ слѣды сбили... Тамъ, господинъ слѣдователь, отпечатки копытъ двухъ лошадей ясно были обозначены, тамъ и кровавая лужа до сихъ поръ немногого замѣтна... Тамъ-съ это все произошло... это вѣрно!..

— По моему, батюшка, все это надо теперь же замѣтить и занести въ протоколь,—вставилъ свое мнѣніе и комендантъ...

— Мы вотъ здѣсь съ утра все роемся,—заговорилъ Шелобовъ:—я, вотъ, Иванъ Тимофеевичъ и Павлуша, а гдѣ онъ?

— Онъ въ ауль погиалъ, тамъ... справляется... Реветь мальчуганъ... Жалко ему покойника!.. Поскакалъ, говорить: живъ не буду, а розыщу...

Криницынъ опять сошелъ съ коня, кинулъ поводья казаку и приблизился къ Грунину...

— Я тебѣ говорилъ,—началь онъ по-французски,—ты съ этою ордою помощниковъ, названныхъ и непрошеныхъ, только съ толку собьешься...

— О, не беспокойся,—улыбнулся его пріятель...—Обстоятельство, сообщенное полковникомъ Глухаревымъ, мною принято къ свѣдѣнію. Вы, господинъ комендантъ, распорядитесь выслать мнѣ сегодня же ночью всѣхъ, кого я найду нужнымъ вызвать къ допросу. И васъ, господа, всѣхъ желающихъ и имѣющихъ показать что либо, прошу тоже...

Грохотъ приближающихся колесъ отвлекъ на минуту общее вниманіе. Это прибыли за тѣломъ. Казаки подняли трупъ и бережно уложили его на дно телѣги. Докторъ снялъ съ себя шинель и прикрылъ покойника.

— Съ Богомъ!.. осторожно на толчкахъ!.. Эхъ, Федя... Не дождался ты своей радости...

Иванъ Акимычъ совсѣмъ вплотную сдвинулъ свои косматыя брови и сталъ набивать трубочку... Шелобовъ пустилъ своего косматаго, карнаухаго маштака итти по волѣ, а самъ пошелъ пѣшкомъ за телѣгой... Офицеры сѣли на лошадей и сгруппировались около коменданта... Грунинъ и Криницынъ опять отдѣлились отъ общей группы...

— Что же я могу сдѣлать, господа,—вполноголоса, словно оправдываясь, говорилъ комендантъ...—Дѣло находять экстреннымъ, нашимъ не довѣряютъ, прислали специалиста, что же я могу сдѣлать? Вмѣшаться... на меня же послѣ свалить... Вотъ, молъ, Огурчиковъ превысилъ власть, все дѣло испортилъ...

— Такъ-то такъ... только дѣло это совсѣмъ нечисто выходитъ... Тутъ, братъ, не простой разбой... тутъ...

— Не наше дѣло!.. Вотъ что тутъ... Однако поздновато... Гайдай!

— Я тебѣ скажу, — говорилъ въ свою очередь Криницынъ, — скажу другое... Я очень, очень даже радъ, что тебя прислали, но только напрасно ты предполагаешь, что преступление, или просто несчастный этотъ случай представляеть собою что нибудь особенное... Просто убили и ограбили, а можетъ быть и грабить-то было нечего... Здѣсь, вѣдь, это дѣло самое обыкновенное, это не Петергофъ, не Красное Село... И тамъ случается... здѣсь вѣдь глубокая Азія!.. Шайки разбойничьи бродятъ на каждомъ шагу, населеніе неспокойное, къ намъ настроенное враждебно.

— Часто здѣсь это случается?

— О, сплошь да рядомъ. Да вотъ хоть третьяго дня. Поѣхалъ я прогонять немногого моего Абрека... О-го-го... Дури!. Недалеко отсюда, вонъ тамъ,—Криницынъ показалъ кончикомъ хлыста,—встрѣчаю я четырехъ оборванцевъ, всѣ конные, рожи воровскія; конечно, я былъ хорошо вооруженъ, за плечами карабинъ, пу, они посмотрѣли, послѣдили за мною и отстали, а могло случиться и иначе... Мы, вѣдь, не въ Петергофѣ...

— Я тоже начинаю приходить къ убѣжденію, что простое убийство... и ничего больше... — подумавъ глубокомысленно, рѣшилъ судебный слѣдователь.

— И оружіе допотопное. Ты замѣтилъ? просто ударъ дубиною или батикомъ; такое оружіе у нихъ есть, вродѣ булавы...

— О, какъ же, это я хорошо замѣтилъ... знаешь... это даже на меня непріятно подействовало. Сѣдые волосы, запекшаяся кровь и грязь, эта черная, зіяющая рана... круглая лысина... вздернутый воротникъ пальто... Бррр... и потомъ этотъ запахъ... Что ты?

— Холодно въ одномъ кителѣ. Съ рѣки пронизываетъ насквозь сырость...

— А помнишь, у Фелисьена... на бережку?..

Но Криницынъ ничего не отвѣчалъ на это напоминаніе и сосредоточенно смотрѣлъ впередъ, словно слѣдилъ за движеними тонкихъ, строго очерченныхъ, кровныхъ ушей своего аргамака...

Стало темнѣть... въ густомъ туманѣ, поднявшемся надъ рѣкою, замелькали красные огоньки строеній Глухого форта... Безчисленные рои комаровъ стояли въ воздухѣ звенящими

туманомъ, кони рвались и горячились, чуя конюшню... И чуть слышно доносились удары убогаго, надгреснутаго колокола фортовой церкви, гдѣ отецъ Павелъ собирался служить панихиду «по убиенномъ рабѣ Божиѣмъ Феодорѣ...»

### III

Должно быть и на Павла Петровича видъ трупа подѣйствовалъ очень скверно. Всю дорогу онъ ѻхалъ молча, не отвѣчая даже на разныя общія воспоминанія, которыми засыпалъ его петербургскій другъ.

«Сѣдыѣ волосы, запекшаяся кровь и грязь... эта черная, зіяющая рана, круглая лысина, вздернутый воротникъ пальто... Брррр... И потомъ этотъ запахъ...» не выходили у него изъ головы...

Вороной аргамакъ его шелъ крупнымъ шагомъ, звучно пережевывая тонкія удилы; Грунинъ на своеѣ малоросломъ жеребчикѣ отставалъ поминутно...

— Ты, Поль, пожалуйста,— говорилъ онъ,— меня не оставлай, у меня и noctui, въ этомъ дому... Поможешь по-дружески... потолкуемъ на досугѣ...

— Нѣть, не пріайду! — разслышалъ наконецъ Грунинъ. — Еще и про меня, пожалуй, скажутъ, что я «превысилъ власть... руководилъ, такъ сказать, сльдствиемъ... имълъ вліяніе...»

— Какъ тебѣ не стыдно! Удивительно тоже, важное дѣло, таинственная запутанность, самое обыкновенное происшествіе, простой подорожный разбой... Мы, вѣдь, не въ Петергофѣ!..

Криницынъ не могъ не улыбнуться.

— Ну, тамъ увидимъ! — произнесъ онъ и наддалъ ходу. Грунинъ зарысилъ тоже, стараясь не отставать.

---

Эту ночь большая часть обитателей Глухого форта провела безъ сна.

Исторія значительно осложнилась. Отъ фирмы «Хмуроў и Компанія» пріѣхали два уполномоченныхъ для разбора книгъ и счетовъ убитаго Горкина. При ихъ участіи, сльдователь и комендантъ часа два возились, вскрывая печати и

провѣряя дѣла покойного; кроме того, желающими давать показанія явились чуть не всѣ офицеры форта... Всѣ писали эти показанія сами, подписывали ихъ и подкладывали въ распоряженіе слѣдователя. Грунинъ волновался больше всѣхъ, онъ благодарилъ направо и налево, и только крайнее утомленіе заставило его, и то утромъ, когда солнце уже довольно высоко поднялось надъ горизонтомъ, прекратить работу... и, поблагодаривъ еще разъ всѣхъ вообще и каждого порознь, онъ просилъ «не оставить его и впредь, по сему дѣлу, своимъ полезнымъ содѣйствиемъ для раскрытия этого таинственного и загадочного происшествія...»

Одинъ только Крипцины не принималъ никакого участія въ общей тревогѣ; онъ всю ночь не выходилъ изъ своей квартиры, и только поздно, часу въ одинадцатомъ утра, щегольски одѣтый во все бѣлое, отправился посѣтить своего петербургскаго друга...

Грунинъ только что успѣлъ заснуть, но разбудить вѣль себя не позже какъ черезъ два часа, и во всякомъ случаѣ, ежели что понадобится, то сю минуту. Его денщикъ приготовилъ дорожный пессесерь для умыванья, вѣстовой казакъ—возился надъ самоваромъ. Часовые все еще стояли у дверей и противъ каждого угла дома, гдѣ, между прочимъ, въ комнатѣ, выходящей окнами въ садъ, самой красивой и уютной изъ всѣхъ, защищенной отъ свѣта и мухъ сплошными войлочными ставнями, хранили, что называется во всю, — оба уполномоченные фирмы «Хмуровъ и Компания». На садовой верандѣ стоялъ длинный столъ, заставленный остатками ужина, присланного комендантомъ, и уныло торчали до дна опорожненныя бутылки... Полуголый туземецъ, смуглый, точно отлитый изъ бронзы, мель дорожки сада, ревниво поглядывая на большую кость отъ телятины, усыпанную мухами... Тамъ, вѣдь, было еще очень много хорошаго, чтобы весьма годилось для удовлетворенія его утренняго аппетита, но этотъ солдатъ, что стоитъ на углу—онъ тоже хорошо видитъ и остатокъ мяса, и его, Ахметку, и уже крикнулъ разъ: «Ну, мети, мети!.. чего по сторонамъ зѣваешь... Ишь поднялъ пыли, азіат! Нѣть того чтобы водою полить перво-на-перво»...

— Баринъ есталъ?—освѣдомился Павелъ Петровичъ у денщика.

— Полчаса, не болѣе, какъ почивать прилегли. Прикажете разбудить?

— Не надо... Я зайду послѣ,—рѣшилъ, подумавъ немнога, Криницынъ и медленно направился къ базарной площадкѣ.

Едва онъ успѣлъ отойти нѣсколько шаговъ, какъ тотъ же денщикъ крикнулъ ему вслѣдъ:

— Ваше благородіе! Пожалуйте! Анатолій Робертовичъ вѣсъ просяять!

— А!—обернулся Криницынъ и медленно вернулся.

Грунинъ сидѣлъ на складной походной кровати; лицо его было совсѣмъ желто отъ безсонной ночи, глаза заспанные, и онъ ихъ тщательно промывалъ, намоченнымъ въ холодной водѣ, полотенцемъ.

— Я слышалъ твой голосъ,—говорилъ онъ...—Очень радъ, очень радъ! Что же ты не заходилъ ночью? У меня все были, ужинали... Садись, пожалуйста. Станиславъ, чаю!.. Мнѣ есть съ тобою чѣмъ подѣлиться... Дѣло важное, крайне сложное. Пахнетъ карьерою и какою карьерою! Станиславъ! уди вонъ и дѣлай свое дѣло! чего торчишь! Садись-же, Поль. Чую хочешь?! Мнѣ ужасно интересно знать, что ты скажешь. Я всегда дорожилъ твоимъ мнѣніемъ. Да садись-же!.. Помнишь, мы съ тобою вчера рѣшили, что это просто разбой и ничего больше... Помнишь?

— А теперь что же оказалось?—пожаль плечами Павель Петровичъ.—Экстроардинарное происшествіе, хитро задуманная кровавая драма и ты, хитроумный Лекокъ, напалъ на вѣрные слѣды. Въ твоихъ рукахъ руководящая нить. Такъ, что-ли?.. Кто-же таинственные злодѣи?

— Именно, именно такъ... Ты смеешься? а мнѣ не до смѣха. Нервы мои возбуждены. Я провелъ ночь безъ сна, въ самой лихорадочной работѣ и, вѣришь-ли, нѣсколько не хочу спать. Ну, да садись и я тебѣ все расскажу по-порядку.

Станиславъ подалъ чай на серебряномъ подносѣ и два разрѣзанныхъ граната вмѣсто лимона и обнаружилъ было намѣреніе приводить постель въ порядокъ.

— Ступай вонъ!—остановилъ его неумѣстное рвение Анатолій Робертовичъ.

— Видишь-ли, другъ мой, оказывается вотъ что...—началь онъ свой разсказъ о событияхъ тревожной, слѣдственной ночи.

Во время своего рассказа, очень длинного и весьма послѣдовательного, онъ поминутно справлялся съ листками показаний, аккуратно уже спищими вмѣстѣ и перенумерованными.

— Во-первыхъ, оказывается, что Федоръ Петровичъ Горкинъ поѣхалъ съ цѣлью посѣтить всѣ передовые форты лѣваго фланга, гдѣ есть отдѣленія его фирмы. Тамъ онъ памѣревался сдѣлать нѣчто вродѣ частной ревизіи, передъ главною, общею, и, между прочимъ, долженъ былъ раздать значительную сумму денегъ, восемьдесятъ двѣ тысячи, триста семьдесятъ два рубля, сорокъ четыре копѣйки, каковую сумму и взялъ съ собою.

— Какъ это глупо!

— Что глупо, что?

— Брать съ собою большія деньги и одному рыскать по стени... конечно, я думаю, больше чѣмъ глупо, — замѣтилъ Криницынъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ одному... — оправдывалъ дѣйствіе убитаго Грунина. — Онъ имѣлъ основанія... онъ... Я, впрочемъ, это по томъ. Все по порядку. Въ доказательство сего — есть точныя показанія, — господа уполномоченные фирмы «Хмуровъ и Компания» и справки по книгамъ. Проводить его долженъ былъ Шелобовъ, капитанъ Шелобовъ. Вотъ его личное показаніе! Онъ долженъ былъ встрѣтить его въ Алаевскомъ аулѣ, это верстъ двадцать далѣе мѣста происшествія, и за тѣмъ уже сопровождать его дальше. Онъ его не дождался и поѣхалъ на встречу. Онъ же первый и нашелъ тѣло.

— Ничего нѣтъ пока необыкновеннаго! — пожалъ плечами Криницынъ, не дотрогиваясь до своего, уже остывшаго стакана.

— Слушай дальше: Шелобовъ поскакалъ стремглавъ въ фортъ и далъ знать коменданту, а самъ, съ другими офицерами, немедленно вернулся къ мѣсту. Здѣсь они нашли слѣдующее: вотъ показаніе полковника Глухарева и его сына! Конскій слѣдъ (лошади убитаго) вель отъ переправы и былъ очень хорошо виденъ; за версту до мѣста катастрофы къ этому слѣду присоединился еще слѣдъ коня, тоже кованнаго русскими подковами, обыкновенными, и этотъ слѣдъ сопровождалъ первый до того пункта, гдѣ лежало тѣло; то-есть не совсѣмъ до того, а немногого ближе. Затѣмъ этотъ второй слѣдъ отдѣлился и направился. Вотъ тутъ дѣло затмняется. Надо тебѣ замѣ-

тить, что преступление было совершено, случайно конечно, на такомъ пункте, гдѣ недавно прошелъ табунъ и всѣ слѣды перепутались. Но все-таки, много дальше, у самаго берега, тоже найденъ слѣдъ кованый, два или три отпечатка, тождественный съ тѣмъ, что сопровождалъ убитаго. Соображаешь?

Криницынъ слушалъ разсказъ своего друга очень внимательно, но еще внимательнѣе рассматривалъ чеканенный узоръ на ручкѣ подстаканника.

— Слѣдъ этотъ велъ къ берегу; значитъ, всадникъ, предположимъ убийца, хотѣлъ переправиться на ту, то-есть на эту нашу сторону, то-есть вернуться въ фортъ. Кажется, ясно?..

— Ясно!..—отвѣчалъ Криницынъ.

— Но на этой сторонѣ до сихъ поръ еще продолженіе этого слѣда не найдено. Искали, но не нашли.

— Чего же яснѣе,—улыбнулся Павель Петровичъ...

— Слѣдъ же лошади убитаго все-таки былъ опять найденъ,—продолжалъ Грунинъ,—и велъ въ степь, гдѣ вскорѣ найдена была сама лошадь Горкина, съ сбитымъ сѣдломъ, мирно пасущаяся... Эту лошадь нашелъ и привезъ сюда Глухаревъ-сынъ. Что же изъ этого выходитъ?

— По моему пока ничего...

— Нѣть, не ничего! Общія показанія говорятъ, что если покойный Горкинъ былъ убитъ туземными разбойниками, съ цѣлью грабежа, то, во всякомъ случаѣ, хорошая лошадь составляетъ для таковыхъ большую цѣнность и они бы ее не бросили, а увели бы съ собою. Это и комендантъ, и всѣ говорятъ... Непремѣнно увели бы съ собою!

— Очень можетъ быть! Ну, дальше!

— Дальше вотъ что: выходитъ теперь, что убийца одинъ изъ здѣшнихъ. Одинъ изъ тѣхъ, кто могъ знать—какую большую сумму имѣлъ при себѣ убитый,—и желаніе овладѣть этой суммой было главнѣйшимъ мотивомъ преступленія. Такъ или нѣть?

— Такъ, само собою разумѣется,—согласился Павель Петровичъ...

— Всѣ офицеры почему-то, особенно этотъ Глухаревъ съ сыномъ и Шелобовъ, крайне, до страстности, заинтересованы открытиемъ убийцы. Они предложили мнѣ, между прочимъ, произвести повальный обыскъ во всемъ Глухомъ фортѣ—это меня удивило сначала, но, по зрѣлому размышенію...

— Какъ, и въ офицерскихъ квартирахъ? — удивился Криницынъ.

— Да, у всѣхъ вообще. Даже комендантъ говоритъ: — Я, господа, ничего противъ этого не имѣю. Начинайте, для при-мѣра, съ моего дома. Онъ даже хочетъ настаивать на этомъ...

— Что за дичь!.. что за нравы! — пожалъ плечами Криницынъ... — И ты произведешь этотъ «повальный», какъ ты выразился, обыскъ.

— Надо произвести. О, Боже мой! если бы мнѣ удалось найти какой-нибудь гвоздь, какую-нибудь подозрительную пуговицу... Вѣдь ты понимаешь — это карьера! Это пойдетъ въ Петербургъ. Мое имя, — понимаешь ты — мое имя, связанное съ открытиемъ того запутанного, кроваваго дѣла! и обо мнѣ заговорять, обо мнѣ напишутъ...

— Напишутъ, какъ о «гороховомъ шутѣ» — pardon за выраженіе, и, повѣрь мнѣ, ты дашь пищу самымъ острымъ насмѣшкамъ, общему глумленію — и только...

Грунинъ взглянуль на своего друга глазами полными недоумѣнія — рѣзкий выводъ Криницына, высказанный холоднымъ, сухимъ тономъ, такъ мало соотвѣтствовалъ его собственному выходу. Прежній авторитетъ Павла Петровича, царившаго въ кружкахъ, таѣ называемой, золотой молодежи — оказалъ и изѣсь свое вліяніе... Недоумѣніе во взглядѣ Анатолія Робертовича стало уже принимать другой характеръ, — молчаливой мольбы не разрушать его иллюзій, настолько уже созрѣвшихъ, настолько приблизившихся къ дѣйствительности...

— Почему же? — протянулъ онъ, тоскливо поглядывая на нити свидѣтельскихъ показаній.

— По весьма простой причинѣ. Слушай же и ты меня. Но прежде пойми въ свою очередь, что если я высказываю свое мнѣніе, то только: во-первыхъ, изъ дружбы къ тебѣ; а во-вторыхъ, — изъ принципа: я не хочу, чтобы порядочные люди изъ нашего круга разыгрывали здѣсь шутовъ, pardon, передъ этими полудикарями. А ты самъ именно подставляешь свою голову подъ шутовской колпакъ.

— Я очень тебѣ благодаренъ...

Грунинъ прикоснулся рукою къ перчаткѣ Павла Петровича.

— Слѣды русскихъ подковъ, присоединившіеся къ слѣдамъ лошади Горкина, ничего не доказываютъ, потому что на всѣхъ

здѣшнихъ базарахъ русскія подковы продаются тысячами туземцамъ, и нашимъ, и чужимъ, однаково; что эти слѣды по-томъ вели къ рѣкѣ,—положимъ, что это была лошадь убійцы, также какъ и лошади всякаго мирнаго гражданина, потребенъ водопой—и ничего болѣе. Этихъ слѣдовъ не отыскали на этомъ берегу, что же мудренаго, что продолженіе ихъ не нашли и на томъ... Ты уже вообразилъ, что здѣсь все индѣйцы куперовскіе, слѣдоискатели, которые, съ чутьемъ лягавой собаки, могутъ добраться по намекамъ до цѣли розыска... Смѣшино!.. Лошадь убитаго, якобы оставленная разбойниками,—это уже совсѣмъ туманно. Всякая лошадь можетъ вырваться и поскакать домой... за нею можетъ быть и гнались, но прими во вниманіе рискъ подобной погони. Вѣдь разбойники могли очень легко наткнуться на погоню, въ свою очередь высланную за ними, и, конечно, были настолько благоразумны, что пожертвовали конемъ, которому и цѣна базарная вся—полсотни. Тебѣ совсѣмъ... какъ это можно совсѣмъовать спеціально уполномоченному слѣдователю!.. Тебѣ совсѣмъуть произвести повальный обыскъ—обыскъ этотъ сдѣлать нетрудно—но смотри!.. Обыскъ не принесетъ, конечно, никакихъ результатовъ, я въ этомъ глубоко увѣренъ! Не будетъ же убійца, въ самомъ дѣлѣ,—еслибы это и былъ кто изъ здѣшнихъ, хранить у себя окровавленныхъ уликъ, или, тѣмъ болѣе, крупной суммы... Сколько ты сказалъ?

— Восемьдесятъ слишкомъ тысячъ...

— Ну, такъ вотъ видишь ли? Не будутъ же хранить эту, довольно порядочную, несоответствующую офицерскому карману, сумму у себя въ чемоданахъ... а, между прочимъ, я еще не знаю какъ высшее начальство, особенно военное, посмотреть на этотъ, позорящій офицерскій мундиръ, обыскъ, хотя бы и нашлись господа офицеры, добровольно соглашающіеся на подобное посрамленіе...

— Но если въ виду этого, если, такъ сказать, будетъ что-нибудь обнаружено...

— Да развѣ я тебя стѣсняю... я говорю только—что самъ думаю, я откровенно, по праву нашей старой дружбы, выскаживаю тебѣ свое мнѣніе... и только... пожалуста не думай, что я могу тебя учить—какъ производять слѣдствіе. Ты кончишъ правовѣдѣніе,—ты спеціалистъ; я въ школѣ гвардейскихъ под-

прапорщиковъ,— я кавалеристъ... Пожалуста не думай... Я слишкомъ далекъ отъ какого-нибудь вмѣшательства въ твоё дѣло...

— Ну вотъ ты уже и обидѣлся! это нехорошо, это не потоварищески!..— успокаивалъ его Грунинъ.— Я всегда готовъ охотно тебя слушать. Твой практическій умъ стоитъ спеціальности... Я самъ начинаю думать...

— То-то—самъ,— Криницынъ улыбнулся...— А главное я тебѣ доскажу вотъ что: въ погонѣ за таинственнымъ Фрадьяловомъ ты потратишь даромъ дѣло— представишь по начальству тысячу листовъ всевозможной чуши, а главное будетъ упущенное. Донося просто, какъ оно и есть, о набѣгѣ барантачей—ты этимъ донесеніемъ вызовешь мѣры, а за эти мѣры всѣ мирные жители нашего околодка скажутъ тебѣ большое спасибо. Усилять здѣсь кавалерію—выставять посты, построить можетъ быть укрѣпленіе, обеспечивающее весь путь на лѣвый флангъ, до сихъ поръ совершенно открытый доступу всевозможной бродячей сволочи. Вѣдь мы здѣсь не въ окрестностяхъ Петербурга, повторяю тебѣ еще разъ—и тогда, повѣрь мнѣ, всякие Горкины, не съ восемью десятю тысячами въ карманѣ, а хоть съ миллионами, могутъ кататься по степи, сколько имъ угодно... Такъ-то...

Криницынъ замолчалъ и тутъ только вспомнилъ о своемъ оставшемся чаѣ, прихлебывая изъ стакана большими глотками.

Грунинъ помолчалъ нѣсколько минутъ тоже.

— Ахъ, да, кстати, тутъ есть въ одномъ показаніи и о тебѣ нѣсколько словъ—вотъ я сейчасъ найду...

— Въ самомъ дѣлѣ—что же такое, именно? это интересно!

— Воты! Молодой Глухаревъ показываетъ, что видѣлъ тебя въ день выѣзда Горкина на томъ берегу—и что ты вернулся довольно поздно, ночью.

— Вотъ какъ! Это очень важно!.. Дай-ка мнѣ пожалуйста листъ бумаги—я нахожу нужнымъ тоже дать показаніе, для поясненія слѣдствія.

— Я хотѣлъ тебя просить объ этомъ... понимаешь? формальность. Мнѣ вѣдь могутъ замѣтить: почему я не опросилъ тебя, особенно, въ виду показанія молодого Глухарева?

Криницынъ уже сидѣлъ и, покраснѣвъ до ушей, не то улыбаясь, не то закусивъ свои тонкія, нервныя губы, бойко водилъ перомъ по листу форменной, обрѣзной бумаги

— Я кончилъ. Хочешь прочту? — тряхнуль онъ головою — и взглянулъ прямо въ глаза своему другу.

— Сдѣлай одолженіе!

«Сего числа, въ три часа пополудни, — я велѣлъ осѣдлать своего вороного жеребца, шести лѣтъ, росту три вершка, лѣвая задняя бѣлоношкѣ»... — началъ читать Криницынъ.

— Ты вѣчно шутишь. Ну, какъ тебѣ, право, не стыдно. Къ чему эти подробности.

— Нисколько не шучу, — сухо отвѣчалъ Криницынъ. Въ серьезномъ слѣдственномъ дѣлѣ никакая мельчайшая подробность не можетъ быть лишняя. Я продолжаю:

... кличка «Абрекъ» — дабы размѣять его хорошенъко, такъ какъ вышеописанная лошадь чрезмѣрно застоялась. Я перевѣрился на ту сторону въ бродъ и, постоянно мѣняя аллюры,ѣздилъ до половины одиннадцатаго вечера, послѣ чего, пить чай у татарина Гайкулы, что содержитъ косую переправу, а въ часъ ночи былъ уже дома, приказавъ своему денщику, Семену Гладкову, разсѣдлать лошадь и выводить ее хорошенъко. Кромѣ того я долженъ присовокупить, что, по словамъ Ивана Гладкаго, солдатка Лукерья, ночевавшая на сѣновалѣ, всю ночь видѣла во снѣ окровавленного пѣтуха и говорила, что это не къ добру. Что-жѣ касается до свѣдѣнія по дѣлу смерти господина Горкина, то ничего особенного показать не могу, ибо, находясь на томъ берегу, ничего не слышалъ и не видѣлъ подозрительнаго».

— Но зачѣмъ же ты сюда припелъ эту солдатку Лукерью и пѣтуха — это странно! Къ чему это школьнічество? — жаловался Грунинъ.

— Какъ къ чему? Я нахожу, что это также точно важно и серьезно, какъ и всѣ эти показанія, — ткнулъ Криницынъ пальцемъ въ бумаги. — Не могу же я умолчать о такомъ фактѣ... Вѣдь ты, пожалуй, притянешь всѣхъ нась къ присягѣ?

— Этого требуетъ формальность.

— Ну вотъ, видишь-ли? Что это, опять къ тебѣ — слѣдственные волонтеры.

Въ окнахъ мелькнули тѣни лошадей и у крыльца раздался конскій топотъ.

— Это Шелобовъ, — выглянула Грунинъ. — Онъ условилсяѣхать вмѣстѣ со мною и съ другими офицерами провѣ-

рить лично показанія относительно слѣдовъ. Ты пойдешь съ нами?

— Нѣть, уволь! По такой жарѣ я не охотникъ до прогулокъ. Вечеркомъ, если хочешь. До свиданья! Приходи послѣ обѣда ко мнѣ—я тебя буду ждать съ холоднымъ крюшономъ съ гранатами. Это у насъ, въ глухомъ фортѣ, водится.

Въ дверяхъ Павелъ Петровичъ встрѣтился съ Шелобовымъ и адъютантомъ Ползунковымъ. Криницынъ почти незамѣтно раскланялся съ своими товарищами по батальону, — прикоснувшись къ козырьку фуражки. Оба вошедшіе посмотрѣли ему только вслѣдъ, а потомъ переглянулись между собою.

— Я къ вашимъ услугамъ, господа! Не прикажете ли прежде чаю? — въ качествѣ любезнаго хозяина привѣтствовалъ офицеровъ Анатолій Робертовичъ.

#### IV.

Природа наградила Павла Петровича Криницына красивою выѣшнотью, не отказала при этомъ и въ умѣ, и даже недюжинномъ. Онъ вступилъ на праздникъ жизни... но... сорвалось...

«Оскудѣніе» отозвалось въ немъ скорѣе, чѣмъ онъ ожидалъ... Онъ былъ выброшенъ за бортъ... пришлось бы тонуть, еслибы судьба, въ видѣ тетушки княгини и кузины Мэдъ, не усадила его на необитаемомъ островѣ, въ ожиданіи другого корабля, въ ожиданіи какой нибудь счастливой случайности, имѣющей дать ему возможность снова взобраться на палубу корабля жизни и занять свое мѣсто въ каютѣ.

Этотъ необитаемый островъ оказался «Глухимъ фортомъ».

Волею-неволею пришлось примириться съ обстоятельствами, пришлось оставить на время «праздникъ жизни» и поскучать въ одиночествѣ, подыскивая себѣ утѣшительныя иллюзіи...

Здѣсь, напримѣръ, можно отличиться на боевомъ полѣ: военная карьера вѣдь не прервана, она продолжается непрерывно и, конечно, представляетъ болѣе шансовъ на полученіе какого ни на есть вѣнка героя, а тѣмъ временемъ, скандалъ, поднятый кредиторами, постепенно уляжется. Вѣдь этому скандалу тетушка и кузина не дали разгорѣться во всю силу, ну и пусть онъ пока тѣчетъ, до прибытія пожарной команды... Время лѣчить все, время даже пассивно вліять на уплату

долговъ... и, кто знаетъ, что можетъ впредь случиться... Здѣсь, болѣе или менѣе защищенный, не жалкими земляными валами Глухого форта, а десятками тысячъ верстъ, отдѣляющими этотъ фортъ отъ Петербурга, и годовыми сроками какой бы то ни было переписки,—здѣсь онъ можетъ «отсидѣться».

Тяжело это отсиживаніе, невыносимо томительно дѣйствовало оно на душу Павла Петровича—и главная тягота заключалась въ томъ, что оно безсрочно... Кто знаетъ! Случайность—и оно прекратится завтра. Случайность—и оно затянется на долгіе годы.

Совершенно иныхъ, чуждыхъ условія о потребности жизни Глухого форта захватили врасплохъ Криницына... Онъ бы могъ примириться съ этими условіями, могъ бы ужиться съ новымъ кругомъ, съ новымъ положеніемъ вещей, но онъ смотрѣлъ на все это, какъ на нѣчто временное, вовсе ему не обязательное, и не ударили пальцемъ о палецъ ради сближенія. Къ нему не пошли навстрѣчу и установился постепенно родъ какой-то враждебности въ отношеніяхъ съ нимъ новыхъ товарищей.

На поклонъ одного изъ товарищѣй, онъ отвѣтилъ сухимъ, форменнымъ прикладываніемъ руки къ козырьку фуражки,—это вызвало смѣхъ; и онъ подглядѣлъ разъ какъ прaporщикъ Ползуновъ, мальчишка, сынъ писаря, передразнивалъ его грациозное движеніе. Одному изъ офицеровъ онъ сказалъ: *M-sieur такой-то*, тотъ даже обидѣлся и замѣтилъ, что онъ не мусъ, а своему государю капитанъ и крещень Фадѣемъ, а по отцу Николаевичемъ... «Не могу же я называть ихъ, какъ они привыкли между собою: Ванька, Федъка, Сашонокъ и пр.» писаль Криницынъ кузинъ Мэдъ, комично разсказывая этотъ случай, ради характеристики той ужасной трущобы, куда его закинула судьба. «Представь себѣ, описывалъ онъ ей свое житѣ-бытье. Вчера былъ батальонный праздникъ и здѣшніе офицеры дѣлали другъ другу визиты, это было презабавно: одинъ изъ офицеровъ зашелъ къ другому, выпили вмѣстѣ водки, закусили, утерлись рукавомъ—они не имѣютъ привычки употреблять для этого дѣла салфетки,—и отправились, уже вдвое, къ третьему—продѣлали тоже самое тамъ, и, уже втроемъ, потащились къ четвертому... Такъ росла цѣлая гурьба, и эта гурьба шаталась чуть не до вечера по улицамъ... Это смѣшно! Я принялъ, на всякий случай, мѣры: велѣлъ сказать, что меня

нѣть дома; но, слава Богу, они забыли о существованиіи моє квартиры...»

— Ко мнѣ прошу пирожка отвѣдать, Павелъ Петровичъ,—любезно пригласилъ его разъ фортовой батюшка, отецъ Павелъ.

Криницынъ пошелъ.

У отца Павла въ домѣ жила прехорошенькая племянница содила въ ситцевымъ платьѣ и въ косыночкѣ, прислуживалъ за столомъ и вѣчно улыбалась, показывая при этомъ свои ровные, бѣлые зубки. Офицеры форта ее очень любили, вѣчно баловали; старики гладили по головкѣ и называли птенчикомъ. молодежь посмѣвалась...

Криницынъ, на которого разъ Груня пристально заглядѣлась, поймалъ этотъ взглѣдъ и позволилъ себѣ шутку, по его мнѣнію очень остроумную и нисколько не оскорбительную.. Но Груня, должно быть, не съумѣла понять и оцѣнить этого вниманія... Глазенки ея вспыхнули и она не безъ язвительности произнесла:

— Вы, Павелъ Петровичъ, полагаете, что надѣя нами деревенскими дурами, такъ уже и можно надѣхаться?.. Извините напротивъ того... Мы тоже очень понимаемъ, что слѣдователь...

И Криницынъ тогда же замѣтилъ, что этотъ неожиданный отпоръ нашелъ себѣ общее сочувствіе и даже вызвалъ шумное одобреніе со стороны присутствующихъ.

— Молодецъ Грунях!—во все горло гаркнулъ кто-то въ сосѣдней комнатѣ гдѣ старики засѣли, послѣ завтрака, за партію «по маленькой».

Это все-таки опять мелочи, но вѣдь эти мелочи—вся жизнь въ Глухомъ фортѣ, здѣсь какъ то умѣютъ обходиться безъ крупныхъ событий... И съ каждымъ днемъ жизнь въ этомъ фортѣ становилась для Криницына невыносимой и невыносимой.

А тутъ, какъ на обиду, мирное положеніе особенно затянулось долго. На азіатскомъ горизонте было ясно, и грома пушекъ, окончательно, не предвидѣлось...

— О, Господи!—томился Павелъ Петровичъ.—Когда же придетъ эта счастливая минута, когда мнѣ можно будетъ вырваться отсюда снова на свѣтъ Божій...

Онъ не былъ виноватъ въ томъ, что этотъ *свѣтъ Божій* рисовался для него такъ ограниченно.

Цѣлые дни проводилъ онъ одиноко въ своей квартирѣ, появляясь только официально на своемъ мѣстѣ. Онъ приготовилъ и перечитывалъ массу французскихъ романовъ, которые ему высыпала, по временамъ, кузина Мэдъ. Она также высыпала ему «Journal Amusant», номера которого Криницынъ хранилъ особенно, даже саморучно подшивалъ ихъ по порядку. Когда спадалъ денней жаръ, онъ по нѣсколько часовъ прогуливался верхомъ на своемъ «Абреѣ» — и успѣлъ уже очень хорошо изучить всѣ тропинки мѣстности, лежащей вокругъ Глухого форта... Пробираясь въ густыхъ камышахъ, молодцовато сидя въ своемъ щегольскомъ сѣдлѣ, опершись рукою о ложу карабина, онъ мечталъ даже о разныхъ приключенияхъ, и всегда приходилъ къ одному: «что еслибы кузина Мэдъ, или кто нибудь изъ *нашихъ* увидѣлъ его въ этомъ интересномъ видѣ...» Но въ окрестностяхъ Глухого форта было, какъ нарочно, все покойно. Полувооруженные, жалкие бандиты не показывали болѣе своего носа...

Криницынъ часто писалъ въ Петербургъ своимъ друзьямъ обоего пола. Письма къ хорошенькой кузинѣ Мэдѣ были особенно подробны и длинны, какъ и ея отвѣты... И, надо сказать, что именно эти отвѣты наиболѣе болѣзненно разрывали сердце Павла Петровича. Кузина Мэдѣ краснорѣчиво описывала ему всѣ прелести свѣтской жизни, она пересыпала ихъ эпизодами хроники свѣта, она разжигала его любопытство, усиливая до нельзя его страстное желаніе поскорѣе вернуться.

Портретъ кузины Мэдѣ, красивой брюнетки, съ роскошно развитымъ бюстомъ и чудными округленными плечами, — стоялъ на самомъ видномъ мѣстѣ стола, а по вечерамъ переполнялся даже на ночной столикѣ.

Глаза этого портрета лукаво щурились и словно говорили... и Криницыну, при каждомъ пристальномъ взгляде на изображеніе своей красавицы, слышался нѣсколько глухой, гармонический, проникающій въ душу контратъ:

— Когда же ты появишься вновь на нашемъ горизонти — мой романическій герой... «иль на щитѣ, — иль со щитомъ?..»

И Павелъ Петровичъ повторялъ за этимъ голосомъ послѣднюю фразу, а такъ какъ онъ былъ человѣкъ умный и

романтизмомъ не особенно увлекающейся, то добавлялъ отъ себя:

— Во всякомъ случаѣ «не на щитѣ», ибо со щитомъ гораздо пріятнѣе.

V.

Теперь вернемся къ слѣдственному дѣлу.

Опытный спеціалистъ, Анатолій Робертовичъ Грунинъ, про-вель весь день въ розыскахъ и изслѣдованіи сльдовъ, въ обществѣ капитана Шелобова, старика Глухарева, его сына Павлуши и еще нѣсколькихъ офицеровъ. Въ его головѣ снова воцарилась мысль объ экстраординарномъ событии, онъ даже заявилъ объ этомъ громогласно своимъ спутникамъ,увѣряя ихъ, что для него сразу, съ первого взгляда на трупъ, было ясно все; что онъ не колеблясь, отрицаетъ всякую возможность приписывать настоящій, прискорбный случай простому разбою; при этомъ онъ привелъ цѣлый рядъ примѣровъ изъ хроники интересныхъ уголовныхъ процессовъ, сему дѣлу соотвѣтству-ющихъ... Говорилъ безъ умолку, вплоть до заставы Глухого форта и, при разставаніи, снова горячо поблагодарилъ гос-подъ офицеровъ за оказанное ему сочувствие и энергичное со-дѣйствіе.

Господа офицеры настаивали на повальномъ обыскѣ—и Грунинъ рѣшился наконецъ на этотъ рѣзкій, весьма щекотли-вый шагъ и на всякий только случай послалъ гонца къ вы-шесму начальству, прося тамъ о разрѣшеніи этого обыска. Дигита-туземца онъ отправилъ съ письмомъ секретно, ни слова ни сказавъ объ этомъ даже Павлу Петровичу, и очень былъ удивленъ полученнымъ изъ города отвѣтомъ. Удивленъ, огорченъ и сконфуженъ.

Ему писали:

Все, что найдеть онъ необходимымъ для раскрытия истины, бѣ него, какъ отъ спеціального слѣдователя, зависить лично. Поминали, что самъ онъ лично долженъ во всемъ согласо-ваться съ законами, конечно, ему, какъ спеціалисту, хорошо извѣстными... и тому подобное...

Даже покраснѣлъ до ушей Анатолій Робертовичъ, читая по-лученную бумагу, и вопросъ о повальномъ обыскѣ былъ имъ порѣшенъ теперь безповоротно.

— И такъ,—не безъ язвительности началъ было Павель Петровичъ, случайно пакрывшій своего, друга какъ разъ въ ту минуту, когда онъ давалъ «на чай» вернувшемуся джигиту.

— Конечно!—горячо прервалъ его Грунинъ.—Разъ я нашелъ это необходимымъ, я не долженъ останавливаться передъ какими-то нелѣпыми предразсудками... И къ чему тутъ «честь мундира», что за глупая фраза!—Нашли улики,—ты воръ—и снимай съ себя этотъ мундиръ; не нашли ничего,—носи его на здоровье... Паконецъ, столько примѣровъ... Вотъ тебѣ недавній, и счѣпъ подхоящій... Въ окрестностяхъ Мадрида...

Но Павлу Петровичу, впрочемъ, некогда было слушать о томъ, что недавно случилось въ окрестностяхъ Мадрида, онъ прервалъ разсказъ въ самомъ началѣ легкимъ пожатіемъ руки и словами: «Pardon, mon ami», и не спѣша, запагалъ по улицѣ, придерживаясь тѣневой стороны, сбивая кончикомъ хлыста головки густо выросшихъ у глиняного забора крапивы и репейника.

По постановленію Грунина, квартиры коменданта и фортowego священника были освобождены отъ обыска. Но комендантъ воспротивился этой льготѣ, объяснивъ, что обыскъ, именно, долженъ начаться съ его квартиры и съ самою нарочитою строгостью «для примѣра прочимъ». Отецъ же Павель заявилъ просто, что онъ сего исключенія не допустить по христіанскому смиренію, ибо Единъ Богъ безъ грѣха!

Дѣлать было нечего. Начали обыскъ съ комендантского помѣщенія.

Всѣ жители форта, военные и невоенные, ровно какъ и туземцы, обязаны были въ данный день и часъ оставить свои жилища и выйти на площадь, на «эспланаду», какъ здѣсь привыкли выражаться. Ко всѣмъ жилымъ и нежилымъ помѣщеніямъ поставлены были парные часовые со строгимъ наказомъ никого не впускать «до приказанія».

Обыскъ долженъ былъ производить, конечно, самъ следователь съ помощниками: двумя депутатами отъ военного сословія и двумя отъ мирныхъ обывателей. Грунинъ самъ выбралъ себѣ первыхъ двухъ: Криницыча и Шелобова, но Павель Петровичъ наотрѣзъ отказался отъ такой чести и его мѣсто заступилъ молодой Глухаревъ.

Обыскъ производился довольно поверхностно и быстро: входили въ квартиру, отпирали замки, гдѣ только таковые наход-

дились, наскоро осматривали, за тѣмъ запосили въ протоколь, что, молъ, все обстоитъ благополучно и ничего подозрительчаго не найдено, и снимали часовыхъ... Добрались такимъ образомъ до квартиры Криницына.

Здѣсь именно мирный, нѣсколько скучный своимъ однообразiemъ характеръ обыска измѣнился. Неизвѣстно почему— квартира эта овладѣла общимъ интересомъ. Всѣ обыватели Глухого форта столпились сюда, занявъ пестрыми группами плоскія крыши сосѣднихъ, осмотрѣнныхъ уже строеній. Капитанъ Шелобовъ перекрестился, переступилъ порогъ этой квартирь, глаза молодого Глухарева горѣли лихорадочнымъ огнемъ и его лицо было блѣдно отъ волненія, отецъ Павель глубоко вздохнулъ, смиренно склонивъ на бокъ свою гладко расчесанную голову; депутаты отъ мирныхъ гражданъ, татаринъ-маркитантъ Шафиръ и отставной горнистъ, Мойша Лудель, застучили рукава и попросили лопаточки... Батальонныя дамы молкли, а до сей минуты онѣ щебетали, какъ скворцы надъ мельницей... Комендантъ, полковникъ Огурчиковъ, почему-то рѣшился, несмотря на жару, застегнуться на всѣ пуговицы... Гробовое молчаніе царило въ группѣ столпившихся въ кучу офицеровъ.

Криницынъ не могъ замѣтить всего этого и стоялъ поодаль; блѣдный, какъ полотно, судорожно стиснувъ въ своихъ зубахъ мундштукъ папиросы...

Только Грунинъ должно быть ничего не замѣчалъ и весело крикнулъ своему другу:

— Ну вотъ, Поль, мы и къ тебѣ съ визитомъ!

Онъ даже вспомнилъ о крюшонѣ съ гранатами, едва только замѣтилъ, черезъ отворенную настежь дверь, предназначенную для такого прохладительного дѣла, сверкающую на столѣ посуду.

Тутъ сказалось общее недоброжелательство къ Криницыну. Чуть не цѣлый часъ копались депутаты въ его квартирѣ. Молодой Глухаревъ весь вывалился въ пыли, лазя подъ кровать и заглядывая подъ шкафы и прочую мебель. Шелобовъ внимательно осматривалъ помѣщеніе и движениемъ глазъ указывалъ маркитанту и эксъ-горнисту, где надо «принадечь съ особымъ рвениемъ». Грунинъ любовался портретомъ кузины

Мэдъ, и даже потянулъ его изъ рамки, любопытствуя, нѣтъ ли чго написаннаго тамъ, сзади. Смотрѣли ковры и подъ ними, перерывы и перешупали всѣ ящики, обратили должное вниманіе на чердакъ и полы, въ одномъ мѣстѣ даже половицы были приподняты, ощупали и вскрыли подушки постели и сѣдель, заглянули въ конюшню, въ чуланъ къ денщику... и, въ концѣ концовъ, съ видомъ полнаго недоумѣнія, подписались подъ протоколомъ того же невиннаго содержанія.

У большинства присутствующихъ словно отлегло на душѣ. Сдержанное молчаніе разрѣшилось оживленнымъ говоромъ. Отецъ Павель сотворилъ крестное знаменіе и привѣтливо кивнулъ головою въ сторону, где стоялъ Криницынъ: «поздравляю, молъ, и душевно радуюсь!» Комендантъ повеселѣлъ, и не только что разстегнулся снова, но даже потянуль съ потной шеи, досадно лѣзущій подъ самыя уши, форменный галстукъ и сунулъ его въ карманъ; только дамы форта какъ будто бы остались недовольны результатами осмотра, за исключениемъ одной Групи, громогласно произнесшей.

— Ну, Слава Тебѣ, Владычица Небесная!

Казалось, все шло въ общему благополучію, но тутъ случилось одно обстоятельство, совершенно неожиданное, сразу нарушившее общее благодушное настроеніе.

— Наплюй и брось ты это дѣло! — шепнулъ Шелобовъ молодому Глухареву, все время не спускавшему глазъ съ Криницына...

— Нѣть, я этого такъ не оставлю! — задорно огрызнулся Павлуша, и прежде чѣмъ кто-нибудь могъ помѣшать ему въ этомъ, подскочилъ вплотную къ Павлу Петровичу.

— А позвольте-съ узнать, по какому слушаю у васъ на столѣ оказался этотъ предметъ?

Молодой человѣкъ держалъ въ своей рукѣ карточку Нади, вертя ее чуть не передъ самымъ носомъ Криницына.

Тотъ отодвинулся немнogo, видимо озадаченный такою неожиданною атакою, и удивленными глазами смотрѣлъ на разгорячившагося мальчика.

— Изволили вы когда-нибудь знать эту особу?.. И по какому праву овладѣли ея портретомъ, на которомъ даже написано, что онъ принадлежитъ не вамъ, а покойному отцу ея, Федору Петровичу?

Криницынъ тутъ только понялъ въ чемъ дѣло. Онъ чуть было не расхохотался, и, играя хлыстомъ, снисходительно, свысока глядя на и противника, произнесъ:

— Ну, это, молодой человѣкъ, положимъ не ваше дѣло! я вамъ отчета давать не намѣренъ...

Онъ хотѣлъ было продолжать, что особы этой онъ совсѣмъ не знаетъ, что эта карточка на его столѣ простая, не винная случайность, что если особыа извѣстна лично Павлушъ и онъ почему либо интересуется ею, то можетъ сохранить карточку у себя... Онъ даже хотѣлъ закончить свою тираду легкимъ замѣчаніемъ и совѣтомъ впредь не горячиться такъ, ибо и пылкое заступничество подобного рода можетъ слегка компрометировать ту, за которую непрошенно заступаются... Однимъ словомъ, онъ хотѣлъ, можетъ быть, и порисоваться немножко, но сдѣлалъ послѣ первыхъ словъ маленькую паузу, а этой паузы было совершенно достаточно, чтобы молодой Глухаревъ, вспыхнувъ до невозможности, успѣлъ громогласно произнести:

— Хлыщъ! Петербургскій фазанъ!

Какъ разъ въ это критическое мгновеніе въ дѣло успѣль вмѣшаться полковникъ Огурчиковъ.

Онъ слышалъ все, сообразилъ, пробрался къ ссорящимся и во все горло крикнулъ:

— Молчать!.. Господинъ адъютантъ, прапорщикъ Ползунковъ! Посадить подъ арестъ Павлуш... Тыфу ты, Господи! подпоручика Глухарева, за неумѣстное выраженіе... во фронтъ... то бишь—въ публичномъ мѣстѣ... въ присутствіи начальства... сю минуту!..

— Я говорилъ тебѣ,—укоризненно замѣтилъ провинившемуся Шелобовъ.

— Посиди, братъ, остынь!—неодобрительно покачалъ головою самъ Павелъ Акимовичъ и направился къ Криницыну.

— Вы ужъ батюшка, Павелъ Петровичъ, не взыщите съ сына... Молодъ, горячъ... Вы, вѣдь, многаго здѣсь не знаете...

— Вашъ сынъ носитъ мундиръ и можетъ отвѣтить самъ за себя,—холодно замѣтилъ Криницынъ и прошелъ къ себѣ въ калитку, отсалютовавъ двумя пальцами господамъ офицерамъ.

До ушей побагровѣлъ старикъ Глухаревъ за свое извиненіе и съ минуту стоялъ передъ захлопнутую передъ его носомъ

калиткою, потупивъ сѣдую, усатую голову, уставивъ осоловѣлые глаза на концы тяжелыхъ, запыленыхъ сапогъ.

— Пойдемъ, Ваня, къ отцу Павлу на поросенка!— позвалъ его Шелобовъ, потянувъ за рукавъ кителя.

## VI.

Верстахъ въ шести отъ Глухого форта, не па той зарѣчной, степной сторонѣ, гдѣ на сотни верстъ разстилалась голодная пустыня, безъ признака какого-нибудь жилья, а на этой, подъ кручею, когда-то матераго берега, въ тѣни развѣсистыхъ вѣковыхъ карагачей и тутовыхъ деревьевъ—уютно раскинулся кишлакъ Бешь-арыкъ.

До прибытія русскихъ, значить, и до возведенія Глухого форта, этотъ кишлакъ игралъ видную роль: здѣсь была постоянная стоянка всѣхъ каравановъ, идущихъ въ Бухару и оттуда; здѣсь все кипѣло жизнью: длинный, крытый базарь пестрѣлъ туземными товарами... Теперь стало не то. Караваны пошли стороною, на новую, русскую, конечно болѣе скорую и удобную переправу, и Башь-арыкъ на двѣ трети опустѣлъ, обезлюдѣлъ и стихъ.

Только въ центральной его части, выдвинувшейся къ самой дорогѣ, сохранились еще слѣды прежней жизни. Здѣсь— маленькая площадь перекрестка все еще, особенно подъ вечеръ, кишѣла народомъ; здѣсь сгруптировались нѣсколько лавочекъ со сбруею, зеленымъ чаемъ, кунжутнымъ масломъ, тертымъ табакомъ, дешевымъ краснымъ товаромъ и прочими потребностями скромной туземной жизни; здѣсь же самое видное мѣсто занималъ чай-хане (постоялый дворъ съ продажею чая распивочно) купца Миробая, лица, очень вліятельного во всей окружной мѣстности, человѣка со средствами, владѣльца четырехъ женъ и двухъ красивыхъ батчей, мальчиковъ-прислужниковъ при наливаніи и разносکѣ чая.

Никто изъ туземцевъ не позволялъ себѣ проѣхать мимо, не остановившись хотя на нѣсколько минутъ подъ гостепріимнымъ, тѣнистымъ и прохладнымъ павѣсомъ чай-хане,—посидѣть на чистыхъ циновкахъ, глотнуть плоскую чашечку ароматнаго «кокчая», затянутъся дымкомъ кальяна и перекинуться словомъ, другимъ съ достопочтеннымъ, уважаемымъ Миробаемъ...

А у этого самаго Миробая всегда можно было узнать всѣ новости дня: отъ мелкихъ событій до высшей политики включительно... Вѣдь съ Миробаемъ самъ генераль-губернаторъ знакомъ,— и двухъ лѣтъ не прошло, какъ, проѣздомъ въ степь, самъ генераль останавливался у Миробая,— колесо соскочило у коляскѣ,— чай чилъ, говорилъ ему ласковыя слова, халатъ приказалъ дать, зеленый съ голубыми полосками и, даже,— это уже всѣ видѣли,— прощаюсь, хлопнувъ его по плечу и сказавъ: «якши!..» А «якши» значитъ: хорошо,—то-есть, самъ генераль-губернаторъ очень Миробаемъ доволенъ и вѣроятно напишетъ, если не написалъ уже, о немъ самому Акъ-паша.

Сюда, въ Бешь-арыкъ, навѣдывались и русскіе офицеры изъ Глухого форта, и всегда тоже останавливались у Миробая, но чаще всѣхъ пріѣзжалъ на своемъ Абрекѣ тюра (начальникъ) Криницынъ; привозилъ леденцы Алибею и Мамуну, батчамъ-прислужникамъ, и здоровался съ Миробаемъ всегда за руку, какъ равный съ равнымъ.

Купецъ Миробай очень дорожилъ вниманіемъ къ нему русскихъ вообще—и дружбою офицеровъ въ особенности... Онъ сознавалъ, что это, во-первыхъ, усиливаетъ къ нему почетъ его земляковъ, а во-вторыхъ... Мало ли что можетъ случиться во-вторыхъ? Вотъ, напримѣръ, русскіе строго-на-строго запретили торговлю опіумомъ, особенно раскурочную, а могутъ же, несмотря на почетъ и вліяніе Миробая, найтись какіе-нибудь нехорошіе люди, завидующіе его положенію, и шепнуть гдѣ слѣдуетъ о существованіи якобы на заднемъ дворѣ чайхане специальныхъ помѣщеній для кукнаръ-базовъ, то-есть для курильщиковъ опіума—«ганаші». Притоны же подобные, хотя и опасны для содержателей, но зато соблазнительно прибыльные.

Миробай былъ очень хороший человѣкъ,— и во снѣ, и наяву бредилъ о той счастливой минутѣ, когда, долженъ же онъ, въ поощреніе прочимъ, получить отъ начальства большую медаль на красной лентѣ, съ желтыми полосочками по краямъ.

И онъ былъ глубоко увѣренъ, что медаль эту рано или поздно, а непремѣнно получить.

Вечерѣло... Крутизна обрыва покрыла уже сплошною тѣнью кишлакъ Бешь-арыка; карагачи и базарные навѣсы усилили

этъ тѣнь и Миробай распорядился повѣсить на косой жерда большой бумажный фонарь, когда по мощеной крупнымъ камнемъ улицѣ, звонко щелкнули подковы коня и красноватый свѣтъ фонаря упалъ на бѣлый витѣль Павла Петровича.

Криницынъ имѣлъ привычку каждый день проѣзжать своего коня, а дорога къ Бешь-арыку была одна изъ самыхъ пріятныхъ для вечернихъ прогулокъ.

— Аманъ Тюра! — привѣтствовалъ его Миробай, тяжело поднимаясь съ мѣста.

Алибей и Мамунъ бросились къ лошади, одинъ къ по-водьямъ, другой къ стремени, и тоже весело привѣтствовали пріѣзжаго, помогая ему слѣзть, и уже поглядывали искрящимися глазками на оттопыренныя кобуры сѣдла, гдѣ, по обыкно-венію, всегда находились предназначенные для нихъ сласти.

Павелъ Петровичъ едва отвѣтилъ на привѣтствіе. Онъ имѣлъ видъ почему-то крайне усталый, и тотчасъ растянулся на циновкахъ, подтянувъ себѣ подъ голову шелковую подушку валикомъ.

— Чайо хочешь, тюра? Кальянъ... пилавъ только что сварили...

Алибей, босоногій, въ одной только длинной, красной рубахѣ, подпоясанной золотымъ шнуркомъ, граціозно стоя передъ Криницынымъ на одно колѣно, предлагая дымящійся кальянъ.

— Ну, какъ здоровье могучаго, достоуважаемаго коменданта, полковника Огурчикова? — заговорилъ хозяинъ, очевидно этикета ради, и, не дождавшись отвѣта, добавилъ самъ же:

— Должно быть очень хорошо... что ему дѣлается... Аллахъ ко всѣмъ многомилостивъ... Ты самъ вотъ, тюра, здоровъ ли?..

Миробай пристально поглядѣлъ въ лицо Криницына, толь отвернулся.

— Я-то здоровъ... а вотъ что...

Офицеръ приподнялся на локоть и внимательно сталъ всматриваться въ темноту опустѣлагао къ ночи базара.

— Алибей! — крикнулъ догадливый хозяинъ. — Ты садись на лошадь господина, а ты, Мамунъ, потихоньку води ее за поводъ... Видите, какъ она вспотѣла! Да не здѣсь водите, по камнямъ, а туда ступайте, дорога мягкая... Ну, живо!

Павелъ Петровичъ улыбнулся. Мальчики мигомъ поняли своего патрона и тоже размѣнялись лукавыми улыбками.

— Такъ вотъ оно какъ все вышло... и-да! — произнесъ Миробай, глубоко вздохнувъ, когда голоса батчей и щелкотня подковъ, постепенно удаляясь, стихли гдѣ-то за поворотомъ.

— Такъ! — пожалъ плечами Криницынъ.

Помолчали съ минуту.

— Этотъ большой чиновникъ, что отъ самого генераль-губернатора пріѣхалъ, — прервалъ молчаніе Миробай, — вѣдь онъ тебѣ другъ будетъ, самый близкій человѣкъ, вотъ!

Татаринъ показалъ для большей выразительности два пальца, сжатые вплотную.

— Да, ты почему же знаешь?

— Миробай все знаетъ... Миробай все долженъ знать... У Миробая вездѣ глаза и вездѣ уши...

— Знаю!.. — Криницынъ гадливо отодвинулся отъ этого остроносаго старика, сидѣвшаго передъ нимъ на корточкахъ.

Опять помолчали немного, словно выжиная другъ друга.

— Большой дуракъ! — произнесъ Павелъ Петровичъ.

— Есть у насъ хорошая пословица: «дуракъ-другъ хуже умнаго врага», — согласился Миробай, очевидно не принявший на свой счетъ слова гостя.

---

Тихо было вокругъ, но собесѣдники говорили еще тише, и любопытный Мамунъ, оставивъ своего товарища при дѣлѣ, какъ ни подобрался близко, положительно не могъ разслышать ни одного слова, кромѣ послѣдней фразы русскаго:

— Однако, поздно! Пора уже иѣхать!

Батча, какъ кошка, беззвучно прыгая съ камня на камень, пустился за лошадью, и черезъ минуту, подъ сводами базара, снова защелкли подковы Абрека, послышалось его сдержанное ржаніе и звонкіе голоса мальчиковъ, усердно сосавшихъ привезенные имъ леденцы.

— Есть у меня къ тебѣ большая просьба, — говорилъ Миробай, самъ уже помогая Криницыну сѣсть на сѣдло.

— Ну, что такое? говори, не стѣсняйся!

— А вотъ что: твой другъ, о которому мы съ тобой говорили... Вѣдь онъ отъ самого генераль-губернатора пріѣхалъ?

— Отъ самаго...

— Генераль, значитъ, позвалъ его и сказалъ: «Ну, ты пожайлъ..» такъ что ли?

— Должно быть, что такъ.

— Генералъ, значитъ, говоритъ съ нимъ, и онъ говоритъ съ генераломъ?

— Говорить!

— Такъ ты скажи ему, твоему другу, чтобы онъ напомнилъ обо мнѣ генералу, о Миробаѣ значить... Если Шарикъ, рыжей собакѣ, дали медаль за то только, что онъ проныра и лисица, такъ мнѣ, Миробаю... Вѣдь ты понимаешь?

— Понимаю и скажу!—коротко отвѣтилъ Криницынъ и тронулъ Арбека концомъ нагайки.

Нервный конь вздрогнулъ и поднялся на дыбы.

— Прощай тюра! Помни всегда, что Аллахъ многомилостивъ!—крикнулъ хозяинъ вслѣдъ \*гостю.

— Прощай!—послышалось уже далеко по выездѣ изъ кишлака.

— Единъ Богъ, единъ!.. и все въ Его власти... Ну, тушите огонь и пора спать!—распорядился хозяинъ.

И въ кишлакѣ Бешь-арыкѣ, черезъ нѣсколько минутъ, стихло все окончательно.

---

Дорога къ Глухому форту выдѣлялась въ темнотѣ чуть замѣтною лентою, сплошныя стѣны камыша по сторонамъ словно перешептывались между собою... Абрекъ шелъ ходкою переступью, строго поводя своими острыми ушами... и скоро впереди показались темныя, приземистыя массы строеній форта и заискрились огопыки въ окнахъ, ближайшихъ къ окраинамъ домиковъ.

Проехавъ мимо дома Горкина, Павель Петровичъ замѣтилъ въ окно фигуру своего друга, уныло сидящую передъ столомъ, сплошь заваленнымъ листами исписанной бумаги.

Здѣсь онъ слѣзъ съ коня, отправилъ его съ вѣстовамъ казакомъ къ себѣ домой, а самъ поднялся на крыльцо.

— Ахъ, это ты?! Я очень, очень радъ!..—оживился Анатолій Робертовичъ, протягивая своему пріятелю обѣ руки.—Я даже послалъ за тобою, но мнѣ сказали, что ты уѣхалъ и куда—неизвѣстно... Очень, очень радъ! Садись!.. Вотъ кресло... Хочешь чаю!.. Впрочемъ, мы сейчасъ будемъ ужинать...

— Ну, какъ твои дальнѣйшия подвиги на пути открытій? Поймалъ? нашелъ, накрылъ, засыпалъ?.. а?.. Ну, подѣлись же со мною твоими радостями... Разскажывай!

Павель Петровичъ проговорилъ свою тираду веселымъ голосомъ, одобрительно хлопнуль по плечу Грунина, подмигнуль ему на бумажную гору и, сибаритомъ, не усѣлся, а скорѣе улегся, въ большое складное кресло, затрещавшее слегка отъ его довольно вѣской, хотя истройной фигуры.

— Ахъ, оставь это глупое дѣло!—досадливо махнулъ рукою Анатолій Робертовичъ. Оно мнѣ положительшо пачинаетъ надоѣдать...

— Неужели?!

Криницынъ сдѣлалъ комически удивленный видъ

— А что же блестящіе результаты обыска? Я тебя положительно не понимаю! Вѣдь, не даромъ же ты поднялъ всю эту глупую и грязную кутерьму. Весь этотъ пошлый балаганъ, въ которомъ ты игралъ роль первенствующую, роясь въ грязномъ бѣлье, въ навозныхъ кучахъ, выпуская на волю крысъ, мирно обитавшихъ въ подпольяхъ. Не даромъ же... Ну, кто же убѣїца?

Тутъ только замѣтіе Грунина, что его другъ вовсе не такъ весело настроенъ, какъ могло показаться съ первого взгляда. Тонкія, сухія губы Павла Петровича характерно сжалась, глаза горѣли недобрымъ блескомъ.

— Что съ тобою?—заботливо произнесъ онъ.—Ты такъ взволнованъ. Охота, право, вспоминать тебѣ обо всѣхъ этихъ, дѣйствительно глупыхъ и нелѣпыхъ, но необходимыхъ формальностяхъ.

— Формальностяхъ!—повторилъ сквозь зубы Павель Петровичъ.—Ну, хорошо. Чѣмъ же ты меня будешь подчигивать, что у тебя за ужинъ?

— Не знаю! Это комендантъ распорядился. Онъ звалъ меня къ себѣ, но, право, неловко какъ-то, я сослался на усиленныя работы и отказался. Человѣкъ! что тамъ есть? сервировать здѣсь, вотъ на томъ столѣ!.. да распорядились бы, чтобы ставни что ли поставили—шторъ нѣтъ, такое, право, неудобство!

Пока «сервировали» ужинъ: блюдо заливной осетрины мѣстнаго лова, жареныхъ фазановъ, дымящіяся пельмени и прочіе продукты комендантской кухни—Анатолій Робертовичъ изливался въ откровенностяхъ передъ своимъ пріятелемъ.

Онъ, видите ли, откровенно сожалѣть, что поддался вліянію нелѣпыхъ бредней здѣшнихъ идіотовъ, осложнившихъ

этимъ такое простое и ясное дѣло. Вѣдь обыскъ не привель ни къ какимъ желательнымъ результатамъ; ничего не было найдено подозрительного, за что хоть бы уѣхать можно было... что основанія, на которыхъ можно было бы дать дѣлу такое странное и щекотливое направление, крайне шатки, и онъ охотно бы вычеркнулъ изъ слѣдственного дѣла всю эту часть, но, къ сожалѣнію, это положительно теперь уже невозможно. Сознался, наконецъ, господинъ специальный слѣдователь, что все это его затрудняетъ на столько, что онъ не знаетъ какъ свести концы съ концами и выйти, болѣе или менѣе, съ честью изъ положенія, дѣйствительно имѣющаго немнога комическій характеръ.

Грунинъ все это высказывалъ на французскомъ языкѣ, въ виду суетливаго присутствія въ комнатѣ денщика и вѣсто-ваго казака, накрывавшихъ столъ, и закончилъ наконецъ приказаніемъ прислугѣ убираться вонъ и не входить болѣе, безъ зова.

Подвинулись къ столу. Грунинъ налилъ водки... Криницынъ ужинать отказался наотрѣзъ и закурилъ сигару, извинившись при этомъ передъ хозяиномъ, и вполнѣ увѣренный, что ароматъ табачнаго дыма не повліяетъ дурно на его апнетитъ...

За ужиномъ разговоръ шелъ больше насчетъ пріятныхъ воспоминаній о Петербургѣ и объ общихъ знакомыхъ. Вспоминалось и школьное житѣ-бытье, когда онъ, Грунинъ, уже щелкалъ шпорами и замѣчательно ловко и изящно дирижировалъ кадрилью на балѣ у князя П.

Павелъ Петровичъ говорилъ, впрочемъ, очень мало, больше слушалъ и даже не улыбнулся ни разу, и на вопросъ своего друга:

— Такъ какъ же, топ cher,—ты такъ и намѣренъ застรять здѣсь, въ этой трущобѣ, или думаешь, наконецъ, вернуться на свѣтъ Божій. Когда же это сбудется?

Отвѣчалъ коротко и ясно:

— Теперь скоро!

— И такъ выпьемъ же, мой дорогой Поль, за твоё воскресеніе...

Анатолій Робертовичъ потянулся за бутылкой портвейна, стоявшей передъ Криницкимъ, и тутъ только заметилъ, что она совсѣмъ пуста.

— Однако мнѣ спать хочется!—лѣниво потянулся Павелъ Петровичъ...—Я не хочу итти домой... Я лягу здѣсь, на этомъ диванѣ, и...

— Ахъ, я очень, очень радъ,—перебилъ его Грунинъ, вскочивши со стула...—Я распоряжусь сейчасъ. Эй, человѣкъ!..

— Ничего не надо. Тамъ подушка есть... Пожалуйста, оставь людей въ покоѣ... Вели только убрать все это...

Криницынъ брезгливо покосился на обѣдки ужина и сталъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ.

Пришли люди, оба изрядно заспанные, убрали столъ, разоблачили Грунина и уложили его въ постель. Вытянулся и Криницынъ на диванѣ, не раздѣвалась, не снимая даже сапогъ.

— Ты кажется здѣсь совсѣмъ отвыкъ отъ комфорта, отъ своихъ европейскихъ привычекъ?..—замѣтилъ Анатолій Робертовичъ.

Криницынъ не отвѣчалъ.

— Ты уже заснулъ?.. А я, знаешь, не могу. Я непрѣмѣнно долженъ перебрать въ головѣ всѣ впечатлѣнія дня, аналиизировать ихъ, привести въ систему, и потомъ уже...

Криницынъ неожиданно поднялся съ дивана, подошелъ къ столу и потушилъ свѣчи...

— Ты это, конечно, можешь все продѣлать въ потемкахъ,—сказалъ онъ, снова ложась на диванъ...

Странна показалась Грунину эта рѣзкая выходка, но особенно озадачило его то, что онъ не узналъ теперь голоса своего друга... Послѣднюю фразу произнесъ будто кто-то другой, посторонній...

Грунинъ объяснилъ это, про себя конечно, опорожненной бутылкою портвейна—и сталъ «анализировать...»

Прошло такимъ образомъ полчаса, можетъ быть и больше немногого... Анализъ Грунина сталъ принимать формы туманныя, расплзающіяся,—уже онъ даже и похрапывать началъ, потянувъ себѣ на ухо байковое одѣяло...

— А знаешь, я тебѣ сообщу нѣчто, крайне для тебѣ интересное!..—громко произнесъ Криницынъ, прервавъ дремоту Грунина.

— А... что такое, что случилось?.. что ты сказалъ?!

— А вотъ услышишь... сейчасъ... Ты бы очень хотѣлъ самыиъ блестательнымъ образомъ закончить твое слѣдствіе...

Лти убийцу, арестовать его—распутать, такъ сказать, всѣ нити и дать правосудію полное торжество!.. А! хотѣлъ бы?.. Говори откровенно!..

Анатолій Робертовичъ торопливо принялъ чиркать спичкою...

— Не надо! — остановилъ его Криницынъ,—для ясности дѣла, темнота въ комнатѣ не мѣшаетъ... Не надо же!..

Сильнѣйшее раздраженіе слышалось въ голосѣ Криницына... Анатолій Робертовичъ начиналъ трусить... и машинально щупалъ стѣну около кровати, словно отыскивая, на всякий случай, электрическую пуговку, но въ Глухомъ форѣ не дошли еще до такихъ удобствъ.

— Я тебѣ скажу просто и коротко... — продолжалъ Криницынъ. Федора Горкина убилъ и ограбилъ я... Ну, а теперь, покойной ночи!..

Павелъ Петровичъ повернулся къ стѣнѣ лицомъ и замолчалъ.

Несмотря на запрещеніе, Анатолій Робертовичъ все - таки справился со спичками, и слабый свѣтъ загораяющейся свѣчи освѣтилъ комнату.

— Поль, ради Бога! Поль... такъ вѣдь не шутятъ... Объяснись же пожалуйста... ну, что за глупости... Ну, подумай только... Поль!..

Онъ растерялся и струсили и почти повѣрилъ—повѣрилъ и обрадовался... Да, это пріятное, чуть развивающееся подъ давленіемъ волненія и страха чувство, робко дрогнувшее въ это сердцѣ, было началомъ радости... Ему даже отчетливо припомнился подходящій случай въ окрестностяхъ Мадрида.

— Объяснись же, Поль,—повторялъ онъ почти машинально.

— Изволь, объяснюсь! Слушай внимательно!

Криницынъ говорилъ, не мѣня позы, и Грунинъ видѣлъ только его затылокъ и бѣлый китель, гладко обтягивающій широкую спину и стройную талию.

— Послушай, мой милый, неужели ты ничего не замѣтилъ особенного во время слѣдствія, а главное во время твоего обыска?..

Павелъ Петровичъ подчеркнулъ слово «твоего».

— Ты видѣлъ ясно, что всѣ и все подозрѣваютъ въ убийствѣ Горкина меня одного... У меня рылись какъ на призѣ, у меня перевернули вверхъ дномъ все, въ полной увѣренности

найти наконецъ явная улики... На меня смотрѣли, какъ на убийцу и вора... и—дуррраки!.. какія они глупыя и пошлые состроили рожи, когда остались съ носомъ! Но вѣдь это они—идиоты, полудикари! а ты—психологъ, тонкій изслѣдователь человѣческой души... Ты-то какъ же прозѣвалъ все, во время своего дружескаго визита?

Криницынъ опять принаелъ на послѣдніемъ словѣ.

— Да, конечно, я замѣтилъ что-то странное: я, впрочемъ, не придалъ этому обстоятельству никакого значенія...—оправдывался Грунинъ.—Я только констатировалъ фактъ, что тебя здѣсь не особенно долюбливаютъ... Я понимаю это...

— Недолюбливаютъ... Нѣтъ, этого мало... Меня здѣсь не навидятъ... Мне тяжело здѣсь... Мне здѣсь невыносимо!.. И я тебѣ скажу откровенно... Я здѣсь, дѣйствительно, способенъ быть бы кого-нибудь убить и ограбить, чтобы только имѣть возможность вырваться изъ этой тюрьмы, изъ этой пыточной ямы..

— Мон рапуге амі... О, я тебя теперь понимаю... Но къ чему же такъ волноваться?.. Вѣдь ты же самъ говоришь, что это все скоро кончится...

— Скоро!.. Могло бы затянуться на вѣки!.. еслибы не Горкинскія деньги.

— Ты опять начинаешь шутить,—пугливо оглядывался Грунинъ.

— Шучу, конечно... А ты ужъ и обрадовался. Вотъ какъ, моль, легко стяжать себѣ лавры, а тамъ и карьеру... Нѣтъ, погоди немножко... Это не такъ легко, какъ тебѣ кажется... Я еще въ дѣствѣ читалъ одну испанскую сказку... Ты, кстати, такъ любишь эпизоды въ окрестностяхъ Мадрида; впрочемъ, это было немножко дальше... въ Пиринеяхъ... Горы такія есть, большія, граничатъ съ Франціей... Такъ тамъ одинъ пастухъ все гонялся за золотою мухой... Прыйгаль за ней по скаламъ, рискуя головою на каждомъ шагу, ловилъ долго и, наконецъ, поймаль... но уже больше ни гонялся... Золотая муха насквозь прожгла ему руку... и улетѣла... Ты, мой другъ, когда становишь ловить, надѣтай, на всякий случай, перчатку потолще...

Замолчалъ Криницынъ... Молчалъ и Антонъ Робертовичъ.

— Меня оскорбляли на каждомъ шагу,—снова заговорилъ Павелъ Петровичъ,—и не давали повода придраться къ оскорблению... Наконецъ, меня оскорбили явно... это было при тебѣ...

Я радъ, я очень этому радъ... Глущая вспышка поросенка, жалкаго мальчишки, нестоющаго моего щелчка, даетъ мнѣ выходъ — я на немъ сорву все, за всѣхъ. Я пошлю ему вызовъ... Ты, вѣдь, конечно, не откажешься быть моимъ секундантомъ...

Грунинъ поблѣднѣлъ, какъ полотно, и въ душѣ своей проклялъ ту минуту, когда такъ радушно подхватилъ рѣшеніе своего друга провести ночь подъ однимъ съ нимъ кровомъ...

— Объ этомъ надо говорить серьезно,—началъ онъ.—Ты вѣдь знаешь, что мое официальное положеніе, какъ слѣдователя, какъ лица обязаннаго не только чтить и исполнять законы государства, но...

— Успокойся... Тебя не приглашу... Да мнѣ секундантовъ и не нужно. Развѣ здѣсь дуэль мыслима!.. Мой вызовъ покажутъ просто коменданту, а затѣмъ... А все-таки я пошлю... Не потому пошлю, чтобы меня дѣйствительно мучила выходка мальчишки, скорѣе смѣшная, чѣмъ оскорбительная, а такъ... это мнѣ пригодится впослѣдствіи... Однако, все-таки... Кто же по твоему убилъ Федора Горкина?..

Тутъ уже въ свою очередь Анатолій Робертовичъ принялъ тонъ успокоительный и даже нѣсколько поучительный, и очень былъ доволенъ, что Криницынъ, самъ Поль Криницынъ, его, повидимому, внимательно и даже почтительно выслушиваетъ.

— Видишь, другъ мой... Я всегда предпочитаю или чистое шампанское или самое простое, домашнее вино, но терпѣть не могу всѣ эти елисѣвскія фабрикаціи.

Онъ показалъ рукою на то мѣсто, гдѣ за ужиномъ стояла пустая бутылка.

— Эта гадкая спиртная смѣсь прескверно вліяетъ на голову и нервы... Ты усталъ, ты былъ обиженнъ, ты имѣлъ всѣ данные быть нервно разстроеннымъ, и вотъ это вино подействовало на тебя очень дурно... Я тебѣ совсѣмъ выпить стаканъ холодной воды, освѣжить лобъ и виски одеколономъ и постараться заснуть хоть часа на два, по возможности... О, Поль, мой дорогой, я понимаю твои чувства и отъ души сочувствую...

— Да ты меня, дѣйствительно, хорошо понимаешь. Мегсі... ■ покойной ночи!..

— Bonne nuit! Поль! Теперь ты позволишь мнѣ снова погасить свѣчи?

Анатолій Робертовичъ не замѣтилъ ироніи, которая сквозила въ каждомъ звукѣ послѣдней фразы своего друга.

## VII.

А на другой день случилось событие, тоже взволновавшее населеніе форта, и особенно обрадовавшее господина специальнаго слѣдователя. У комендантскаго крыльца вываживали высокую старую лошадь Миробая, а самъ, а самъ онъ, окруженный офицерами, энергично рассказывалъ что-то, должно быть крайне интересное, присѣдалъ къ землѣ, хваталъ себя за горло, боролся точно съ кѣмъ-то невидимымъ и вообще, со страстью, свойственною азіатской натурѣ, жестикулировалъ отчаянно. Батча Алибей, пріѣхавшій вмѣстѣ съ своимъ хозяиномъ, тоже давалъ объясненія по-своему, тоже неистово размахивалъ руками, успѣвая при этомъ, съ дѣтскимъ любопытствомъ, обѣгать глазами все диковинное, невиданное имъ убранство русскаго дома.

Такъ какъ дѣло касалось именно волнующаго всѣхъ, въ данную минуту, слѣдствія по убійству Федора Горкина, то Анатолій Робертовичъ находился тутъ же съ своимъ портфелемъ и очень удивлялся, что въ числѣ присутствующихъ нѣть его друга, Павла Петровича.

Черезъ часъ, когда все успокоилось и показанія новыхъ свидѣтелей по дѣлу были формально занесены въ протоколь и подписаны, припечатаны даже восковою, треугольною тамгою Миробая, Анатолій Робертовичъ прямо направился къ квартирѣ Криницына и, узнавъ, что онъ дома, чуть не бросился къ нему въ объятія.

— Представь себѣ, мой дорогой, какъ все это просто разъяснилось!—началь онъ.—Ты былъ правъ!.. Тысячу разъ говорю: ты былъ правъ, и тутъ моему слѣдствію конецъ... Улики запечатаны и сданы пока на храненіе коменданту. И какъ все это просто разъяснилось... Да вотъ, я тебѣ все разскажу по порядку...

— Очень радъ! Въ чёмъ же дѣло?

— Сейчасъ увидишь... Здѣсь, то-есть близко отсюда, на старой караванной дорогѣ, есть кишлакъ, какъ они называютъ...

Бе...бе...бе...—Грунинъ поспѣшилъ справиться съ листомъ протокола.

— Бешь-арыкъ!—помогъ ему Криницынъ.

— Да, ты знаешь? Очень радъ... Въ этотъ «Бешь-арыкъ» сегодня ночью пріѣхали два бухарца, верхомъ оба, и одинъ изъ нихъ вздумалъ,—вѣдь вотъ начинный дикарь!—вздумалъ мѣнять русскую сторублевую бумажку. Молодецъ хозяинъ...

— Миробай,—помогъ и тутъ Павелъ Петровичъ.

— Да, Миробай, ты и его знаешь?.. Вотъ этотъ Миробай заподозрилъ пріѣзжихъ молодцевъ, тайно вѣдь своимъ слугамъ осмотрѣть ихъ багажъ и, представь себѣ, въ переметной сумкѣ одного изъ нихъ, найдены были явныя улики участія этихъ двухъ бухарцевъ въ убийствѣ Горкина... Я конечно связалъ всѣ эти факты въ одну нить, и рассказалъ всѣмъ полную картину всего дѣла... Послушай! Федоръ Горкинъѣхъ одинъ по дорогѣ и везъ съ собою большую сумму денегъ, въ составѣ этой суммы, какъ показали повѣренные фирмы «Хмуроў и Компания», входила пачка сторублевыхъ билетовъ, съ указаніемъ крайнихъ номеровъ, такъ какъ пачка была прямо изъ казначейства, новая и даже не распечатанная. Ты обрати особенное вниманіе на это характерное обстоятельство... Дальше: прежде чѣмъ капитанъ Шелобовъ успѣлъ присоединиться къ путешественнику, на него напала шайка бандитовъ, барантачей, какъ они здѣсь называются, и, конечно, убила его и ограбила... Затѣмъ они поскакали дальше, тамъ въ степь, что ли, ну, къ себѣ домой, и подѣлили добычу. Слушай же: двое изъ этихъ молодцовъ, родомъ изъ Нураты, это въ Бухарскихъ уже предѣлахъ, явились сюда, пріѣхали, идиоты, какъ ни въ чемъ не бывало, въ Бешь-арыкъ, остановились у Миробая кормить лошадей... Не написано же въ самомъ дѣлѣ у нихъ на лбу, что они воры и разбойники, а не мирные путешественники! И вотъ одинъ изъ нихъ вытащилъ изъ-за пазухи сторублевую бумажку, съ цѣлью размѣнять оную... Миробай, совершенно справедливо заподозрилъ, принялъ мѣры и что же: въ сумкѣ одного изъ бухарцевъ найденъ былъ портсигаръ серебряный, всѣми признанный за принадлежащей покойному. Бумажка же, оставшаяся въ рукахъ Миробая, тоже оказалась съ номеромъ, соотвѣтствующимъ номерамъ, указаннымъ представителями фирмы

«Хмуроў и Компанія»... И ты видишь самъ теперь, что все дѣло стало ясно, какъ день... и я...

— А бухарцы эти гдѣ? — полюбопытствовалъ Павелъ Петровичъ. — Я тебѣ, прежде всего, другъ мой, совѣтую подвергнуть ихъ самому строгому вопросу... знаешь, попытать даже не грѣхъ въ такомъ случаѣ, и затѣмъ, согласно ихъ указаний, можно будетъ дать возможность, дипломатическимъ путемъ, добиться отъ бухарскаго эмира выдачи остальныхъ соучастниковъ преступленія... Я тебѣ это отъ души совѣтую...

— Да бухарцевъ этихъ нѣть!..

— Какъ нѣть?!.

— Ну, посуди самъ, гдѣ же можно было старику съ двумя мальчиками справиться съ двумя здоровыми молодцами... Бѣдному Миробаю они разорвали халатъ и чуть-чуть не перерѣзали горла... Едва только замѣтили эти молодцы, что ихъ хотятъ накрыть, какъ вскочили на коней и исчезли, оставивъ въ нашихъ рукахъ неопровержимыя улики...

— Ты послушай, какъ горячо говорилъ обо всемъ этомъ этотъ Миробай... Я ничего не понялъ, но переводчики и офицеры мнѣ объясняли, какъ онъ жалѣлъ, даже плакалъ отъ досады, что не удалось ему живьемъ захватить хоть одного изъ разбойниковъ... Онъ, знаешь, просилъ меня замолвить объ немъ слово генераль-губернатору... Я ему обѣщалъ медаль... Я помѣщу о немъ въ свое мѣсто докладъ, и онъ получитъ награду навѣрное!..

— Ты не повѣришь, мой другъ, какъ я душевно радъ, что все это такъ хорошо кончилось и разьяснилось...

И Грунинъ, утомленный горячимъ разсказомъ, опустился на складной стуль и заявилъ хозяину, что теперь не грѣхъ выпить чего нибудь холодненькаго.

### VIII.

Такимъ образомъ, благополучно и окруженно закончилось слѣдственное дѣло по убийству Федора Горкина. Всѣ подозрѣнія, въ какихъ бы формахъ они ни проявлялись, мало-по-малу разсѣялись, какъ дымъ, и въ Глухомъ форѣ осталось только, въ видѣ исключенія, весьма немного скептиковъ, сомнительно покачивающихъ головою, при воспоминаніяхъ о подвигѣ «плута Миробайки»...

Грунинъ уѣхалъ дня черезъ два, увезя съ собою многолистную чистецкую тетрадь и всѣ «неопровергимыя доказательства», и на сцену выступило новое дѣло «объ оскорблениі, нанесенномъ подпоручикомъ Глухаревымъ капитану Криницыну въ публичномъ мѣстѣ, и о послѣдствіяхъ онаго».

Собственно говоря, никакого дѣла здѣсь и не послѣдовало, такъ бы все сгладилось и разошлось. Тѣмъ болѣе, что и виновникъ оскорблениія, Павлуша, «поостывъ немногого», охотно согласился съ доводами Шелобова, своего отца, а отчасти даже самого коменданта, убѣждавшими его, для порядка и по справедливости, подойти, при случаѣ, въ присутствіи, конечно, тоже публики, къ оскорбленному и извиниться въ своей неумѣстной запальчивости. Но вышелъ казусъ, котораго офицеры Глухого форта никакъ уже не ожидали.

Денщикъ Криницына принесъ письмо подпоручику Глухареву отъ своего барина и, не заставъ Павлуши дома, оставилъ его на столѣ.

Вернувшись, Павлуша прочелъ это письмо, и показалъ своему отцу, тотъ Шелобову, тотъ кому то еще, и, черезъ часъ уже весь Глухой фортъ, съ комендантомъ включительно, знать наизусть содержаніе криницынского посланія.

А въ посланіи этомъ значилось слѣдующее:

«Милостивый Государь, господинъ Глухаревъ!

«Въ извѣстный вамъ день, вы, въ присутствіи всѣхъ офицеровъ и чуть не всего общества форта, позволили себѣ, относительно меня, выходку, глубоко меня оскорбившую...

«Ваша дерзость не должна и не можетъ остаться безъ результатовъ. Ваши лѣта и ваше воспитаніе значительно извиляли бы васъ; въ данномъ случаѣ, и я могъ бы ограничиться только тѣмъ, что выдралъ бы васъ, какъ мальчишку, за уши; но вашъ мундиръ заставляетъ меня смотрѣть на васъ, какъ равный на равнаго, а потому, если вамъ знакомы хотя самыя элементарныя понятія о чести и благородствѣ, то вы должны были ждать, и вѣроятно ни сколько не удивитесь, получивъ мой вызовъ.

«Хотя я, такъ же какъ и вы, милостивый государь, заинтересованъ выборомъ съ моей стороны секундантовъ, но, къ сожалѣнію, не могу разсчитывать, въ этомъ случаѣ, на кого

либо изъ моихъ товарищей по мундиру... Вы, конечно, поймете сами почему... Я предоставляю вамъ право этого выбора, вполнѣ подчиняясь всѣмъ условіямъ дуэли, которыхъ мнѣ вашими секундантами будутъ предложены. Надѣюсь, милостивый государь, что вы не станете откладывать дѣло чести въ долгій ящикъ и не вынудите меня этимъ къ необходимости напомнить вамъ вашу обязанность болѣе энергичнымъ и, можетъ быть, несовсѣмъ пріятнымъ для васъ образомъ.

«Павелъ Криницынъ».

Понятно, что получивъ такое письмо, готовность извиниться разомъ оставила Павлушу. Вся молодежь форта навязывалась къ нему въ секунданты. Старики запротестовали и не позволили никому носа совать въ это дѣло. Порѣшено было собрать всѣхъ офицеровъ къ коменданту, на нейтральную, такъ сказать, почву, вызвать Криницына туда же, и потолковать сообща, составить, такъ сказать, нѣчто въ родѣ, закономъ дозволенного и установленного, офицерскаго суда, а если что, то и настоящій судъ по формѣ...

— Ты, братецъ, виноватъ,—говорилъ Глухаревъ сыну,—значить и молчи... притихни и жди своего рѣшенія... что твое будетъ, то при тебѣ и останется; что на его долю выпадеть, то съ нимъ и будетъ... такъ то!

«А не продержать ли мнѣ Павлушу еще хоть недѣльку подъ арестомъ?—думалъ коменданть.—Все какъ то, пока что, спокойнѣе будетъ!»

Но, къ счастію Павлушки, эта идея полковника Огурчикова не приняла исполнительного характера.

Изъ дамъ форта только одна Анастасія Львовна Голубцова-дѣвица акушерскаго званія, была того мнѣнія, что «дуэль... ахъ! это такъ интересно!» Всѣ остальные барыни были мнѣнія противуположнаго, и просили коменданта приставить даже къ обоимъ противникамъ, на всякий случай, по караульному... «Мало ли что можетъ случиться, особенно среди ночи!» Задала работу дамскимъ языкамъ эта дуэль! Только одна Груня молчала, и предпочла, если уже высказывать свое мнѣніе, то высказать его обѣимъ сторонамъ, лично.

Случайно, будто бы, встрѣтившись съ Криницкимъ, когда

тотъ возвращался съ обѣденной прогулки, она укоризненно посмотрѣла на него и произнесла:

— Грѣхъ вамъ, большой грѣхъ будетъ... Вѣрьте мнѣ, Павель Петровичъ!

А послѣ того, прямо пошла къ Павлушѣ, и тому уже отпѣла въ иномъ тонѣ:

— И кто васъ любить послѣ того будетъ!.. Помните!.. Вѣдь меня, послѣ такихъ дѣловъ, не только Груней, Аграфеной Васильевной называть не смѣйтесь. Глазъ не показывайте... Слышиште!..

И это двойное обращеніе доброй дѣвушки произвело почти одинаковое примѣряющее дѣйствіе.

Павель Петровичъ вполнѣ почему то былъ убѣжденъ, что ему не придется огорчать Груни, онъ подумалъ только, глядя на ея, опущенная скромно, длинныя рѣсницы и стройный профиль, что «не дурно бы этотъ полевой цвѣтокъ пересадить въ лучшую, культурную почву». Павлуша, чутъ не со слезами, принялася увѣрять ее, что все, хотя и его вина, но теперь уже зависитъ не отъ него, а какъ порѣшать старшіе, что, во всякомъ случаѣ, если и порѣшать чтобы стрѣляться, онъ выпалить въ сторону.

Однимъ словомъ, въ воздухѣ, окружающемъ Глухой фортъ, пока еще кровью не пахло, и все предвѣщало, что скопившаяся грозовая туча разсѣется сама собою.

День офицерскаго собранія былъ уже назначенъ, и всѣ этого дня ожидали съ нескрываемымъ нетерпѣніемъ.

---

Въ тотъ же день Криницынъ получилъ петербургскую почту и съ нею письмо отъ кузины Мэдъ. Письмо, весьма для него пріятное. Въ числѣ близкихъ знакомыхъ Павла Петровича, въ его петербургскомъ кружкѣ былъ нѣкто Тальцинъ, разжирѣлый толстякъ, циникъ и обжора, но человѣкъ, пользующійся большимъ авторитетомъ по законамъ охраны чести и свѣтской порядочности. Криницынъ, зарвавшись, проигралъ ему около тридцати тысячъ и, конечно, отдать не могъ даже сотой части этой суммы; опѣль дасть ему честное слово уплатить этотъ долгъ черезъ два года, не предчувствуя, конечно, никакой возможности сдержать это слово.

Долгъ по картамъ — долгъ чести. Это посерѣзнейѣ будеть

какого-либо вексельного долга, и неаккуратность, въ подобномъ случаѣ, никогда не прощается. Больше всего тяготилъ Криницына этотъ роковой долгъ; и вотъ, кузина Мэдъ, весело и радостно увѣдомляетъ его о смерти Тальцина, внезапно скончавшагося отъ удара, въ ресторанѣ Дюссо, послѣ ужина. Кузина Мэдъ даже вырѣзку изъ газеты, въ черной рамкѣ, съ приглашеніемъ на панихиды и выносъ усопшаго, приложила къ письму, и добавила при этомъ: «Вы видите, monsieur Paul, что фортуна начищаетъ, видимо, склоняться въ вашу сторону...» Она увѣдомляла его и о томъ, что его векселя сильно падаютъ, что кредиторы отчаяваются получить хотя что-нибудь, что если бы теперь всего какихъ-нибудь тысячу пятьдесятъ, даже менѣе, наличными,—и всѣ бы эти векселя можно было купить очень удобно. Однимъ словомъ, кузина Мэдъ сообщала ему, на шести страницахъ мелкаго, убористаго письма, столько пріятнаго, что Павелъ Петровичъ и самъ могъ смѣло согласиться съ своей хорошенькой покровительницей, что госпожа фортуна дѣйствительно начинаетъ оборачиваться къ нему своимъ прихотливымъ и капризнымъ лицомъ.

## IX.

Офицерскій судъ, съ тѣхъ поръ какъ былъ установленъ законами, въ первый разъ примѣнялся на дѣлѣ въ нашемъ батальонѣ.

Въ назначенный день, съ восьми часовъ утра, въ большой, сараеобразной приемной залѣ комендантскаго дома, стали собираться господа штабъ и оберъ-офицеры; всѣ были при оружії, даже въ перчаткахъ, и, входя въ залъ, молча раскланивались съ полковникомъ, хозяиномъ дома, и присаживались, также молча, гдѣ кому было удобище... Самъ Огурчиковъ, красный отъ галстука и застегнутаго воротника кителя, ходилъ по залѣ взъ волнованный и все посматривалъ на свою большую золотую луковицу... Иванъ Акимовичъ, какъ старший послѣ Огурчикова и отецъ одного изъ подсудимыхъ, игралъ роль выдающуюся, и сидѣлъ на самомъ видномъ мѣстѣ; адъютантъ Ползунковъ, легко позванивая шпорами и потупивъ глаза, постоянно входилъ и выходилъ изъ залы, придерживая рукою саблю, чтобы не такъ звякала... Капитанъ Шелобовъ

запоздалъ немнога. Его массивная фигура какъ то робко съжималась, переступая порогъ двери.

— Иди сюда! — шепнулъ ему Иванъ Тимсфеевичъ, указывая на стулъ рядомъ.

— Началось? — также шепотомъ спросилъ тотъ. — А Павлушка?

— Его комендантъ въ кабинетѣ посадилъ... тамъ ждетъ...

— Однако, господа, что же это?.. Криницына нѣтъ еще!.. Ползунковъ! Вы въ которомъ часу въ повѣсткахъ обозначили?

— Въ десять часовъ, какъ вы изволили приказать! — подскочилъ адъютантъ.

— Въ десять... Что же это онъ запаздываетъ!.. это изъ рукъ вонъ!.. это...

— Еще только девять безъ четверти! — отозвался одинъ изъ офицеровъ.

— Это почему?!.. Чертъ возьми... Однако мы, господа, рановато собирались... Чайку, пока, что-ли!..

Комендантъ засуетился, по привычкѣ отыскивая глазами своего адъютанта.

— Не время, Сеня, послѣ! — шепнулъ ему Глухаревъ-отецъ. — Что-жъ, подождемъ!.. Эге!.. Вонъ и нашъ схимникъ изволить жаловать!..

Всѣ глаза обратились къ дверямъ. Тамъ показалась странная фигура въ офицерскомъ костюмѣ... Лицо у этой фигуры было расплывшееся до нельзя, сѣдя бакенбарды торчали щетками по сторонамъ, усы лѣзли впередъ, вродѣ щетины у моржа, сплошная лысина оканчивалась сзади широкимъ, багровымъ, двойнымъ затылкомъ... Это былъ одинъ изъ старѣйшихъ ветерановъ батальона, дослуживающій только сроки пенсіи... Онъ страдалъ запоемъ каждый мѣсяцъ, что у него занимало ровно половину времени... Много послужилъ стариkъ на своемъ вѣku, много потерпѣлъ лямокъ, и ему прощали эту слабость и службою не беспокоили... Въ послѣднее время онъ уже начиналъ заговариваться немнога и появлялся въ кружкѣ офицеровъ очень рѣдко, только въ торжественныхъ случаяхъ... За мѣсяцъ до батальоннаго праздника «батько Максимъ», какъ его всѣ называли, не пилъ вовсе... Онъ глубоко и свято чтилъ этотъ день и весь мѣсяцъ проводилъ обыкновенно за клейкою бумагою

ныхъ, разноцвѣтныхъ фонариковъ, для приданія торжеству особаго блеска.

Тяжело перевалилъ батько Максимъ черезъ довольно высокій порогъ, волоча лѣвую «пошаливающую» ногу, мутными глазами окинулъ собраніе, приложилъ руку ко лбу, хотя былъ безъ шапки, и проговорилъ:

— Здравія желаю... Не опоздалъ?

— Садись, другъ, коли причалилъ... Вотъ сюда на диванчикъ!—пригласилъ Огурчиковъ.

Молодежь захихикала втихомолку.

— Мерсисъ парфетеманъ... — прохрипѣлъ новоприбывшій, усаживаясь и недоставая до пола своими короткими ножками: усѣлся, крякнулъ и добавилъ одобрительно:—Комса, бонъ!..

Офицеры захочотали теперь уже громко.

— А вотъ и Павель Петровичъ идутъ-сь!.. — вбѣжалъ Ползунковъ.

Все сразу примолкло.

Вошелъ Криницынъ, по обыкновенію щегольски и строго по формѣ одѣтый, граціозно поклонился на обѣ стороны и видя, что всѣ сидятъ, сталъ тоже искать себѣ мѣста глазами.

— Встать! — довольно громко произнесъ Глухаревъ-старикъ.

Всѣ встали.

— Гм... гм!—откашлялся комендантъ.—Итакъ, господа!.. приступимъ...

— Пирогъ пора ставить въ печь или погодить прикажете, ваше высокоблагородіе? — неожиданно совершиенно, изъ противуположныхъ дверей появился комендантскій денщикъ Фома, онъ же и поваръ, съ засученными до плечъ, перепачканными тѣстомъ, мускулистыми руками.

— Тс!.. тс!..—замахалъ на него адъютантъ Ползунковъ.

— Пирогъ!..—озадачился комендантъ.—Пошелъ вонъ, каналь!.. Экая бестія!.. Ползунковъ... скажи ему, голубчикъ, что пора... Итакъ, господа...

— Сочиненіе господина Криницына... сеть летъ криминаль, прочесть предварительно можно?..—прохрипѣлъ «батько Максимъ».

Комендантъ досадливо передернулъ плечами.

— Павель Петровичъ! — рѣшилъ онъ итти на прямикъ къ цѣли. — Вы изволили написать это письмо, адресованное подпоручику Глухареву?

Огурчиковъ протянулъ руку съ письмомъ.

— Оно мною подписано, значитъ, я! — отвѣчалъ Криницынъ.

— Гм... гм... господинъ капитанъ, вѣдь за подобное письмо я бы могъ васъ немедленно арестовать!

Огурчиковъ, очевидно, хотѣлъ произвести большой эффектъ такимъ энергичнымъ вступленіемъ.

— Это ваше дѣло, господинъ полковникъ! — спокойно и почтительно отвѣчалъ Криницынъ.

Комендантъ взглянулъ на группу офицеровъ съ видомъ полнаго недоумѣнія.

— Эхъ, Павель Петровичъ, Павель Петровичъ, какой вы право!.. Мы здѣсь собрались, — снова обратился онъ къ Криницыну, — по душѣ, по семейному, такъ сказать, дѣлу... Свои обязанности я, смѣю вамъ дожелить, понимаю хорошо! Но желательно кончить дѣло миромъ... по семейному... такъ то-съ... Васъ офицеръ обидѣлъ, товарищъ, такъ скажась, вашъ... Прекрасно-съ!.. Я его арестовалъ... онъ былъ виноватъ, это всѣ раздѣляютъ... Онъ даже вотъ извиниться хотѣлъ, да вы сами помѣшили съ вашимъ вызовомъ... такъ-съ!.. Вы, вотъ, сами тамъ употребили выраженія не-подходящія... «Мальчишкой» его обозвали, на счетъ тоже ушей... Негодится... Предположимъ, что мы дуэль допустимъ, и онъ вѣдь, батенька мой, у насъ смертная казнь только за измѣну противу престола и отечества полагается, а не за бранные слова... Кара то, выходитъ, проступку сильно несоответствующая... Сообразили-съ?.. Такъ вотъ, принимая все это во вниманіе, неугодно-ли будетъ вамъ взять свое письмечко назадъ, и дѣлу конецъ!.. Такъ, господа, что ли?

Въ группѣ офицеровъ послышался глухой ропотъ. Огурчиковъ понялъ, что его мнѣнія и доводы если и раздѣляются, то не совсѣмъ.

— Вамъ неудобно ли? Иванъ Акимычъ! Ну-ка, ты! — отстрился комендантъ.

— Я отецъ, иль говорить нечего, — уклонился старикъ Глухаревъ.

Выдвинулся Шелобовъ.

— Вашего вызова, Павель Петровичъ, Павлушѣ мы принять не дозволили... Вы такъ и знайте... и прошу не объяснять отказъ трусостью. Офицеръ этотъ не трусь, это я вамъ заявляю и заявятъ всѣ. Мы его храбрость уже довольно видѣли, вашей еще пока не приходилось... Не нравится вамъ у насъ... Ну, вотъ не сошлись просто, чего тамъ разбирать причины, что и почему, — такъ вѣдь офицерская служба у насъ не подневольная: хочешь здѣсь служи, хочешь въ другомъ мѣстѣ... А мы васъ задерживать не намѣрены...

— Вѣрно!

— Такъ!

— Вотъ это, что надо!.. Шелобовъ вѣрно сказалъ, прямо! — послышались въ разныхъ мѣстахъ офицерскіе голоса.

Криницынъ чувствовалъ, какъ кровь бросилась ему въ голову. Онъ, конечно, понялъ сразу, что его выгоняютъ, онъ вовсе не того добивался, онъ хотѣлъ оставить самъ этотъ батальонъ, но оставить съ честью, съ нѣкоторымъ даже блескомъ для него, а тутъ говорятъ прямо: «убирайся, молъ, вонъ!»

— Прежде всего, господинъ полковникъ, — началь онъ, сдерживаясь по возможности.— Позвольте мнѣ спросить васъ, гдѣ я присутствую въ данную минуту?

— У меня, батенька, у меня, — поторопился выяснить вопросъ комендантъ.

— Я это знаю. Я хочу также знать, это мое право, что это: судъ, законно примѣненный ко мнѣ, или обыкновенное совѣщаніе?..

— Мы вѣдь хотѣли просто, сообща!.. Къ чему тутъ судъ? просто, по семейному...

— А хотѣй бы и судъ! — рѣзко прервалъ Огурчикова капитанъ Шелобовъ.

— А, это другое дѣло!.. — обратился уже лично къ нему Павель Петровичъ. — Тогда мнѣ говорить нечего. Факты на лицо, неудобно ли вести все дѣло по формѣ и по закону...

Я болѣе ничего говорить не намѣренъ. Только, господинъ комендантъ, позвольте мнѣ предварительно вручить вамъ эту бумагу...

И онъ вынулъ изъ-за борта тщательно сложенный листъ бумаги и передалъ его полковнику Огурчикову.

— Что это такое?..—озадачился тотъ, принимая документъ и, по привычкѣ, передавая его адъютанту.

— Прошеніе мое обѣ отцускѣ на одиннадцать мѣсяцевъ для хлопотъ по переводу моему въ другое оружіе...

— Ну, вотъ и слава Богу!..—вздохнулъ по наивности комендантъ.—Давно бы такъ, Павелъ Петровичъ... Вѣрьте вы мнѣ, что я ничего, вотъ рѣшительно таки нисколько, не имѣю противъ васъ. Съ офицерами вы не сошлись, ну, что за бѣда!.. Вы человѣкъ со связями, съ протекціей... Вы всегда хорошо пристроитесь... Вотъ развѣ долги ваши, извините пожалуйста, васъ сюда бросили, — дастъ Богъ съ долгами справитесь...

— Мои долги касаются только меня одного! — холодно замѣтилъ ему Криницынъ.

— Понимаю-сь!..

— Семенъ Семенычъ,—дернулъ его за рукавъ адъютантъ Ползунковъ,—извольте прочесть это прошеніе...

— Это почему?.. Хорошо... что же тамъ такое?..

Огурчиковъ принялъся читать про себя, присвистнувъ почему-то и передалъ бумагу Глухареву, строго взглянувъ на Криницына, Иванъ Акимычъ тоже прочель, тоже поглядѣлъ на автора, и передалъ документъ Шелобову, Шелобовъ, прочтя, не взглянулъ на Павла Петровича, а просто плонулъ и передалъ прошеніе дальше. Такимъ образомъ, акуратно сложенный листъ обошелъ все собраніе и попалъ, наконецъ, въ руки батьки Максима. Тотъ читалъ долго, и вдругъ безпокойно залился на диванѣ, обнаруживая намѣреніе подняться, сладилъ таки со своими ослабѣвшими членами и выступилъ на середину зала.

Этой энергіи со стороны «схимника» не ожидалъ никто, и въ залѣ воцарилась мертвая тишина.

— Пишите вы, господинъ капитанъ,—началъ тотъ, стараясь какъ можно отчетливѣе произносить слова,— что, получивъ оскорблѣніе отъ офицера, послали ему вызовъ и полу-

чили въ отвѣтъ полный отказъ, поддержаный прочими, а посему, не считая возможнымъ продолжать службу въ такомъ обществѣ, гдѣ существуютъ такія странныя, чтобы не сказать болѣе, понятія о чести вообще, и чести мундира въ особенности, предпочитаете оставить сей батальонъ, для чего, и проще и прочее. Такъ вы пишете... вотъ тутъ, на этомъ листѣ бумаги?

— Да! — произнесъ Павель Петровичъ.

— Вамъ нужно уѣхать... Вы хотите, такъ сказать, предупредить вашъ выгонъ. Пардонъ-сь за экспрессионъ... и хотите выйти козыремъ шевальеромъ санъ-перъ пи репрошъ... и на батальонъ, на нашъ славный, четвертый номеръ, наложить позорное пятно, жаме-сь, атанде-сь и сильвупле-сь...

— Батя Максимъ, ты куда? — попытался было остановить схимника полковникъ Огурчиковъ.

— Сюда! — захрипѣлъ тотъ пронизывая Криницына своими, вдругъ ожившими, сверкающими глазами.

— Я старъ! — возвысилъ онъ голосъ, крича уже теперь на весь залъ. — Я слабъ! Лѣвая рука у меня уже вовсе не поднимается, въ правой полное «мэнъ-драже», но «эскюзе!..» Вашъ вызовъ принимаю я! Стрѣляться съ вами, милостивый государь, буду я! Но, извините, не формы ради, безъ шутокъ, безъ балагана!.. Черезъ платокъ! и хоть сю минуту!

Старый ветеранъ захрипѣлъ, двинулся впередъ вѣмъ корпусомъ и покачнулся. Его поддержали.

— Господа! это нельзя! Это уже изъ рукъ вонъ... ни на что не похоже... Въ моемъ присутствіи!.. — засуетился полковникъ Огурчиковъ, тщетно пытаясь принять внушительный, начальствующій тонъ.

— Я принимаю вашъ вызовъ, — чуть слышно произнесъ Павель Петровичъ.

— Принимаете-сь?.. Нѣть, этого мало! Атанде-сь! — снова началъ батько Максимъ.

И снова въ залѣ все стихло.

— Вѣрою и правою прослужилъ я Царю и Отечеству, какъ могъ, и сколько моихъ силъ хватило!.. Теперь меня, пьяную собаку, держать изъ милости... Спасибо!.. Но никто меня ни въ чемъ безчестномъ упрекнуть не могъ никогда и не можетъ... Богъ это видить, и люди знаютъ!.. Потрудитесь

же и вы, милостивый государь, здѣсь, въ присутствии всѣхъ офицеровъ, передъ лицомъ сего знамени... вонъ оно стоитъ въ углу, подъ образами... передъ лицомъ Святаго Николы, Угодника Божія... Глядите повыше!.. дать мнѣ честное слово, что рука ваша ни къ какому безчестному дѣлу не касалась, что на рукѣ вашей нѣтъ и не было никакого позорнаго дѣянія... И тогда только вы можете имѣть честь сказать: принимаете-ли, или нѣтъ, предложенный мною поединокъ... Ну-съ!.. я жду!

---

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

---

### I.

Дѣло приняло такой оборотъ, котораго Павель Петровичъ никакъ не могъ ожидать и предвидѣть...

Нападеніе было сдѣлано врасплохъ, Криницынъ чувствовалъ уже на себѣ не одни, пронизывающіе его душу, глаза батъки Максима — всѣ не спускали съ него глазъ. Каждый фибръ его лица былъ предметомъ сосредоточеннаго, пытливаго, лихорадочнаго наблюденія. Силы ему стали измѣняться. Энергія, а съ нею и находчивость, таяли съ каждымъ мгновеніемъ...

Бѣлые стѣны стояль опь посреди залы... Дальше и дальше отходилъ отъ него шумъ голосовъ... Ему казалось, что онъ тонетъ, мышцы свело судорогою... Бороться съ волнами нельзя... Зеленою пеленою застилаеть вода его глаза, заливаетъ уши... Вязкая тина, цѣпкія, ползучія водоросли пугаютъ ноги, тянутъ клизу... И тамъ, гдѣ-то на днѣ, глубоко зарывшись въ песокъ, торчитъ и странно свѣтится старческій затылокъ... сѣдые волосы, запекшаяся кровь и грязь... эта черная, зияющая рана, круглая лысина, вздернутый воротникъ пальто...

«Что это?!. обромокъ... глупая до пошлости слабость!.. Не можетъ быть!.. Я этого не хочу... не могу... я стою на ногахъ. Да, на ногахъ!..» какъ молния промелькнуло въ головѣ Павла Петровича.

На него уже теперь никто не смотрѣлъ... это уже не глаза... ить, это все спины, все затылки... Объ немъ не думаютъ его забыли... Ему стало легко... Смолкъ, Божьимъ гнѣвомъ,

укоромъ гремѣвшій, голосъ... Вонъ чья то безобразная голова, неестественно откинулась назадъ, видны только отекшее, багровое горло, щетинистый, сѣдой, небритый подбородокъ, разорванный воротъ кителя... Нѣсколько рукъ поддержало эту голову, и на Криницына снова уставились глаза, уже теперь оловянные, безжизненные...

— Воды!.. спирту... доктора!.. — шепчутъ со всѣхъ сторонъ. Почему же шепчутъ, почему не требуютъ громко? Вотъ понесли... должно быть тяжело?.. задѣли въ дверяхъ... Кажется уронили?.. Что то безжизненное стукнуло о порогъ... нѣтъ... вотъ его ноги, въ разорванныхъ сапогахъ, съ скривившимися каблуками, эти ноги высоки, почти въ уровень съ плечами Шелобова.

— Сюда, сюда, на диванъ! — слышится уже изъ другой комнаты голосъ коменданта.

— Надѣюсь, что и это... — Криницынъ сдѣлалъ головою указательное движение, — мнѣ поставить въ вину также.

Но онъ ни къ кому собственно не обратился съ этимъ саркастическимъ замѣчаніемъ, и никто не слышалъ его, должно быть, никто ничего не отвѣтилъ...

Павелъ Петровичъ вышелъ изъ залы, спустился съ крыльца комендантского дома, и съ наслажденiemъ вздохнулъ воздухомъ, пропитаннымъ острымъ запахомъ молодыхъ тополей и свѣжаго сѣна.

---

Прошло нѣсколько дней, и вся исторія офицерскаго суда съ ея причинами мало-по-малу стушевалась и почти забылась.

Мирно и уныло загудѣлъ надтреснутый колоколь батальонной церкви, также какъ и въ день привоза тѣла Горкина; также стройно вытянулся развернутымъ фронтомъ батальонъ, на церковной площадкѣ, также собрались офицеры и прочіе обитатели форта, также у каждого въ рукахъ затеплились тоненькия восковыя свѣчки, также зарокотали барабаны... также точно заколыхался парчевой гробъ, несомый на рукахъ товарищами и друзьями покойнаго...

Павелъ Петровичъ настоялъ на своемъ. Онъ не взялъ назадъ своего компрометирующаго батальонъ прошенія. Дѣлать нечего: пришлось его бумагѣ дать ходъ, съ приложеніемъ осо-

баго протокола, объясняющаго событіе съ другой стороны, протокола подписаннаго всѣми офицерами.

Теперь онъ уже былъ здѣсь мало того, что чужимъ человѣкомъ, но и чѣмъ то въ родѣ отверженаго, ненавистнаго всему окружающему. Онъ уже и не салютовалъ офицерамъ, при случайныхъ встрѣчахъ, онъ не избѣгалъ этихъ встрѣчъ, держалъ себя гордо, съ достоинствомъ; ему даже, будто, удовольствіе доставляло парочно, замѣтивъ группу офицеровъ, пройти мимо нихъ своею красивою легкую походкою, или шагомъ проѣхать на своемъ Абрекѣ, будто не замѣчая своихъ враговъ, хотя и чувствуя на себѣ провожающіе его, пристальныя, недружелюбные взгляды.

Павель Петровичъ только, на всякий случай, всегда держалъ въ карманѣ револьверъ-бульдогъ и чувствовалъ себя какъ то покойнѣе, когда его рука касалась круглой, полированной ручки этого оружія.

Выѣхать изъ Глухаго форта онъ не могъ безъ ожидаемаго разрѣшенія отпуска изъ штаба; оставить фортъ, по домашнему, сказавшись только батальному командиру, какъ обыкновенно, хотя и противузаконно, продѣливали всѣ офицеры, когда кому что надо было въ городѣ, онъ тоже не могъ, ибо это было все-таки противузаконно, и давало поводъ подвергнуть его крупнымъ непріятностямъ.

Итакъ, Павель Петровичъ сидѣлъ въ фортѣ и ждалъ, ждалъ, поневолѣ, терпѣливо. Только, чуть не ежедневно, писалъ Грунину и другимъ *своимъ*, прося ихъ по возможности повлиять на ускореніе его дѣла, сократить срокъ его нравственной пытки.

Комендантъ успѣлъ уже, вслѣдствіе донесенія Анатолія Робертовича, получить отъ высшаго начальства легкую пахлобучку, за недостаточную, якобы, бдительность по охранѣ ввѣренного ему района, и всю ночь просидѣлъ съ Ползунковымъ, за сочиненіемъ документа оправдательнаго характера.

Подошелъ тутъ день Петра и Павла. Фортовой священикъ справлялъ свое тезоименитство и служилъ обѣдню съ особой торжественностью. Онъ сказалъ глубоко прочувствованную проповѣдь—примирильнаго содержанія, упомянулъ, что всѣ люди братья, а тѣмъ болѣе, крещеные во имя одного и того же апостола, святаго проповѣдника *ученія о любви и смиренії*.

Отець Павель даже просфору послалъ на домъ къ Криниципу при запискѣ, гдѣ сказано было, что онъ вполнѣ понимаетъ причины, почему не видѣлъ своего соисменника во храмѣ Божіемъ, въ радостный для него день, и что, если господину Криницыну угодно будетъ, то отець Павель отслужить у него молебенъ на дому.

Криницынъ былъ даже тронутъ этимъ вниманіемъ, по предложеніе отца Павла отстранилъ, выславъ съ денщикомъ пяти-рублевку для пріобщенія таковой суммы къ церковному сбору.

— Холодный и гордый человѣкъ! — покачалъ головою отець Павель, отстрапая лѣвою рукою широкій рукавъ шелковой рясы и благословляя правою — яства и питія, предназначенные для собравшихся къ нему съ поздравленіемъ офицеровъ и почетныхъ обитателей форта.

Иванъ Акимовичъ, въ качествѣ душеприкащика покойнаго Горкина, уѣхалъ въ городъ устраивать дѣла по наслѣдству, и уже успѣлъ написать сыну и Шелобову о томъ, что дѣла эти идутъ какъ нельзя лучше и что вѣроятно ему скоро можно будетъ вернуться; тѣмъ болѣе, что имъ сообща надо потолковать объ одномъ вопросѣ, крайне щекотливомъ и весьма не легко разрѣшаемомъ. У Павлуши болѣзнетъ и радостно при этомъ щемило сердце, Шелобовъ хмурился и обкусывалъ концы своихъ длинныхъ усовъ. Отець Павель, посвященный отчасти въ суть дѣла, тяжело вздыхалъ и указывалъ на обязанности каждого христіанина смириться передъ рукою Всевышняго. «Дѣвица акушерскаго званія» имѣла привычку вести аккуратно свой дневникъ, и уже вывела причудливымъ почеркомъ заглавіе: «печальное возвращеніе», предлагая вскорости занести подъ нимъ всѣ подробности. Груня втихомолку плакала по ночамъ, а днемъ вышивала подушку, на голубомъ фонѣ вѣнокъ изъ красныхъ цветовъ, въ серединѣ вензель П. Г., а подъ нимъ надпись: «на память отъ вѣчнаго друга». У всѣхъ прочихъ дамъ форта чаще и чаще заиграло на языкахъ новое имя, завладѣвавая понемногу всѣми темами задушенныхъ разговоровъ.

Ч это имя было «Надя».

Иванъ Акимовичъ вернулся наконецъ изъ города и тотчасъ же углалъ сына отыскивать Шелобова, да забѣжать и къ отцу Павлу попросить ихъ «на чашечку и на рюмочку». Отецъ Павель явился немедленно, Шелобова же проходили порядочно. Тотъ былъ на охотѣ, еще со вчерашняго утра и вернулся только подъ вечеръ, прямо, не заходя домой, во всемъ охотничьемъ нарядѣ, съ тяжелою связкою степныхъ куропатокъ на поясѣ.

— Вотъ и ужинъ для всей честной компаніи! — произнесъ онъ, входя. Облобызаясь съ хозяиномъ дома, поздоровался съ остальными гостями и пошелъ на кухню, мыть руки.

Тяжело пыхтя, внесъ денщикъ самоваръ, высыпистывающій на всѣ лады; Павлуша сталъ перемывать стаканы и устанавливать графинчики. Зажгли свѣчи, такъ какъ уже совершенно стемнѣло, и вся компанія дружно принялась за чаепитіе.

— Благополучно покончили дѣла, Иванъ Акимовичъ? — спросилъ отецъ Павель, отирая о скатерть донышко стакана, такъ какъ имѣлъ обыкновеніе пить чай съ блюдечка.

— И не ожидалъ! — отвѣчалъ Глухаревъ-отецъ. — Да я, вотъ, все попорядку.

— Папаша этихъ скаредовъ — вотъ какъ! — отозвался Павлуша. — Онъ ихъ со всѣхъ сторонъ обошелъ.

— Ну, ужъ и скаредовъ! Люди хороши, тоже душу и сердце имѣютъ, — соскоромничалъ «папаша». — Вѣдь покойникъ то Горкинъ какъ имъ служилъ! Вѣдь онъ, можно сказать, не одну сотню тысячъ сберегъ имъ и удвоилъ. Вотъ, напримѣръ: поставилъ я имъ на видъ.

— Постой, Ваня, ты хотѣлъ попорядку!.. — остановилъ его Шелобовъ.

— Ладно! Отецъ Павель, подливай отсюда, воинъ изъ того пузатенькаго. Такъ, вотъ, пріѣзжаю я къ нимъ. Такъ и такъ, говорю, по такому дѣлу. Бумаги всѣ со мною: опись, завѣщаніе и прочее, книги всѣ у нихъ уже вытребованы были отъ слѣдователя. Говорятъ, сами не могутъ — ждутъ Михаила Алексѣевича. Ладно! Когда, молт, пріѣдетъ? Завтра, послѣ-завтра, непремѣнно. Подождемъ. Пошель это я въ баню... славныя бани выстроилъ шельма Егорка, лучше чѣмъ въ Оренбургѣ: особыя ванны, полога таловые и даже вѣнки березовые, изъ гөръ ему сарты особенно привозять.

— Это за Чимкентской заставою? — полюбопытствовал отец Павель.

— Тутъ, сейчас же на выѣздѣ, на рѣкѣ. Остановился я у Прохорова, поужиналъ послѣ бани, спать легъ. Не спится! Все у меня это дѣло изъ головы не выходить! На другой день закупилъ все, что надо, въ клубѣ обѣдалъ... тамъ же пульку составили, по полкопѣйки: Перепелкинъ, Круторѣзовъ, Грифель и я.

— Грифель?.. Грифеля знаю! — разгладилъ бороду батюшка. — Онъ еще при мнѣ старшимъ писаремъ состоялъ при покойномъ Безакѣ... помню!

— Теперь, братъ, его и рукою не достанешь!.. Статского совѣтника ждеть къ новому году. Далеко мѣтить. Ну-съ, и скуча, я вамъ доложу въ городѣ, страшнѣйшая!.. Опять же все въ застегнутомъ положеніи... все по формѣ... Большия тамъ пошли теперь на этотъ счетъ строгости.

— Пріѣхалъ Хмуроў что-ли? — нетерпѣливо махнулъ рукою Шелобовъ.

— Пріѣхалъ! Какъ сказали, вышло вѣрно. Пріѣхалъ я, мнѣ знать сейчасъ дали... Я къ нему... Такъ и такъ, говорю... объясняю все дѣло подробно. «Знаю, говоритъ, почтеннѣйший Иванъ Акимовичъ, знаю! и все дѣло мною уже решено. Я Федоромъ Петровичемъ болѣе чѣмъ былъ доволенъ, что уже говорить: не только правая рука моя былъ, еще меня училъ многому... Грѣхъ пополамъ!..» То есть, какъ это, думаю, пополамъ? восемьдесятъ тысячъ, это значитъ будетъ сорокъ. Да если и домишко и все продать, бумажонки какія собрать и деньги, что въ банкѣ, я вѣдь ничего не утаилъ, — такъ дай Богъ, чтобы на пятнадцать тысячъ набралось!.. Гдѣ же остальные добыть?.. Опять же дѣвушка нищею, бездомною сиротою должна оставаться! Соображаю это, да и говорю Хмурову: «Не тяжело ли сиротскимъ плечамъ будеть?.. Вы бы Бога-то вспомнили!..» А онъ: «Да я, говоритъ, Его и не забываю. Я ей отца вернуть не могу, ей тоже моихъ денегъ вернуть не откуда, — вотъ и грѣхъ пополамъ! Вотъ я въ какихъ смыслахъ...» Повеселѣлъ я! Ну, говорю, Михайла Васильевичъ, руку!.. Попѣловались... Только л, постой думаю, Иванъ — Акимовъ сынъ, держись! не за свое дѣло хлопочешь, не поддавайся!.. — Не худо бы, Михайло Васильевичъ, документъ по сему поводу,

мало ли что можетъ послѣ выйти?! Дѣло не мое, дѣло святое, сиротское. Надю-то оберечь некому!..» Тутъ онъ всталъ сей-часъ, сказалъ: «И это понимаю», подошелъ къ конторкѣ и принялъся писать. Написалъ, подаетъ. «На, говорить, читай—такъ ли будетъ?» на ты со мною перешелъ. Я ему тоже: «Давай братъ, Миша, прочту!..» И читаю: «Глубоко цѣня вѣрность и долгую службу нашей фирмѣ покойнаго отставнаго маіора Федора Петровича Горкина, и соболѣзнуя отъ души его тяжкой кончинѣ, послѣдовавшей ради службы фирмы, я, главный представитель сей фирмы, Михайло Васильевъ, сынъ Хмуроў, симъ заявляю: всѣ счеты съ покойнымъ фирма считаетъ правильно законченными и никакихъ претензій къ имуществу и всему, что останется въ пользу паслѣдниковъ Горкина, не предъявляетъ и впредь предъявлять не имѣеть. Въ чёмъ и дается сіе удостовѣреніе, съ приложеніемъ торговой печати фирмы, моей именной и за мою собственноручною подписью».

— Вотъ и бумага эта! Павлуша, достань тамъ изъ сумки; синею бумагою обернута и шнуркомъ перевязана. Эта самая!.. Давай сюда!

Удостовѣреніе Михайлы Хмуроўа обошло всѣхъ присутствующихъ.

— Благословляю десницу, писавшую сіе!— провозгласилъ отецъ Павель по прочтениі и осѣнилъ листъ крестнымъ знаменіемъ.

— Душа-человѣкъ!— хлопнулъ по листу Шелобовъ.

— Позвольте, папаша, я опять заверну!.. — сунулся Павлуша.

— Заверни, Павлуша,— согласился Иванъ Акимовичъ,— да шторку опусти на окнѣ, а то акушерка уже два раза заглядывала... Экія эти бабы любопытныя!..

Тутъ принесли ужинъ и всѣ приступили къ «первой», послѣ которой, говорятъ обыкновенно, «не закусываютъ...» Иванъ Акимовичъ выждалъ, когда аппетитъ гостей удовлетворился, и приступилъ, не медля, къ главной цѣли «сего почтеннаго собранія».

— Извольте видѣть, государи мои, — началъ онъ очень торжественно. — Небезызвѣстно вамъ, что послѣднее письмо покойнаго къ его дочери, писанное нами, отчасти даже, со-

обща, по расчету моему, только что должно прибыть на место назначения. Теперь Силантий уже тамъ; въ сбояхъ и прочемъ пройдетъ, положимъ, еще недѣля, а затѣмъ Надя выѣдетъ сюда. Какъ вы это полагаете?..

Шелобовъ крякнулъ, потеръ лобъ и уставился глазами въ уголъ, гдѣ его должно быть очень занималъ яркій блескъ на ручкѣ отдушника. Отецъ Павель смахнулъ что-то съ глаза рукавомъ... Павлуша вышелъ въ другую комнату... Отецъ его прислушивался, кивнулъ головою по направлению къ двери и произнесъ, словно про-себя: «иши! опять разрюмился!..»

— Такъ какъ же вы это, господа, полагаете?—повторилъ онъ свой роковой вопросъ.

— Предупредить надо, деликатно и со всею предосторожностью,—полизивъ голосъ, заговорилъ отецъ Павель.—Дѣвица воспитанія нѣжнаго, можно сказать—возвышенаго; здоровье въ этихъ заведеніяхъ не Богъ вѣсть какъ укрѣпляется, паче того въ разстройство приходитъ... Сразу нельзя... печальный могутъ быть тому послѣдствія...

— Знаю, что нельзя...—произнесъ Иванъ Акимовичъ.—Въ томъ-то и дѣло—«предупредить»... Да какъ?

— Письменно!—тряхнулъ головою батюшка.

Шелобовъ промолчалъ и тутъ.

— Я, папаша, уже составилъ черновую,—появился моло-лодой Глухаревъ.—Такъ, можетъ, хорошо будетъ?

— Составили и чудесно! Не прочтете ли?—обрадовался отецъ Павель.

— Читай!—сказалъ Иванъ Акимовичъ.

«Многоуважаемая Надежда Петровна!—началь чтеніе моло-лодой Глухаревъ.—Повѣрьте, что въ лицѣ моемъ...—я отъ вашего имени пишу, папаша,—повѣрьте, что въ лицѣ не только моемъ, но и всѣхъ наасъ, вы найдете себѣ такихъ же родныхъ, горячо любящихъ васъ отцовъ, что...»

Голосъ Павлуши задрожалъ, послышалось легкое всхлипыванье.

— Постой, постой!—перебилъ его Иванъ Акимовичъ.—Это ты уже сразу! Это ты просто обухомъ по лбу!.. Этакъ, бра-тъ, нельзя!..

— Негодится!—согласился и отецъ Павель.

Шелобовъ упорно молчалъ, по прежнему созерцая отдушникъ.

— Совѣтова́ль бы я написать слѣдующее, и написать въ тоиѣ религіозномъ, ибо Вѣра—прибѣжище страждущихъ и болѧщихъ душою...

Отецъ Павелъ тряхнулъ головою, обтеръ ротъ салфеткою и откашлялся.

— Совѣтую,—продолжалъ онъ,—писать такъ: «Господу Богу угодно было призвать вашего родителя въ мѣсто, идѣ же иѣть печалей и воздыханія. Пути Господни не исповѣдимы...»

— А это развѣ не прямо, какъ обухомъ по лбу, какъ палаша?—остановилъ оратора Павлуша, обиженный немногого проваломъ своего проекта.

— Тоже, какъ будто предупрежденія маловато,—согласился съ сыномъ хозяинъ дома.

— Это я конецъ письма проэкитирую,—постарался вывернуться отецъ Павелъ.

— Кончить-то мы и сами съумѣемъ! А вотъ начало трудно... Эхъ, ты, Господи, и чemu-то нась учили смолоду? Шелобовъ, ты что же молчишь, слова не скажешь?!

Шелобовъ очнулся и вышелъ изъ своего созерцательного положенія.

— По моему,—началь онъ,—надо просто написать, что отецъ ея посланъ въ очень дальнюю и продолжительную командировку... Затѣмъ, ну, поддѣлать что ли почеркъ и написать будто бы отъ него, изъ этой командировки, изъ самой Бухары... Объяснить ей, что отецъ поручилъ намъ встрѣтить ее и устроить какъ слѣдуетъ, пока онъ вернется... А тамъ, мало-по-малу... только...

Тигровый охотникъ вдругъ перемѣнилъ тонъ, подошелъ къ столу, уперся въ него руками и продолжалъ:

— Только такъ, какъ я говорю, дѣлать ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ!..

— Что такое?—озадачился Иванъ Акимычъ.

— А такъ, потому что и глупо, и поддо!.. Я вотъ однаждать лѣтъ изъ батальона ни шагу... Я хочу въ отпускъ... Тебѣ вѣдьѣхать самому нельзя, не слѣдуетъ!.. Сообрази почему!.. Павлушкѣ ни подъ какимъ предлогомъ... поѣду я... возьму отпускъ и поѣду.

— Куда же ты поѣдешь? Въ Ташкентъ?..

— Нѣть дальше! Прямо вотъ по дорогѣ поѣду и буду

ѣхать, пока не встрѣчу. Съ нею и вернусь вмѣстѣ... Живой человѣкъ, живое слово. Небось, не испорчу дѣла!.. Тамъ оно, на мѣстѣ, видиѣ будеть; а вы здѣсь сидите и ждите... Вотъ, что надо сдѣлать, по моему!..

— Мысль превосходная!—восхитился отецъ Павель.

— А мнѣ нельзѧ єхать вмѣстѣ?—сунулся молодой Глухаревъ.

— Ни-ни!—въ одинъ голосъ замѣтили всѣ трое.—Ни подъ какимъ предлогомъ!

— Ну, батько, значитъ, рѣшено! Служи завтра напутственный!.. Завтра же скажу Ползункову, чтобы писаль отпушкъ. На двадцать на восемь дней, — этого будеть недостаточно... Опоздаю ежели немного, ты, Ваня, скажешь Огурчикову, чтобы сквозь пальцы проглядѣть. Небось, не подведу его подъ отвѣтственность...

Этимъ Шелобовскимъ рѣшеніемъ окончилось засѣданіе въ домѣ старика Глухарева и затруднительный вопросъ былъ разрѣшенъ къ общему удовольствію.

## II.

По ровной, степной дорогѣ Орско-Казалинского тракта катился укладистый тарантасъ, запряженный тройкою косматыхъ, большеголовыхъ киргизскихъ лошадей. Киргизъ-ямщикъ, несмотря на страшную юльскую жару, въ тяжеломъ, подбитомъ баранымъ мѣхомъ малахаѣ на головѣ, и въ верблюжьемъ халатѣ, лѣниво обмахивалъ кнутомъ оводовъ и слѣпней, назойливо облѣпившихъ костлявыхъ конскія спины; рядомъ съ нимъ, облокотившись о высокую спинку козель, дремалъ намъ знакомый уже Силантій, усердно поклевывая носомъ; въ откинутые для прохлады фартуки фордека видна была, тоже спящая, Надя, полуутонувшая въ мягкихъ подушкахъ, покрытыхъ ситцевыми наволочками; мирно колыхались надѣя ея головою, подвѣшанные на ремешкѣ, шляпныя картонки, въ ногахъ серебрился уголь кованного погребца; вездѣ, гдѣ только можно было что-нибудь сунуть, торчали разныя дорожныя принадлежности, «крайне необходимыя» по словамъ старого, бывалаго служиваго. За тараптасомъ, на подкладныхъ дорогахъ, покоился, прикованный цѣпями и весь оплетенный веревками, громадный сундукъ, плотно обернутый рогожами, поверхъ сундука еще какой-то

ящикъ, сверхъ всего, еще мягкая, высоко приподнятая укладка, и все это, вмѣстѣ съ парусиннымъ верхомъ экипажа, густо было напудрено тонкою, солонцеватою пылью...

Маловыѣзженныя лошади давно уже отскакали свои первыя, горячія версты,—обыкновенная привычка степныхъ коней,—давно успокоились, остыли, и шли ровно, покойно рысью... Кругомъ безконечно разстилалась выжженная солнцемъ равнина, изрѣдка только, тамъ и сямъ пересѣкаемая неглубокими, каменистыми балками. Подпятая колесами и ногами лошадей пыль почти недвижно стояла въ воздухѣ, знонья мгла дрожащимъ туманомъ заволакивала горизонтъ, и въ этой мглѣ, то будто близко, въ нѣсколькихъ шагахъ, то гдѣ-то далеко-далеко, сверкали водныя поверхности, ложныя озера степныхъ, полуденныхъ миражей...

Тихо было въ пустынѣ и глухой звонокъ разбитаго колокольчика слышался далеко, тревожа табунчики сайгаковъ, молниями исчезавшиѳ изъ глазъ, при первомъ подозрительномъ звуки; только маленькия, сѣрыя черепахи безбоязненно ползали по всѣмъ направленіямъ, да зоркія ящерки стрѣлою шмыгали тамъ и сямъ, гонясь другъ за другомъ, или же кайфовали, неподвижно, разинувъ пасть, лежали на самомъ припекѣ, съ наслажденіемъ представляя почти отвѣснымъ солнечнымъ лучамъ свою чешуйчатую спинку...

Ни одного мотылька надъ жалкими остатками выгорѣвшей растительности; ни одной птицы въ раскаленномъ воздушномъ пространствѣ!

Роскошная, полная жизни, зеленая степь, съ своими дымящимися аулами, съ безчисленными табунами коней и верблюдовъ, съ атарами густорунныхъ овецъ, съ бойкими косоглазыми всадниками, носящимися по зеленымъ равнинамъ съ гикомъ и свистомъ, съ звонкими голосами чумазыхъ ребятишекъ, съ цѣлыми стаями собакъ, несущихся съ лаемъ навстрѣчу проѣзжему экипажу, съ щебечущими мелкими пташками и съ орлами, плавно парящими на синемъ фонѣ лѣтняго неба... Эта чудная, такъ понравившаяся Надѣ, степь далеко осталась сзади... Давно уже кругомъ пошли унылые солончаки, полное безлюдье, а дальше мертвые пески, горячіе, сыпучіе, безо всякаго признака растительности... и такъ далеко еще, вплоть до новой водной артеріи, до новой полосы осѣдлости, до глинистыхъ, поросшихъ густымъ камышомъ береговъ рѣки «Сыра».

Колесо набѣжало на камень, звякнуло и тряхнуло тарантасъ; вдрогнулъ Силантій, сонно поглядѣлъ по сторонамъ, вытянуль изъ кармана тавлинку съ табакомъ и принялся набивать свой багровый носъ... Полѣзъ въ эту тавлинку и ямщикъ-киргизъ, глубоко засунувъ туда свиси черные какъ сажа пальцы; тотъ уже не къ носу понесъ, тотъ прямо въ ротъ, за щеку, сплюнувъ сквозь зубы предварительно...

— Какъ жарко!— послышался въ глубинѣ тарантаса томный голосокъ и легкое позѣываніе...

— Испить не желательно ли, барышня?— встрепенулся ста-рикъ, привставъ и, перегнувшись, заглядывая въ экипажъ...

— Дай, голубчикъ!.. Да скоро ли это мы приѣдемъ!.. какая тоска!.. Господи!

— Скоро!— усмѣхнулся Силантій.— Нѣтъ, матушка, Надежда Федоровна, еще очень не скоро... Повремените... А вотъ испить у меня запасено... Я еще съ Джаловлей захватилъ три пары бутылочекъ, тамъ вода скусная, хорошая! не то что здѣсь пойдетъ, соленая... Посогрѣлась маленько, ничего! Я вотъ сейчасъ одну откупорю... Пожалуйте!.. Стаканчикъ тамъ, барышня, въ лѣвомъ карманѣ... повыше маленько... вотъ тутъ! Пожалуйте, я оботру его... Ну, да и пылища же анафемская!. Ей Богу! Прости Господи...

— Скоро станція?— полюбопытствовала путешественница, глотая мутную, теплую воду.

— Скоро!.. Вонъ за тѣмъ пригоркомъ еще пригородъ будетъ, тамъ логомъ пойдетъ дорога... опять лѣвѣе мазарка видна будетъ, а тамъ на спускѣ, а тамъ сейчасъ... отъ мазарокъ уже видна будетъ... Теперь недалеко!

— Станцій «джакымъ» (близко)!— подтвердилъ и ямщикъ, мало-мало понявший смыслъ объясненія Силантія.

— Гайда! Погоняй, чумазый!— виновательно замѣтилъ ему тотъ.— И что за народъ, право!.. Чуть замѣтилъ, что задремалъ пассажиръ, сейчасъ и самъ спать, а лошади шагомъ идутъ... только бы все изъ подъ кнута; нѣть чтобы постаратъся... Погоняй!..

И тройка пошла живѣй, колокольчикъ залязгалъ усиленно, пристяжныя, взмахивая спутанными гривами, даже подскакивать стали.

— Тебѣ тамъ жарко... Садись сюда, ко мнѣ... здѣсь все-

таки тѣнь,—произнесла Надя, налившись и пряча стаканъ на свое мѣсто.

— Да я, матушка, видѣлъ, что вы дремать начали... Думаю, поразоспитесь, пораскинетесь... все просторнѣе будетъ... Вотъ и перебрался сюда. Намъ что, мы народъ привычны!.. Мы вотъ въ шестьдесятъ пятомъ году...

— А это что видно?.. Тамъ?..

Надя показала рукою.

— Это вотъ они самыя мазарки и есть! Могилы такія, святыхъ ихнихъ, что ли! Вотъ теперь и станція скоро... На той станціи урядникъ Бородинъ, за станціоннаго, землякъ мой; у него самоваръ есть... корову тоже держить, молочкомъ по-шотчути. А ты, знай свое дѣло, пошевеливай!.. Теперь, барышня, для на два еще этакой то каторжной дороги будетъ, а послѣ опять пойдетъ хорошая сторона... Тамъ уже, чѣмъ дальше, то лучше... Мы, гляди, къ самому винограду поспѣемъ...

При словѣ «виноградъ» дѣвушка даже повеселѣла. Отъ наблюдательного глаза опытнаго спутника не скрылось такоѣ обстоятельство. Онъ тоже улыбнулся и продолжалъ:

— Тамъ, барышня милая, чего-чего нѣть! Сады какіе, тѣни сколько! Птицы раіскія и чаи китайскіе... Такъ то! хе!.. Вотъ потерпите... къ вечеру много прохладнѣе будетъ... Теперь у насъ ночи мѣсячныя, свѣтлыя... Мы всю ночь пропѣдемъ... Вы себѣ спите покойно, не сумѣвайтесь... я постерегу...

Старикъ словно оборвалъ свою фразу. Смолкъ и отвернулся... Надя пытливо поглядѣла ему въ затылокъ.

— Все отъ Господа! все отъ Него!—вздохнулъ Силантий и продолжалъ:

— Въ пути, что во храмѣ... да! Безъ креста и молитвы ни-ни!.. Потому, какъ Онъ ежели захочетъ,—уважить... Благодареніе и слава Ему, Всемилостивому!.. Нѣть коли,—на все Его Святая воля!.. Такъ то, матушка Надежда Федоровна... Такъ то!...

— А гдѣ ты леденцы спряталъ?.

— Леденцы! конфетики то эти?! Они тамъ, въ синемъ мѣшкѣ... Гдѣ сахаръ и чай, тамъ и они. Я ихъ нарочно въ погребецъ не запиралъ, чтобы подъ руками были...

Киргизъ-ямщикъ замахалъ рукавами и особенно оживился, склонивъ произительно на усталыхъ лошадей и пройдясь по

всѣмъ тремъ спинамъ ременнымъ кнутомъ. Тройка подхватила вся вскачъ.. Впереди, на косогорѣ, на желто-сѣромъ фонѣ солончака, ярко забѣлѣлась на солнцѣ приземистая мазанка съ двумя подслѣповатыми окнами и раствореною дверью посерединѣ... Сзади къ мазанкѣ примыкалъ камышевый загонъ и полурастрапанный навѣсь; недалеко чернѣль срубъ колодца... Табунчикъ коней бродилъ по близости... У крыльца стоялъ тарантасъ, съ приподнятыми кверху оглоблями... Изъ подъ крыши, изъ отверстія, замѣнявшаго трубу, валилъ густой столбъ чернаго дыма.

Это и была давно жданная станція.

### III.

Услышавъ трохъ приближающагося экипажа, какой то проѣзжій офицеръ показался на порогѣ станціи и, прикрывшись рукою отъ солнца, сталъ пристально всматриваться.

— А вѣдь это нашъ, барышня!—обрадовался Силантій, обращаясь къ Надѣ.—Такъ и есть! Его благородіе капитанъ Шелобовъ!.. Они самые?!

— Василій Ивановичъ?!

— Такъ точно... Вотъ и «барантачъ» ихъ выскочилъ... Ишь ты шельмецъ! должно узналъ меня... Ишь какъ на встрѣчу задувается!.. Экко умный песъ!..

Большая сѣрая, косматая собака очутилась уже у самаго тарантаса, прыгая съ привѣтливымъ лаемъ и взвизгиваніемъ...

— Ого-го!.. Охъ, ты «барантачъ», и впрямь «барантачъ...» ахъ ты, бестія!..

— Здорово Силантій!—крикнулъ Шелобовъ, тоже двинувшись на встрѣчу.—Везешь?!

— Везу!..

Тарантасъ остановился. Надя выглянула оттуда, и ея глаза змотрѣли на Василія Ивановича скорѣе испуганно, чѣмъ радостно. Сердце билось усиленно... Вопросъ словно замеръ на устахъ...

— Отецъ?!.—начала было она и остановилась.

— Слава Богу, все хорошо... То бишь, что я сказалъ... Я не знаю... должно быть хорошо... Я вѣдь самъ вотъ давно не былъ, теперь возвращаюсь... Вотъ и отлично!.. значить

теперь вмѣстѣ и пойдемъ... Вы какъ здоровы, Надежда Федоровна?..

Шелобовъ растерялся. Онъ не ожидалъ, что уже будто бы такъ сразу и придется приниматься за дипломатію.

— А я полагаю, что вы отъ насъ, значить, въ Россію,ѣдете?—вставилъ свое замѣчаніе Силантій.—Я гляжу, что тарантасикъ вашъ туда оглоблями стоитъ...

— Да я... я, то есть, изъ отпуска... а теперь вмѣстѣ... гм...

Силантій разомъ смолкъ, потупился, зашелъ за тарантасъ и долго копался тамъ, провѣряя крѣпко ли кладъ привязана, не разслабло ли что... А киргизъ отпрыгъ уже одну пристяжную, тоже пріостановился и на старика смотрѣть: чего это, моль, онъ стоитъ и ничего не дѣлаетъ? стоитъ, не то плачетъ, не то соринку изъ глаза вытираетъ... да все крестится, словно своему Богу молится...

— Какая же вы большая стали, какая хорошая!—говорилъ Шелобовъ, помогая Надѣ выѣхать изъ экипажа.—Встрѣтилъ бы гдѣ и не узналъ бы, Надежда Федоровна, ей Богу-съ!

— «Надежда Федоровна!»—укорительно улыбнулась дѣвушка,—а Надя бы васъ всегда узнала... Вы постарѣли, почти сѣдой стали, а все бы узнала... Стыдно!

— Да вѣдь въ мои лѣта десятокъ годовъ ничего, совсѣмъ мѣняться нельзя, а вѣдь вы, Над... ну хоть Надя, будь по вашему... Вы вѣдь ребеночкомъ отъ насъ вывезены, а теперь—ишь ты... Урядникъ, самоваръ, живѣ!

Вотли въ горницу, на-бѣло оштукатуренную, довольно просторную саклю, вдоль стѣнъ которой, вмѣсто мебели, были сдѣланы глиняные прилавки, покрытые дешевыми киргизскими коврами. На стѣнахъ висѣли росписанныя, почтовыя правила, разсчетный прогонный листокъ и портретъ генерала въ штатской формѣ, со звѣздою и взбитымъ кокомъ на головѣ; все это въ рамкахъ, за разбитыми, запыленными стеклами. Чуть не четверть всей комнаты занимала громадная русская печь съ лежанкою, полъ былъ кирпичный, смазанный глиною, засоренный окурками папиросъ, скрлупою отъ яицъ и разными обѣдками дорожныхъ припасовъ; на грязномъ столѣ стояла коробка отъ сардинъ съ крупною сѣрою солью, лежали мѣшокъ съ сухарями, свертки бумажные съ сахаромъ и чаемъ,—остатокъ колбасы... Урядникъ Бородинъ, оставивъ самоваръ на

попеченье одного изъ ямщиковъ, приводилъ въ порядокъ чайный приборъ, вытирая стаканъ полою своей армячиной рубахи... Барантачъ, вернувшись со встрѣчи, вытянулся, высунувъ языкъ, на одномъ изъ прилавковъ, стеречь бурку и чеподанчикъ своего хозяина.

— А ты позаботься чтобы лошадей сейчасъ, въ оба трантаса, живо!—распорядился Шелобовъ, обращаясь къ станціонному.

— Вы какъ-же, ваше благородіе?..—удивился тотъ.

— А такъ-же... я назадъ ѿду!—шепнулъ капитанъ уряднику на ухо.

— Слушаю-сь!—также шепотомъ отвѣчалъ тотъ, и вышелъ.

Явился и Силантій, убѣдившійся, должно быть, что все привязано крѣпко, и снова выдержалъ на себѣ испытывающій, пристальный взглядъ Нади.

— Вы, Надя, вотъ что...—обратился Василій Ивановичъ къ дѣвушкѣ.—Вамъ можетъ быть что поправиться надо? Мы съ Силантіемъ выйдемъ пока, тамъ позовете... Пойдемъ, старина!..

— Сейчасъ! вотъ только полотенчико достану, да воды свѣжей нацѣжу въ умывальникъ... Я мигомъ управлюсь... Вотъ и вода готовая припасена... Ходить не зачѣмъ...

Управился Силантій, а Шелобовъ его на дворѣ подождалъ. Притворила Надя дверь, на крючекъ защелкнула, а сама къ окну. Стекла пыльные, мухами засиженные... ей на свѣтъ видно почти все, а ее никто не видить... Только, жаль, говорить очень тихо. Поговорять, да сюда посмотрять, поговорять опять и опять обернутся...

Присѣла Надя на прилавокъ, опустила руки и задумалась... Тяжелое предчувствіе давно уже стало закрадываться въ ея сердце... Уже дни три замѣтила она, что ея старый спутникъ сильно измѣнился. То все былъ такой веселый, разговорчивый, даже пѣсни ей пѣлъ, солдатскія, своимъ старческимъ, разбитымъ голосомъ, а вдругъ, не то: послѣ того какъ форть Иргизъ проѣхали, совсѣмъ измѣнился старикъ: если и улыбнется, если и пачнетъ рассказывать про что-нибудь веселое, то, видимо, насилино, нехотя, какъ то дѣланно,—и не веселить это еe, Надю, пуще прежняго разстроиваетъ, болѣзнино растрѣваетъ ея мучительное предчувствіе чего то недобраго, роко-

вого!.. И дорога опять, эта длинная утомительная дорога! Прежде, бывало, сотни верстъ мелькали незамѣтино, дни за днами, словно часы пролетали, а теперь словно черепаха ползетъ время, безъ конца тягнется эта сѣрая, пыльная лента... Тяжко!..

На крылечкѣ Шелобовъ и Силантий тихо и печально разговаривали.

— Да, братъ!—покачалъ головой Шелобовъ.

— Это точно!—потупился Силантий.

— И вотъ, братецъ мой, какъ снѣгъ на голову, все это обрушилось!

— Божья воля!..

— Нѣтъ, ты посуди!.. Добро-бы померъ, отъ болѣзни что-ли какой, отъ старости... А то...—Шелобовъ покосился на окно, взглянуль туда же и Силантий...

— Въ Иргизѣ я слышу... Такъ и обмеръ... Куда уже вѣсть зашла!.. Сказывали, иль-за капитала польстились!..

— Теперь я вотъ затѣмъ и выѣхалъ навстрѣчу... чтобы, знаешь, не сразу...

— Это на что же лучше!.. Вѣрите ли, Василій Ивановичъ, я за эти три дня просто измучился! Какъ это разговоръ пойдеть промежъ насъ, такъ и бѣда! Не знаю какъ и языкомъ ворочать... Все слова разныя придумываю, и все неладно выходитъ... Самъ вижу, что неладно... Я уже и по нихъ это замѣтилъ...

— Что ты?

— Сами увидите... извѣстно дѣло, кровь говоритъ... не чужой кто,—отецъ родной! вотъ она, кровь эта, и сказывается...

Звякнула задвижка, встрепенулись бесѣдующіе... Вошли. Стоитъ Надя у стола, къ нимъ спиною, умывальникъ не тронуть, полотенце такъ и лежить, свернутое, на прежнемъ мѣстѣ, гдѣ его Силантий положилъ.

Шелобовъ и старикъ переглянулись молча между собою.

— Торопи самоваръ поскорѣе! Да скажи: что-же, моль, лошадей не закладываютъ?!—засуетился капитанъ.—Ну, Надя, устали таки вы, я думаю, порядкомъ!..

— Устала!—проговорила дѣвушка...

— Ну, теперь уже недалеко... То бишь оно очень далеко, слишкомъ полторы тысячи верстъ... Да я такъ вотъ радъ что,

голосъ крови.

вы нагнали... эко случай то какой, счастливый!.. Теперь вмѣстѣ, такъ двумя тарантасами, караваномъ значить, и покатимъ! чудесно!

— Вмѣстѣ!—повторила Надя, почти машинально.—Я очень рада...

— Тутъ вотъ скоро верблюжьи станціи пойдутъ. Знаете, пески этикіе страшны! лошадямъ не свезти, такъ верблюдовъ запрягаютъ... забавно! Тамъ, я думаю, вы, у себя въ институтѣ, на верблюдахъ не ёздили?!. А потомъ все отлично пойдетъ... Недѣли въ двѣ докатимъ, скорѣе можетъ быть даже. А вотъ и самоваръ тащутъ! Посторонитесь немнога!.. Ставь сюда на столъ!.. да, позвольте, я самъ заварю, что вамъ, право, беспокоиться.

— Заварите, Василій Ивановичъ...

— Силантій!.. Или, пѣть! Онъ тамъ киргизять учить тарантасъ подмазывать... Силантій! покончишь, иди чай пить!.. нечего проклажаться!.. Пожалуйте!.. Сахаръ сами положите, по вкусу?

---

Тронулись дальше.

Тарантасъ Нади впереди, Шелобовскій сзади. Дорога съ каждымъ шагомъ становилась хуже. Уже начались пересыпи, песчаные заносы, грядами пересѣкающіе твердо утрамбованный колесами путь; полузамученные почтовыя клячи шли почти шагомъ, трогая рыхлую изрѣдка, развѣ гдѣ дѣло шло подъ горку. Солнце перешло за полдень и жара, казалось, еще болѣе усилилась. Силантій снова усѣлся на козлы передняго тарантаса, но дорогою перебрался къ Шелобову.

Онъ понималъ необходимость, что называется, спѣться какъ слѣдуетъ, и вотъ, ради этой именно цѣли, онъ, сначала, скосочилъ съ козель, пріостановился, а затѣмъ пошелъ рядомъ съ Шелобовскою повозкою, придерживаясь рукою за облучекъ.

— Потолковать надо бы какъ слѣдуетъ! — началъ онъ первый.

— Толкай не толкай, а дѣло дрянь! — замѣтилъ Шелобовъ, надынивъ полный тарантасъ своими кручеными папиросами.

— Вотъ теперь, по моему, если сказать все прямо, повиниться-бы, да и камень съ души... Что же, вѣдь, воля Божія!.. рано-ли — поздно-ли, узнать должна. Чтожъ и себя, да и ее,

голубушку, томить... Вы, думаете, ей легко тоже? Я такъ по-  
лагаю, что коли ежели запала у ней на сердце эта самая  
предчувственность, то ужъ шабашъ... Либо уже прямо надо  
обманомъ брать, либо все на чистоту... А то ни то, ни се...  
Пытка—одно слово!

— Пытка!—согласился Василій Ивановичъ.—Это вѣрно!..  
Легче бы, кажется палецъ за пальцемъ тупымъ ножемъ рѣзать...  
Хочешь папироску?

— Покорнѣйше благодаримъ! Мы другимъ манеромъ упо-  
требляемъ... Моего не прикажете-ли?

Вытянуль Силантій тавличку, зарядился... Стали оба въ  
молчанку играть; минутъ десять забавлялись такимъ образомъ.  
Не замѣтили какъ Надя выглянула назадъ изъ тарантаса и  
снова спряталась. Пошли кони рысцею, привскочилъ стариkъ  
на подножку, присѣль на облучекъ...

— Ты, вотъ, говоришь, повиниться надо, все разсказать,  
какъ слѣдуетъ!.. А что изъ этого выйти можетъ, а? Ты какъ  
объ этомъ думаешь? — прерваль тяжелое молчаніе Василій  
Ивановичъ.

— Это уже какъ Богу угодую... Больщая, можно сказать,  
печаль...

— Печаль! То-то... А что ежели, да съ такого горя бѣда  
какая приключиться! Обморокъ — что!.. Это еще поправимо! А  
вотъ если что хуже!.. Бываетъ разрывъ сердца, ударъ — и го-  
гово! Да оборони Богъ!.. Болѣзнь ежели даже, не приведи  
Господи... Здѣсь, въ степи, въ пескахъ этихъ! Ни аптеки, ни  
доктора... Что мы съ тобою дѣлать станемъ?..

— Это точно!..

— Опять, вѣдь, что грѣха таить! Намъ вотъ съ тобою  
тяжело, мы и думаемъ, что намъ тогда полегче станетъ, изъ-за  
того больше и хлопочемъ... Нѣтъ, не ладно!

— Зачѣмъ изъ-за себя!.. Перетерпимъ!.. — потупился ста-  
рый инвалидъ.

— Нѣтъ уже вратъ, такъ вратъ до конца. Все, моль,  
благополучно, ничего худого не слыхать, да и не слышно  
было... Поберегать только, чтобы стороною не узнала... Ну, да  
вдвоемъ это нетрудно... А тамъ, какъ прїѣдемъ, или близко  
подѣлжать станемъ, тамъ уже видно будетъ, какъ и что...  
Тамъ посмотримъ!

— Что же! И это можно! — согласился Силантий. — Отчего не такъ!

Порѣшили на томъ, чтобы «вратъ» до конца.

Такъ бы оно, можетъ быть, и вышло, если бы это твердое рѣшеніе, въ эту же ночь, не разрушила сама Надя.

#### IV.

Проѣхали и эту станцію, проѣхали и другую. Добрались, наконецъ, до верблюжьихъ перегоновъ.

Горбатые, неуклюжіе «корабли пустыни» сначала очень занимали юную путешественицу. Она припоминала, въ дѣтствѣ еще, странныя формы этихъ животныхъ, по теперь отвыкла и сначала побаивалась ихъ, а главное ихъ отвратительного болѣзненнаго рева. Медленно двигался поѣздъ посреди сыручаго, накаленаго песка; изшуренные верблюды оставались чуть не па каждомъ шагу, довода до отчаянія неистовавшихъ, усердія ради, возницъ. Шелобовъ и Силантий почти все время шли пѣшкомъ, помогая ямщикамъ одолѣвать препятствія, хватались за колеса, подпихивали сзади; кнуты, ногайки, все, чѣмъ можно было нанести ударъ, вволю гуляло по ребрамъ несчастныхъ «кораблей». И, все-таки, только послѣ заката солнца, дотянувшись, наконецъ, до станціи Акъ-Джуль-пашъ, и то остановились въ виду, не доѣзжая, такъ какъ передъ самыми, полузнесенными пескомъ кибитками и мазанкою станціоннаго дома, поднималась сплошная сыручая гора, окончательно непреодолимая для измученныхъ верблюдовъ.

— Что это тамъ? — спросила Надя, указывая рукою въ ту сторону, где кровавымъ блескомъ, отражая вечернее зарево, свѣтилась узкая полоса воды.

— Это море, — отвѣчалъ Шелобовъ. — Аральское называется, по нашему просто Аралъ. Оно сюда концомъ подходитъ. Теперь уже и Сырь-Дарья недалеко... Станцій — полдюжины, больше не осталось.

— Рыбы что въ этомъ морѣ страсть! — замѣтилъ Силантий.

— Сомы въ пять аршинъ попадаются. Осетровъ, такъ это сколько угодно.

— Лебеди тоже, эти долгожайные. Цапли, эво какія! а

крылья у нихъ какъ кумачъ красныя. Краснокрылыми такъ и называютъ...

— Въ прошломъ году тюленей видѣли. Одного зашибли.

— А бабы-шицы! знаете, этакъ въ родѣ гуся, только много погрузнѣе и подъ носомъ снизу будто мѣшокъ подвѣшенъ, онѣ въ него рыбу собираютъ, про запасъ.

Но не особенно должно быть занимали Надю эти зоологическія подробности. Задумчиво, облокотившись на руку, смотрѣла она, какъ гасло понемногу красное зарево, какъ темнѣе и темнѣе становились силуэты песчаныхъ горъ, какъ плавно рѣяли надъ водою какіе-то пернатые хищники, или неподвижно сидѣли на отмеляхъ, подстерегая добычу...

Здѣсь, въ это время, невыносимый дневной жаръ быстро сменяется рѣзкимъ холodomъ ночи. Порѣшили путешественники, чтобы дождаться до разсвѣта на томъ же мѣстѣ, потребовать со станціи свѣжихъ верблюдовъ, а затѣмъ уже, продолжать дальнѣйший путь.

Силантій съ Шелобовымъ пошли собирать прошлогодній бурьянъ по берегу и сухой пометъ по дорогѣ для костра; киргизы выпрягли верблюдовъ и погнали ихъ къ станціи, Надя осталась одна въ тарантасѣ и вдругъ зарыдала, уткнувшись лицомъ въ подушку. Только голосъ Шелобова, да красный свѣтъ зажженаго костра вывели ее изъ этого положенія. Оправившись насколько можно было, Надя вышла изъ экипажа и стала прогуливаться по берегу. Силантій завозился съ закусками и чаемъ. Шелобовъ досталъ изъ чехла ружье и пошелъ за Надею,—ему хотѣлось позабавить хоть чѣмъ-нибудь дѣвочку.

— Дай, думаю, подстрѣлю орла. Красиво глядѣть какъ онъ оттуда, сверху, турманомъ, да прямо въ воду.

— Не надо, не надо,—замахала Надя руками, едва завидѣла смертоносное оружіе...—Зачѣмъ убивать... Не надо!

У Шелобова руки опустились.

Напились чаю. Силантій приготовилъ въ тарантасѣ постель для Нади, застегнулъ ее снаружи фартуками, Шелобовъ улегся у себя, старикъ-инвалидъ предпочелъ запросто «на песочкѣ», подоставивъ подъ себя, специально для сего предназначенную, кошемку. Заснули.

Луна, громадная такая, шафранно-желтая, поднялась надъ

песчаными курганами, мало-по-малу заливая все своимъ фосфорическимъ свѣтомъ. Настала мертвая тишина, положительно непрерываемая ни единымъ звукомъ.

Заснула печальная пустыня.

— Ваше благородіе! А, ваше благородіе! — заглянулъ Силантій въ тарантасъ Шелобова.

— А, что такое? — выглянулъ тотъ изъ-подъ шинели и приподнялся на локоть.

— Встаньте-ка, да послушайте!

Силантій говорилъ шепотомъ. Василій Ивановичъ въ одно мгновеніе былъ на ногахъ.

— Тихонъко, ваше благородіе. Подойдите сюда, да послушайте сами. Я уже давно прислушивался, думалъ пройдетъ, а тутъ еще хуже пошло. Васъ вотъ разбудилъ... Подойдемъ поближе.

Спутники осторожно подошли къ тарантасу Нади и стали вслушиваться.

Бѣдную дѣвушку должно было мучить во снѣ тяжелый кошмаръ. Она металась и глухо стонала. Эти стоны мало-по-малу перешли въ истерическія рыданія и вдругъ завершились громкимъ, полнымъ ужаса крикомъ.

Шелобовъ рванулъ закрывавшіе фордекъ фартуки такъ, что всѣ ремни и пряжки отлетѣли въ стороны. Силантій растерялся и принялъ унимать барабанчика, неистово почему-то зазывшаго.

— Надя, Надичка! что съ вами? — заботливо спросилъ Василій Ивановичъ.

— Да цыцъ ты, проклятый! Барышня, голубушка, да, помилуй Богъ! что такое попрятчилось?

— Надя, проснитесь же!

— Сонъ... ужасный, страшный сонъ! — простонала дѣвушка и смолкла.

Опять переглянулись спутники; на этотъ разъ очень уже выразительно.

Прождали минуты три... послышалось ровное, спокойное дыханіе спящей.

— Вы, ваше благородіе, идите почивать себѣ, съ Богомъ, я постерегу. Вотъ тутъ посижу на откидочкѣ...

Старикъ присѣлъ на подножку тарантаса.

Шелобовъ постоялъ, постоялъ, обошелъ съ другой стороны и тоже присѣлъ на другую подножку. Луна поднялась высоко. На востокѣ, за грядою песчаныхъ борхановъ, показались блѣдные признаки предразсвѣтной зари.

— Когда именно умеръ отецъ? Въ какой день? — раздался голосъ Нади надъ самимъ ухомъ Шелобова.

Тотъ вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ и обернулся.

Ярко освѣщенная луною голова дѣвушки была почти около самаго его лица, ея глаза смотрѣли прямо ему въ глаза. И въ этомъ дѣтскомъ, кроткомъ взглядѣ такъ и читалось: «Говорите правду, потому что я все понимаю, все знаю... Я горячо благодарна за то чувство ваше, которое заставляло васъ скрывать отъ меня ужасную истину... Теперь это бесполезно. Теперь, когда я знаю все, лгать больше незачѣмъ... Говорите!»

— Семнадцатаго, въ пятницу, — проговорилъ Шелобовъ.

— Въ Иргизѣ мнѣ сказывали: одиннадцатаго, — добавилъ Силантий.

— Его убили? — продолжала Надя.

— Да!..

— Убили, матушка!.. Злодѣи на капиталъ польстились... Убили кровопийцы окаянные! — зарыдалъ старый инвалидъ, сразу давшій волю своему, долго сдерживаемому горю.

— Надя, вы откуда же это знаете? — спросилъ озадаченный Шелобовъ.

— Сонъ, страшный сонъ... Я во снѣ видѣла все... все... Я видѣла кровь... много крови... и тамъ мой отецъ...

Снова истерическая рыданія прервали голосъ дѣвушки, снова заметались около нея не приспособившіеся къ такимъ дѣламъ спутники.

— Не выдержалъ, старина, прорвался... Эхъ, ты! — укоризненно замѣтилъ Шелобовъ.

— Да вѣдь вы первые, Василій Ивановичъ!.. Я послѣ, — оправдывался тотъ.

Оба огорчились. Въ глаза другъ другу смотрѣть не хотѣли.

До самаго восхода солнца продолжался припадокъ Нади. Молодая натура, да и усталость, взяли верхъ надъ горемъ, и она незамѣтно заснула.

Привели тѣмъ временемъ свѣжихъ верблюдовъ, говорили шепотомъ, грозными взглядами и внушительными жестами успокаивая безцеремонную болтовню киргизовъ-ямщиковъ. Не могли только унять отвратительного рева верблюдовъ, недовольныхъ, надо полагать, ихъ предстоящею работою (впрочемъ и эти звуки не въ силахъ были прервать глубокій, словно заколдованный, сонъ дѣвушки). Покончили съ запряжкою — и тронулись дальше...

V.

Время лѣчить все. Дорога, со всѣмъ разнообразiemъ своихъ впечатлѣй, усиливаетъ цѣлительныя свойства времени.

«Предчувственность», какъ выражался стариkъ Силантий, сама собою подготовила дѣвушку къ роковому удару. Нѣжная, инстинктивно доходящая до самыхъ тончайшихъ оттѣнковъ заботливость этихъ, сопровождавшихъ ее, съ вида такихъ суровыхъ, воякъ, сдѣлала свое дѣло.

Надя не чувствовала себя одинокою, чужою.

Она понимала и вѣрила, что ее любятъ. Она не спрашивала «за что?» Она по-дѣтски, довѣрчиво отдала себя въ полное распоряженіе этихъ людей, привязалась къ нимъ всею душою — и сознаніе себя круглою сиротою, одинокою съ первыхъ ступеней наступающей жизни, ни разу не приходило ей въ голову.

Ей не давали задумываться... Ея вниманіе постоянно отвлекалось отъ рокового вопроса.

Ея будущее рисовали передъ нею въ розовыхъ краскахъ, и эта длинная, утомительная дорога, казалась ей легка, и даже отрадна, уже потому, что съ каждымъ шагомъ приближала ее къ чему то такому, гдѣ ее ждетъ — любовь, тепло роднаго гнѣзда, все чѣмъ, обыкновенно, дорога родина, дороги нѣдра семьи.

Кровавыя, тяжелыя подробности убийства ея отца, эпизоды слѣдственного дѣла, всѣ ненужныя, растравляющія только раны сердца мелочи, все это было сглажено и обойдено, а между тѣмъ любовь и уваженіе къ покойному, проглядывающія въ каждомъ словѣ о немъ ея спутниковъ, живо рисовали передъ глазами Нади его образъ, только образъ этотъ теперь какъ будто бы раздваивался, воплощаясь въ другія, живыя формы.

Сагляпеть-ли, бывало, Силантій къ ней въ таращась, заботливо поправить подушку, поприкроетъ колѣна... Добрый гакимъ, мягкимъ огонькомъ заискрятся, въ тѣни угрюмыхъ, сѣдыхъ бровей, его глаза,—отецъ! Шелобовъ-ли подойдетъ, возьмется рукою за грядку повозки, идетъ рядомъ, а то на облучекъ подсядетъ, все что видѣтъ она новаго, чуднаго, объясняетъ ей толково и просто, точно ребенку чудныя сказки разсказываетъ,—отецъ!.. И тамъ, дома, все такіе-же... Тамъ Надю ждутъ будто дочку любимую... Тамъ грустятъ ея грустью, болѣютъ ея болью, радуются ея радостью.

Ея счастіе—ихъ счастіе, ея горе—ихъ горе... Тамъ вѣдь все «отцы»...

Шелобовъ и самъ не сознавалъ, какъ это онъ успѣль подготовить и развить въ Надѣ это чувство.

А тутъ Силантій говоритъ: «на все, молъ, воля Божія!» сказалъ запросто, но глубоко вѣруя въ сказанное. И цѣликомъ передалъ въ сердце дѣвушки эту святую вѣру, вѣру успокоительную, все исцѣляющую.

Василій Ивановичъ разсказывалъ Надѣ о Глухомъ форѣ, о томъ какъ они это мѣсто у бухарскаго эмира штыками добывали, какъ строились и укрѣплялись, какую на томъ самомъ мѣстѣ благодать обрѣли, разсказывалъ себѣ Иванъ Акимовичъ, напоминая Надѣ ея годы дѣтства, говорилъ обѣ Огурчиковыхъ, такие все смѣшные анекдоты разсказывалъ, обѣ отцѣ Павлы и его семье, о Групѣ, общей любимицѣ, говорилъ о Павлушѣ... Въ послѣднемъ случаѣ его разсказъ особенно оживлялся... Шелобовъ очень любилъ этого молодого человѣка, за его простоту и скромность, за дѣтскую искренность и чистоту его сердца.

— Красная дѣвица, да и все тутъ! — говорилъ онъ.—А какой молодецъ! Храбости и силы непомѣрной... сказалъ ежели что, такъ уже никакихъ векселей тамъ, либо удостовѣреній не надо... Вѣрно!.. Росту высокаго, стройный, лицомъ красавецъ писанный... На конѣ посмотрѣть, совсѣмъ картина!.. Да что тутъ говорить. Весь въ отца, какимъ тотъ былъ смолоду, а лицомъ въ мать... Извѣстная была красавица!

Служалось, что Силантій, вполнѣ раздѣлявшій въ такихъ случаяхъ мнѣніе Шелобова, улучивъ минутку удобную, подмигивалъ Василію Ивановичу, шепча:

— Вотъ бы намъ, ваше благородіе, сосватать такую парочку!

— Очень просто! — соглашался и Шелобовъ. — Полагаю, что это имъ обоимъ такъ на роду написано... Поживемъ — увидимъ!..

Бывало и такъ, что Василій Ивановичъ, отойдя куданибудь подальше, задумается, потрясеть головою своею гладко остриженною, потянетъ за сѣдой усъ, вздохнетъ и про себя скажетъ:

— Эхъ ты, Вася, Вася, сѣдой чертъ... Еслибы тебѣ, этакъ, годковъ безъ пятка тридцать съ костей — можетъ быть и самъ бы ты охотно пристроился!..

Засмѣется и пойдетъ стороною, по терновымъ зарослямъ, по цстрѣльти фазанять пару, пока тарантасы шагомъ въ гору выберутся.

Разъ какъ-то въ переднемъ тарантасѣ кони пристали. Въ тотъ годъ проѣздъ былъ усиленный. Новый губернаторъ штаты мѣнялъ. Старые уѣзжали, новые ѿхали на открывшіеся мѣста... Какъ ни выносливы степные кони, а и тѣ сдались, изъ силъ выбились, — и ночевать на полдорогѣ проѣзжимъ случалось частенько. Станція эта была одна изъ самыхъ тяжелыхъ, — по урочищу Кара-Кузакъ, въ объездъ розливовъ Сырь-Дарьи. Топкій, мѣстами совершенно распустившійся, солончакъ задавалъ усиленную работу лошадямъ; экипажи глубоко врѣзывались своими колесами, тащились шагомъ, да и то слава Богу, что тащились.

Солнце еще не сѣло, когда стала тройка въ тарантасѣ Нади. Ямщикъ распредѣлъ лошадей и поѣхалъ на нихъ на станцію, за свѣжими; вернуться засвѣтло не могъ; а въ этихъ мѣстахъ ночью ѿздить опасно. Тутъ, по сторонамъ дороги, безконечно растянулись густыя поросли камыша, джиды и терновника, любимыя мѣста для тигровъ, — и киргизъ, пробирающійся съ тройкою по такой дорогѣ, легко могъ бы сдѣлаться добычею четвероногаго хищника. Вотъ почему ямщикъ и могъ вернуться въ оставленнымъ экипажамъ только на слѣдующій день, утромъ.

Нашему поѣзду пришлось провести ночь подъ открытымъ небомъ, бивуакомъ, что, конечно, никакъ не смущало Шелобова, давно уже привыкшаго и освоившаго съ подобными обстоятельствами.

Съло солнце, густой туманъ затянуль чащу,— стемнѣло быстро. Силантій огонекъ развелъ, чай варить собрался... Пока Шелобовъ постель устраивалъ, Надя на козлы забралась, тамъ ей веселѣ казалось, и все прислушивалась къ странному, грубоватому, немного дѣтскому плачу—то и дѣло раздававшемуся по сторонамъ, то будто далеко гдѣ то, то совсѣмъ уже близко... Шелобовъ объяснилъ ей, что это чекалки развылись, потому сѣйстное чують—«подлецъ звѣрь, вродѣ собаки—совсѣмъ безопасный, трусливый, только надоѣдливый до страсти»... Но тутъ шакалий вой смолкъ разомъ и воцарилась мертвая тишина. Въ сторонѣ, должно быть далеко отсюда, кто то вздохнулъ, протяжно такъ, будто со сна потянулся и прикрылъ рукою зѣвоту... Черезъ нѣсколько минутъ вздохъ этотъ повторился слышнѣе, ближе и закончился глухимъ рокотаніемъ, словно громъ прогремѣлъ въ отдаленіи...

— Что это?—спросила испуганно Надя.

— Это тигръ поднялся... Круги свои начинаетъ дѣлать,— удовлетворилъ ея любопытство Шелобовъ.

— Тигръ,—машинально повторила Надя, струсила и поблѣднѣла.

— Тигра эта самая,—пояснилъ Силантій,—звѣрь лютый... стра-а-а-шенный!.. Разъ вотъ одного такого Василій Ивановичъ ухлопалъ, вѣрите ли?! безъ малаго четыре аршина, хвоста не считая...

Страхъ дѣвшушки усиливался.

— А что если онъ сюда придетъ?—сказала она—и уже слѣзла съ козель.

— Что же, милости просимъ!—произнесъ въ отвѣтъ Шелобовъ.

И сказалъ это такимъ покойнымъ, увѣреннымъ голосомъ, что весь страхъ Нади исчезъ въ одну минуту... И тигръ показался ей такимъ же безопаснѣмъ и мирнымъ, какъ тѣ косматыя, жирныя овцы, что встрѣчались ей дорогою цѣлыми атарами...

— А Павлуша?..

Надя произнесла это уменьшительное имя нечаянно и очень сконфузилась.

— А Павелъ Ивановичъ,— поправилась она,—опъ тоже охотится на тигровъ?

— Пашка-то?!. Да онъ у меня первый сподручный!.. Одного то его я еще не пускаю: горячится малость, осторожности и споровки настоящей нѣть,—рассказывалъ Шелобовъ,—а со мною все ходить. Лучшаго товарища не найти! Паша у меня и изъ воли не выйдетъ, и уже не продасть, это точно... Вотъ разъ въ прошломъ году было,—сидѣли мы въ «лабазѣ»; тигръ подошелъ было хорошо, да за падаль закрылся; мнѣ только верхъ головы да уши его видны... Выжидалъ я, выжидалъ, выстрѣлилъ, должно быть задѣлъ не на смерть... Тотъ какъ взвился, да прямо на меня... Не успѣлъ я и за револьверъ взяться, а онъ уже тутъ, подлъ... Павлуша прямо къ нему, открытымъ то мѣстомъ... подошелъ это пѣкайло, приложился, ружье словно въ станкѣ зажато, не дрогнетъ... бацъ!.. и готово!.. — Я ему говорю: ты, братъ, этого другой разъ не дѣтай! а онъ мнѣ:— Что же мнѣ ждать, когда онъ тебя калѣчить станетъ?.. Молодецъ!.. Мужчина!..

Не поняла Надя изъ этого рассказа многаго: что, моль, за штука такая лабазъ? почему выходить оттуда не надо... Поняла только, что Павлуша совсѣмъ герой, сказочный богатырь какой-то, наивный и безстрашный... ей даже снился онъ въ эту ночь: густые камыши, полная луна свѣтитъ на темно-синемъ, усыпаномъ яркими звѣздами небѣ... а вотъ и онъ стоять, сжимая въ рукахъ оружіе. Стройный красавецъ, залитый съ ногъ до головы серебрянымъ свѣтомъ, а кругомъ все сверкающіе глаза тигровъ и глаза эти, горящіе ненавистью и гнѣвомъ, тухнуть при встрѣчѣ съ спокойнымъ, величественнымъ взглядомъ героя... Страшный чудовища униженно ползутъ къ его ногамъ, какъ жалкие рабы пресмыкаются у ногъ царя властелина...

Сонъ ли это, на яву ли грезы представляются... Вонъ и Силантій сидѣть у огня на корточкахъ, чернымъ, сгорбленнымъ силуэтомъ рисуется его фигура... Вонъ и Шелобовъ отошли къ сторонѣ и вслушиваются, лошади жують что то и фыркаютъ, хвостами отмахиваются... Нѣть, на яву... откуда же Павлуша взялся?.. Вотъ онъ опять стоять, словно въ ореолѣ свѣта... И этотъ Павлуша ее, Надю, очень любить... Вѣдь онъ *tamz*; а *tamz* всѣ ее любить, и она всѣхъ ихъ любить, очень, очень любить, а его, Павлушу, почему то больше... не то чтобы больше, а какъ то иначе... И хотѣлось бы ей скорѣе и скорѣе ити къ нему навстрѣчу... такъ бы и полетѣла!.. А тутъ полная

неподвижность: камыши, костеръ, все,—не мелькаетъ передъ глазами, неподвижно стоитъ на одномъ и томъ же мѣстѣ, не вѣтъ вѣтромъ навстрѣчу... И чего же они стоять?.. Чего же мы стоимъ?.. Что же мы не ѿдемъ?..

Должно быть громче остального раздались послѣднія слова Надиныхъ грезъ...

— Лошадей нѣть, матушка, оттого и стоимъ,—пояснилъ Силантій:—на одной тройкѣ двухъ таантасовъ не увезешь, на себѣ не потащишь... Вотъ свѣтать станетъ, подѣдетъ ямщикъ, тогда и тронемся...

## VI.

Дорога подходила къ концу...

Остались сзади безлюдныя мѣста... Нашъ поѣздъ вошелъ въ предѣлы сплошной осѣдлости. Замелькали маленькие кишлаки по сторонамъ со своими приземистыми саклями, потонувшими въ сочныхъ массахъ зелени, потянулись обработанные участки земли, глинобитныя изгороди, журчащіе арыки, маленькие, квадратные прудики, словно зеркала, оправленныя въ зеленые рамы; золотистыя поля дозрѣвающаго риса, иелашхолически шелестящія чаши джугары и кукурузы, говсръ рабочаго народа, нестрыя группы, тамъ и сямъ копошащіяся на плантацияхъ, скрипъ высокихъ арбянскихъ колесъ, люди въ цвѣтныхъ халатахъ и большихъ бѣлыхъ чалмахъ, то єдуше навстрѣчу, то обгоняющіе поѣздъ, то молчаливо и пытливо поглядывающіе на проѣзжихъ, сидя въ тѣни базарныхъ навѣсовъ...

Надю все это занимало очень... все это такъ ново было для нея!.. Проѣхали уже нѣсколько большихъ азіатскихъ городовъ, ходили въ Азретъ смотрѣть старую, знаменитую мечеть, помнившую еще славныя времена Тимура. Вдали на горизонте росла и росла голубая гряда горъ, покрытыхъ вѣчнымъ льдомъ и снѣгами...

— Теперь уже близко!..—говорилъ, потирая руки, Василій Изановичъ...

— Совсѣмъ рукою подать!—поддакивалъ Силантій... — Еще съ пятокъ деньковъ потрясемся, а тамъ и дома будемъ.

— Близко!—вторила имъ машинально Надя...

И бойко, дружно гремѣли колеса таантасовъ по прекрасной утрамбованной какъ шоссе, культурной дорогѣ.

Словно бесконечное зеленое море, развернулись передъ ихъ глазами сады долины Ташкента съ его живописными дачами, съ бѣльющими куполами православныхъ церквей... чаще и чаще замелькали русскія фигуры, заслышалась русская рѣчь...

— Ну, ей-же-ей, словно въ нашей Орловской губерніи!— замѣчалъ Силантій...— Ну-ты, шапка крученая, пошевеливай!..

---

Изъ Ташкента Шелобовъ покатилъ впередъ, убѣдивъ Надю отдохнуть день въ этомъ городѣ, оправиться какъ слѣдуетъ... Самому ему уже очень хотѣлось поскорѣе предупредить друзей; дать имъ время приготовить все въ домѣ къ встрѣчѣ своей любимицы-сиротки.

На другой же день, вслѣдъ за Шелобовымъ, выѣхала и Надя. Силантій, несмотря на жару, надѣлъ почему-то свой новый суконный сюртукъ съ краснымъ воротникомъ, новую шапку съ лакированнымъ козыремъ и кокардою и, сидя на козлахъ, подбоченился особенно ухарски... Лошадей гналишибко, почти что вскач... «На водку, моль, получишь достаточно». Съ разгона вкатилъ тарантасъ въ узкую улицу кишлака Бешъ-арыкъ, добрались до базара, а тутъ и стали...

Дорога была загорожена двумя, случайно зацѣпившимися колесами, арбами, навьюченный кипами хлопка; верблюдъ упрямо легъ на самому проѣздѣ и никакъ не хотѣлъ подняться... Цвѣтные халаты возились около, пытаясь разсѣчисть дорогу, Силантій, съ высоты козель, покрикивалъ на нихъ, совсѣмъ по генеральски...

Надя высунулась изъ экипажа, смотрѣла на все съ крайнимъ любопытствомъ, и вдругъ видитъ: въ тѣсномъ, боковомъ переулкѣ, какъ разъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ солнечный лучъ, пробившись въ отверстіе навѣса образовалъ яркую полосу, стоять чудный вороной конь... Уши насторожены, глаза горятъ, первыя поздри широко раздуваются, легкое копыто звучно бѣТЬ камень мостовой; двое красивыхъ мальчиковъ съ трудомъ держать этого коня подъ уздцы, а около стоять офицеръ, высокий и стройный, какъ тополь... Бѣлый кителъ на немъ, словно латы, облегаетъ его широкія плеча и тонкую, какъ въ корсетѣ, талию... Онъ стоитъ сюда спиною, разговариваетъ со старикомъ въ золотистомъ халатѣ и въ пестрой чамѣ; тотъ стоитъ передъ нимъ, согнувшись подобострастно, какъ рабъ передъ

властелиномъ... Вотъ этотъ офицеръ на коня садится... Кто стремя подаетъ, кто подъ руки подсаживаетъ... вотъ сѣль, сюда лицомъ повернулся... на Надю прямо, въ упоръ смотритъ...

«Это онъ, Павлуша!—промелькнуло въ головѣ Нади... Красавецъ!.. дѣйствительно красавецъ!..»

Большие темные глаза, матовая блѣдность лица, чудный, словно рѣзцомъ изваянnyй, профиль... Меланхолически грустное выраженіе лица и холодная гордость... Царское величие и презрѣніе ко всему этому мелкому, что такъ приниженно копошится подъ его ногами...

«Конечно, это Павлуша... то есть нѣть... Павлуша—это мелко! зачѣмъ такъ!.. Поль—это лучше... Мой Поль!..»

И захотѣлось Надѣ крикнуть ему:

— Поль... вѣдь это я, твоя Надя!.. ты вѣдь меня никогда не видаль, но ты меня знаешь. Я тебя тоже не видѣла, но знаю... больше чѣмъ знаю! я полюбила тебя... да, полюбила...

Яркая краска бросилась въ лицо дѣвушки, она не выдержалась пристальнаго взгляда красавца и откинулась въ глубину экипажа...

«Нѣть, послѣ!» сама себѣ уяснила Надя это стыдливое движеніе...

А тутъ, расцепили арбы, подняли упрямаго верблюда, очистили дорогу, и тройка коней рванулась впередъ, вынося путешественницу изъ подъ сводовъ кишлака Бешь-арыкъ, снова на залитую солнцемъ, пыльную дорогу.

Шагомъ ѻхалъ сзади встрѣчный красавецъ, ничего конечно не подозрѣвающій...

«Однако какіе перлы стали залетать въ эту глушь!—замѣтилъ онъ про себя...—и какъ она похожа... На кого это она похожа?..»

Криницынъ задумался и припомнилъ злополучную карточку, надѣлавшую такъ много шума по всему Глухому форту, fatalъно отразившуюся и на немъ самомъ...

Онъ вспомнилъ и судорожно остановилъ коня... Ему не-пріятно было видѣть удаляющейся тарантасъ... Такой запыленный, широко раздинувшійся... Чернымъ пятномъ какой то чесомадъ посреди... все сѣро, словно сѣдина на пльшивомъ затылкѣ...

Попятился Абрекъ и мотнулъ головою... онъ не привыкъ, чтобы его такъ рѣзко осаживали...

Тише итише замиралъ почтовый колокольчикъ... совсѣмъ смолкъ... Тронулся шагомъ впередъ Павелъ Петровичъ. И еслибы Надя могла бы видѣть лицо его въ эту минуту, то, можетъ быть, оно ей и не такъ бы понравилось сразу.

## VII.

домъ покойнаго Федора Петровича Горкина принялъ торжественно праздничный видъ.

На всѣхъ дверяхъ повѣшены были ярко цвѣтныя ситцевыя драпировки, шторы на окнахъ сверкали своею безукоризненною бѣлизною, свѣже покрашенные, только что просохшіе полы слегка попахивали масляною краскою; на всѣхъ подоконникахъ стояли букеты цвѣтовъ; потолки выбѣлены заново и каждая паутинка была тщательно убрана. Спальная Надя выглядывала просто игрушкою и благоухала... Нога утопала тамъ въ мягкихъ, туземныхъ коврахъ, прикрытыхъ на проходахъ узкими холщевыми дорожками.

Садъ подчищенъ и выметенъ; гдѣ только глинибита на стѣнка поразмылась и обвалилась, вездѣ выведена заново. На клумбахъ и грядкахъ нестрѣли цвѣты, самаркандскія розы и гвоздики. Дворникъ-сартъ получилъ приказъ надѣть чистую рубаху, и не забыть, что ему, специально для даннаго торжества, подаренъ красивый полушелковый халатъ и десять аршинъ кисеи на чалму. Глухаревскіе денщики ходили на цыпочкахъ, поскрипывая густо наваксенными сапогами.

Въ переднемъ углу залы, подъ образами, стоялъ столъ, покрытый скатертью, на немъ хлѣбъ и соль на форфоровомъ блюдѣ, двѣ восковыя свѣчки въ подсвѣчникахъ, а посрединѣ образа Богородицы, мучениковъ Федора и Надежды. Въ сторонѣ, на особомъ столикѣ, лежало полотенце съ шитыми концами и тоненькая восковая же свѣчки, особенно, въ бумажномъ сверткѣ.

Отецъ Павелъ, въ новой шелковой рясѣ, прохаживался по залѣ, расправляя волосы. Иванъ Акимычъ подфабрился и ходилъ козыремъ. Шелобовъ, уже оправившійся съ дороги, по разсѣянности, пришелъ въ томъ же запыленномъ кителѣ, но ему замѣтили эту разсѣянность и онъ поспѣшилъ переодѣться.

Дѣвица-акушерка два раза уже подсыпала Ползункова

узнать: не пріѣхала ли? Груня, сама шившая драпировки и убиравшая спальню Нади, почему-то не пришла на «встрѣчу». Кажется, не раздѣляла общаго праздничнаго настроенія духа.

Совѣтъ друзей порѣшилъ встрѣтить *наслѣдницу* на по-рогѣ, затѣмъ отслужить панихиду по усопшемъ, потомъ тор-жественный, благодарственный молебенъ по случаю благопо-лучнаго пріѣзда, а тамъ уже видно будетъ, что дальше.

Батюшка настояль на панихидѣ, Шелобовъ рѣшилъ, что можно. Ему лучше было знать; онъ исполнилъ затруднитель-ную миссію блистательно.

Народъ сталъ уже собираться у крыльца.

— Что жъ, пускай и они посмотрятъ. Всѣмъ, значитъ, любопытно и радостно!—допустилъ это Иванъ Акимычъ.

— Жаль, что Павлуши нѣть!—говорилъ Василий Ива-новичъ.

— Да, и надо же было такъ случиться! Совсѣмъ уже не-кстати! Пришла очередь, третьяго дня съ «оказіей» ушель; дня черезъ два, раньше не вернется,—сожалѣлъ Иванъ Аки-мовичъ.

— Прискорбно, но это отъ него не уйдетъ!—резонировалъ отецъ Павелъ.—Въ которомъ часу ожидать разсчитываете?

— Да теперь вотъ половина пятаго! съ каждою минутою можетъ подѣхать. Мнѣ все звонокъ слышится.

Шелобовъ, походилъ, походилъ по залѣ, вышелъ на крыльцо и присѣлъ на ступенькѣ.

Дамы рѣшили, что, во всякомъ случаѣ, Надя обязана пер-вая всѣмъ сдѣлать визиты и чтобы имъ впередъ не забѣгать ни въ какомъ случаѣ.

— Ёдуть-сь!—вбѣжалъ деньщикъ.

Всѣ встрепенулись. Иванъ Акимовичъ взялъ со стола блюдо съ хлѣбомъ и вышелъ въ сѣни.

Тревога на этотъ разъ оказалась фальшивою: єхала фурш-тадская тройка, только что отвезшая по назначенію баталь-оннаго фельдшера.

— Ёдуть-сь, ёдуть-сь!—снова раздались тревожные го-лоса и на этотъ разъ, дѣйствительно, въ облакѣ бѣлой пыли, замахали головы пристяжныхъ, замелькала зеленая дуга и подъ нею сѣдые бакенбарды и красный воротникъ стараго инвалида.

— Пожалуйте! — первый, по праву, подступил къ остановившемуся тарантасу Шелобовъ и на рукахъ вынесъ оттуда Надю и бережно опустилъ ее на площадку крыльца.

— Ишь ты, и впрямь краля какая! — послышалось въ толпѣ.

— Съ пріѣздомъ, Надюша, съ пріѣздомъ, милая, — началь было свою роль Иванъ Акимовичъ, передалъ на-скоро блюдо съ хлѣбомъ кому-то изъ постороннихъ, обнялъ дѣвушку и вдругъ зарыдалъ, какъ ребенокъ.

И Надя растерялась и заплакала и съ увлеченiemъ поцѣловала мозолистую руку Глухарева.

Тутъ уже и отецъ Павель расчувствовался, благословилъ пріѣзжую обѣими руками и заморгалъ глазами.

— Въ комнаты, въ комнаты! — засуетился Шелобовъ. — Ну, что, старина, довезъ блапополучно?

— Какъ видите, ваше благородіе, къ сдачѣ готовъ, въполномъ порядке... Какъ бы теперь Федоръ Петровичъ порадовались. Царство ему Небесное!

Послѣднія слова онъ произнесъ очень тихо, чтобы Надя, не ровенъ часъ, не слыхала, но та все-таки услышала и прошептала:

— Бѣдный папа!

Всѣ уже ушли въ комнаты, но двери остались гостепріимно раскрытыми настежь.

— Пріѣхала-съ — стремительно влетѣлъ Ползунковъ въ квартиру дѣвицы-акушерки.

---

Облачился отецъ Павель и началъ служеніе.

Всю панихиду Надя стояла на колѣняхъ и тихо плакала. Горе ся улеглось и приняло ровный, спокойный характеръ. Она молилась горячо, внимательно вслушиваясь въ слова евангелия, и разъ только покосилась въ сторону, словно отыскивала кого-то глазами...

Иванъ Акимовичъ стоялъ посреди залы, скрестивъ на груди руки, и подтягивалъ причетнику; Шелобовъ прижался въ самый уголъ и, казалось, ждалъ съ нетерпѣнiemъ окончанія панихиды... На него непріятно дѣйствовалъ видъ черной траурной рясы, такъ мало гармонирующей съ веселой обстановкой «дня пріѣзда».

Силантий стоялъ въ сѣяхъ, взыхалъ, трясь своею по-  
лысълою головою и тоже подтягивалъ причетнику, стараясь  
поймать втору.

Отобрали свѣчи, пропѣли послѣднюю «вѣчную память»—  
отецъ Павель поспѣшилъ переоблачиться. На этотъ разъ свѣтло-  
зеленая съ золотыми голунами ряса весело заблистала на его  
плечахъ и всѣ вздохнули свободнѣе.

Приложились ко кресту. Батюшка пошелъ по комнатамъ  
съ кропиломъ въ рукѣ, Шелобовъ чесъ чашку съ водою, Иванъ  
Акимовичъ повелъ Надю подъ руку.

Какъ хорошо, какъ уютно, свѣтло показалось Надѣ ея но-  
вое гнѣздо. Она даже вскрикнула радостно, увидѣвъ свою спа-  
ленку, и еще разъ бросилась цѣловать Ивана Акимовича.

— Это все Павлуша хлопоталъ,—улыбнулся старикъ Глу-  
харевъ.

— А гдѣ же онъ?—сорвалось таки съ языка у Нади.

— Въ оказію ушелъ... Вотъ нѣкстати совсѣмъ!.. Вернется  
впрочемъ, скоро.

— Что такое оказія?

— А это, знаете ли, тутъ вѣдь нельзя зря... Тутъ осто-  
рожность наблюдать требуется, дальше, по степи. Ежели тран-  
спортъ сберется,—ему сейчасъ прикрытие назначутъ. Вотъ  
Павлуша и ушелъ съ отрядомъ.

— Верхомъ?

— Верхомъ! Не пѣшкомъ же итти такую даль.

Иванъ Акимовичъ не проникъ въ тайну этого вопроса.

— Онъ, я думаю, скоро вернется,—замѣтилъ Шелобовъ.—  
Жидно будетъ, что безъ него встрѣтили.

— А я его видѣла!—хотѣла было сказать Надя, но удер-  
жалась. Ей пришло въ голову, какъ можетъ быть это смѣшно  
и интересно, когда тотъ приѣдетъ, его будуть ей представлять,  
а она лукаво улыбнется и скажетъ: «мы уже знакомы не-  
много».—Какъ? гдѣ?..—сейчасъ вопросы пойдутъ, а онъ дога-  
дается и покраснѣтъ; ему будетъ стыдно сознаться, что онъ  
видѣлъ и не догадался, не подѣхалъ, не заговорилъ... Какъ  
это будетъ забавно, какъ это будетъ забавно!.. Вѣдь это онъ  
тогда-то именно и ѿхалъ верхомъ въ эту противную оказію.  
И зачѣмъ я его не позвала?..

Все это быстро промелькнуло въ головкѣ Нади... Передъ

нею распахнулась широкая дверь прямо въ садъ. Масса зелени хлынула ей навстрѣчу, согрѣтый воздухъ теплою волною ворвался въ спальню, разнося ароматъ цвѣтовъ. Фигура въ бѣлой чалмѣ и пестромъ халатѣ двинулась къ ней навстрѣчу, съ блюдомъ винограда и персиковъ. Надя попятилась было назадъ, но потомъ протянула ручку и стала кушать...

— А вотъ это и не слѣдуетъ передъ обѣдомъ!—замѣтилъ Иванъ Акимовичъ.—Да что же тамъ, не готово, что ли? Отецъ Павель, ты разоблачайся, да съ нами.

— Весьма благовремено!—согласился фортовой батюшка.

На садовой террасѣ загромыхали посудою, и оттуда потянуло жаренымъ.

Всѣ вышли въ садъ, Надя осталась одна въ своей спальнѣ. Надо же было ей переодѣться и хоть руки помыть съ дороги. Солдатка Анисья, договоренная Глухаревымъ къ Надѣ въ горничныхъ, юркая и расторопная бабенка, тоже явилась къ ея услугамъ, съ пирогомъ и поздравленіемъ, новоселья ради.

### VIII.

Обѣдъ начался довольно натянуто. Дѣло въ томъ, что у каждого присутствующаго на языкѣ такъ и вертѣлось имя покойнаго хозяина. Не будь на лицо Нади, разговоръ естественно вертѣлся бы на воспоминаніяхъ о Федорѣ Петровичѣ... Покойный незримо присутствовалъ въ средѣ своихъ друзей, какъ бы воплотившись въ красивыя формы своей дочери, теперешней хозяйки. А между тѣмъ каждый считалъ своимъ долгомъ отнюдь «не провраться», то есть ни единымъ словомъ не намекнуть на то великое горе, которое переживала Надя.

Всѣ радовались, глядя на ея спокойно-веселое, беззаботное лицико и боялись нагнать на него неосторожнымъ словомъ печальную сѣрую тучку.

Разсчитывая на слезы, на острый припадокъ горя, отецъ Павель приготовилъ было цѣлую проповѣдь, но пока въ этой проповѣди надобности не было и онъ все молчалъ, не отвѣчая даже впопадъ на вопросы, ибо въ это время придумывать другую застольную рѣчь и подбирать подходящіе тексты.

Шелобовъ молчалъ и ъль, методически записывая явства пре-восходнымъ квасомъ.

Надя требовала, чтобы Силантий тоже сидѣлъ за столомъ, но тотъ наотрѣзъ отказался, заявивши, «что, молъ» это будетъ совсѣмъ уже «не порядокъ».

Иванъ Акимовичъ, когда на столъ поставили дымящееся блюдо «плова», чутъ-чутъ не проговорился...

— Вотъ эту штуку особено любилъ пок...—началъ было онъ, но покраснѣлъ до ушей и оборвался...

— Бѣдный папа!—снова повторила Надя.—Какъ бы онъ былъ радъ, какъ бы онъ былъ счастливъ... Гдѣ его мѣсто было обыкновенно?

Дѣвушка произнесла это спокойно, хотя и съ чувствомъ. И тотчасъ же всѣ присутствующіе вздохнули полною грудью.

— А вотъ, Наденька, тутъ вотъ, гдѣ ты сама сидишъ... То бишь, виновать, гдѣ вы сидите...—отвѣчалъ Иванъ Акимовичъ.

— Гдѣ вы сидите!...—подчеркнула Надя и засмѣялась.

— Привычка-съ!—оправдывался тотъ.—Вѣдь вотъ помню еще, когда крестили... Росла на глазахъ, да на моихъ рукахъ... Всё бывало: Ну-ка ты, Надюшокъ-катышокъ!.. Была ты, то есть, вы,—тьфу, ты! такая кругленькая, наливная, пузырь-пузыремъ...

— А тамъ забыли,—прервала его Надя,—разлюбили... Уѣхалъ катышокъ, а пріѣхала—дѣвица Надежда Федоровна... Такъ, что ли!.. Стыдно!

Она укоризненно посмотрѣла прямо въ глаза Глухареву, лукаво улыбнулась и протянула къ нему обѣ ручки.

— Дочурка ты моя!—вскочилъ съ мѣста старикъ.

Лицо Нади, при этомъ словѣ, засияло широкою, счастливою улыбкою, слезы хлынули изъ ея глазъ буквально въ два ручья, она вскочила, также порывисто, опрокинула стулъ своимъ движениемъ и бросилась на шею Глухарева.

И слышали присутствующіе слова: «дочка моя, дочка родная, безцѣнная...» Слышали и другой голосъ, шепотомъ, тихо, словно въ забвеніе, лепетавшій: «Папа, папочка...»

И не вѣяло грустью отъ этихъ слезъ, ничего печального въ нихъ не слышалось.

А все таки, ни самъ Глухаревъ, никто изъ собесѣдниковъ не поняли истиннаго значенія порыва Нади. Объяснить его себѣ объяснили, да не совсѣмъ такъ, какъ слѣдуетъ.

— Пророческія наименованія! — произнѣсть торжественно отецъ Павель.

— Дай-то Господи! — перекрестился стоящій поодаль Си-лантий.

Шелобовъ наложилъ себѣ еще полную тарелку и неистово трасъ перечнику, по разсѣянности.

— Радуетъ меня, — началъ батюшка, когда всѣ успокоились и заняли свои мѣста.— Радуетъ меня весьма, что въ вашемъ заведеніи священное писаніе преподавалось правильно и неукоснительно. Кто законоучитель былъ-сь?

— Нашъ батюшка! — отвѣчала Надя.

— Имя оного, имя-сь, позвольте узнать, сего пастыря достойнаго?

— Отецъ Александръ.

— Такъ-сь! Доброе сѣмѧ съялось на добрую почву. Духъ кротости и смиренія передъ волею Всевышняго внѣдренъ въ иѣрѣ достаточной. Одобряю!

Подали фрукты въ корзинѣ и поставили передъ приборомъ Нади.

Иванъ Акимовичъ самъ раскупорилъ бутылку шампанскаго, вина, здѣсь рѣдкаго и дорогаго, и сталъ разливать.

— Торжество! — провозгласилъ отецъ Павель.— Съ прѣздомъ! Всѣ стали чокаться.

Глухаревъ шепнуль что-то Надѣ, та засмѣялась и переспросила.

— Такъ?

— Такъ!

— Вынимай па-tronъ! — скомандовала она своимъ звонкимъ голоскомъ.

Всѣ расхохотались и взялись за портъ-сигары.

— Совсѣмъ по нашему! — заливался отъ души Иванъ Акимовичъ.— Молодецъ, новая хозяйушка!

— Однако, господа, курить и чай пить пожалуйте въ садъ. Тамъ расчудеснѣе будетъ.

Всѣ подошли къ ручкѣ «новой хозяйки» и стали спускаться со ступенекъ террасы, направляясь къ прудку, гдѣ въ тѣни развесистаго карагача, золотомъ сверкаль дымящійся самоваръ и садовникъ Гайкула разливалъ зеленый чай въ плоскія китайскія чашечки.

## IX.

Прошло нѣсколько дней.

Надя успѣла уже сдѣлать всѣ нужные визиты. Глухой форть невеликъ, разстоянія, отдѣлявшія одну квартиру отъ другой, очень коротки и Надя исполнила, требуемыя этикетомъ, обязанности пѣшкомъ, подъ руку съ Иваномъ Акимовичемъ.

Вездѣ ее встрѣтили крайне радушно, со всѣми признаками искрепности. Новая обитательница Глухого форта вернулась довольная и счастливая.

Но больше всѣхъ понравилась ей Груня. Та поцѣловала ее какъ то особынно тепло, пожелавъ покоя и счастья, такимъ дружескимъ, проникающимъ въ душу голосомъ, что Надя чуть ей на шею не бросилась.

Въ полчаса обѣ дѣвушки сдружились, словно много лѣтъ росли вмѣстѣ. Только всѣ, кто знали Груню раньше, не могли понять почему это ихъ веселая, живая, простодушная любимица на этотъ разъ какъ будто бы пріуныла, печально такъ смотрѣла своими кроткими глазами, не улыбнулась ни разу и ходила словно въ воду опущенная.

Иванъ Акимычъ составилъ штатъ новопріѣзжей очень удачно. Главнымъ лицомъ, на обязанности которого было блести весь домъ и отчасти руководить молодою хозяйкою, былъ, конечно, Силантій: это было его неотъемлемое право. Персоналъ женской прислуги олицетворяла солдатка Анисья. Гайкула садовникъ, онъ же и дворникъ, онъ же и поваръ, ибо превосходно приготовлялъ всѣ азіатскія блюда и понималъ уже русскіе вкусы, особенно подъ руководствомъ стараго инвалида, ретиво вступившаго въ отправленіе обязанностей мажордома.

Внѣшняя жизнь Нади стала сразу въ правильныя рамки. Осталось только позаботиться обѣ удовольствіяхъ и развлеченияхъ, но тутъ уже Надя съ первого дня засыпана была самыми разнообразными предложеніями въ этомъ родѣ.

Старый Глухаревъ заходилъ къ ней по десяти разъ въ день, справлялся все ли въ порядкѣ, совѣщался съ Силантіемъ о самыхъ пустыхъ мелочахъ; Гайкула изъ кожи лѣзъ, стараясь, чтобы и его усердіе не осталось незамѣченнымъ; Анисья нѣсколько разъ зазывала къ себѣ, попить кофейку, дѣвица-аку-

шерка и даже ни за что, ни про что подарила ей рублевую бумажку; Шелобова вызвали въ аулы, верстъ за пятьдесят отсюда, такъ какъ тамъ появилась тигровая чета и стала пошаливать; Павлуша все еще находился въ оказіи, и его поджидали съ часу на часъ.

Однимъ словомъ, все шло превосходно.

— Онъ меня любить, онъ меня полюбиль, не видя и не зная меня, и я его люблю,—мечтала она, оставаясь одна, ложась въ свою уютную постельку.

И она дѣйствительно его любила. Молодое, неиспорченное сердце дѣвушки не требуетъ большой подготовки къ восприятію этого чувства. Она полюбила Павлушу такимъ, какимъ его описывалъ Шелобовъ, тѣкимъ, какимъ она представляла его изъ писемъ своего покойнаго отца. Она его теперь видѣла, и къ покойному, теплому, отрадному чувству примѣшалась жгучая страсть, охватившая все ея юное существо; и Надя безотчетно, довѣрчиво отдалась этой страсти. Вѣдь этого всѣ хотятъ: и онъ хочетъ, и она ждетъ не дождется... «противная, злая, эта глупая оказія!»

И вотъ передъ ея глазами загорается во мракѣ ночи свѣтлое пятно. Это пятно растетъ, принимаетъ формы. Миляя, дорогая сердцу формы! Вотъ онъ стоитъ, верхомъ на чудномъ конѣ, весь залитый золотымъ солнцемъ, и на нее смотрить, и руки къ ней протягиваетъ. Лицо его блѣдно какъ мраморъ, глаза горятъ, его уста шепчутъ слова... никто ихъ не слышитъ, а Надя понимаетъ ихъ смыслъ. Онъ говоритъ: «ну, иди же ко мнѣ, не бойся! Я тебя давно жду!.. мое сердце давно тобою одною живеть и бьется!..» И она рванулась къ нему,想要 itти,想要 bроситься въ его объятія, повиснуть у него на шеѣ, спрятать лицо на его богатырскую грудь и замереть.

А тутъ ее держать невидимыя, злые руки. Ручей замнулся и рванулся, заграживая дорогу. Сердито бьютъ волны о камни, дробятся и стонутъ—выше и выше брызжетъ башенная пѣна,—шире разливается недобрый ручей... дальше и дальше отходитъ дорогой образъ.

— Иди-же! — чуть слышно доносится призывный голосъ. Какъ ножемъ рѣжетъ сердце Нади этотъ страдальческий звукъ.

— Иду,—замираетъ въ ея горлѣ. И она рвется снова и снова въ ужасѣ, отступаетъ назадъ.

Воды ручья краснѣютъ, въ воздухѣ пахнетъ кровью... это уже не вода—это... это...

— Барышня, а барышня!—будить ее осторожно Анисья.—Вы бы на правый бочекъ легли!.. нехорошо такъ то вать, на спинкѣ...

Проснулась Надя и испуганно протираетъ глазки... и снова засыпаетъ, и снова видитъ вороного коня и залитаго солнцемъ своего рыцаря. Только теперь онъ уже не молить ее ни о чёмъ, онъ стоитъ гордо, пропуская мимо стройные полки... Трубятъ трубы, грохочутъ барабаны, словно стальная нива волнуются штыки... Удалая пѣснь несетъ по вѣтру... и все тише и тише... дальше и дальше...

Опять проснулась Надя... уже свѣтло, солнце высоко, шторы подняты и окно отворено пастежь. Анисья свѣжую воду льетъ въ умывальникъ, говорить: «съ добрымъ утромъ, барышня!..» а вдали и на яву замираетъ грохотъ барабана, стихаетъ заливчатская пѣсня... только голосокъ тонкій сюда по вѣтру доносится.

— Имѣемъ честь поздравить!—привѣтствуетъ ее Силантий, какъ только Надя показалась полуодѣтая на садовой террасѣ.

— Съ чѣмъ?

— Подпоручикъ Глухаревъ, ихъ благородie Павель Ивановичъ изволили вернуться... перестрѣлочка у нихъ была, только легонькая,—нашихъ, слава Богу, никого не зацѣпило.

Заходило, заметалось въ груди Нади ея молодое сердце, она даже руками схватилась и почувствовала, какъ горячая краска бросилась ей въ лицо.

— Сегодня пожалуютъ!—замѣтилъ Силантий ея смущеніе и ухмыльнулся.

— Сегодня! — повторила Надя и, какъ птичка, порхнула назадъ, въ свою уютную спальню.

## X.

— Пріѣхала? — говорилъ Павлуша, энергично умываясь, плеская водою на всю комнату.—Экая досада, право! Папаша, сегодня и съ визитомъ можно?

— Отчего же нѣть!—отвѣчалъ Иванъ Акимовичъ...—Вотъ позавтракаемъ, да и пойдемъ. Ты пріуберись хорошенько, сапоги надѣнь новые, лаковые.

— Я, папаша, мундиръ надѣну и рубашку крахмальную, съ заонками!..

— И мундиръ надѣнь, отчего не надѣть! — соглашался папаша.— Пускай видить, что у тебя уже Анна есть съ мечами... это хорошо!..

— Фадѣевъ! мундиръ почисти хорошенъко! Экая, право, досада!..

Шелобовъ забѣжалъ. Опь тоже сегодня только вернулся.

— Ну, говорить, Пашка, твое счастье—смотри не забудь: меня шаферомъ!

— Первымъ дѣломъ!—поторопился согласиться Павлуша.

— Такъ вотъ сейчасъ! Нѣтъ, я съ невѣстиной стороны буду, а ты себѣ другихъ подбирай. Огурчикова позови съ Ползунковыми, они холостые оба. Да, братъ, Ваня, раскошеливайся...

Шелобовъ хлопнулъ Глухарева-отца по плечу, тотъ даже на стулѣ покачнулся.

— За мною, говорить, дѣло не станетъ! только пошли Господи!

— Эхъ! вѣдь дернула меня нелегкая на прошлой недѣльѣ наголо остричъся! щетина щетиною торчить, и помада не береть!—соболѣзновалъ Павлуша, разматривая себя въ маленькомъ, походное зеркальце.

— Хорошъ и такъ будешь!.. А перчатки чистыя есть...

— Перчатки?.. Ахъ! да! Фадѣевъ! есть чистыя перчатки?

— Есть одна пара, только два пальца прорвавшись!.. Да я сейчасъ, ваше благородіе, цѣлый помою, пока завтракать станете, попросохнуть живо.

— Мой скорбѣ!

— Послушай, Вася, ты скажи откровенно, будь другъ!.. Про меня что она говорила?.. то, бишь, обо мнѣ какой разговоръ былъ между вами?

— Какой разговоръ! — усмѣхнулся Шелобовъ, — никакого разговора о тебѣ не было...

— Стоитъ тоже о всякихъ пустякахъ разговаривать, — подшучивалъ и Иванъ Акимовичъ.

И его глаза мягко, любовно такъ глядѣли на смущеніе сына.

— Говорилъ я ей,—рассказывалъ Шелобовъ.—Вотъ у насъ есть богатырь-остолопъ, росту девять вершковъ, безъ малаго. Вы, говорю, Наденька, такихъ и въ кунсткамерѣ не видѣли.

— Ну что за глупые шутки!

— Ничего не шутки... Ну-ну, не пѣтушишь!.. Небось, не продали тебя!.. Такъ это все дѣло подготовили, что хоть сейчасъ иди и кайся! А тамъ и къ отцу Павлу на законный передѣль. Батька-то нашъ уже на фурштатскій дворъ бѣгалъ, колесные втулки подбиралъ, на вѣнцы чтобы годились...

— Ишь ты что придумалъ... Ха-ха-ха! — заливался Иванъ Акимовичъ, — колесные втулки!..

— Букетъ бы надо! — остановился въ раздумыи Павлуша...

— Это зачѣмъ? Что же ты и впрамъ сразу съ предложеніемъ?.. Погоди еще, для приличія, немножко, поприсмотрѣсь къ ней, къ себѣ дай поприсмотрѣться тоже... экий прыткій!..

— Шарфъ новый прикажете, ваше благородіе? — сунулся въ дверь деньщикъ Фадѣевъ.

— Натурально новый! — накинулся на него Павлуша. — Да давайте-же, право, скорѣе завтракать... съ двухъ часовъ ночи все шли степью, проголодался, какъ волкъ... Всего одинъ стаканъ чаю выложилъ на привалъ... Вода соленая, мутить съ такой, натощакъ-то!

Позавтракали наскоро, но плотно. Любовь нисколько не испортила богатырскій аппетитъ Павлуши, вызванный усиленнымъ ночнымъ переходомъ.

— Ты одинъ пойдешь? — спросилъ Иванъ Акимовичъ сына, когда тотъ пристегивалъ свою гремящую саблю.

— Одному-то какъ будто неловко! — отвѣчалъ тотъ, не попадая на крючекъ.

— То-то, я самъ думаю... одному не того! Я пойду съ тобою и представлю какъ слѣдуетъ быть, по всей формѣ. Шелобовъ, пойдешь?

— Иди, Василій Ивановичъ, — пригласилъ и Павлуша.

— Мнѣ зачѣмъ?.. Я вотъ жду киргизовъ, они звѣря должны привезти скоро... Попался мнѣ здоровенный подъ пулю... Самка, да еще съ дѣтенышами... Еле справился!.. Вотъ я за скорнякомъ послалъ, сейчасъ ее раздѣляемъ, и вамъ свадебный презентъ, — коверъ къ постели чудесный выйдетъ!

— Спасибо, братъ! — пожалъ Шелобовскую руку Иванъ Акимовичъ.

— Ишь ты вѣдь какой, — укорительно замѣтилъ Павлуша, —

самъ, уѣзжая, не велѣлъ мнѣ ходить одному, а теперь не могъ меня подождать денекъ. не годится!..

— Хватить и на тебя!—засмѣялся Василій Ивацовичъ.— Только, братъ, тебѣ скоро хвостъ пришипятъ... скажутъ: нѣтъ, монъ ами, ходи щелкай перепеловъ, а туда не суйся, гдѣ, того гляди, самому свернуть шею... Это для нась, безотвѣтныхъ бобылей, забава, не вашему брату, женатому!.. Ну, прошай! желаю тебѣ успѣха и полнаго счастья!.. труби «къ атакѣ!»

Вышли изъ дома Глухаревы оба и направились по пыльной улицѣ; прошли мимо воротъ дома отца Павла. Груня столла въ калиткѣ и смотрѣла на Павлушу изъ подъ руки... Солнце уже очень ярко свѣтило.

— Ишь ты какимъ франтомъ разодѣлся! — замѣтила она и плечами передернула.

— Здравствуй, Груничка, — протянулъ ей руку молодой Глухаревъ... но его протянутая рука такъ и осталась на воздухѣ.

— Здравствуйте-съ, съ визитомъ изволите-съ?.. желаю успѣха-съ!—отвѣтила дѣвушка, подчеркивая слова, налегая особенно на окончанія.

— Груничка, что-жъ ты сердишься... я право...

— Я вамъ не Груничка, — отвернулась та и порывисто добавила: Ну, чего же ты остановился и глаза пялишь?!. Видишь, отецъ дожидается! иди къ своей невѣстѣ!..

— Я, Груничка... — снова замялся Павлуша, махнулъ рукой и побѣжалъ догонять «папашу».

А Груня зашла за уголъ, оперлась руками на заборъ, опустила на нихъ свою головку и ея плеча стали судорожно вздрогивать.

— Груня! Груняха, не дури! — послышался съ крыльца голосъ отца Павла.

— Есть чего дурить то! — отозвалась его племянница, слегка вздрогнувъ отъ неожиданности, и порывисто, слишкомъ уже энергично, принялась снимать бѣлье, просыхавшее на растянутыхъ черезъ дворъ веревкахъ.

XI.

— Надя! Наденька! А вотъ и гости къ тебѣ пришли!—  
громко доложилъ самъ о себѣ Иванъ Акимовичъ.

Надя слышала изъ спальни его голосъ, поняла конечно, какіе такие гости, заглянула мимоходомъ въ зеркало, зардѣлась и вышла въ залъ, потупивъ глазки.

Павлуша осталбенѣлъ. Его скромная фантазія не могла представить ему образъ дѣвушки такимъ, какой онъ видѣлъ теперь, передъ собою. У него, что называется, духъ захватило... Онъ только кланяться началъ, а языкъ словно связало чѣмъ-то крѣпко-накрѣпко... Дорогою онъ все вступительную фразу сочинялъ, такъ это хорошо и складно выходило, а теперь вотъ и забылъ... сказалъ: «Имѣю честь...» и только... и остановился.

Подняла и Надя свои длинныя рѣсницы, взглянула и даже назадъ поспѣтилась.

— Не этотъ же?—невольно подумала она.—Тотъ сейчасъ войдетъ...

И она пытливо посмотрѣла на дверь.

— Вотъ, позволь представить тебѣ, голубка моя, моего первенца,— двинулъся къ ней Иванъ Акимовичъ.—Прошу любить и жаловать...

И разбилъ этими словами слабую надежду молодой хозяйки.

— Да что съ тобою?— продолжалъ онъ заботливо.— Ты вѣрно ночь провела худо?.. блѣдная какая... здорова ли, моя милая?..

— Здорова!—произнесла Надя и поперхнулась.

А Павлуша стоитъ и молчитъ, глазами какъ-то особенно помаргиваетъ.

Въ своемъ новомъ мундирѣ, съ таліей не на мѣстѣ, съ узкими, коротковатыми рукавами, онъ, надо сказать, представлялъ собою фигуру неособенно привлекательную. Сапогъ должно быть жаль ногу до боли, перчатки, не натянутыя вполнѣ, образовали на концахъ пальцевъ скрученные сочески, воротникъ сжималъ горло чуть не до удушья, вызывая на лицѣ неестественный румянецъ, даже кожа на головѣ покраснѣла, сквозь щетину гладко остриженныхъ волосъ.

Эта фигура была такъ мало похожа на то, что видѣла Надя тамъ, въ Бешѣ-Арыкѣ, она совсѣмъ уже не соотвѣт-

ствовала тому образу, который рисовался ей въ ея грезахъ, который неразрывно сросся съ ея молодымъ, первымъ порывомъ сладкаго чувства.

— Не тотъ! — промельнуло какъ молния въ ея головѣ.

— Вотъ познакомьтесь хорошенько, — улыбался Иванъ Акимовичъ, подводя, правильнѣе подталкивая Павлушу, поближе къ Надѣ. — Онъ у меня немнога того, диковатъ, а прапоръ добрый! Ты съ нимъ не церемонься, пообтеши его хорошенько, пополириуй...

— Я съ удовольствіемъ... — началъ было и Павлуша.

— Что это, какъ будто не метено еще въ саду?.. — взглянула Глухаревъ-отецъ въ окошко. — Я вотъ, сейчасъ, пойду обзоръ сдѣлать. Да ты, Надюша, не стѣсняйся, ты его хорошенько!.. хе.. хе!..

Иванъ Акимовичъ еще разъ подтолкнулъ Павлушу впредь и вышелъ.

— Садитесь! — прошептала Надя, и вдругъ, поступила уже совсѣмъ по институтски, она не ушла даже, а просто убѣжала изъ залы, вскочила въ спальню, захлопнула за собою дверь, даже задвижку защелкнула, сѣла на стулъ, испуганно посмотрѣла кругомъ и заплакала.

А Павлуша воспользовался тѣмъ временемъ и сталъ запихивать за воротникъ свой, вылезшій кверху, галстукъ, усиленно мотая головою и вытягивая вспотѣвшую шею.

— Что же вы?.. А гдѣ Надя? — озадачился немнога Иванъ Акимовичъ, входя снова въ залъ.

— Не знаю, папаша! Надичка-съ сейчасъ были и ушли-съ... должно быть что поправиться надо, — отвѣчалъ смущенный авлуша.

— Эхъ ты!.. Молодежь, молодежь! — развелъ руками отецъ Глухаревъ. — Оставили ихъ вдвое, а они и растерялись. Фррръ — въ разныя стороны!.. Я думалъ, она побойчѣй тебя будетъ... Ну, ничего, ничего... Обойдется оба... Посмѣюсь же я надъ вами ужо, вечеромъ!..

Иванъ Акимовичъ направился къ спальнѣ и тронулъ за ручку двери.

— Заперлась! — проговорилъ онъ. — Надя, мы сегодня вечеромъ къ тебѣ чай пить придемъ, Василія Ивановича захватимъ... Слышишь?.. гм!.. Ну, пойдемъ, братъ, домой! Собирайся!..

Вышли.

— Вотъ оно, институтское то воспитаніе!—резопироваль дорогою Иванъ Акимовичъ.—Оно вѣдь и точно: держать ихъ взаперти, только и мужчинъ видять, что плюгавые учительшки, да истопникъ. Вотъ оно и дико кажется, съ первого разу... Это, впрочемъ, хорошо, даже очень хорошо!.. А ты все-таки будь поразвязнѣе!.. Вотъ вечеромъ поразскажи ей про охоту, про походъ... Ты поразвязнѣй!.. Небось, съ нашими дамами ты въ карманъ за словомъ не лѣзешь... Ты ся не бойся: она дѣвушка добрая и простая, ласковая и умница... Ты смѣлѣе!..

— Я, папаша, и самъ, право, не знаю, что со мною сдѣлалось... Ошалѣлъ совсѣмъ, право слово!—оправдывался Павлуша.

— А хороша?!—толкнулъ его локтемъ отецъ.

— Царица! — вздохнулъ молодой человѣкъ и энергично сорвалъ, наконецъ, съ шеи этотъ досадный галстукъ.

## XII.

Хотя Надя, не по своей винѣ, конечно, и обошла визитомъ дѣвицу-акушерку, но та первая разлетѣлась къ ней, прошла черезъ всѣ комнаты, внимательно всматриваясь въ обстановку, и нашла хозяйку на садовой террасѣ.

— Извините за мою, можетъ быть, нескромность, — начала она. — Позвольте представиться: дѣвица Аделаида Францовна Розенблумъ, служу здѣсь въ качествѣ женского доктора.

— Здравствуйте!—протянула ей руку Надя.

— Давно, давно уже ждали мы васъ, съ большими непрѣніемъ... Я васъ не знала, но, извините за откровенность, была одна изъ самыхъ пламенныхъ вашихъ поклонницъ. Позвольте васъ поцѣловать...

Аделаида Францовна стремительно рванулась и обняла Надю, обдавъ ее прянѣмъ букетомъ пачули.

— Мерси!—высвободилась изъ ея объятій сконфузившаяся хозяйка.

— Удивлялась я только и, признаться сказать,—продолжала гостья,—что вамъ за охота была сюдаѣхать?!. Вы не повѣрите, здѣсь такая глушь, такая глушь!.. и люди—самые невѣжественные!

Надя попыталась было протестовать.

— Ахъ нѣтъ! — не дала ей даже раскрыть ротъ дѣвица — и не возражайте... совсѣмъ дикари!.. Нравы самые грубые и никакого понятія о свѣтскихъ приличіяхъ!

— Они всѣ такие добрые... — успѣла произнести Надя.

— Добрые! Ахъ, Боже мой!.. Это только съ первого взгляда такъ кажется... Вотъ вы увидите... Не могу я только говорить, потому что терпѣть не могу никакихъ сплетней... Вы еще не знаете... Ну, да я послѣ вамъ все разскажу... Вы позовите мнѣ посыпать васъ, душечка?

— Сдѣлайте одолженіе...

— Какъ у васъ тутъ все мило... Какое на васъ божественно-прелестное платьице... Сейчасъ видно, что у француженки заказано...

— Нѣтъ...

— Не говорите, не говорите... Я тоже знаю, я вѣдь понимаю все хорошо. Я вѣдь получила высокое воспитаніе въ кругу, можно по истинѣ сказать, самомъ аристократическому!.. Мой покойный папаша... Ахъ, пожалуйста, не примите это за нескромный намекъ. Впрочемъ, это послѣ. Я тоже воспитывалась въ институтѣ, и мы съ вами почти, значитъ, подруги... Вы мнѣ позовите еще разъ поцѣловать васъ!

— Гляжу я на васъ и, право, сердце обливается кровью, — продолжала гостья, снова усѣвшись на мѣсто. — Завезли васъ въ эту трущобу, втянули васъ въ свою ужасную, варварскую жизнь... Вы, такая молодая, красавая... Бутонъ! ну, право же, бутонъ!.. И вотъ этотъ благоухающій бутонъ, да въ лапы какого-нибудь мужика... Боже мой, какъ это грустно, какъ это грустно!.. Ну вотъ, вы уже и плачете...

— Ахъ, перестаньте, перестаньте! Я не могу видѣть этихъ слезъ! Я васъ разстроила... Ну, перестаньте-же плакать, мой ангель...

Надя дѣйствительно заплакала. Ей представилась массивная, неуклюжая фигура утренняго визитера и слова акушерки произвели нѣкоторое дѣйствіе...

— Я васъ разстроила, но успокойтесь!.. Здѣсь все-таки есть порядочные люди... здѣсь есть, напримѣръ...

Аделаида Французна осторожно оглядѣлась по сторонамъ, словно удостовѣриться захотѣла, что ее никто не подслушиваетъ, и продолжала:

— Тутъ есть, напримѣръ, Криницынъ, Павелъ Петровичъ... Это уже, дѣйствительно, можно сказать, красавецъ-мужчина и образованія самаго возвышеннаго... Кровный, прирожденный аристократъ.

— Криницынъ?—машинально повторила Надя.

— Павелъ Петровичъ... Только, жаль, онъ скоро уѣзжаетъ... Вотъ это, можно сказать, кавалеръ! По-французски говорить, знаете, этакъ съ легкою картавостью, совсѣмъ какъ парижанинъ... Мы съ нимъ разговариваемъ иногда... Знаете, вѣдь здѣсь никто не умѣетъ говорить по-французски! Когда они верхомъ катаются, просто заглядѣться можно...

— Не онъ ли?—невольно подумала Надя, слушая болтовню своей гостьи.

— Вы, душечка, я думаю много навезли костюмовъ? Покажите, Бога ради, покажите... Я такъ давно не видѣла модныхъ вещей. Пойдемте къ вамъ въ спальню, пойдемте, душечка!.. Я вамъ тамъ много, много расскажу интереснаго!

Аделаида Францовна замѣтила въ концѣ сада фигуру Си-лантия, угрюмо поглядывающую въ ея сторону, и почти силою подняла Надю съ мѣста и повлекла въ спальню.

— Я вамъ тамъ много, много расскажу интереснаго!—повторяла она, пропуская хозяйку въ дверь, впередъ, и окинувъ приближающагося мажордома презрительнымъ взглядомъ.

Черезъ минуту, уютная спальная Нади, гдѣ все было такъ прибрано по мѣстамъ, получила видъ полнѣйшаго разгрома... Словно въ дорогу собирались. Комоды отворены, платья разбросаны на креслахъ и на постели, бѣлье тоже все перерыто. Гостья не пропускала ни одной мелочи, прикидывала все къ своему лицу, вертѣлась передъ зеркаломъ и ото всего приходила въ восторженное состояніе.

— Ахъ, какъ это мило!—твердила она.—Какъ все это со вкусомъ! и для кого здѣсь, зачѣмъ? Развѣ здѣсь могутъ оцѣнить все это, такие дикари и невѣжды?.. Если-бы еще Павелъ Петровичъ оставался, ну тогда другое дѣло, но теперь...

— Почему-же онъ уѣзжаетъ?—почти бозознательно вырвалось у Нади.

— Ахъ я вамъ расскажу! — подхватила акушерка.—Это цѣлый романъ. Это такая несправедливость, такая дикая невѣжественность! Я вамъ все расскажу по порядку...

И она, оставивъ осмотръ костюмовъ, пододвинула стуль къ Надѣ и сѣла совсѣмъ вплотную, еще разъ осмотрѣвшись по сторонамъ.

— Видите-ли-сь. Тутъ былъ, знаете, обыскъ, то-есть не совсѣмъ обыскъ...—Аделаида Францевна замялась немнogo, ей не хотѣлось касаться обстоятельства, которое она понимала, не могло быть Надѣ особенно пріятно.

— Ну, да все равно! Только у Криницына нашли, представьте себѣ, вашу карточку.

— Какимъ образомъ!—удивилась Надя.

— Не знаю!—протянула акушерка и многозначительно посмотрѣла на дѣвушку.—Молодой Глухаревъ, этотъ, знаете, что у васъ сегодня съ визитомъ былъ, возьми, да ни съ того, ни съ сего, и вломись въ амбицію. «По какому праву, да по какому случаю, очутился у васъ, милостивый государь, этотъ портретъ?» Павелъ Петровичъ сейчасъ, гордо, но вѣжливо: «это, говоритъ, молодой человѣкъ, не ваше дѣло». Карточку вашу сейчасъ взялъ и къ себѣ въ карманъ, на сердце, понимаете?.. Это я все своими глазами видѣла. Ну, натурально, Глухаревъ сейчасъ ему дерзость... Мужики вѣдь только и берутъ, что руганью... А Павелъ Петровичъ опять ему вѣжливо, съ достоинствомъ и благородствомъ: «я, говоритъ, объ этомъ объяснюсь съ вами послѣ...» И что же бы вы думали? Взялъ да и послалъ къ нему вызовъ,—на дуэль значить...

— Ахъ, Боже мой!

Надя теперь вслушивалась внимательно въ разсказъ акушерки

— Тутъ,—продолжала та,—сейчасъ бунтъ поднялся... Офицеры здѣшніе не любятъ Павла Петровича, всѣ за Глухарева стали... Судъ собрали... Всѣ на одного!.. Вы подумайте только!.. Нѣтъ, чтобы у кого хватиль благородства стать за праваго... Павелъ Петровичъ и порѣшилъ имъ въ глаза: «Ежели, говоритъ, отъ благороднаго поединка отказываетесь, такъ я, съ такими низкими людьми, служить не хочу и съ вами компанію водить не согласенъ!» взялъ это и вышелъ отъ нихъ... Теперь вотъ рѣшенія ждетъ отъ начальства, когда ему можно будетъ отсюда уѣхать...

Надя задумалась.

— За что же его не любятъ здѣсь?—спросила она.

— За то больше, что онъ имъ не компанія... Зависть, видите ли, прежде нась родилась, вотъ за то только и не любить... Павель Петровичъ привыкъ къ обществу аристократическому, онъ и сюда попалъ только за благородство и пылкость своего характера, а тутъ, вотъ вы сами увидите, мужикъ на мужикѣ—самые неотесанные. Опять же не можетъ Павель Петровичъ, чтобы съ ними заодно. Они вотъ водкою напиваются, а онъ этого не любить, онъ все этакъ стороною и держаль себя гордо и съ достоинствомъ. Вотъ за то и не сошлись характерами. Наши то, чѣмъ бы учиться, да примѣръ братъ съ Павла Петровича, сейчасъ всякие ему шиканы, а онъ на все съ пренебреженiemъ. Не унижаться же ему передъ этими символапыми! И вотъ сами теперь виноваты: быть у нихъ въ батальонѣ офицеръ, примѣръ благородства, а теперь плонулъ и ушелъ—купайтесь, моль, въ своей грязи по уши! Ахъ, Боже мой! какой я у васъ беспорядокъ произвела! Вы меня пожалуста извините, душенька! Я такъ давно не видала ничего моднаго. Я сейчасъ все уберу... Позвольте... я сама!

И она торопливо принялась собирать и складывать въ ящики комода принадлежности Надина туалета.

— Не беспокойтесь!—остановила было ее хозяйка.

— Какое-же беспокойство!.. Ахъ, да... можно вамъ, мой ангель, сказать по секрету одну мысль, которая мнѣ сейчасъ пришла въ голову. Можно?

— Что такое?

— Только вы не конфузьтесь... честное слово?... да?..

Акушерка завертѣлась на стулѣ и снова беспокойно огля-дѣлась кругомъ.

— Знаете-ли, почему, я думаю, Павель Петровичъ до сихъ еще не уѣхалъ, знаете ли почему?

И не дожидаясь отвѣта, пригнулась къ уху Нади и почти шепотомъ продолжала:

— Онъ ждалъ!..

— Чего?—удивилась та...—Да, вы мнѣ говорили, разрѣ-шенія какого то...

— Ну, нѣть, тутъ другое совсѣмъ... онъ ждалъ одну особу... ту, чью карточку хранилъ у себя на сердцѣ... Я глубоко, глубоко вѣрю этому.

Надя покраснѣла.

— Повѣрьте вы мнѣ... Я очень-очень хорошо знаю человѣческое сердце.

Надя задумалась. Ей вспомнился въ эту минуту разсказъ ихъ класной дамы, которая увѣряла, что одинъ молодой человѣкъ, какой то французскій графъ, влюбился въ нее по портрету, просилъ руки, но жестокіе родители отказали—и онъ застрѣлился передъ ея окнами...

Надя и ея подруги конечно не имѣли никакихъ данныхъ сомнѣваться въ истинѣ словъ своей класной дамы и горячо оплакивали романическую судьбу французскаго графа...

— И очень можетъ быть, что и дождавшись,—акушерка усиленно подчеркнула это слово,—что и дождавшись,—повторила она,—Павелъ Петровичъ еще нескоро уѣдетъ... Ну, душенька, до свиданья, засидѣлась я у васъ... Я такъ рада, такъ рада, что вы пріѣхали!.. Позвольте мнѣ еще разъ обнять васъ и надѣюсь, что и вы ко мнѣ... Я здѣсь недалеко, изъ окошечъ вашей залы даже моя крыша видна, бѣлая труба и на ней всегда голуби—я ихъ прикармливаю. Я такъ люблю этихъ чудныхъ голубковъ, это мои друзья, единственное утѣшеніе въ моемъ одиночествѣ.

Аделаида Францовна прекратила наконецъ свою болтовню и вышла. На порогъ стояла носомъ къ носу съ Шелобовымъ.

— Успѣли уже?—пожаль плечами тотъ.

— Успѣла-сь!—кокетливо улыбнулась та, и съ трескомъ раскрыла свой оранжевой зонтикъ.

— А ты бы ее въ шею,—замѣтилъ Василій Ивановичъ, обращаясь къ Силантію, когда гостья отошла подальше, поднявъ на улицѣ пыль своимъ распущенными шлейфомъ.

— Слѣдовалбы-сь,—согласился тотъ...—то есть вотъ какъ бы слѣдовало!.. прошмыгнула то она, я не видѣлъ... другой разъ умнѣе буду... Столикъ карточный для вечера прикажете приготовить?..

— Столикъ?.. да кто же играть то будетъ?.. развѣ отецъ Павелъ пріѣдетъ?.. Приготовь на всякий случай!..

### XIII.

Въ этотъ вечеръ Павлуша исправилъ нѣсколько то невыгодное впечатлѣніе, которое онъ произвелъ на Надю своимъ утреннимъ визитомъ.

Молодой Глухаревъ пришелъ, во-первыхъ за просто, въ своемъ обыкновенномъ костюмѣ, бѣлой шелковой рубахѣ съ пристегнутыми офицерскими погонами. Этотъ костюмъ гораздо больше шелъ къ нему и онъ высматривалъ положительно молодцемъ. Онъ вѣдь былъ если и не красавецъ, то очень симпатиченъ: его прекрасные глаза смотрѣли скромно, но весело; его пріятный ротъ, еле прикрытый усами, складывался въ добродушную, наивно-дѣтскую улыбку... Онъ былъ, правда, угловатъ своими движениями, но эта угловатость, изобличавшая здоровую силу, даже шла отчасти къ его атлетической фигурѣ.

Довольно было только одной улыбки Нади, можетъ быть и нечаянно обращенной къ нему, чтобы онъ значительно разошелся и разговорился...

Иванъ Акимовичъ смотрѣль на сына и нарадоваться не могъ, Шелобовъ тоже одобрилъ... Хмурая тучка, набѣжавшая было на сердце старика Глухарева послѣ утренняго посѣщенія, сама собою скоро разсѣялась.

Отецъ Павель пришелъ и втроемъ сѣли за преферансикъ. Надя разливала чай, Павлуша ей помогалъ, разносиль стаканы и два раза успѣлъ даже разсмѣшить хозяйку, чѣмъ именно— и самъ не догадывался.

Надя смѣялась и ему смѣяться хотѣлось. Правда, смѣхъ Нади отдавалъ какъ будто чѣмъ то дѣланнымъ—это не былъ ея обыкновенный смѣхъ, заражавшій, бывало, еще въ институтѣ всю залу своею веселостью, но Павлуша не вдавался въ оцѣнку этого смѣха и былъ вполнѣ счастливъ, даже за котенкомъ погнался, который, спасаясь отъ преслѣдованія собакъ, вскочилъ на заборъ сада, а оттуда на крышу бесѣдки. Онъ очень ловко взобрался туда же и съ торжествомъ поднесъ Надѣ бѣдное, дрожащее отъ страха, робко мяукающее существо.

Надя приняла котенка и тутъ же на столѣ принялась поить его сливками со своего блюдечка.

— Жаль, племянницу свою не захватилъ съ собою! — замѣтилъ отецъ Павель. — Дѣвушка добрая и вамъ, барышня, компанія подходящая, развѣ годочки двумя постарше будетъ.

— Груня прелестъ! — согласился Шелобовъ.

— Что-жъ не привелъ? — взглянулъ на отца Павла и Иванъ Акимовичъ.

— Въ другой разъ приведу... А, ну-ка, въ бубнахъ семь!

— Повистую,—покрутилъ усъ Василій Ивановичъ.—Ты, Ваня, что?

— Пасъ!

— Открывай! да попробуемъ батьку безъ хвостика оставить... Что! наскочилъ на самъ четвертаго!

— Вотъ уже третій разъ такъ... Оказія!—задумался отецъ Павель, поглаживая бороду и обдумывая ходъ.

— Тигрятки будуть такие же—только покрупнѣе,—объяснялъ Павлуша Надѣ, вытирая своимъ носовымъ платкомъ послѣдствія невоспитанности спасеннаго котенка.

— А они кусаются?—спросила Надѣ.

— Подростутъ, такъ страсть какіе злые! У насть, года три тому назадъ, вынули изъ гнѣзда пару—такъ только до шести недѣль держать на волѣ можно было. На цѣль посадили послѣ. Вы, Надежда Федоровна, что больше любите—виноградъ или персики?

— Персики!—произнесла Надѣ и по разсѣянности забыла запереть кранъ самовара.

Павлуша бросился исправлять эту ошибку и опять пустилъ въ ходъ свой носовой платокъ.

Веселость Нади, все-таки нѣсколько искусственная, стала испаряться понемногу. Она выждала моментъ, когда ея молодой гость, не отстававшій отъ нея ни шагу, подошелъ, наконецъ, къ играющимъ и остановился за стуломъ отца, заинтересовавшись розыгрышемъ, и тихонько пошла въ глубину сада.

Она дошла до самого конца, гдѣ стѣнка была значительно ниже и подняла голову. Звукъ копытъ вывелъ ее изъ задумчивости.

— Надежда Федоровна! Надежда Федоровна! гдѣ вы?—послышался голосъ молодого Глухарева.

— Я... я сейчасъ,—растерялась Надѣ, бѣгомъ побѣжала по дорожкѣ и прямо черезъ террасу, въ свою комнату. Оттуда, убѣдившись, что за нею не слѣдятъ, она перешла въ залъ и приподняла опущенную стору.

— Надежда Федоровна!—снова послышался голосъ Павлуши.

Надѣ досадливо передернула плечами, отошла отъ окна и снова погрузилась въ задумчивость.

Вышла она въ садъ уже не такая веселая, и это обстоя-

тельство не укрылось отъ наблюдательного взора старика Глухарева.

— Что, не головка ли опять разболѣлась?—обратился онъ къ ней съ участіемъ.

— Да,—чуть слышно отвѣтила дѣвушка.

— Можетъ сегодня, въ жару, не выходили-ли вы на солнце съ открытою головою?—замѣтилъ отецъ Павель.—Этого здѣсь отнюдь не слѣдуєтъ дѣлать.

— Устала тоже!—резонировалъ старый Глухаревъ.—Вѣдь съ такой дороги въ одну ночь не отдохнешь... Она, другому, съ непривычки ежели, мѣсяцами отдается... Кому сдавать, господа?..

— Ничего, это пройдетъ!—трахнула головою Надя.—Только...

— А вотъ что, голубка моя,—оставилъ карты Иванъ Акимовичъ.—Ты иди-ко себѣ спать, кликни Анисью и съ Богомъ... Мы тутъ и безъ тебя справимся! Вотъ доиграемъ пульку, закусимъ да и уйдемъ—десятый часъ, если не ошибаюсь?

— Безъ четверти!—справился съ своею луковицею Шеллобовъ.

— Можно?—переспросила Надя и обрадовалась.

— Должно, не только что можно,—сказалъ Глухаревъ-отецъ.—Анисья, иди укладывать барышню! Анисья!.. Сиантий, разыщи ты эту востроносую!.. Ну, господа, кто что говорить?

— Да я опять въ бубны,—произнесъ отецъ Павель.

Надя ушла. Гости ея, хотя и отдѣляло отъ спальни хозяйки порядочное пространство, понизили голосъ.

— Пасъ!

— Пасъ!

— И превосходно!.. Занесемъ въ книгу судебъ... Гдѣ мѣлокъ то? Эвона гдѣ, сронили!..

Батюшка нагнулся и сталъ шарить около своего стула.

---

Абрекъ, должно быть своевольно, повернулъ въ эту сторону и повезъ Павла Петровича какъ разъ мимо садовой стѣнки. Хотя подъ такимъ ёздокомъ, какъ Криницынъ, никакой ретивый конь не можетъ имѣть своей воли, но на этотъ разъ вышло исключение.

Павелъ Петровичъ очень хорошо видѣлъ красивое, взволнованное лицо дѣвушки, смотрѣвшее на него въ упоръ широко раскрытыми глазами. Надя была увѣрена, что ея незамѣтно въ густой тѣни кустовъ. Обогнувъ домъ, Павелъ Петровичъ опять повернулся на сѣдлѣ и видѣлъ, какъ колыхнулась оконная занавѣска, видѣлъ онять па мгновеніе—тѣ же, широко раскрытые чудные глаза... и улыбнулся, про себя только. Онъ умѣлъ такъ улыбаться, что ни его глаза, ни малѣйшее движеніе губъ не выдавали этой улыбки. Однако, въ эту ночь, портретъ кузины Мэдъ былъ почему то забытъ на письменномъ столѣ и не попалъ на ночной столикъ, къ постели Павла Петровича.

Онъ собирался было писать въ Петербургъ и отложилъ свое намѣреніе до другого раза. Ему не спалось.

А на другой день онъ получилъ, совершенно неожиданно, записку съ запахомъ пачули, слѣдующаго, простаго, но все-таки загадочнаго содержанія:

Милостивый государь,

Уважаемый Павелъ Петровичъ!

Не откажите пожаловать завтра въ пять часовъ вечера ко мнѣ на чашку чая. Васъ, можетъ быть, удивить мое приглашеніе, но, тѣмъ не менѣе, остаюсь въ полной увѣренности, что вы не захотите обидѣть меня вашимъ отказомъ.

Глубоко уважающая васъ

Аделина Розенблюмъ.

P. S. Никого изъ вашихъ враговъ у меня вы не встрѣтите. Еще разъ жду и жду... Вы будете довольны.»

Павелъ Петровичъ рѣшился, что пойти можно.

#### XIV.

— А ты не торопись,—говорилъ Иванъ Акимовичъ Павлушъ, сидя въ халатѣ и раскуривая свою длинную турецкую трубку.—Ты не сразу. Она тебя не только что въ первый разъ видѣтъ, она о тебѣ и не думала никогда, существованія твоего на семъ свѣтѣ не предполагала. Федоръ-то, покойный, въ письмахъ когда упоминалъ, это пустяки. Шелобовъ дорогому, это тоже не важность! Иной разъ этакъ-то хва-

лить — и перехвалить можно... бывает! Такъ вотъ ты это все сообрази и не горячись!

— Я понимаю, папаша, я это все очень хорошо понимаю, — тоскливо ныль, лежа подъ одѣяломъ, Павлуша. — Я вотъ тоже ее не видалъ, а сразу, съ первого взгляда, да что съ первого взгляда! Я вотъ, и не видѣвши ее вовсе, полюбилъ, а какъ увидѣлъ...

— Да вѣдь, понимаешь ты, это не уйдетъ. Только и съ твоей стороны надо все-таки осторожнѣе быть и послѣдовательнѣй. Я тебѣ скажу откровенно, и ты на отца не обижайся. Я вѣдь все видѣлъ и все понималъ. И скажу тебѣ прямо, безъ обиняковъ, по-солдатски: ты ей съ первого взгляда не понравился.

— Папаша!..

— Что, папаша, что! Ты вотъ самъ солдатъ, а разрюмился. Нѣть, братъ, раскисать нельзя, этого тоже женское сословіе не любить. То-есть, я хотѣлъ сказать, что... ну, какъ бы это тебѣ выразить понятнѣе. Она, можетъ быть, тебя представляла себѣ нѣсколько иначе. Богъ ее знаетъ! но только, когда ты къ ней пришелъ, она поглядѣла на тебя и подумала: «Ахъ, моль, не то!» Уже это, другъ мой, я тогда же намоталь себѣ на усъ. Тутъ ты не виноватъ и огорчаться пока нечѣмъ. Не съ одного маха города берутъ! Съ первого взгляда не понравился, съумѣй понравиться послѣ. Оно, знаешь, еще прочнѣе бываетъ. И ты моего совѣта слушай. Я тоже прожилъ довольно и всякихъ видовъ перевидалъ порядочно! За своею женою, а твою материю — я, можетъ быть, не одинъ годъ ухаживалъ. Такія траншей выводили, что и нашему инженеру не вывести, а все-таки на своемъ поставилъ. Маменька твоя меня цѣлый годъ видѣть не могла, а потомъ души во мнѣ не чаяла. Всяко, братъ, бываетъ!

— За что же? за что же мнѣ-то, папенька! — всхлипнуль Павлуша. — Что же во мнѣ-то она нашла такого противнаго?

— А во мнѣ что твоя маменька? Я вѣдь тоже почище тебя молодецъ былъ. Я, братъ, на ея глазахъ, на пожарѣ цѣлую семью повытаскивалъ, самъ чуть не сгорѣлъ. Кругомъ стонъ-стономъ стоялъ: «Молодецъ, да молодчина. Герой!» — а не помогло тогда, прислала только въ госпиталь, гдѣ я лежалъ, банку варенья, а сама и не навѣдалась даже. Такъ-то!

Въ женскомъ сердцѣ, что въ колодцѣ глубокомъ, ничего не разглядишь, пока само не всплынетъ наверхъ.

— Всѣ вотъ по форту говорятъ, что я женихъ, невѣста, моль, моя прѣхала, а тутъ вонъ оно какъ!

Павлуша сѣлъ на постели и свѣсила на коверь свои босыя ноги.

— Я, папаша, тоже понимаю хорошо,—продолжалъ онъ,— и заслужить ея любовь постараюсь. Вотъ если бы только другой кто не перебилъ.

— «Другой!.. Ну», — подумалъ старикъ Глухаревъ... — Другой, — повторилъ онъ вслухъ; — этого, другого, пока не видать что-то. Ползунковъ развѣ? Гдѣ тому? такой ей не понравится. Нѣтъ, Пашка, твое счастье, а здѣсь конкурентовъ опасаться нечего. Только опять-таки я совсѣмъ держать себя съ нею умно и толково и отнюдь нюни не распускать, подтянись, братъ! Обращайся съ нею просто, дружески, какъ братъ съ сестрою, будь всегда весель, ублажай ее со всѣхъ концовъ, только не надоѣдай. Понимаешь ли ты, что значитъ: *не надоѣдай?* — это значитъ: ни единой минуты, слышишь, ни единой минуты не будь ей въ тягость, и съ любовью своей не приставай ни въ какомъ случаѣ. Каждый день тоже нечего шляться, роли не выдержишь, повторяться станешь... Вотъ завтра на охоту ступай, да дня на три. Выжди пока сама не спросить: «а гдѣ же, моль, Павелъ Ивановичъ?» Тамъ я уже знаю, что и какъ отвѣтить ей надо. Покажись ей, молодецъ-молодцомъ, а тамъ — опять въ отлучку. Богъ дастъ добѣшся, что и о тебѣ соскучатся, а отъ скуки уже не далеко и до чего другого. Бываетъ, знаешь ли ты, что бываетъ полезно иной разъ? То-то, не знаешь! А я тебѣ скажу: бываетъ полезно, когда ты и за другой при ней приволокнешься. Вотъ хоть за Груней. Впрочемъ, нѣтъ, ту оставь... ту жалко, а вотъ, вали хоть за докторшей нашей.

— Папенька!

— Да вѣдь я для шутки, для примѣра только. Главное только не напоминай ей самой о своей любви, съ чувствами-то этими какъ можно подальше. Вотъ что главное! И все, повѣрь мнѣ, будетъ въ свое время обстоять вполнѣ благополучно. Ну, ложись спать! пора! Вотъ я докурю и самъ завалюсь. Утро вечера мудренѣе!

Улегся Павлуша, минуту спустя и старикъ Глухаревъ сталъ постукивать о подоконникъ своею трубкою.

— Не объ одномъ тебѣ хлопочу я,—началь опять резонироватъ Иванъ Акимовичъ.—Объ ней, о Надѣ, можетъ быть еще больше. Я увѣренъ, что лучше тебя ей не найти мужа. Не потому говорю это, что ты сынъ мой,—коли бы ты былъ не подъ пару, такъ я и не посмотрѣлъ бы, что сынъ, самъ бы скомандовалъ тебѣ: «отчаливай!»—такъ-то! Знаю я почему жду не дождусь этой свадьбы. Умру покойно и съ чистою совѣстью явлюсь тамъ, къ матушкѣ твоей и къ другу Федору съ отчетомъ. Опять же она дѣвушка не безъ средствъ къ жизни, у тебя тоже есть; будеть чѣмъ и дѣтей на ноги поставить. Эхъ, Паша, Паша! Ну, однако, все-таки спи! Вонъ оно, ужъ и свѣтать скоро станетъ, а завтра мнѣ рано въ складъ надо, казакамъ патроны выдавать. Ты которымъ часомъ требование помѣтилъ?

— На половину шестого назначилъ.

— То-то!

— Иванъ Акимычъ, а Иванъ Акимычъ!—раздался голосъ Шелобова за перегородкою.—А я такъ все думаю: не купить ли мнѣ Абрека Крининцынскаго—ты какъ полагаешь?

— Я думалъ—ты ужъ второй сонъ видишь!—отвѣчалъ старикъ Глухаревъ.

— Не спится что-то. Криницынъ хочетъ за коня пять радужныхъ. Я дамъ. Хоть и дешевле можно купить, а я дамъ, Богъ съ нимъ! Ему, можетъ быть, на дорогу деньги нужны. Получить да и уѣдетъ поскорѣе! Какъ ты думаешь?

— Гм!—поперхнулся Иванъ Акимовичъ.—Давно бы ему пора убираться отсюда! что жъ, покупай, лошадь хорошая.

— А то можетъ быть ты купишь, для Павлуши? я перебиватъ не намѣренъ. Оно, знаешь, очень пріятно; Павлуша, ты спиши что ли? Осѣдлаешь этакъ лихого коня, да мимо окошекъ чыхъ-нибудь козыремъ, Павлуша?..

Но ни Павлуша, ни Иванъ Акимовичъ не отвѣчали на эту Шелобовскую шутку. Шелобовъ больше не продолжалъ.

Всѣ трое одинаково поняли ея значеніе, и на всѣхъ трехъ напоминаніе о Криницынѣ подѣствовало, почему-то, крайне раздражительно.

Заснули наши пріятели или нѣтъ, но только въ квартирѣ Глухарева настало теперь полное молчаніе.

## XV.

Туманъ, сплошной, холодный, непроницаемый повисъ въ воздухѣ и подъ этою сизою стѣною высятся далекія горы, уходя въ лазурное небо своими вершинами. Вѣчные лѣды покрываютъ мицтый гранитъ, алмазами сверкаютъ они на солнцѣ, чудными линіями рисуясь въ прозрачномъ золотистомъ эфирѣ. Несется вверхъ крылатый конь, не чувствуя шпоръ, не чувствуя, струною патянутаго, повода. Это не конь, это самъ вѣтеръ... и охватилъ онъ безсильнаго всадника, отнялъ у него сознаніе, отнялъ вѣлю, и несеть въ безконечное пространство.

И все также далеко алмазныя выси, словно онъ тоже уносятся дальше и дальше и съ собою уносять дивный образъ, образъ женщины.

Съ укоромъ смотрять кроткіе глаза, золотою короною обложили мраморный лобъ роскошныя косы, ея губы шепчутъ призывъ. И никто этого призыва, кромѣ него, не слышитъ...

— Сюда... ко мнѣ! Что же ты, безсильный! Мнѣ холодно здѣсь, мое сердце замираетъ и стынетъ, а съ нимъ и жизнь. Сюда!..

Машетъ могучими крыльями конь, гудить уныло вѣтеръ, пронизывая крѣпкія кольца желѣзной цѣпи. Это тамъ, внизу, за неподвижною стѣною тумана, держить его злая, невидимая сила и борется эта сила съ силою крыльевъ волшебнаго коня, борется съ силою другихъ крыльевъ, словно выросшихъ изъ его сердца.

Это не ударъ грома, это не молнія ослѣпительно блеснула въ глаза, это разомъ лопнула проклятая цѣпь, и подхватило горное эхо металлическіе, предсмертные стоны, понесло его по ущельямъ безконечными перекатами.

Съ размаха ринулся освобожденный конь, словно солнце засверкала вверху кроткая, радостная улыбка. Близко-близко. Вотъ-вотъ готовы коснуться ея съ мольбою протянутыя руки. Темная, угрюмая скала выросла въ мгновеніе передъ его глазами и закрыла собою все. Съ размаха ударился разлетѣвшійся конь, грудью хватился очарованный всадникъ. Скала! нѣтъ, это не скала! это страшный затылокъ, сѣдой, съ черною сияющей пробоиной. И разомъ настала ночь, разомъ оку-

тала все непроницаемою тьмою. Красные огни замелькали внизу. Это волки въ кустахъ, это тигръ, сквѣзъ камышъ за-видѣвшій легкую добычу. Это факелы! Да, погребальное, унылое шествіе. Вотъ они движутся безконечною вереницею, поютъ и разносить вѣтромъ огненныя искры ихъ факеловъ. Кони, покрытые черными попонами, тяжело тащатъ высокую, траурную колесницу, неистово визжать и скрипать немазанныя колеса, гнутся дороги подъ страшною тяжестью и не балдахинъ это, какъ казалось прежде, издали нѣть, это висилица. Стани вороновъ усѣлись въ рядъ на ея перекладинѣ. Колышется ветревочная петля, словно змѣя вьется съ раскрытою пастью, готовая ринуться на добычу.

— Кому?

— Я не хочу знать кому, это не я спрашивалъ,—нѣть! это сердце само, безъ моей воли, спросило. Не надо отвѣтить! не надо! молчи!

— Тебѣ!—стонеть неумолимое горное эхо.

Черные люди, съ закрытыми лицами, окружили его со всѣхъ сторонъ и съ розмаха вонзнули въ землю свои факелы. Его берутъ, его тянутъ на эшафотъ, прямо подъ эту ненавистную петлю. Навстрѣчу ему двинулся страшный палачъ, и лицо этого палача знакомо ему, знакомъ ему этотъ багровый носъ, эти, щетиною торчащіе усы, эти осоловѣлые отъ пьянства, безжизненные, глаза.

— Покажи мнѣ свои руки! руки покажи! чисты ли они у тебя?—хрипитъ знакомый голосъ.

И вдругъ, розовое, теплое, мягкое такое облачко налетѣло на него, окутало и вынесло изъ этого страшного круга. И опять въ этомъ облачкѣ мелькаютъ чудныя формы, опять тѣ же кроткіе, дѣтски чистые глаза, опять надъ мраморнымъ лбомъ—золотая корона. И исчезли вмѣстѣ съ ночною тьмою ненавистные призраки позора и казни. Чудная картина разворачивается передъ глазами: зеленые сады, журчащіе ручьи, серебряная пѣна рокочущихъ водопадовъ. Стройныя пальмы, бѣлые, легкіе минареты, призывной голосъ муллы, мелодія струнъ и веселый дребезгъ тамбурина.

Откинувъ бѣлую чадру, змѣю извивается женщина, чуть касаясь ковра своими легкими, полуобнаженными ногами. Это она! это кузина Мэдъ. Она видѣть его и хохочетъ. Звонко

разносится ея злой, насмѣшливый хохотъ, а ему все равно. Ему здѣсь такъ хорошо, такъ отрадно лежать на мягкому коврѣ, ему такъ сладко чувствовать на своемъ пылающемъ лбу эту нѣжную, любящую руку. Только зачѣмъ этотъ черный, этотъ курносый негръ смотрить сюда и тоже смеется. Словно сажею вымазанное лицо лоснится на солнцѣ, сверкаютъ и щелкаютъ оскaledенные зубы. И не зубы это, не роть! это затылокъ и на немъ...

— Уйди ты отъ меня, сгинь нанавистное видѣніе! Тамъ за гробомъ, твоя сила, здѣсь жизнъ! Я живу, и не хочу знать ничего, что за предѣлами могилы... Сгинь!

— Ты ближе къ ней, чѣмъ думаешь! — говорить кузина Мэдъ.

— С'ette affreux! — шепчутъ желтыя, высохшія губы княгини Расбросовой.

Вотъ она сидитъ въ своемъ зеленомъ креслѣ и гладить косматую, слѣпую болонку.

— Ну, ужъ этого я никакъ не могъ ожидать, — шепелявилъ Грунинъ, вытирая ротъ салфеткою. — И, конечно, Поль, ты согласишься со мною, что правосудіе выше дружбы.

— С'ette affreux! — все заладила свое старушка-княгиня. Кусь его! кусь гадкаго! Мимишка, кусь, кусь!

И вдругъ эта дрянная, жалкая собаченка все ростетъ и растетъ, она весь садъ наполняетъ своею косматою фигурою. Она съ ревомъ бросается на него, вѣшиваясь ему въ горло зубами, душитъ его по кускамъ разрываетъ на части.

— Готово? — спрашиваетъ нагнувшись Шелобовъ.

— Готово, — отвѣтываетъ Иванъ Акимовичъ.

И хочетъ онъ имъ сказать: «Нѣть, еще рано! я живъ! я жить хочу и буду!» И чувствуетъ уже, что жизнъ снова начинаетъ пробиваться въ его жилахъ, снова, медленно, тихо начинаетъ биться сердце. Струя свѣжаго воздуха сладко такъ пробирается въ его легкія. Сѣрыя стѣны отошли и стали, и онъ видитъ на нихъ безчисленныя трещины, слѣды аляповатой живописи и позолоты, полки съ какими-то синими горшками и банками, а дальше дверь, и за дверью зелень деревьевъ, залитая лучами солнца. И это все уже прочное, не призрачное.

— Что это, сонъ? Нѣть, это уже не сонъ... Вонъ и го-

лость Миробая, вонъ и лязгъ мѣднаго кунгана, топотня босыхъ погъ по циновкамъ. Это Алибей и Мамунъ хлопочутъ.

Криницаынъ съ трудомъ поднялъ съ подушки свою отяженную голову и приподнялся.

Около него, съ одной стороны, лежалъ на коврѣ какой-то ницій-оборванецъ, разметавшись, въ полномъ опьяненіи. Его ротъ растянулся въ циничную улыбку, глаза были полураскрыты, но ничего не видѣли. Съ другой стороны лежалъ кто-то въ красномъ халатѣ, ничкомъ, его тряслось какъ въ лихорадкѣ; въ углу сидѣла угрюмая фигура, тоже въ лахмотьяхъ, опустивъ гладко обритую голову на колѣна.

— Какая мерзость! — подумалъ Павелъ Петровичъ, съ трудомъ поднялся на ноги, покачнулся и сталъ приводить въ порядокъ одежду.

— Хорошо спаль? — спросилъ Миробай, заглядывая въ двери саили.

— Сначала оно всегда тяжело немножко, — продолжалъ онъ, не дождавшись отвѣта. — А зато послѣ хорошо! Охъ, какъ хорошо будетъ! Я тебѣ сейчасъ Мамуна пошлю; онъ тебѣ воды принесетъ, холодной, умыться, а чай пить ко мнѣ иди. Зеленый чай очень послѣ этого помогаетъ.

— Потомъ хорошо, потомъ очень хорошо будетъ! — повторялъ и батча, входя съ мѣднымъ тазомъ и шелковымъ полотенцемъ.

— Теперь еще рано! Солнце только что взошло и весь народъ спить. Иди сюда! тебя никто не можетъ видѣть, — привгласилъ Миробай, съ гордостью поправляя на своемъ халатѣ свѣтло-бронзовую медаль на аппенской лентѣ.

Павелъ Петровичъ намочилъ полотенце, обвилъ имъ свою воспаленную голову и съ жадностью принялъ глотать горячий чай, чувствуя, какъ этотъ ароматический напитокъ успѣшио начинать бороться съ тяжелыми послѣствиями опьяненія.

Алибей не успѣвалъ подливать его маленькую чашечку изъ кунга. Миробай пытливо, исcosa поглядывалъ на своего гостя, поглаживая рѣдкую, сѣдую бороду, скользя съ наслажденiemъ крючковатыми пальцами по чекану своей, достойно заслуженной «награды».



## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

---

### I.

«Да, надо ъхать! Надо ъхать, и какъ можно скорѣе!» рѣшилъ Павель Петровичъ и приказалъ укладываться.

Такъ нетерпѣливо ожидаемый отпускъ давно уже былъ полученъ и праздно лежалъ на письменномъ столѣ Криницына. Замедленіе отъѣзда давно уже служило темою разговоровъ по всему Глухому форту, перетолковываясь на разные лады... Имя Нади неразрывно слилось съ этими толками и пересудами.

«Что это? Любовь?—не разъ задумывался Павель Петровичъ.—Это вздоръ! Ребенокъ, институтка, смазливое, молодое лицо... Какъ это глупо, странно!.. Это пустяки! это бредъ разстроеннаго воображенія, нелѣпья грэзы, навѣянныя дымомъ гашиша».

И Павель Петровичъ самъ разбивалъ свои доводы, самъ растравлялъ свое болѣзненное чувство, припоминая черты очаровавшей его дѣвушки, изучая эти черты до малѣйшей подробности, вызывая ихъ въ своеъ воображеніе.

Онъ только разъ слышалъ ея голосъ, и то не къ нему обращенный: и этотъ голосъ такъ и сохранился въ его памяти, мелодично звуча въ минуты полнаго затишья, каждый разъ тоскливо сжимая его сердце.

«Почему же тоскливо?.. Почему такъ болѣзненно?.. Развѣ любовь чувство тяжелое, злое? Развѣ не любовь заставляетъ сердце биться живѣе, радостнѣе?..

«Значить это не любовь!» рѣшалъ Криницынъ, снова принимаясь тщательно анализировать свое новое чувство.

Много разъ любилъ онъ въ своей жизни... Служалось, что и разсудокъ терялъ подъ вліяніемъ этого чувства... Приходила любовь жгучими порывами, уходила, быстро охлаждаясь, не оставляя никакихъ тяготящихъ послѣдствій. Или то не была любовь? А вотъ теперь-то именно она и настала... И вотъ онъ, сильный опытомъ жизни, привыкшій смотрѣть на женщинъ свысока, съ исключительно чувственной стороны, онъ разбить теперь самъ и лежитъ у ногъ дѣвчонки-институтки. Глупо и неправдоподобно! Унизительно!..

«Это пройдетъ,—рѣшилъ Криницынъ.—Надо бросить все и уѣхать. Тамъ, сила новыхъ впечатлѣній, сила жизни, выбить болѣзниennyй бредъ изъ его головы,—бредъ томительный и опасный. И онъ самъ будетъ хохотать надъ своею романической слабостью, только скроетъ ее глубоко, чтобы не вызвать со стороны своихъ вполнѣ заслуженного смѣха...

«Я пе могу понять, что говорить она своимъ довѣрчиво-корткимъ взглядомъ»,—снова возвращался Павелъ Петровичъ къ исходной точкѣ своихъ терзаній и начиналъ обыкновенно припоминать себѣ все—отъ первой встрѣчи въ кишлакѣ Бешѣарыкъ.

Онъ вспомнилъ теперь то, что въ минуту этой первой встрѣчи имъ было почти совсѣмъ незамѣчено. Теперь онъ не сомнѣвался въ томъ, что ея глаза смотрѣли на него восторженно. Надя смотрѣла на него не какъ на человѣка незнакомаго... Она точно звала его, точно говорила ему: «Здравствуй... Вотъ и я!.. твоя...» Затѣмъ опять... два раза, два раза, менѣе чѣмъ въ минуту... Тамъ, изъ-за стѣны сада, тамъ, въ окнѣ, за колыхнувшейся занавѣскою...

Ну, что за важность! Криницынъ сознавалъ себя красавцемъ, на котораго заглядѣться нѣтрудно, особенно для моло-денької институтки. Онъ пе разъ испытывалъ на себѣ подобные взгляды... Это ему лѣстило, это заставляло его иной разъ выпрямиться особенно гордо, порисовать немногого, пококетничать... это все пустяки! Такіе взгляды никакихъ слѣдовъ не оставляютъ и забываются скоро... Эти же были не такіе...

Разъ она сидѣла въ экипажѣ... съ нею рядомъ Груня, на козлахъ Павлуша; Шелобовъ и Глухаревъ скакали по бокамъ. Сзади, въ пыли, виднѣлись еще экипажи. Они тамъ, гдѣ-то на озерѣ, пикникъ устроили. Должно быть весело было! До-

рогою смеялись и пѣли. Голосъ Нади раздавался особенно громко.

Шелобовъ тронулъ коня плетью и загородилъ отъ него Надю, но она успѣла взглянуть, она увидѣла и разомъ смолкла. Шелобовъ ударилъ свою лошадь не случайно, это ясно. Однако Надя уже больше не смеялась. Она молчала всю дорогу. Вѣдь Криницынъ до самаго дома, проводилъ ее, стороною отъ дороги, правда, но, тѣмъ не менѣе, настолько близко, что не могъ бы проронить ни малѣйшаго звука ея голоса.

Онъ видѣлъ ее въ церкви. Онъ самъ попалъ въ церковь только потому, что видѣлъ, какъ она вошла туда, подъ руку со старикомъ Глухаревымъ.

Всѣ кругомъ смотрѣли на него двусмысленно, но какое ему дѣло до всѣхъ?! Онъ прошелъ впередъ и сталъ у клироса—и Надя стояла впереди тоже. Лицо у ней было покойное, легкій румянѣцъ игралъ на полненькихъ щечкахъ. Она его не могла видѣть, но видѣла—она опустилась на колѣна и простояла такъ всю службу. Она поблѣдѣла, какъ полотно. Она не молилась, нѣтъ!.. Это всѣ думали, глядя на нее, всѣ принимали ея чувства за жаркую, дѣтски-чистую молитву, но она не молилась... И Криницынъ зналъ, что занимало ее въ эти минуты. Зналъ и не спускалъ съ нея глазъ, но чувствовалъ, что еслибъ у ней хватило силы на его пристальный взглядъ отвѣтить тѣмъ же, онъ бы не выдержалъ и потушился.

Разъ, выходя отъ Аделаиды Роземблюмъ, Павель Петровичъ столкнулся на порогѣ, лицомъ къ лицу съ самой Надею. Привожавшая гостя, хозяйка успѣла таки представить его новой гостьѣ. Надя пошатнулась и прислонилась къ косяку двери; лицо ея вспыхнуло яркою краскою, глаза заискрились и страхомъ и радостью, она протянула ему руку... Въ первый разъ въ своей жизни Криницынъ испыталъ подобное прикосновеніе.

— Останьтесь еще... Поговорите,—приставала хозяйка, но Криницынъ не остался. Онъ стремительно шагнулъ черезъ порогъ и вышелъ. Почему? и самъ не могъ отдать себѣ отчета. И проклиналъ онъ свое невольное движение и хотѣлъ было вернуться, предлогъ даже подыскалъ подходящій, но не вернулся... И снова провелъ мучительно сладкую ночь, подъ гостепріимнымъ сводомъ потаенной сакли Миробая.

Что-то особенно часто онъ сталъ туда навѣдываться, втягиваясь все болѣе и болѣе въ чарующія лапы этой отвратительной страсти.

И не одну ночь онъ провелъ безъ сна, охваченный безсознательнымъ бредомъ. Павелъ Петровичъ сталъ накрѣпко запираться у себя въ комнатѣ. Онъ вовсе не хотѣлъ, чтобы кто нибудь могъ быть посвященъ случайно въ тайну его мучительныхъ галлюцинацій.

Странный случай произошелъ съ нимъ однажды, во время прогулки. Криницынъ проходилъ базарною площадью. Прямо на землѣ, повсюду были разложены войлоки и циновки, на нихъ незатѣмливый туземный товаръ. Продавцы-киргизы сидѣли около, зазывая покупателей. Развыюченные верблюды лежали неподвижно, пережевывая свою зеленую жвачку. Группы барановъ, предназначенныхъ подъ ножи мясниковъ, поклонно и тупо смотрѣли въ глаза своимъ палачамъ. Въ воздухѣ стономъ стоялъ базарный гуль. Солнце палило невыносимо, и въ одномъ мѣстѣ, на самомъ припекѣ, сидѣлъ старикъ, слѣпой нищій и бормоталь какія-то молитвы. Около стояла глиняная чашечка для сбора подаяній, пока еще пустая. На головѣ старика была громадная, сѣрая баранья шапка, сдвинутая на затылокъ, грязныя лохмотья едва прикрывали его сухое, словно изъ темной бронзы отлитое тѣло. Криницынъ прошелъ мимо, но вернулся и остановился какъ разъ передъ этимъ нищимъ. Заслышиавъ эти шаги, слѣпой поднялъ голову и заморгалъ своими, сплошь залитыми бѣльмами глазами. Онъ уже давно не видѣлъ свѣта, для него давно уже наступила вѣчная ночь, но Криницыну эти мертвые глаза показались живыми. Просительная, жалкая гримаса несчастнаго показалась ему злую усмѣшкою.

— Я хорошо вижу,—будто бы произнесъ старикъ. — Не тебя... мои глаза не могутъ видѣть тѣла, но Аллахъ даровалъ имъ возможность видѣть душу... а я твою душу вижу. Я вижу въ ней все, что тобою такъ ревниво хранится... Я вижу все!..

Криницынъ швырнулъ въ его чашку пригоршню серебряной мелочи. Звонъ металла заставилъ пищаго съ жадностью ринуться на добычу. Кругомъ загудѣли удивленные голоса.

— Менеке! менеке! (мое! мое!), —забормотали сухія, желтыхъ губы. Слѣпой прикрылъ чашку обѣими, трясущимися руками

и павалился на нее своимъ тѣломъ. Онъ боялся, чтобы у него не отняли эти деньги... Не подумалъ бы кто нибудь, что это уже слишкомъ много для его насущныхъ потребностей.

Обаяніе исчезло. Навель Петровичъ вздохнулъ свободно и удалился.

— Откупился! — мелькнуло у него въ головѣ — и, оглянувшись по сторонамъ, онъ повернулся налево по узкой тропинкѣ, по задамъ базарныхъ сакель, словно желая избѣгнуть этой торной и людной дороги.

— Да, надоѣхать — иѣхать какъ можно скорѣе!.. — рѣшилъ онъ еще разъ.

Но прошли дни, за днями недѣли, а сложенный аккуратно, форменно обрѣзанный листъ бумаги, съ печатью и начальническими подписями, до сихъ поръ еще праздно лежалъ на своемъ мѣстѣ, на письменномъ столѣ Павла Петровича.

## II.

Свою неизмѣнною чередою проходило время. Наступила осень, съ темными, морозными ночами. Пожелтѣли и осыпались листья на деревьяхъ... краснымъ заревомъ запылали желтый заросли камышей... Весь горизонтъ затянуло дымомъ осеннихъ паловъ. Только въ полдень еще усиленно грѣло южное солнце, радужнымъ блескомъ играя на легкой паутинѣ, носящейся въ воздухѣ...

Многое измѣнилось въ жизни Глухого форта, многое пошло не такъ, какъ предполагалось его обитателями.

Павлушѣ не удалось вызвать въ сердцѣ Нади хотя тѣнь сочувствія. Онъ понималъ это ясно, онъ понималъ даже болѣе; онъ видѣлъ, что, вместо желаннаго сочувствія, любимая дѣвушка относится къ нему съ чувствомъ чуть не гадливости.

Молодой Глухаревъ осунулся и чуть было не засипъ съ горя... Трудно только было это сдѣлать, подъ строгимъ присмотромъ отца и Шелобова.

Веселаго, краснощекаго мальчика нельзѧ было узнать: онъ бродилъ, какъ тѣнь, выискивая случай, какъ бы повидаться съ Надею... Случаи были далеко не рѣдки, и, послѣ каждого такого посѣщенія, между нимъ и Надею шире и глубже развертывалась раздѣлявшая ихъ пропасть...

Посыщенія влюбленнаго жениха стали для бѣдной невѣсты положительно невыносимы. Это замѣтилъ и Иванъ Акимовичъ, и готовъ уже былъ запретить своему сыну эти посыщенія.

Старикъ Глухаревъ и самъ все понималъ, но все еще не терялъ надежды. Онъ даже проникъ близко въ тайныя причины всего происходящаго, молчалъ, и съ нетерпѣнiemъ ожидалъ отъѣзда Криницына... Онъ только зорко стерегъ, чтобы какъ нибудь не случилось чего худшаго, и постоянно совѣщался на эту тему со своимъ другомъ, Шелобовымъ.

— Головы не унесеть! — успокаивалъ его Василий Ивановичъ. — Ноги переломаю, если только тотъ подумаетъ о такомъ дѣлѣ.

— Насильно миль не будешь! — вздохнулъ Иванъ Акимовичъ... — Эхъ! проваливалъ бы поскорѣе!.. Все послѣ перемелется!

Сердце доброго старика болѣло двойною болью: и за сына, и за свою приемную дочь, Надюшенку.

Груня тоже смирилась. Она, видя страданія Павлуши, смынила гибѣть на милость.

Добрая дѣвушка часто видѣлась съ молодымъ Глухаревымъ, утѣшала его, какъ могла, хотя, по временамъ, ея утѣшенія походили скорѣе на горькие упреки... Она ему не разъ говорила...

— Ну, что разрюмился! Баба ты, а не мужчина!.. тряпка, прости Господи!.. Ну чего лѣзешь къ ней? видишь, что опостылѣлъ ты ей, ну и не ходи! и себя, и ее пуще тревожишь... Эхъ, терпѣть не могу, когда мужчина, да въ бабы слезы ударится... Съ глазъ моихъ долой сейчасъ убирайся!

И Павлуша покорно исполнялъ ея повелѣніе.

Тогда Груня сама его останавливала, цѣловала въ голову, ласкала и мѣняла тонъ.

— Да полно же тебѣ, голубчикъ, да ты потерпи... Бываетъ, что сегодня постылъ, а завтра миль дружекъ будешь... Понимаю я твое сердце, ухъ, какъ понимаю!.. А ты не опускай хвостъ, держись козыремъ, сдѣтай хоть видъ, что плюнуль да забылъ... Ей же Богу, прости Господи, лучше будетъ... Вотъ ты и въ лицѣ осунулся, заболѣешь того и гляди, ну, что хорошаго... Милый ты мой, голубчикъ подстрѣленный!

И Груня снова принималась гладить Павлушу по его стриженнѣй головѣ и сама съ нимъ вмѣстѣ плакала... А въ такія минуты Павлуша чувствовалъ себя лучше, покойнѣе и даваль

слово непремѣнно послѣдовать Груничкину совѣту, а на другой, а то и въ тотъ же день, забывая о своемъ словѣ, нарушалъ его почти безсознательно.

— Вотъ, не забиралъ бы себѣ въ голову вмѣстѣ со отцомъ своимъ, не прыгалъ бы выше носа, много лучше было бы,—говорила Груня отходя всторону и, будто сердито, глядя на Павлушу...—Вишь ты, братъ, образованную барышню захотѣлъ. Вотъ теперь и кайся!.. Эхъ, любилъ бы ты меня,—счастливѣе жилось бы... Другую нашелъ, ну и иди къ той... уходи! слышишь... Ну, да постой! куда рванулся? не гонять тебя, на самомъ дѣлѣ... Что же ты рубахи свои не прислалъ чинить?.. изорвался чай весь, безъ женскаго присмотру.

— Я, Груня, пришлю...—бормоталъ молодой Глухаревъ,— я, вотъ ты говоришь, «не люблю тебя...» Это напрасно! я очень, очень... я все по прежнему люблю тебя, ты мнѣ все равно, что сестра родная... я...

— Сестра! иши ты! сестра! нѣтъ, шалишь! иши себѣ сестрѣ въ другомъ околодкѣ... Любишь то ты меня любишь, да не такъ, какъ мнѣ надобно... такъ, какъ я тебя... Да что же ты стоишь, не идешь... Ужъ ты и вправду не подумай, что мнѣ отъ тебя прибыль какая... Прощайте, братецъ!

И Груня особенно подчеркивала послѣднее слово, а сама долго стояла у калитки, провожая глазами широкую спину и стриженный затылокъ своего Павлуши.

---

Иванъ Акимовичъ попытался поговорить съ Надею откровенно, по душѣ, онъ посовѣтовался предварительно съ Шелобовымъ и съ отцомъ Павломъ.

Первый сказалъ:

— Во всякомъ случаѣ, дѣло не испортишь.

Второй рѣшилъ, что «такъ и подобаетъ, назиданіе старшихъ и внушеніе можетъ быть не безполезно».

И вотъ Глухаревъ, выбравъ удобную минуту, приступилъ къ *внушенію*.

Онъ началъ издалека, съ описанія главнѣйшихъ чертъ семейной жизни и со всего того, что для семинарскаго счастья необходимо, но едва только онъ коснулся Павлуши и своего завѣтнаго желанія, какъ умоляющій, полный отчаянія,

безпомощно покорный взглядъ Нади разомъ обезоружилъ всѣ его доводы...

— Иванъ Акимовичъ!.. папа!.. отецъ мой!.. что же вы со мною дѣлаете!..—истерически зарыдала Надя и колѣна у нея сами собою подогнулись.

— Голубка моя, дитя мое!—разрюмился тутъ и стариkъ Глухаревъ.—Да что же мы, палачи твои, что-ли?.. Да вѣдь ты для меня все равно, что и Пашка... Господь съ тобою... Будь, что будетъ... но только до худого не допущу... Не буду, не буду больше!.. ну перестань же, ну посмотри, что ты съ собою сдѣлала! Такая ли ты къ намъ сюда пріѣхала?.. Ну, не буду, не буду!..

— Рано значитъ еще,—рѣшилъ Иванъ Акимовичъ, уходя послѣ своего внушенія, — что-же, подождемъ. А ты опять сюда?—встрѣтилъ онъ сына на порогѣ.

— Я, папаша, книжку вотъ... Онъ книжку просили меня достать...

— Отдай книжку Силантію, да и ступай домой. Вотъ сейчасъ къ Огурчикову пойду похлопотать, нельзя ли тебя въ степь угнать съ командою, хоть на мѣсяцъ...

Только Шелобовъ одинъ умѣль успокоить Надю и не тяготить ее своимъ присутствиемъ. Онъ, обыкновенно, приходилъ къ ней весело, какъ ни въ чёмъ не бывало, словно чуждый совершенно всего, что происходило. Онъ самъ мало рассказывалъ, все больше спрашивалъ ее объ институтской жизни, объ томъ, чему ихъ тамъ учили, особенно интересовался всѣми мелочными подробностями и заставлялъ Надю припомнить ему всѣ трагическіе и комическіе эпизоды ея дѣтства. Обыкновенно, рассказчикъ особенно увлекается темою своего разсказа, когда замѣчаетъ возрастающее вниманіе слушателей, а Шелобовъ былъ слушателемъ образцовымъ, и если пускался въ разсказы самъ, то всегда выбиралъ эпизоды самые занимательные и совсѣмъ чуждые тому, что болѣзненно томило душу дѣвушки.

Василий Ивановичъ никогда не спрашивалъ Надю объ ея здоровье; онъ дѣлалъ видъ, что вовсе не замѣчаетъ никакихъ худыхъ перемѣнъ, онъ, напримѣръ, часто приходилъ къ обѣду и не заставлялъ Надю кушать, усиленно предлагая того и другого, а просто самъ подавалъ блестящій примѣръ своимъ

аппетитомъ и веселостью, и примѣръ его, какъ и всякий при-  
мѣръ, имѣлъ свойство заразительное. Надя кушала и слушала.

Василій Ивановичъ добился наконецъ того, что Надя ждала  
его посѣщеній, и на его громкое, веселое привѣтствіе отвѣ-  
чала даже иногда улыбкою и радушно протянутыми обѣими  
ручками.

— Вотъ, братъ, какъ надо! — объясняль все это Шело-  
бовъ своему молодому другу, то есть Павлушѣ.

— Тебѣ хорошо, когда у тебя этого самаго чувства  
нѣту, — оправдывался неудачный женихъ.

— Нѣту! — переспрашивалъ Василій Ивановичъ. — Ты такъ  
и думаешь, что нѣту... Ну, пожалуй!.. Только, братъ, лучше,  
еслибы и у тебя его было поменьше.

Несмотря на мѣры, принятая Глухаревымъ, Аделаїда  
Францовна Розенблюмъ успѣвала врываться къ Надѣ, и не  
одинъ разъ даже. Она рассказывала ей о Криницынѣ, распи-  
сывала его терзанія по своему, врала, сочиняя цѣлые тирады,  
якобы произносимыя на ея счетъ Павломъ Петровичемъ, за-  
ставляла Надю плакать навзрыдъ и сама рыдала съ нею вмѣ-  
стѣ, и, къ чести Криницына, дѣйствовала сама на свой рискъ,  
по своему собственному вдохновенію, безъ полномочій Павла  
Петровича.

И вотъ, мало-по-малу, Надя составила себѣ полную кар-  
тину своего настоящаго положенія.

Тамъ терзается и гаснетъ любимый герой, одинокій, всѣми  
ненавидимый, — здѣсь она, окруженнная непреодолимою стѣною,  
тоже одинокая, тоже гаснущая. Она чувствовала, какъ эти  
люди, предательски любящіе, нѣжны, сжимаютъ ее все болѣе  
и болѣе въ своихъ томительныхъ тискахъ и нѣть ей выхода,  
нѣть даже средствъ къ отступленію. Есть въ этой стѣнѣ только  
одна калитка, хотя и заперта тоже, но, вотъ-вотъ, готовая  
открыться, при малѣйшемъ ея прикосновеніи. Это — Василій  
Ивановичъ: и довѣрчиво жмется она къ нему.

Розенблюмъ увѣряла ее, что оба Глухаревы низкіе  
интриганы, что они льстятся ея домомъ и оставшимися по  
наслѣдству крохами. Она этому не вѣрила; она даже просила  
непрошеннную покровительницу никогда и не заикаться обѣ та-  
кихъ вещахъ... Она вѣрила и любви отца, и любви Павлуши;  
она только сознавала, что именно эта любовь и составляетъ

всю суть ея несчастія. Когда она видѣла изъ окна приближающуюся фигуру Глухарева-отца, ей становилось невыносимо тяжело, но она все-таки охотно шла къ нему навстрѣчу и горячо цѣловала, если посѣщеніе обходилось безо всякихъ намековъ на роковой вопросъ... Убитый видъ Павлушки ей былъ ненавистенъ и она уже больше не показывалась ему вовсе. Но еслибы этотъ самый Павлуша, вмѣсто своей любви, предложилъ бы ей такую, какую онъ предлагалъ Грунѣ, то Надя съ восторгомъ кинулась бы къ нему на шею и назвала бы своимъ дорогимъ, горячо любимымъ братомъ.

А тутъ имя бѣдной, новопріѣзжей сиротки стало богатымъ матерьяломъ для сплетень по всему Глухому форту и даже за его предѣлами. Дамскіе языки Богъ вѣсть чего только не придумали. Если Надя появлялась въ обществѣ, то, хотя и встрѣчала всюду любезность и полное вниманіе, но не могла не замѣтить оскорбительной двусмысленности, сквозившей въ каждомъ словѣ, къ ней обращенномъ.

Это заставило ее скоро, какъ улитку, войти въ свою скорлупу и затаиться тамъ, испуганно и недовѣрчиво относясь ко всему окружающему.

Междудѣмъ, разжигаемая препятствіями страсть пустила въ неопытномъ сердцѣ дѣвушки глубокіе корни. Это чувство росло и росло и скоро охватило собою все существованіе Нади, и ея фантазія, раскаленная еще съ институтской скамью разными романическими терзаніями, рисовала ей таинственные, сладкія картины встрѣчи лицомъ къ лицу со своимъ идеаломъ. Она рвалась и искала этой встрѣчи, но этотъ порывъ ни разу не обнаруживался у ней осознательно. Даже на уже вовсе не двусмысленныя предложения способничества для устройства свиданія, со стороны дѣвицы-акушерки, Надя отвѣчала: «Нѣть, ни за что!» Отвѣчала такъ энергично и рѣшительно, что отнимала всякую возможность дальнѣйшаго настаиванія, а сама, черезъ минуту, проклинала это «нѣть», вырвавшееся у нея инстинктивно, словно не по ея, а по чужой чьей-то волѣ, вѣчно противорѣчащей съ желаніями ея сердца... Еслибы это свиданіе состоялось какъ нибудь нечаянно, помимо ея воли, тогда... Но нечаянныя-то встрѣчи одинъ на одинъ были положительно немыслимы. Зоркіе глаза дружеской компаніи парализовали всякую возможность подобного случая. И разъ даже Аделаїда

Францова получила отъ Ивана Акимовича такое внушительное предостереженіе, что цѣлую недѣлю послѣ этого не рѣшалась встрѣчаться съ нимъ, одинъ на одинъ, на улицѣ. На предложеніе Розенблюмъ Криницыну, «выразить свои чувства письменно, излить, такъ сказать, пламень своей страсти на бумагу», Павелъ Петровичъ ничего не отвѣтилъ, только плечами по своему передернулъ; на подобное же предложеніе Нади, та отвѣчала рѣшительнымъ отказомъ. Аделаида Францова удивлялась только ихъ обоюдному упорству, не замѣчая той брезгливости, съ которой обѣ стороны стали явно относиться къ ней.

Аделаида Францова каждый вечеръ заносила въ свой дневникъ подробную хронику «несчастной любви», коментируя ее по своему, и, неизвѣстно уже по чьей винѣ, содержаніе наиболѣе пикантныхъ страницъ стало общимъ достояніемъ, неизвѣстно потому, что авторъ дневника прочитывалъ эти страницы только одному Ползункову, и то подъ самымъ строжайшимъ, честнѣйшимъ словомъ—сохраненія тайны.

### III.

Зашла разъ Груня къ Ивану Акимовичу. Самого съ ранняго утра не было дома, въ складахъ сидѣлъ, за конторкою. Шелобовъ какъ ушелъ съ вечера на куропатокъ въ степь, тамъ и заночевалъ должно быть, назадъ еще не возвращался. Павлуша одинъ былъ дома. Прошла Груня прямо въ его комнату, а тотъ лежитъ на кайкѣ одѣтый и спить. Подошла гостья потихоньку, хотѣла попугать, разбудить неожиданно, и отшатнулась. Ея Павлуша, этакій то скромникъ, красная дѣвица, былъ пьянъ мертвѣцки.

Покачала головою Груня.

— И когда это онъ успѣлъ такъ нарѣзаться?..

Словно про себя спросила она это, а денщикъ Фадѣевъ уже и отвѣтилъ:

— Да вотъ, какъ полковникъ ушли, они только чай были покушавши, а потомъ сами достали графинчикъ, да и прикончили, даже безъ закуски. Я предлагалъ имъ яичницу сдѣлать—долго-ли! да не захотѣли, говорятъ: «Пошелъ вонъ! Не твоё дѣло!»

Бросила Груня узелок съ бѣльемъ на столъ, сама вышла и прямо направилась черезъ базарь, а оттуда наискосокъ, че-резъ площадь, къ дому Горкина. Застала Надю въ саду. Въ бесѣдку угловую забралась та и книжку перелистовала.

— Здравствуйте, барышня, Надежда Федоровна! — поклони-лась Груня.

— Груничка! Это вы! Здравствуйте.

Поцѣловались.

— Жаль мнѣ васъ, Надежда Федоровна, — сказала потупив-шись гостья. — Вѣрите ли какъ жалко... А только вы меня простите. Можетъ быть вамъ мои слова обидны покажутся, можетъ быть что непріятное съ языка сорвется... А вы уже простите.

— Не знаю, что вы сказать мнѣ хотите, — проговорила Надя, а сама уже поблѣднѣла, какъ полотно.

Груня замѣтила это и взяла ее за руки.

— Родная моя! Вѣдь я не мучить сюда пришла васъ... Я вѣдь очень, очень это все понимаю... Я люблю васъ и мо-жетъ быть человѣка вамъ не сыскать другаго, кто-бы столько, какъ я, желалъ вамъ счастья... Только и самой мнѣ больно... Ужъ такъ то больно, такъ больно, что вся душа наружу про-сится. Вотъ и пришла я поговорить съ вами... Вы не плачете. Вонъ у васъ уже слезинки на глаза навернулись. А уже коли плакать, то давайте вмѣстѣ... Говорять будто отъ этого на сердцѣ легче дѣлается.

Сѣла Груня рядомъ на диванчикѣ, обвила Надю за талию одною руковою, голову свою прижала къ ея плечу и, впрямь, обѣ вмѣстѣ заплакали.

Поплакали, поцѣловались и улыбнулись обѣ. Значить, дѣй-ствительно, полегчало.

— Ну, о чѣмъ же разговарить вы хотите? — спросила Надя.

— Да обѣ немъ же все, — потупилась Груня. — Обѣ комъ же больше!

Вздохнула Надя глубоко-глубоко.

— Я въ этомъ не виновата, — проговорила она, и ея мгно-венная улыбка снова смынилась выраженіемъ не то печали, не то, скорѣе утомительной, тоскливой скучи.

— Запивать никакъ началь, — произнесла Груня... — Жаль вѣдь

тоже; ни за грошъ прощадеть человѣкъ... Здѣсь, вѣдь, въ на-  
шей сторонѣ, это бываетъ...

При словѣ «запивать» Надя сдѣлала брезгливую гримасу;  
гостья это замѣтила и будто обидѣлась...

— Что, говорить нечего, хорошаго мало, только и его  
вина вся въ томъ, что полюбилъ не по разуму... Вѣдь человѣкъ то онъ золото былъ до сихъ поръ, вѣдь такого парня  
днемъ съ огнемъ не сыскать. Честный, рабочій, дѣльный, крот-  
кій, словно ребенокъ. Вѣдь такого...—Груня воодушевилась и  
глаза у нея заблистили.—Вѣдь такого,—повторила она,—нельзя  
не любить! его всякая дѣвушка полюбить, безъ души, безъ  
разума. Вѣдь въ его глаза только посмотрѣть, такъ сердце ра-  
достью встрепенется... Вѣдь съ такимъ подъ вѣнецъ стать,—  
такъ всю жизнь Богу Его милость не замолиши...

— А вѣдь вы его, Груня, крѣпко любите?—спросила Надя  
и остановила этимъ вопросомъ потокъ краснорѣчія гостьи.

— Люблю,—отвѣтила та... и глазомъ не моргнула,—прямо,  
смѣло, и взглянула ей въ очи...

— И я люблю,—прошептала Надя...

— Знаю,—сказала Груня...—Только человѣкъ онъ недобрый...  
Большое горе вы этою любовью себѣ готовите... Наденька, На-  
дежда Федоровна, одумайтесь вы, Христомъ Богомъ заклинаю  
васъ, отмолитесь вы отъ любви вашей: «стинь», моль, «отыди  
сатана отъ меня, оставь мое дѣвичье сердце»... Бросьте вы  
его, забудьте, а возьмите лучше Павла Ивановича, возьмите  
Павлушу моего... Онъ будетъ съ вами всю жизнь счастливъ  
и ваше счастье, несразу можетъ, а устроить... Вѣрьте вы  
мнѣ, моя добрая, хорошая, вѣрьте... Не я говорю вамъ, сердце  
мое говорить за меня, а сердце не обманываетъ... А ваша  
любовь—наважденіе дьявольское!.. это вѣрно!. И откуда любви  
то этой взяться?.. Я вотъ. Павлушу третій годъ знаю, и на-  
бѣгались мы, и наигрались до сыта, словно братъ съ сестрою...  
я то его наскоро всего узнала, я могла полюбить, а вотъ  
вы... Да вы и разу путемъ не видались, вы и словомъ не пе-  
реекинулись—я вѣдь все знаю: только что глазъ видѣлъ, да  
и все тутъ; а глаза что, въ глаза сатана какого хотеть ту-  
ману напустить можетъ... Надичка, полюбите вы моего Павлушки!

Зарыдала Груня, чуть не на весь садъ и въ ноги пова-  
лилась Надѣ,—руки ея ловить да пѣлуетъ...

Насилу подняла ея Надя, кое какъ успокоила.

— Пойдемте отсюда,—попросила Груня,—хоть къ вамъ, въ спальню; я вотъ тутъ словно опалѣла, а мѣсто такое, что того и гляди, кто чужой подслушаетъ.

Перешли обѣ дѣвушки въ спальню.

— Вы вотъ, Груничка, меня полюбить Павлушу просите—начала Надя,—вѣдь я у васъ же отниму его...

— А что мнѣ въ немъ теперь... по крайности счастливъ будетъ съ вами.

Задумалась глубоко Надя... Въ первый разъ въ жизни она слышала то, чего и подозрѣвать не могла въ институтѣ. Тамъ вѣдь любовь служила частенько предметомъ всесторонняго разбора, только тамъ все иначе складывалось, тамъ вотъ, если двѣ женщины сталкиваются на одномъ предметѣ страсти, такъ совсѣмъ иначе поступаютъ... сейчасъ пойдетъ вражда, полная непримиримой ненависти—борьба на жизнь и смерть... такъ страшно и такъ занимательно выходить, а тутъ Груня сама отдаетъ, да еще упрашиваетъ, руки цѣлуетъ...

— Вѣдь вы думаете, можетъ,—прервала ея размышенія Груня...—Вы, можетъ, думали когда, что я изъ расчета какого Павлушу полюбила—въ мужья себѣ, корысти ради, намѣтила... Какже, молъ, полковницкій сынъ, дворянинъ, офицеръ съ орденами, а я простая, неграмотная дѣвушка изъ духовнаго званія, дьячкова дочка... Вотъ, молъ, и глаза мои разгорѣлись. Нѣтъ, коли бы такъ было, такъ не отдала бы добромъ, сама для себя съумѣла бы уберечь, со всѣхъ концовъ обошла бы и окрутила: не любишь теперь—послѣ полюбишь,—нѣтъ, не такъ... А по мнѣ онъ, не только дворянинъ, да офицеръ заслуженный, будь онъ хоть разбойникъ послѣдній, ссыльно-каторжный, нѣ разлюбила бы—въ рудники за нимъ пошла бы и тамъ бы душу его спасала.. Потому и прошу васъ не за себя, не для себя, можетъ сердцу своему на погибель—взьмите его, полюбите,—ну, ей же Богу, онъ вамъ послѣ это заслужить...

— Груня,—остановила ее Надя,—скажите сами: пошли бы вы замужъ за человѣка нелюбимаго?

— Пошла бы, еслибы сердце свободно было, другимъ кѣмъ не занято. Мало-ли нашей сестры не по сердцу выходить; живутъ ничего, ладно.

— Я вотъ, можетъ быть, пошла бы и навѣрное пошла-

бы... готова была даже, да теперь не могу... силь моихъ пѣтъ...

— Знаю я все... знаю,—проговорила гостья.—Только вотъ что скажу я вамъ,—Груня понизила голосъ.

— Хорошо вотъ, что днемъ солнышко, ишь ты, какъ свѣтить, на ночь бы не сказала... Любить ли тотъ васъ, Криницынъ-то?

— Не знаю...

— А я знаю, что любить только любовь его нечистая, какъ сказала я вамъ: дьявольское напущеніе—это вѣрно. Развѣ кто любить, такъ поступаетъ? Онъ бы прямо долженъ идти къ вамъ, что ему запоры да запреты разные! Сказать долженъ прямо: такъ молъ и такъ—пойдемъ къ вѣнцу, въ церковь Божію! да послѣ этого съ вами прямехонько въ эту церковь самую, прямехонько, безъ обходовъ лукавыхъ, подъ Божье благословеніе... Такъ ли онъ дѣлается?.. Другой бы подумалъ, что такъ только надсмѣяться онъ хочетъ, благо сама дѣвушка къ нему танется, такъ вотъ и думаютъ другие, я такъ не думаю... Онъ можетъ пуще васъ самъ терзается, а подойти не смѣеть, словно его отъ васъ ангель-хранитель невидимый отгоняетъ, Знаете ли вы, что Павла Петровича узнать нельзя... Знаете ли вы, что онъ какъ свѣча горитъ, самъ просто тѣни своей боится... Знаете ли, какими дѣлами онъ у этого нехриста, Миробайки, занимается?.. То-то, не знаете! а я знаю, да и другимъ не тайна. Онъ тамъ маковымъ дурманомъ закуривается и это прямая погибель... Вамъ вотъ можетъ Господь въ испытаніе любовь эту послать, ему—въ наказаніе... Человѣкъ онъ не добрый, холодный—за то можетъ быть. Вотъ и отвернулся отъ него Всемилостивый, попустилъ сатанѣ въ его душу внѣдриться, и мучить его теперь нечистая сила, изводомъ изводить... Вотъ что такое съ Павломъ Петровичемъ дѣлается. И такого человѣка вы, не знающи, не вѣдающи, полюбили... Бросьте! отмолитесь отъ помысловъ вашихъ, отмолитесь отъ любви такой... и Господь васъ помилуетъ, очистить и успокоить сердце ваше... Наденька, Наденька... что же это такое съ вами дѣлается... Напугала я, обидѣла васъ своими словами глупыми! Наденька!..

Крѣпко стиснуты были зубы Нади, глаза закатились, тудорога вытянула ея ноги, руки. Она не рыдала, она, молча,

вздрагивала всею грудью и въ горлѣ ея слышался подозрительный, хриплый клокоть.

— Надуная! — промельнуло въ головѣ Груни. Она порывисто рвануло легкое покрывало, накинула его на больную, и, съ громкимъ крикомъ, выбѣжала звать на помощь.

#### IV.

Въ эту ночь денщикъ Криницына былъ очень озадаченъ несвоевременнымъ приказомъ осѣдлать Абрека.

Давно уже миновала полночь. Луна свѣтила холоднымъ, ослѣпительнымъ блескомъ. Глухой форть спаль и ни одного огонька не мигало въ его окнахъ. Была мертвая тишина, из-рѣдка только прерываемая воемъ собакъ и другимъ, слабымъ, едва слышнымъ, отвѣтнымъ завываніемъ, доносившимся сюда съ того берега. Лента рѣки разстилалась покойнымъ зеркаломъ отражая безчисленныя звѣзды. Воздухъ былъ ясенъ и всѣ предметы видны были отчетливо на далекомъ разстояніи.

Голова Криницына горѣла, какъ въ огнѣ; ему казалось, что вмѣсто мозга подъ его черепомъ наложены раскаленные уголья. Сядясь на коня, онъ замѣтилъ, что силы ему измѣняются. Абреクъ видѣлъ кто на него садится, но еслибы ему завязали глаза, онъ не узналъ бы своего обычнаго всадника.

Шагомъ проѣхалъ Павель Петровичъ по форту и, конечно, какъ разъ мимо дома Горкина, шагомъ выѣхалъ за околицу, предоставивъ коню полную свободу выбора дороги.

Абрекъ и выбралъ обычную, на бродъ, за рѣку.

Печальная картина разстилалась кругомъ. Кое-гдѣ уныло торчали случайные остатки пожелтѣвшаго камыша, повсюду же виднѣлась равнина, покрытая золою и выжатою морозомъ изъ почвы солью. Утренняя звѣзда уже заскрипила алмазомъ на горизонтѣ, но до разсвѣта было еще далеко.

Криницынъ, опершись обѣими руками о переднюю луку, казалось, дремалъ на сѣдлѣ, Абрекъ, съ ослабленнымъ поводомъ, шелъ, вытягивая шею, обнюхивая по временамъ дорогу, зорко вглядываясь въ каждый предметъ, казавшійся ему чѣмънибудь подозрительнымъ.

«И ты страдаешь! — думалъ Павель Петровичъ въ эту минуту о Надѣ. — Бѣдный ребенокъ! Но еслибы ты знала, что

въ моей душѣ, еслибы ты могла заглянуть въ мое сердце! Нѣтъ силь терпѣть болѣе! Я возьму тебя, я вырву тебя отсюда, увезу далеко, далеко. Я всю жизнь отдамъ тебѣ, и ты никогда ничего не узнаешь...»

И вотъ, въ воспаленномъ воображеніи Криницына сталъ постепенно развертываться весь планъ дѣйствія. Онъ долженъ видѣть Надю во что бы то ни стало. Онъ долженъ силою разрушить всѣ препятствія, еслибы такія оказались. Онъ скажетъ ей: «Я твой, иди за мною!» И она пойдетъ. Онъ скроетъ отъ нея все... зачѣмъ ей знать? На ея дѣтской, чистой груди — отдохнетъ, успокоится его изболѣвшееся сердце. За крѣпкии щитомъ ея чистоты укроется онъ отъ этихъ мучительныхъ грезъ, отъ этихъ неумолимыхъ видѣній. Она будетъ принадлежать ему одному, ему, — и никому больше! Она хороша собою, — ее не стыдно будетъ показать тамъ, въ Петербургѣ, она не испортитъ его карьеры. Криницынъ въ эту минуту нисколько не думалъ о вѣнцѣ и налобѣ — это просто не приходило ему въ голову. Онъ только думалъ теперь о томъ, какъ бы вырваться скорѣе отсюда, но вырваться не одному, а вмѣстѣ съ нею, помимо его воли, овладѣвшою всѣми его помыслами.

— Да, это будетъ такъ! — рѣшилъ онъ и сталъ вслушиваться.

Ему показалось, что впереди его ёдетъ еще кто-то. Звукъ копытъ слышенъ ясно; этотъ звукъ приближается, но очень медленно. Должно быть всадникъ ёдетъ въ ту же сторону, но тише, и Абрекъ его скоро нагонитъ.

Криницынъ подобралъ поводь и прикрылъ рукою глаза. Звукъ копытъ слышался все яснѣе и яснѣе.

Странно, что Абрекъ идетъ совершенно покойно и не ржетъ! Онъ, обыкновенно, далеко чуетъ чужаго коня и рѣзко выражаетъ при этомъ признаки своего нетерпѣнія, а теперь онъ идетъ ровно, даже ушами не поводить. Странно!

Еще минута и Криницынъ нагонитъ того, кто ёдетъ впереди. Вотъ уже близко.

Впереди выступило неяснымъ контуромъ бѣловатое пятно. Это крупъ лошади, вонъ и короткій хвостъ колышется. Да, точно, всадникъ туда ёдетъ. Криницынъ хорошо теперь видитъ его широкую спину и узкій черный ремешокъ, съ лѣваго плеча на правое бедро. Ноги, въ тяжелыхъ сапогахъ, глубоко засу-

пути въ стремена, голова наклонена. Онъ дремлетъ, должно быть...

Павель Петровичъ опустилъ руку въ карманъ... и задрожалъ всѣмъ тѣломъ. Тамъ его рука коснулась чего-то такого, чего теперь быть не могло. Это былъ кастетъ, очень вѣсій, отполированный; онъ состоялъ изъ четырехъ массивныхъ стальныхъ колецъ, спаянныхъ вмѣстѣ; противъ кольца, отвѣчающаго среднему пальцу, находился выступающій тупымъ шипомъ, массивный приливокъ. Ударъ такимъ кастетомъ, направленный въ голову сильною рукою, безусловно смертеленъ. Это оружіе усовершенствовано Наполеоновскими мушарами. Базиль-Пршендзіевскій, одинъ изъ безчисленныхъ пріятелей Криницына, вывезъ его изъ Парижа, вмѣстѣ съ лѣвою перчаткою какой-то опереточной знаменитости; перчатку онъ оставилъ у себя, а кастетъ подарилъ Павлу Петровичу. И этотъ кастетъ онъ, Павель Петровичъ, бросилъ, давно, тогда еще. Онъ бросалъ его въ рѣку, тамъ глубоко, очень глубоко; вѣдь это было мѣсто, подъ самымъ обрывомъ. Тяжелый кусокъ металла, глухо булькнуль въ воду—и на сердцѣ Криницына отлегло, словно тяжесть кастета опущалась у него не въ рукѣ, а въ сердцѣ.

Какимъ же образомъ этотъ кастетъ теперь снова въ его карманѣ?

Откуда опять, передъ его глазами, этотъ конскій крупъ, эта широкая спина, этотъ сѣдой, наклоненный затылокъ.

Взмахнувъ вооруженной рукою, Криницынъ далъ варварскій, безчеловѣчный ударъ шпоръ въ бока Абрека и ринулся впередъ.

Видѣніе исчезло.

Только бѣдное, кровное животное, взвившееся на дыбы, застонало болѣзненно и осѣло на заднія ноги, повинуясь судорожно затянутому поводу.

А рядомъ кто-то стоитъ въ кустахъ, согнувшись въ три погибели, опершись на палку, и тихо смеется. Косматая шапка даетъ на его лицѣ широкую тѣнь, а въ тѣни бѣлѣютъ только глаза, на вѣки лишенные силы и значенія.

— Вотъ я и видѣлъ,—шепчетъ старикъ. — Я тебѣ говорилъ уже, что видѣлъ все и знаю. Вотъ ты, теперь, и самъ убѣдился въ этомъ.

Опять смеется страшный слѣпой ницій. Не смѣхъ это,—

голосъ крови.

это змѣя, потревоженная неожиданнымъ шумомъ, разворачиваеть свои блестящія кольца, подняла голову и быстро шевелить своимъ раздвоеннымъ язычкомъ.

Опять бѣшенный ударъ шпоръ; опять отчаянныій скакочкъ коня, и чудится Криницыну, что его Абрекъ мнетъ и топчетъ своими ногами стонувшее, конвульсивно баражтающееся въ пыли тѣло. Безсмыленный страхъ овладѣлъ всѣмъ его существомъ и заразительно передался коню. Закусивъ удила, зажалъ злобно назадъ тонкія уши, поджавъ хвостъ, Абрекъ круто повернулъ назадъ и понесся по знакомой дорогѣ.

А сзади, слѣдомъ, опираясь на палку, скакетъ раздавленный старики. Вотъ-вотъ нагонить, — нагналь и вѣпился въ крупъ коня, словно кошка впилась въ него когтями. Поддалъ задомъ конь и сбиль своего преслѣдователя, пуще прежняго понесся, съ размаха ринулся въ воду и вынесъ своего всадника на ту сторону.

## V.

Солнце взошло. На дворѣ квартиры Павла Петровича собралась уже порядочная толпа народу.

— Ну, унесъ же его Господь! — разводилъ руками отставной служивый, нынѣ рыбакъ, Голунчиковъ, — и понесла же егошелегкая, по ночамъ променажи дѣлать! Дня, виши ты, для господь мало!

— У насъ, такъ вотъ, коло Перовскаго, тигра почтальона закрыла, только на третій день кости отыскались оглоданныя, рассказывалъ мѣщанинъ, въ пуховомъ нартузѣ, кутаясь въ старую солдатскую шинель, безъ погонъ и пуговицъ.

— Лошадь добра! — замѣтилъ казакъ-уралецъ. — Будь конь поплоше — не уйти, «поштрѣли его въ бороду!»

— А глядѣль какъ она его ободрала... задѣ-то почитай весь ключьяхъ, — эво какая лужа стоитъ!

— Хошь бы пескомъ присыпали. Доктора звали, что ли?

— Тамъ, уже часъ сидить, а на конюшню коновалъ пошелъ, антимону требовавшъ.

— Самъ что? Ему какъ попало?

— Самъ, сказываютъ, ничего, только напужавшись очень.

— Испужаешься, тоже!

Пришелъ Шелобовъ и прямо направился въ конюшню. Его ночное происшествіе заинтересовало съ этой, исключительной, стороны.

Подъ навѣсомъ, въ просторномъ денникѣ, стоялъ искальченный Абрекъ. Больное животное печально опустило голову и уныло, кротко смотрѣло на людей поблекшими, тусклыми глазами; окровавленный крупъ коня былъ уже обмытъ и прикрытъ мокрыми компресами, вывихнутая нога болѣзненно приподнята и чуть касалась подстилки концомъ копыта. Лошадь слегка вздрагивала и довѣрчиво отдалась на попеченіе бородатаго урядника-коновала, безцеремонно лазящаго у нея подъ ногами.

Криницынскій денщикъ стоялъ съ ведромъ воды около.

— Открой-ка! — приказалъ коновалу Василій Ивановичъ.

— Гм! — стала онъ осматривать... — Вишь ты! коготь слабый, дуракъ, молодой, пошалилъ; отъ старого не увернулся бы... Какого же это выводка?...

Подумать-подумать извѣстный тигровый охотникъ, хотѣль было зайти и къ Криницыну, вѣдь тотъ, говорили, до сихъ поръ еще лежитъ безъ памяти,—да махнулъ рукою и вышелъ со двора, многозначительно переглянувшись съ Иваномъ Акимовичемъ, попавшимся ему въ воротахъ навстрѣчу.

Старикъ Глухаревъ тоже узналъ объ этомъ дѣлѣ и тоже зашелъ навѣдаться, энергично растолкавъ собравшуюся въ воротахъ толпу.

— Зайди потомъ ко мнѣ, поговорить надо! — шепнулъ ему Шелобовъ.

— Зайду, — сказалъ Иванъ Акимовичъ. — Ты куда, восторносая? — крикнулъ онъ на Анисью, замѣтивъ въ толпѣ ея лукавую физіономію. — Пошла домой!.. Барышня еще не вставала?

— Почибаютъ!.. Я вотъ, Иванъ Акимычъ, только на минуточку... я сейчасъ!..

Въ комнатѣ у Павла Петровича сидѣлъ докторъ и полковникъ Огурчиковъ.

— Странно, мужчина не трусъ, а такія послѣдствія страха! — удоумѣвалъ докторъ.

— А что? — полюбопытствовалъ комендантъ.

— На столбнякъ будто похоже...

Павелъ Петровичъ, словно трупъ, вытанувшись навзничь, лежалъ на своей кровати. Глаза его были полуоткрыты и зрачки

неподвижны. Намоченные холдною водою полотенце тяжелымъ комомъ давило ему лобъ.

Докторъ отошелъ къ окну и тщательно готовилъ маленький шприцъ для подкожного вспрysкивания. Онъ полагалъ, что необходимо ввести въ кровь больного что нибудь сильно возбуждающее.

— Семенъ Семеновичъ! — окликнулъ коменданта Глухаревъ, — выйди-ка сюда, поговорить надо.

— Что еще такое? — отозвался тотъ и подошелъ.

— Видиши-ли, — Глухаревъ сильно понизилъ голосъ. — Тутъ дѣло нехорошими пахнетъ. Ты ничего не думаешь?

— А что?

— Зачѣмъ его понесло въ ночь и на то самое мѣсто?

— Развѣ на то?

— Ну, можетъ быть, поблизости гдѣ. Это все равно. Только, что такое по твоему означаютъ эти ночные путешествія? Уже не въ первый разъ это за нимъ замѣчено.

— Гм... я и самъ уже что то неладное за нимъ замѣчу. Давно замѣчу... мнѣ, вонъ, Ползунковъ докладывалъ, что у Миробайки онъ того... чертъ знаетъ чѣмъ занимается...

— Потягиваетъ!.. Потянешь въ его положеніи! Я бы тамъ пошарилъ хорошенько... Я вотъ хочу Шелобова тоже позвать, да знаешь, эдакъ, хорошенько кругомъ ощупать...

— Гдѣ? у Миробайки?

— Зачѣмъ у Миробайки? тамъ, по окрестности... Эхъ, сердце меня и тогда на правду настоящую наводило, а теперь вотъ опять... Знаешь, даже увѣренность какая-то явилась... Заходи и ты ко мнѣ, хоть сегодня вечеркомъ, втроемъ съ Шелобовымъ потолкуемъ.

— Зайду!

Огурчиковъ подозрительно посмотрѣлъ въ ту сторону, гдѣ лежалъ Криницынъ.

— Не приставить-ли часового? — замѣтилъ онъ нерѣшительно.

— Ну, теперь еще рано! — улыбнулся Иванъ Акимовичъ. — Поспѣнемъ!

Докторъ привелъ уже въ исполненіе свое намѣреніе вспрysнуть, и прописалъ больному полную тишину и темноту; заставили окна снаружи войлочными ставнями, денщику отданъ

быть приказъ не отлучаться ни на минуту и слѣдить за компрессомъ, чтобы «отнюдь не просохъ», а все бы этакъ примачивать холденецкой.

Всѣ вышли и оставили, наконецъ, Павла Петровича въ покой.

Условившись переговорить вечеркомъ по душѣ, комендантъ и Шелобовъ аккуратно собирались у Ивана Акимовича къ назначенному часу.

Павлушу угнали въ командировку, хотя онъ и поупрямился немножко. Уже второй день, какъ его не было въ фортѣ. И теперь пріятели могли свободно говорить съ глазу на глазъ.

Первый началъ Иванъ Акимовичъ.

— Итакъ,—пошелъ онъ прямо къ цѣли, безъ обиняковъ,— онъ зарылъ деньги тамъ, гдѣ-нибудь, по близости. Не станетъ же онъ держать улику въ своей квартирѣ. И обыскъ, что мы произвели, понятно, ни къ чему не привелъ.

— Похоже!—согласился Семенъ Семеновичъ Огурчиковъ.

— Вотъ и ёздить все по почамъ навѣдываться—цѣло ли? И вчера туда же поѣхалъ, да на непрошеннаго сторожа и наткнулся.

— Похоже!—согласился и Василій Ивановичъ.

— Значить, надобно искать!—хлопнулъ по колѣну кулакомъ Глухаревъ.

— Значить, надобно искать!—снова хладнокровно согласился и Шелобовъ.

— Полагаю взять команду, роты полторы, двѣ, — засуетился Огурчиковъ,—и секретно обложить всю мѣстность... Стаягиваться мало-по-малу кольцомъ и тщательно изслѣдовывать почву. Взять съ собою лопатъ побольше, ломовъ—и чуть только гдѣ что подозрительного,—сейчасъ...

— Огласки дѣлать нельзя,—замѣтилъ Василій Ивановичъ.

— Зачѣмъ огласка? Самая строгая тайна!—поднялъ кверху палецъ комендантъ.

— А если ничего не найдемъ?

— Все равно, держать послѣ въ строгомъ секрѣтѣ.

— Это секрѣтъ съ полутора ротами солдатъ... Очень удобно!—улыбнулся Василій Ивановичъ.

— Неудобно!—затянулся дымомъ и стариkъ Глухаревъ.

— Ужъ если искать гдѣ надо, такъ это у Миробайки,—

заговорилъ Шелобовъ.—Подозрительны показались мнѣ эти бумаги, да портсигаръ. Ухъ, какъ подозрительны! Тамъ и искать надо. Да и то не зачмъ.

— Это какже?—возразили ему въ одинъ голосъ собесѣдники.

— А очень просто. Допустимъ, что Криницынъ убилъ и ограбилъ Горкина. Является вопросъ—для чего онъ это сдѣлалъ? Натурально, не для того, чтобы держать деньги въ землѣ, или у кого-нибудь на вѣчномъ храненіи. Значить, уѣзжая отсюда,—рано или поздно, онъ долженъ же уѣхать,—онъ заберетъ эти деньги съ собою. Онъ самъ и укажетъ намъ мѣсто ихъ храненія.

— Слѣдить за нимъ!—догадался комендантъ.

— Натурально. Тогда мы до чего-нибудь и доберемся. Осмотретьъ его и его экипажъ, уже на дорогѣ, мы всегда найдемъ, если не приличный поводъ къ этому, то просто возможность... А до тѣхъ поръ, ни гу-гу... Понимаете?

— Понятно!

— Мнѣ вотъ говорили, когда я сюда маршировалъ, что онъ уже пришелъ въ сознаніе, разговаривать началъ. Докторъ находитъ, что нервное возбужденіе дошло черть знать до чего, но за горячку не боится... Здоровая натура! Только, чего это могъ онъ такъ встряхнуться... Человѣкъ-то—онъ далеко не изъ робкихъ... Не понимаю!.. Что же ты, хозяинъ, созвалъ гостей, а угощенія не ставишь? Распорядись-ка ужиномъ!

— Сейчасъ!—встрепенулся Иванъ Акимовичъ и, отстегнувъ крючокъ у двери, крикнулъ:

— Фадѣевъ! Собирай на три избора.

## VI.

Надя узнала, благодаря расторопности Аделаиды Францовой и востроносой Анисьи, все, что произошло.

Разсказъ дѣвицы-акушерки, разукрашенный до невозможности самыми прямыми романическими красками, произвелъ на дѣвушку глубоко-потрясающее впечатлѣніе.

«Израненый, истекающій кровью, близкій къ смерти, и одинъ, всѣми брошенный, всѣми ненавидимый,—представлялось ей.—И вокругъ ни одного сочувственнаго слова, ни одного лас-

коваго взгляда. И она, слабодушная, здѣсь, а не съ нимъ... Его Надя, его сердце, не придетъ къ нему, не обниметъ его, не простится съ нимъ, отходящимъ въ могилу. Нѣтъ, этого не будетъ»...

Она, съ энергическою рѣшимостью, выпрямилась гордо, словно выросла разомъ цѣлою головою, накинула платокъ и вышла изъ спальни.

Это было ночью уже. Стариkъ Силантій спалъ въ своей каморкѣ и не слышалъ ни паденія легкаго стула, опрокинутаго Надею во время переходовъ черезъ темную залу, ни стука замка, ни слабаго скрипа отворяющей двери.

— Божественно! Прелестно! — раздался около нея шепотъ Аделаиды Фронцовны.—Вы героянья! Вы сдержали свое слово!.. Прелестно!

Надя шла скоро, плотно прижимая концы платка къ своей, почти задыхающейся отъ волненія, груди, и не слушала похвалъ дѣвицы-акушерки. Та шла за нею следомъ, но, не доходя до дверей Криницынской квартиры, остановилась и спряталась въ тѣни.

Это произошло какъ разъ въ ту минуту, когда Иванъ Акимовичъ, наливъ до краевъ три рюмки, обратился къ своимъ гостямъ со словами:

— Прошу. По первой!

Павель Петровичъ пришелъ въ сознаніе.

Онъ все еще лежалъ, ощущая сильную слабость, но въ его глазахъ свѣтился огопекъ жизни. Онъ съ болѣшимъ усилиемъ, хватаясь по временамъ за голову руками, старался, по возможности, припомнить и уяснить себѣ все, что съ нимъ произошло. Мысль, что онъ самъ, въ бреду, могъ себя выдать, вызвала холодный потъ на его воспаленномъ лбѣ.

Нечеловѣческое усиленіе нужно было сдѣлать для того, чтобы, по возможности, хотя привести въ порядокъ тотъ безсмысленный хаосъ, царившій у него въ головѣ. Онъ уже проэкзаменировалъ денщика и, видимо, былъ успокоенъ результатами этого экзамена. Больше всего смущало его посѣщеніе коменданта и Шелобова; къ визиту Ивана Акимовича онъ отнесся почему то равнодушнѣ.

«Надо бросить, думалъ онъ, эту предательскую страсть. Надо бѣжать... Пора...»

И тотчасъ же мысль о бѣгствѣ неразрывно связалась съ мыслью о Надѣ.

«Съ нею, но не одному...» Образъ дѣвушки отчетливо рисовался передъ нимъ. Онъ мысленно тянулся къ ней руками, мысленно сжималъ ее въ своихъ объятіяхъ.

— Надѣ! Ты мое искушеніе!..—машинально шептали губы Криницына.

— Надя!—еще разъ, громче повторилось это имя.

Живая, уже не призрачная, Надя стояла на порогѣ его дверей и слышала этотъ молящій призывъ.

Павелъ Петровичъ вздрогнулъ, рванулся съ постели и закрылъ лицо руками.

Онъ видѣлъ дѣвушку, но за нею, въ высокомъ темномъ четвероугольнике дверей стоялъ еще кто-то. Этотъ кто-то былъ самъ покойный Федоръ Горкинъ... Теперь уже не затылокъ съ пробоиной смущалъ Криницына своимъ молчаливымъ укоромъ: теперь прямо на него, въ упоръ смотрѣли, изъ подъ сѣдыхъ, нависшихъ бровей, два глаза.

Павелъ Петровичъ попятился къ стѣнѣ, онъ готовъ былъ опрокинуть, повалить эту преграду, своимъ напоромъ, но стѣна не подавалась.

Глаза призрака неподвижно были устремлены на него.

Криницынъ упалъ на колѣна.

## VII.

Глухаревъ, комендантъ и Шелобовъ, безмятежно, и даже весело, кончали свой ужинъ, какъ вдругъ въ дверь, не растворившуюся, а точно съ петлей сорвавшуюся, какъ бомба, влетѣлъ докторъ.

— Сознался!—крикнулъ онъ, задыхаясь и падая на стулъ.

— Что?

— Какъ?

— Кто? Въ чемъ дѣло?

Послушались торопливые вопросы.

— Криницынъ сознался... Онъ убилъ... Сознался... О, Господи... что это у васъ?

И, не дожидаясь отвѣта, докторъ налилъ себѣ полный стаканъ изъ первой, попавшейся подъ руку, бутылки и выпилъ залпомъ

— Да говори толкомъ!—обратился къ нему Шелобовъ.

— По порядку, по порядку... Съ самаго начала... По порядку!—засуетился полковникъ Огурчиковъ, отыскивая глазами: куда это, моль, онъ свою саблю запряталъ?

— Сейчасъ! Дайте духъ перевести!.. Я предполагалъ на вѣдаться къ нему, думаю, погляжу, что, какъ у него къ ночи? Иду, вхожу и слышу... Знаете, онъ, этакъ, на полу на колѣняхъ... Опа...

— Кто она?—заревѣлъ Иванъ Акимовичъ, поблѣдившисъ, какъ полотно.

— Надежда Федоровна... Наденька...

— Куда же ты, Ваня, постой!—хотѣлъ было остановить Ивана Акимовича Шелобовъ.

Но того уже и слѣдъ простылъ. Несмотря на свои лѣта, стариkъ бѣгомъ пустился по улицѣ, бормоча что-то несвязное.

— Ну, дальше, дальше?..

— Я остановился въ сѣняхъ,—продолжалъ докторъ.—Я все видѣлъ и слышалъ. Криницынъ говорить: «Это я убиль твоего отца.» Потомъ я ничего не могъ разобрать. Слыши только: «Ты моя, ты будешь моя... Я твой... Я, говоритъ, замѣню... Я всю жизнь...»

— А Надя?—спокойно спросилъ Шелобовъ.

— Надя?..—докторъ сталъ какъ будто припоминать.—Ахъ, да... Она была, но потомъ ее увѣли, то-есть унесли, эта Розенблюмша и баба одна, подхватили подъ руки, а я сюда..

— Да когда вы вошли, въ сѣни-то, вы видѣли Надю?.. Она тамъ была?

— Ну да, ну да... Она стояла посреди комнаты. Я, думаю, кто бы это могъ быть? Спиною она ко мнѣ стояла, а потомъ упала, то есть не совсѣмъ упала, а этакъ качнулась. Ее и подхватили... Да, да... Я самъ же и подхватилъ, а тутъ ее у меня изъ рукъ взяли. Павелъ Петровичъ уже ко мнѣ обратились, они можетъ меня за кого другого приняли... и еще разъ: «Я убийца...» Начали еще говорить что-то, а вдругъ какъ возятся въ меня, да за горло. Рванулся, что было мочи, не успѣлъ и «караулъ!» крикнуть... едва отбился, да сюда къ вамъ... Вотъ посмотрите: воротникъ пальто чуть совсѣмъ не оторванъ, а фуражка моя тамъ осталась...

— Арестовать немедленно! — должно быть самъ себѣ приказалъ комендантъ, отыскалъ, наконецъ, свою саблю, пристегнуль и вышелъ... Шелобовъ за нимъ, докторъ подождалъ минуту, выпилъ еще полстакана и отправился тоже...

Въ окнахъ уже уснувшихъ домиковъ форштата стали, тамъ и сямъ, загораться огоньки...

---

Не успѣлъ Глухаревъ пробѣжать половину разстоянія до квартиры Криницына, какъ на встрѣчу ему попалась, медленно движущаяся группа — это несли Надю... Аделаидѣ Францовнѣ и Анисьѣ должно быть не по силамъ пришла подобная ноша: онѣ поминутно останавливались и переводили духъ...

— За такія дѣла, сударыня, знаете-ли что?.. — прохрипѣлъ Иванъ Акимовичъ по адресу акушерки. — Прочь! — оттолкнулъ онъ ногою сунувшуюся было къ нему Анисью...

Аделаида Францовна хотѣла было обидѣться, да уже очень струсила, бросила Надю и скрылась, Анисья заревѣла благимъ матомъ:

— Не виновата, батюшка!..

Глухаревъ поднялъ свою приемную дочь, какъ ребенка, на руки, и повернулъ къ дому.

Между тѣмъ, полковникъ съ Шелобовымъ уже входили во дворикъ Криницынской квартиры... Докторъ догналъ ихъ и шель сзади... Изъ сосѣднихъ дворовъ тоже появились заспанные зрители...

Комендантъ энергично крикнулъ, пощупалъ на всякий случай, съ нимъ ли револьверъ и переступилъ порогъ первый.

На столѣ, дрогорая, чадила свѣча; кровать Павла Петровича въ безпорядкѣ, сдвинута была подъ угломъ на средину, прямо лежало опрокинутое кресло и столикъ, около которого осколки умывальной чашки и мокрые компресы... Самого хозяина на лицо не оказалось.

— Гдѣ же господинъ штабсъ-капитанъ Криницынъ? — офиціальнымъ тономъ спросилъ комендантъ.

— Не могу знать-съ, ваше высокоблагородие! — отвѣчалъ денщикъ.

Онъ тоже смотрѣлъ растерянно.

— Баринъ гдѣ? — повторилъ вопросъ Василій Ивановичъ.

— Ушедши-съ...

— Куда?

— Не могу знать!... Вышли недавно-сь... такъ безъ сюртука, безъ сапогъ... Ничего не сказали-сь... Я думалъ куда, недалеко... Я сейчасъ погляжу-сь...

— Ищи!—приказалъ полковникъ Огурчиковъ...—Такъ какъ вы полагаете, господа?..

Докторъ остановился на порогѣ и осматривалъ слабо освѣщенную комнату съ любопытствомъ и нѣкоторымъ страхомъ. Шелобовъ, въ раздумье, стоялъ, прислонившись къ печкѣ...

— Никакъ нѣть-сь!—появился въ дверяхъ деньщикъ.

— Что, никакъ нѣть-сь... что?..—заревѣлъ ему навстрѣчу комендантъ.

— Не нашелъ-сь... ихъ и тамъ нѣту. На конюшню заглянуль, тоже нѣть. Такъ, разумнись... Въ одномъ бѣльѣ-сь... Что же это такое?.. Прости Господи!

Комендантъ многозначительно посмотрѣлъ на Шелобова, тогдѣ пошевелилъ плечами и сталъ закуривать папиросу...

— Далеко не могъ уйти... Здѣсь гдѣ-нибудь, по близости... фонарица бы гдѣ найти... Поискать надо...

Принялись за розыски... волонтеровъ по такому дѣлу нашлось довольно, достали и фонарей. Черезъ нѣсколько минутъ въ темнотѣ замелькали двигающіеся огоньки, освѣщаая встревоженные фигуры искателей...

Заглядывали въ канавы, подъ каждый кустъ... слышались голоса, почему-то шепотомъ: «Здѣсь посвѣти... Сюда!.. Далеко не уйдетъ!.. Гдѣ уйтитъ... Можетъ лежить, въ безчувствіи... Можетъ померши уже... А ну-ка, это что?.. гдѣ... гдѣ?.. Ахъ ты чортъ... это куль съ ячменемъ... ишь куда засунули!..»

Прапорщикъ Ползунковъ прибѣжалъ тоже и съ нимъ еще нѣсколько офицеровъ. Комендантъ, на всякий случай, распорядился приготовить разѣзды изъ шести казаковъ и собраться сюда, да и его лошадь осѣдлать немедленно...

— Если здѣсь не найдемъ, то надоѣхать по дорогѣ къ Бешь-арыку... больше некуда! — сообщилъ свою догадку Василий Ивановичъ и тоже послалъ за своимъ «рыжкою».

Ночь выдалась, на этотъ разъ, крайне тревожная...

VII.

Давно уже погашены были фонари, освещавшие гостепримный приступ купца Миробая, давно уже, как сурки, сладко спали Мамунъ съ Алибеемъ, прижавшись другъ къ другу, подъ однимъ одѣяломъ, давно уже и самъ хозяинъ наслаждался полнымъ локоемъ въ своемъ комфортабельномъ логовищѣ, какъ неожиданно, сильный ударъ въ закрывавшія главный входъ доски, нарушили общее спокойствіе.

— Кого это чортъ несетъ въ такое позднее время?—первый проснулся Миробай и сталъ боязливо прислушиваться...

Ударъ повторился, значительно сильнѣе прежняго.

— Мамунъ! Алибей! Не слышите чтоли?!. спросите, что тамъ нужно? Кто ломится?—окликнулъ татаринъ. Да не отвѣрайте—спросите прежде!

— Кто тамъ?

— Что нужно?

Встрепенулись оба мальчика, тревожно высунувъ головы изъ подъ теплаго стеганаго одѣяла.

— Отворай!—послышался голосъ, словно какъ будто знакомый, но какой-то странный...

Тотъ, кто говорилъ, будто простональ свое требованіе.

— Хозяинъ!.. никакъ тюра Криницынъ!—отозвался Алибей.

— Павла Петровичъ... что такое?! Зажги огонь... Что такое, право?... зажигай скорѣе!... Это ты, Павла Петровичъ?..

— Я... отворай скорѣе!...—послышалось въ отвѣтъ.

Миробай торопливо, на свои, уже надѣтые два халата, на тянуль третій и появился въ лавкѣ. Мамунъ раздуль уже угля и чадилъ огаркомъ сальной свѣчки...

— Ты, Павла Петровичъ?—переспросилъ еще осторожный хозяинъ.

— Я... я... я... да отворай-же!..

— Сичасъ—сичасъ!.. Аллахъ-Аллахъ! Чтобы это значило?..

Мамунъ, отцѣпи крючекъ!

Послышался звукъ засова, затѣмъ щелкотня поочередно вынимаемыхъ изъ пазовъ досокъ; въ нагрѣтую атмосферу лавки хлынуль потокъ холоднаго ночныхъ воздуха... Миробай остолбенѣлъ, глаза закрылъ даже, и попятился...

Черезъ порогъ не перешель, а переползъ Криницынъ.

Онъ былъ въ одномъ бѣльѣ, въ грязи... Его глаза горѣли горячечнымъ блескомъ... Кровавый шрамъ тянулся ото лба— черезъ щеку наискосъ... наткнулся на что нибудь въ темнотѣ дорогою...

— Аллахъ—Аллахъ!—шепталъ, охваченный ужасомъ, Миробай.

Оба мальчика смотрѣли на неожиданного гостя своими громадными, черными, какъ у козлятъ, красивыми глазками...

— Тюра, что ты?.. что случилось?..—повторилъ хозяинъ.

— Что случилось?! ничего не случилось, — пробормоталъ Криницынъ...—Давай деньги... пора... время уже... неси сюда все... ну, скорѣе!..

— Сейчасъ!—отвѣталъ глухимъ голосомъ Миробай и вышелъ.—Мамунъ, чай варить скорѣе, для Павлы Петровича!..—донесся уже издалека его приказъ.

Криницынъ легъ на коверъ и машинально потянулъ на себя первое, что попалось подъ руку...

Ему было холодно... голова горѣла, а все тѣло его охвачено было лихорадочнымъ ознобомъ...

Мамунъ раздулъ уголья и зазвенѣлъ чайниками...

— Ты пѣшкомъ пришелъ, тюра?—любопытствовалъ Алибей.

Павель Петровичъ не отвѣталъ, только ближе пододвинулся къ тагану, ярко уже освѣщавшему всю внутренность чай-хане... Недалеко отъ огня виднѣлось мѣдное блюдо съ обрѣзками дыни, тутъ же лежалъ кривой ножъ, предпазначаемый именно для этой цѣли... чашка съ остывшимъ пловомъ, обглоданная тщательно нога барашка... По стѣнѣ тревожно бѣгали юркія сороканожки, захваченные свѣтомъ врасплохъ, прячущіяся въ щеляхъ штукатурки...

— Скажи же ты мнѣ, тюра, что такое случилось?—произнесъ Миробай, входя снова и покойно усаживаясь подлѣ Криницына.

Всезнающій, многомудрый хозяинъ чай-хане, видимо, уже овладѣлъ собою, кое что сообразилъ и теперь пристально, пытливо глядѣлъ прямо въ глаза гостю.

— Деньги принесъ?

Криницынъ протянулъ руки.

— Денегъ тебѣ нужно?—покойно спросилъ въ свою очередь Миробай.—Я дамъ тебѣ денегъ... Я никогда не откажу

другу въ такой просьбѣ... Воть у меня теперь есть три золотыхъ... бумажками рублей на восемь найдется... Довольно съ тебя?

— Тѣ деньги неси... тѣ... слышишь? Бери себѣ свою четвертую долю... неси остальныя...

Павелъ Петровичъ бросилъ съ себя войлокъ и приподнялся...

— Какія?—спокойно передернувъ плечами спросилъ Миробай...

— А!..—застоналъ Павелъ Петровичъ...

И прежде чѣмъ хозяинъ успѣлъ приготовиться, успѣлъ понять движеніе своего гостя, Криницынъ схватилъ ножъ и ринулся на татарина.

Ударъ пришелся неловко, лезвіе ножа, направленное слабою рукою нападавшаго, запуталось въ безчисленныхъ складкахъ халатовъ. Миробай вскочилъ, бросился, къ дверямъ и во все горло закричалъ: «карауль!..»

Въ эту минуту подъ сводами базара замелькали огни и послышался топотъ коньтъ... Цѣлая кавалькада всадниковъ наполнила узкій проѣздъ между лавками, изъ-за поворота появились еще косматыя конскія головы.

Два казака впереди освѣщали дорогу фонарями, за ними отчетливо выдѣлялись фигуры коменданта и Василія Ивановича, сзади краснѣлись малиновые окольши уральцевъ и искрились концы винтовокъ у нихъ за плечами...

— Что такое?—громко окликнулъ Семенъ Семенычъ.

— Не знаю... ничего не знаю... — скороговоркою, задыхась отъ страха, затараторилъ Миробай...—Тюра Криницынъ здѣсь... Онъ пришелъ... я его не звалъ... Я ничего не знаю... Откуда мнѣ знать!.. Я торгую часомъ, это самъ губернаторъ знаетъ... я честный купецъ... заслуженный... у меня медаль... Мамунъ неси скорѣе мою медаль... Большую медаль—главную самую... она тамъ, на зеленомъ халатѣ... неси скорѣе... Видишь, самъ господинъ полковникъ посмотрѣть хочетъ...

Но ни Мамунъ, ни Алибай не откликнулись на зовъ своего хозяина. Они, какъ крысы, забились, гдѣ то по темнымъ угламъ и затаили духъ.

Миробай, согнувшись въ три погибели, кинулся къ стрѣмени коменданта и чуть не на рукахъ снялъ его съ сѣда.

Шелобовъ давпо уже слѣзъ, и первый вошелъ въ лавку.

— Здѣсь!—произнесъ онъ обернувшись и пропустивъ въ двери коменданта.

Павель Петровичъ лежалъ на лѣвомъ боку, почти ничкомъ.

Василій Ивановичъ подхватилъ лежащаго подъ мышки и приподнялъ. О плиты пола зазвенѣлъ выпавшій откуда-то ножъ... Подъ тѣломъ Криницына разлилась громадная кровавая лужа.

— Самъ зарѣзался...—поторопился трепеща съ оправданіемъ Мирбай...

— Протоколъ!—торжественнымъ тономъ произнесъ Семенъ Семеновичъ и снялъ шапку...

---

Составили протоколъ. Мирбая арестовали, усадили на лошадь и отправили подъ конвоемъ въ фортовой казематъ, до выясненія дѣла, мальчиковъ разыскали и арестовали тоже. Къ гаремной сакѣ, гдѣ выли, обезумѣвшія отъ ужаса, ничего не понимающія жены хозяина, приставили часового; ко входу въ лавку, со стороны улицы,—тоже. Шелобовъ сообщилъ, что позади двора изъ сада есть еще калитка; калитку эту нашли и тоже поставили казака, съ обнаженною шашкою.

Семенъ Семеновичъ здѣсь же составилъ донесеніе къ высшему начальству и тотчасъ же это донесеніе отправлено было съ нарочнымъ джигитомъ въ городъ. Шелобовъ написалъ нѣсколько словъ Глухареву, приглашая его, если можно, пріѣхать въ Бешъ-арыкъ съ разсвѣтомъ. Все остальное отложили до утра; дожидаться же этого утра порѣшили здѣсь же, на мѣстѣ загадочнаго происшествія.

---

Иванъ Акимовичъ бережно донесъ Надю до дома. На порогъ встрѣтилъ его Силантий. Глухаревъ хотѣль было накинуться на старика съ упреками: «ты-же какъ прозѣвалъ, старый чортъ!..» Началь было онъ, но замѣтилъ убитый видъ стараго инвалида—и замолчалъ.

Раздѣли Надю, уложили въ постель. Анисья хлопотала особенно усердно, ежась подъ вліяніемъ гнѣвнаго взгляда Ивана Акимовича.

Обморокъ Нади держался упорно. Бѣдная дѣвушка не обнаруживала никакихъ признаковъ жизни.

— Уже не конецъ ли это? — задавалъ себѣ вопросъ Глухаревъ и его сердце болѣзненно сжималось... рыданія подстутили къ горлу, старый солдатъ крѣпился какъ могъ и не спускалъ руки съ груди Нади... Онъ все ждалъ первыхъ признавковъ пробуждающагося сердцебиенія.

Побѣжалъ Силаній за докторомъ, вернулся ни съ чѣмъ. Докторъ, вишь ты, поскакалъ, говорять, въ Бешъ-арыкъ, за комендантомъ.

— Анафема! — проворчалъ Иванъ Акимовичъ.

Прошелъ часъ, прошелъ другой... Мирный бой часовъ съ кукушкою уныло раздавался по горкинскимъ комнатамъ.

— За Аделаидою Францовною послать бы? — робко осмѣлилась вымолвить слова Анисья.

Иванъ Акимовичъ подумалъ, посмотрѣлъ на Надю вздохнулъ и произнесъ:

— Пошли.

Побѣжалъ за акушеркою Силантій, — вернулся съ отказомъ, говоритъ: «ни за что не пойду... Еще убить меня этотъ медведь необразованный...»

Дѣйствительно, если бы Аделаида Францовна появилась въ эту минуту, послѣ своего отказа, такъ бы и случилось.

Получили записку Шелобова. Тигровой охотникъ писалъ:

«Другъ Вана!

Этотъ зарѣзался... Чортъ съ нимъ! Сообщи, что Надя? Если можешь, прїѣзжай... Ну, и дѣла же!

Шелобовъ».

Внимательно прочелъ Иванъ Акимовичъ эту записку и, молча, передалъ ее Силантію. Тотъ вооружился большими очками и сталъ разбирать, водя по строчкамъ дрожащимъ пальцемъ.

Разобралъ и набожно перекрестился... Иванъ Акимовичъ счелъ нужнымъ послѣдовать его примѣру...

Надя въ первый разъ вздохнула только съ разсвѣтомъ и ея закрытыя вѣки слегка дрогнули...

Глухаревъ торопливо вышелъ въ другую комнату и расплакался.

IX.

Снова въ Глухомъ фотръ появился губернаторскій слѣдователь. На этотъ разъ только другой, не Анатолій Робертовичъ. Снова пошли безконечные допросы и передопросы. У Миробая перерыли все верхъ дномъ. Дворъ сакли и садъ были перекопаны вдоль и поперегъ, мѣстами даже стѣны выломаны. Уликъ въ запрещенной торговлѣ опіумовъ раскурочно нашли вволю, но больше ничего... Хитрый татаринъ упорно держался на ничего невѣдѣніи и непониманіи. Мамунъ и Алибей несли такую чепуху, изъ которой, буквально, ничего нельзя было извлечь для дѣла.

Отецъ Павель наотрѣзъ отказался предать тѣло Криницына христіанскому погребенію: «аки атеиста отмѣнного и самоуїцы окаянного».

Комендантъ снесся по этому поводу съ начальствомъ и изъ города, отъ самого владыки, получено было «разрѣшеніе», несогласное съ воззрѣніями фортуго батюшки.

Ночное похожденіе Нади дало обильную пищу злымъ языкамъ. Оно было истолковано самымъ дурнымъ образомъ для бѣдной дѣвушки. Только Груня, одна изо всѣхъ дамъ Глухого форта, шла въ разрѣзъ съ общими толками и даже переселилась совсѣмъ къ Надѣ, взявшъ и ее, и все ея хозяйство на свое попеченіе.

Наступила поздняя осень, дождливая, несносная, прерываемая изрѣдка морозами и даже чѣмъ то похожимъ на снѣгъ. Это явленіе—въ нашей сторонѣ большая рѣдкость.

---

Въ горкинскомъ домѣ около постели Нади тѣснымъ кружкомъ группировалась дружеская компания. Это сдѣгалось какъ то само собою, постепенно.

Сначала старикъ Глухаревъ провелъ нѣсколько ночей подрядъ, дремля въ креслахъ, въ сосѣдней отъ спальней комнатѣ. Мало-ли что можетъ случиться ночью, Надя была очень плоха, докторъ, вишь ты, сказалъ, что съ такою нервною горячкою шутки плохи, и надо стеречь ходъ болѣзни, что называется, въ оба. Затѣмъ старикъ, позамаявшись порядкомъ, изъ кресла перебрался на диванчикъ.

— Чѣмъ валяться по диванамъ, лучше я велю тебѣ койку твою перенести...—замѣтилъ разъ Шелобовъ, и распорядился ..

Самъ Василій Ивановичъ заглядывалъ каждый день раза по три, потомъ зачастилъ... потомъ, случайно, переночевалъ тоже въ залѣ, на стульяхъ. Ливень очень большой разыгрался на дворѣ—охота тоже мокнуть!.. Спалъ онъ крѣпко, на неудобномъ ложѣ... а все-таки рѣшилъ, что на диванѣ удобнѣе... Пришелъ разъ какъ-то вечеркомъ и подушку съ собой принесъ, такъ и не относилъ ее обратно...

Павлуша вернулся изъ командировки недѣлю спустя послѣ катастрофы. Тотъ долго къ Надѣ на глаза не показывался... Надя-бы и не узнала его... Она, почему-то, только Шелобова узнавала, да и то не открывая глазъ, инстинктивно...

Молодой человѣкъ былъ сильно огорченъ всѣмъ случившимся... У него даже хватило такта не высказать своего удовольствія по поводу смерти «заклятаго врага», а удовольствіе это онъ ощущалъ безмѣрное. Его болѣе всего смущали невыгодные толки по поводу посѣщенія Надею Криницынской квартиры... онъ даже отцу высказался такъ:

— Э-эхъ!.. Вѣдь она, говорять, у него не первый разъ такъ-то?..

— Дуракъ!—обрѣзалъ его Иванъ Акимовичъ и цѣлый день не говорилъ съ сыномъ больше ни слова.

Не понялъ Павлуши, какъ надо объяснить себѣ выходку отца, и остался, на этотъ разъ, со своимъ мучительнымъ сомнѣніемъ.

Попробовалъ онъ къ Василію Ивановичу обратиться. Тотъ посмотрѣлъ на него пристально.

— Да тебѣ-то какое дѣло?

— Какъ какое?!—озадачился Павлуша.

Вместо отвѣта, Шелобовъ взялъ Павлушу за талію и вывелъ въ залъ. Тамъ они стали ходить изъ угла въ уголь. Павлуша слушалъ, а Василій Ивановичъ говорилъ.

— Эхъ, Пашка-Пашка, ты, братъ, ей же Богу, въ ру-  
башкѣ родился. Ну, поздравляю отъ души!.. что у тебя за женка будетъ, такъ это я тебѣ скажу...

Но Шелобовъ должно быть не сумѣлъ подобрать подходящаго сравненія, только пальцами прищелкнулъ очень выразительно.

— Экая душа... экая право душа... золото—не девушка, а, тебе совсѣмъ подъ пару... Любить тебя какъ, души не чаешь... да не то чтобы какъ-нибудь, а съ толкомъ, съ разумомъ... это вѣдь на вѣкъ...

— То есть какже это?—недоумѣвалъ Павлуша...

Но въ эту минуту Груня выглянула въ дверяхъ.

— Павелъ Ивановичъ, идите завтракать... я вамъ личнице приготовила...

Она ему уже больше «ты» не говорила, и всякий разъ даже поправляла его, когда тотъ, по старой привычкѣ, обращался къ ней попрежнему, запросто.

Выглянула Груня, красивая, кроткая, улыбающаяся, глазинки такъ и играли... платокъ клѣтчатый соскользнулъ съ плечъ... а плеча такія круглые и шейка видна немножко, бѣлая какъ снѣгъ, а на шейкѣ ниточка голубыхъ бусъ, черною бархаткою подвязана...

Толкнулъ къ ней Павлушу Шелобовъ.

— Иди, — говоритъ, — ъшь личнице, да благодари Господа... Что, развѣ неправду я говорилъ тебѣ, найди-ка поди что лучше.

Пошелъ завтракать Павлуша, а все-таки понялъ не сразу въ чемъ дѣло.

Иванъ Акимовичъ былъ, надо полагать, посообразительный. Опять уже не разъ заговаривалъ съ Шелобовымъ на эту тему.

— Понимаю я, — говорилъ стариkъ Глухаревъ. — Это я хорошо, даже очень хорошо понимаю... онъ ей не пара... я не могу это тебѣ ясно выразить почему, но чувствую... Признаюсь, прежде думалъ не такъ, но теперь чувствую... Ты, можетъ быть, думаешь, что я, какъ отецъ, больше о сынѣ старался.

— Нѣть, не думаю!—вставилъ Василій Ивановичъ.

— Тоже... Я больше потому, что вѣдь надо же девочку было какъ слѣдуетъ пристроить... Чего-же, думалъ лучше! Малый честный, молодой, не совсѣмъ дуракъ... съ положениемъ тоже... чего-же ждать и искать лучшаго... Опять же влюбленъ... взаимное счастье и прочее... Ну, ты вѣдь меня понимаешь?

Понимаю.

— Ну, а теперь я и самъ ничего понять не могу... Вотъ, можетъ, дастъ Богъ, пронесетъ бѣду... вотъ тогда, можетъ быть, перемѣнится къ лучшему. Побояться Пашку Надя, готово дѣло! Нѣть, я и слова не скажу...

— Будемъ глядѣть! — улыбнулся Шелобовъ... — Вчера вотъ я не сплю — слышу, и они шу-шу-шу... шепоткомъ такъ, шепоткомъ... Ты, Ваня, поглядывай!

— Кто, кто они?

— Да Паша съ Грунею... Да, забылъ было, Силантий говорилъ мнѣ, что дрова на исходѣ... Ты распорядился?

---

Наступилъ переломъ болѣзни. Кризисъ миновалъ счастливо, это случилось такимъ образомъ.

Была ночь. Иванъ Акимовичъ давно уже спалъ. Павлуша, котораго особенно часто въ спальни Нади не пускали, ушелъ спать домой, и у постели больной оставались Шелобовъ съ Грунею.

Груня сидѣла въ уголкѣ, около свѣчки, закрытой зеленымъ абажуромъ, и что-то чинила; Шелобовъ на креслѣ, у ногъ больной, и не спускалъ глазъ съ блѣднаго лица Нади... Онъ пристально всматривался въ ея исхудалыя черты, и первый замѣтилъ какъ открылись медленно ея глаза и пытливо посмотрѣли вокругъ. Теперь уже ничего не было лихорадочнаго въ этомъ ясномъ взорѣ.

— А лѣса у насть, — началъ Шелобовъ ровнымъ, покойнымъ голосомъ. — Дремучіе, зелени что лѣтомъ, цвѣтовъ... запахъ какой чудный... то смолою, то ягодою спѣлою... на лужайкахъ, гдѣ изумрудомъ горитъ, а въ глухи, темень стоитъ, прохладная... Тишина такая вокругъ, спокойствіе... и слышно какъ всякая мелкая пичужка свою пѣсенку чиликаетъ... Сидиши, бывало, съ ружьемъ, подъ дубомъ, и не шелохнешься, такъ бы и просидѣть весь вѣкъ, слушалъ бы все, да слушалъ... Ручеекъ, это, бурлитъ; въ травѣ шелестить что-то... Козочка дикая, черноглазая, кошытцами, этакъ, тукъ-тукъ... Меня не видѣть, а я ее вижу... Вѣтеръ чуть колыхнетъ вершинами; заговоритъ лѣсь инымъ голосомъ... А соловьи по веснѣ, тамъ, въ трущобѣ, за оврагами... Тамъ все кусты пойдутъ, непролазные; такъ больше въ кустахъ... Щелкунецъ ра-

зокъ, другой, смолкнетъ, присвистнетъ, да какъ закатится трелью... тс...

Василій Ивановичъ сталъ все тише говорить, да тише... смолкъ, прислушался еще—и къ Грунѣ обернулся...

— Заснула опять... слава тебѣ Господи!

— Что это, слушаю я,—прошептала Груня.

Она подошла сзади и стояла за кресломъ разсказчика.

— Что это вы ей Василій Ивановичъ про лѣса свои вздумали рассказывать?

— А то что же ей говорить?.. Про это, что случилось, что ли?

Попяла Груня тутъ въ чемъ дѣло... сама догадалась почему надо было въ первое же мгновеніе сознанія отвлечь его отъ роковыхъ вопросовъ, въ здоровый, покойный сонъ перевести мучительныя, безсознательныя грезы.

— И гдѣ это вы научились такъ-то?—спросила она и улыбнулась.

— Въ кадетскомъ корпусѣ, голубушка, въ кадетскомъ...—увдовлетворилъ ея любопытство Василій Ивановичъ.

Вообще Груня очень тонко понимала Шелобова, словно между ними двумя, само собою, безъ всякихъ предварительныхъ совѣшаній, установился полный, согласный во всемъ, планъ дѣйствий и взаимной самопомощи.

— Вотъ бы тебѣ жениться!—догадался таки Иванъ Акимовичъ.

— На комъ?—отвѣтилъ Шелобовъ.

— Еще спрашиваетъ на комъ? Конечно, на Грунѣ.

— А Паша мнѣ другъ, или нѣтъ?

— Другъ!

— Ну, то-то! Стану я у друга такую невѣсту перебивать!..

Шелобовъ разсмѣялся... Иванъ Акимовичъ задумался... А время все шло да шло и неумолимо дѣлало свое нехитрое дѣло.

## X.

Не стану разсказывать какъ шло дѣло. Происходить другія вещи и гораздо сложнѣе, и запутаннѣе,—здѣсь все это просто и ясно. Мало-по-малу, Надя узнавала все, что случилось. Узнавала толково толково и принималось все ея

сердцемъ. Вѣдь ей, кромѣ Шелобова, никто не брался ничего ни пояснить, ни разсказать. Полюбила ли она Василія Ивановича, или нѣтъ,—она и сама путемъ не знала. Если и полюбила, то совсѣмъ не такъ, какъ Криницына, не такъ, какъ ее въ институтѣ учили, но чувствовала, что, когда Шелобовъ при ней, ей тепло, уютно и уже вовсе не страшно, ни за настоящее, ни за будущее... Нѣтъ Шелобова, она ждетъ терпѣливо, когда тотъ вернется, и тоже, ни за себя, ни за него ничего не боится! Груню, ту Надя полюбила такъ, какъ и сестра сестру не всякая любить, поясь даже отцу Павлу приналась вышивать, только не дошила почему-то. Даже и Павлушу Надя полюбила, и теперь находила его совсѣмъ красавцемъ; тотъ ее все на рукахъ носилъ, потому что у Нади еще ножки очень слабы были, а у того руки здоровенныя...

Въ такихъ случаяхъ Груня не ревновала никаколько, да ей и некогда было: У Ивана Акимовича она нашла въ хозяйствѣ, въ туалетѣ особенно, такие невозможные беспорядки и упущения, что исправленіе всего этого заняло чуть не все время отъ Рождества до Пасхи.

Иванъ Акимовичъ на цѣлую недѣлю, это какъ разъ на Страстной было, въ городъ уѣхалъ, тамъ обратился къ женѣ suoего пріятеля одного, и съ нею цѣлые дни по лавкамъ тоскался. Чего-чего не закупилъ для себя и сына, а главное для Груни... Кольца тоже заказалъ тамъ, и имена велѣль вырѣзать, а числа помѣтить такія, чтобы какъ разъ на красную горку выходило!..

— И ты бы въ одинъ, вмѣстѣ! — говорилъ онъ Василію Ивановичу, вернувшись...

— Нельзя!.. — отвѣчалъ Шелобовъ. — У меня матушка жива... Хуторишко есть тамъ, подъ Омскомъ... Мы вотъ туда пойдемъ, представимся, да и къ отцу протопопу, если живъ только старикъ...

— Это гдѣ «лѣса такие дремууучие!..» — полюбопытствовала Надя.

— Въ самомъ томъ мѣстѣ! — улыбаясь, цѣловалъ ея лобикъ Василій Ивановичъ...

И всѣ были очень счастливы.

---

## Э П И Л О Г Ъ.

Прошло лѣтъ девять... Да, ровно даже девять... я это отлично помню. Въ этомъ году снаряжена была большая научная экспедиція, для самаго всесторонняго изслѣдованія верховьевъ рѣки Аму. Чуть не цѣлый годъ тогда мы шатались по горамъ и долинамъ, заходили въ такія мѣста, гдѣ до нась не только европейской ноги, а никакой человѣческой не было... Изучили и изслѣдовали все какъ слѣдуетъ, пора была и домой возвращаться.

Вотъ обратною-то дорогою посѣтилъ я глухой фортъ... Ничего, слава Богу, все стоитъ на томъ же самомъ мѣстѣ, только Иванъ Акимовичъ уже не служить больше, устарѣлъ очень, бѣлый какъ лунь сталъ, самъ не ходить, а его подъ руки водятъ, и начальства своего прямого въ грошъ не ставить. Удивительный сталъ либералъ!.. Можетъ быть потому, что начальство у него немножко пристрастное... Комендантомъ форта теперь вѣдь Павель Ивановичъ Глухаревъ, маіоръ и кавалеръ, а комендантиша такая, что и въ главномъ штабѣ глубокое уваженіе чувствуютъ... Я у нихъ трое сутокъ прожилъ и Груня, виноватъ, мадамъ Глухарева, прощаюсь, говорила мнѣ:

— Вы вѣдь, я знаю, тамъ все описываете, романы да повѣсти разныя сочиняете... Вы ужъ не компрометируйте меня передъ публикою, не говорите, что у меня уже шестеро... Пожжалуйста...

Я ей обѣщалъ, и видите, я промолчалъ объ этомъ обстоятельствѣ...

Узнали Глухаревы, что я на Омскъ поѣду, западно-сибирскимъ болѣшимъ трактомъ, сейчасъ письмами и порученіями завалили. Письма бы еще ничего, а вотъ порученія... Думалъ было

на-легкѣ, на парочкѣ прокатиться, а пришлось припрягать третью... Шутка ли! Какъ вытащили мнѣ боченковъ разныхъ, да кулечковъ, да яичковъ... Впрочемъ, ничего! Тарантасъ у меня казанской работы, крѣпкій и накатистый, выдержалъ дорогу, все довезъ, ничего не попортилось.

Нашелъ я Шелобовыхъ въ добромъ здоровьѣ... У нихъ всего только трое, но ребята отмѣнныe, особенно старшій мальчишка, Павлушко почему-то назвали...

Надежда Федоровна похорошѣла, потолстѣла, только немного... Шелобовъ говоритъ, что это ничего, ей къ лицу...

Самъ онъ давно бросилъ службу, хоziйничаетъ, охотится.

Конецъ.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
Н. Н. КАРАЗИНА.

---

# ДУНАЙ ВЪ ОГНѢ.

---

Дневникъ корреспондента.

---

Въ 2-хъ частяхъ.

---

---



С.-ПЕТЕРБУРГъ.

ИЗДАНИЕ П. П. Сойкина.

КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ  
Стремянная, 12, соб. домъ.



КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ  
Невскій, 96, уг. Надежн.

ДОЗВОЛЕННО ЦЕНЗУРОЮ. С.-ПЕТЕРВУРГЪ, 25 СЕНТЯБРЯ 1905 Г.

ТИПОГРАФИЯ П. И. СОЙКИНА, СПБ., СПРЕМЬЯНАН, № 12.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ,

---

ВЪ ЖЕЛАННЫЕ КРАЯ.



## I.

— Ну, народу! — раздалось изъ-за колоссального медвѣжьяго воротника, загородившаго миѣ дорогу у входа въ вокзалъ.

— Пробѣзжающихъ много, а впрочемъ и ѿдущихъ тоже достаточно, — проговорила лисъя шуба, съ узломъ и двумя кулями.

— Потому — дѣло къ празднику. Господа, извольте проходить... не загораживайте дорогу. Ваше степенство, пожалуйте.

— Oh, mon Dieu, mon Dieu!.. Неужели все это съ нами пойдетъ! — не то поеть, не то стонетъ что-то грунное, ярко-блѣтчатое съ голубинымъ крыльишкомъ на шляпкѣ.

Все не все, но вагоны будуть набиты биткомъ, и на нѣ-который комфорть простора кажется разсчитывать нечего. Дѣй-ствительно, дѣло къ празднику. Въ громадной, сводчатой аван-залѣ стоить какой-то мракъ и туманъ, въ этомъ туманѣ дви-жется и волнуется сплошная толпа, газовые рожки чуть мель-каюгъ, шлепанье калошъ по плитному полу заглушаетъ громкіе возгласы пріемщиковъ багажа. А багажа-то этого — горы! цѣлые кряжи горные выросли на широкомъ прилавкѣ и около, весь полъ заваленъ грудами чемодановъ, сундуковъ, корзинъ, узловъ и проч., и проч. У кассы безконечно длинный хвостъ. Лицо кассира, освѣщенное зеленою лампочкою, смотрить суро, оз-боченно, сосредоточенно. Уже четвертый разъ слышу я его отчетливую, громкую, хотя весьма неутѣшительную фразу: «Би-леты въ спальныя вагоны уже всѣ разобраны. Въ спальныя вагоны билетовъ нѣть...»

— Да помилуйте, чуть не за часть до отхода пришелъ. Это чертъ знаетъ что такое!

— Билетовъ въ спальныя вагоны больше нѣть!

Что дѣлать? я слышалъ эту фразу, когда еще входилъ въ вокзалъ, слышу и въ данную минуту. Самое главное удобство курьерского поѣзда парализовано, сведено на нуль. Досадно! дѣйствительно же досадно—человѣкъ за день усталъ, за ночь разсчитываетъ хорошенько выспаться дорогою, и свѣжимъ, бодрымъ явится завтра въ Москву... а теперь въ перспективѣ, вмѣсто отдыха, новое утомленіе... сиди, значитъ, всю ночь, безконечную, *вагонную ночь*, въ самомъ неудобномъ положеніи, беспокоемый сосѣдями и самъ ихъ беспокоющій, осязающій со всѣхъ сторонъ острые углы сакъ-вояжей, картонокъ и разныхъ дорожностей. Отчего это такъ наши соотечественники не любятъ отдавать свои вещи въ багажный вагонъ? Они рѣшаются сдать туда только то, что уже положительно нельзя протащить въ двери пассажирскаго вагона. Не думаю, чтобы здѣсь играла роль только пустая разсчетливость, это вѣдь такъ несовмѣстимо съ широкой тароватой натурой русскаго человѣка.

— А вы изволилиѣзжать по прежнимъ шоссейнымъ трактамъ въ ямскихъ тарантасахъ? — обратился ко мнѣ сосѣдъ, бывшій помѣщикъ изъ-подъ Твери.

— Їзжалъ не разъ.

— Вотъ это все одно какъ и тогда: толкунеть тарантасъ гдѣ-нибудь, качнеть что-ли въ сторону, сейчасъ тебя картонкою со шляпкою по носу, кулькомъ какимъ-нибудь въ бокъ, ящикомъ въ колѣно, а то и сверху что-нибудь свалится. Попскрипываетъ, повизгиваетъ, побрякиваетъ. Сначала, словно, неудобно немного, а потомъ ничего—привыкаешь. Даже иногда прелестъ эдакую, нѣкоторую чувствуешь, поэзію, такъ сказать, дорожную.

Поѣздъ двинулъся. Всѣ мѣста въ вагонѣ заняты, тѣсно и неудобно въ высшей степени. Кажется даже, что число пассажировъ значительно превышаетъ число мѣстъ въ вагонѣ, но это только кажется. Недаромъ, чей-то голосъ, въ самомъ дальнемъ углу, заявляетъ, что все это только «пока, а тамъ по-обомнутся, пораздѣнутся и будетъ какъ разъ въ аккуратъ». Дѣйствительно, со слѣдующей же станціи стало похоже что-то на этотъ «аккуратъ». Даже дышать стало какъ будто полегче.

Новое открытие. Оказалось, что вагонъ, въ который насыпомѣстили, имѣетъ всѣ спальные приспособленія: и поднимаю-

щіяся спинки, образуючія верхніе ярусы коекъ и нижня сидіння, сдвигающіяся вмѣстѣ—однимъ словомъ все, что слѣдуетъ.

— Господа, да мы можемъ превосходно спать.

— А развѣ можно?

— Можно. Вотъ видите-ли: это поднять, на крюкъ зацѣпить...

— Нѣть, я не къ тому, а дозволять-ли.

— Почему не дозволять? мы даже имѣемъ полное право.

— Эхъ, какъ бы не забранили.

— Вздоръ! Да вотъ спросимъ кондуктора.

Кондукторъ, просѣкая звѣздообразныя дырочки на билетахъ, отвѣтствуетъ на отрѣзъ: нельзя!

— Позвольте... я юристъ... я это сейчасъ!..—выступаетъ на сцену щеголеватое пальто съ бобромъ. — Господа, вы меня уполномочиваете?

— Вали! — громогласно соглашается купецъ, тотъ самый, что опасался: «какъ бы не забранили».

— Г-иъ кондукторъ, мы воспользуемся спальными приспособленіями!—приступаетъ къ дѣлу юристъ.

— Нельзя-сь!..—еще разъ заявляетъ господинъ кондукторъ.—На то есть спальные вагоны, ихъ два и тамъ комплектъ, а это обыкновенный.

— Нѣть, такой же спальный, вы видите, а не обыкновенный.

— Тамъ приплачивается два рубля, а здѣсь нѣть.

— Мы тоже приплатимъ. Извольте получить.

— Этого мы не можемъ. Спальные вагоны совсѣмъ сторонней компаніи. Они и получаютъ. Это же дѣло до насъ не касается.

— Да вѣдь это безсмыслица, вы поймите: вагонъ имѣть спальные приспособленія, а мы не можемъ ими пользоваться. Въ комплектныхъ вагонахъ всѣ мѣста заняты, мы не отказываемся платить и здѣсь, такъ сказать, въ некомплектномъ.

— Да кому же вы будете платить?

— Вамъ.

— Это не наше дѣло.

— Наконецъ, тому артельщику, что при комплектныхъ.

— Онь права не имѣеть. По условію только два вагона на поїздъ полагается.

— Ну, а если...

Юристъ понижаетъ голосъ и переговоры идутъ уже нѣсколько конфиденціальнѣй. Слышна фраза кондуктора: «мы за это только не отвѣчаемъ».

— Да за что?

— Ежели что случится.

— Да что такое можетъ случиться?

— Мало ли что...

А между тѣмъ пассажиры уже дѣлали свое дѣло: койки устраивались довольно даже удобно; нѣкоторые даже и вытянулись на нихъ во весь ростъ. Пользъ и купецъ, не снимая съ себя лисьей шубы и еще разъ не то вздыхая, не то зѣбнувъ, протянулъ свое: «эхъ, какъ бы не забрали...» Начальство, въ лицѣ кондуктора, отчаянно махнуло рукою и поспѣшило дальше.

— Почемъ съ персоны? — освѣдомился кто-то у юриста, пробиравшагося мимо на свое мѣсто.

Проходить ночь и проходить довольно покойно, еслиъ только не эта компанія юнцовъ, двухъ пажей, одного лицеиста и одного гвардейскаго подпрапорщика, занявшаясосѣднее купѣ и всю ночь напѣвавшая мотивы Оффенбаха, наслаждаясь своими воспоминаніями Буффа и Берга, и несносный сосѣдъ, тверской помѣщикъ, выходившій изъ вагона на каждой буфетной станціи и по возвращеніи на мѣсто громогласно заявлявшій, чѣмъ онъ изволилъ подкрѣплять свои силы. И всю-то ночь слышались мнѣ сбоку умыщенно-картавыя, фальшивыя нотки привилегированныхъ юнцовъ и громогласное: «А я таки-того... ломоть осетрины съ хрѣномъ отработалъ».

---

Зима стоять снѣжная и метелями весьма обильная. Только и слышно кругомъ: на такой-то станціи замело поѣздъ — и простоялъ этотъ поѣздъ часовъ шесть, а то и больше; тамъ вонъ тоже образовались снѣжные заносы и совсѣмъ сообщеніе прекратилось. На одной изъ дорогъ, кажется на рижско-вяземской, поѣздъ простоялъ двое сутокъ. Съ чувствомъ невольнаго беспокойства и сомнѣнія подѣлѣжаешь къ вокзалу — и думается: вотъ и на твою долю выпадеть подобное же удовольствіе. Мнѣ даже сорѣтывали въ Москвѣ не выѣжжать безъ хорошаго сѣйстнаго и питейнаго запаса: мало-ли, молъ, что

можетъ случиться. А тутъ, какъ на бѣду, въ самый день отъѣзда моего изъ Москвы по курской дорогѣ поднялась сильная метель, дававшая себя чувствовать даже на городскихъ улицахъ, защищенныхъ домами. Что же должно было дѣлаться въ открытомъ полѣ!

Болѣе всего опасались за промежутокъ между Тулою и Орломъ; здѣсь, на совершенно открытой мѣстности, болѣе всего свирѣпствуютъ снѣжныя метели, такъ называемыя «понизи» или «поземки». Кромѣ того, здѣсь часто встрѣчаются длинныя выемки, танцующія иногда на три и четыре версты. Такія выемки, узкія и довольно глубокія, при снѣжномъ заносѣ представляютъ препятствія почти непреодолимыя. Случается, что въ два-три часа непрерывной метели — подобныя выемки вплоть до краевъ заносятся снѣгомъ, и тогда требуются тысячи рукъ и многіе часы времени, чтобы привести снова въ порядокъ дорогу. А если при этомъ еще господствуетъ полная небрежность со стороны правленія желѣзной дороги — явленіе, всосавшееся въ плоть и въ кровь всѣхъ россійскихъ желѣзнодорожныхъ правленій — и полнѣйшее отсутствіе мѣръ къ устраниенію и предупрежденію подобныхъ случайностей, — то можно себѣ представить, чѣмъ рискуютъ ни въ чемъ неповинные путешественники. Я говорю: полное отсутствіе мѣръ, потому что мѣры, въ дѣйствительности принимаемыя желѣзнодорожными правленіями, поражаютъ только своею крайнею нелѣпостью, чтобы не сказать болѣе.

Напримѣръ, плуговъ-локомотивовъ для разгребанія снѣга нѣть вовсе, а если гдѣ и есть таковые, то по одному на сто verstъ, а то и менѣе. Употребляютъ эти плуги не какъ предупрежденіе заноса, т. е. чтобы подобный плугъ двигался безпрестанно во время метелей, не допуская запосу лѣчъ толстымъ слоемъ. Нѣть, этотъ приборъ употребляютъ тогда только, когда заносѣ уже образовался и никакой плугъ не въ состояніи ничего подѣлать. Приходится прибѣгать тогда къ рабочимъ рукамъ, а этихъ рукъ требуется много. Плата поденная 30 коп. представляетъ мало соблазнительного и достать такихъ дешевыхъ работниковъ трудно, особенно въ скоромъ времени и пужномъ числѣ. Попробовали разъ пообѣщать по рублю на человѣка, а потомъ напомнили имъ, что обѣщать и исполнить обѣщаніе не одно и тоже, и разсчитали ихъ по 30 коп. Удалось

это, положимъ, разъ, но за то потомъ и вовсе нельзя было найти рабочихъ, ни за какія обѣщанія.

Для того, чтобы удерживать заносы протягиваютъ по сторонамъ полотна дороги, въ нѣкоторомъ отъ нея разстояніи досчатые щиты—заборы. Это стоитъ Богъ знаетъ какъ дорого, особенно, если принять въ разсчетъ, что такие заборы возобновляются ежегодно и вдобавокъ тоже почти не приносить никакой пользы, потому что порывы вѣтра валить легкіе досчатые щиты, переносить черезъ нихъ массу снѣга и заваливать сугробами ничѣмъ уже незащищенное полотно дороги.

А между тѣмъ дѣло такъ просто: стоять только разъ затратить сумму и посадить по сторонамъ дороги непрерывный рядъ молодыхъ елокъ, которыя чрезвычайно легко принимаются, и въ два-три года образуютъ непроницаемыя сплошныя стѣны, несокрушимыя никакими вѣтрами и непогодами. Тамъ, гдѣ по климатическимъ и другимъ какимъ причинамъ не можетъ рости ель,—есть другие виды растительности, не менѣе пригодные для образования живыхъ изгородей. Мой сосѣдъ въ вагонѣ, уже теперь не тверской помѣщикъ, а курскій, сообщилъ мнѣ, что онъ уже не разъ дѣлалъ разсчеты и заявлялъ желѣзно-дорожному правленію о готовности взять на себя посадку елокъ. По его разсчетамъ оказывалось, что эта посадка обошлась бы дешевле того, что въ три года тратится на возобновленіе досчатыхъ щитовъ-заборовъ.

— И никакого проку изъ того не будетъ! — вмѣшался тутъ другой сосѣдъ, тоже курскій помѣщикъ, да еще предсѣдатель какой-то земской управы.

— Почему же это такъ?—не безъ язвительности спросилъ его первый.

— А потому-что, что ни посади,—все подлецы вырубятъ. Вѣрите ли,—обратился онъ ко мнѣ со вздохомъ,—что наши помѣщички лѣса, сады даже, повырубали, у самаго дома, подъ самымъ, такъ сказать, носомъ. Да что сады! Екатерининскія аллеи, изволите знать, что покойная императрица по всемъ большинству дорогамъ понасадила. Вѣковыя, такъ сказать, березы—и то вырубили... разбой! Техасъ, — одно слово!.. разнузданность!.. безъ револьвера не выѣзжай!..

— Да вѣдь вотъ вы сами земскій дѣятель,—продолжая язвительно улыбаться, замѣтилъ первый,—приняли бы мѣры, но-

ложили бы штрафы, наказанія тамъ различныя, ну, и нѣ доводили бы до этого разбоя, до Техаса что-ли, какъ вы изволили выразиться.

— Ничего не помогаетъ. Двадцать пять рублей штрафу за каждое дерево, а за екатерининское пятьдесят, и все-таки все повырубили. Не помогаетъ.

— Это точно, что не помогаетъ,—вступила тутъ въ разговоръ бородка клиномъ.—Потому кто его усторожить ночью, да вотъ хоть бы въ этакую погоду. Опять же между ними грамотные попадаются.

— Такъ что же, что грамотные?

— А то-съ: иной свалить деревцо, да на свѣжий комель настыхъ неприличнѣ сдѣлаетъ, а уголькомъ напишетъ около: «Вотъ тебѣ штрафъ, получи и роспишись въ полученіи».

— Глухой протестъ, протестъ народа противъ обездоленія его лѣснымъ матеріаломъ, вотъ что-съ...—сильно понизивъ голосъ и подозрительно косясь куда-то въ сторону, рѣшилъ тотъ, кто предлагалъ желѣзнодорожному правленію посадить живыя изгороди.

— У самого ни одного прутика нѣть въ имѣньяшкѣ! — также понизивъ голосъ спарировалъ земской дѣятель: — вотъ онъ и толкуетъ: «обездолили», соболѣзнуешь, видите-ли, о меньшемъ братѣ. Вѣрите-ли: когда ему приходится пороть своихъ ребята, а онъ ихъ въ недѣлю разъ уже непремѣнно поретъ, — такъ къ моему лѣснику за розгами посылаеть. «Обездолили». Хе-хе!..

Кстати расскажу одинъ фактъ, весьма характеризующій зимнія поѣздки по нашимъ желѣзнымъ дорогамъ. На ряжско-вяземской линіи образовался нѣсколько дней тому назадъ снѣжный заносъ, остановившій сообщеніе на цѣлыхъ двое сутокъ. Одному изъ пассажирскихъ поѣздовъ пришлось простоять эти двое сутокъ въ полѣ. Ни взадъ, ни впередъ, такое вышло положеніе. На поѣздѣ былъ переносный телеграфный аппаратъ имъ, конечно, воспользовались, чтобы дать знать на ближайшую станцію о своемъ бѣдственномъ положеніи. Но вотъ бѣда: на поѣздѣ не оказалось лѣстницы, чтобы добраться до столбового изолятора и соединить проволоку постояннаго телеграфа съ переноснымъ. Начался рядъ упражненій въ высшей гимнастикѣ; не только кондуктора, но даже многие изъ пассажировъ приняли участіе въ этихъ импровизированныхъ олимпійскихъ играхъ. Оледенѣлые телеграфные столбы оказались неодолимы.

Взлѣзеть кто-нибудь аршина на два — и впизь, полѣзетъ другой, еще хуже. Образовали даже премію по подпiskѣ, но все напрасно. Тогда рѣшили просто-напросто оборвать проволоку; достали у кочегара кочергу, навязали ее на случайно найденную по близости жердь и этимъ крюкомъ зацепили за проволоку и оборвали ее. Сладили все, что слѣдуетъ и дали о себѣ знать. Получили и отвѣтъ: «ждите, надѣйтесь, мѣры приняты...» Ждали часовъ восемь, прибыли наконецъ рабочіе, да мало очень, покопались немного и разбрелись по деревнямъ; а деревни-то эти далеко; верстъ за десять, а то и больше. Только *на второй день* прибыло наконецъ достаточное число рабочихъ рукъ и поѣздъ могъ продолжать движеніе... движеніе, впрочемъ, только до первой маленькой станціи. Нѣкоторые пассажиры до того озлобились на желѣзную дорогу, что начали розвальни и предпочли кончать путешествіе на саняхъ.

Больѣ терпѣливые принуждены были еще цѣлые сутки стоять на станціи, какъ я уже сказалъ, маленькой, не приспособленной къ такому наплыву посѣтителей.

Но вотъ счастье — погода улучшилась, проглянуло даже что-то похожее на солнце — и мы разсчитывали проѣхать благополучно. На этой линіи спальныхъ вагоновъ не существуетъ вовсе (странны почему, либо число мѣсть со спальнымъ приспособленіемъ не меныше числа обыкновенныхъ мѣсть и отъ такого нововведенія — желѣзная дорога ничего не теряетъ, а пассажиры выигрываютъ). «Тарантасная поэзія» давала себя и здѣсь изрѣдка чувствовать, — только теперь въ этой поэзіи преобладалъ кулинарный характеръ — предохранительная, такъ сказать, мѣра на случай ожидаемой катастрофы.

Вотъ и Тулу съ ея пряниками и желѣзными издѣліями, выставленными въ шкафикахъ и витринахъ, проѣхали, и Орелъ миновали, къ ночи попали и въ Курскъ.

Объ этихъ городахъ напоминаютъ вамъ только надписи надъ дверьми вокзаловъ. Сами города далеко отстоятъ отъ дороги, гдѣ на три версты, гдѣ на пять, а то и болѣе, и для глазъ путешественника остаются невидимы. Это также свойство русскихъ желѣзныхъ дорогъ, миновать города, тщательно обходя ихъ стороною.

Причина подобного явленія, какъ говорять, все одна и та же. Городская дума никакъ не могла сойдтисъ въ цѣль по

уступкъ мѣстности съ желѣзподорожною компаніею. Дума обыкновенно запросить вдесятеро, а компанія не соглашается, просить даже противъ нормальпыхъ цѣнъ уступки. Дума держится крѣпко, выжидаетъ, а компанія и заложитъ вокзалъ верстъ за десять, на земляхъ уже городу не принадлежащихъ. Дума по-тому и готова на уступки, даромъ даже отдастъ, а компанія на зло продолжаетъ начатыя работы и такъ, какъ по пословицѣ: папы дерутся, а у мужиковъ чубы болятъ — такъ и въ данномъ случаѣ: отъ распри между думою и компаніею проигрываютъ и горожане, и путешественники.

Погода намъ положительно благопрѣятствуетъ; самыя опасные, открытыя мѣста мы миновали благополучно. Началась даже довольно сильная оттепель и полотно желѣзной дороги, совершенно свободное отъ снѣга, тянулось вдаль черною, бесконечною полосою. А все-таки мы опоздали въ Курскъ, на цѣлый часъ опоздали, и пассажиры, имѣющіе билеты прямого сообщенія, едва имѣли время перескочить изъ одного поѣзда въ другой — курско-кіевскій.

Канунъ граздника и первый день Рождества мы провели въ дорогѣ. Тутъ началось новое беспокойство и сомнѣніе, на счетъ состоянія духа машинистовъ, кондукторовъ и прочей желѣзводорожной прислуги, беспокойство, имѣющее весьма значительное основаніе: а, ну, какъ всѣ эти отвѣтственные субъекты да начнутъ дорогою праздновать?!. Ужъ и такъ нашъ кондукторъ, на вопросы пассажировъ, отвѣчаетъ какъ-то угрюмо, сухо и сдержанно; съ каждою станціею его отвѣты становятся все короче и обрывистѣй, начинаетъ даже слышаться какой-то озлобленный, недовольный тонъ.

— Этотъ кондукторъ, что съ вами ёдетъ, ничего, — успокоилъ меня одинъ изъ начальниковъ, — ежели и напьется, таѣ головы не потеряетъ, развѣ дерзость какую скажетъ, выругается, что ли, ну побьетъ тамъ кого-нибудь въ третьюмъ классѣ, а то ничего — вы не беспокойтесь.

Но нашъ поѣздъ — такъ называемый курьерскій — только 1 и 2 классы, третьаго нѣть вовсе, и побить кондуктору было некого. Дотянулись мы и до Кіева благополучно, и все-таки ухитрились опоздать — безъ всякихъ видимыхъ причинъ на цѣлые два часа и три четверти; поѣздъ въ Одессу уже ушелъ и ёдущимъ дальше пришлось заночевать въ Кіевѣ.

II.

Малороссія — богатѣйшій край, житница Россіи, воспѣтая поэтами, какъ страна сытыхъ, довольныхъ, даже облѣнившихся отъ этого довольства, страна баловней природы, варениковъ въ сметанѣ, галушекъ, сала и доброй горицки... Но при всемъ этомъ, страна жидовъ, особенно ея югозападная часть, а одного этого уже довольно, чтобы окончательно парализовать, свести на нуль всѣ вышеприведенные блага...

Жиды, жиды, жиды!.. Это все, что видить здѣсь вашъ глазъ, слышать ваше ухо, обонять носъ; эта темная, не-производительная, гнетущая край, сила уже заполнила «российскую житницу» и отодвинула на самый задній планъ ея исконное, чубатое населеніе. Зависимость несчастной Болгаріи отъ турецкаго султана ничто въ сравненіи съ той зависимостью, подъ которую подпали къ дѣтямъ Израиля потомки гетмановъ и ихъ храбрыхъ «лыцарей сподвижниковъ».

Жиды забрали въ свои руки всю торговлю края и превратили ее, эту торговлю, изъ явленія благотворного, полезнаго въ нечто, истощающее край, высасывающее его лучшіе жизненные соки.

Лишенніе закономъ права быть землевладѣльцами, они успѣли обратить этотъ законъ въ мертвый звукъ и фактически забрали въ свои руки лучшія земли, богатѣйшія имѣнья; владѣльцы этихъ земель, юридические владѣльцы довольствуются, т. е. привуждены довольствоваться скромною арендною платою, а то и вовсе обходиться безъ всякой платы; фактическіе же владѣльцы, жиды, наживаются себѣ крупныя состоянія, беспощадно, безразсчетливо эксплоатируя эти тучные, черноземныя пажити, не заботясь о ихъ будущемъ, преслѣдуя только дну, единственную цѣль — извлечь возможно большія выгоды въ настоящемъ...

Цѣлая система-паутина, система займовъ и долговыхъ обязательствъ, опутала помѣщиковъ и держить ихъ въ полнѣйшей зависимости отъ безчисленныхъ Янкелей, Мойшъ, Герберштейновъ, Кагановъ и пр., и пр., и пр. и во вѣки вѣковъ вами, несчастные Чубенки и Дорошенки, не выпутаться изъ этой хитросплетенной, не по вашему лѣнивому разуму, паутины.

— Безъ грошей ничего не подѣлаешь, а гроши всѣ у жи́довъ,—говорять эти несчастные, глубоко вздыхая, съ какою-то лѣнивою,—да, именно лѣнивою,—тоскою во взорѣ...

А какимъ образомъ сдѣлалось такъ, что гроши эти попали единственно въ жи́довскія руки, и гроши, не привезенные откуда-нибудь со стороны, а добытые здѣсь же, изъ этой благодатной почвы, добытые изъ вашихъ же широкихъ кошельей и кармановъ?..

Жи́ды, жи́ды, жи́ды!..

Если желѣзныя дороги весьма удачно сравниваются съ артеріями, правильно разносящими по краю его кровь, его лучшіе жизненные соки, то жи́довъ, сгруппировавшихся именно по этимъ дорогамъ, не менѣе удачно можно сравнить съ пьявками, присосавшимися вплотную, безотрывно, къ жизненнымъ артеріямъ... Вы входите въ вокзалъ:—все и вся занято группами жи́довъ, ёдущихъ и провожающихъ... Изрѣдка кое-гдѣ только мелькнетъ что-то славянское, да и то больше уврашенное цвѣтымъ окольишемъ военной фуражки... Идетъ на платформу: жи́дъ хватаетъ ваши чемоданы, жи́дъ усаживается въ вагонъ, жи́дъ бѣгаєтъ подъ вагонами, постукивая по осамъ и колесамъ молоточкомъ, жи́дъ свиститъ въ кондукторскую дудочку!.. Въ запачкѣ даже самаго пара, клубами вырывающаго изъ открытаго крана паровика, отдаётъ какъ будто чеснокомъ и лукомъ.

Въ вагонахъ третьяго класса биткомъ набиты жи́ды, въ вагонахъ второго—тоже, даже въ первомъ жи́ды,—но здѣсь они уже нѣгоціанты и банкиры, съ блестящими перстнями на пальцахъ, въ чистомъ батистовомъ бѣльѣ, изъ-подъ котораго, впрочемъ, видна грязная, засаленная шерстяная фуфайка,—здѣсь они уже выдаютъ себя за нѣмцевъ, нерѣдко величая другъ друга баронами...

Поѣздъ трогается, пролетаетъ одну станцію за другою,—и въ окнахъ вагона вамъ только и мелькаютъ характерныя симетическая физіономіи, засаленные лапсердаки... Да гдѣ же вы, настоящіе историческіе граждане страны? Куда вы попрятались? Хоть бы на минуту выглянули и показали путешевственнику свои усатыя лица!..

— Остановка—пять минутъ, фейфъ минутень!—взываешь путеводитель.

Пассажиры торопливо выскакиваютъ изъ вагоновъ, сливаются съ группами на платформѣ... Всѣ-то знакомые, всѣ знаютъ другъ друга, называютъ по именамъ; все это тѣсно сближено, связано вмѣстѣ, живетъ и дышитъ единствомъ мышленія... И въ этомъ-то единствѣ заключается вся сила, вся мощь Израиля, мощь, создавшая ему, вмѣсто потеряного царства, всюду и вездѣ новыя земли, обѣтованныя...

Братъ славянинъ, хоть бы ты позаимствовался у нихъ и воспользовался этимъ поучительнымъ примѣромъ!..

---

Въ одномъ вагонѣ со мною находилось двадцать два пассажира, почти комплектъ; и изъ этихъ двадцати двухъ былъ только одинъ русскій—я самъ, остальные все жиды или псевдо-нѣмцы... Шелъ непрерывный, оживленный говоръ, и въ говорѣ этомъ только и слышались разныя цифры, гешефты и гандели... Одно купѣ, впрочемъ,сосѣднее, поражало своею молчаливостью, грустными вздохами и изрѣдка тоскливыми нашептываніемъ о чёмъ-то печальному, таинственному... Вы знаете уже конечно о томъ крахѣ, который случился съ киевскимъ частнымъ коммерческимъ банкомъ; этотъ крахъ, то-есть собственно не крахъ, а простое воровство, открылся какъ разъ въ сочельникъ, изображая собою, такъ сказать, пѣчто въ родѣ подарка на елку... Ну, вотъ въ этомъ-то купѣ вздоховъ и засѣдали лица, слишкомъ уже заинтересованныя судбою банка, а потому ихъ печальный видъ и грустныя нашептыванія были весьма понятны.

Въ воровствѣ этомъ, въ систематическомъ обкрадываніи банка, обвинены и дѣйствительно оказались виноватыми: кассиръ, бухгалтеръ и контролеръ, т. е. главнѣйшіе заправители дѣла; съ 1872 года велись фальшивыя книги, ложные балансы, небывалые текущіе счеты и все это открылось разомъ, на пятый годъ, только потому, что уже, несмотря на геніальность тріумвирата, не было никакой возможности свести концы съ концами... виновники арестованы, директоры поплатятся, но банкъ все-таки не въ силахъ будетъ подняться на ноги и, по словамъ одного изъ взыхателей, банкротство неизбѣжно...

Близость театра крупныхъ операций, историческихъ, такъ сказать, событий, взорвавшихъ весь край и поднявшихъ на ноги все, чуяще добычу, даетъ себѣ уже чувствовать. Начи-

ная оть Жмеринки, т. е. съ поворота оть Киева на одесско-брестскую желѣзную дорогу, въ воздухѣ пахнетъ чѣмъ-то особыннымъ: глаза дѣтей Израиля сверкаютъ какимъ-то лихорадочнымъ блескомъ, руки дрожатъ и пальцы сгибаются, словно на этихъ пальцахъ разомъ выросли не ногти, обыкновенные человѣческие ногти, а ястребиные когти, длинные такие, крючковатые... Такія простые слова и звуки, какъ напримѣръ: сѣно, овесъ, крупа, мука, водка, полуушубки производятъ необыкновенное, электризующее вліяніе на нервы пассажировъ... Даже зубы начинаютъ выбивать лихорадочную дробь... Но это не оть холода, нѣтъ. На дворѣ три градуса выше нуля, въ вагонѣ даже жарко и всѣ сидятъ въ однихъ сюртукахъ, а то даже и безъ оныхъ... И сколько надеждъ, сколько выгодъ впереди, сколько самыхъ радужныхъ, розовыхъ такихъ предположеній...

---

Тепло. Кругомъ стоять густой, непроницаемый туманъ, скрываю за собою всѣ окрестности. Ничего не видно—ни этихъ дубовыхъ лѣсовъ, что должны быть по сторонамъ, ни приземистыхъ малороссийскихъ мазанокъ, осѣненныхъ развесистыми яблонями и стройными тополями—только развѣ къ ночи, сквозь целену тумана, мигаютъ во мракѣ тусклые огоньки въ окнахъ, а около нихъ движутся какія-то темныя тѣни-силуэты, и чуть-чуть доносятся до слуха пассажировъ заунывная, однообразнаяnota народныхъ колядокъ... Какую тоску на душу наводятъ эти неподвижныя, тяжелыя стѣны тумана; какія безотрадныя мысли лѣзутъ въ голову; какія невыносимые сны одолѣваютъ, когда, утомленный, невольно смыкаешь глаза и сквозь дремоту слышатся все тѣ же: гандели, гешефты, сѣно, полуушубки, вызывая рядъ грустныхъ, давно уже позабытыхъ призраковъ...

Нѣтъ! Эти призраки не забыты, они только временно отошли на задній планъ, и тотчасъ же, какъ нѣчто роковое, вступаютъ наружу, едва только явится намекъ на ихъ существованіе.

Я помню мы тихо-тихо проходили по тилигульской насыпи... Я и не зналъ тогда, по какому роковому мѣсту мы проходимъ, но это тихое, плавное движеніе поѣзда, безъ точковъ, безъ швыряній со стороны въ сторону, дало мнѣ возможность на минуту забыться и задремать.

И мнѣ приснились холмы, прорѣзанные по всѣмъ направлениямъ рвами и насыпями; мнѣ приснились старыя морскія орудія, стоявшія на высокихъ, безобразныхъ такихъ лафетахъ, сѣрыя шинели; толпящіяся вокругъ, истомленныя болѣзнями, лишеніями, голодомъ... да, да, голодомъ, настоящимъ голодомъ, ничемъ другимъ, лица... Сплошной гулъ выстрѣловъ, трескъ и грохотъ лопающихся гранатъ и бомбъ, стоны раненыхъ, изувѣченыхъ, горы труповъ, а надъ всѣмъ этимъ сплошная тучи чернаго дыма пожара, бѣлые клубы, вылетающіе изъ разгорячнѣнныхъ жерлъ орудій... Тамъ и сямъ, на гребняхъ брустверовъ, гдѣ царитъ смерть и разрушеніе, тамъ въ воздухѣ треплются славныя клочья геройскихъ знаменъ нашей арміи, голодной, измученной, полубезоружной, но стойкой, мужественно-справлявшейся съ втрое сильнѣйшимъ врагомъ—ганделами, гепефтами, всѣмъ тѣмъ, что и въ данную минуту тревожитъ слухъ, вызывая всѣ эти печальные, тяготящіе призраки...

— Господа! къ станціі Раздѣльная подходимъ, Одесса близко!—возвѣщаетъ кондукторъ.

Одесса, впрочемъ, вовсе не близко—отъ Раздѣльной еще, если не ошибаюсь, четыре станціі, — около трехъ часовъ Ѣзы, къ чому же это преждевременное предупрежденіе?.. Мнѣ это тотчасъ же объяснилъ одинъ изъ банкирствующихъ псевдонѣмъ, пассажиръ изъ «купѣ вздоховъ».

— Это онъ на счетъ осторожности относительно багажа предостерегаетъ. Смотрите внимательнѣе, а то все вытащутъ. Выдѣете на станцію, все забирайте съ собою... слышали—Одесса близко!..

Да, Одесса близко. Воровство въ вагонахъ, да и на станціяхъ достигло здѣсь апогея своего величія; тащутъ ручные саквояжи, тащутъ тяжелые сундуки изъ багажныхъ вагоновъ, тащутъ даже тюки съ товарныхъ платформъ... Кстати, вотъ «строумное приспособленіе для воровства послѣднаго рода—это приспособленіе выдумка тоже сыновъ Израиля:—на длинной веревкѣ навязываютъ желѣзный крюкъ, а другой конецъ веревки прочно привязываютъ къ шпаламъ; во время прохода поѣзда, конечно ночью, воръ забрасываетъ крюкъ на платформу и прячется. Движеніе поѣзда само уже дѣлаетъ остальное. На днахъ такимъ образомъ стащили съ платформы тюкъ со спав-

шимъ кондукторомъ, это было версты за двѣ, именно не до хода Раздѣльной станціи.

Поѣздъ подошелъ къ Раздѣльной часовъ въ 9 вечера, конечно опять опоздавши значительно. Отсюда пассажиры на Кишиневъ должны пересаживаться въ другіе вагоны, и я вошелъ въ залъ-буфетъ, принявъ предварительно всѣ мѣры осто рожности относительно своей поклажи. Довольно большая зала, заставленная посрединѣ сервированными столами, была биткомъ набита военнымъ людомъ. Тутъ толпились въ облакахъ табачнаго дыма и пѣхотинцы, и инженеры, и кавалеристы, регулярные и иррегулярные... Тутъ были представители всѣхъ родовъ оружія. Довольно разнообразный буфетъ едва успѣвалъ удовлетворять всѣмъ требованіямъ проголодавшихся воиновъ.

Подкѣпившись и прождавъ еще добрыхъ три часа, я выѣхалъ дальше на вновь сформированномъ поѣздѣ и часовъ въ шесть утра дотащился наконецъ до Кишинева — именно дотащился, потому что для того, чтобы пройти какія-нибудь восемидесять верстъ, надо было потратить почти шесть часовъ времени, т. е. по тринадцати верстъ въ часъ, — это на лошадяхъ можно сдѣлать болѣе! Вѣтвь желѣзной дороги, идущая отъ Раздѣльной до Яссъ, черезъ Кишиневъ, проложена по такому сыбкому и пепрочному грунту, что болѣе быстраяѣза положительно дѣло рискованное. У Корнешти, близъ Яссъ, есть даже такія мѣста, по которымъ поѣздъ идетъ не болѣе какъ пять верстъ въ часъ, т. е. наравнѣ съ пѣшеходомъ.

Говорятъ, отъ Яссъ дорога устроена лучше, и немудрено: тамъ она уже пролегаетъ не по нашимъ владѣніямъ. Поѣду — посмотрю.

### III.

Седьмой часъ утра. Это еще не настоящій разсвѣтъ, а таѣ, чуть-чуть брезжитъ. Блѣдная, туманная полоска свѣта протянулась на востокѣ; эту полоску неясными силуэтами пересѣкаютъ два-три безлистныхъ тополя и каменная колокольня деревенской церкви... Ближе виднѣются тяжелыя очертанія приземистыхъ крышъ, крытыхъ соломою, надъ ними торчатъ трубы, прикрытыя сверху горшками, топорщатся корявыя оголенные вѣтви яблони, подпертыя вилками, на этихъ вѣтвяхъ, нахолившись и спрятавъ головки — вереницами сидѣть

воробы... Длинная, кривая улица тянется между молдаванскими хатками, блестяще на ней безчисленными, замерзшими лужами, глубокими извилинами чернеют колесные слѣды... Пусто и тихо!..

Народъ еще спить; спать крѣпкимъ сномъ и постоянные обитатели, и пришлые, временные гости, а этихъ гостей не мало: сиять они и въ тепло-нагрѣтыхъ хатахъ, растянувшись на земляномъ полу, спать и въ сарайчикахъ, подъ на-вѣсами, зарывшись въ душистое степное сѣно, съ головою покрывшись толстыми, сѣрыми шинелями; дремлять и лошади, стоя и лежа у телѣгъ, да у колодъ, на привязахъ, и въ дремотѣ пережевываютъ длинные сухіе стебли, осторожно пошевеливаютъ ушами при малѣйшемъ неопределенномъ звуки... Спать и псы, свернувшись калачикомъ, и глухо ворчатъ во снѣ, потому — служба, обязанности свои исполняютъ... Не спить только какой-то гусь, важно прохаживающійся по задворку, — и не чуетъ этотъ гусь никакихъ для себя бѣдъ и напастей... А бѣда-то, вѣдь, близко... Вотъ изъ-за забора показалась голова въ кепи и въ башлыкѣ, намотанномъ на шею, показалась и спряталась. Песикъ, цыганъ, открылъ одинъ глазъ, зарычалъ погромче и успокоился, сыйый артельный конь шарахнулся совсѣхъ ногъ, телѣга затрещала, да тяжела, и поводъ недоуздка крѣпокъ... Храпнулъ конь, отряхнулся, гремя наборами, и тоже успокоился... А голова въ кепи и въ башлыкѣ показалась снова, значительно уже ближе къ безпечному гусю, показалась въ дырья забора и сѣрая шинель, ползущая на четверенькахъ... еще мгновеніе и катастрофа неизбѣжна... А съ другой стороны, изъ-за противоположного забора, сквозь сухую чащу прошлогодняго бурьяна тоже ползетъ что-то сѣроѳ, стремясь къ одной и той-же цѣли... Четыре руки разомъ хва-таются за зѣваку-лапчатаго...

— Ты что же это, Митричъ? Нѣшто такъ можно?..

— Безпремѣнно приказано, чтобы борщъ былъ съ гусинымъ потрохомъ, — шепчетъ озадаченный Митричъ, капитанский денщикъ.

— А ще, добряги, вы то моего сцепали, чи сосѣдьского? — и откуда только вывернулся коренастый молдаванъ въ бараньей шапкѣ и таковомъ же тулуппѣ...

— А кто его знаетъ, онъ неклейменый... Должно полагать сосѣдскій! — чешетъ затылокъ Митричъ.

— Сосѣдскій, сосѣдскій! — увѣренно заявляетъ Миронычъ, тоже дешникъ, только не капитанскій, рангомъ пониже. — Твои, землякъ, бѣлые, мы знаемъ, а это, вишь ты, къ заду въ сѣрину отдаешь; должно быть дикій, забредшій...

— И какъ это возможно, чтобы кто на домашнюю птицу польстился!

— Извѣстно дикій!.. — одобряетъ Митричъ...

— То-то... — соглашается и молдаванъ. — На томъ краю, у церкви, тоже вотъ дикаго поросенка поймали, бываетъ...

— Это вѣрно... Чу-кось: никакъ повѣстку играютъ!..

— Да — вжежь!..

— Чатверто капральство выходи на улицу!.. Ребята, робята, живо!.. — постукиваетъ въ окошко ефрейторъ, пробираясь у самыхъ завалинокъ...

— Чатверто капральство выходи на улицу!..

Въ хатахъ закопошились; въ крохотныхъ окошкахъ за-свѣтили огни, обозначивъ черные крестики оконныхъ рамъ... Съ края деревни, издалека, неслись дребезжащіе звуки мѣднаго рожка, кое-гдѣ завыли собаки, вторя этимъ рѣзкимъ звукамъ; заржалъ артельный конь, почуя утреннюю торбу... Митричъ съ Миронычемъ сократились куда-то въ пространство съ добытымъ гусемъ.

— А може и вправду дикій, — береть сомнѣніе коренастаго молдавана, и начинаетъ онъ покойно набивать свою коротеньку носогрѣйку-трубочку.

---

Часъ девятый, а можетъ быть и позже... У капитана Чубучковскаго часы показываютъ время самое неопределѣленное, онъ увѣряетъ, впрочемъ, что это по петербургскому меридиану, а значитъ все равно, что по кишиневскому, у штабсъ-капитана Башлыковича потерянъ ключъ отъ часовъ, и другого подходящаго не оказалось, у поручика Сыромятинна часы въ «починкѣ», а у юнкера Голубчикова вовсе нѣтъ часовъ, одна цѣпочка съ коралловымъ брелокомъ и волосянымъ колечкомъ...

Въ маленькое окно свѣту проникаетъ достаточно. Хата тѣсная, низкая; большая глинобитная печь занимаетъ третью всего помѣщенія; у окна столъ съ выдвижнымъ ящикомъ, на столѣ самоваръ, складной, походный, два стакана, одно блюдечко, чайникъ англійского металла, съ вогнутымъ бокомъ, золотый

сахарь въ холщевомъ мѣшкѣ, кучка солдатскихъ сухарей и надломленная булка... Тутъ же табакъ на газетной бумагѣ, пустая бутылка изъ-подъ «краснаго бессарабскаго», въ ней вчерашній огарокъ стеариновой свѣчки. У стола, т. е. между столомъ и стѣною, складная желѣзная кровать, покрытая коврикомъ, подушка въ розовой ситцевой наволочкѣ; у кровати стоять высокіе сапоги, свѣжо-смазанные, подальше деревянное корыто съ кускомъ мыла, праздно мокнущимъ на днѣ, у корыта сетерь Азоръ, наблюдающій за семьей индѣекъ, помѣщенной за рѣшѣткою, подъ печью; на земляномъ полу, въ выбоинахъ скопились лужицы, баба молдаванка бойко щелаетъ по нимъ босыми ногами, ворочая передъ жерломъ печи всякими хозяйственными дрекольями... На печи ребятишки, изъ-за трубы видны только черномазыя, патлатыя головки и бойкие глазенки, созерцающіе того, кто лежитъ на кровати, растянувшись во всю свою длину, головою подъ самые закопченные образа и крашеные лубки, ногами чуть не до самаго противоположнаго угла... Это самъ капитанъ Чубуковскій, ротный командиръ, временный хозяинъ этого помѣщенія... Юнкеръ Голубчиковъ наливаетъ чай, уже налилъ и четвертый разъ робко произносить:

— Готово-сь, Родіонъ Никанорычъ, прикажите-сь!..

— Отстань!—сердито отказываетъ Родіонъ Никанорычъ и пускаеть кверху подъ самый потолокъ густую струю дыма; любуясь, какъ эта струя расходится волнами по смазному, испещреному трещинами потолку, разгоняя веселыя группы таракановъ...

— Родіонъ Никанорычъ, оставьте,—рѣшается наконецъ заявить юнкеръ Голубчиковъ... — Вотъ ужъ двое въ стаканъ свалились...

— Отстань!—повторяетъ капитанъ, а все-таки, тяжело поднимается, осматриваетъ вокругъ себя сонными глазами, и сердито произноситъ:

— А лимону нѣть?

— Сыромяткинъ въ Кишиневъ поѣхалъ вчера, сегодня на-задѣ хотѣлъ быть; обѣщаѣ привести... и лимоновъ привести, и икры,—докладываетъ Голубчиковъ.

— Капитанъ всталь? — слышенъ въ сѣняхъ за дверями густой басъ Башлыковича.

— Чай кушають, пожалуйте!..

Густое облако пара врывается въ растворенную дверь...  
На дворѣ морозъ, а въ хатѣ за ночь нагрѣлось, даже жарко...

Башлыковичъ вытираетъ рукою свои длинные заиндѣвшіе усы и откашливается.

— Что новаго?

— Да что—скука!.. А у васъ?

— Тошица такая! И чего мы ждемъ, и чего мы ждемъ?!  
Вчерашия телеграммы читали?

— Читалъ, то-есть оно не то что вчерашия, а отъ двадцатого октября. Слышалъ, впрочемъ, что все откладываютъ...

Башлыковичъ подмигиваетъ Чубучковскому и косить глазами на дебелую молдаванку, чуть не до половины влѣзшую въ печь.

— Jamais... — дѣлаетъ кислую гримасу капитанъ и отрицательно трясеть головой...

— Нѣть, я вамъ скажу, вотъ тамъ у сосѣдей есть... —  
робко сообщаетъ юнкеръ Голубчиковъ.

— Сыромяткинъ не пріѣжалъ?..

— Нѣть, скоро ждемъ...

— Ну, вотъ и утро... Такъ опять цѣлый день протянется,  
черть знаетъ что такое! эта скука! — энергично стучитъ по  
столу Башлыковичъ...

— Скучновато,—вздыхаетъ Чубучковскій, лѣниво прихлебывая пустой чай.

Юнкеръ Голубчиковъ молчать и сосредоточенно выводитъ пальцемъ на столѣ по мокрому мѣсту какія-то арабески...

— На-дя! — произносить онъ вдругъ, громко, черезчуръ уже увлекшись своимъ занятіемъ, и краснѣеть, да какъ краснѣТЬ: и лобъ и уши, и шея, все—вплоть до отложного воротника сѣрой шинели, до узенькой черной оторочки суконнаго галстуха.

Молчать хозяинъ, капитанъ Чубучковскій позѣвываетъ слегка, то полежитъ, то посидить, шестнадцатую папиросу крутить... Молчать и гость его Башлыковичъ, сумрачно такъ молчать, руки на груди скрестилъ, ноги въ половину хаты протянулъ, молчать и юнкеръ Голубчиковъ, весь столъ исписалъ узорами и таракана злосчастнаго въ блюдечкѣ топить... Хихикаютъ за печкою мальчуганы, звякаетъ горшками баба

молдаванка, молчитъ и сетеръ Азорка, позабывъ о своихъ индѣйкахъ... Тоска,—скука! Медленно тянется время, однако, таки тянется, не стоитъ...

Стоитъ на столѣ самоваръ, потухшій, похолодѣлый, царствуетъ вокругъ него все тотъ же беспорядокъ; не уложено, не убрано...

Хоть бы третьяго кого принесла нелегкая, винтикъ, что-ли, съ болванчикомъ...—не то вздохнулъ, не то выругался Башлыковичъ...

— Я-сь!..—робко произносить Голубчиковъ.

— Ты?..—косить на него глазами капитанъ, и громко, разомъ, озлившись какъ-то, кричитъ во все горло:

— Митричъ, черть!... давай хоть обѣдать, что-ли!..

А на дворѣ, по замерзшей грязи звонко тарахтятъ колеса, звякаютъ подковами, скользять и спотыкаются усталыя молдаванскія кляченки...

Тпру, пріѣхали!

Голубчиковъ стремительно вылетаетъ въ дверь, растворивъ ее не руками, а собственнымъ туловищемъ. Башлыковичъ своею массивною фигурою загораживаетъ цѣлое окошко, даже въ хатѣ потемнѣло, Чубучковскій приподнимается на локоть и повеселѣвшимъ тономъ произносить:

— А, Василій Васильичъ, а мы васъ ждали, ждали!— слышится въ сѣняхъ радостный, дѣтскій еще голосъ Голубчикова...

— Да задержали тамъ, хотѣль было... Матушка, эй... я тебѣ платокъ привезъ... пріѣди ужо... сама только пріѣди... Всѣ дома!..—слышится тамъ же и голосъ Василія Васильича.

— Сыромяткинъ, свинья, ты что же это по три дня пропадаешь?.. Ну, что новаго?

— А ну-ка, что новенькаго?..

Неподвижное лицо Чубучковскаго оживляется ожиданіемъ, у Башлыковича даже брови приподнялись и онъ смотрѣть въ упоръ; смотрѣть вопросительно и ждеть отвѣта... Голубчиковъ дыханье притаилъ, какъ собака на стойкѣ.

— Да, что!—швыряетъ на скамью кепи поручикъ Сыромяткинъ.—Тьфу!.. Европа еще уступокъ понадѣала.

На столѣ появляется, тѣмъ временемъ, борщъ съ гусинымъ потрохомъ.

Іѣло къ вечеру. Солнце еще, положимъ, не сѣло, однако скоро сядетъ... Длинныя тѣни легли черезъ улицу, верхушки тополей зарумянились, крестъ на колокольнѣ горитъ яркою звѣздочкою, подъ крестомъ грачи снуютъ въ воздухѣ, и далеко слышно ихъ гортанное карканье...

Солдаты въ своихъ сѣрыхъ шинеляхъ, съ башлыками завязанными на груди крестообразно, высыпали на улицу и сгруппировались по заваленкамъ; чернѣютъ между ихъ сѣрыми группами широкіе молдаванскіе тулуны—звонко хоочутъ бабы, потому—щекотки боятся, хрюкаетъ свинья, почесываясь у каменного забора, гармоника слышна въ той сторонѣ, гдѣ стоитъ шинокъ Янкеля Тузенберга... Скрипятъ и визжать немазанными осями длинныя повозки—дробины, запряженныя кругорогими волами... Высоко нагруженный возъ съ сѣномъ застрялъ въ воротахъ, ни взадъ, ни впередъ... Солдатики помогаютъ усердно, кричать надсаживаются, воротная перекладина трещитъ даже...

— Ребята, заходи всѣ сразу, понапри разомъ!..—распоряжается молодцоватый служивый, шинель на распушку, а подъ шинелью красная кумачевка видна, пятномъ кровавымъ горитъ на солнцѣ, бабамъ въ глаза такъ и бросается...

Протолкали возъ, понауськали собакъ на хавронью, чесавшуюся у забора, попробовали было хорѣ составить и въ кругожокъ стали, да дѣло не клеилось, не ладилось... Прозвониль рожокъ сигнальный,—къ котlamъ, къ ужину сзываешь... Опустѣла мало-по-малу улица... Всѣ по куткамъ попрятались... Спряталось и солнце за косогоръ и замигали красноватые огоньки въ оконцахъ...

— А ну-ка!—лѣниво, вяло говоритъ Чубучковскій и шлепаетъ засаленнымъ тузомъ по столу...

— Не ходить!—унуло произносить Башлыковичъ и бѣть его маленьkimъ козыремъ.

— Коронка!—тоже не особенно весело провозглашаетъ Сыромяткинъ, показывая что слѣдуетъ.

— На-дя!..—опять выводить пальцемъ юнкеръ Голубчиковъ, только уже теперь не по столу, а по замерзшему стеклу крохотнаго оконца...

Стемнѣло... Потухъ, дрогорѣлъ золотистый свѣтъ на пѣбѣ, тамъ и сямъ заискрились звѣзды... Пробили зорю вечернюю...

Все полегло спать, только часовые у околицы, да у квартиры ротного, торчать неподвижными столбиками—и въ шинкѣ Янкеля Тузенберга слышна оживленная возня и хриплый голосъ: «Врешь, братъ, не свяжешь, руки коротки!..»

Одно окно свѣтится ярче прочихъ, не то печь тоится, не то свѣтка офицерская близко поставлена; сквозь закоптѣлое окно ничего не видать и прозрачными, волнистыми линіями сверкаютъ на немъ прихотливые морозные узоры. Двѣ темныя фигуры сидятъ на заваленкѣ, подъ самымъ окошкомъ и даровыемъ свѣтомъ пользуются; обѣ фигуры въ шинеляхъ и башмакахъ, значитъ служивые.

Артельщикъ изъ города вернулся, письма солдатскія привезъ, а въ числѣ этихъ писемъ было одно съ такимъ адресомъ:

«Въ Везуулукій полкъ, шастая рота; перво капральство, Ягору Тихонычу Гвоздикову, сопственорушно, отъ яво жены Дарьи!..»

Самъ-то Гвоздиковъ солдатъ еще молодой, на службѣ недавно, грамотѣ еще не успѣлъ научиться, вотъ онъ и упростила ефрейтора Гуляева прочесть ему письмо... Вышли они на улицу, таинственность соблюли при семъ важномъ дѣлѣ, и къ самому свѣтлому окошку пристроились.

Гуляевъ сидѣть важно, въ лѣвой рукѣ письмо держитъ, правой, указательнымъ пальцемъ по бумагѣ водить, читаетъ громко, отчетливо, хотя и запинается... Гвоздиковъ весь въ одно олицетворенное вниманіе превратился, глазъ съ письма не сводить, жадно слѣдить за пальцемъ грамотнаго товарища, навалился къ нему на плечо; самого чуть не лихорадка треплетъ и на глазахъ дрожитъ что-то свѣтлое, по пухлой щекѣ катится...

«А сноха твоя, Акулина,—читаетъ Гуляевъ,—тоже заочно кланяется, за бѣлы руки береть и въ сахарны уста цалуетъ!.. Эта какая же у тебя сноха Акулина?..—прерываетъ онъ чтеніе, палецъ на мѣстѣ держить, а локтемъ въ бокъ подталкиваетъ...

— Сноха Акулина...—торопится объяснить солдатикъ,— это вишь ты, ейный братъ, мому дядѣ Листрату...

— Ладно!.. «въ сахарны уста»... ишь ты! Молода еще?..

— Нѣтъ... рябоватая такая... ейный братъ... читай, читай, голубчикъ, дальше... какъ тамъ это сказано? читай отсюдава!..

«Посылаю при семъ рубль денегъ съ моимъ, значить, же-  
винаымъ благословенiemъ»...

— Рубль получилъ?

— Получилъ, какже, рубль-отъ получилъ; вотъ онъ рубль;  
здѣсь... Постой, да гдѣ же?

— Ладно, посдѣ... «Посылаю рубль денегъ... а на счетъ  
турка, то ундеръ безсрочный, Макаръ Павлычъ, что у купца  
Еремина въ лѣсникахъ служить»... Какого полка?

— Кто?

— Ундеръ Макаръ Павловъ.

— А кто его знаетъ...

— Такъ!.. «ундеръ сказываетъ, что турка наплевать—  
ничего не страшно».... Ладно, сами узнаемъ! Ну, а ты, Егорка,  
боишься турку? а?..

Грамотный лихо подбоченивается и на пеграмотнаго погля-  
дываетъ; тотъ слегка тушился, молчить; пальцемъ въ посу ко-  
вырнула разокъ, рукавомъ утерся...

— Нѣть, чтожъ... ничего: не страшно...

— Точно!.. «И завсѣмъ симъ, желая душевнаго и тѣлес-  
наго здоровья, потому какъ Господь Богъ, значитъ, и все какъ  
есть по закону»... Ишь, по закону!.. а вчера что дѣлалъ... пе-  
сий сынъ!?

— Да, ну, читай дальше...

— А дальше ничего, «жена твоя Марья Петрова, по про-  
званию, по мужину Гвоздикова», вотъ и все! Больше ничего  
нѣту... «Писалъ письмо сіе по ейной лишной просьбѣ цаловаль-  
никъ Зашибаевъ!...» Шабашъ!..

— Гдѣ эвто?..

— Что?

— Жена, значитъ, Марья?..

— А вотъ, это самое мѣсто, видиши?.. Вотъ мыслети  
стоить, потомъ азъ... видиши? Молчитъ солдатъ; и радъ бы  
видѣть, да слеза нависла подъ ресницею, глазъ туманить.  
Живые образы вызвали въ немъ эти мертвые каракули на  
сѣроватомъ листкѣ помятой бумаги, и въ жаръ-то его, и въ  
холодъ кидаетъ.

— Одначе, пора спать!—рѣшаеть ефрейторъ.—Ну чего  
разрюмился—баба!.. А еще подъ турку собираешься!..

Разомъ тухнетъ окно. Обѣ фигуры моментально пропадаютъ

въ густомъ мракѣ. Капитанъ Чубучковскій сильнымъ дуновеніемъ погасилъ свѣчу и, заворачиваясь въ байковое одѣяло, сирдито произнесъ:

— Митричъ,—поди погляди, кто это тамъ, подъ окномъ возится? Спать не даютъ, черти!

#### IV.

Бессарабская губернія, или Бессарабская область, по прежнему считается по праву одною изъ лучшихъ и богатыхъ мѣстностей южной Россіи. Эта страна имѣетъ всѣ шансы быть страною сытыхъ и довольныхъ. Она обладаетъ весьма значительнымъ количествомъ пунктовъ, удобныхъ для населенія,— и такихъ пунктовъ гораздо болѣе, чѣмъ неудобныхъ.

Кишиневъ, главный городъ губерніи, раскинулся именно на одномъ изъ такихъ послѣднихъ немногихъ пунктахъ, не представляющихъ никакихъ благъ для его стодвадцати тысячаго населенія. Глядя на эти пестрыя массы одноэтажныхъ домиковъ и крытыхъ соломой мазанокъ, раскинувшихся на громадномъ пространствѣ, по скатамъ степныхъ балокъ, невольно задаешься вопросомъ: «и кой чортъ занесъ васъ сюда, когда подъ бокомъ, въ какихъ нибудь восьмнадцати, а то и менѣе, верстахъ отсюда, течетъ рѣка широкая, глубокая, многоводная и всякими жизненными благами обильная?.. А впереди, тоже не очень далеко, течетъ другая рѣка, еще лучшая, а за нею—еще. Эти рѣки прорѣзываются вдоль всю область, разносятъ по ней жизнь, довольство... Только въ Кишиневѣ облюбовали почему-то вашъ солнцепекъ и добровольными мучениками засѣли на немъ коротать свою недолговѣчную жизнь, еле сводить концы съ концами свои грошевые гешефты и гандели.

Впрочемъ, что же я! Кишиневъ тоже расположено на мокромъ мѣстѣ. Это мокрое мѣсто кишиневцы называютъ громкимъ именемъ рѣки. Рѣка, такъ рѣка, Богъ съ вами! Имя этой рѣки «Быкъ». Это не что иное, какъ непрерывная цѣль болотъ, связанныя общею водною жилкою. Верстъ на тридцать тянется эта цѣпочка по низинамъ степной балки и, въ жаркое время семимѣсячного лѣта, мѣстами пересыхаетъ вовсе, мѣстами образуетъ гніющіе, зловонные затоны, заражающіе воздухъ,

распространяющіе лихорадки и другія немочи. Водою же Кишиневъ пользуется изъ колодцевъ. По населенію и по типу своихъ построекъ Кишиневъ можно раздѣлить на три части: офиціальную, главную, такъ сказать, гдѣ помѣщается вся администрація съ ея управленіями,—жидовскую и предмѣстья, напоминающія цѣликомъ безчисленныя молдаванскія деревни и села, разбросанныя по всему степному пространству Бессарабіи. Первая часть расположена правильными, пересѣкающимися подъ прямымъ угломъ улицами, имѣть большія квадратныя площади, изъ которыхъ одна даже поросла акаціею, почему и называется бульваромъ, и домики этой части, большею частію конечно, одноэтажные, блещутъ своей относительной чистотою и даже чѣмъ-то намекающимъ на архитектуру; вторая,—жидовская, изрѣзанная по всѣмъ направленіямъ кривыми, узкими улицами и переулками, заваленная мусоромъ, навозомъ, всѣкими нечистотами, изрытая глубокими промоинами, зловонная, вѣчно галдящая, тѣсно застроенная лачугами, складами, лавками, питейными и проч., и проч., такъ похожа на всѣ жидовскіе кварталы западно-и южно-русскихъ городовъ, что о ней и распространяться нечего. О третьей мы поговоримъ еще особо.

Тихо и мирно тянулась жизнь Кишинева и его обитателей. Казалось уже, что эта зеленая тина, затягивающая мокре мѣсто,—виновать, рѣку Быкъ,—затянеть и засосеть самихъ кишиневцевъ конечно, только не жидовъ; тѣ, вѣдь, живутъ особой, своею собственною жизнью, имѣютъ свои собственные связи, цѣли и стремленія и ничего общаго съ населеніемъ первой и третьей части... И вдругъ судьба предназначила этому забытому Кишиневу видную роль, подняла сразу его значеніе, обратила на него общее вниманіе, возведя его чуть не на степень исторического пункта. И все это нагрянуло разомъ, заставъ врасплохъ и городъ, и его обитателей,—опять только не жидовъ,—тѣ съумѣли все предвидѣть, сообразить и даже приготовиться къ встрѣчѣ... И всѣ выгоды, всѣ блага, неизбѣжныя съ такимъ крупнымъ поворотомъ дѣль, блага, вызванныя усиленнымъ наплывомъ спроса и потребностей, цѣликомъ достались въ руки сыновъ Израиля. Всѣмъ же остальнымъ досталось только пользоваться разнообразiemъ впечатлѣній оживившихъ конечно домашнюю и общественную жизнь, города,

пріятными знакомствами — однимъ словомъ, только виѣшностью, а не самую сутью новыхъ событій.

Самая же суть сложилась таимъ образомъ:

Финансовое положеніе землевладѣльцевъ края, помѣщиковъ крупныхъ и мелкихъ, было далеко не въ цвѣтущемъ состояніи; не заложенныхъ имѣній находится въ данную минуту мало, да и врядъ ли находятся даже таковыя. Все и вся опутано долгами и едва только справляется съ ними, а то такъ и вовсе не справляется. Обо всемъ, что только носить характеръ избытка и чистой прибыли, давно уже забыто... и обнищалые помѣщики утратили было всякую надежду на болѣе благопріятный для нихъ поворотъ дѣлъ, апатично отдавшись въ руки жидовъ, подпавъ къ нимъ въ полную, чуть не безвыходную зависимость.

А тутъ еще трехлѣтній неурожай отъ засухи окончательно подкосилъ землевладѣльцевъ, введя ихъ въ новые, еще болѣе тяжелые долги и почти неисполнимыя обязательства.

Тѣ, у кого сохранились еще кое-какіе запасы, смотрѣли на нихъ какъ на мертвый капиталъ, потому что цѣны, искусственно пониженныя жидами, не представляли ничего выгоднаго, денегъ остатъ подъ залогъ этихъ запасовъ, было не откуда; банки, находящіеся въ рукахъ тѣхъ же жидовъ, легко и безпрепятственно снабжавши свою братію, относились весьма недовѣрчиво къ мѣстнымъ землевладѣльцамъ и обставляли займы невозможными условіями. Будущіе урожаи не только на текущій годъ, но даже на два впередъ и болѣе были проданы, во всемъ богатомъ краѣ готовился кризисъ. И вотъ въ такую-то минуту нахлынули современные событія, долженствовавшія поднять на ноги край, открыть ему широкую арену для сбыта своихъ произведеній, дать ему деньги, въ которыхъ онъ такъ нуждался, деньги немалыя, привезенные въ сундукахъ и ящикахъ нашего интенданства, въ частныхъ карманахъ и кошелькахъ великихъ и малыхъ членовъ нашей арміи.

И деньги эти изъ сундуковъ и кармановъ были вынуты скоро, они тамъ не залежались, они разошлись быстро. Самыя необходимыя потребности были именно предметы земледѣлія: нужны были, сѣно, овесъ, мука, крупа, спиртъ, нужно было все то, что могло бы быть доставлено землевладѣльцами непосредственно изъ первыхъ ихъ рукъ, что должно было бы

обогатить именно эти первыя руки. Спрось поднять цѣны, эти цѣны превзошли даже ожиданія съ помощью ихъ открылся легкій выходъ изъ стѣсненного положенія, открылась возможность скорѣе выйтіи изъ заколдованного круга долговъ, сбросить съ себя невыносимо тяжелаго обязательства. Но для поставщиковъ какого-либо предмета первой необходимости арміи, потребовались залоги. Этихъ залоговъ помѣщики внести не могли; покупки изъ первыхъ рукъ малыми партіями, открытиемъ просто складовъ, куда бы могли землевладѣльцы и крестьяне везти то, что у нихъ есть, сдавать и получать непосредственно же чистыя деньги,—къ такимъ простымъ операциямъ прибѣгали только изрѣдка и то въ самыхъ крайнихъ случаяхъ, все же было построено на системѣ крупныхъ подрядовъ, съ обезпечивающими залогами, съ контрактами, неустойками и всѣмъ тѣмъ, что носить сложный характеръ коммерческихъ предпріятій. Такія простыя слова, какъ покупка и продажа, исчезли вовсе изъ употребленія, все называлось неиначе, какъ операциами; какъ, напримѣръ, мучная, спиртная, сѣнная операция и проч.

Я далекъ даже отъ мысли обвинять исключительно интенданство и охотно часть вины, можетъ быть и существенную часть, отношу къ самимъ землевладѣльцамъ, этимъ обиженнымъ первымъ рукамъ.

Для операций не было достаточно данного времени: приходилось производить эти операции быстро, въ очень короткіе сроки, и это-то обстоятельство выдвинуло на сцену евреевъ, несравненно болѣе способныхъ къ быстрымъ оборотамъ, чѣмъ эти апатичные, облѣнившіеся, неповоротливые, недальновидные землевладѣльцы... Большинство изъ нихъ не явились даже вовсе въ интенданство предложить свои услуги, и терпѣливо, сидя по домамъ, выжидали, когда «торба съ овсомъ сама пойдетъ на встрѣчу къ голодной лошади», по мѣстной поговоркѣ, «когда хлѣбъ пойдетъ за брюхомъ» по напії русской пословицѣ. Интенданство можетъ быть и не проще было бы обратиться къ пимъ, но для этого нужны были бы мѣстные дѣятели, хорошо знакомые съ краемъ, съ тѣмъ, гдѣ что лежитъ, откуда что получить можно. Большинство же операторовъ были люди наѣзжіе, изучать край было некогда, время уходило; войска все подходили и подходили, надобно было

работать спѣшио, и поневолѣ пришлось обратиться къ такимъ дѣятелямъ, которые наиболѣе способны на спѣшия операці... Я не знаю, насколько это справедливо, но, по крайней мѣрѣ, на этомъ строятся главные оправдательные мотивы интендантства. Надо отдать полную справедливость интенданству, что колоссальная работы, которая ему предстояли, въ короткій промежутокъ времени доведены до конца, или это окочаніе близко. Эта кипучая дѣятельность, царствовавшая въ обширномъ зданіи кишиневской синагоги (гдѣ отведена квартира для полевого интендантства), заслуживаетъ безспорно вниманія. Я даже готовъ кое-что, не совсѣмъ красивое на видъ, отнести къ числу ошибокъ и неудачъ... только ошибокъ и неудачъ... (а не ошибаться можетъ толькo тотъ, кто ничего не дѣлаетъ) но во всякомъ случаѣ, картина получилась далеко неотрадная, и современный событія не вызвали въ экономическомъ бытѣ производительныхъ классовъ кишиневского района желанныхъ и ожидаемыхъ результатовъ.

---

Съ начала января здѣсь начались порядочные морозы—невыносимая , не то осенняя, не то Богъ вѣсть какая погода, туманная, дождливая, съ какими-то гнилыми оттепелями прекратилась; не знаю надолго ли. Морозомъ сковало невылезнья грязи Кишинева и его окрестностей, и топкія, тяжелыя дороги превратились въ превосходныя шоссе, звонко гремящія подъ колесами повозокъ. Только и слышится кругомъ, и въ военныхъ и не военныхъ кружкахъ: «Вотъ бы теперь заблаговременно, да и выступать, пользоваться, такъ сказать, окрѣпшими путями... съ Богомъ!»..

Да, съ Богомъ!. На каждомъ лицѣ написано это горячее желаніе выступать. Отъ старого до малаго—все проникнуто этимъ желаніемъ, одною мечтою о скоромъ выступленіи; мечтою, ставшую чѣмъ-то завѣтнымъ, желаннымъ, непремѣнно имѣющимъ свершиться и свершиться скоро... Эта увѣренность царитъ прочно въ нашихъ рядахъ, поддерживаетъ ихъ бодрость, энергію, веселить душу и гонить прочь всякія болѣзни и немочи...

А вѣдь, дѣйствительно, гонить прочь. Скопленіе войскъ большое, лѣди и лошади размѣщены тѣсно по крохотнымъ

деревенькамъ и колоніямъ. Въ маленькихъ молдаванскихъ ма-  
занкахъ помѣщается гораздо болѣе, чѣмъ онѣ могутъ вмѣстить.  
Даже при самыхъ изысканныхъ санитарныхъ мѣрахъ и bla-  
гопріятнѣйшихъ климатическихъ условіяхъ, процентъ заболѣ-  
вающихъ долженъ увеличиться, а между тѣмъ, на дѣлѣ вышло  
наоборотъ, этотъ печальный процентъ не только не увеличился,  
но даже уменьшился сравнительно съ тѣмъ, что было при  
постоянномъ, мирномъ, такъ сказать, расположениіи частей...  
Въ настоящее время процентъ заболѣвающихъ не доходитъ  
даже до 2-хъ—небывалый минимумъ, по послѣднимъ свѣдѣ-  
ніямъ 1,75.

Посмотрите на этихъ людей,—молодецъ къ молодцу... Много  
молодежи, безъусой, безбородой, но какіе бодрые, свѣжіе,  
румяные, какой веселый, увѣренный взглядъ, какой смѣлый,  
рѣшительный шагъ и лихая молодецкая выправка!

«Въ здоровомъ тѣлѣ—здоровая душа», или наоборотъ—  
эта аксіома, въ данную минуту, въ рядахъ нашихъ войскъ  
находитъ лучшее себѣ подтвержденіе...

Усиленные, почти нечеловѣческіе труды, продолжительная  
лишенія тяжелой, походной жизни—все это не такъ изну-  
ряетъ русского солдата, не такъ тоготить его, какъ скучная,  
однообразная, медленно тянущаяся казарменная жизнь. Я много  
разъ на своеѣ вѣку видѣлъ солдатъ близко, жиль съ пими  
и имѣлъ слишкомъ много случаевъ убѣдиться въ этомъ выводѣ.  
И замѣтьте: чѣмъ ближе къ цѣли, ближе къ бою, чѣмъ болѣе  
впередъ, тѣмъ солдатъ бодрѣе, веселѣе, и плохо поддается раз-  
нымъ немочамъ и печалимъ. Извѣстно, что въ передовыхъ  
войскахъ всегда бываетъ меньше больныхъ, чѣмъ въ резер-  
вахъ, находящихся можетъ быть и въ лучшихъ санитарныхъ  
условіяхъ.

Здѣсь, въ Кишиневѣ и его окрестностяхъ, я видѣлъ много  
разъ, вижу ежедневно и нашу пѣхоту, и нашу кавалерію, не  
такую блестящую, парадную, какъ вы видите въ Петербургѣ,  
но ей Богу же болѣе грозную на видъ, болѣе соотвѣтствующую  
возложеннымъ на нее належдамъ и ожиданіямъ: видѣлъ и  
артиллерію, немалую, да немалую. Меня даже поразили эти  
безконечныя вереици орудій, проходящія на мѣсто назначенія...  
Я даже узналъ сколько ихъ именно, а вамъ не скажу, по-  
тому не смѣю, да опо и не слѣдуетъ. Скажу только, что очень

много, или, какъ мнѣ выразился одинъ, весьма почтенный генераль: «достаточно».

Всѣ войска, какъ я уже сказаъ, расположены по деревнямъ. Молдаванская деревни, это группы крохотныхъ мазанокъ съ соломенными крышами, съ таковыми же небольшими, тѣсными хозяйственными пристройками. Деревни эти разбросаны большею частію по скатамъ и низинамъ степныхъ балокъ; кое-гдѣ по близости хатъ торчатъ вытянутые въ линію и одинокіе тополи, кое гдѣ видны группы фруктовыхъ садиковъ, на солнечныхъ скатахъ балокъ расположены не хитро разбитые виноградники; общій же характеръ мѣстности, скорѣе степной, ровный и не представляетъ особенной живописности, особенно въ настоящее время, когда деревня оголена и вмѣсто зелени вашъ глазъ не видить ничего, кромѣ снѣжныхъ равнинъ, испещренныхъ чернѣющими проказниками. Вотъ вамъ общая картина окрестностей Кишинева, и дальнихъ, и близкихъ, за весьма небольшимъ исключеніемъ.

Въ такихъ-то деревняхъ и живутъ теперь наши солдаты, занимая молдаванская хаты... Этотъ усиленный постой не можетъ лежать бременемъ на жителяхъ уже потому, что войска проводольствуются самостоительно, что называется, изъ котла. Люди єдятъ хорошо: на каждого человѣка выдается по три (?) фунта мяса, что въ общей варкѣ болѣе чѣмъ достаточно, хлѣбъ превосходный; кромѣ того спиртъ выдается три раза въ недѣлю, а также и чай. Цѣлые дни, проводимые въ занятіяхъ и движеніи на сѣжемъ воздухѣ, возбуждаютъ усиленный аппетитъ, этому аппетиту есть чѣмъ удовлетвориться, а потому блѣдныхъ щекъ и исхудальныхъ лицъ вы здѣсь не увидите вовсе...

Большинство строевыхъ офицеровъ довольствуются тоже изъ общаго котла съ солдатами, и по ихъ отзывамъ, болѣе чѣмъ довольны этою неприхотливою, но за то здоровую, вкусную пищею. Во всякомъ случаѣ, они въ этомъ отношеніи счастливцы, сравнительно съ тѣми, которые состоять при всевозможныхъ безчисленныхъ штабахъ и управлениахъ, расположенныхъ по городамъ и въ самомъ Кишиневѣ; этимъ послѣднимъ приходится обѣдать въ мелкихъ и очень грязненькихъ ресторанаахъ, о которыхъ я еще поговорю въ своихъ очеркахъ современной кишиневской жизни.

На-дняхъ я присутствовалъ при осмотрѣ интенданскихъ транспортныхъ обозовъ. Обѣ этихъ обозахъ и ихъ назначенія я считаю нужнымъ сказать предварительно нѣсколько словъ: при войскахъ существуетъ собственно два рода обозовъ: постоянные, военные обозы, существующіе при каждой части войскъ и временно формирующіеся транспорты, необходимые только въ военное время. Съ первыми наше общество довольно хорошо знакомо. Это тѣ самыя щеголеватыя, однообразно выкрашеные, форменные повозки и ящики, которые вѣроятно каждому приходилось видѣть и на мирныхъ смотрахъ и маневрахъ и просто при всякомъ перемѣщеніи войскъ, однимъ словомъ, всякому представлялись не разъ случаи ознакомиться съ таковыми обозами.

Назначеніе этихъ обозовъ—итти слѣдомъ за боевыми частями, идти по тѣмъ самымъ дорогамъ, по какимъ идутъ и войска, и даже вовсе безъ всякихъ дорогъ, однимъ словомъ—оперировать вмѣстѣ съ войсками въ районѣ военныхъ дѣйствій. Требованія, которымъ должны удовлетворять такие обозы, весьма сложны и постройка ихъ производится тщательно, обдуманно—на основаніяхъ, добытыхъ наукой и опытомъ. Совсѣмъ другое дѣло транспорты, формирующіеся только въ военное время, для нуждъ интенданства. Боевыхъ качествъ отъ такихъ обозовъ не требуется; ихъ назначеніе только перевозить запасы продовольствія виѣ района военныхъ операций; они транспортируютъ между пунктами запасныхъ складовъ и имѣютъ полную возможность выбирать себѣ пути слѣдованія. Требованія, которымъ должны удовлетворять подобные обозы, не превышаютъ требованій обыкновенныхъ сельскихъ обозовъ, подвозящихъ къ городамъ всевозможные предметы сельского производства. Но, несмотря на эти умѣренныя требованія, значеніе такихъ обозовъ въ военное время весьма серьезно, а потому на ихъ сформированіе слѣдовало употребить немало вниманія и заботливости, чтобы послѣ не пришлось каяться, когда зло можетъ быть уже непоправимымъ. На осмотрѣ вотъ именно такого обоза мнѣ и пришлось присутствовать здѣсь, въ Кишиневѣ.

Когда я прїѣхалъ на довольно большую, въ половину нашего Царицына луга, Полицейскую площадь, я засталъ уже сплошные ряды троекъ и парныхъ повозокъ, стройно выстроившіеся на площади. Здѣсь было собрано полное отдѣленіе

транспорта, въ каждомъ отдѣлениіи считается по 1,040 лошадей, всего же въ интенданскомъ обозѣ, собранной подъ Кининевомъ арміи считается около 15,000 лошадей; количество не малое, на сформированіе которого потребовалось много хлопотъ и усилий, особенно если принять въ разсчетъ небольшой, почти недостаточный промежутокъ времени, въ который все дѣло было начато и окончено.

Троечные повозки—всѣ нашего народнаго русскаго образца, т. о. именно принадлежать къ разряду тѣхъ самыхъ повозокъ, неудобный какихъ и выдумать ничего невозможнo. Это повозки на деревянныхъ осяхъ, съ низкими колесами, съ высоко поставленнымъ ящикомъ, неукладистыя и довольно тяжелыя, онѣ имѣютъ всѣ шансы остаться въ грязи, едва только вздумаютъ въ ненастное весенне время свернуть съ шоссированной дороги; парные, дышловые фургончики, на желѣзныхъ осяхъ представляютъ несравненно больше удобства: они устроены цѣлесообразнѣе, больше вмѣщають клади, чѣмъ троечныя, хотя и везутъ только двумя лошадьми, а не тройкою, и несравненно легче на ходу. Жаль только, что такихъ повозокъ гораздо меньше, чѣмъ первыхъ—всего одна пятая часть обоза. Первые повозки, т. е. русскія троечныя, какъ вамъ извѣстно, заготовлялись по волжскимъ губерніямъ и доставлены па мѣсто вмѣстѣ съ дугами и упряжью; если не ошибаюсь, онѣ съ доставкою и упряженіемъ обошлись по 180 рублей—нельзя сказать, чтобы особенно дешево.

При каждомъ отдѣлениіи состоить—не въ видѣ конвоя, а скорѣе въ качествѣ поліції—взводъ донскихъ казаковъ, которые и стояли поодиночки и попарно на флангахъ выстроившихся линій.

Когда начался смотръ, т. е. когда повозки начали проходить по-одиночкѣ на обозныхъ дистанціяхъ мимо начальника штаба и его свиты, я имѣлъ возможность осмотрѣть ихъ подробнo. Надо сказать, что въ движениіи онѣ имѣли болѣе благопріятный видъ, чѣмъ на мѣстѣ. Эти маленькия мѣстныя лошаденки такъ бодро, даже горячо работали, натягивая веревочные постромки, что солдатамъ-возницамъ, неловко сидящимъ на самой верхушкѣ возовъ, приходилось держать ухо востро и не распускать возжей, хотя, впрочемъ, большинство троекъ выѣзжено весьма порядочно. Смотръ таки не обошелся безъ

приключений или, какъ говорятъ моряки, аварій—нѣсколько телѣгъ было сломано, болѣе всего страдали оси и колеса, т. е. самыя существенныя части.

Угѣштительно только то обстоятельство, что на постройку такой повозки требуется только одинъ, слишкомъ хорошо знакомый нашему солдату инструментъ,—топоръ, а значитъ и починка ея не требуетъ большаго, а потому можетъ исполниться на походѣ съ тѣми средствами, какіе есть подъ руками у каждого возницы, между тѣмъ какъ поломка телѣжной оси влечетъ за собою потерю всей повозки, если только по близости не окажется порядочной кузницы, что весьма легко можетъ случиться. Да, и самая починка такой повозки требуетъ несравненно болѣе времени. Какъ видите и за нашу, доморощенную, допотопную русскую повозку есть шансы, по мнѣнію нѣкоторыхъ компетентныхъ лицъ, весьма даже основательные...

Глядя на эту вереницу повозокъ, проходившихъ мимо меня рысцою, на извѣстныхъ интервалахъ, въ продолженіе почти полутора часа времени, мнѣ пришли въ голову слѣдующіе разсчеты: если на каждую повозку положить, конечно съ необходимымъ промежуткомъ, только 13 аршинъ, то отдѣленіе въ 350 повозокъ должно занять не менѣе трехъ верстъ, а такихъ отдѣленій не одно. Представьте же себѣ, весь обозъ, занимающій сорокъ двѣ версты непрерывною линіею, и замѣтьте, что это еще не весь военный обозъ, это только часть его, вслѣдствіе того, что есть еще, какъ я уже говорилъ, специальные обозы при каждой отдѣльной части.

Самый громоздкій предметъ, представляющій наибольшія затрудненія въ нагрузкѣ—это сѣно, хотя бы и спрессованное. На-дняхъ я присутствовалъ при опытахъ нагрузки такого сѣна въ вагоны желѣзной дороги, каждый прессованный тюкъ вмѣщає до четырехъ пудовъ сѣна, которое уменьшено въ прессовкѣ болѣе чѣмъ на половину своего объема; такихъ тюковъ съ трудомъ укладывается на повозку восемь штукъ, да и то возъ достигаетъ слишкомъ большой вышины, причемъ значительно увеличивается его валкость. Въ вагонъ же сѣна укладывается едва только сто восемьдесятъ пудовъ, а принимая въ разсчетъ громадное количество этого предмета, необходимо хотя бы и для однодневнаго продовольствія лошадей всей

армии—не трудно представить себѣ, что это одинъ изъ самыхъ неудобныхъ и затруднительныхъ предметовъ транспортировки.

V.

А пренепріятная вещь вставать въ четыре часа утра для того, чтобы попасть на желѣзную дорогу! Поѣзда изъ Кишинева въ Яссы, т. е. не то что въ самые Яссы, а только до границы, отходить—въ шесть часовъ утра; это очень неудобно, но тѣмъ не менѣе такъ заведено, хотя основательныхъ причинъ для такого раннаго времени выѣзда нѣтъ вовсе. Когда я выѣхалъ, весь Кишиневъ еще спалъ, и по безконечно длиннымъ, узенькимъ улицамъ его предмѣстій не видно было ни одной живой души, кроме стаи собакъ, свирѣпо и назойливо провожавшихъ мои дрожки. Было темно, холодно, сырьо, ни одного огонька въ окнахъ. Только трубы паровыхъ мельницъ усердно извергали цѣлые потоки огненныхъ искръ и густые клубы красноватаго дыма. Не знаю почему, кажется, что какая нибудь изъ этихъ мельницъ сгоритъ непремѣнно и даже очень скоро, а съ нею сгорятъ и локомотивы, и даже все то, что горѣть по своему свойству вовсе не можетъ, сгоритъ что нибудь даже не существующее, и въ графахъ случайныхъ убывковъ по несчастному случаю появятся длинныя-предлинныя цифры, ноли-ноли-ноли... Я не говорю, что все это непремѣнно должно случиться, какъ нѣчто роковое, неизбѣжное,—мнѣ только это кажется, очень можетъ быть даже только потому кажется, что на Руси есть пословица: «пуганая ворона куста боится»...

Вотъ и вокзалъ—тамъ тихо и покойно... Спать начальники станціи, спать кассиры, спать буфетчикъ, прислуга, спать и пассажиры, забравшіеся еще съ вечера, не спать только неугомонные, вѣчно суетливые, беспокойные жіды; какъ тѣни шныраютъ между тюковъ и ящиковъ ихъ темныя фигуры—и слышно... все тѣжѣ «гандели», гешефты цифры, цифры, цифры, цифры, и сливаюсь въ глухомъ, гортанномъ шепотѣ... Звонокъ!.. Все мало по малу оживаетъ, протираетъ глаза, откашливается, потягивается, разыскиваетъ свои вещи, ругается съ просонковъ, вообще начинаетъ пошевеливаться... А поѣздъ все-таки опоздалъ. Вместо назначенныхъ шести—мы выбрались изъ Кишинева въ половинѣ восьмого...

Солнце взошло, т. е. должно было взойти, судя по времени; за тяжелыми сърыми тучами его, впрочемъ, не видно стало свѣтло. Поѣздъ тронулся медленно, и версты двѣ, а то можетъ быть немного и больше шелъ малымъ ходомъ; дорога пролегаетъ низомъ долины рѣки Быка, огибая городъ; грунтъ, по которому пролегаетъ полотно дороги, топокъ и непадежень, Это медленное движеніе дасть возможность вдоволь полюбоваться панорамою Кишинева, который издали, съ того разстоянія, откуда уже не видна эта отвратительная жидовская грязь, откуда не слышенъ невыносимый запахъ чеснока, кажется весьма живописенъ. Весь склонъ горы устланъ крышами домовъ, длинными щелями тянутся улицы, пересѣкаль между собою, надъ всѣмъ этимъ красиво поднимаются колокольни, башенки, стройныя группы тополей... Вотъ и цистерны, уже описаныя мною, со своею кипучею утреннею дѣятельностью, вотъ опять также Инзова гора, вотъ и миллионные склады. Поѣздъ идеть скорѣе... мало по малу все остается назади—п колокольни, и башенки и безчисленныя черепичныя крыши, и гигантскіе бунты мучныхъ тюковъ, все затягивается съроватымъ туманомъ, отходитъ на задній планъ, уступая свое мѣсто другимъ видамъ, другимъ явленіямъ... А дорога все еще идеть низомъ, параллельно болотистымъ разливамъ рѣки «Быка». На замершихъ лужахъ-озерахъ чернѣютъ безчисленныя стаи грачей и воронъ, тамъ и сямъ вытертыми, пожелтѣвшими, щетинистыми низинами вѣнчаются прошлогодніе камыши, грязными, унавоженными линіями тянутся извилистыя дороги; словно грибы, кучками сидятъ приземистыя молдаванскія мазанки; такія же мазанки, только побольше немного, видны и дальше, окруженныя густыми зарослями сливныхъ и грушевыхъ деревьевъ; тамъ обитаютъ владѣльцы покручинѣ, такъ сказать, помѣщики «кандибоу» какъ ихъ здѣсь называютъ, т. е. capt-di bove, что значитъ по-румынски бычачи головы,—название очень мѣткое, существующее уже испоконъ вѣковъ, заимствованное изъ бессарабскаго герба (бычачья бѣлая голова на красномъ полѣ),—но тѣмъ не менѣе весьма подходящее, на столько подходящее, что самъ гербъ кажется специально для нихъ изобрѣтеннымъ являясь официально,—закономъ установленною—сатирою-эмблемою—дѣятельности края и характеристикою его обитателей.

Безжизненно, тупо, одиообразно, безпрогрессивно тягнется жизнь молдаванского помѣщика въ Бессарабії. Съ несчастнаго прутскаго похода Петра, и блестящихъ, побѣдоносныхъ походовъ на турцію Екатерины, великой женщины восемнадцатаго вѣка, оказывавшей тамъ гдѣ нужно столько энергии и рѣшительности, — эта жизнь со всею своею обстановкою тягнется одинаково. Лѣнивый, вялый трудъ, рутинное, чуть не допотопное хозяйствичанье, обильно вознаграждающееся чуднымъ климатомъ и богатою, плодоносною почвою, замкнутая жизнь, жизнь ради удовлетворенія только своихъ наущныхъ, желудочныхъ потребностей, безъ всякихъ высшихъ цѣлей и стремленій; довольство весьма малымъ,—все это не вызываетъ прогресса въ производительности, устрания потребности комфорта и роскоши... Крайняя узкость взглядовъ и развитія скопы въ кованыхъ сундукахъ—серебряныхъ рублей и золотыхъ дукатовъ, мамалыга, длинный чубукъ, кислое вино, засаленные карты, не менѣе засаленный халатъ на мерлушкахъ, сворка борзыхъ или смычекъ гончихъ, полудремотные вѣчные досуги лѣтомъ, въ тѣни фруктоваго сада, а зимою на турецкомъ диванѣ, передъ теплою печкою,—вотъ всѣ элементы жизни молдаванского помѣщика, этого «кандибу»... Все это рождаетъ вялый, тяжеловатый характеръ, вызываетъ на полусонномъ лицѣ выраженіе, весьма соотвѣтствующее названию, необыкновенно какъ похожее на геральдическое, гербовое изображеніе.

Молодые кандибу подростаютъ на родительскихъ жирныхъ хлѣбахъ, — подготовляя къ своему развитію только животныя свои страсти... Имъ скучно въ деревнѣ и они стремятся въ города, въ болѣе жизненные центры... Денегъ въ карманѣ много кутить есть на что, а кстати въ городахъ уже сидятъ всѣхъ родовъ хищники, посвятители во всѣ тайны и прелести разгульной жизни, эти посвятители являются въ лицахъ разныхъ ремонтеровъ, отставныхъ кавалеристовъ, набѣжихъ бароновъ и графовъ, сомнительныхъ гербовъ и происхожденій... Попойки, карты, карты, карты... женщины въ пьяномъ чаду, скандальные подвиги... затѣмъ стѣснительная обстоятельства, а за ними неизбѣжные жиды... Пашенки смотрять сквозь пальцы на происхожденія своихъ телятковъ—«сами, моль, были молоды, сами перешли всю эту жизненную школу» и терпѣливо достаются изъ «скрины» свои рубли и дукаты, выручаютъ сыновокъ, до

новыхъ стѣснительныхъ обстоятельствъ; тамъ опять выручаютъ пока есть возможность, пока не пресытится сама молодежь;— а потомъ?.. Потомъ, какъ неизбѣжная развязка всякой драмы и комедіи, благополучная женитьба на какой нибудь телочкѣ, молочной такой, сытой; нагулявшійся бычекъ возвращается подъ родительскую сѣнь,—а то и подъ женину—халатъ, лѣнивые досуги, трубка, гончія, борзыя, мамалыга, кислое вино... и пошло, и пошло... по стопамъ родителей; затѣмъ новое поколѣніе приплода, новые разгулы, новые стѣснительныя обстоятельства, новые жиды и ремонтеры... сказка *про бѣлого бычка* именно здѣсь получила свое происхожденіе, не даромъ же и на гербѣ бѣлая голова на красномъ полѣ...

Да, гдѣ обстоятельства начинаютъ быть затруднительными, тамъ геніемъ спасителемъ непремѣнно является жидъ. Эти послѣдніе умѣютъ не только во время явиться со своими услугами, но они даже устраиваютъ эти затруднительныя обстоятельства, замѣчательно устраиваютъ и, пользуясь тупостью и недальновидностью своихъ клиентовъ, эксплуатируютъ ихъ не на жизнь, а на смерть, почти не выпуская ихъ изъ своей зависимости... Эта зависимость сознается самими капиталистами, но сознается смутно, какъ нѣчто роковое, неизбѣжное—эта зависимость вызываетъ въ жертвахъ тупую, безсознательную, безсильную ненависть къ потомкамъ Израиля, ненависть впрочемъ покорную, не вызывающую никакого противодѣйствія... Такъ все шло прежде, такъ идетъ теперь, такъ пойдетъ и дальше, на долгое время, по крайней мѣрѣ нѣтъ причинъ сомнѣваться въ этомъ примѣрномъ, жизненномъ постоянствѣ...

Мѣстность начинаетъ волноваться, справа и слѣва тянутся пологіе холмы, за ними даже что-то похожее на горы; на гребняхъ этихъ горъ синѣютъ густые дубовые лѣса, ниже силошной кустарникъ, пріютъ безчисленныхъ волковъ, лисицъ и зайцевъ, раздолѣ для охотника. Молдаванскіе хуторки и деревни попадаются все чаще и чаще. Между горъ, по лощинамъ вьются дорожки и тропы, по нимъ тянутся вереницы воловыхъ подводъ, бойко бѣгутъ мелкія лошаденки, запряженные въ санки и повозочки. Когда смотришь на эти тяжелые воловы возы, и легкія санки,—невольно припоминаются древнія времена, когда перевязочные средства были еще въ первобытномъ состояніи.—Обозы Атиллы и другихъ воителей имѣні

были такого же вида, — тѣ же тяжелыя неуклюжія, не всегда даже круглые колеса, а такъ приблизительно подходящія къ кругу, неотесанныя, не мазанныя, на всю Бессарабію скрипящія оси, все то же самое. А эти санки: взяты два корневища сколочены вмѣстѣ поперечными брусьями, на нихъ поставлена плетеная корзинка воть и все... кое-какъ, чуть не за хвосты привязанная къ такимъ санкамъ пара клять, — нельзя же называть упряжью эти петли шейныя съ веревочками, — въ санкахъ молдаванъ въ росписанномъ бѣломъ тулубчикѣ, непремѣнно съ трубкою въ зубахъ... Дуютъ такія санки — гдѣ попало, не разбирая дороги, оживляя собою эти нагія, покрытыя индѣ еще снѣгомъ, индѣ черными проталинками, змѣевидныя дорожки... По этимъ дорожкамъ, какъ очевидные признаки современныхъ событий, — танутся и стройные военные обозы, тамъ и сямъ видны группы пѣшихъ и конныхъ, надъ первыми группами щетинятся штыки, надъ вторыми длинныя пики, съ флюгерами — значитъ регулярныя, безъ оныхъ значитъ иррегулярныя, гости съ Дона и Кавказа... Это все элементы пришлые... На выѣздахъ изъ селеній, на такъ называемыхъ выгонахъ, зеленѣютъ правильныя линіи артиллерійскихъ парковъ... Гдѣ слышна мелкая дробь барабана, гдѣ заунывные звуки мѣдныхъ рожковъ, даже выстрѣлы слышны по временамъ, это пѣхотинцы практикуются въ стрѣльбѣ, и изъ-за склона балки вылетаютъ и несутся по вѣтру бѣлые клубочки порохового дыма... Запасы сѣна, въ видѣ стоговъ, обнесенныхъ плетнями, съ первого взгляда словно деревеньки какія-то, группируются у опушекъ... У одного изъ такихъ стоговъ донцы, охотники, сдѣлали легкій привальчикъ, огонекъ разложили, жарятъ что-то... Потные кони стоять, понуривъ свои горбоносые головы, за сѣдлами что-то сѣрое висить, въ торокахъ, псы сидѣть, навостривъ уши въ выжидающемъ положеніи... «Станція Каларашъ!..» выкликаетъ кондукторъ... Поѣздъ хрюпитъ, сопитъ, выпускаетъ потоки запаснаго пара и неловко останавливается, на страхъ буферамъ... Пассажиры поднялись, взялись даже за мѣшки и саквойжи, да отъ сильного толчка выпустили все изъ рукъ и опустились снова на свои протертые, засаленные скамейки...

Каларашъ, — это большое мѣстечко, населенное преимущественно жидами здѣсь стоять... здѣсь стоять тѣ войска, которыхъ стоять здѣсь слѣдуетъ; это уже не входить въ доз-

воленные предѣлы корреспонденцій, а потому я прохожу строгимъ молчаніемъ... Если уже говорить, что стоять, такъ это поѣздъ и надо сказать стоять довольно долго, хотя основательныхъ причинъ къ этому продолжительному стоянію и не имѣется... Отсюда поѣздъ идетъ до станціи Корнешти. Мѣстность тянется дальше почти одного и того же характера, только гористый не много и лѣса встрѣчаются чаще... Въ Корнешти я долженъ былъ оставить вагонъ, чтобы воспользоваться любезнымъ предложеніемъ моихъ спутниковъ, свернуть вмѣстѣ съ ними немного въ сторону и навѣстить одного богатаго молдаванскаго помѣщика, кровнаго кондібу, поближе посмотреть на обстановку его дома, что, конечно, меня интересовало очень.

Поѣздъ ушелъ уже безъ насъ и намъ предстояло позаботиться найти лошадей для дальнѣйшаго слѣдованія, что оказалось гораздо труднѣе, чѣмъ предполагали мои спутники. Подвернувшись жидъ, обладатель единственной тройки, заломилъ за одинадцати-верстное разстояніе невозможную, неслыханную цѣну, которую мои спутники не хотѣли дать изъ *принципа*, чтобы *не баловать этихъ мерзавцевъ*, какъ они выражались... На почтовой же станціи намъ было отказано, въ виду скораго прибытія почты, военныхъ потребностей, нахожденія пункта слѣдованія *не по тракту* и по многимъ весьма уважительнымъ причинамъ, настолько уважительнымъ, что случайная встрѣча моя съ старымъ знакомымъ, — комендантомъ станціи Корнешти, разсѣяла всѣ эти причины какъ пухъ по вѣтру и въ наше распоряженіе предоставлены были сани, въ родѣ иною описанныхъ, и четверка разношерстныхъ, заморенныхъ вѣяль, подхватившихъ насъ на полверсты довольно бойко. За этими первыми полуверстами дальнѣйшее слѣдованіе тянулось самымъ медленнымъ шагомъ съ частыми остановками для отдыха. Было еще впрочемъ довольно рано, дорога предстояла не длинная и мы разсчитывали добраться за свѣтло.

Дорога шла почти непрерывными горами, съ крутыми спусками и тяжелыми, длинными подъемами, мѣстами приходилось проѣзжать по дну тѣсныхъ овраговъ. Справа и слѣва тянулись густые лѣса и кустарникъ заросли, на разчищенныхъ скатахъ, обращенныхъ на солнце, расположены были покрытые снѣгомъ виноградники, пестрѣвшіе черными, беспорядочно разбросанными корневищами виноградныхъ лозъ, желтые стебли

табачныхъ плантаций, съ свернувшимися отъ холода бурыми листьями, торчали изъ подъ снѣгу, всюду тянулись и пересѣкались безчисленные заячьи и лисьи слѣды, что-то живое, шуструе тако, мелькало по временамъ въ чащѣ, показывалось на мгновеніе и тотчасъ же стремительно пряталось, заслышавъ тяжелый сапъ нашихъ клячъ, звонкое стеганіе нашего возницы молдавана... Часа черезъ два, а то и больше, пути мы подмылись на крутую гору, съ которой были видны почти всѣ ностройки усадьбы, цѣли нашего путешествія. Намъ теперь предстоялъ еще одинъ спускъ и затѣмъ уже послѣдній подъемъ, прямо въ плетеные ворота съ высокою перекладиной, казавшейся издали чѣмъ-то въ родѣ вѣсилицы, или вообще какого-то орудія пытки и истязанія.

— А вотъ и церковь,—указалъ мнѣ одинъ изъ спутниковъ,—она построена самимъ помѣщикомъ, а попъ для службы приглашается изъ другого прихода, когда помѣщику придется охота молиться.

То, что онъ назвалъ церковью, была простая мазанка, крытая соломой, на конькахъ крыши которой торчало два покривившихся, желѣзныхъ крестика;—не далеко отъ этого храма виднѣлся соломенный навѣсь, на двухъ столбикахъ, а подъ навѣсомъ небольшой колоколъ съ веревкою. Стая грачей уназала всю крышу церкви и колокольни... черныя птицы неподвижно засѣдали на крестахъ, пристально слѣдя за нашимъ движеніемъ, поворачивая свои носатыя головы по мѣрѣ того какъ мы проѣзжали мимо.

Вотъ и ворота... Направо виденъ большой сарай для лошадей, около груды навоза, нѣсколько сломанныхъ повозокъ и саней, коляска съ проломленнымъ бокомъ и распущенными верхомъ; влѣво тоже сарай и тоже груды дымящагося навоза, такъ называемая дровяница съ массивными корявыми, дубовыми колодами и кучами щепы и сучьевъ; посрединѣ дома самого помѣщика, большая мазанка подъ соломенною же крышею съ навѣснымъ, покосившимся на бокъ крыльцомъ,—съ четырьмя окнами на фасадѣ, окнами почему-то прочно защищенными желѣзными рѣшетками и тяжелыми дубовыми ставнями.

— У этого помѣщика состояніе доходитъ до трехсотъ тысячъ,—шепнулъ мнѣ мой спутникъ, когда мы вылѣзли изъ

саней и стали подниматься по колеблющимся, прогнившимъ ступенямъ высокаго крыльца. Мальчикъ, въ короткой сѣрой курточкѣ, гостепріимно распахнулъ намъ дверь на обѣ половины, глупо улыбнулся, получивъ ласковаго подзатыльника, и мы вошли.

Насъ встрѣтила дочь хозяина, смуглай, худощавая молдаванка; меня отрекомендовали какъ заѣзжаго туриста, и хозяйка, съ самою привѣтливою улыбкою, произнесла чисто по русски:— «милости просимъ! Отецъ занятъ, но сейчасъ выйдетъ».

Въ сосѣдней комнатѣ въ это время раздавались громкіе голоса, что-то торговали и о чёмъ-то горячо спорили—оказалось, что это пѣхотные офицеры, пріѣхавшіе за покупкою лошадей для обоза, сторговали было иѣсколько коней, на тысячу рублей, не сходились только въ одномъ дукатѣ, и вотъ этотъ-то злосчастный дукатъ былъ причиной оживленнѣйшихъ переговоровъ.

— Помилуйте,—горячился покупщикъ, типъ стараго служилаго армейца—помилуйте, я бы радъ! всею душою радъ... Что такое дукать? тьфу! одно слово... Но казенный интересъ, казенный интересъ прежде всего...

— Ай, ай, ай... Боже мой!..—стональ и ныль хозяинъ.— Дукать большія деньги... Дукать это...

— Да еслибы мои собственныя — я бы ни слова... Я бы хоть сейчасъ, а то...

— Ай, ай, ай!.. Боже мой... Даромъ, почти сто даромъ... Буланные, напримѣръ, да вѣдь это...

Подали вишневую наливку въ большой бутылкѣ,—пронесли что-то подзакусочнаго характера...

— Казенный интересъ... Не мои же деньги въ самомъ дѣлѣ:—будьте здоровы!..

— Кушайте... опять гнѣдой! Ну, чѣмъ не конь?..

— Домашняя?..

— У меня ничего нѣть покупнаго,—все свое домашнее... и вино, и наливка, и щербеты, и все...

— Это и видно... Такъ какъ же?.. «Здравствуй донышко—прощай винце»... Такъ какъ же? Ну, по рукамъ.

— Ай, Ай! Да, ей же Богу же, не...

И долго еще слышались стоны хозяина, громогласное «казенный интересъ прежде всего», и «будьте здоровы». Порѣ-

шили наконецъ подѣлить дукаль на двѣ половины, хлопнули рука объ руку, раскраснѣвшійся покупщикъ и упрямый продавецъ хозяинъ вышли въ общую комнату, кажется совершенно довольные другъ другомъ.

Хозяинъ былъ уже стариkъ, лѣтъ восьмидесяти, красный и бодрый, безъ лысины, а съ густыми, коротко остриженными, бѣлыми какъ лунь, волосами и такою же короткою бородою... Красное, изрытое морщинами лицо, большою толстымъ носомъ, живые, сверкающіе глаза, щетинистыя брови, нависшія надъ ними самъ одѣть въ короткій бараний тулупчикъ, широкіе, грубаго домашняго сукна шаровары на выпускъ, мягкие сапоги и неизбѣжная турецкая трубка въ рукахъ. Дѣйствительно, по наружности это былъ самый чистокровный кандибау, котораго мнѣ когда либо встрѣчалось мнѣ видѣть. Онъ протанулъ мнѣ свою загрубѣлую, могучую десницу, произнесъ:—«Очень, очень радъ! Прошу садиться»,—и тотчасъ же залегъ на широкій турецкій диванъ, протянувъ ноги на его тикомъ крытыя подушки.

Помѣщеніе дома было распланировано такимъ образомъ: посрединѣ большая комната съ двумя печами, расположеннымъ на противоположныхъ стѣнахъ, комнату эту освѣщали два окна, весьма небольшихъ, почти четыреугольныхъ, задѣланыхъ желѣзными решетками, обстоятельство, производившее пренепріятное впечатлѣніе, по обѣимъ сторонамъ печей находилось по двѣ двери, ведущія въ сосѣднія комнаты... Общий выходъ изъ дома только одинъ—изъ средней комнаты, эта же комната и есть главное мѣсто пребываніе хозяина. Вся мебелировка состояла изъ длиннаго турецкаго дивана съ подушками, стоявшаго во всю стѣну, подъ окнами, двухъ-трехъ грубыхъ стульевъ и такого же стола топорной работы. Въ простѣнкахъ между окнами висѣли накрестъ охотничыи ружья и нѣсколько лисьихъ шкуръ, по угламъ тоже стояли ружья; ложи турецкаго образца, стволы рострубомъ, замки кремневые, изъ-подъ диванной подушки, въ головахъ у хозяина тоже торчали ружейный прикладъ и переплетъ какой-то старой церковной книги съ застежками. Обѣ печки жарко топились и на пригрѣтыхъ мѣстахъ лѣниво потягивались въ сладкой дремотѣ два жирныхъ рыжихъ кота, любимцы хозяйки. Убранство боковыхъ комнатъ было совершенно одинаково: тѣ же турецкіе диваны, тѣ же окошки съ желѣзными решетками — только въ одной

изъ нихъ стояли три сундука, скрывал, окованные жестью и желѣзными полосами, запертые тяжелыми висячими замками... Въ открытую дверь одной изъ этихъ комнатъ виднѣлась толстая ожирѣвшая отъ старости барыня въ платкѣ и ватной куцавейкѣ, барыня эта была сестра хозяина и занималась въ эту минуту, да и во всѣ остальныя, раскладываніемъ гранпасьянса, усердно шлепая по крышкѣ сундука до нельзя засаленными картами.

Разговоръ начался по обыкновенію съ погоды, перешель на политику: «скоро ли, моль, война начнется и прійдутъ ли турки въ Кишиневъ», затѣмъ хозяинъ сдѣлалъ быстрый скречекъ на жидовъ, выругалъ ихъ самымъ непечатнымъ образомъ и со вздохомъ произнесъ:

— Вѣрите ли... какъ васъ зовутъ? извините запамятали. Еслибъ Господь привелъ хотя бы одного жидовину собственными руками повѣсить, умеръ бы тогда покойно.

Кандибоу, кровный, истый кандибоу...

Подали обѣдать...

Грязная сервировка, грубая салфетки, страшно! губы свихнуть можно такими салфетками. Студень, приправленный до невозможности чеснокомъ, жирная, жареная индѣйка, мамалыга, т. е. кукурузная мука, обваренная кипяткомъ и довольно порядочное домашнее вино, затѣмъ опять разговоры о погодѣ, о политикѣ, о томъ, скоро ли прійдутъ турки въ Кишиневъ и такъ до сумерекъ, до вчерашняго чая «съ дульчесами» (дульчесы, слово, происшедшее съ итальянского, какъ и весь русмынскій языкъ, означаетъ сладости), затѣмъ ужинъ, ни въ чемъ не уступающій обѣду и въ девять часовъ вечера—спать... Это обязательно для всѣхъ, и постоянныхъ, и случайныхъ обитателей дома. Хозяинъ, какъ я уже сказалъ, ложится въ средней комнатѣ, откуда выходъ изъ дому, гости и прочие живущіе въ боковыхъ. Помимо хозяина не взойти, ни выйти, невозможно, и при каждомъ подобномъ покушеніи вы разсчитываете услышать громкое, довольно грозное, хотя и нѣсколько тревожно, хозяйское:—«Кто идетъ?» Иногда этотъ окликъ сопровождается протягиваніемъ руки къ прикладу оружія, лежащаго подъ изголовьемъ.

Все это, начиная съ планировки дома и до мелочныхъ обычаевъ и привычекъ, все это остатки еще прежниаго турец-

каго владычества, прежнихъ привычекъ, удивительно какъ прочно сохранившихся здѣсь, передаваемыхъ по завѣщанію отъ дѣда къ отцу, отъ отца къ сыну...

Въ восемь часовъ утра уже весь домъ на ногахъ, это зи-  
мою, лѣтомъ же гораздо ранѣе. Я воспользовался этимъ ран-  
нимъ вставашемъ и до отъѣзда успѣлъ осмотрѣть всѣ приспо-  
собленія для выдѣлки вина, приспособленія весьма должно быть  
похожія на тѣ, съ помощью которыхъ библейскіе братья ша-  
луны, надавили вина и удоили своего престарѣлого родителя Ноя.

Мнѣ даже повозочку, такъ называемую нетычанку,—съ па-  
рою лошадокъ, чтобы довезти меня до станціи Корнешты, не  
до той, откуда мы прѣѣхали, а другой, ближе... Я распрос-  
тился съ гостепріимнымъ хозяиномъ, причемъ дѣло не обош-  
лось безъ цѣлованія, и поѣхалъ. Какъ ни скверно было ѿхать  
на саняхъ, но на колесахъ, безъ рессоръ, по этимъ твердымъ,  
замерзшимъ колчамъ ѿза просто мученье... Какія нибудь пять  
верстъ показались мнѣ за сотню и къ величайшему моему уди-  
вительствію, мы доѣхали таки до желѣзнодорожной будки, рас-  
положенной у входа въ селеніе—здѣсь ничего еще не устроено  
для пассажировъ и приходится ждать прибытія поѣзда на то-  
крытомъ воздухѣ, что въ пенастную погоду не совсѣмъ пріятно.  
На мое счастье, впрочемъ, день былъ довольно споспѣшный, хотя  
и сѣрый. Подѣхавъ къ санціи, я уже засталъ нѣсколько ожи-  
дающихъ пассажировъ, сидящихъ на своихъ чемоданахъ и  
нетерпѣливо поглядывающихъ вдалъ, по линіи рельсовъ.

Ожидать, впрочемъ, пришлось недолго.

Отсюда до Унгенъ, т. е. до граничнаго пункта, съ ко-  
торымъ сходится яссная вѣтвь желѣзной дороги, всего двѣ  
станціи, около тридцати пяти верстъ, и еслибы только не эта  
проклятая насыпь за Корнештами, вѣчно обваливающаяся, а  
потому опасная, то поѣздъ могъ бы въ часъ времени пройти  
это разстояніе. Благодаря же насыпи, поѣздъ долго идетъ са-  
мымъ малымъ ходомъ, на что много тратится времени, да хо-  
рошо еще если ходитъ, а то и вовсе останавливается и пасса-  
жирамъ приходится искать другихъ способовъ передвиженія.

До первого января сего года было только два поѣзда въ  
недѣлю, ходившихъ между Кишиневомъ и Унгеными, по чет-  
вергамъ и воскресеньямъ, между тѣмъ какъ отъ Яссъ къ Унге-  
намъ поѣзда ходили ежедневно. Румыны надумались и рѣшили

тоже отправлять поезды изъ Яссъ два раза въ недѣлю, именно съ первого января, когда наши рѣшились-таки на ежедневную отправку поездовъ, вышло тоже самое, только ролями помѣнялись, что весьма неудобно для пассажировъ, ѿдущихъ заграницу и попавшихъ не на срочный поездъ. Такъ случилось и со мною. Въ Унгены я пріѣхалъ въ пятницу и мнѣ пришлось выбрать одно изъ двухъ: или ждать до воскресенья, или ёхать въ Яссы на лошадяхъ; само собою разумѣется, что я предпочелъ послѣднее.

Въ Унгенахъ наша таможня и жандармское отдѣлѣніе для осмотра и визировки паспортовъ. Все это дѣлается, конечно, медленно, съ безкopeчными затрудненіями и проволочками. Я нацялъ еврея съ коляскою и четверкою лошадей, сѣль уже, чтобы ёхать, да опять бѣда! Жандармъ узналъ въ рыжемъ жидѣ, моемъ извозчикѣ, одного изъ самыхъ отчаянныхъ контрабандистовъ и задержалъ его, а такъ какъ другого возницы не оказалось, то мнѣ пришлось бы худо, еслибы начальникъ станціи не посовѣтовалъ ити *заграницу пышкомъ* и тамъ уже, на томъ берегу «Прута», нанять лошадей. Я такъ и сдѣлалъ. Таможенный солдатъ подхватилъ мой чемоданчикъ и мы отправились по способу пѣшаго хожденія. Рѣка Прутъ въ этомъ мѣстѣ довольно широка и имѣетъ крутые обрывистые берега; черезъ рѣку перекинутъ желѣзный висячій мостъ на фермахъ, по которому пролегаютъ желѣзно-дорожные рельсы. По эту сторону нашъ таможенный сторожевой пикетъ, по ту—румынскій. Едва мы перебралисъ черезъ мостъ, какъ начались опять затрудненіе, слова потребовалось визировать мой бѣдный паспортъ, что нигдѣ въ другихъ мѣстахъ не дѣлается; это обстоятельство задержало меня еще на полчаса, время, которымъ я воспользовался для пріисканія себѣ экипажа. Случайно я его отыскалъ очень скорѣе почти у самого моста. Извозчикъ изъ Яссы привезъ сюда на границу какого-то пассажира и теперь готовился ёхать обратно. Я сѣль въ щегольскую двухмѣстную карету, запряженную парой въ шорной упряжи и поѣхалъ.

Странная вещь, право! Вѣдь вотъ повидимому все одно и то же; и люди тѣ же и языки тотъ же и вѣра, все, а совсѣмъ не то... зашелъ передъ отѣздомъ позавтракать, мнѣ и сервирировали чисто, и подали хорошо, понадобилось ёхать, дали прекрасный покойный экипажъ, пришлось ёхать по проселоч-

ной дорогѣ... Вѣдь и здѣсь была слякоть, тоже дожди, а по-  
томъ сильные морозы, а дорога лучше, хотя пролегаетъ по  
одинаковому грунту. Незначительныя канавки, вырытыя по  
сторонамъ, дѣлаютъ свое дѣло, осушиваютъ дорогу, не даютъ  
застаиваться на ней дождевымъ лужамъ... Да почему же у  
насъ этихъ канавокъ не выроютъ?.. Изгороди у садовъ въ  
порядкѣ, предъ крылечками тѣхъ же самыхъ молдаванскихъ  
хотя мазанокъ чисто, подметено, не видать ни битой посуды,  
ни навозныхъ кучъ. Поля, виноградники, сады, все это рас-  
планировано правильно, не такъ беспорядочно и безтолково,  
какъ на нашей сторонѣ... А вѣдь жители, воздѣлыватели этихъ  
садовъ и полей, одни и тѣ же молдаване, кого же винить  
надо въ этой невыгодной для насъ разницѣ? Неужели же это  
свойство береговъ рѣки Прута, что вотъ моль лѣвый берегъ  
вліяетъ невыгодно и не допускаетъ порядочности, а правый  
напротивъ—вліяетъ выгодно, располагаетъ къ порядку, къ  
уютности, гонить прочь все неряшливое, безтолковое, беспечное...

Дорога тянется проселкомъ, по самому берегу рѣки, пока  
не выберется на шоссе, идущее изъ Скулянъ до Яссы... По  
желѣзной дорогѣ отъ Унгенъ до Яссы считается всего только  
шестнадцать верстъ, а по объездной дорогѣ почти вдвое,—по  
благодаря прекраснымъ, сытымъ лошадямъ и легкому экипажу,  
я почти нозамѣтно проѣхалъ это разстояніе, и передъ вече-  
ромъ, еще засвѣтло, увидѣлъ передъ собою туманную панораму  
столицы Молдавіи.

## VI.

Вотъ уже трое сутокъ, какъ я въ предѣлахъ Румыніи, и  
трое сутокъ меня преслѣдуєтъ политика. Это маленькое кля-  
жество, которое во все смутное время Балканского полуострова  
вело себя *паинькой и не шалило*, въ настоящую минуту  
ничѣмъ больше не занимается, какъ только политикою. На  
улицахъ, въ магазинахъ, въ вагонахъ желѣзной дороги, въ  
гостинницахъ, въ церквяхъ, въ театрѣ, всюду — только и  
слышна политика, политика и политика. Послѣ большого ге-  
нерального сраженія больше всего толкуютъ и критикуютъ ма-  
невры—обыкновенно самые маленькие офицерики; о какомъ-  
нибудь крупномъ произведеніи маэстро больше всего судятъ и

рядъять ученики, о важныхъ семейственныхъ вопросахъ энергичнѣй всякаго разсуждаютъ дѣти, о женщинахъ и достоинствѣ сигаръ лиценсты и правовѣды, пажи и подпрапорщики; таковъ ужъ должно быть законъ природы, а по сему же закону природы о политикѣ неустанно разсуждаетъ и предрѣшаетъ вопросы крохотная *панинка Румынія*.

Во всѣхъ дѣлахъ застой, торговли нѣтъ никакой, кредита тоже, положеніе натянутое, ненормальное, обѣ чѣмъ же и говорить, какъ не о политикѣ. И какъ наивны всѣ эти толки, въ какіе дѣтскіе образы складываются политическіе резюме... напримѣръ: Турція—это свирѣпый гигантъ, который спалъ, но теперь проснулся и готовится проглотить вселенную—«сильнѣе кошки звѣря нѣтъ». Англія это нѣчто въ родѣ Ніагары золота, самаго могущественнаго оружія въ мірѣ, Австрія—это страна ингригъ и разныхъ хитростныхъ козней и коварныхъ замысловъ, Германія, впрочемъ Германіи не существуетъ вовсе, она вся состоитъ только изъ одного лица, съ высокими лысыми лбомъ, съ тремя волосами, съ щетинистыми усами и суровымъ взоромъ лицо это молчить и ждеть, но рано или поздно оно, однимъ мановеніемъ пальца разрѣшить разомъ всѣ сложные вопросы, разсѣть всѣ хитро заплетенные гордіевы узлы; наивнѣе же всего въ мозгахъ румынскихъ политиковъ складывается понятіе о Россіи—эта страна, изволите ли видѣть, когда-то была довольно сильная, но въ настоящую минуту слабѣе даже Румыніи. Она раздирается внутренними смутами, казанская исторія разрослась здѣсь до размѣровъ колосальной, всеобъемлющей революціи, не въ силахъ даже справиться съ этими внутренними смутами. Армія ея деморализована, плохо вооружена, финансы хуже турецкихъ... Послѣдняя война въ Сербіи уничтожила послѣднія силы Россіи; туда, видите ли, были посланы всѣ войска и израсходованы всѣ капиталы, и если Россія надѣется въ настоящую минуту на что-нибудь, такъ это только на поддержку Румыніи. Въ Россіи даже нѣтъ вовсе способныхъ генераловъ, поѣздка туда Донъ-Карлоса объясняется именно этимъ недостаткомъ... Вотъ моль вамъ настоящій полководецъ! И это все толкуется тутъ, откуда постоянноѣздать въ пограничный мѣста Бессарабіи и могутъ лично, своими глазами видѣть нашу блестящую, сытую, довольною, хорошо вооруженную, рвущуюся въ бой армію.

Ну такъ вотъ и слышатся юноши лицеисты и правовѣды, столпившіеся въ фойѣ театра Буффъ: «Ну что ты нашелъ, Мишель, хорошаго въ своей подслѣповатой Мокуръ. Вотъ я тебя свѣзу къ моей Додо... Это, братецъ мой, женщина... огонь, страсть, буйство и все прочее!..

— А что скоро начнется война?—спросилъ меня первый румынъ, мой извозчикъ, еще въ Унгенахъ.

— Русскіе выступили уже?—спросилъ меня, съ первыхъ же словъ, хозяинъ гостиницы «Европа» въ Йссахъ—monsieur Glantz... Горничная принесла чистое бѣлье для моей постели и устроила ее провосходно я замѣтилъ ей это и поблагодарилъ, та глубоко вздохнула.

— Чего же вы это?—полюбопытствовалъ я.

— Ахъ, Боже мой, что мы будемъ дѣлать, когда сюда прѣдуть турки?—вздохнула она еще разъ и чуть не расплакалась...

Мнѣ отвели за три франка крошечный номеръ: холодный, нетопленный; за корзиночку дровъ взяли чуть не по франку за полѣно.

— Почему же такъ дорого?

— Вѣдь вы знаете какое нынче время,—таинственно сообщилъ мнѣ номерной кельнеръ.

Газеты въ рукахъ у каждого, даже кучера сидятъ на козлахъ съ газетами въ рукахъ и неохотно отрываются отъ нихъ, когда надо браться за возжи. За обѣдомъ, за каждымъ блюдомъ слуга непремѣнно или сообщаетъ вамъ какую-нибудь политическую новость, или задаетъ вамъ самимъ самый наивный вопросъ политического характера. Всё это, наконецъ, становится невыносимымъ, и вамъ много надо самообладанія, чтобы не разсердиться и не послать къ черту кого-нибудь изъ этихъ политиковъ.

Вчера я сидѣлъ въ театрѣ, въ креслахъ, смотрѣлъ раздирательную драму «Катерина Говардъ», около меня сидѣлъ щеголеватый румынскій гусаръ, офицеръ, крутилъ усы и внимательно меня осматривалъ; я только одного боялся, чтобы онъ не заговорилъ со мной о политикѣ,—но то, чего я боялся, то именно и случилось. На мою бѣду онъ услыхалъ, какъ я въ антрактѣ заговорилъ по-русски съ однимъ изъ соотечественниковъ, гусаръ насторожилъ уши и, улучивъ минуту, спросилъ:

— Вы знакомы съ послѣдними новостями изъ Константинополя?

Я сдѣлалъ видъ, что ужъ очень занятъ пьесою и не разслышалъ вопроса,—это не помогло. Сосѣдъ повторилъ свой вопросъ и даже вѣжливо, чуть-чуть докоснулся до моего локтя.

— Отчасти,—отвѣчалъ я уклончиво и не безъ досады въ голосѣ.

— Кажется придется намъ драться,—забарабанилъ онъ пальцами по металлическимъ ножнамъ своей сабли.

— Кажется...

— Что, позвольте узнать, Россія готова къ войнѣ? я спрашиваю собственно о русской арміи...

— А ваша армія готова?—я оборвалъ при этомъ кусочекъ ни въ чемъ неповинной афиши...

— Наша армія всегда готова въ бой... Вы знаете, вѣдь у насъ—не такъ какъ у васъ... Мы готовы!

Гусаръ снова забарабанилъ пальцами по саблѣ, повель молодецки плечомъ и выпятилъ шитую шнуркомъ грудь венгерки.

— Я не сомнѣваюсь въ боевой готовности вашихъ войскъ—но готово ли ваше военное министерство, заготовлены ли склады провіанта, перевязочные средства... Сколько мнѣ кажется...

— Все это вздоръ, намъ этого ничего не нужно,—улыбнулся мой гусаръ.—Объ этомъ должно заботиться русское интенданство; я слышалъ, что уже со стороны князя сдѣлано распоряженіе въ Кишиневъ...

— Вы думаете?..

Какъ я ни былъ золь на политика, но ей-богу чуть не расхохотался, слыша подобную наивную нелѣпость, да еще сказанную такимъ увѣреннымъ тономъ.

— Если мы будемъ драться впереди русскихъ войскъ за Россію, то ужъ насчетъ нашего стола это, безспорно, ея забота... А что вы думаете насчетъ того, гдѣ русскіе думаютъ переходить Дунай?

Я не отвѣчалъ, только покачалъ плечами, ничего, молъ, объ такихъ дѣлахъ и не думаю...

— Я бы посовѣтовалъ ичъ не переходить его вовсе,—назойливо приставалъ неугомонный политикъ.

— Я бы васъ покорнейше попросилъ позволить мнѣ слушать пьесу,—сорвалось-таки у меня съ языка.

— Ого!—произнесъ озадаченный гусаръ, брякнулъ ножнами о ножку кресель, скрестилъ на груди руки, нахмурился и все-таки оставилъ меня въ покой.

Спектакль кончился довольно поздно, я вышелъ изъ театра и пошелъ пѣшкомъ. Яссы еще не освѣщены газомъ и тусклыя керосиновые лампы уличныхъ фонарей мигаютъ подслѣповато, слабо освѣщающе широкія и чистенькія улицы. Магазины были закрыты, двери кондитерскихъ и ресторановъ горѣли безчи-сленныхъ огнями, освѣщающими передъ собою значительное пространство. Вотъ въ такомъ-то свѣтломъ мѣстѣ я замѣтилъ толпу человѣкъ въ пятнадцать, нерѣшительно остановившуюся передъ дверьми,—войти, моль, или не войти?.. Я подошелъ ближе. Русскіе голоса, русскія рѣчи! Такъ и есть,—это наши добровольцы, возвращающіеся на родину... Боже мой, въ какомъ они видѣ! въ сербскихъ солдатскихъ шинеляхъ, на головахъ у кого военное кепи, у кого баранья, вытертая, заношенная шапка, у кого даже турецкая феска, сапоги не у каждого, большинство въ грязныхъ опанкахъ. Были здѣсь и съ подвязанными руками, были и съ повязками на головахъ... Не зажили еще должно быть дьюнишскія раны, бѣднаги! Можетъ быть это были остатки батальона, который одинъ дрался противъ всей турецкой арміи, и когда все вокругъ бѣжало, объятое паническимъ страхомъ, онъ одинъ не побѣжалъ, а отступилъ, одинъ не былъ разбитъ, хотя и уничтоженъ чуть не на половину... И вотъ теперь стоять они тутъ, передъ дверьми скромной ресторациі, пересчитываютъ мѣдяки на мозолистыхъ, загрубѣлыхъ ладоняхъ, хватить ли, моль, этихъ грошей на стаканъ дешеваго, кислаго вина, на кусокъ брынзы, сухого овечьяго сыра... Грустное, тяжелое впечатлѣніе произвела на меня эта толпа оборванцевъ... Скрипнула дверь, оттуда вышелъ широкоплечій старикъ съ сѣдыми усами, въ русскомъ полушубкѣ, съ георгіевскимъ крестомъ на груди и цѣлымъ рядомъ медалей.

— Нѣтъ, братцы, здѣсь чистая, цѣны высокія, не по карману... гайда дальше!—объявилъ онъ своимъ товарищамъ. Толпа колыхнулась, тронулась и пошла куда-то въ темный переулокъ, шлепая по жидкой грязи своими опанками.

Я вернулся въ гостиницу положительно разстроенный этою встрѣчою и въ самомъ скверномъ состояніи духа, и всю ночь грезились мнѣ—эти худыя лица, эти повязки, эти мѣдяки, звякавшіе въ заскорузлыхъ ладоняхъ, всю ночь слышалось:— «нѣть, братцы, здѣсь чистая, цѣны высокія, не по карману»...

А все-таки, сами по себѣ Яссы городокъ очень не дурной, чистенький, красивый на видъ и жизнь въ немъ сложилась на ладъ чуть-чуть что не европейскій. И съ первого раза, и послѣ, когда уже успѣешь приглядѣться, Яссы производятъ весьма пріятное впечатлѣніе. Нижняя, старая часть города, по обыкновенію, тоже заселена преимущественно евреями, я это замѣтилъ еще бѣзжая въ Яссы, въ пятницу вечеромъ, какъ разъ въ начало шабаша, замѣтилъ по шабашевымъ свѣчкамъ въ каждомъ почти окошкѣ низенькихъ домиковъ. На эту часть города, конечно, евреи уже наложили свою обычную печать, за то остальные части положительно блещутъ своею чистотою, изящною архитектурою и миловидностью домовъ, больше частю одноэтажныхъ, рѣдко двухъ-этажныхъ, крытыхъ листовою жестью, что очень красиво, особенно въ солнечный день, когда городъ издали кажется серебрянымъ. Почти у каждого дома дома растутъ красивыя группы деревьевъ, разбиты полисадники съ разнообразными садовыми затѣями; улицы и тротуары асфальтовые; изящныя извозчики коляски и фаэтоны и роскошные ландо обывателей катятся по нимъ безъ стука и грохота. Лучшая улица, безспорно, «Strada carpо», идущая отъ центра въ гору и мало-по-малу переходящая въ длинную, тѣнистую загородную аллею для прогулокъ; это самая аристократическая улица Яссы, мѣсто катаній молдаванской знати. Здѣсь вы можете почти постоянно, въ хорошую, конечно, погоду, видѣть всю ясскую аристократію, стариковъ мужей и ихъ молоденькихъ женъ, большею частью красавицъ. Вообще, въ Молдавіи замѣтень обычай рано выходить замужъ и поздно жениться—отъ этого неравенства браковъ должно быть и произошло, какъ неизбѣжный результатъ, легкость нравовъ молдаванскихъ красавицъ, ожидающихъ въ данную минуту съ нетерпѣніемъ прибытія нашей арміи. Не могъ, чтобы не окончить политикою,—такое должно быть заразительное вліяніе ясского воздуха.

## VII.

А право—славная страна Румынія, покрайней мѣрѣ та ея часть, которую я до сихъ поръ видѣль. Когда ёдешь по желѣзной дорогѣ изъ Яссы въ Галацъ, прорѣзывающей съ сѣвера на югъ пополамъ всю Молдавію, нельзя не залюбоваться прелестными пейзажами мѣстности, видимымъ довольствомъ, чуть не сытостью ея обитателей. Не смотря на то, что въ настоящую минуту природа Молдавіи представляется въ выгодномъ видѣ,—тучные пажити и виноградники покрыты снѣгомъ, ручьи и озерки льдомъ, деревья оголены, на небѣ повисли сѣроватыя тучи, а все-таки не трудно замѣтить, что природа эта не мачиха для молдаванъ, а родная мать, да какая еще мать—нѣжная, любящая, предупредительная и наказывающая только изрѣдка, и то развѣ уже за непростительные проступки своихъ чадъ, напр. колоссальную лѣнность или что нибудь въ этомъ же родѣ.

Впрочемъ, хотя лѣнность молдаванъ и вошла даже въ пословицу, однако, когда смотришь на эти поля, сады и виноградники, приходишь къ выводу, совершенно противоположному. Тянутся равнины, съ легкими покатостями, видишь, что эти равнины хорошо разработаны, правильно разбиты на участки, между участковъ проложены дорожки, ровныя, съ боковыми канавками, деревца кое-гдѣ насажены, а не то что сами по себѣ зря выросли; начинаетъ мѣстность волноваться, горками пошла,—на всѣхъ солнечныхъ скатахъ виноградники, хорошо присмотрѣнны, индѣ даже соломкою прикрыты отъ морозовъ (въ Бессарабіи у насъ вы уже этого не найдете вовсе), смотришь на сады,—и тамъ видна хозяйская рука, хозяйствій глазъ, предусмотрительный, заботливый. Старые, развѣистыя яблони стоять рядами, корни окопаны, длинныя нависшія вѣтви подперты рогатками, заборы и плетни въ порядкѣ, не топорщатся во всѣ стороны, не сквозятъ на свѣтъ безчисленными дырямами и пролазами, около воловцевъ чисто, даже пескомъ посыпано, чтобы не скользко было,—самыя мазанки, такія же какъ и у насъ, а выстроены лучше: и стѣны-то прямые, и окошки прорѣзаны правильно, и карнизы выведены, мѣстами даже съ затѣями,—видно, что при постройкѣ употреблялся и отвѣсть, и наугольникъ,—не тяпъ да ляпъ, какъ само

выйдетъ,—благо не валится. Да, молдаване умѣли-таки у себя устроиться за это короткое время своего, «въ нѣкоторомъ родѣ самостоятельного существованія»—они уже теперь сами себѣ господа, хотя, впрочемъ, никакъ еще не могутъ отдѣлаться отъ нѣкотораго почтительного страха къ туркѣ,—я говорю «почтительшаго», потому что нахожу этотъ эпитетъ чрезвычайно какъ подходящимъ. Болгаринъ, напримѣръ, нечего грѣха таить, сильно боится турку, да нельзѧ ему и не бояться, слишкомъ уже напуганъ, всю жизнь свою и жиль и живеть теперь подъ страхомъ, но онъ его боится непочтительно; онъ угрюмо молчитъ, когда турка около, молча терпитъ и гибнетъ; за то, только что удалось ему свободно вздохнуть, онъ сейчасъ же начинаетъ бѣшенно ругаться, онъ уже не скрываетъ своей накицѣвшей злобы и ненависти; сербъ хитрѣе: онъ въ глаза хвалитъ своего притѣснителя, ластится даже къ нему и подчасъ подличасть, а за глаза все-таки ругаетъ не стѣсняясь и жалуется на свою долю встрѣчному и попеченному: русскій попадется—такъ русскому, нѣмецъ—такъ нѣмцу, англичанинъ—такъ англичанину, и у каждого-то особо, конфиденціально такъ сказать, защиты и покровительства просить; черногорецъ почти что не боится, ненавидить турку отъ души и рѣжетъ ему носъ и голову открыто, не стѣсняясь особенно никакимъ политическимъ приличиемъ, боснякъ боится, ненавидить и рѣжетъ тоже, но рѣжетъ изподтишка, гдѣ-нибудь въ укромнѣмъ мѣстечкѣ. Румынъ (молдаванъ или валахъ все едино)—тоже не особенно долюбливаетъ турку, тоже и у него за старое накипѣло, но онъ не ругается, слова дурного не скажетъ лишняго, а почему?—почтительный страхъ питаетъ: «А ну какъ опять изъ-за Цуная наѣряпеть, да начнетъ производить слѣдствіе.

Страхъ передъ туркой—это въ Румыніи явленіе хроническое. Надо только поводъ, а въ поводахъ недостатка не бываетъ. Вотъ, напримѣръ, недавняя суматоха: на рѣкѣ Серети и съ турецкимъ пароходомъ, который зашелъ въ устье Серети по случаю сильныхъ вѣтровъ на Дунай. Румыны открыли цѣлый злодѣйскій планъ. «Планъ турецкій состоялъ въ томъ,—чтобы подвести мины подъ мостъ Серети и взорвать его, а тѣмъ самымъ задержать наступленіе русской арміи, арміи, ежели бы таковая наступала пользуясь опенгеймовскими рель-

сами». — Прошло уже три недѣли съ этого приключенія, но и теперь даже обѣ немъ говорятьъ.

Стали холода усиливаться, Дунай началь было замерзать по берегамъ, опять тревога, чтобы рѣка, какъ-нибудь, на бѣду румынамъ, совсѣмъ не стала — вѣдь тогда по льду очень удобно будетъ туркамъ гдѣ угодно переправляться, вышлютъ конныхъ патріи черкесовъ, или бashi-бузуковъ и пошла писать. Пока тамъ еще придетъ русская армія. Хотя у румыновъ и свои есть войска, храбрыя, пѣтушащіяся донельзя, готовыя одни драться и даже за Россію заступиться въ видѣ одолженія, но румыны своимъ войскамъ не совсѣмъ-то довѣряютъ; молоды еще, не опытны, какъ бы ихъ какой бashi-бузукъ не обидѣлъ. Обидѣть-то ихъ, положимъ, бashiбузукъ и не обидить, потому что войска какъ войска, сколько я ихъ тутъ не видѣлъ — хорошо вооружены и не дурно выучены и драться будутъ если съумѣютъ ихъ повести, но что молоды, это правда.

— Скоро-ли пріѣдуть русскіе? — это вопросъ дня, вопросъ, который вертится на языкѣ у каждого и въ этомъ вопросѣ, опять-таки задаваемомъ шепотомъ, а не полнымъ голосомъ, сказывается все тотъ же вѣковой, хронический страхъ къ туркамъ, а потому шепотомъ, что страхъ-то все-таки — въ иѣкоторомъ родѣ почтительный.

Поѣздъ подходилъ въ сумерки къ интересному мосту, и не мечтавшему вовсе обѣ исторической извѣстности, солнце зашло, и только гребни крутого берега рѣки чуть-чуть золотились, внизу же чернѣли густые дубовые лѣса, подступавшіе вплотную желѣзной дороги. Поѣздъ пошелъ тихо, его колеса глухо гудѣли по желѣзной настилкѣ.

— Да, еслибы во время не предупредили, была бы катастрофа, — унылымъ голосомъ, качая головой, произнесъ мой сосѣдъ, не обращаясь ни къ кому особенно, а такъ, словно про себя, въ пространство...

Я понялъ, о чѣмъ шла рѣчь и сочувственно вздохнулъ, произнеся тоже вслухъ: — Да, это было бы большая непріятность!

Мой сосѣдъ внезапно ожился и тутъ же принялъся рассказывать мнѣ, въ мельчайшихъ подробностяхъ, сотый разъ слышанную мною исторію. Онъ даже сообщилъ, что уже приняты мѣры, строится укрѣпленіе по близости, на берегу рѣки, что даже прїѣжалъ русский полковникъ, который самъ и мѣсто

выбиралъ для постройки. И теперь, окончилъ онъ свой разсказъ, нагнувшись къ самому моему уху—пускай сунутся, пусть попробуютъ!..

Отъ Техуча до Галаца—часа два пути. Мы подъѣхали къ городу, когда уже было совсѣмъ темно, и только тысячи огоньковъ, замелькавшихъ въ правыхъ окнахъ вагона, указали намъ, что путешествіе наше окончилось.

---

Въ румынскихъ отеляхъ царитъ языкъ космополитовъ. Прежде всего, едва только передъ подъѣздомъ отеля остановится вашъ экипажъ, васъ засыпать вопросами чуть не на всѣхъ существующихъ языкахъ; это для того, чтобы скрѣв опредѣлить вашу національность и потомъ уже, сообразно тому, и дѣйствовать. Нѣть въ мірѣ прислуги назойливѣе прислуги въ румынскихъ отеляхъ;— присуга эта не ждетъ ваншего звонка, она врывается къ вамъ въ комнату—сама по себѣ—чуть не ежеминутно, спрашивая васъ, не понадобится-ли того, или этого. Все это очень напоминаетъ жидовскихъ факторовъ или мишурисовъ въ нашихъ западныхъ городахъ, впрочемъ это и не мудрено: большинство прислуги здѣсь все тѣ же жиды, получаютъ отъ хозяевъ отелей самое скромное содержаніе, а то и вовсе никакого, именно въ виду возможности заработка отъ пріѣзжающихъ.

Въ Галацѣ я узналъ о паденіи Мидхата и его ссылкѣ; оживленіе большое вызвало это извѣстіе, на столько большое, что даже со стороны въ глаза кидалось. Газеты чуть не вырывались изъ рукъ другъ у друга, въ ресторанахъ толпились оживленные кружки; все это говорило таинственно, сильно жестикулировало при этомъ и боязливо оглядывалось, когда кто нибудь входилъ новый и стучалъ дверью. Хозяинъ отеля «Конкордія», гдѣ я остановился, самолично, вмѣстѣ съ карточкою ужина подаль и телеграмму.

— Ну, теперь уже, кажется, все будетъ кончено!— заявилъ онъ и тутъ же спросилъ:—А скоро, позвольте узнать, прій...

— Пrikажите лучше принести дровъ и вытопить хорошенъко, а то здѣсь въ комнатѣ холоднѣе, чѣмъ на воздухѣ, послѣшилъ я прервать фатальный вопросъ.

Здѣшніе отели очень не дуры, только приспособлены къ климату теплому,—имѣютъ все, что нужно для жаркаго, про-

должительного лѣта и ровно ничего для короткой, но тѣмъ не менѣе,—весьма суровой зимы, вотъ, какъ напримѣръ, нынѣшняя.

У меня было нѣсколько рекомендательныхъ писемъ къ здѣшнимъ болгарамъ, и на другой день, утромъ, я отправился разносить ихъ по адресамъ. Колонія болгарская устроилась въ Галацѣ очень недурно. Есть между ними и люди вліятельные, члены болгарского комитета, съумѣвшіе сгруппировать около себя довольно значительные кружки, слава Богу, еще не разочарованы нами русскими, не теряютъ надежды на поддержку именно отъ Россіи, не падаютъ духомъ отъ своихъ многочисленныхъ, чуть не постоянныхъ неудачъ, сѣтуютъ только на то, что главная помощь со стороны Россіи направлена была не на нихъ, а на Сербію,—эту Польшу балканского славянского міра. Боже мой какъ всѣ они не любятъ сербовъ!—фраза: «полякъ, сербъ, венгерецъ, грекъ—это все едино!» мнѣ приходилось слышать чуть не изъ устъ каждого болгарины. Объ Черніевѣ—здѣшние болгары всѣ безъ исключенія отзываются съ глубокимъ уваженіемъ. Явись онъ сюда—и всѣ они тотчасъ же охотно готовы сгруппироваться вокругъ него. О покойномъ Кирѣевѣ болгары отзываются съ энтузіазмомъ, впадаютъ даже, въ нѣкоторомъ родѣ, въ пафосъ и,—сколько разъ мнѣ приходилось видѣть, они плакали, вспоминали объ убитомъ...

Болгаръ, какъ я уже сказалъ, въ Галацѣ довольно много, точнаго счета они и сами не знаютъ; впрочемъ, они жалуются на уменьшеніе своей колоніи; это уменьшеніе—явленіе хроническое, и болгары винять въ этомъ свои смѣшанные браки. Выходитъ дѣвушка болгарка замужъ за румына, ея дѣти становятся уже совершенными румынами, вліяніе матери слабѣетъ и наконецъ совсѣмъ рушится, сама даже она, мало-по-малу, утрачиваетъ все свое общее съ болгарами и подъ старость окончательно обрумынивается—(это выраженіе болгаръ). Женинтся молодой болгаринъ на румынкѣ, опять-таки мужъ ухитряется подпасть подъ вліяніе жены и ея родичей, опять съ дѣтьми та же исторія. «Да, вѣсть, можетъ, здѣсь обрумынилось больше, чѣмъ въ Турціи потурчилось», жаловались не разъ здѣшніе болгары. Эта неустойчивость сильно замѣтна между болгарами, и если они сохранили еще въ Турціи свои историческая преданія, языкъ и вѣрованіе, то все это вовсе не слѣдствіе ихъ исторической живучести, а скорѣе слѣдствіе пол-

наго безсилія турокъ, полнѣйшей ихъ несостоятельности. Можетъ быть это мнѣніе и ошибочно, но оно основано и опирается на фактахъ, а факты эти не зачѣмъ трудиться подбирать и отыскивать, они сами попадаются на каждомъ шагу, признаются самими же болгарами. Впрочемъ это семейство не касается только исповѣданія... Болгаринъ стоекъ и вѣренъ своей церкви, и гдѣ только ни соберется ихъ маленькая община, первымъ дѣломъ строится свой собственный болгарскій храмъ, иногда въ размѣрахъ довольно скромныхъ, иногда же съ весьма широкими затѣями и планировкою, вотъ хоть бы здѣшній, галатскій. Эта церковь начала строиться лѣтъ пятнадцать тому назадъ, да задумана была слишкомъ уже широко, и не хватило средствъ довести постройку до окончанія. Это вышло очень красивое зданіе, пріобрѣтшее себѣ уже архитектурную извѣстность.

Я вернулся домой часа въ три пополудни. М. заходилъ, да не засталъ меня дома, подождалъ немного, не дождался, ушелъ и обѣщалъ опять зайти передъ вечеромъ, оставилъ на столѣ записку, въ которой предлагалъ мнѣ сдѣлать вмѣстѣ съ нимъ весьма интересную прогулку. Что бы это такое было?.. Я сталъ его ожидать не безъ нетерпѣнія, а пока сѣль писать вотъ то, что вы читаете въ настоящую минуту.

Пришелъ М.

— Хотите на турецкій берегъ проѣхать? — спросилъ онъ меня, съ первыхъ же словъ, едва вошелъ ко мнѣ въ номеръ.

Я почувствовалъ, что у меня глаза расширялись больше, чѣмъ бы слѣдовало.

— Охотно, — поспѣшилъ я отвѣтить, — но, въ настоящее время, когда... и тотчасъ же подумалъ; какое же это, право, особенное настоящее время? Война не объявлена, и Богъ вѣсть когда, да и будетъ-ли еще объявлена! Посольство турецкое въ Питерѣ, русское въ Константинополѣ,—значитъ обѣ державы, такъ сказать, состоять въ дружескихъ отношеніяхъ... Паспортъ у меня въ порядкѣ... Одна бѣда: тамъ эти черкесы и бashi-бузуки, народъ ничего общаго съ дипломатіей не имѣющій...

— Тамъ теперь ни черкесовъ, ни бashiбузуковъ нѣтъ,— началъ соблазнитель, словно угадавъ мою мысль—все это къ Силистрії, да къ Виддину стянуто, а то по домамъ разошлось;

въ нашей сторонѣ и солдатъ-то мало. Мнѣ все это Филипъ досконально рассказывалъ, да и безъ него здѣсь все извѣстно...

— Какой Филипъ?

— А русскій, изъ некрасовцевъ,—тульчинскій; ихъ сегодня много изъ гирицы, съ рыбой прѣхали, всѣ на пристани сидѣтъ... Они тутъ и ночевать будутъ... Самый этотъ Филипъ и свозить васъ и назадъ привезетъ.

— Какъ, васъ? А вы развѣ не вмѣстѣ со мною ѳдете,— перебилъ я его...

— Мнѣ это уже слишкомъ рискованно... Вы попадетесь, отდѣлаетесь. У васъ и паспортъ и консульство здѣшнее заступится,—а мнѣ...

Онъ весьма энергично черкнулъ пальцемъ по горлу и даже звукомъ пояснилъ все, что слѣдуетъ...

Мы одѣлись и вышли на улицу... Это безконечно длинный «Strada Domneska»—Господская или главная улица, пересѣкающая весь Галацъ; мы по ней шли не долго и скоро свернули вѣво, по направленію къ отрывистому берегу Дуная. Передъ нами тянулась очень красивая, оригинальная такая, узкая перспектива разнокалиберныхъ домовъ и домиковъ, устьянныхъ, словно заплатами, безчисленными балкончиками, висящими терассами, пестрыми вывѣсками, бурыми пятнами обсыпавшейся штукатурки... Неровная, крупно вымощенная мостовая, прорыта глубокими бороздами... И справа и слѣва, все лавки, лавки и лавки—съ самыми разнообразными товарами... Въ спертомъ воздухѣ тѣсной улицы чувствовался и табакъ, и кожи, и соленая рыба, и жиры, и разныя пряности... Это самая торговая—strada di mare (почему mare!), ведущая круто внизъ подъ гору, на нижнюю дунайскую улицу, гдѣ и расположены пароходные и лодочные пристани.

Спустившись внизъ, мы повернули опять вѣво, и долго шли по грѣбню обвалившейся, весьма дурно сдержанной набережной, шагая безпрестанно черезъ бревна, причальные канаты, пробираясь между закупоренными бочками и ящиками, между крохотными будочками, съ торчащими около нихъ румынскими граничарами, таможенными, въ своихъ высокихъ барабанныхъ шапкахъ съ ястребиными перышками съ боку—эти граничары народъ покойный, мирный, къ дѣлу своему особенно не ретивый, да и стоять здѣсь больше для формы, потому что

въ настоящее время, когда... почти никакихъ дѣль, гдѣ было нужно было посредничество таможни—не дѣлается.

Дунай, хотя и не замерзъ, но затихъ, опустѣлъ, и всѣ парадходы разныхъ европейскихъ фирмъ и компаний поднялись вверхъ, къ австрійскимъ берегамъ, гдѣ и зимуютъ, благо, на всякий случай отъ грѣха подальше... Съ версту почти пришлось пройти по набережной, пока совсѣмъ не кончилась каменная облицовка берега; здѣсь мы спустились ближе, къ самой водѣ, и я увидалъ длинную вереницу маленькихъ лодокъ съ сильно загнутыми къ верху концами, съ низенькими мачтами, но за то длинными, гибкими, красиво выгнутыми реями.— Косые паруса были уbraneи и лодки стояли на привязахъ, а то просто до половины вытащены на песокъ. На берегу толпилось довольно много народа, все больше жиды купцы и мѣстные армяне. Въ ихъ гортанно-хрипломъ, или отчаянно визгливомъ говорѣ, отчетливо, звучно такъ слышалась покойная русская рѣчь,—да какая чистая русская!—слышалась по временамъ чистокровная, наша народная, ругань... «И дымъ отечества намъ сладокъ и пріятенъ» — эти звуки показались для меня въ настоящую минуту чѣмъ-то въ родѣ «дыма отечества».

Мы протискались впередъ. Десятка два русскихъ лицъ, съ бородами и безъ бороды, съ голубовато-сѣрыми глазами, съ курносymi или прямыми носами, съ волосами, остриженными въ скобку, однимъ словомъ, наши собственныя, такъ и бросались мнѣ въ глаза, — даже въ одѣждѣ никакой сторонней, чужой примѣсы, тѣ же полукафтаны со сборками, тѣ же полуушубки... Они говорили по-русски между собою, заговорилъ я съ ними, примолкли разомъ, переглянулись и всѣ на меня уставились.

— Филипъ уѣхалъ? — спросилъ М.

— Нѣть еще—одначе собирается—джильдакъ \*) ставить... Вонъ опъ въ лодкѣ копается... Филипъ, ей! Филипъ! Иди, тебя человѣкъ спрашиваетъ... Это кто же такой?

Вопросъ относился ко мнѣ,—на меня даже безцеремонно указали пальцемъ, хотя я стоялъ рядомъ.

— Нашъ, не служащий... — отрекомендовалъ меня мой

\*) Джильдакъ по-турецки парусъ, отъ слова джиль—вѣтеръ.

спутникъ.—Вонъ онъ по ту сторону, въ Затокъ съездить хочетъ...

— Позвольте, я еще не рѣшилъ...—попытался было я остановить М.

— Это дѣло насть не касается...—покачавъ головою, заявилъ одинъ изъ полушибковъ и даже въ сторону отошелъ.

— Въ Затокъ?—почесалъ затылокъ другой.—Это зачѣмъ же его несеть!

Вотъ вопросъ, на который я бы и самъ не могъ отвѣтить...

Тѣмъ времѣнемъ подошелъ къ намъ Филипъ. Это былъ мужчина среднихъ лѣтъ съ смѣшленнымъ лицомъ, въ синей чубкѣ, поверхъ красной кумачневой рубахи.

— Тебя, что ли, тамъ оставить, или назадъ привезти?—спросилъ онъ меня безъ обиняковъ, тряхнулъ головою и добавилъ: позамѣшался бы еще, одинъ уѣхалъ бы... Садись, что-ли!..

И не помню уже хорошо самъ, какъ я очутился въ лодкѣ и почувствовалъ подъ собою ея плавное колыханіе.

— Дукать впередъ дай,—протянулъ мнѣ руку Филипъ,—вотъ такъ-то оно лучше... А то тамъ тебя, пожалуй...

— До свиданья!—часа черезъ два прійду сюда васъ до-жидаться!..—крикнулъ мнѣ съ берега М.—Если къ завтра-му не будете, дамъ знать въ консульство!..—донеслось уже чуть слышно...

Лодка сильно накренилась, длинный, косой парусъ, словно птичье крыло стоялся надъ водою. Мы шли ходко, задѣвая бортомъ о мелкія лѣдинки, несшіяся внизъ по теченію.

«А то тамъ тебя пожалуй»... «дамъ знать въ консуль-ство». Все это не могло подействовать на меня успокоительно... Я бы и отказался теперь, да ей же Богу стало какъ-то со-вѣстно...

«Ну, что за бѣда! Дружественная держава, разрыва еще не послѣдовало, война не объявлена, паспортъ у меня въ по-рядкѣ, заграничный, куда хочу имѣю правоѣхать», утѣшаль я себя... «человѣкъ я не военный, съ войною ничего общаго не имѣю... Только позвольте»... Тутъ я вспомнилъ одно пре-скверное обстоятельство: въ паспортѣ сказано, т. е. написано, что я капитанъ, тамъ добавлено впрочемъ, что въ отставкѣ; на эту добавку, пожалуй вниманія не обратятъ, а слово капи-танъ,—это скверное слово, непремѣнно въ глаза бросится...

Но дѣло было сдѣлано и «безъ воли Аллаха единый во-  
лосъ и проч.»... Все это теперь мнѣ кажется только смѣши-  
и ничего больше, теперь, когда я покойно сижу и описываю  
свою вчерашнюю поѣздку, а въ данную минуту мнѣ было не  
совсѣмъ ловко, даже жутко не много...

— Ты откуда самъ-то?—спросилъ меня Филиппъ; я отвѣчалъ.

— Такъ,—согласился онъ.—Ваши скоро прійдутъ сюда?...—  
опять тотъ же надоѣвшій до-нельзя вопросъ. Мнѣ пришла  
охота отвѣтить утвердительно.

— Уже вышли,—сообщилъ я ему:—скоро, должно быть,  
будутъ...

— Такъ...—Филиппъ задумался.—Ну, а съ нами, что вы  
думаете дѣлать? это тогда, когда, на нашу сторону перейдетѣ?

— Да, ничего... Что же съ вами дѣлать? Объ васъ-то, я  
думаю, и забыли совсѣмъ; зла за вами не помнятъ, да и не  
было зла никакого—живете вы тихо, смирно...

— Было дѣло... Нѣть, я къ тому: отпустите, вы нашего  
архіерея?

— Какого архіерея?

— А владыку Аркадія... Ваше начальство у насъ тогда  
трехъ архіереевъ забрало. Двое-то померли, а Аркадій, святой  
отецъ, живъ еще... Слышишо гдѣ-то подъ Тверью, въ монастырѣ  
Спасо-Ефимовскомъ, въ заточеніи томится...

Признаюсь, я въ первый разъ слышалъ объ этомъ Аркадіи  
и предпочелъ отвѣтить уклончиво:—ничего, моль, не знаю,  
это дѣло до насъ не касается...

— Знаю,—кинулъ головою некрасовецъ.—Вѣдь у насъ и  
въ Твери, и въ Москвѣ, въ самомъ Питерѣ тоже есть головы,  
заступники, да толку никакого отъ нихъ нѣть, а ты мірской  
человѣкъ, гдѣ же тебѣ знать... Брось!—сурохо заявилъ онъ,  
замѣтивъ, что я вынулъ сигару и принялъ было ее закуривать.

— Намъ это не возбраняется,—черкнулъ я спичкою.

— Знаю... На берегъ выйдешь, коптись сколько хочешь,  
поганъ душу, а на лодкѣ не смѣй!

Дѣлать нечего, положилъ опять въ карманъ сигару... Вѣ-  
теръ былъ не совсѣмъ попутный и намъ много пришлось ла-  
вироватъ и подниматься кверху, а уже оттуда спуститься  
съ теченіемъ къ Затоку. На лѣвомъ берегу, уступами раски-  
нулась вся красавая понорама Галаца.—Правый, низовой бе-

регъ, почти въ уровень съ водою, тянулся възвѣсъ, за нимъ далеко, далеко виднѣлся горный кряжъ, отроги Балкановъ; у самой воды, чуть-чуть виднѣлись низенькия крыши Затока.

— Не выберемся скоро... Съ часокъ пробьемся,—сообщилъ мнѣ Филипъ.

Солнце было близко къ заходу и на рѣкѣ стало холодно... Вѣтеръ дуль порывами... Сальныя пятна (плёнки тонкаго льда) поминутно шуршали о бока лодки.

Некрасовцамъ живется здѣсь въ гирлахъ не дурно. Прежде, до того времени, какъ они выражаются, пока не заступила Молдава, они группировались больше у Измаила въ томъ треугольнике, образуемомъ изворотомъ Дуная. Тамъ и теперь еще сохранились названія двухъ прежнихъ ихъ поселковъ: Некрасовка и Тузково. Теперь все это перебралось на правый, турецкій берегъ, къ Тульчи. На высотѣ Измаила уже начинается развѣтвленіе рукавовъ Дуная, образующее дельту, низменную, золотистую, заросшую густыми, непроходимыми чащами камышей, оберегаемую невылазными топями и трасинами. Здѣсь больше и расположились наши старовѣры эмигранты, занимаются, главнымъ образомъ, ловлею рыбы и сбывають ее въ Галацъ и Браиловъ, а то такъ и выше поднимаются, до Силистріи и Журжи, особенно въ глухое время на Дунай, вотъ въ родѣ того, какъ нынѣшнее. Турецкія власти почти и не заглядываютъ въ эти мѣста, да оно для нихъ и небезопасно... Даже въ послѣднія события чуть не всеобщаго террора Турціи некрасовцевъ не трогали и никакихъ наборовъ тамъ не дѣлали. Къ болгарамъ они относятся не совсѣмъ-то сочувственно, хотя и имѣютъ съ нѣкоторыми изъ нихъ постоянная дружескія сношенія... Послѣднее время они начали было слегка пошевеливаться,—это осеню было, тогда у насъ, вы помните? Вообразили и даже писали о томъ, что беспокойство вызвано было поруганіемъ креста и имѣло религіозный характеръ — по въ дѣйствительности это броженіе было по поводу арестованія шестерыхъ некрасовцевъ, пойманыхъ въ перевозкѣ болгаръ на румынскій берегъ и доставкѣ имъ военной контрабанды... Теперь они если и испытываютъ что-то въ родѣ тревоги, такъ это въ ожиданіи перехода русской арміи—что-то съ ними тогда будетъ? и по поводу неуспѣшныхъ ходатайствъ о возвращеніи имъ ихъ владыки Аркадія,—безъ котораго у нихъ,

по ихъ же выраженію, «все равно, что въ дому безъ иконы». Оружія они не держать сами никакого, не потому только, что это строго запрещено турецкими властями, этого бы они не испугались, а просто потому, что оно имъ вовсе не нужно; вѣдь оно и рыболовы и только, а пиратствомъ, какъ говорили о нихъ, не занимаются вовсе. Вотъ насчетъ контрабанды оружія не требуется, не противъ кого употреблять его: — румынскіе таможенные, — тѣ прячутся отъ контрабандистовъ и вообще тщательно избѣгаютъ съ ними встрѣчъ, а турецкая стража легко довольствуется малою мздою, — подать, которую контрабандисты выплачиваютъ весьма охотно... Живутъ некрасовцы, особенно липованы — хорошо, съ достаткомъ, всегда сыты, одѣты исправно, счастье въ порядкѣ, особенно не роскошествуютъ, хотя денегъ много копятъ... Много, впрочемъ этихъ общинныхъ денегъ и потрачено, за послѣднія пять лѣтъ особенно, все на неудачные попытки и ходатайство по освобожденію все того же владыки Аркадія.

Мы повернули... Парусъ перенесенъ былъ справа налево, лодка чуть не черпнула бортами, мѣняя галсъ — и понеслась вдвое скорѣе, чѣмъ мы шли передъ этимъ манеромъ... Правый берегъ съ селеніемъ Затокъ быстро приближался, словно не мы, а онъ шелъ намъ на встрѣчу... Я сталъ присматриваться къ берегу.

Нѣсколько мазанокъ группировалось безпорядочной кучкой по глинистому обрыву невысокаго берега, нѣсколько наотлѣтъ отъ прочихъ стояла кафана, зданіе, господствующее надъ всѣми остальными, поодаль, на томъ же концѣ селенія, виднѣлось еще что-то порядочное съ черепичною крышею и высокими трубами. Между мазанокъ тянулась уличка, грязная, топкая, кое-гдѣ черезъ лужи перекинуты были бревна для прохода или просто выстланное соломою дорожки, все это было бѣдно, грязно, имѣло какой-то унылый оципанный видъ... У самой воды тоже землянка, около два столба, между столбами жердь — это таможенный шлагбаумъ; тутъ же торчали шесть и на немъ трепался красный, оборванный по краямъ, флагъ съ бѣлою луною и звѣздочкою; у одного изъ столбиковъ стояло ружье со штыкомъ, на порогѣ мазанки сидѣлъ солдатъ въ фескѣ, фуфайкѣ, въ короткихъ штанахъ, ноги въ опанкахъ. Солдатъ этотъ занятъ былъ дѣломъ, клалъ заплату на свой мундиръ, значитъ, стоя на часахъ время не тратилъ... Завидя

нась, выходившихъ изъ лодки, онъ обернулся къ двери и что-то крикнулъ; оттуда черезъ минуту показалась еще фигура въ солдатской шинели въ пакидку, съ такимъ угольно-смуглымъ лицомъ, что мнѣ сначала показалось, что это негръ, или что нибудь въ этомъ родѣ... Этотъ смуглый замахалъ намъ руками, крикнулъ что-то, вѣроятно приказаніе остановиться на мѣстѣ, потому что Филипъ дернулъ меня за рукавъ и сказалъ:—Погоди,—а самъ пошелъ впередъ къ шлагбауму. Тѣмъ временемъ еще показались изъ землянки двѣ головы въ фескахъ, но не выходили сами, а только ограничились ролью наблюдателей. Поговорилъ Филипъ, вернулся.

— Пойдемъ въ корчму,—говорить мнѣ,—я ундеру сказалъ, что ты купецъ изъ Галаца, стерлядокъ у меня сторговать хочешь... У меня здѣсь еще наша лодка-садочекъ есть... Такъ вотъ ты самъ выбрать хотѣлъ и сюда прѣѣхалъ. Ты это что? Спрячь, не надо!

Онъ замѣтилъ, что я, на всякий случай, вынулъ изъ кармана свой паспортъ...—Не надо,—говорить...—Оно хотя для всякаго человѣка, хотя бы на минуту съ той стороны прѣѣхалъ, записка требуется, однако, коли спросятъ, такъ ты два лева приготовь и сунь въ руку. Это лучше, беспокоить послѣ не станутъ. Это они лучше любятъ, чѣмъ кто съ паспортомъ, либо съ запискою суется, къ тѣмъ придираются.

Совѣтъ разумный... Такъ я и сдѣлалъ, сунулъ въ руку ундеру два лева и пошли мы съ Филипомъ прямо къ кафансу.

— Ты по сторонамъ много здѣсь не поглядывай, въ книжку ничего не пиши. Я вѣдь знаю, зачѣмъ тебя сюда принесло... Будешь что мудрить, ей Богу, здѣсь брошу и назадъ не повезу. Ну, сиди здѣсь жди; черезъ часъ назадъ буду.

Кафана состояла изъ одной довольно большой комнаты, кое-какъ отштукатуренной глиною, побѣлленной известью, потолокъ и стѣны были сильно закопчены отъ печного дыма, сама печь находилась у противоположной стѣны, напротивъ двери; подъ высокимъ и широкимъ каткомъ жерломъ, гдѣ стоймя стояло нѣсколько суковатыхъ полѣньевъ, устроено было что-то въ родѣ плиты, или желѣзной решетки, на этой решеткѣ жарился кусокъ мяса, положенный прямо на раскаленное желѣзо, отъ чего густой смрадъ валилъ изъ печки, распространяясь по всей комнатѣ; тутъ же кипѣлъ большой кофейникъ, а около

на пристукахъ печки стоялъ ящикъ съ двойнымъ помѣщѣніемъ для сахарнаго песку и колотаго кофе. Вдоль оконъ стоялъ длинный, покоробившійся столъ и такія же скамы, въ углу еще столикъ, поменьше и около два-три трехногихъ стула съ треугольнымъ сидѣньемъ и палкою вмѣсто спинки... Хозяинъ кафаны, че то грекъ, не то албанецъ, не то армянинъ, не то Богъ знаетъ что, только не турокъ, поздоровался со мною, не знаю почему, по-русски, хотя и прескверно—произнеся: «здравствуй, господинъ, садись—тамо, пожалиста,» и указалъ мнѣ на отдѣльный столикъ; я принялъ его любезное приглашеніе, сѣлъ и спросилъ кофе.

За общимъ столомъ сидѣло еще два человѣка: одинъ въ родѣ хозяина кафаны, тоже неопределенной національности, а другой болгаринъ по типу, но должно быть изъ помаковъ, заѣзжий, потурченный болгаринъ, потому что держалъ себя развязно, смотрѣлъ смѣло и одѣтъ былъ порядочно, въ кожаныхъ сапогахъ, въ ватномъ халатѣ, а сверху баранья крытая сукномъ шуба, значитъ не изъ загнанной райи... Оба они часто на меня посматривали и говорили по-турецки, видимо говорили обо мнѣ. Наконецъ одинъ изъ нихъ, неопределенной національности, обратился ко мнѣ съ вопросомъ, и опять на ломаномъ русскомъ языке:

— Ты не въ Мачинъ ѿдешь?

— А что?—отвѣтилъ я тоже вопросомъ.

— Да то, что я бы, пожалуй, свезъ. У меня тутъ добрая пара, вотъ съ нимъ вмѣстѣ и пойдете...—Онъ указалъ на своего собесѣдника.

У меня мельнула въ головѣ такая идея: отъ Мачина можно проѣхать до Браилова, тамъ недалеко, то-есть не до самаго Браилова, а до берега, гдѣ переправа. Все это маленькое путешествіе можетъ быть не безъинтереснымъ, займетъ оно не болѣе сутокъ, а мнѣ все равно изъ Галаца путь предстоитъ на Браиловъ... Я уже разлакомился легкостью первой попытки и собирался на вторую.

— А сколько возмѣшь?

— Ты посмотри прежде повозку и коней!—добрѣе кони!.. Генеръ хоть и тяжелая дорога, а пойду хорошо...

Онъ заставилъ меня выйтіи изъ кафаны, обогнулъ за уголъ, гдѣ я увидѣлъ тощую пару, привязанную къ повозкѣ...

- Добрые кони! — повторил онъ еще разъ, отодравъ отъ хвоста одного изъ нихъ комъ грязи...
- Два дуката дашь?
- Нѣтъ, не дамъ! Дорого. Тутъ прямою дорогою пять часовъ Ѣзы, а ты хочешь два дуката!..
- Пять часовъ? — посмотрѣлъ на меня возница. — Ну, нѣтъ, чнога больше... Ну, давай дукать съ половиною...
- Дѣло было не въ полдукатъ, а потому я сказалъ:
- Хорошо... Когда же ты Ѣдешь?
- А вотъ часа черезъ два поѣдемъ. Темно станеть и лоѣдемъ. Тогда будетъ лучше. Давай задатокъ!
- Я далъ ему немного серебряной мелочи и вернулся къ кафану. Болгарина уже тамъ не было; нанятый мною возница тоже остался на дворѣ. Скоро пришелъ и Филиппъ; спрашивается: — готовъ-ли я? — что онъ уже самъ все справилъ и въ Галацъ собирается. Я ему изложилъ свои новыя намѣренія и предположенія...
- Твое дѣло, какъ знаешь... мнѣ что же, поѣзжай съ Господомъ!.. Только какъ бы чего худого не было.
- А что?
- Да ничего, всяко бываетъ.
- Вернулся и возница мой и молча положилъ передо мною деньги, тѣ самыя, что я ему далъ. Молча повернулся и соѣрался было уходить. Въ дверяхъ показался солдатъ, за нимъ сще... Моя рука невольно потянулась въ карманъ за револьверомъ... Филиппъ отошелъ въ сторону и усердно началъ кошаться въ пѣчкѣ.
- Я не могъ понять, что такое случилось, но чувствовалъ, что кажется дѣло идетъ не ладно...
- Ну, Филиппъ, намъ пора, Ѣдемъ назадъ, — произнесъ я, собравъ все свое хладнокровіе.
- Пустятъ-ли теперь, — не оборачиваясь, глухо, прямо въ печку отвѣчалъ Филиппъ.
- Пустятъ... Ѣдемъ!
- Я рѣшительно поднялся и не торопясь пошелъ къ двери. Солдатъ посторонился и далъ дорогу. Филиппъ вышелъ за мною, — но тутъ меня остановили. Я почувствовалъ, какъ сзади наложили мнѣ руку на плечо, и основательно наложили... Обернулся. Тотъ же ундеръ; что-то говоритъ...

— А, говорить онъ,—перевель мнѣ Филипъ:—давай еще десять левовъ, тогда пустятъ назадъ, а то задержать.

— А, скажи ему, что дамъ. Только тогда дамъ, когда въ лодкѣ буду, а здѣсь не дамъ,—отвѣчаль я, сообразивъ теперь, отчего вышла вся исторія и какъ ее распутать.

«Ундеръ» оказался сговорчивымъ. Мы безпрепятственно, хотя и подъ конвоемъ, дошли до берега и я шагнулъ въ лодку, Филипъ тоже... Два солдата ухватились за веревку и держали лодку. Я бросилъ деньги на песокъ, они выпустили веревку и мы оттолкнулись отъ берега баграми; одинъ изъ солдатъ даже помогъ намъ прикладомъ своего ружья.

Мы скоро выбрались на середину рѣки и, признаюсь, я вздохнулъ какъ будто свободнѣе. Лодка причалила къ Галатской пристани, когда уже совсѣмъ стало темно, на берегу встрѣтилъ меня М., и заявлять консулу не было никакой надобности.

### VIII.

Между Галацемъ и Браиловымъ, кромѣ ежедневнаго поѣзда желѣзной дороги, ходить еще, также ежедневно, небольшой буксирный пароходъ, очень грязный, не приспособленный вовсе къ перевозкѣ пассажировъ, но тѣмъ не менѣе въ настоящее время занимающійся именно этимъ, не своимъ, дѣломъ. И зато спасибо, потому что поѣздъ единственный и идетъ въ самое неудобное время, между 1 и 3 часами ночи, а пассажирскіе, эти щеголоватые пароходы, непрерывно почти снующіе по Дунаю лѣтомъ, всѣ ушли, какъ я говорилъ, вверхъ, къ берегамъ Австріи, въ воды покойныя, политикою не взбаломученныя, — значитъ: не предложи грязненькій буксирный пароходикъ своихъ услугъ — было бы плохо.

Въ половинѣ второго по-полудни я пришелъ на пристань, а въ 2 ровно пароходъ даль свой пустой, надтреснутый такой жалостливый свистокъ, и мы тронулись.

На палубѣ нась было человѣкъ сорокъ пассажировъ, а скамескъ едва хватило на половину этого количества, остальныи пришлось стоять, ну да полтора часа время небольшое и съ этимъ неудѣствомъ мириться легко. Пароходъ довольно сильный, выгребаетъ отлично противъ теченія, усердно ломая

своими колесами плывущія по Дунаю льдины, мы подвигаемся впередъ ходко... Справа крутые, обрывистые берега Румынії, слѣва низменный, унылый берегъ Турціи, тамъ дальше что-то въ родѣ горъ, но уже очень далеко... Вонъ Затокъ, хорошо мнѣ памятный, вонъ еще какое-то крохотное селеньице, а затѣмъ уже все пусто, ровно, тихо... Ни живой души, ни признака хотя какого-нибудь движения. Пароходъ вилляетъ, то идетъ почти подъ кручею румынскаго берега, то держится вдоль праваго турецкаго, нагоняя волну на его подмытую оледенѣлую окраину.

Вонъ что-то торчитъ на томъ ровномъ берегу, строеніе какое-то... Подходимъ ближе,—турецкій береговой блокгаузъ, крохотная мазанка, квадратная, стоитъ, на высокихъ сваяхъ, иначе бы ее затопило во время половодья, крыша соломенная, вся въ дыряхъ, желѣзная труба торчитъ изогнутымъ колѣномъ, окна безъ рамъ, безъ стеколъ, сквозять квадратными просвѣтами. Пусто въ немъ, ни души, да и давно, кажется пусто, не только что оставлено жильцами, и близко-то, около, никакихъ слѣдовъ нѣтъ... Вонъ еще за версту дальшѣ торчитъ такой-же блокгаузъ, а тамъ и еще чернѣеть третій, и такъ вдоль всего берега, и въ каждомъ одинаково пусто... Странно. Въ настоящее время когда... То-то и есть, что прежде въ каждомъ такомъ домикѣ жило по два солдата береговой стражи, одинъ пѣшій, а одинъ конный, но это было въ покойное время, а и въ настоящее время, когда... Все это ушло, попряталось по той причинѣ, что небезопасно. Да и въ самомъ дѣлѣ: ну какъ оставлять тутъ эту малочисленную, попарно разбросанную вдоль берега стражу, не ровень часъ, кто съ румынскаго берега, положимъ не сами румыны, а такъ кто-нибудь изъ подосланныхъ москвитами, да темною ночью перевѣрится на ту сторону и порѣжетъ всю эту стражу... Изъ опасенія такого печального события часовые и сняты... Это интересно, но интереснѣе еще то, что по румынскому берегу тоже стоять цѣпью домики, въ родѣ вышеописанныхъ и тоже всѣ пусты и покинуты, хотя въ покойные времена въ нихъ жили граничары (не смѣшивайте пожалуйста здѣшнихъ румынскихъ граничаровъ австрійской Военной Границы, сравнивать тѣхъ и другихъ невозможно, это все равно, что сравнивать орловъ съ куропатками), и эти румынскіе стражи тоже

ушли съ своихъ постовъ, по такой же основательной причинѣ, какъ и турки... Оба берега стали пусты и оставлены безъ всякаго наблюденія, что хочешь, то и дѣлай... Обѣ стороны сильно боятся другъ друга и нельзя опредѣлить, которая изъ нихъ боится больше, кажется, что одинаково... И теперь, сотни двѣ-три русскихъ казаковъ могли бы совершенно безнаказанно переплыть Дунай, на всемъ этомъ пространствѣ, оперировать какъ угодно въ районѣ между Тульчею и Мачиналь и по добру по здорову вернуться благополучно. Тоже самое могла бы продѣлать и любая конная партія черкесовъ и бashi-бузуковъ на румынскомъ берегу, гдѣ бы они, конечно, нашли гораздо больше интереснаго, чѣмъ наши предполагаемые казаки въ Турціи.

И куда подѣвалась эта многочисленная турецкая армія, якобы собранная на Дунаѣ? Во всемъ Дунайскомъ вилаетѣ, то-есть, начиная отъ Рущука до самой почти Сулины, включая сюда гарнизоны Силистріи, Варны и другихъ, лежащихъ въ этой мѣстности крѣпостей, едва ли наберется до шестидесяти тысячъ, если еще эта цифра не преувеличена, а на сколько турки преувеличиваютъ въ своихъ даже официальныхъ отчетахъ численность арміи, это видно даже изъ такихъ, напримѣръ: въ Тульчѣ считается полтора табора, т.-е. около полуторы тысячи человѣкъ, положительно же известно, что тамъ едва ли четыреста, въ Мачинѣ считается до двухъ тысячъ, но какъ же эти двѣ тысячи довольствуются въ день всего тремя стами порцій хлѣба и помѣщаются въ одной половинѣ мачинской казармы, другая половина которой стоитъ даже раскрыта и безъ оконъ... Кавалеріи здѣсь нѣть вовсе, по той причинѣ, что ея содержать даже нечѣмъ, весь фуражъ давно пріѣденъ, а купить негдѣ: съ румынского берега продавать запрещено. Что же касается до иррегулярной сволочи, т.-е. черкесовъ и бashi-бузуковъ, то ихъ съ августа мѣсяца и въ поминѣ нѣту въ этой сторонѣ, грабить и воровать уже больше нечего; да еслибы и были эти шакалы, то навѣрно бы рыскали вѣчно вдоль берега, а ихъ вотъ уже пятый мѣсяцъ, никто здѣсь не видѣлъ. Турецкія войска не получаютъ собственно отъ казны никакого довольствія, жалованья они уже около года и не видали, интенданства у нихъ здѣсь нѣть, это, впрочемъ, и слава Аллаху, а довольствуются они отъ

жителей, т.-е. кормятся, вопросъ: чѣмъ? такъ какъ несчастные, оципанные придунайскіе болгары сами голодаютъ и положительно нищенствуютъ. Не прирѣзана и не сѣдена только возовая скотина, и то потому, что ее берегутъ для военной транспортировки, и въ пищу идутъ только тѣ волы, что падаютъ отъ изнеможенія и безкормицы. Голодный тифъ и между народомъ, и въ войскахъ Дунайскаго вилайета еще пока не великъ, т.-е. не силенъ, но онъ уже существуетъ и съ каждымъ днемъ усиливается. Побѣги изъ турецкихъ рядовъ части и многочисленны, духъ падаетъ, вспышки фанатизма понемногу слабѣютъ, протянется еще мѣсяцъ, много два, и не знаю, съ чѣмъ будутъ встрѣчать турки нашу армію, если такова двинется когда-нибудь къ берегамъ Дуная? То, что я говорю, касается мѣстности нижняго теченія рѣки, это вѣрно и тутъ нѣтъ ни преувеличеній, ни искаженій фактовъ; что касается средняго теченія Дуная и другихъ мѣстностей, не знаю, но не думаю, нѣтъ причинъ по крайней мѣрѣ предполагать, чтобы тамъ было иначе, т.-е. лучше. Хуже быть почти не можетъ. И странно та же нѣмецкая пресса, толкующая о слабости, малочисленности, плохомъ вооруженіи, болѣзnenности и даже деморализаціи нашей арміи, разсыпается въ похвалахъ турецкой, превознося ея доблести, боевую готовность и хозяйственное благоустройство. Нѣмцы, наши псевдо-пріятели, а вѣдь они, кажется, большіе шарлатаны, чтобы не сказать просто на про-сто мошен....ки! изъ уваженія къ печатной бумагѣ и чистотѣ прессы воздерживаюсь отъ рѣзкихъ выражений! Расскажу вамъ одинъ весьма недавній эпизодъ изъ современного быта турецкихъ войскъ въ Дунайскомъ вилайетѣ: на сѣверѣ отъ Бабадага, небольшого городка, слегка даже укрѣпленаго, лежащаго ближе къ Черному морю, т.-е. къ его береговымъ заточнымъ, соленымъ озерамъ, есть селеніе Конгачъ, въ этомъ селеніи расположена рота низама, человѣкъ восемьдесятъ не больше... Наступило такое время, что все уже было прѣдено, посыпали въ Бабадагъ, говорятъ и тамъ ничего нѣтъ, послали въ Исакчу, оттуда пишутъ, что для своихъ даже мало. Что дѣлать?.. Люди уже вторые сутки ничего во рту не имѣли. Рѣшились больше по начальству не посыпать, а итти самимъ на разыски... Выступила рота сама по себѣ боевымъ походомъ и выступила по направлению къ Мачину, т.-е. на западъ. За-

шли въ одно селеніе, живеть тамъ еще только три семьи, нашли въ одной мазанкѣ мамалыгу, накинулись, сѣѣли, чело-вѣка четыре утолили немнога голодъ, а прочимъ ничего не досталось; пошли дальше... Еще селеніе видать, зашли и туда тамъ уже совсѣмъ пусто, хоть шаромъ покати: видять стороною болгаринъ ъдетъ, чуть-чуть подвигается на парѣ тощихъ воловъ и камышъ везетъ. Поймали его: «Давай воловъ!» Берите,—говоритъ болгаринъ спокойно,—волы не мои уже. «А чьи?» А не видите чьи, сultанскіе! Видять турки, что дѣйствительно сultанскіе, т.-е. такие, что вошли въ опись на казенные надобности и во весь бокъ у нихъ надлежащее тавре выпалено, рога лѣвые отпилены и на нихъ тоже печати; значитъ не смѣй трогать... Пришлось оставить болгарина въ покоѣ. Дня два бродила такимъ образомъ несчастная рота; нашли разъ рыбы соленой боченокъ, сварили шурпу, похлешку, сѣѣли... Наконецъ приходять къ Черни, это уже немнога южнѣе Мачина, смотрятъ, тамъ уже марить тоже рота, только изъ другого отряда... Вы куда? А мы къ Бабадагу—хлѣбъ искать. «А вы?» А мы къ Мачину за такимъ же дѣломъ. Ну, такъ не ходите, тамъ все уже прикончено, не найдете ничего... Не ходите же и вы, потому и у насъ все чисто, ворочайте назадъ!.. Постояли роты, подумали, подумали: какъ же имъ быть теперь? А вѣдь голодъ не свой братъ, долго ждать да думать не дозволяетъ... И придумали пѣхотинцы отощалые такую штуку: всѣмъ кучею идти не приходится, толку не будетъ, а попробовать по одиночкѣ, у кого куда глаза глядять, можетъ быть лучше будетъ... Взяли, да и разбрелись. Такъ двѣ роты разомъ и дезертировали.

Это похоже немного на анекдотъ, но анекдотъ по теперешнимъ временамъ весьма правдоподобный. Я слышалъ этотъ разсказъ четыре раза въ разныхъ мѣстахъ и отъ разныхъ лицъ, и рассказъ повторялся приблизительно одинаково, съ источниками и противорѣчиями самыми незначительными. Кое-кому изъ болгаръ удалось попрятать, зарывъ въ землю, въ укромныхъ мѣстахъ, небольшіе запасы кукурузы, запасы едва достаточные для того, чтобы не умереть имъ самимъ съ голову... Турки это проинюхали, и теперь официально назначены и командированы легкие отряды, по три и четыре человѣка, съ специальюю цѣлью разыскивать эти потаенные клады...

Говорять даже, что розыски эти увенчались блестательнымъ успѣхомъ: въ одной деревнушкѣ нашли цѣйствительно двадцать два ока кукурузнаго зерна. Шутка ли, двадцать два ока? Вѣдь это почти шестьдесятъ четыре фунта! Ну, теперь продовольствіе турецкой арміи, благодаря этой находкѣ, обеспечено на долго.

На пароходѣ откуда-то изъ темнаго люка, появился жидъ съ лоткомъ въ рукахъ, а на локтѣ разная дрянь въ видѣ дешевой галантереи: цѣпочки, шнурочки, ключики для часовъ, карандаши, конверты и всякая мелочь; на спинѣ у жида висить аспидная доска и грифель. Онъ предлагаетъ пассажирамъ писать на этой доскѣ какую-нибудь цифру, а самъ угадываетъ, четная она или нѣтъ. Если угадаетъ, вы ему должны дать франкъ; нѣтъ,—онъ вамъ какую-нибудь вещицу съ лотка, по желанію. Пассажиры съ видимымъ удовольствіемъ начинаютъ забавляться... Жидъ собираетъ франки, чаще угадываетъ и очень доволенъ... Вообще страсть ко всякому виду игры у румынъ развита до крайности, до какого-то болѣзnenнаго состоянія. Въ ресторанахъ, у себя дома, въ вагонахъ, на пароходахъ, даже часто просто въ коляскахъ румыны не пропускаютъ случая поиграть. У нихъ даже все приспособлено для игры во время какого-нибудь движенія: карманныя лото, домино, пробочныя шахматныя доски съ фигурами на шпилькахъ, а чаще всего упрощенный четъ или нечетъ... Вотъ и въ данную минуту, ужъ на что проста и не хитра выдумка жида съ лоткомъ, ни одна вещица его, взятая отдѣльно, не стоитъ и полуфранка значить жидъ во всякомъ случаѣ въ выигрышѣ, а посмотрите, какъ всѣ столпились вокругъ него, какъ энергично играютъ и чертятъ грифелемъ на жидовской спинѣ, очереди просто добиться не могутъ; одна хорошенъкая брюнетка, одѣтая по «Journal Amusant» т.-е. на головѣ цѣлый стогъ, спереди обтянуто, сзади взбито и приподнято, такъ та, какъ взяла грифель въ пальчики, такъ и не выпускаетъ; сердится, когда ее просятъ уступить свое мѣсто. Терпѣливо стоитъ жидъ, согнувшись и опершись руками на свои колѣна, а та все пишетъ, пишетъ, пишетъ...

Впереди синѣютъ браиловскія кручи; подъ берегомъ множество мачтъ щетиною лѣпятся у обрыва, рисуясь на его желтомъ, песчаномъ фонѣ путаницею своихъ снастей, крашен-

ныхъ реи, фестонами полуубранныхъ парусовъ: нѣсколько ту-  
рецкихъ гальотовъ стоять на якоряхъ, почти на срединѣ  
рѣки, одинъ рѣжетъ прямо на насъ, подъ всѣми шестью па-  
русами...

Противъ Браилова по берегу тянется турецкій поселокъ,  
немного лучше Затока; опять эта красная тряпка съ бѣллю  
луной и звѣздочко, только тутъ уже вовсе нѣтъ солдатъ,  
ни одного штыка нигдѣ не торчить, зато на пескѣ плотно  
врѣзавшись въ него своимъ мѣднымъ туловищемъ, лежитъ ста-  
рое-престарое орудіе, тонкое, длинное, съ горластымъ жерломъ  
въ видѣ головы какого-то чудища; бренные остатки прежняго  
мусульманскаго величія. Пушка эта продана сюда на румын-  
скій берегъ для какого-то мѣдно-литейнаго завода, заготовляю-  
щаго рожки для вновь вводимаго въ Румыніи газового освѣ-  
щенія... Вѣдь здѣсь пока еще только незначительная часть  
самаго Бухареста освѣщена газомъ, а прочіе города, какъ  
я уже писалъ, довольствуются скромнымъ керосиновымъ освѣ-  
щеніемъ.

Со стороны Дуная, Браилова, собственно не видать; го-  
родъ скрытъ отъ глазъ путешественника высокимъ и совер-  
шенно отвѣснымъ берегомъ... Длинный подъемъ, большими обѣ-  
ѣздомъ, тянется отъ пароходной пристани къ городу... Коляска  
ѣдетъ медленнымъ шагомъ, съ трудомъ взираясь по довольно  
сносно шоссесированной дорогѣ. Начинаются городскія улицы,  
сперва грязненькія, плохо отстроенные, но чѣмъ дольше, тѣмъ  
лучше, и наконецъ, когда вы вѣзжаете въ центральную часть  
города съ прекрасною большою квадратною площадью, обне-  
сеною бульварами, вы убѣждаетесь, что маленький Браиловъ,  
не разъ обогренной нашею русскою кровью, выдавшій подъ  
стѣнами своими и Суворова, и Румянцева, и забалканскаго  
героя, представлявшійся воображенію чѣмъ-то въ родѣ грозной  
цитадели, на самомъ дѣлѣ очень мирный и красивый городокъ,  
имѣющій въ настоящее время почти все для удовлетворенія  
мирныхъ стремленій и почти ничего для вызова впечатлѣній  
воинственного характера.

Въ Браиловѣ, впрочемъ, настоящая вооруженность Румы-  
ній становится нѣсколько замѣтнѣе. Вѣроятно здѣсь, что-ни-  
будь стоитъ, потому что шитыя золотыми шнурочками до-  
нышки военныхъ кепи попадаются чаще. Гдѣ-то погромыхи-

ваетъ барабанчикъ, гдѣ-то въ трубочку поигрываютъ. Человѣкъ двадцать помпьеровъ, въ сѣрыхъ курткахъ, въ мѣдныхъ шлемахъ, выстроены въ два ряда на площади и чему-то учатся съ ружьями въ рукахъ и съ саблями у лѣваго бока. И къ чему это пожарнымъ оружіе, только одному Аллаху известно. Знаменіе времени, должно быть.

Подъѣзжая къ отелю «Романіе», я видѣлъ этихъ воинственныхъ помпьеровъ и слышалъ ихъ грозное «онъ-дуо-трэ!» вызываемое съ прихлопываніемъ по бедрамъ и пристукиваніемъ каблуковъ, занялъ номеръ, какъ разъ окнами на ту же площадь, переодѣлся, сѣлъ за работу и все еще вижу рядъ мѣдныхъ шлемовъ и слышу все то же: «онъ-дуо-трэ!»

— И зачѣмъ это ихъ учатъ такимъ глупостямъ, пожарныхъ-то вашихъ? — спросилъ я хозяйку гостиницы.

— Зачѣмъ?! — грустно покачала она головою... — Зачѣмъ?! Всѣ, кажется, тамъ будемъ, всѣ... Тяжелыя времена переживаются наша Румынія... Вотъ, напримѣръ, эта комната прежде два франка ходила, а теперь съ васъ меньше пяти, ну право же, взять невозможно...

Да, времена дѣйствительно тяжелыя!

## IX.

Странное впечатлѣніе производить на путешественника Бухарестъ, этотъ главный пунктъ административной и политической жизни Румыніи.

Впечатлѣніе это можно формулировать такъ: «городъ, совершенно лишенный национального характера, городъ, создавшійся по какому-то чрезвычайно общему шаблону, гдѣ все сглажено, округлено, обезличено, если хотите; потому что копировать плохо, поверхностно, не значить создавать свое, имѣющее сколько-нибудь личный характеръ»,

Въ Бухарестѣ много, очень даже много иѣменскаго, еще того больше французскаго, есть и итальянское, есть и жидовское, припахиваетъ какъ будто и турецкимъ, матушкою Русью даже отдается, чуть не самою Москвою.., но все это скомкано вмѣстѣ, безъ раздѣльныхъ линий, и слилось въ какую-то пеструю, безформенную массу...

Пдете вы по улицѣ города, вамъ будетъ казаться, что вы

гдѣ-то въ городѣ, давно вамъ знакомомъ. Ужъ не въ Парижѣ-ли? въ плохенькихъ его частахъ, впрочемъ,—а пожалуй, и въ Вѣнѣ?.. похоже какъ будто... да не то. Вотъ мелькнуло что-то знакомое, кажется,—островерхая прусская каска и казенная выправка. Ну, такъ и есть, вы въ Берлинѣ. А впрочемъ. «Ваше сіятельство,—не прокатить-ли?!» слышится чисто по-русски, съ высоты козель извозчичьяго фаэтона.

Вотъ, напримѣрь, идетъ. Нѣть, это англичанинъ, человѣкъ тоже должно быть заѣзжий, какъ и вы сами... вотъ французъ, еще пара франузовъ, вотъ на той сторонѣ улицы полдюжины нѣмцевъ, да еще какихъ нѣмцевъ, чистокровныхъ, пивныхъ, берлинского образца, хотя и не въ каскахъ, а въ цилиндрахъ. Вотъ австрійскія банкиры іерусалимскаго происхожденія. Воинъ что хотите, только не румыны. А между тѣмъ, все это, что вы видѣли, вовсе ни англичане, ни французы, ни пруссаки, все это чистокровные румыны, все это филипески, іонески, барбески, булдушаны, конески... всякие «ески» и «апы». Вы убѣждаетесь наконецъ въ этомъ, размѣниваясь при случаѣ визитными карточками.

«Calea megosoi» это центральная, аристократическая улица, мѣсто прогулокъ между завтракомъ и обѣдомъ — бухаретскій Невскій проспектъ. На перекресткахъ, особенно противъ театра, гдѣ тротуары нѣсколько шире, — а вообще-то они очень узки и для прогулокъ неудобны,—стоитъ сплошная толпа джентльменовъ, со стеклами въ глазахъ и безъ оныхъ, даже съ биноклями. Все это любуется проѣзжающими мимо дамами. Коляся за коляскою тянутся цугомъ: тощія клячи въ шорахъ (опять-таки — или англизированныя, или объунгаренныя, т. е. подстриженныя и убранныя по унгарски (венгерски) горячатся и подпрыгиваютъ. Въ нѣдрахъ экипажей — дамы лежать, сидѣть, полулежать, полусидѣть, однимъ словомъ позируютъ... все до одной въ роляхъ. Вотъ єдутъ кокотки парижскія, вотъ то же самое, только вѣнскаго образца, вотъ пара стройныхъ, холодно-цѣломудренныхъ миссъ... вотъ мулатка Кора съ густыми вуалемъ, закрывающимъ ея, будто бы обезображенное выстрѣломъ лицо... вотъ московская генеральша съ двумя проживалками и четырьмя моськами. Но это все только кажется, по крайней мѣрѣ всѣиъ этимъ проѣзжающимъ дамамъ, замѣтите: — дамамъ весьма красивыхъ формъ и типовъ очень

хочется, чтобы такъ казалось, чтобы ихъ принимали не за тѣхъ, кто онѣ есть на самомъ дѣлѣ. Онѣ всѣ до такой степени изоврались и исковеркались, что подчасъ просто забываютъ свое румынское происхожденіе и начинаютъ *прикидываться* румынками. Это бываетъ большею частью лѣтомъ на дачахъ. Тогда онѣ надѣваютъ свой національный, роскошно-вышитый шелками и золотомъ румынскій костюмъ и снимаютъ съ себя въ этомъ костюмѣ фотографическіе портреты, въ группахъ и поодиночкѣ, гдѣ онѣ фигурируютъ граціозными румынскими пейзанками. Говорятъ, что тогда, т. е. лѣтомъ, онѣ рѣшаются даже объясняться на своемъ родномъ румынскомъ языке. Вѣдь вотъ отвага-то!..

Страсть казаться не тѣмъ, что они есть, страсть что-либо или кого-нибудь передразнить развита у румынскии бары («боярь») больше, чѣмъ у обезьянъ. И всякий-то изъ нихъ изъ кожи лѣзеть вонь, чтобы выдумать что-нибудь новое, блеснуть, такъ сказать, оригинальностью въ выборѣ своего образца для копировки, и эта копировка идетъ, начиная съ незначущихъ мелочей, съ повязки галстуха, прически, съ манеры говорить и двигаться, — и идеть все дальше и дальше, переходя даже предѣлы еще возможные, достигая до вопросовъ о дѣятельности уже серьезной, какъ, напримѣръ, парламентская дѣятельность, гдѣ уже ради этой обезьянней страсті жертвуется интересами страны, интересами ея вѣнчанихъ и внутреннихъ отношеній.

Въ какомъ, напримѣръ, представительномъ собраніи больше всего самыхъ противоположныхъ партій, самыхъ рѣзкихъ контрастовъ, какъ не въ этомъ крохотномъ парламентѣ крохотной Румыніи; гдѣ, какъ не здѣсь, вы услышите больше всего трескучей, пустословной болтовни, ничего не имѣющей общаго съ интересами страны, болтовни совершенно *личнаго* характера? А почему? Потому что на первомъ планѣ стоять стремленіе что-либо изъ себя изобразить, чѣмъ-нибудь да обратить на себя вниманіе и этимъ самимъ лично выдвинуться. Особенно это замѣтно въ преніяхъ о вѣнчаней политикѣ. Ужъ куда только не швыряютъ тогда бѣдную Румынію! Одинъ говоритъ, что естественное ея направлениe — это полное сближеніе съ Австріей, его выслушиваютъ, даже возражаютъ, но возражаютъ для того, чтобы порекомендовать для этой же цѣли Германію, т. е. Прус-

сю. — «У нась, моль, и князь оттуда, и каски даже введены въ нѣкоторые рода войскъ, значитъ начало уже сдѣлано и останавливаться на полдорогѣ отнюдь не слѣдуетъ». Третій кричитъ: «Парижъ, Парижъ! это наша Мекка и Медина!» Четвертый скорбно вздыхаетъ о *чрезполосности* съ Италией и Римомъ: «мы вѣдь, моль, сами романы, сѣмья легіоновъ Траяна».

Могла же выработатьсь здѣсь, въ этомъ парламентѣ, въ этой кѣткѣ съ «цѣпкохвостыми» — даже *турецкая* партія (волчья партія въ овечьемъ стадѣ). Представитель этой партіи пресловутый Іонъ Гика, онъ же и вице-президентъ сената. Партия эта прямо и открыто требуетъ солидарности съ Турцией, приглашенія ея войскъ для защиты Румыніи со стороны Прута, стремленія къ Константионополю, откуда только и можетъ быть приливъ блеска и благосостоянія для Румыніи, откуда только и можно ожидать всѣхъ благъ цивилизаціи, науки, мира и развитія...» Существуютъ даже *іонникисты*, которые нисколько не стыдятся передъ народомъ своей клички, гордятся даже ею и носятъ на своихъ умныхъ головахъ турецкія фески съ кисточками, впрочемъ подъ черными цилиндрами.

Да, бѣдная духомъ, хотя богатая тѣломъ Румынія, — далеко отскочила отъ твоего доброго народа твое пестрое, исковерканное, изобезьянинвшееся барство. Пора бы тебѣ одуматься и вызвать своего Пантелея дѣдушку, шепнувъ ему на ушко: «Не жалѣй, Пантелея, дли такихъ-то людей, своей палицы ты — сковатъя...»

Чтобы понять, насколько велика разнъя между румынскимъ народомъ и барствомъ, разсмотримъ, напримѣръ, какъ составилось понятіе о Россіи въ томъ и другомъ элементѣ. Народъ румынскій знаетъ Россію, онъ знаетъ также, что и у нась живется не всегда дурно, онъ любить Россію и отзывается о ней сочувственно; онъ не можетъ, не хочетъ видѣть въ ней ничего для себя враждебнаго, ничего вреднаго. Болѣе тѣсное сближеніе съ Россіею кажется для румына простолюдина явленіемъ въ высшей степени естественнымъ, даже, если хотите, отчасти уже совершившимся. Никакихъ нелѣпостей и страшныхъ сказокъ про Россію не существуетъ въ средѣ румынского народа. Румынское же барство говорить такъ:

«Россія — это вѣчная гроза и страхъ надъ бѣдною Румыніею, которой приходится играть роль *аванпоста Европы*.

«Россія представляется имъ въ видѣ колоссального рта съ страшными рядами острыхъ зубовъ, быстро пережевывающихъ все поглощенное этимъ чудовищнымъ ртомъ. Въ Россіи нѣть другой политики, кромѣ политики захватовъ и насилия, самыхъ коварныхъ замысловъ, направленныхъ ко вреду цивилизациі, къ рабству и уничтоженію».

Народъ румынскій вспоминаетъ обѣ занятія Румыніи русскими не безъ удовольствія, особенно, когда ему приходится сравнивать это время со временемъ занятія той же Румыніи, то-есть тогда еще Молдаво-Валахіи, австрійскими войсками. Народъ говоритъ такъ:— «руssкіе хорошо стоять. Солдатъ русскій стѣснять хозяина не любить, онъ боится быть ему въ тягость, старается занять уголокъ поменьше, въ хорошую погоду даже виѣ жилаго помѣщенія. Онъ внимателенъ, охотно помогаетъ въ чемъ-нибудь по хозяйству, самъ первый предлагаетъ свои услуги. И дѣти-то къ нему успѣютъ привязаться. Онъ умѣеть даже войти въ интересы той семьи, въ которую помѣщенъ, становится скоро своимъ человѣкомъ и умѣеть быть болѣе полезнымъ для этой семьи и дома, чѣмъ обременительнымъ. Оставляя этотъ домъ и семью, гдѣ судьба привела прожить ему извѣстное время,— русскій солдатъ оставляетъ по себѣ добрую память и хорошее общее впечатлѣніе, передъ которымъ легко забываются и стущевываются нѣкоторыя отдѣльныя, чисто случайные шероховатости.

«Постой австрійцевъ,— это уже совсѣмъ другое дѣло. Тамъ уже все наоборотъ. Австріецъ врывается въ домъ нахально, не какъ гость случайный, а какъ завоеватель, занимаетъ лучшіе углы, никакъ не заботясь; австріецъ малымъ довольствоваться не любить, дерзокъ и требователенъ и часто любить хвататься за оружіе, благо ему не всегда удается честно пользоваться имъ на боевомъ полѣ; онъ палецъ о палецъ не ударитъ для хозяина и для того дома гдѣ живеть, и лежить на этомъ домѣ и семье тяжелымъ, не скоро забываемъ бременемъ».

Спросите же теперь румынского барина: какое занятіе опѣр предпочтеть въ данномъ случаѣ: — русское, или австрійское? Пѣкакое хотите, только не русское, и во всякомъ случаѣ поссѣднее.— *Австрійцы народъ, по крайней мѣрѣ, европейский, цивилизованный. Въдѣ у васъ тамъ приидутъ по-*

жалуй, казаки?» — спросить онъ непремѣнно и при этомъ сдѣлаетъ самую скверную, не то презрительную, не то дурацки-перепуганную рожу.

Еще прошлю осенью, во время моей первой поѣздки на Балканскій полуостровъ, мнѣ пришлось плыть по Дунаю, па прелестномъ пароходѣ интернаціональной компаніи «L'orient»; за общимъ столомъ приходилось сталкиваться съ румынскими аристократами изъ Бухареста. Между прочимъ я долженъ быть отвѣтать тогда на такие дикіе вопросы: — Что ваши казаки дисциплинированы теперь хоть немного? не сажаютъ дѣтей на пики и не бываютъ всѣхъ встрѣчныхъ нагайками?

— Какъ же,—отвѣчалъ я имъ тогда,—казаки наши дѣтей до шестнадцати-лѣтнаго возраста глотаютъ цѣликомъ, а нагайками бываютъ всѣхъ безъ исключенія,—это все равно, что освѣдомиться о здоровьѣ и пожелать доброго утра.

— Ахъ! — взвизгнула одна изъ дамъ и боязливо покосилась на свою дѣвочку, одѣтую сильфидою.

— Ну, полнотѣ, вы шутите,—усумнились было въ истинѣ моихъ сообщеній.

— Да как же, право, вы спрашиваете меня такія глупости. Неужели же я долженъ вамъ отвѣтить серьезно?

Жалкія обезьяны!

Самъ по себѣ Бухарестъ городъ весьма недурной, если хотите, то даже красивый и благоустроенный — его отели прекрасны, весьма комфорtabельны, напоминаютъ лучшіе отели большихъ европейскихъ городовъ — только ужасно дороги, куда дороже вѣнскихъ, берлинскихъ и даже нашихъ петербургскихъ. Во всѣхъ чисто-румынскихъ городахъ, какъ Яссы, Галацъ, Браиловъ, Краюва и другихъ, жизнь въ отеляхъ несравненно дешевле. Тамъ, напримѣръ, вы можете имѣть очень хороший обѣдъ за два съ половиною; много три франка, здѣсь же за простенький завтракъ въ одно блюдо холоднаго мяса съ вареньемъ шесть, и когда вы наивно спросите: это почему? — вамъ отвѣчаютъ: помилуйте, да развѣ въ Петербургѣ вы можете имѣть въ хорошемъ отелѣ завтракъ за полтора рубля?

Закончу это письмо маленькимъ эпизодомъ, анекдотическаго характера, эпизодомъ, надѣлавшимъ не малаго шума въ здѣшнихъ аристократическихъ кружкахъ. Дѣло въ томъ, что во время пребыванія здѣсь проѣздомъ Донъ Карлоса (тогда

еще думали, что поездка эта не лишена якобы для Румынії политического значенія, — а потому тотчасъ же образовалась партія карлистовъ, заказаны были даже басскія шапочки съ ленточками сзади,—такъ вотъ во время этого пребыванія магнатъ Григорій Суцо далъ баль-раутъ для высокаго гостя, баль, отъ присутствія на которомъ большинство иностранныхъ консуловъ благоразумно воздержались, ибо причины на то были, болѣе или менѣе солидныя. Пріѣхали только французскій дипломатическій агентъ, генералъ Дебенсъ (Баньщиковъ какъ его здѣсь называютъ въ русскихъ кружкахъ) и греческій консулъ Рангабе—сынъ. Карлосъ не могъ не замѣтить этого отсутствія и сдѣлалъ довольно кислую гримасу; хозяйка дома поспѣшила загладить это скверное впечатлѣніе и представила ему наличныхъ. Начала она съ греческаго—Рангабе,—обошлось благополучно, размѣнялись взаимными любезностями, поговорили о томъ о семъ, взялись за Дебенса. Только что т-ше Суцо проговорила его полный титулъ и дошла уже до самой сути, до имени, какъ генералъ взялъ да и повернулся къ принцу спиною, не дожидаясь конца представленія. Протянутая рука высокаго гостя повисла на воздухѣ, приятная улыбка превратилась въ изумленный, вопросительный знакъ. М-те Суцо, страшно смущенная, не знаетъ какъ вывернуться. Аллахъ вѣдаетъ, какъ уже эту неловкость замяли и сгладили.

Вопросъ: для чего все это было продѣлано, что означала выходка французского генерального консула и дипломатическаго агента? Если ему не хотѣлось быть представленнымъ проѣзжему принцу, такъ не лучше ли было сдѣлать, какъ сдѣлали его остальные коллеги, не пріѣзжать вовсе на баль, а уже если разъ пріѣхалъ, то хоть предупредить хозяйку и не ставить ее въ нелѣпое положеніе.

---

Что здѣсь въ Бухарестѣ дѣйствительно хорошо, такъ это извозчики экипажи. Это все прекрасные парные фаэтоны и коляски, ъздать скоро и такса за проѣздъ недорогая.

Большинство извозчиковъ и содержателей экипажей здѣсь въ Бухарестѣ, да и въ другихъ городахъ Румынскаго княжества—русскіе. Звуки родного языка, хотя бы и съ высоты

козель, поражаютъ васъ съ первого шага вашего, когда вы оставляете вагонъ и выходите на подъездъ желѣзно-дорожнаго вокзала, по здѣшнему «дворцу». Это очень пріятно и выгодно для русскаго же путешественника, потому что, не зная румынскаго языка, вамъ очень трудно, хотя бы въ первую минуту, сколько нибудь ориентироваться. Русскій возница чутьемъ угадываетъ соотечественника, привѣтствуетъ его на родномъ языкѣ и сейчасъ же предлагаетъ свои услуги для первыхъ, необходимѣйшихъ указаний.

Всѣ они, т. е. здѣшніе русскіе извозчики—скопцы-эмigrantы,вшедшіе себѣ здѣсь, въ Румыніи, обѣтованную землю и покойное пристанище, за которое, впрочемъ, имъ приходится платить не малыя деньги. Румыны умѣютъ таки при случаѣ попользоваться. Представьте себѣ, что за каждую лошадь въ день городскихъ повинностей платится по франку; считая, что пара вырабатываетъ въ день среднимъ числомъ шесть франковъ, русскому извозчику приходится отдавать городу треть своего валового дохода, т. е. почти половину чистаго. И всетаки, благодаря необыкновенному усердію къ дѣлу, трезвости и выдержкѣ, наши скопцы умѣли здѣсь устроиться хорошо, живутъ почти богато, а уже во всякомъ случаѣ достаточно. Есть даже такие, что ухитряются скопить себѣ изрядный капиталышко, обзаводятся домами и служать центрами маленькихъ общинъ, всегда открывающихъ пріютъ для новыхъ членовъ, пробирающихся сюда изъ великихъ и малыхъ уголковъ нашей родины, даже изъ ея отдаленнѣйшихъ мѣстъ.

Трудолюбивые, покойные, нравомъ тихіе, уступчивые, они пользуются здѣсь общимъ уваженiemъ и довѣріемъ, хотя надъ ихъ безусыми, безбородыми, то юно-женоподобными, то какими-то старушечими физіономіями, румыны немного и подсмѣиваются.

Русскіе скопцы расположились въ Бухарестѣ всѣ вмѣстѣ, застроили цѣлый кварталъ въ сѣверо-восточномъ предмѣстьѣ города и оттуда снабжаютъ бухаретское барство и наѣзжай людь своими покойными фаэтонами и быстроногими лихо съѣзженными парами...

На-дняхъ, наша русская офиціальная колонія, т. е. консульство, была приглашена старшиною здѣшнихъ скопцовъ на блины; баронъ Стюартъ, нашъ уважаемый консулъ, сообщилъ

это предложение и мнѣ, и въ назначенное время нашъ кортежъ изъ трехъ колясокъ покатилъ **на званые блины въ эту русскую слободу.**

Прѣхавъ чутъ не весь бухаретскій Невскій проспектъ, мы повернули вправо и принялись колесить и путаться по извилистымъ закоулкамъ этой части города. Въ Бухарестѣ насчитываютъ съ небольшимъ двѣстѣ тысячъ жителей, а впечатлѣніе, которое производить на вѣсъ Бухарестъ своею раскиданностью, заставляетъ вѣсъ думать, что населеніе его хватаетъ чутъ ли не до полумилліона. Городъ построенъ очень просторно и разбросался на громадномъ пространствѣ. Еще на главныхъ улицахъ, чисто торговаго характера, дома стоять тѣсными рядами, сплошь, плотно прижавшись другъ къ другу, въ другихъ же частяхъ нѣтъ почти дома, чтобы около и вокругъ него не былъ разбитъ садъ и даже виноградники—все это очень красиво, гигиенично, хотя и страшно растягиваетъ разстоянія отъ одного пункта до другого. Вотъ по такимъ-то улицамъ мы и колесили, мимо прелестныхъ домовъ здѣшней аристократіи, построенныхъ со вкусомъ, но съ большими претензіями на что-то... Если только владѣлецъ дома хотя чуточку титулованъ, онъ уже непремѣнно украситъ фронтоны своего жилища эмблемами и гербами, вырѣжающими его титулъ и даже родословную во всѣхъ мельчайшихъ отг҃никахъ. Эта уже такая слабость здѣшняго барства.

Долго мы ѻхали мимо геральдическихъ львовъ, орловъ, оленей, мимо шестовъ съ коронами на верху и флюгерами, наконецъ, характеръ улицъ сталъ замѣтно измѣняться—онъ стали уже, еще кривѣ и извилистѣе, грязнѣе и хуже обстроенные... Показались положительно лачуги, неразработанные пустыри и длинные, покосившіеся заборы,—это предмѣстіе. Погода была прекрасная, весеннее солнце, хотя и въ началѣ февраля, сильно пригрѣло оттаявшую на поверхности землю и въ воздухѣ чувствовались аміачныя испаренія этихъ павозныхъ кучъ, зря наваленныхъ посреди улицъ.

Мы вѣхали въ ворота довольно большого, тѣсно застроенного двора и остановились у крыльца чистенькаго домика съ ярко побѣленными стѣнами и высокою черепичною крышею; дальше тянулись справа и слѣва, флигеля для женской половины, навѣсы для экипажей и просторныя конюшни; посреди

двора большой колодезь съ водопойными колодами. Хозяинъ дома, онъ же и старѣйшина скопцовъ, Алексѣй Андреевъ Матушевъ, встрѣтилъ гостей на порогѣ дома, привѣтствуя насы: «Добро пожаловать, милости просимъ!..» Это уже стариkъ, лѣтъ за пятьдесятъ, если не больше, колоссальнаго роста и могучаго сложенія; съ лицомъ ожирѣлымъ, женоподобнымъ, изрытымъ припухлыми морщинами, лицомъ безъ румянца, желтовато-восковымъ, съ волосами, остриженными въ скобку... Его тажелая еле ворочающаяся фигура съ необычайно развитыми бедрами производила, по правдѣ сказать, пренепрѣятное впечатлѣніе,—результаты грустнаго уродства, оскорбляющаго основные законы природы. Вмѣстѣ съ хозяиномъ дома вышелъ намъ на встрѣчу и его любимецъ, еще совсѣмъ молодой парень, Михайло; этотъ уже совсѣмъ смахивалъ на молодую и весьма даже красивую бабенку; одѣньте его только въ юбку и повяжите голову платкомъ и узнать его настоящій полъ будетъ положительно невозможно. Одѣть стариkъ былъ въ широкіе темно-синіе шаровары, въ ситцевую рубаху безукоризненной чистоты и въ клѣтчатый жилетъ, поперегъ котораго красовалась маленькая золотая цѣпь съ множествомъ брелоковъ. Насть провели черезъ узенький чистый коридоръ, въ небольшую горницу, третью которой занимала, заваленная пуховиками и подушками, прикрытая роскошнымъ стеганымъ одѣяломъ постель самого хозяина. Стѣны комнаты были сплошь увѣшаны фотографическими портретами, картиами писанными масляными красками и крошечными литографіями, между которыми красовались и наши старины, весьма интересныя по содержанію издѣлія Суздаля и Углича. Здѣсь были и разные генералы, и царствующій домъ, и сюжеты, содержанія религіознаго; на первомъ мѣстѣ красовался портретъ извѣстнаго Селиванова. какая-то сжелтая мумія съ жатымъ идіотическимъ черепомъ и сѣдыми прядями волосъ, рядомъ съ этимъ портретомъ, безусый и безбородый портретъ Петра третьяго, а съ другой стороны фельдмаршала Суворова, портреты, непремѣнно присутствующіе на стѣнахъ дома у всякаго сколько-нибудь зажиточнаго скопца. На противоположной стѣнѣ, тоже на самомъ видномъ мѣстѣ, изображеніе агнца, замѣчательное произведеніе скопческой фантазіи: на темно-синемъ фонѣ почного неба, въ воздухѣ бѣлый агнецъ мужскаго пола, но съ женскимъ чело-

вѣческимъ лицомъ и длинными волосами; на груди у этого агица красное сердце и въ него воткнуто семь мечей, надъ головою тоже ореолъ изъ семи стрѣлъ, бока прободены копьемъ... Внизу толпа, задравшая кверху голову и созерцающая видѣніе; подъ нею надпись, страшно затертая съ вылинявшей позолотою, подпись, въ которой я съ большимъ трудомъ могъ разобрать только нѣсколько словъ, а именно: «чистота голубика... Госп... доблена... гряди, жданый, съ вѣрою тя пріемлемъ»... Наверху тоже надпись — и въ лучахъ, исходящихъ изъ глазъ агица, тоже видны какія-то слова, но прочесть ихъ уже не было никакой возможности и на вопросъ мой о томъ хозяину дома, онъ отвѣчалъ чрезвычайно уклончиво, чуть даже не отозвался незнаніемъ и поспѣшилъ перевести разговоръ на посторонніе предметы...

Двѣ канарейки звонко заливались въ клѣткахъ, подвѣшенныхъ надъ обѣденнымъ столомъ, съ галереи неслись гортанные крики зеленаго попугая, на окнахъ тоже громко и весело чиликали какія-то птички, все это видимо обрадовалось теплому весеннему дню, яркимъ лучамъ солнца, врывающимся въ небольшія, чисто промытыя окошки. Въ горницахъ пахло кипарисомъ и деревяннымъ масломъ, восковыми свѣчами и раскаленной сковородою, на которую вѣроятно въ настоящую минуту лили приготовленное для блиновъ тѣсто. Скоро послѣ приѣзда, мы засѣли по приглашенію хозяина за столъ и началось угощеніе. О, Господи! — для субъектовъ, одаренныхъ даже самымъ могучимъ и простымъ желудкомъ подобное пиршество должно бы быть послѣднимъ, еслибы гость такъ же добросовѣстно отнесся къ каждому блюду, какъ усердно и добросовѣстно подчывалъ хозяинъ. Сначала, послѣ обычной выпивки въ русскомъ духѣ и вкусѣ, длинная серія рыбъ во всевозможныхъ видахъ, за этою серіею, такая же безконечная серія блиновъ, затѣмъ сласти, сласти и сласти. Спасибо старшему драгоману — выручилъ и не посрамилъ земли русской. Ужъ и такъ женоподобный Матушевъ — грустно качая головою, не безъ укоризны въ голосѣ замѣчалъ: «Эхъ, ваши превосходительства и ваши высокоблагородія обнѣмечили вы, какъ я погляжу, свои животики!»

Скопщамъ здѣсь, какъ я уже говорилъ, живется недурно. Община ихъ понемногу, по все-таки растеть и растеть, ком-

плектуясь не мѣстными неофитами, а прибылями изъ глубины Россіи. Между здѣшними скопческими центрами, какъ Матушева, Гужиковыхъ, Завалова и общинами московскими, а также и другими русскими, поддерживаются весьма дѣятельныя сношения, идетъ почти постоянная переписка, и обо всякой малости, что только дѣлается на Руси, особенно въ ихъ средѣ здѣшнимъ скопцамъ «все доподлинно извѣстно, потому грамота у насъ на первомъ мѣстѣ» какъ говорили мы здѣшніе вожаки. Подобный вожакъ, какъ напримѣръ Матушевъ, составляетъ почти все для своей общины; онъ и ея владыко и представитель и посредникъ между ними и начальствомъ, оберегатель ихъ интересовъ, хотя и не совсѣмъ безкорыстный. Онъ и главный операторъ, учитель сему почтенному искусству, онъ и судья въ спорныхъ дѣлахъ, возникающихъ между членами «агицевыми голубятами», однимъ словомъ—все. Преемникъ ему, на случай его смерти, хотя и долженъ быть по приговору общины, или же присланъ откуда-нибудь свыше, хотя напримѣръ, изъ старшей московской общины, но большею частью подготавляется заранѣе самимъ старшиною. Вотъ какъ напримѣръ, этотъ Махайло, бойко-грамотный, толковый парень, себѣ на умѣ, правая рука Матушева, своего приемного родителя.

Румынское правительство и сами румыны относятся къ нашимъ скопцамъ крайне терпимо и снисходительно; оно видѣть въ нихъ только чрезвычайно покойныхъ, трезвыхъ и дѣятельныхъ подданныхъ, исправиѣ всѣхъ платящихъ свои повинности и, какъ я уже говорилъ, весьма крупные повинности,—тѣмъ болѣе что здѣшніе скопцы, вопреки своему правилу—энергично пропагандировать свое ученіе и пользоваться всѣми мѣрами для увеличенія числа своихъ членовъ, здѣсь въ Румыніи отъ пропаганды положительно отказались, даже препятствуютъ добровольному вступленію, еслибы такие охотники нашлись, а что они находятся, то это вѣро, ибо «житѣе наше честное и прибыльное зависть въ иномъ вызываетъ; такъ вотъ корысти больше ради».

Интересно знать, какъ бы румыны отнеслись къ скопцамъ, еслибы замѣтили ихъ пропаганду въ румынскомъ народѣ? Отнеслись ли бы они такъ же терпимо, или же вынудили бы скопцовъ—искать себѣ новую землю, обѣтованную?

Передо мною лежитъ нумерь, — отъ 9-го февраля, «Journal de Bukarest;» неизвѣстный авторъ статьи задаетъ такой вопросъ: что будетъ, когда русскіе займутъ Румынію и откроютъ наступательныя дѣйствія противъ турокъ? Неужели, говорить онъ, опять повторится то же, что было въ прошедшую кампанію, т. е. русскіе будутъ загребать жарь чужими руками (это румынскими-то руками), будутъ обстрѣливать турецкіе форты изъ румынскихъ пушекъ и румынскимъ порохомъ (?) и вездѣ, и всюду выставлять въ авангардъ и во всѣ опасные пункты румынскихъ солдатъ, скрываясь сами за ихъ спинами? Вся статья наполнена такимъ же вздоромъ и не знаешь, чѣмъ объяснить себѣ эти выходки, полными ли незнаніемъ и непониманіемъ дѣла, значить только глупостью, или же просто подлостью. Эту статью въ настоящую минуту читаютъ во всѣхъ кафе, за столиками въ хорошенъкой кондитерской «Фраскати», противъ театра навѣрное сгруппировались даже кружки и статья читается кѣмъ нибудь вслухъ, трактуется, цитируется, наводитъ на мысли. Она и мечтала на вѣла на мысль, — мысль о храброй румынской арміи, вѣчной безкорыстной жертвѣ коварныхъ русскихъ интригъ и проч., и проч. и проч.

Кстати: съ calea mogosoi несутся стройные звуки воинского оркестра; теперь 12 часовъ дня и время развода съ церемоніей, ежедневнаго. Мохнатый, рослый тамбуръ-мажоръ маршируетъ впереди хора, выкидывая штуки своею булавою, за нимъ шагаютъ музыканты, дуютъ усердно въ трубы, колотята въ барабаны, — за ними два всадника на тощихъ разбитыхъ клячахъ лорнируютъ дамъ и спакомыхъ и любезно раскланиваются, за этими рыцарями развернутое знамя и ряды... ряды... идутъ стройно, смотрятъ молодцами, одѣты исправно и вооружены тоже недурно. Ружья «пібоди» содержатся чисто и въ порядкѣ, чего же еще больше?! У румынъ четыре батальона стрѣлковъ, въ круглыхъ, валашскихъ шляпахъ съ полями и зелеными помпонами, если не ошибаюсь восемь батальоновъ линейной пѣхоты похоже сортомъ, но все-таки сносной; о внѣшнемъ видѣ этихъ войскъ я уже говорилъ въ корреспонденціи изъ Яссъ, полкъ жандармовъ, нельзя же безъ нихъ, жандармовъ въ прусскихъ каскахъ и прусской выправки, два полка гусаръ «ратіори», въ красныхъ венгеркахъ съ чер-

ными штурами и бѣлыхъ коланахъ, соразмѣрной съ симъ числомъ войскъ артиллерія. Кромѣ всего этого—милиція, конная «калараши» и пѣшая «даробанцы»—это пограничная стража въ бараныхъ большихъ шапкахъ съ ястребиными перышками сбоку. Все это вмѣстѣ составляетъ силу довольно порядочную, около пятнадцати тысячъ человѣкъ, весьма достаточную, чтобы на первыхъ порахъ противостоять туркамъ, еслибы они вздумали переправиться черезъ Дунай и посѣтить прибрежную полосу. А между тѣмъ—если бы вы знали какая паника распространилась на-дняхъ въ Бухарестѣ, даже въ Бухарестѣ, когда узнали, что въ Рущукѣ пришло еще двѣ или три тысячи кавалеріи. А почему распространилась эта паника? Почему они, т. е. румыны, думаютъ, что горсть туровъ въ какія-нибудь пять-шесть тысячъ человѣкъ, большето имъ и выслать нечего,—это фактъ,—можетъ смѣло и безпрепятственно пройти короткій промежутокъ между Журжею и Бухарестомъ, и въ одно прекрасное утро пройтись церемоніаломъ по тому же calea mogosoi, на страхъ и ужасъ всѣмъ этимъ жалкимъ кошіямъ—англійскихъ денди, нѣмецкихъ бароновъ, венгерскихъ магнатовъ и парижско-вѣнскихъ кокотокъ? Да все по той же истинѣ, что «сильнѣе кошки звѣря нѣтъ» и по неувѣренности въ своихъ войскахъ, или, правильнѣе, по вполнѣйшему убѣждѣнію въ ихъ несостоятельности. Подумаешь, что и правда—руssкіе въ прошлуу компанію разстрѣляли весь румынскій порохъ и погубили всѣхъ ея солдатъ, защищаясь ими какъ «мантилетами» отъ турецкихъ пуль и ядеръ. А эти воины, что ежедневно парадируютъ теперь, подъ торжественные звуки военной музыки,—это такъ только, одинъ миоъ, безплотные призраки тѣхъ, погубленныхъ Россіею героевъ. Постыдились бы вы, румынскіе бары, хотя бы вашего бронзового Михаила храбраго, что верхомъ на горячемъ конѣ потрясаетъ въ воздухѣ своею сѣкирою, передъ подъѣздомъ сената. Вѣдь это онъ теперь вамъ грозить, именно вамъ, а не туркамъ, вы всмотритесь только въ него: его глаза прямо устремлены на окна сената, да еще на какія окна, на тѣ самыя, противъ которыхъ засѣдаетъ туркистъ Іонъ Гика и его туркофильствующіе поклонники.

Кстати, о жѣльзныхъ путяхъ соединеннаго княжества. Теперь только румыны спохватились какою бѣдою можетъ гро-

зить имъ это направление желѣзнодорожныхъ линій. Главныя двѣ вѣтви идутъ одна отъ Яссы къ Галацу, другая отъ Бухареста къ тому же пункту, образуя такимъ образомъ уголъ, вершина которого лежитъ у самаго Дуная. Переправясь турки здѣсь, т. е. между Галацомъ и Браиловимъ, и всѣ желѣзныя дороги въ ихъ рукахъ, имъ предоставляется два превосходныхъ пути наступлѣнія,—княжество разрѣзано пополамъ между Яссами и Бухарестомъ всякое сношеніе становится невозможнымъ,—столицы изолированы одна отъ другой и спасеніе предстоитъ только изъ-за Прута; съ его лѣваго берега, откуда могутъ прийти единственныя историческіе охранители румынскаго народа, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ страшное пугало по мнѣнію румынского барства.

## X.

Разстояніе, съ небольшимъ семьдесятъ пять верстъ, между Бухарестомъ и Журжевомъ, или Журжею, отвратительные струссберговскіе вагоны пробѣгаютъ часа въ три съ половиною времени... Жалкія подобія вагоновъ, это просто какія-то крохотныя клѣтки, досчатыя, разщелившіяся, прикрытыя блинообразными kleenчатыми подушками, на видъ весьма подозрительными, какъ извѣстные кожанные диваны нашихъ россійскихъ почтовыхъ станцій быаго типа. Клѣтки эти два раза въ день катаются по злосчастной вѣтви, соединяющей непосредственно съ Турциею столицу румынскаго княжества, злосчастной потому, что она, эта вѣтвь и служитъ главнѣйшимъ проводомъ страха бухарестскихъ обитателей: «а что какъ въ струсберговскихъ клѣтушкахъ на колесахъ, да вмѣсто мирныхъ пассажировъ засядутъ бashi-бузыки съ того берега, въ какіе-нибудь четыре часа, прилетятъ сюда и произнесутъ свое грозное: «а подать сюда Тяпкина-Ляпкина». Положимъ, чалмо-мудрствующему Іонѣ Гикѣ и его доблестнымъ сподвижникамъ это будетъ на руку, да вѣдь остальнымъ-то каково!.. Говорятъ, что въ предупрежденіе подобной катастрофы приняты мѣры и даже весьма дѣйствительныя. Мѣры эти... вы думаете какія?.. Стянуть къ Журжѣ храбрыя румынскія войска; укрѣпить съ этой стороны позиціи, или что-нибудь въ этомъ родѣ?.. Ну право же нѣтъ. Хотите вѣрьте, не хотите, какъ

угодно, но только это такъ. Мѣры заключаются въ томъ, что «начальнику желѣзнодорожной станціи въ Журжево не велено ни подъ какимъ предлогомъ выдавать башн-бузукамъ билетовъ на проѣздъ до Бухареста. Начто же вамъ болѣе дѣйствительной мѣры!..

Ну-съ, такъ вотъ по этой-то злосчастной вѣтви и поѣхалъ я въ Рущукъ, запасшись предварительно болѣе удобнымъ паспортомъ, чѣмъ мой настоящій, въ которомъ, по несчастной страсти вездѣ и всюду выставлять чинъ и званіе предъявителя, означено «капитанъ» и пр. и пр. и пр.

День выѣзда моего былъ прекрасный, солнечный, теплый такой, какъ у насъ выдаются, и до изрѣдка, во второй половинѣ апрѣля мѣсяца. Снѣгъ вездѣ стаялъ, ручейки довольно грязной воды весело журча сбѣгали со всякой покатости, наполняя глубокія рытвины; у подножій солнечныхъ скатовъ, по берегамъ временныхъ лужъ зеленѣла молодая, весенняя, первая еще травка, красиво пестрѣли бѣленъкія, голубыя и ярко желтыя звѣздочки «подснѣжниковъ». Въ самомъ воздухѣ чувствовалась весна, даже скотъ выгнанъ былъ на поля, и тамъ и самъ виднѣлись парные плуги, запряженные волами и лошадьми вмѣстѣ, прокладывающіе первыя, черныя какъ уголь, дымящіяся борозды... Дѣти въ однихъ рубашенкахъ, босоногія рѣзвились на улицахъ, бродя и плескаясь въ лужахъ, группы красивыхъ женщинъ въ своихъ яркихъ платкахъ и въ бѣлыхъ рубахахъ, обильно вышитыхъ узорами, съ граціозно повязанными платками на головахъ, съ пучками пестрыхъ лентъ въ косахъ, толпились на скатахъ полотна желѣзной дороги... Все это смотрѣло такъ тепло, празднично, весело, все это такъ гармонировало съ пробуждающейся природою... и это въ первой половинѣ февраля!.. Благодатная страна, какъ бы хорошо жилось въ тебѣ, еслибы... Ахъ, оставимъ это вѣчное еслибы...

На половинѣ дороги станція «Комана», по которой поѣзда, идущіе изъ Бухареста въ Журжево и наоборотъ, встрѣчаются и пережигаютъ другъ другъ. Остановка четверть часа. Я вышелъ изъ вагона и тотчасъ же былъ окружены шумною толпою мальчиковъ и дѣвочекъ съ букетами свѣжихъ подснѣжниковъ въ рукахъ. Букетъ стоитъ одно бени, т. е. третью нашей копѣйки. Вотъ гдѣ бы закупать ихъ для оваций заѣзжимъ

пѣвицамъ каскадесамъ! Не поздоровилось бы имъ отъ такихъ приношений.

Одна отвратительная сцена невольно обратила на себя мое вниманіе. Въ вагонѣ первого класса сидѣлъ старикъ лѣтъ шатицесати, наружности весьма почтенный и благообразной. Я видѣлъ этого старика на довольно почетномъ мѣстѣ, въ залахъ депутатскихъ собраний, въ Бухарестѣ. Аристократъ румынъ, чистокровный аристократъ, и на фронтѣ дома геральдическая изображенія... Вотъ этотъ-то старичекъ вылѣзъ изъ вагона, съ почтительною помощью какого-то воина, запримѣтилъ въ толпѣ дѣтей прехорошеньку смугленькую, типъ ангеловъ Мурилю и подманилъ ее къ себѣ костлявымъ пальцемъ, сверкавшимъ при солнцѣ крупными брилліантами. Почтенный старецъ, прости корреспондента за подробности, по которымъ тебя не трудно будетъ узнать остальнымъ твоимъ собратьямъ. Впрочемъ, это имъ да послужить благимъ примѣромъ.

Дѣвочка подошла...

— Что это у тебя, моя миленькая?.. — зашамкалъ старецъ и пощекоталъ двумя перстами подъ загорѣлымъ подбородкомъ ребенка.

— Уно бени... — залепетала дѣвочка, протягивая свои пучечки подснѣжниковъ, — уно бени...

— Давай, давай ихъ сюда... А это вотъ хочеть?.. Посмотри, посмотри... Это хочешь взять, хочешь?

Аристократъ повергѣлъ передъ глазами смуглянки полуфранковою серебряною монеткою...

— Дай! Домине, добрый домине, дай! — запрыгала дѣвочка, стараясь поймать этотъ маленький блестящій крупежекъ...

— Поцѣлуй, тогда дамъ...

Кое-кто изъ окружающихъ почтительно стали улыбаться; послышались голоса:

— Ну, ты, цѣлуй скорѣй, цѣлуй, «Домина» добрый вѣдь, цѣлуй скорѣй...

Ребенокъ торопливо, какъ-то украдкою, словно сознавая, что дѣлаетъ что-то нехорошее, нагнулся и чмокнулъ другую руку соблазнителя.

— Получи, — произнесъ тотъ и отдалъ монетку. — Ну, а сюда попцѣлуй!.. Вотъ сюда!..

Онъ нагнулся еще ниже и ткнулъ пальцемъ въ свои губы, сложившіяся въ эту минуту въ форму какой-то отвратительной устрицы сомнительной свѣжести...

Дѣвочка попятилась и замотала головою...

— Сюда—франкъ, цѣлый «леи» уно!—пояснила она, поднявъ кверху указательный палецъ.

Этого уже я никакъ не ожидалъ! Вотъ уже это было поистинѣ достойное развитіе, достойное самыхъ депутатствующихъ развивателей...

— П я, и я, поцѣлую... я дешевле возьму, я за два бени поцѣлую! — проталкивалась впередъ другая дѣвочка, тоже не старше десяти лѣтъ, но только не такая миловидная, худенькая съ замѣтными рябинками на блѣдныхъ щечкахъ.

— Ну, ну, ну, ступай ты, замарашка!.. Ступай прежде умойся!— весело захихикалъ старецъ и полѣзъ опять въ свое купѣ первого класса.

Звонокъ... Издали унылый звукъ рожка стрѣлочника, трель кондукторскаго свистка, два-три тяжелые вздоха локомотива и поѣздъ тронулся, оставляя сзади и платформу станціи Комана, и рѣзвую толпу не въ пору развитыхъ дѣвочекъ съ ихъ подснѣжниками, и красивый монастырь на пригоркѣ, съ его серебряными главами и живописными выступами древней, полуразвалившейся ограды...

Въ этой пустой, глухой, грязноватой сценкѣ высказалось все отпощеніе румынского барства, этого чуждаго краю, исковерканаго на иностранный ладъ, наболѣвшаго элемента къ средѣ простого румынского народа. Если не ошибаюсь, но кажется, этотъ любвеобильный старецъ, въ одномъ изъ заѣдааній, на которомъ и мнѣ пришлось присутствовать, горячо говорилъ съ трибуны обѣ упадкѣ въ Румыніи народной нравственности. Коментаріи излишни.

Вотъ и Журже. Подѣлзжая къ ней, вы видите влѣво красивую низменную долину рѣки Дымбовици: здѣсь она впадаетъ въ Дунай. Вдали видна въ туманѣ темно-синяя полоса самого Дуная и волнистая линія турецкаго берега. Рущукъ еще не видѣнъ, но окружающіе его холмы положительно господствуютъ и надъ рѣкою съ ея островами, поросшими мелкимъ лѣсомъ, и надъ этимъ берегомъ, и надъ самою Журжею, расположеною какъ разъ подъ выстрѣлами турецкихъ батарей, въ слу-

чай, если этимъ послѣднимъ придется открыть канонаду по этому аванпосту самого Бухареста...

Журжъ городокъ довольно живописный, но только обогащаетъ улицами, положительно невозможными для проѣзда. Наша несчастная коляска, которая взялась довезти насъ со станціи желѣзной дороги на пароходную пристань, кое-какъ, и то шагомъ, пробиралась по этимъ грязнымъ топямъ, натыкаясь, съ подозрительнымъ трескомъ рессоръ, на громадные камни мостовой и бревна гаѣтей. Когда мы проѣзжали черезъ центральную площадь, на ней училось десятка два солдатъ, доробанцевъ, училось безъ ружей, по десяти минутъ, если не больше, балансируя на одной ногѣ подъ мѣрный распѣвъ долговязаго офицера съ галунами на форменномъ кепи.

Въ Журжѣ всего на всѣго стоитъ человѣкъ двѣсти солдатъ, это всѣ силы, съ которыми румыны приготовляются встрѣтить грознаго врага съ того берега, между тѣмъ какъ въ Бухарестѣ я видѣлъ — таки достаточно войскъ разныхъ родовъ оружія, праздно маневрирующихъ по асфальту, «colea mogasoi», и на загородномъ шоссе; тамъ вѣрно они нужнѣе.

Чтобы добраться до пароходной пристани, надо проѣхать весь городъ и затѣмъ уже по отѣзданному пути спуститься на самый берегъ Дуная. Насъ встрѣтилъ еще на станціи желѣзной дороги драгоманъ русскаго консульства въ Рущукѣ. Любезность далеко не лишняя въ виду приидирчивости румынскихъ таможенныхъ и полиціи, а главное, въ виду того обстоятельства, что переправляться приходилось на турецкомъ полувоенномъ пароходѣ, единственномъ, совершающемъ два раза въ день рейсы между Рущукомъ и Журжею. Да это еще ничего, если есть пароходъ, хотя и турецкій, а то случается, что и вовсе нѣтъ никакого парохода, особенно въ сильный вѣтеръ, когда этотъ несчастный пароходъ съ его неловкою прислугою боится быть выброшеннымъ порывомъ вѣтра на отмель, въ этомъ мѣстѣ Дунай почти сплошь усѣянъ подобными отмелями и песчаными островами... Въ такое время мнѣ разъ случилось переправляться, именно здѣсь, черезъ Дунай и пришлось отыскивать рыбачью лодку. Положительно скажу, что переплыть на гребной лодкѣ черезъ Дунай, да еще въ вѣтринную погоду, вещь въ высшей степени непріятная.

Начну съ того, что лодку таковую достать довольно трудно, не всегда даже найдутся охотники получить съ васъ лиру, или не менѣе двухъ дукатовъ. Но, положимъ, вы счастливецъ, и находите. Коренастый, черномазый румынъ, а можетъ быть и цыганъ, выдающій себя за румына, получаетъ половину платы впередъ, жметъ вамъ дружески руку въ залогъ вѣрности и ведетъ къ лодкѣ. Лодка эта длинная, довольно узкая, съ бортами не высокими, поперегъ три скамьи для гребцовъ, сзади на кормѣ тоже досечка... вы садитесь. Съ вами садятся трое: одинъ на кормѣ съ рулевымъ весломъ, одинъ на носу, съ шестомъ и одинъ, т. е. третій у небольшой мачты, поставленной не для паруса, а буксирной веревки, привязанной къ ея вершинѣ. Человѣкъ пять хватаются за веревку и начинаютъ вѣсельно тянуть вверхъ противъ теченія, чтобы у того берега не отнесло слишкомъ уже далеко... Тянуть, тянутъ васъ, иногда версты полторы протянутъ, наконецъ бросить, человѣка три еще посидутъ въ лодку и возьмутся за весла... Сперва идетъ дѣло довольно успѣшно, даже покойно, потомъ, по мѣрѣ того какъ васъ выносить на середину рѣки, волны накатываются энергичнѣй... Вы теперь только понимаете, что это довольно солидныя волны, не та легкая зыбь, что вамъ казалось съ берега, заставлявшая васъ даже удивляться, почему-то такъ мало охотниковъ за хорошую плату везти васъ на ту сторону?.. Бѣлые гребешки, такъ называемые зайчики плещутъ за бортъ и обдають васъ холодными брызгами. Лодку сильно вскидываетъ и бьетъ по водѣ ея днищемъ, человѣкъ на носу и на кормѣ усердно работаютъ ковшами... Гребцы тяжело дышать, отъ нихъ даже паръ валить и на лбу выступаютъ крупные капли пота, а вамъ холодно, даже сквозь плѣдъ пробираеть вѣтромъ, насквозь пронизываетъ сыростью... Вотъ уже почти часъ вы на водѣ, а все на серединѣ рѣки—такъ по крайней мѣрѣ вамъ кажется... И тотъ берегъ ушелъ далеко, и этотъ что-то не приближается... Лодку отнесло уже гораздо ниже того мѣста откуда вы начали плаваніе, пропесло даже мимо той точки, где бы вы должны были пристать, и вы дасадуете, зачѣмъ васъ на буксирѣ не проташили дальше... Погодите, дѣло поправится. Разомъ, почти внезапно становится спокойно, лодка охотно слушается и руля, и весель, гребцы повеселѣли, рулевой ворочаетъ къ пристани

и лодка ваша теперь уже подвигается быстро, покойно и определенно... Вы выбрались, значит, изъ средняго теченія и зашли въ покойную воду, защищенную отъ вѣтровъ тою песчанистою, обрывистою береговою кручею.

Привезшая васъ лодка не можетъ дожидаться здѣсь у этого берега, ее сейчасъ же прогонятъ, а отсюда васъ повезетъ уже турецкій каикъ и повезетъ совершенно одинаковыи способы... По правдѣ, не совсѣмъ весело и покойно на душѣ, когда чувствуешь себя одинокаго на турецкой лодкѣ, по срединѣ рѣки, далеко отъ береговъ, между пятью или шестью горбоносыми лодочниками, непремѣнно турками, посматривающими на васъ несовсѣмъ-то благосклонно. Болгаринъ не имѣть права не только держать лодки, но даже быть лодочникомъ-наемщикомъ, эта уже такая мѣра предосторожности со стороны турецкихъ властей мѣра, надо сознаться довольно рациональная. Лодочниками могутъ быть только или мусульмане, или русскіе некрасовцы и липоваки, этимъ послѣднимъ представлено широкое право ходить по водамъ Дуная (турецкимъ водамъ, конечно) подъ строгимъ наказомъ не принимать на свою лодку ни одного болгарина съ турецкаго берега, ни подъ какимъ предлогомъ. Впрочемъ, некрасовцы, пользуясь неудобствомъ наздора, не слишкомъ то слушаются этого строгаго наказа и контрабандно перевозкою болгаръ зарабатываютъ себѣ не малыя деньги, особенно въ низовьяхъ, гдѣ они уже полные хозяева и властители всѣхъ укромныхъ водныхъ пріютовъ, извѣстныхъ только имъ однимъ; а все нижнее теченіе Дуная, съ его рукавами, болотистыми берегами, непроходимыми камышевыми зарослями, изобилуетъ такими пріютами.

Отдѣльно переправляющіяся лодки пристаютъ только у таможни. Отсюда уже, послѣ осмотра, безцеремонно, грубаго и весьма тщательного, и визировки вашихъ бумагъ, васъпускаютъ въ городъ, но уже отсюда вы состоите подъ надзоромъ, не всегда даже скрытымъ. За вами слѣдятъ явно, малыйшій вашъ шагъ перетолковывается по своему, весьма даже невыгодно для васъ, и съ вашей стороны требуется много осторожности, выдержки, и такта, чтобы легко относиться къ непріятностямъ мелкимъ, не наткнуться на непріятность крупную, Богъ вѣсть, какъ еще могущую для васъ разыграться...

«Ты это зачѣмъ сюда забрался?» этотъ вопросъ вы невольно читаете въ глазахъ каждого встрѣчнаго. Если вы не понимаете по-турецки, вы избавляетесь отъ удовольствія слышать много не совсѣмъ лестнаго на вашъ счетъ; если же, наоборотъ, понимаете, то вспомните, что вы христіанинъ, а потому постарайтесь возбудить въ себѣ побольше этого прекраснаго чувства—крутисти и всепрощенія. Не благо вамъ будетъ, если вы окажетесь не кстати обидчивы.

Шагахъ въ двадцати отъ довольно крутого спуска, ведущаго къ самой водѣ, стоитъ небольшой деревянный домикъ, у подъѣзда котораго вѣчно гонится съ десятокъ доробанцевъ и таможенныхъ служителей. Здѣсь осматриваются багажъ и провѣряются паспорты. Мы обошлись безъ этой стѣснительной формальности, хотя должны были оставить экипажъ за шлагбаумомъ и пройтись немного нѣшкомъ. У самаго берега жалобно посвистывалъ грязный, маленький пароходикъ подъ турецкимъ флагомъ, на палубѣ котораго взадъ и впередъ сновали босоногіе матросы въ небольшихъ чалмахъ, павороченныхъ поверхъ традиціонной красной фески съ кисточкою... Капитанъ парохода, въ темно-синемъ длинномъ сюртуке, съ галунами на воротнике и обшлагахъ, по одиночкѣ пропускалъ пассажировъ, пробиравшихся по узкой, колеблящейся дощечкѣ, перекинутой съ берега, за этою операцией зорко наблюдали два турецкихъ жандарма, въ старыхъ, сильно запошенныхъ мундирахъ... На берегу густая толпа окружила что-то, лежащее на пескѣ. Замѣтно волненіе, слышится самый оживленный говоръ, нѣсколько матросовъ-турокъ взбрались на снасти и заглядываютъ сверху, черезъ головы толпы, два-три штыка видныя надъ мирными фесками и барабанами шапками, должно быть часовые приставлены... «Въ чемъ дѣло?» Подошелъ я поближе,—румыны вѣжливо разступились, одинъ даже пригласилъ меня совсѣмъ впередъ, сказавъ съ пріятною улыбкою: «вонъ посмотрите!..» Навзничь, вытянувшись въ струнку, руки по швамъ, бокъ о бокъ рядомъ лежатъ два трупа, покрытые парусомъ, складки сырого полотна отчетливо обрисовываютъ двѣ выпуклости, мѣстами насквозь прошли подозрительныя пятна бурого цвѣта, должно быть кровь.

— Этотъ, вотъ, штыкомъ проколотъ въ двухъ мѣстахъ, а этому пуля какъ разъ въ лобъ попала,—сообщилъ мнѣ кра-

савецъ-валахъ въ шитой рубахѣ, ниже колѣнъ и въ бараньей шубѣ въ накидку, мѣхомъ наружу...

— Погодите, собаки, достанется и вамъ скоро!—ругаются съ парохода матросы-турки.

— Да, мы ихъ хорошо проучили!—хвастается доробанецъ, одинъ изъ часовыхъ...—Долго теперь будуть помнить и къ намъ за лѣсомъ соваться не станутъ... Насъ было всего навсего сорокъ человѣкъ...

— А ихъ?

— Ну, врешь, врешь!—кричить кто-то изъ лодки, полу-вытащенной на песокъ.—Это вамъ со страху батальонъ показался... Наши безъ ружей были съ одними топорами, а вы съ ружьями... Трусы вы, больше ничего!..

— Однако, это дѣло можетъ разыграться скверно,—зловѣще ворчить яко бы для себя горбатый носъ армянского происхожденія...

Сегодня ночью на одномъ изъ острововъ, лежащихъ между Рущукомъ и Журжею, верстахъ въ шести отъ послѣдней, разыгралась воинственная драма: туркамъ, видимо, очень нуженъ мелкій лѣсъ для своихъ фортификаціонныхъ работъ, а по близости города, на турецкой территории нѣтъ вовсе такого лѣса, да и никакого кромѣ нѣсколькихъ чахлыхъ общественныхъ садовъ-шитомниковъ; вотъ турки и ъздили на румынскіе острова, обильно поросшіе кустарникомъ, гдѣ и добывали себѣ все нужное для плетенія туровъ и фашинъ. По этому поводу уже не разъ были столкновенія съ румынами, вызывавшія энергичную переписку между префектомъ Журжи и рущукскими властями; переписка обыкновенно не вела ни къ чему и поѣздки турокъ за чужимъ лѣсомъ практиковались все чаще и чаще. Въ одну изъ такихъ поѣздокъ были даже убиты два румынскихъ гарничара, убиты подло, врасплохъ захваченные на своихъ постахъ, у береговой стоянки, обстоятельство, на-дѣлавшее въ свое время много даже дипломатического шума. Вчера передъ вечеромъ отъ базарной пристани Рущука отчалили три лодки весьма подозрительного вида и потянулись вдоль берега, а за тѣмъ поднявшись верстъ на шесть, стали спускаться, держась къ отмелямъ острова Рамадана. Лодки эти были своевременно замѣчены съ румынского берега, и тотчасъ же отсюда были посланы сорокъ человѣкъ вооружен-

ныхъ доробацевъ, слѣдить за турками. Пользуясь наступившою темнотою, румыны обогнули островъ и напали на дровосѣковъ врасплохъ, отрѣзавъ имъ путь отступленія. Оказалось, что вмѣстѣ съ турками было десятка три болгаръ, которые на окликъ румынъ, тотчасъ же бросили свою работу и стали просить ихъ не трогать и отпустить, такъ какъ они попали сюда не своею волею, а пригнаны силою...

— А развѣ чужой лѣсъ рубить можно! — кричали имъ наступавшіе грознымъ строемъ румыны.

— А какжѣ намъ не рубить, когда зѣ спинами турецкія ружья! — оправдывались болгары.

Съ этимъ нельзя было не согласиться и румыны дали возможность бол гарамъ свободно отретироваться на свои лодки, съ турками же, которыхъ было человѣкъ до пятидесяти, началась свалка, а такъ какъ эти послѣдніе были почти нѣ вооружены, то перевѣсьлся оказался на сторонѣ румынъ. Два турка были убиты, нѣсколько ранено и четырнадцать человѣкъ взято въ плѣнъ. Доробанцы не потеряли ни одного человѣка.

Съ большимъ торжествомъ и ликованіемъ вернулись побѣдители въ Журжу, захвативъ съ собою всѣ трофеи боя: — оба трупа, плѣнныхъ, нѣсколько десятковъ топоровъ, одну лодку и весь порубленный лѣсъ, какъ улику преступленія. Рущукскій комендантъ прислалъ офицера и двухъ солдатъ за тѣлами убитыхъ, но ему ихъ не выдали, говорятъ — нужны для слѣдствія. Турки ожесточены и вонють о безчеловѣчности румынъ, румыны опираются на полную законность своего поступка. Дѣло только что начинается, и пока еще префектъ Журжи и комендантъ Рущука размѣнялись только первыми конвертами.

Третій свистокъ, пара и на пароходѣ. Тамъ уже вся палуба завалена тюками, ящиками и боченками, весьма подозрительного вида, около каждого красноватая лужица, должно быть видно; двѣ дамы, одна съ лицомъ закрытымъ снизу чадою, значитъ мусульманка, тщательно подобрали свои драпировки и хотятъ пройти на корму, да тѣсно все загорожено. Дряиной пароходъ нагруженъ не въ мѣру, сидѣть глубоко и какъ-то потрескиваетъ, наводя на душу тоску и сомнѣніе. Я на палубѣ, значитъ уже въ Турціи, надѣ головою положится

въ тепломъ весеннемъ воздухѣ красная тряпка съ луною и звѣздочкою; слышится команда на турецкомъ языкѣ. Человѣкъ есѧть матросовъ расположились на бортѣ, сильно налегли на багры. Пароходъ качнулся на бокъ; колеса ворочаются лѣниво, подъ килемъ глухо шуршитъ подонный песокъ.—Стой, надо сгружать лишній товаръ, нагрузились не въ мѣру. Пришлось еще проходить съ полчаса; а толпа вокругъ турецкихъ тѣль все сгущается, ростетъ, комплектуясь прибывающими изъ города любопытными. Опять слышится тотъ же хвастливый разсказъ румынскихъ часовыхъ, опять недовольное ворчаніе и брань турокъ. Съ росписной, высокой, оригинальной такой кормы турецкаго галюта, стоящаго поблизости на причалахъ, несется по-русски, хотя съ восточнымъ акцентомъ, забористая, наша отечественная, народная брань.

— И дымъ отечества намъ сладокъ и пріятенъ, — замѣтилъ улыбаясь мой спутникъ, кивнувъ головою въ сторону, откуда неслись россійскіе звуки.

Наконецъ-таки справились, посвистали еще разокъ, уже не въ счетъ, и медленно тронулись вдоль глинистаго берега, огибая низменный песчаный островъ съ торчащимъ по срединѣ деревяннымъ блокгаузомъ. Клубы чернаго дыма потянулись за нами слѣдомъ, заражая воздухъ отвратительнымъ запахомъ кокса.

---

Красивая панорама развертывалась передъ глазами, когда мы обогнули безконечно длинную песчаную отмель и выбрались на середину Дуная. День былъ, какъ я уже говорилъ, теплый, солнечный, небо голубое, почти безоблачное. Рѣзко отчетливо рисуются на водѣ прихотливые, золотисто-желтые контуры отмелей, устьянныхъ тысячами пернатой твари; турецкие галюты, распустивъ паруса, плавно лавируютъ между островами; вѣтъ на берегу беспорядочныя группы зданій Журжи съ золотыми крестами церквей, съ развалинами прежней крѣпости, надвинувшимися на самый край обрывистаго берега, а ниже мачты и мачты, цѣлый лѣсъ мачтъ и снастей, эффектно задрапированныхъ развѣшанными для просушки парусами, гир-

ландали разноцвѣтнаго бѣлья, брезентами и всѣмъ тѣмъ, что только не мѣшаетъ выслушить хорошенько, воспользовавшись яркими лучами весеннаго солнца. На томъ берегу, по гребню крутого обрыва видѣнъ Рущукъ, ниже отдалено стоящее зданіе городской бойни, еще подальше торчатъ высокія трубы какогото завода, ближе къ водѣ — станція желѣзной дороги, такъ называемая «Гара», — приземистое длинное зданіе въ родѣ казармы; прямые линіи рельсовыхъ путей заставлены вагоновъ и открытыхъ платформъ. Пересѣкая Дунай, мы приближаемся именно къ этому пункту; здѣсь первая остановка для высадки пассажировъ, єдущихъ по желѣзной дорогѣ въ Варну, а уже отсюда пароходъ везетъ городскихъ пассажировъ на другую пристань, находящуюся верстахъ въ двухъ выше, уже въ самомъ городѣ.

Когда пароходъ подошелъ вплотную, я замѣтилъ два большихъ крупновескихъ орудія, мирно почивавшихъ на желѣзно-дорожныхъ платформахъ: лежали только тѣла орудій, — станковъ по близости не было видно и признака. Эти двѣ пушки уже около мѣсяца лежать здѣсь, они предназначены для вооруженія вновь созидаемыхъ отдельныхъ фортовъ, — ну, да объ этомъ послѣ. Пассажиры парохода не безъ интереса разглядывали эти два модныхъ колосса.

— «*И такихъ намъ еще много* пришлютъ изъ Константинополя!» — произнесъ громогласно стеганный архалукъ сомнительного происхожденія, не безъ отваги поглядывавший на насъ, единственныхъ двухъ русскихъ на палубѣ парохода.

Высадили партию пассажировъ, думали просторий будеть, оказалось еще хуже: человѣкъ пятьдесятъ рабочихъ солдатъ, таскавшихъ какіе-то тюки съ платформъ въ пакгаузъ, бросили работу, бѣгомъ пустились къ намъ и гуськомъ стали перебираться на пароходъ по тонкимъ доскамъ сходней. Капитанъ было воспротивился, хотѣлъ протестовать, да куда тутъ, только выругали его, а все-таки заняли опять всю палубу. Мы должны были скромно отретироваться на самую корму. Что за неловкіе матросы эти турки! — это уже вошло даже въ пословицу: «Туровъ на водѣ, что рыба на берегу». Взгляните только, какъ неумѣло, копотно, неряшливо принимаются они за свое дѣло, — да и дѣло-то самое простое, немудреное, убрать при-

чалы, снять мостки, оттолкнуться немного баграми, легкий ходъ и все кончено.—Крикъ, шумъ, путаница, одинъ другому мѣшаетъ, тамъ конецъ веревки упустятъ въ воду, чуть даже мостокъ не полетѣлъ туда же, наконечники багровъ ломаются, бока парохода сильно трутся о пристань, того и гляди кожухи поломаютъ; на что требуется всего какія-нибудь полминуты времени, то цѣлую четверть часа тянется, капитанъ изъ себя выходитъ. Если у нихъ и въ военномъ флотѣ такие же ловкие матросы, то не мало труда будетъ английскими капитанами и офицерами управляться съ ними, особенно на тяжелыхъ броненосцахъ, гдѣ каждое неловкое движение можетъ грозить гибелью. Впрочемъ обѣ этомъ я не печалюсь никакъ — «чѣмъ хуже — тѣмъ лучше». Милостью Аллаха, мы, наконецъ, отчалили. Пароходъ ползетъ вверхъ по течению, почти подъ самыми берегомъ. Крутые песчаные скаты стѣною громоздятся вѣтво, у ихъ подножья тянется узкая береговая дорога, мѣстами заливаемая водою; сверху внизъ зигзагами вьются тропинки, по одной изъ нихъ карабкается вереница вьючныхъ лошадей, толющихъ, разномастныхъ,—всѣ подъ неуклюжими вьючными сѣдлами. Съ лошадьми человѣка три въ чалмахъ, въ короткихъ штанахъ, за широкими поясами заткнуто какое-то допотопное оружіе. Это бashi-бузуки. Ихъ въ Рущукѣ, вмѣстѣ съ регулярными кавалеристами, считается около пятисотъ человѣкъ; это вся кавалерія, которая не составляетъ отдѣльного отряда, а разсформирована по другимъ частямъ, въ качествѣ ординарцевъ, посыльныхъ и обозной прислуги. По гребнямъ видныются чахлые сады изъ фруктовыхъ деревьевъ; это единственное мѣсто прогулокъ лѣтомъ, въ невыносимый зной, для рущукскихъ гражданъ. Дальше начинаются старыя укрѣпленія; на прямыхъ правильныхъ контурахъ бастіонныхъ фронтовъ замѣтны какія-то работы, кажется, возвышаются брустверъ и прорѣзываются новыя амбразуры. Десятка четырѣ солдатъ лѣниво шевелятъ лопатами, зѣваютъ и изъ подъ руки и щурясь на солнце, слѣдятъ глазами за мимоползущимъ пароходомъ.

А вотъ и самый городъ начинается. Въ линію стоятъ дома европейской архитектуры, окрашенные желтою краскою, надъ большою частью изъ нихъ возвышаются мачты съ консультскими флагами; нашео отсюда не видать, онъ дальше, за этимъ

длиннымъ фасадомъ, что вытянулся надъ самою пристанью. Здѣсь идетъ уже искусственная набережная, интересная тѣмъ, что ее двѣнадцать лѣтъ подрядъ строятъ и выстроить не могутъ: что сегодня покончатъ, то завтра водою размоетъ, начинаютъ съизнова, вытребовавъ предварительно откуда слѣдуетъ нужные суммы. Финансовая сторона инженернаго дѣла должно быть вездѣ одинаково складывается.

Какъ разъ противъ пристани, по срединѣ рѣки видѣнъ островъ, поросшій кустарникомъ, у его берега стоятъ два рѣчныхъ военныхъ турецкихъ парохода, команда бродитъ по берегу и огни разложила.—Пароходы эти шли мимо отъ Виддина, да задержали ихъ здѣсь, по поводу вчера случившагося уже описанного мною *недоразумѣнія* о островѣ Рамаданѣ. Ужъ не собираются ли они бомбардировать Журжу, какъ австрійцы бѣлградскую цитадель? «Пошли имъ, пророкъ, такого же блестящаго успѣха!»

Матросы, подъ предводительствомъ капитанскаго помощника и двухъ полицейскихъ, заняли выходъ на мостки и никого непускаютъ; начинается скучнѣйшая, безконечно длинная, придиричвая до мелочности—провѣрка документовъ. Благодаря любезности нашего консула и расторопности высланныхъ на встрѣчу консульскихъ кавасовъ, красивыхъ, рослыхъ молодцовъ въ блестящихъ албанскихъ костюмахъ,—я былъ избавленъ отъ всякихъ формальностей. Насъ пропустили прямо, хотя и не безъ подозрительныхъ взглядовъ, и черезъ минуту, сидя въ коляскѣ, мы уже медленно поднимались по длинной ашпарели, ведущей снизу въ верхнюю часть города.

Рушукъ, пока вы въ него не вѣхали, очень живописенъ; особенно что его красить — это тонкія граціозныя колонки многочисленныхъ минаретовъ,увѣнчанныхъ коническими остро-верхими крышами и круглыми балкончиками, кольцомъ охватывающими верхнюю часть минарета. Подъемъ кончается, дорога круто поворачиваеть нальво назадъ, на этомъ поворотѣ расположилось оригинальное зданіе турецкихъ бань; громадный куполъ положительно давить всю эту массу построекъ, под-слѣповато глядящихъ на міръ Божій своими крохотными, задѣланными желѣзными рѣшетками оконцами. Отъ поворота начинается, идущая паралельно Дунаю, консульская улица, по ней и расположены почти всѣ, занятые консульствами, строенія.

Пройхавъ еще саженей полтараста, мы остановились передъ подъездомъ дома, во дворѣ котораго, высоко поднимаясь надъ всѣмъ окружающимъ, стояла, украшенная золоченою короною, мачта съ развивающимся на ней громаднымъ русскимъ флагомъ. Это новоотстроенный домъ нашего консульства, куда консулъ и его семейство перебрались только недавно, прежде же они жили на набережной. Интересенъ эпизодъ перемѣщенія консульства на новую квартиру, а главное самыи актъ перенесенія мачты и поднятія флага. — Случай этотъ могъ легко вызвать уличные беспорядки, особенно въ такое смутное время, когда достаточно самого ничтожнѣйшаго повода, малѣйшей искры, чтобы произвести пожаръ. Могло случиться, что въ тотъ самый моментъ, когда мачту повалить — это перетолковано было бы иначе, тѣмъ болѣе что въ средѣ мусульманскаго населенія Рущука уже ходили слухи о томъ, что скоро прикажутъ всѣмъ правовѣрнымъ ринуться на домъ неправистныхъ представителей гяуровъ-руссовъ и срыть все и вся до основанія. Ужъ и такъ толпы народа весьма подозрительно бродили передъ окнами консульства, посылая на его голову всевозможныя злоказанія. Василій Федоровичъ Кожевниковъ, нашъ уважаемый консулъ, распорядился въ этомъ случаѣ весьма удачно и предусмотрительно: всю работу перенесенія мачты и поднятія флага онъ поручилъ турецкимъ войскамъ, для чего приглашена была рота пѣхоты и хоръ военной музыки. Флагъ спущенъ былъ при звукахъ музыки и съ должнымъ салютованіемъ, затѣмъ мачта перенесена была тоже церемоніально съ музыкою, и поднять былъ флагъ, уже на новомъ мѣстѣ, тоже съ подобающими почестями. Весь церемоніаль подѣйствовалъ весьма успокоительно на воинствующихъ гражданъ Рущука, турки стали расходиться, за то начали собираться болгары-горожане, поздравлять съ новосельемъ и передъ окнами консульства снова образовалась толпа, но уже съ инымъ направленіемъ; вместо воинственныхъ криковъ, слышались привѣтствія, вместо угрожающихъ жестовъ, виднѣлись обнаженные головы и руки, крестящіяся при видѣ развивающагося въ воздухѣ голубаго андреевскаго креста, подъ золоченою короною.

Не догадайся консулъ обратиться къ содѣйствію и помощи турецкихъ войскъ, готовыхъ на подобную услугу всегда ради

нѣсколькихъ дукатовъ — дѣло обошлось бы и не такъ торжѣственно, да и не такъ мирно.

Домъ нашего консульства не великъ, но распланированъ весьма удобно и красиво меблированъ. Радушные, гостепріимные хозяева дѣлаютъ съ своей стороны все, чтобы путешественникъ, уѣзжая изъ этого дома, вынесъ самое теплое, приятное впечатлѣніе. Мы отвели уютную маленькую комнату, гдѣ я и расположился какъ слѣдуетъ, такъ какъ собирался провести въ Рущукѣ не одинъ день, а подольше, чтобы по возможности больше видѣть и слышать всего, что только творится въ этомъ главнѣйшемъ тактическомъ и стратегическомъ пункѣ обороны Дуная.

Передъ вечеромъ я послалъ за коляской, на козлахъ которой, рядомъ съ неуклюжимъ туркомъ-кучеромъ, сѣль молодцоватый кавасъ въ бѣлой фустанелѣ и голубой курткѣ, съ длиннѣйшими откидными рукавами, и поѣхалъ прокатиться по улицамъ Рущука, особенно по его чисто турецкимъ предмѣстьямъ. Консульская улица своимъ продолженіемъ выходитъ на громадную, не совсѣмъ правильной формы, базарную площадь, пестрѣвшую густыми массами самого разноплеменного народа. Вдоль площади тянулись длинныя ряды крохотныхъ лавочекъ, а то такъ и просто складныхъ столиковъ съ подвязаннымъ около рванымъ парусиннымъ зонтомъ, слабой защитою товара отъ солнца и непогоды. Здѣсь, собственно, торгуютъ разными неприхотливыми сѣѣстными припасами: вареною кукурузою, печенымъ хлѣбомъ, жареной въ деревянномъ маслѣ рыбою и мясомъ, и всѣмъ тѣмъ, что такъ сильно даетъ себя чувствовать сколько-нибудь прихотливому носу, заражая и безъ того не особенно чистый, рыночный воздухъ.

Съ первого взгляда замѣтно, что Рущукъ празднуетъ въ данную минуту свой военный сезонъ; куда не взглянешь, везде преобладающимъ элементомъ въ группахъ на улицахъ солдаты и солдаты. Съ первого впечатлѣнія кажется, что здѣсь ихъ собрано видимо-невидимо, хотя на самомъ дѣлѣ войска въ Рущукѣ очень немного, едва ли наберется съ небольшимъ восемь тысячъ. Размѣщены эти войска очень неудобно, казармы мало, да и тѣ плохи, въ одной даже почти нѣтъ крыши, а денегъ на ремонтъ взять неоткуда. Люди помѣщены большою частью въ мечетяхъ, обращенныхъ на время въ казармы, тамъ

они и спать, лежа въ повалку на голомъ земляномъ, или плитномъ полу; сырость въ этихъ полутемныхъ, плохо провѣтреваемыхъ и въ добавокъ тѣсныхъ зданіяхъ, страшная. Я самъ видѣлъ въ одной изъ нихъ зеленую грибовидную плѣсень, украшавшую стѣны отъ низа чуть не до самаго основанія потолочнаго свода. Подстилокъ нѣть и постелью для солдатъ служить ихъ собственная заношенная до нельзѧ форменная шинели. Вотъ почему въ войскахъ сильно распространены простудные виды болѣзней и желудочный тифъ, страшное явленіе, особенно при плохой, безпорядочно и несвоевременно раздаваемой пищѣ. Ещё гвардейскіе батальоны, составляющіе треть всего гарнизона, и одѣты получше и кормятся сноснѣй, а остальные, сирійскіе таборы, эти тощіе, безусые и безбородые, точно кастраты какіе-нибудь, такъ на тѣхъ даже смотрѣть жалко. Худыя, со впалыми щеками, съ апатично-полураскрытымъ ртомъ, вяло двигающіяся фигуры, въ грязныхъ обверткахъ на ногахъ вместо сапогъ, въ рваныхъ шинеляхъ сѣраго сукна, падѣтыхъ прямо на долгополую рубаху—толпами бродятъ по улицамъ и держатся преимущественно около съѣстныхъ лавокъ—голодъ не свой братъ, а продовольственная часть устроена, какъ я уже говорилъ, плохо. Одинъ изъ высшихъ турецкихъ офицеровъ рущукскаго гарнизона, желая похвастать содержаніемъ войскъ, показывалъ мнѣ послѣ установленное военнымъ министромъ расписаніе солдатскаго довольствія. Чего только тамъ нѣть! и мясо, и хлѣбъ, и пловъ, и кофе, ничего не забыто, но только все это остается на бумагѣ. Продовольствіе частей отдается съ подряда, въ однѣ руки; — прежде еще находились такие легковѣрные, что брались за эти операциі, но впослѣдствії, не получая ни гроша денегъ, окончательно раззорились, вошли самі въ неоплатные долги и принуждены были бѣжать на ту сторону Дуная, спасаясь отъ своихъ уже кредиторовъ. Даже къ нашему консулу приходили подрядчики, прося покровительства, или по крайней-мѣрѣ пособія къ побѣгу; понятно, что подобныя просьбы отклонялись тотчасъ же. Вызовы на подряды идутъ каждый день, цѣны повышаются неимовѣрно, но никто уже не соблазняется этими цѣнами, разсчитывая совершенно вѣрно, что піастръ и червонецъ одно и то же, если нельзѧ получить ни того, ни другого. Тронули уже тѣ запасные склады, которые приготовлены на случай осады города

а это уже очень плохо. Турецкія власти положительно теряютъ голову, запутавшись въ своихъ хозяйственныхъ соображеніяхъ и прибѣгаютъ за совѣтомъ чуть не къ каждому консулу; даже почтеннѣйшаго Василія Федоровича не обходять, который имъ далъ самый лучшій совѣтъ, прямо достигающій цѣли; распустить войска по домамъ и тѣмъ избавиться отъ необходимости кормить всю эту голодную, вооруженную ораву. Кстати о вооруженіи. Я не знаю чemu это приписать, но вездѣ, и въ обществѣ и въ прессѣ, вскоренилось убѣженіе, что турецкія войска вооружены по крайней-мѣрѣ превосходно, называютъ даже систему Снайдера общепринятою въ турецкой арміи. Я самъ солдатъ и оружіе знаю, опредѣлить его систему могу безошибочно, пристально присматривался къ ружьямъ турецкой пѣхоты и видѣлъ ружья названной системы, но только у гвардейскихъ батальоновъ и постоянныхъ войскъ Европейской Турціи, что же касается до сирійскихъ батальоновъ, то все они вооружены даже не скорострѣльными ружьями, а ударными, заряжающимися съ дульной части, преимущественно штуцерами «Минье». Я говорю, собственно, про гарнизонъ Рущука, но зная, что здѣсь собраны не самыя худшія войска, смѣю думать, что и въ другихъ мѣстахъ это болѣе или менѣе одинаково.

Въ Рущукѣ стоить, кажется, два, не болѣе, батальона египетскихъ войскъ «черныхъ»; эти несчастные южаки испытываютъ то же, что обезьяны въ звѣринцахъ сѣверныхъ городовъ, — они чахнутъ и гаснутъ. Свои эффектные костюмы, бѣлые, приспособленные для жаркаго солнца ихъ далекой родины, они давно уже истаскали и, обмундированные по европейски, т. е. въ тѣхъ же форменныхъ сѣрыхъ шинеляхъ, чувствуютъ себя, кажется, не совсѣмъ ловко, тоскуютъ, ирутъ по пяти человѣкъ среднимъ числомъ въ сутки, а уцѣлѣвшіе жутъ не дождутся, или уже война поскорѣе, или же отпуска дома, туда, гдѣ грѣеть солнце, гдѣ можно хоть совсѣмъ голому лѣниво лежать въ тѣни финиковой пальмы, а не сидѣть, какъ здѣсь, въ сыромъ и мрачномъ загонѣ — рущукской мечети. А между тѣмъ это очень и очень не дурные солдаты, куда лучше сирійскихъ! Они лихо, молодцами шли шестнадцатаго октября на штурмъ креветскихъ позицій, они бы и теперь готовы драться, еслибы не эти сѣрые туманы, безкоечные дожди

и морозная ночи въ нетопленныхъ мечетяхъ на мокромъ, отсырѣломъ полу, или, въ счастливыхъ случаяхъ, на прогнившей соломѣ, кишащей миріадами паразитовъ. Оригинально еще то обстоятельство, что турки ни платятъ имъ жалованья на томъ основаніи, что они состоять на службѣ у хедива, и тотъ уже обязанъ доставлять имъ все необходимое, а хедивъ разсчитывалъ въ этомъ случаѣ на турокъ, т. е. на константинопольское военное министерство, на томъ моль основаніи, что его батальоны вытребованы не для него, *египетскихъ, такъ сказать, надобностей*. Впрочемъ, «черные» могутъ утѣшиться тѣмъ, что они не въ худшемъ положеніи относительно «бѣлыхъ», ибо не получать, потому что нѣть на это законного основанія и не получать, имѣя право на получение,—одинаково выйдетъ *не получать*,—слово, въ настоящее время самое популярное и наиболѣе практикуемое въ Турціи. Впрочемъ, я, кажется, увлекся немножко, — я вамъ описываю не впечатлѣнія моей первой, вечерней прогулки по Рущуку, то, что я рассказываю, есть результатъ всего, вынесенного мною за мое недѣльное пребываніе въ этомъ городѣ, гдѣ я ежедневно совершалъ свои экскурсіи, какъ по улицамъ Рущука, такъ и по его холмистымъ окрестностямъ, гдѣ идетъ спѣвшая, усиленная, но тѣмъ не менѣе безтолковая работа по возведенію новыхъ укрѣплений, приспособленныхъ уже къ новѣйшимъ требованіямъ науки разрушать, т. е. военной науки.

Работы эти можно раздѣлить на двѣ главныя группы: на исправленіе и приспособленіе старыхъ берковъ и на возведеніе новыхъ, отдельно стоящихъ и фланкирующихъ другъ друга редутовъ. Начну съ описанія первыхъ, кстати и наблюдать ихъ несравненно удобнѣе, особенно въ праздничный день, когда широкіе бруствера бастіонныхъ фронтовъ обращаются въ мѣста прогулокъ для пестро одѣтыхъ компаний рушукскихъ гражданъ,—и христіанъ, и магометанъ вмѣстѣ. Турки, кажется, сами не придаютъ особеннаго значенія этимъ грознымъ на видъ бастіонамъ и не особенно скрываютъ, допуская ~~въ~~ свободный осмотръ. Что же касается до работъ на отдельныхъ беркахъ, о которыхъ я поговорю особо, то туда даже не допускаются наемныхъ, частныхъ рабочихъ, и всѣ работы производятся солдатами, для чего ежедневно выводятъ изъ города почти половину всего гарнизона. Работы, такъ сказать, рестав-

рационные, заключаются въ очисткѣ крѣпостныхъ рвовъ, за-  
несенныхъ мусоромъ и заваленныхъ до половины всякими не-  
чистотами, въ прорѣзкѣ новыхъ амбразуръ и въ перемѣнѣ  
барбетовъ, ибо турки разсчитываютъ получить изъ Констан-  
тинополя болѣе современныя орудія, чѣмъ эти допотопные ко-  
ронады, отъ которыхъ вѣсть временами «Очакова и покореніе  
Крыма». Кромѣ того, со стороны Дуная насыпаются два дли-  
ныхъ траперса, защищающихъ, или вѣрѣнѣе закрывающихъ  
собою все внутреннее пространство обширнаго плацдарма, за-  
строеннаго въ настоящее время крохотными домиками неряш-  
ливыхъ предмѣстій. — Эти всѣ работы по восточному фронту.  
Юго-западный фронтъ, самый длинный, противъ котораго на  
вершинахъ холмовъ заложены и новыя укрѣпленія, оставленъ  
въ томъ же видѣ, только на его плацдармахъ видны ряды  
вновь устроенныхъ блиндированныхъ бараковъ-землянокъ для  
помѣщенія гарнизона и закладываются два большихъ порохо-  
выхъ погреба, закладываются широко и, судя по началу,  
врядъ ли, съ наличными средствами, работа эта можетъ быть  
окончена менѣе чѣмъ въ два мѣсяца времени. Всѣми работами  
руководятъ два англійскихъ инженера, препротивныя фигуры,  
каждый разъ попадающіеся мнѣ на встрѣчу. Въ бѣлыхъ фу-  
ражкахъ, въ какихъ-то бархатныхъ короткихъ курточкахъ,  
съ сигарами въ зубахъ, они цѣлый день рыскаютъ по окрест-  
ностямъ, верхомъ на горячихъ мѣстныхъ лошадкахъ и безпо-  
щадно хлещутъ гутанерчевыми хлыстами залѣшившихся сол-  
датъ-рабочихъ; восемь разъ счетомъ я натыкался на красивое  
зрѣлище подобной гуманной расправы, чуть было разъ не стоив-  
шей жизни одному изъ истязателей. Дѣло въ томъ, что негръ  
солдатъ, взбѣшенный должно быть черезчуръ уже ловкимъ удѣ-  
ромъ хлыста, бросилъ лопату и схватилъ одно изъ близь стоя-  
щихъ ружей. Англичанинъ отдался только тѣмъ, что успѣлъ  
во-время замѣтить это движеніе и, давъ шпоры, пустился па-  
утеть, грозя, впрочемъ издали, *бунтовщику* своимъ карман-  
нымъ револьверомъ. Говорятъ, будто несчастнаго негра аре-  
совали и хотятъ аркебузировать. Что дѣлать, *въ военное время*  
*дисциплина* дѣло самое первое!

Отдѣльные редуты возводятся верстахъ въ четырехъ отъ  
городскихъ стѣнъ; ихъ всего три и одна батарея, Богъ вѣсть  
зачѣмъ пріютившаяся въ лощинѣ, откуда ей и стрѣлять-то не

по кому. Редуты эти защищаютъ дорогу въ Разградъ, шоссе, ведущее въ Шумлу. Одинъ редутъ заложенъ на пять орудій большого калибра, два другихъ—каждый на три. Работа окончена пока только главная, земляная, т. е. выкопаны рвы и насыпи бруствера, но какъ тѣ, такъ и другое еще не прорыты, не одѣты, и представляютъ изъ себя какія-то безформенные массы. Борбеты для орудій тоже еще не насыпаны,— да и орудій, предназначенныхъ на эти верки, привезено пока всего два, — это тѣ самыя, что мы видѣли на платформахъ желѣзной дороги. Новый губернаторъ и командующій войсками рущукскаго гарнизона, Садыкъ-паша съ отчаяніемъ видитъ, что работъ еще хватить на долгое время и вопіеть о помощи къ Константинополю,—оттуда все обѣщаются и обѣщаются, но не шлютъ ни денегъ, ни пушекъ, а все больше инструкцій— и голословныя предписанія, чтобы было, — да и шабашъ! Впрочемъ сношенія Садыка-паши съ министерствомъ, тоже какъ и оборонительные работы, можно раздѣлить на двѣ группы: официальную и конфиденціальную. Къ первой относятся инструкціи, предписанія съ одной стороны и подробный отчетъ о томъ, что все обстоитъ въ должномъ порядке — съ другой; ко второй—дружескіе совѣты: обойдтись какъ-нибудь, поприжать кого-нибудь, признаніе, а то и просто отнять что-нибудь — съ одной, и печальные вздохи съ другой, что мольѣ уже все перепробовано, все персдано, все и всѣ обобраны и ресурсовъ болѣе, какъ отъ самого Аллаха, ни откуда не предвидится.

Въ чемъ нѣтъ недостатка, такъ это въ динамитѣ, на который турки возлагаютъ самыя *розвѣя* надежды. Подстуны къ редутамъ обстоятельно и предусмотрительно минируются. Работы эти нетрудно опытному взгляду разсмотрѣть со стороны, далеко отстоящаго отъ города, стараго болгарскаго кладбища. Минныя рамы, сложенные въ порядокъ срубами на тѣхъ мѣстахъ, где ихъ будутъ употреблять въ дѣло, отчетливо и ясно блещутъ на солнцѣ своими новоотесанными гранями; рядами колышковъ и вѣхами обозначено направление минныхъ галерей и пункты предполагаемыхъ взрывовъ. Тутъ чаще всего приходилось мнѣ видѣть отвратительную фигуру англійскаго инженера, механически вымѣривающую шагами данное пространство. Садыкъ-паша и Фаазли-паша ежедневно катаются

въ коляскахъ по окрестностямъ, конвойруемые п'ятью регулярными всадниками, здѣсь же появляются иногда и коляски съ дамами, кокетливо скрывающими свои хорошенкия личики, скрывающими впрочемъ, на столько, что прозрачность чадры позволяетъ вполнѣ оѣнить ихъ внѣшнія достоинства. Фу! какія презрительныя гримасы дѣлаютъ онѣ, когда имъ приходится встрѣтиться съ коляскою, кажущейся имъ почему либо подозрительною; разъ даже одна изъ такихъ красавицъ плонула въ мою сторону, не сообразивъ, что отъ ея любезности я былъ защищенъ ея же собственнымъ вуalemъ. Я не въ претензіи, — что же, патріотизмъ дѣло весьма похвальное, въ какихъ бы формахъ онъ ни проявлялся.

Наконецъ, мои поѣздки по окрестностямъ, вѣроятно, обратили на себя вниманіе подозрительныхъ турокъ; вчера, напримѣръ, меня просто на-просто пригласили повернуть оглобли и избрать для прогулокъ какое-нибудь другое мѣсто; сегодня утромъ кучерь-извозчикъ отказался на-отрѣзъ везти меня къ старому болгарскому кладбищу. Это была самая дѣйствительная мѣра, къ которой турки прибѣгаютъ постоянно. Если вы хотите, напримѣръ, куда-нибудьѣхать по желѣзной дорогѣ, васъ запрутъ въ вагонъ и выпустятъ только на мѣстѣ конечной цѣли вашего путешествія, затѣмъ, мало того, васъ спросятъ къ кому вы прїѣхали и зачѣмъ; вы отвѣтить должны ясно и опредѣленно; получивъ отвѣтъ, полиція окружить васъ конвоемъ, якобы въ охраненіе вашей особы отъ случайныхъ непріятностей, и такимъ образомъ препроводятъ васъ куда слѣдуетъ. Въ случаѣ желанія вашего свернуть въ сторону, или сдѣлать экскурсію въ какой-нибудь внутренній пунктъ страны, васъ не задержать, препятствовать не будутъ, но только отдать конфиденціальное приказаніе не смѣть давать вамъ лошадей; понятно, что послѣ такого приказанія найти экипажъ невозможно ни за какія деньги. Впрочемъ, всѣ эти уловки и хитрости продѣлываютъ съ вами только въ такомъ случаѣ, если обѣ вашемъ выѣздѣувѣдомлено мѣстное начальство и представлете собою нѣчто застрахованное, отвѣтственное, гдѣ рекомендательного конверта, помѣченного въ накладной и занумерованного, иначе съ вами много церемониться не станутъ, а просто на просто арестуешь якобы подозрительного человека и затѣмъ начнутъ гонять по этапу, съ одного пункта

на другой, держать по недѣлямъ въ тюрьмахъ, пока какал-нибудь счастливая случайность не избавить васъ отъ этой печальной непріятности. Продѣлки эти, между прочимъ, практикуются постоянно съ частными кредиторами правительства, особенно съ поставщиками продовольствія. Таскаютъ этихъ несчастныхъ до тѣхъ поръ, подъ предлогомъ подозрѣнія въ политическомъ проступкѣ, пока несчастный не пойметъ въ чёмъ дѣло и не подпишетъ квитанціи, завѣривъ своею подписью и печатью, что Высокая Портя вполнѣ удовлетворила всѣ его законныя претензіи. До слѣдующей поѣздки, до того времени, когда путешествовать по Турціи можно будетъ при иныхъ, болѣе благопріятныхъ условіяхъ.

## XI.

Вчера передъ вечеромъ я проѣхалъ «Сучаву», пограничное мѣстечко на рубежѣ Австріи и Молдавіи. Отсюда идетъ прямая дорога на югъ, къ Галацу. Теперь я уже нахожусь, значитъ, въ странѣ, обреченной судьбою на всѣ выгоды и невыгоды военнаго положенія. Не отрываю глазъ отъ окна вагона, ищу первыхъ призраковъ того положенія, пока, впрочемъ, ничего не видно. Деревья зеленѣютъ, покрывааясь молодою листвою, скотъ мирно пасется на лугахъ, на черныхъ разрыхленыхъ пашняхъ бипитъ работа, тяжело тянутся глубоко бороздящіе черноземъ плуги, подпрыгиваются легкія бороны—весенній посѣвъ уже давно начатъ и даже къ концу подходитъ. Все и вся дышитъ миромъ и, повидимому, довольствомъ; нигдѣ не видно ничего военнаго, сколько нибудь даже напоминающаго войну... Мы еще пока находимся въ района передвиженія войскъ, района, который по этому пути начинается отъ станціи Пашканы, гдѣ соединеніе яссской вѣтви съ главною идущею съ сѣвера на югъ, линіей. Часамъ къ восьми вечера доѣхали мы и до Пашканъ. Здѣсь уже картина мѣняется разомъ. Еще поѣздъ подходилъ къ станціи и давалъ вызывные свистки, какъ уже до слуха пассажировъ стали доноситься удалые напѣвы русскихъ солдатскихъ пѣсенъ, громыханіе изукрашенного бубенчиками бубна и звуки сигнальныхъ рожковъ. Нашъ поѣздъ прошелъ мимо стоящихъ на запасныхъ рельсахъ военныхъ по-

Родовъ и остановился у станціи, бокъ о бокъ съ такимъ же. Это двигались къ Галацу саперные батальоны. Изъ оконъ вагона, съ платформъ виднѣлись солдатскія головы въ кепи, лица все такія веселыя, здоровыя, большинство молодыя, даже безусыя. Въ товарныхъ, крытыхъ вагонахъ были устроены длинныя скамейки и постлана солома, для удобства и мягкости въ часы сна въ повалку, у стѣнъ приспособлены, такъ называемыя на солдатскомъ жаргонѣ, «пирамиды для ружей», просто да просто продольные брусья съ прорѣзами, чтобы ружье стояло плотно и не упало бы при толчкѣ. Въ каждомъ такомъ вагонѣ помѣщается по сорока человѣкъ, тѣсновато, но довольно весело, судя по крайней мѣрѣ по тому, что изъ пѣдѣрь каждого почти вагона слышался самый оживленный, неумолкаемый говоръ и веселое хороводное пѣніе. Въ одномъ изъ вагоновъ такъ даже трепака отплясывали, на страхъ и трепетъ вагонному днищу. Кромѣ этихъ, пассажирскихъ такъ сказать, вагоновъ, прицеплены были и открытые платформы, установленыя обозными повозками, лазаретными фурами и походными экипажами командировъ; тамъ тоже, гораздо комфортабельнѣе только, устроилась обозная и лазаретная прислуга, расположившись въ самыхъ повозкахъ, нагруженныхъ и плотно обвязанныхъ веревками,—все это представляло зрѣлище довольно оригинальное и для глаза непривычное, по крайней мѣрѣ на югѣ, до сихъ поръ, съ самаго своего основанія, тихой и маломѣдной дорогѣ. Длинныя платформы станціи и ея буфетъ кишили народомъ и все большею частью военнымъ: тутъ виднѣлись мундиры чуть не всѣхъ родовъ оружія, все это съ аппетитомъ пило, закусывало, толковало между собою, приказывало и слушалось. Несмотря на видимую толкотню и суматоху, можно было замѣтить, однако, что путаницы не было—все знало куда идти и что дѣлать, а это очень важно и доказываетъ толковость и точность диспозиціи военного движенія, въ добрый часъ будь сказано! Пассажирскій поѣздъ, на которомъ я ѿхалъ, простоявъ свои условныя 20 минутъ, тронулся дальше. Несмотря на безчисленные военные поѣзда, идущіе по этому, нѣ двойному замѣтѣ, пути пассажирское движеніе нѣ только что не пріостановлено, но даже не уменьшено; пріостановлены только, и то на короткое время, частные товарные поѣзда за неимѣніемъ вагоновъ, занятыхъ войсками.

Стемъло, когда мы оставили Пашканы и тронулись далъе, а жаль — мнѣ говорили, что днемъ, по сторонамъ, по боковымъ дорогамъ, можно видѣть идущія пѣшкомъ войска и ихъ обозы, походные бивуаки и прочія военные сцены. Въ данную минуту ничего этого не было видно, кромѣ непроницаемаго мрака и огоньковъ въ окнахъ придорожныхъ селеній. Кое-гдѣ, впрочемъ, краснѣлось какъ будто костровое зарево, не было ли то военный бивуакъ или просто пастушки огни, — про то аллахъ вѣдаетъ.

На станціи Раманъ въ нашъ вагонъ вошелъ широкоплечій, высокій атлетъ, казачій офицеръ донецъ, опросилъ фамиліи пассажировъ, кто куда ёдетъ и зачёмъ, записалъ все это, при чемъ приложилъ не мало труда и усердія, индо до поту на широкомъ лбу и вышелъ, сказавъ: «ну, теперь господа, съ Богомъ, а какъ, значитъ, мнѣ такъ приказано, потому служба — ареваръ!» любезно раскланялся и откозырялъ всею ладонью. Знакомые, родные типы! Особено знакомые мнѣ, пережившему на своемъ вѣку не мало всякихъ, «военныхъ временъ, перевидавшему не мало всякаго военнаго люда.»

Не доѣзжая какихъ нибудь пяти верстъ до Галаца приходится менять вагоны: поѣздъ идетъ черезъ Барбошскій, знаменитый мостъ къ Браилову, а оттуда въ Бухарестъ, для ёдущихъ же собственно въ Галацъ формируютъ особый поѣздъ, ёдущій въ обходъ города. Прутъ впадаетъ въ Дунай, какъ вамъ извѣстно, верстахъ въ двадцати пяти ниже Галаца, у мѣстечка Рени; рѣка эта своими разливами образуетъ громадныя заливныя озера, воды этихъ озеръ подходитъ чуть не вплотную къ самому полотну объездной желѣзной дороги. Кое-кто изъ пассажировъ, замѣтивъ въ темпотѣ блескъ водной поверхности, принялъ это за Дунай и даже всполошились нѣсколько — «какъ же, молъ, такъ близко, а ну, какъ турки стрѣлять начнутъ!» пассажировъ этихъ успокоили, и мы благополучно добрались до Галацкой станціи, уже въ третьемъ часу утра.

Я боялся, что по случаю большого скопленія войскъ въ Галацѣ, трудно будетъ найти себѣ помѣщеніе, однако, мои опасенія не оправдались: войска расположены лагерями и вся гостиницы свободны; кромѣ того, много жителей Галаца, осо-

беншо береговой его части, позаботились своевременно выѣхать во внутрь страны, изъ страха бомбардировки города, частныя квартиры подешевѣли и пріѣзжему человѣку можно устроиться здѣсь пока довольно удобно.

По пріѣздѣ я узпалъ отъ нашихъ офицеровъ слѣдующее:

Отъ Реди въ Галацъ идетъ шоссе, проложенное по самому берегу Дуная. Въ первые дни занятія нашими войсками Галаца, небольшой русскій отрядъ (пѣхота и артиллерія) шелъ по тому шоссе, направляясь къ Галацу. Верстахъ въ пяти не доходя до города изъ отряда, растянувшагося по дорогѣ, замѣтили на Дунай большой турецкій мониторъ, шедшій подъ парами вверхъ, по теченію; за нимъ изъ-за острова выдвинулся другой, а далеко сзади виденъ былъ дымъ третьяго. Первое судно поравнялось съ отрядомъ; разстояніе, отдѣлявшее нашихъ отъ турокъ, было не болѣе 200 саж., даже на глазъ какъ будто менѣе. Людей на палубѣ судна не было видно, люки закрыты, однимъ словомъ на боевомъ положеніи; до слуха нашей колонны донеслась команда капитана монитора. По этой командѣ—жерла орудій показались въ отворившихся люкахъ, въ этихъ темныхъ четыреугольникахъ мелькнули головы артиллеристовъ въ красныхъ фескахъ. Минута была довольно критическая, для нашихъ конечно; что могли сдѣлать ружейные пули или даже полевая орудія противъ толстой брони—жертвы съ нашей стороны, казалось, были неизбѣжны. Отрядъ продолжалъ двигаться съ полнымъ спокойствіемъ, люди не ускорили и не умѣшили шага подъ жерлами турецкихъ орудій; они шли такъ же спокойно, какъ и до этой встрѣчи. Къ счастію, турки почему-то раздумали открывать огонь (въ высшей степени странное и непонятное явленіе). Черезъ нѣсколько времени ихъ суда обогнали отрядъ и прошли мимо Галаца, поднимаясь вверхъ по теченію.

---

Браиловъ расположенъ на крутомъ и высокомъ берегу—самый городъ замаскированъ со стороны Дуная гребнемъ этого обрыва. Турецкій берегъ противъ Браилова низменный здѣсь отъ главаго русла отдѣляется широкій, судоходный рукавъ, таіъ называемый Мачинскій, у раздѣла на самомъ берегу расположено небольшое турецкое село Гечети.

Вчера ночью два турецкихъ военныхъ парохода пришли

сверху и стали на якорь у Гечети. Сегодня наши артиллеристы попытались прогнать эти пароходы, что имъ и удалось какъ нельзя лучше. Дѣло происходило такъ: часовъ въ 12 дня два четырехфунтовыхъ орудія выкачены были на самый гребень обрыва и ровно въ половинѣ первого открыли огонь — первый снарядъ перелетѣлъ надъ пароходами и ударился въ берегъ, второй сдѣлалъ ricochetъ по водѣ, не долетѣвъ до цѣли третій снарядъ разорвался какъ разъ подъ носомъ турецкаго парохода и снесъ ему бугъ-шпритъ — пристрѣлка сдѣлана и всѣ остальные выстрѣлы попадали аккуратно. Послѣ первого выстрѣла на томъ берегу замѣтно было, даже невооруженнымъ глазомъ, сильное движение. Батальонъ турецкой пѣхоты разсыпался вдоль берега, нѣсколько конныхъ черкесовъ понеслись по песчаной береговой косѣ въ Мачинъ и изъ Гечетской кафанды выбѣжали моряки, сѣвша на свои суда. Турецкіе пароходы стали отвѣтывать послѣ шестого нашего выстрѣла; первый ихъ снарядъ пролетѣлъ высоко надъ головами вто-рой далеко вѣтво, ждали третьяго удачнѣе, но этотъ третій, оказался картечью брызнувшей безполезно по водѣ, что вызвало громкій смѣхъ какъ артиллеристовъ, такъ и всѣхъ присутствовавшихъ на берегу. Съ нашей стороны было сдѣлано всего 20 выстрѣловъ изъ четырехъ полевыхъ четырехфунто-выхъ, какъ я уже сказалъ, орудій; менѣе чѣмъ съ полчаса и оба парохода должны были отступить за островъ и скрылись въ Мачинскомъ рукавѣ — у нихъ снесены борты, — значить есть потеря и въ людяхъ и повреждено колесо. Турки еще разъ пытались выдвинуться изъ-за острова, но нѣсколько не менѣе удачно пущенныхъ снарядовъ заставили ихъ снова скрыться и на этотъ разъ уйти совсѣмъ. Судя по тяжелому и неловкому ходу этихъ судовъ, поврежденія должны быть весьма серьезны. Съ нашей стороны ни одного рапешаго, ни убитаго. Жители Браилова, и въ томъ числѣ даже дамы, наблюдали съ берегового гребня за ходомъ перестрѣлки и аплодировали нашимъ артиллеристамъ. Завтра или послѣ завтра ждуть еще сверху турецкихъ пароходовъ, а можетъ быть и мониторовъ: предполагаютъ, что турки захотятъ мстить. Наші по этой причинѣ сильно заторопили окончаніемъ постройки береговыхъ батарей и постановки на нихъ осадныхъ орудій. Кампанія на Дунаѣ значитъ начата.

Въ Рени турецкія суда пытались пройти снизу, но были остановлены выстрелами съ нашихъ батарей и повернули обратно къ устьямъ. Съ того берега слухи о сильномъ упадкѣ духа въ рядахъ турецкихъ войскъ.

---

Сегодня, въ половинѣ двѣнадцатаго на Дунай, нѣсколько ниже Рени, показался пароходный дымъ, но наши батареи приготовились къ встрѣчѣ; ровно въ полдень появился большой турецкій мониторъ и первый открылъ огонь по батареямъ, выстроеннымъ на возвышенномъ берегу между Рени и устьемъ Прута; наши пушки тотчасъ же отвѣчали. Получивъ нѣсколько удачныхъ ударовъ, пароходъ отступилъ, но черезъ четверть часа снова подошелъ на выстрелъ. Турецкое судно держало себя очень осторожно, боясь подводныхъ загражденій, протянутыхъ черезъ рѣку, на высотѣ нашей позиціи; до четверти третьяго продолжалась перестрѣлка, послѣ которой мониторъ отступилъ совсѣмъ, съ сильными поврежденіями. Одновременно съ этимъ и противъ Браилова изъ Мачинскаго рукава показались пароходы и въ числѣ ихъ одинъ вчерашній, пострадавшій наканунѣ меныше своего товарища; туркамъ и здѣсь не удалось прорваться къ Галацу. Подробности о потеряхъ нашихъ, если таковыя были, еще неизвѣстны; завтра вѣроятно узнаю и тотчасъ же сообщу.

Изъ оконъ гостиницы «Dacia», гдѣ я остановился, видѣнъ весь заворотъ Дуная и мѣстечко Рени можно было очень удобно наблюдать за ходомъ боя, клубы порохового дыма видны были отчетливо, звукъ выстреловъ доносился, впрочемъ, довольно слабо. Въ Галацѣ все и вся переполошилось страшно, на крышахъ, на балконахъ, на всѣхъ возвышенныхъ пунктахъ видны были толпы любопытныхъ, наблюдавшихъ за перестрѣлкою; къ тремъ часамъ дня на томъ берегу, полузатопленномъ еще водою, показались группы болгарскихъ бѣглецовъ и нѣсколько повозокъ, запряженныхъ волами. Несчастные, бродя по поясъ въ водѣ, пробирались къ берегу Дуная, съ ними были и женщины. Отсюда послали лодки, чтобы ихъ принять, опо и кстати, потому что вдали, верстахъ въ десяти уже видно нѣсколько каиковъ, въ бинокль даже очень ясно. Самъ Галацъ собственно беззащитенъ—здѣсь нѣть береговыхъ батарей, и

турки, если бы только могли прорваться у Браилова и у Рени, могли бы почти безнаказанно бомбардировать городъ, но у Рени прорваться невозможно, тамъ сильныя батареи и, какъ я уже сказаль, подводный загражденія и липі; у Браилова же работы будутъ окончены еще дnia черезъ два и съ мониторами, пока тягаются наши полевые орудія и, какъ видите, довольно успѣшно.

Жертвою вчерашней перестрѣлки быль на нашей сторонѣ только одинъ ребеноکъ; непріятельскій снарядъ случайно залетѣлъ въ городъ и, не разорвавшись, пробилъ стѣнку одного дома, въ прибрежномъ кварталѣ; завтра поѣду въ Браиловъ, узнать подробности сегодняшняго дѣла.

---

Сегодня рано утромъ я выѣхалъ изъ Галаца по соединительной вѣтви желѣзной дороги, ведущей черезъ Барабошкій мостъ въ Браиловъ. Дорога идеть кружно, огибая всю нагорную часть берега, такъ что до Барабошкай станціи, надоѣхать около часа времени, между тѣмъ какъ по прямой экипажной дорогѣ будеть не болѣе пяти верстъ. У самой станціи видѣнъ длинный цугъ открытыхъ платформъ съ нашими осадными орудіями, назначенными для постановки на барабошскихъ и браиловскихъ батареяхъ. Берега укрѣпляются и вооружаются солидно и для всѣхъ турецкихъ мониторовъ и военныхъ пароходовъ, которые теперь находятся на Дунаѣ выше Браилова, предстоить участъ весьма печальная: выходъ въ море обратно для нихъ теперь невозможенъ, а въ случаѣ усپѣшныхъ дѣйствий нашихъ войскъ по ту сторону Дуная, суда эти или должны будуть вступить въ рискованный бой съ нашими береговыми батареями, или спустить флагъ—конечно, это пока только розовые мечты и предположенія, но тѣмъ не менѣе весьма осуществимыя, по крайней мѣрѣ наши артиллеристы смотрять на турецкіе рѣчные мониторы, какъ на свои призы. Дай Богъ! Въ одномъ вагонѣ со мною єдетъ, въ числѣ прочихъ пассажировъ, какой-то полковой казначей; онъ везеть золото и серебро въ мѣшкахъ, для выдачи офицерамъ жалованія: до сихъ поръ еще не всѣ части получили звонкую монету и офицеры сильно терпятъ отъ низкаго курса бумажныхъ денегъ, еще бы: они смотрѣли на свои рубли,

какъ на четыре франка, а принуждены отдавать ихъ только за два съ половиною. Къ тому же румыны, пользуясь панивомъ войскъ, подняли невѣроятно цѣны на все, даже самое необходимое. Можно ли повѣрить, если я скажу, что въ Петербургѣ у Бореля можно пообѣдать даже съ виномъ втрое дешевле, чѣмъ въ мерзѣйшемъ галацкомъ ресторанѣ. Казначей, мой спутникъ, везетъ ввѣренную ему сумму съ осторожностю, достойной добросовѣстнаго исполненія: самъ сидитъ на скамьѣ, передъ нимъ чинно въ рядъ мѣшки съ золотомъ, справа и слѣва по часовому съ оружиемъ рукахъ. Вся эта воинственная обстановка видимо смущаетъ туземныхъ пассажировъ, они жмутся въ противоположномъ концѣ вагона и посматриваютъ на воинственную группу какъ-то боязно, искоса...

Справа и слѣва тянется холмистая равнина степного характера, тамъ и сямъ пасутся большія отары овецъ, изрѣдка бѣлѣются разбросанныя по степи молдаванскія хаты, торчатъ гибкіе шесты колодцевъ—журавлей. Густое облако пыли поднимается изъ-за ската холма и несется прямо на нашъ поѣздъ: это табунъ казачьихъ верховыхъ лошадей, пригнанныхъ сюда для водопоя изъ текучскаго лагеря; въ пыли мелькаютъ косматыя конскія головы, кивера донцевъ и ихъ длинныя пики. А вотъ опять мѣстность начинаетъ подниматься крутыми уступами, ниже того уступа влѣво блестить вода, зеленѣютъ густыя группы деревьевъ, одна за другою начинаютъ показываться красныя черепичныя крыши домиковъ съ бѣлыми трубами и неизбѣжными аистовыми гнѣздами—это станція Барбашъ и небольшое селеніе того же имени, на самомъ гребнѣ уступа бѣлѣются палатки нашихъ пѣхотинцевъ, ниже—живописными группами видны коновязи казачьихъ полковъ. Рѣка Сереть огибаетъ этотъ крутой уступъ почти у подножья и, разлившись болотистыми поросшими кустарникомъ лугами, впадаетъ въ Дунай, который тоже ясно видѣнъ отсюда, особенно съ вершины горы, гдѣ устроена наша батарея. Эта батарея устроена чрезвычайно оригинально, такъ что надо подойти сзади и вплотную къ ней, чтобы тогда замѣтить это грозное сооруженіе; съ Дунаемъ же, даже со станціи желѣзной дороги, т. е. съ фронта ея непримѣтно вовсе. Стрѣлять по этой батареѣ можно только на дымъ ея выстрѣловъ, сама же она обстрѣливаетъ превосходно все устье Серпета и знамени-

тый Барабошский мостъ. Поѣздъ остановился на нѣсколько минутъ на станціи, опять оживленная толпа военного люда, опять груды военныхъ грузовъ, опять платформа съ осадными орудіями, словомъ, все та же военная, боевая обстановка, царствующая теперь на всѣхъ станціяхъ желѣзныхъ дорогъ Молдавіи, Большой и Малой Валахіи. Бойкое время переживаетъ теперь эта маленькая, тропящаяся нажиться на нашъ счетъ и не скажу, чтобы очень гостепріимная страна.

Барабошский мостъ,—это по виду весьма обыкновенный желѣзодорожный мостъ на четырехъ каменныхъ устояхъ и на сводчатыхъ желѣзныхъ фермахъ; успѣй его испортить турки, что мимоходомъ сказать, имъ почти ничего не стоило бы до прихода нашихъ войскъ, они надѣлали бы намъ не мало хлопотъ, разорвавъ главную нить всѣхъ нашихъ военныхъ сообщеній; но они не успѣли или не догадались, ну, и слава Аллаху! Гулко катится поѣздъ между мелькающихъ въ окна желѣзныхъ стропиль и крестообразныхъ брусьевъ; дальше почти до самаго Браилова, берегъ идетъ низменный, слегка волнующійся, и уже у этого города снова поднимается выше, обраzuя браиловскія береговые кручи.

Въ настоящую минуту Браиловъ сильно опустѣлъ, все, что только имѣло возможность по добру по здорову выбраться отсюда, выѣхало во внутренніе города страны, недавніе выстрѣлы турецкихъ мониторовъ надѣлали не мало тревоги въ городѣ. Когда я пошелъ осматривать то мѣсто на берегу, откуда былъ сдѣланъ нашъ первый дунайскій выстрѣлъ, то дорогою мнѣ указывали слѣды двухъ турецкихъ снарядовъ, попавшихъ въ городъ; одинъ изъ нихъ проломилъ изрядное отверстіе въ деревянной стѣнѣ публичного сада, разворотилъ рикошетомъ нѣсколько камней посрединѣ мостовъ и откатился, остановившись у фундамента противоположнаго дома. Вотъ уже три дня прошло съ того времени, а до сихъ поръ еще около этихъ слѣдовъ собирается толпа любопытныхъ, а въ этой толпѣ непремѣнно уже есть какой-нибудь очевидецъ, повѣствующій слушателямъ всѣ мельчайшія подробности событія. Другой снарядъ пробилъ стѣну въ маленькому береговому кабачку и не разорвавшись остался посреди комнаты. Длинный бульваръ, ведущій къ нашей новостроющейся батареѣ № 3, упирается въ большую площадь, обстроенную казенными зда-

ніями, эта самая высокая часть берега, отсюда, какъ на ладони видѣнъ весь разливъ Дуная, его противоположный берегъ и часть Мачинского рукава; у входа въ этотъ рукавъ раскинулось узкою полоскою небольшое турецкое селеніе Гечети, совершенно пустое въ данную минуту. Изрѣдка только, между домиками этого селенія, мелькаютъ конныя фигуры черкесовъ, слѣдящихъ за нашими фортификаціонными работами. Вотъ и тѣ два четырехфунтовыя орудія, что послали первыя ядра въ турецкие пароходы. Они теперь уже скромно откачены съ своей боевой позиціи, тамъ теперь сооружаютъ батарею для орудій болѣе солидныхъ размѣровъ. Батальонъ солдатъ знаменитаго по севастопольской оборонѣ селенгинскаго полка, поставивъ ружья въ козлы и сложивъ свою боевую амуницію, усердно работаетъ кирками, лопатами и прочими подходящими къ дѣлу орудіями. Воловій обозъ только что подвезъ сюда лѣсъ для блиндажей и платформъ. Пушки уже привезены и надо ихъ только втащить и установить на свои местья, инженерные офицеры торопятся сильно, они говорятъ мнѣ, что имъ ужасно хочется къ завтрему привести все къ окопчанію. Изъ-за зеленої линіи Мачинского острова видно три пароходныхъ дыма, это мониторы, спрятавшіеся за островомъ и не смѣющіе теперь высунуть носъ изъ своего прикрытия. Солдатикъ весь въ поту съ лопатою въ мозолистыхъ рукахъ, стоитъ на самомъ гребнѣ вновь насыпанного бруствера и потѣшаетъ товарищемъ. Онъ обращается къ туркамъ съ просьбою повременить денекъ и не уходить... «Голубчики мои, говорить синь, отцы родные, обождите до завтра. Вотъ поставимъ наши пущеночки, мы васъ можетъ и тамъ облагодѣтельствуемъ»...

— Проси крѣпче, Сенька, проси! — хохочутъ слушагели и надсаживаются, выворачивая кирками пудовые глыбы супесковатой земли, никакихъ понужденій, ничего такого насильственного не требуется вовсе, всѣ отъ большого до малаго, какъ на свое собственное личное дѣло смотрять. Отрадно смотрѣть на такую тяжелую, указанную, но не подневольную работу. И тотъ же самый солдатъ, въ мирное время, работая даже за деньги поденно, относится къ своему дѣлу совсѣмъ иначе, такъ вотъ и наровить протянуть лишній часокъ отдыха, урвать хотя минуту времени у ненавистной, а главное скучной работы.

Възвѣсъ берегъ тянется вогнутою дугою, въ концѣ этой дуги къ Дунаю выдвигается высокій мысокъ; тамъ тоже копошатся люди, тоже кипитъ спѣшное боевое дѣло, возведеніе еще одной батареи, съ которой Мачинскій рукавъ можно обстрѣливать вдоль на большое разстояніе. Выборъ позиціи чрезвычайно удачный.

Дожди, слава Богу, прекратились; судя по состоянію неба, хорошая погода простоять довольно долго; это весьма утѣшительно и приятно—просушить дороги, а, главное, сдѣлаетъ бивачшую жизнь несравненно болѣе сносною, чѣмъ въ теченіе этой прошедшей недѣли.

## XII.

Странныя вещи творятся вокругъ меня въ данную минуту. Во всей Румыніи что-то происходит и даже это что-то весьма грандіознаго свойства. Движутся массы войскъ, тянутся безкоинечные обозы и парки; и рельсы, и шоссе, и проселки, все занято этимъ движениемъ, куда, что, зачѣмъ? Ничего неизвѣстно, не только намъ, прѣѣжимъ туристамъ, корреспондентамъ, но даже и мѣстнымъ жителямъ, и самимъ движущимся. Кого не спросите—одинъ отвѣтъ: пожиманіе плечъ и лаконическое «ничего не знаю». Спросите, гдѣ въ данную минуту такая-то часть? Хотя бы даже весьма крупная часть, тотъ же отвѣтъ, то же недоумѣвающее пожиманіе плечъ, и это не скрытность, не желаніе воздержаться отъ точнаго и опредѣленного отвѣта, нѣтъ — это дѣйствительно полное незнаніе. Я имѣлъ много разъ случай вполнѣ убѣдиться въ этомъ. Каждый членъ нашей арміи знаетъ только ту крохотную роль, которую долженъ исполнять точно и аккуратно, а къ чему служить эта роль, какъ она связана съ другими — это уже до него не касается. Все идетъ чинно, въ высшей степени точно и разсчитано. Вы видите сложный часовой механизмъ и его почтенную, аккуратную работу, но у этого механизма отняты показывающія результаты стрѣлки и вы лишены всякихъ показаний, вамъ остается только, если хотите, созерцать, созерцать даже съ нѣкоторымъ духомъ почтительности иуваженія къ созерцаемому и отложить всякия попытки узнавать, угадывать, предполагать и проч. въ этомъ родѣ. Никогда еще ни въ одной арміи главные ея дѣятели и руководители не сохра-

няли такъ умно и такъ тщательно главнѣйшую тайну своихъ плановъ, какъ въ настоящее время въ нашей дунайской арміи.

Сижу пока въ Галацѣ, это главный узелъ движенія, онъ какъ разъ по пути и терпѣливо жду прибытія сюда, или куданибудь поблизости главной квартиры и начала дѣйствительныхъ военныхъ боевыхъ операций. Можетъ быть это совершиится завтра, даже сегодня, можетъ быть пройдетъ еще недѣля, двѣ, три, ничего и никому неизвѣстно, конечно, кромѣ самихъ набольшихъ. Безспорно, это дѣлаетъ имъ великую честь, но куда какъ тяжело и томительно корреспонденту.

Бѣглецы съ того берега прибываютъ въ Галацъ ежедневно и по одиночкѣ, и болѣе значительными партиями. Большинство изъ нихъ, конечно, болгары изъ окрестныхъ деревень, разбросанныхъ по всей низменной полосѣ праваго берега. Турки стянули всѣ свои регулярныя войска къ крѣпостямъ и балканскимъ подножьямъ; Добруджа тоже почти очищена отъ регулярныхъ войскъ, тамъ ихъ осталось не болѣе шести тысячъ — страна предоставлена въ полное распоряженіе шайкамъ черкесовъ и башибузуковъ; эти голодные разбойники на своихъ тощихъ клячахъ рыщутъ по уцѣлѣвшимъ болгарскимъ селеніямъ, забираютъ остатки и чуть не поголовно рѣжутъ жителей. Все, что только осталось живымъ, бѣжитъ къ Дунаю и переправляется на наши берега.

Каждый день съ возвышенныхъ пунктовъ Галаца, откуда весь противоположный берегъ видѣнъ верстъ на тридцать какъ на ладони, вы можете наблюдать за этимъ отчаяннымъ бѣгствомъ; прежде, нѣсколько дней тому назадъ, видны были и преслѣдователи, не рисковавшіе, впрочемъ, близко подѣзжать къ берегу и останавливающіеся всегда за чертою второго розлива рѣки, вѣнѣ выстрѣла отсюда. Съ тѣхъ поръ же, какъ начали высыпать отсюда маленькія казачьи команды для прикрытия бѣглецовъ, черкесовъ больше въ виду не показывалось. Ночью обыкновенно несчастные болгары оставляютъ свои жилища, захвативъ съ собою свои плачевые остатки добра и, подъ прикрытиемъ темноты, бредутъ по болотамъ, вязнутъ по колѣю въ грязи, а то и вплавь переправляются черезъ болѣе значительныя водныя затопи, выбирая дорогу попрямѣю и поближе къ цѣли — къ разсвѣту они уже достигаютъ берега Дуная... Сердце болитъ и ноетъ, когда наблюдаешь за этими,

медленно двигающимися человеческими фигурами, въ сильный бинокль можно различить даже нѣкоторыя подробности... вонъ женщины съ дѣтьми на рукахъ, вонъ ряса священника, вонъ что-то движется тяжелое, неуклюжее — это тощій волъ, Богъ вѣсть какъ не попавшій въ голодные желудки черкесовъ, на-вьюченный узлами, кое-какою утварью, образами и церковными хоругвями... Здѣсь, въ Галацѣ, полиціи и береговыми коман-дамъ вмѣнено въ обязанность имѣть всегда на-готовѣ лодки для перевозки этихъ страдальцевъ. Завидѣвъ такую партію, лодка отчаливаетъ и идетъ бѣхъ нимъ, забираетъ ихъ на свою палубу и черезъ полтора, много два часа бѣглецы уже вѣдь всякой опасности, но въ какомъ отчаянномъ положеніи! Это уже не люди изъ плоти и крови — это уже какія-то страшныя тѣни, едва-едва сохранившія образъ человѣческій... Вместо щекъ глубокія сухія впадины, носъ завостренъ какъ у тру-повъ, въ ввалившихся глазахъ огонь горячки и изнурительной лихорадки, намокшія, грязныя до-нельзя, а то и окровавлен-ныя лохмотья,увѣчное, израненное тѣло... какою-то несвязный лепеть вместо рѣчи и боязливое вздрагиванье при каждомъ рѣзкомъ звуکѣ, при каждомъ неожиданномъ прикосновеніи.

Днемъ, на горизонтѣ, у самаго подножья горныхъ группъ, разбросанныхъ въ видѣ какихъ-то возвышенныхъ острововъ по всему сѣверо-восточному треугольнику дунайскихъ низовьевъ, можно замѣтить бѣлые столбы дыма, стелящіеся по вѣтру и мало-по-малу сливающіеся въ одно нитеобразное, сплошное облако, — это догораютъ брошенныя деревни и ху-торки. Ночью красноватое зарево яснѣе выдается эти военные подвиги турокъ... Деревня Вакка Рени, одна изъ лучшихъ дере-вень праваго берега, сгорѣла третьяго дня до тла, Гарбова, большое селеніе съ русскою церковью — сегодня догораетъ, я не знаю, уцѣлѣло ли хотя что-нибудь на той сторонѣ? Впрочемъ, Затокъ, тотъ самый Затокъ, въ которомъ я былъ лично мѣсяца два тому назадъ, еще цѣлъ, тамъ не тронуто ни одного домика, только онъ пусть теперь совершенѣо — это па-селеніе, впрочемъ, чисто турецкое, его обитатели поспѣшили удалиться, только не къ намъ, а въ Мачинъ и Исакчу; казаки-охотники, перебравшись на лодкахъ туда, уже не нашли тамъ ничего, кромѣ случайно забытаго въ лавкѣ мѣшка съ табакомъ сомнительного достоинства. Болгарамъ, жителямъ побережныхъ

деревень, до которыхъ доходить воды дунайского розлива, тамъ удалось добыть кое-какія лодченки, и на этихъ щепкахъ, рицкую пойти ко дну, они переплываютъ Дунай, борятся съ его быстрымъ, волнистымъ теченіемъ. Несетъ такую несчастную лодку внизъ, швыряеть изъ стороны въ сторону, пока ее не выручить подоспѣвшее съ этого берега болѣе солидное судно. Вчера изъ-за зеленої осоки и густой заросли молодого плавника появился даже цѣлый плотъ, связанный изъ бревенъ и настланній плетнями, на этомъ плоту тѣснилось нѣсколько семей, человѣкъ двадцать, съ волами и овцами, по срединѣ стоялъ церковный престолъ съ книгами и сосудами, узель съ ризами и самъ священикъ, сѣдой, совсѣмъ дряхлый старикъ, въ изношенній, побурѣвшей отъ времени суконной расѣ, вместо пояса подхваченной веревкою, босой и съ крестомъ въ рукахъ деревяннымъ, околоченнымъ жестью. Тутъ же торчали хоругви и большой церковный крестъ, снятый съ крыши, даже колоколь, маленький, впрочемъ, захватили съ собою разоренные въ копецъ бѣглецы... Этотъ плотъ медленно вытянулся на баграхъ изъ затоновъ, вошелъ въ Дунай и уже на веслахъ переправилъ на ту сторону. Съ колокольни галатской болгарской церкви тоже должно быть замѣтили эту плавучую группу и встрѣтили ее звономъ своихъ колоколовъ и открытыми дверями для приема и помѣщенія всѣхъ спасенныхъ священныхъ предметовъ.

---

Прибывшихъ съ того берега бѣглецовъ препровождаются обыкновенно на первыхъ парахъ въ мѣрію, тамъ ихъ считаютъ, записываютъ имена, мѣсто ихъ прежняго жительства, и уже потомъ, покормивъ конечно предварительно, распредѣляютъ ли по обывательскимъ домикамъ, на правахъ солдатскихъ постоеvъ кромѣ того по подпiskѣ собираются въ городѣ, впрочемъ, весьма незначительныя суммы для ихъ содержанія. Большинство болгаръ мужчинъ просить выдачи имъ оружія и мѣста въ рядахъ нашихъ солдатъ. Просьбы тѣмъ, кто оказывается годнымъ для военной службы, удовлетворяются—ихъ направляютъ въ специально сформированный для этой цѣли русско-болгарскій легіонъ, въ составъ которого вошли и добровольцы, вернувшіеся изъ Сербіи и пожелавшіе продолжать воевать съ турками, отмстить имъ, какъ они вы-

ражаются, за Дъюнимъ и сербскія пораженія. Легіономъ этимъ командуется генераль Столѣтовъ, тотъ самый, который былъ въ 1874 году начальникомъ ученой экспедиціи въ Аму-дарынскую дельту—это генераль крайне способный для подобной цѣли, отлично знаетъ славянскія нарѣчія и турецкій языкъ, знаетъ хорошо край, гдѣ ему придется дѣйствовать, однимъ словомъ, выборъ весьма удачный.

Третьяго дня и вчера единственный находящійся здѣсь буксирный пароходъ занять былъ собираніемъ судовъ, разбросанныхъ вдоль берега версты на три вправо и влѣво отъ города; это сдѣлано для того, чтобы облегчить надзоръ за берегами въ виду большей безопасности для самихъ судовъ. Теперь всѣ эти шкуны, барки и прочія суда станутъ къ общей пристани у русскаго агентства общества пароходства и торговли. Вдоль берега на всѣхъ пристаняхъ разставлены часовые казаки и мѣстные доробанцы—оно и кстати, потому что въ Галацѣ всегда находится нѣсколько тысячъ рабочихъ грековъ, армянъ, итальянцевъ и другихъ, самыхъ неопределенныхъ національностей; эти господа до войны существовали только тѣмъ, что работали поденно на пристаняхъ, разгружая и нагружая суда, они зарабатывали себѣ весьма достаточно не только для своего ежедневнаго пропитанія, но даже могли кое-что и отложить (средняя цѣна денного заработка 4 франка). Теперь же движеніе по Дунаю прекратилось, торговли никакой и вся эта голодная арава рабочихъ бродить по берегу, безъ всякаго дѣла, между ними большинство безъ взякихъ документовъ, народъ въ высшей степени подозрительный и, по всей вѣроятности, между ними есть и турецкіе шпіоны;—нѣсколько человѣкъ изъ нихъ уже арестовано, не знаю только на сколько сильныхъ оказались улики. Кромѣ казачьихъ постовъ еще содержатся копные раззѣзы—по берегу и по улицамъ что придаетъ городу видъ нѣсколько тревожный и воинственный, подобающій мѣсту и времени.

Въ Галацѣ нѣть театра, т. е. зданіе то въ видѣ длиннаго сарая безъ оконъ существуетъ, но оно пусто; единственнымъ развлечениемъ нашихъ офицеровъ служить большой залъ отеля «Романія», гдѣ устроена эстрада, а на этой эстрадѣ подвизается полуфранцузская, полунѣмецкая, полужидовская каскадная труппа. Наши держать себя въ высшей степени

сдержанно, что немного удивляетъ мѣстныхъ обывателей, разсчитывавшихъ на широкій разгулъ и дымъ коромысломъ. Вечера въ «Романі» начинаются обыкновенно довольно рано и также рано кончаются, офицеры, главнѣйшіе ея посѣтители,— должны ночевать обязательно въ лагеряхъ, да и вставать-то приходится имъ, что называется, со свѣтомъ, а потому долго засиживаться не приходится. Мѣстные обитатели группируются обыкновенно по вечерамъ въ кафе, разбросанныхъ чуть не на всѣхъ перекресткахъ города; тамъ идутъ толки, разговоры, предположенія и со всѣхъ сторонъ сыпятся самыя новѣйшія и самыя вѣрнѣйшія извѣстія. Главный предметъ всего этого слово-говоренія, конечно, настоящая война и чего-чего только вы можете наслушаться здѣсь, просидѣвъ хотя полчаса въ какомъ-нибудь изъ этихъ кафе. Газеты исключительно только румынскія и нѣмецкія, разъ только я видѣлъ французскую иллюстрацію и ни разу ни въ одномъ отельѣ, ни въ одномъ ресторанѣ я не видѣлъ ни одной русской газеты—это уже не совсѣмъ любезно и предупредительно относительно гостей изъ-за Прута. Вообще, несмотря на кажущуюся оживленность и видимое многолюдство, всюду, куда ни посмотришь—въ городѣ царствуетъ самая томительная скуча и застой во всѣхъ отношеніяхъ.

---

Поѣздъ изъ Галаца пришелъ поздно ночью, око трехъ часовъ: отсюда въ Бухарестъ идетъ другой поѣздъ, кромѣ этого ночного, въ девять часовъ утра. Я хотѣлъ воспользоваться этимъ небольшимъ промежуткомъ времени и побывать не береговыхъ батареяхъ, отличившихся на-дняхъ взрывомъ монитора «Лутфи-Джелия». Отправляться на эти батареи ночью нечего было и думать: во-первыхъ, мало что можно разсмотреть въ этомъ густомъ мракѣ, а, во-вторыхъ, меня, просто иа просто, не пропустили бы за цѣль часовыхъ. Надо было переждать нѣсколько часовъ, остававшихся до разсвѣта. Залы станціи желѣзной дороги заняты подъ канцеляріи комендантъ и прочія военно-офиціальныя надобности; въ распоряженіе пассажировъ предоставлены только буфетъ и крохотная столовая, вѣчно переполненные посѣтителями, преимущественно, конечно, нашими военными. Военные поѣзда приходятъ и отходятъ въ огнь.

дять чуть не каждый часъ, комендантъ и начальники станціи суетятся нескованно. Слышны звуки военныхъ рожковъ и барабановъ, призывъ по вагонамъ. Казачьи урядники снуютъ по всѣмъ направлениямъ, розыскивая склады фуражка. Офицеры толпятся у буфета, торопясь наскоро закусить, по плотно утрамбованному земляному полу веранды раздаются мѣрные звуки шаговъ въ порядкѣ проходящихъ командъ, все это покрываетъ рѣзкимъ свистомъ локомотивовъ, хаосъ звуковъ несказанный, сумятица повидимому страшная, а ничего, порядка довольно, поѣзда отходятъ и приходятъ во-время, даже частное пассажирское движение и то нисколько не тормозится отъ этого наплыва проходящаго воинства, отъ этой усиленной, хлопотливой дѣятельности. Личный персональ румынскихъ желѣзныхъ дорогъ, конечно, ничего бы не могъ сдѣлать здѣсь своими собственными силами, если бы не были организованы военные русскія комендантства желѣзнодорожныхъ станцій, и комендантствомъ этимъ денной и ночной работы болѣе чѣмъ достаточно. Подремавъ немного на стулѣ, я дождался таки восхода солнца и пошелъ по городу.

Для того, чтобы попасть на батареи, надо пройти весь Браиловъ, до самаго обрывистаго берега Дуная,—разстоянье это будетъ около трехъ верстъ, если не болѣе. Рано,—экипажей еще нѣтъ,—пришлось итти пѣшкомъ. Длинный, жаль только, что почти неимѣющій тѣни, бульваръ ведеть черезъ весь Браиловъ, до самыхъ береговъ, итти удобно, да еще и не жарко, солнце только что всходитъ, и на улицахъ, во дворахъ, въ этихъ мизерныхъ домикахъ, что вереницами тянутся справа и слѣва, мало-по-малу просыпается все живое, копошится, выглядываетъ на свѣтъ божій заспанными глазами и лѣниво принимается за свою ежедневную работу. Черезъ часъ ходьбы я былъ уже у берега.

Передъ моими глазами раскинулась бойкая, военная боевая картина: у длинныхъ зданій таможни и складовъ, у казармы мѣстныхъ войскъ, на зеленомъ лугу, расположились наши бивуаки: здѣсь стройныя линіи ружейныхъ козелъ, тамъ, дальше, коновязи артиллерійскихъ лошадей. Утреннее солнце ярко освѣщаетъ зеленые, чистенькие такие бока зарядныхъ ящиковъ, сверкаетъ на ружейныхъ штыкахъ, на мѣдныхъ котелкахъ, привязанныхъ къ солдатскимъ ранцамъ. Группы пѣхотинцевъ

лежать, стоять и движутся по этому лугу. Кони весело ржутъ, чуя утреннюю порцию ячменя, невыносимо скрипятъ немазанныя оси мимо проходящаго воловьяго обоза, а ближе, по сю сторону водопромойного оврага, разнокалиберныя шеренги румынскихъ новобранцевъ хрюпло выкрикиваютъ свое вѣчное: уно, дое, тре! подъ команду отставныхъ унтеръ-офицеровъ. Теперь время самаго горячаго призыва въ ряды и вы въ каждомъ городѣ можете видѣть этихъ будущихъ воиновъ, готовящихся къ ратному полю. Пока они еще въ своемъ платьѣ, кто въ чемъ попало; рядомъ съ моднымъ пиджакомъ стоитъ длиннополая крестьянская рубаха, а за нею рабочая куртка, или шитая шнурами венгерка, дальше что-то вродѣ шлафрока, а такъ далѣе, съ изумительную пестротою и разнообразiemъ. Новобранцы подъучиваются немного, ознакомливаются съ оружіемъ и немедленно отправляются по своимъ частямъ, гдѣ уже и получаютъ форменную обмундировку. Прощель мимо этихъ новичковъ; миновалъ и бивуакъ нашихъ армейцевъ. На голубомъ фонѣ противоположнаго берега на самомъ гребнѣ обрыва грознымъ силуэтомъ тянется правильное очертаніе бруствера батареи и торчатъ четыре жерла колоссальныхъ орудій,—это батарея № 3. Артиллеристы группируются кто по своимъ ложементамъ, кто на брустверѣ и около, на лѣвомъ флангѣ батареи, на трехногомъ станкѣ большая зрительная труба и около нея нѣсколько человѣкъ пашшихъ офицеровъ. Я направился къ нимъ, нашлись знакомые, поздоровались. Какая чудная широкая-такая картина развертывается передъ глазами съ этой высокой точки; точно съ птичьаго полета вы видите и главное русло Дуная, и его береговые розливы съ полу затопленными еще двориками и садами, и островъ Мачинъ, густо поросшій ярко-зеленымъ кустарникомъ, а за нимъ опять воды Мачинскаго рукава, далѣе плоская лента противоположнаго берега, на самомъ горизонтѣ красивая зубчатая линія горъ, все это такъ свѣжо, такъ прозрачно, такъ эффектно, роскошно освѣщено косыми розовыми лучами утренняго солнца. Прямо напротивъ батарей—у берега разрушенное турецкое селеніе Гечети. Оно служило прикрытиемъ для непріятельскихъ стрѣлковъ, а посему и предано казни; за нимъ нѣсколько правѣе, но значительно далѣе, на первыхъ уступахъ холмистой грязи, бѣльются кро-

хотныя точки—это лагерь турецкихъ войскъ;—еще правѣе и еще нѣсколько дальше, чуть-чуть видна на плоскости слѣдующаго холма мачинская казарма, а выше группа домиковъ самаго селенія; по Мачинскому рукаву кое-гдѣ движутся лодки, три длинныя струи дыма указываютъ мѣсто стоянки турецкой эскадры. Въ бинокль, а особенно въ эту большую трубу суда видны совершенно отчетливо, даже то, что на ихъ палубахъ. Тамъ стоять: одинъ большой двухтрубный пароходъ и двѣ панцырныя канонирки. Стоять, однако, на весьма приличномъ разстояніи отъ нашихъ пушекъ. Печальная участь ихъ старшаго товарища Лутфи-Джелиля заставила ихъ быть много трусливѣе, и осторожнѣе, а вотъ и останки покойного: прямо по направленію жерлъ нашихъ пушекъ видна вершина довольно толстой мачты, косая рея и веревки; это все, что осталось на поверхности воды, отъ колоссальнаго судна; все остальное, и пушки и люди, все тамъ внизу, на глубинѣ 22 футовъ, и мало-по-малу засасывается пескомъ и иломъ. Турки не рѣшаются даже подходить къ мѣсту катастрофы, а наши бывають частенько, конечно, не для того чтобы извлечь снова на свѣтъ Божій броненоснаго утопленника,—это и трудновато да и не своевременно,—ѣздятъ наши охотники на рекогносцировку и за каменнымъ углемъ. Турки заготовили его большое количество на томъ берегу, и намъ онъ оказался очень нуженъ, вѣдь наши пароходы уже работаютъ на пространствѣ между Рени и Браиловомъ. Третьяго дня ходила на ту сторону большая команда наша, на баржѣ, которую буксировалъ нашъ пароходикъ; взяли у турокъ около тысячи пудовъ угля и благополучно отправились обратно, но тутъ случилось, т. е., правильно, чуть было не случилось насчастіе и несчастіе крушное. Дѣло въ томъ, что у парохода что-то испортилось, говорить, въ винтѣ и оба судна потащило по теченію, какъ разъ на наши минныя загражденія. Опасность была громадная—съ батарей поданы были сигналы, съ несчастнаго парохода отвѣчали, что понимаютъ положеніе и принимаютъ мѣры; къ счастію, машинистамъ удалось во время исправить поврежденіе и справиться,—суда, команда и уголь вернулись благополучно и собираются опять ѿхать; сегодня вотъ тоже готовится экспедиція. Всѣмъ этимъ смѣлымъ экспурсіямъ турки или не хотятъ, или, вѣрнѣе, не смѣютъ, не въ

силахъ препятствовать; больше нечѣмъ объяснить ихъ видимую трусость и бездѣйствіе.

Съ батареи № 3 хорошо видна влѣво батарея № 4, мортирая, расположенная, на далеко выдающейся впередъ оконечности остраго мыса; съ этой батареи Мачинскій рукавъ видѣнъ вдоль, позиція превосходная для его обстрѣливанія.

Погостиивъ часа два по батареямъ, отправился я обратно къ вокзалу желѣзной дороги, да и было уже время. Поѣздъ изъ Барабошъ подходилъ и я могъ продолжать свое путешесвіе.

Все пространство между Бузо и Плоештами довольно ровное, и изъ оконъ вагона вы можете видѣть вправо и влѣво очень далеко. На поляхъ кипитъ мирная земледѣльческая работа, тяжелые плуги, запряженные четырьмя и даже шестьюарами воловъ, бороздятъ тучную землю, готовятся къ посѣву, а по дорогамъ всюду идутъ безконечные обозы съ фуражемъ и провіантамъ. Это все направляется на временные пункты дневокъ и ночлеговъ проходящихъ командъ. Товарищество, взявшееся за продовольствіе арміи, во время пребыванія ея въ княжествахъ и даже за Дунаемъ, встрѣтило массу самыхъ непредвидѣнныхъ затрудненій. Главное — это недостатокъ въ краѣ сѣна, его дурное качество и затруднительность перевозки. Весна запоздала, рабочій скотъ занятъ пашней, перевозить некому. Однако, несмотря на всѣ эти невыгоды, кое-какъ справляются; работа кипитъ и днемъ, и ночью. Сѣно — это большое мѣсто товарищества, остальное все идетъ ладно. Впрочемъ, у насъ въ бессарабскихъ складахъ заготовлено болѣе 2-хъ миллионовъ пудовъ пресованного сѣна; вотъ немного поосвободятся вагоны, можно будетъ перевести. Передовая линія фурожныхъ и продовольственныхъ складовъ уже основана и магазины начинаютъ пополняться. Вообще приготовленія къ переходу войскъ идутъ хотя и нѣсколько медленно, да за то основательно. Впрочемъ и торопиться особенно некуда — вода Дуная нѣсколько дней какъ пошла на убыль, а при настоящемъ половодье переправа немыслима, или, покрайней мѣрѣ, слишкомъ затруднительна.

## XIII.

Болгарский легионъ, ввѣренный въ командованіе генералу Столѣтову, состоитъ при главной квартирѣ. Въ началѣ своего зарожденія, еще въ Кишиневѣ, онъ едва достигалъ цифры 300 человѣкъ, значитъ не могъ еще называться даже батальономъ; съ тѣхъ поръ, особенно съ переходомъ нашихъ войскъ въ предѣлы княжества, легионъ этотъ сталъ быстро пополняться болгарами-волонтерами, какъ живущими въ Румыніи, такъ и бѣглецами изъ своей разоренной, поруганной родины. Почти ежедневно съ того берега приходятъ голодные, покрытые лохмотьями, часто изувѣченные страдальцы и первымъ ихъ словомъ, первою просьбою является не хлѣбъ, а оружіе. Вдохновленные жаждою мести, горячимъ желаніемъ спасти свою родину, они составляютъ превосходный боевой элементъ и, конечно, болѣе молодые и сильные, вступаютъ въ ряды болгарского легиона. Въ настоящую минуту численность этого священного отряда, какъ его здѣсь называютъ, достигаетъ уже до 3,000 человѣкъ. Легионъ раздѣленъ на шесть дружинъ и каждая дружина ввѣрена офицеру, выбранному для этой цѣли необыкновенно удачно и счастливо. Большая часть этихъ офицеровъ побывали на своемъ вѣку въ бою, знакомы со всѣми сторонами боевой жизни и горячо преданы своему дѣлу; остальные кадры выбраны изъ лучшихъ людей арміи, и надо видѣть какъ быстро устанавливается теплая и прочная нравственная связь между ними и ихъ болгарскими питомцами. Легионъ стоитъ просторнымъ лагеремъ по-дружинно въ палаткахъ, верстахъ въ трехъ отъ Плоэшты, обмундировка людей очень простая и довольно красива, а главное удобная: короткій черный кафтанъ матросскаго покроя, красные погоны, баражковая черная шапка съ зеленымъ верхомъ, конечно высокіе сапоги и сѣрая солдатская шинель; вооруженіе легиона—ружья системы Шаспо; за самымъ небольшимъ исключеніемъ всѣ волонтеры грамотны, большинство даже довольно развито, охоты много и военное обученіе идетъ быстро: пробывшаго недѣлю въ строю новобранца вы уже не отличите отъ старого солдата; болгары почти постоянно, по собственному желанію, заняты изученіемъ своего нового боево-

вого ремесла, они легко и скоро ознакомились съ оружіемъ, усвоили себѣ всѣ тонкости и свойства системы Шаспо, порядочно стрѣляютъ и отлично ходятъ колоннами. Дисциплина строга, а главное сознательна, а это послѣднее стоитъ не сравнишь болѣе всякой палочкой дисциплины и тупой покорности, выработанной нѣмецкими шпицрутинами.

Я пріѣхалъ въ Плоэшти сегодня утромъ и прямо съ дороги отправился въ болгарскій лагерь: тамъ должна была состояться торжественная церемонія освященія знамени, подаренного болгарамъ городомъ Самарою. Когда я завидѣлъ влево отъ дороги бѣлые, стройные ряды палатокъ, я замѣтилъ тамъ уже сильное оживленіе, дружины становились въ ружье и выстраивались передъ лицей лагеря. Знамя въ ящикахъ уже было привезено и духовенство—въ числѣ трехъ болгарскихъ священниковъ,—ожидало начала церемоніи у разставленныхъ на лугу столиковъ, покрытыхъ бѣлыми скатертями. Его высочество главнокомандующій долженъ былъ пріѣхать скоро, его ждали съ минуты на минуту, и съ нетерпѣніемъ поглядывали по направленію шоссе, ведущаго въ Плоэшти...

Знамя это привезено было лично городскимъ головою Самары Е. Т. Кожевниковымъ и гласнымъ П. В. Алабинымъ, которые на-дняхъ прибыли сюда, были радушно приняты въ главной квартире и въ настоящую минуту участвовали въ церемоніи освященія знамени и врученія его болгарскому легіону. Полотно знамени шелковое трехцвѣтное: бѣлое, малиновое и свѣтло-синее, бѣлая полоса въ срединѣ—съ одной стороны вышитъ широкій прямоугольный крестъ, шитый по черному фону золотомъ и въ центрѣ этого креста образъ Иверской Богоматеріи, на другой сторонѣ такой же крестъ и образъ Кирилла и Меѳодія; серебряное, золоченое копіе знамени исполнено по прелестному рисунку графа Рошфора, въ византійскомъ стилѣ, на лентахъ знамени золотомъ вышиты надписи, на одной: «городъ Самара болгарскому народу въ 1876 году», а на другой «Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази Его».

Лагерь, какъ я уже сказалъ, расположень на большомъ зеленомъ лугѣ, на сѣверѣ отъ него видна туманная, синѣющая цѣпь Карпатскихъ горъ съ бѣлыми, ярко сверкающими на солнцѣ гребнями. Погода была превосходная, только въ горахъ

группировались грозовые тучи, кутая крутые скаты, сползая все ниже и ниже въ подгорные долины плоэштского района. Е. в. главнокомандующій прибылъ въ  $2\frac{1}{2}$  часа пополудни, дружины стояли въ густыхъ колоннахъ въ одну линію, противъ середины расположены были столы для знамени и молебствія. Служили болгарскій архимандритъ Амфилохій Михайловъ, изъ города Сливны и священникъ Пётръ Дрогановъ изъ Тркова,—оба замѣчательны тѣмъ, что не разъ, съ оружіемъ въ рукахъ, боролись съ турками, во главѣ своихъ, выведенныхъ наконецъ изъ терпѣнія и возставшихъ прихожанъ. Тотчасъ же послѣ молебна и освященія приступили къ торжественной церемоніи набивки полотна знамени на древко. Первый гвоздь вбилъ самъ главнокомандующій; за нимъ начальникъ штаба генераль Непокойчицкій, затѣмъ начальникъ легіона, оба привезшіе знамя самарцы и такъ далѣе, послѣдніе гвозди вбиты были выбранными рядовыми болгарами. Надо было видѣть, съ какимъ глубокимъ благоговѣніемъ приступали эти люди къ своему почетному дѣлу, каждый крестясь бралъ молотокъ, цѣловалъ древко и затѣмъ уже поднималъ руку для удара. Какое счастіе свѣтилось на этихъ простыхъ, смуглыхъ, типичныхъ лицахъ. Изъ толпы зрителей вывели старика болгарина въ красивомъ боевомъ, національномъ костюмѣ, въ шитой курткѣ, въ широкомъ калакѣ (поясѣ), за которымъ внушительно торчали рукоятки турецкихъ пистолетовъ и отдельный въ золото ятаганъ. Это былъ знаменитый болгарскій воевода Пеко Петковичъ,—32 года боровшійся съ турками, наводившій на нихъ страхъ и ужасъ, гроза Балканскихъ горъ, получившій двадцать восемь ранъ и однажды просидѣвшій въ турецкой тюрьмѣ два съ половиною года, прикованный за шею желѣзною цѣпью; слѣды этого страшного ошейника до сихъ поръ еще видны на широкомъ, загорѣломъ затылкѣ старика. Теперь онъ явился сюда въ ряды легіона, но его оставили при штабѣ этого отряда, въ качествѣ дядьки и пѣстуна молодыхъ волонтеровъ и для указаній во время похода въ Балканы, гдѣ ему известны каждый камень, каждая незначительная тропинка. Зарыдалъ старикъ, когда ему дали въ руки молотокъ. Онъ взглянуль на небо, на знамя, на главнокомандующаго и громко произнесъ: «да поможетъ Богъ пройти этому святому знамени изъ конца въ конецъ несчастную

землю болгарскую; да утрутъ этимъ знаменемъ наши матери, жены и дѣти свои скорбныя очи; да бѣжитъ въ страхѣ все печистое, поганое зло передъ нимъ, а за нимъ станетъ прочный миръ и благоденствіе!» Гробовая тишина стояла въ толпѣ, когда старый Петковичъ произносилъ свои слова, и въ этой тишинѣ зазвенѣлъ его молотокъ, ударившій по серебряной шляпкѣ вбитаго гвоздя. Какъ нарочно, словно аккомпаніментъ этому слову, въ Карпатахъ блеснула молния и оттуда донеслись глухіе перекаты громового удара. «Добрый знакъ, добрый!» загудѣло въ толпѣ.

Сплошною стѣною загораживала эта толпа самый столъ, на которомъ производилась церемонія, и стоящія въ колоннахъ дружины не видали еще своего знамени. Когда послѣдній гвоздь былъ вбитъ, его высочество главнокомандующій взялся за древко и поднялъ знамя, высоко развившееся въ воздухѣ. Мгновенно громкое, страстное «ура» грянуло по рядамъ дружинъ, тысячи черныхъ шапокъ взлетѣли на воздухъ, колонны дрогнули и рванулись впередъ, но мгновенно все замерло на своемъ мѣстѣ и стихло, когда раздалась команда: «Дружины смирино!»

Генералъ Столѣтовъ, командиръ дружины маіоръ Калитинъ и знаменищикъ преклонили колѣна. Е. В. главнокомандующій собственпоручно передалъ имъ знамя, которое и заняло свое мѣсто передъ фронтомъ; затѣмъ колонны прошли церемоніальными маршемъ, прошли смѣло, лихо, какъ старые солдаты, громко и дружно отвѣчая на привѣтствіе главнокомандующаго. Послѣ этого церемоніала Его Высочество сѣлъ въ экипажъ и, проѣхавъ еще разъ мимо остановившихся колоннъ, былъ снова привѣтствованъ криками ура и киданіемъ шапокъ кверху. Кончилась офиціальная церемонія, началось живое искреннее ликованіе въ каждой колоннѣ, въ каждой группѣ распущеныхъ дружинниковъ. Въ палаткѣ генерала Столѣтова тоже собрались офицеры и пріѣзжіе гости, гдѣ былъ предложенъ хозяиномъ скромный, чисто военно-походный, бивуачный завтракъ, цѣлый жареный баранъ, солдатский хлѣбъ, супля съ мѣстнымъ виномъ и, ужъ какъ же безъ этого, офиціально торжественное шампанское. Опять тосты, опять рѣчи, но не тѣ рѣчи, отъ которыхъ такъ и вѣтъ фракомъ и бѣлымъ галстукомъ, заученностью и отсутствиемъ даже тѣни естествен-

наго чувства, нѣтъ, тутъ говорилось коротко, просто, говорилось, что у кого на душѣ, не красно, но понятно и искренно. «Господа,—не разъ повторяли привезшіе знамя гости-самарцы—да для такой минуты, не только три тысячи верстъ, тридцать тысячъ проѣхать можно!» А по всему лагерю, сквозь мелкую дробь набѣжавшаго дождя, сплошнымъ гуломъ неслось ура дружинниковъ и надъ бѣлымъ полотномъ, словно птицы, взлетали ихъ круглые, черные шапки.

Болгарскій легіонъ имѣеть слишкомъ высокое, святое назначеніе, чтобы имъ рисковать и подвергать его потерямъ. Его предполагаютъ беречь во время кампаніи; ему предназначено послѣ окончанія войны стать прочнымъ и могучимъ оплотомъ на своихъ родныхъ земляхъ, чтобы подъ его защитою покойно и безопасно пробуждалась и воскресала къ новой, болѣе счастливой жизни вѣковая страдалица — болгарская земля.

P. S. Привожу рѣчь Алабина:

«Прошелъ рядъ вѣковъ послѣ того какъ въ послѣдній разъ развѣвались болгарскія знамена въ рядахъ свободныхъ болгарскихъ дружинъ.

«Тѣ знамена потонули въ рѣкахъ крови на поляхъ Коссова, и вотъ опять надъ болгарской дружиной вздымается родное знамя.

«Издалека, черезъ всю русскую землю оно нами принесено къ вамъ, какъ бы въ живое свидѣтельство того, что оно дается вамъ не однимъ какимъ уголкомъ Россіи, а всей русской землей.

«На знамени этомъ начертанъ 1876 годъ, тотъ годъ, въ который вся Русь затрепетала при видѣ вашихъ невыносимыхъ страданій; тотъ годъ, который истощилъ мѣру долготерпѣія нашего Великаго Государя, который нынѣ на возстановленіе попранныхъ правъ вашей отчизны вложилъ мечъ въ руки Своего Августѣйшаго брата.

«Да воскреснетъ Богъ и да расточатся врази Его», писали мы на вашемъ знамени, когда не знали еще: суждено ли этому знамени виться надъ вами,—но чего жаждало наше сердце. И вотъ—оно вѣтается! Часть воскресенія наступаетъ!

«Идите же подъ сѣнью этого знамени. Пусть будетъ оно

залогомъ любви къ вамъ Россіи и ея могучаго Отца. Пусть передъ этимъ знаменемъ, какъ передъ лицемъ воскресшаго Бога расточатся вѣковѣчные врази ваши. Пусть оно будетъ знаменемъ водворенія въ вашей многострадальной странѣ на всегда: мира, тишины и просвѣщенія!

«Пусть знамя это останется вашимъ потомкамъ памятью, что Императора Александра II вашъ народъ долженъ во вѣки звать такъ же, какъ мы его зовемъ: Царь Освободитель.

---

Третьяго дня, въ ночь съ 8 на 9, наши войска заняли Ольтеницу и смынили стоящія здѣсь румынскія. Наши батареи заняли позиціи на берегу. Эта смына батарей произошла чрезвычайно быстро, въ виду у турокъ, которые почему-то не воспользовались удобнымъ для нихъ моментомъ и не пустили ни одного снаряда. Всѣ главнѣйшія выгоды и преимущества боевыхъ позицій между Ольтеницею и Туруткаемъ, конечно, въ пользу турокъ. Занимаемый нами берегъ, отъ самыхъ крайнихъ домиковъ Ольтеницы, разстилается широкою, низменною полосою, не прикрытой даже никакою растительностью; только у самой воды тянутся низкія заросли, сгущаясь вправо у впаденія Аржиса. Позиція наша опирается правымъ флангомъ на этотъ Аржисъ и совершенно обеспечена отсюда, какъ розливомъ самого притока, такъ и лежащимъ за нимъ большимъ воднымъ затокамъ, образовавшимся отъ половодья, влѣво видно тоже что-то въ родѣ селенъя и высокая башня,—это карантинъ. Въ прошлую компанию турки перешли сами на румынскій берегъ, заняли карантинъ, и на его болотистыхъ окрестинахъ дали намъ бой, гдѣ не мало пострадали наши якутскій и селенгинскій полки, недостигнувъ никакихъ результатовъ. Наши батареи, какъ я уже сказалъ, расположены на самомъ берегу, войска прикрыты самимъ городомъ и стоять вѣнѣ выстрѣловъ. Инженерная работа на батареяхъ окончена и орудія хорошо замаскированы. По ту сторону Дуная берегъ поднимается круто и довольно высоко, скаты его покрыты деревьями и кустарниками; нѣсколько правѣе, т. е. выше, въ небольшой сѣдовинѣ видны между зеленью красныя черепичныя крыши Туруткая, его двѣ-три мечети и колокольня православной церкви; надъ этими, на самомъ гребнѣ, бѣльютъ ряды пала-

токъ турецкаго лагеря, подальше немного еще видны палатки и тянется съроватая полоска бруствера турецкой батареи. Кромѣ того, нѣсколько ниже, уступомъ видна еще насыпь; къ батареямъ, отъ города наискось, пересѣкая береговой скатъ, идетъ дорога; въ бинокль вы можете ясно различить по ней движеніе и даже отдѣльныя группы... Перестрѣлка, и довольно жаркая въ то время, когда стояли румыны, стоявшая этимъ послѣднимъ, какъ вамъ извѣстно, нѣкоторыхъ жертвъ, въ настоящее время, съ русскимъ занятіемъ позицій, поддерживается самая незначительная. Наши орудія отвѣчаютъ иногда на задиранія турокъ, чаще же хранятъ молчаніе,—не стоитъ молѣ пока тратить зарядовъ. Развѣ только, когда замѣтять гдѣ-либо скопленіе войскъ или рабочихъ на брустверахъ, тогда посылаются двѣ-три гранаты и этого оказывается совершенно достаточно, чтобы помѣшать работѣ и на нѣсколько часовъ разогнать рабочихъ. Вотъ уже три дня, какъ мы занимаемъ ольтеницкія позиціи и до сихъ поръ еще не понесли никакой потери, чего, впрочемъ, нельзя сказать относительно турокъ. Нѣсколько нашихъ гранатъ лопнуло чрезвычайно удачно на самомъ брустверѣ. Часть тому назадъ, на моихъ глазахъ, одна ударила какъ разъ посреди довольно густой толпы рабочихъ, разорвалась и... я видѣлъ, какъ отъ мѣста катастрофы бѣжали во всѣ стороны турки и прятались въ ложементахъ; офицеры увѣряли меня, что есть и оставшиеся на мѣстѣ, что они даже видѣть тѣла, я, признаюсь, этого разсмотрѣть не могъ, но готовъ имъ вѣрить съ величайшимъ удовольствіемъ.

Ольтеница очень хорошенький, чистенький такой городъ, чрезвычайно просторно выстроенный, раздѣленный громадными зелеными площадями, служащими вмѣстѣ и пастибщами для скота; вокругъ низенькихъ, одноэтажныхъ домиковъ, крытыхъ серебристою жестью, раскинулись красивыя группы садиковъ; посреди города православная церковь, единственная, очень оригинальной архитектуры, около церкви тоже густой тѣнистый садъ и въ этомъ саду подъ старыми тополями видѣнъ насыпной холмъ и на немъ большая мраморная плита съ надписью: «Павши въ сраженіи съ турками подъ с. Ольтеницею 23 окт. 1853 г. нижніе чины полковъ селингинскаго и якутскаго, пѣхотныхъ, 2 артиллерийской бригады батарей, батарейной № 2-го и легкой № 5-й—«прійдетъ часъ въ онъже всѣ сущіе

во гробъхъ услышать гласъ Сына Божія и услышавши оживутъ». Въ головахъ у этой плиты видѣнъ другой памятникъ, повыше съ начертанными на немъ именами нашихъ офицеровъ: Жаворонкова, Прохоровича, Зиненка и Орѣхова—все это жертвы неудачной попытки атаковать карантинъ 27 лѣтъ тому назадъ.

Здѣсь у этихъ памятниковъ почти ежеминутно вы можете видѣть группы нашихъ солдатъ и казаковъ, а посреди ихъ одного грамотѣя, вслухъ читающаго надписи—люди благоговѣйно крестятся и цѣляются крестъ, высѣченный въ заголовкѣ надписей. На-дняхъ собираются у павшихъ героеvъ по всей формѣ, чтобы отслужить здѣсь панихиду.

Когда я подходилъ къ Ольтеницѣ, меня поразили пустыя, безлюдныя улицы города, запертыя ставни оконъ и дверей, отсутствіе всякаго движенія внутри домовъ и на дворахъ, и опустѣлые навѣсы сараевъ. Сперва я думалъ, что всѣ еще спятъ (было довольно рано, часовъ 5 утра), но вотъ солнце поднялось выше, стало даже сильно пригрѣвать; давнымъ-давно ожили русскіе бивуаки, а городъ все еще былъ тихъ и безлюденъ... Оказалось, что почти всѣ жители уже двѣ недѣли тому назадъ выбрались отсюда въ окрестности, болѣе покойныя и удаленныя отъ боевыхъ опасностей, оставивъ свои жилища подъ охрану замковъ и запоровъ, въ городѣ осталась открытою только единственная, довольно, впрочемъ, сносная гостиница и небольшой ресторанъ, гдѣ можно порядочно пообѣдать.

Войска наши стоятъ лагеремъ, по правую и по лѣвую сторону ведущей въ городъ дороги, и расположены на просторныхъ площадяхъ. Здѣсь царствуетъ самый строгій, чисто боевой порядокъ—всюду видны часовые и группы отдѣльныхъ карауловъ, по берегу и его окрестностямъ ведутся постоянные разыѣзы, казачьи аванпости выставлены далеко вправо по Аржису и влѣво, внизъ по теченію Дуная, за карантиномъ. Все, что только можетъ служить орудіемъ переправы, каждый крохотный рабочій членокъ, все забрано, причалено къ берегу и тщательно охраняется; а на томъ берегу, у пристани Туркукая видны какія-то большія лодки, увѣряютъ, что тамъ есть и мониторы, но не думаю; тѣ двѣ канонирки, что стрѣляли по румынскимъ батареямъ, ушли въ Силистрію, а больше не должно быть здѣсь военныхъ судовъ, кроме развѣ транспортныхъ барокъ... Насколько можно наблюдать въ сильныя зрительныя

трубы, въ Туруткаѣ тоже пусто, и кромѣ движенія военнаго, частной жизни почти не замѣтно. Вчера дошло извѣстіе съ того берега весьма печального свойства: говорятъ, что турки просто на просто дорѣзали туртукайскихъ болгаръ; источники этихъ слуховъ, впрочемъ, весьма сомнительного свойства. Въ турецкій лагерь подъ Туруткаемъ прибыло на-дняхъ два табора мутегафиза, народнаго ополченія—кавалеріи у турокъ здѣсь почти нѣтъ. Дунай, начавшій было входить въ свои нормальные берега, сегодня что-то пріостановился, даже снова прибылъ немножко. Причиною тому трехсугуточные дожди, лившіе все это время почти безъ промежутковъ. Состояніе здоровья войскъ превосходно. Наши вновь устроенные госпитали первой линіи почти пусты и докторамъ пока остается только организаторская и хозяйственная работа; хлѣбъ войска получаютъ свѣжій, пшеничный, сухарные запасы берегутся для перехода на тотъ берегъ, желаннаго перехода, котораго наши—и солдаты и офицеры, и большие и малые, ждутъ не дождутся съ самыми лихорадочными неперпѣніемъ...

Главная тайна нашего штаба до сихъ поръ еще задернута самымъ непроницаемымъ покровомъ, но уже въ воздухѣ чуетсѧ близость чего-то рѣшительного. Можетъ быть въ ту минуту, когда вы получите это письмо, мнѣ придется описывать вамъ эпизоды переправы и боя на томъ берегу, который мы пока еще разсматриваемъ въ стекло бинокля.

#### XIV.

Поѣздъ, идущій изъ Бухареста къ Краiovѣ и Турнѣ-Северину отходитъ рано утромъ. Къ часу отхода я и мои два спутника, тоже корреспонденты, условились собраться въ бухарестскомъ вокзалѣ, чтобы совершить эту поѣздку вмѣстѣ. Въ этотъ же день отсюда выступалъ главный санитарный отрядъ румынской арміи, я видѣлъ его выступленіе, когда ѿхалъ уже на нашъ сборный пунктъ и принужденъ былъ терпѣливо пережидать, пока не пройдутъ послѣдніе его ряды, вслѣдствіе чего чуть было не запоздалъ къ отходу поѣзда. Отрядъ выступалъ чрезвычайно торжественно, въ строгомъ порядкѣ, напоминаявшемъ, впрочемъ, процесіи оперныхъ и балетныхъ армій по-

сдѣлъ, изъ-за одной кулисы въ другую, недоставало только зрителей, потому что весь Бухарестъ еще спалъ, зеленые жалюзи на окнахъ были опущены, балконы заперты и, вѣчно оживленная суетливая главная улица была въ настоящую минуту пуста и безлюдна. Процессію начинала хоръ трубачей изъ шести человѣкъ, за ними рота пѣхотинцевъ съ ружьями. Тяжелые рашцы, мѣшки съ трехдневнымъ провиантомъ, зачасная обувь, разобраныя части пѣлатокъ, фляги съ водою, все это составляло грузъ довольно изрядный, немного развѣ менѣе того, что носитъ на себѣ нашъ солдатъ. Такой грузъ вѣроятно не всѣмъ былъ по силамъ, потому что я замѣтилъ какъ большинство румынскихъ воиновъ пожимало на ходу плечами, сгибалось напередъ, поддерживая даже свою исчу свободнымъ локтемъ. За этимъ отрядомъ «прикрытиемъ» верхомъ на тощихъ лошадкахъ позировали два всадника въ докторскихъ мундирахъ, а около нихъ справа и слѣва шли фельдшера, съ кожанными сумками черезъ плечо и съ цѣлыми аптечками въ широкихъ кожаныхъ поясахъ, затѣмъ отрядъ санитаровъ-носильщиковъ, вместо ранцевъ у нихъ были за спинами, свернутыя полотница и рамки задниковъ носилокъ; длиныя палки этихъ носилокъ санитары держали въ рукахъ, на плечѣ, какъ ружья... Надъ отрядомъ развивалось бѣлое знамя съ краснымъ, прямоугольнымъ крестомъ, крестъ этотъ красовался и на камдомъ кепи и на рукавахъ вѣхъ чиновъ отряда. За отрядомъ носильщиковъ катились по два въ рядъ парные фургоны, на двухъ колесахъ; Фургонъ такой можетъ вмѣщать очень удобно до шести человѣкъ раненыхъ. Эти экипажи предназначаются для вывоза раненыхъ прямо изъ огня боя, а потому и приспособлены для движенія не только по дурнымъ дорогамъ, но и безъ дорогъ вовсе; за фургонами чрезвычайно оригинальны на видъ отрядъ носильщиковъ, или правильнѣе, возильщиковъ съ колесными креслами-постелями; это очень удобная перевозная постель для раненаго: между двухъ колесъ укрѣплено кресло съ откидывающейся спинкою и вытягивающейся горизонтально подножкою, kleенчатый верхъ на подобіе верха коляской и кожаный фартукъ защищаетъ больного отъ дождя и солнца. Кресло-носилки очень легко и одинъ солдатъ везетъ его свободно. По крайней мѣрѣ въ данную минуту по гладкой мостовой улицы я не замѣтилъ въ людяхъ, запражненныхъ въ

такія кресла, особенного напряженія. За возильщиками опять группа докторовъ верхомъ, фельдшеровъ пѣшкомъ, и за ними длинный поѣздъ лазаретныхъ каретъ, уже четырехколесныхъ, запряженныхъ четверками. Эти кареты устроены также, какъ и наши лазаретные фургоны, каждая на двѣнадцать кроватей, расположенныхъ въ два яруса; койки подвѣшены на ремняхъ, снабжены эластичными матрасами, между койками свободный проходъ, дающій возможность доктору, даже во время движения, подойти къ каждому больному, при каждой каретѣ фельдшеръ и два служителя, резервуаръ съ водою и ящикъ съ перевязочными и аптечными инструментами... Въводъ деробанцевъ въ бараныхъ шапкахъ и нѣсколько кавалеристовъ замыкали шествіе отряда, за первымъ начинался второй, такого же точно состава, за нимъ третій — всего четыре, численностью до трехсотъ человѣкъ каждый. Выступавшій изъ Бухареста отрядъ сформированъ только на-дняхъ, какъ дополненіе къ тѣмъ санитарнымъ средствамъ и медицинскому персоналу, который уже находится при каждой отдельной части войскъ. Вообще надо отдать справедливость румынамъ, они, въ этомъ отношеніи, въ короткое время успѣли сдѣлать довольно многое, какъ относительно постановки на военную ногу своей шестидесяти-тысячной арміи, такъ и по снабженію ея всѣмъ необходимымъ въ военное время. Пропустивъ отрядъ, занеся что нужно въ свой альбомъ, я поспѣшилъ на станцію, да и было пора: второй звонокъ дребезжалъ подъ сводами дебаркадера, когда я подошелъ къ окошку кассы. Здѣсь меня ожидало извѣстіе не совсѣмъ пріятное для путешественника. Мостъ между Слатиною и Пыатроу обрушился паканунѣ ночью, билеты по сему случаю выдаются только до Слатины, промежутокъ же оттуда до Пыатры надо проѣхать въ экипажѣ. Поѣзда къ Пыатрѣ дожидаться не могутъ, прямое сообщеніе съ Краіовой значитъ прервано и вместо того чтобы быть тамъ, т. е. въ Краіовѣ въ 3 часа пополудни, врядъ-ли удастся попасть туда къ ночи, а то такъ и завтра утромъ. Дѣлать нечего, приходится подчиниться обстоятельствамъ; я и мои два спутника, корреспондентъ-рисовальщикъ Ф. и простой корреспондентъ Н. Д., взяли билеты только до Слатины. Насъ утѣшало еще то обстоятельство, что всякою остановкою, даже непредвидѣнною, можно воспользоваться съ выгодою, кстати посмотримъ что такое за

Слатина, о мѣстоположеніи которой намъ паговорили не мало чудесъ. Посмотримъ.

Дорога между Бухарестомъ и Слатиною сперва тянется по мѣстности ровной, довольно однообразной, только вдали синѣеть гряда Карпатскихъ горъ, мало-по-малу, по мѣрѣ приближенія выясняющихся все болѣе и болѣе. Вся эта мѣстность занята теперь нашими войсками, здѣсь расположены правый флангъ нашей арміи, за Слатиною къ нему примыкаетъ лѣвый флангъ румынской, занимающей узкую полосу Малой Валахіи и дунайское прибрежье, отъ Журжева выше до Калафата и австрійской границы. На всѣхъ станціяхъ учреждены наши военныя комендантства, на линіи рельсовъ на небольшомъ разстояніи поставлены небольшіе надежные караулы изъ трехъ, четырехъ солдатъ, обязанныхъ стеречь путь. Бѣлые палаточки такихъ карауловъ разбиты у самаго полотна дороги и строенія, молчаливые фигуры часовыхъ на каждой дорогѣ напоминаютъ путешественнику о военномъ времени и положеніи края.

Съ каждою станціею мѣстность становится разнообразнѣй и разнообразнѣй, изъ-за синихъ, покрытыхъ лѣсомъ южныхъ склоновъ Карпатскихъ горъ блеснули снѣжныя вершины главнаго гребня, тучныя пашни подступали вплотную къ дорогѣ— на нихъ кипѣла оживленная весенняя работа, виноградники на скатахъ холмовъ уже зазеленѣлись, обитая жестью колокольни церквей сверкали на солнцѣ, между селеніями извивались проселочные дороги, гладкія, ровныя, окопанныя каналами, часто даже обсаженные деревьями. Довольствомъ и порядочностью дышитъ этотъ край. Представительное правленіе страны, несмотря даже на недобросовѣстное, блещущее отсутствіемъ патріотизма и преслѣдованіемъ своихъ личныхъ цѣлей, отношение румынского барства къ дѣлу народа, выработало въ нѣкоторой степени въ этомъ народѣ духъ самоуваженія, чувство достоинства и вниманіе къ общественному долгу и праву, а это уже очень много...

---

Часа въ 2 пополудни мы прибыли въ Слатину. Городокъ этотъ въ высшей степени живописенъ, онъ расположенъ въ узкихъ котловинахъ между трехъ возвышеностей: съ вершины одной изъ нихъ видѣнъ какъ на ладони весь городъ, вы мо-

жете прослѣдить отсюда каждый изгибъ его улицъ, пересчитавъ всѣ его домики.

По ту сторону города, за крутой горою, на гребнѣ которой видны недавно устроенные батареи, разстилается прелестная зеленѣющая лѣсами долина р. Ольты. Серебряною лентою извивается рѣка по этой долинѣ, словно зеркало сверкаютъ ея безчисленные затоны образовывающіеся отъ весеннаго розлива водь. Внизу, у берега, живописно раскинулся большой румынскій лагерь, а по эту сторону, на лугу, около станціи желѣзной дороги, тянутся длинныя коновязи нашихъ кавалеристовъ, вагенбурги артиллерійскихъ и абозныхъ парковъ и бывшія колонны солдатскихъ палатокъ. По дорогамъ къ рѣкѣ, поднимая густыя облака пыли, тянутся эскадроны на водопой; и съ водопоя; лошади съты и не потеряли тѣла, несмотря на тяжелый походъ и дурное качество румынского сѣна, — люди смотрятъ положительно молодцами, веселы и всюду вы слышите знакомый, родной напѣтъ солдатскихъ пѣсенъ. Въ румынскомъ лагерѣ, наоборотъ, все тихо и какъ будто даже нѣсколько скучновато — этой беззаботной веселости, свойственной нашему солдату, здѣсь нѣтъ и въ поминѣ; солдатъ-румынъ имѣеть видъ нѣсколько меланхоличный, воинственная выпрѣвка и даже нѣкоторая лихость замѣтна только въ рядахъ ихъ стрѣлковыхъ батальоновъ, это положительно превосходныя войска, одаренные всеми нужными для дѣла боевыми качествами. Мы провели въ Слатинѣ около часа времени, наняли коляску въ Пыатру (стрѣль 12) и поѣхали, захвативъ съ собою еще четвертаго попутчика, обязательного и веселаго бельгійца инженера. Пробравшись по отвратительной мостовой черезъ весь городъ, улицы которого положительно кишѣли всякимъ военнымъ людомъ и русскимъ, и румынскимъ, мы выбрались къ Ольтѣ, проѣхали превосходный желѣзный мостъ на старомъ шоссѣ и свернули направлѣкъ, проселкомъ. Черезъ часть мы были въ Пыатрѣ; испорченный желѣзодорожный мостъ находится около этой станціи; съ дороги мы видѣли его обрушившуюся арку и нѣсколько разбитыхъ товарныхъ вагоновъ, лежавшихъ падѣи оврага, а на его скатахъ, у мѣста катастрофы, копошился народъ, разбирающій обломки и рота военныхъ рабочихъ, занятыхъ возстановленіемъ разрушенаго; работы много и, говорять, что дай Богъ въ двѣ недѣли исправить повре-

жденія и возстановить сообщеніе между разъединенными пунктами.

Въ Пятрѣ намъ объявили, что слѣдующій пассажирскій поѣздъ идетъ только завтра, въ 12 часовъ дня; положеніе пренепріятное, но, къ счастію, мы замѣтили товарные поѣзды, готовый къ отходу,—отправились вести переговоры съ начальникомъ станціи. Поѣздъ оказался съ живымъ товаромъ, везли воловъ въ Країову для продовольствія арміи. Начальникъ станціи объявилъ намъ, что одинъ изъ вагоновъ почти свободенъ, въ немъ только два вола и если мы хотимъ воспользоваться мѣстомъ, то можемъ отправиться хоть сейчасъ же. Понятно, что мы не раздумывали ни одной минуты и поспѣшили занять это свободное мѣсто; въ одной половинѣ вагона стояли два крупныхъ, крутогорихъ вола, въ другой расположились мы всѣ четверо, кондукторъ и два кавалериста калараша, конвоирующіе гуртъ. Широкія ворота вагона были отворены настежь, мы расположились очень комфорtabельно, па разостланныхъ на полу пледахъ и тронулись. Вся эта обстановка была очень оригинальна, забавляла насъ отъ души и конечно закесена въ наши альбомы; бельгіецъ-инженеръ остріль всю дорогу, сопѣтуя намъ между прочимъ не курить, не испросивъ позволенія у нашихъ рогатыхъ спутниковъ, тѣмъ болѣе, что вагонъ этотъ во всякомъ случаѣ «не для курящихъ». Поѣздъ торопился на мѣсто, а потомъ шелъ очень скоро и мало останавливался на промежуточныхъ станціяхъ, мы прибыли въ Країово еще засвѣтло. Країова — это очень большой и многолюдный городъ, столица дистрикта, одинъ изъ древнѣйшихъ городовъ страны. Во всѣ войны наши съ Турцией городъ этотъ находился вѣчно подъ страхомъ турецкаго нашествія. Турки всегда успѣвали занять нѣсколько пунктовъ на томъ берегу и уже непремѣнно Калафатъ, безъ котораго, собственно говоря, немыслима защита Видина, лежащаго хотя и на другомъ берегу, но значительно ниже подъ выстрѣлами калафатскихъ батарей.

На этотъ разъ турки, вслѣдствіе ли своей слабости, или полной бездарности людей, стоявшихъ во главѣ, надѣлали не мало важныхъ, стратегическихъ ошибокъ, крупнѣйшая изъ нихъ между прочимъ оставленіе Калафата въ рукахъ румынъ. Тѣмъ не менѣе, въ первые дни послѣ объявленія войны, когда румынская армія, занимавшая Калафатъ, была еще слаба,

країовцы сильно побаивались вторженія турокъ и заблаговременно очистили городъ, по затѣмъ все успокоилось, пришло въ порядокъ и країовская мирная жизнь течеть по прежнему покойно и тихо, почти не отражая въ себѣ волненій военнаго времени. Здѣсь даже не стоять войска и городъ поражаетъ вѣсъ отсутствиемъ военнаго элемента. Всѣ войска стянулись на береговой полосѣ, вправо и влѣво отъ Калафата, отстоящаго отъ Країовы верстъ на восемдесѧть; здѣсь пѣтъ вѣти желѣзной дороги, но зато тѣкется превосходное шоссе и установлены ежедневные рейсы почтовыхъ повозокъ и большихъ diligансовъ. Переночевавъ въ Країовѣ, мы на другой день, рано утромъ, выбрались изъ города, нанявъ за 100 франковъ туда и обратно, прекрасную коляску и четверку тощихъ, еле передвигающихъ ноги клячъ. Нашъ возница находилъ тужными останавливаться черезъ каждыя десять верстъ, гдѣ бы ни пришлось, хотя бы посреди поля — эти остановки были очень систематичны и однообразны. — Ну, что? — спрашивалъ кто-нибудь изъ насъ, когда коляска неожиданно останавливалась. «Надо освѣжить лошадей», — отвѣчалъ обыкновенно возница. Процессъ освѣженія заключался въ томъ, что клячамъ противѣли ноздри, тянули ихъ зачѣмъ-то за уши, потомъ въ другую сторону за хвостъ, затѣмъ возница отходилъ въ сторону, свертывалъ себѣ папироску, докуривалъ ее медленно не безъ наслажденія и, осмотрѣвъ упряжку, снова лѣзъ на козлы. Кроме этихъ остановокъ мы имѣли еще три болѣе продолжительныхъ отдыха въ деревняхъ, около кабачковъ и кофеенъ. Всю дорогу намъ навстрѣчу и обгоняя насъ неслись коляски съ румынскими офицерами, тянулись длинные воловыи обозы съ фуражемъ и продовольствиемъ для войскъ и отряды резервистовъ. Да, положительно румынскіе солдаты не любятъ войны и смотрѣть на нее, какъ на неизбѣжное бѣдствіе, ниспосланное на нихъ провидѣнiemъ; даже больные, возвращавшіеся въ фургонахъ изъ арміи, въ отдаленные лазареты, смотрѣть веселѣй, чѣмъ эти резервисты, медленно бредущіе по боковымъ тропинкамъ, проложеннымъ около шоссе, гдѣ грунтъ помягче. Впрочемъ, судя по отзывамъ и по тому, что мнѣ приходилось видѣть лично, румынскіе солдаты прекрасно дисциплинированы, послушны, добросовѣстно исполняютъ свой долгъ и подъ выстрелами держатъ себя молодцами.

Для молодой арміи, никогда еще небывалой въ огнѣ, не имѣющей даже никакихъ военныхъ преданій, арміи, сформированной въ очень еще недавнее и короткое время, больше нельзя и требовать.—Между прочимъ эта юная армія имѣть еще и другое, весьма не маловажное достоинство—это необыкновенная трезвость. Пьяный солдатъ—явление въ румынскихъ рядахъ совершенно немыслимое. Впрочемъ, это уже свойство самого народа. Мы проѣзжали между Краивой и Калатомъ въ большой праздникъ, въ Духовъ день... Народъ не работалъ и группировался на улицахъ и около кофеенъ и я не видѣлъ ни одного подгулявшаго, несмотря даже на крайнюю дешевизну вина и на то, что у рѣдкаго хозяина нѣтъ этого вина собственнаго. Кромѣ того васъ поражаетъ необыкновенная любезность и вѣжливость другъ къ другу, относительно чужихъ пріѣзжающихъ. Вамъ стоитъ только вынуть папироску, какъ десятки рукъ протягиваются вамъ зажженныя спички или трутъ. Васъ всегда привѣтствуютъ снятіемъ шляпы и поклономъ. Даже женщины, сидящія группами въ тѣни своихъ хатъ, поднимаются при проѣздѣ экипажа. Нишихъ тоже нигдѣ не видно, въ деревняхъ впрочемъ, въ городахъ же, особенно въ Бухарестѣ, они появляются уже въ изрядномъ количествѣ.

Со второй половины дороги—мѣстность измѣняется сильно, а съ нею и характеръ деревень и типы построекъ. Этихъ маленькихъ хуторковъ и селеній, живописно разбросанныхъ по скатамъ горъ, окруженнныхъ садами и лѣсомъ, здѣсь уже нѣтъ; селенія сгруппированы вмѣстѣ, занимая большія пространства; они расположены гораздо рѣже, съ большими промежутками, какъ въ нашихъ степныхъ губерніяхъ; кругомъ разстилается необозримая равнина, и только впереди синѣтъ полоса далекаго противоположнаго берега Дуная, а за нею чуть обозначаются вершины Балканскихъ горъ. Подъѣзжая къ Калатату, вы можете уже различить главныя горныя группы, лежащія верстахъ въ ста и даже болѣе отъ Виддина. Недостатокъ лѣса и его чудовищная дороговизна выработала совершенно особый типъ здѣшнихъ мѣстныхъ построекъ—это большія земляшки съ печью, широкимъ покатымъ, защищеннымъ крышею выходомъ и окнами, выглядывающими словно амбразуры батареи. На поверхности земли возвышается только крыша

и печная труба; болѣе возвышенными постройками являются только сараи для кукурузы: это просто на просто гигантскія плетеные изъ хвороста корзины на столбахъ; полъ этихъ сараевъ тоже плетеный и воздухъ, проходя снизу, просушиваетъ зерно и не даетъ ему сырѣть и пускать отростокъ. На крышахъ этихъ сараевъ вы непремѣнно увидите косматое гнѣздо аиста и самую птицу, неподвижно стоящую на одной ногѣ, словно орнаментъ какой-нибудь, а не живое существо. На всякомъ высокомъ пункте, на колокольняхъ, даже на гробообразныхъ крышкахъ могильныхъ крестовъ нальплены такія гнѣзда. Видя въ человѣкѣ не врага, а только друга и доброго сосѣда, эта полезная птица гнѣздится рядомъ съ нимъ, въ высшей степени довѣрчиво относясь къ своему сосѣду. Надо полагать, что аистамъ никогда не приходилось раскаиваться въ своемъ довѣріи. Съ громаднаго селенія «Галиче—маре», лежащаго верстахъ въ двадцати отъ Калафата, уже начинаются снова признаки военного времени. Здѣсь расположена часть второй линіи румынскай арміи, у входовъ селенія пѣши караулы, по дорогамъ, въ сторонѣ, видны разѣзы кавалеристовъ.

Князь Карлъ румынскій, наканунѣ нашего выѣзда, поѣхалъ въ Калафатъ, навѣстить свою армію; слѣды его проѣзда остались на заставахъ городовъ и деревень, въ видѣ увядшихъ тріумфальныхъ арокъ изъ вѣтвей и кое-гдѣ и полевыхъ цвѣтовъ. Мы разсчитывали застать князя еще въ Калафатѣ, но подъѣзжая узнали, что онъ уже выѣхалъ оттуда и отправился вверхъ по берегу Дуная, для осмотра праваго фланга своей арміи. Въ день прїѣзда князя калафатскія батареи размѣнились съ виддинскими нѣсколькими выстрѣлами, но безъ всякихъ результатовъ. Вообще обѣ враждующія стороны находятся въ положеніи выжидательномъ и торопятся окончаніемъ своихъ оборонительныхъ работъ. Румыны ждутъ со стороны турокъ попытки перейти Дунай, турки ждутъ того-же со стороны румынъ, по всей вѣроятности ожиданія обѣихъ сторонъ останутся только одними ожиданіями.

Осторожность, чисто военная, боевая, не знаю какъ со стороны турокъ, но со стороны румынъ наблюдается вполнѣ-шая; мы тотчасъ же испытали ее на себѣ. Верстахъ въ трехъ не доѣзжая до Калафата мы были остановлены небольшимъ

аванпостомъ, расположеннымъ у самой дороги— начальникъ аванпоста извинился передъ нами за эту остановку, но отпустилъ насъ не иначе, какъ подъ конвоемъ коннаго калараша, который долженъ былъ провести насъ къ какому-то маюру, а уже отъ того маюра насъ проведутъ далѣе по инстанціямъ. Поѣхали къ маюру. У самой городской заставы мы свернули съ дороги влѣво и мимо развалинъ прежнихъ, когда-то грозныхъ турецкихъ укрѣплений Калафата, направились къ румынскому лагерю, палатки котораго бѣлья впереди, вытянутыя правильными рядами. Справа и слѣва вся мѣстность была изрыта, видны были явные слѣды бастіоновъ и ложементовъ, все это давно уже поросло травою, округлилось, сгладилось, кое-гдѣ впрочемъ видны еще остатки каменныхъ одеждъ брустверовъ, насыпанные барбеты прежнихъ батарей. Румынский лагерь поставленъ очень тѣсно, палатки совершенно такого-же образца, какъ и наши, только офицерскія помѣщенія блещутъ большими комфортомъ и щеголеватостью. Маюръ принялъ насъ также очень любезно, прочелъ записку начальника аванпоста и велѣлъ проводить насъ къ коменданту, живущему уже въ самомъ городѣ. Проѣздивъ съ полчаса по опустѣлымъ улицамъ Калафата, оставленного жителями, мы остановились у воротъ большого, довольно красиваго дома съ садомъ, гдѣ находилась комендантская квартира. Самаго коменданта не было дома, за нимъ тотчасъ же послали— любезность тоже не малая. Надо замѣтить, что еще въ Бухарестѣ намъ официально заявили, что въ расположениіи румынской арміи не требуется ни свидѣтельствованныхъ фотографій корреспондентовъ, ни ихъ бляхъ на рукавахъ, нуженъ только ихъ паспортъ, визированный у русскаго консула, такие паспорты были конечно съ нами. Однако на дѣлѣ оказалось, что этихъ паспортовъ мало, отъ насъ потребовали дозволеніе отъ румынскаго военнаго министра и этого-то дозвolenія у насъ не было. Коменданть однако былъ настолько внимателенъ, что не очень формализировалъ этимъ послѣднимъ обстоятельствомъ; онъ только объявилъ намъ, что не можетъ допустить насъ лично бродить по позиціямъ, гдѣ намъ угодно и что завтра утромъ онъ пришлетъ къ намъ офицера, который покажетъ намъ все, что только возможно показать. Онъ даже прибавилъ, что съ помощью этого офицера мы увидимъ несравненно болѣе, чѣмъ могли бы увидѣть

сами и что офицеру вмѣнится въ обязанность дать намъ нужные свѣдѣнія и объясненія. Чего же больше? Оставалось только поблагодарить обязательного коменданта и отправиться отыскивать себѣ ночлегъ, что вѣроятно осталось бы безъ успѣха, если бы намъ не помогъ тотъ же комендантъ, приказавъ привести насъ въ гостиницу, гдѣ хотя и не было свободныхъ комнатъ, но во всякомъ случаѣ вѣльно распорядиться обѣ нашемъ помѣщеніи.

Гостиница находится на перекрестѣ двухъ большихъ улицъ; противъ нея временной ресторанъ для офицеровъ. Когда мы пришли сюда, то залъ гостиницы и ресторанъ были биткомъ набиты посѣтителями. Офицеры тѣсною толпою окружали столы, пили, закусывали, играли въ шахматы. Увидя насъ, они ухитрились таки еще потѣсниться и удѣлили намъ мѣстечко за столомъ, гдѣ мы и поужинали, чѣмъ Богъ послалъ. Для ночлега намъ отвели небольшую, боковую комнату рядомъ съ кухнею—половина этой комнаты завалена была посудою и складомъ провизіи. Постелей не было и мы расположились на узенькомъ диванчикѣ, на составленныхъ стульяхъ и просто на плитномъ полу, сомнительной чистоты, усыпанныхъ черными, лоснящимися, бѣгающими по всѣмъ направлѣніямъ тараканами. Ночлегъ былъ куда какъ неудобенъ и мы жалѣли, что не остались переночевать въ лагерѣ, въ солдатскихъ палаткахъ, но тѣмъ не менѣе усталость взяла свое и мы, по крайней мѣрѣ я, крѣпко заснули и проснулся только часу въ пятомъ утра, когда все уже было на ногахъ и зала ресторана снова начала наполняться своими обычными, военными посѣтителями. Черезъ часъ пришелъ и офицеръ, назначенный намъ въ проводники; это былъ очень красивый, статный гусарь, высокаго роста, въ красномъ мундирѣ, съ черными шнурами. Заявивъ намъ, что онъ къ нашимъ услугамъ, онъ назвалъ свою фамилію и добавилъ, что коменданту небезинтересно видѣть насъ передъ отѣздомъ. «Вѣдь вы, вѣроятно, пойдете сегодня часа въ два пополудни?» наивно спросилъ онъ насъ, давъ понять, что въ этомъ вопросѣ, гдѣ время такъ точно опредѣлено, кроется не то что бы нѣчто въ родѣ приказапія, а такъ, отеческій совѣтъ, не послѣдователь которому съ нашей стороны было бы и невѣжливо, да и несовсѣмъ благоразумно. Времени, значить, для насъ оставалось немногого и терять его

нацрасно не слѣдовало. Мы заявили, что готовы итти на прогулку, захватили наши альбомы и записные книжки и тронулись въ путь.

Калафать расположенье довольно правильно; его прямья, параллельныя улицы ведутъ прямо къ Дунаю, прорѣзываая его крутой берегъ, другія улицы пересѣкаютъ эти подъ прямымъ угломъ, такъ что мѣста, занимаемыя самыми строенными, образуютъ правильныя четвероугольники. Мы шли по одной изъ такихъ продольныхъ улицъ, постепенно поднимаясь все выше и выше. Пройдя съ версту, мы повернули къ рѣкѣ и скоро очутились на возвышенномъ пунктѣ, съ котораго намъ на ту сторону открылась величественная панорама. Дунай съ своими отмелями, заводами, островами и разливами, за нимъ Виддинъ, его укрѣпленія, его тѣсныя, чисто турецкія улицы и тонкія колонки минаретовъ; далѣе окрестности города, лагери турецкихъ войскъ, вновь возведенный фортъ, все это было передъ нами какъ на ладони. «Это лучшій пунктъ для наблюденій», сообщилъ намъ гусаръ,—но къ самому берегу, гдѣ идуть наши работы, я бы васъ просилъ не подходить»... Мы поспѣшили всоружиться биноклями. На наше счастье утро было превосходное, воздухъ прозраченъ и въ стекла бинокля можно было разсмотрѣть всѣ детали, даже отдѣльныя фигуры.

Самый Виддинъ расположень на низменномъ берегу; со стороны Дуная его защищаютъ старыя каменные крѣпостныя стѣны, цитаделью которыхъ служитъ древній болгарскій замокъ съ четыреугольными башнями и бойницами; за этими стѣнами видна сплошная масса полуплоскихъ крышъ, между которыми тянутся темныя щели узкихъ улицъ. Группа садовъ пестритъ городъ и сплошною зеленою массою окружаетъ его почти со всѣхъ сторонъ, бѣлые минареты отчетливо выдѣляются въ массахъ зелени, или на синеватомъ фонѣ далѣкихъ горъ, крытыя жесткою конической крыши этихъ минаретовъ сверкаютъ на солнцѣ точно зажженныя факелы. Вправо отъ города, на небольшомъ возвышеніи, видна темная тяжелая масса большого форта, глядящаго на рѣку рядомъ своихъ глубокихъ амбразуръ; между этимъ отдельно стоящимъ фортомъ и ближайшими пунктами главной крѣпости, тянется защищенный брустверомъ ходъ, тамъ кипитъ самая дѣятельная работа,

тысячи солдатъ копошатся, поднимая насыпь, нѣсколько колоннъ пѣхоты стоять подъ ружьемъ; у самой рѣки кавалерійскій бивуакъ и опять батарея, защищающая мѣсто водопоя. За крытымъ ходомъ нѣсколько даже видѣнъ громадный лагерь, весь установленный коническими палатками; одна палатка въ центрѣ громадныхъ размѣровъ—это помѣщеніе главнокомандующаго. За городомъ на горахъ видны еще два лагеря, тоже очень большихъ; но странно, тамъ положительно нѣть ни одного живого существа, не видать даже ни одного часового; румынъ-офицеръ, нашъ путеводитель, уверяетъ, что они давно уже и постепенно замѣ чаютъ то же явленіе, изъ чего заключаютъ, что это лагерь-декорациѣ, расположенный ради страха румынамъ, но что въ сущности турки только занимаютъ нижніе лагери у форта и частью стоять въ городѣ, и что во всемъ Виддинѣ едва ли наберется болѣе 20-ти тысячъ войскъ. Очень можетъ быть; страсть турокъ и вообще азіатовъ мистифицировать врага количествомъ палатокъ и огнемъ по ночамъ давно известна; они продѣльвали эти штуки и въ прежнія войны и даже въ прошедшемъ году въ Сербіи. Румынскія позиціи сильно господствуютъ надъ турецкими; они состоятъ изъ ряда батарей, расположенныхъ на высотахъ и взаимно фланкирующихъ одна другую. Глядя на эти позиціи, я понялъ, что Виддинъ безъ Калафата ровно ничего не стоитъ и если румыны выжидаютъ, то только потому, что ихъ работы еще не готовы и тяжелыя орудія не всѣ еще поставлены на свои мѣста. Сильная канонада съ этого берега можетъ въ одинъ день превратить весь Виддинъ съ его фортами въ груду развалинъ. Надо замѣтить, что изо всѣхъ турецкихъ крѣпостей, только Виддинъ никогда еще не былъ взятъ. Турки называютъ его крѣпостью, сохранившей свою дѣвственность. Надо надѣяться, что теперь скоро приѣдетъ и его очередь нападенія. Румынскіе артиллеристы, по крайней мѣрѣ, убѣждены въ этомъ и ждутъ не дождутся, скоро ли имъ приказано будетъ действовать какъ слѣдуетъ.

Налюбовавшись вдоволь разстилавшейся передъ нами картиной, набросивъ ее въ альбомъ и въ общемъ видѣ и въ деталяхъ, сдѣлавъ нужные замѣтки, мы должны были вернуться въ городъ, да и было пора: у насъ едва осталось время наскоро пообѣдать, чтобы выѣхать въ предполагаемый

командантомъ часть отъѣзда. На другой день къ вечеру мы вернулись въ Бухарестъ и я тотчасъ же сѣлъ за приведеніе моихъ замѣтокъ въ порядокъ.

## XV.

Желѣзнодорожная станція въ Плоештахъ въ этотъ день представляла собою зрѣлище чрезвычайно оживленное и оригинальное. Императорскій поѣздъ съ Августѣйшимъ путешественникомъ долженъ былъ сегодня на разсвѣтѣ прибыть въ Барабошъ, оттуда въ Браиловъ и къ восьми часамъ вечера быть здѣсь въ Плоештахъ. Съ ранняго утра къ станціи въ Плоештахъ прибыли десятки возовъ съ флагами, гирляндами, щитами, всякими декоративными приспособленіями, и къ обѣду все уже было окончено, убрано, приложено и приняло видъ весьма парадный, отчасти даже величественный. Когда я шелъ пѣшкомъ, такъ какъ еще наканунѣ всѣ извозчики экипажи были разобраны за большія неслыханныя деньги, пробравшись по этимъ узкимъ пыльнымъ, дурноющими улицамъ, подошелъ къ станціи, тамъ уже собрался весь персоналъ встрѣчающихъ. Низкое, сараеобразное зданіе станціи было положительно скрыто отъ глазъ зрителя подъ массою флаговъ, развѣвающихся и рядами на высокихъ мачтахъ, и букетами изъ нѣсколькихъ вмѣстѣ, и цѣльными гирляндами изъ матерій цвѣтовъ русскихъ, т. е. черныхъ, желтыхъ и бѣлыхъ, и румынскихъ: синихъ, желтыхъ и красныхъ; изъ оконъ вывѣшены были пестрые ковры, куски матерій, гирлянды цвѣтовъ, и даже живыхъ, превосходныхъ розъ и лилій...

На длинной низкой платформѣ у рельсовыхъ путей, куда народъ «en masse» не пускали, расположились живыми группами наши офицеры, большие и малые по чинамъ, румынскія власти, почетные иностранцы въ лицѣ военныхъ агентовъ, состоящихъ при нашей главной квартирѣ, черные кучки депутатовъ въ цилиндрахъ и бѣлыхъ галстукахъ, сверкающая золотомъ и серебромъ ризы духовенства, весьма немногое кое-гдѣ только мелькающихъ въ толпѣ, и то на заднемъ ея планѣ граціозныхъ дамскихъ фігурокъ и наша братья, скромные корреспонденты отечественной и иностранной прессы, разсыпавшіеся по всему протяженію толпы, съ торчащими изъ боковъ

выхъ кармановъ записными книжечками альбомами. Замелькали голубые мундиры нашихъ российскихъ жандармовъ въ одиночку, ослышалось знакомое: «господа, позвольте просить осадить назадъ!...» Изъ-за забора, тамъ, гдѣ толпа была проще, вторя этому вѣжливому приглашенню раздалось еще болѣе знакомое родное: «осади назадъ, чертова голова, честью тебя, анафему, просять!...» Корреспондентъ «Фигаро», де-Вестинъ, чутко прислушивается и заносить въ свою книжечку слово «анастема», а около ставить вопросительный знакъ; осведомлюсь, моль, о значеніи послѣ.

Человѣкъ съ десятокъ донцевъ верхомъ на гнѣдинькихъ, степныхъ лошадкахъ, появились между запасными вагонами и вытянулись цѣпью, взявъ пики наперевѣстъ. Рисовальщики «Illustrat. universelle» и разныхъ нѣмецкихъ изданій съ картинками ринулись въ атаку на этихъ донцевъ, но не доходя нѣсколько пріостановились и стали ихъ торопливо набрасывать въ альбомы, озираясь, нѣть ли еще гдѣ пищи, поинтереснѣе... За толпою русскихъ офицеровъ, поперекъ платформы, тянется широкій коверь, изображая собою дорожку между пунктомъ, гдѣ долженъ остановиться императорскій вагонъ и дверями залы первого класса, превращенной, съ помощью драпировокъ въ какой-то индійскій павильонъ; по сторонамъ этого ковра стоять столы и на нихъ хлѣбъ - соль на серебряномъ блюдѣ. Лѣвѣ такъ столь окружаетъ румынскай депутація, правѣ болгары съ митрополитомъ во главѣ. Обѣ группы стоятъ особнякомъ и замѣтно косятся другъ на друга. Румыны, покровительствуемые своими властями, занимаютъ позиціи повиднѣе, за черными фраками—серебряныя, уже у самыхъ дверей въ павильонъ, ризы духовенства; въ самомъ павильонѣ, чѣмъ-то перепуганной оторопѣвшей кучкою, прижавшись совсѣмъ въ уголь,—стоитъ группа дѣвочекъ въ бѣленькихъ кисейныхъ платьицахъ съ трехцвѣтными шарфами черезъ плечо, онѣ собираются пѣть народный гимнъ. Тутъ же торчитъ тощая, блѣдная какъ смерть фигура учителя—въ синемъ фракѣ съ нотами подъ мышкою, ноты въ трубочку и перевязаны бантомъ съ букетомъ... Заглянуль я въ павильонъ и подошелъ къ бол гарямъ. Тамъ извѣстный Евлагій Георгіевъ изъ Бухареста, толстенький человѣкъ съ Владимиромъ въ петлицѣ фрака и другие представители старой буржуазной, консервативной болгар-

ской партии—позвольте ихъ переименовать по городамъ. За Евлагиемъ Георгіевымъ слѣдуютъ: Михайло Родіоновъ изъ Бѣлграда, Николай Ценовъ изъ Браилова, Пандаій Абрамовъ изъ Галаца, Ангель Репановичъ изъ Александріи, Іокимъ Абрамовъ изъ Измаила, Нарче Поповичъ изъ Бузео, Афонасій Котроковъ изъ Слатины, Покаянъ Ходжиметовъ изъ Плоештъ,—все купцы и люди богатые, давнымъ давно эмигрировавшіе изъ Турціи, даже потомки болѣе древнѣйшихъ эмигрантовъ, во время спасшихъ изъ подъ турецкаго ножа свои головы и капиталы, устроившіе и то и другое весьма выгодно въ Румыніи.

На блюдѣ, прислоненная къ хлѣбу, стояла маленькая овальная икона святыхъ Константина и Елены и солонка въ видѣ чаши для св. даровъ съ крупною солью.

У стола сидѣлъ въ креслахъ старикъ, съ большимъ крестьомъ на шеѣ. Это былъ погонянскій митрополитъ Панаретъ Ращевъ; у него былъ свернутый въ трубку адресъ... Старикъ погрузился въ глубокую думу и шевелилъ своими сухими губами... Депутатъ весьма почтенной наружности нашептываетъ ему на ухѣ. «Великія событія совершаются, великое время переживаемъ»,— провозгласилъ кто то въ заднихъ рядахъ...

За депутаціями стоитъ хоръ нашихъ военныхъ музыкантовъ, далѣе во всю длину открытой платформы, стройный фронтъ почетного караула—первая рота третьей дружины болгарскаго легіона. Какіе молодцы все подобраны, смуглые; горбоносые; какъ лихо, отважно смотрять они изъ подъ своихъ черныхъ, баражковыхъ шапокъ съ золотыми крестами, надъ ихъ грозными рядами развивается знамя, даръ самарцевъ...

Этотъ фигляръ «де-Вестинъ» одинъ только нарушаетъ иллюзію, онъ усиленно просить какого-то пестраго полисмена дать ему лѣстницу: ему, видите ли, хочется окинуть взгядомъ всю картину сверху à «vol d'oiseau»; странное желаніе...

Художникъ англійского журнала «Graphic» слѣзаетъ уже съ крыши зданія съ надписью надъ входомъ «pentrobarbati»; онъ уже кончилъ рисунокъ и готовъ завязать тесемки альбома. Полюбопытствовалъ я заглянуть;—ничего—показываетъ.

— Да, помилуйте, у васъ уже все готово, даже то, чего еще не было.

— Ну, табъ что же?...

— А если это все не такъ будеть, а иначе?..

— А не все ли равно!..

Съ дороги, откуда далеко доносится сигнальный рожокъ—  
все стихло и замерло на мѣстѣ... Подъ навѣсомъ станціи за-  
дребезжалъ колокольчикъ...

Показался силуэтъ лба локомотива—вправо флагъ, влѣво  
флагъ, флагъ посерединѣ, впереди двухглавый орелъ, у кра-  
новъ паровика наль офицеръ, инженеръ путей сообщенія. Это  
подходилъ императорскій поѣздъ.

— На пле...то!—раздается громкая команда...

— Слушай! — Первые аккорды торжественнаго марша за-  
глушаютъ послѣднія слова команды... Поѣздъ тихо подходитъ  
и плавно, мягко, беззвучно останавливается, математически  
точно на указанномъ ему мѣстѣ...

Что-то произошло, что именно—трудно было разобрать...  
Грянуло неистовое, оглушительное ура; ряды болгарского  
легіона заволновались... Передъ его фронтомъ замелькали по-  
ходныя офицерскія фуражки... Разомъ все стихло... Его Вели-  
чество обошелъ ряды караула, похвалилъ солдатъ, милостиво  
обратился къ начальнику легіона и подошелъ къ болгарской  
депутаціи, остановившись на нѣсколько секундъ передъ румын-  
скими депутатами. Здѣсь Государь изволилъ внимательно вы-  
слушать рѣчь, принялъ образъ и, поцѣловавъ его, оставилъ  
при себѣ; болгарскіе депутаты стояли въ какомъ-то умиленіи,  
большинство изъ нихъ плакало... Снова загудѣло «ура», не  
умолкая до самаго конца встрѣчи, пока Его Величество изво-  
лилъ пройти черезъ павильонъ, прослушавъ гимнъ, спѣтый  
дѣтскими голосами, и войдя на заднюю платформу станціи,  
сѣлъ въ приготовленную для него коляску парою...

Здѣсь картина уже мѣняла свой характеръ—официальная  
сторона церемоніи уступила мѣсто болѣе простымъ, оживлен-  
нымъ выраженіямъ чувства восторга... Всѣ крыши сараевъ,  
всѣ заборы, все, откуда только можно было видѣть получше,  
все униzano было живыми группами народа. Одна за другою  
подкатывали къ подѣзу русскія четверки съ колясками, за-  
стоявшіеся кони горячились и безпрестанно взвивались на дыбы.  
Началась суматоха, всякий спѣшилъ поскорѣй найти свой эки-  
пажъ, сѣсть и попасть въ общій поѣздъ. Напи жандармы и  
казаки, надо имъ отдать полную справедливость, не безъ

опасности жизни, энергично шныряли между экипажами и ихъ бѣшенными четверками, возстановляя порядокъ...

Вотъ свели съ лѣстницы подъ руки сѣдого, какъ лунь старика, въ золотыхъ очкахъ и въ черномъ, глухо застегнутомъ сюртукѣ и усадили въ экипажъ — это былъ нашъ ветеранъ канцлеръ. Вотъ молодцовато прыгнуль въ коляску плотный генераль съ веселымъ, нѣсколько насмѣшливымъ выражениемъ живыхъ глазъ — это нашъ бывшій посолъ въ Константинополь, Игнатьевъ... Экипажъ за экипажемъ въ карьеръ выносились со двора станціи, увозя дѣятелей современной политической драмы... и все это стремилось за императорскимъ экипажемъ... Цѣлое облако пыли взвилось въ воздухѣ... безконечное «ура» неслось вслѣдъ за поѣздомъ, и эта волна звуковъ катилась все далѣе и далѣе, распространяясь по всѣмъ изгибамъ и закоулкамъ улицъ Плоешти, скромнаго провинціального городка, не помышлявшаго даже и во снѣ, что на его долю выпадеть такая видная роль — быть центромъ великаго исторического событія.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

---

НА БОЕВЫХЪ ПОЗИЦІЯХЪ.



## I.

Всего два съ половиною часа ъезды отѣляютъ Журжево отъ Бухареста. А какая разница въ обстановкѣ, конечно въ тѣхъ признакахъ этой обстановки, которые отражаютъ въ себѣ переживаемое въ данную минуту время. Въ Бухарестѣ войну напоминаютъ развѣ только нѣсколько сотенъ русскихъ военныхъ мундировъ, да крикливы возгласы разносчиковъ газетъ, возвѣщающихъ какую-нибудь новость дня, прилетѣвшую съ военного поля. Все остальное идетъ своимъ чередомъ, покойно, тихо, какъ и годъ тому назадъ, съ тою только разницей, что нынѣ несравненно прибыльнѣе, ибо много понадѣло потребителей, а производительныя силы осталась безъ измѣненія; вотъ эти-то производительныя силы и принялись эксплуатировать наѣзжихъ потребителей, благо, моль, люди чужіе, да кстати, вопреки распространенному за границею мѣнію, вовсе какъ будто даже и не обидчивые, допускающіе форсированную стрижку своей шерстки безъ всякаго протеста, а напротивъ, какъ будто даже съ нѣкоторою признательностью къ стригущимъ. Такъ вотъ, за исключеніемъ только этого явленія, жизнь въ Бухарестѣ, несмотря на войну, не измѣнила нѣсколько своего прежняго характера, или, вѣрнѣе, прежней суetливой беспорядочной, безпутной имитациіи жизни большихъ европейскихъ городовъ... Обязательныя для румынъ услуги нашихъ дипломатовъ, подготовлявшихъ въ Бухарестѣ текстъ конвенціи съ Россіею, избавили столицу Румыніи отъ «варварскаго нашествія»—славянскія полчища миновали Бухарестъ и обходяты его стороною. Это еще болѣе сохранило мирный характеръ города, не измѣния обыденного выраженія его пошленской куаферской физіономіи.

Здѣсь въ Журжево и по пути къ этому пункту совсѣмъ не то. Едва вы отѣхали отъ «Гарры-Филларета»—это буха-

рестко-журковская станция железнодороги — какъ уже чувствуете иной запахъ, на вѣсъ бѣть чѣмъ-то новымъ, особеннымъ, далеко не отзывающимся миромъ и благоденствиемъ. Кромѣ военныхъ, мало кто ёздить по этой дорогѣ. Журково опустѣло, оно перестало быть соединительнымъ узломъ между Европою и Турціею. (Вамъ, конечно, извѣстно, что изъ Бухареста на Рущукъ и Варну ведеть путь въ Константинополь). Мирному и торговому человѣку тутъ теперь дѣлать нечего. Съ каждою станціею отъ Бухареста все меныше и меныше становится этихъ, и безъ того немногихъ, не военныхъ пассажировъ. Послѣднюю станцію уже вы ёдете въ исключительно военномъ обществѣ, да какомъ военномъ, совершенно особенномъ, такомъ, что въ мирное время и не увидишь... Все боевые типы, суровые, своеобразные типы, которые вы напрасно будете искать въ рядахъ той же арміи на мирномъ положеніи — вы ихъ не найдете тамъ, т. е. найдете, ибо они тамъ и есть, но не замѣтите и пройдете безъ вниманія, такъ они слажены, приформены, подведены подъ общую мѣрку и ранжирь, обезличены, если можно такъ выразиться. Но, повѣяло свѣжимъ вѣтромъ — и эти обезличенные богатыри словно очнулись и стали преображаться, въ каждомъ рѣзко выдѣлилось его собственное я, его особенная отличительная черта; они становятся теперь уже типами, тѣми самыми свѣтлыми, боевыми типами нашей арміи, не разъ уже воспѣтыми напими «писателями-художниками» и даже «не художниками». Сидитъ, вотъ напримѣръ, какой-то капитанъ — пѣхотинецъ — лицо загорѣло, какъ сапожное голенище, загорѣлый затылокъ рѣзко такъ двоится, отдѣляясь отъ бѣлаго воротника кителя, на головѣ капитанскоѣ кепи, надѣтое не безъ зуавскаго шика, бородка рыжеватая, клинышкомъ, усы торчкомъ, голубовато-сѣрые глаза прищурены, смотрятъ ласково и словно чего-то подсмѣиваются, виситъ у капитана на револьверномъ кобурѣ пестрый шелковый кисетъ съ табакомъ. Хочется капитану, видимо хочется, что-то возвѣстить всѣмъ съ нимъ ёдущимъ, да прицѣшки нѣтъ настоящей, съ чего бы то-есть начать... Снялъ капитанъ кисетъ, пораздвинулъ шнурки пальцами, нюхнулъ, погладилъ кисетъ по боку... Э, гм!.. Нѣтъ, никто на капитана вниманія не обращаетъ, т. е. ни малѣшаго, и его знаменательное «э, гм!» пропадаетъ даромъ. Одинъ въ окно глядѣть и водить по

стеклу пальцемъ, указывая сосѣду, vis-à-vis, на движеніе по дорогамъ.

— Туда, вонъ, братецъ, на «Фрутешть» обходная дорога; мы третьяго дня тамъ съ паркомъ бились... бились... воловъ припрягали, что ты думаешь?

— А генералъ приказалъ, чтобы было и безо всякихъ разговоровъ,—доносится изъ-за перегородки.

— Не можетъ быть?!

— Ей-Богу!..

Другой разговоръ:

— Она отъ меня, я за нею, она отъ меня, я за нею — вдругъ бацъ, хлопъ, дверь на ключъ...

— Хи-хи-хи! — трясеть головою капитанъ съ кисетомъ, трогаетъ за колѣно сосѣда, какого-то румына, не понимающаго ни пол слова по-русски, и подмигиваетъ ему глазомъ въ ту сторону, откуда слышенъ разсказъ о неудачной погонѣ и произносить:

— Ловкій народъ эти драгуны. Вы сами изволили служить въ военной службѣ?

Румынъ дико косится на капитана и отодвигается въ сторону.

— Нѣтъ... я къ тому...—замялся смущенный капитанъ и снова начинаетъ возиться съ своимъ кисетомъ.

— А спроси его лучше, Павелъ Матвѣичъ, зачѣмъ они, прохвости, два франка двадцать баней за нашъ рубль даютъ, вотъ ты его что спроси!.. — вмѣшивается другой офицеръ, до сихъ поръ дремавшій въ углу вагона...

— Конечно, если бы генералъ не приказалъ пройти тамъ, да еще съ повозками, не было никакой возможности.

— А вы прошли?

— Генералъ приказалъ, какъ же не пройти?

— Во время хивинскаго похода... Представьте, господа!

— Это что? Кондукторъ! Какая станція, сколько минутъ? Эй, ты, съ кувшиномъ, поди, поди сюда! . . . .

Катится и катится поѣздъ, стемнѣло уже. Влѣво на горизонтѣ блеснула свѣтлая водная полоса, подъ нею сизый туманъ стелется.

Дунай. У лѣвыхъ оконъ вагона нѣчто въ родѣ давки образовалось—любопытствуютъ пассажиры.

— При настоящемъ, усовершенствованномъ состояніи вооруженія сбѣихъ воюющихъ сторонъ, принимая въ разсчетъ нравственное качество единицъ нашей и турецкой арміи и образующееся изъ нихъ совокупное качество массы, — лекторскимъ тономъ повѣтствуетъ какой-то пожилой господинъ съ ленточкой въ петлицѣ.

— А если на ура!.. эдакъ прямо, на чистоту!.. — подсмѣивается кто-то въ темномъ углу.

— Такъ, такъ! — одобрительно подсказываетъ капитанъ съ кисетомъ, даже приподнимается на скамейкѣ и начинаетъ потирать руки.

— Это хорошо было прежде, въ тѣ времена, когда...

— Завсегда хорошо, завсегда первое дѣло! — чуть не вскрикиваетъ капитанъ и самъ пугается своего возгласа, своего такъ рѣзко высказанного мнѣнія, да еще въ присутствіи чиновъ старшихъ.

Поѣздъ подходитъ къ Журжеву, справа и слѣва на запасныхъ путяхъ мелькаютъ въ окнахъ вагоновъ воинскіе поѣзда, на платформахъ видны тяжелыя очертанія осадныхъ орудій, обтянутыя брезентами лодки; за вагонами, по ту сторону насыпи, бѣлѣютъ палатки бивуака и между ними кучки солдатъ, длинные щетинистые ряды ружейныхъ козель.

Пока нашелъ коляску, пока справился съ багажемъ и отыскалъ себѣ комнату въ гостиницѣ «Европа», прошло съ часъ, поздно — четверть одиннадцатаго; къ генералу являться теперь неудобно. Отложилъ представление до утра и пошелъ ужинать въ садикъ около гостиницы. Садикъ маленький, но чисто содержимый, очень тѣнистый, такъ что даже и днемъ прохладно; въ концѣ сѣда нѣчто въ родѣ театра — деревянный балаганъ съ занавѣсью, обращенный въ настоящую минуту въ обѣденный салонъ. Тамъ у сервированныхъ столиковъ группа офицеровъ; идетъ оживленный говоръ о бомбардировкѣ со стороны Рушука, на которую мы не отвѣчали вовсе; нашелъ, по обыкновенію, много знакомыхъ, даже своихъ бывшихъ товарищѣй по службѣ; разговорились...

Бомбардировку начали турки съ праваго своего фланга. Они замѣтили наши работы на Малорошѣ, въ четырехъ верстахъ ниже отъ города и открыли по нимъ огонь. Затѣмъбросили нѣсколько десятковъ бомбъ и въ городъ, но чрезвы-

чайно для нась счастливо. Снаряды турецкіе ложились хорошо, хотя и не нанесли намъ никакого вреда. Задѣли только и цѣлькошь попортили два греческія торговыя судна, стоящія на причалахъ у нашего берега, подъ защитою острова. Разорвало не болѣе 4 бомбъ, это здѣсь, въ городѣ, въ Малорошѣ гораздо болѣе; одна изъ бомбъ разорвалась за бульваромъ, осколки перенеслись черезъ деревья и одинъ изъ нихъ звякнулся о камень мостовой у самыхъ ногъ часоваго, у воротъ дома, занимаемаго квартирою начальника отряда; солдатъ даже бровью не моргнулъ, потрогалъ осколокъ концемъ сапога и сталъ себѣ покойно прохаживаться на своемъ посту, апатаично позѣывая и поджидая смѣны. На Малорошѣ, одиннадцати дюймоваго снарядъ разорвался въ десяти шагахъ отъ генерала Скобелева младшаго, иззвѣстнаго нашего героя Средней Азіи, покорителя Коканскаго ханства. Скобелевъ покойно приказалъ отвести свой конвой за скать пригорка, а самъ остался на мѣстѣ, слѣдить въ бинокль за суетною, поднявшейся на турецкихъ батареяхъ. Еще пронесся мимо снарядъ, надъ самою головою Скобелева; сверля воздухъ, уныло прогудѣло что-то, тоже довольно крупное и съ трескомъ разорвалось за нимъ, обдавъ бѣлый генеральскій китель комьями грязи... Турки пристрѣлялись, они отлично опредѣлили дистанцію, ихъ видимо бѣсила эта неподвижная, конная фигурка вся въ бѣломъ, монументомъ стоящая на пригоркѣ...

— Ну ужъ это совсѣмъ лишнее,—слышались здѣсь за ужиномъ въ садикѣ гостиницы «Европы» критическіе отзывы и толки.—И къ чему подвергать себя бесполезной совершенно опасности, ну, я понимаю: итти на штурмъ, впереди солдатъ, итти чуть не на вѣрную смерть, вотъ какъ, напримѣръ, Дубасовъ и Шестаковъ—зная, что въ случаѣ удачи они нанесутъ непріятелю громадный уронъ, однимъ словомъ, погибнуть съ пользою, а здѣсь ради Бога знаетъ чего, на какой-то глупой канонадѣ съ берега на берегъ, безъ толку, безъ смысла...

Много было толковъ тутъ въ этомъ родѣ, и за и противъ. Но къ концу концовъ дѣло сходилось на то, и по моему весьма вѣрно: «Не стой подъ огнемъ генералы, покойно, съ видимымъ и полнѣйшимъ презрѣніемъ къ опасности—не будуть пожалуй стоять и солдаты. Съ пользою или безъ пользы подвергать себя опасности и возможности смерти, это вопросъ очень уже

эластичный и, растягивая его, можно Богъ вѣсть до какихъ выводовъ дойти; вѣрно только то, что съ анализомъ подобныхъ вопросовъ армія не будетъ въ своихъ рядахъ имѣть такихъ часовыхъ, которые «потрогаютъ носкомъ сапога звякнувшій у его ногъ осколокъ бомбы», да и станутъ себѣ по-зѣывать, не измѣняя вовсе своего покойного состоянія духа, словно это былъ не осколокъ, несущій смерть, а такъ, нѣчто совершенно безвредное, вѣтромъ нанесенное.

Уже поздно, усталость беретъ свое, вся публика изъ садика гостиницы «Европы» разошлась по квартирамъ, на улицахъ тихо, брякаютъ только по мостовой кованныя копыта казачьихъ разъѣздовъ... Рушукъ и весь противоположный берегъ заволокло какою-то мглою. Тамъ слышно глухое пыхтѣніе громаднаго паровика,— это за островомъ развелъ пары мониторъ, а можетъ и два. Съ руцукской станціи желѣзной дороги слышатся черезъ рѣку свистки локомотива; вдоль острова у самой лѣсистой его опушки, къ которой вплотную подступаютъ воды Дуная, мигаютъ какіе-то двигающіеся огоньки. А у насъ, по всему берегу, темно и тихо, ни малѣйшаго движенія, словно на всемъ протяженіи нѣть ни одного живого существа. Говорить, что это безмолвіе сильно смущаетъ турокъ, они все ждутъ чего-то неожиданнаго съ нашей стороны, и чего-то непремѣнно катастрофального для нихъ. «Пуганая ворона куста боится». А турки уже пріобрѣли себѣ право считать себя пуганными.

Въ ихъ рядахъ реакція уже совершилась, прежней фанатической увѣренности въ успѣхѣ исхода борьбы нѣть и въ поминѣ, мѣсто этой увѣренности заняло тяжелое предчувствіе чего-то недобраго; они готовы сопротивляться и будутъ драться отчаянно, стойко, много жертвъ падеть и съ нашей стороны, много крови русской прольется и даже очень скоро, критическая минута приближается, это очень хорошо чувствуется и въ нашихъ рядахъ, и на томъ берегу. Но все-таки не надо быть пророкомъ, чтобы опредѣлить исходъ борьбы, онъ не въ пользу турокъ, это сознаютъ теперь и сами наши враги, какъ дерущіеся съ нами, такъ и объявляющіе себя нейтральными.

Но какъ быстро падаютъ воды Дуная! Тамъ, гдѣ еще вчера вечеромъ разстилалась водная зыбь, тамъ сегодня голая песчаная отмели, гдѣ могла пройти глубоко сидящая килевая лодка, тамъ теперь перегоняютъ вбродъ барабановъ. Острова,

почти залитые сплошь водою, теперь все растутъ и растутъ, вступая въ свои нормальныя очертанія. Наши саперы и понтонеры потираютъ руки отъ нетерпѣнія и все ставятъ рейки, показывающія спаденіе воды, они слѣдятъ за этими рейками, и дѣлаютъ на нихъ замѣтки съ тѣмъ же самымъ чувствомъ, съ какимъ выпускной кадетъ отмѣчаетъ числа и дни, даже часы, приближающіе его къ желаннымъ офицерскимъ эполетамъ. Даже въ воздухѣ чувствуется что-то особенное, это ощущеніе испытываютъ всѣ отъ малаго до великаго, отъ генерала до послѣдняго фурштата юзлового.

## II.

Въ послѣдній разъ я былъ въ Рушукѣ во второй половинѣ февраля текущаго года. Я довольно подробно описывалъ какъ самый городъ и его постоянную крѣпостную ограду, такъ и вновь заложенные, начинавшіеся только строиться его окрестные отдѣльные форты, расположенные на вершинахъ холмовъ, господствующихъ надъ мѣстностью. Тогда эти форты были едва намѣчены; много труда, много времени надо было, чтобы довести ихъ до окончанія, сдѣлать изъ нихъ дѣйствительно грозныя твердыни, способныя остановить натискъ силъ непріятеля. Прошло съ тѣхъ поръ три мѣсяца,—и нельзя не отдать должного туркамъ и ихъ руководителямъ, англійскимъ инженерамъ,—они превзошли себя... Съ сильнымъ биноклемъ въ рукахъ я обходилъ, цѣлый почи день, всѣ пункты, сколько нибудь удобные для наблюденія; зная хорошо Рушукъ, узнавъ отсюда чуть не каждый домъ, чуть не каждый садикъ его окрестностей, я пришелъ къ тому убѣжденію, что турки хорошо успѣли приготовиться къ осадѣ. Они и теперь непрерывно работаютъ, но это уже работа не капитальная, это уже, или роскошь, въ видѣ разныхъ, хитро распланированныхъ ложементовъ и маскированныхъ ходовъ, для половины которыхъ у нихъ и гарнизону не хватить, или береговая работы, вызванныя какою-нибудь демонстраціей съ нашей стороны. Главнымъ оборонительнымъ пунктомъ служить безспорно фортъ «Левантъ-Табія» — вѣнчающій высокій холмъ, сильно господствующій надъ городомъ и всѣми остальными укрѣщеніями. Это Малаховъ курганъ Рушука, по выражению

нашихъ саперовъ, поглядывающихъ на него, какъ голодные волки смотрять на жирнаго, матераго барана, посреди стада. Съ паденiemъ этого форта, Рушукъ держаться не въ состояніи.

Левантъ-Табія стоитъ ближе къ лѣвому флангу рущукскихъ позицій, если считать ихъ лицемъ къ Дунаю; собственно же говоря фронтъ этихъ позицій смотрить на югостокъ, прикрывая желѣзно-дорожный путь на Варну и загородное шоссе. Со стороны Журжева городъ самый видѣнъ дурно, онъ замаскированъ лѣсистыми островами, полузатопленными еще водою—окрестности же всѣ видны превосходно; далѣе линія наблюдательныхъ постовъ, вытянутая на нѣсколько десятковъ верстъ въ обѣ стороны отъ Журжева, по нашему берегу Дуная, не сводить, что называется, глазъ съ непріятельской стороны; тамъ замѣчается всякое малѣйшее движеніе, даже незначущая повидимому мелочь. Всѣ эти свѣдѣнія собираются вмѣстѣ, провѣряются и принимаются затѣмъ къ свѣдѣлію. Всякая частная попытка переплыть Дунай, съ того ли берега сюда, или наоборотъ, невозможна; по всѣмъ дорогамъ патрули и посты, не пропускающіе живой души безъ предъявленія завѣтнаго слова пропуска, которое мѣняется каждую ночь, а то такъ и въ ночь два раза. Да и еще бы иначе! Два противника отдѣлены другъ отъ друга только шириной рѣки, они находятся подъ пушечными выстрѣлами одинъ отъ другого,—они оба можетъ быть наканунѣ столкновенія и столкновенія рокового...

Я передъ вечеромъ вышелъ на городской бульваръ. Это очень хорошенъкій, маленький садъ, или вѣрнѣе аллея сада, однимъ концомъ выходящая на обрывистый спускъ берега. Здѣсь надъ обрывомъ выстроена красавая бесѣдка, около буфетъ и столики. Несмотря на то, что все это подъ выстрѣлами и третьяго дня здѣсь упало нѣсколько снарядовъ—бесѣдка и мѣсто около бесѣдки всегда оживлены посѣтителями. Правда, всѣ эти посѣтители большею частію наши офицеры, но есть кое-кто изъ туземныхъ жителей, кто оказался похрабрѣ и не бѣжалъ изъ города, какъ большинство; даже появляются дамы, правда, очень, очень немного... Все это сидитъ здѣсь на скамьяхъ и плетеныхъ стульяхъ, наслаждается вечернею прохладою, ароматомъ цвѣтущей акаціи и розъ, пьетъ свою обыденную «дульчесу», мѣстное вино и лорнируетъ ту-

речкіе форты, ежеминутно ожидая, что вотъ, вотъ на гребяѣ котораго нибудь изъ нихъ вспыхнетъ бѣлый, дымный клубъ, затѣмъ что-то глухо стукнетъ, завизжитъ и завоетъ въ воздухѣ, надъ водою Дуная и долетитъ сюда, прямо въ средину всѣхъ этихъ прогуливающихся и кайфующихъ. Раза два до-ждались дѣйствительно; день, говорятъ, не ходили и не по-говаривались, а потомъ снова появились, и вотъ сегодня, когда я пришелъ на бульваръ, тамъ были почти уже заняты всѣ наиболѣе удобныя позиціи. Я былъ не одинъ, а съ однимъ монѣ еще туркестанскимъ товарищемъ, адъютантомъ генерала Себелева, М—ымъ.

— Кажется, что съ насъ сейчасъ наполеонъ потребуютъ, — смо-бщилъ онъ мнѣ.

— За что?

— А вотъ идутъ бенефиціанты.

Какой-то толстый старикъ, французъ, во фракѣ и въ бѣломъ галстуکѣ, дѣйствительно подходилъ къ намъ съ подозри-тельною пачкою въ рукахъ и сверткомъ афишъ подъ мыш-кою, съ нимъ рядомъ шла прелестная дѣвочка лѣтъ четырнадцати, въ короткомъ платьице, даже слишкомъ короткомъ, особенно для четырнадцати-лѣтняго возраста.

Оказалось, что это директоръ странствующаго цирка и одна изъ его дебютирующихъ молодыхъ наѣздницъ, общая любимица всѣхъ здѣшнихъ нашихъ офицеровъ. Ради этой об-щей любви, конечно, совершенно платонической, дирекція цирка назначила бенефисъ, яко бы въ пользу фаворитки, въ данную минуту лукаво улыбающейся и протягивающей намъ пачку билетовъ.

Взяли, дѣлать нечего!

Бенефиціантка мало-по-малу обошла почти всѣхъ, при-существовавшихъ въ садикѣ и куда-то скрылась.

А вѣдь это очень оригинально! Циркъ съ акробатическими штуками, подъ выстрѣлами непріятельскихъ батарей. Француз-скіе солдаты устроили себѣ театръ въ лагерь подъ Севасто-полемъ, но позабыли помѣстить его все-таки виѣ сферы досягаемости русскихъ пушекъ, а эти о такихъ пустякахъ не заботятся... прелестно! «Чего намъ бояться, когда русскіе съ нами и мы около русскихъ!» — отпустилъ мнѣ эту военную любезность французъ директоръ, когда я сдѣлалъ ему нѣсколько

вопросовъ на счетъ храбрости какъ его лично, такъ и его галопирующихъ въ розовомъ трико грацій сомнительной свѣжести.

Пошли мы въ циркъ часу въ десятомъ. Передъ деревяннымъ балаганомъ, подъ навѣсомъ, хоръ нашихъ пѣхотныхъ трубачей наигрывалъ попури изъ военныхъ пѣсень. Вмѣсто рядовъ экипажей, на площади стоятъ группами казачьи и офицерскіе кони, осѣдланные, большинство публики собралось пѣшкомъ... Тамъ и сямъ изъ темныхъ улицъ, черезъ площадь, тянулась публика, то группами, то въ одиночку, всѣ въ бѣлыхъ кителяхъ и таковыхъ же фуражкахъ, отчетливо рисовавшихся во мракѣ.

Вошли въ ложи... Посѣтителей немнога, а все-таки достаточно, и ни одного туземца, за исключеніемъ какого-то темно-синяго мундира, съ шнурочками на плечахъ, и то оказалось какое-то мѣстное муниципальное начальство, пользующееся мѣстомъ gratis... Однако было и нѣсколько дамъ, перебѣгавшихъ изъ ложи въ ложу и заигрывавшихъ съ нашими офицерами... Должно быть было очень весело, а главное просто, какъ и слѣдуетъ на боевой позиціи. Да и еще бы! Всѣ товарищи, всѣ уже успѣли познакомиться; чужихъ никого—чего же лучше?

Началось представление. Вдругъ на какомъ-то граціозномъ прыжкѣ дѣвы въ трико, вся апплодировавшая публика смолкла разомъ... Розовое трико прыгнуло верхомъ на спину гнѣдой клячи и схватилось за гриву... Одинъ изъ клоуновъ перекувырнулся, прихватилъ себя за затылокъ для комичнаго поклона, да такъ и замеръ въ этой позѣ...

— Это ружейные залпы,—спокойно, даже въ полголоса, произнесъ какой-то офицеръ, не торопясь выбрался изъ своей ложи и направился къ выходу... Казачьи офицеры, занимавшіе мѣста у самого барьера, тоже гурьбою ринулись къ своимъ лошадямъ. Другой ударъ, но несравненно сильнѣе прежняго, потрясъ деревянный куполь цирка...—А, это уже пушка!...— заявилъ громко кто-то изъ офицеровъ.

— Oui, c'est le canon,—согласился французъ директоръ, и визгливымъ голосомъ заоралъ всѣмъ выходящимъ:

— M-rs! Vingt minutes d'entracte!

Почему французъ полагалъ, что начавшаяся канонада будетъ продолжаться только двадцать минутъ, время, какъ разъ определенное для антракта, это самому Аллаху известно.

Повыбрались всѣ изъ цирка; стали прислушиваться. Помежду площади, какъ разъ противъ цирка, стоять высокая, одиночная каланча,—на ея вершинѣ загорѣлся огонекъ,—это туда залѣзъ съ фонаремъ солдатикъ стрѣлокъ.

— Видно что-нибудь?—кричать ему снизу.

— Видно, ваше благородіе!..—доносится сверху.

— Гдѣ?

— На Маларошѣ. Турки съ того берега палять; наши молчатъ.

— И въ какого дьявола они изъ ружей дуютъ?—недоумѣваетъ полковникъ-кубанецъ въ высокой папахѣ, бочкомъ, не безъ граціи, сидя въ своемъ казачьемъ сѣдлѣ.

— Демонстрируютъ канальи...

Прокакало нѣсколько конныхъ,—въ темнотѣ не разберешь, кто именно... Изъ переулка выдвинулась голова пѣхотной колонны и ускореннымъ шагомъ потянулась по направлению къ Маларошу... Многіе изъ публики тоже сѣли на лошадей и отправились къ своимъ частямъ на всякий случай; большинство, впрочемъ, осталось.

А выстрѣлы слышались все чаще и чаще. Между ударами тяжелыхъ орудій съ турецкихъ батарей ясно доносился сухой трескъ ружейныхъ залповъ, хотя гораздо ближе къ берегу, почти у самой воды.

— Чтобы это значило?..

— Это Орловъ, должно быть, ихъ задралъ тамъ, выкинуль какую-нибудь штуку, вотъ и переполошилъ турокъ,—слышалось предположеніе въ группѣ кубанцевъ.

— Съ него станется...

Одна изъ наѣздницъ, въ своемъ костюмѣ, въ коротенькой юбочкѣ и въ трико выбѣжала изъ цирка и, граціозно лавируя между лужами, пробралась къ офицерамъ.

— Фани, вы чего?

— Mais... c'est charmant!—лещетала Фани, приподнявшись на ципочки.

— Садись ко мнѣ въ сѣдло—виднѣе будетъ!—пригласилъ какой-то всадникъ, горячившій своего горскаго коня.

— Bien mercie!

Наѣздница очень ловко съ помощью поданной руки вскарабкалась на коня и стала на немъ, опершись на плеча всадника.

Какая прелестная группа, какая оригинальная обстановка!

Ночь—темно, на маякъ огонь, входъ цирка ярко освѣщенъ, толпа конныхъ и пѣшихъ... эта наѣздница, суровая боевая фигура и звуки канонады вдали...

— Турки солнце запалили,—доносится возгласъ съ высоты каланчи.

— Это еще что такое?

— Электрический свѣтъ, господа, электрический свѣтъ. Виши какъ освѣтили себя... Тревога-то у нихъ должно быть не на шутку.

Дѣйствительно, на томъ берегу показался довольно странный лучъ свѣта—ружейная пальба слышалась все чаще и чаще.

— Генераль уже проѣхалъ туда,—запыхавшись объявилъ пѣхотный офицерикъ...—Господа, что? кончилось?

— Что кончилось?

— Представление!..

— Нѣтъ, только антрактъ—сейчасъ второе отдѣленіе.

— Мѣста есть свободныя?

— Сколько хочешь, иди къ намъ въ ложу...

— А вотъ это одиннадцатидюмовая—эко гудить шельма...

Опять!

— Съ позволеніемъ почтенной публики...—суетится директоръ цирка...

— А и то правда—если надо будетъ, знать дадуть.

— Держись, Фани, крѣпче—я такъ съ тобою и вкачу въ циркъ на лошади.

— Non, поп, поп,—визжитъ наѣздница. Съ высоты каланчи раздается крикъ пѣтуха и звонкій задушевный хохотъ солдатика стрѣлка. Это къ нему забрался клоунъ, тоже должно быть ради наблюденія.

Вернулись въ циркъ; началось второе отдѣленіе...

— Норъ-норъ!—щелкаетъ бичъ берейтора...

— Браво, Фани, браво!—неистово аплодируютъ зрители, выбравшись изъ ложъ и сидя на самомъ барьерѣ цирковаго круга.

А вдали все гудятъ выстрѣлы тяжелыхъ турецкихъ орудій, все еще слышатся трескучіе перекаты ружейной пальбы.

Хотѣлъ было я поѣхать туда, узнать на мѣстѣ, что тамъ творится, да нельзя, не пропустили бы черезъ аванпости безъ пропуска, хлопотать же о полученіи такового было некогда, да и генераль уѣхалъ—не у кого спросить. Рѣшилъ подождать разсвѣта и тогда узнать въ чёмъ дѣло.

Кончилось представлѣніе въ циркѣ, кончилось и другое—на Маларошѣ. Пальба затихла, электрическій свѣтъ на томъ берегу погасъ; Фани и прочія пажищи отпразднились въ сосѣдній отель ужинать съ офицерами, пошель и я въ свой номеръ записать впечатлѣнія этого оригинального дня—перваго моего дня на боевыхъ позиціяхъ настоящей компаніи, начавшагося обходомъ наблюдательныхъ пунктовъ и такъ эффектно закончившагося веселымъ спектаклемъ въ циркѣ, подъ аккомпанементъ стрѣльбы турецкихъ батарей и ружейной перепалки...

### III.

Я былъ въ постелѣ, когда услышалъ стукъ въ дверь моей комнаты. Всталъ, отперъ. Вижу того же адъютанта генерала Скобелева, М-ва; шапка черезъ плечо, револьверъ на поясѣ, сапоги запылены, выраженіе лица сильно помятое, усталое.

— Генераль вамъ лошадь прислалъ,—говорить онъ мнѣ,— хотите ѿѣхать смотрѣть, какъ будемъ островъ обстрѣливать.

— Еще бы, съ удовольствіемъ!

Наскоро одѣлся. Вышли.

Чуть только солнце выглядало изъ-за горизонта, утро было такое славное, свѣжее, сѣли мы въ сѣдла, поѣхали. Городъ еще спалъ, его пустыя, большую частью оставленныя жителями, улицы безмолствовали. Во всѣхъ двоraphъ, подъ навѣсами, на крыльцахъ, всюду виднѣлись наши солдаты, спавшіе подъ шинелями, съ ранцами въ головахъ; кое-гдѣ торчали часовые, вытягиваясь въ струнку при нашемъ приближеніи. Слѣва, съ той стороны, гдѣ находилась, желѣзно-дорожная станція, гудѣлъ дежурный локомотивъ и слышались звуки казачьей трубы, тамъ бивакириуетъ паркъ нашей казачьей артиллеріи; чуть-чуть за валомъ виднѣлись его бѣлые палатки и стройные свѣтло-зеленые ряды зарядныхъ ящиковъ.

Мы выбрались за городъ, въ его восточную заставу, по дорогѣ къ Малорошу. Это туда, гдѣ почю слышалась канонада и ружейные залпы. Дорогою М—въ разсказалъ мнѣ въ чёмъ было дѣло. Турки, видите ли, заняли наканунѣ островъ, отдѣляющій боковое теченіе Дуная отъ главнаго устья, лежащій какъ разъ противъ Малорошскаго мыса, въ пяти верстахъ отъ Журжева—ниже. Противъ мыса, на томъ уже материковомъ берегу, построена сильная батарея у деревни Маротина. Эта позиція, цѣпью ложементовъ у небольшихъ укрѣплений, растянутыхъ по берегу, соединяется съ главными центральными позиціями Рущука. Мыѣхали теперь по лѣвому, нашему берегу, какъ разъ параллельно этой турецкой линіи. Наши саперы, часовъ въ одиннадцать ночи, захотѣли оттащить нѣсколько лодокъ, стоявшихъ на виду, въ другое болѣе удобное мѣсто. Десятка два солдатъ успѣли сдѣлать это отчести, оставалась еще одна лодка, когда турки съ острова должно быть услышали шумъ, а можетъ быть и замѣтили движеніе на водѣ. Тотчасъ же съ острова послышался сигналъ рожка, за нимъ другой подальше и вслѣдъ затѣмъ ружейный огонь по всей линіи. Вѣроятно они вообразили, что уже не пытаемся ли мы переправляться черезъ Дунай, потому что вслѣдъ за ружейнымъ огнемъ загремѣла орудійная канонада съ магротинской батареи и береговыхъ укрѣплений. Тревога схватила весь правый флангъ турецкой позиціи, на вышкахъ засѣвились электрическіе фонари—и все это ради десятка русскихъ саперовъ, тотчасъ же засѣвшихъ въ ложементы, а потому нѣсколько не пострадавшихъ отъ этого страшного огня турокъ. Въ темнотѣ турки стрѣляли зря, что называется па удачу, ихъ снаряды поражали совершенно пустой берегъ, не вырвавъ изъ нашихъ рядовъ. Генералъ Скобелевъ явился на мѣсто при первыхъ выстрѣлахъ, покойно выждалъ конца турецкаго неистовства, затѣмъ, когда все успокоилось, ему захотѣлось прѣбрить, занимаются ли турки островъ, для чего и велѣлъ нѣсколькоимъ стрѣлкамъ сдѣлать съ десятокъ выстрѣловъ изъ винтовокъ. На эти выстрѣлы турки тотчасъ же повторили свою канонаду, еще въ болѣе сильныхъ размѣрахъ, свистъ и вой тяжелыхъ снарядовъ, прорѣзывавшихъ воздухъ, показывалъ, что непріятель пускалъ въ ходъ орудія самыхъ колоссальныхъ размѣровъ, яркія вспышки выстрѣловъ отчетливо виднѣлись

въ темнотѣ, давая возможность точно опредѣлять число орудій на ихъ батареяхъ... Часа два турки поражали пустое пространство, наконецъ мало-по-малу успокоились и къ разсвѣту затахли совсѣмъ. Вотъ теперь-то генералъ Скобелевъ, молодой (не забывайте, что Скобелевыхъ два, отецъ и сынъ), и захотѣлъ посерѣзнѣй обслѣдовать островъ, для чего приказалъ выступить двумъ казачьимъ орудіямъ и выбралъ лично для нихъ позицію, въ верстѣ отъ Малороша, выше, какъ разъ противъ лѣсистой, полузатопленной водою, верхней оконечности острова.

Любоваться этимъ обстрѣливаніемъ иѣхали мы въ настоящую минуту.

По мѣрѣ того какъ мы подвигались впередъ, солнце уже значительно поднялось. Странное дѣло! Еще только половина пятаго утра, а жаръ уже довольно силенъ; утренняя свѣжесть стала смѣняться солнцепекомъ, а, какъ нарочно, дорога за городомъ шла по мѣсту совершенно открытому, — тѣни никакой. Время отъ времени намъ попадались маленькия группы стрѣлковъ и казачьи пикеты; такъ какъ вся эта дорога пролегаетъ подъ выстрѣлами турецкихъ батарей, то люди были скрыты въ канавахъ и конные посты, за исключеніемъ одиночныхъ часовыхъ, скрыты за пригорками.

— А вонь и артиллерія! — указалъ мнѣ М — въ.

Съ лѣвой стороны, оттуда, гдѣ верстахъ въ трехъ на лугу виднѣлся большой казачий лагерь, действительно, приближаясь къ берегу, шли на рысяхъ два конныхъ орудія, они направлялись къ тому мѣсту, гдѣ виднѣлась группа спѣшеннѣихъ людей, а невдалекѣ стояли кучкою нѣсколько осѣдланныхъ коней. Тамъ былъ самъ Скобелевъ.

Мы поддали ходу и подскакали къ генералу.

Красивый блондинъ съ свѣтлорусыми бакенбардами и прелестными голубыми глазами, въ бѣломъ кителѣ, съ георгіевскимъ крестомъ на шеѣ, стоялъ нѣсколько въ сторонѣ отъ прочихъ и разсмотривалъ въ бинокль островки.

— Ей Богу, ни черта тамъ не вижу! — произнесъ онъ, обращаясь къ казачьему полковнику, стоящему подле, въ кожаной курткѣ, въ шапкѣ на затылокъ и тоже съ биноклемъ въ рукѣ.

— Пустимъ гранату, другую, что тамъ есть — окажется, — показавъ плечами отвѣчалъ казакъ.

Орудія между тѣмъ подѣхали и снялись съ передковъ, коноводы съ передками въ карьеръ понеслись за пригородъ, артиллеристы на рукахъ подкатили пушки на самый береговой гребень.

Мы поздоровались съ генераломъ и тоже слѣзли съ лодадей.

— Пожалуй, попробуемъ! — зѣвнулъ генераль.

— А странное дѣло,—продолжалъ онъ, ни къ кому собственно не обращаясь, а такъ въ пространство: — когда не спишь всю ночь, спать начинается хотѣться.

— Это уже вторая ночь на ногахъ, ваше прѣство, — замѣтилъ Мѣвъ.

— Въ самомъ дѣлѣ... Прикажите!

Казачій полковникъ махнулъ рукою. Первое орудіе грязнуло — рѣзко завиражалъ снарядъ, летя настильно надъ Дунаемъ, и лопнулъ, не долетѣвъ саженей двадцати пяти до острова, по водѣ запрыгали сверкающіе всплески отъ осколковъ гранаты.

— Недолеть, дьяволь! — почесалъ затылокъ казакъ. — Второе.

Хватило и второе — граната лопнула въ вустахъ, тамъ тоже послышались всплески.

— Я говорилъ, что островъ еще затопленъ, — не безъ достоинства замѣтилъ полковникъ: — я говорилъ...

— Надысь ребята тамъ какъ видѣли, — шепотомъ проговорилъ казакъ-коноводъ.

— Каикъ!.. корягу каку нибудь за каикъ, небось, приняли. Чу-кось, никакъ, загадѣли на острову, тс!.. прислушайся, нѣтъ тихо!..

Дѣйствительно было тихо; на островѣ не замѣчено было ни малѣшаго движенія. Должно быть турки оставили его еще до разсвѣта.

— Еще одинъ! скажите тамъ, только велите имъ дистанцію взять побольше, — распорядился Скобелевъ.

— Готово!.. Первое.

Опять ударъ, опять пронзительный, сверлящій звукъ полета, опять бѣлое облачко взрыва — и снова мертвая тишина на островѣ, безотвѣтность съ той стороны полнѣшшая, за то батарея Маротила не замедлила отвѣтомъ, оттуда завыло одиннадцати-дюймовое коническое ядро и тяжело ударилось у малоросской вышки, взрывъ глинистую землю.

— Отбой, чортъ съ ними, скажите орудіямъ, чтобъ шли на мѣсто,—скомандовалъ генераль.

— Тишкa, скачи духомъ въ лагерь,—засуетился казачий полковникъ,—скажи тамъ, чтобы самоваръ живо!.. Ваше пре-восходительство, къ намъ, чаю-сь!

Тишкa, коренастый донецъ на худомъ рулемъ менинѣ, раскачнулся раза два, пригнулся къ шеѣ коня, огрѣлъ его съ маху нагайкою и пошелъ прыгать зайцемъ черезъ кусты бурьяна и рутвины, цѣликомъ, напрямикъ къ бѣльшимся палаткамъ.

Мы сѣли на лошадей и поѣхали шагомъ туда же.

Малорошский мысокъ острою косою врѣзывается въ русло Дуная,—эта коса довольно возвышенная, хотя холмъ Маротина, на противоположномъ берегу, гдѣ построена турецкая батарея, нѣсколько господствуетъ надъ нею. Когда вы смотрите отсюда на Малорошъ, вы видите только чуть приподнятую надъ поверхностью земли насыпь, еще будущей батареи — сторожевой, таможенный домикъ, давно покинутый его обитателями, и высокую деревянную вышку, выстроенную уже нашими казаками, по тому типу, какъ ихъ строятъ на Кавказѣ, т. е. просто — высокий козель изъ бревенъ; на верху нѣчто вродѣ настилки, для помѣщенія часовыхъ и длинное бревно, насыщенное зарубками, для лазанья—вотъ и все. Небольшое пространство между батарею, домикомъ и вышкою буквально изрыто сплошь турецкими спарадами, просто живого мѣста нѣть! Странное дѣло! Самый домикъ и вышка остались не тронуты, даже не задѣты, межъ тѣмъ какъ они-то именно и должны были служить прицѣльною точкою для турецкихъ орудій. Поневолѣ повѣришь тому, что, какъ говорятъ стрѣлки,—стоять передъ мишенью безопаснѣе, чѣмъ около нея. Нѣсколько дней тому назадъ, нашъ лагерь расположены былъ у самаго Малороша, но потомъ, чтобы не нести напрасныхъ совершенно потерь, отведенъ версты за полторы назадъ въ досягаемости турецкихъ спарадовъ, какъ я уже говорилъ.

Лагерь этотъ преимущественно кавалерійский, его назначение высылать разыѣзы по всему протяженію берега; единственная пѣхотная части, расположенные въ его районѣ, это пластуны, раскинувшіеся по близости самыми живописными, оригинальными бивуакомъ, каждая группа этого бивуака такъ

и просится подъ карандашъ художника. Палатками пластуновъ не снабдили: во-первыхъ, взять этихъ палатокъ не откуда, дѣлать ихъ некогда, да и все равно—жить въ нихъ пластунамъ не приходится, развѣ днемъ покойфовать немногого, а ночью пластуны всѣ почти въ расходѣ, шныряютъ подъ берегомъ, лежать въ секретахъ, отправляются въ различныя экскурсіи, по ихнему выраженію «вынюхиванія»; когда же тутъ, да и къ чему заботиться о такихъ пустякахъ, какъ напримѣръ, палатка. Пластуны говорятъ про самихъ себя такъ: «наше дѣло не регулярное, войско мы вольное, ползучее — на счетъ вынюху, да выгляду больше, къ хатѣ непривычное...» За то же и умѣютъ они приспособливаться, пуская въ ходъ во всѣхъ случаяхъ свою бурку, — вешь, безъ которой пластунъ немыслимъ. Бурка для пластуна все — и постель, и хата. Голый совсѣмъ раздѣняется, когда гдѣ плохо придется и въ воду лѣзть надо, а бурка съ нимъ. Завернувшись съ головою въ бурку, пластунъ всю ночь пролежитъ по горло въ водѣ, и ничего, хины ему послѣ принимать не придется. Они одѣты по-черкески, какъ и наши кавказскіе казаки, только далеко не такъ щеголевато и опрятно; глядя на эти изорванныя, засаленные черкески, на эти папахи съ вылѣзшимъ волосомъ, удивляешься просто до какой степени неопрятности доходитъ пластунъ. Онъ словно щеголяетъ своими лохмотьями; если подарить ему новое платье, онъ его непремѣнно прежде истреплетъ и вывалитъ, а потомъ уже надѣнетъ, имъ чѣмъ грязнѣе тѣмъ лучше, отъ земли незамѣтнѣе. Вооруженъ пластунъ, ружьемъ со штыкомъ, шашкою и кинжаломъ, пистолеть есть, но не у всякаго. Расположились они здѣсь въ лагерь нѣсколько особнякомъ, ружья въ козлахъ и на эти козла надѣты бурки — вотъ и палатки образовались, а то просто закорузлая, коломъ стоящая бурка, сама безъ подпоры шалашемъ держится. Дѣлаютъ и такъ: протянуть веревку отъ одного ружейнаго козла къ другому и повѣсить на нее бурки. Солнце съ той стороны, они противоположной держатся, переберется солнце — и они переберутся. По всему бивуаку ихъ маленькие огоньки дымятся, тамъ стряпня идетъ, варятъ и жарятъ, что кому Богъ послалъ за ночь. Тѣ, кто на рѣкѣ секретомъ лежали, ухитрились рыбы наудить на досугѣ, кто на сухомъ пути — другимъ чѣмъ раздобылся. Птицы перья, подхваченныея вѣтромъ, словно

бабочки носятся по всему бивуаку. Есть у нихъ и барапина, посущественнѣе пища. Они весьма изобрѣтательны по части разнообразія своихъ досуговъ. Между ними много удивительныхъ комиковъ — и вы непремѣнно увидите густыя кучки, какъ самихъ пластуновъ, такъ и постороннихъ зрителей, сгруппировавшіяся вокругъ какого-нибудь клоуна въ пластунской буркѣ. Звукоподражательные способности у нихъ развиты поразительно. Они до такой степени натурально передразниваютъ крики птицъ и животныхъ, что нѣть никакой возможности не ошибиться. Это уже способность дѣтей природы. При мнѣ одинъ молодой пластунъ подтрунилъ надъ другимъ по-старше; обиженный вскочилъ и погнался за обидчикомъ, послѣдній задѣль ногою за что-то и упалъ, — преслѣдователь на него, и вдругъ раздался, въ высшей степени вѣрный натурѣ, визгъ пойманаго поросенка и злое рычаніе собаки. У нихъ даже игры всеѣ больше зоологического характера: напр., въ чеколку, въ глухаря-тетерева. Здѣсь въ лагерѣ, между прочимъ, я видѣлъ ихъ знаменитую игру въ «комара», — эта игра состоитъ въ томъ, что двое становятся другъ противъ друга, прикрывъ лѣвою рукою свою лѣвую же щеку и держа правыя руки на отмашь, третій помѣщается между ними и начинаетъ подражать жужжанію комара; этотъ комаръ изрядно-таки щелкаетъ ихъ по прикрытымъ щекамъ, а тѣ должны бить его. Комаръ звенить и необыкновенно ловко увертывается отъ ударовъ, а самъ «жалить», да еще какъ! то и дѣло раздается хлопъ да хлопъ. Если комаръ попадется, наконецъ, подъ ударъ, онъ уступаетъ свое мѣсто другому и т. д. Всѣ пластуны, — свойство охотниковъ — страшные вральманы. Они разсказываютъ самыя нелѣпыя небылицы про свои похожденія, юмору въ этихъ рассказахъ бездна и, главное, разсказчикъ умѣеть при этомъ сохранить виѣшпій видъ полнаго спокойствія при разсказѣ, онъ говоритъ серьезно, не улыбается, въ то время когда слушатели его буквально катаются по землѣ отъ судорожнаго хохота. Вотъ бы гдѣ и у кого вамъ поучиться, господа наши великопостные, концертные разсказчики, изо всякихъ, якобы, бытовъ!

Увлеченные примѣромъ своихъ сосѣдей по бивуаку, доицы тоже пытаются отличиться на этомъ поприщѣ. Ну, куда! дѣло у нихъ не выгораетъ, несмотря на всеѣ старанія. На сторожевой, аванпостной службѣ пластуны незамѣнимы, слухъ и зрѣніе

въ темнотѣ развиты у нихъ необыкновенно и сонъ-то у нихъ какой-то воровской, волчій; достаточно самаго малѣйшаго звука, чутъ слышнаго шелеста и, повидимому, спавшій до сего времени крѣпко, даже прихрапывавшій пластунъ, шевелится и осторожно высовываетъ изъ-подъ бурки свою голову. Стрѣлки они отличные, хотя еще не успѣли какъ слѣдуетъ свыкнуться съ оружиемъ новой, скорострѣльной системы и предпочитаютъ ему свои прежнія, отцовскія винтовки.

Ну, довольно пока о пластунахъ они въ прошлую компанію стяжали себѣ громкую славу своими лихими и вмѣстѣ съ тѣмъ оригинальными до-нельзя подвигами. Теперь уже, спустя двадцать четыре года, въ ихъ рядахъ мало, или даже почти не осталось, прежнихъ дѣятелей, но духъ живетъ тотъ же. Имъ теперь предстоитъ широкое поприще выказать этотъ духъ вполнѣ. Начало ихъ здѣшней службы позволяетъ надѣяться, что и дѣти съумѣютъ быть не хуже своихъ отцовъ и не посрамить славы пластунскіе. Не безъ удовольствія пробывъ часа три въ казачьемъ лагерѣ и съ аппетитомъ напившись чаю, мы вернулись въ Журжево около полудня, когда жаръ сталъ положительно невыносимъ. Вода Дуная спадаетъ быстро, со вчерашняго дня она понизилась болѣе чѣмъ на полтора фута, отмели оголяются почти на глазахъ, саперы ликуютъ. До завтра.

#### IV.

Двадцать четыре года подъ рядъ Журжа и Рущукъ, два близкіе сосѣда, жили въ великой дружбѣ и согласіи; они усиѣли настолько слить вмѣстѣ всѣ свои интересы и великіе, и малые, что ихъ теперь и водою не разольешь, какъ говорится, и журжевцы, и рущукцы всѣ перезнакомились, передружились, перероднились даже между собою и вдругъ нежданно, негаданно объявили имъ, что теперь они враждующія стороны, и должны разомъ прервать всѣ прежнія связи и отношенія.

Конечно, формальная, впѣшняя сторона этого разрыва приведена въ исполненіе; ни съ того берега, ни съ этого, не можетъ перебраться ни одна живая душа, безъ риска быть пойманною, или попасть подъ пулю часового. Телеграфная проволока, соединяющая два прибрежные пункта, перерѣзана, но это все опять-таки только формальная, впѣшняя сторона разрыва,

внутренняя же связь, если можно такъ выразиться, — духовная, остается въ прежней силѣ и симпатіи румынъ, особенно береговыхъ, а также и журжевцевъ — лежать къ туркамъ и Рущуку, а никакъ не къ русскимъ войскамъ, въ которыхъ, не народъ румынскій, нѣтъ, но горожане и интелегенція постоянно относились и относятся и будуть относиться всегда недружелюбно. Не будемъ вдаваться въ причины этой анти-патіи, дѣло въ томъ, что она существуетъ...

Между Журжею и Рущукомъ идетъ переписка, путемъ, конечно, окольнымъ, черезъ Тріестъ и странно, письма эти доходятъ на шестой день, значитъ гораздо скорѣе, чѣмъ наши russiia отсюда въ Петербургъ, что тоже весьма знаменательно. Въ Журжѣ, въ кружкахъ ея обитателей, отлично знаютъ все, что дѣлается въ Рущукѣ, почему же и Рущуку не знать всего, что дѣлается въ Журжѣ... Наши войска поставлены въ необходимость маскировать тщательно свои намѣренія и приготовленія, не только относительно турокъ, но и относительно мѣстныхъ румынъ, а послѣднее представляетъ не мало затрудненій. Впрочемъ, относительно этого послѣдняго мѣра принята самая радикальная — всѣ дороги, прилегающія въ окрестностяхъ Журжи, въ районѣ театра военныхъ приготовленій, упизаны рядами постовъ и проѣздъ по нимъ никому не дозволяется, кромѣ лицъ, имѣющихъ на то письменное разрѣшеніе начальника отряда.

Лица эти, во всякомъ случаѣ, могутъ проѣхать только сами, но никакъ не съ своимъ кучеромъ или слугами, для послѣднихъ нужно тоже особое разрѣшеніе, и это разрѣшеніе выдается только для лицъ совершенно русскихъ, прибывшихъ съ нашею арміею. Въ извозчичьей коляскѣ, съ кучеромъ румыномъ, васъ не пропустятъ ни въ какомъ случаѣ; на первомъ же посту вамъ предложить, если хотите продолжать свой путь и имѣете на то разрѣшеніе, выйти изъ экипажа и ити пѣшкомъ, а извозчика вашего немедленно прогонять обратно въ городъ.

Всѣ эти и цѣлый рядъ подобныхъ мѣръ вызваны положительной необходимости, особенно теперь, когда для турокъ подготовляется такой неожиданный репримандъ, отъ которого имъ (да поможетъ намъ Богъ) не поздоровится.

Какую лихорадочную дѣятельность вызвала эта подготовкa «реприманда», какое нервное возбужденіе замѣтно во всѣхъ

дѣятеляхъ, и великихъ и малыхъ, начиная отъ самого энергичнаго, подражающаго своею неутомимостью, подполковника инженернаго А. Ф. Плюцинскаго 2-го, главнаго заправили всего дѣла, до послѣдняго солдата сапера, отъ нашего главнаго старика генерала Скобелева-отца, начальника отряда, до послѣдняго казака—всѣ они просто и говорить разучились громко, а все какимъ-то таинственнымъ полушепотомъ. И день, и ночь видите ихъ конныя и пѣшія фигуры, какъ тѣни, шмыгающія по всему громадному береговому протяженію, занятому работами...

Близко окончаніе этихъ работъ; не сегодня, такъ завтра, маска приподнимется и... воображаю, какую озадаченную мину изобразить на своей физіономіи Рафатъ паша, увидавъ передъ собою то... то, что своевременно будетъ мною сообщено очень подробно и обстоятельно.

Между прочими свѣдѣніями, которыя получаются съ того берега, извѣстно, что гарнизонъ крѣпости находится въ положеніи крайне тревожномъ—турки ждутъ опасности, чують ее и мечутся во всѣ стороны, чтобы имѣть возможность предупредить эту опасность и встрѣтить ее во время. Самый малѣйшій тревожный признакъ, замѣченный на нашемъ берегу, мгновенно ставить ихъ на ноги и вызываетъ съ ихъ стороны мѣры, большею частью своей грандиозностью нисколько не соотвѣтствующія вызвавшему ихъ признаку.

Я уже писалъ, какую канонаду вызвали двѣ-три наши саперныя лодки подъ Малорошемъ... Наши аванпосты, особенно пластины, замѣтивъ эту слабую сторону турокъ, съ артистическою изобрѣтательностью вызываютъ тревогу на турецкихъ батареяхъ и ставятъ ихъ тaborы въ ружье.

Въ одномъ мѣстѣ, напримѣръ, замѣчено было, что турки подозрительно отнеслись къ какой-то старой насыпи, остатку одной изъ батарей прежней кампаниі. Турки вообразили, что тамъ производятся новыя работы и пустили въ эту насыпь два-три снаряда, но не получивъ отвѣта, успокоились и остали безвредную насыпь въ покое. За то не оставили ее въ покое кубанцы—они порылись немного ночью, пользуясь темнотою, прокопали нѣчто въ родѣ амбразуръ и положили въ нихъ бревна, обмотавъ ихъ соломою. Съ разсвѣтомъ турки очень озадачились, увидавъ готовую батарею съ грозно торчащими изъ ея амбразуръ жерлами колоссальныхъ орудій, и

тотчасъ же открыли по этой батареѣ - имитациі самыи убийственныи огнь, стоявшій имъ не мало весьма дорогихъ снарядовъ...

Кстати, здѣсь есть одинъ техникъ - артиллеристъ, который задался цѣлью, между прочимъ, вести расходныя статьи турокъ; онъ тщательно записываетъ каждый потраченный ими даромъ снарядъ, отмѣчаетъ сбоку его калибръ, родъ и стоимость и ежедневно подводить итоги — у него есть и графы прихода, куда онъ думаетъ заносить наши потери, но эти графы, пока еще, да хранить насъ Богъ и впредь, еще совершенно чисты, въ расходѣ же значится по сіе время уже болѣе 10,000 руб., изъ которыхъ почти 1,000 стоила туркамъ батарея кубанскаго изобрѣтенія.

Пластуны изощряются другимъ образомъ: они заготовляютъ днемъ, гдѣ-нибудь въ укромномъ мѣстечкѣ, мнимыя лодки съ мнимыми же гребцами и даже десантомъ; эти лодки устраиваются такимъ образомъ: берется большая коряга или негодная къ употреблению колода отъ водопоя; въ эту колоду попытаются сноповъ и фашиинику торчкомъ и пускаютъ такие снаряды на воду, конечно, когда достаточно стемнѣеться; надо видѣть самому, чтобы понять, до чего подобное сооруженіе на водѣ похоже на лодку съ людьми, особенно при этомъ блесковатомъ, неопределенномъ свѣтѣ первой четверти луны... Эти пластунскія изобрѣтенія почти каждую ночь тревожатъ турецкіе береговые посты, заставляя ихъ стрѣлять залпами, вызывая даже огонь съ батареей!.. Когда вы пробираетесь днемъ по берегу, отъ поста къ посту, вы непремѣнно увидите шесты съ навѣщенными на нихъ бурками, а сверху прикрытые шапками — это все мнимые часовые. Настоящиѣ владѣльцы этихъ бурокъ и шапокъ сидятъ себѣ покойно въ сторонѣ и наблюдаютъ — и какое удовольствіе для нихъ, когда какая-нибудь турецкая пуля съ острова щелкнетъ по буркѣ.

— Ой, братцы, убиль, ей-Богу, подлецъ убиль!.. — начнетъ кто-нибудь изъ нихъ притворно стонать и кататься по землѣ...

— Ничего не убилъ, виши стоять, не валится, — утѣшаетъ другой. — Ты, братъ, возьми иголку да позаштопай рануто, сразу выздоровѣешь...

— А кабы я самъ былъ теперь въ той буркѣ, супротивъ какого бы мѣста угодилъ-бы?

— Подь, прикинь—увидишь. Тс... лежи смирно, никакъ съ монитора шаражнуть хотятъ, гляди какъ ротъ разинулъ...

Никетъ примолкаетъ и устремляетъ все свое вниманіе на какого-нибудь турецкаго панцырника, грозно открывающаго люки своихъ пушекъ.

Надо отдать полную справедливость туркамъ—они отлично пристрѣлялись, да и немудрено: имъ извѣстно разстояніе ихъ пушекъ отъ каждого пункта нашего берега,—разстоянія эти вымѣрены ими заблаговременно съ самою аккуратною точностью. И если бы только наши саперы не умѣли такъ ловко маскировать свои работы—эти работы должны были бы сопровождаться значительною потерю въ людяхъ, пока же, какъ я говорилъ, у насъ за все время стоянки войска на журжинскихъ позиціяхъ, нѣтъ ни одного убитаго, ни раненаго...

V.

Передъ вечеромъ мы получили позволеніе осмотрѣть саперные работы по берегу Дуная, между Журжевомъ и Слободзеею. Отправились. Нашъ маленький кортежъ состоялъ изъ пяти всадниковъ—трое корреспондентовъ: я, Ф. и Н. Д., казачий офицеръ-артиллеристъ и трубачъ.

Начиная отъ самого города, вся эта нижняя, береговая дорога занята чуть не сплошнымъ рядомъ военныхъ постовъ и карауловъ, никому постороннему єздить по ней не дозволяется. Даже для лицъ, принадлежащихъ къ арміи, и для тѣхъ, несмотря на ихъ форменный костюмъ, невозможно пробраться здѣсь, безъ предъявленія особаго на то дозволенія отъ начальника отряда, но какъ я уже сказалъ, позволеніе это мы имѣли, то и миновали первый караулъ безпрепятственно. Дорога идетъ по насыпной дамбѣ и носить на себѣ признаки чего-то въ родѣ шоссе, глубоко изборожденного, однако, массивными колесами тяжелыхъ крѣпостныхъ и осадныхъ орудій и зарядныхъ парковыхъ повозокъ. Намъ поминутно попадались на встрѣчу идущія обратно воловы пары, доставившія на мѣсто свою военную кладь. Правѣе, за изрытою волнистою линіей старыхъ турецкихъ укрѣплений, остатковъ прошедшей кампаніи, видѣлись палатки какого-то бивуака; на поросшихъ бурьяномъ и крапивою брустверахъ толпились наши солдаты и казаки. Длин-

ною цѣпью тянулась линія часовыхъ, — изъ садовъ, что прилегали справа, вплотную къ дорогѣ, безпрестанно выходили маленькие отряды пѣхотинцевъ, торопливо перебѣгали шоссе и исчезали въ другихъ садахъ влѣво отъ дороги, лѣшившихся уже по самому берегу. Это смѣнялись рабочія команды; тамъ, гдѣ мѣстность была болѣе открыта и не замаскирована беспорядочными группами построекъ румынскихъ хуторовъ, покинутыхъ жителями, и кое-какою растительностью, тамъ эти отряды пробирались по канавамъ, или же шли въ разсыпанную, по одиночкѣ, чтобы не навлекать на себя подозрѣнія со стороны зрителей противоположнаго берега... Отсюда, съ дороги, по которой мыѣхали, еще можно замѣтить кое-какіе признаки работы, но со стороны Дуная всѣ наши постройки замаскированы блестательно и до сихъ поръ еще турками не открыты, иначе они открыли бы адскій огонь со всѣхъ своихъ береговыхъ батарей, грозно глядящихъ на нась своими обильно прорѣзанными амбразурами. Здѣсь существуетъ убѣжденіе, что половина этихъ амбразуръ пуста. Вотъ подождемъ настоящаго огня, тогда провѣримъ. Несмотря на то, что всѣ садики по дорогѣ положительно кишатъ нашими солдатами, особой суетливости замѣтно не было, и въ воздухѣ царствовала положительная тишина. Всѣ говорили вполголоса, на всѣхъ лицахъ выраженіе серьезное, покойное, въ каждомъ движениі видна увѣренность; видно, что всякий знаетъ точно и обстоятельно свое дѣло, никто никому не мѣшаетъ, не путается. Кипитъ подъ руками спѣшная работа и замѣтно къ концу близится. Вонъ виднѣется батарея; изъ-за кустовъ ясно видны уже настланная ея платформы, а настилка платформъ это уже послѣднее дѣло, за симъ остается только вооружить, то-есть поставить пушки; вонъ за старыми полуразвалившимися сараями, на гладко утрамбованшомъ току, гдѣ до сихъ поръ мирно молотилась пшеница, — стоять ряды какихъ-то грозныхъ орудій пытки, топорщатся, кверху какіе-то окованные брусья, висятъ цѣпи желѣзныя съ крючьями, шестерни, зубчатыя колеса, вся обстановка инквизиціоннаго трибунала — это дамкраты, подъемная машина, для снятія съ повозокъ тяжелыхъ орудій и постановки ихъ на боевые лафеты. Погребки для снарядовъ, крытые блиндажи для прислуги, все это готово и зіяетъ своими четвероугольными отверстіями въ желтоватомъ, глинистомъ

грунтъ свѣжихъ насыпей. А вѣдь всего двое сутокъ собственно, какъ начались всѣ эти сложныя и обширныя работы. Саперы просто не нахвалятся своими помощниками, пѣхотинцами. «Охоты много,— говорятъ они,— понукать незачѣмъ, да и смекалка есть; разъ ему только укажи, а уже потомъ и не суйся,— самъ все дѣло понимаетъ». Нѣсколько разъ сворачивали мы съ дороги, слѣзали съ коней, пробирались на работы и снова возвращались. Съ какимъ-то особыеннымъ, трудно объяснимымъ чувствомъ смотрѣлъ я и на эти группы работающихъ, и на тотъ берегъ, гдѣ такъ ясно, отчетливо видны линіи турецкихъ бастіоновъ, пестрыя крыши и узкія улицы Рушука, его сады, минареты— и дальше всего грозные форты... Говорить, отсюда можно изъ одиннадцатидюмового орудія достать до самаго Леванъ-Табія; фортъ этотъ расположился весьма невѣжливо къ нашимъ новостроющимъ батареямъ, онъ стоитъ сюда своею открытую горжею, т. е. затылкомъ, бѣлые стѣны его внутренней казармы такъ и просятся подъ выстрѣль; провожавшій насъ артиллеристъ просто ъль ихъ своими глазами... «Ну, а сколько, по вашему, будетъ?» спросилъ я его.— Сколько? переспросилъ онъ; прищурился немного, прикинулъ что-то на пальца и вздохнулъ.— «Не было бы недолету, а черезъ не хватимъ, отвѣтилъ онъ, верстъ пятьокъ съ половиною будетъ».

Но вѣдь это Леванъ-Табія; самый отдаленный отсюда пунктъ, прочие форты и самъ городъ съ его старою оградою гораздо ближе, послѣдний такъ совсѣмъ лежитъ подъ выстрѣлами даже девятифунтовыхъ полевыхъ орудій, не только-что осадныхъ значительно болѣе крупныхъ калибровъ и дальнѣйшей досгаемости.

Выбрались въ послѣдний разъ на дорогу, здѣсь уже начинаются крайнія хатки Слободзеи; кубанецъ часовой остановилъ насъ, подѣхалъ еще другой конный, спросилъ пропускъ, успокоился и далъ намъ дорогу. Длинная, пыльная улица деревни тянулась передъ нами безконечною лентою, тамъ и сямъ поднимались изъ-за зелени дымки солдатскихъ кухонь, у водопойныхъ колодъ, подъ журавлями фыркали и отмахивались хвостами отъ докучливыхъ мухъ вереницы осѣдланныхъ коней, по всѣмъ направленіямъ сновали всадники въ буркахъ и папахахъ. Что-то готовилось, куда-то собирались, это было очевидно... Батальонъ пѣхотинцевъ, въ ранцахъ, стоялъ подъ

ружьемъ, при нась онъ и тронулся, ходко, но молчаливо, безъ музыки, безъ пѣсень, за батальономъ ни одной повозки—значить на легкѣ, куда-нибудь неподалеку.

## VI.

Остановились мы у хаты, занимаемой начальникомъ бригады Т.

Здѣсь мы застали обоихъ Скобелевыхъ, и отца, и сына.

Молодцоватый стариkъ сидѣлъ на складномъ, походномъ стульѣ и баловался чайкомъ, памъ тоже предложили чаю, да оно и кстати было: продолжительная прогулка вызвала самый волчій аппетитъ; хозяинъ квартиры, въ черной черкескѣ съ серебряными патронами, не забывалъ и своего долга хозяйской гостепріимчности и прямыхъ своихъ обязанностей—то коврикъ постлать распорядится, то пошепчется съ какимъ-нибудь, только-что прискакавшимъ Богъ вѣсть откуда вѣстникомъ, за стаканами командируетъ къ сосѣду, бумажку подмахнетъ, опять пошепчется, только и слышны его отрывистыя фразы: «отъ первой сотни—взводъ!» «Господа, лимону»—«Эй, подай стулья!» «Уже послало, ваше превосходительство»...

Посидѣли, потолковали, зашелъ я къ сосѣду, напротивъ, таинъ живеть командиръ кубанского полка, извѣстный нашъ удаleцъ, Кухаренко, онъ занятъ въ настоящую минуту важнымъ дѣломъ: куетъ самолично своего чуднаго арабскаго жеребца; это знатокъ и страстный любитель кавалерійскаго дѣла вообще и коней въ особенности.

Вокругъ стоятъ нѣсколько офицеровъ, все кубанцы, и съ самыми строгими вниманіемъ слѣдятъ за ходомъ операциі.

— Эки у васъ сабли гремящія,—дѣлаетъ казакъ замѣчаніе уланскому полковнику...

— Не говори... Такая дрянь... Мы ихъ и такъ всегда подъ колѣно беремъ, чтобы звуку не давала...

— Въ ночномъ дѣлѣ просто бѣда... Я тебѣ съ своимъ полкомъ подъ носомъ пройду, ни одна собака не залаетъ, а у васъ троихъ уланъ за семь верстъ слышно...

А сборы уже кончаются... Солнце сѣло, темнѣетъ быстро... По улицѣ слышна дробная топотня конскихъ копыть—это идетъ сотня гостей съ Урала; бородатые, все больше рыхіе

казаки, на своихъ крѣпкихъ, широкозадыхъ башкирскихъ коняхъ, подтянулись и выровнялись, замѣтивъ начальство...

— Эти потянутъ!.. — слышались замѣчанія кавказцевъ, пытливо оглядывавшихъ проходившихъ мимо казаковъ.

— Кони добрые! — авторитетно заявилъ и самъ Кухаренко.

Опять пріѣхало нѣсколько всадниковъ съ аванпостовъ, опять пошептались, что-то было отмѣнено, что-то вновь приказано... Оба Скобелевы сѣли на лошадей.

— Ну, попыти Богъ успѣха!

— Прислушивайтесь, — шепнулъ мнѣ на ухо М., — на разсвѣтъ пальба начнется...

— Гдѣ?

— У Парапана! — и онъ указалъ мнѣ рукою въ данную сторону. — Пойдите къ С. онъ вамъ разскажетъ въ чёмъ дѣло.

Пошелъ я къ С. «Да что, говорить, минная загражденія класть собираемся по главному фарватеру, а то эти мониторы зазнались: сують носъ, куда имъ не слѣдуетъ».

Постановка минныхъ загражденій, въ виду непріятеля, при помощи крохотныхъ нашихъ паровыхъ лодокъ и гребныхъ шлюпокъ, когда со стороны турокъ, изъ Рущука выслали «пароходо-фрегаты» и панцырный суда, вооруженные громадными орудіями — дѣло не шуточное, крайне рискованное и съ весьма слабыми шансами на успѣхъ. Немудрено, что у всѣхъ на лицахъ было такое — не то, чтобы легкое беспокойство, а этакъ, ожиданіе чего-то рокового, на что уже рѣшились и передъ чѣмъ отступать не приходится... Такое же выраженіе не разъ приходилось мнѣ наблюдать, за время прежнихъ моихъ боевыхъ кампаній, на лицахъ охотниковъ, вызванныхъ на штурмъ бреши, или что-нибудь въ этомъ же родѣ, послѣ чего, даже при успѣхѣ, живыми и цѣлыми возвращаются далеко немногіе изъ участниковъ.

— Пошли Господы!.. Дай Богъ вамъ всего... — слышалось вслѣдъ за отѣзжающими...

Бѣлыя шапки обоихъ генераловъ мелькнули еще раза два между казачьихъ пикъ и черныхъ бурокъ кавказцевъ. Облачомъ пыли затянуло всю кавалькаду...

Дивизіонъ полевой артиллеріи, глухо гремя колесами по мягкому грунту дороги, тоже прошелъ черезъ селеніе, направляясь въ ту же сторону, куда скрылись казаки. Мы сѣли на

своихъ коней и потихоньку поѣхали назадъ въ Журжево, куда прибыли часу къ 12-му ночи...

Несмотря на позднее время, было не до сна. Сколько разъ выходили мы на берегъ и, затаивъ дыханіе, прислушивались не гремать ли уже выстрѣлы въ Парапанѣ. Разстояніе не велико, по прямой линіи верстъ пятнадцать, это не только пушечные выстрѣлы, но и ружейные залпы можно слышать, особенно ночью...

Прошелъ часъ... ничего неслышно... Еще часъ... тихо и покойно въ той сторонѣ... Что это: полная ли удача, положена ли мина такъ, что турки и не замѣтили, или просто не рѣшились даже и начинать рискованного дѣла? Опять мы ушли, опять вернулись на прежнее мѣсто... Вдругъ какой-то глухой ударъ пронесся по Дунаю и коснулся нашего слуха, за нимъ еще; потомъ на минуту стихло... Послышались другие удары, болѣе слабые, но почти безъ промежутковъ, очевидно это ружейные залпы; снова тишина, тяжелая, томительная тишина. А въ Рущукѣ, за островомъ, слышно грузное сопѣніе паровика. Красный огненный хвостъ тянется за темнымъ островомъ, это идеть къ Парапану на подмогу еще мониторъ и намъ онъ видѣнъ теперь уже ясно такъ, отчетливо, его профиль съ двумя мачтами и широкою приземистою трубою выдвинулся изъ-за острова и пересѣкаетъ свѣтлую полосу рѣки. Проспѣть онъ или нѣтъ... опаздаетъ? Новые вопросы, новое томительное сомнѣніе... И не мы одни наблюдаемъ все это — вонъ еще, и еще, въ кустахъ городского бульвара мелькаютъ группы, все наши, военные, вонъ и на гребнѣ берега, у пристани толпятся, изъ отеля «Бель-вию», что рядомъ съ бульваромъ, выскоило нѣсколько офицеровъ и торопливо оканчиваютъ свои туалеты... Безъ четверти три, я тотчасъ же посмотрѣлъ на часы, посмотрѣлъ машинально, при первомъ звукѣ выстрѣла... Тишина продолжалась не болѣе получаса; канонада послышалась снова и нѣсколько болѣе продолжительная... А уже начало сильно разсвѣтать. Мы и не замѣтили, какъ поблѣднѣлъ горизонтъ на востокѣ, какъ на крытыхъ жестью куполахъ колоколенъ заигралъ золотистый отблескъ... Уже совсѣмъ свѣтло стало, а выстрѣлы все гремятъ и гремятъ, съ большими или меньшими промежутками... Солнце взошло... Еще два, три залпа; наконецъ, все стихло.

Теперь надо ждать вѣстей оттуда; что-то окажется? Кто паль, кто остался цѣль? Вѣдь всѣ участники на перечеть извѣстны, всѣ знакомые... Удалось ли задуманное дѣло?..

Передамъ тещеръ разсказъ о дѣлѣ у Парапана, какъ онъ мною слышанъ былъ отъ очевидцевъ и участниковъ; что касается вѣ этомъ разсказѣ до главнѣйшаго его эпизода—подвига «Шутки» съ ея лихимъ экипажемъ,—то все слышанное мною провѣreno личными справками у самихъ героевъ дня—Скрыдлова и Верещагина. Мѣстность у Парапана такова: теченіе Дуная раздѣляется здѣсь двумя островами, Мичикомъ и Диналуемъ; первый выше второго. На высотѣ Мичика, на нашемъ лѣвомъ берегу, селеніе Парапанъ и вновь устроенная нашими саперами береговая батарея; нѣсколько ниже Динауя, на томъ же берегу селеніе Малуй-Дижось. Между островами не широкій проходъ, противъ котораго, уже на турецкомъ берегу, видна небольшая природная бухта и около—сторожевой блокгаузъ; отъ этого пункта, вдоль по турецкому берегу, противъ острова Динауя—вѣ нѣсколько ярусовъ тянутся ложементы для стрѣлковъ. Нашъ берегъ низкий съ безчисленными, болотистыми, водными затонами; турецкій—нагорный, покрытый деревьями и кустарникомъ (приложена схематическая карта мѣстности). Задача наша состояла вѣ томъ, чтобы, занять островъ Мичикъ стрѣлками, подъ ихъ прикрытиемъ, перегородить теченіе Дуная какъ по ту, такъ и по эту сторону острова минами и этимъ помѣшать дальнѣйшему плаванію турецкихъ мониторовъ изъ Рущука, парализовать окончательно вліяніе ихъ на переправу. Эскадра нашихъ паровыхъ и гребныхъ шлюпокъ съ минерами должна была выйтти съ своей стоянки вѣ заводяхъ у селенія Малуй-Дижось, пользуясь темнотою стать на мѣсто работъ и начать класть загражденія. Сначала все шло хорошо: островъ былъ занятъ стрѣлками, лодки наши, послѣ долгаго и труднаго плаванія (мѣстами такъ даже ихъ приходилось стаскивать съ отмелей руками), прибыли наконецъ, уже передъ разсвѣтомъ впрочемъ, на мѣсто и приступили къ дѣлу... На сторожѣ работъ вѣ проходѣ между островами, ма-скируясь нижнею окончестою Мичика, стоялъ паровой катеръ «Шутка», подъ командою лейтенанта Скрыдлова съ десятью человѣками экипажа; здѣсь же находился и нашъ извѣстный художникъ В. В. Верещагинъ; на «Шуткѣ» были и торпеды

для атаки, на случай если бы появилась турецкіе мониторы. Турки съ высокаго берега, когда начало разсвѣтать, замѣтили работы и открыли по нимъ огонь; наши стрѣлки съ острова и батарея съ берега отвѣчали; подъ этимъ огнемъ лодки продолжали работы, покончили съ однимъ проходомъ лѣвымъ и перешли уже въ правый, вдоль турецкаго берега... Минеры работали лежа въ лодкахъ, иначе они были бы всѣ перебиты пулями, такъ какъ находились отъ непріятеля на разстояніи самомъ близкомъ, чутъ что не пистолетнаго выстрѣла. Казакъ уралецъ, не захотѣвшій лечь по совѣту матроса, проговорилъ съ усмѣшкою: «гдѣ имъ попасть!» и тотчасъ же свалился, съ разбитымъ пулевою черепомъ... Быстро и покойно шли работы, до окончанія ихъ оставалось уже немногого, какъ съ «Шутки», стоявшей, какъ я уже сказалъ, въ проходѣ между островами, въ верстѣ отъ работъ, ниже, замѣтили столбъ дыма, медленно подвигающейся со стороны Рущука; за островомъ нельзя было хорошо разсмотрѣть, что это именно за судно. Тотчасъ же «Шутка» выступила навстрѣчу и, обогнувъ верхнюю копечность Диналуя, увидала въ верстѣ отъ себя громадный пароходо-фрегатъ, идущій медленнымъ ходомъ на наши минныя работы. Лейтенантъ Скрылевъ рѣшился немедленно атаковать колосса. Между тѣмъ, вѣдь уже было совершенно свѣтло, даже солнце начало всходить, и подобная атака, среди бѣлага дня, понятно, была дѣломъ высшей отваги и рѣшительности. Чтобы дать понять всю разницу въ силахъ, я только сдѣлаю слѣдующее сравненіе. Турецкій пароходо-фрегатъ—большое судно до 20 футовъ высоты отъ ватерь-линіи и до 200 футовъ длины, имѣть шесть орудій громадныхъ калибровъ и на своихъ кожухахъ малыя для стрѣльбы картечью, до 150 челов. экипажа, вооруженнаго штуцерами и столько же дессантата—пѣхотинцевъ. На него налетѣла «Шутка» съ десятю человѣками экипажа, вооруженными револьверами; размѣръ «Шутки» съ небольшимъ 50 футъ длины и футъ высоты отъ ватерь-линіи у кормы. Это все равно, что одиночному всаднику ринуться на батальонное каре. Но... «Шутка» готовила турецкому судну ударъ своею торпедою, она уже выдвинула ее передъ собою, на длинномъ, дрожавшемъ отъ быстраго движенія шестѣ. Турки знали это, и гигантъ сталъ позорно отступать передъ смѣлимъ пигмеемъ; это отступленіе превратилось скоро въ полное бѣгство въ огнѣ.

ство. Катеръ «Шутка», превосходный ходокъ, попесся на перръзъ пароходу и загналъ его къ самому берегу. Здѣсь «Шутка» пронеслась близко, мимо праваго колеса парохода, Скрыдловъ скомандовалъ «поворотъ», и ударъ былъ нанесенъ. Ударъ былъ направленъ вѣрно, въ самое опасное мѣсто, за колесомъ, у ватеръ-лини... До удара, какъ съ палубы парохода, такъ и съ берега турки осыпали «Шутку» градомъ пуль... Съ кожуховъ было даже сдѣлано нѣсколько выстрѣловъ картечью. Экипажъ нашего катера былъ скрытъ подъ стальными блиндами только Скрыдловъ и Верещагинъ были на виду—первый на своемъ командирскомъ посту у штурвала, второй на кормѣ у руля; и тотъ, и другой были ранены еще до удара: двѣ пули разомъ ударили Скрыдлова въ обѣ ноги, его правая рука была ушиблена обломкомъ, одна изъ ручекъ штурвала перебита въ двухъ мѣстахъ. Верещагинъ, нечувствовавъ ударъ, даже не обратилъ на него вниманія, занятый своимъ дѣломъ: онъ волочилъ на буксирѣ такъ называемую крылатую мину... Въ тотъ моментъ, когда ударъ былъ нанесенъ, раздалась громкая команда Скрыдлова: «Рви!»—«Есть!»— послышался изъ-подъ блиндовъ отвѣтъ минера; взрыва не послѣдовало, правые проводники оказались перебитыми пулями, положеніе «Шутки» было критическое, чтобы не сказать болѣе—отчаянное. «Рви по желанію!»—снова раздался голосъ командинра, это значитъ, пускай въ ходъ другой проводникъ и пускай, уже не разсчитывая по ходу стрѣлки моментовъ. Отдали «рви» съ рискомъ для самого себя. Снова отвѣтъ «есть» и снова безъ результатовъ. И вторые проводники оказались испорченными: шесть, поддерживающей выносную мину, сломанъ. Надо было отступать.

Междуд тѣмъ, на турецкомъ пароходѣ распространилась паника, когда «Шутка» нанесла ударъ въ бортъ парохода, всѣ бросились спасаться къ противоположному борту. Артиллеристы бросили свои орудія, капитанъ спрыгнулъ съ мостика, своего поста... На палубѣ парохода началась суетливая, безтолковая бѣготня. Турки, очевидно, ждали взрыва и за симъ моменѣтъ юй, всеобщей гибели. Но... Аллахъ должно быть взглянуль на нихъ въ эту минуту благосклоннымъ окомъ...

Первый моментъ испуга прошелъ, всѣ снова бросились къ атакованному борту, начался адскій огонь по «Шуткѣ», ко-

торая уже получила довольно сильную пробоину картечью, въ носовой своей части. Скрыдловъ велѣлъ отступать. Онъ уже не могъ подняться съ мѣста, только команда его гремѣла также громко и отчетливо, покрывая собою звуки перепалки. В. В. Верещагинъ, самъ бывшій морякъ, не смотря на свою рану, работалъ наравнѣ съ матросами. «Шутка» дала полный ходъ. Вдругъ (представьте только себѣ положеніе нашихъ смѣльчаковъ) они замѣтили передъ собою темныя очертанія и пыхтящія трубы другого турецкаго судна, идущаго на выручку своего товарища; это былъ большой двухъ мачтовый броненосецъ, вышедший передъ разсвѣтомъ изъ Рущука. Течениемъ снесло «Шутку» гораздо ниже прохода между островами, и ей оставался только одинъ путь отступленія—это идти въ обходъ нижней конечности Диналуя, т. е. навстрѣчу приближающемуся монитору; вопросъ заключался въ томъ, кто изъ противниковъ прежде подойдетъ къ оконечности острова, успѣеть ли «Шутка» проскользнуть подъ носомъ у турецкаго панцирика или тотъ загородить ей дорогу.

— Приготовь крылатую мину,—предупредилъ Скрыдловъ Верещагина.

— Готово,—отвѣчалъ тотъ.

Наши моряки рѣшились, во всякомъ случаѣ, бить мониторъ и гибнуть, такъ ужъ гибнуть вмѣстѣ.

Превосходный ходокъ «Шутка» неслась на всѣхъ парахъ. Мониторъ, вмѣсто того, чтобы итти на нее, сталъ уменьшать ходъ и даже совсѣмъ остановился; на его палубѣ послышались свистки, командные возгласы, снова запыхтѣли широкія трубы. Мониторъ пошелъ заднимъ ходомъ, «Шутка» нагнала на него страху... Вотъ вамъ явное наглядное доказательство той паники и недовѣрія къ своимъ судамъ, которыхъ вкоренились между турецкими моряками, особенно послѣ взрыва двухъ броненосцевъ у Браилова.

«Шутка», сильно уже осѣвшая, отъ большого количества воды, врывающейся въ картечную пробоину, успѣла сдѣлать поворотъ по теченію и зашла за островъ Диналуй; здѣсь судно остановилось и вскорѣ были сдѣланы исправленія, т. е. подведенъ парусъ подъ пробоину и откачена вода, подступавшая уже къ самымъ топкамъ... Вотъ въ какомъ положеніи оказалась «Шутка»: въ носовой части справа большая пробоина,

борты буквально изрѣшечены пулями и картечью, стальные блинды пробиты, ручки штурвала перебиты; кроме Скрыдлова и Верещагина, все остальные остались цѣлы, они были хорошо прикрыты блиндами; у минера, впрочемъ, пропущена фуражка...

Исправивъ наскоро главное поврежденіе, «Шутка» направилась вверхъ по теченію къ мѣсту работъ.

Благодаря необыкновенной отвагѣ и самоотверженію Скрыдлова—эти работы были доведены до окончанія. «Шутка» привлекла на себя все вниманіе непріятеля; только, когда уже наши рабочія лодки клали послѣднія мины, на турецкомъ берегу замѣчена была Скобелевымъ конная батарея, въ карьеръ несшася изъ Рущука къ мѣсту боя, и два батальона черныхъ стрѣлковъ, тоже идущіе бѣгомъ. Лодки наши успѣли однако быть вытащены на отмели Мичика, но турецкія гранаты начали ложиться между лодокъ—пришлось ихъ тащить дальше и снова спускать на воду. Самъ Скобелевъ ухватился за веревку. Всѣ безъ разбора принялись за дѣло. Тутъ уже не было ни чиновъ, ни различій—всѣ братья, всѣ работники одной равно дорогой для каждого, славной работы. Суда наши, наконецъ, были спасены всѣ и къ половинѣ шестого утра все уже было кончено. Только турецкимъ мониторамъ теперь уже нѣтъ ходу вверхъ, отъ Рущука. У Парапана они неизбѣжно рисуютъ наткнуться на ряды нашихъ минъ, а это болѣе чѣмъ важно въ виду наступающихъ событий. Минные загражденія наши совершенно обезпечены отъ порчи ихъ непріятелемъ: они находятся подъ защитою выстрѣловъ заблаговременно устроенныхъ нами сильныхъ береговыхъ батарей. Успѣхомъ ночного дѣла съ 7-го на 8-е мы обязаны необыкновенной предусмотрительности и знанію дѣла начальника отряда генерала Скобелева, расторопности и сметливости минеровъ, а главное бѣшеной отвагѣ лейтенанта Скрыдлова и его крохотнаго экипажа-малютки «Шутки».

Герой дня однако сильно огорченъ своими ранами, къ счастью не смертельными, которыхъ однако заставятъ его пролежать недѣли три въ постели. Самая же большая обида, по его мнѣнию, это то, что турецкая картечь испортила его мину. Не случись этого—отъ громаднаго турецкаго, двухмачтоваго военнаго парохода, въ данную минуту, не оста-

лось бы ничего на поверхности Дуная, развѣ бы только, какъ у его погибшихъ товарищѣй, торчалъ изъ подъ воды кончикъ изуродованной мачты.

## VII.

Сегодня въ полдень полиція предупредила жителей о бомбардировкѣ, которой долженъ былъ подвергнуться городъ. Всѣ наши войска, находившіяся въ городѣ, были выведены и расположены бивуакомъ въ сферы досягаемости выстрѣловъ. Когда я вышелъ изъ дома, чтобы ити къ начальнику отряда, генералу Шмидту, хвостъ послѣдней колонны вытягивался уже въ концѣ улицы, у станціи желѣзной дороги. Близъ бивуака въ небольшомъ лѣсѣ расположился и главный перевязочный пунктъ, разставилъ свои палатки, снарядилъ носильщиковъ и разложилъ инструменты, однимъ словомъ, наши медики и хирурги приготовились къ дѣлу, какъ и подобаетъ въ такую важную минуту. Дѣло въ томъ, что сегодня, ровно въ 3 часа пополудни, назначена была пристрѣлка орудій на нашихъ вновь возвѣденныхъ и вооруженныхъ батареяхъ, расположенныхъ между Журжевомъ и Слободзею, а также и дальше, по тому же направлению. Пристрѣлка состоить въ томъ, что когда батарея уже вооружена, т. е. на нее поставлены орудія и подвезены снаряды, она должна ознакомиться съ тою мѣстностью, которую ей придется обстрѣливать, практически проверить разстояніе пальбы, однимъ словомъ, прорепетировать свою роль; для этого, конечно, надо сдѣлать по нѣсколько выстрѣловъ изъ каждого орудія. Понятно, что турки не станутъ хладнокровно смотрѣть на подобную репетицію и будутъ отвѣтить; легко могло случиться, что ихъ батареи не оставятъ въ покой и самого города Журжева, почему предупрежденіе полиціи было какъ нельзя болѣе кстати. Идя къ генералу, встрѣтилъ я Н.-Данченко и Федорова, корреспондента «Русск. Вѣд.» — они шли тоже къ начальнику отряда и съ тою же цѣлью, т. е. выхлопотать себѣ разрѣшеніе наблюдать за артиллерійскимъ боемъ съ самаго удобнаго для этого пункта, именно съ верхней площадки городской каланчи, стоящей посреди площади, какъ разъ въ центрѣ города. Съ этой точки обѣ линіи батарей, какъ нашихъ, такъ и турецкихъ, видны

превосходно, можно прослѣдить почти каждый выстрѣль и дать себѣ самый полный и точный отчетъ во всемъ происходящемъ передъ глазами. Генералъ принялъ насъ очень любезно, онъ распорядился приготовить билеты для насъ трехъ и еще два для корреспондентовъ англійскихъ: доктора Карика и корреспондента «Times» высокаго, тощаго джентльмена, бывшаго артиллериста, крайне интересовавшагося такимъ нагляднымъ сравненiemъ дѣйствій турецкій артиллеріи и нашей.

И безъ того на половину покинутый жителями городъ, теперь опустѣлъ окончательно; на его длинныхъ улицахъ не видно уже почти никакого движенія, всѣ или бѣжали, или по-прятались, на нѣкоторыхъ дворахъ еще торопливо запрягались экипажи, по направлению къ станціи желѣзной дороги тянулись группы мужчинъ и женщинъ съ узлами на плечахъ; паника уже начинала охватывать мирныхъ обитателей Журжева, это было видно по ихъ, какъ-то тупо растеряннымъ выраженіямъ лицъ, по ихъ безтолковой суетѣ... Невольно приходилось улыбаться, глядя, какъ иногда бѣглецы тащили съ собою совершенно нестоющіе спасенія предметы, забывая про болѣе цѣнныя... Тамъ, глядишь, кто-нибудь просто изгибается подъ тяжестью корзины съ пустыми бутылками, тамъ двое тащутъ мягкий, тяжелый диванъ, или большое зеркало, узлы съ платьемъ связаны кое-какъ, наскоро, все вываливается оттуда, волочится по пыли... Какой-то полиціантъ-румынъ носится по улицамъ на своей тощей рыжей клячѣ, видимо безъ всякой определенной цѣли—«пореть горячку, что называется»; вместо того, чтобы успокоить перепуганныхъ бѣглецовъ, онъ только безтолково кричитъ на нихъ, ругается и еще болѣе увеличиваетъ общее смятеніе. Всѣ лавки заперты, на площади открыто только двѣ кофейни, тамъ толпятся немногіе, какъ кажется рѣшившіеся остаться и выдержать бомбардировку; кое-кто такъ даже бравируетъ слегка и сидѣть у столиковъ съ кружками пива, или съ неизбѣжнымъ дульчесомъ; я думаю, что это храбрецы только до первого выстрѣла, впрочемъ не стану дѣлать заключенія, начнется, увидимъ... а уже должно скоро начаться, стрѣлка часовъ показываетъ сорокъ пять минутъ третьяго, еще только четверть часа ожидать.

Журжинская башня стоитъ какъ разъ въ центрѣ городской площади. Это—каменное зданіе, довольно высокое, господ-

ствующее падь всѣми остальными постройками, подъ самою коническою крышею идетъ вокругъ всего карниза балкончикъ съ желѣзною рѣшеточкою. Когда мы подошли къ другой двери каланчи, нась остановилъ часовой и потребовалъ разрѣшающіе входъ билеты; увидѣвъ ихъ, онъ пропустилъ нась къ верху безпрепятственло. Узкая деревянная лѣстница съ прогнившими ступенями, съ безчисленными провалами, съ перилами самой сомнительной прочности вела на верхъ... Внутри зданія, въ этой каменной трубѣ царилъ самый неопределенный полусвѣтъ... Кто поднимался на верхъ, кто спускался, поминутно слышались предостерегательные воззванія то съ той, то съ другой стороны:— „Осторожнѣй, чортъ“...— „А ты развѣ не видишь“... „Виноватъ, ваше благородie...“— „Ахъ ты!..“ „Тише, генераль тамъ...“— „Да помилуйте, тутъ бѣдная собачка щениться пришла; покою хочетъ, а онъ прямо претъ...“— „Ишь нашла мѣсто...“— „Осторожнѣй!“ Дѣйствительно на какомъ то крайне рискованномъ поворотѣ, у самыхъ ступеней лѣстницы, билось какое-то живое существо, жалобно повизгивающее и ласково, усердно такъ лижущее ноги проходящимъ.

Два-три нашихъ солдатика, караульныхъ башни, относились къ будущей матери гораздо съ большимъ вниманіемъ, чѣмъ къ турецкой бомбардировкѣ, которая вотъ-вотъ должна была начаться и разразиться надъ Журжевымъ.

Поднялись, наконецъ, и выбрались на балконъ, ярко освѣщенный солнцемъ. Тамъ уже былъ и генераль.

— Господа, лучшаго наблюдательного пункта нельзя и выдумать. Смотрите!— привѣтствовалъ онъ наше появленіе.

Дѣйствительно, видъ отсюда какъ на турецкія позиціи, такъ и на линіи нашихъ батарей превосходень. Вы можете отчетливо видѣть каждый мельчайшій эпизодъ и вмѣстѣ съ тѣмъ общее цѣлое.

Непосредственно отъ подножья каланчи, съ круглой площади радиусами тянулись улицы города, передъ нами развертывалась панорама зданій, между ними зеленыя группы садовъ, красивый фасадъ городской гимназіи, куполы церквей и колоколенъ, затѣмъ опять сады, сверкающей на солнцѣ Дунай и всѣ его острова и отмели... Влѣво Рущукъ со всѣми его батареями, вправо—самый обыкновенный, слегка возвышенный, кое-гдѣ поросший берегъ, между Слободзеей и Журжевомъ, тотъ

замый берегъ, вдоль которого въ нѣсколько дней, или правильшѣе, въ нѣсколько ночей, былъ возведенъ рядъ сильныхъ нашихъ батарей, до сихъ поръ еще незамѣченыхъ турками. Дѣйствительно, какъ я ни присматривался въ бинокль къ этому берегу и признака не видно какихъ-нибудь сооруженій, а между тѣмъ они есть, сейчасъ даже дадутъ знать о своемъ существованіи, снимутъ, такъ сказать, маску и снимутъ ее не безъ эффекта... Вынуль часы, смотрю... и у всѣхъ другихъ часы въ рукахъ... глаза перебѣгаютъ съ циферблата на этотъ, повидимому, мирный берегъ и обратно... Стрѣлка ползетъ медленно, гораздо медленнѣе, чѣмъ бы слѣдовало, чѣмъ бы т. е. хотѣлось...

Я даже вздрогнулъ невольно... На самомъ дальнемъ концѣ линіи нашихъ батарей, на правомъ флагѣ, за Слободзеей даже вспыхнуль бѣлый клубъ дыма... Я его ждалъ, а все-таки вышло какъ будто неожиданно. Другой дымъ вспыхнуль въ Рушукѣ, это разорвало долетѣвшій снарядъ... Оба звука дошли до насъ въ той же послѣдовательности, но гораздо позже. Вотъ опять дымъ, опять разрывъ снаряда... Еще и еще. Турки не отвѣ чаютъ... Въ Рушукѣ тревога, канонада для нихъ сюрпризъ совершенно... По скатамъ холмовъ между отдѣльными фортами, тамъ, гдѣ бѣльются ряды коническихъ палатокъ, суматоха страшная, носятся всадники, войска выбѣгаютъ и становятся въ ружье, ихъ ведутъ... Куда? Конечно, къ берегу, туда, откуда грозить врагъ. Нѣтъ. Густыя колонны турецкой пѣхоты скрываются за склонами холмовъ; ихъ просто выводятъ изъ сферы досягаемости выстрѣловъ, это тоже самое, что сдѣлали и наши заблаговременно. Бой предполагается, значитъ, исключительно артиллерійскій.

Вонъ видны какія-то части, пробирающіяся гуськомъ по траншеямъ, связывающимъ отдѣльно стоящія батареи—это прикрытия къ орудіямъ на всякий случай... Вотъ уже замѣтно движение и на самыхъ батареяхъ, тамъ очнулись должно быть... Первый дымокъ съ той стороны... Второй, третій... Турки отвѣчаютъ бѣшенно, съ остервенѣніемъ, они горячатся, снаряды падаютъ безтолково, большинство рикошетируетъ по Дунаю. Громадный столбъ бѣлого дыма взвился между домомъ итальянского консула и береговою дамбою; это взрывъ—очевидно, но что именно взорвало—неизвѣстно: тамъ не можетъ быть

у нихъ никакого порохового погреба, я знаю это мѣсто хо-  
рошо, погреба вѣдь подобного рода не строятъ на открытыхъ  
городскихъ улицахъ... Грохотъ страшный. Каррикъ увѣряетъ,  
что видить въ свой бинокль взлетѣвшіе обломки чего-то...  
Бракенбери — корреспондентъ «Times'a» — говорить, что это  
взорвало на ходу зарядный ящикъ... Очень можетъ быть... Во  
всѣ пять записныхъ книжекъ занесень фактъ взрыва.

Двадцать пять минутъ четвертаго — еще ударъ, страшный,  
долетѣвшій до насъ трескучими перекатами — это съ батареи  
«Самойло», того самаго офицера, что взорвалъ «Лутфи-Дже-  
лиль»; хватили какъ разъ по брустверу, круглой каменяной ба-  
тареи, особенно выдающейся въ линіи турецкихъ береговыхъ  
укрѣплений. Видна цѣлая туча красноватой пыли, тамъ блес-  
нуль огонь... Опять ударъ, опять туда же... Круглая батарея  
не отвѣчаетъ, она замолчала... На долго ли? Всѣ наши спа-  
ряды громятъ теперь другой пунктъ, какой-то длинный гли-  
нистый брустверъ, съ которого идетъ самая оживленная стрѣльба;  
очевидно, что наши артиллеристы не разбрасываютъ, они  
условились, чтобы всѣ батареи поочередно громили одинъ и  
тотъ же пунктъ, пока его не заставятъ замолчать, а затѣмъ  
уже принимаются за другой — это разсчетъ вѣрный, система  
артиллерійскаго боя самая правильная... Вотъ и у турокъ,  
какъ кажется, возстановляется что-то въ родѣ порядка, оче-  
видно явилась чья-то властная рука... Вдругъ страшный визгъ  
въ воздухѣ заставилъ всѣхъ насъ обернуться по новому на-  
правленію, вслѣдъ за этимъ визгомъ — ударъ и взрывъ, это  
хватили уже въ нашу сторону, бомба упала на черепичную  
крышу дома между зданіемъ гимназіи и гостиницею «Евро-  
па» — тамъ въ пыли и дыму ничего не видно... Нѣсколько де-  
сятковъ румынъ стремительно, въ разсыпную, бѣгутъ черезъ  
площадь. Это теперь уже въ нашу сторону бьютъ... огонь от-  
крытъ по городу и замѣтъте, городу невооруженному — надъ  
зданіемъ гимназіи флагъ съ краснымъ женевскимъ крестомъ...  
Первый выстрѣль именно по направленію этого предохрани-  
тельного флага. Вотъ и второй ударъ — какъ разъ по крышѣ,  
у самаго флагъ-штокъ... Третій ударъ! еще какой-то домикъ,  
выглядывающій своею черепичною крышею и бѣлыми трубами  
изъ яркой зелени акацій, скрывается въ облакѣ пыли и  
смрадѣ...

Генераль пошелъ отдать нужныя распоряженія... Мы только виатеромъ остались на каланчѣ...

— Здѣсь очень удобно, господа! — замѣтилъ Бракенбери и улыбнулся... мнѣ даже показалось, что онъ толкнулъ локтемъ Каррика. — Отсюда такъ все хорошо видно... и жаль, что вашъ генераль пошелъ искать болѣе удобнаго для наблюденія мѣста... Сказавъ это, онъ спокойно сталъ скручивать себѣ сигаретку.

— Это вызовъ! — шепнулъ мнѣ Федоровъ, и тутъ же добавилъ громко: — жаль, что не кого послать, да и некуда, чтобъ намъ принесли сюда обѣдать!

Вотъ, моль, тебѣ: получи и роспишись!..

А ей-Богу, не повѣрю, чтобы свистъ, или правильнѣй, этотъ отвратительно сверкающій воздухъ, металлически звенящій звукъ быль бы особенно пріятенъ... мнѣ часто на своемъ вѣку приходилось слышать эту адскую музыку и я къ ней относился хладнокровно только тогда, когда было что нибудь другое, болѣе поглощавшее мое вниманіе... До сихъ поръ мнѣ рѣдко, почти даже никогда не приходилось быть празднымъ зрителемъ и слушателемъ этихъ прелестей...

Ба!.. громъ взрыва на воздухѣ, характерный звукъ летящихъ во всѣ стороны осколковъ... что-то звякнуло внизу о стѣны каланчи,.. это шрапнель... снарядъ, рвущійся посредствомъ дистанціонной трубки, а не отъ удара...

— Это уже положительно обстрѣливаютъ нашу группу! — замѣтилъ Каррикъ: — иначе зачѣмъ имъ стрѣлять по городу шрапнелями, предназначенными исключительно для стрѣльбы по массамъ войскъ...

Жара певыносимая отъ накалившихъ стѣнъ каланчи, особенно отъ ея жестянной крыши пылаеть какъ отъ натопленной печки... Отъ этой оглушительной трескотни въ воздухѣ начинаеть болѣть голова. За дымомъ и пылью, поднявшейся на улицахъ отъ разрушенныхъ зданій — плохо видно въ даль... Но вотъ пахнуло вѣтромъ — позиція турокъ мало-по-малу снова начинаеть открываться... Ого!.. это громятъ Журжево близнія батареи — праваго фланга, не участвующія непосредственно въ артиллерійскомъ бою: онѣ бываютъ беззащитныя мирныя зданія безнаказанно и покойно. Всѣ выстрѣлы направлены все-таки по линіи женевскаго флага: этотъ кварталъ пострадалъ болѣе всего...

— Ура!..

— Что такое?

— Вторая батарея, эта длинная, глинистая уже стихает... Она молчитъ... Смотрите, смотрите!

Всѣ пять биноклей направлены въ ту сторону... Въ записаны книжки заносится фактъ: «пять минутъ пятаго—вторая батарея Рущука сбита... Люди бѣгутъ съ батареи—линия турецкаго огня разорвана по срединѣ...»

— Въ церковь!.. трахъ!..

Дѣйствительно, у церкви видѣнъ взрывъ, тамъ подъ среднимъ карнизомъ большая пробоина. Не то дымъ, не то пыль и песокъ валитъ изъ оконъ, вѣрно и то и другое вмѣстѣ.

— Господа, болѣе стоять здѣсь нечего. Спустимся внизъ,— предложилъ кто-то...

Дабы не задѣвать самолюбія ни той, ни другой націи, я не назову имени. Кстати и предложеніе это было сдѣлано голосомъ весьма покойнымъ, въ которомъ вовсе не слышалось желаніе итти на утекъ...

— Теперь мы можемъ и итти,—не утерпѣлъ Федоровъ, чтобы не подчеркнуть слово теперь...

— Господа, осторожнѣй по лѣстницѣ!—возвѣстилъ намъ спустившійся впередь Н. Данченко:—не задавите новорожденныхъ...

Пусто въ башнѣ и около, маленький караулъ по приказанію генерала оставилъ свой опасный постъ. Какъ здѣсь хорошо, прохладно, въ этомъ сыромъ, сводчатомъ помѣщеніи нижней части каланчи, да кстати и совершенно безопасно... Теперь куда же?..

Я предложилъ сдѣлать маленькую прогулку по городу, именно въ гимназіи, чтобы дорисовать ея сильно пострадавшій уже фасадъ, затѣмъ заглянуть въ Европейскую гостиницу и побывать на бульварѣ, однимъ словомъ, обойти средній кварталъ... Теперь уже всѣ рискнувшіе остаться въ городѣ попрятались въ ногреба и подвалы, только въ кофейнѣ на площади, подъ ея сводчатымъ куполомъ притаялось человѣкъ шесть румынъ и между ними бравурничаль тотъ же самый полицейскій, только онъ былъ уже пѣшкомъ и жестикулировалъ особенно размашисто; храбрецъ былъ окончательно пьянь и требовалъ, чтобы ему принесли сейчасъ живого турку и что онъ тогда ему покажетъ что-то... Мы пошли...

По совершенно пустымъ, засореннымъ битыми стеклами и обломками карнизовъ, улицамъ, бродила только маленькая кучка корреспондентовъ...

— Посмотрите, — протянулъ мнѣ свою записную книжку корреспондентъ «Times» и даже подчеркнулъ ногтемъ написанное: «Журжа, 24 іюня, подъ выстрелами. Очень интересно, но ни одного французского шута, въ родѣ Жана Вестина и графа Белина, и ни одного нѣмца, только три русскихъ и два англичанина».

Дѣйствительно, было немного странно, что ни одинъ корреспондентъ, кромѣ насъ пяти, не пожаловалъ сюда, тѣмъ болѣе, что ихъ предупреждали о томъ, что на дняхъ должно совершиться нѣчто весьма интересное. На другой день послѣ бомбардировки, ихъ, впрочемъ, появилось таки достаточно и они очень храбро разспрашивали о всемъ вчера случившемся.

Мы начали задуманный обходъ. Прошли мимо Европейской гостиницы, тамъ погромъ полный, вся стеклянная галлерея средней части исковеркана, въ стѣнахъ громадныя пробоины и закоптѣлые слѣды разрыва гранатъ, надъ кухнями крыша пробита, груды мусора и битаго стекла дальше... Вотъ и зданіе гимназіи; громадный бѣлый флагъ съ краснымъ крестомъ развѣвается и полощется въ воздухѣ, во всемъ лицевомъ фасадѣ зіаютъ черныя отверстія пробоинъ. Здѣсь мы остановились на нѣсколько минутъ.

Только что я кончили свой набросокъ, какъ страшный ударъ положительно оглушилъ насъ и въ то же мгновеніе, звукъ разрыва, блескъ красноватаго огня и отвратительный, не передаваемый визгъ летящихъ во всѣ стороны осколковъ. Ничего не видно, кромѣ сплошной тучи каменистой пыли, слѣпящей глаза... Что-то металлическое звякнуло почти у самаго моего плеча...

— Охъ, Господи!..

Кто произнесъ это, не знаю, но этотъ призывъ я слышалъ ясно, отчетливо... Ахъ, какое тяжелое, невыносимое мгновеніе... Невольно сами собою закрываются глаза, зубы стиснуты... Ударъ слишкомъ уже близокъ; жертвы должны быть непремѣнно... Кто же?.. Все это я пишу спустя всего часъ времени, ощущенія еще очень живы и легко воспроизводятся.

Въ эту минуту я слышу еще и звукъ удара, и взрывъ, и визгъ осколковъ. Мнѣ кажется, что эти осколки я даже ощущаю на своемъ собственномъ тѣлѣ... Теперь мнѣ положительно страшно, я даже взбѣшенъ на себя, мнѣ стыдно за себя... И съ какой стати я здѣсь, когда имѣю полное право быть въ всякой опасности?..

— Однако хватило? — раздался спокойный голосъ Каррика. Онъ произнесъ эту фразу такимъ же тономъ, какъ бы говорилъ: «однако холодновато»... или что-нибудь въ томъ же родѣ. Н.-Данченко подбираетъ осколки на память, я увлекся примѣромъ и положилъ въ карманъ тоже кусокъ свинцовой оболочки разорвавагося снаряда—это тотъ самый кусокъ, что ударился въ стѣну въ полуаршинъ отъ моего плеча.

— А что вашъ рисунокъ конченъ?.. Вы уронили вашъ альбомъ, вотъ онъ!..

Ахъ, какъ мнѣ не хотѣлось струсить въ это проклятое мгновеніе, но, ей Богу, я струсилъ, да еще какъ!.. Мнѣ только досадно, замѣтили ли это мои товарищи или нѣтъ, мнѣ почему-то ужасно не хочется, чтобы они замѣтили, я выдумываю, я пытаюсь придумать какую-нибудь маскирующую мой испугъ штуку, произнести какую-нибудь бравурную фразу, ничего не выходитъ.

Идемъ дальше. Вотъ и бульваръ; какъ тутъ хорошо, тѣнисто, прохладно, только хорошенький павильонъ пробить на сквозь; какая-то скамейка расщеплена, опрокинута и летить поперекъ дороги. На бульварѣ я вздохнулъ спокойнѣе, я не знаю почему, но мнѣ показалось, что здѣсь опасность несравненно меньшая. А снаряды ревутъ и ревутъ въ воздухѣ... Мы уже прошли бульваръ и какъ-то не хочется итти дальше въ эту жаркую улицу, заваленную обломками... Вонъ въ концѣ ея видна намъ наблюдательная каланча. Мы свернули туда. Въ этуницу, Богъ вѣсть откуда, вывернулась женщина, полураздѣтая, обезумѣвшая отъ ужаса... Она мечется посерединѣ улицы, завидѣла насъ, рванулась къ намъ, что-то говоритъ непонятное.

— Бѣгите туда, вотъ въ ту сторону, къ станціи желѣзной дороги, тамъ безопасно!

Она ничего не понимаетъ, не понимаетъ нашихъ жестовъ и мимики, съ помощью которой мы пытались объяснить въ чёмъ дѣло.

— А вѣдь она не дурна! — не утерпѣлъ таки Н.-Данченко. Каррикъ и Федоровъ взяли ее подъ руки и повели силою, та упирается и молится Богу: она положительно помѣшалась отъ страха. А тутъ какъ на бѣду опять страшный ударъ, опять разорвало гранату и очень близко разорвало. Я слышу звонъ стеколь и лязгъ оборванныхъ телеграфныхъ проволокъ. Несчастная женщина остолбенѣла и опустилась на мостовую. Хоть на рукахъ неси. Мы такъ и сдѣлали. Приходитъ въ кофейню на площадь, подъ ея сводами относительно безопасно, это какой-то странно уцѣлѣвшій уголокъ. Мы туда и втащили бѣдную женщину. Видимъ: не то идеть, не то ползетъ вдоль стѣны что-то страшное, окровавленное... Кажется, человѣкъ, да, это человѣкъ, потому что можно разобрать слова въ этихъ жалобныхъ стонахъ и причитаніяхъ. Это несчастный кельнеръ нашей гостиницы; ему осколкомъ гранаты пробило черепъ, какъ разъ лобъ выше праваго глаза, пробило сильно и какъ еще онъ можетъ держаться на ногахъ, изумительно!. Никто не подходитъ къ несчастному, всѣ даже отъ него въ сторону шарахнулись. Эта изуродованная, окровавленная фигура, воющая у дверей кофейни, видимо, всѣхъ пугаетъ. Каррикъ — докторъ, онъ знаетъ свое дѣло и тотчасъ же приступилъ къ осмотру раны и ея перевязкѣ. Какимъ молодцомъ управляется онъ съ своимъ дѣломъ. Облили несчастнаго водою, обмыли пребоину — глубока страшно, бѣлѣтъ мозгъ, рана смертельна. Перевязали ее носовымъ платкомъ, стащили со стола для той же цѣли какую-то цвѣтную салфетку. Хозяинъ румынъ протестуетъ и говоритъ что-то о десяти франкахъ. Требуемъ носилокъ — нѣтъ. Полиціантъ, до сихъ поръ бодрившійся, ослабѣлъ уже окончательно и бормочетъ какую-то безсмыслицу... Какъ все это гадко, противно!.. Мы вгроемъ подхватили кое-какъ бѣднягу, потащили къ госпиталю, это не очень далеко, не болѣе версты, но турецкіе снаряды достаются и туда, тамъ вѣдь тоже Красный Крестъ на флагѣ, а это ихъ исключительная цѣль. Насъ пять, съ нами, какъ я уже сказалъ, двое англичанъ, шансы почти равны, кстати съ нами представитель газеты «Times». Мы составимъ протоколь и попросимъ подписать также и этого представителя, онъ долженъ подписать, потому что фактъ очевиденъ. Мы такъ и сдѣлали.

На половинѣ дороги къ госпиталю, насыть чуть не сбилась ногъ какая-то телѣга, безъ сѣдоковъ. Испуганные кони несутся стремглавъ; грядки телѣги въ крови, у одной лошади весь задъ въ крови тоже и она озлобленно брыкается. Вотъ видна у тротуара лужа крови и пятнистые слѣды кудато внутрь двора. Изъ подвальной отдушины выглянула испуганная, блѣдная физіономія и, завида насыть, моментально спряталась; изъ той же отдушины доносятся женскій голосъ и хныканье ребенка...

Мы наконецъ добрались до госпиталя. Сюда долетаютъ снаряды, но меньше; здѣсь, по крайней мѣрѣ, они не такъ гремятъ, мягкая почва луга не благопріятствуетъ разрыву не то что каменные стѣны и мостовые: тамъ почти каждая лопается. Половина седьмого, солнце еще, впрочемъ, довольно высоко, но свѣтить тускло, это потому, что воздухъ надъ городомъ наполненъ пылью и дымомъ—чувствуется сильный запахъ извести и смрада... Нѣтъ, я больше въ городъ не пойду, тамъ нечего дѣлать. Кстати есть обходная тропинка и по ней можно добраться до рельсовъ желѣзной дороги, а оттуда на станцію. Такъ я и сдѣлалъ и не одинъ я—мы всѣ, потому что едва только раненый былъ сданъ, мы всѣ собрались на лужайкѣ около шоссе и молча, не сговариваясь даже, потянулись по одной и той же тропинкѣ...

Нервы ослабли, утомленіе — и физическое и нравственное, — полное.

Вправо отъ нашей тропинки за канавою видно поле, тамъ бивуакируетъ рота нашихъ пѣхотинцевъ, а можетъ быть и немногого болѣе, это поддержка береговыхъ карауловъ, расположенныхъ влѣво отъ города, по Дунаю. На бивуакъ, на моихъ глазахъ, упали три гранаты, одна лопнула, двѣ другія нѣтъ. Слава Богу, благополучно, никого не задѣло. Солдаты подбираютъ осколки и ищутъ куда-то закатившіяся нелопнувшія гранаты. Ага, а вотъ одна хватила какъ разъ у подъѣзда госпиталя, эта разорвалась десять минутъ тому назадъ, мы сами были на этомъ подъѣздѣ, опять граната и опять въ то же мѣсто. Положительно въ войнѣ съ турками выставлять бѣлый флагъ съ краснымъ крестомъ не слѣдуть, это самое лучшее средство сосредоточить именно сюда, на этотъ флагъ, всѣ выстрѣлы. Турки распорядились иначе, они прикрыли между-

народнымъ флагомъ свои пороховые погреба. Надъ каждою батарею ихъ тоже красуются бѣлые знамена съ красною луною, замѣняющей жепевскій крестъ. Въ этомъ легко убѣдиться: стоитъ только повнимательнѣе смотрѣть въ бинокль, положительно надъ каждою батарею...

### VIII.

Пришли на станцію,—здѣсь массы народа; все, что бѣжало изъ города, задержалось въ этомъ, почти безопасномъ, пункѣ. Я говорю почти, потому что сюда достигали, и то изрѣдка, спаряды только самыхъ дальнострѣльныхъ орудій, какихъ у турокъ весьма немного, да и долетали эти снаряды совершенно случайно, самое же колоссальное зданіе станціи могло служить весьма солиднымъ прикрытиемъ. Только-что успѣль длинный поѣздъ, увезя тѣхъ счастливцевъ, кто имѣлъ возможность уѣхать. На длинныхъ, крытыхъ платформахъ стояла сплошная толпа мужчинъ, женщинъ и дѣтей; все свободное пространство было завалено узлами, сундуками и прочимъ, нажоро захваченнымъ скарбомъ; все шумѣло, волновалось, даже плакало и съ беспокойствомъ присматривалось въ сторону несчастного города, откуда то и дѣло раздавались удары лопающихся гранатъ; за угломъ главнаго зданія, во дворѣ стояло пять колясокъ четверкою; въ нихъ сидѣли наши сестры милосердія крестовоздвиженской общины, въ своихъ скромныхъ сѣренъкихъ платьяхъ и бѣлыхъ косыночкиахъ на головахъ: онѣ въ составѣ санитарнаго отряда, направляющагося въ Александрію. Сестры вели себя молодцомъ, бодро, даже съ нѣкоторымъ любопытствомъ присматривались къ бомбардировкѣ и прислушивались къ грознымъ ея звукамъ, для большинства изъ нихъ слышаннымъ впервые. Остановка была за укладкою ихъ безчисленнаго багажа; — молодыя сестры безпрестанно выскакивали изъ экипажей и выбѣгали изъ-за своего прикрытия. Очень уже любопытно было, должно быть. Пожилая дама съ почетнымъ крестомъ на груди ворчала и распекала ихъ, какъ и слѣдуетъ, за это неумѣстное любопытство. Наконецъ, весь кортежъ уложился и тронулся съ мѣста. Я пожелалъ имъ счастливаго пути, и главное поменьше дѣла.

— Ахъ, нѣтъ, напротивъ, побольше...—закричала мнѣ въ

твѣть, съ высоты козель, совсѣмъ юная, миловидная брюнетка и тотчасъ же спохватилась, что будто неладно.

— Да, да... вы правы,— поменьше, поменьше! — поправилась она и даже привстала на козлахъ, такъ ей захотѣлось посмотреть, — куда шлепнется граната, провизжавшая саженяхъ въ полутораста отъ поѣзда.

Кучера хватили по своимъ четверкамъ и въ карьеръ понеслись, спѣша выбраться изъ обстрѣливаемаго пространства. Они такъ трусили до сихъ поръ, что пока пассажиры не уѣхали на мѣстахъ, надо было поставить казаковъ стеречь румынскихъ возницъ, иначе они бы всѣ разбѣжались, побросавъ даже своихъ лошадей и экипажи. Подобные факты случаются здѣсь безпрестанно.

А канонада начинаетъ какъ будто стихать, — тамъ, противъ чего работаютъ наши батареи, тамъ уже почти тихо... рѣдко, рѣдко слышенъ выстрѣль, со стороны турокъ... ихъ должно быть потрепали порядочно; эти же, что дѣйствуютъ противъ неотвѣщающаго имъ города, еще продолжаютъ неистовствовать. Часамъ къ восьми вечера однако и тамъ сталотише, а ровно въ восемь перестрѣлка совсѣмъ прекратилась и надъ полуразгромленнымъ городомъ воцарилась, наконецъ, тишина... тяжелая, томительная тишина, производящая совсѣмъ не успокаивающее, а какое-то пренепрѣятное, тоскливоѣ чувство.

Жажды страшная, во рту пересохло; спасибо коменданту, пригласилъ къ себѣ пить русскій чай. Вы не понимаете, что значить здѣсь русскій чай. Здѣсь вы только понимаете настоящее его значеніе и цѣну. Столикъ былъ вынесенъ на площадку, на немъ воздвигнулся нашъ родной, настоящій русскій самоваръ, а не эта противная таймашина. Что-то теперь тамъ, на нашихъ батареяхъ, — кто убитъ, кто раненъ? Все вопросы такие жгучіе, самые волнующіе. Посылали на перевязочный пунктъ, онъ довольно далеко отсюда, версты три. Раскинулся докторскій бивуакъ, какъ его здѣсь называютъ, въ прелестномъ лѣску, новенькие, еще необновленные красивые шатры, чистыя переносныя койки, ампутационные и перевязочные столы, еще не запятнанные кровью. Все это распланировано такъ уютно, комфортабельно, глядитъ празднично... Чуть-чуть не сказалъ привѣтливо... На всякий случай разсчитывали на потерю съ нашей стороны значительную, а потому

и приготовились какъ слѣдуетъ. Такъ вотъ посылали на этотъ самый пунктъ—тамъ ничего. Медики и хуурги безъ дѣла,— говорять: «странно, что это до сихъ порь никого не волокутъ!» А вотъ и вѣстникъ съ батареи. По дорогѣ, прорѣзывавшей густой кустарникъ, заслоняющій отсюда линію огня, идетъ пѣшкомъ какой-то высокій плотный бородачъ въ бѣломъ кителѣ, это одинъ изъ артиллеристовъ... ближе подходитъ—знакомый, такъ и подмыло всѣхъ къ нему навстрѣчу.

— А зравствуйте, полковникъ... Ну, что доброго скажете?— послышались вопросы:—кто убить?

— Слава Богу, никого... все благополучно... Ахъ, это у васъ чай... чай... да... нельзя ли и мнѣ стаканчикъ?

Усадили доброго вѣстника.

— Я, — говоритъ онъ, и голосъ охрипъ совсѣмъ, такъ въ горлѣ пересохло.

— Я, — говоритъ онъ,—извините, менѣе полдюжины стакановъ не въ состояніи выпить...

Пить полковникъ чай, для скорости на блюдечко лить— и разсказываетъ. Наши артиллеристы держали себя молодцами—работали спокойно, спокойнѣе чѣмъ на учебномъ полигонѣ и несравненно хладнокровнѣе; причина совершенно понятна: здѣсь — гроза впереди, и онъ эту грозу бѣть, чего же тутъ волноваться особенно;—тамъ же гроза сзади и онъ ея бить не смѣеть, а громить ни въ чемъ неповинная, безответственная мишени, къ которымъ никакого озлобленія вовсе не чувствуетъ. Здѣсь дѣло, а тамъ—молъ только муштра.

Батареи всей нашей линіи работали систематично, онѣ не стрѣляли всякая противъ себя, не разбрасывали выстрѣловъ, а громили данные точки поочередно... Наводка орудій была не торопливая съ точною провѣркою и выдержкою наилучшихъ моментовъ... просто на дымокъ снарядовъ не пускали. Однимъ словомъ, это была словно не молодежь, въ первый разъ находящаяся въ дѣлѣ, а старые бывалые ветераны... Рассказчикъ—опытный и многослужилый боевой офицеръ—съ особеннымъ удовольствіемъ говорилъ, что онъ ни въ офицерскихъ, ни въ солдатахъ не замѣтилъ никакого стремленія къ бравадамъ и разнымъ фанфонацамъ... никто не торчалъ зря на видныхъ мѣстахъ, съ традиціоннымъ покутиваніемъ сигары или якобы хладнокровнымъ кручениемъ папиростъ; никто

не позволяль себе острить и балаганить, пѣть веселенькіе куплеты, какъ тоже многіе любять дѣлать... Всѣ вели себя необыкновенно просто и серьезно. Они дѣлали свое дѣло, строго относясь ко всякой его детали, они отлично сознавали, что каждое мгновеніе можетъ принести имъ смерть и... навѣрное были нравственно готовы къ этой смерти, а въ этой-то готовности, въ этой спокойной, религіозной рѣшимости умереть и заключается вся стойкость, вся могучая сила нашей арміи... И это правда. Если вы увидите въ бою, подъ выстрѣлами, джентльмена, напѣвающаго мотивы изъ Оффенбаха — знайте: онъ самъ себя бодрить, а вмѣстѣ съ тѣмъ и шарлатанить... Помню я одного такого «колопеля» еще въ сербскую войну, когда турки обстрѣливали Дьюнишъ. Онъ — стоя впрочемъ за прикрытиемъ, щуриль свои подслѣповатые глаза, со стеклами на носу, и гнусливымъ голоскомъ уродовалъ «Мадамъ-Анго»... Такому джентльмену я бы навѣрияка не довѣрилъ вести нашихъ солдатъ въ бой, — нельзя вѣдь рядомъ ставить крестъ и погремушку полишинеля... И солдатъ нашъ вовсе не любить этихъ бравадъ и гораздо симпатичнѣе и довѣрчивѣе относится къ начальнику, который не дозволяетъ себѣ подобныхъ выходокъ: солдатъ отлично чуетъ, гдѣ маскированная трусость, какъ бы искусно ее ни маскировали, и гдѣ истинное, простое геройство.

На батареяхъ нашихъ положительно свершались чудеса; на этихъ батареяхъ легло болѣе семисотъ снарядовъ, попадая въ брустверъ, или близко отъ платформъ, сзади; — снаряды рвались хорошо. У насъ ни одного убитаго, ни одного раненаго. Одна бомба ударила, подъ амбразурою подъ самымъ дуломъ орудія, послѣдовала взрывъ, много земли и осколковъ вззвались на воздухъ и закрыли собою и орудіе, и артиллеристовъ.

— Подай голось!.. — крикнулъ офицеръ.

— Ничего... Все благополучно! — отвѣчали оттуда...

И дѣйствительно, улеглась пыль, разнесло дымъ вѣтромъ... Люди цѣлы, ни одной царапины, орудіе даже не задѣто... Другая бомба ударила о крышу порохового погреба, духъ занялся у всѣхъ, ждали страшной катастрофы, но... бомба рикошетировала, виѣсть съ разрывомъ, ея осколки вынеслись впередъ, въ пустое пространство — и погребъ остался цѣлъ.

Словно чья-то невидимая, по могучая рука простерта надь нашими героями и отстраняетъ отъ нихъ вражескіе снаряды...

Съ первою, круглою батарею Рущука наши справились скоро; но со второю — возились довольно долго. Земляной, плотно-глинистый брустверъ ея оказался устойчивѣ каменного; затѣмъ перешли къ судамъ, этимъ большимъ пароходо-фрегатамъ, что стояли у военной пристани... Черезъ часть, даже нѣсколько менѣе, суда эти уведены были тягою въ доки, значить имъ-таки досталось... Еще часть до окончанія канонады, огонь турокъ сталъ замѣтно ослабѣвать... Ассигнованное для сегодняшняго расхода число снарядовъ приходило къ концу. Въ половинѣ восьмого приказано было забастовывать и въ восемь—затихло, какъ я уже говорилъ, все—и съ нашей, и съ турецкой стороны.

Стемнѣло. На разгромленныхъ улицахъ Журжева замелькали огоньки, изъ подваловъ и погребовъ повылѣзли спасавшіеся тамъ во время боя, вернулись и тѣ, которые убѣжали и выжидали гдѣ-нибудь въ окрестностяхъ, неподалеку. Пришелъ я въ свою комнату въ европейскомъ отелѣ: тамъ только груды камня и разныхъ обломковъ... Одинъ изъ снарядовъ разорвался въ компатѣ прислуги, разнесъ эту комнату въ дребезги, осколки хватили въсосѣдній номеръ, тамъ тоже все исковеркано, дверь моей комнаты проломлена этими осколками, окно выбито, столъ перевернутъ, все въполномъ беспорядкѣ, на полу осколки, одинъ такъ даже на кровать мою взобрался... Мѣсто значитъ занято, надо искать себѣ для ночлега другое... А тутъ слышенъ набатный колоколь... Что такое?.. Говорять мнѣ «фого», «фого!» Значитъ пожаръ, огонь показался... Действительно, на площади у каланчи горитъ какой-то домъ, валять густые клубы дыма—это что-нибудь затѣло стѣ разрыва гранаты и теперь только разгорѣлось... Опять тревога, ждутъ что турки, завидѣвъ пожаръ и, совершенно справедливо полагая массу народа по близости, откроютъ снова огонь; но обошлось благополучно, — турки не стрѣляли. Они и сами должно быть много своей работы имѣли, не до того было... Съ береговыхъ постовъ доносятъ, что на разбитыхъ батареяхъ слышенъ шумъ работъ, должно быть спѣшатъ за ночь

поправить дѣло... Двухъ дѣтей привели раненыхъ, дѣвочку лѣтъ двѣнадцати съ разбитою рученкою и мальчика съ выбитымъ глазомъ и осколкомъ свинца въ плечѣ. У берега завалило погреbъ, а въ немъ, говорятъ были люди. Туда прошла партия рабочихъ съ лопатами. По разбитому кварталу бродятъ темные силуэты и мигаютъ фонари, тамъ обыскиваютъ пострадавшіе дворы, не окажется ли еще какой-нибудь жертвы?.. Петербургская гостиница, пострадавшая менѣе прочихъ, уже приводится въ порядокъ; сегодня есть не даютъ, какъ ни просимъ,—а завтра утромъ обѣщаются, если только, впрочемъ, турки не начнутъ снова пострѣливать... Авось, не начнутъ!.. Завернулся въ бурку, присѣлъ на диванчикъ около воротъ кофейни и задремалъ...

---

Какое непріятное впечатлѣніе производятъ эти исковерканные улицы! Особено наша, «Европейская»: по ней даже ходить невозможно. По ней танется рядъ телеграфныхъ столбовъ, частью поломанныхъ, оборванныя проволоки путаются между ногъ, словно силки вездѣ протянуты, самая станція разбита окончательно. Тамъ былъ нашъ русскій телеграфистъ, онъ однако уцѣльѣлъ, успѣлъ во-время выбѣжать. Другая половина дома занята почтовымъ отдѣленіемъ, эта пострадала менѣе. Представьте себѣ, какой молодецъ румынскій чиновникъ, бывшій, впрочемъ, солдатъ. Онъ, уже когда канонада началась, все привелъ въ порядокъ, перенумеровалъ и отправилъ почту; онъ и теперь сидѣтъ у своей форточки и записываетъ что-то въ книгу. Зашелъ я туда, спрашиваю: «Будете что-нибудь отправлять сегодня?» «Отчего же неѣть, только пока нечего, вотъ развѣ вы дадите что-нибудь...» Въ конторѣ у него темно, горитъ свѣчка; окошко выбито осколкомъ и завѣшано одѣяломъ.

— А вы бы лучше ушли, а то спать можетъ быть стрѣлять начнутъ—не обойдется, пожалуй, благополучно.

— Въ шесть уйду. Я здѣсь долженъ сидѣть отъ 8 утра до 6 вечера,—отвѣчаетъ.

Крѣпко пожалъ я ему руку и пожелалъ отъ души досидѣть свой срокъ покойно.

Опять выстрѣль. Что такое?!. Это уже у насъ въ городѣ, хватило какъ будто орудіе, — что бы это значило? Нѣчто

вродѣ суматохи, бѣгутъ туда, бѣгутъ и оттуда. Оказалось, что двое румынъ нашли гранату не лопнувшую и съ великаго ума начали ее разряжать: та и лопнула; оба изуродованы, одинъ еще дышетъ; побросали ихъ на телѣгу и повезли въ госпиталь, хоть бы прикрыли чѣмъ-нибудь. Эти полиціанты везутъ раненыхъ по улицамъ, словно говядину какую-нибудь, сквозь дно телѣги кровь льется ручьемъ, слѣдъ по мостовой оставляетъ. Говорятъ, еще отыскали подъ мусоромъ нѣсколько тѣлъ,— одного грудного ребенка убило осколкомъ гранаты на рукахъ у матери и поранило послѣдней грудь: несчастная помѣшалась отъ горя и страха. Зашель въ «Петербургскую» завтраивать; тамъ вѣдь вчера обѣщали дать что-нибудь. Народу собралось здѣсь уже достаточно, только все наши, не туземцы. Кто съ бивуакомъ пріѣхалъ, кто съ батареи. Тутъ и наши товарищи корреспонденты. Сыпятся градомъ перекрестные рассказы о вчерашнемъ днѣ, послушать—такъ у каждой головы лопнуло не менѣе двадцати бомбъ и гранатъ и всѣ на верхковомъ разстояніи. Осколками набиты всѣ карманы. — Одинъ такъ даже таскаетъ съ собою трехъ-пудовый снарядъ, собирается соорудить изъ него подсвѣчникъ на память...

Пришло извѣстіе, что опять хотятъ пострѣлять передъ вечеромъ, мѣшать туркамъ работать; рестораторъ вслѣдствіе этого предлагаетъ ъсть побольше и грозитъ, что съ полудня никого ничего не получитъ, все будетъ заперто. Жители вернулись сюда захватить что вчера не успѣли, и захватываютъ, торопятся страшно, боязливо оглядываются, прислушиваются, — посмотрѣши—такъ точно воруютъ, а не свое добро берутъ... На бивуакъ все прибываютъ новыя войска, откуда — неизвѣстно. Всѣ проселочные дороги заперты, всюду посты, никого не пропускаютъ, даже самихъ военныхъ, кто бы онъ ни былъ, если у нихъ не окажется какой-то особенной, специальной для проѣзда по этой мѣстности записочки. Свободенъ только желѣзнодорожный путь и прогулки по городу, но отнюдь не впѣ его черты, особенно у Дуная по берегамъ, выше и ниже... Не сегодня, такъ завтра, позднее—послѣ завтра должно совершиться что-то грандиозное. Въ воздухѣ это слышится, какъ будто...

Весь воздухъ наполненъ пылью. Сотни тысячъ ногъ, воть уже болѣе недѣли, день и ночь, безпрерывно топчутъ сухую, глинистую почву маленькаго берегового городка и его окрестностей. Въ этихъ пыльныхъ тучахъ, неподвижно стоящихъ въ жаркомъ, раскаленномъ воздухѣ, словно тѣни движутся полки и обозы; трудно разобрать что-нибудь въ этомъ движущемся хаосѣ, трудно найти кого-нибудь, трудно ориентироваться... а между тѣмъ, все это движущееся, почти не зная, не догадываясь даже куда оно идетъ, приходитъ на свое мѣсто, въ свое время, находить именно то, что оно должно найти, никому не мѣшаетъ и ему никто не мѣшаетъ, путаницы никакой. Всѣми, видимо, руководить чья-то единая рука, чья-то могучая сила, проявляясь только въ кусочкахъ бумажекъ, гдѣ ясно, опредѣленно, въ часахъ и минутахъ, выражена воля этой силы. Вотъ общее впечатлѣніе, которое охватываетъ васъ сразу, — какъ только вы вѣзжаете въ Зимницу. Еще нѣсколько верстъ не доѣзжая, вы видите вправо и влево отъ дороги громадные бивуаки, раскинувшіеся на вытоптанныхъ луговинахъ; съ этихъ то бивуakovъ постепенно выдвигаются колонны, направляясь черезъ городъ къ берегу, къ мѣсту переправы, на эти-то бивуаки, — въ той же послѣдовательности, прибываютъ новыя войска, занимая только-что оставленныя позиціи. Здѣсь еще сравнительно воздухъ чище, — вы можете отчетливо разобрать гдѣ, что и какъ расположено. Вонъ стройная линія бѣлыхъ тантабри пѣхотинцевъ, вонъ безконечные ряды уланскихъ и гусарскихъ пикъ съ пестрыми флюгерами, вонъ зеленѣютъ ящики артиллеріи, ярко блестятъ на солнцѣ отполированныя на славу мѣдныя тѣла орудій, — вонъ рядъ тяжелыхъ фуръ обоза, — эти колоссальные вагенбурги, раскинувшіеся за войска и словно какие-то города на колесахъ. Но чѣмъ ближе вы подѣзжаете къ городу, минуя лагерь, — тѣмъ гуще и гуще пыльные тучи, туманнѣе и неопределеннѣе становится вся эта живая, шумная военная картина. Здѣсь, говорятъ, поворотъ направо, такая-то улица, — ничего не разберешь. Мелькаютъ, правда, въ тѣни что-то въ родѣ крышъ съ высокими трубами, въ родѣ деревьевъ, утратившихъ даже зеленый цвѣтъ своей листвы; осторожно подвигаешься вы впередъ, мимо васъ проносятся отдѣльные всадники, шнырять чуть не подъ ногами копей пѣхотинцы, слышны оклики, опросы, суматоха

страшная, въ частности положительная путаница, въ которой «чертъ ногу сломитъ», въ общемъ строгая гармонія и порядокъ. Кого не встрѣтишь, узнать невозможно; вотъ уже именно лица нѣтъ, образъ человѣческій утраченъ: и лицо, и борода, и костюмъ, и конь все одного сѣраго, пыльного цвѣта, голоса хриплые, пересохшіе... только и слышишь: «Пронеси Господь вкорѣ черезъ эту Зимницу, чтобы ей пусто было!» и ироносить ихъ Господь, въ свое время, и проносить прямо на береговые спуски Дуная, на его плоскіе обмелѣвшіе острова, а оттуда по длинному мосту на ту сторону, въ Турцію; виноватъ, въ бывшую Турцію, а теперь въ освобождающуюся, обновляющуюся, но еще не смѣющулю ликоватъ страдалицу Болгарію.

Колонны войскъ изъ лагеря проходятъ черезъ городъ съ музыкою, люди въ немъ шагаютъ бодро подъ своимъ тяжелыми ранцами. Вотъ уже болѣе недѣли ежедневно, съ трехъ часовъ утра до 9 вечера, непрерывно проходятъ эти молодцоватыя колонны, а говорятъ, еще не прошло и половины всего, что предназначено къ переходу.

На самомъ берегу, въ центрѣ города, стоять особнякомъ небольшой двухъ-этажный домикъ съ садомъ, — здѣсь квартира Его Величества. Въ тѣни деревьевъ выстроился цѣлый городъ палатокъ и шатровъ большихъ и малыхъ,—это помѣщеніе многочисленной свиты. Развѣсистыя деревья задерживаютъ немного пыль; здѣсь воздухъ чище, отъ берегового гребня вѣеть прохладою Дуная. Здѣсь же, какъ разъ противъ царской ставки, пріотился и первый перевязочный пунктъ, тоже въ садахъ, въ относительной прохладѣ и уютности, а вокругъ живописный бивуакъ...

Экипажи, щегольские и простенъкіе, разбросаны въ перемежку съ разнокалиберными палатками, тутъ же и кони, группами стоящіе на привязяхъ, кучера въ красныхъ рубашкахъ, повара въ бѣлыхъ колпакахъ, денщики и вѣстовые всѣхъ мундировъ и частей, французскій говоръ, англійское пережевываніе и сплевываніе, нѣмецкое нытье и бойкая русская перебранка съ крѣпкими словами--хаось и пестрота невообразимая,—это таборъ разныхъ канцелярій, правленій, главныхъ и второстепенныхъ штабовъ, отдѣловъ, иностранныхъ агентовъ и проч., и проч., и проч., всего того, что, къ счастью, въ данномъ случаѣ, составляетъ хвостъ нашей арміи, не безъ пре-

тензіи, впрочемъ, на самообольщеніе считать себя ея головою. А какъ разъ напротивъ, черезъ дорогу только, въ пяти какихъ-нибудь шагахъ, картина мѣняется разомъ. Здѣсь уже все тихо, привѣтливо, просто. Каждое лицо, каждое слово дышетъ любовью, правдою, человѣчностью—это госпиталь и перевязочный пунктъ, здѣсь тяжело раненые, первыя жертвы грандіознаго перехода. Приняты всѣ мѣры для облегченія ихъ страданій, самъ Государь бываетъ тутъ ежедневно. Здѣсь работаютъ люди не изъ-за денегъ и почестей, здѣсь сестры милосердія и доктора не чиновники, а люди, явившіеся сюда работать ради науки и человѣчности. Когда вспомнишь, что дѣлалось па перевязочныхъ пунктахъ въ прошедшую кампанію и видишь, что дѣлается теперь, невольно снимаешь шляпу передъ этой метаморфозою,—спокойно и радостно становится на душѣ, самая война на половину теряетъ ужасающій характеръ оборотной стороны медали...

Я зашелъ сюда измученный, усталый, сильный лихорадочный пароксизмъ вотъ уже съ ранняго утра не даетъ мнѣ покоя; я былъ въ нервномъ раздраженіи, все кругомъ казалось мнѣ такимъ противнымъ, каждая мелочь меня злила и волновала желчь, но здѣсь я успокоился, на меня благотворно подѣйствовала симпатичная, теплая простота и уютность обстановки.

Если она такъ же успокоительно дѣйствуетъ и на раненыхъ, полуумирающихъ страдальцевъ—это уже много, это большая половина исцѣленія.

Госпиталь расположенъ въ саду. Днемъ койки съ больными стоять подъ деревьями, въ тѣни; онѣ не вытянуты казенными рядами, а разбросаны тамъ и сямъ, гдѣ поудобнѣе; этотъ беспорядокъ производить чрезвычайно приятное впечатлѣніе домашности и отсутствія сухой формалистики; подальше, у стѣны сада, устроены чистенькие очаги, тамъ готовится пища для больныхъ, готовится подъ строгимъ наблюденіемъ сестеръ милосердія, а то иногда и прямо ихъ собственными руками; бѣлье все тоже находится въ завѣдываніи сестеръ; на всемъ видна умѣлая, любящая рука женщины, несравненно болѣе способная устроить все уютно и комфортабельно. Доктора не сидятъ у себя по квартирамъ, периодически визитируя больныхъ;— они живутъ тутъ же, вмѣстѣ съ больными, для ихъ

посещеній нѣтъ урочныхъ часовъ: и днемъ и ночью, во всякую минуту, докторъ готовъ къ услугамъ больного, онъ говоритъ съ нимъ, присматриваетъ, онъ слѣдитъ за каждымъ явленіемъ, во-время предупреждая каждое самое ничтожное не-благопріятное условіе. Больной быстро привыкаетъ къ такому доктору и скоро начинаетъ слѣпо вѣрить въ каждое его слово, начинаетъ смотрѣть на него какъ на своего друга, забывая то прежнее упорное недовѣріе къ докторамъ и медицинѣ, господствующее въ нашемъ народѣ; а вѣдь больной этотъ—солдатъ, всего годъ тому назадъ, много два, вышедший изъ этой самой народной среды, боящейся госпиталя больше самой болѣзни и смерти.

На этомъ пунктѣ лежали только тяжело раненые, все жертвы перенправы; легко раненые всѣ уже были отправлены далѣе, въ госпитали 2-ї линіи, въ Александрію, Поятру, въ Бухарестъ и друг.

## X.

Первая койка, попавшаяся мнѣ на глаза въ госпиталѣ, занята была молодымъ, красивымъ матросомъ, брюнетомъ съ небольшими усиками; его красивые глаза блестѣли слегка недобрѣмъ, лихорадочнымъ огнемъ; онъ капризился и все просился «посидѣть немногого», а докторъ не позволяетъ, я слышу фразу.

— Экой ты, право, упрямый... Вѣдь хуже будетъ... Ну-ну, смотри. Вотъ завтра придетъ Государь—пожалуюсь...

— Ну, нишкни... буду лежать, буду... А гдѣ сестрица? Ау, сестрица!..

— Чего кричишь, погоди... она пошла, вонъ сидить, смотри, она тебѣ же яичко варить... Смотри самъ, вонъ она!

И толстякъ докторъ съ добрымъ, веселымъ такимъ лицомъ отгибаетъ густую вѣтку яблони, чтобы показать капризнику сестрицу, сидящую на корточкахъ у огонька, помѣшивающую ложкою въ кастрюлькѣ.

Когда я подошелъ къ этому матросу, онъ улыбнулся, попросилъ откинуть немногого одѣяло съ груди и указалъ мнѣ глазами на свой новенький георгіевскій крестъ, приколотый къ больничной рубашкѣ.

— Самъ, Самъ пожалѣвалъ. Самъ и прикололъ,—проговорилъ онъ и улыбнулся.

Раненый гордился своимъ крестомъ, утѣшался имъ и непремѣннымъ долгомъ считалъ показать его всякому новопришедшему.

— Ну, да ты молодецъ,—шутить докторъ.—Ну, опять завертѣлся, экій право. Вѣдь, небось, при тебѣ же Самъ приказалъ, чтобы здоровъ ты былъ.

— Кто это?—спросилъ я у доктора.

— Семенъ Лопатинъ—матрость, гребецъ съ семнадцатаго понтонна...

— Такъ вотъ это кто!—Я слышалъ еще утромъ его исторію, провѣрилъ ее и передаю.

Семнадцатый понтонъ отплылъ со второю очередью передъ разсвѣтомъ... Едва онъ вошелъ въ свѣтлую полосу Дуная, освѣщенную луною, какъ турецкіе батальоны открыли по немъ убийственный огонь. Изъ сорока пяти человѣкъ пѣхотинцевъ минскаго полка, находившихся на этомъ понтонѣ, и восьми человѣкъ гребцовъ, въ нѣсколько минутъ не осталось и половины.

Понтонъ сносило между тѣмъ теченіемъ все дальше и дальше, огонь турокъ не прекращался, наши падали и падали, уже только четверо осталось, понтонъ не могъ выгребать, его несло бокомъ и несло прямо къ турецкому берегу. Вотъ и еще трое свалились, остался только одинъ и не желая отдаваться живымъ туркамъ, бросился въ Дунай. Пуля ударила ему въ плечо, раздробила ключицу; тяжело плыть съ одною рукою, но онъ все-таки плылъ, наконецъ ноги его почувствовали твердую почву, теченіемъ его вынесло къ острову, верстъ за пять ниже мѣста переправы... Замѣтили-ли турки эту крохотную точку на поверхности воды, или такъ зря, но только, въ ту минуту, когда несчастный выползъ на берегъ, его догнала еще пуля и перебила другую руку, повыше кисти... Это былъ матрость Семенъ Лопатинъ. 15-го утромъ выбрался онъ на островъ, 20-го былъ только случайно замѣченъ съ проходившаго мимо русскаго катера и привезенъ въ Зимницу... Пять дней подъ рядъ Лопатинъ былъ безъ пищи; раны у него сильно загнили, завелись даже черви, но онъ не потерялся. Каждое утро онъ спускался въ воду и просиживалъ тамъ по горло,—освѣжая себя и обмывая теченіемъ воды свои страшные раны... Онъ рассказывалъ, что уже было терялъ надежду

на спасеніе (еще бы пять дней!) Онъ видѣлъ на томъ берегу движущіяся точки, но не зналъ кто это: наши-ли, или турки? Онъ не зналъ результатовъ переправы и думалъ, что она не удалась—это его болѣе всего огорчало. Наконецъ, на пятый день онъ услышалъ русскій говоръ и плескъ весель.

— Гляжу, разсказывалъ онъ:—ахъ, провалъ ихъ возьми! наши ребята... Михѣевъ—ау!..

Вотъ и услыхалъ его Михѣевъ. Забрали молодца и привезли. Государь тотчасъ же навѣстилъ больного.

На другой койкѣ сидѣлъ пластунъ съ характернымъ, чисто запорожскимъ типомъ лица; онъ сидѣлъ, потому что уже не могъ лежать, пуля прошла ему глубоко въ спину, задѣвъ позвоночникъ: вся нижняя часть тѣла была парализована, его даже слегка подвязали къ головной половинкѣ койки носилокъ приподнятой на шалнерахъ.

Онъ уже обреченъ смерти; пули у него даже и не вынимаютъ: напрасное только мученіе. Сестра милосердія, въ сѣренъкомъ платыцѣ, съ бѣлой косынкою на головѣ, сидѣтъ около и что-то читаетъ ровнымъ, покойнымъ голосомъ.

Пластунъ слушаетъ внимательно, но, кажется, ничего не понимаетъ—его тусклые глаза неподвижно устремлены на одну точку, нижняя губа уже начинаетъ отвисать... *Finita la comedia.*

А вотъ и пѣхотинецъ минскаго полка, Александръ Рохъ.

У него цуля въ груди и перебита рука, кроме того сильный ушибъ черепа и глазной впадины: онъ изъ того взвода, который бралъ штыками водянную мельницу и весь истребленъ почти безъ остатка, но за то этотъ взводъ сдѣлалъ свое дѣло—идущіе за ними уже свободно прошли это сильное препятствіе, заваленное тѣлами и турокъ, и нашихъ... Когда всѣ части перемѣшались, когда бой завязался почти одиночній—вразбродъ, то турки, то русскіе поочередно перебѣгали это мѣсто. Набѣжала разъ небольшая партія, приколола тѣхъ нашихъ раненыхъ, что выказывали еще признаки жизни, принялись сапоги стаскивать, да подоспѣли наши, покололи въ свою очередь турокъ,—далѣше пошли, а тутъ опять изъ-за кустовъ выскочило еще человѣкъ шесть турокъ, уже не солдатъ, а такъ, всякой сволочи, опять принялись пакостить.

— Я чую ихъ,—разсказывалъ Рохъ,—да и прихилился,

а на мнѣ лежитъ товарищъ Сѣденко, а другой товарищъ якъ сѣптились съ туркомъ, такъ оба на меня тоже повалились мертвые, меня и не видать... такъ и отлежался, одна нога только торчала снаружи, съ той-то ноги моей и вкрали сапогъ, собачьи дѣти...

Вотъ еще прелестная группа: нѣсколько коекъ стоять тѣсно, между ними вертится молоденькая сестра милосердія. Румяная, такая веселенькая, темные волосы выбились изъ подъ косынки. Она смѣется отъ души, звонко такъ и что-то растолковываетъ болынъ, а тѣ такие любопытные, даже съ коекъ приподнялись и потѣшаются ее своими наивными вопросами; на одѣялахъ, въ безпорядкѣ валяются нумера «Иллюстрації», тамъ все картинки изъ настоящей войны. Солдатъ эти картинки сильно занимаютъ, объясняютъ этихъ картинокъ и занята молоденькая сестра милосердія.

— Вотъ и вѣсть всѣхъ такъ нарисуютъ, весь свѣтъ будеть смотрѣть какіе молодцы минцы да волынцы. Всѣхъ нарисуютъ. Вонъ ходить бородатый съ бляхою, онъ и нарисуетъ, онъ затѣмъ и пришелъ сюда.

Бородатый съ бляхой, это, очевидно, относилось ко мнѣ. Я счелъ своимъ долгомъ подойти и поддержать обѣщанье сестры милосердія.

— Сестрица, вы намъ покажете, когда нарисуютъ настѣто самихъ?..—просить одинъ.

— Важно! Я домой въ деревню пошлю, ваше благородіе, сдѣлай такъ: я, Гордый Васильевъ, третьей роты,—меня Гордѣемъ звать,—я это его, турку, въ животъ, а другой турка меня вотъ въ эвто мѣсто... такъ и нарисуй.

— Такъ и нарисую.

— Намъ царь кресты пожаловалъ, вотъ онъ, крестъ-то самыи, ты такъ съ крестомъ и рисуй.

— Да вѣдь вы уже послѣ получили,—протестуетъ сестра милосердія.—Вѣдь вамъ здѣсь ихъ навѣсили, въ койкахъ, вы лежали.

— Ничего, нешто нельзѧ? Сдѣлай божескую милость, рисуй съ крестами... Самъ царь пожаловалъ, какъ же это...

— Ладно, ладно, съ крестами нарисую.

— На грудь поставь, сестрица, рученька твоя заболитъ поставь на грудь, легче будетъ,—стонеть кто-то сзади.

Обернулся. Лежитъ навзничь солдатъ, какъ полотно блѣдный, во всю грудь компрессъ, около сестра, держитъ одною рукой чашку съ чѣмъ-то, другою рукой кормить раненаго съ ложечки. Заботить этого несчастнаго не его собственная грудь, пробитая осколкомъ гранаты, онъ даже предлагаетъ сестрѣ обратить эту самую грудь въ нѣчто въ родѣ стола, «легче, моль, будеть», беспокоить его больше, что вотъ, дескать, рученька сестрина утомится.

Солнце подвигается къ западу, тѣни движутся тоже, нѣсколько коекъ уже вступили въ освѣщенное пространство. Подошли больничары, осторожно, подъ личнымъ наблюденiemъ докторовъ, взялись за ручки коекъ и переставили ихъ куда слѣдуетъ. Неподалеку большой двойной шатерь, тамъ возятся съ поливкою пола и посыпкою его свѣжею зеленью. Скоро вечеръ и туда на ночь перенесутъ всѣ койки съ больными. Пришло нѣсколько человѣкъ молодежи, все почти только что выпущенные студенты, они озабочены и, видимо, къ чему-то готовятся серьезному, сейчасъ начнется общая перевязка.

Съ отраднымъ впечатлѣніемъ на душѣ оставилъ я этотъ походный госпиталь. Спокойно какъ-то становится за нашихъ бойцовъ. Я думаю, что это впечатлѣніе испытываютъ и здоровые товарищи раненыхъ, навѣщающіе ихъ совершенно безпрепятственно. Видя этотъ уходъ, эту обстановку, ихъ не должна пугать перспектива попасть въ подобное же положеніе, а смерти они и безъ того никогда не боялись.

---

У церкви толпы народа, во дворѣ стоитъ взводъ пѣхотинцевъ, у воротъ хоръ музыки, сводчатыя двери церкви отворены настежь, въ ея глубинѣ видна тоже масса военныхъ, на самой паперти, подъ сводами, расписанными аляповатою старинною живописью, вынуто нѣсколько плитъ и вырыта глубокая, темная такая могила, груда земли лежитъ около. Слышно панихидное пѣніе. Всѣ стоятъ съ открытыми головами, на лицахъ выраженіе строгое, серьезное; это хоронятъ поручика гвардейской артиллеріи Тюрберта, погибшаго вмѣстѣ съ своимъ горнымъ взводомъ на разбитомъ pontonномъ паромѣ. Его тѣло только сегодня всплыло на поверхность, было вытащено и вотъ теперь погребается съ должнымъ воинскимъ почетомъ. Государь императоръ самъ присутствуетъ на этой печальной цере-

моніп. Я вижу также стройную фигуру августейшаго главно-командующаго.

А вотъ у входа толпится группа иностранныхъ представителей. Длинная тощая фигура особенно выдается въ этой группѣ, какое непріятное лицо! Это полковникъ Уэлслей, тотъ самый, что писалъ объ русской арміи, яко бы она безъ сапогъ и вѣчно пьяна, поголовно. Неловко какъ-то становится, когда видишь его здѣсь, впечатлѣніе весьма похожее на то, когда въ стройномъ гармоническомъ оркестрѣ звучитъ одна только фальшивая нота. Да и на другихъ юный полковникъ производить, кажется, такое же впечатлѣніе — отъ него, видимо, сторонятся.

На церковный дворъ лицевымъ фасадомъ выходить длинное зданіе, занятое турецкими плѣнными. Двери его отворены ради притока свѣжаго воздуха, у входа часовые съ ружьями. Заглянулъ туда, тамъ съ десятокъ молодцоватыхъ солдатъ низама въ синихъ курткахъ съ красными обшивками и человѣкъ тридцать всякаго сброва,—черкесы и бashi-бузуки. Вотъ уже истинные оборвиши, грязные, исхудальные, смотрять изпод-лобья, угрюмо, словно кусаться собираются. Какая разница съ солдатами низама: у нихъ такое покойное, честное выраженіе лицъ; жаль даже, что ихъ держать взаперти. Наши солдаты относятся къ нимъ радушно и внимательно.—«Это добрые ребята, стоять славно»,—говорятъ они,—«лихо бьются! не то, что эта рваная паскуда, носорѣзы про克莱ые! Ишь звѣремъ какимъ косятся... скволочь!.. Эй, низамскій товарищъ, покурить хочешь?»—и солдатикъ бросаетъ черезъ головы бashi-бузуковъ скрученную папироску своему «низамскому товарищу».

Солдаты наши страшно озлоблены именно на эту рваную паскуду, на бashi-бузуковъ, черкесовъ и мустагафизъ, да еще на рыжихъ, которые дѣломъ ихнимъ заправляютъ. Кубанцы и донцы тѣ специально собираются заняться вылавливаніемъ рыжихъ. Пошли имъ Богъ усѣхъ въ этомъ благомъ намѣреніи.

Стихаютъ аккорды печального похоронного гимна, съ улицы несутся другие, уже мажорные звуки, это съ музыкою идутъ полки къ переправѣ, но этотъ день уже послѣдній, скоро стемнѣеть, а завтра, съ разсвѣтомъ, потянутся впередъ новые и новые легіоны, добывшіе себѣ кровью своихъ передовыхъ бойцовъ свободную дорогу черезъ широкія воды Дуная.

XI.

Цѣлую недѣлю я не могъ ничего писать. Сильные пароксизмы лихорадки отняли у меня все время и положительно не давали возможности работать. Словно съ просонья принимаюсь за перо, силюсь дать себѣ отчетъ во всемъ, что случилось за эти дни, подвести итоги, составить паконецъ сколько-нибудь определенное понятіе о томъ, что же наконецъ сдѣлано нами на этомъ берегу. Присматриваюсь, прислушиваюсь, бросаюсь изъ стороны въ сторону, собираю свѣдѣнія—въ результатѣ всего—ноль, т. е. не то, чтобы совсѣмъ ноль, а нѣчто черезчуръ уже общее, дающее возможность только самыхъ широкихъ предположеній, догадокъ, но ничего яснаго, определенного, ничего такого, чтобы могло называться фактомъ.

Это общее выражается въ слѣдующемъ (потрудитесь взглянуть на карту). Вотъ вамъ Тырново, вотъ вамъ Бѣла, вотъ Никополь. Соедините эти три точки прямыми линіями и вы получите треугольникъ, сильно вытянутый къ Тырнову, врѣзавшійся, значитъ, острымъ клиномъ въ Балканы и опирающійся на Дунай. Въ этомъ треугольнике все наше. Здѣсь движутся и оперируютъ наши войска, здѣсь о туркахъ нѣть и помину, они словно сквозь землю провалились; о ихъ мѣсто-нахожденіи, за исключеніемъ, конечно, пунктовъ крѣпостей, ходятъ самые разнорѣчивые слухи.

Глядя на эти спокойно, безъ прикрытия движущіеся обозы, на эти группы уцѣлѣвшихъ болгаръ, выползшихъ, наконецъ, на свѣтъ Божій и мирно занявшихъ уже своими чисто мирными работами, вы чувствуете себя совсѣмъ какъ дома, а не на вражеской землѣ, на самомъ театрѣ ожесточенныхъ военныхъ дѣйствій. Однако, вы все-таки чувствуете близость какой-то таинственной черты, отдѣляющей эту мирную территорію отъ другой, гдѣ все уже представляется въ совсѣмъ иномъ свѣтѣ. Вы не знаете, что дѣлается не только за этой чертою, но даже на ней самой, и не пытайтесь узнать, всѣ ваши попытки не поведутъ ни къ чему, про то знаютъ и вѣдаютъ только избранные, въ рукахъ которыхъ концы нитей всѣхъ текущихъ событий.

Дѣло въ томъ, что какъ сами передвиженія нашихъ войскъ еще по Румыніи составляли тайну, разрѣшившуюся такъ не-

ожиданно для всѣхъ у Зимницы, такъ и теперь все облечено въ такую же непроницаемую тѣну, которая также разрѣшился неожиданно и даже очень можетъ скоро, но какъ и гдѣ, про то вѣдасть Аллахъ, впрочемъ не единий, а вмѣстѣ съ нашимъ августѣйшимъ главнокомандующимъ и его сѣдовласымъ Улиссомъ, генераломъ Непокойчицкимъ. Раздѣляетъ ли кто-нибудь еще эти свѣдѣнія — не думаю, хотя много есть такихъ, что любятъ прикидываться свѣдущими. Если вы обратитесь къ таковому съ вопросомъ, то онъ вамъ непремѣнно скажетъ: «Гм... пе знаю», и даже протянеть это «не знаю», съ явнымъ намекомъ на пѣчто совсѣмъ противоположное. Не смущайтесь и отойдите съ Богомъ: онъ дѣйствительно ничего не знаетъ, ему и знать-то ничего не надлежитъ, пока не дойдетъ дѣло до его собственной рольки, которую ему во-время пояснять и укажутъ даже предѣлы этой рольки: извольте, моль, в. п—ство исполнить сіе — отъ сихъ и до сихъ, а обѣ исполненіи доности.

Старая истина: если вы хотите составить себѣ понятіе о личности полководца, прислушивайтесь, что говорять о немъ между собою солдаты. Здѣсь, въ ихъ рядахъ, вы часто можете слышать такого рода отзывъ о нашемъ маститомъ начальнику штаба. — «А нашъ старикъ что-то призамолкъ, гляди теперь въ оба, держи ухо востро». И вотъ всѣ чины арміи, отъ мала до велика, глядя въ оба, держать ухо востро и слѣпо вѣрять своему вождю, пе скучая и пе тяготясь вовсе этимъ казущимся бездѣйствіемъ, этимъ полнымъ невѣдѣніемъ.

Вотъ въ какомъ положеніи находится, на этомъ берегу, все наше, въ занятомъ нами треугольникѣ. И надо отдать полную справедливость... Все это до такой степени сбило съ толку турокъ, до такой степени держить ихъ въ глупѣйшемъ положеніи ежеминутнаго ожиданія удара, Богъ вѣсть откуда имѣющаго послѣдовать, что, по всѣмъ получающимся свѣдѣніямъ у нихъ происходит страшная и самая безтолковая пустаница, близкая даже къ паническому метанию изъ стороны въ сторону. А наши войска все прибываютъ и прибываютъ: по цѣльмъ днемъ по острову, а потомъ по длинному pontонному мосту тянутся непрерывныя линіи пѣхоты, кавалеріи и артиллериі съ своими бесконечными обозами. Перевезли уже и тяжелыя локомобили, приспособленные для движенія по шоссе

и даже простымъ проселочнымъ дорогамъ; эти локомобили по-тащутъ, куда слѣдуетъ, нашу осадную артиллерию, парки которой тоже уже перевезены на эту сторону. Вчера разразилась страшная буря съ ливнемъ, да какимъ ливнемъ, настоящимъ тропическимъ; попортила эта буря немнога нашъ мостъ, часовъ на пять остановила движеніе, да скоро все было исправлено и возстановлено. А между тѣмъ эта буря принесла и не малую пользу: освѣжила воздухъ, смыла всѣ нечистоты, накопившіяся въ районѣ передвиженій и бивуачныхъ остановокъ такого громаднаго количества войскъ, прибила нѣсколько пыль по дорогамъ, положительно не дававшую свободно дышать. Солдаты очень рады этому дождечку и говорятъ: «чтобы хоша разъ въ недѣлю отпускать по такому же»... Проходять колонны бодро, весело, на бивуакахъ вѣчные пѣсни и погромыхивание бубна, кое гдѣ и музыка слышна... Болѣзней никакихъ не слышно, по крайней мѣрѣ прибыли больныхъ въ лазаретахъ пока не ощущается. Кое-кто изъ раненыхъ за послѣднее время уже вернулись въ ряды, вернулись по доброй волѣ, потому что таковыми, въ видѣ льготы, представлено право побывки на родину. Кони подверглись сильно, особенно у регулярий кавалеріи; опытные кавалеристы говорятъ, впрочемъ, что это ничего, въ настоящее тѣло, моль, входить, жиръ лишній спускаются, на ходу будутъ легче. Они и доказываютъ это на дѣлѣ, дѣлая чуть не ежедневно, въ постоянныхъ рекогносцировкахъ, сумасшедшия переходы... Громадное преимущество нашей кавалеріи передъ турецкой, какъ въ численности, такъ и въ качествѣ, выказалось въ этихъ рекогносцировкахъ блистательно: неожиданное появленіе нашихъ кавалерийскихъ отрядовъ, то тамъ, то сямъ, совершенно сбило съ толку Абдуль-Керима и его штабъ, и ободрило несчастныхъ болгаръ, жителей деревень и городковъ, дало имъ наконецъ возможность легко вздохнуть и избавиться отъ частыхъ посѣщеній черкесскихъ шаекъ, очистившихъ уже почти всѣ окрестности занятой нами территории.

Кстати о черкесахъ. Какъ эти «звѣрства турокъ» ни на-доѣли, пестрая столбцы нашихъ газетъ въ продолженіе почти двухъ лѣтъ, однако не могу пройти молчаніемъ того факта, что рѣдко проходитъ день безъ того, чтобы откуда-нибудь да не привезли сюда разныя осязательныя доказательства этихъ

звѣрствъ въ видѣ болгаръ и болгарокъ, или уже покончившихъ свое существование, или еще дышащихъ, могущихъ рассказывать даже свои приключения... Каждый разъ въ такомъ случаѣ приглашается извѣстный нашъ другъ полковникъ Уэллеслей и его почтительнѣйше просятъ присмотрѣться и прислушаться, тычуясь, что называется, носомъ. Выраженіе лица полковника въ такія минуты ужасно какъ напоминаетъ мнѣ выраженіе котенка, которому наглядно даютъ понять всю неприличность его поведенія.

Всѣ эти жестокости и звѣрства, конечно, приписываются черкесамъ, бashi-бузукамъ, мустагефизу и проч. иррегулярной сволочи; я охотно готовъ согласиться съ этимъ и еще болѣе охотно готовъ снять это позорное пятно съ турецкихъ регулярныхъ батальоновъ, — они положительно подкупаютъ меня своимъ честнымъ поведеніемъ на боевомъ полѣ, необыкновенною стойкостью, полнымъ презрѣніемъ къ смерти — это достойные противники нашихъ пѣхотинцевъ. Говорятъ только, — это даже подтверждали сами плѣнныя, — что турецкимъ войскамъ якобы сообщено къ свѣдѣнію о необычайномъ варварствѣ русскихъ, рѣшившихся поголовно истребить все турецкое: имъ говорили, что русскіе никого изъ плѣнныхъ въ живыхъ не оставляютъ и предаютъ немедленно мучительнейшей смерти. Говорятъ, будто бы въ этомъ предупрежденіи кроется причина стойкости и отчаянной храбрости турецкихъ батальоновъ. Очень можетъ быть, потому что мнѣ не разъ приходилось наблюдать плѣнныхъ и это ласковое, гуманное обращеніе съ ними видимо было для нихъ пріятною неожиданностью. Тутъ даже начинаетъ появляться такое мнѣніе: одинъ штабпій колонель такъ даже высказывалъ его, какъ результатъ своихъ зрѣлыхъ и глубокого обдуманныхъ помышленій.

«Я бы, говорить онъ, ей Богу не держалъ бы долго у себя этихъ плѣнныхъ, даль бы имъ пожить недѣльку, другую между нашими солдатиками, даль бы имъ отдохнуть, поправиться, да и вывелъ бы всѣхъ вонъ: гайды по своимъ частямъ обратно, да и съ Богомъ!.. Повѣрите ли, голову свою штабъ-офицерскую, совсѣмъ, съ кепи и съ султаномъ, даю на отсѣченіе, если на ту рокъ это не подействуетъ, такъ и начнутъ сдаваться батальонами... Помилуйте, господа, видимое дѣло: изъ-за чего имъ драться?.. Они давно увѣрены, что ихъ вѣ

концѣ-концовъ отсюда выгонятъ, ничего путнаго отъ войны этой они не ожидаютъ, дерутся съ отчаянія, да со страха палки—вотъ и шабашъ. Голодные, холодные, обшипанные... изъ-за какихъ же благъ и драться-то имъ иначе»...

Такъ говорилъ полковникъ, говорилъ съ жаромъ и ей Богу не безъ резона, по крайней мѣрѣ я отъ души готовъ согласиться съ нимъ въ полезности отпуска плѣнныхъ, только, конечно, не черкесовъ и бashi-бузуковъ, ихъ даже и солдаты наши отдѣляютъ. «Турокъ,—говорятъ они,—особо, а черкесъ особо; съ тѣмъ воюй, а этого души, потому онъ звѣрь, хуже волка бѣшеноаго»...

Странная вещь! Вѣроючио это тоже результаты гуманного турецкаго управления страною. Полковнику Уэллеслею на это обстоятельство указаю тоже. Мы занимаемъ теперь мѣста, весьма густо населенные болгарами, т. е. считавшіяся и не безъ основанія густо населенными, между тѣмъ васъ невольно поражаетъ эта пустота городовъ и деревень, эта масса запущенныхъ полей и садовъ и пустота жилищъ... Положимъ, что турецкое населеніе бѣжало съ прибытиемъ русскихъ и очень дурно сдѣлало, скажу мимоходомъ, по нельзя же допустить, чтобы вмѣстѣ съ турками бѣжали и болгары изъ страха приближенія русскихъ солдатъ. Уэллеслей, впрочемъ, думаетъ, что это такъ; по крайней мѣрѣ, когда ему удавалось справиться, наконецъ, съ выражениемъ заподозренія котенка и принять слова свой нахальный чисто англійскій тонъ, онъ силился объяснить данное явленіе именно такимъ образомъ...

Эта часть Болгаріи носить на себѣ явные слѣды опустошенія: виноградники, оставленные безъ надлежащаго ухода, полуистребленные, не подвязанные и не разсчищенные обѣщаются очень скучный урожай. Прошлогоднее вино, впрочемъ, кое у кого еще сохранилось въ потайныхъ погрѣбахъ и въ глиняныхъ кувшинахъ, по мѣстному обычаяу закопанныхъ въ землю. Болгары охотно и съ видимымъ удовольствиемъ подчують этимъ виномъ нашихъ и отказываются брать деньги; они говорятъ, что милостью Господа рады, что хоть этимъ могутъ почестовать дорогихъ гостей, давно жданныхъ ими; они, сколько разъ разочарованы въ своихъ свѣтлыхъ надеждахъ, теперь почему-то убѣждены, словно предчувствуютъ, что на этотъ разъ для нихъ настала дѣйствительная минута полнаго избавленія,

безъ возможности поворота къ старому, нешавистному порядку вещей.

Недостатокъ въ странѣ жизненныхъ припасовъ ощущается полный; особенно теперь, при наплывѣ такой массы войскъ, страны положительно не можетъ прокормить нашихъ армій и главныя массы продовольствія везутся съ того берега. Товарищество уже получило предписаніе открыть здѣсь свои дѣйствія въ самыхъ широкихъ размѣрахъ; въ Систовѣ, въ Тирновѣ, въ Бѣлѣ основаны большіе склады муки, зернового хлѣба и прочихъ продуктовъ, въ этомъ намъ немнogo помогли и турки, оставивъ въ нашихъ рукахъ въ Систовѣ и Тирновѣ большіе запасы пшеницы и кукурузы, предназначавшіеся спачала для продовольствія турецкой арміи.

Всякое мародерство въ нашихъ войскахъ строго запрещено: ни одна казацкая коса не смѣеть прикоснуться къ чужой былинѣ, фуражировки только допускается на поляхъ принадлежащихъ или казнѣ, или частнымъ туркамъ, эмигрировавшимъ при приближеніи нашихъ войскъ, и то только въ такомъ случаѣ, когда принадлежность этихъ полей туркамъ будетъ заявлена самими болгарами и доказана ими фактически.

При неожиданныхъ, а, главное, непредвидѣнныхъ перемѣнѣахъ войскъ, неизбѣжно случается, что выдача провіанта и его доставка замедляется, но это не бѣда. Всѣ войска имѣютъ съ собою не менѣе трехсуточного запаса на всякий случай, и подобное замедленіе не можетъ вызвать вредныхъ послѣдствій. Самою затруднительной частью снабженія и здѣсь, какъ и въ Румыніи, является сѣно. Надѣются, что съ освобожденіемъ водь Дуная отъ турокъ, многое въ этомъ направлениі измѣнится къ лучшему. Для нашей арміи откроется прекрасный водяной путь для перевозки всего того, что запасено заблаговременно въ нашихъ магазинахъ и складахъ на лѣвомъ берегу рѣки, въ нижнемъ ея теченіи. Примѣромъ тому служитъ освобожденное русло Мачинскаго рукава, по которому наши суда теперь двигаются безпрепятственно, снабжая всѣмъ необходимымъ оперирующей въ Дебруджѣ корпussъ Циммермана.

На дняхъ разнесся слухъ о какихъ-то неудачахъ нашихъ въ Азіи. Слухъ этотъ быстро распространился даже въ рядахъ нашихъ солдатъ. Во всякой другой арміи подобное извѣстіе вызвало бы пѣкоторое уныніе и даже упадокъ духа, здѣсь

это вышло не такъ, здѣсь существуетъ прочная, духовная связь между самимъ царемъ и послѣднимъ солдатомъ и эта связь такъ ярко, такъ наглядно выразилась въ томъ, что наши солдаты рѣшили утѣшить своего батюшку и утѣшить такъ, чтобы совсѣмъ изгладилось всякое грустное настроеніе, вызванное какою бы то ни было неудачею. Отъ вниманія солдатъ не ускользнуло то нѣсколько грустное, даже печальное выраженіе лица монарха, съ которымъ онъ впервые появился здѣсь въ средѣ своей арміи; отъ солдатъ не ускользнула и та перемѣна къ лучшему, свершившаяся въ этомъ дорогомъ для нихъ и для всякаго русскаго лицѣ. «Мы ему и нахмуриться не дадимъ,—говорятъ они,—пусть только глядитъ на насъ и тѣшится, а ужъ мы постараемся!.. Эту фразу и массу подобныхъ не разъ я слышалъ здѣсь повсюду.

## XII.

Представляя образчики двухъ противоположныхъ мнѣній въ английской литературѣ о туркахъ, ихъ культурномъ значеніи и ближайшей будущности восточного вопроса, мы должны оговориться, что вовсе не думаемъ ставить на одну доску тѣ двѣ книги, заглавія которыхъ нами выставлены. Общаго между ними только типографская виѣшность и заглавіе. Но во всемъ прочемъ, не только въ политическихъ воззрѣніяхъ, но даже въ серьезности и авторскомъ достоинствѣ это два противоположные полюса. Можно сказать даже, что о злобномъ памфлете, не столько направленномъ въ защиту турокъ, сколько имѣющемъ цѣлью нападки на Россію, не стоило бы вовсе упоминать, до того полно нелѣпостей курьезное произведение генсподина, назвавшаго себя громкимъ именемъ Джона Милля. Хочется вѣрить, что подобные продукты принадлежать перу не англичанина, а переодѣтаго мадьяра или еврея; кстати же, этотъ Джонъ Милль въ числѣ прочихъ своихъ произведеній, къ литературѣ мало относящихся, поименовалъ біографію Дизраэли. Очень можетъ быть, что авторъ единоплеменникъ первого ministra или, что еще вѣрнѣе, просто наемный писака. Разбирать эту книжку, украшенную на оберткѣ оттоманскимъ знаменемъ, мы, разумѣется, не будемъ, а лишь въ концѣ статьи представимъ изъ нея нѣсколько перловъ, какъ ради контраста

съ серьезнымъ трудомъ Фримена, такъ и въ видѣ курьеза, показывающаго, до чего простирается иногда политическая небодросовѣстность. При всей невозможности проводить внутреннюю параллель между сочиненіями Фримена и Джона Милля, самое появленіе произведений, столь противоположныхъ по качеству и классу авторовъ и по политическимъ взглядамъ въ одной и той же литературѣ, въ одно и тоже время служитъ характернымъ признакомъ современного настроенія англійского общества по отношенію къ восточному вопросу. Люди науки, какъ Фрименъ, люди политического прогресса, какъ Гладстонъ, стоять за изгнаніе турокъ изъ Европы. Близорукіе практики и политики-рутинеры, продажные журналисты, англо-индійскіе купцы и эксплоататоры распинаются за турокъ. Фактъ раздвоенія англійской политической мысли относительно современного момента восточного вопроса несомнѣнъ.

Господствовавшему въ новѣйшей политической исторіи Англіи узкобуржуазному взгляду Пальмерстона, продолжаемому нынѣшними правителями, частію по близорукости и рутинѣ (Дерби), частію, какъ думаетъ Фрименъ, по азіатскому происхожденію (Биконсфильдъ), противопоставляется пока еще не сильное, но замѣтно усиливающееся теченіе, которое стремится вернуть англичанъ къ политикѣ благороднаго Каннига. Это уже не честолюбивые происки, не политической маневръ, которыми думали объяснить агитацию Гладстона. Фрименъ, хотя и членъ анти-турецкой лиги, но больше ученый, чѣмъ политическій дѣятель. Усиленіе партіи свѣта и прогресса въ восточномъ вопросѣ среди британскаго народа показываетъ, что общечеловѣческія черты, присущія такому чистополитическому съ виду вопросу, какъ восточный, мало-по-малу обнажаются. Мы не говоримъ, что непремѣнно это послѣднее теченіе восторжествуетъ среди англичанъ. Быть можетъ, одержитъ еще разъ верхъ противная политика, такъ какъ непосредственнымъ активнымъ дѣятелемъ въ британской политикѣ является все-таки еще буржуазія, а всякий элементъ барышничества, наживы, кулачества всѣхъ видовъ всюду, какъ по комайдѣ, становится враждебенъ балканскимъ христіанамъ и благосклоненъ къ туркамъ. Въ прекрасной книгѣ Фримена мы находимъ и объясненіе этого общечеловѣческаго оттѣнка русско-турецкой распри. Всякіе авантюристы, люди съ темнымъ прошлымъ, жадные до денегъ,

сознаюгъ, что имъ въ цынѣшней Турецкой имперіи обширное поле для наживы. Суровый, варварскій, но не лишенный пѣ-котораго своеобразнаго величія духъ прежнихъ оттомашовъ смѣ-шился развратнымъ, изпѣженнымъ, но по прежнему варвар-скимъ духомъ придворной олигархіи, въ которой играютъ роль всякаго рода проходимцы, принявши мусульманство изъ-за вы-годъ, и молодые турки, владѣющіе иностранными языками, но на этомъ, на европейскихъ титулахъ и костюмѣ и покончивши съ европейской цивилизацией, поддѣлку по которую они пока-зываютъ Европѣ. Прежніе деспоты-султаны и наследственные областные паши, хотя жестокіе, но заинтересованные иѣсколько въ сравнительномъ благосостояніи управляемой ими земли, смѣ-шились столь же кровожадными при случаѣ, по думающими только о наживѣ пашами и правителями, держащими въ ру-кахъ ничтожныхъ султановъ.

Книжка Фримена раздѣляется на историческую часть и разсмотрѣніе современного практическаго вопроса. Въ истори-ческомъ изслѣдованіи авторъ лицѣ вполнѣ компетентное. Въ числѣ его историческихъ трудовъ находятся такіе, которые по-казываютъ специальное изученіе Востока. Такова исторія сара-циновъ, въ которой рассматриваемое нами сочиненіе служить дополненіемъ; таковы многія журнальныя работы со времени крымской войны. Въ спискѣ ихъ мы находимъ «опыты» о Византійской имперіи, о магометанствѣ, о греческомъ народѣ, о восточной церкви, о Черногоріи, изслѣдованія о расѣ и языкѣ, и т. п. Въ настоящій трудъ, и особенно въ его обширную и блестящую историческую часть вошли, безъ сомнѣнія, выводы изъ прежнихъ трудовъ ученаго автора. При всей живости, мѣ-стами даже страсти изложенія, читатель видитъ, что имѣеть дѣло съ научнымъ, строго логическимъ и беспристрастнымъ умомъ, чуждымъ односторонности и политического озлобленія. Это могло бы усилить довѣріе къ автору его соотечественни-ковъ, которыхъ онъ, очевидно, и имѣетъ въ виду въ своей крайне подробной исторической аргументаціи. Мы постараемся привести лишь самыя существенные черты ея и затѣмъ скажемъ о взглядахъ Фримена въ области практической политики относительно Балканского полуострова.

Считая четырехсотлѣтнее пребываніе турокъ на юго-востокѣ Европы ненормальнымъ явленіемъ, а самихъ турокъ постоянн-

нымъ вооруженныхъ лагеремъ, власть ихъ чужеземнымъ военнымъ занятіемъ, которое съ тѣхъ поръ не потеряло такой своей отличительной черты, авторъ видитъ причину этого не только въ національномъ характерѣ оттоманскихъ турокъ и основныхъ свойствахъ магометанской религіи, но и въ нѣкоторыхъ существенныхъ пунктахъ различія между восточной и западной Европой, которые облегчили туркамъ занятіе этихъ земель и непосредственно вліяли на отношенія турокъ къ покоренными національностямъ и на взаимныя отношенія этихъ національностей.

На востокѣ Европы различія расы и языка гораздо болѣе выпуклы и прочны; чѣмъ на западѣ; религіозная разность также больше обусловливаетъ тамъ собою характеръ той или другой національности. На западѣ, напримѣръ, политическому единству Франціи не грозить то обстоятельство, что въ предѣлахъ Франціи говорятъ на фланандскомъ, валлонскомъ, бретонскомъ, баскскомъ и провансальскомъ языкахъ, и притомъ каждая страна имѣть одинъ изъ двухъ господствующихъ типовъ, раманскій или тевтонскій, при полной исключительности и политическомъничтожествѣ всякихъ отступленій отъ нихъ, на юго-востокѣ Европы все расы, которая жили тамъ при началѣ историческихъ временъ, и пѣкоторыя изъ пришедшихъ въ позднѣйшее время, остаются настоящими націями, съ своимъ языкомъ, съ живымъ національнымъ чувствомъ, имѣя свою большую или меньшую долгу участія въ текущей политикѣ. Греки, албанцы, румыны, соотвѣтствующіе, въ сущности, западно-европейскимъ баскамъ и бретонамъ, составляютъ на Балканскомъ полуостровѣ три живыя и обособленные націи, рядомъ со славянами, которые пришли позже, подобно западнымъ тевтонамъ. Эта обособленность расъ и языковъ проявляется не только подъ турецкою властью, но и въ земляхъ австро-венгерской монархіи, и происходитъ, по мнѣнію автора, отъ двухъ причинъ: отъ различаго положенія Римской имперіи на западѣ и на востокѣ Европы, и отъ присутствія на востокѣ такихъ элементовъ, какихъ не было на западѣ. Обѣими востоку и западу элементами являются первобытныя національности, затѣмъ римская власть и арійскія національности, появившіяся уже послѣ утвержденія римской власти; впрочемъ, размѣры и взаимныя отношенія этихъ элементовъ на востокѣ и западѣ были неодинаковы, вслѣдствіе

неодинакового характера римской власти въ томъ и другомъ случаѣ. Но особенность востока составляютъ неарийскія расы, зашедшия туда внослѣдствіи, и изъ нихъ преимущественно турки. Нѣкоторыя изъ этихъ неарийскихъ расъ такъ или иначе европеисались, или ассимилировались со своими сосѣдами, какъ болгары, или, принявъ христіанство и цивилизацію съ запада, осѣли среди сосѣдей отдельною національностью, которую сохраняютъ и до сихъ поръ, таковы мадьяры. Славяне пришли въ Восточную имперію, какъ тевтоны въ Западную, въ качествѣ пѣнныхъ, наемниковъ и союзниковъ и, наконецъ, завоевателей, переняли религію имперіи и многое изъ ся цивилизаціи, но остались отдельнымъ политическимъ цѣлымъ, не сдѣлались ни греками, ни римлянами.

Существование греческой націи и греческой цивилизаціи (которая была выше римской) сохранило обособленными древнейшія національности, а полугреческий, полурумъскій характеръ Восточной имперіи, въ соединеніи съ централизацией всей ея власти въ одномъ городѣ, сохранилъ обособленность пришлыхъ національностей и, главнымъ образомъ, славянъ. Такимъ образомъ, греки, иллірійцы (албанцы), фракійцы (румыны) и славяне стояли особнякомъ при появленіи азіатскихъ завоевателей и остаются такими до сихъ поръ. При всемъ томъ, у нихъ оставалось и общее наслѣдіе, арійское происхожденіе, христіанская религія и влияніе греческой и римской культуры. Оттоманскіе турки, заставъ уже такую обособленность восточно-европейскихъ племенъ, добились успѣха частью именно вслѣдствіе этой обособленности и недостатка единства между побѣжденными племенами. Сами турки не могли слиться съ подвластными племенами, не могли даже стать просто рядомъ съ прочими національностями юго-восточной Европы ни какъ сосѣди, ни какъ обыкновенные враги, потому что не имѣютъ доли въ общемъ наслѣдіи европейскихъ націй, т. е. не только принадлежать къ другой отрасли человѣческой семьи, но не имѣютъ участія въ ихъ исторіи, воспоминаніяхъ, цивилизаціи, а, самое главное, исповѣдуютъ магометанскую религію. Турки вышли изъ Турана, центральной Азіи и гораздо болѣе далеки отъ арійскихъ, даже отъ семитическихъ націй, чѣмъ каждая изъ этихъ послѣднихъ отъ наась. Турки дальше отъ европейцевъ, чѣмъ такія, далеко ушедшія отъ наась по культурѣ от-

расли арійскаго племени, какъ персы и индузы, дальше даже своихъ семитическихъ предшественниковъ, отъ которыхъ приняли магометанство, арабовъ и сарацинъ. Правда, турки въ Европѣ составляютъ, до нѣкоторой степени, искусственную націю, отъ примѣси европейскихъ ренегатовъ и христіанской молодежи, насильственно обращавшейся въ исламъ и въ турецкое войско; но основная закваска племени осталась та же самая, ассимилировались турками только эти европейскія примѣси. Примѣръ болгаръ и мадьяръ, которые, несмотря на родство съ турками, сами были ими порабощены, показываетъ, что причину несовмѣстности турокъ съ европейской цивилизацией слѣдуетъ искать не только въ туранскомъ происхожденіи ихъ, но и еще въ нѣкоторыхъ обстоятельствахъ, сдѣлавшихъ турокъ навсегда чуждыми Европѣ. Причину этого Фрименъ видитъ въ національномъ существѣ европейскихъ турокъ, въ историческихъ условіяхъ ихъ жизни и въ особенности въ магометанской религіи. Болгары подчинились вліянію греческому, мадьяры—латинскому, и сообразно этому получили извѣстное участіе въ интересахъ окружающаго, получили тяготѣніе къ европейскимъ культурнымъ центрамъ. Турки, явившись безусловно только завоевателями, не были ни въ какомъ отношеніи учениками Европы. Если нѣкоторые новѣйшиѳ турки выучились европейскимъ языкамъ и стали носить европейское платье, то это не идетъ ни въ какое сравненіе съ тѣмъ глубокимъ нравственнымъ вліяніемъ, какое Римъ произвелъ на тевтоновъ, а Константинополь на славянъ. Но главную черту различія между турками и европейцами Фрименъ видитъ въ магометанствѣ. Болгары и мадьяры сдѣлались членами европейской семьи потому, что приняли христіанство одни въ восточной, другіе въ западной его формѣ. Тѣ и другіе могли усвоить себѣ религію и цивилизaciю Европы потому, что явились въ Европу язычниками и отстояли отъ религіи и цивилизаций Европы дальше, чѣмъ турки, которые пришли въ Европу уже магометанами. Они не могутъ сдѣлаться европейской націей, пока остаются магометанами, — поясняетъ авторъ, — а нѣтъ примѣра, чтобы магометанская нація приняла другую религію, а именно христіанство. Авторъ объясняетъ это тѣмъ, что полуцивилизаций востока является помѣхой полной цивилизациіи запада, труднѣе поддается послѣдней, тогда какъ все же цивилизациіи

лизованныя, грубыя племена западной, съверной и восточной Европы легко усвоили себѣ религию и цивилизацію Рима. Правда, не каждое магометанское правительство отличалось такими дурными свойствами, какъ оттоманское, многія были гораздо лучше его, особенно для своего времени, но авторъ утверждаетъ, путемъ подробнаго анализа мусульманства, под-крѣпляемаго историческими примѣрами, что ни одно мусульманское правительство не можетъ дать своимъ иновѣрнымъ подданнымъ хорошаго правительства въ западно-европейскомъ смыслѣ, ни одна магометанская нація не въ состояніи сдѣлаться членомъ цивилизованной семьи націй, какъ европейскія христіанскія націи. Не обобщая вопроса о томъ, можетъ ли нація какой-либо третьей религіи успѣши усвоить себѣ европейскую цивилизацію (въ доказательство такой возможности мы указали бы на Японію), авторъ разбираеть культурныя отношенія между христіанствомъ и магометанствомъ и, какъ лучшимъ, т. е. наиболѣе рѣзкимъ, фанатическимъ выраженіемъ послѣдняго, оттоманскими турками. Христіанство и магометанство, по взгляду Фримена, постоянно болѣе соперничали между собою, чѣмъ какія бы то ни было другія религіи, и даже при самыхъ лучшихъ мусульманскихъ правительствахъ, невѣрные (а въ особенности христіане) не могли быть никогда поставлены на одинъ уровень съ правовѣрными; магометане всегда были властителями, а христіане или вообще не-мусульмане, подвластными, въ силу требованій Корана. Путемъ уплаты даніи, они могутъ купить себѣ право на сохраненіе жизни и собственности и на отправлепіе своихъ религіозныхъ обязанностей; въ качествѣ не-мусульманъ, они не подлежатъ непремѣнно смерти, заточенію или чему-нибудь подобному, и въ этомъ отношеніи ихъ положеніе лучше положенія еретиковъ при нѣкоторыхъ, особенно средневѣковыхъ христіанскихъ правительствахъ. Но даже религіознаго равенства нѣтъ. Христіанство можетъ пользоваться, самое большое, терпимостью, соединеною съ презрѣніемъ. Магометаніи не можетъ принять христіанство подъ страхомъ смерти. Завоеванный мусульманами иновѣрный народъ, пока остается вѣренъ своей религіи, составляетъ обособленное извѣшее общество, которому напоминается во всемъ, что онъ подвластенъ мусульманамъ. При существованіи подобнаго закона, какъ бы хороши фактически ни былъ

данцій мусульманскій правитель, практика неизбѣжно выработаетъ положеніе еще худшее, потому что основывается на воображаемомъ Божескомъ законѣ, который не можетъ быть отмѣнено свѣтскими законоположеніями и правителями. Исторія показываетъ, что презрительная терпимость, обеспечиваемая христіанамъ мусульманскимъ закономъ, легко переходитъ, при случаѣ, подъ вліяніемъ людскихъ страстей, въ лицное насилие, выражющееся даже вспышками преслѣдовашія. Христіанское подданное другиx магометанскихъ правительствъ часто жили гораздо лучше христіанскихъ турецкихъ подданныхъ, но и самое лучшее ихъ положеніе, по нынѣшнимъ западно-европейскимъ понятіямъ, слѣдовало бы признать дурнымъ.

Дѣло въ томъ, что магометанство, прежде всего, религія завоевательная и миссіонерская, притомъ миссіонерская по принципу, путемъ меча, тогда какъ христіанство, когда и распространялось этимъ способомъ, то лишь по доброй волѣ королей и епископовъ. Мусульманство исключительно враждебно христіанству потому, что обѣ эти религіи представляютъ собою враждебныя взаимно системы соціальной и политической жизни, и притомъ имѣющія между собою много общаго. Отсюда ожесточенность борьбы между этими двумя религіями, какой не было при борьбѣ съ язычествомъ; язычники, которые приняли какъ христіанство, такъ и магометанство, въ обоихъ случаяхъ возвышались по нравственнымъ, общественнымъ и религіознымъ попытіямъ. Но христіанская нація доступны прогрессу, потому что ихъ религія, устанавливая нравственные евангельскія правила, не устанавливаетъ правилъ общежитія, обязательныхъ для всякаго общества, для всякой эпохи. Коранъ же именно устанавливаетъ такія правила, которыя могли составлять великую реформу для арабовъ VII столѣтія, но не годится въ приложениі ко всѣмъ народамъ и во всѣ времена. Такъ, отношеніе между духовною и свѣтскою властью у христіанскихъ націй не имѣть религіозной обязательности и устанавливается различно, а магометанская религія устанавливаетъ разъ навсегда, что преемникъ пророка, калифъ, совмѣщаетъ въ себѣ и папскую, и императорскую власть, что между церковью и государствомъ различія нѣтъ, какъ нѣтъ его между религіозными и гражданскими обязанностями. По замѣчанію автора, такое поглощеніе свѣтской жизни религіозною въ исламѣ имѣть и

свою хорошую сторону, — способствуетъ усилению нравственныхъ правилъ въ сношенияхъ между правовѣрными и заставляетъ ихъ не стыдиться своей религіи, что далеко не всегда можно сказать о христіанахъ. Если бы исламъ не выходилъ за предѣлы Аравіи и не освятилъ такихъ древнихъ бичей восточного міра, какъ многоженство и рабство, то, по мнѣнію автора, Магомета можно бы было отнести къ числу величайшихъ благодѣтелей человѣчества. Но тѣ самыя черты, которыя составляютъ хорошую сторону исламизма во взаимныхъ отношеніяхъ мусульманъ, дѣлаютъ мусульманство худшемъ изъ всѣхъ религій при соприкосновеніи магометанъ съ иновѣрцами.

Дурныя свойства этой религіи выразились вполнѣ всего въ оттоманскихъ туркахъ; у другихъ мусульманъ тѣ же тенденціи, по разнымъ причинамъ, не получили полнаго развитія. Суровый, фанатический народъ, составлявшій въ началѣ скорѣе шайку авантюристовъ, чѣмъ націю, эти турки имѣли цѣлый рядъ правителей даровитыхъ по отношенію къ завоеваніямъ и господству надъ другими народами. Оттоманскіе турки были только завоевателями и не обладали ни однимъ изъ тѣхъ возвышенныхъ качествъ, какія иногда отличали другія магометанскія націи. Какъ только они перестали завоевывать, такъ начался упадокъ ихъ имперіи; поэтому ихъ нельзя и сравнивать съ первыми сарацинами или съ индійскими монголами. Сарацины на востокѣ и на западѣ занимаютъ свое опредѣленное мѣсто въ исторіи науки и искусства; турки никогда не занимали никакого; ихъ въ этомъ отношеніи должно поставить ниже арабовъ и персовъ.

Оставаясь магометанами, турки не могли дать національного правительства завоеваннымъ ими, вполнѣ сложившимся націямъ, которые остались христіанами и не поднялись сами — путемъ ремегатства, до уровня завоевателей въ Турецкой имперіи. Простое различіе между завоевателями и завоеванными могло бы еще сгладиться со временемъ, но, усиленный различіемъ религіи, процессъ завоеванія не забылся въ продолженіи почти 500 лѣтъ. Потому-то турки сами и составляютъ на Балканскомъ полуостровѣ, въ сущности только оккупационную армію самого худшаго сорта, вооруженный лагерь, который расположился на земляхъ другихъ, обезоруженныхъ націй и силою низложилъ законныхъ собственниковъ этихъ земель.

Разница противъ всякой другой арміи лишь въ томъ, что каждая имѣеть дисциплину, которой пѣтъ среди турокъ. Только этимъ отсутствіемъ дисциплины и отличается турецкое чужеземное войско на греческихъ и славянскихъ земляхъ отъ немецкихъ войскъ, недавно зашимавшихъ Францію. Худшую часть оккупационной арміи турокъ составляютъ не солдаты султана, а простые вооруженные турки, рыскающіе гдѣ хотятъ и дѣлающіе что хотятъ.

### XIII.

Фрименъ предостерегаетъ, что такія слова, какъ «государь», «подданный», «правительство», «законъ», въ примѣненіи къ туркамъ надобно принимать не въ общепринятомъ смыслѣ. Подданный британскій — членъ того политического организма, главою которого англійская королева, но назвать болгарина оттоманскимъ подданнымъ, значить только признать, что онъ принадлежитъ къ той собирательной единицѣ, которую держить въ иорабощеніи другая такая же единица, и что главою послѣдней оттоманскій султанъ, т. е. что болгаринъ-подданный не только сultана, но и всѣхъ простыхъ турокъ. Въ цивилизованиемъ общества обязанности государя и подданшаго взаимны: подданный обязанъ вѣрностью государю, который дасть ему охрану; государь оказываетъ покровительство подданиому, который присягнулъ ему въ вѣрности; даже глава государства, не имѣющаго конституціи, составляетъ главу своей націи, имѣть общіе съ нею интересы и чувства. Это послѣднее примѣнено еще къ отношеніямъ между султаномъ и настоящими турками: султанъ ихъ государь, глава ихъ націи, турки подданные сultана, если не въ англійскомъ, то въ русскомъ смыслѣ. Но по отношенію къ христіанскимъ подданнымъ султанъ во все не глава ихъ націи, онъ глава чуждой націи, которую они читаютъ своимъ злѣйшимъ врагомъ. Они не подданные его, потому что не видятъ отъ него покровительства, а потому не обязаны ему и вѣрностью. Они подвластны султану только въ томъ смыслѣ, что подчинены ему силою. Короче, власть турокъ надъ христіанскими націями основана на силѣ, а не на правѣ. Постановленія Корана, служащія основою свѣтскаго закона, разсчитаны на интересы правовѣрныхъ мусульманъ. Покровительство закона христіанину пустой звукъ, потому

то невѣрный не можетъ быть свидѣтелемъ противъ правовѣрнаго въ судѣ, если бы даже судъ и былъ склоненъ разобрать дѣло по справедливости. Это — въ теоріи. Практика можетъ быть и лучше и хуже, по обстоятельствамъ. Ясно, поэтому, что по отношенію къ христіанамъ въ Турціи слова «законъ» и «правительство» нельзя принимать въ обыкновенномъ смыслѣ. Сообразно этому, другія европейскія народности, живущія при неограниченномъ, конституціонномъ или республиканскомъ правлѣніи, могутъ желать преобразованія своего правительства въ томъ или иномъ смыслѣ, но никто не добивается полнаго смѣщенія его, т. е. даже недовольные все-таки желаютъ оставаться членами политического общества швейцарскаго, англійскаго, русскаго и т. п. Но христіанскіе подданные турецкаго правительства не могутъ желать только преобразованій, передѣлки его по извѣстному европейскому образцу, а желаютъ совсѣмъ отъ него освободиться потому, что вовсе не состоять членами турецкаго политического общества, а поставлены впѣ всякаго политического общества, они даже не могутъ желать сдѣлаться членами турецкой политической единицы, потому что принадлежать къ своей національности, не имѣющей ничего общаго съ турецкою, чужеземною и враждебною имъ. Авторъ также разъединяетъ, какъ должно понимать слова «Турція», «интересы, друзья, враги Турціи» и т. п. Если подъ Турціей понимать землю и народъ, надъ которыми властвуютъ турки, то не слѣдуетъ забывать, что истинные интересы Турціи противны интересамъ турокъ; интересы турокъ держать въ рабствѣ землю и народъ, т. е., Турцію; интересы Турціи — освободиться отъ рабства турокъ. Поэтому на недавней конференціи авторъ видѣлъ двухъ пашей, представителей турокъ, по не видалъ представителей Турціи, т. е., страшы и народа. Выводъ изъ всего этого тотъ, что система, по которой порабощеніе массы народа считается у господствующаго племени религіознымъ долгомъ, неспособна къ реформѣ, и положить конецъ нынѣшнему состоянію всѣхъ можно только или путемъ перемѣны религіи которойнибудь изъ сторонъ, что практически невозможно, или передачею власть въ руки тѣхъ, при комъ враждующія расы и религіи возможно поставить на равную ногу. Но это возможно только при христіанскомъ правительстве; магометан-

жое, даже самое лучшее, правительство можетъ, въ крайнемъ случаѣ, только оградить на разъ своихъ мусульманскихъ подданныхъ отъ преслѣдованія, отъ личаго насилія; даровать общее равенство правъ оно не можетъ, не отказываясь отъ ислама.

Говоря о магометанахъ, авторъ различаетъ турокъ отъ сарациновъ, и оттоманскихъ турокъ отъ прочихъ турокъ. Сарацины покорили турокъ и обратили ихъ въ мусульманство, и съ тѣхъ поръ турки начинаютъ играть роль въ политической исторіи, въ видѣ различныхъ племенъ, сначала подвластныхъ калифамъ. Владѣнія калифовъ распались на части, которыми владѣли, большею частію, турецкіе властители подъ номинальною властью калифовъ. Въ XI вѣкѣ въ Азіи наибольшою властью пользовались сельджукскіе турки, которые направили свои завоеванія къ западу и имѣли большоѳ столкновеній съ христіанами, чѣмъ какое бы то ни было изъ прежнихъ турецкихъ племенъ. Замѣчательно, что съ этихъ именно поръ и начинается притѣсненіе христіанъ подъ мусульманскимъ господствомъ. Даже при сарацинахъ христіанъ притѣсняли, иногда бывали и преслѣдованія, а турки, даже тѣ первые турки лучшаго образца, были грубѣ и фанатичнѣе сарациновъ, и ихъ то притѣсненія туземныхъ христіанъ и пилигримовъ вызвали тѣ громкія мольбы о помощи, которыхъ повели къ крестовыемъ походамъ. Эти походы, ослабивъ

сельджукскихъ турокъ и Византійскую имперію, расчистили путь оттоманамъ. Авторъ считаетъ неосновательнымъ обвиненіе Византійской имперіи въ дряхлости и безжизненности за все время ея существованія. Напротивъ, нужно было обладать большою жизненностью и энергию, чтобы столько столѣтій отбиваться отъ враговъ, тѣснившихъ имперію со всѣхъ сторонъ, и по временамъ дѣлать еще приобрѣтенія земель. Были периоды упадка, были периоды и процвѣтанія, но озончательнымъ упадкомъ можно считать только послѣднія полтора столѣтія, когда имперія раздробилась на иѣсколько отдѣльныхъ государствъ и должна была отбиваться не только отъ турокъ, но и отъ славянскихъ народностей съ сѣвера, и даже отъ крестоносцевъ, основавшихъ было латинскую имперію и иѣсколько феодальныхъ владѣній. Въ послѣднее время имперія ограничивалась только Константинополемъ съ его окружомъ и

нѣсколькими владѣніями въ Пелоппнезѣ и Малой Азіи. Первое появленіе оттомановъ авторъ, на основаніи легенды, описываетъ такъ: въ битвѣ между сельджукскими турками и монголами турки казались уже побѣженными, когда къ нимъ на выручку явилась бродячая толпа неизвѣстныхъ турокъ съ дальн资料го востока, подъ предводительствомъ Эртогрула. Въ награду за помощь сельджукскому султану, пришельцы получили земли, которая мало-по-малу выросли въ Оттоманскую имперію, расширяясь частію па счетъ никейскихъ грековъ, частію па счетъ другихъ турецкихъ эмировъ. На развалинахъ могущества сельджуковъ явилась власть потомковъ Огмана, сына Эртогрула, и ни одинъ восточный potentatъ не имѣлъ такого продолжительного существованія, какъ династія Огмана. Могущество оттомановъ пережило даже тѣ причины, которыя сломили первыя турецкія династіи, но оттоманы же и представляютъ примѣры такой правственной порчи, какой не было у прежнихъ турокъ. Оттоманскіе турки никогда не были націей въ строгомъ смыслѣ слова. Характеръ бродячей орды проявился у нихъ даже въ пору высокаго ихъ могущества. Народомъ осѣдлымъ, земледѣльческимъ они не сдѣлялись никогда. Гдѣ не было христіашъ, тамъ они властвовали надъ другими мусульманами. Оставаясь завоевательной арміей, они сначала не лишены были даже нѣкотораго своеобразнаго величія. Пока оттоманскіе правители были сильны завоевательны, до тѣхъ поръ существовала въ ихъ правленіи хорошая сторона. Сильный деспотъ больше слабаго подходитъ къ образчику хорошаго правителя. Какъ ни велики могутъ быть его собственные преступленія, но онъ все-таки налагаетъ узду на прѣисченія другихъ. Когда сильная власть султановъ начала слабѣть, тогда-то и выказались черные стороны турецкаго правленія. Къ произволу присоединилась подкупность, и слабые султаны не въ состояніи уже были держать своихъ слугъ въ цорядкѣ. Но первые оттоманскіе правители были великими полководцами и, по своему, замѣчательными государственными людьми. Величайшимъ изъ нихъ и въ то же время однимъ изъ самыхъ жестокихъ былъ Магометъ II, который завоевалъ Константинополь.

Мы не послѣдуемъ за авторомъ въ его очеркѣ царствованія первыхъ турецкихъ султановъ и разрушенія ими Визан-

тійской имперіи. Въ эпоху наибольшаго своего развитія, Оттоманская имперія занимала въ Европѣ огромное пространство, включая въ себѣ почти всю нынѣшнюю Венгрию и Подолію, въ Италіи Отранто, а въ качествѣ вассальныхъ земель: Трансильванію, Молдѣвию и Крымъ. Причину такого неслыханного успѣха авторъ видитъ какъ въ юношеской свѣжести самихъ оттомановъ, ихъ военномъ и религіозномъ энтузіазмѣ, способности первыхъ султановъ, такъ и въ разъединенности юго-восточной Европы, взаимной зависимости ея владѣтелей, неимѣніи у многихъ изъ нихъ истинной основы національной жизни и раздорахъ между восточную и западную христіанскими церквами. Подобное тому едва не случилось съ самими оттоманами. Византійская имперія могла на мгновеніе считать себя спасеною отъ окончательного погрома, когда Тимуръ, принадлежавшій къ шіитской сектѣ, возбудилъ религіозную войну противъ суннитовъ и истребилъ оттоманское войско Балязета. При Сулейманѣ турецкое владычество въ Европѣ достигло высшей степени, а съ Селима II, именно съ несчастной для турокъ лепантской битвы стало клониться къ упадку: непосредственной потери отъ нея турки не потерпѣли, но обаяніе ихъ непобѣдимости было уже разсѣяно, а съ военною силою стала исчезать и нравственная ихъ сила; власть султановъ слабѣла, власть нашей уваличивалась.

Уже въ XVII столѣтіи ослабленіе имперіи было такъ замѣтно, что ждали ея паденія. Если этого не случилось до сихъ поръ, несмотря на безпрерывное внутреннее разложеніе, несмотря на постоянную потерю провинцій и освобожденіе подвластныхъ народностей, то этому причиною частію существованіе одной и той же царствующей династіи, освященной, въ глазахъ правовѣрныхъ, званіемъ калифовъ, преемниковъ пророка частію въ счастливомъ положеніи Константина Поля, которое давало возможность и Византіи долго держаться даже при худшихъ обстоятельствахъ, чѣмъ какимъ когда либо подвергались оттоманы.

Авторъ не находитъ въ исторіи другой столь громадной и живучей власти, которая бы вполнѣ основывалась на приниженіи и развращеніи народной массы. Другая обширная монархіи, какъ, напримѣръ, Римская, дѣлали зло миру, по дѣлали и добро. Разрушая, Римъ также и создавалъ, покоряя на-

роды, вносила въ нихъ цивилизацію; даже притѣснія подвластныхъ, оказывала на нихъ воспитательное вліяніе, передавъ Европѣ языкъ, право, религію. Турки не могутъ представить исторіи эквивалента за совершаемыя ими пѣсколько вѣковъ притѣсненія и насилия. Турское иго прочно установилось только благодаря раздорамъ между греками, славянами, франками, между католиками и православными; пятивѣковое рабство должно бы научить ихъ единенію и терпимости, но едва ли научило; даже въ новѣйшее время мы видѣли примѣры противнаго, и до сихъ поръ слышатся мнѣнія, что турское господство необходимо, какъ связующее звено между греками, сербами, болгарами, которые иначе всѣ бы пересорились между собою.

Говоря о началѣ войнъ Россіи съ турками, авторъ замѣчає, что цѣлью Россіи было открыть себѣ свободный доступъ къ морю, когда еще Перть Великій добивался Азова, и что съ каждымъ шагомъ Россіи на счетъ Турціи, у подвластныхъ христіанъ являлась надежда сбросить иго турокъ прямымъ иликосвеннымъ путемъ, и они мало-по-малу привыкли ожидать себѣ освобожденія изъ Россіи. Вообще возстанія подвластныхъ племенъ составляютъ характеристическую черту новѣйшей исторіи Турціи.

Рисуя отношеніе европейскихъ державъ къ этимъ возстаніямъ, авторъ съ величайшимъ сочувствіемъ относится къ дѣятельности Канинга, разумнымъ и человѣчнымъ взглядамъ котораго греки обязаны участіемъ Англіи въ битвѣ при Наваринѣ. Правда, въ слѣдующей же тронной рѣчи короля наваринская битва названа была «несчастнымъ событиемъ»; великаго ministra смѣнили маленькие дипломаты, и Англія не раздѣлила славы Россіи и Франціи въ усмирепіи турокъ и освобожденіи Греціи. Говоря обѣ урѣзкѣ границъ этой страны, авторъ замѣчаетъ: «дипломатія обыкновенно не понимаетъ ни фактовъ прошлаго, ни потребностей настоящаго.

Дипломатія всегда думаетъ, что можетъ все уладить простыми словами и бумагами; мысли, желанія, чувства цацій она упускаетъ изъ виду. Политика державъ относительно Греціи очень похожа на такое устройство швейцарскаго союза, при которомъ признано было бы возможнымъ соединить Ури, Швицъ и Унтервалльденъ, допустить къ нимъ даже и Люцернъ,

но ни подъ какимъ видомъ не допускать въ союзъ Берна или Цюриха. Къ счастію, въ XIV вѣкѣ не было дипломатіи, и націи могли развиваться, въ XIX вѣкѣ существуетъ дипломатія и развитіе национальностей стѣснено».

Съ горькимъ чувствомъ отзыается авторъ о крымской войнѣ, когда союзницей турокъ явилась та же Англія, которая помогла сокрушить ихъ власть въ 1827 году. Быть союзникомъ турокъ, объясняетъ авторъ, значить быть врагомъ тѣхъ народностей, которыхъ они угнетаютъ.

Шагъ за шагомъ разбираетъ Фрименъ совершившуюся на нашихъ глазахъ исторію парижского мира, лживыхъ турецкихъ реформъ, гатти—гумаюновъ и т. п. По его мнѣнію, тиранія сдѣлалась еще хуже, потому что исходить не отъ самихъ сultановъ, а отъ шайки ихъ приближенныхъ. Съ усиленіемъ централизаціи исчезла послѣдняя надежда у притѣсняемыхъ на улучшеніе ихъ участіи. Христіанами править такие люди, которые во всякой другой странѣ пошли бы въ тюрьму или на висѣлицу. «Нѣтъ варвара опаснѣе того, который умѣеть прослыть человѣкомъ цивилизованнымъ»,—замѣчаетъ авторъ. Прошлогоднія болгарскія звѣрства были естественнымъ послѣдствіемъ принципа независимости и цѣлости Оттоманской имперіи и невмѣшательства державъ въ отношеніи между султаномъ и его подданными.

Если свободные греки и славяне помогаютъ своимъ притѣсненнымъ братьямъ, то страшно говорить, по поводу этого, о чужеземныхъ интригахъ и агитациі. Конституцію Мидхата авторъ считаетъ довершениемъ централизаціи, уничтоженіемъ послѣднихъ слѣдовъ общинной самостоятельности и ухудшающимъ судьбу христіанъ средствомъ; благосклонный деспотъ можетъ еще высказать справедливость ко всѣмъ подвластнымъ ему націямъ, но парламентъ, общій для нѣсколькихъ націй, неимѣющихъ между собою ничего общаго и ненавидящихъ другъ друга, непремѣнно будетъ издавать законы въ интересѣ большинства и въ ущербъ меньшинству, т. е. христіанскому населенію. Притомъ, греки и славяне, участники въ европейской цивилизаціи, не могутъ отказаться отъ своего историческаго прошлаго и принять имя «оттомановъ». Традиціонное предубѣжденіе Англіи противъ восточныхъ христіанъ авторъ старается объяснить общимъ на Западѣ нерасположеніемъ къ

православной церкви, но при всемъ томъ подтверждается, что въ англійскомъ народѣ произошелъ взрывъ негодованія противъ турокъ, когда ему было разъяснено, что они такое.

Нежеланіе министерства слѣдоватъ голосу англійского народа вызываетъ у автора много рѣзкихъ словъ о политикѣ «энергическогоничегонедѣланія», которой слѣдуетъ лордъ Дерби, о еврейскихъ симпатіяхъ и враждѣ къ восточнымъ христіанамъ, лорда Биконсфильда, о безстыдномъ и узкомъ служеніи мнимымъ интересамъ Британіи со стороны Элліота. Всѣхъ этихъ дѣятелей Фрименъ заклеймилъ по достоинству. Онъ заклеймилъ ту «новую нравственность», которая сказалась въ дѣйствіяхъ лорда Элліота, и напомнилъ соотечественникамъ полныя негодованія слова Чатама по подобному же поводу, напомнилъ объ Англіи Каннинга и Кодрингтона, Байрона и Гастингса, которая должна искушить грѣхъ поддержки ея потомствомъ турокъ противъ христіанъ,—искушить во имя человѣчности, которая не можетъ быть заглушена доктриною интересовъ.

Главную ошибку Фрименъ видитъ па томъ, что съ турками обращаются, какъ съ цивилизованной пачеи, тогда какъ на нихъ нужно смотрѣть, какъ на варваровъ, хотя бы и перебѣтыхъ европейцами. Нужно удалить турецкія войска изъ христіанскихъ земель, лишить турокъ голоса по дѣламъ, касающимся христіанъ, затѣмъ образовать рядъ малыхъ, если не совершенно независимыхъ, то вассальныхъ государствъ. Авторъ считаетъ вассальство даже весьма полезною переходною формою устройства подвластныхъ туркамъ племенъ, потому что оно пріучаетъ ихъ къ единенію и союзу и составляетъ наименѣе крутой шагъ къ перемѣнѣ. Авторъ доводитъ умѣренность своихъ требованій до того, что допускаетъ мысль пожертвовать еще нѣкоторое время Константинополемъ, оставивъ тамъ турокъ, лишь бы этимъ путемъ обеспечить свободу окружающихъ греческихъ и славянскихъ земель. Въ Константинополѣ, на глазахъ европейцевъ, турокъ гораздо менѣе зловреденъ, чѣмъ въ Босніи и Болгаріи. Присутствіе турокъ даже полезно, пока греки и болгары не порѣшили своихъ распреі: оно не даетъ имъ окончательно перессориться (взглядъ, о которомъ мы уже упоминали). При вассальныхъ отношеніяхъ христіанскія земли будутъ освобождены, народности ихъ счастливы, потому что будутъ жить національною жизнью; султанъ останется не

мене счастливъ, потому что въ состояніи будетъ продолжать жить жизнью султановъ; мирное мусульманское населеніе вездѣ будетъ довольно, пострадаетъ только придворная олигархія, главный источникъ существующаго зла.

Обращаясь къ самому чувствительному мѣstu своихъ просьбъщенныхъ соотечественниковъ, авторъ старается доказать, что при подобномъ рѣшеніи дѣла не пострадали бы и англійскіе интересы. Страданія Босніи и Крита не могутъ содѣствовать англійскимъ интересамъ. Угнетенные народности ищутъ дружбы Россіи, но также ищутъ дружбы и Англіи и если Англія оттолкнетъ ихъ отъ себя, то онъ всецѣло подпадутъ вліянію Россіи и при конечномъ, неизбѣжномъ освобожденіи ихъ Англія въ результатѣ проиграетъ.

«Если Русскій Императоръ возсядетъ на престоль новаго Рима», — восклицаетъ авторъ, очевидно не изъ дружелюбія къ Россіи, — «то главною виною этого будутъ графъ Веніамины Биконс菲尔дъ и Эдуардъ Генри графъ Дебри». Впрочемъ, авторъ успокаиваетъ соотечественниковъ, что присоединенія Константина Поля къ Россіи быть не можетъ. Цѣль русской политики — достигнуть исключительного вліянія на юго-востокъ Европы, быть можетъ, даже посадить русскаго принца на константинопольский престолъ, по присоединять къ Россіи новый Римъ немыслимо.

Царственный городъ не перестаетъ быть столицей, хотя бы его владѣнія ограничивались собственными его стѣнами, какъ не пересталь быть такимъ даже въ минуты послѣдней агоніи латинскихъ и греческихъ императоровъ. «Константинополь не можетъ быть управляемъ Петербургомъ, какъ и Петербургъ Константинополемъ», — заключаетъ авторъ. Какой бы принцъ ни сидѣлъ на константинопольскомъ престолѣ, онъ не можетъ оставаться ни англійскимъ, ни германскимъ, ни русскимъ; онъ будетъ туземнымъ государемъ. «Магическая сила мѣста заявить свои права»... Эта сила коснулась даже турокъ, конечно, не Абдуль-Гамида, но Магомета II, который, овладѣвъ Константинополемъ, считалъ себя не только султаномъ, но и цезаремъ. Авторъ заключаетъ указаніемъ на силу вещей, силу исторіи, на безсиліе даже великой человѣческой воли, и вновь напоминаетъ своимъ соотечественникамъ о единственной разумной политикѣ по восточному вопросу, политикѣ 1827 года.

Что же касается постоянныхъ страховъ англичанъ за Индію, то Фрименъ напоминаетъ, что дорога въ Индію лежитъ не черезъ Константинополь, а чрезъ Египетъ, гдѣ и сосредоточиваются англійскіе интересы, и что въ Азіи на Англію и Россію наложенъ одинаковый долгъ, одна миссія—миссія просвѣтительная.

Какъ улыбнутся буржуазные британцы, читая эти восторженные строки своего ученаго соотечественника!

Послѣ подробнаго изложения основныхъ мыслей труда Фримена, вовсе не пристрастнаго къ Россіи, но во всякомъ случаѣ добросовѣстнаго и почтеннаго, несмотря на иѣкоторыя невѣрныя положенія, упомянуть о памфлете Джона Милля можно только ради крайняго курьеза. Отыскивать тутъ какую-нибудь точку зрењія было бы лишнимъ трудомъ. Все построено на восклицаніяхъ въ родѣ того, что «турки—англичане Востока», народъ, по самому существу своему преданный свободѣ, почему и англичане, также преданные свободѣ, должны ихъ защищать отъ хищныхъ русскихъ полчищъ, производившихъ настоящія звѣрства въ Хивѣ и въ Польшѣ, и уграждающихъ туркамъ съ кнутомъ въ одной рукѣ, и съ мечомъ въ другой. Это—подлинныя звѣрства, а мнимая болгарскія звѣрства вымыщлены. Маю того: нужно спасти всю Европу не только отъ панславистской имперіи, которая готова поглотить Турцію и Австралію и чуть-ли не Германію, но и отъ проектируемой революціонерами панславистской республики,—отъ соціалистовъ и республиканцевъ, которые ринутся изъ Россіи неудержимымъ потокомъ на Европу, стоящую на стражѣ собственности и консервативныхъ началь. Еще много поразсказали мудреныхъ вещей о страшныхъ заговорщикахъ, о «нигилистахъ», о «старовѣрахъ» и т. п. Рѣшительно, это писать не англійскій журналистъ, все-таки трезвый умственецъ, хотя и эгоистичный. Подъ почтеннымъ именемъ Милля скрывается если не еврей, не мадьяръ, то безличное, безнациональное, продажное лицо, способное завтра же восхвалять доблесть и нигилистовъ и старовѣровъ, рядомъ съ гражданскими доблестями турокъ. Какова же, однако, публицистика свободной страны, въ которой, рядомъ съ серьезными историческими трудами, обращаются подобныя жалкія спекуляціи, «разсчитанныя на угоду низменнымъ страсти?»

XIV.

«Знакомство съ болгарами охладило къ нимъ русскихъ», — это говорить агентъ «Гаваса». Опъ правъ, потому что это «охлажденіе», начавшееся съ первыхъ же дней перехода нашихъ войскъ черезъ Дунай, стало мало-по-малу выражаться яснѣе и яснѣе, опредѣленіе и опредѣленіе и не могло быть не замѣчено не только тѣми, кому оно по душѣ, но даже и тѣми, для кого оно было тяжёлымъ и грустнымъ разочарованіемъ. Частные факты, мелкія случайности и столкновенія, все это, сгруппировываясь въ одно цѣлое, дало поводъ думать, что тѣ симпатіи, связывающія якобы два родственныхъ народа, пустая иллюзія, что этихъ симпатій не существовало даже вовсе, что болгары относятся къ своимъ «непрошенымъ избавителямъ» съ недовѣріемъ, даже со страхомъ за свою будущность. Тѣ, кому любо все, что рождаетъ рознь и раздоръ въ мірѣ славянства, открыто и первомъ, и словомъ заговорили, что болгары, несчастныя игрушки русскихъ интригъ, поставлены теперь между двухъ кулаковъ, русскимъ и турецкимъ, и навѣрное предпочли бы второй, если бы имъ предоставили свободное право выбора. Тѣхъ, кому дорога духовная связь разрозненныхъ семей этого великаго славянскаго міра, традиціоннаго путала запада, тѣхъ тоже охватило тяжелое сомнѣніе, для тѣхъ тоже чуть-чуть было не наступила печальная минута разочарованія.

Первое, что поразило русскихъ, едва только они вступили въ болгарскія земли — это относительное благосостояніе края. Болгарскія земли обработаны несравненно лучше турецкихъ, болгарскія жилища — это положительно дворцы въ сравненіи съ грязными турецкими лачугами, болгарскія церкви давятъ своимъ блескомъ и богатствомъ мусульманскія мечети, красующіяся только издали своими стройными, бѣлеными колоннами минаретовъ, вблизи же кажущіяся какими-то пустыми, запущенными сарайми, годными только развѣ для загоновъ скота или подъ казармы бashi-бузуковъ, кстати онѣ и служили въ послѣднее время преимущественно для этой послѣдней цѣли. Болгары одѣты чисто и опрятно, даже отчасти богато, турки же грязные, вонючие оборванцы, вишающіе чуть-чуть что не сожалѣніе своимъ нищенскимъ видомъ; болгары

грамотны, у нихъ есть школы и даже не мало, уже во всякомъ случаѣ безконечно больше, чѣмъ таковыхъ въ самой Россіи—турки неучи и даже сановные изъ нихъ не все могутъ подписать свое имя. Гдѣ же эта забитость, угнетенность, гдѣ же это деморализующее рабство и униженіе?! Взглянуть съ первого раза, такъ въ самомъ дѣлѣ покажется, что по какому-то странному недоразумѣнію перемѣшались роли, а на самомъ дѣлѣ угнетенные-то и есть настоящіе угнетатели, и не намъ, русскимъ, надо спѣшигъ освобождать болгаръ изъ подъ турецкаго ига, а венгерцамъ стремиться на помощь къ несчастнымъ туркамъ, вотъ уже пять столѣтій стонущимъ подъ невыносимымъ гнетомъ деспотического болгарского владычества.

Холодно отнеслись болгары къ навѣстившимъ ихъ русскимъ, они недовѣрчиво смотрятъ на русскаго, запираютъ передъ нимъ двери своего дома, неохотно вступаютъ съ нимъ въ какое бы то ни было сношеніе, также точно дерутъ съ него за все двойную цѣну, благо тотъ по наивности платить за все забраиное чистыми дельгами. Между болгарами много турецкихъ шпіоновъ, увѣдомляющихъ турокъ обо всемъ, что дѣлается въ рядахъ русской арміи, таковыхъ даже наиболѣе встрѣчается между болгарскими священниками, значитъ всетаки въ средѣ интеллигентной и обеспеченной. Если на встрѣчу русскимъ и выходили процесіи съ хлѣбомъ и солью, крестами, хоругвями и задушевными привѣтствіями, то это только потому, что должны же болгары заискивать у силы, они также точно вышли бы на встрѣчу и къ туркамъ побѣдителямъ, и къ нѣмцамъ, и къ англичанамъ, и къ французамъ, однимъ словомъ ко всякой внѣшней силѣ, появившейся у порога ихъ жилищъ, и напрасно русскіе смотрятъ на эти встрѣчи какъ на проявленіе задушевныхъ симпатій, какъ на святой долгъ почтить своихъ желанныхъ, долго жданныхъ избавителей.

Болгары, какъ и сербы, оказались плохими воинами, больше того, болгары отчаянныи трусы, они готовы бѣжать отъ звуковъ первого непріятельского выстрѣла, каждая лопнувшая въ ихъ колоннахъ граната, каждое провизжавшее надъ ихъ головами ядро производить въ ихъ рядахъ несказанное смятеніе. Болгары-легіонеры никакъ не могутъ, не хотятъ даже освоиться съ самыми основными, элементарными условіями дисциплины. Они едва только почувствуютъ усталость на походѣ,

самовольно снимають ранцы и требують себѣ отдыха. Болгары не хуже бashi-бузуковъ готовы грабить, жечь и неисговствовать надъ турками, едва только тѣ поставлены въ невозможность самозащиты; подобныя продѣлки болгары не разъ даже набрасывали недобрую тѣнь на безупречно честное и дисциплинированное русское войско. А между тѣмъ, тѣ же болгары, получивъ отъ русскихъ оружіе, оказывались неспособными противустать самымъ незначительнымъ партіямъ турецкихъ мародеровъ и малодушио сдаютъ врагамъ оружіе, несмотря даже на то, что ничего не могутъ выиграть своею покорностью и отстранить ею отъ своихъ головъ беспощадный пожъ бashi-бузуковъ. Какой жалкий народъ, какъ подумаешь, возможна ли хотя какая-нибудь симпатія къ подобному народу! Вѣдь все, что я говорю, это правда, на столько правда, что каждое слово можно подтвердить фактами. Читая газеты съ извѣстіями съ театра войны, въ этомъ легко убѣдиться, особенно если читать безъ разбора, да и такъ просто, изустно, въ средѣ арміи вы можете чуть не на каждомъ шагу слышать разсказы, подтверждающіе все вышесказанное. Но болгары за это обвинять нельзя, не они виноваты сами, а тотъ деморализующій гнетъ, давящій ихъ столько времени, и гнетъ, вызванный не волею турокъ, а какъ неизбѣжное явленіе, законное противодѣйствіе русскимъ интригамъ и проискамъ. Вотъ одна весьма вѣская причина боларамъ относиться къ намъ недовѣрчиво и недружелюбно, даже болѣе— считать насъ своими настоящими врагами.

Такъ говорятъ, такъ объясняютъ, хотя можетъ быть и не всегда по убѣждению, враги славянства, и они даже могутъ подбирать доказательства своимъ словамъ, могутъ опираться даже на факты, на столько, къ сожалѣнію, убѣдительные и вѣскіе, что и между самими русскими, въ рядахъ даже нашей борющейся за Дунаемъ арміи, зародилось сомнѣніе въ искренности симпатій избавляемыхъ и стало вызывать нѣкоторое разочарование и охлажденіе...

Все это весьма на руку нашимъ врагамъ, и тѣмъ, кто непосредственно съ оружіемъ въ рукахъ борется съ нами, и тѣмъ, кто зорко слѣдитъ за борьбою, со злобою встрѣчая всякихъ успѣхъ нашего оружія, громко аплодируя и празднуя всякую русскую неудачу.

Война сильца не численностью воюющихъ армій, не миллионами на нее затраченными, она сильца своимъ духомъ, своею руководящою идею. Настоящая война именно свята и могуча этою идею. Отъ главнокомандующаго до послѣдняго солдата всѣ равно и глубоко проникнуты ею. Дѣло родного намъ угнетеннаго славянства, наше родное, кровное дѣло. Съ этимъ знаменемъ мы непобѣдимы и успѣхъ за нами обеспеченъ. И это поняли хорошо наши враги, это-то ихъ и напугало. Понятно, что симпатіи наши, довѣріе и любовь къ тѣмъ, кого мы пришли освобождать, занимаютъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ этой идеѣ, и поколебать эти симпатіи было бы для нашихъ враговъ слишкомъ выгоднымъ выигрышемъ, чтобы они не постарались это сдѣлать, подыскавъ для этого всѣ данины, благо эти данины сами подъ руку подвертываются.

Старанія нашихъ враговъ въ этомъ направлениі отчасти уже увѣнчались пѣкоторымъ успѣхомъ. Съ береговъ Дуная къ централь РОССІИ уже начало проявляться пѣчто вродѣ разочарованія, что-то отрезвляющее, благо мы такъ склонны ко всякимъ псевдо-отрезвленіямъ, и если бы турки были нѣсколько поумнѣ, да сами бы не подлили масла въ огонь своими безчеловѣчными поступками съ болгарскими городами и селеніями, побывавшими въ рукахъ русскихъ и спаса попавшими въ турецкія лапы, съ нашими плѣнными и ранеными, явнымъ цинизмомъ въ нарушеніи всѣхъ обычаевъ войны и правила чести, а хотя бы притворились па время людьми (потомъ, моль, все равно), тогда, пожалуй бы, святость идеи настоящей войны значительно поуважилась бы и результаты ея стали бы сомнительнѣе. Но турки этого не сдѣлали, а враги наши не успѣли имъ подсказать во-время ихъ роли, турки, словно па зло своимъ европейскимъ друзьямъ, па каждомъ шагу изъ кожи лѣзутъ, чтобы доказать, что имъ не только пѣть уже мѣста въ Европѣ, но и въ Азіи, гдѣ тоже есть надѣ кѣмъ тѣшить имъ свои звѣрскіе инстинкты. Позволю себѣ одно сравненіе, можетъ быть и странное, но, мнѣ кажется, вѣрное. Лордъ Биконсфильдъ долженъ теперь смотрѣть на Турцію такъ, какъ смотритъ охотникъ па скомпрометировавшую его собаку: онъ только что расхваливалъ ея дрессировку и умѣніе вести себя прилично, а скверный песъ, какъ па зло, тутъ же стащилъ со стола цыпленка и безцеремонно отпесся къ коврамъ

и паркетному полу комната... Мидхатъ, этотъ положительно умѣйшій изъ современныхъ турокъ правду сказать, что потеря Рущука и Шумлы были бы для Турціи легчайшими потерями, чѣмъ эпизоды въ Каварнѣ и Эски-Загрѣ, эти кровавые эпизоды, которымъ теперь неѣть числа по всему пространству, обреченному служить театромъ военныхъ дѣйствій. И такъ, для поддержки духа нашей арміи, для поддержки симпатій ея къ несчастнымъ христіанамъ Балканскаго полуострова являются неожиданно сами же турки, упорно, самыми осознательными фактами отрицающіе все то, что говорится въ громкихъ, краснорѣчивыхъ, многоглагольныхъ рѣчахъ ихъ адвокатовъ, турки въ этомъ отишешіи словно поняли, что дѣло тутъ идетъ вовсе не о Турціи, не объ ихъ турецкихъ интересахъ, что умыселъ другой тутъ былъ. Не даромъ же они такъ недовѣрчиво отнеслись къ предложеніямъ Англіи впустить ея флотъ въ воды Босфора, занять красными мундирами турецкія южныя прибрежья. «Деньги, моль, давайте, пушки, оружіе, спарады—все давайте, все возьмемъ съ благодарностью, даже съ скромною надеждою на отдаленную уплату; а съ руками, моль, подальше, или же рискните вмѣстѣ съ нами, открыто стать лицомъ къ лицу съ грозными силами, выдвинутыми Россіею».

Читая и слушая разсказы о томъ, что творилось два года подъ рядъ въ Болгаріи, намъ эта несчастная страна представлялась въ видѣ грудъ непла и развалинъ; болгарскій народъ въ видѣ отдельно бродящихъ, обезумѣвшихъ отъ ужаса, голодныхъ, ограбленыхъ доисльзя группъ, чуть живыхъ, и цѣлыхъ горъ изувѣченыхъ труповъ. У насъ даже вкоренилось убѣженіе, что, ступивъ на болгарскую землю, мы очутимся въ пустынѣ, гдѣ нечего будетъ есть и все надо брать съ собою заблаговременно, что намъ мало того, что придется везти за арміей все ея продовольствіе, но даже везти это продовольствіе и на долю болгаръ, прокормленіе которыхъ ляжетъ тоже, хотя на первое время, па наши собственные плечи. Такъ думала чуть не вся Россія, такъ думала и наша армія, къ этому готовилось и наше интенданство, организуя колоссальные транспорты и склады. Пришли мы и видимъ цвѣтущія поля, обильную жатву, сытыхъ людей и полную возможность, за нѣкоторымъ исключеніемъ, довольствовать армію средствами

страны, этой самой разоренной страны, обращенной, якобы, въ мертвую пустыню. На нашей физиономии, на которой выражалось до сихъ поръ самое христіанское состраданіе и готовность помочь, показалось выраженіе нѣкотораго недоумѣнія, словно на лицѣ какого-нибудь аристократствующаго филантропа, спустившагося въ подвалъ бѣдняка, гдѣ по полученнымъ свѣдѣніямъ царитъ нищета и голодъ, и вдругъ нашедшаго у него на столѣ хлѣбъ и кусокъ колбасы. Да ты, братецъ, тутъ пируешь!.. А намъ сказали... подумаетъ такой филантропъ и, пожалуй, спрячетъ снова въ карманъ приготовленную лепту, ограничясь однимъ душеспасительнымъ словомъ, но на то онъ и филантропъ, то бишь членъ филантропического общества, чтобы такъ подумать и сдѣлать, а намъ въ отношеніи Болгаріи этого и думать, и дѣлать не приходится. Надо же помнить и знать, что чудная, богатая природа Болгаріи быстро сглаживаетъ все то, что разрушено и осквернено руками человѣческими. Что въ два года, вырѣзывая ежедневно хоть по сту человѣкъ, нельзя истребить и сотой доли восьмимилліоннаго населенія. Насъ поразило относительное довольство—только девятая часть того, что добываетъ себѣ трудолюбивое, трезвое, честное, безконечно-терпѣливое болгарское населеніе, а восемь-девятыхъ идетъ на потребу Константинополя и въ карманы хищнической турецкой администраціи. Каждой же цвѣтущей видъ должна была бы имѣть Болгарія, еслибы ея, добытыя руками єя сыновъ, средства, всѣ бы оставались въ рукахъ законныхъ владѣльцевъ! Надо и то сказать, что русской арміи пришлось постыдиться пока менѣе пострадавшей части страны, идя дальше вглубь, они успѣли взглянуть и на то, что очень похоже въ дѣйствительности на ихъ первоначальныя предположенія. Что болгарскія церкви сравнительно роскошны въ сравненіи съ турецкими мечетями — это и быть не можетъ иначе: болгары добрые христіане и изъ послѣдняго готовы дѣлиться съ своими храмами; мусульмане вездѣ и всегда апатично и небрежно относятся къ своимъ домамъ молитвъ. Всякій путешествующій въ мусульманскихъ странахъ легко могъ убѣдиться въ этомъ: въ самой Меккѣ мечети находятся въ крайнемъ запущеніи; грандіозныя сооруженія тамерлидовъ въ Самаркандѣ почти въ развалинахъ и въ настоящее время, какъ исторические памятники, поддерживаются только

русскими. За мѣсяцъ до объявленія войны я былъ въ Рущукѣ и видѣлъ въ какомъ положеніи находились турецкія мечети, занятая подъ казармы низама и египетскихъ батальоновъ. Солдаты мусульмане не стѣснялись даже отправлять внутри ихъ свои естественные потребности. Что у болгаръ много школъ, что они въ большинствѣ грамотны — это еще болѣе должно поддерживать мысль о нетерпимости зависимости народа культурнаго, любящаго просвѣщеніе, отъ дикарей, хорошо знающихъ изъ своего Корана только тѣ строфы, гдѣ ихъ учить бить, жечь, насиловать и уничтожать съ лица земли все не признающее ихъ ученія.

По меньшей мѣрѣ наивно, если не просто пачечно, тыкать въ глаза болгарамъ, жалующимся на угнетенность, ихъ относительнымъ благосостояніемъ.

Турокъ пищенствуетъ отъ лѣни, если онъ слабъ и старъ, — если онъ еще силенъ, онъ разбойничаетъ, или по крайней мѣрѣ готовъ на разбой при первомъ удобномъ случаѣ, особенно если ему намекнуть свыше на безнаказанность.

Болгаринъ стыдится нищеты, протянуть руку за подаяніемъ для него позоръ; разоренный, онъ тотчасъ же пытается поправить свои дѣла, несмотря даже на то, что ждетъ новаго разоренія. Онъ, какъ пчела, вѣчно добываетъ себѣ новые и новые запасы меда, какъ бы пчеловодъ не эксплоатировалъ его трудъ; онъ, какъ муравей, вѣчно готовъ неутомимо задѣлывать дырья, сдѣланныя палкою въ его муравейникѣ. Въ одномъ только онъ выше пчелы; иной пчеловодъ, выламывая соты, все-таки оставляетъ часть на зиму, на пропитаніе. Турокъ неохотно слѣдуетъ примѣру такого пчеловода и готовъ не оставить ничего, нисколько не заботясь о своемъ кормильцѣ, дойной коровѣ — болгаринѣ.

Быстро сглаживаются на болгарской почвѣ слѣды турецкихъ преступлений, кровь смывается дождями, трупы тщательно зарываются въ землю, обгорѣлые развалины, если только не все обитатели ихъ перебиты, поправляются и принимаютъ снова видъ благоустроенныхъ человѣческихъ жилищъ, — если же обитатели перебиты все до послѣдняго, то густой бурьянъ, виноградъ, плющъ и розы быстро покрываютъ собою печальные останки. Словно чудная природа, какъ и ея обитатели, ревниво охраняетъ порядокъ, уютность, приличный вицѣй

видъ, не выставляя всѣмъ на показъ своихъ бѣствій, не павлзывалъ никому съ своими бѣдами и напастями... Болгаринъ даже жалуется неохотно и только черезчуръ уже близкія, кровавыя воспоминанія вызываютъ въ немъ готовность выскакаться и показать свои свѣжія раны. Болгаринъ мягокъ и кротокъ, онъ даже къ своимъ притѣснителямъ относится не озлобленно и готовъ тотчасъ же забыть все панесенное ему зло и оскорблѣніе. Много, много нужно зла, чтобы вызвать въ болгаринѣ жажду мести, но не взыскивайте же съ него, если онъ подъ вліяніемъ этой жгучей жажды превратиться въ бѣшнаго звѣря, — да и въ такую минуту онъ можетъ убить своего врага, но не станетъ надъ нимъ издѣваться и подвергать его лишнимъ мученіямъ.

Наши солдаты чрезвычайно мѣтко, однимъ словомъ охарактеризовываютъ встрѣченную ими личность. Прозвище, разъданное ими, вѣчно уже пойдетъ за получившимъ его субъектомъ. И болгары уже получили это прозвище,—слово: «добрая душа» стало нарицательнымъ именемъ всякаго болгарина. «Добрая душа, здорово! Добрая душа, а куда идетъ эта дорога?—Тамъ, ваше благородіе, добрыхъ душъ пять человѣкъ съ авантюристомъ привели», — вотъ фразы, которыя вы можете на каждомъ шагу слышать. Объ румынѣ этого нашъ солдатъ не скажетъ, — румынъ у нихъ давно уже заклейменъ прозвищемъ «цыгана, жида, христопродавца, мамалыжника лохматаго» и другими не менѣе лестными прозвищами.

Название «добрая душа» остается за болгариномъ даже въ тѣхъ случаяхъ, если этотъ послѣдній не оправдываетъ своей клички. «Да вотъ «добрю душу» вѣшли», — угрюмо отвѣчали на мой вопросъ солдатъ, возвращавшійся, вмѣстѣ съ товарищами, съ экзекуціи надъ пойманнымъ и уличеннымъ шпіономъ,—къ несчастію болгариномъ. Да, случаи шпіонства между бол гарами были, но развѣ во франко-прусскую войну не было шпіоновъ французовъ, готовыхъ на услуги нѣмцамъ, развѣ въ рядахъ нѣмцевъ не оказывалось французскихъ шпіоновъ, развѣ англичане въ Индіи не разстрѣливали своихъ же солдатъ, уличенныхъ въ корыстныхъ сношеніяхъ съ туземцами, развѣ не было никогда турецкихъ шпіоновъ даже между русскими?.. То мы толкуемъ о томъ, что болгары деморализованы своимъ безконечно долгимъ рабствомъ и удивляемся какъ эта несчаст-

ная раса сохранила еще слѣды своей культуры; то ставимъ имъ въ упрекъ отдельные случаи шпионства, преступления изъ рода тѣхъ, что неизбѣжны при всякой деморализациі. Это такъ уже даже и не послѣдовательно!..

Болгары отнеслись къ намъ холодно — ихъ традиціонныя встрѣчи съ хлѣбомъ и солью носили характеръ нѣкоторой неизбѣжной формальности, а то такъ даже и запуганности, если хотите.

Холодно... положимъ... Впрочемъ, это понятіе относительное. Если вы разсчитываете, что васъ обдадутъ крутымъ кипяткомъ, а на васъ плеснуть только умѣренно горячею водою, то это пожалуй покажется и холодно. А мы именно разсчитывали на крутой кипятокъ или, вѣрище, на жгучее пламя самой страшной, братской любви и безконечной благодарности по гробъ, выданной намъ даже впередъ, авансомъ, когда еще и не было за что путемъ благодарить, когда дѣло освобожденія еще только начинается, а начало или, правильнѣе, конецъ нѣвсегда соотвѣтствуетъ началу.

Неужели мы были увѣрены, что болгарскій народъ,—масса,—за все предѣдущее время на столько слѣдилъ за политическимъ и историческимъ развитіемъ восточаго вопроса, чтобы въ немъ могло выработаться полное убѣженіе, что современныя события суть финаль всей драмы, что теперь для нихъ дѣйствительно занялась свѣтлая заря свободной будущности безъ возврата къ печальному прошлому. Сколько разъ подобная заря уже занималась и угасала безъ восхода солнца, сколько разъ несчастному народу приходилось поплатиться кровью за свои иллюзіи. Вѣдь еще свѣжо въ его памяти, когда хомяковскіе колокола, позвонивъ малое время на своихъ мѣстахъ, зазвонили потомъ на шеяхъ поповъ, позорно на вѣревкахъ ведомыхъ вокругъ церквей и по городскимъ улицамъ. (Охъ, ужъ эти колокола!) Да и въ настоящую кампанію сколько уже селеній и городовъ жестоко поплатились за то только, что въ нихъ заглядывали русскіе и, не имѣя возможности включить ихъ въ районъ, прочно занятый нашими войсками, уходили снова. Что же мудренаго, что болгаринъ и пытается отстранить отъ себя гнѣвъ своихъ исконныхъ притѣснителей и не слишкомъ-то явно выказываетъ свои симпатіи освободителямъ, по крайней мѣрѣ пока не убѣдится въ томъ, что освобожденіе свершилось дѣйствительно, или хоть близко къ та-

кому результату. Въ Систовѣ мнѣ рассказывали наши офицеры, что въ предмѣстіи города, въ одномъ домѣ ихъ слезно просили хозяева не вводить солдатъ во дворъ и ничего отъ нихъ даже за деньги не требовать днемъ. Ночью же они сами вынесли солдатамъ и вина, и табаку, и мяса, — принесли даже подушки и одѣяла. Вѣдь это очень характерно и какъ нельзя болѣе ясно указываетъ на настоящее значеніе нѣкоторой холодности, замѣченнай якобы въ отношеніяхъ болгаръ къ русскому воинству. А между тѣмъ, стоитъ только пройти извѣстному времени, стоитъ только болгарамъ нѣсколько успокоиться и заручиться увѣренностью въ прочности своего нового положенія, дѣло мѣняется быстро, сближеніе болгаръ съ русскими развивается все шире и шире, какъ случилось въ томъ же Систовѣ, спустя нѣсколько недѣль послѣ его занятія.

Не ставьте же въ вину болгарину, что онъ просто-напросто боится скомпрометировать себя въ глазахъ своихъ грозныхъ властителей, пока не убѣдится окончательно, что эти властители не вернутся и не накажутъ его за государственную измѣну.

А все-таки, несмотря на эту вполнѣ законную, оправдываемую примѣрами прошлыхъ войнъ, боязнь, навстрѣчу войскамъ нашимъ выходить депутатамъ, выносится хлѣбъ-солъ, образа и хоругви, говорятся рѣчи привѣтственные, хотя можетъ быть у ораторовъ и дрожитъ голосъ, коснѣетъ языкъ и глаза боязливо бѣгаютъ по сторонамъ: не сидитъ ли гдѣ-нѣбудь спрятавшись какой-нибудь мѣстный вали или муфтій, а то такъ просто доброжелатель, готовый припомнить все ораторомъ содѣянное и высказанное и при случаѣ выдать его головою въ лапы турецкаго правосудія.

Знаете вы гдѣ надо искать настоящихъ выраженій того, что чувствуютъ въ отношеніи нась болгары? Это въ дѣтяхъ. Ребенокъ не выдумываетъ того, что говорить, онъ повторяетъ то, что говорили при немъ въ семейныхъ тайникахъ, онъ готовъ высказаться при случаѣ безсознательно, безъ боязни отвѣтственности за высказанное Молодыя женщины и девушки долго еще сохраняютъ это дѣтское свойство.

Вотъ эти-то юные субъекты не стѣсняясь выражали нашимъ солдатамъ свои задушевныя симпатіи. Сколько цвѣтниковъ было истреблено ради такой встречи, сколько букетовъ

летѣло подъ ноги солдатъ и подъ колеса орудій; рѣдко въ птилицѣ какого кителя не красовалось цвѣтка, а эти звонкіе радостные голоса, это веселое прыганье черномазыхъ мальчиковъ, путавшихся между рядовъ, вскарабкавшись на сѣдла кавалеристовъ... Кто не видаль подобныхъ сценъ—тотъ только можетъ сомнѣваться въ истинныхъ чувствахъ болгарского народа. Глядя на эти сцены, можно, я думаю, забыть нѣкоторую натянутость, доходящую даже до комизма, такъ сказать, офиціальныхъ встрѣчъ процессій.

Болгары—трусы. Но эти трусы—едва только узнали, что въ Кишиневѣ открыть пріемъ болгарскихъ волонтеровъ, добровольно, даже съ энтузіазмомъ, ринулись на призывъ и менѣе чѣмъ въ четыре мѣсяца образовали легіонъ въ восемь тысячъ человѣкъ. Я видѣлъ лично какое уныніе распространилось въ рядахъ этого легіона, когда въ Плоэштахъ сталъ распространяться слухъ—и даже весьма основательный—о томъ, что эти легіонеры не примутъ непосредственно участія въ первыхъ атакахъ войны, что ихъ будутъ беречь, какъ будущій оплотъ воскресшаго болгарского народа. Я видѣлъ и то ликованіе, распространившееся въ ихъ рядахъ, когда имъ объявили, что поведутъ въ огонь наравнѣ съ передовыми колоннами русской арміи.

Они плохо дисциплинированы; случаи самовольныхъ приваловъ и отдыховъ дѣйствительно были, но это были чисто частные личные случаи; не забудемъ, что въ рядахъ легіонеровъ были и слабые субъекты, почти дѣти—четырнадцати даже лѣтъ: немудрено, что они бросали тяжелые рапиры и садились на землю, не слушая приказанія итти. Но вѣдь отсталые есть и въ старыхъ, регулярныхъ, испытанныхъ войскахъ, почему же имъ не быть въ рядахъ непривычныхъ новобранцевъ...

Эти легіоны вошли, наконецъ, въ огонь; случалось, что они не выдерживали огня и колебались, но не бѣжали; этого про нихъ никто сказать не осмѣлитсѧ... Надо и то принять въ разсчетъ, что многое можетъ проигрывать отъ сравненія, а сравненіе для молодыхъ болгарскихъ дружинъ было самое невыгодное; имъ приходилось выдерживать это сравненіе съ идеальными батальонами русскихъ пѣхотинцевъ—и я ссылаюсь только на мнѣніе этихъ самыхъ идеальныхъ пѣхотинцевъ. Наши солдаты ни одинъ не отзовется о болгарскомъ волонтерѣ дурно. Тяжелыя потери, понесенные уже легіонерами,

краснорѣчиво свидѣтельствуютъ о ихъ мужествѣ. Такія потери несутъ только герои, отважно, грудью прокладывающіе себѣ дорогу, или малодушные бѣглецы, нагнанные по пятамъ преслѣдователей. А наши (болгарскія дружины тоже въ числѣ нашихъ) еще никогда не бѣжали.

Тѣ, которымъ очень хотѣлось закрѣпить за болгарами признаніе въ трусости, говорили и говорятъ еще о легіонѣ и его дружинахъ, что эти части обязаны своимъ кажущимся мужествомъ своимъ русскимъ кадрамъ, своимъ превосходнымъ русскимъ офицерамъ, пріобрѣвшимъ себѣ уже боевую опытность въ славныхъ туркестанскихъ батальонахъ (дѣйствительно, въ дружинахъ много служившихъ въ войскахъ центральной Азіи), но будь болгары предоставлены сами себѣ, они высказались бы совершенно иными. И это неправда, я ссылаюсь на свидѣтельства всѣхъ тѣхъ, кто былъ въ настоящее время въ Балканахъ въ районѣ занятыхъ нами частей этой горной мѣстности. Кто первыми являлись на помощь русскимъ и предлагали безкорыстно свои услуги, служили намъ развѣдчиками и проводниками, и какими проводниками! преданными, смѣлыми до самоотверженія, неутомимыми, превосходно знающими всѣ лазейки, всѣ тропы малоизвѣстной для нась мѣстности. Кромѣ того, развѣ не приходилось намъ встрѣтить отдѣльные, самостоятельные отряды болгаръ, отыскивающими турецкихъ мародеровъ и жестоко расправляющими съ ними.

Когда русскіе очистили Іени-Загру и въ городъ вошли турецкія колонны—этимъ послѣднимъ пришлось выдержать еще тяжелую борьбу съ жителями, бившимися на смерть, а не позорно бѣжавшими изъ города заблаговременно... Не стану перечислять тутъ отдѣльныхъ личныхъ подвиговъ болгарскихъ борцовъ за святое дѣло, скажу только одно: единственнымъ вѣрнымъ и безпристрастнымъ оцѣнщикомъ боевыхъ качествъ болгарина можетъ быть только русскій солдатъ, бьющійся съ нимъ рука объ руку, а по единодушному свидѣтельству нашего солдата, болгаринъ - волонтеръ считается добрымъ товарищемъ. Шутка-ли: «добрый боевой товарищъ русского солдата»—да вѣдь это патентъ на геройство!

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
Н. Н. КАРАЗИНА.

---

## СКАЗКИ

# ДѢДА БОРОДАТАГО.

---

---

---

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.



ИЗДАНИЕ П. П. СОЙКИНА.



КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ  
Отремянная, 12, соб. домъ.

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ  
Невский, 96, уг. Надежд.

ДОЗВОЛЕНО ЦЕНЗУРОЮ. С.-ПЕТЕРВУРГЪ, 24 ОКТЯВРЯ 1905 Г.

ТИПОГРАФІЯ П. П. СОЙКИНА, СПБ., СТРЕМЯННАЯ, № 12.

# МОИ СКАЗКИ.



## Незнакомый слѣдъ.

Нашелъ рыхлій мурашка можжевелинку и поволокъ въ свою родимую кучу; во всю муравынную прыть помчался...

Ноша, вѣдь, не тяжелая, а дорога знакомая, гладкая, безъ сучка, безъ колдобинки; сегодня утромъ ужъ разъ десять по ней сбѣгалъ.

Бѣжть, пыхтить, торопится... Бацъ—и полетѣлъ кувыркомъ со всего разбѣга, добычу выпустилъ; со страха въ головѣ помутилось...

Очнулся мурашка, глядитъ: яма глубокая, да широкая!.. поднялъ голову:

— Ого-го-го! съ какой это я вышины грохнулся! Что за диковина! откуда это яма такая появилась? сколько лѣтъ живемъ въ околоткѣ, никогда такой здѣсь не было.

Обошелъ муравей по дну вокругъ, кое-какъ съ трудомъ, наверхъ выбрался, глядить внизъ, раздумываетъ, а тутъ другіе мураши-товарищи, кто съ ношкою, кто порожнемъ ползутъ...

— Легче, братцы, дорога перегорожена!

— Что да кто, да какъ, да почему? — посыпались разспросы... бѣгаютъ по краю, суетятся, хлопочутъ...

Приковылялъ къ нимъ жучекъ-усачекъ.

— Тамъ, говоритъ, поправѣ желтаго лопуха, еще такая же выкопана.

— Далеко? — спросили муравы.

— Да такъ, ежели по нашему, по жучиному, считать, такъ съ полверсты будетъ, а по вашему, муравынному — наберется полторы съ хвостикомъ.

Прыгъ къ нимъ чуть не на голову зеленый кузнечикъ.

— Что за народъ собрался?

Объяснили муравы — такъ, моль, и этакъ

— Да нѣшто, одна здѣсь яма такая,—покрутилъ усомъ прыгунъ. — Я ужъ штуки четыре такихъ перемахнулъ! Это точно, что здѣсь ихъ прежде не было, а только памъ наплѣвать! Мы и не такія перескакивали!.. Вотъ, напримѣръ, это бревно—изволите видѣть? Гопъ, оставаться счастливо!

Только его и видѣли.

— Ишь, ты! скакунъ-верхолетъ!— проворчали муравы.— Тебѣ хорошо! Тебѣ вездѣ дорога, а нашему брату, крючнику,— тоже поль-версты обходу несладко съ кулями переть изъ-за этого овражища... И какой лѣшій, прости Господи, его тутъ выкопаль?!

Набѣжалъ воинъ-муравей; только хотѣлъ на рабочихъ прикрикнуть, распечь за лѣнъ, какъ слѣдуетъ, да замѣтилъ яму, призадумался, проворчалъ подъ носъ: «вотъ такъ оказался!» и послалъ гонца тревогу бить, войска вызвать изъ казармы.

Приползъ еще жукъ рогатый, прибѣжала жуженица шустрая, улитка приползла на салазкахъ, божья коровка коралловая со стебелька слетѣла, нанесло вѣтеркомъ комаровъ съ полдюжины, прожужжала ичела съ золотымъ носкомъ, да пара мухъ зеленыхъ... Бабочка съ бѣлыми нѣжными крылышками неслышно придорхнула...

Только бы двое-трое на щѣсть соспились, а то сейчасъ, нивѣсть что любопытныхъ со всѣхъ концовъ соберется. Такъ и теперь. Не успѣла золотая полоска луча солнечнаго, утренняго, на аргинъ по моху продвинуться, а ужъ у ямы диковинной такая пошла толчея, что многіе изъ зѣвакъ, наиболѣе любопытныхъ, на самое дно вверхъ тормашками кувыркнулись. Кому ничего, спола-горя, а кому плохо пришлось! Одинъ таракашекъ круглый какъ упалъ на спину, такъ и по сю пору все лежитъ-барахтается, лапками-коротышками дрыгаетъ, переревнуться не можетъ.

За малыми, кто и побольше стали подваливать. Первая мышка сѣрая приспѣла, увидѣла яму, со страха только пискнула. Шлепнула въ самую середину лягушка зеленая, придавила, было, кое-кого, да слава Богу вывернулись... Кубаремъ прикатился ѳжъ колючий... Легче, невѣжа неотесанный! видѣши—публика!?. Налетѣли воробы... чего-чего... чѣмъ?—полюбонѣствовали.

— Никто, ничего и ничѣмъ, а вотъ что! — указываютъ имъ на причину сходки.

Потолковали между собой воробы, сразу заспорили, какъ бабы на базарѣ, сразу передрались, сразу и помирились.

Выглянула бѣлка изъ дупла, внизъ съ вѣтки на вѣтку спустилась: тоже, вѣдь,—куда любопытно!

Испуганно заворковали наверху голуби. Не видать ихъ робкихъ, въ густой зеленой чащѣ, только голосъ ихъ ласковый слышится...

Змѣя сѣрал, съ оранжевымъ брюхомъ, въ полой сухой листвѣ прошуршала. Пролазъ-хорекъ, сунулся, было, да подаль, за сучкомъ, невидимкою притаился; заблестѣли, какъ угольки, глаза бархатнаго соболя; острыя ушки лисы, настороженные, изъ-за лопуховъ показались. Проходили мимо стороной волки вереницею, тоже остановились, выслали большака—провѣдать, въ чемъ дѣло? Ломая чащу, кряхтя и пыхтя, прибрель кабанъ-сѣкачъ, чавкая смачно клыкастыми челюстями.

Лось — быкъ здоровенный — набѣжалъ, попятился, было, назадъ, да рогами погрозилъ:—Никто, молъ, меня не трогай, а по какому случаю базаръ собрался—прошу повѣдать.

А наверху, на вѣтвяхъ дубовыхъ, еловыхъ, сосновыхъ, осиновыхъ, собралась вся пернатая публика:—тетерева да рябчики, малиновки да рябиновки, дрозды да скворцы, чижи да зяблики, даже филинъ-пугачъ въ глубокомъ, гниломъ дуплѣ закопошился.

Что только было въ лѣсу звѣрья по близости—всѣ собрались на сходку, другъ у друга переспрашиваются, въ чемъ дѣло—понять не могутъ. Насилу добрались толку. Да и то, спасибо, лисица выручила: попросила минуточку всего вниманія и доподлинно, обстоятельно все изложила, по порядку.

— Милостивыя государыни и милостивые государи! — начала она, обмахнулась хвостомъ, какъ вѣромъ, и слегка въ лапку откашлялась.—Оно, конечно, муравьи, известно, настѣко-мыя, конечно, нельзя сказать чтобы глупыя, но, во всякомъ случаѣ, малыя; если сравнивать, напримѣръ, съ господиномъ лосемъ или хотя съ вами, господинъ кабанъ, то даже, можно сказать, микроскопическія...

— Къ дѣлу! къ дѣлу!.. нечего тутъ зубы заговаривать,—раздались нетерпѣливые голоса.

А кабану неловко стало, что, благодаря болтливости лисьей, на него обратилось общее вниманіе; онъ досадливо мотнулъ щетинистою мордой и прохрюкалъ:

— Прошу сократить предисловіе!

— Я, вѣдь, къ тому, собственно,—сконфузилась немного лисица, — что эти самые муравы — причина всей тревоги. Одинъ изъ нихъ случайно нашелъ на своей дорогѣ яму; это само по себѣ ничего не представляетъ, ибо — что такое яма?.. пустяки, вздоръ! явленіе, ничего важнаго не представляющее, но, тѣмъ не менѣе, яма эта, я говорю про данную яму, тождественное повтореніе которой вы можете прослѣдить на весьма далекое разстояніе, что подтверждено уже многочисленными свидѣтельствами...

— Правда, правда! — раздались голоса.

— Такъ вотъ, я продолжаю: именно эта данная яма за-служиваетъ вниманія особеннаго... извольте осмотрѣть. Посто-ронитесь, господа! отойдите подальше, тогда будетъ всѣмъ ви-дно... вотъ такъ!

— Да это, просто, слѣдъ! — крикнулъ кто-то изъ толпы.

— И совершенно вѣрно! — глубокомысленно подтвердилъ лисица. — И потому-то именно, что эта яма — слѣдъ, она и за-служиваетъ, какъ я уже сказала, особеннаго нашего внима-нія... Слѣдъ, — повторила она, — но слѣдъ, значитъ, отпечатокъ чьей-либо ступни, ноги или лапы, а для того, чтобы быть отпечаткомъ, надо, чтобы была нога или лапа, надо, чтобы было существо, которому данная лапа принадлежала бы... Ка-кое же это существо и какимъ образомъ оно забралось къ намъ въ лѣсъ, по какому праву, и каковы будутъ его даль-нейшія намѣренія и дѣйствія въ этомъ лѣсу?.. все это надо обсудить, взвѣсить, провѣрить и, сообразно полученными ре-зультатамъ, предпринять дальнѣйшія, весьма, можетъ быть, предохранительныя мѣры.

— Кому предохранительныя, а кому и наоборотъ: мо-жеть, и на зубокъ новинка какая попадется, — заговорили волки и при этомъ, для большей выразительности, зубами за-щелкали.

— Не говорите, — покачала головой лисица: — неизвѣстный врагъ опаснѣе двухъ видимыхъ; не говорите.

— Да чай же это слѣдъ можетъ быть? — хрюкнулъ кабанъ и вопросительно покосился на лося.

— Не изъ нашихъ, — отозвался лось: — у насъ и у моихъ сродственниковъ вотъ какой фасонъ — извольте посмотрѣть...

Всѣ убѣдились тотчасъ же, что лосье двойное копыто совсѣмъ не подходитъ къ дѣлу.

— Такжѣ и не мой! натурально! — примѣрилъ кабанъ.

Подскочилъ тутъ волченокъ, сунулъ въ ямку лапу и сконфузился, потому что всѣ даже захочотали, увидавъ такую несообразность.

Стали подходить звѣри другъ за дружкой, примѣривать свои ноги да лапки къ слѣду, куда totъ больше, да такой длинный, развалистый, ну, вотъ совсѣмъ какъ-будто медвѣжий...

— Ба, медвѣжий! — раздались вдругъ догадливые голоса...

— Медвѣдь, медвѣдь! — зачиликали воробы.

— А гдѣ же Михайло Ивановичъ, въ самомъ дѣль?.. Что его не видать сегодня?.. не зима, вѣдь, чай, выспался!.. .

— Послать за медвѣдемъ... ребята, бѣги, кто попрытче!

— Я сбѣгаю! — вызвался зайчишко...

— Сиди, косоглазый, пускай вотъ сорока слетаетъ!..

А тутъ и посыпать было незачѣмъ... Загудѣло по лѣсу, затрещало, засопѣло въ трущобѣ, рявкнуло такъ, что у робкихъ душа въ пятки спряталась...

Увалинѣмъ, въ раскачку, привалилъ здоровенный Михайло Ивановичъ... въ шубѣ весенней, потертой, во всѣ стороны бурая шерсть топоршился...

— Кому, молъ, меня понадобилось?

— Да вотъ, ваше степенство, — подвильнула лисица: — слѣдокъ тутъ одинъ посторонній, чужой, значить, разыскался — такъ не знаемъ, чей именно...

— Мой! — сразу отрѣзаль медвѣдь, — какъ есть мой! Что же вы переполошились?.. Я хозяинъ добрый — отъ меня обиды мало кто видалъ...

— Охъ, не вашъ! — потупилась скромно лисица...

— Какъ не мой? — изумился Михайло Ивановичъ, пососалъ лапу, посмотрѣлъ на подошву... — Какъ же не мой? — повторилъ онъ.

— Да такъ-сь, у вашего степенства пяточекъ ноготковъ спереди обозначается, а тутъ, изволите видѣть, сперѣди начисто, гладко обрѣзано.

— Правда! — согласился Михайло Ивановичъ...

— Правда, правда! — подтвердили и прочие звѣри.

— А коли правда, такъ обѣ чѣмъ же беспокоиться? —

вслухъ подумалъ медвѣдь.—Я съ когтами, тотъ безъ когтей... Пускай попадеть въ мои лапы—небось, не поздоровится!..

— Да ужъ сильный Михайлы Ивановича у насъ по всему лѣсу не отыщется!—загадѣли разные голоса.

— Ну, это посмотримъ еще! — проворчалъ недовольный кабанъ.

— Силенъ и я, да Богъ зубовъ не далъ, — вздохнулъ лось...—а то бы...

— Ну, и мы тоже,—завыли волки:—мы гдѣ нельзѧ въ оди-  
почку, гуртомъ что хочешь одолѣемъ.

Расходились ободренные звѣри, кричать:

— Пойдемъ, ребята, этого незванаго, неожиданнаго выслѣ-  
живать... воочію повидаемъ!»

— Стой!—раздался сверху вороній голосъ: — не ходите!  
прежде меня, бывалаго-видалаго, выслушайте.

— Говори, старый, послушаемъ!

Слѣдѣль воронъ, бѣлый отъ старости, пониже, умостился  
на сухомъ суку, почистилъ носъ и началъ:

— Слѣдѣль этотъ, вамъ незнакомый, невиданный, тому при-  
надлежитъ, у кого нѣть ни зубовъ волчихъ, ни когтей мед-  
вѣжихъ, ни клыковъ кабаныхъ, ни силы лосиной; а всѣхъ  
онъ васъ сильный—разумомъ. Попртихните всѣ вы, посба-  
вите спѣси, когда онъ явится! Вотъ, чей это слѣдѣль!.. Вотъ,  
кому вы теперь низехонъко поклонитесь...

Не успѣль кончить бѣлый воронъ — завыло, заревѣло все  
звѣрье:

— Да какъ онъ смѣль! да какъ у него языкъ повер-  
нулся!.. Насъ страшать небылицами выдумаль!.. Поймать его,  
ругателя, тащить на расправу!..

Волки кругомъ дубъ обступили, воють да вверхъ подпры-  
гиваютъ, птицу вѣщую достать наровятъ. Кабанъ завизжалъ  
отъ злости, подъ корень дуба клыкъ запустилъ, съ корнемъ  
наровить выдернуть... Заревѣль медвѣдь, на дыбы поднялся,  
обхватилъ комель лапами, лѣзть собирается; залилось все рыло  
пѣною отъ ярости...

Вдругъ, словно молнія блеснула въ лѣсу... Потянуль по  
кустамъ синеватый дымокъ, сѣрою въ воздухѣ запахло.

Дрогнули и стихли звѣри отъ нежданнаго громового удара,  
оцѣпенѣли... и видать — какъ ихъ первый силачъ-богатырь,

самъ Михайло Ивановичъ грохнулся и навзничь растянулся. Струею кровь беть изъ повиснаго уха!.. когтистыя лашицы беспомощно вытянулись, когтями въ окровавленный мохъ вѣспились...

Грохнулъ второй ударъ, вторая молния блеснула... завизжалъ кабанъ, скакнулъ, какъ змѣю ужаленный, и рядомъ съ медвѣдемъ прятнулся...

Во всѣ стороны прыснуло звѣрье... Въ мигъ вся поляна опустѣла; первою лисица, закрывшись хвостомъ, въ чужую чьюто нору юркнула.

Изъ чащи лѣса, на открытую поляну вышелъ человѣкъ...

### Два пути.

Широко и обильно, во всѣ концы, растянулась зеленая степь. Сыто и весело живется на ней всякой твари. Сочный ковыль, пахучій чеберъ и мята, красавцы — тюльпанъ да ирисъ,—чистая вода сладкихъ, зеркальныхъ озеръ,—все дано Аллахомъ на потребу скоту и человѣку, и всякий долженъ благословлять Творца за все, что Имъ кому ниспослано и не завидовать другому, не желать менять разъ назначенную ему дорогу.

Такъ повелѣлъ Аллахъ, и благо тому, кто слѣдуетъ безропотно Его вѣяніямъ.

Въ этой чудной степи паслась пара молодыхъ лошадокъ. Одна была бѣлая, какъ снѣгъ, и звали ее за то «Снѣжокъ», другая—черная, какъ воронье крыло, и звали ее «Уголекъ».

Кони были очень дружны между собою, вмѣстѣ росли и рѣзвились, вмѣстѣ щипали сочную траву и не знали никакихъ заботъ, никакого горя.

Разъ какъ-то, рѣзвясь и прыгая, набѣжали они на старого-престарого, умирающаго верблюда. Безобразное, исхудалое животное кротко взглянуло на нихъ своими уже потухающими глазами и проговорило:

— Милыя дѣти! Кто изъ васъ возьметъ мою торбу, вонъ она лежить, забытая хозяиномъ, и принесетъ мнѣ хоть каплю воды изъ того свѣтлаго озера?..

— Вотъ еще!—надменно возразилъ Уголекъ,—стану я трогать эту гадкую, вонючую торбу, стану служить тебѣ! Мы лошади породистыя, намъ служить всякому не приходится.

Снѣжокъ только хотѣлъ повторить то же самое, да взглянуль въ глаза умирающему и ему стало жалко старика безобразнаго. Онъ схватилъ торбу и понесся къ озеру, зачерпнуль воды и принесъ напиться верблюду.

— Спасибо, дѣти, — произнесъ верблюдъ. — Поблагодарю васъ, чѣмъ могу, передъ смертью. Послѣдуйте моему совѣту. Скачите вы все на востокъ, къ полудню доскачете до забытой богатырской могилы, тамъ увидите долгопосаго аиста, крикнетъ онъ вѣмъ: за мною! Вы отъ него не отставайте. Остальное узнаете сами. Ты, Снѣжокъ, добрѣе, ты всегда уступай лучшее своему товаришу. Пойми ты это и помни!

Послѣднія слова верблюдъ произнесъ тихонько, только чтобы одинъ Снѣжокъ его могъ слышать, взглянуль послѣдній разъ на молодежь, вздохнулъ глубоко-глубоко и умеръ.

— Что-же, поскакемъ! — трахнулъ гривкою Уголекъ.

— Поскакемъ! — согласился Снѣжокъ.

И понеслись оба по указанному направлению.

Еще солнце не совсѣмъ поднялось на полдень, увидали они забытую могилу, а на ней, на вершинѣ косматаго гнѣзда, давно уже сидѣлъ долгопосагий аистъ, поджиная нашихъ лошадокъ.

— За мною! — крикнулъ онъ повелительнымъ голосомъ, взмахнулъ огромными, сильными крыльями, подскочилъ и плавно полетѣлъ, стелясь надъ самою землею.

Снѣжокъ и Уголекъ поскакали за нимъ слѣдомъ.

Съ каждымъ шагомъ впередъ степь становилась бѣднѣе и печальнѣе, давно уже не видно сочнаго ковыля, давно не ласкаетъ глазъ красная точка тюльпана. Мертвая, сожженная солнцемъ пустыня, развернулась передъ глазами путниковъ.

— Не повернуть ли назадъ! — первый струсили Уголекъ.

— Нѣть, уже поскакемъ дальше, — произнесъ Снѣжокъ.

— Не отставайте! — грозно прокричалъ аистъ, словно за мѣтивъ минуту сомнѣнія и колебанія...

Вспотѣли бѣдныя лошадки, глаза у нихъ помутились отъ жажды и зноя... Ёсть захотѣлось ужасно... а кругомъ ни кустика, ни былинки, все погибло отъ солнечнаго жара.

— Стой, — остановилъ скачку проводникъ, — здѣсь! — добавилъ онъ, и, отлетѣвъ въ сторону, спустился на землю.

И видѣть лошадки прямо передъ собою, вдругъ выросли два кустика: одинъ былъ сочный, свѣжій, весь покрытый чуд-

ными зелеными листиками и красивыми алыми цветами, другой — тощий, сухой, усаженный жесткими колючками.

— Чурь, это мой! — накинулся на первый проголодавшийся Уголекъ.

— Вотъ, оно что! — вспомнилъ послѣднія слова верблюда Снѣжокъ и принялъся за второй... Съ голоду и тотъ вкусны показался.

Только позавтракали кони, аистъ и говорить:

— Ну, ребята, каждый изъ васть съѣль свою долю. Какая кому досталась, такая и жизнь будетъ каждому.

Сказаль эти слова и исчезъ, словно сквозь землю провалился.

Повернули назадъ пріятели, и только глубокою почью возратились на свои пастбища.

А на другое утро прѣхали люди, накинули на Снѣжка и Уголька арканы и повели ихъ въ свои аулы.

Довольно, моль, гулять! Подросли, окрѣпли, — пора и за работу приниматься.

Попадъ Снѣжокъ къ хозяину, землепашцу.

Тотъ кормилъ его и поилъ до-сыта, ласкалъ и холилъ, только и работать заставлять его также до-сыта.

Чуть свѣтъ ёдетъ Снѣжокъ пахать землю, подъ ячмень да подъ просо, напашется вволю, отдохнетъ минутку, — гайдя въ степь, за бурьянъ да сѣномъ, покормится, — опять подъ сѣдо, либо въ гости, въ дальний ауль, либо на охоту съ соколомъ. Каждую недѣлю, кромѣ того, на городской базаръ надо было возить тяжелую ношу, а базарь былъ далеко. Цѣлые сутки безъ отдыха приходилось быть въ дорогѣ.

— Что-же, можетъ, такъ и надо, можетъ быть, и хуже участъ бываетъ, — думалъ Снѣжокъ, и не сѣтовалъ на покой-наго верблюда.

Объ участи своего друга онъ не зналъ ничего, съ тѣхъ поръ, какъ ихъ разлучили — и не видаль его, и не слышалъ о немъ ни отъ кого ни слова.

Разъ, какъ-то пахали они съ хозяиномъ, а день былъ жаркий и въ воздухѣ носились тучи мелкой пыли.

И видить Снѣжокъ, что въ этой пыли засверкало что-то дивное, замелькало золото и сталь, загремѣли трубы и листавры, и высоко колыхнулись красивыя гордыя знамена.

Изъ-за горы большое войско выступало и сплошною лентою тянулось на западъ.

Сначала все конные шли, безъ числа, безъ счету, длинные пики словно лѣсъ шумѣли надъ головами всадниковъ, своими значками, да конскими хвостами кралеччи.

За конными пѣши потянулись. Этихъ же было больше. Шли они тихо въ строю, и у каждого на плечѣ мултукъ (ружье), у каждого мултука фитиль дымился.

За пѣшими повезли тяжелыя, мѣдныя пушки... словно громъ гремѣлъ у нихъ подъ колесами, цѣпи желѣзныя бряцали, сверкали на солнцѣ грозныя зла золоченыя, покрыты сплошь священными изреченіями Корана.

А позади всѣхъ ѿхалъ отдельно съ добородой всадникъ, опустивъ поводья, творя шепотомъ молитву, набожно перебирая сухими пальцами янтарныя четки.

Надъ старикомъ несли большое зеленое знамя, два молодыхъ конюха обмахивали его легкими опахалами.

Посмотрѣль на старого вождя Снѣжокъ и сердце у него защемило.

Видѣть онъ коня подъ нимъ вороного. Выступаетъ конь гордо, грызя серебряныя удила, чепракъ на конѣ шелками вышить и жемчугомъ, узда и сѣдло сплошь дорогими камнями покрыты.

Узналь Уголька Снѣжокъ; узналь-ли Снѣжка Уголеъ — неизвѣстно, только покосился будто въ его сторону: что это тамъ, моль, за мужикъ такой на насть глазѣть!..

— Гадкій верблюдъ, злой обманщикъ! — разсердился Снѣжокъ на покойника, — это онъ мнѣ, за мое добро, послалъ рабочую-тяжелую долю.

Ушло войско, скрылось изъ глазъ, — вернулись домой наши пахари.

Не спится Снѣжку, не хочется ѿсть даже... Все ему за-видная доля товарища грезится.

Прошла недѣля.

Собрался хозяинъ-хлѣбопашецъ въ городъ, на базарь, на-вьючили на спину своей лошади два тяжелыхъ мѣшка пшеницы, и отправились оба въ дорогу.

Стало солнце склоняться за полдень, обгоняютъ ихъ сѣроюю волки да шакалы стаями несмѣтными.

— Куда это вы, разбойники, воры поганые? — крикнул имъ человѣкъ.

— А туда, — отвѣчаютъ шакалы да волки, — гдѣ намъ добрые люди большой пиръ приготовили.

Обгоняютъ ихъ орлы да ястребы, вороны да совы ночные... такими стаями, что даже солнце померкло.

— Куда это вы, хищники ненасытные? — крикнулъ имъ человѣкъ.

— А туда, — отвѣчаютъ орлы да ястребы, вороны да совы ночные, — гдѣ добрые люди намъ большой, богатый пиръ приготовили.

Закатилось солнце за холмами, жалобный стонъ слышно въ воздухѣ вечернемъносится... Поднялась солнцу на смѣну луна красная, поднялась повыше и сама поблѣдѣла, освѣтивъ крававое побоище.

Что ни шагъ шагнуть — то лежитъ мертвый или умирающій; вся земля пропитана черною кровью. Въ пыли и грязи валяются рваныя знамена, доспѣхи ратные.

И видѣть Снѣжокъ, лежитъ его товарищъ дѣства, нѣть на немъ уже сѣдла богатаго, вмѣсто камней драгоцѣнныхъ, да золотого шитья, сплошь покрытъ зѣлюющими рапами... исколотъ, изрубленъ, а все силится поднять свою голову, а кругомъ сидятъ волки да шакалы, ждутъ, поджидаютъ послѣднаго вздоха, уже близкаго.

— Вотъ оно что! — снова вспомнилъ Снѣжокъ верблюда стараго, пожалѣлъ отъ души товарища и бодро, и радостно потащилъ далѣе свою тяжелую нопу.

Все дано Аллахомъ на потребу скоту и человѣку, и всякий долженъ благословлять Творца за все, что кому ниспослано, а не завидовать другому, не желать менять разъ назначенную ему участъ.

Такъ повелѣлъ Аллахъ, и благо тому, кто безропотно слѣдуетъ его велѣніямъ.

### В о л къ.

Голодно волку, бродягѣ сѣрому, холодно...

Гудить-зываетъ вѣтеръ по лѣсу, замело снѣгомъ проѣзжая дороги, засыпало тропы пѣшеходныя, толстою корою льда

затянуло воды рѣкъ и озеръ. Загнали морозъ и выюги все живое и доброе по крытымъ дворамъ уютнымъ, по избамъ теплымъ.

Бродить одинокий на волѣ, безъ крова и приюта, только сѣрый волкъ исхудалый. Черезъ чащи лѣсныя заинdevѣвшія, черезъ поля и луга опустѣлые изъ конца въ конецъ гонять его голодъ лютый, неотвязчивый.

Коротокъ зимній день, долга морозная, зимняя ночь, и ни днемъ, ни ночью нѣть покоя отошедшему бродягѣ. Гнететь его одна забота, единое только помышленіе: чѣмъ бы раздобыться сѣстрымъ, чтобы хоть чуточку перехватить на голодные зубы, чтобы унять эту злую, болѣзненную рѣзь въ пустомъ желудкѣ, дотянуть, дожить кое-какъ до весны, до времени теплого.

Бродить волкъ по снѣжнымъ сугробамъ, гдѣ шажкомъ, гдѣ рысцею, гдѣ въ припрыжку, да зубами пощелкиваетъ... Нѣть ему чигдѣ воровской поживы, нѣть нигдѣ куска хозяйствскаго, для него припасенного.

Медвѣдь, «старшой» въ лѣсу звѣрь,—тотъ, небось, отѣлся за лѣто, залегъ въ берлогу теплую и спить; зима ему не въ тягость, а въ отдохновеніе. Завела себѣ и лисица хитрая норку уютную... Кроты, сурки, суслики—вся эта мелочь полевая, всѣ по домамъ устроились и сѣстрымъ запаслись; заяцъ, на что дурачекъ, а и тотъ живетъ зиму припѣвачи: бѣгаешь себѣ въ теплой шубенкѣ, да молодыя вѣточки огладывается. Одному волку несладко живется зимою, на него только долю выпали всѣ папасти, всѣ бѣды времени зимняго.

И не найдется, знать онъ, ни одной души доброй—кто бы пожалѣлъ его, кто бы протянулъ ему руку помощи, ужъ очень онъ всѣмъ досадить успѣлъ, некому да и не за-что добромъ помянуть его, разбойника.

Вотъ ему теперь «совечки слезки и отливаются».

• • • • •  
Выбрался волкъ на опушку лѣсную, перебѣжалъ открытый пригородъ, въ лощинку спустился, боязливо на свой собственный слѣдъ озирается, хвостъ поджалъ, словно кто на него сзади дубиною замахнулся; шерсть волчья клочьями щетинится; глаза горятъ огнемъ лихорадочнымъ...

Тамъ, на выходѣ, по косогору, за березовою рощицею чернѣются избы деревенскія, огоньки въ окнахъ въ сумеркахъ

свѣтятся, корова, слышно, мычить въ хлѣву, овцы блѣять въ тепломъ загонѣ, бабы у колодца заспорили, ссорятся, мужикъ топоромъ звонко постукиваетъ, сани налаживаетъ... Не спить еще деревня, — знать, рано!

Ждеть не дождется волкъ часу почного, поздняго, когда угомонится народъ, завалится спать на печахъ, да на лавкахъ, не забудеть-ли кто, оплошный, калитку гдѣ незапертую, подворотни пеприваленную, не выбѣжитъ-ли самъ собою теленочекъ глупый или другая какая-нибудь домашняя скотинка мелкая... Можетъ быть, пошлетъ Богъ, ему эту почь посчастливится!

Ждеть часъ, ждеть другой, ждеть терпѣливо залегши въ сугробѣ, и чутко прислушивается.

Вотъ и ночь желанная наступила. Крѣпнетъ морозъ, искрится снѣжное поле при лунномъ свѣтѣ, потухли въ окнахъ огни... Тихо кругомъ, безлюдно...

Тронулся волкъ съ мяста и пошелъ въ обходъ, гдѣ что плохо лежить, выглядывать... Только добѣжалъ до выгона— завыли по дворамъ псы деревенскіе: чують гостя недобраго... «Валетки», «Куцые», «Шарики», «Жучки»—всѣ на разные голоса заливаются: «Не подходи, молъ, близко, хозяина съ дубиною вызовемъ».

Тревожить, томить волка голоднаго это вытье, не по сердцу опо ему, какъ вору трещетка сторожа — злость разбрасываться, зубы острые дробь выколачиваются — эхъ, попалась бы ему теперь какая-нибудь собаченка досадливая, изъ-подъ воротъ сюда, на просторное място выскочила бы, не побрезговала бы и собачьимъ мясомъ, за одинъ разъ и злобу-то свою и утробу насытиль-бы.

Хитры псы, сторожа деревенскіе, бывалые!

Ходить, бродить волкъ всю ночь по-пусту, ходить, бродить да зубами пощелкиваетъ.

Рано, до свѣту поднимается людъ деревенскій да за работу принимается. Уходить надо волку опять въ лѣсную трущобу по-добру, по-здорову... А голодъ пуще томить, словно ножами рѣжетъ волчьи внутренности... Отощаль, обезсильтъ бѣдняга, въ глазахъ круги пошли зеленые, еле-еле ноги переступаютъ, бредеть-спотыкается, да на ходу снѣгъ подхватываетъ воспаленною пастью.

Забрелъ въ кочкорякъ, въ мѣсто глухое, завалился, заплакать бы, если бы могъ съ горя, да слезъ нѣту... Лежить; отъ холода ежится и думу-думаетъ горькую:

«Тяжела моя жизнъ бродячая, воровская, волчья! всему свѣту постылый, вся кому врагъ заклятый, нѣтъ мнѣ за то ни покоя, ни радости... Помогъ бы только Господь до весны прожить—пойду свои грѣхи замаливать. Не трону никого — ни зубкомъ, ни коготкомъ,—ни овечки не трону, ни теленочка, ребенка малаго нѣ обижу... Постъ на себя наложу, глазомъ искоса не взгляну на мясное... Нѣть, баста! плохо, неприглядно житье съ воровскою повадкою!..»

Чу!.. Полозъ скрипитъ санный, колечко у дуги побрякиваетъ, лошаденка бѣжитъ бойко, чуетъ знать волка, ушами прядеть, пофыркиваетъ.

Въ саняхъ баба сидитъ, съ головою тулуломъ покрывшиися, дремлетъ, кобылкою не править,—сама, моль, дорогу знаетъ до дому. За санями жеребеночекъ попрыгиваетъ маленький, отъ матки отсталъ, звонко ржетъ,—и въ морозномъ утреннемъ воздухѣ колокольчикомъ его ржаніе разносится.

Откуда сила взялась у волка отошелаго, забылъ и свое горькое покалніе, вылетѣлъ стрѣлою на дорогу, впередъ забѣжалъ и припалъ въ кустахъ, выжидающи.

— Бабу-то не трону,—смекаешь про себя разбойникъ,—ну еслѣ пожалуй, еще топоръ у ней припасенъ въ саняхъ, а вотъ этого отсталаго прыгунца попробую. То-то, думаю, онъ вкусный, кормленный!..

### Паръ-богатырь.

Въ безлюдной степи собрались на совѣтъ злые духи пустыни. Первымъ прискакалъ Ураганъ; дунулъ направо, дунулъ налево, разнесъ, разметалъ сыпучіе барханы песчаные, часто себѣ порасчистилъ—и стала выглядывать изъ-подъ руки, поджидать товарищѣй.

Ураганъ бѣшеный, злой богатырь, гроза каравановъ, сидѣлъ на горячемъ рыжемъ жеребцѣ, носящемъ страшное имя Смерть. Самъ богатырь былъ въ желтомъ распоясанномъ халатѣ, въ лисьемъ малахай съ огненно-краснымъ верхомъ; борода у него была длинная, до пояса, косматая и, какъ песокъ, желтая, а въ рукахъ онъ держалъ большую метлу, было бы

Чѣмъ подогнать лѣнивые барханы, заупрямившіеся, не слушающіе одного его приказа-дуновенія.

Скучно богатырю одному дожидаться... Горячится конь подъ сѣдломъ, удила грызетъ, землю роеть стальнымъ копытомъ... Ничего не видать въ степи живого, не надѣть чѣмъ отъ скуки потѣшиться...

Ползеть змѣйка сѣрая, искрятся глаза у гадины, раздоеній язычекъ шипитъ и вѣтается...

— Занесу!.. — крикнулъ Ураганъ, а самъ подсмѣивается въ бороду.

— Ничего, дяденька, заноси!.. мнѣ это сподручно...

— Знаю, потому и не трогаю,—проворчалъ богатырь.

Вереница волковъ тощихъ-претощихъ, голодныхъ, изморенныхъ между барханами, крадучись, пробирается.

— Я васъ!—заоралъ Ураганъ.

Метнулись въ страхѣ вороватые звѣри, прыснули во всѣ стороны.

— Э... ге-ге! послушайте, стойте!.. жалко мнѣ васъ стало!.. — кричить имъ вслѣдъ богатырь: — гони, ребятки, на сѣверъ... Тамъ я для васъ обѣдъ приготовилъ: нагналъ проѣзжаго человѣка съ конемъ, закрутилъ, задушилъ, замучилъ, спать уложилъ, пескомъ принакрылъ... Гайда! поройтесь!.. то-то добрый!..

— Спасибо, дяденька! — провыли волчи и пустились прискоку по указанному направлению.

Такъ забавлялся, развлекался Ураганъ-богатырь, товарищѣ поджидающи...

Долго ли, скоро ли—загудѣло по степи, холодомъ повѣяло, завыло, засвистало,—свачетъ Урагановъ братъ-зимникъ: дѣдъ-Буранъ. Прискакалъ, обнялся съ братомъ... Взвились винтомъ чуть не до неба и снова на землю спустились.

— Какъ поживаешь?

— Чудесно!.. Какъ ты?..

— Скучно лѣтомъ... зато выспался!.. Что же, пока мы съ тобою двое?

— Пока двое...

— Подождемъ, побесѣдуймъ...

Дѣдъ-Буранъ былъ на гривастомъ сивомъ конѣ, звали коня Пургою. Самъ дѣдъ въ бѣломъ овчинномъ халатѣ, въ такомъ

же малахаѣ, и борода у него была, какъ у брата, до пояса, только, какъ лунь, бѣла... Тряхнетъ бородою—глаза занесетъ мелкими, льдистыми снѣжинками...

— И чего гнали мы, спѣшили!—разсуждаютъ межъ собою братья-губители.—Биша его, ночь; только показалась звѣзды предутренникъ: неповадно Зною, первому палачу людскому, съ его роднею въ такую пору показываться... Подождать, пока солнце взойдетъ, приходится...

Стали дожидаться.

Забѣлѣла полоса на востокѣ, вспыхнуло небо золотымъ свѣтомъ, понеслись надъ степью-пустынею невидимыє голоса... Изъ-за высокихъ бархановъ проглянуло солнце...

— Теперь скоро!—рѣшили братья и оба на востокѣ воззрились...

Тихо, словно не по землѣ ступаетъ, по воздуху плыветъ—медленно приближается Зной-богатырь... И глазамъ смотрѣть на него больно; лица разглядѣть нельзя въ его огненномъ сіянїи.

— Самъ одинъ, али съ дѣтьми, съ ребятами малыми?

— Захватиль и ребять на совѣтъ, да поотстали, слѣдомъ бѣгутъ... Слыши, костями постукиваютъ?—отвѣчаль Зной-богатырь...

А дѣти у него: сынъ Голодъ да дочка Жажды,—злые, прѣзлые,—тутъ какъ тутъ, изъ-за близняго бархана поспѣшаютъ.

Ѣдетъ Голодъ, костякъ костакомъ: очи провалились, зубы оскалены—и Ѣдетъ на тощемъ-претощемъ верблюдѣ, кожа да кости... Ідетъ и сестрица его Жажды, тѣломъ вся въ брата, а сидитъ, еле держится, на тощемъ ослѣ-ишакѣ.

— Тутотка ли, тятенька? Поспѣли!

— Ну, теперь всѣ въ сборѣ!—загремѣль Ураганъ.—Приступимъ къ совѣщанію...

— Приступимъ!—отвѣчали всѣ хоромъ.

— Говорятъ, братцы мои, что люди зазнаваться стали,—началъ Зной.—Мало того, что у себя, гдѣ воду мы не могли одолѣть, — тѣни понастроили, деревья понасажали, надо мною старикомъ надсмѣялись. Говорятъ, будто мало имъ того мѣста, гдѣ самимъ Богомъ водѣ быть указано,—далѣше въ пустынню, въ наше исконное царство, проводить ее собираются. Гдѣ, было, часа перегона отъ городскихъ стѣнъ до нашихъ предѣловъ не было,—теперь уже и въ день не проѣдешь... обидно!..

— Ну, это мнѣ плевокъ,—похвастался Ураганъ.—Разнесу, размечу, позасыплю пескомъ тѣ арыки, сѣ корнемъ деревья новыворачиваю... Гляди: мало ли я на своемъ вѣку царствъ обратилъ въ пустыню... Покажи, гдѣ еще такія новыя?..

— Сидѣли бы, небось, по своимъ порамъ,—заворчалъ дѣдъ-Бурапъ,—а то къ намъ въ пустыню и въ одиночку, и цѣлыми караванами ходятъ, подъ носомъ у насть понарыли колодцевъ... Норовятъ все лѣтомъ пакостить; зимою, небось, когда я на стражѣ, боятся...

— Что-жъ меня, значитъ, не боятся?—осердился на брата Ураганъ-богатырь, только что передъ тѣмъ расхваставшійся.

— Полагать надо!..

— А ты поразрай пески,—мало, что ли, найдешь костей человѣческихъ? Да!.. поди-ка поройся, — и счета не будетъ.. Чыхихъ руѣ это дѣло?..

— Всѣ стараются! нечего считаться да ссориться...—перебилъ Зной,—не время!..

— Насъ тятенька даже въ города посыпалъ, и мы тамъ немало находили работы,—затрещали костями дѣтки.

— Всѣ хороши, да въ одиночку не воины, — оборваль Ураганъ.—Я начну рвать, метать,—ты, Зной, опоздаешь...

— Я припеку здорово,—тебя, черть знаеть, гдѣ поситъ въ то время попусту!—перебилъ Зной.

— Вотъ и мы съ сестрой тоже въ разладъ: рѣдко вмѣстѣ... Начну я свою работу, а у людей вода не отнята... ну, денекъ-другой промаятся, а тамъ и добредутъ до жилого мѣста...

— Я на воду невластна, — выстукиваетъ зубами сестрица,—воду тятенькина обязанность отобрать... мое дѣло послѣ братъ за горло.

— Цыцъ! — крикнулъ Зной.—Такъ вотъ мы и собрались здѣсь для того, чтобы путемъ сговориться, позабыть ссоры да разлады и дѣйствовать сообща къ погибели человѣку и всему живому: разомъ дружно накидываться и зорко стоять насторожѣ неприкосновенности пустыни нашего мертваго царства... Мертвое такъ и должно быть мертвое... и мы, вѣковые богатыри, страшная слава которыхъ давно уже прошла по всему свѣту, самими людьми достойно воспѣтая, не посрамимся во-вѣки...

— Кто противъ насъ въ союзѣ посмѣеть?! — гаркнулъ Ураганъ.

— Кто дерзнетъ? — загремѣль Буранъ.

— Сунься только! — затрешили, зашипѣли Голодъ съ Жаждою.

— Да будетъ такъ! — поднялъ руку въ знакъ клятвы старый, лучезарный Зной и такъ засверкалъ очами, что дѣдъ-Буранъ отвернулся.

— Легче, говоритъ: — борода таять начала!..

Случилось тутъ пронестись степью вѣчному бродягѣ, путнику легкому — Перекати-поле.

Скасало оно, неслось, подырживало, съ гребня одного бархана на гребень другого переносилось, зацѣпилось за кустикъ сухой, задержалось и слышало весь разговоръ собравшихся злыхъ степныхъ губителей.

— Охъ вы, горе-богатыри!.. — заговорило Перекати-поле, — не такая пора теперь, чтобы словами похваляться, зря только хвастаться... Скоро настанетъ конецъ вашему царству злому... Идетъ, гремитъ, пыхтитъ да посвистываетъ новый богатырь, идетъ съ далекаго запада, гдѣ прошелъ, вѣковой слѣдъ оставилъ... желѣзомъ воду сковываетъ, цѣши на пустыни двойныя накладываетъ... Да не врагъ людямъ идетъ, а другъ и покровитель: за его спиной, что за каменною стѣнкою, человѣку... Скоро и сюда появится, вашу степь окуеть, загремитъ по желѣзу желѣзомъ, — и ляжете вы всѣ у его ногъ, какъ псы послушные, потому — ведеть того богатыря могучаго человѣческій гений.

Задумались надъ этими словами вѣщими злые силы пустыни, тревожно покосились на западъ и, понуривъ головы, тихо, шагомъ въ разныя стороны разѣхались...

### Орелъ на полетѣ.

Сидѣлъ орелъ въ густомъ ивнякѣ, кончаль обѣдъ, добытый въ бою.

Подбилъ онъ сегодня на полетѣ бѣлаго, пущистаго лебедя, и вмѣстѣ съ этой добычей спустился на землю, прямо въ кусты, въ уютное, тихое мѣсто; съ жадностью принялся за лакомое лебяжье тѣло, — ничего не видить... Притихла зеленая травка, не колышатся голубыя звѣздочки полевыхъ цвѣтовъ

бѣлой ромашки съ желтыми донцами, педвижимъ сѣрый мохъ кочковатый... Разносится кругомъ нѣжный лебяжій пухъ и плавно садится на ивовыхъ кустахъ, цѣпляется на высокихъ столяхъ репейника.

Не слышитъ, не замѣчаетъ ничего вокругъ себя хищникъ, глаза налились кровью, черныя перья топорщатся гребнемъ на сильной, упругой шеѣ, хриплый клекотъ въ горлѣ слышится.

Наѣлся орелъ, встряхнулся, расправилъ крылья и вокругъ сизирается.

Чуть-чуть колышитъ лѣтній вѣтерокъ чащу кустовъ; гдѣ-то далеко, далеко заливается малиновка; трещать кузнечики; гудить шмель басомъ, зарываясь въ цветочные вѣнички; шуршитъ ящерка въ сухой листвѣ, робко пробираясь къ ближнему ручью; выглянула улитка изъ-подъ шляпки березовика шевелить рожками; выползъ на свѣже-разрытую кучку земли дымчатый бархатистый кротъ, захотѣлось, знать, погрѣться и онъ... Въ тепломъ, ароматическомъ воздухѣ носится переливами тихій звонъ, мелодичный посвистъ... Такъ все мирно, привѣтливо...

Скучно-скучно вольной птицѣ!.. Закрываютъ густые кусты широкую, безконечную даль отъ зоркихъ орлиныхъ глазъ. Шагнулъ орелъ, расправилъ крылья, взмахнулъ разъ, взмахнулъ еще-еще и «взмылъ» падь кустами.

Кругомъ залегли кочковатыя болота, за ними протянулась полосами свѣжая, глинистая пашня, за пашнями зеленая понизъ, а по ней серебряной ниткою извивается ручей, а тамъ стоять группами ветлы, кудрявые березы, за березами тянутся бурыя соломенные крыши, худыя изгороди, а дальше чернѣеть темною зубчатою стѣною еловый боръ.

Скучно орлу въ этихъ понизахъ,—загораживаетъ черный боръ отъ орлиного взора безконечную даль.

Плавно машутъ могучія орлиныя крылья, выше и выше заносятъ вольную птицу...

Вотъ и за боромъ, — показалась крутобережная широкая рѣка; плывутъ по ней тяжелыя баржи съ хлѣбомъ, со всякимъ добромъ, дымятъ и посвистываютъ легкие пароходы, оставляя за собой длинныя, пѣнистыя борозды, снуютъ по мелководьямъ рыбачьи лодки, — сущатся растянутыя мокрыя сѣти на песчаныхъ косахъ; сбѣгаешь съ косогора къ перевозу столбовая дорога, закутанная пылью... скрипятъ въ той сторонѣ троеч-

ные обозы, звенитъ почтовый колокольчикъ, тянутся гуськомъ вереницы пѣшеходовъ-лопатниковъ... Пестрѣютъ многолюдныя села узорными избами, тесовыми крышами, куполами церквей, а дальше-далѣше стоять стѣною высокія горы...

Скучно орлу, скучно!.. что тамъ за горами, хочется увидать ему поскорѣй.

Взмахъ за взмахомъ сильныя крылья поднимаютъ въ высь крылатаго царя. Вотъ онъ уже за тѣми зелеными горами, за бархатными лѣсами, — и снова раскинулись передъ нимъ холмистыя равнинны. Большой городъ засверкалъ на солнцѣ золочеными главами, бѣлыми дворцами, широкими мощными площадями... Словно муравейникъ въ минуту нежданного раззора, — кишитъ этотъ этотъ городъ народомъ... Колокольный звонъ волнами бѣть кверху... по землѣ далеко, далеко разносится... со всѣхъ колоколецъ слышенье благовѣстъ... Великій праздникъ, знать, празднуетъ нынче тотъ городъ.

А за городомъ, за лѣсами, долинами, судоходными рѣками, пашнями, полями, поемными лугами опять поднимаются горы и горы... скрываютъ даль и мѣшаютъ любоваться на чудныя картины зоркой птицѣ.

Машутъ крылья орлиныя, сѣкуть и рубятъ воздухъ, забираютъ все выше и выше.

За тѣми горами встаютъ новыя горы, — скалистыя, мрачныя, чернѣютъ межъ ними пропасти, сизыя тучи ползутъ по скатамъ, расползаются по лощинамъ и ущельямъ, а за тѣми тучами — еще и еще горы — на горахъ залегъ снѣгъ, искрятся на солнцѣ вѣчные льды, по нимъ пробѣгаютъ нѣжныя, голубыя тѣни облаковъ.

Да и за этими горами «тоже, чай, земля не клиномъ сошлась» смекаетъ орелъ, птица ничѣмъ недовольная; устали не знаютъ его стальныя крылья; что ни взмахъ, то все дальше и дальше куда-то внизъ, въ глубь, словно въ бездонную пропасть уходятъ — и рѣки, и города, и даже самыя горы...

А за тѣмъ высокимъ горнымъ кряжемъ, за тѣми вѣчными снѣгами и льдами, безъ конца — съ небомъ сливааясь, развернулось голубое море — корабли по немъ словно точки бѣлѣютъ парусами; — острова зеленѣютъ, крохотные, словно кустики...

— Ну, а за моремъ что? поглядѣть-бы, подняться повыше... не назадъ же спускаться такъ, «почитай ничего и не видѣвшій».

Выше и выше, безъ устали, безъ страха взмываетъ орель... уже ничего и невидно стало внизу — и горы, и долины, и лѣса, и многолюдные города, море самое безконечное, все затянуло сплошь густыми тучами; громъ перекатами гудить далеко гдѣ-то внизу...

Нагнуль голову орель, въ сплошныя тучи возрілся... Въ чистомъ воздухѣ клекотъ его звучно, призывно раздался... вскинуль вверхъ головою... Яркое солнце блеснуло прямо ему въ гордыя очи...

И дивное-диво царя пернатаго, мощнаго хищника смущило...

Такъ же, какъ и внизу, въ густомъ ивнякѣ, межъ болотныхъ кочекъ, въ царствѣ кротовъ, мотыльковъ и кузнечиковъ, въ царствѣ всякой мелкой, ползающей твари далеко казалось ему это солнце — такъ и теперь, съ этой страшной высоты — это яркое, вѣчное солнце ничуть къ нему не приблизилось...

### Петъка-зайчикъ.

Тихо въ лѣсу подъ вечеръ. Горятъ румянцемъ заката занедвѣвшія вершины березъ, а понизу давно полегли глубокія, синія тѣни...

Треснетъ ли что подъ ногою, снѣгъ ли осыпется съ вѣтки, — каждый легкій шумъ слышится ясно, отчетливо — и далеко по лѣсу разносится... Вотъ — и теперь — ворона каркнула гдѣ-то призывно, воинъ еще и еще — ей отклинулись другія вороны... Со всѣхъ сторонъ на зовъ слетаются... Гомонъ поднялся, нарушивъ вечернюю тишину, да какой!.. Что такое случилось, что ихъ встревожило?.. Куда спѣшатъ, крыльями хлопаютъ, куда слетаются?.. Да воинъ куда: — на бѣломъ снѣгу по сугробамъ, межъ кустами, чуть виднѣется кровавый слѣдокъ, и ведеть этотъ слѣдокъ на поляну, а тамъ, какъ разъ по срединѣ, лежитъ заяцъ подстрѣленный: отъ стрѣлка-то ушелъ, да отъ смерти уйти некуда.

Лежитъ, бѣднага, снѣгъ подъ нимъ подпотѣль, подмочиль ему шубку насквозь... Лежитъ заяцъ, еле дышитъ и жалобно вокругъ поглядываетъ. А кругомъ сплошь вороны разсылись, вплотную къ зайцу подбираются, да шевелится онъ, еще дышитъ и ухомъ поводить, несчастныи, — ну и страшно голодныи разбойницамъ, ждутъ терпѣливо, когда покончится.

Смертельная тоска гложетъ маленькое заячье сердчишко. И умереть-то не доведется покойно... Пожалуй, еще живаго рвать станутъ, носами долбить, глаза выклуютъ! И щурить зайченокъ эти плачущіе глазенки. Молить Бога по своему: Ношли скорѣе смерть, прекрати непосильныя мученія!..

Трещать кусты, раздвигаются, надъ кустами шапка большая, мохнатая колышется,— все ближе да ближе подходитъ. А вотъ и весь богатырь появился на опушкѣ поляны. Не великъ богатырь, аршинъ отъ земли, да грозенъ, больно, въ рукахъ эва какую хворостину держитъ— и говоритъ богатырь самъ словно съ самимъ собою:

— Что это за крикъ такой воронье подняло? Иду, думаю! что за оказія?.. А оно вонь что. Кшпъ, вы, каторжныя!.. Я вѣсъ:

Разлетѣлись вороны въ стороны, да не очень далеко. Напугалъ ихъ богатырь-малышъ, а зайца вдвое.

— Ну, — думаетъ заяцъ, — теперь уже совсѣмъ конецъ пришелъ... намолилъ Господа...

Словно мертвый прикинулся— и духъ затаилъ, а богатырь-то подошелъ вплотную, забралъ зайца да за пазуху, въ теплый тулуупъ запихнулъ.

— Не бойсь! Сиди смирно! Не сѣмъ! Зайца только господа ъдятъ; наши не стануть... Да лежи ты, не рвись!.. Говорить тебѣ толкомъ: не сѣмъ! не понимаешь, что-ли?

А зайцу, да еще до смерти напуганному, гдѣ же понять рѣчь человѣческую. Сообразилъ, только, что ему тепло стало и страшныхъ воронъ не слыхать больше. Каркаютъ гдѣ-то,— только далеко, сквозь полущубокъ еле слышится...

Тепло стало— пригрѣло, значитъ, спать надо... задремаль длинноухій, да такъ сонный и былъ водворенъ въ новое жилище.

Уже и смѣялся же старый лѣсникъ Данило, когда сынишка его, Петька, домой съ добычею вернулся да началъ ее къ мѣсту пристраивать.

— Самъ поймалъ, что ли? Не хуже Шарика, или моего Валетки! Экій ты, парень, какъ я погляжу, прыткій!..

— Нѣшто я собака, чтобы зайцевъ ловить!.. Отъ воронъ отбилъ, онъ виши стрѣленый!.. Ихъ-то, воронъ этихъ, страсть что набралось, видимо-невидимо!.. А я-то одинъ!.. Я ихъ прутомъ пуганулъ, что ихъ баловать?

— Ай, да молодецъ! Ну-ка клади его въ кошелку, суй подъ лавку, да гляди—какъ бы собаки не пронюхали...

— Не смѣютъ!..

Устроили зайца покойно, тепло и привольно. Молочкомъ напоили, корешокъ морковки подложили подъ самую мордочку, а на всякий случай корзину тряпкою сверху обвязали.

И сталъ зайчишко поправляться на новосельѣ. Недѣли двѣ прошло, лапка зажила, самъ потолстѣлъ, шубка стала такая мягкая, пушистая...

— Вотъ онъ теперь—словно Валетка нашъ, бѣлый, а къ веснѣ, гляди, словно Шарикъ, сѣрымъ станеть,—говорить Данило сыну, а тому очень интересно, какъ это его заяцъ шубку мѣнять будеть.

— Вотъ,—думаетъ,—пождемъ весны, увидимъ!

Полюбился заяцъ Петькѣ, должно быть, и самъ Петька полюбился зайцу,—такъ другъ за дружкою и бѣгаютъ. Друзья стали самые неразлучные, только не долго эта дружба тянулась.

Пришла весна желанная, точно что шубка заячья темнѣть начала, да съ шубкою и мысли заячихъ перемѣнились. Надоѣли, знать, бѣгуну тѣснота лѣсниковой избушки—и разъ какъ-то пріотворилъ лѣсникъ оконце—воздуху въ избу впустить лѣснаго, свѣжаго, а снѣгъ почти дочиста стаялъ и на самомъ припекѣ зеленая травка заиграла на солнышкѣ...

Только и видѣли сѣраго! Скокъ на лавку, скокъ на подоконникъ, да черезъ окно во дворъ, да черезъ плетень, да въ кусты... мелькнулъ разокъ подальше, да и сгинулъ.

Думалъ Петька—вернется къ ночи... Погуляетъ и вернется... все-таки въ избѣ и теплѣе и покойнѣе, самъ разсудить долженъ... но разсужденіе зайца вышло совсѣмъ не Петькино. Такъ своего друга напѣлъ Петька и не видаль больше. Попадались зайцы, только все другіе—дикіе, бродячіе,—а этотъ, ну вотъ словно сквозь землю провалился.

Заскучалъ мальчикъ, загорюлся, а старикъ Данило говорить:

— Чего плачешь? Ты вотъ его отъ смерти спасъ, выходилъ, на ноги поставилъ... Что же, ты его въ батраки, что ли, себѣ прочиль? корысть какую имѣль, что ли?.. Зайцу воля нужна; ему эта воля самая отъ Бога предназначена, ну ты и не препятствуй! Онъ тебѣ за эту волю и ни вѣсть что отъ Бога вымолитъ.

— Ладно! — отмахнулся рукою Петька. — Убъгъ, такъ убъгъ! Ну его... — хотѣлъ сказать было «къ лѣшему», да опомнился во-время, застыдился такого помышленія и докончилъ, какъ слѣдуетъ. — Господь съ нимъ! Пущай гуляетъ! Мнѣ не надо.. Не жалко даже, ни чутучку...

А самому-то очень жалко было ушастаго дружка, да не ревѣть же ему, мужику, отцовскому помощнику, какъ бабѣ, — воять хоть бы какъ Арина-солдатка, когда письмо приспесли, что ея сына въ Туретчинѣ, на войнѣ, на смерть забили...

Заяцъ ушелъ — не бѣда, а настоящая бѣда подстерегала уже обитателей лѣсниковой сторожки.. Да такая бѣда горькая, что даже самъ Данило безнадежно опустилъ свою голову...

Занемогъ Петька. Бродилъ онъ далеко отъ избы, примѣчалъ все, какъ птицы весною все прибываетъ да прибываетъ, какъ онѣ гнѣзда строять, къ пѣнню разноголосому прислушивался, заглядывался, должно быть, что тамъ на верху творится, и прозѣвалъ у себя подъ ногами, попадъ въ яму съ водою, да съ головою въ неї окунулся... А вода-то холодная, прехолодная, да и на дворѣ было не тепло, вѣтрею. Исщугался мальчишъ, да скоро оправился, сталъ барахтаться, за корни руками цѣпляться, бился-бился, а все-таки выбрался, усталъ, сѣль, а итти не можетъ; былъ онъ въ своемъ полуушубкѣ зимнемъ, тотъ насквозь промокъ, а Петька не догадаться снять его съ плечъ, да бросить.

И такъ холодно стало, зубъ на зубъ не попадаетъ, а сниметь шубенку, думаетъ, еще холоднѣе станетъ. Посидѣть, опомнился, домой побрелъ. Боится, что батька ругать начнетъ, не торопится, чѣмъ ближе къ дому, шаги замедляется. Шель-шель, все отдыхать присаживался, а какъ до избы дошелъ — самъ непомнить. На бѣду еще отца дома не было, помочь ребенку, какъ слѣдуетъ, было некому. Пришелъ лѣсникъ подъ вечеръ, — не узналъ даже Петьку: такой страшный сталъ, посинѣлый, безпамятный. Насилу добился отецъ толкомъ, что случилось.

Ну, конечно, сняль съ него сейчасъ всю одежду мокрую, натеръ всего водкою, печку растопилъ, на припечку уложилъ Петьку, покрылъ съ головою своею сухою шубою и стала въ горшкѣ мяту лѣсную парить, чтобы отпоить больного горяченькимъ.

Все бы это хорошо было, если бы во-время, а то опоздали

отцовскія заботы. Простональ, прометался Петька всю ночь, а къ утру склонъ, успокоился.

Думаль отецъ, не померъ ли—нѣть, пока живъ, слава Тебѣ, Владычица Небесная!.. Только такъ плохъ, что все равно помереть скоро надо—не выжить.

Метнулся лѣсникъ на деревню за знающими людьми, привелъ унтера Назарыча, грамотнаго человѣка, знающаго,— привелъ Арину-знахарку. Набѣжали еще бабы, изъ любопытства больше... Собрались всѣ у Петькиной постели—причитаютъ жалобы, и всякая свое средство совѣтуетъ.

Всѣхъ слушался горемычный Данило-лѣсникъ—все пробоваль... Только Назарычъ сказалъ ему:

— Брось... гони ихъ всѣхъ помеломъ, лѣкарокъ этихъ, а то онѣ и живого, здороваго, уморять, а надѣйся больше на волю Божію—на Его святую милость... потому, кромѣ Бога, никто твоему Петькѣ не поможетъ. У него, виши ты, огневица скоропалительная...

Не понялъ Данило, что за слово страшное сказалъ знающей унтеръ. Сообразилъ только, что дѣло плохо. Коротать ему остальной вѣкъ свой одинокимъ бобылемъ, безъ Петьки, значить—безъ всякихъ надеждъ на будущее, безъ любви, безъ радостей, и разревѣлся старый Данило, на всю избу, даже Шарикъ съ Валеткою—взвыли по своему.

— Молись Господу!..—еще разъ внушительно замѣтилъ Назарычъ, и добавилъ:—я, слышь ты, пойду домой и гробикъ твоему мальчику сколочу и выкрапшу, какъ разъ готовъ ко времени будетъ—либо сегодня въ ночь, либо завтра къ вечеру,—больше ему не прожить. Дѣло вѣрное!..

— Что-жъ, постараися для младенца,—махнулъ рукою Данило.

Хочеть онъ удержать свой плачъ,—да не можетъ, все всхлипываетъ.

Прошла ночь, другая подошла... хуже да хуже ребенку, а къ полуночи кончаться началъ... тяжело такъ урывками дышать... воздуху немного забираешь, а ротъ широко разъеваетъ.

— Словно рыбка... — замѣтила бабушка Арина.—Вотъ словно окунекъ, когда ежели на берегъ выволочатъ.

Положили Петьку подъ образа и свѣтчечку восковую зажгли у изголовья.

Сталь читать по книжкѣ Данило отходную... присѣла въ уголокъ, за печкою, бабушка Арина... собаки на дворѣ все воять да воятъ.

— Къ покойнику...—шепчетъ глупая баба.

Наступила полночь.

У Данилы строки путаются, слова мѣшаются, глаза подернуло туманомъ—шибко, неудержимо дремлется... Похрапываетъ Арина въ своеемъ уголкѣ... Лежить Петъка, не дышить будто, не шелохнется, глазки закрытые—глубоко провалились, самъ словно воскъ сталь... не слышитъ даже, что таракашекъ по его лицу ползаетъ.

Догорѣла свѣчка, затрещала легонько и погасла... Темно стало въ избѣ... Всѣ заснули,—даже собаки выть перестали... только вѣтеръ въ трубѣ гудить уныло, словно далекій, монастырской колоколъ.

И чудится Петъкѣ, что лежить онъ не здѣсь, не въ избѣ подъ образами, а въ глубокомъ снѣгу, на лѣсной полянѣ... болить у него ножка подстрѣленная, шубенка насквозь промокла, самъ весь избитъ... все болить, все ломить и ноеть, силь нѣть подняться... а кругомъ все вороны обсѣли, да страшныя такія, черныя, глаза горятъ, какъ уголья—все ближе, да ближе къ нему подбираются. Лежить Петъка, безсильный, безпомощный и Бога молитъ, по своему, дѣтскому разумѣнію:—«Спаси меня, помилуй, Боже милостивый!—пошли смерть скорѣе, чтобы вороны живого еще не расклевали».

Гудить по лѣсу, трещать, ломятся кусты заинdevѣвшіе, а надъ кустами тамъ большая, мохнатая шапка колышется, все ближе да ближе подходитъ.

А вотъ, и весь богатырь на полянѣ появился... Не велику богатырь, да грозенъ больно, въ рукахъ эва какую хворостина держитъ, руки у него не руки, а лапки заячы, и мордочка заячья, даже длинныя ушки изъ-подъ шапки топорщатся.

— Кш! вы, проклятыя!..—кричить богатырь на воронъ, вороны въ стороны отъ него... прочь полетѣли.

Подошелъ богатырь къ Петъкѣ, забралъ его обѣими руками, да за пазуху.

Тепло стало Петъкѣ за пазухой, а тепло, значить, спать надо... и боль вся ни вѣсть куда прошла... и вороны не слышны больше, не пугаютъ своимъ зловѣщимъ карканьемъ...

Крѣпко спалъ Данило, отецъ горемычный, крѣпко разоспалась Арина-солдатка... Солнечный лучъ ярко блеснулъ въ избенное оконце, и вся изба озарилась золотистымъ свѣтомъ... Очнулись старики, къ Петъкѣ метнулись:—померъ, знать, похолодѣлъ уже.—А Петъка сидитъ на лавкѣ, глаза у него свѣтлѣтакъ, радостно смотрятъ, самъ улыбается... и говорить имъ:

— А меня ночью чуть вороны живого не заклевали... У меня ножку подстрѣлили... бѣда была просто, да меня зайчикъ выручилъ: воронъ хворостиною пугнулъ, меня за пазуху положилъ и сюда принесъ. Батька! Мнѣ очень кушать хочется...

И невдомекъ мальчику, почему старики смотрятъ на него какъ-то особенно, а потомъ передъ образаминичкомъ оба повалились...

Сообразили оба, какой такой зайчикъ спасъ отъ смерти неминучей больного мальчика.

«Слава тебѣ, Создателю Многомилостивому!»

И пошелъ по всей окрестности нашъ Петъка называться не просто Петъка, а «Петъка-зайчикъ»... Только выросъ, когда здоровымъ мужикомъ сталъ, начали его величать—Петра Данилычъ Зайчиковъ.

Тѣмъ иувѣковѣчена была память свершившагося событія.

### Дѣдушка-Буранъ, Бабушка-Пурга.

Тихо, тихо въ широкой, безпредѣльной степи.

Ни одинъ сухой стебелекъ не шевельнется, легчайшая порошинка, какъ осѣла, такъ и сидитъ, словно приклеенная... На курганѣ видна могила батыря \*) степного, Богъ-вѣсть, когда похороненаго, а надъ этою могилой торчатъ шесты съ цвѣтными тряпками, съ конскими хвостами—бунчуками \*\*)... И тряпки эти, и хвосты спокойно висятъ, не колыхнутся, словно, вотъ нарисованы они на этомъ сизомъ, мглистомъ тонѣ вечерняго воздуха.

Щелкнетъ гдѣ, за версту, а то и больше, конская подкова камень—далеко, звучно такъ по степи разносится... Собака залаяла гдѣ-то въ аулѣ дальнемъ, — словно, вотъ тутъ сей-

\*) Батырь—багатырь.

\*\*) Бунчукъ—знакъ значекъ.

часть, близко... Въ этой мертвой тишинѣ каждый малѣйшій звукъ отчетливо, ясно такъ слышится.

Не къ добру это могильное затишье!

Весь день не видать было солнца за сплошными, сѣрыми тучами, а тутъ, какъ къ самому краю неба оно опустилось, на минутку проглянуло, краснобагровую полосу зажгло на западѣ, безконечно длинный тѣни отбросило отъ каждого кусточка, отъ каждой кочки, отъ могильного кургана и отъ этихъ шестовъ съ хвостами и тряпками... Багровымъ свѣтомъ озарило степь, будто краснымъ, растопленнымъ золотомъ залило.

Не къ добру эта кровавая окраска!

Всѣ, кого въ пути застигла такая пора, всѣ, кто только отъ дому далеко отбился, всѣ спѣшать подъ кровъ, подъ защиту норъ и логовищъ, къ жилому теплу — домой... Звѣрье все мигомъ поирячется! табуны въ плотныхъ кучи собираются, волки и лисицы по щелямъ степныхъ балокъ \*), подъ камни залягутъ... Собаки, на что ко всему привычныя, а и тѣ къ человѣку жмутся, къ порогу его войлочной кибитки или къ зимней землянкѣ, и оттуда выть начинаютъ —протяжно, жалобно...

Не къ добру это вытье заунывное!

Чу!.. Разомъ ожила степь, «закурилася»... Словно, изъ подъ земли, всюду повыскакивали бѣлые зайчики, зарѣзвались, заскакали, заиграли на просторѣ... Крутятся, прыгаютъ, кувыркаются, мечутся въ разныя стороны, другъ-дружку съ ногъ сбиваются, пѣшему и конному подъ ноги кидаются, посвистываютъ полегоньку, весело... Да все ихъ больше и больше набѣгаютъ... Одинъ налетитъ на кустъ — разсыплется, а съ того мѣста десятокъ новыхъ вскакиваетъ...

Это разыгрались передовые вѣстники, дѣтки «Пурги-бабушки», скоро, значитъ, и сама она пожалуетъ.

Загудѣло, застонало въ степи... Сизыя тучи, словно волны дыма порохового, клубятся, вровень съ землею стелятся, а въ этихъ тучахъ растетъ и близится страшный обликъ бѣдовѣ старухи.

Вотъ она, сѣдая, сгорбленная, шагаетъ широко, размашисто, топчетъ дѣтокъ своихъ, длинною метлою во всѣ стороны раз-

\*.) Балка — оврагъ.

метываеть, а метла эта такая, что отъ востока до запада размахъ ея стелется, сама слѣдъ рѣжетъ глубокій, сама этотъ слѣдъ безъ остатка сглаживаетъ. Да и не молча работу свою злая старуха справляеть: громко на всю степь жалуется, и брюзжитъ, и ворчитъ и вздыхаетъ тяжко, носомъ крючковатымъ посвистываетъ, зубами пощелкиваетъ.

Тяжело въ степи въ эту пору, тяжело звѣрю-скотинѣ, а все-таки горе ихъ пока полугоре, — горе впереди, горе, когда дѣдушка Буранъ самъ за своею старухою слѣдомъ пожалуетъ.

Словно не въ воздухѣ, не по землѣ, а далеко гдѣ-то, подъ землею, гулъ и громъ идутъ перекатами. Несмѣтный табунъ бѣлыхъ коней мчить Бурана-дѣдушку, въ распашныхъ саняхъ везеть его, старого да пьяного. Кони дикие, разнозданные, ржутъ и фыркаютъ; разметали по вѣтру гривы бѣлые, жмутся кучею, рвутся въ стороны. Самъ буранъ высоко въ саняхъ стоитъ, головою въ небо уперся, шапка на немъ мѣховая, косматая, на плечахъ халатъ распоясанный, въ рукахъ «дубина омрозъ» вѣская, что не размахъ, такъ и валится лоскомъ все встрѣчное.

Расходился Буранъ-дѣдушка, на коней своихъ зычно гикаетъ, бѣгу сдавать не даетъ, знать, старуху свою нагонять хочетъ, да никакъ не нагонить все: та, вѣдь, тоже прытка, даромъ что пѣшая. И носятся они другъ за другомъ, какъ бѣшеные, все крутятъ да ломятъ, съ корней выварачиваютъ.

И нѣть на нихъ силы ровной, нѣть на нихъ уgomону и устали, пока сами собою, своимъ хотѣніемъ, въ волю натѣшась, снать не улягутся.

И тогда спадеть вѣтеръ, проглянетъ солнышко утреннее и зальетъ степь взбудораженную золотомъ, теплымъ, ласкающимъ свѣтомъ.

Заискрятся алмазами безконечные сугробы снежные, словно горы, словно волны моря, разомъ застывшія. Снова звуки живые въ чистомъ воздухѣ послышатся, снова все живое, мирное и немирное на свѣтѣ Божій выглядитъ и начнетъ свою работу обыденную, вражескимъ набѣгомъ на время превратную.

## П о ж а р ь.

Подъ самое рождество, въ ночь, пошелъ Никита-лѣсникъ въ обходъ по лѣсу.

Не то морозить ленонько, не то къ оттепели, и оледенѣлые сугробы снѣга шиپать подъ широкими лыжами.

А ночь темная стояла, претемная!

Оставилъ Никита въ своей избушкѣ внуучку Палашку, дѣвочку лѣтъ четыринацати, сироту круглую, единственную свою радость и счастье, и наказаль онъ Палашкѣ никому не отворять, собаку Жучку съ собою въ тепло посадить, ни на чай отклика не отзываться и въ печи огня отнюдь не раскладывать, свѣту не держать—я, моль, передъ разсвѣтомъ вернусь, успѣмъ изгототовиться къ празднику.

Большой обходъ надо пынче Никитѣ сдѣлать; по кругу считать верстъ двадцать безъ малаго, на искосокъ—гдѣ спрямить дорогу—и то дай Богъ до свѣту управиться... А время какъ разъ такое, что надо востро держать ухо, зорко глазъ настораживать, самое, что ни на есть, воровское, разбойничье.

По всему уѣзду только и лѣсу осталось, что казенный, заказной, глубоко окошанный, да этотъ, помѣщичій, а больше нигдѣ не пенышка — голышу мужику деревенскому ни дровъ, ни на стройку раздобыть не откуда, только что покупкою на чистыя деньги, а деньги водятся далеко не у всякаго... Лѣсникъ Никита одинъ надъ лѣсомъ надсмотрщикъ, а охотниковъ своровать — видимо-невидимо. Строгаго права старый лѣсникъ, крутъ характеромъ, на сороковкѣ не поддѣнешь, рублемъ совѣсть его не купишь, значить, потайно надо. А старикъ хитеръ и зорокъ, на ногу прытокъ, на ухо чутокъ, за плечомъ, на ремиѣ, двустволка — неважная, а все двѣ смерти носить.—Въ одномъ мѣстѣ проглядить, въ другомъ накроеть, и тогда уже плохо — никакими послушиами не откупишся, до суда дойдетъ—тюрьмою кончится. Тюрьма—бѣда не великая, мужика задаромъ казенными харчами прокормливаетъ, да семѣй безъ мужика этого плохо приходится, кормить некому, а къ сосѣдямъ не пойдешь за кускомъ, — у самихъ въ обрѣзъ, а то и вовсе вироголодъ...

По всей ихъ сторонѣ голь да нищета, а кабаковъ много—на это хватаетъ... Вездѣ плохо, а самое что ни на есть зло это «Драный поселокъ», дворовъ пятнадцать скучилось по краю оврага, одинъ къ другому вплотную, чутъ не подъ одною крышею. Курни избушки, что норы ушли въ землю по самыя окоица, покривились, покосились и только и держатся, не падаютъ, что другъ къ другу прислонились. Живеть въ этихъ норахъ сплошная бѣднота и лѣсные воры, самые, по всей окрестности, первые. Много возни приходится старому лѣснику съ драновцами, и тѣ па лѣсника—какъ на звѣря дикаго глядѣли, убить грозились не разъ, въ болотѣ утопить, избу сжечь до тла, чѣмъ только не пугали, думали — струсить старый, станетъ на ихъ продѣлки смотрѣть сквозь пальцы, дастъ хоть буреломомъ покормиться. Упрямъ Никита, не податливъ — ни на какую угрозу не откликается.

— Стану,—говорить,—имъ потокать, ворамъ каторжныемъ!

Однако все-таки остерегался, безъ заряженаго ружья не выходилъ. Вотъ и теперь, самъ ушелъ, а впучкѣ приказалъ сидѣть запершись да притавившись, словно въ крѣости за дубовыми ставнями, за крѣпкими болтами, съ собакою Жучкою—да такою злющею и сильною, что одна на трехъ мужиковъ полѣзть, ни отстоить хозяина.

Идетъ Никита-лѣсникъ обходомъ, далеко зашелъ, выбрался изъ чащи на горѣлую просѣйку,—справа и слѣва темными стѣнами вѣковой лѣсъ чернѣется, шуршать лыжи, тяжело сопить, словно медвѣдь, лѣсникъ, шагаетъ размѣренно, поглядываетъ изъ-подъ косматой шапки, самъ думу тяжелую думаетъ...

Тюкъ-тюкъ!.. Словно топоръ по вѣткамъ обсѣкаетъ... да явствено такъ... вотъ, вотъ... съ полверсты не будетъ.

Тюкъ-тюкъ... въ другой стороны слышится. Загудѣло по лѣсу, застонало, рухнуло, будто, вѣковое дерево.

— Шалишь! — озлобился лѣсникъ, а самого страхъ обуялъ.—Кто-же это шалитъ тамъ, именно тамъ,—гдѣ пѣтъ ни проѣзду, ни проходу, ни выходу. Никогда прежде того здѣсь не было. Вотъ, по волчьему болоту, въ медвѣжьемъ хutorѣ—это все мѣста для воровства удобныя, подходящія, а чтобы тутъ... такого грѣха не бывало. Неужели лѣшій гуляетъ... чтобъ...

Только промотвилъ Никита это—загрохотало по лѣсу, засвистало.

— Съ нами крестная сила!

Перекрестился лѣсникъ—стихло.

— Такъ и есть, должно быть.

Свернуль Никита въ сторону, глядить, а изъ заиндѣвѣвшаго куста лошадиная морда подъ дугою киваетъ.

— Эге! такъ вотъ ты гдѣ!.. Погоди-же!..

Какъ кошка притайлся лѣсникъ, согнулся, словно на четвереньки сталь и прямо къ мѣсту порубки. Видѣть: захудалый мужиченко, не полушубокъ на немъ, а рвань одна, веревкою подпоясана, около свѣжеповаленной ели возится. Не доглядѣлъ хорошо, свалилъ велику больно, не подъ силу, какъ теперь быть съ нею, не знаетъ. Сучья подрубилъ уже, санки подвель подъ комель, а кляча не беретъ, провалилась по брюхо въ снѣгъ, мотаетъ головою, а впередъ не подается. Видѣть Никита, что одинъ приѣхалъ, безъ товарищѣй, Фомка изъ «Драгаго выселка».

— Вѣдь вотъ, подлецъ-то... Что? не подсобить ли тебѣ, дяденька?

Услыхалъ Фомка зычный голосъ злого сторожа, пискнулъ даже, словно заяцъ пойманный, на снѣгъ присѣль и глазами заморгалъ.

— Прости, Ильичъ... никакъ это ты? это я, то есть... знаешь... такъ, чуть-чуточку... знаешь... ей-Богу не буду больше. Батюшка! да прости-же хоть для праздника святаго... окаянный ты... что, бишь, я, милый человѣкъ... ей-Богу не буду... ей-Богу, для праздника.

— А вотъ, будешь ты у меня съ праздникомъ. Я тѣ покажу—я тѣ!

— Никита Ильичъ... у меня тоже внучата махонькіе, лѣти-сироты... возьми дерево-то, подавись... хоть сучечки оставь,—обогрѣться нечѣмъ, воды хотя похлебать горячей... не для ого—для дѣтей прости.

— Ладно, разговаривай!

Сгребъ Никита лѣвою рукою Фомку за затылокъ, пригнуль мордою въ снѣгъ, сняль правою веревку запасную съ пояса, сталъ руки за спину крутить, а руки такія тощія, однѣ кости, того и гляди сломятся.

— Вотъ я тѣ покажу, какъ воровать... я тѣ устрою... Тѣфу!

Нѣтъ ни Фомки-вора, ни лошади его пѣгой, ни саней, ни срубленной. Стоитъ Никита въ лѣсу, по поясъ въ снѣгу, одинъ одинешенекъ и веревку въ рукахъ держитъ размотанную.

— Тыфу! Али пригрезилось!..

Перекрестился мужикъ на-отмашь. «Домой, думаетъ, пора! Вѣрию, лучше дома помолиться, да спать ложиться, передъ праздникомъ. Лампадку бы затеплить, передъ угодниками Божьими. Вотъ, вотъ. Вотъ и тѣ тоже, драивцы проклятые, тоже думаютъ:—Не пойдетъ старый лѣшій дозоромъ подъ великий праздникъ, дома сидѣть будетъ, а мы и того,—намъ что праздникъ! Навеземъ лѣску—вотъ и будемъ съ праздникомъ!»

Думаетъ, сомнѣвается Никита Ильичъ, а все поближе къ избушкѣ своей подается. Вотъ, уже оврагъ перевалилъ, идетъ дровяникомъ, березнякомъ. А ночное время переплю уже за полночь. Въ груди что-то разомъ застыло, сердце словно остановилось, ружейный ремень, вамъ собою, скользнулъ съ плеча.

— Охъ, Господи... Не попусти!.. Помилуй!..

Надъ лѣсомъ вспыхнуло красное зарево, заиграло, расширилось — все жарче да жарче становится — и какъ разъ это зарево надъ тѣмъ самымъ мѣстомъ, гдѣ избушка лѣсника.

Рванулся Никита, пустился бѣгомъ, что есть мочи, волкомъ взвылъ на бѣгу, зловѣщее зарево все больше разгорается... и чудится лѣснику, что уже гарью запахло, слышенъ гуль и трескъ пожарища, жалобно Жучка воетъ, запертая... Чу! и другой крикъ,—тоскливыи, отчаянныи, призывныи.

— Дѣдушка!

Далеко до избы, не можетъ быть ничего слышно, а вотъ слышится-же!

Осатанѣль Никита, устали нѣть, удержу! Словно раненый медведь по сугробамъ, по кочкиамъ, сквозь оледенѣлыхъ заросли прорывается. Лыжи растерялъ, шапку сорвало, распоясался, только въ прикладъ ружья впились, словно впаялись, цѣпкія пальцы.

Бѣжитъ Ильичъ на выручку. Долго-ли бѣжалъ — прибылъ.

Догорѣла уже до тла его избушка, — только груда каменныхъ угольевъ дымится. Ни Жучка, ни внучка Палашка, — никто его не встрѣчаетъ.

«Добили неправистнаго имъ, суроваго сторожа—драивцы. Поздравили съ праздникомъ!..» думалось Никитѣ, вотъ вотъ

заплачетъ, — а слезъ идуть... Реветь не своимъ голосомъ безъ толку, въ горячія уголья чуть не голыми руками лѣзть, все думается отыскать Палашку обгорѣлую.

Бороду опалилъ, армякъ заискрился, закурился. Звѣрь, не человѣкъ, сталъ.

— Палашка!.. Ѣвочка!.. милая... отзовися... Жучка! фью, фью! Родное дитятко... радость моя... голубонька! . . . . .

Долго-ли прошло время, коротко-ли, опомнился бѣдняга, окаменѣла душа. Глазъ вдругъ сталъ не въ мѣру зорокъ, ухо не въ мѣру чутко. Обошель кругомъ пожарище: «Эге!.. Вотъ, они, слѣды, вотъ еще!.. Вотъ, съ этого мѣста запаливать стали, по вѣтру погнали огонь, проклятые! Вотъ, опять на сиѣгъ лапти... Эти, виши ты, у оконъ да у дверей стояли, не выпускали. Вы думали, все гнѣздо разомъ извели!.. Нѣть! — шалиши! Самъ-то остался. Онь вамъ покажеть теперь зузы — ладно!»

И надумалъ Никита лѣсникъ итти прямо къ «Драному поселку».

— Погоди-же! Будете и вы у меня съ праздникомъ!

Идетъ Никита озлобленный, думу держитъ такую:

«Вотъ, передъ свѣтомъ прѣнико спать будсте, по своимъ порамъ. Тоже зайду по вѣтру, тоже всѣхъ спалю сонныхъ, и старого, и малаго. Огонь пущу краснымъ пѣтухомъ; кто выскочитъ, изъ ружья убью, руками передушу и въ полымя брошу. Палашенька, счастье мое пропавшее, душа невинная!.. Я ихъ за твою погибель адскія муки претерпѣть заставлю».

Идетъ отчаянныи человѣкъ, изъ лѣсу на проселокъ полевой вышелъ, въ оврагъ спустился, думаетъ, — этимъ ходомъ подойти сподручнѣе.

Сугробы не сугробы, а вровень съ ними крыши занесенныя «Драповскаго поселка»... Ни огонька нигдѣ въ окнѣ не видать, ни собакъ даже не слышно... спить голодное, холодное насленіе, бѣды не ждеть пока ни откуда.

«Погоди-же... на томъ свѣтѣ проснетесь у меня, трижды анафемы проклятые! Въ генѣ огненной,—ни на томъ, на этомъ свѣтѣ еще задохнетесь».

И не говорить этихъ страшныхъ словъ Никита, а сами слова у него въ пересохшемъ горлѣ клокочать, а наружу вырваться не могутъ.

Присѣть подъ первою крышею, снѣгъ разгрѣбъ, полѣзъ въ карманъ за спичками. А вѣтеръ предъутренникъ сильный по-дуль, какъ разъ на подмогу злому умыслу.

Спить въ своимъ лачугахъ скученныхъ, обреченное на гибель, голодное населеніе.

Засинѣлся огонекъ, озарилось красноватымъ блескомъ лицо поджигателя, вспыхнула сухая промерзшая солома, — трескъ пошелъ. И вдругъ почудилось Никитѣ, что не солома горящая трещитъ, не талый ледъ шипитъ, а тысяча голосковъ такихъ иѣжныхъ, ласковыхъ, вотъ словно молодой рой летить надъ ульями, шепчутъ ему въ уши:

— Прости... прости... не губи дѣтокъ, неповинныхъ. Тамъ и подростки, и малые, и грудные ребята есть. Прости — не губи... прости — не губи... ради святаго праздника, ради Младенца Святаго, Новорожденаго. Прости, и тебя Богъ проститъ и помилуетъ. Прости... слышь ты, милый человѣкъ... ослѣпленный злобою, ненавистью. Прости, не мсти за зло злъя. Помилуй ихъ, помилуй.

Руки опустились у Никиты, въ умѣ просвѣтлѣло. Грудью ринулся онъ на загоравшійся ворохъ соломы, руками разметалъ, затопталъ ногами, снѣгомъ завалилъ. Долгоостоялъ на мѣстѣ — все слѣдилъ, не тлѣть ли гдѣ еще, не разгорѣлось бы. Потомъ покачалъ головою, перекрестился на-отмашь и пошелъ обратно на свое пепелище.

Долго иitti отъ «Дранаго поселка»! Сюда бѣжалъ, не замѣтилъ какъ время шло, шагнулъ разъ, шагнулъ два — и на мѣстѣ, а теперь нѣтъ. Теперь дорога эта далеко растянулась! Золотистая полоска проглянула на востокѣ, а на поляну пришелъ Никита, уже солнышко выглянуло, и въ розовомъ блескѣ морознаго утра, въ серебрѣ инея — тонкая ленточка дымка протянулась. Стоитъ его сторожка цѣлая, невредимая, Жучка весело по двору бѣгасть, въ окнѣ видать яркій, радостный огонь затопленной печки, а внучка Палашка, шубенку накинувши на плечи, дверь пріотворила, стоитъ на порогѣ и дѣдушку своего дожидается.

Диву дался старый лѣсникъ, Никита Ильичъ, и сообразить не можетъ: «Что это все, во спѣ ли ему причудилось, или дѣйствительно, въ силу Святаго примиренія, Божье чудо свершилось?»

### Ангель смерти.

Бой затихъ.

Съ разсвѣта до глубокой ночи гремѣли выстрѣлы; сѣдою пеленою смраднаго дыма затянуло окрестности и въ этомъ дыму, въ разсыпную и сплошными, тяжелыми массами, двигались тысячи «сѣрыхъ» и «синихъ», истребляя другъ друга...

Весь день!.. Съ разсвѣта до глубокой ночи...

Тьма наступила и розняла истомленныхъ бойцовъ: «синіе» ушли далеко туда, въ глубину предгорій; «сѣрые» назадъ, въ ту синѣющую, лѣсную даль. Ни тѣ, ни другіе не сочли себя побѣдителями, никто не призналъ себя побѣженнымъ; спорное поле осталось за павшими...

Тьма наступила... тьма побѣдила!.. Мертвое достояніе мрака!..

Страшная тишина смѣнила громъ боя... Синѣжныя тучи подвинулись съ горъ, рѣзкій, холодный вѣтеръ завыль въ кустарникъ заросляхъ, шевеля гривами павшихъ коней, лохмотьями одежды убитыхъ... И мнится: будто дышать во тьмѣ, пробуждаются трупы...

Тихій стонъ страданья слышенъ въ завываніяхъ леденящаго вѣтра.

Стынутъ тѣла, замерзаютъ кровавыя лужи... Работу свинца и желѣза кончаетъ безпристрастный морозъ, нѣтъ въ немъ ни злобы, ни состраданія; равны для него и «сѣрые», и «синіе».

Томительно долго тянется зимняя ночь; грустная здѣсь, веселая и свѣтло-радостная тамъ, гдѣ не гремѣли выстрѣлы, гдѣ люди живутъ въ миру, куда не разъ предсмертною мыслью проникали, и еще живые, и поверженные, бойцы...

Святая ночь Рождества, ночь мира и привѣта. Ночь, когда, при видѣ сверкающей огнями елки и радостныхъ дѣтскихъ лицъ, смягчается самое суровое черствое сердце, забывается горе и злоба... Зане—это ночь Благодати...

Здѣсь же, въ этой адской долинѣ, ночь невыносимой скорби и страданій. Ночь послѣдняго испытанія. Ночь гнѣва Господня!..

Блаженны убіенные... Счастливы уснувшіе на-вѣкъ!.. И сколько здѣсь тѣхъ, кто засохшими устами, коснѣющимъ языкомъ молилъ Бога о смерти...

Томительно долго тянется зимняя ночь!

Вотъ приподнялся одинъ чуть-чуть, на локоть только... и громко застоналъ отъ боли... мутнымъ взоромъ старается всмотрѣться, что тамъ кругомъ?.. гдѣ онъ?.. гдѣ наши?..

— Братцы!.. Братцы!.. оставили...

Тоскливо забилось очнувшееся сердце, будя энергию жизни. Молнией пронеслось воспоминаніе дня...

«Идутъ... палять... бѣгутъ... падаютъ... штыки... ура!.. командиръ свалился... иосилки... снова бѣгутъ... мечутся «синіе», мелькаютъ красныя фески въ кустахъ, дымъ застилаетъ очи, душить чрезмѣро усталую грудь... рѣдѣютъ ряды... стались... упалъ и опъ...»

И все потемнѣло, все стихло разомъ.., ни боли, ни малѣйшаго страданія... А теперь?!. зачѣмъ теперь эти муки?!. оставили... бросили... одинъ... одинъ!..

Нѣтъ! не одинъ... Вонъ, да близко какъ!.. вонъ еще, прямо въ упоръ на него уставились два страшные глаза... черное, какъ уголь, лицо тоже отѣлилось отъ снѣга... также невыносимое страданіе положило печать на него—и страхъ смѣшался съ печатью скорби...

Это «синій» проснулся, и замѣтилъ врага... почудилось, что тотъ крадется тихо къ нему, беспомощному, умирающему—и невольно потянулась рука за оружіемъ... скользить слабая рука по ружейному прикладу, а нѣтъ силы поднять...

— Что же, добивай...—шепчутъ воспаленные глаза «сияго».

— Какой страшный!..—шепчетъ и «сѣрый»,—что же, добей! скажу спасибо.

Каждый произнесъ это по своему, а оба поняли другъ друга, и грустная улыбка скользнула по лицамъ и «сѣраго», и «сияго».

Улыбнулись и разсѣялся страхъ; подвинулись ближе другъ къ другу.

— Что, больно?..—спросилъ «сѣрый»,—куда попало?..

— Тяжело?..—спросилъ «синій»,—гдѣ болитъ?..

И снова оба поняли. Одинъ показалъ на свои, безпомощно волочація ноги, другой на грудь, на изорванную штыками расшитую куртку.

— Попить бы,—проговорилъ «синій», просительно глядя на жестянную флягу у пояса «сѣраго».

— Пусто, братъ... поглотаемъ-ка снѣгу...—отвѣтилъ «сѣрый».

— Охъ, тяжко!..

— Тяжко и мнѣ... Смерть подходитъ...

И оба замолкли, спова пали головами на снѣгъ.

Время идетъ. Холодъ все крѣпче, да крѣпче.

— Живъ еще?..— опять приподнялся «сѣрый».

Видить, а «синій» приветаль въ половину тѣла, обѣими руками оперся, жадно глядитъ куда-то, поверхъ этого конскаго трупа, поверхъ бугра, гдѣ безобразнымъ счетомъ торчить разбитое колесо...

— Огонь!.. свѣтъ!..— шепчетъ онъ ясно, словно крикнуть пытается.

Опять по своему говорить, а «сѣрый» понялъ. Тоже видитъ свѣтлую точку и растеть эта точка, будто костеръ вдали яркимъ пламенемъ разгорается.

— Полземъ!

— Полземъ!

Шлочно къ плечу сошлились «сѣрый» и «синій», пытаются помочь другъ другу... стонуть, вскрикивать даже отъ боли, ползутъ... ползутъ... Да вдругъ оба стали и вопросительно смотрѣть другъ на друга...

— Бивакъ! Свои ли? А ну, какъ чужіе... враги?!

И снова оба печально улыбнулись своему страху.

— Что-жъ, пополземъ! Авось, Господь милостивъ---допустить?

— Полземъ... Аллахъ безъ конца милосердъ...

А силь больше нѣть, послѣднія попытки безплодны, немощно разбитое тѣло, словно земля сама озлилась на бѣглцовъ, крѣпко за нихъ уцѣпилась и держитъ... Слабѣе и слабѣе бѣется сердце, мутится взоръ... А странно, все исчезаетъ изъ глазъ: и этотъ раздутый бокъ палаго коня, и эти чьи-то ноги, и рука, скатая въ кулакъ, что видна была изъ-за пригорка, и это разбитое колесо, и запипѣвшая щетина кустовъ,—все затянуло предсмертнымъ туманомъ, а огонь, желанный огонь, все ближе и ближе, все яснѣе и яснѣе кажется. Не они къ нему, самъ онъ, плавно скользя надъ землею, плыветъ имъ навстрѣчу...

Неслышно вѣютъ легкія бѣлые крылья... Окутанное прозрачнымъ облакомъ приближается къ нимъ свѣтлое видѣніе, чаша въ рукахъ... Словно легкое пламя колышется надъ чашью, озаряя и дивный ликъ, и дивныя руки...

И оба, «сърый» и «сишй», коснулись устами краевъ этой чаши.  
Готчасъ же исчезло видѣніе.

Но оно унесло съ собою всѣ страданія, всѣ боли, страхъ  
и смятеніе, смѣнивъ ихъ отраднымъ и вѣчнымъ покоемъ.

### Колодезь мира и жизни.

#### I.

Въ безводной степи, между высокими барханами сыпучихъ песковъ, тамъ, гдѣ чуть виденъ полузацесенный слѣдъ кара-ваннаго, Богъ вѣсть когда,—Богъ вѣсть кѣмъ выкопанный, таится чудный колодезь.

На трое сутокъ пути, во всѣ стороны, нѣть, и не было никогда, ни одной капли воды; мертвая, холодная степь лежала вокругъ, но здѣсь, у этого одинокаго колодца, истомленные путники утоляли жажду и покойно отдыхали, набираясь силъ на новый многотрудный путь, вторую половину всего прой-деншаго.

Холодная, чистая, какъ кристалль, животворная вода колодца служила одинаково всѣмъ: и мирному купцу, и набож-ному богомольцу, и хищнику-вору, рыскающему по степи на страхъ и тому, и другому. И всѣ свято чтили колодезь, съ молитвою подносили чашу съ водою къ изсохшимъ отъ жара устамъ, чтили самое мѣсто вокругъ колодца... И, до сихъ поръ, не находилась еще ни одна святотатственная рука, которая дерзнула бы осквернить пролитою кровью вѣковую святыню.

И назывался этотъ колодезь у всѣхъ однимъ именемъ: «колодезь мира и жизни».

Шагахъ въ десяти отъ чернаго зияющаго жерла колодез-наго,—давно, какъ и не помнить никто изъ самыхъ старѣй-шихъ, стояла старая, закопченая войлочная кибитка, больше чѣмъ на половину врытая въ желтый песокъ, и въ этой ки-биткѣ жилъ, и зиму, и лѣто, старый Ходда-Магометъ, благо-честивый мулла, мудрый наставникъ и совѣтникъ во всѣхъ нуждахъ и сомнѣніяхъ человѣка, любимецъ великаго пророка, вдохновленный самимъ Аллахомъ всемогущимъ, святой стражъ святого мѣста.

Ходдай-Магометъ питался тѣмъ, что оставляли ему проѣзжие. Да и немного нужно было неприхотливому старику: горсть варенаго риса, да чашка воды достаточны были для поддержанія его жизни.

Проходили дни, недѣли, цѣлые мѣсяцы,—никто не приходилъ къ нему, и его не тяготило, не смущало его душу это одиночество.

Съ мыслью о Богѣ, о Его безконечности и беспредѣльшомъ величиіи, молча сидѣлъ онъ въ благоговѣйномъ созерцаніи, и его сухія, блѣдныя губы, даже и во время сна, шептали однѣ только молитвы.

Но вотъ, изъ далека-далека, степной вѣтеръ донесеть мелодичный звонъ колокольчиковъ, чуть замаячать въ знайной мглѣ мѣрно идущія вереницы тяжело-павьючихъ верблюдовъ, стариkъ торопливо тащить изъ своей кибитки кожаныя ведра, длинные волосяные арканы, раскладываетъ ихъ у жерла, собираетъ сухой пометъ для костровъ и, протянувъ свои костлявыя дрожащиа руки, встрѣчаетъ прибывшихъ благословеніемъ покоя и мира. И не спрашиваетъ онъ никого, ни—кто, ни—зачѣмъ, ни—откуда?

Старый бекъ, Ширали-Кабаклыскій, когда еще былъ ребенкомъ, слыхалъ отъ своего отца про чуднаго старца Ходдай-Магомета; когда самъ бекъ состарившись, ходилъ съ богомольцами въ Мекку, Господь привель и ему видѣть лично святого стражи святой воды, совсѣмъ схожаго съ описаніемъ отца-покойника. Ходило преданіе, что Ходдай-Магометъ, будто бы, самаго Тимура заживо помнить, и люди этому преданію вѣрили.

Пути Всевышняго неисповѣдимы и нѣтъ предѣла его милостямъ.

## II.

Давно уже спалъ жгучій жаръ и багровое солнце медленно опускалось за потемнѣвшіе барханы. Синяя тѣнь легла по ющинѣ и остыли за день накаленные пески.

До слуха Ходдай-Магомета донесся спѣшный топотъ конскихъ ногъ и скоро увидѣлъ онъ всадника о «двухъ-конь», направлявшагося къ колодцу.

Это былъ человѣкъ молодой, стройный какъ пальма, сильный какъ левъ, красивый какъ женщина. Дорогая одежда,

дорогое убранство коней, смѣлый и гордый взглядъ и величавая осанка, обличали въ немъ не простого путника, не купца, не пилигрима, не разбойника, вора-оборвьша.

Опь слѣзъ съ воропого коня, перебросилъ поводья на сѣдло другого, тоже чернаго какъ смоль, безъ отмѣтишки,—и чудные бѣгуны встали какъ вкопанные, дружелюбно общюхивая другъ друга.

— Да благословитъ Аллахъ прибытіе твоё!—произнесъ Ходдай-Магометъ.

— Спасибо!—отвѣтилъ прибывшій и сѣлъ на песокъ, гремя чеканенцымъ, убраниымъ бирюзою оружіемъ.

— Мирный покой съ миромъ идущему!—помолчавъ съ минуту, произнесъ старикъ, и на его губахъ быстро мелькнула странная усмѣшка,—только мелькнула па мигъ, словно ящерка, молніей сверкинувшая черезъ тропинку.

А юный гость молчалъ, лежа на пескѣ, скрывая подъ виѣшнимъ покровомъ гордости явное смущеніе.

Пока ъхалъ онъ дорогою, все такъ хорошо сложилось въ его головѣ,—все, что онъ долженъ былъ здѣсь говорить этому сѣдому старцу,—все, слово за словомъ, пизалось на одну нить мысленія... Пріѣхаль, увидалъ, пришла пора дѣйствовать—и порвалась эта нить, разсыпалась по стели слова, языкъ не повинуется волѣ.

— Гдѣ людитвои, господинъ?—промолвилъ Ходдай-Магометъ.

— За мною идутъ... Отстали,—обрывисто отвѣтилъ пріѣзжій, и словно замѣтивъ опять мелькнувшую на губахъ старика усмѣшку, добавилъ, будто оправдывааясь:—Они идутъ тихо, съ ними верблюды, навьючены тяжело... Они пріѣдутъ... Къ полуночи, я думаю, будутъ на мѣстѣ...

— Они не пріѣдутъ вовсе. Ты одинъ въ пути!—тихо промолвилъ мулла, такъ тихо, что гость и не слышалъ его словъ а только понялъ ихъ значеніе, и, смущенный, сталъ рѣть песокъ ножнами кинжала.

Прошелъ часъ, прошелъ другой... Никто больше ни слова не говорилъ,—и тихо-тихо, было въ стели, только копи грызли стальнага удила, да нетерпѣливо фыркали, чуя близкую воду.

— У меня, тамъ...—началъ пріѣзжій красавецъ,—въ самой срединѣ города, на просторной площади—чудная мечеть, вся

изъ бѣлого мрамора... Узорными лентами вьются по карнизамъ святых изречений, золотомъ горитъ круглый куполь и, будто свѣчи, несутся въ небо стройные минареты... Мягкіе ковры устилаютъ полы и ступени... Тѣнистый садъ съ трехъ сторонъ окружаетъ этотъ домъ молитвы, и въ саду томъ журчатъ и струятся ручьи, вливаютъ воду въ мраморные бассейны... Много мулль и ученыхъ живетъ при этой мечети, и живутъ безъ заботъ и лишеній, живутъ какъ въ раю, пасляждаясь есѣмъ; что только дано человѣку для наслажденія... Хочешь, старики, жить тамъ, падо всѣми ими старшимъ, первымъ муллою моего города?

— Аллахъ указалъ мнѣ здѣсь мое мѣсто,—отвѣтилъ старики. Пріѣзжий нетерпѣливо приподнялся на локоть.

— Тысячи-тысячъ народа сходятся въ мой городъ и благоговѣйно ждутъ у порога мечети святого слова... Хочешь одинъ говорить съ ними, хочешь одинъ учить ихъ?.. Вѣдь эти тысячи-тысячъ преклоняются передъ тобою, и во всѣ концы земли разнесутъ о тебѣ славу великаго пророка.

— Послѣдній ученикъ я,—не учитель. Не мнѣ суждено тягаться славою со славными... Напрасно ты тратилъ на меня свои лѣстивыя рѣчи!

— Упрямый старики!—вскочилъ на ноги красавецъ-гость и быстро подошелъ къ конямъ.

Тамъ опять отвязалъ отъ сѣдла тяжелый мѣшокъ, оборвалъ шелковый шнурокъ, его связывающій, и па влажный отъ почной росы песокъ посыпались, даже при свѣтѣ звѣздъ, огнемъ сверкающіе червоицы.

— Это—все твое,—говорилъ онъ задыхаясь:—все! Окажешь услугу, сдѣлаешь, что мнѣ падо, еще получишь вдвое, втрое... Получишь все, чего только у меня не потребуешь...

— Я золотомъ не питаюсь... И здѣсь, въ мертвай пустынѣ, мнѣ даже мѣдной чеки не нужно. Убери это... Опо горить, какъ кровь, а крови эти пески еще не видали...

Вспыхнули недобрыймъ огнемъ глаза у гостя и рука сама себю потянулась къ оружію, а старики сидѣлъ покойно, только, словно въ дремотѣ, склонивъ на сухую грудь свою дряхлую голову.

— Не большой услуги прошу я у тебя... — заговорилъ слова гость, поборовъ охватившее его волненіе.

— Знаю,—чуть слышно произнесъ Ходдай-Магометъ.

И опять наступило долгое, обоюдное молчаніе.

— Со свѣтомъ зари утренней иди отсюда, стариkъ,—снова раздался голосъ гостя.—Иди, пока не утомятся твои ноги, иди за песчаные холмы и жди тамъ до новой зари, до новаго восхода солнечнаго... Вотъ, о чемъ молю тебя, вотъ за что я сдѣлаю все, что ты пожелаешь.

— И прійдетъ эта новая заря, и верпнусь я па свое място, — сказалъ въ отвѣтъ Ходдай, — и не найду я капли воды въ святомъ сосудѣ... Смерть заступитъ място жизни, стыдъ и позоръ лягутъ на мою сѣдую голову, грѣхъ великий, смертельный, на мою душу, горе и скорбь на неповинныхъ людей...

— Постой? — вскочилъ на исги гѣсть. — Такъ ты и это знаешь? Сквозь двойную кольчугу ты прочель въ моемъ сердцѣ... Колдунъ!

Гнѣвомъ вспыхнули его глаза, словно сама собою вылетѣла изъ ножень кривая шашка...

— А знаешь ли ты, вѣщій, знаешь ли ты, что съ тобою самимъ сейчасъ случится?..

— Знаю,—покойно, безъ страха глядя на гостя, произнесъ стариkъ. — Знаю. Завтра же, въ этотъ самый часъ... Вонъ, смотри, надъ тѣмъ высокимъ барханомъ красная звѣзда поднимается... Въ этотъ самый часъ увижу я, какъ Аллахъ караетъ преступника.

— Такъ лжешь же, собака! — заревѣлъ проѣзжій и однимъ взмахомъ клинка раскололъ на-двоє вѣковой черепъ святаго старца...

Безъ стона, безъ вздоха протянулось на пескѣ мертвое тѣло, по глухой, жалобный гулъ попесся между барханами... Чудилось, будто пески, мертвые сыпучіе пески, застонали, принявъ въ свои жаркія нѣдра кровь праведника.

Долго, въ тяжеломъ раздумьи, стоялъ убийца надъ трупомъ... Кони вороные громко заржали, и этотъ веселый звукъ пробудилъ хозяина.

Усмѣхнулся красавецъ, только невѣсела была эта усмѣшка, взвалилъ тѣло на спину коня, самъ сѣлъ на другого и поскакалъ въ бархана, дальше отъ опозореннаго, святого колодца, дальше отъ пути караваннаго, туда, куда некому и незачѣмъ заглядывать.

Тамъ онъ глубоко зарылъ тѣло въ горячій песокъ, снявъ прежде съ него истлѣлое отъ времени рушище, снялъ съ себя свой дорогой, ярко-цвѣтной бешметъ и стальную кольчугу, а самъ одѣлся въ платье убитаго; затѣмъ досталъ изъ переметной сумы коробку съ цвѣтными мазями и длинную, козью бороду, досталъ маленькое, круглое зеркальце и принялся персдѣлывать свое красивое, молодое лицо—въ дряхлое, доживающее свой вѣкъ, — старое. Великій машкарабазъ \*) Алламедъ научилъ его этому искусству.

Недолго возился за такимъ дѣломъ убийца и, окончивъ свою работу, вернулся пѣшкомъ къ колодцу, оставилъ коней на крѣпкихъ приколахъ, за высокими барханами, гдѣ ихъ ни одинъ посторонній глазъ не могъ видѣть.

Прийдя на колодезь, онъ тщательно засыпалъ пескомъ лужи почернѣлой крови, досталъ ведро холодной, чистой, какъ кристаль воды, отпилъ немнога и сѣлъ на порогъ кибитки: ну, точь въ точь, какъ прежній сторожъ Ходдай-Магометъ, на своемъ, вѣками насиженномъ, мѣстѣ.

А на востокѣ вспыхнула и стала разгораться заря утренняя, разгоняя почную тьму, золотя гребни далекихъ бархановъ, сгоняя съ поблѣдѣвшаго неба безчисленныя, алмазныя звѣзды.

### III.

Тѣмъ временемъ, шагъ за шагомъ, ходомъ неспѣшнымъ, тянулся по ровной степной дорогѣ большой караванъ.

Впереди по-парно ъхали двѣнадцать всадниковъ, кони подъ ними были золотисто-рыжіе, одежды на всадникахъ ярко-красныя; кривыя сабли въ дорогихъ мягкихъ ножнахъ качались безъ звука сбоку у каждого, за плечами висѣли круглые щиты кожаные, въ рукахъ копья длинныя, гибкія, бѣлыми буйволовыми хвостами оперенные.

За конными передовыми шли сто человѣкъ пѣшихъ, всѣ лицами черные, какъ уголь, далекаго юга уроженцы, пришлия паемники. У этихъ были копья короткія, съ широкими лезвіями, а за плечами гибкіе луки и колчаны, стрѣлами наполненные.

\*) Актеръ-комикъ.

Одежды на пѣшихъ были короткія, ноги босыя, мозолистыя, устали незнающія.

За пѣшими вели тридцать верблюдовъ, тяжело павьюченныхъ, покрытыхъ полосатыми попонами. За верблюдами опять шли пѣшие лучники, стрѣлки чернокожіе, а за ними опять двѣнадцать всадниковъ-мальчиковъ, одинъ другого красивѣе, одинъ другого наряднѣе одѣтыхъ. Солице весело играло на ихъ пестрыхъ чалмахъ, золотомъ шитыхъ, на дорогихъ уборахъ конскихъ.

Каждый всадникъ-батча держалъ въ рукахъ саазъ\*) шести-струнныій, и далеко неслась по равнинѣ ихъ чудная музыка.

За музыкантами, окруженній блестящею, многочисленною свитою, ѿхалъ на малоросломъ, бѣломъ, какъ горный снѣгъ, иноходцъ стариkъ съ длинною бородою, съ нависшими сѣдыми бровями, отбросившими густую тѣнь на его глаза, глубоко-впалые, но все еще грознымъ повелительнымъ блескомъ сверкающіе.

Просто и скромно одѣтъ былъ этотъ величавый старикъ, бѣднѣйшимъ казался онъ между своими слугами, только сухіе пальцы его мѣрно перебирали крупныя, не имѣющія цѣпни, единственныя во всей вселенной, жемчужныя четки.

Роскошная свита ѿхала молча, боясь нарушить благоговѣйное созерцаніе повелителя, только горячіе кони, сдержаныя стальными удилами, фыркали и хрѣпѣли, робко косясь на свои длинныя, синеватыя тѣни.

За свитою вели сорокъ выочныхъ муловъ, съ казною и цѣпностями, а за мулами—вереницею тянулись верблюды, покрытые дорогими коврами. На каждомъ верблюдѣ колыхался высокій шатерь съ парчевою крышею, украшенный по угламъ цветными перьями; длинныя, шелковыя занавѣси спускались до земли, скрывая отъ нескромныхъ взглядовъ постороннихъ людей тѣхъ, кто сидѣлъ подъ этими шатрами.

Между верблюдами шли пѣшия женщины съ закрытыми лицами, а съ боковъ ѿхали на крупныхъ сѣрыхъ ишакахъ блѣдные люди, безъ усовъ и бородъ, но уже старые, сморщенны. Въ рукахъ эти люди держали обнаженные сабли, сверкавшія на солнце, словно молніи.

\*) Саазъ—родъ круглой балалайки.

Всѣхъ верблюдовъ съ шатрами было тридцать-одинъ и передній отличался отъ прочихъ особеннымъ великолѣпіемъ. Верблюдъ этотъ былъ бѣлый, а шатерь на пемъ голубой, вышитыи золотыми и серебряными звѣздами.

За этими верблюдами шли безъ конца простые, вьючные верблюды, съ дорожными шатрами, палатками, котлами, стѣстнымъ и постельнымъ запасомъ, а съ ними много простыхъ людей и рабовъ, подъ общимъ присмотромъ всадника, вооруженнаго длинною кожаною плетью.

Хвостъ всего каравана замыкалъ еще отрядъ всадниковъ, разославшій отъ себя назадъ, вправо и влево сторожевыхъ людей, зорко наблюдавшихъ за пустынною, мертвую окрестностью.

Это шель въ Термезъ, на поклоненіе великому чтимому святому, грозный Сайдъ Ширъ-Али, владѣтельный ханъ Мозашерифа.

На тридцати верблюдахъ, подъ шатрами, ъхали его тридцать женъ, по счету дней лунного мѣсяца, а на тридцать первомъ, подъ голубымъ шатромъ, красавица Ліа, любимая дочь хана, отъ первой его жены, давно уже умершой.

Уже восьмой день находится въ пути ханъ Сайдъ Ширъ-Али, со своимъ гаремомъ, а цѣль еще далека. Еще нескоро придется имъ увидать широкія, спокойныя воды великой рѣки, и на томъ ея берегу, окутаныя знойною мглою, чудныя развалины чуднаго древняго города.

Тихо идутъ пѣшие чернокожіе воины; тихо, сдерживая горячую прыть лошадей, ъдуть конные; мѣрно шагаютъ верблюды подъ пошено, мелодично позванивая своими шейными колокольчиками.

#### IV.

Сердечная ли тоска, скуча или жаркая истома овладѣли красавицею Ліа, и она вся разметалась подъ своимъ шатромъ, чудная, полуобнаженная, лѣниво играя своими дорогими ожерельями.

Одна изъ пѣшихъ женщинъ незамѣтно приблизилась къ замому верблюду и осторожно окликнула красавицу.

— Ты спиши, госпожа? — спросила она шепотомъ, такъ, чтобы не услыхалъ этотъ безбородый, дремлющій на своемъ ишакѣ, тоже дремлющемъ, развѣшившемъ лѣниво свои длинныя уши.

Ліа нагнулась къ спрашивающей и чуть-чуть отодвинула край голубой занавѣски.

— О, еслибы я могла спать!—отвѣтала Ліа.—Нѣть, Джанымъ, давно уже глаза мои не знаютъ сна. О, какъ длинно, какъ мучительно долго тянется это путешествіе.

— Оно кончится скоро,—произнесла Джанымъ,—оно кончится гораздо скорѣе, чѣмъ ты думаешь, моя дорогая госпожа, мое вскормленное дѣтище.

— До Термеза еще девять дней пути,—замѣтила Ліа.—Я слышала, какъ говорилъ Турсукъ вчера, па почлегѣ.

Джанымъ покосилась на безбородаго толстяка и усмѣхнулась.

— Турсукъ,—сказала она,—че можетъ знать того, что должны знать другіе.

— Да?!—оживилась немнога красавица, прильнула лицомъ къ самой занавѣскѣ и, помолчавъ съ минуту, словно борясь сама съ собою, дрогнувшимъ голосомъ сказала:

— Ну, Джанымъ, продолжай же, продолжай свою вчерашнюю сказку.

Улыбнулась Джанымъ, покосилась еще разъ на дремлющаго Турсука и исполнила волю своей госпожи, вскормленной ея грудью, ею взлелѣянной и выхоженной.

...«Долго думалъ молодой ханъ Искандеръ»,—начала, было, она, но Ліа прервала ее на первомъ словѣ.

— Называй его Девлетомъ. Слышишь? Я хочу, чтобы ты его такъ называла... Тебѣ вѣдь все равно, Джанымъ, милая моя, добрая...

— Хорошо, хорошо!—согласилась разказчица.—Девлетъ, такъ Девлетъ. Сказка вѣдь отъ этого не мѣняется... Такъ вотъ, «долго думалъ молодой ханъ Иск..., то бишь Девлетъ, и рѣшиль, что жить ему безъ его красавицы...» Какъ ее называть прикажешь, госпожа?

— Ліа,—чуть слышно прошептала дочь Саида-Ширъ-Али хана Мозашерифскаго.

— «... жить Девлету безъ Ліи никакъ невозможно. И во спѣ и на яву онъ видѣлъ всегда передъ собою чудный образъ своей возлюбленной.

«Съ тѣхъ самыхъ поръ, когда, бѣжавши изъ плѣна, подъ видомъ нищаго-богомольца, проходилъ онъ Мозашерифъ, когда старуха Джанымъ мелькомъ дала взглянуть ему на ту, что

прислала ему, уличному пѣвцу, хлѣба и корзину плодовъ,— онъ потерялъ покой, потерялъ всѣ утѣхи, и даже у себя дома, вновь окруженный роскошью и блескомъ, среди тысячъ чудныхъ женскихъ глазъ, глядящихъ на него съ восторгомъ любви, онъ не замѣчалъ этихъ взглядовъ, сердцемъ и душою помня только одни глаза, глаза звѣзды Мозашерифа».

— Красавецъ мой, бѣдный, милый!—шептала Ліа, внимательно слушая сказку своей кормилицы.

«Тогда ханъ Девлетъ рѣшилъ пренебречь завѣтами старинной, родовой вражды. Вопреки уговоровъ и совѣтовъ своихъ старшихъ и даже главнаго, Казы, онъ спарадилъ къ хану Мозашерифскому мирное посольство съ богатыми дарами и униженно просилъ руки его дочери, соглашаясь впередъ на всѣ условія. Но онъ не зналъ, что каменное сердце хана давно уже не знало любви и было глухо къ примиренію.

«Ханъ отвергъ дары своего врага, съ позоромъ выгналъ изъ города его посольство и окружилъ двойною стражею жилище своей дочери. Думали всѣ тогда, что Мозашерифу не избѣжать ужасовъ свирѣпой, безпощадной войны. Вожди ханскіе дѣятельно готовили войска, народъ возводилъ высокія стѣны, копаль глубокіе рвы, прорывалъ плотины и широкую полосою затопилъ всѣ дороги къ своему городу.

«Но Девлетъ храбрый, пылкій юноша не пошелъ войною на своего врага, онъ щадилъ кровь отца своей возлюбленной, онъ кротко перенесъ оскорблениe...

«Любовь побѣдила воина и сковала его сильныя руки».

— Такъ онъ покорился судѣ?—спросила Ліа:—онъ рѣшился одинъ страдать; пусть, молъ, само время излѣчитъ эти страданія?!.. Малодушный!..

— Нѣть, дитя мое, онъ зналъ пословицу, говорящую, что и храброму, могучему льву, умная хитрость помогаетъ въ побѣдѣ,—и подготовилъ себѣ эту побѣду путемъ безкровной, глубоко обдуманной хитрости.

— Что же придумалъ онъ? Говори, не томи...

Турсукъ громко зѣвнулъ, широко раскрылъ свои безцвѣтные, заспанные глаза и поправился въ покойномъ сѣдлѣ. Джанымъ отстала на шагъ отъ верблюда, щель голубой занавѣски словно сама собою сомкнулась.

— Не оттягивай тамъ, задніе! Чего разбрелись по сторо-

иамъ! Въ кучу! — хриплымъ визгливымъ голосомъ закричалъ безбородый и черезъ минуту снова погрузился въ сонъ, заклевавъ своимъ длишнимъ, какъ у аиста, носомъ.

— Къ солнечному закату, сегодня,—приблизилась опять Джанымъ, мы прибудемъ къ колодцамъ «Мира и Жизни», — святой мулла Ходдай-Магометъ поднесетъ всѣмъ по очереди чашу съ благословленною водою... Ты не пей изъ этой чаши.

— Въ чашѣ смерть? — съ ужасомъ спросила Ліа.

— Нѣтъ, но чаша для другихъ мирный сонъ, для тебя, моя красавица — заря твоего счастія.

А караванъ все шелъ и шелъ, ханъ Сайдъ-Ширъ-Али перебиралъ свои четки, подъ мѣрные звуки саазовъ безбородые дремали на ишакахъ, конная стражка зорко наблюдала мертвую пустыню.

## V.

Ханъ Девлетъ Кафирнегамскій, убийца святого Ходдай-Магомета, давно уже ждалъ караванъ. Медленно двигалось жгучее солнце, медленно росли послѣполуденные тѣни, казалось хану, что и конца не будетъ этому длинному, томительному дню.

Тяжелымъ камнемъ лежало у него на душѣ убийство праведника и скорбное сердце чуяло роковое возмездіе.

И то же сердце, въ то же время, билось иною тревогою, тревогою близкой радости, близкаго, неземного счастія.

Казалось, свѣтъ и тьма боролись въ этомъ сердцѣ, и на лицѣ хана Девлста отражались всѣ подробности этой борьбы, вызывая поочереди то сурово-тоскливо выраженіе, то улыбку райскаго блаженства.

«Не отраву смертельную вину я сюда, въ эту чашу, говорилъ самъ съ собою Девлетъ... Только мирный сонъ, глубокій, сладкій, полныи чудныхъ сновидѣній охватить отца твоего и его спутниковъ. Три дня и три ночи волшебный сонъ не выпустить ихъ изъ своихъ объятій, а ты, моя жизнь, моя радость, тѣмъ временемъ, далеко улетиши со мною, на моихъ быстроногихъ скакунахъ, улетиши ко мнѣ, въ мой дворецъ, гдѣ застушишъ мѣсто моей единственной горячо любимой жены-повелительницы. Я распушу весь гаремъ, я не хочу, чтобы другая женщина оспаривала у тебя твое право; ты

одна, а съ тобою и все, что можетъ дать только рай въ бою убитому праведнику.

«Отецъ твой пойдетъ на меня войною, я знаю... Я выйду къ нему навстрѣчу безъ войска, одинъ съ тобою, я приму его не какъ врага, а какъ отца, моего повелителя; и суровое сердце его смягчится при видѣ твоего счастія. Что сдѣлано, то сдѣлано, вернуть нельзя, и онъ простить насть, особенно, если къ нашимъ рукамъ, протянутымъ къ нему съ мольбою, прибавятся еще двѣ маленькия рученки.

«Два сильныхъ ханства, соединенные вмѣстѣ, будутъ первенствовать надо всѣми остальными; отъ насть будутъ зависѣты, судьбы народовъ, отъ насть исходить будутъ всѣ блага для вѣрныхъ, горе и смерть непокорнымъ. А тебѣ, святой старикъ, безразсудный упрямецъ, я воздвигну здѣсь высокую мечеть, я приведу сюда, въ мертвую пустыню, людей землевладѣльцевъ; они разроютъ пески, поднимутъ воды, разсадятъ тысячи деревьевъ, и мертвое мѣсто превратятъ въ дивную, цветущую долину, и назову я долину эту и мечеть твоимъ святымъ именемъ».

Такъ думалъ ханъ Девлетъ, повѣряя свои думы сыщучимъ барханамъ, пока сидѣлъ у колодца и ждалъ прибытія каравана желаннаго.

А солнце словно остановилось на небѣ, словно раздумало склоняться на западъ, и жгучий, пакаленный воздухъ замеръ, не колышется...

## VI.

Уже звѣзды заискрились въ небѣ, когда подошли къ колодцу «Мира и Жизни» передовые всадники и слѣзли съ своихъ взмыленныхъ, усталыхъ коней.

— Благословенъ съ миромъ Ѣдуцій! — привѣтствовалъ ихъ мнимый старикъ и всѣ подходили къ его благословенію и набожно пили изъ священой чаши.

— Благословенъ съ миромъ идущій! — привѣтствовалъ Девлетъ грознаго хана Саида, и тотъ не призналъ въ этомъ дряхломъ старцѣ своего юнаго врага и довѣрчиво приложилъ свои сухія уста къ краю сосуда.

Всѣ папились вволю, всѣ, — и воины, и слуги, и рабы, и жены ханская, и ихъ прислужницы, — только красавица Ліа и

ея Джашымъ помнили уговоръ послѣдней и не коснулись простирують къ нимъ отравленной чаши.

Не успѣли рабы и слуги развязочить верблюдовъ и разсѣдлать коней, не успѣли разставить шатры и разостлать ковры ярко-цвѣтные, какъ одолѣлъ ихъ волшебный сонъ... и, словно поле битвы, усѣянное мертвыми тѣлами, такъ усѣялись спящими окрестности колодца «Мира и Жизни».

Не слыхали они ни звонкаго ржанія коней, ни рева забытыхъ, сбившихся въ кучу верблюдовъ, ни громка о крика испуга красавицы Ліа, когда старый, сгорбленный стражъ колодца протянулъ къ ней свои объятія.

— Ліа, моя Ліа! Не бойся!.. Это я, твой Девлетъ... Обними же, поцѣлуй меня, моя радость, мое счастіе!..

— Не подходи, гадкій стариkъ! Прочь!.. — кричала, отбиваясь, Ліа. — Мой Девлетъ молодъ и статенъ. Онъ будетъ здѣсь и страшно накажетъ тебя, забывшаго стыдъ и старость.

Засмѣялся Девлетъ, отступивъ назадъ и произнесъ:

— Ты подъ лициною старости не узпала своего жениха, не узнала молодого, статнаго Девлета... Смотри, какъ исчезнетъ эта скверная личина, смотри, какъ помолодѣеть этотъ дряхлый стариkъ... Нѣсколько капель воды — и сойдутъ эти лживыя морщины, движеніе руки — и слѣтить эта сѣдая борода... Смотри!

Страшный крикъ боли и отчаянія огласилъ степь на далекое пространство. Сильная рука Девлета не могла сорвать ложную бороду, опа приросла къ его лицу... Лживыя морщины, углубились и вросли въ живое тѣло... Согнутая спина не разогнулась, слабыя, разбитыя ноги не окрѣпли вновь... Искусственная личина старости стала настоящею... Только сердце Девлета еще кипѣло молодою жизнью, билось молодыми стремлѣніями, молодою, жгучею страстью...

— Проклятый стариkъ! — захрипѣлъ Девлетъ и подняль сухіе, сжатые кулаки къ ночному, усѣяному звѣздами, небу.

П слышитъ Девлетъ, что въ сторонѣ, у самаго колодца, кто-то тихо смѣется... Смотритъ туда, а стариkъ Ходдай-Магометъ, убитый имъ вчера и зарытый въ глубокій песокъ, сидитъ снова на своемъ насиженномъ мѣстѣ и показываетъ ему рукою на востокъ, где надъ темнымъ краемъ ночного неба, въ ту минуту, вчерашняя, красная звѣзда поднималась...

Съ новымъ крикомъ проклятія кинулся на него Девлетъ, ио призракъ безплотенъ и гиѣва не боится земного... Словно утреннее марево, съ восходомъ солица, исчезъ образъ Ходдая-Магомета... и одинъ остался Девлетъ-ханъ посреди цѣлаго лагеря спящихъ сномъ трехдневнымъ.

Тогда отчаяніе овладѣло наказаннымъ, проклятымъ Богомъ убійцею, опъ бросился къ своимъ конямъ, вскочилъ въ сѣдло и понесся въ пески, безъ разбора, безъ цѣли, бросивъ поводья... Крикомъ, свистомъ и ударами плети гналь онъ безпощадно коней, и все ему чудилось, что за пимъ, прыгая, какъ сайгакъ, съ бархана на барханъ, несется призракъ старого Ходдая-Магомета, преслѣдуя его невыносимымъ, злобнымъ, насмѣшивымъ, старческимъ смѣхомъ.

## VII.

Заждались молодого хана въ Кафиршиганѣ.

Давно бы пора ему вернуться — обѣщалъ черезъ недѣлю, не больше — вторая къ концу подходитъ... Нѣть, какъ пѣть... И стража, на башняхъ высокихъ, глаза проглядѣла.

Грозенъ ханъ молодой, никому не велѣль слѣдить за собою, не сказался, куда уѣхалъ, — не знаютъ теперь, гдѣ его разыскивать надо.

И запало въ душу кафиршиганцевъ страшное сомнѣніе:

Живъ ли ихъ юный правитель? Цѣла ли его голова — кто знаетъ! Можетъ быть, давно заметаетъ песокъ его бездушисе тѣло?!

Собрались на совѣтъ всѣ старшины, аксакалы, помощники хансіе, что дѣлать — не знаютъ... Ждать терпѣливо — душа противится, мучить тоскливое сомнѣніе...

Волнуется народъ на базарной площади, и у тѣхъ правителей за своего хана любимаго отчета требуетъ...

---

Пришелъ тѣмъ временемъ, къ городскимъ воротамъ, древній стариkъ безобразнаго вида... Глаза его горятъ, какъ у помѣшаннаго, трясутся костлявые руки, тощія ноги служить отказываются... Сгорбилась спина, будто ноша тяжелая висить за плечами, гнетъ къ землѣ своею непосильною тяжестью... И дивныя рѣчи этотъ стариkъ говорить:

— Шь не узнали меня?! Хорошенько вглядитесь... Будто бы такъ ничего и не осталось отъ прежняго!.. Я—вашъ ханъ Девлеть—самимъ Богомъ наказанный. Отнять у меня возрастъ мой юный, отняты мошь и краса, но сана моего никто съ меня не снималъ. И теперь вы миѣ, какъ и прежде, подвластны. Смотрите сюда на этотъ палецъ!.. Не узнаете, что ли, печати моей властной? Зовите старшинъ, бейте въ набать, отворяйте настежь ворота дворца моего!.. Ведите меня на покой—измученного, усталаго.

Молчитъ народъ ошеломленный, слушая странныя рѣчи пришельца. А вѣсть о тѣхъ рѣчахъ, словно молния, всѣ углы Кафирицигана облетѣла.

Пришли старшины.

— Да не отъ тебя ли мы и узнать должны о нашемъ дѣйствительномъ ханѣ?! Только съ головою своею могъ онъ другому отдать свою властную печать! Не ты ли, проклятый небомъ, его окаймленный убійца?

Зародилось чуть это подозрѣніе, а уже народныя толпы отъ гиѣва дрогнули,—и ропотъ глухой прокатился грозно подъ базарными сводами:

— Къ допросу! На судъ! На пытку!

— Ханъ нашъ на копяхъ вороныхъ выѣхалъ, говорятъ; что же ты пѣшій вернулся?..

— Коши отъ устали пали... Тамъ — далеко, въ песчаной пустынѣ, съ сѣдлами, со сбруею всею валяются...

Поскакали гонцы—назадъ вернулись, говорятъ:

— Вѣрно! Нашли палыхъ коней, вотъ, и сбрую всю въ цѣлости привезли драгоцѣнную.

Окружили старика вооруженною стражею... Рвется народъ въ слѣпой злобѣ, ножи заблистали въ рукахъ... Дѣти малыя и тѣ взялись за камни... Насилу справляются старшины, говорятъ.

— Погодите!.. Съ казнью поспѣемъ. Прежде въ чемъ дѣло выпытаемъ. Если не самъ онъ убійца, — такъ посланъ ими... Если безумiemъ одержимъ, — такъ откуда же кони ханскіе, откуда у него печать властная?..

Повели старика и заперли въ башнѣ. А тотъ бѣснуется, брапитъ всѣхъ, обзываютъ словами позорными и всѣхъ казнить собирается.

Безумный старикъ! Самъ себѣ страшную участь готовить...

Только мрачныя стѣны тюремной башни видѣли, что тамъ въ эту ночь творилось... Какія мученія переносило это дряхлое тѣло... Къ утру изнемогли усталые палачи...

Не добились сознанія.

Очерствѣли сердца судей—убѣжденіе въ гибели хана утвердились—приговоръ къ смертной казни составили. Полоумнаго на площадь передъ народомъ вывели и на лобное мѣсто поставили...

Всю ночь молилъ ханъ Девлетъ злополучный о смерти и прощепіи, перенося неслыханныя страданія—и зналъ, что никакія рабы ни на шагъ не приблизять его къ желанной, радостной смерти...

Весь покрытый кровью, избитый, истерзанный предсталъ онъ передъ своимъ когда-то покорнымъ народомъ — и самъ покорно склонилъ подъ топоръ палача свою державную голову...

Взмахнуло высоко кривое желѣзо, блеснуло всѣмъ въ очи на солнце—и опустилось съ глухимъ ударомъ...

Клялся палачъ, что не выдало желѣзо,—насквозь прошло шею казненнаго и глубоко въ плаху врѣзалось...

Поднялся на ноги невредимо старикъ, и народныя волны отхлынули въ ужасъ, творя молитвы и заклинанія, а старый Казы повелѣль:

— Оставьте его... Онъ проклять!.. Не глядите на него, не прикасайтесь!.. Самъ дьяволъ постыдилъ насть въ образѣ этого старца, а противъ злого духа, кромѣ молитвы, ничто не властно...

И стала съ того утра, какъ зачумленный, бродить по городу несчастный ихъ ханъ; всѣ бѣжали при его приближеніи и по домамъ прятались... Безъ приюта, безъ состраданія, какъ тѣнь двигался Девлетъ по опустѣлымъ улицамъ и, громко рыдая, валился въ пыли передъ узорными воротами своего дворца, передъ высокими стѣнами его тѣнистыхъ садовъ, гдѣ весело били, играя, фонтаны, гдѣ слышался плескъ воды и радостные игры звѣздъ его гарема.

И многое узналъ, многое увидаль властитель того, что въ другомъ положеніи осталось бы для него скрытымъ, невѣдомымъ.

Черныя души его любимцевъ, кому онъ довѣрялъ прежде, не требуя отчета, раскрылись передъ его глазами во всей своей наготѣ. Онь видѣлъ, какъ мало-по-малу сглаживалась о немъ добрая память, какъ забывались всѣ его ласки и милости — ярко выступала только одна черная неблагодарность.

Уже теперь никто не сомнѣвался въ гибели хана Девлета — корысть всѣхъ обуяла и ослѣтила. Когда-то безупречно честные и преданные слуги ханскіе дрались и ссорились за его наслѣдство.

Новаго хана выбирать не спѣшили... Зачѣмъ! Никто не грозилъ войною Кафирнигану, ни откуда бѣды не предвидѣлось... Незаконные правители по своимъ домамъ спѣшили расстакивать добро ханское, воиновъ деньгами и подарками задаривали, чтобы смиро сидѣли — не мѣшали. Ханскихъ женъ-красавицъ межъ собою дѣлили.

— Нѣтъ, въ пустыню бѣжать!.. Дальше отсюда, въ мертвые, супучие пески!.. Лучше, если глаза мои ничего этого не будутъ видѣть... Легче — если и голосъ человѣческій не будетъ достигать моего слуха!.. Будьте вы прокляты всѣ, какъ я проклять Всемогущимъ Аллахомъ!..

Такъ рѣшилъ ханъ Девлетъ злополучный и побрѣль отъ городскихъ стѣнъ далеко въ пустыню...

### VIII.

Долго шелъ онъ, томимый жаждою, подъ палящимъ зноемъ, и тайная сила вела его къ колодцу «Мира и Жизни».

— Гдѣ же онъ, этотъ колодецъ? Гдѣ ты, мѣсто преступлений?

— Здѣсь! — отвѣтилъ незримый таинственный голосъ.

Высокіе супучие барханы кругомъ, не видать закоптѣлаго верха кибитки — жилища святого старца; пигдѣ не черпѣть благодатное отверстіе — хранилище священной влаги.

— Здѣсь, подъ этими мертвыми, глубокими песками! — все шепчетъ невидимый голосъ.

И чудится Девлету, что голосъ этотъ знакомый... Отрадою и покоемъ вливаются звуки въ его наболѣвшую душу. Его воспаленные глаза оживились первою слезою... Лучъ надежды на прощеніе блеснулъ гдѣ-то далеко-далеко, — слабо, какъ пер-

вая звѣздочка на потухающемъ небѣ въ минуту заката солнечнаго...

— Аллахъ! Ты пе можешь карать безъ конца! Ты милосердъ—и въ Твоемъ всеобъемлющемъ сердцѣ нѣтъ мѣста упорному мщенію! Помилуй меня, помилуй!.. Великій я грѣхъ совершилъ!.. Нѣтъ названія, нѣтъ мѣры моему злодѣянію... Безмѣрно жестоко и наказаніе, Тобою ниспосланное... Ліа моя, невинная, чистая Ліа! Заступись за меня передъ Богомъ! Ты свѣтлый ангель теперь!.. Ты простила!.. Проси Всевышняго о моей смерти и вѣчномъ покой... Проси прекратить мои непосильныя страданія!..

Такъ молился Девлетъ, поднимая къ небу свои тощія руки, оглашая пустыню стонами и рыданіемъ...

И видѣть онъ, будто на гребнѣ высокаго бархана свѣтлымъ облачкомъ мелькнула легкая тѣнь.

Мало-по-малу это облачко приняло чудную форму. Свѣтозарное лицо—образъ Ліи—ясно предстало предъ глазами молящагося, и чудный голосъ, голосъ неба—снова прозвенѣль въ жаркомъ воздухѣ.

— Я жажду... Напой меня... Дай мнѣ чашу съ водою...

Легкое видѣніе будто съ мольбою протянуло къ нему свои воздушныя руки...

— Здѣсь нѣтъ воды...—поникнулъ головою Девлетъ.

— Она была...

— О, не кори меня—ты... Не упрекай, не добавляй чаши моихъ страданій, она уже и такъ переполнена!..

— Тогда ты напоилъ всѣхъ... Меня лишь обошелъ чашею... Повторяю опять:—я жажду, утоли мою жажду, и Аллахъ пошлетъ тебѣ спасеніе.

— Гдѣ я возьму воды... О, я несчастный!..

— Тамъ, подъ глубокими песками... Разрой ихъ, очисти святой колодезь, добудь благодатную влагу... Этотъ подвигъ повелѣваетъ тебѣ свершить Аллахъ...

— Гдѣ силы на такое дѣло, гдѣ людей я возьму, гдѣ время?..

— Руками разрой... одинъ.

— Это выше силъ смертнаго...

— Ты бессмертенъ.

Снова укоръ... Новое безпощадное напоминаніе!..

— Повинуюсь!—пропшепталъ Девлетъ и опустился на ко-

льна; глубоко вонзились въ песокъ его костлявыя руки... Затуманили слезы глаза и затянуло все этимъ туманомъ...

Исчезъ образъ Лі... Только, словно перезвонъ замирающихъ вдали колокольчиковъ каравана дошелось:

— «Вѣра и любовь горами двигаютъ»...

Рыль Девлетъ, рыль... Безъ устали, не глядя по сторонамъ... Сухой, горячий песокъ осыпался, вновь заполняя вырытое... Слышишь—кто-то тихопѣко смѣется—тоже голосъ будто знакомый... Вздрогнуть ханъ—взглянулъ и обдало его предсмертнымъ холодомъ.

Сидѣть на гребнѣ бархана убитый Ходдай-Магометъ, чепрѣ расколотъ на-двоє,—кровь и мозги текутъ по лицу... Сидѣть страшный призракъ и хохочетъ, глядя въ упоръ на Девлета.

— Рой, безумецъ, рой!.. Глумится надъ тобою святое про-видѣніе—копайся, какъ червь—жалкая жертва глумленія... Несчастный! Ты и повѣрилъ голосу съ неба!.. Нѣтъ, это темныя силы пустыни издѣваются надъ тобою... Рой!.. Что же ты остановился?.. Смотри—не зѣвай... Вонъ отъ твоей работы скоро и слѣда не останется... Рой! Копайся! Что же ты медлишь?..

— Сгинь, искушитель!..—простональ ханъ Девлетъ.

— Смотри, вонъ яма твоя съ краями уже сравнялась... Смотри, вонъ новые пески со всѣхъ сторонъ надвигаются... Не плошай... Не теряй напрасно времени...

Хохочетъ призракъ на гребнѣ бархана, и далеко по степи этотъ адскій хохотъ разносится, пугая сайгачью стаю... А ночь наступаетъ... Спустилось багровое солнце и жаромъ удушливымъ пыщутъ раскаленные за день барханы.

Сомнѣніе закралось въ душу искушаемаго... Охваченный этимъ сомнѣніемъ Девлетъ оставилъ свою работу...

Грозно поднялъ онъ голову къ небу, на изсохшемъ языкѣ заиграло, было, богохульное слово...

— Я жажду... Я страдаю, Девлетъ... Вѣра и любовь горами двигаютъ...

— Кто сказалъ?.. Кто?.. Опять... О, спаси меня ты, мой небесный покровитель!..

Всю ночь рыль, безъ остановки, опомнившись ханъ; всю ночь голосъ дьявола рвался ему въ уши, силясь и въ сердце проникнуть...

Къ разсвѣту уже по поясъ стоялъ онъ въ вырытой ямѣ...

Повѣяло прохладою, признакомъ близкаго утра; сонъ сталь смыкатъ очи несчастнаго; иѣть силъ противиться сну...

Поднялось солнце, пезримое въ тяжелыхъ тучахъ, вѣстникахъ урагана; свистъ и вой понеслись по степи. Закурились вершины бархановъ, двинулись съ мѣста горы песчаныя... Закружило, замело... и въ ревѣ бури ясно слышался голосъ искусителя...

Очнулся Девлетъ—и слѣда нѣть отъ его работы. На эти горы—новыя горы намело... Въ мутномъ удушливомъ воздухѣ слышенъ удаляющійся гулъ урагана, а съ нимъ и торжествующій голосъ сатаны:

— Гдѣ же твои небесныя силы!.. Вѣдь бури земная имъ также подвластны!.. Что же... Поройся еще, несчастный!.. Что же ты сталь?.. Теперь уже немного осталось!..

— Я жажду... Я страдаю, Девлетъ! Вѣра и любовь горами двигаютъ...—чуть послышалось снова.

И снова подогнулись колѣна злополучнаго хана, снова его костлявыя руки врѣзались въ сыпучій песокъ...

Вдругъ кто-то тронулъ его за плечо.

Ходдай-Магометъ стоитъ, склонившись надъ нимъ,—но этотъ не тотъ, что сидѣлъ и смѣялся тамъ, на гребнѣ бархана,—этотъ смотрѣтъ на него съ любовью, спокойно и величаво, какъ тогда, когда подносилъ путникамъ святую чашу. Говорить ему Ходдай:

— Ты не понялъ, сынъ мой, воли небесъ... Не этими жалкими «своими руками» ты долженъ свершить великий подвигъ... Я простиль тебѣ давно, сынъ мой заблудшійся—и давно предстою за тебя передъ лицемъ самого Бога, отъ него и посланъ теперь разъяснить тебѣ, темному, Его святую волю. Иди отсюда,—иди, гдѣ больше нарѣду—проповѣдуй по городамъ и селеніямъ истины вѣры, покайся во всемъ... По грошамъ собирая жертвы, склоняй народъ именемъ Божіимъ, тронь ихъ сердца и во главѣ несмѣтныхъ толпъ работниковъ-богомольцевъ—съ кимтенями и лопатами возвращайся сюда и начинай работу очистки... Великий подвигъ свершишь, тогда искупишь вину свою и заслужишь полное помилованіе... Иди отсюда—съ миромъ!

Повѣриль Девлетъ и пошелъ... Долго ли шелъ, не помнилъ,—слышитъ глухое жалобное рыданіе...

Боже, это голосъ Ліи!.. Это она плачетъ... И слышатся слова сквозь слезы:

— Гдѣ твоя вѣра, гдѣ любовь??. Только онъ горами двигаютъ...

Прояснилось въ головѣ хана Девлета... Ясно ему стало ко-варство искусителя... Быстро вернулся онъ на мѣсто покинутой работы...

— Что же ты, маловѣрный?—снова предсталъ передъ пимъ Ходдай-Магометъ...

— Сгинь, сатана! Сгинь, проклятый призракъ... Зафѣмъ ты принялъ личину святого старца... Сгинь!.. «Вѣра и любовь горами двигаютъ».

И слышитъ Девлетъ, какъ окрѣпъ его голосъ, какимъ громомъ прогремѣлъ онъ въ пустынѣ, съ мощною силою забилось сердце—и едва только руки его коснулись песка, какъ самъ песокъ побѣжалъ прочь, расползлся во всѣ стороны, словно въ бездонную пропасть уходилъ внизъ, въ глубину, и свѣтлая, серебристая, холодная струя рванулась ему навстрѣчу, брызнула ему прямо въ лицо живымъ потокомъ побѣжала по склону бархана... Поверхность воды, словно зеркало отразило синее небо, отразило и лицо его, хана Девлета, лицо прежнее, молодое, полное красоты и жизни... Нѣжныя руки обвили ему шею...

— Прощенъ, прощенъ!—вскрикнулъ онъ, охваченный порывомъ неземного счастья.

«Прощенъ!» повторилъ около него голосъ Сида-Ширъ-Али, грознаго хана Мозашерифа.

Очнулся Девлетъ... Видѣть знакомое мѣсто... Многолюдный караванъ кругомъ, роскошные шатры разбиты... Самъ онъ лежитъ на дорожномъ коврѣ, въ тѣни шелковаго павѣса, около него его красавица Ліа, окруженная прислужницами. Ханъ Сайдъ сидитъ тутъ же и ласково смотрѣть па него, жениха своей любимицы-дочери... А святой старикъ, Ходдай-Магометъ, протягиваетъ ему чашу съ водою и говорить тихо... такъ тихо, что только одинъ Девлетъ его слышать можетъ:

— Я провѣдалъ твой замыселъ... Я напоилъ тебя твоимъ же питьемъ раньше, чѣмъ ты могъ исполнить свой черный замыселъ. Во время сна твоего я смягчила сердце хана Сида. Будь счастливъ—и помни твой страшный сонъ—этотъ сонъ тебѣ

многому научить... Живи и царствуй во имя «вѣры и любви», — на счастіе твоему народу...

— Святой отецъ!.. — прошепталъ въ отвѣтъ ханъ Девлетъ и поцѣловалъ полу рубища Ходдая-Магомета, отеревъ ею свои очи, полныя слезъ умиленія и счастья.

Такое событіе случилось на колодцѣ «Мира и Жизни», нынѣ названномъ колодцемъ «Любви и Вѣры».

Записано со словъ хранителя гробницы Термеза — на Аму-Дарьѣ въ Келифскомъ бекствѣ.

### Литавры Магомета Тузая.

Урда \*) ликовала, когда молодой ханъ Азреть впервые вступилъ на тронъ Тимуридовъ. Его сверстникъ, такой же юный Магометъ-Тузай, любимый музыкантъ ханскій, грянулъ на своихъ золоченыхъ литаврахъ торжественную пѣснь славы и радости.

До глубокой старости жилъ ханъ Азреть; состарился и Магометъ-Тузай, всюду сопровождавшій, во главѣ дворцоваго хора, своего повелителя и друга.

Гремѣли золотыя литавры и славу побѣды надъ врагами, и ликованіе торжествующихъ побѣдителей, и тихія радости любви и мира, и плачъ о погибшихъ герояхъ, сложившихъ на полѣ браини свои головы.

Умеръ ханъ Азреть, и на его погребеніи, въ послѣдній разъ, скорбно прогудѣли литавры Магомета, вызвавъ обильныя слезы народа.

Взошелъ на престолъ новый ханъ, нелюбимый, своенравный и кичливый Дауръ, и спросилъ:

— Почему передъ хоромъ моимъ не вижу я этой старой собаки, почему не слышу литавръ? Однѣ трубы да флейты, воють, будто голодные волки въ пустынѣ!

Вышелъ изъ толпы Магометъ, говорить:

— Повелитель! не могу я извлечь изъ моего инструмента веселый бой ликованья, когда въ немъ не замерли еще звуки великой, неутолимой печали, по истинно-великомъ, незабвенномъ правителѣ.

\*) Урда — дворцовая цитадель.

Разгневался хань Дауръ, приказалъ сорвать со старика одежды и на его обнаженной спинѣ выбить веселую дробь съ перекатами. Хотѣлъ еще смерти предать, да народъ на колѣнахъ умолилъ,—и отпустилъ хань старого литавриста съ позоромъ.

Нехорошо царствовалъ новый хань: судилъ не прямо, а криво, разорялъ города, казнилъ невинныхъ... Базары пустѣли, народъ разбѣгался, когда только завидитъ ханскихъ приспѣшниковъ... Застоналъ забитый народъ, зазнались враги приниженного обездоленного царства...

Двадцать томительныхъ лѣтъ прошли своею чередою. Пришли изъ Святой земли, гдѣ кости святого пророка покоятся, негѣдомые люди, хаджи-богомольцы, принесли въ даръ хану Дауру роскошный новый литавры, говорить:

— Умеръ старый Магометъ-Тузай въ Меккѣ, приказалъ, носль смерти своей, содрать со спины его кожу и натянуть ею литавры. Можетъ - быть, звуки ихъ напомнятъ тебѣ твою несправедливость и злобу.

Поникъ головою смущенный деспотъ, съ миромъ отпустилъ посланниковъ, заперся въ своемъ дворцѣ и долго думалъ великую думу.

Затѣмъ приказалъ отнести литавры на высокій курганъ, за городомъ, поставить ихъ тамъ, на самой вершинѣ, а надъ ними соорудить мазаръ съ куполомъ и священный бунчукъ Азрета покойнаго надъ входомъ мазара поставить.

Сталь ханъ народомъ править, какъ слѣдуетъ, унялось его сердце злобное, смирились враги, отдохнуль народъ... А все-жъ-таки Даура, словно тяжелое, загробное проклятие, тяготить за-вѣщаніе Магомета-Тузая,—все нѣть ему ни покоя, ни радости.

Пошелъ ханъ Дауръ за городъ, поднялся на курганъ, оставилъ богатую свиту внизу, а самъ смиренно вошелъ подъ сводъ священнаго мазара.

И свершилося чудо.

Едва только ханъ склонилъ на порогъ колѣна, какъ сами собою засиграла литавры Магомета-Тузая. Звукъ побѣды, звукъ торжества любви надъ злобою раздался подъ сводомъ, далеко разнесся во всѣ стороны, и бунчукъ покойнаго Азрета самъ собою преклонился передъ раскаявшимся, просвѣтленнымъ властителемъ.

## Свѣтъ во мракѣ.

Въ жаркій день, посреди зеленаго луга, лопнула цвѣточная почка и пышно развернулась звѣздочка маргаритки.

Будто огненная искра засверкала она на солнцѣ, словно споря съ его могучими лучами.

Много маргаритокъ расло на этомъ лугу; — каждый день вспыхивали ихъ звѣздочки, каждый день блѣли они и опадали на землю мертвыми лепестками... и никто бы не замѣтилъ ново-распустившагося цвѣтка, если бы не его чудный, ярко-розовый цвѣтъ, не его особенная, чарующая красота.

И все вокругъ всполошилось и заговорило,—все встрепенулось, охваченное восторгомъ, все спѣшило весело и радостно привѣтствовать новорожденную, все стремилось высказать ей свою любовь, преданность и восхищеніе.

Даже гордый солнечный лучъ — и тотъ замедлилъ въ своеи вѣчномъ движеніи и долго-долго любовался раскрытымъ вѣнчикомъ юной маргаритки, пока та не покраснѣла еще болѣе отъ скромности и смущенія, и па ея бархатномъ донышкѣ засверкала алмазомъ сладкая медовая слезинка.

Слава о необыкновенной красотѣ маргаритки быстро облетѣла вселенную.

Она далеко распространилась за предѣлы зеленаго луга, перенеслась черезъ шумный горный потокъ, поднялась на предгорья, проникла глубоко въ темную, ароматную чащу лѣсовъ, прогремѣла звонкою трелью въ золотистыхъ поляхъ хлѣба, заглянула и въ навозныя трущобы деревенскихъ задворковъ... Словомъ—она облетѣла весь міръ,—и отовсюду потянулись полчища новыхъ и новыхъ поклонниковъ маргаритки, искателей руки молодой красавицы.

Первыми прилегѣли легкіе мотыльки и ярко-крылые бабочки, черные, сердитые шмели и шерши въ расшищихъ золотомъ, бархатныхъ костюмахъ, а за ними прискакали свѣтлозеленые и серебристые кузниччики въ блестящихъ атласныхъ костюмахъ, ловкие и смѣлые скакуны, талантливые музыканты, затѣмъ, опоздавъ немногого, приползли жуки—круглые и длинные, усатые и безусые, рогатые и безрогіе, въ крѣпкихъ боевыхъ латахъ и панцыряхъ, сверкавшихъ на солнцѣ всѣми оттенками радуги.

Всѣ наперерывъ другъ передъ другомъ выхвалялись передъ маргариткою своими преимуществами, устраивая по цѣлымъ днямъ состязанія въ умѣ, красотѣ, ловкости и силѣ... и не разъ уже опасный, запальчивый турниръ состязателей обагрялъ кровью мирную почву зеленаго луга.

Одни несли къ ея ногамъ громкую военную славу, другіе золото и перлы своихъ костюмовъ, треты хвалились связями и близостью къ человѣку, а потому нѣкоторою властью и вліяніемъ,—все отвергала наша юная маргаритка, и не потому, чтобы стала ужъ очень горда, избалованная ухаживаніями даже самого луча солнца, нѣтъ—другое обстоятельство смущило покой юной головки, съ первого же вечера ея рожденія заставило продумать, тоскуя всю длинную, темную ночь—и радостно встрепенуться только съ новымъ восходомъ деннаго свѣтила.

«Да, это было вчера, думала маргаритка. Веселый день, первый день моей жизни, догаралъ... Солнце спускалось все ниже. Вотъ, только половина его видна за темными горами, вотъ оно и совсѣмъ скрылось... Какой тяжелый, несносный мракъ воцарился кругомъ, все исчезло въ этомъ мракѣ...» Все, что она видѣла вокругъ себя, все, чѣмъ только любовалась она въ теченіе дня... Значить, и ея не видать никому, и ею уже никто не любуется... Мракъ—могила красоты, неужели же этотъ мракъ безконеченъ?!

Такъ думала и грустила маргаритка... Она, вѣдь, еще ничему не училась, и потому не знала, что ночь пройдетъ, что нова поднимется солнце и снова оживить и освѣтить весь ліръ своими лучами.

Какъ она обрадовалась, какимъ живымъ румянцемъ вспыхнули ея поблѣдшіе отъ безсонной ночи лепестки... Горе прошло, но все-таки ее смущалъ страхъ приближенія новой ночи, новаго злого мрака...

Приѣшила маргаритка такъ:—«Всѣ они хващаются своею силою, красотою, властью и богатствомъ, всѣ они готовы исполнить малѣйшее мое желаніе—пусть же суженый мой будетъ тотъ, кто принесетъ мнѣ свѣтъ во мракѣ!»

---

Едва только трубы комаровъ-герольдовъ протрубили волю юной царицы зеленаго луга,—какъ всѣ соискатели съ петер-

пѣніемъ стали ждать ночи, чтобы отправиться на подвигъ отысканія свѣта.

Ночь наступила, грозная ночь,—и обагренное небо заката затянулось черною тучею. Порывисто загудѣль, завыль въ горныхъ ущельяхъ вѣтеръ, глухой ропотъ пронесся по встревоженному лѣсу, сердито забурлилъ горный потокъ, словно сказочный богатырь, ворочая тяжелые камни,—и дрогнуло, попрятавшись въ норы, все живое; многіе изъ нашихъ рыцарей струсили и отложили свои поиски до болѣе благопріятшаго случая. Но, однако, нашлось не мало и такихъ смѣльчаковъ, которые, съ вѣрою и любовью въ безстрашномъ сердцѣ, смѣло ринулись на доблестный подвигъ.

На удачу, рискуя наткнуться на неожиданную опасность, подхваченные порывами вѣтра, несутся во тьмѣ крылатые искатели свѣта...

— Вотъ оно!..—крикнули разомъ сотни голосовъ.

Ослѣпительнымъ зеленымъ блескомъ прорѣзала молнія тяжелую тучу, освѣтивъ на мгновеніе и волнующіеся лѣса, и бурную пѣну потока, и дальняя горы, и косматыя кровли человѣческихъ жилищъ, прихотливымъ зигзагомъ пронеслась полъ-неба и треснула прямо въ высокій куполь сторожевой башни.

— Вотъ оно!—повторили свой побѣдоносный крикъ мотыльки и мошки, жучки и бабочки.—Лови, хватай!

Грянулъ громъ по горамъ безконечными перекатами; скоро все погрузилось въ непроницаемый мракъ, только на томъ мѣстѣ, где стояла пораженная башня, взвился красный столбъ пожарного пламени и повалили густые клубы раскаленнаго дыма.

— Туда! туда!—ринулись на новый свѣтъ мотыльки и мошки, жучки и бабочки.—Лови, хватай! То ушло—это за то нашихъ рукъ не минеть!

Цѣлыя туки крылатыхъ, стремительно вылетая изъ мрака, неслись на красное зарево пожарища, задыхались въ дыму, гибнули въ пламени; заднія, не зная участіи переднихъ, смѣяли своими головами головы падшихъ.

Все летѣло впередъ и впередъ, охваченное одною мыслью: «къ свѣту, къ свѣту!..».

Страшный ливень быстро загасилъ пожаръ. Потухъ опасный свѣтъ, опомнились уцѣлѣвшіе бойцы.

— Нѣть,—рѣшили они:—это уже слишкомъ велико—не по силамъ! Надо искать, что поудобнѣе.

Тихо мерцаеть вдали огненная точка. Тамъ, за толстую книгою сидить, склонившись на руку, сѣдобородый ученый, проникая умомъ въ глубоко скрытые тайны мірозданія; тускло мерцаеть его нагорѣвшая лампада...

— Вотъ это будетъ наше!—про-себя смекнулъ жукъ-рогачъ.—Хвачу-ка я, пока другіе не замѣтили... Только бы приловчиться, да налетѣть съ размаха...

Разлетѣлся рогачъ-панцѣрникъ... Бацъ!.. и замертво повалился на землю, хватившись о пезирное оконное стекло.

— Сразу два!—обрадовался мотылекъ, замѣтивъ золотистые огоньки въ чашѣ вѣтви, въ самомъ дуплѣ столѣтняго дуба.—Ай, больно!.. помогите!

Бѣдняга попался въ раскрытый клювъ совы, соблазнившись ея, свѣтящимися во мракѣ, хищными глазами.

— Здѣсь, здѣсь!—засуетились бабочки и мошки... Но увы! то сквозь прорванная тучи заискрились яркія звѣздочки. Далеко больно!.. Не долетишь и во вѣки!

А тѣмъ временемъ стихла буря; на востокѣ протянулась золотая полоска утренней зари, разгоняя мракъ... Встрепенулась освѣженная ночью грозою природа и, глубоко вздохнувъ полною грудью, стала просыпаться повсюду:—и въ горахъ, и въ долинахъ, и въ поляхъ, и въ жильяхъ человѣческихъ...

Румянцемъ загорѣлись вершины горъ. Жидкое золото полилось по небу, а въ этомъ золотѣ, гоня передъ собою легкую дымку утренняго тумана, появилось лучезарное солнце.

Поиски за «свѣтомъ во мракѣ» прекратились до слѣдующей ночи.

---

Насталъ новый день, а съ пимъ явились и новые поклонники красавицы-маргаритки.

Снова живые, веселые хоры крылатыхъ залетали вокругъ ея вѣнчика, снова толпы безкрылыхъ заползали у ея корней, жадно глядываясь вверхъ, завидуя крылатымъ счастливцамъ. И видять всѣ, что между этими послѣдними нежданно-вегаданно появился маленький, невзрачный на видъ, сѣренецкій не то жучекъ, не то червячекъ, маленький, слабенький, еле-еле ползающій.

— Ты куда это, замарашка?!—закричали на него со всѣхъ сторонъ.

— А туда же, куда и вы,—отозвался незнакомецъ и тихо исползъ къ гибкому стебельку маргаритки.

Проползъ, не Богъ вѣсть сколько, а ужъ усталъ, и прикурнуль на отдыхъ подъ однимъ изъ ея листочковъ.

Засмѣялись наскомыя, стали надъ бѣднымъ путникомъ подтрунивать, стали задѣвать его разными злыми шутками, а то и щипками...

— Не трогайте его, оставьте!—вмѣшался тутъ въ дѣло старый паукъ-крестовикъ, выглянувъ изъ норки.—Подождите ночи! То, за чѣмъ вы гонитесь, чего такъ жадно ищите, то онъ имѣеть въ себѣ самомъ.

— Какъ? у него «свѣтъ во мракѣ»?!—удивились тѣ, кто слышалъ слова старого паука.—Ну-ка, покажи, замарашка!

Стали ждать ночи, съ нетерпѣнiemъ уже поглядывая на пришельца. Даже маргаритка склонила свою головку и наблюдала некрасиваго гостя.

Дождались, наконецъ.

Едва только погасли послѣдніе отблески закатившагося солнца, какъ ожиль, отдохнулъ сѣрый червячекъ.

Голубымъ, свѣтлымъ ореоломъ окружилось его слабое тѣлыше. Серебристый свѣтъ этого ореола достичь и до вѣнчика маргаритки, и еще краше, еще очаровательнѣе показалась она всѣмъ, залитая фосфорическимъ свѣтомъ пришельца.

— Ты—мой суженый!—пролепетала маргаритка и склонила къ жучку-свѣтлячку свою головку.

Женихъ былъ скроменъ и молчалъ, только блескъ его ореола все разгорался и разгорался, освѣща теперь не только розовую звѣздочку невѣсты, но даже далеко кругомъ, вершка, по крайней мѣрѣ, на три, вплоть до самой ромашки и полуотрапаниаго одуванчика.

Всю ночь, до самаго разсвѣта гремѣлъ свадебный пиръ.

Чудный, музыкальный хоръ оглашалъ цвѣтущи луга на громаднѣе разстояніе. Всѣ крылатые артисты собрались на призывъ великаго капельмейстера, «Кузинчика-музыканта».

Тутъ были и сверчки-скрипачи, и осы-фаготы, и пчелы-виолончели, и шмели-контрабасы и комары-трубачи-флейтисты.

Цвѣточный золотистый медъ лился рѣкою. Ночное небо го-

рѣло дивной иллюминаціей—только луны не было: эта, самая главная освѣтительница ночей, какъ разъ въ это время, гдѣ-то отсутствовала, вѣроятно по своимъ служебнымъ обязанностямъ.

Ночные бабочки, надушенныя даже до неприличія, шпанскія, зеленыя мухи, составили веселый хороводъ и кружились въ воздухѣ неутомимо. Черви и улитки, на что уже—до танцевъ непригодные, и тѣ вытягивали головки,—мотали ими изъ стороны въ сторону, дѣлая видъ, что тоже участвуютъ въ общихъ танцахъ.

А старики—жуки-рогачи и мохнатые пауки, сидя поодаль, гдѣ потемнѣе, шептались между собою, вспоминая былое и соглашаясь на одномъ:—что давно уже, на этихъ лугахъ, сколько не попомнятъ, не было такой веселой ночи.

---

Но далеко не всѣ настѣкомыя узнали о томъ, кто остался побѣдителемъ и избраникомъ красавицы-маргаритки. Много лѣтъ прошло, а поиски за «свѣтомъ во мракѣ», переходя изъ рода въ родъ, до сихъ поръ еще занимаютъ крылатыхъ героевъ этой сказки, и только лишь вспыхнетъ гдѣ-нибудь огонекъ ночью, какъ тотчасъ же мириады мошекъ мушекъ, жучковъ и мотыльковъ несутся на пламя и гибнутъ въ немъ, въ тщетныхъ попыткахъ урвать хотя бы капельку этого жгучаго свѣта, дабы исполнить прихоть легендарной красавицы.





СЪ ВЕРХОВЬЕВЪ ВОЛГИ НА ИСТОКИ НИЛА.

(Путевые впечатления журавля).



## I.

Богъ наградилъ меня очень хорошею памятью. Я помню себѣ и все, что меня окружало, почти съ первого дня моего рожденія, — и теперь хочу подѣлиться съ вами, долгonoсые, коротконосые друзья мои, кое-чѣмъ изъ моихъ воспоминаній.

Насъ въ семье, кромѣ отца и матери, было двое. Въ благородныхъ журавлиныхъ семьяхъ иначе и не бываетъ. Я и моя сестра—родились въ одинъ часъ, и я даже очень хорошо помню осколки скорлупы зеленоватыхъ, испещренныхъ коричневыми пятнышками яицъ, валявшіяся, до поры-до-времени, на днѣ нашего гнѣзда-логовища.

Когда я впервые проглянуль на свѣтъ, я былъ очень озадаченъ всѣмъ, что видѣль передъ собою и ровно ничего не понималъ изъ всего видѣннаго, но скоро — и личный опытъ, и мудрые советы родителей заставили меня понимать все окружающее, какъ слѣдуетъ всякой порядочной штицѣ, занимающей въ нашемъ царствѣ пернатыхъ одно изъ очень видныхъ мѣсть, особенно, если стоишь во весь ростъ, да при томъ еще на пухлой, болотной кочкѣ.

Часъ нашего появленія на свѣтъ Божій былъ ранній, утренній. Солнце еще не всходило, но уже золотистый отблескъ озарялъ густой, ночной туманъ, сплошною пеленою стлавшійся надъ топкимъ болотомъ, окраину которого заселяло десятка два сродственныхъ намъ журавлиныхъ семей.

Общая картина мѣстности сначала показалась мнѣ не очень-то приглядною, да къ тому-же я чувствовалъ пренепріятный, рѣзкій холодъ, и, попеволь, пожалѣль о своей прежней, тепленькой, хотя уже черезчуръ тѣсной и темной квартиркѣ, свѣжіе осколки которой, еще мокрые, валялись подъ нашими слабыми ножками.

Я видѣлъ только ближайшія мохнатыя кочки, нѣсколько жиidenькихъ кустовъ лозняка, кое-гдѣ въ туманѣ свѣтилась вода—и больше ничего... Только надъ головою, очень ужъ высоко, разбѣгались вѣромъ красивыя, золотыя, поддумяненные снизу, легкія облака и тамъ, какъ мнѣ казалось, именно въ этихъ облакахъ, весело чирикали и посвистывали маленькия, незнакомыя птички.

Но очень скоро показалось солнце, стало замѣтно теплѣе, и весь туманъ почти разомъ поднялся и безъ слѣда разсѣялся въ согрѣтомъ воздухѣ. Тогда я просто пискнулъ во все горло отъ восторга, отъ какого-то небывалаго, неиспытаннаго еще чувства восхищенія... Такъ хорошо, такъ величественно, такъ ново было то, что развернулось передъ моими глазами.

Это была чудная, сливающаяся во всѣ стороны съ горизонтомъ, равнина, усеянная кочками всевозможныхъ размѣровъ... и какими кочками! То покрытыми свѣжими, зелеными побѣгами камыша и осоки, то спрятившимися подъ бурымъ и красноватымъ, бархатистымъ мохомъ, то, какъ кружевами, оплетенный причудливыми, ползучими растеніями, усеянными голубыми, бѣлыми и желтыми цвѣтками. Мѣстами сверкали тошкія струйки воды, но мѣстами, словно зеркало въ узорныхъ рамахъ, стояли цѣлыя озера, особенно одно, довольно далеко впрочемъ отъ нашего гнѣзда, было такъ громадно, что я, какъ ни щурился, не могъ разглядѣть противоположнаго берега.

По небу теперь уже плавно плыли большія бѣлые облака, и въ озерѣ эти облака также плыли, также сливаясь одно съ другимъ, также мѣняя свои причудливыя, округленныя формы. Въ воздухѣ, и въ одиночку, и по-парно, и цѣлыми крикливыми стаями летали разныя птицы—и въ озерѣ тоже... казалось даже, что рѣзкіе крики этихъ птицъ одинаково повторялись ихъ отраженіями.

Отца не было дома; онъ уже улетѣлъ спозаранку, какъ я послѣ узналъ, на охоту, но мамаша была съ нами и заботливымъ клювомъ почистила нашъ желтенький пушекъ и даже расправила поочередно наши еще безперья, крохотныя крыльца, годившіяся пока намъ развѣ только для того, чтобы выражать свой восторгъ передъ этими истинными чудесами невиданной природы.

— Однако довольно вамъ зѣвать по сторонамъ!—обрати-

лась она къ намъ.—Теперь вѣдь вы, мои милые карапузы, не въ яичныхъ колыбелькахъ, у васъ нѣть готоваго провіанта подъ носомъ и надо самимъ заботиться чѣмъ-бы набить ваши прожорливые дудки.

Едва только она заговорила о съѣстномъ, какъ я почувствовалъ необыкновенный аппетитъ и сестренка моя должно быть тоже, потому что оба мы разомъ раскрыли свои желтые широкіе рты и прошицали:

— Ма... ма... ку... шать!

— Такъ вотъ, сейчасъ!—улыбнулась мама.—Пу-пу! не гарпанить у меня! Есть я вамъ сейчасъ дамъ... Здѣсь на счетъ пищи сторона куда привольная! Только вы все-таки приглядывайтесь, какъ я стану добывать «жратву» — самимъ вѣдь потомъ придется продовольствоваться.

Мама наша была женщина добрая, но изъ простыхъ, потому и употребляла иногда грубоватыя выраженія въ родѣ «жратвы» и «горпанить»... Она сейчасъ-же шагнула разъ, шагнула два и прицялась своимъ крѣпкимъ носомъ отдирать мохъ съ бока одной изъ сосѣднихъ кочекъ. Тамъ, подъ мокрымъ слоемъ кудряваго моху, оказалось множество жирныхъ, сочныхъ, аппетитно такъ извивающихся червей, и мы сейчасъ-же получили, каждый поровну, по чрезвычайно лакомому кусочку, причемъ и мама наша сама позавтракала, мимоходомъ проглотивъ съ полдюжины червей и одну, нечаянно подвернувшуюся подъ ея клювъ, маленькую зеленую лягушку.

Солнышко да на сытое брюшко скоро пригрѣло насть, и мы, сдвинувшись вплотную, сладко задремали, какъ вдругъ шумъ и свистъ большихъ, широко машущихъ крыльевъ разогнали нашу дремоту.

Громадный журавль, пепельно-сѣрый, съ бѣлымъ подбоемъ внизу, въ черной, лоснящейся шею, чернымъ хвостомъ, ярко-краснымъ полудугами надъ бровями и съ роскошнымъ, висящимъ пазаль султаномъ на головѣ, тычкомъ, съ разлета усѣлся около самой нашей кочки и проговорилъ:

— А вотъ и я!

Это и былъ пашъ папа.

— Ага!—замѣтилъ онъ насть.—Вотъ они какіе молодцы... Эко уроды! нечего сказать... Сыновья?

— Одинъ сынокъ, а то дѣвочка, дочка... Да ты только

юсмотри какая!.. Вся въ покойницу бабушку! не безъ гордости отвѣтила наша мама и вторично принялась за оправку взъерошенныхъ туалетовъ.

Папа показался намъ сначала не изъ особенно нѣжныхъ; потомъ мы убѣдились въ его истинно-отеческой любви къ намъ, доходящей даже до геройства, но такъ безъ надобности, онъ не любилъ нѣжничать и, вполнѣ довѣряя настъ мудрости и опытаѣности своей супруги, занимался исключительно общественными дѣлами, не вмѣшиваясь въ наше, такъ сказать, начальное воспитаніе.

Вотъ и теперь, для первого визита, онъ только потолкалъ настъ поочередно клювомъ, словно счетъ провѣрилъ, одобрительно тряхнулъ хохломъ и, прискакнувъ на одномъ мѣстѣ, прокричалъ кому-то:

— А у меня, братъ, на дому съ прибылью!

Скоро въ отвѣтъ на его возгласъ послышалось старческое, хрипловатое: «поздравляю!» и, раздвигая осоку между бочекъ, появился еще одинъ взрослый журавль, очень уже старый, хотя шагавшій довольно еще бодро и съ увѣренностью.

— Ранціе! — проговорилъ гость. И, тоже перетолкалъ настъ посомъ, добавилъ: — Нынче, слава Богу, весна теплая... Повсемѣстно ожидаются ранніе выводки... Вотъ подрастутъ, окрѣпнутъ какъ слѣдуетъ къ «перелету», — не будетъ такой убыли въ молодежи, какъ въ прошлый годъ.

Маменька наша печально вздохнула при этомъ и проговорила:

— Да, я тогда тоже обоихъ потеряла. Съ дунайскихъ гирль валиться стали... Послѣдняго уже на Балканскомъ кряжѣ бросили... Не хватило силенокъ эво какую шутину отмѣрить... Сосѣдъ тогда бабы наши обездѣтили!

Какой такой «перелетъ», какія дунайскія гирла, что это за штука кряжъ Балканскій; наконецъ, почему тѣ дѣти не выдержали, а на насъ надѣялся, все это для насъ, новорожденныхъ, была загадка сущая, а такъ какъ въ эту минуту, мимо самыхъ нашихъ носовъ, ползъ, съ трудомъ перелѣзая черезъ смятые стебли, широкій, плоскій черный жукъ съ длинными усами, то онъ больше заинтересовалъ наше вниманіе, чѣмъ серьезные разговоры старшихъ, и мы, не безъ страха, наблюдали ползущее чудище, косившееся на насъ весьма подозрительно своими, блестящими глазами.

Старика журавля, нашего соседа, звали «Долгоносъ - Всезнайка». Онъ былъ безсемейный, по дѣтей любилъ очень, особенно настъ, какъ членовъ семьи своего лучшаго друга «Горлана-Трубача»... такъ звали нашего папашу.

Онъ каждый день, да еще по иѣскольку разъ, навѣдывался къ нашему гнѣзу, помогалъ матери, болталъ по вечерамъ съ отцомъ о старинѣ, вмѣстѣ вытащевывалъ вечерній привѣтъ заходящему солнцу и часто ночью, когда приходилось зачѣмъ-нибудь просыпаться, я ясно видѣлъ черный силуэтъ нашего стараго друга, неподвижно торчавшаго на часахъ, на ближайшей, самой высокой кочки.

Его звали Всезнайкой не даромъ. Онъ, дѣйствительно, зналъ все, что слѣдуетъ знать высокообразованному опытному журавлю; онъ даже больше зналъ, но не любилъ хвастаться своею ученостью и рассказывалъ свои похожденія всегда кстати и толково, не то что другой журавль «Верхоглядъ» (сосѣдь слѣва, съ девятой кочки) всего только два перелета совершившій па своемъ вѣку, а уже трубящій па все болото о своихъ подвигахъ, вѣчно повторяя одинъ случай, когда ему привелось, гдѣ-то въ Египтѣ, цѣлыхъ полчаса просидѣть па золотой крыше высокаго минарета, въ самомъ центрѣ большого, люднаго города.

Кстати о людяхъ.

Какъ-то утромъ отецъ напѣ замѣтилъ своему другу: «что это, моль, тотъ не спитъ, а караулить по ночамъ?..»

— Въ нашей сторонѣ,—говорилъ отецъ,—слава Богу, «людей нѣть», значитъ, все чисто, честно и покойно.

— Нѣть пока, да скоро будуть,—отвѣчалъ Долгоносъ-Всезнайка.—Дня три тому назадъ я видѣлъ дымокъ вонь въ той сторонѣ, а вчера бычокъ съ колокольчикомъ подходилъ къ большому озеру. Значить, близко.

— Мужички, что-ли?—переспросилъ отецъ.

— Они самые будутъ, пастухи, чловѣкъ съ пятокъ и собакъ съ пими пары три наберется.

— Ну, эти не тронутъ!—замѣтила мама.—Эта мелкота! У нихъ и спаряду дальпебойниаго нѣту. Вотъ тамъ, дальше на полдень, живутъ изверги, настоящіе разбойники. А эти, супротивъ тѣхъ, настоящіе ягњата безобидные.

— Лѣтось и сюда, впрочемъ, навѣдывались, съ самопалами своими, да у настъ топко.

Все, что теперь говорилось, все было для насъ загадочно и тайно, пока впрочемъ... Скоро, когда мы научились бодро шагать по кочкамъ, и даже дѣлать невысокіе взлеты, мы узнали и сами все это, въ ежедневныхъ прогулкахъ, подъ руководствомъ доброго старого друга Долгоноса-Всезнайки.

## II.

Дѣйствительно, мѣстность нашей родины была прекрасна! Да вотъ я лучше стану описывать ее по порядку.

Не только то, что видѣть нашъ глазъ съ точки нашего жилища, но гораздо дальше, хоть троє сутокъ лети во всѣ стороны, все разстилалась та же, покрытая кочками, прорѣзанная рѣками и озерами, равнина. «Всезнайка» объявилъ намъ, что равнина эта называется «большія Осташковскія болота». Теперь было начало лѣта, и всѣ болотистые розливы пестрѣли разнообразными цвѣтами... Ярко зеленая бархатная лужайки красиво перемѣшались съ озерами и болотистыми топями и служили мѣстомъ веселыхъ сборищъ и паства всевозможнымъ породамъ утокъ, гусей, куликовъ и прочей водяной собраты. Иногда мы замѣчали и нѣсколько похожихъ на насъ журавлей птицъ, но только издали похожихъ: это были цапли, неопрятныя, прожорливые и злые птицы. Онѣ держались особнякомъ, поближе къ водѣ и ловко вылавливали тамъ зазѣвавшуюся рыбку. Въ укромныхъ мѣстахъ такихъ, чтобы никому со стороны не было замѣтно, расположились цѣлые поселки гнѣздъ и вездѣ копошились и попискивали крохотные желтенькие дѣтеныши. Рядомъ съ нашимъ журавлинымъ селеніемъ, скучилась деревня сѣрыхъ утокъ «кряквъ» и ихъ дѣти, а ихъ было ужасно много, заходили къ намъ безъ боязни; наши часовые заодно оберегали и сосѣдей. Гдѣ же тѣмъ пести настоящую военную службу! По вечерамъ, когда наши журавли собирались вмѣстѣ поболтать да посовѣтываться другъ съ другомъ, а потомъ и поплясать компаніей, и кряквы важно въ раскачку выползали изъ осоки и охотно дѣлились съ нами своими впечатлѣніями дня, рассказывали свои и бѣды, и радости, только одно скверно: ужасно сплетничали другъ на друга, хотя казалось, что между ними идетъ полный ладъ и согласіе.

«Всезнайка» объяснилъ мнѣ, что это всегда такъ бываетъ. всѣ сплетники, большіе лицемѣры; а это крупный недостатокъ во всякой порядочной птицѣ, и что, слава Богу, между журавлями этого порока до сихъ поръ не замѣчено.

Дни свои мы обыкновенно проводили такъ: проспавшись съ утренней зарею, мы отряхивались, расправляли крылья, приплясывая при этомъ, чтобы несолько размѣять затекшія во время сна ноги, а онѣ у насъ выросли предлипинія. Затѣмъ тотчасъ-же отправлялись на легкую прогулку, иногда съ папою и мамою вмѣстѣ, а чаще съ нашимъ старымъ другомъ. Во время прогулки мы знакомились со свѣтомъ, слушая разсказы и объясненія дядьки, а кстати и завтракали, очень даже аппетитно, потому что на кочкахъ стала уже поспѣвать черника, брусника и превкусная, хотя еще не покраснѣвшая клюква. Иногда мы такъ увлекались этими прогулками, что возвращались домой уже совсѣмъ къ вечеру, какъ разъ къ началу совѣщательно-танцевальнаго собрания. Родители наши не беспокоились нашимъ продолжительнымъ отсутствіемъ, вполнѣ увѣренные въ мудрости и предусмотрительности «Долгоносакъ Всезнайки», хотя мама всегда требовала, чтобы мы рассказали ей о всемъ видѣномъ за день и слышанномъ.

Мы скоро сами научились понимать, гдѣ можно ожидать опасность и въ какомъ видѣ; мы начали уже распознавать друзей отъ враговъ, а вѣдь это такъ важно въ жизни. Мы, напримѣръ, поняли, что громадные, страшные такие на видъ, быкъ и корова, съ длинными, острыми рогами, вовсе не опасны, хэть садись къ нимъ на спину, а что этотъ подлый, маленький, юркій и красивый хорекъ и еще, тоже красавая съ виду, по прелестной красновато-сѣрая лисица, большие разбойники и страшные враги не только птичьихъ яицъ, но даже самихъ птицъ, особенно молодыхъ, выводочныхъ.

— Потому-то,—говорилъ намъ «Всезнайка»,—вы вѣроятно замѣтили, что всѣ птицы здѣсь построили себѣ гнѣзда вдалекѣ отъ сухихъ мѣсть, такъ что ни съ одной стороны къ нимъ нельзя подобратьсяlixому звѣрю безъ риска, мало того, промочить насквозь свою щегольскую шубку, но даже и совсѣмъ потонуть въ жидкой трясинѣ.

Узнали мы еще и другихъ враговъ, горше первыхъ,—это были орлы и ястребы... Они высоко рѣяли въ воздухѣ надъ самыми на-

шими головами и потомъ разомъ, камнемъ валились внизъ, поднимаясь снова, но уже съ добычею въ когтяхъ: съ бѣднымъ куличкомъ, или чиркомъ, или молодымъ гусенкомъ. Появленіе этихъ хищниковъ всегда вызывало большую тревогу въ птичьихъ селеніяхъ; подымался страшный гвалтъ, маменьки расправили крылья и прятали подъ нихъ дѣтей, мужчины грозно шипѣли и топорщились, а наши храбрые журавли трубыли звонко тревогу и принимали такія грозныя позы, что часто это помогало въ серъезъ, и хищникъ не рѣшался спускаться, замѣтивъ съ высоты эти боевые приготовленія.

Изъ вечернихъ разсказовъ прочихъ журавлей я слышалъ, что людей нельзя считать въ числѣ породъ, дружески расположенныхъ къ намъ, птицамъ, (да и не къ однѣмъ птицамъ, въ чемъ я скоро воочию убедился, увидавъ впервые этихъ двуногихъ животныхъ). Это случилось такимъ образомъ.

Пролетѣвъ какъ-то надъ большимъ озеромъ, мы замѣтили на томъ берегу, на песчаной косѣ высокіе столбы чернаго вонючаго дыма.

— Спускаться ли? — боязливо спросила моя сестренка.

— Отчего-же? — замѣтилъ Всезнайка. — Мы здѣсь, на самыи песокъ, не спустимся, а вотъ туда подальше, гдѣ растутъ эти кудрявые кустики. Тамъ мы увидимъ все, а сами не будемъ очень уже бросаться въ глаза. Надо вамъ и тутъ пріобрѣсти кое-какія полезныя познанія.

Сказано — сдѣлано.

Мы спустились въ кусты и очень скоро хорошо разсмотрѣли небольшую группу людей, столпившихся у разложеннаго юостра. Недалеко отъ нихъ пестрѣло въ жижкомъ ельникѣ стадо яровъ и овецъ. Десятка два худыхъ, малорослыхъ лошадокъ держались особнякомъ, постоянно неистово отмахиваясь хвостами отъ докучливыхъ слѣпней и мошекъ.

Люди въ эту минуту, надо сказать, занимались пресквернымъ дѣломъ: они только что зарѣзали молодого барашка и теперь сдирали съ него шкуру. Алая кровь брызгала на песокъ, перепачкала имъ руки, одежду и даже кое-кому лицо. Изверги эти были, должно быть, очень веселы: пѣли, смѣялись, одинъ даже приплясывалъ, хотя вовсе не граціозно. Около людей полукругомъ сидѣло нѣсколько собакъ, должно быть очень голодныхъ, потому что онѣ очень уже умильно

смотрѣли на баранье мясо, распустивъ свои слюнявые красные языки.

— Ахъ, что они дѣлаютъ? — съ ужасомъ вскрикнула моя сестра и даже зажмурила глазки. — Разбойники!.. Эти хуже орловъ и ястребовъ!..

— Ну, нѣтъ, не совсѣмъ, — замѣтилъ глубокомысленно Всезнайка. — Люди сами заботятся о своихъ животныхъ, выращивають въ теплѣ ягнятъ, холять ихъ, кормятъ, оберегаютъ отъ волковъ, а вотъ въ награду за свои попеченія пользуются ихъ мясомъ и шкурками, а орлы, тѣ заботятся только о себѣ и хватаютъ чужое безъ разбора, тѣ живутъ разбоемъ, а эти, вишь ты, говорять «промышломъ». Но слѣдь, дѣти мои, вы узнаете, какая такая въ томъ и другомъ настоящая разница.

Только онъ это памъ сказаль, какъ голодная стая собакъ должно быть замѣтила насъ и со свирѣпымъ лаемъ ринулась въ нашу сторону... Мы струсили порядкомъ и взлетѣли вереницею надъ кустами, далеко оставивъ позади нашихъ преслѣдователей.

— Имѣть сильныя крылья въ нашъ хищническій вѣкъ большое преимущество! — замѣтилъ при этомъ нашъ добрый пастухъ, Долгоносы-Всезнайка.

Съ вечерней зари — вплоть до восхода солнца, надъ болотами, словно звенящій туманъ, носились цѣлые облака комаровъ и мошекъ. Насъ они ни мало не беспокоили: у насъ вѣдь отросли такія плотныя, щитками наславшающіяся перышки, что не прокусить никакому комариному жалу, зато людямъ, коровамъ, лошадямъ, собакамъ и всякимъ пушнымъ звѣрямъ отъ нихъ просто житья не было, особенно, когда, появились крупные сѣрые слѣпни и зеленые мухи. Тогда только птицы однѣ и остались на своихъ мѣстахъ, а все остальное ушло куда-то далеко, вонъ за тѣ покрытыя лѣсами гряды холмовъ, чуть-чуть синѣвшіяся на западѣ... Пастухи наши тоже откочевали и въ напѣмъ птичьемъ, болотномъ царствѣ стало совсѣмъ тихо и покойно.

Мы подросли уже очень замѣтно, почти стали одного роста съ папою и съ мамою, прочіе журавлята тоже, — и собралось насъ молодежи превеселая и многочисленная компанія. Утата, гусята, вообще вся дѣтвора, давно уже оперились какъ слѣдуетъ, и изъ желтенькихъ смѣшныхъ шариковъ превратились

въ настоящихъ птицъ. Стало какъ-то оживленіе на нашихъ болотахъ, словно населеніе ихъ ни вѣсть какъ увеличилось...

Кругъ прогулокъ нашихъ значительно расширился; мы могли въ одинъ часъ перелетѣть то, на что прежде и дня цѣлаго было много... Иногда мы такъ далеко залетали, что приходилось проводить ночь не дома, и мы научились спать, что называется однимъ глазомъ, выставляя дежурныхъ сторожей, смѣнявшихся по очереди. Въ одну изъ такихъ ночей намъ пришлось быть свидѣтелями ужасной кровавой сцены, оставившей глубокій слѣдъ въ нашихъ дѣтскихъ сердцахъ. Только что мы сладко задремали, стоя полукругомъ на одной погѣ и поджавъ подъ себя другую, какъ звонкія трубы сторожей заставили насъ проснуться и немедленно подняться на воздухъ. Тогда при свѣтѣ луны мы увидѣли слѣдующее: большая корова тяжело скакала по кочковатой равнинѣ и съ нею рядомъ ея теленокъ, обезумѣвшій отъ ужаса. За ними гнались четыре волка, воя и щелкая голодными зубами. Преслѣдователи были уже близко отъ несчастныхъ и смыкали свой кругъ, отрѣзывая дорогу къ отступленію.

— Отчего она такъ тихо скачеть? — съ тоскою спросила моя сестра, но тотчасъ же и сама поняла причину этой медленности. Мать могла бы спастись сама, но не хотѣла оставить своего бѣднаго, слабаго ребенка...

Мы всѣ жалобно кричали, метались въ воздухѣ, хотѣли какъ-нибудь помочь бѣдѣ, но злые звѣри не обращали на насъ никакого вниманія и ринулись на несчастную маму, остановившуюся наконецъ и приготовившуюся къ отчаянному сопротивленію. Начался бой — страшный, неравный... Одинъ только разбойникъ подвернулся подъ ударъ крѣпкаго коровьяго рога, зато трое остальныхъ вѣпились зубами за шею и горло, повалили мирное животное, — и началось варварское ширчество, отъ котораго у насъ даже перья на головахъ поднялись дыбомъ.

— Недурно! — прохрипѣлъ кто-то около насъ, — этакъ и на мою долю крохотка останется...

Это оказалась большая остроглазая рысь, съ кисточками на ушахъ, прошмыгнувшая мимо своимъ неслышнымъ кошачимъ пробѣгомъ и присѣвшая неподалеку отъ боя, въ ожиданіи остатковъ послѣ ширчества.

— Видите, какие разные взгляды на одни и тѣ же события бывают въ жизни, — произнесъ нашъ наставникъ. — То, отчего мы пришли въ ужасъ, этого бандита ушастаго радуетъ... Гибель одного даетъ жизнь другому... Все какъ будто бы и законно, все правильно. А все-таки я очень радъ, что мы, журавли, принадлежимъ къ разряду птицъ травоядныхъ... Все какъ-то на совѣсти спокойнѣе!

«А червячки, а лягушенокъ?» — вспомнилось было мнѣ кое-что изъ прежде видѣнаго, но въ сравненьи съ тѣмъ, что творилось въ настоящую минуту передъ нашими глазами, — эти червячки и этотъ лягушенокъ показались такою мелочью, о которой не стоило и разговаривать.

### III.

Лѣто проходило быстро, почти незамѣтно... Позднѣе стало всходить солнце — раньше и раньше наступали вечернія сумерки. Да и ночи пошли теперь далеко не такія теплыя, какъ бывало прежде, а разъ утромъ такъ даже побѣлѣла роса; словно мелкою блестящею сольюсыпало наши, теперь уже сплошь бурыя, кочки. Мошки, комары, муhi злые давно уже исчезли безъ слѣда, только крупные сѣрые оводы летали еще по одиночкѣ, да и то въ самый полдень, надъ пригрѣтыми солнцемъ мѣстами.

Дымки пастушьихъ костровъ снова появились на окраинахъ нашихъ болотъ, теперь уже гораздо ихъ было больше: куда не глянешь бывало, всюду чернѣютъ, заражая воздухъ сильною вонью... Вообще все предвѣщало начало рѣзкой перемѣны во всемъ окружающемъ «осени, а за нею длинной, суровой зимы», какъ говорилъ намъ нашъ другъ «Долгонось-Всезнайка». Имъ же первымъ былъ предложенъ на вечернемъ совѣтѣ вопросъ о перелетѣ, вопросъ, заставившій усиленно биться наши молодыя сердца, инстинктивно чувствующія весь интересъ предстоящаго длиниаго, разнообразнаго путешествія.

На этомъ совѣтѣ всѣ согласились, что «пожалуй и пора», но пересчитавъ наличный составъ нашей колоніи, рѣшили, для увеличенія силъ, дождаться партій съ юга, пригласить ихъ отдохнуть въ нашихъ мѣстахъ и тронуться дальше уже всѣмъ вмѣстѣ.

— Большими войсками куда удобнее лететь,—рассказывалъ намъ нашъ наставникъ. — Во-первыхъ, веселѣй и легче на счетъ смѣны, а во-вторыхъ, на счетъ становища безобиднѣе... По пути станціи-то окажутся и занятыми иное время, на маленькой каравань и не поглядятъ, спуститься не дадутъ, ну, а какъ силою идемъ, такъ тутъ ужъ ничего не подѣлаешь, самъ убирайся куда знаешь!..

— Когда я залетѣлъ въ Каиръ (это въ Египтѣ),—вставилъ тутъ и «Верхоглядъ» свое слово,—то я былъ одинъ одинешенекъ... Между тѣмъ какъ и на золотой крышѣ сидѣло уже не менѣе тысячи голубей и ласточекъ; я, однако, не задумался ни одной минуты и прямо...

— Оставь! — внушительно, но дружески остановилъ его нашъ папа,—это мы уже столько разъ отъ тебя слышали, что, пожалуй, будетъ больше чѣмъ число голубей и ласточекъ, разлетѣвшихся врозь отъ твоего смѣлаго появленія...

— Я вѣдь къ слову...—смутился нѣсколько «Верхоглядъ» и запагалъ къ уткамъ, болѣе охотно слушавшимъ обыкновенно его хвастливые разсказы.

Мы выбрали десятка два болѣе расторопныхъ журавлей и послали ихъ въ разныя стороны, чтобы выглядывали и сворачивали къ намъ перелетныя партии для общаго сбора, и не прошло и трехъ сутокъ, когда на нашемъ становищѣ собралось такое журавлиное полчище, что на большомъ разстояніи всѣ кочки и луговинки были буквально усыпаны красивыми представителями нашей благородной породы.

Утки соседней деревни собирались много раньше нашего и уже слетѣли въ путь, имъ вѣдь надо выгадывать каждый часъ времени, летаютъ онъ куда-тише нашего. Дубеля, бекасы и прочая мелочь поднялись еще раньше утокъ, и мы, прощаюсь съ ними, обѣщали ихъ нагнать по пути и даже очень скоро...

Сняться съ мѣста мы порѣшили на ночь и весь день на-канунѣ мы провели дома на отдыхѣ, не тратя силь на безполезныя прогулки. Тогда же мы сдѣлали разсчетъ на треугольники, по тридцати журавлей въ каждомъ и учредили передовыя очереди, а также разсчетъ караульной службы на стоянкахъ... Запасовъ дорожныхъ мы никакихъ не брали, не зачѣмъ было... Вѣдь все,—что будетъ нужно, мы найдемъ по пути, мѣстами въ изобилии, мѣстами, положимъ, и нѣть, но

въдь въ большомъ такомъ путешествіи нельзя разсчитывать на одни только удовольствія.

День самый передъ слетомъ мы, молодежь, положительно провели въ состояніи самаго беспокойного волненія и удивлялись равнодушію старииковъ, мирно и покойно дремавшихъ въ ожиданіи сумерокъ.

Какъ длиненъ показался намъ этотъ день, какъ безконечно лѣниво двигалось солнце, какъ скучна и уныла казалась намъ теперь наша когда-то милая, оживленная кормилица, болотная родина.

Солнце садилось такое красное, разливая по небу и по болотамъ зловѣщее пожарное зарево, въ воздухѣ была полна тишина; мы уже разбились на условные треугольники и ждали только сигнала къ поднятію... Стемнѣло...

Общимъ руководителемъ путешествія избранъ былъ единогласно Долгонось-Всезнайка, и первымъ долженъ былъ сняться пашъ треугольникъ, во главѣ котораго начать путешествіе долженъ быть нашъ папа Горланъ-Трубачъ.

Ровно въ ту минуту, когда послѣдняя точка солнца исчезла въ темной мглѣ на горизонтѣ,—раздался рѣзкій трубный сигналъ предводителя, дружно подхваченный сотнями остальныхъ трубъ, и нашъ треугольникъ, не подымаясь сразу очень высоко, съ разбѣга, сначала низомъ, надъ самыми кочками, потомъ все выше и выше,—полетѣлъ плавно, въ тактъ, не горячась взмахивая крыльями. Мы летѣли, согнувшись слегка шеи, вытянувшись прямо носы, свободно откинувшись назадъ свои длинные ноги, и направляли свой полетъ такъ, чтобы задніе не выходили изъ струи разсѣкаемаго передними воздуха, почему, конечно, заднимъ было гораздо легче; а чтобы труды путешествія раздѣлялись равномѣрно, для того и были заранѣе опредѣлены смѣшныя очереди передовиковъ, о которыхъ я говорилъ раньше.

Чѣмъ выше мы поднимались къ небу, тѣмъ темнѣе и темнѣе становилось тамъ внизу... Только озера и протоки свѣтились еще своими неясными, окутанными туманомъ очертаніями, да слабо искрились, подслѣповато моргая, огоньки людскихъ становищъ и чуть-чуть доносились унылые звуки ихъ пѣснъ, лай собакъ и отдаленное вытье проголодавшихся волчьихъ стаі, очевидно подбирающихся къ скотскимъ загонамъ, но скоро и

это все перестало достигать нашего слуха и только равномерный, могучий взмахъ нашихъ крыльевъ, да свистъ разсѣкаемаго холоднаго воздуха нарушали глубокую тишину длинной осеннеї почї.

Минута была торжественная! У насъ, у молодежи, захватывало духъ, слово не навертывалось на болтливый языкъ, всѣ мысли, все вниманіе устремлено было только на то, чтобы летѣть въ тактъ, равномерно, стройно взмахивая крыльями: смѣны передовиковъ производились также молча... А ночь стала такъ темна, что не только другихъ треугольниковъ, но даже своего всего мы не могли видѣть, какъ не напрягали наше, непривыкшее пока къ темпѣтѣ, зрѣніе.

Усталости мы, казалось, не чувствовали вовсе, и только къ разсвѣту, когда на востокѣ засвѣтѣла утренняя заря, мы замѣтили, что крылья наши стали какъ будто гораздо тяжелѣе, ноги уже не держались на отлете назадъ и носы, словно къ концамъ ихъ по камню было привязано, невольно опускались внизъ, оттягивая наши дремотныя головы...

Пора было думать объ отдыхѣ, и вотъ снова раздался призывной сигналъ Долгоноса, по которому мы, также плавно, въ порядкѣ стали спускаться на землю, на новыя мѣста, не виданныя еще нами ни разу.

Я не могъ сообразить — много ли мы пролетѣли за эту ночь; сравнивая съ обыкновенными нашими перелетами-прогулками, я полагалъ, что мы разомъ сдѣлали почти то же, что днія въ три продѣливали понемногу. Эту мою догадку подтвердилъ и нашъ папа, а ужъ онъ навѣрное не ошибался.

— Однако мы для первого перегона порядкомъ отмахали! — замѣтилъ онъ, оглядѣвшись внимательно на этихъ новыхъ мѣстахъ.—Что, дѣтвора, притомились, чай?

— Вотъ ужъ нисколько! — прошищала моя сестра, но сію же минуту спрятала головку подъ лѣвое крыло и, приподнявъ правую ножку, сразу заснула самымъ крѣпкимъ сномъ, не обративъ даже вниманія на то, что какъ разъ подъ нею густо переплелись заросли превосходной, почти спѣлой клюквы.

Сколько я ни приглядывался къ этой новой мѣстности, я не находилъ пока ничего нового и тоже предпочелъ немедленно послѣдовать примѣру сестры, такъ только, и то больше изъ подражанія старшимъ, ткнувъ носомъ направо и налево.

IV.

Спали мы недолго. Солнце еще не очень высоко поднялось надъ горизонтомъ, когда мы проснулись и, раскрывъ не безъ лѣни свои заспанные глазенки, не закрывали ихъ уже цѣлый день,—такъ ново и интересно показалось намъ все окружающее.

Опустились мы на небольшомъ болотдѣ, близъ веселой рѣчки, бойко бѣгущей между покрытыми кустарникомъ, чудными зелеными берегами... Невдалекѣ виднѣлась большая деревня. Окна новыхъ, украшенныхъ рѣзбою избъ, весело играли на солнцѣ; за этою деревнею тянулись желтая полосы крестьянскихъ полей, а на нихъ рядами, ну вотъ, такъ какъ и мы иногда становимся,—торчали кучами сложенные снопы хлѣба—«копны», какъ пояснилъ намъ Всезнайка,—«и копны такія, что не помѣшало-бы, при случайѣ, потыкать въ нихъ носами»—мы это потомъ сдѣлали и не напрасно!.. За полями шли небольшіе перелѣски, то темные — еловые, то березовые, съ красивыми бѣлыми, точно серебряными стволами и пожелтѣвшими, уже осыпающеся листвою... За перелѣсками опять деревни, и много даже; нѣкоторая изъ нихъ съ церквами,—высокими такими, бѣлыми башнями, съ золотыми крестами, на свѣтло-зеленыхъ круглыхъ куполахъ. Отъ деревни до деревни тянулись извинаясь между полей и лѣсковъ, сѣрыя полосы дорогъ, а одна дорога была широкая, особенно длинная, безъ конца просто; тянулась она все напрямикъ, и по бокамъ у нея торчали тонкіе шесты, сънатянутыми на нихъ проволоками... намъ все это очень подробно пояснялъ нашъ бывалый дядька, онъ даже называлъ какъ такія дороги называются, да я забылъ, не припомню никакъ... Такое смѣшиное название!.. Вотъ еще:—мы замѣтили, что когда телѣжки, запряженныя лошадьми, катились по маленькимъ дорожкамъ, то ихъ почти и слышно не было, а какъ только они сворачивали на большую, такъ принимались гремѣть и стучать такъ громко, что намъ даже издали, сначала конечно, страшно становилось.

Здѣсь людей было куда больше, чѣмъ па нашемъ прежнемъ родномъ становищѣ; вездѣ пестрѣли ихъ бѣлые рубахи и красные платки на головахъ у женщинъ... И какіе они всѣ говорливые! Скотины было тамъ очень много!.. Въ какихъ-нибудь

двадцати взмаховъ крыльевъ—около пась паслось стадо, позванивая своими бубенчиками—и я отлично замѣтилъ малень-каго чумазаго пастушенка, который, засунувъ въ ротъ кусокъ хлѣба и волоча по землѣ свой длинный веревочный кнутъ, глядѣлъ въ нашу сторону весьма подозрительно.

— Однако, въ прошломъ году здѣсь было много посвобод-нѣ!—произнесъ, обращаясь къ папѣ, Долгоносъ-Всезнайка.

— За дѣтьми не углядишь, въ такой сумятицѣ,—замѣтила и наша мама.

Папа же отрѣзалъ коротко:

— Надо перебираться!..

И старики, посовѣтовавшись немного между собою, собрали весь треугольникъ, и мы, нестройнымъ, путевымъ порядкомъ, а за-просто, гдѣ летомъ, гдѣ скокомъ перевалили на тотъ берегъ рѣчки и, перелетѣвъ березовую рощу, опустились на другой, уже сухой луговинѣ, гдѣ, все-таки, было нѣсколько уютнѣе и не такъ на юру, какъ прежде.

Здѣсь мы нашли другой треугольникъ съ Верхоглядомъ. Этотъ молодецъ, какъ намъ разсказывали не безъ улыбокъ, чуть было не поплатился головою за свои продѣлки... Онъ, видите-ли, узналъ, что всѣ великие путешественники имѣютъ обыкновеніе оставлять въ интересныхъ мѣстахъ слѣдъ своего пребыванія. Вотъ онъ и спустился, пользуясь тѣмъ, что народъ еще несовсѣмъ проснулся, на печную трубу избы, какъ онъ говорилъ, самого волостного старшины, и только что опустилъ въ жерло носъ, чтобы написать свою фамилію, какъ вдругъ изъ трубы повалилъ густой дымъ; Верхоглядъ задохнулся, и чуть-чуть было не шлепнулся внизъ, во дворъ, гдѣ уже ждали его большая, косматая собака и баба съ длинною палкою...

— А все-таки я букву В успѣлъ написать!..—хвастался «великий путешественникъ».

Ему нельзя было не повѣрить, такъ какъ провѣрять его подвигъ охотниковъ не оказалось.

— Заклюй меня орель и проглоти самъ крокодиль, если этотъ молодецъ не погубить когда-нибудь весь треугольникъ!—сказалъ нашъ папа, Горланъ.

— А, что это такое крокодиль, папаша?—полюбопытствовала сестренка.

— Крокодилъ... это... А вотъ сама увидишь!.. — отдался отъ прямаго отвѣта папаша.

— Крокодилъ это, видите-ли, барышня... это такая злая и грязная скотина,—вмѣшался въ разговоръ одинъ изъ присутствующихъ. Но, тутъ, совершенно неожиданно, раздался громовой звукъ, блеснулъ огонекъ и по ельнику, словно цѣпляясь за темный вѣтви, потянулось небольшое дымное облачко.

Дослушивать о крокодилѣ было некогда и мы, сорвавшись съ мѣста разомъ, однако не въ разсыпную, полетѣли безъ оглядки прочь и опустились уже далеко, въ получасовомъ разстояніи отъ неожиданной опасности.

— Это, дѣти мои,—возгласилъ Горланъ-Трубачъ, обращаясь не къ намъ собственно, его дѣтямъ, а вообще ко всей молодежи нашей.—Это, что вы слышали сейчасъ, самое худшее на свѣтѣ... Это самая большая и серьезная опасность... Всѣ дѣлы?

Долгоносъ-Всезнайка уже справился еще на лету и послѣшилъ отвѣтить:

— Слава Богу!

— Что это такое, однако?.. — послышались молодые, встревоженные голоса.

— Это охотники! — сказалъ намъ папа.

— Тоже люди,—пояснилъ Всезнайка,—только люди съ ружьями... И я вообще совсѣту всѣмъ: чуть, хотя бы издали, замѣтите такого, сейчасъ-же на утекъ... Вѣрнѣе будетъ!

— Однако, кто-же былъ на караулѣ? надо разслѣдовать—чья была очередь?— послышались педовольные голоса стариковъ.

Оказалось, что на караулѣ былъ Верхоглядъ — и бѣдный, великий путешественникъ тутъ-же получилъ весьма изрядную встрѣчу... Намъ съ сестрой стало даже его жалко.

— Примѣръ строгости необходимъ! Дисциплина во всякомъ дѣлѣ есть первое дѣло, хотя никого изъ насъ и не задѣло, то во всякомъ случаѣ зѣвакѣ Верхогладу досталось за дѣло.

— И вы думаете, что это стихи? — пожаль помятымъ крыломъ Верхоглядъ.—Наборъ риѳмъ и избитая мораль—больше ничего!..

Онъ презрительно поглядѣлъ на журавля-импровизатора и, встражнувшись, пошелъ доставать свой сторожевой постъ.

Этотъ день мы рѣшились провести на отдыхѣ и даже всю

следующую ночь, въ виду того, чтобы уже потомъ—летѣть съ утра и до заката солнечнаго, а не ночью.

— По люднымъ мѣстамъ—этакъ-то будетъ удобнѣе!—рѣшили старики.

Въ продолженіе дня мы нѣсколько разъ мѣняли мѣста стоянки и на ночь перебрались опять на новое мѣсто на ежатыхъ хлѣбныхъ поляхъ, гдѣ люди не успѣли свезти одного ряда заманчивыхъ конопушекъ. Мы именно имѣли въ виду это обстоятельство... Хотя эти наши замыслы, немедленно приведенные, впрочемъ, въ исполненіе, и щекотали непріятно нашу молодую совѣсть, но старики успокоили насъ, объяснивъ, что это хищеніе есть единственный родъ мести людямъ за ихъ уже ничѣмъ неоправдываемое покушеніе на наши головы.

— Вѣдь, вы знаете, господа, — говорилъ Всезнайка, усердно теребя роскошный ячменный спонъ,—люди насъ тоже єдятъ — и, мало того, предварительно еще вымачиваются въ уксусѣ.

Ночь прошла совершенно благополучнѣ

## V.

Впечатлѣнія этого дня нашего путешествія были такъ новы, такъ богаты, что ихъ забыть не было возможности. Но впрочемъ по порядку.

До разсвѣта поднявшись, мы летѣли понизу, чутъ не задѣвая ногами за вершины елокъ, но чутъ только забрезжилъ свѣтъ, какъ мы стали подниматься выше и выше и съ каждымъ взмахомъ нашихъ крыльевъ передъ нами все роскошнѣе, все разнообразнѣй развертывалась чарующая картина: мы перетали какую-то очень широкую рѣку, видѣли мѣстами церкви и человѣческія жилища, не вытянутыя рядами, какъ прежде, а занимающія большія пространства, мы видѣли прямые, какъ стрѣлы, дороги, по которымъ съ громомъ и грохотомъ катились цѣлые дома на колесахъ, и тащило ихъ впереди страшное чудище съ огненными глазами и длиннымъ дымнымъ хвостомъ. Мы видѣли другія дороги, по которымъ безъ конца тянулись все повозки, шли люди группами и въ одиночку и все больше въ одну сторону. Мы видѣли, но все это было ничто въ сравненіи съ тѣмъ, когда, уже около полудня, передъ нашими

глазами раскинулся громадный городъ, чуть не сплошь, сверкающія золотыми куполами, безчисленныя церкви, одна другой краше. Городъ этотъ расположень былъ на громадныхъ холмахъ, и почти пополамъ его перерѣзывала рѣка, извиваясь красивою дугою. Черезъ эту рѣку мѣстами перекинуты были мосты, словно ниточки, связывая разрозненныя половины. Между массами каменныхъ зданій, зелеными, даже уже значительно пожелтѣвшими группами виднѣлись красивые сады; безчисленные улицы и переулки казались съ высоты хитро сплетенною сѣткою. Тысячи тысячъ народа толпились на этихъ улицахъ, говоръ и стукъ колесъ долетали даже до нашего слуха, по звуку, чудный гармоничный звукъ, давно уже занимавшій наше вниманіе, теперь царилъ надо-всѣмъ, наполнялъ свѣжій осенний воздухъ и точно подлаживался подъ мѣрные взмахи крыльевъ нашихъ соединенныхъ треугольниковъ. Этотъ звукъ былъ повсемѣстный колокольный благовѣсть.

— Какъ это весело, какъ это красиво!—безпрестанно твердила моя сестренка и даже закрывала иногда свои глазки, должно быть отъ избытка удовольствія.

Представьте-же себѣ мое удивленіе, когда я на одной изъ городскихъ площадей замѣтилъ нашихъ, то-есть такихъ-же какъ и мы журавлей, которые, вытянувшись въ рядъ, стояли неподвижно на одной ногѣ, поджавъ кверху другую.

Я тотчасъ-же сообщилъ свое открытие сосѣдямъ, что тотчасъ-же пошло по рядамъ далѣе, дошло наконецъ до папы, и я отчетливо, несмотря даже на колокола, услышалъ его хохотъ, а также и замѣчаніе Всезнайки.

— Это не журавли, это солдаты.

— А что такое солдаты?—раздалось сразу нѣсколько молодыхъ голосовъ.

— Солдаты? это тоже люди съ ружьями, но съ ружьями, менѣе для насъ, птицъ, опасными.

— Зачѣмъ-же они стоять по нашему?—полюбопытствовала сестренка.

— Хорошему примѣру отчего-же не послѣдовать!—замѣтилъ Всезнайка.

А тѣмъ временемъ мы очутились надъ самою серединою города; нашъ мудрый наставникъ сказалъ намъ название его, да, хотя у меня и очень хорошая память, а это название я

забыть. Да воть я опишу одну изъ его главныхъ примѣтъ, можетъ быть вы по ней угадаете? Слушайте!

Средній холмъ былъ опоясанъ широкою зубчатою стѣною съ разнообразными башнями. Эти стѣны спускались почти къ самой рѣкѣ, и у ихъ подножий зеленѣли ровные скаты, покроплены деревьями. Въ серединѣ огороженного пространства вился громадный домъ съ золотою крышею и около этого дома тѣснились безчисленныя золотыя главы церкви, изъ которыхъ одна была особенно высокая,— выше всѣхъ въ городѣ, и именно изъ-подъ купола этой церкви гудѣлъ самый громкій колоколъ, покрывая своимъ басомъ звуки прочихъ колоколовъ, словно нашъ папа Горланъ, когда на совѣщаніе хочетъ добиться, чтобы всѣ его слушали.

Однако, какъ не великъ былъ городъ, но все-таки мы его очень скоро перелетѣли и до ночи успѣли много еще видѣть и тамъ, и сямъ, разныхъ городовъ по-меньше, разныхъ диковинъ и всего прочаго, и тогда только мнѣ пришла въ голову мысль сравнить наши родныя болота со всѣмъ, что теперь у меня передъ глазами. Ахъ, какое невыгодное сравненіе вышло для нашихъ скучныхъ болотъ... Фи!.. Положимъ, говорятъ— родина... Но что такое родина? Случайное мѣсто извѣстной случайности... Почему она можетъ быть дорога, почему мила?.. Когда здѣсь каждая точка, каждое мѣстечко было несравненно красивѣе и пріятнѣй... Не понимаю!

— А вотъ послѣ поймешь!— замѣтилъ одинъ изъ старыхъ журавлей, и мнѣ стало очень стыдно. Не потому стыдно, что, какъ оказалось, я мечталъ вслушъ, но потому, что у меня въ сердцѣ говорило что-то, будто я, мало того, что мечталъ вслушъ, но и довольно глупо.

## VII.

Перелетъ этого дня показался намъ гораздо короче предыдущихъ, но это только казалось: слишкомъ уже много было интереснаго на пути, и этотъ живой интересъ сокращалъ время похода. Спустились мы къ почѣ, на широкой полянѣ, среди густого осинового лѣса.

Здѣсь царствовала полная тишина.

Ближайшее человѣческое жилье находилось, по свѣдѣніямъ развѣдчиковъ, не ближе трехъ верстъ, а со стороны дороги

мы были скрыты совершенно густыми зарослями. Болотистый ручей пересекалъ поляну, и только что первые изъ нашего треугольника коснулись земли, какъ съ обоихъ его береговъ тревожнѣо сорвались стаи мелкихъ куличковъ, рапьше настъ занявшихъ это мѣсто для ночлега.

Папа послѣшилъ ихъ успокоить и просилъ оставаться покойно ночевать совмѣстно, что видимо обрадовало эту мелкоту и вызвало выраженіе крайней, съ ихъ стороны, признательности.

— А мы думали обогнать васъ гораздо дальне къ югу!— обратился къ нимъ Долгоносъ.

— Да вѣдь куда торопиться,—отвѣчалъ одинъ изъ куличковъ.—Время лѣтище, теплое, червя этого самаго сколько хонь. Мы это полегопечку.

— Напрасно!— укоризненно замѣтилъ имъ нашъ путеводитель.

— Замѣшаетесь въ дорогѣ; застанутъ холода, перемерзнете. Вы откуда?

Куличекъ назвалъ какую-то мѣстность. Долгоносъ удивился.

— Эва!.. Да мы вчера только тамъ были... Давно-ли въ дорогѣ?

— Шестой день. Мы вѣдь полегонечку... Гдѣ намъшибко-то!

— Однако, все-таки поторопливайтесь. Конечно, вамъ не туда, куда намъ,—замѣтилъ папа, гордо окинувъ взоромъ и пашу стаю, и соседскую.—Вы вѣдь въ дунайскихъ гирлахъ зазимуете; но если будете такъ прохладжаться, то захватятъ васъ морозы въ степи, худо будетъ.

— Ахъ, я помню одинъ ужасный случай съ дрофами... Самъ не видаль, но мпъ разсказывали,—вмѣшался «Верхоглядъ».

— Съ какими дрофами?—полюбопытствовала сестренка.

— Тоже птицы и даже прелестныя птицы, барышня. Такъ вотъ эти самыя птицы попались, благодаря неожиданному морозу, въ весьма печальное положеніе. Всю ночь, изволите видѣть, шель мелкій и теплый дождь и промочилъ ихъ до костей, а онъ спали. Къ утру же морозъ, да какой!.. Крылья-то и оледенѣли: ни развернуть, ни взмахнуть, а тутъ, откуда не возьмись—пастухи.

— Ну...у!—протянули тревожные голоса слушателей.

— Тѣ отъ нихъ... куда тутъ!.. бѣгаютъ зря, а тѣ ихъ палками да живьемъ въ полонъ.

— Бѣдны!

— Такое побоище разыгралось, и если бы не я...

— А ты-то тутъ причемъ?—расхохотался папа Горланъ. Верхоглядъ смутился.

— А развѣ я сказалъ «я»... то-есть я хотѣлъ сказать: еслибы не солнышко, да не отогрѣло бы оно немнога, всему табуну погибать пришлось бы безъ остатка. Это мнѣ рассказывали гуси, не мнѣ собственно, а моему двоюродному дядѣ. Помните знаменитаго Крутопляса, что два года провелъ въ плѣну и, несмотря на то, что ему каждую недѣлю подрѣзали крылья все-таки ухитрился бѣжать, переодѣвшись собакою.

Ну тутъ уже и мы, дѣти, поняли, что разскажчикъ за-врался окончательно—и дружный смѣхъ прокатился по всему лагерю, эхомъ отражаясь въ стѣнахъ густого осинника, задер-нутыхъ уже дымкою ночного тумана.

— Спать!—раздался сигналъ предводителя.

— Спать!—отозвались тамъ и сямъ голоса вождей.

— Спимъ! — отозвались десятки голосовъ, и столько же носовъ уткнулось подъ лѣвое крыло, быстро погружаясь въ успокоительный сонъ, полный грѣзъ о будущемъ, воспомина-ній о впечатлѣніяхъ прошлаго.

— Слу...шай!..—доносилось изъ сторожевой цѣпи.

— Слуша...ай!—отражалось отъ неподвижныхъ стѣнъ ело-ваго лѣса.—Слушай! замирало гдѣ-то уже очень далеко, и вновь начиналось, гораздо ближе.

Это перекликались наши, вѣрные своему долгу, бодрствую-щіе часовые.

## VII.

Еще было совсѣмъ темно, когда меня разбудилъ голосъ Долгоноса.

Нашъ предводитель отдавалъ какое-то приказаніе, и я раз-слышалъ только послѣднія слова его рѣчи:

— Вернуться до разсвѣта, и съ такимъ разсчетомъ, чтобы намъ поспѣть «въ горохи» до восхода солнца. Перелеть небольшой, не болѣе получасу. Смотрѣть въ оба!

Сестрица моя тоже разслыхала слово «въ горохи», и съ поросопокъ сладко прищелкнула языкомъ. Я тоже невольно под-хватилъ сорвавшуюся съ носа кашельку слюны.

Дѣло въ томъ, что давно уже слышали о прелестяхъ «гороха», но только до сихъ поръ намъ не приходилось ни разу его попробовать.

Распоряженіе нашего всезнающаго, мудраго путеводителя обѣщало намъ, наконецъ, этотъ вкусный, давно желанный завтракъ.

Конечно, ни мнѣ, ни сестрѣ уже болѣе не спалось.

Я видѣлъ, какъ два маленькихъ отряда нашихъ, одинъ въ числѣ трехъ, а другой—пяти журавлей, поднялись съ поляны и скрылись въ темнотѣ.

Оба отряда развѣдчиковъ пока полетѣли по одному направленію.

Неугомонный Верхоглядъ полетѣлъ вмѣстѣ съ ними.

— А ты бы остался!—крикнулъ ему папа.

— Напутаютъ, боюсь, безъ меня, — отозвался нашъ волонтеръ.

— Ты смотри, не напутай!..

Сестра моя окончательно проснулась и шептала мнѣ на ухо:

— Ахъ, это, помнишь, говорила мама?.. «это» гораздо вкуснѣе ячмени.

— Я, знаешь, — сообщилъ я ей свое предположеніе, — я сначала наѣмся, наѣмся такъ, чтобы уже больше было нельзя; потомъ набью себѣ, про запасъ, полный ротъ, за щеки... Какъ думаешь, какого вида этотъ горохъ?

Пока мы соображали, что такое за горохъ и какая у него внѣшность, возвратились первые наши посланные.

Они сообщили, что нынче горохи немного ближе къ деревнѣ, чѣмъ были въ прошломъ году, но за то со стороны человѣческаго жилья заслонены большими стогами сѣна, и если занять ихъ пока темно, то до восхода солнечнаго можно проживиться порядочно.

Скоро прилетѣли и остальные развѣдчики.

— А гдѣ Верхоглядъ?—встревожился папа.

— Остался тамъ. Сказалъ намъ: вы летите, а я здѣсь постерегу.

— Эхъ, напутаетъ! — подумалъ вслухъ Долгоносъ-Всезнайка...—Подъемъ!

Какъ ни тихо мы поднялись, однако, встревожили порядкомъ своимъ отлетомъ мирно дремавшихъ куличковъ. Тронулись мы небольшими партіями, такъ какъ для маленькаго пе-

релета строиться въ треугольники не стоило, и скоро въ воздухѣ запахло навозомъ и гарью печныхъ трубъ, вѣрнымъ признакомъ человѣческаго жилища.

Темные силуэты косматыхъ, приземистыхъ избушекъ выросли на чутъ бѣльющемъ горизонте; ближе, нѣсколько въ сторонѣ, виднѣлись болѣе крупныя, темныя массы.

— Новые стога! — шепнулъ, обращаясь къ папѣ, одинъ изъ развѣдчиковъ, опережая напѣ отрядъ.—Сюда, ребята! Забирай лѣвѣ!

Мы быстро спускались...

Вдругъ я запутался ногами во что-то цѣпкое и съ размахомъ ткнулся носомъ въ землю.

— Легче,—поддержалъ меня папа.—Вотъ это оно самое и есть!

— Что, что?!

Сердце у меня забилось сильно, сильно. Я торопливо сталь выпутывать свои ноги.

— Горохи!

Да, это были горохи! Это было нѣчто превзошедшее наше ожиданіе.

Длинные, спутанные стебли чуднаго растенія были сплошь усыпаны дозрѣвшими стручьями, полными превосходныхъ, сладкихъ зеренъ; иногда въ нихъ попадались и червячки, но особенно вкусные, вкуснѣе даже самого гороха...

Оживленная щелкотня и цѣпкій шорохъ послышались кругомъ.

— Не пакидываться, — предостерегъ насъ Долгоносъ.— Тише, не шумѣть, до солнца еще далеко. Люди спать, собаки тоже; успѣмъ, не торопясь, наѣсться.

На стражѣ теперѣ стоялъ самъ нашъ предводитель. Онъ выбралъ мѣсто на вершинѣ стога, и мы ясно видѣли всю егостройную фигуру на фонѣ предразсвѣтнаго неба.

Подъ такою надежною охраною, конечно, можно было наслаждаться дарами природы совершенно покойно.

Немного только смущало насъ отсутствіе Верхогляда; его даже пробовали окликать въ темнотѣ, но отвѣта не получили.

Вдругъ со стороны деревни донесся до насъ жалобный крикъ, полный смертельнаго страха и отчаянія. Мы узнали голосъ нашего вѣтрянаго товарища.

Съ вершины стога послышался сигналъ тревоги. Вся жу-

равлиная стая сорвалась разомъ и въ беспорядкѣ кинулась на зовъ папа:

— Сюда, за мною!..

Мы перелетѣли оврагъ, по дну которого блестя струилась маленькая рѣченка, и разсыпались на той сторонѣ, въ кустахъ лозняка.

Стало между тѣмъ свѣтать. Такъ какъ въ настоящую минуту мы находились въ относительной безопасности, то рѣшено было выждать утра и возможности узнать что-нибудь объ участіи нашего бѣднаго товарища. Не бросать же его, въ самомъ дѣлѣ, не испробовавъ какихъ либо мѣръ къ спасенію.

Въ деревнѣ, между тѣмъ, поднялась тревога. То тамъ, то сямъ въ окнахъ зажигались огни; собаки громко лаяли, перекликаясь и, повидимому, собираясь въ одно мѣсто; ворота скрѣпя отпирались, и оттуда, тяжело переступая не убранныя подворотни, стали выходить коровы и лошади. Черныя, курчавыя овцы выкатывались на улицу, словно шарики, съ веселымъ, звонкимъ блеяніемъ. Дымъ повалилъ изъ трубъ. Заскрипѣло колодезное колесо, появились дѣти и бабы, кутаясь въ полушубки, почесываясь и лѣниво зѣвая въ руку.

Разсвѣтало быстро, и подъ синею зубчатою стѣною еловаго лѣса блеснули золотыя пятна свѣта, предвестники солнечного восхода.

Когда стало совершенно свѣтло, то на маленькомъ совѣтѣ рѣшено было послать двухъ опытныхъ и особенно зоркихъ журавлей, подняться повыше, надъ деревней, и разсмотрѣть что тамъ дѣлается.

Папа горланъ полетѣлъ самъ.

Мы слѣдили за отлетавшими съ самымъ живымъ лихорадочнымъ интересомъ.

Вотъ они высоко остановились, словно неподвижные кресты, надъ центромъ деревни, ярко освѣщенные снизу лучами солнца, вотъ описали большой кругъ и, медленно, опустивъ книзу носы, пролетѣли надъ улицею, слѣдя за ея изгибами, вотъ спустились низко-низко, такъ что намъ даже страшно за нихъ стало, и снова стремительно вззились ввысь, еще разъ пролетѣли надъ улицею, въ другомъ мѣстѣ спустились, снова поднялись и направились къ намъ.

Что-то скажутъ?!

Невеселыя вѣсти принесли вернувшіеся съ рекогносци-

ровки. Что собственно стало съ бѣднымъ Верхоглядомъ, они сказать не умѣли; видѣли только, что передъ воротами поповскаго дома собралась большая толпа, а изъ сарайя кто-то кричалъ, требуя веревки и ножницъ.

— Шабашъ!—раздался межъ нами чей-то голосъ.

— Дѣло дрянь!—согласился другой.

— Веревка, ножницы... О, эти шутки скверныя! съ ними не шутять.

— Друзья мои, — произнесъ, хотя и печально, но твердымъ голосомъ, нашъ предводитель.—Времени терять нельзя! Теперь нашего легкомысленаго собрата можетъ спасти только самъ Богъ; мы безсильны оказать ему помощь. Да послужить вамъ всѣмъ этотъ печальный случай примѣромъ и предостереженіемъ. По треугольникамъ стройся, съ Богомъ!..

И мы съ болью въ сердцахъ, хотя и съ переполненными горохомъ желудками, тронулись въ путь, размыщляя о непрочности счастья вообще и журавлина го въ особенности.

### VIII.

Всю дорогу нась преслѣдовало самое печальное состояніе духа: мы до сихъ поръ встрѣчали все только удачи и радости, это было первое горе на нашемъ долгомъ пути.

А какъ на бѣду и погода испортилась. Съ сѣвера, словно въ догонку за нами, подвинулись сѣрыя тучи, пошелъ дождь; окрестности заволокло сѣдою мглою, а подъ нами сплошь тянулись печальная пространства вырубленныхъ лѣсовъ, межъ которыми чернѣли разбухшія отъ дождя полосы осеннихъ запашекъ.

Нѣсколько разъ намъ удавалось опережать тучи, выплетать на свѣтъ Божій и отогрѣвать на живительныхъ лучахъ солнца наши озябшіе, намокшіе члены, но къ вечеру небо заволоклось все сплошь, и мы спустились на ночлегъ, на пустырь, на громадномъ пожелтѣломъ лугу, невдалекѣ отъ болотистаго перелѣска, на опушкѣ котораго пріютились нѣсколько жалкихъ избенокъ, маленькаго крестьянскаго выселка.

Каково же было наше изумленіе и вмѣстѣ съ тѣмъ радость, когда, спускаясь внизъ, мы замѣтили на лугу нашего Верхогляда, покойно прогуливающагося по межѣ и посматривающаго вверхъ, въ ожиданіи нашего прибытія.

— Бить тебя надо, пегодяя! — накинулся на него нашъ предводитель.

— П вѣрно, что бить! — подтвердилъ папа.

— За что? — пожалъ намокшимъ крыломъ Верхоглядъ.

— За беспокойство общее!.. Вотъ за что!

— Повѣрьте, что я имѣль основаніе беспокоиться гораздъ больше, чѣмъ вы, господа,—замѣтилъ Верхоглядъ.

— Ну, ладно, рассказывай, что случилось! гдѣ ты пропадалъ?

— А вотъ это другое дѣло! Конечно, я буду рассказывать и даже нечто весьма интересное. Только не сейчасъ, не сразу... А вотъ отдохните, оправьтесь, приготовьтесь хорошенько, а затѣмъ внимайте.

И Верхоглядъ гордо окинулъ взоромъ все собрашеніе.

— Да-съ, господа! — произнесъ онъ, помолчавъ съ минуту: — со мною случилось нечто совершенно особенное, и только моя опытность, находчивость и необыкновенное счастье при этомъ, дали мнѣ возможность находиться, въ данную минуту, между вами снова, а не оплакивать свою судьбу въ неволѣ, съ подрѣзанными, чуть не подъ корень, крыльями, на утѣху грязныхъ, деревенскихъ мальчишекъ... въ лучшемъ даже случаѣ...

— Да ну, не томи... — пискнула моя нетерпѣливая сестренка.

Но Верхоглядъ былъ неумолимъ. И только, когда мы оправились, отрахнулись, передохнули немного и чинно составили кругъ, въ центрѣ котораго помѣстился разсказчикъ, онъ, порисовавшись и даже поплясавъ немного, припялся за свое поѣствованіе.

— Покуда вы занимались горохомъ, милостивые государыни и государи, — началъ свой разсказъ Верхоглядъ: — я, признаюсь сказать, не особенный охотникъ до этой дряни... особенно въ виду финиковъ и кокосовъ...

— Это еще что такое? — перебила сестричка.

— Молчи! — толкнуль я ее въ бокъ, — не перебивай.

Верхоглядъ помолчалъ и серьезно взглянулъ въ нашу сторону... оба мы невольно покраснѣли.

— Такъ вотъ, — продолжаль онъ, — пока вы кушали горохъ, я отправился пройтись по деревнѣ. Я вообще люблю изучать правы и обычаи людей и тому подобныхъ животныхъ, и съ этого только цѣлью заглядывалъ во дворы и даже въ окошки... Тутъ я замѣтилъ, что одно окошко приподнято и оттуда пре-

аппетитно пахнетъ свѣже испеченнымъ хлѣбомъ. Я вскочилъ на заваленку, всунулъ голову въ окно и сталъ осматриваться: въ избѣ было темно, слышался храпъ и согнѣе нѣсколькихъ носовъ, а подъ печью хрюкали и возились крохотные поросята; на столѣ, недалеко отъ моего окна, лежалъ цѣлый хлѣбъ, прикрытый полотенцемъ, около стояла деревянная крашеная солонка и лежало нѣсколько красивыхъ деревянныхъ ложекъ. Мне пришло въ голову взять одну изъ нихъ на память.

— Украдь по просту! — строго замѣтилъ Долгоносъ.

— Странное выраженіе! Англичане цѣлую иглу Клеопатры взяли изъ Египта и относительно ихъ никто такого выраженія не употреблялъ, — отвѣчалъ разсказчикъ. — Что же значить деревянная ложка сравнительно съ каменнымъ обелискомъ!

— Продолжай! — кивнулъ головою пана.

— Такъ вотъ; только что я хотѣлъ просунуться въ окно еще немного, какъ вдругъ это подлое окошко щелкнуло и упавшая рама придавила мнѣ шею...

— Ай! ай! Боже! — послышались тревожные голоса.

— Боль была нестерпимая, я думалъ, что моя шея пополамъ... я невольно закричалъ во все горло... и принялъ биться и рваться, изо всѣхъ силъ... стекла со звономъ полетѣли, въ избѣ всѣ переполошились, какая-то собака съ лаемъ и визгомъ пыталась схватить меня снаружи за хвостъ и ноги, но я брыкался отчаянно и не давался, а между тѣмъ зажгли огонь... «Такъ вотъ это кто! тащи его, хватай, бей!» послышались голоса. «Зачѣмъ бить! бери живьемъ!» заступился кто-то и не прошло минуты, какъ я былъ схваченъ, освобожденъ изъ подъ прищемившаго мнѣ шею окна, зажать между чьими-то грубыми колѣнами, а на голову мнѣ надвинули грязный, вонючій мѣшокъ... Я попался въ плѣнь. Отъ боли, отъ недостатка воздуха, отъ непосильной, отчалиной борьбы я сначала потерялъ сознаніе... очнулся на воздухѣ... Меня несутъ, и кругомъ меня идетъ оживленный говоръ... Спрашиваютъ о чѣмъ-то. «Тащи къ попу, на дворъ, — говорить чѣй-то голосъ... — онъ намъ ведро поставитъ...» — «А и то правда, — говорить другой. — У него уже есть одинъ, ему подъ пару...» — «Нѣть, братцы, и птица какая смѣлая! Я думалъ, что за лѣшій, а онъ вишь ты что вздумалъ!» — «А ужъ и напужалась же я, отцы мои! — заговорила баба, такимъ сквернымъ, пискливымъ голосомъ, — ноги это отнялись, кричать не могу... Ахъ, ты

окаянны!..» — «Антишка, Васька, Грунька! подъ сюда!.. журку пымали!» кричали дѣтскіе голоса. «Да это можетъ поповскій и есть?» — «Нѣть, дикий!..» — «И какъ это его оконцемъ пристукнуть... въ лучшемъ видѣ!..» Заскрипѣли какія-то ворота, меня выпустили и сдернули съ головы шапочкъ. Измятый, измученный, я рванулся и стала осматриваться: я находился въ небольшомъ сараѣ, дверь которого только что плотно прихлопнули. По угламъ стояло нѣсколько кадокъ и большой, пустой ящикъ, дѣтская тележка безъ колесъ, кое-какая посуда, а на стѣнахъ висѣли хомуты и разная сбруя. «Здравствуй, товарищъ!» раздалось около меня. Я вздрогнулъ и стала всматриваться въ уголъ, откуда донеслось дружеское привѣтствіе... Каково же мое было изумленіе и радость!.. Я увидаль журавля нашей породы, спокойно и нѣсколько грустно смотрящаго мнѣ прямо въ глаза. «Попался, бѣдный товарищъ», покачалъ онъ головою. — «Ты какъ же здѣсь?» спросилъ я. — «О, я уже давно... уже третій годъ... меня нашли въ лѣсу отставшаго, больного, принесли сюда... и...» — «Что же ты не ушелъ?» — «Крылья подрѣзаны, пѣшкомъ не уйдешь!..» — проговорилъ онъ печально и чуть не заплакалъ. — Вотъ, погоди, подрѣжу и тебѣ!» У меня закружилась голова и въ глазахъ позеленѣло. Между тѣмъ, за дверью снова послышались голоса мужиковъ и бабъ. «Гдѣ же это журкѣ-то вновь изыманнѣй?» раздался чей-то вопросъ. — «А вотъ, батюшка, въ сарайчикъ къ вашему пока пустили. Подъ пару будетъ. Совѣтий одинъ къ одному, — ровненькие!..» — «Счастливая мысль, дружище, — торопливо заговорилъ мой товарищъ по плѣну: — сейчасъ взойдутъ. Навѣрное тебѣ, прежде всего, обрубятъ крылья... Дѣтай, что я тебѣ прикажу, — и ты спасенъ». — Спасенъ!.. О, если бы!.. — «Войдуть, — ты сиди въ углу смирно, не бойся!.. Относись къ людямъ довѣрчиво, какъ будто ручной, а я притворюсь дикимъ... Понялъ?» — «Понялъ». Едва только онъ успѣлъ это сказать, какъ дверь осторожно стала отворяться, и на порогѣ показались люди. Впереди всѣхъ старикъ, въ длинномъ сѣромъ подряснике и съ того заплетеною, сѣдою косичкою на затылкѣ, это и былъ самъ батюшка; за нимъ — двѣ косматыя, рыжія бороды, дальше, еще нѣсколько головъ, въ шапкахъ и безъ шапокъ, далѣе пестрѣли бабы платки, между ногъ пролѣзали блокуры дѣтскія головки... Дверь сараѧ была плотно загорожена человѣческими фигурами и внутри

ттого было несовсѣмъ свѣтло. Мой спаситель принялъ от-  
лянно биться и метаться по сараю, я же, помня совѣтъ,  
присѣлъ покойно у бочки и самыми невинными глазами смо-  
трѣлъ на все происходившее. — «Вотъ это мой умникъ!» про-  
таянулъ руку ко мнѣ батюшка и погладилъ меня по головѣ... Я  
ни гу-гу.— «Лови его, лови, ребятки!» загоняй въ уголь...  
Эко шустрый какой, сейчасъ видно, что дикій! Но мой вели-  
кодушный товарищъ по плѣну, бился какъ сумасшедший, не  
даваясь въ руки.— «Эй!—крикнулъ батюшка, замѣтивъ, что  
наконецъ моего товарища зажали въ самый уголь и нѣсколько  
человѣкъ навалились на него, какъ на меня передъ этимъ —  
«Эй, кто тамъ? Аришка! Добѣги къ матушкѣ, въ горницу,  
принеси веревку, да ножницы». — «Спасайся теперь!» просто-  
наль мой великодушный собратъ. И дѣйствительно была пора!  
Моментъ былъ самый благопріятный... Занявшись прежнимъ  
плѣнникомъ, вполнѣ убѣжденные, что онъ-то и есть новый,  
дикій, враги оставили меня совершенно безъ вниманія. Дверь  
сарая была отперта настежь; я въ два прыжка очутился на  
дворѣ, сбились съ ногъ Аришку, съ веревкою и ножницами и  
мигомъ взвился на воздухъ.— «Прощай, другъ!— успѣлъ я кри-  
кнуть своему несчастному товарищу.— Имя твое будетъ занесено  
въ исторію!» Воображаю ихъ физіономіи, когда они, глядя на  
мой полетъ, спохватились и сообразили въ чёмъ дѣло! Я ле-  
гѣль безъ оглядки. Никогда въ жизни не приходилось мнѣ ле-  
тать такъ скоро. Глядя на меня, никто-бы не подумалъ, что  
это журавль; навѣрное приняли-бы за ласточку или, по край-  
ней мѣрѣ, за орла. Съ розмаху чуть не ударился о сель го-  
ловой. Поднялся выше, зацѣпилъ за облако и разнесъ его  
въ дребезги... летѣль, летѣль... Но вы не подумайте, что это  
изъ страха—какіе пустяки! Страхъ это—чувство совершенно  
несвойственно журавлямъ вообще и мнѣ въ особенности. Я  
охотно бы остался еще немного посмотрѣть, что дальше буд-  
детъ, да вспомнилъ о васъ; мнѣ живо представилось ваше,  
совершенно понятное, беспокойство и волненіе, и я полетѣль  
васъ догонять. Удивляюсь, какъ это я обогналъ васъ, не за-  
мѣтивши!.. Вы какою дорогою летѣли?

Верхоглядъ окончилъ свой разсказъ этимъ вопросомъ, пред-  
ложеннымъ самымъ равнодушнымъ тономъ, и оглянувшись собраніе.  
— Великій подвигъ, великий! — проговорилъ Долгоносъ,  
Всезнайка.

— Достойный нашей великодушной и благородной породы! — подтвердил папа Горланъ.

— Я полагаю, — надменно произнесъ Верхоглядъ... — Вотъ вы все мнѣ не вѣрите, все подсмѣиваетесь.

Онъ, бѣдный, подумалъ, что это его величаютъ.

— Не о тебѣ рѣчь идеть, — обрѣзаль его нашъ старшина. — Ты только легкомысленный дуракъ, которому везетъ удивительно... я говорю о томъ, объ оставшемся... Ты говорилъ, что онъ уже три года въ плѣну?..

— Три года, — чуть слышно произнесъ окончательно смущенный вѣтреникъ.

— Ахъ, нельзя-ли вернуться... нельзя-ли его спасти! — засуетилась моя добрая сестренка.

Вся молодежь присоединилась немедленно къ ея возгласу.

— Спасти! — печально повторилъ Долгоносъ. — Журавль съ подрѣзанными крыльями уже не нуждается въ свободѣ. Ему все равно не прожить теперь, безъ покровительства человѣка...

— Да и, кромѣ того, онъ тамъ очень и очень нуженъ, — вмѣшался снова ободрившійся Верхоглядъ. — Не даромъ-же онъ и живетъ вмѣстѣ съ батюшкою. Онъ служить людямъ хорошимъ примѣромъ: мнѣ онъ успѣлъ шепнуть, что даже всѣ проповѣди сочиняетъ собственно онъ, а батюшка только учитъ наизусть и потомъ выдаетъ за свои.

— Опять ты за враче! экой ты, право, неисправимый!.. — остановилъ его папа... — Итакъ, дѣти мои, передъ сномъ пропляшемъ въ честь нашего героя-товарища торжественную пляску. Становись, начинай!

И мы всѣ, вытянувшись въ рядъ, исполнили самый замысловатый танецъ, несмотря на назойливый, холодный дождь, видимо зарядившій на всю ночь.

Верхоглядъ, ссылаясь на чрезмѣрную усталость, уклонился отъ этого обычнаго выраженія напіего торжественнаго настроенія духа.

## IX.

Только передъ утромъ стало разъясняться, подулъ холодный вѣтеръ, и мы поцеволь вспомнили эпизодъ съ дрофами... Надо было скорѣе согрѣться, а то просто крылья отказывались служить, какъ слѣдуетъ. Къ тому же и насчетъ покормки здѣсь было очень плохо: несчастное поле, принадлежащее нищенскому

выселку, было давно сжато и снопы свезены, а кругомъ, сколько не видѣлъ глазъ, ничего не замѣтно было путнаго.

Опытные путеводители наши успокоили нась сообщенiemъ, что на поддорогѣ встрѣтятся мѣста попривольнѣе... Въ дорогу, такъ въ дорогу!..

По мѣрѣ того, какъ мы подвигались къ югу, мѣстность мѣнялась значительно... Своего родного темно-зеленаго ельника мы уже больше не видали, да и красавица березка стала появляться все рѣже и рѣже.

За то, взамѣнъ ихъ, подъ нами разстидались кудрявые, дубовые лѣса, частью уже терявшіе свою листву, частью еще сохранявшиѣ свой роскошный уборъ... И какой пестрый—красивый! Золотисто-желтый цвѣтъ, признакъ наступившей осени, смѣнялся то огненно-краснымъ, то темно-бронзовымъ. Кое-гдѣ, ярко-зелеными ковриками, сквозили мокрыя полянки, усыянныя красными точками запоздавшихъ цвѣтовъ; дороги тянулись уже не сѣрыми пыльными лентами, а широкими, маслянисто-черными полосами, и по нимъ медленно ползли обозы телѣгъ, запряженныхъ волами. Волы эти были тоже особенные, большею частью свѣтло-сѣрые, съ громадными раскидистыми рогами, а около нихъ шли люди въ бараныхъ шапкахъ, въ бѣлыхъ рубахахъ и такихъ же широкихъ шароварахъ... Почти у каждого въ зубахъ дымилась трубочка, и шли они, понуривъ головы, лѣниво ступая по липкой, черноземной грязи дороги.

Встрѣчавшіяся намъ теперь деревни и села тоже были уже не того вида, что прежде. Здѣсь не было этихъ веселенькихъ, бревенчатыхъ домиковъ, съ высокими коньками и кружевной рѣзью по карнизамъ, съ рогатыми изгородями вокругъ, съ скрипучими воротами, усыянными блестящими шляпками гвоздей... Здѣшнія человѣческія жилища были приземистыя, съ глинеными, выбѣленными стѣнами, съ крохотными окопками и съ тяжело нависшими, гладко причесанными, соломенными крышами. На заваленкахъ, подъ окнами этихъ домиковъ,—«хатъ», какъ ихъ здѣсь называютъ, сидѣли сѣдоусые старики, опершись на палки, а около нихъ играли въ бабки, другое просто весело шлепали босыми ногами по сверкающимъ на солнцѣ, дождевымъ лужамъ; у колодца толпились крикливыя, по обыкновенію, бабы, споря о чёмъ-то, да такъ громко, что даже до нась долетали ихъ задорные голоса... Поодаль отъ жилья, на

возвышенныхъ мѣстахъ, выстроились цѣлые ряды вѣтряныхъ мельницъ, грозно маша своими растрепанными отъ вѣтра крыльями; у мельницъ тѣснились воза, нагруженные бѣлыми мѣшками, и распряженные волы дремали около, лѣниво перевевая свою вѣчную жвачку. Цѣлые города золотыхъ скирдъ окружали такія деревни, а далѣе тянулись безконечныя пространства убранныхъ полей и, уходя въ лиловатую даль, окутанная легкою дымкою пара, растягивались свѣжія пашни, а на нихъ кое-гдѣ, яркими пятнами, бѣлѣлись рабочіе волы, парами, по двѣ и по три — одна за другою, тяжело волоча за собою, глубоко врѣзавшіеся въ почву своимъ желѣзомъ, неуклюжіе плуги.

И эти поля тучного чернозема, и эти неустанно вертящіяся мельницы, и эти города золотыхъ скирдъ, и даже эта упорная медленность въ движеніяхъ — все говорило обѣ избыткѣ, сытости и довольствіѣ.

— Тутъ и на нашу долю хватить, — сообщилъ намъ папа и сталъ перекликаться съ главарями сосѣднихъ треугольниковъ.

Рѣшено было спуститься на старыя жнива, поодаль отъ села, гдѣ, какъ оказалось, можно было довольно таки пособрать забытыхъ, разоренныхъ отъ сноповъ, колосьевъ, да и такъ, просто высорившейся, спѣлой пшеницы.

Шумно и весело, хлопая крыльями и хоромъ протрубивъ сигналъ къ отдыху, мы спустились на жнива и тотчасъ же принялись за покормку.

Одинъ Верхоглядъ былъ не въ духѣ. Онъ даже не болталъ разнаго вздору, по обыкновенію, и, лѣниво потыкавъ носомъ въ сырую, податливую почву, присѣлъ въ борозду, подтянувъ свои длинныя ноги.

— Боленъ, что-ли? — заботливо подошла къ нему наша мамаша.

— Боюсь, ногу не повредили-ли мнѣ давеча, — отвѣчалъ Верхоглядъ. — Да и шея того, побаливать что-то начала! Просто повернуть не могу!

— Это отъ окошка, — замѣтилъ кто-то.

— Должно быть. Спервоначалу-то, въ горячкѣ, я не замѣчалъ, [а вотъ теперь здорово болѣть стала... гляди — индоухнетъ!]

Всѣ мы окружили нашего бѣднаго вѣтреника, выражали ему, какъ кто умѣлъ, свое соболѣзвованіе, а помочь чѣмъ не знали.

— Смотри, не расхворайся въ серьеzy! — замѣтилъ Долгоносы. — Отстанешь отъ міра — пропадешь!

— Я и то боюсь!.. Ну, да авось Богъ смируется... Только бы погодаостояла потешлѣе!

Порѣшили, чтобы Верхогляду съ этого перелета находиться въ хвостѣ, гдѣ полегче, и въ смѣну передовиковъ его не наряжать.

Подошелъ тутъ Долгоносы-Всезнайка, пытливо посмотрѣль на Верхогляда, а тотъ такую жалостную позу принялъ, что я чуть не заплакалъ, на него глядя.

Папа отошелъ съ нашимъ предводителемъ въ сторону и стали совѣщаться о чёмъ-то, все поглядывая искоса на бельного; очевидно, что предметомъ совѣщенія былъ именно онъ самыи.

Любопытная сестренка, бокомъ — да бокомъ, словно какъ увлекаясь зернышками, обильно разсоренными повсюду, подобрались поближе къ совѣщавшимся, и потомъ опрометью, не выдержала, и подбѣжала къ нашей группѣ... Глазенки у нея сверкали весело и радостно.

— Ничего, — проговорила она торопливо, — Долгоносы говорить, что нога и шея, это ничего: поболитъ и перестанеть. Вотъ крыло бы если, ну, тогда бѣда!.. Хотятъ теперь, ради него, пѣсколько дней перелеты дѣлать покороче, а привалы по-дольше. Старикъ сказалъ, что мы много уже про запасъ пути забрали; времени хватить.

— А ты, что болтаешь, сорока! — незамѣтно подошелъ тутъ папа и стукнулъ сестренку по затылку.

— Ай, папка! больно! — вскрикнула та... — ишь ты, «сорока»... самъ ты воробей!

И всѣ мы невольно расхохотались, такъ намъ смѣшило и не подходяще показалось — название «воробей», отнесенное къ такому рослому, красивому и статному журавлю, какъ нашъ папа.

Сестренка моя была общая любимица и ей многое прощалось, что несовсѣмъ согласовалось съ нашено сурою дисциплиною.

На этомъ привалѣ мы познакомились, между прочимъ, съ парою великолѣпныхъ аистовъ. Это были красивыя, бѣлыя долгоногія и долгоносыя птицы, съ черными хвостами и чернымъ же окаймленіемъ на концахъ крыльевъ, носы и ноги ихъ были ярко-краснаго цвѣта. Гнѣздо ихъ было на крышеї крайней хаты,

у самой печной трубы. Эта пара была молодежь, какъ и мы съ сестрою, нынѣшняго весенняго выводка, и тоже готовились къ отлету! Стадо ихъ паслось иѣсколько подальше, по болотистой низинѣ, а эти прелетѣли сюда къ намъ, просто изъ любопытства: познакомиться, какъ они говорили, съ знатными иностранцами.

Премилыя были и весьма образованныя птицы.

Онѣ только оказались совсѣмъ иного съ нами мнѣнія о людяхъ:—люди, какъ они говорили, весьма мирныя и пріятныя животныя, и даже состоять съ аистами въ большой дружбѣ, и сами аисты никогда не отказываютъ людямъ въ покровительствѣ. Гнѣзда свои аисты вьютъ, большою частью, на крылахъ человѣческихъ жилищъ, и даже на крестахъ и куполахъ церквей, выбирая вообще мѣста видныя, открытые и непремѣнно на солнцепекѣ.

— Терпѣть не можемъ,—говорили они,—этой сырой и скверной тѣни.

— А люди развѣ вѣсъ не Ѣдятъ?—просилъ одинъ изъ нашихъ.

— И не вымачиваютъ предварительно въ уксусѣ?—полюбопытствовалъ другой.

— О, никогда!—отвѣчалъ одинъ изъ аистовъ...—Они проинкунуты такимъ къ намъ уваженiemъ, что не осмѣлились бы... Да при томъ, они обязаны намъ за массу пользы, которую мы имъ приносимъ, и отсутствіе вреда.

— Какая же отъ вѣсъ польза?—спросилъ я, заинтересовавшись общимъ разговоромъ.

— А такая, что мы истребляемъ всякую гадость вокругъ ихъ жилищъ, убиваемъ змѣй.

— И никогда не трогаемъ ихъ хлѣба.

— Вкуса у васъ, значитъ, нѣтъ настоящаго,—язвительно замѣтилъ нашъ большой, пододвинувшись къ намъ поближе.

— О вкусахъ не спорятъ!—замѣтилъ, слегка поклонившись, одинъ изъ аистовъ...—Но во всякомъ случаѣ я не понимаю вашей боязни людей. Мы, напримѣръ, гуляемъ совершенно покойно по улицамъ и даже собаки на насъ не бросаются, гнѣзда нашихъ не трогаютъ, во время перестилки крыши даже поправляютъ, если что испортится за зиму, во время нашего отсутствія. А когда мы весною рано возвращаемся домой... О, еслибы вы видали тотъ живой восторгъ и радость,

съ которыми нась встрѣчаютъ люди! Наше возвращеніе для нихъ сущій праздникъ!

— Вы—одно дѣло, мы—другое,—вставилъ тутъ, молчавшій до сихъ поръ, нашъ папа.

— Позвольте мнѣ сказать слово,—вмѣшался Верхоглядъ. Онъ, по слухаю нездоровья, былъ въ желчномъ настроеніи духа и ему почему-то захотѣлось срѣзать зазпавшагося немножко аиста.

— Вы, господа, дѣйствительно оказываете иѣкоторыя услуги людямъ, но этого для нихъ мало. Люди вообще такие эгоисты, мнѣ издали это виднѣе—и чувство благодарности у нихъ неособенно развито, а спасаетъ васъ именно этотъ самый человѣческій эгоизмъ.

— Это какъ же?..

— А очень просто: вы, господа аисты, питаетесь всякою дрянью, какъ вы сами изволили выразиться, и потому ваше мясо ни къ черту не годится! Извините за рѣзкое выраженіе; наше же мясо, благодаря преимущественно растительной пищи, промаринованное и хорошо приготовленное, составляетъ весьма лакомое блюдо, и потому...

— Удивительное достоинство быть годнымъ для чужого желудка,—презрительно пожалъ плечами аистъ.

— Есть чѣмъ хвастаться!—добавилъ другой.

— Я и не хвастаюсь, это законы судьбы! я только объясняю главную причину вашей безопасности. Вотъ, напримѣръ, галки, вѣдь это совершенно уже, съ позволенія вашего, дрянь, а тоже чувствуютъ себя недурно подъ общею кровлею съ человѣкомъ.

Но тутъ папа замѣтилъ, что разговоръ принимаетъ острый характеръ, поспѣшилъ замять дѣло и перемѣнить тему.

— Господа, не забывайте, что благородные аисты наши гости въ данную минуту.

Только что онъ хотѣлъ продолжать, и навѣрное что-нибудь удачное, какъ тутъ одинъ изъ аистовъ сталъ уже придириаться.

Ему, видите, обидно показалось слово «гость».

— Какъ мы гости!—вспыхнулъ онъ.—Это вы здѣсь прилетные гости, а на этихъ поляхъ полные хозяева мы. Знаете ли вы, господа, что это все земли, принадлежащія нашему селенію?

— Не будемъ спорить, господа,—поспѣшилъ Долгоносъ,—

а лучше, вполнѣ признавая права господъ аистовъ на ихъ земли, мы можемъ надѣяться, что тѣ не откажутъ намъ въ гостепріимствѣ и позволять мирно окончить нашъ привалъ. Не правда-ли, господа!

— О, это другое дѣло,—отвѣчали разомъ, польщенные такимъ оборотомъ дѣла, аисты.—Мы тоже на-дняхъ собираемся въ длинный путь.

— Въ Каиръ?

— Да, можетъ быть и далѣе немногого.

— По нашему слѣду, значитъ.

— Свою дорогою. До свиданья, господа, счастливаго пути!

— До свиданья!

Аисты вѣжливо раскланились и улетѣли.

Когда они скрылись, папа проворчалъ имъ вслѣдъ: про-валивайтѣ! и сердито добавилъ:—А—жалы! этимъ зазнавшимся нахаламъ не мѣшало бы задать хорошую встрѣчу.

— Опасно!—замѣтилъ Долгоносъ.

— Эхъ, кабы я былъ здоровъ! — досадливо воскликнулъ Верхоглядъ.

— Опасно,—продолжалъ нашъ опытный вождь,—потому что тронъ мы только этихъ молокососовъ, какъ соберется громадная стая,—и намъ пришлось бы имѣть серьезное сраженіе.

— Такъ какъ я боленъ, то весьма для насъ невыгодное,—подхватилъ хвастунъ Верхоглядъ.

— Пожалуй!—улыбнулся Долгоносъ,—а, главное потому, что носы у аистовъ длиннѣе и крѣпче—это важнѣе! И по-вѣрьте, друзья мои, что и для сильныхъ міра самое мудрое правило—избѣгать войны, гдѣ можно кончить дѣло, хотя бы и плохимъ миромъ. Ну, пора въ дорогу!

Когда мы, выстроившись, поднялись довольно высоко и передъ нашими глазами развернулась чудная панорама съ далекимъ сипѣющимъ горизонтомъ, и, какъ на ладони—обозна-чился планъ обширнаго села, со всѣми его окрестностями, мы замѣтили громадную стаю аистовъ, собравшуюся у мельницы. Тамъ, очевидно, шли оживленные переговоры и оттуда доносились воинственные крики.

— Хорошо, что во время! — сказала наша мама.—Эво, сколько ихъ тамъ собралось! видимо-невидимо!

Верхоглядъ, летѣвшій на этотъ разъ позади всѣхъ, теперь сталь беспокойно оглядываться и даже поторопливать переднихъ.

Болѣзнь отнимаетъ бодрость духа, и нашъ герой сталъ не-  
много трусить. Незадолго до солнечнаго заката—передъ нами  
заблестѣла громадная рѣка, одинъ берегъ которой былъ го-  
ристъ и спускался крутымъ обрывомъ, другой же разстился совсѣмъ въ уровень съ водою, былъ покрытъ сплошь лѣсами,  
и въ темныхъ массахъ этихъ лѣсовъ свѣтились безчисленныя  
водные заливы—затоны, обрамленные густыми порослями потем-  
пѣваго камыша и осины. Длинныя песчаныя отмели тяну-  
лись вдоль этого низменнаго берега, и эти отмели были ожив-  
лены стаями утокъ, дикихъ гусей, куличковъ и всякой мелкой  
водяной птицы.

— Днѣпръ! ребята!—крикнулъ намъ папа Горланъ.—Это  
все перелетныя собрались. Здѣсь у нихъ главное становище:—  
тутъ и мы спустимся на ночь и на весь слѣдующій день.

— Дневка!—подтвердилъ Долгоносъ.

— Дневка, дневка!..—радостно загудѣло по всему клину  
и отозвалось въ другихъ, сосѣднихъ.

## X.

Боже мой! какимъ шумомъ, гамомъ, галдѣніемъ и пискомъ  
встрѣтило нашъ слетъ все многочисленное, временное, какъ и  
мы сами, населеніе одного изъ затоновъ, еще издали намѣчен-  
наго нами для ночлега.

Здѣсь были стаи сѣрыхъ чирковъ, занявшихъ окраину ка-  
мышей; на срединѣ затона плавали группами дикіе гуси, глубо-  
око ныряя за рыбкою; между ними замѣщались черные га-  
гары и нырки, въ пескѣ копошились долгоногіе кулички, бойко  
шинырящіе по мелкимъ лужицамъ, правѣе, у старой, подгнившей,  
полусвалившейся ивы, стояло десятка два угрюмыхъ кол-  
пичъ, съ широкими носами-лопatkами; гдѣ-то дальше, въ чаѣ  
осоки, протяжно, словно мычаніе вола, гукали выпи... И не  
перечесть просто кого, кого тутъ не было.

Мы же, чтобы не особенно беспокоить прежде насъ при-  
бывшихъ, заняли сухую полянку, саженяхъ въ двадцати отъ  
воды, всю сплошь покрытую мшистыми кочками. Здѣсь росло  
много ежевики, превкусной такой ягоды, и кроме того попадались  
жолуди, такъ какъ здѣсь преобладалъ лѣсъ дубовый,  
хотя и не очень уже рослый... Если бы эти жолуди были не  
такъ тверды, право это было бы недурное блюдо... Мы попро-

бовали, болѣе изъ любопытства, но, въ виду лучшаго, ограничились только пробою.

Съ нашей стороны можно было обозрѣвать весь затонъ и кромѣ того значительную часть самой рѣки, по которой въ данную минуту медленно плыла грузная барка съ громаднымъ бѣлымъ парусомъ... На баркѣ виднѣлись люди, но это было такъ далеко отъ насъ, что мы не беспокоились никакъ.

Часовые наши запяли мѣста очень удачно, что было весьма трудно, такъ какъ мѣстность оказалась закрытою, и количество часовыхъ пришлось значительно увеличить.

Въ эту ночь пришлось итти на стражу и мнѣ съ сестрою; той очень хотѣлось спать, но сознаніе важности поста невольно разгнало дремоту.

Всѣ эти распоряженія и разстановки были окончены засвѣтло, и съ наступленіемъ темноты всѣ мы отлично освоились съ мѣстностью и вообще положеніемъ нашего лагеря.

Солнце сѣло, а съ его закатомъ мало-по-малу стихъ разнобразный говоръ и шумъ становища, и всю окрестность затянуло сплошнымъ, густымъ туманомъ, и въ этомъ туманѣ скрылись очертанія дальняго нагорного берега и даже темныя группы близко подступающаго къ намъ дубового лѣса.

Дневные голоса и звуки смѣнились новыми, невсегда попятными, полными страшной таинственности. Становилось невольно жутко на душѣ, словно предчувствовалась какая-то неотразимо надвигающаяся на насъ, смертельная опасность.

Вѣроятно, это съ непривычки такъ мнѣ казалось... Это была первая ночь моей сторожевой службы.

Сестра моя, которая торчала неподалеку отъ меня, незамѣтно, словно нечаянно, пододвинулась ко мнѣ поближе.

— Развѣ можно? — замѣтилъ я.

— Страшно! — созналась она, совершенно откровенно.

Къ полуночи туманъ сталъ рѣдѣть и надъ нашими головами вызвѣздилось темное ночное небо. Стало очень холодно.

Снова чутъ обозначился противоложный берегъ и ясно проплыла покойная лента величавой рѣки.

Вдругъ я замѣтилъ, что по этой рѣкѣ беззвучно движутся какие-то темные предметы... Какъ я ни присматривался къ нимъ, я ничего не могъ разсмотреть подозрительнаго: это просто были кучи хвороста и тростника, плывущіе по теченію, но откуда онѣ взялись?.. Зачѣмъ онѣ плывать очень уже—

какъ будто правильно, наконецъ, и не совсѣмъ по теченію, а забираютъ какъ будто бы наискось, какъ разъ къ стаямъ утокъ и гусей, сбившихся теперь вплотную, къ берегу...

Я тихонько посовѣтывался съ сестрою. Та тоже ничего не понимала и посовѣтовала сходить за папою, или кѣмъ-нибудь изъ старшихъ, сама и вызвалась.

Это было очень благоразумно. Не поднимать же сразу тревоги. Okажется послѣ вздоромъ, и поднимутъ насъ, новичковъ, на смѣхъ.

Не прошло и пяти минутъ, какъ къ намъ подошелъ папа. Онъ тоже замѣтилъ, что и я, и вглядывался теперь въ подпывающіе предметы съ явнымъ беспокойствомъ.

— Дѣгадываюсь,—пробормоталъ онъ...—Тревогу!

И тотчасъ же затрубилъ самъ; часовые затрубыли дружно.

Не успѣли наши голоса прогремѣть надъ соннымъ лагеремъ, какъ изъ подозрительныхъ плавающихъ кучъ вспыхнули огни, взвились дымки и оглушительно грянули выстрѣлы.

Боже, что произошло!

— Охотники, охотники!—раздались со всѣхъ сторонъ крики ужаса и отчаянія... Все сонное встряхнулось и съ оглушительнымъ хлопаньемъ крыльевъ ринулось къ лѣсу.

Мы тоже поднялись высоко надъ лѣсомъ и теперь намъ было видно все ясно. Къ намъ въ затонъ, пробавшись по узенькому проливу, подплыли три лодки, ловко прикрытыя хвостомъ, въ нихъ сидѣли люди съ ружьями и теперь безпощадно палили по сплошнымъ стаямъ утокъ, въ смертельномъ страхѣ мечущимся въ разныя стороны и снова возвращающимся подъ убѣйственный огонь охотничихъ ружей.

Подстрѣленные, раненые и убитыя птицы звучно шлепались въ воду, разводя по ея поверхности окровавленные круги... утиные трупы несло по теченію и прибивало къ отмелямъ. Большой сѣрый гусь, съ подбитымъ крыломъ, наискось спускался къ лозняку—пытаясь спастись хоть въ его чащѣ, но его догналъ второй выстрѣлъ, и онъ, жалобно застонавъ, перевернулся и грузно ударился всѣмъ тѣломъ о песокъ.

А безпощадные охотники все палили и палили.

Наконецъ несчастныя жертвы догадались и всѣ сплошь потянулись къ лѣсу. Огонь прекратился...

Тогда охотники стали собирать добычу и укладывать въ свои лодки. Они все-таки далеко не могли подобрать всего, что

набили: много тѣль унесло теченіемъ, много осталось въ осокѣ неразысканныхъ, но и то лодки были наполнены чуть не до краевъ... Такая это была ужасная, безпощадная бойня.

Охотники причалили къ берегу и стали разводить огонь. Скоро запыпало красное пламя и освѣтило ихъ фигуры и лица. Одинъ изъ нихъ сталъ ощипывать бѣднаго покойника чирка, другой поставилъ къ огню котелокъ съ водою... Нѣкоторые раздѣлись и начали купаться... А мы все это наблюдали, опи-сывая въ воздухѣ, высоко надъ ихъ головами, широкіе круги.

— Дальше, дальше отсюда! — послышались между нами нерѣшительные голоса.

— Куда дальше!? — отозвался папа, — здѣсь мы въ безопасноти, а спустимся — пожалуй, опять нарвемся на худшее.

И, дѣйствительно. Едва только онъ это произнесъ, какъ далеко, ниже по теченію, опять послышались выстрѣлы и опять замелькали зловѣщіе огоньки.

Это новая партія атаковала другое, еще болѣе многочислен-ное становище переселенцевъ.

Новая кровь! Новая бойня!

Стало понемногу разсвѣтать.

Мы теперь подались ближе къ нагорному берегу и, высмо-трѣвъ удобное мѣсто, стали потихоньку спускаться, оставивъ небольшую партію нашихъ для наблюденій надъ врагами.

А тѣ выкупались, выпили чего-то изъ бутылокъ, поѣли, по-болтали, посмѣялись вволю... и стали усаживаться въ лодки.

Усѣвшись, они направились тоже къ нагорному берегу, гдѣ, мы теперь замѣтили, раскинулось селеніе съ церковью и красивыми фруктовыми садами. Около этого селенія, вплотную у берега, стояло нѣсколько громадныхъ барокъ съ мачтами и надъ одною высилась черная труба, начавшая дымить до-вольно усердно.

Посовѣтавшись немного, мы рѣшили вернуться на преж-нюю стоянку. Теперь тамъ уже совсѣмъ безопасно, какъ объяснилъ намъ Долгоносъ. Охотники вполнѣ убѣждены, что дичь вся распугана ихъ ночною аттакою и нескоро соберется на потревоженномъ мѣстѣ.

Мы возвратились какъ разъ передъ восходомъ солнца и съ ужасомъ смотрѣли на свѣжіе, кровавые слѣды недавняго побоища.

— Пойди-ка сюда! — неожиданно подозвалъ меня отецъ. Да и ты тоже, обратился онъ къ моей сестрѣ.

Оба мы, не знаю почему, сконфузились и явились на зовъ.

Мнѣ казалось, что я вполнѣ правильно и честно исполнилъ свой долгъ и потому совѣсть моя была покойна.

Папа отвелъ насъ незамѣтно въ сторону, такъ, чтобы другіе не слышали.

— Вотъ видите,—началь онъ,—что значитъ терять напрасно золотое время. Если бы вы, замѣтивъ во время подозрительные предметы, сразу, не посыпая за мною, а на свою отвѣтственность, подняли бы тревогу, то это было бы своеевременно и охотники остались бы съ посомъ... крови бы пролито не было. А вы все раздумывали, да соображали, да за мною посыпали, время и ушло... дѣло вышло дрянь!

— Я, папа,—началь я оправдываться,—я боялся даромъ потревожить, потому что надо мною насмѣшки пошли.

— И бѣды въ томъ никакой нѣть!.. посмѣялись бы да и перестали, а то посмотри сколько народу перебито, сколько теперь сиротъ и вдовъ!

— Папа, наши всѣ цѣлы...—началь было я.

— Наши!..—передразнилъ папа, разсердившись совершенно неожиданно,—что такое «наши». Всѣ «наши», всѣ одинаковы должны быть «нашими»... это люди только выдумали глупости — будто есть чужие и наши; есть разныя порѣды — это правда; есть и разныя интересы у породъ, сообразно ихъ свойствъ и привычекъ, а когда дѣло касается жизни и смерти,— это для всѣхъ одинаково; «наши»... ишь ты какой аристократъ!..

— Папа, — вмѣшалась тутъ сестра; она какъ-то смѣльче спорила съ отцомъ, чѣмъ я.

— Ну, что скажешь?

— Отчего же гуси сами себя не берегли и утки тоже... Что же мы за всѣхъ должны стараться?!

— Отчего?!. Они тоже стерегутъ, да не умѣютъ; у нихъ вотъ этого меныше, чѣмъ у насъ, журавлей.

Папа легонько ткнулъ ей въ лобъ своимъ носомъ.

— А если намъ Богъ далъ лучшія способности, то мы и обязаны служить этими способностями и себѣ, и слабѣйшимъ насъ. Этимъ только мы и можемъ отблагодарить Бога, даровавшаго намъ высшія исключительныя способности... поняли!

— Поняли!—сказали мы съ сестрою въ одинъ голосъ.

— Ну,—сказала мама,—довольно ужъ имъ головы мыть!

Дѣти, чай, устали на службѣ за ночь, да перетревожились; имъ бы заснуть часокъ, а ты съ нравоученіями!

— Ничего, это впередь пригодится, — улыбнулся папа и пошель розыскивать Долгоноса, да кстати провѣдать больного Верхогляда, который куда-то забился и его не видать было, — должно быть за кочками, гдѣ подремать приткнулся.

До полудня насть никто больше не тревожилъ и мы успѣли отлично выспаться.

Рѣшили сократить дневку. Впечатлѣнія кровавой ночи разстроивали наше спокойствіе, и рѣшено было послѣ полудня сниматься и летѣть далѣе, придерживаясь пока теченія Днѣпра, вплоть, какъ разсказывали намъ, до города Кіева, и оттуда уже предполагалось взять немногого западнѣе, по направленію къ дунайскимъ гирламъ.

## XI.

«Чудень Днѣпръ при тихой погодѣ, когда вольно и плавно мчитъ сквозь лѣса и горы полныя воды свои...» Ахъ, это я увлекся и заимствовалъ у другого писателя... У кого, господа, не помните ли?

А, дѣйствительно, «чуденъ Днѣпръ!..» не знаешь просто чѣмъ любоваться больше: — правымъ ли гористымъ берегомъ, гдѣ крутые склоны сползаютъ прямо въ глубину водъ, отражаясь въ нихъ своими густо поросшими лѣсами гребнями, или безконечнымъ зеленымъ просторомъ лѣваго, низменнаго, богатымъ ковромъ разстилающагося вплоть до сплошной синевы безконечной дали! И тутъ, и тамъ разбросаны живописные городки и селенія, съ бѣлеными хатками, ютащимися въ зелени садовъ, съ церквами, съ отдельными богатыми барскими усадьбами, съ оживленными народомъ пристанями, съ ихъ кипучею жизнью.

А по рѣкѣ, и тяжело вверхъ, и легко, словно весело внизъ — тянутся и бѣгутъ торопливо суда, плотовъ и барки, подъ парусами, то мучительно береговою лямкою... пыхтятъ и шумятъ колесами красивые пароходы, оставляя въ воздухѣ длишне слѣды чернаго дыму... и въ этомъ дыму и, вылетая на просторъ, рѣять и носятся съ крикомъ бѣлые чайки — мартыники, то задѣвал крыломъ водную поверхность, то ныряя въ глубь и вновь появляясь на свѣтѣ съ серебристою блесткою — рыбкою въ клювѣ...

Тамъ и сямъ, ярко выдѣляясь въ синевѣ водѣ, желтѣютъ длинныя, согрѣтыя солнцемъ, отмели, и на нихъ жизнь такъ и кипитъ, такъ и бѣть ключемъ... Здѣсь становище рыбаковъ раскинуло свои сѣти для просушки,—тамъ смолять выволоченное на берегъ, пузатое днище разсохшейся барки, тамъ вяжутъ безконечно длинныя плоты бревенъ, тамъ, въ тѣни обрыва, на узенькой береговой полосѣ, пріютилось отдыхающее стадо, пригнанное для водопоя, а неподалеку, красивою ярко цвѣтною гурьбою, пришли бабы и дѣти купаться, и съ веселымъ смѣхомъ плещутся въ водѣ, перекрикиваясь съ проходившими мимо судами.

Круто-рогѣ волы забрели въ воду, чуть только спины виднѣются, и стоять, молчаливо наслаждаясь прохладою, спасаясь отъ назойливыхъ осеннихъ слѣпней и оводовъ.

Тысячи ручейковъ и рѣчекъ стремительно, сбѣгая по оврагамъ, вливаютъ свои воды въ общее, гостепріимное русло, шумить гдѣ-то неугомонное мельничное колесо, и издалека, волною несется колокольный звонъ-благовѣстъ... это съ той стороны, гдѣ чуть-чуть начинаютъ выясняться въ туманѣ группы монастырей и храмовъ колосального города...

— То Кіевъ, — оповѣстилъ насъ Долгоносы.—Давно онъ стоить тамъ. И дѣды, и прадѣды наши летали, да что прападѣды!.. Тысячи поколѣній журавлиныхъ пролетали мимо, и всегда именно здѣсь, у Кієва, немножко на западъ, къ дунайскимъ гирламъ сворачивали.

— Старый городъ,—согласился нашъ папа.

— Великолѣпный городъ! — вскрикнула и моя сестра.— Только знаешь ли что? — добавила она, — если бы эту рѣку, Днѣпръ вашъ, да къ тому городу, помнишь, большому такому, тоже съ множествомъ церквей и домомъ подъ золотой крышею а ту маленькую сюда, то пожалуй...

— Если бы тебѣ да павлинный хвостъ,—перебилъ, засмѣявшись, Верхоглядъ.

Онъ сталъ поправляться и потому шутить.

— Да еще,—добавилъ онъ,—олены рога на голову, то пожалуй изъ тебя вышло... чортъ знаетъ, что изъ тебя вышло бы, а только не такая красивая, стройная журка, какъ ты сама.

Сестра хотѣла было обидиться на эту насмѣшку, но конецъ, очевидно, ей полѣстилъ и она кокетливо улыбнулась.

— Вѣчно съ остротами!

А между тѣмъ мы все приближались и приближались къ этому великолѣпному городу.

Расположенный на горномъ берегу, терассами спускаясь къ рѣкѣ, отражаясь въ ней, какъ въ зеркалѣ, своими разнообразными здашими, Кіевъ поражалъ насъ своею величественною красотою. Гребни горъ, увѣнчанные монастырями, старинными храмами, съ тысячами золотыхъ и ярко-цвѣтныхъ главъ, съ тысячами причудливо-вырѣзныхъ крестовъ, такъ ясно, такъ отчетливо рисовались на голубомъ небѣ... Раскошные сады сбѣгали по склонамъ, лѣпились по карнизамъ обрыва, то развертываясь широкими площадями, то тѣнистыми аллеями, обрамливая длинныя, многолюдныя улицы.

Два желѣзныхъ моста, хитро перекинутые черезъ широкій Днѣпръ, связывали городъ съ луговою стороною; по одному изъ нихъ, съ грохотомъ и громомъ, катились желѣзнодорожные поѣзда, по другому, легко постукивая, двигались повозки и экипажи и, съ котомками за плечами, брели длинныя вереницы пѣшеходовъ. Дальше, почти сливаясь съ главною массою города, возвышались снова соборы и храмы, обнесенные тяжелыми, каменными, зубчатыми стѣнами; вдоль этихъ стѣнъ толпились несметныя группы людей, тоже съ котомками, то покойно отдыхающія въ тѣни стѣнъ, то торопливо тѣснящіяся въ темныхъ аркахъ воротъ.

Рѣзкими, черными пятнами въ пестрыхъ толпахъ выдѣлялись люди въ длинныхъ одеждахъ, въ высокихъ черныхъ клобукахъ; они расхаживали степенно, важно, и прочие относились къ нимъ съ особою почтительностью.

Далѣе, за городомъ, правильными квадратами, бѣльлись палатки военного лагеря; тамъ блистало оружіе и слышались ружейные выстрѣлы, напугавшіе насть сначала, но потомъ, когда мы замѣтили, что эти выстрѣлы, напугавшіе насть сначала, но потомъ, когда мы замѣтили, что эти выстрѣлы къ намъ вовсе не относятся, оставлены нами скоро безъ всякаго вниманія.

Мы пролетѣли надъ этимъ лагеремъ, отвѣтили своими трубами на ихъ сигнальные рожки и трубы,—и скоро сѣрая мгла предвечерняго зноя и тучею стоящая надъ всѣмъ пространствомъ города пыль—стали затягивать какъ дымкою, чудную панораму. Мало-по-малу затихалъ городской шумъ, вовсе затихъ. Голубая лента Днѣпра отошла влѣво, а подъ нами разстилались

снова равнины полей и межъ ними прямая, какъ стрѣла, полоса большой каменной дороги.

Должно быть, на этотъ разъ мы забрались очень высоко. Солнце еще не дошло до горизонта, мы видѣли полное очертаніе его багрово-краснаго круга, а внизу, подъ ногами, уже спустилась ночная тѣнь и потухли въ этой тѣни послѣднія жаркія блестки монастырскихъ крестовъ, потухъ и золотистый блескъ, на поверхности Днѣпровскихъ разливовъ, чуть уже видныхъ отсюда, исчезающихъ безслѣдно въ сплошномъ туманѣ наступающей ночи.

Мы спустились опять на жнива, на совершенно открытой, удобной вполнѣ для наблюденій мѣстности, а потому для ночлега совершенно безопасной.

Заснули мы немедленно и крѣпко; такъ крѣпко, что когда я раскрылъ глаза, утренняя заря успѣла уже разлиться чуть не въ полнеба и послѣднія звѣзды чуть теплились, утопая въ блескѣ наступающаго дня.

— Шестой день пути! — оповѣстилъ насъ Долгоносъ... — Ого! Вотъ что значитъ здоровая молодежь, не то что прошлое лѣто. Важно отмахали.

— Въ прошломъ-то году мы сюда только на девятый попали, — сообщилъ папа.

— Да и то съ убылью! — вздохнувъ, добавила матушка.

— Если лѣтѣть съ толкомъ, — вмѣшался въ разговоръ одинъ изъ старыхъ журавлей, дядя «Клу-Клу» — то можно весьма успешно путешествовать. Странно только, что мы здѣсь другихъ журавлей не встрѣтили изъ-подъ Урала, имъ-бы тоже пора здѣсь быть. Будемъ ждать, что-ли?

— А можетъ они раньше протянули, надо-бы справиться, — сказалъ папа.

— А вонь дрофы бродятъ; тѣ здѣшнія... у нихъ-бы спросить!

— Можно.

Дѣйствительно, не болѣе какъ въ верстѣ отъ насъ наслѣсъ табуномъ какія-то крупныя, тяжелыя птицы, нѣкоторыя изъ нихъ, поднявъ головы, видимо, съ любопытствомъ посматривали въ нашу сторону. Кромѣ того, по близости, шурша по жниву, кашошилось стадо куропатокъ, а почти между нами довольно шныряли крохотныя миловидныя перепелки.

Тамъ и сямъ слышался рѣзкій свистъ, и мы замѣтили какихъ-то маленькихъ, пестрыхъ звѣрьковъ — столбиками торчав-

шихъ на степныхъ кочкахъ... посвистить и спрячется, вновь покажется, станетъ на дыбки, свиснетъ и юркнетъ въ порку.

— Эко пынче сусликовъ, что здѣсь,—замѣтилъ дядя «Клу-Клу», то-то хлѣбу отъ нихъ здорово досталось!

Папа съ двумя журавлями полетѣлъ къ дрофамъ наводить справки, а мы мирно паслись, разговаривая о томъ, о семъ, какъ изъ небольшой лощины появился страшный, сѣрий звѣрь, робко оглянувшись направо и налево и медленно, лѣнивою рысью побѣжалъ черезъ поля; по его торчащимъ ушамъ, по злымъ, налитымъ кровью глазамъ и по озлобленно оскаленному рту мы узнали волка. Животное должно быть очень устало, языкъ вывалился на сторону и густая пѣна валила изо рта, хвостъ былъ опущенъ и чуть не волочился по землѣ.

— Удирать!—мелькнуло у насъ въ головахъ, по тотчасъ-же мы сообразили, что не стоить. Волку было не до насъ. Онъ злобно и, вмѣстѣ съ тѣмъ, трусливо оглядывался назадъ и, наконецъ, пріостановился и припалъ къ густо-поросшей бурьяномъ межѣ, тяжело дыша и зализывая себѣ заднюю лапу.

Тутъ мы замѣтили вдали еще нѣсколько точекъ, болѣе опасныхъ для насъ, чѣмъ этотъ четвероногій хищникъ. Это были два всадника, шагомъ щахвшіе не сюда, а какъ будто-бы въ сторону, у каждого на веревкахъ были по двѣ тощихъ собаки, за спиной у одного блестѣло что-то металлическое.

— Не ружье-ли?!—подумали мы.

— Нѣтъ, рожокъ,—словно угадаль нашу мысль Долгопосъ.—Этихъ бояться нечего... намъ—то-есть нечего, а тому, подлецу, плохо придется.

Такимъ нелестнымъ эпитетомъ нашъ предводитель обозвалъ спрятавшагося въ межѣ, измученного долгою погонею, волка..

— Не замѣтять они... Богъ дастъ,—предположилъ я.

— Замѣтили уже. Вишь ты хитрятъ... стороною забираютъ, все правѣе да правѣе. Туда-то ему подастъся некуда, такъ съ той стороны отхватываются.

Тутъ мы увидѣли, что дѣйствительно некуда: изъ-за складки мѣстности, словно изъ-подъ земли, еще вынырнуло двое верховыхъ и рысью подвигались впередъ... тоже съ собаками на своркахъ.

Замѣтилъ этихъ новыхъ и волкъ и, выбравшись изъ межи, ходкою рысью, даже въ прискачу, пошелъ наутекъ; хотѣлъ было назадъ, въ балку, да тамъ уже двое первыхъ выѣхали,

увидали звѣря и, спустивъ собакъ, понеслись во весь духъ, щелкая арапниками.

Мы были насторожѣ, но не улетали... очень уже интересно было посмотреть, чѣмъ кончится дѣло.

Волкъ метнулся въ сторону и понесся, какъ стрѣла. Струйка сѣрой пыли выдавала его въ бурьянѣ, обозначая дорогу, а тамъ ему наперерѣзъ неслись новые преслѣдователи.

Первая пара собакъ налетѣла на звѣря, сшиблись; какая-то собака громко завизжала и отскочила прочь. Волкъ вырвался и опять наддалъ ходу, значительно опередивъ собакъ, круто повернувъ въ сторону.

— Уйдетъ... Слава Богу!—вскрикнула сестра.

— Уйдетъ, уйдетъ!—обрадовались и мы.

Но тутъ мы вспомнили корову съ теленкомъ и въ наши сердца закралось злое чувство, хотя и заслуженной мести.

Дѣйствительно, волку приходилось плохо: одна изъ собакъ, самая крупная, которая съ острою вытянутую мордою, съ рожкойной бѣлой бахрамою на сильныхъ ногахъ, какъ молнія, вынеслась впередъ... волкъ припалъ и собака пронеслась надъ нимъ мимо; бѣдный хищникъ присѣлъ и защелкалъ зубами, потомъ стремительно рванулся опять въ сторону—опять, собравъ послѣднія усилия, заскакалъ, уже вдоль межи... свѣжая собака вся черная, какъ смоль, легкая и красива, наскочила на него и вѣпшилась въ ухо. Первая оправилась и со всего размаха ударила волка грудью въ бокъ. Всѣ троє, съ дикимъ воемъ, покатились по пересохшей, кочковатой почвѣ жнива. Еще подоспѣли собаки... Наконецъ, одинъ изъ всадниковъ подскакалъ въ плотную, быстро спрыгнулъ на землю и выхватилъ изъ-за пояса ножъ.

Что-то произошло ужасное! Человѣкъ, собаки, звѣрь—все слилось въ одну безобразную кучу... Раздался раздирающей душу вой,—и все стихло разомъ.

— Го-го-го!—заоралъ во все горло человѣкъ, поднявшись на ноги и вытирая окровавленное желѣзо ножа.

— Го-го-го!—отвѣчали, подскакивая къ мѣсту боя, остальные всадники. Несчастный волкъ корчился въ послѣднихъ судорогахъ, растянутый крестомъ замершими въ схваткѣ собаками.

Поѣхали охотники дальше и увезли съ собою волчье тѣло. Вернулся и папа изъ гостей, отъ дрофъ... говоритъ, что дрофы не видали до сихъ поръ журавлей; мы, молъ, первыя прилетѣли

за эту осень, но что, моль, слухъ пошелъ, будто скоро должны по-  
жаловать... голуби дикіе пролетали, они видѣли третьяго дни.

— Видѣли, такъ видѣли!.. А тутъ что было? — спра-  
вился папа.

— Да, волка травили. Вонъ поволокли.

— Ловко!

— А что, дѣдушка,—припомнила тутъ сестрица:—что это  
было: разбой или промыселъ?

— Ахъ ты, шустрая!—ухмыльнулся дѣдъ Долгоносъ, при-  
помнивъ къ чему рѣчь идетъ.

— Это видишь ты, если хочешь, промыселъ... а еще скорѣе—  
заслуженная казнь за разбой и воровство «со взломомъ», то  
бишь, я хотѣлъ сказать, съ перекусываніемъ глотки. Казнь  
жестокая, но заслуженная вполнѣ.

— Бrr... какъ страшно!

— Съ непривычки!—презрительно произнесъ Верхоглядъ.—  
Я разъ въ Египтѣ видѣлъ: люди казнили людей-же. Это были  
бѣлые люди, одѣтые съ ногъ до головы, а казнили они чер-  
ныхъ людей совсѣмъ голыхъ, а потомъ въ другомъ мѣстѣ—  
я видѣлъ черныхъ людей, голыхъ, которые казнили бѣлыхъ,  
одѣтыхъ. Вотъ это такъ, по истинѣ, было ужасное зрѣлище!

— За что же они казнили?—полюбопытствовало нѣсколько  
голосовъ разомъ.

— Должно быть за дѣло. Я только не могъ узнать за  
какое именно.

— Ну, что вздоръ болтать, дѣтей на ночь тревожить,—  
перебила матушка. — Великій грѣхъ передъ Богомъ, пролитіе  
крови... у насъ, слава Богу, у журавлей, этого не водится.

— А у аистовъ есть!—замѣтилъ Верхоглядъ...—я видѣлъ.

— У людей научились!—отрѣзала мама.—Больно уже сжи-  
лись вмѣстѣ!

— У дрофъ вотъ, — началъ рассказывать папа, — вчера  
подъ вечеръ тоже бѣда большая приключилась.

— Что такое?

— Да подстрѣлили у нихъ охотники четыре штуки... и  
какъ, подумаешь, хитро дѣло устроили. Вотъ правду говорять:  
«вѣкъ живи—вѣкъ учись»:—свернули къ пимъ съ дороги два  
воза съ соломою.—Ну, думаютъ дрофы, это не бѣда, не опасно!  
а не тутъ-то было. Ёдуть возы мимо, тѣ глядѣть, какъ дуры,  
бѣды не чуютъ. Пробѣхали, близко-близко, и пошли кругъ за-

гибать. Да уже съ другой стороны выскочила изъ-подъ соломы охотникъ и выпалилъ. Далеко,—не пошаль! Дрофы снялись, да низкомъ, низкомъ, а съ возовъ-то раньше двое соскочили и залегли въ бурьянѣ, дрофы ихъ сперва не замѣтили. Пошли птицы на утекъ, да на залегшихъ этихъ и налетѣли. Хлопъ, да хлопъ... готово! Теперь, говорять, будемъ осторожнѣе.

— Осторожная птица тоже, — замѣтилъ Долгоносъ, — да приста болѣю, забывчива.

— Я разъ такъ спасъ цѣлое стадо,—вмѣшался Верхоглядъ.—Тоже при мнѣ заѣзжали этакъ, я замѣтилъ, да и кричу дрофамъ: берегись! Не туда! Сюда! Слава Богу, послушались.

— Эхъ, у тебя на всякий случай своя исторія!—засмѣялся Долгоносъ.—Ну, ладно! если и не было этого, то во всякомъ случаѣ могло-быть и очень похвально... Молодчина!

— Что-же тутъ неправдоподобнаго!—обидѣлся слегка Верхоглядъ. — Я, право, не понимаю!.. Вотъ, напримѣръ, хотите вѣрить—хотите неѣть, мнѣ все равно, но со мною былъ однажды такой случай: подкрался я разъ къ охотнику, тотъ спалъ крѣпко... Должно быть былъ пьянъ, потому что около него валялась пустая бочка отъ водки. Вижу—лежитъ заряженное ружье. Думаю:—прекрасно! Я сейчасъ это ружье—хватай!—и поднялся съ нимъ на воздухъ... Тяжело ли мнѣ показалось, неловко ли я взялъ, только вздумалъ перехватить па лету по-удобнѣе—въ эту минуту ружье выстрѣлило само собою... Это бы еще ничего, но, подумайте:—какъ разъ мимо летѣль громадный орелъ и несъ въ когтяхъ куропатку — зарядъ попалъ прямо ему въ голову.—Тотъ крикнулъ, перевернулся и кубаремъ полетѣль на землю, да такъ хлопнулъ, что даже перья врозь полетѣли... Спустился я тоже... а куропатка жива!.. Протягиваетъ мнѣ лапку и говоритъ: «Благодарю, мой благородный избавитель. — Благодарю!.. Вы спасли мать ста двадцати семи дѣтей». Что же!.. Смотрю: — выбѣгаешь изъ травы цѣлая туча; дѣйствительно, я сосчиталъ сто двадцать семь штуокъ... и всѣ пишать: «благодаримъ, благодаримъ». Я былъ тронутъ до слезъ—говорю имъ: «будьте счастливы, а я исполнилъ только мой долгъ...»

— Ахъ ты забавникъ!—расхохотался во все горло напа...— Право! съ нимъ не пропадешь со скуки...

— Правда?—серъезно посмотрѣла въ глаза разскажика моя сестрица.

— Развѣ же я когда-нибудь лгу... развѣ я способенъ...

— Ну, спасибо!..

И сестра моя нѣжно пощекотала у него подъ крыломъ своимъ носикомъ.

Маменька многозначительно проговорила — гм! — и покосилась на папеньку. А папенька тоже повторилъ два раза «гм, гм!» и при этомъ добавилъ вполголоса, но довольно громко:

— Блажь!

## XII.

Дѣйствительно, голуби не солгали. Не успѣли мы перекочевать съ нашихъ полей, какъ около разсвѣта послышался знакомый намъ родной свистъ и шумъ могучихъ крыльевъ, и громадная новая стая журавлей спустилась, не смѣшиваясь, однако, съ нами.

Съ ихъ стороны сейчасъ же отдѣлилось нѣсколько, должно быть, старшихъ, и навстрѣчу имъ важно выступили наши. Долгонось и папа, конечно, первые: Верхоглядъ тоже пристроился.

Оказалось, что это еще подъ Москвою соединившіяся партии съ рѣки Камы и съ Урала — той же, что и мы породы... оказались даже кое-кто изъ старыхъ знакомыхъ, по прежнимъ совмѣстнымъ перелетамъ. Особенно у нашего дѣда Долгонос... Одинъ изъ прибывшихъ, старый престарый журавль, даже поцѣловался съ нашимъ старикомъ и ради встрѣчи потанцевали вмѣстѣ крыло съ крыломъ... оба хорошо, даже очень хорошо, но все-таки нашъ пограціознѣ...

Дѣдушка познакомилъ своего старого друга съ папою и мамою, — назвавъ того... «Мудрымъ Крыломахомъ».

— Мы древнѣйшіе друзья съ мудрѣйшимъ Долгоносомъ, — вѣжливо раскланялся предводитель Камско-уральского журавлинаго воинства.

— Да, стариkъ! сколько мы съ тобою и горестей, и радостей извѣдали, — заговорилъ нашъ дѣдушка.

— Да — пожили! — вздохнулъ тотъ... — Какая у васъ молодежь прекрасная, сытая! и какъ сохранены хорошо въ дорогѣ... Да, съ такимъ вождемъ хорошо живется...

— Ну и твои тоже въ блестящемъ порядкѣ... Вотъ моло-децъ-то водить... Куда мнѣ!

— Ну, полно! скромничаетъ!

— Нѣтъ... право... А что безъ потерь?

— Не скажу... на третьемъ перегонѣ... покормились чго то и двое покончились изъ молодыхъ, да одинъ трехлѣтка подъ выстрѣль подвернулся.

— Ай! ай! ай! какъ же это?

— Да очень просто... Пулей, на очень далекомъ разстояніи... Мы и подозрѣвать не могли... Нынче у людей завелись ружья, которая положительно сбиваются всѣ наши расчеты...

Поразговорились старики, а за ними и мы, молодежь, перенакомились очень скоро, и дружескій, веселый говоръ охватилъ все громадное пространство, теперь, дѣйствительно, несмѣтнаго журавлинаго становища.

Такъ какъ новоприбывшіе летѣли всю ночь, то имъ надо было дать отдохнуть этотъ день, а заодно и мы рѣшили остаться для совмѣстнаго полета далѣе.

Это былъ день счастливый... ни нась, никого другого люди не беспокоили; носились, правда, въ воздухѣ два-три орла и съ десятокъ ястребовъ, но спускаться не посыпали, въ виду такой силы.

Нашъ Верхоглядъ все время держался между чужими — онъ имъ тамъ, должно быть, повторялъ свои необыкновенные исторіи... Сестрѣ это показалось обидно немногого... Къ вечеру, однако, разскащикъ вернулся и за то уже до заката солнца держался около нась, танцеваль въ нашемъ кругу и самъ вызвался на часы, въ смѣну нашего треугольника.

Разсчетъ по клиньямъ, впрочемъ, не измѣнился.

До разсвѣта, бодрые, вполнѣ сытые и отдохнувшіе какъ слѣдуетъ, мы тронулись въ путь. Это было очень интересное, даже величественное зрѣлище. Даже люди на проѣзжей дорогѣ останавливались, и изъ подъ руки глядѣли вверхъ, какъ треугольникъ за треугольникомъ, стройно и плавно, послѣдовательно отдѣлялся отъ желтосѣрыхъ полей и вытягивался, занимая чуть не полъ неба.

Хоръ нашихъ трубъ рѣзко проносился, звеня въ свѣжемъ, будто немного морозномъ, утреннемъ воздухѣ. Но голосъ нашего папа Горлана былъ слышнѣе всѣхъ... Дрофы тоже собирались къ отлету и поглядывали на нась, очевидно, съ загаденною завистью... Куда имъ за нами!

Въ этотъ день намъ пришлось летѣть надъ горящими лѣсами. Боже! какое это печальное зрѣлище!

Пожаръ охватилъ громадное пространство и шель низомъ, стелясь по самой землѣ; изрѣдка только, охваченное огнемъ высохшее дерево всыхивало разомъ, красивымъ огненнымъ столбомъ,—и медленно догорало, судорожно извиваясь своими сучьями... зловѣщій трескъ и гуль пламени разносился далеко... Тучи искръ и головешекъ неслись неудержимо по вѣтру и густые столбы чернаго смолистаго дыма тянулись далеко, заражая воздухъ удушьемъ и смрадомъ.

Сколько здѣсь гибло бѣдныхъ маленькихъ звѣрьковъ, сколько крохотныхъ птичекъ, задыхаясь въ дыму, не въ силахъ были улетѣть и падали внизъ, въ это море всепожирающаго пламени...

Въ одномъ мѣстѣ запыпало небольшое дерево у опушки... Тамъ слышались крики тревоги и зовъ на помощь. Гдѣ-то за дымомъ—учащенно звонилъ колокольный набатъ... Сотни людей, какъ муравьи, копошились дальше, окапывая канавами подходы пожара къ другой деревнѣ, изъ домовъ которой торопливо вывозилось разное имущество.

Мы должны были описать большой кругъ стороною, чтобы не задохнуться самимъ въ этомъ дыму, но тяжелый запахъ гари насыпъ преслѣдовалъ до самой ночи, да и на другой день еще непріятно щекотало въ носу, и въ воздухѣ стоялъ синеватый, сухой туманъ, преслѣдовавшій насъ чуть не до полудня, до широкихъ степныхъ пространствъ, смѣнившихъ только-что нами покинутыя лѣсныя мѣстности.

Выжженная за лѣто солнцемъ, изрѣзанная кое-гдѣ балками (оврагами), рѣдко населенная, почти безжизненная степь не представляла собою ничего особенно привлекательнаго.

Кое-гдѣ, только по склонамъ балокъ, бѣльись хохлацкія хатки, желтѣлись хлѣбныя скирды и пылили проѣзжія дороги... Мѣстами виднѣлись оригинального вида колодцы, на которые Верхоглядъ указалъ намъ съ громкимъ хохотомъ.

— Это мы... не правда ли, очень похоже?!

— Какъ мы?..

— Колодцы эти называются журавлями... Ха, ха, ха!... Ну, скажите по правдѣ: напоминаетъ ли это насъ хоть скольконибудь... жалкая пародія...

Впрочемъ, я не совсѣмъ согласенъ съ Верхоглядомъ... Когда такой колодецъ начинаетъ клевать, словно носомъ, добывая воду, то есть какое-то подобіе птицы... не журавля, конечно, но, пожалуй, аиста или цапли,—во всякомъ случаѣ презабавно!

Около такихъ колодцевъ съ жалобнымъ блеяніемъ толпились громадный стада овецъ, — атары, какъ ихъ здѣсь называютъ, и громко ругались чумазые пастухи, съ длинными крюками въ рукахъ.

Попадались намъ также и бакчи,— поля, засѣянныя арбузами и дынами... Цѣпляясь и путаясь между собою, по сырой растрескавшейся почвѣ, ползли, переплетаясь, сухie, тонкие стебли, а на нихъ, грунто, лоснясь на солнцѣ— лежали темно-зеленые, желтые и почти бѣлые, тяжелые шары, «ткнуть носомъ въ которые весьма пріямно», какъ замѣтилъ нашъ папа.

— Это мы попробуемъ, со временемъ,— обѣщалъ Долгоносъ,— можетъ быть, даже на первомъ ночлегѣ.

Дѣйствительно, одна изъ такихъ бакчей оказалась по близости нашей остановки, и мы привели въ исполненіе обѣщанное дѣдушкою.

Вкусно и сладко; но больше годится для утоленія жажды, чѣмъ для настоящаго насыщенія. Дыни все-таки солиднѣ.

Мы пролетали много городовъ и городковъ, большихъ и маленькихъ селеній, видѣли въ сторонѣ синѣющія горы, но очень далеко и, наконецъ, на третій день отъ Кієва папа указалъ намъ впередъ, рекомендуя присматриваться хорошенъко.

А впереди синѣлось необъятное водное пространство, съ которымъ сливалась, громаднымъ треугольникомъ, болотистая, заросшая камышами—мѣстность, вся изрѣзанная широкими и узкими водяными протоками.

— Дунайскія гирла!—сообщилъ дѣдушка Долгоносъ... — Прекрасная страна для нась, голенастыхъ, и вообще для птицъ, не имѣющихъ къ водѣ особаго отвращенія.

— А это? — спросилъ я, указывая на темносинюю полосу на горизонтѣ, откуда несся какой-то особенный звукъ, не похожий ни на шумъ, городовъ, ни на гулъ далекаго вѣтра, ни на что, болѣе или менѣе, намъ знакомое.

— Это Черное море.

— А, а!.. — протянула молодежь въ отвѣтъ.

И мы всѣ посматривали туда, на эту синюю далекую полосу — съ чувствомъ благоговѣнія, и даже не безъ страха... Море... это значитъ, такое громадное пространство воды, перелетѣть которое нельзя, не надѣясь на свои могучія крылья... ослабѣютъ — и будыхъ!.. Погибель вѣрная!.. Мало того, что потонешь, а то еще живьемъ слопаетъ тебя какая-нибудь гро-

мадная рыбина,— какъ разсказывала маменька... «Да черезъ все-то море и не перелетѣть намъ—журавлямъ... Мы вѣдь, больше сторопочкою, ближе къ берегамъ всегда придерживаемся»...

А дѣйствительно, хорошо и привольно въ Дунайскихъ гирлахъ! и какое множество разной перелетной птицы здѣсь собирается! Это, — что мы видѣли на Днѣпровскихъ затопахъ— это что!.. Пустяки! Тутъ мы увидѣли такія несмѣтныіи сбираща, что тогда только поняли выгоду летѣть большими народомъ... Просто потеряться можно!..

Въ гирлахъ мы познакомились въ первый разъ съ пеликанами. — Великолѣпныя, крупныя птицы — розовато-блѣаго цвѣта, съ громадными носами и съ глубокими мѣшками подъ нижнимъ клювомъ... Онѣ заняты были рыбной ловлею, а рыбы, мимоходомъ замѣтить, здѣсь множество. Ловъ былъ удачный и обильный... Пеликаны глотали усердно и про запасъ набивали свои мѣшки, которые отвисли таки порядочно... угрюмыя птицы неособенно охотно вступали съ нами въ разговоры, больше отмалчивались; за то красавцы-лебеди, величественно поставивъ парусомъ свои роскошныя крылья, плавали, придерживаясь открытыхъ водныхъ пространствъ, ныряли, встряхиваясь и весело болтали, перекликаясь съ нами, занявшиими береговую полосу.

Бѣ одномъ мѣстѣ десятка три цапель затѣяли-было съ нами скору изъ-за мѣста, но уступили передъ превосходствомъ силъ, не доходя до драки.

Невольно верча, онѣ тяжело снялись, и, некрасиво оттощивъ ноги, лѣниво полетѣли искать новаго мѣста.

Мы заняли одинъ изъ острововъ временно, просто для легкаго отдыха; кормиться памъ, журавлямъ, здѣсь было нечѣмъ— до рыбы мы не охотники! — Но еще было свѣтло, и отлетать на покормку, на материкъ, гдѣ виднѣлись кукурузныя поля, было небезопасно... Поля эти очень уже близко примыкали къ небольшому селенію, да вдобавокъ были еще огорожены плетнемъ. Мы предполагали пользоваться ими ночью и то не всѣ разомъ, а небольшими партіями.

Вообще, несмотря на роскошь природы и на видимое довольство обитателей, добываніе пищи все становилось труднѣе и труднѣе.

— Это общее правило, друзья мои,—замѣтилъ папа,— чѣмъ у людей всего больше, тѣмъ они скупѣе становятся и ревнивѣе

охраниютъ свое добро. Впрочемъ, они правы! Вообще я вѣсъ предупреждаю, чтобы вы отсюда не особенно разсчитывали на сытые и вкусные обѣды. И этотъ постъ протянется вплоть до устьевъ Нила. Тамъ опять пойдутъ мѣста сытыя и привольные...

— Развѣ уже близко?.. — спросила сестра.

Она услышала слово «Ниль», а объ этой сказочной рѣкѣ такъ много говорилось во время пути,—что одно названіе уже производило иллюзію. Въ словѣ «Ниль» звучало что-то необыкновенно величественное и таинственное...

— Не особенно близко! — отвѣчалъ папа, — но въ виду малокормицы мы будемъ летѣть усиленными перелетами, а потому дня черезъ три, много четыре, увидимъ и Ниль, и мертвые песчанныя пустыни... и пирамиды, и обелиски, и сфинксы и многое другое, такое интересное, что я потому только не рассказываю вамъ впередъ, чтобы не портить вашихъ будущихъ впечатлѣній... Вообще забѣгать впередъ и предварять событий не слѣдуетъ.

Когда стемнѣло, полетѣла въ кукурузу первая партія, и скоро вернулась совершенно благополучно, плотно поужинавъ. Наша очередь была шестая.

Хотя настѣ и смущали немногіе яркіе огни въ окнахъ соѣдняго дома и громкій говоръ, почему-то не спящаго народа, но голодъ ис шутка, и мы торопливо набивали себѣ зобы,—долбя носомъ тяжелыя сухія початки и выщелушивая оттуда превосходныя, мучнистые зерна...

— А все-таки горохъ лучше! — замѣтила лакомка сестра.

— Недурно и это,—рѣшилъ я, наскоро глотая.

А Верхоглядъ, который, познакомившись съ сестрою, пристроился, съ позволенія папа, къ нашему клину, но подъ условіемъ строгаго повиновенія,—усердно возился около одного изъ стеблей, силясь оторвать цѣлый громадный початокъ.

— Не жадничай! — шепнулъ ему кто-то изъ сосѣдей.

— Не для себя! — подмигнулъ Верхоглядъ и, наконецъ таки, справился.

Мы разговаривали тихо и вообще старались не обращать на себя вниманіе людей, но собакъ мы не перехитрили... Тѣ пѣсколько разъ набѣгали на настѣ съ свирѣпымъ лаемъ и заставляли настѣ сниматься, и, на время, пока все успокоится, отлетать въ сторону.

Едва только мы заслышали шумъ крыльевъ новой, седьмой очереди, мы тотчасъ же уступили мѣсто и, собравшись въ порядокъ,—вернулись на островъ... Строгій порядокъ,—залогъ успѣха, особенно не дома, а на чужой сторонѣ, да еще въ такомъ многолюдномъ собраніи.

А ночь была длинная, темная-претемная, и на небѣ ярко горѣли безчисленныя звѣзды... Млечный путь разсѣкаль небосводъ такъ рѣзко, такъ опредѣленно, какъ никогда я не видѣль до сихъ поръ, и тревожный гулъ недалекаго моря доносился до насъ еще громче: слышны были даже всплески и глухіе удары волнъ, разбивающихся о песчаное прибрежье.

### XIII.

Такъ вотъ оно,—это самое море!

Сливаясь съ горизонтомъ, разстипалось необъятное, волнившееся, темносинее водное пространство и рокотало глухо, будто сердилось на насъ, осмѣлившихся такъ дерзко летѣть надъ его пучинами.

Бѣлыя чайки маленькия и громадныя, словно орлы, носились надъ поверхностью моря, много ниже насъ, прорѣзывая пѣнистые гребни волнъ, ныряя въ глубь, оглашая воздухъ рѣзкими, гортанными криками.

Въ волнахъ развивались, кувыркаясь и выскакивая наружу черные, лоснящіеся дельфины, гоняясь за рыбью... Въ воздухѣ было прохладно и чувствовался особенный запахъ, свойственный только соленымъ водамъ. По небу быстро бѣжали разрозненные облака, предвѣщаю болѣе сильный вѣтеръ; съ востока, на самомъ горизонтѣ, поднималось что-то грозное, обѣщаю къ полудню непшточную бурю...

Правѣе чуть видѣлась узенькая полоска берега, едва замѣтными точками бѣльлись маяки... одинъ, другой, третій... едва обрисовывались въ синевѣ тумана очертанія какой-то крѣпости... Это мы покидали устья Дуная — его оживленныя гирла. Длинная лента чернаго дыма указывала, что тамъ идетъ пароходъ, почти подъ шами; накренившись на бокъ, поставивъ бѣлые паруса, тяжело качался бѣльшой трехмачтовый корабль, словно не двигался впередъ, а стоялъ на одномъ мѣстѣ... Вотъ тамъ еще видны паруса и еще... вонъ опять султаны пароходного дыма; тамъ дальше этотъ дымъ слился въ цѣлое об-

лако... Мы летимъ, быстро обгоняя парусные корабли, обгоняя сравнительно быстро идущіе пароходы...

Мы значительно сокращали путь, не слѣдя за изгибами берега, и скоро замѣтили впереди, немножко правѣе, синеватые гребни высокихъ горъ, частью окутанные облаками...

— Это балканскіе кряжи! — поясняли намъ, молодежи, бывалые.

Вонъ виденъ городъ — у самаго моря... Большой городъ съ высокими церквами и башнями, иного совсѣмъ вида, чѣмъ тѣ, что мы видѣли раньше. Вонъ опять, словно бѣлая иголка, торчитъ маякъ; вонъ длинныя тонкія линіи далеко выдвинутыхъ въ море каменныхъ стѣнокъ... Множество кораблей за ними, словно цѣлый лѣсъ мачтъ и парусовъ... Тутъ подъ нами море бурлить и шумить, волны все ростутъ и ростутъ, сердито набѣгая, сердито толкая и дробя одна другую, а тамъ, за этими стѣнками гладко, тихо, покойно, чуть покачиваются укрывшіеся тамъ корабли и межъ ними, направляясь къ пристанямъ набережныхъ, взадъ и впередъ шныраютъ тысячи маленькихъ лодокъ съ ящиками, бочками и людьми въ бѣлыхъ чалмахъ и красныхъ фескахъ.

— Варна! — говоритъ Долгоносъ. — За нею мы свернемъ къ берегу, и тамъ есть хорошее мѣстечко для легкой передышки.

— Не мѣшало бы! — Не знаю отчего, но перелетъ этотъ казался мнѣ, да и всѣмъ намъ, гораздо болѣе утомительнымъ. Верхоглядъ объяснялъ это сильнымъ вѣтромъ, положимъ — хоть и дувшимъ намъ не навстрѣчу, а все-таки сильно затруднявшимъ наше движеніе... Дѣйствительно, теперь замѣтно, что насъ невольно, вопреки нашего желанія, спосѣть все правѣе и правѣе, — что вовсе не входило въ наши разсчеты. Если бы дѣло было вначалѣ путешествія, то, пожалуй, мы бы и не справились, но теперь мы такъ втянулись въ походъ, такъ развилась сила взмаха нашихъ крыльевъ, что мы ничемъ не рисковали, особенно имѣя въ виду спасительную линію материкового берега.

Пролетѣвъ Варну, наши треугольники раздѣлились и направились, немного расходясь, вѣромъ, къ берегамъ. Это сдѣлано было въ виду густой населенности здѣшней страны, гдѣ очень трудно было найти пастбище для такого большого сбояща; чтобы не очень обращать на себя вниманіе людей, да и вообще кого бы то ни было; а тѣмъ болѣе, что до ночи, до

ея спасительного мрака было еще довольно далеко,—и мы спускались единственно ради отдыха крыльевъ, достаточно притомленныхъ борьбою съ воздушными течениями.

Наши спустились на совершенно голомъ полусклонѣ горъ, недалеко отъ линіи желѣзной дороги, по которой, гремя и тяжело вздыхая, катился длинный поѣздъ, направляясь къ городу... Обозъ съ двухколесными скрипучими арбами, запряженными черными буйволами, медленно ползъ по каменистой дорогѣ, перестъкая желѣзную... Ближе къ намъ бродило маленькое стадо козъ, позванивая бубенчиками, подъ надзоромъ ѿвочки, съ вѣнкомъ изъ красныхъ цвѣтовъ на черноволосой головкѣ, сидящей бокомъ на сѣромъ ушастомъ осликѣ, мирно липавшимъ засохшую, жесткую травку.

Нельзя сказать, чтобы мы были очень голодны, но аппетитъ все-таки начиналъ нѣсколько разыгрываться, а кушать было положительно нечего. Папа уже предполагалъ распорядиться посыпкою развѣдоочныхъ партій.

— Это вамъ, моя барышня! — подошелъ Верхоглядъ къ моей сестрѣ и положилъ къ ея ногамъ отличный полный початокъ созрѣвшей кукурузы.

Это онъ еще съ Дунайскихъ гирль захватилъ его съ собою и тащилъ всю дорогу.

— Это вамъ... кушайте на доброе здоровье!..

Сестра сконфузилась, но не отказалась,—а мама снисходительно улынулась и замѣтила, обращаясь къ папѣ:

— Хвалю... Обѣщаетъ быть мужемъ заботливымъ и расположительнымъ.

— Да, только бы остыпенился немного,—согласился папа.

Сестра сдѣлала видъ, что не слышить этихъ разговоровъ и, кокетливо тыкая носомъ въ початокъ, принялась растрепливать свой подарокъ, чтобы всѣмъ досталось изъ него хоть по нѣскольку зернышекъ.

— Кушайте и вы,—предложила она Верхоглядову,—иначе я ёсть не стану.

— Извольте-сь, — подскочилъ тотъ и осторожно клюнулъ самъ, выбравъ при этомъ самое крохотное, певзрачное зернышко.

Все это было очень трогательно и мнѣ стало завидно, почему это я самъ жраль — жраль, а не догадался приберечь про запасъ, чтобы имѣть возможность тоже угостить кого

пибудь въ свою очередь—ну, хоть маму, напримѣръ, или даже самого папашу.

Но, признаться сказать, я не думалъ въ эту минуту ни о мамѣ, ни о папашѣ... Та журка, которая мнѣ пришла въ эту минуту въ голову, принадлежала не къ нашему треугольнику, да и не съ нашихъ болотъ; я замѣтилъ ее въ тотъ самый день, когда мы соединились съ уральскими клиньями, и она теперь гдѣ-нибудь далеко, — гдѣ именно, неизвѣстно. Меня только ободряла надежда, что въ устьяхъ Нила, какъ намъ обѣщано, мы должны опять соединиться въ общую группу... и тогда... тогда... О, тогда я буду умнѣе и, конечно, не хуже этого нахала Верхогляда, съумѣю быть пріятнымъ и даже привлекательнымъ.

Съ надеждою и вѣрою въ будущее, я такъ принялъ за предложенное угощеніе, что даже увлекся немножко и дождался таки, что сестра толкнула меня въ бокъ, укоризненно произнося:

— Довольно!.. Ахъ ты, маленький обжора!

— Пускай кушаетъ, мальчикъ,—снисходительно вступилъ за меня Верхоглядъ.—Дѣти всегда обладаютъ усиленнымъ аппетитомъ.

Звучала ли насмѣшка въ его голосѣ, искренно ли онъ отнесся ко мнѣ, я не сообразилъ, но такъ вспыхнулъ за это непрошеннное заступничество, что чуть было не затѣялъ драки.

Развѣдчики вернулись сообщить, что есть неподалеку небольшой виноградникъ, но тамъ теперь усиленно работаютъ люди, и подступиться къ нему ни съ какой стороны невозможно, но что воробы разсказывали, будто верстахъ въ двухъ,—на рѣчкѣ, есть конопляники, а за ними тянутся болгарскіе огороды, съ бобами и чечевицею, и что селеніе къ этимъ огородамъ примыкаетъ задами домовъ, а потому, побравшись съ вечера, ночью можно закусить какъ слѣдуетъ.

Рѣшено подождать ночи.

Снались мы еще засвѣтло и въ разбродъ, чтобы не возбуждать подозрѣнія, направились по направленію, указанному разведчиками.

Скоро мы добрались до конопляниковъ и изъ-за ихъ густыхъ кудрявыхъ вершинъ замѣтили черепичныя крыши болгарскихъ домиковъ и бѣлую колонну минарета. Что нась поразило не совсѣмъ пріятно—это обилие косматыхъ аистовыхъ гнѣздъ на всѣхъ крылахъ, пѣлую шайку этихъ гнѣздъ на

минаретъ и даже на всѣхъ высокихъ крестахъ кладища, поодаль, и па окружающихъ это кладище темнозеленыхъ кипарисахъ тоже все гнѣзда, и гнѣзда... самихъ обитателей этихъ мало было видно,—только кое-гдѣ торчали ихъ длинныя фигуры, почти огненокрасные отъ косыхъ лучей заходящаго солнца, да въ воздухѣ, тамъ и сямъ рѣяли плавно эти друзья и союзники человѣка.

Или они не обращали на насъ вниманія, или дѣйствительно не замѣчали вовсе, только мы свободно заняли коноплянники и осторожно пробирались ими, къ болѣе интереснымъ, бобовымъ грядамъ.

Здѣсь вѣдь не такъ какъ у насъ на сѣверѣ; здѣсь темнѣеть разомъ. Не успѣть солнце спуститься, какъ наступаетъ непроницаемая темнота, и мы на эту темноту возлагали свои главнѣйшія надежды.

Ощущую добрались мы до бобовъ и принялись за усиленную работу, вполголоса перекликаясь, чтобы не растеряться.

Мнѣ пришло въ голову послѣдовать примѣру Верхогляда и набрать съ собою про запасъ, я надергалъ цѣлую кучу стеблей со стручками, перевивъ ими свою шею.

— Довольно! — послышался условный сигналъ къ отступлению... и мы снова стали понемногу отходить и отбѣгать снова въ коноплянники. Въ такой темнотѣ трудно было попасть удачно на прежнее мѣсто стоянки и мы, находясь въ относительной безопасности, рѣшили дожидаться утра.

На разсвѣтѣ насъ встревожили озлобленные крики аистовъ и боевые голоса нашихъ. Гдѣ-то не очень далеко, однако, на противоположномъ концѣ селенія, очевидно, завязывалась крупная ссора.

Звуки этой ссоры разгорались все сильнѣе и сильнѣе, послышались даже удары крыльевъ—и крики раненыхъ.

Мы быстро выстроились, поднялись и ринулись стремительно къ своимъ, па выручку.

— Не выдавать! — громко закричалъ папа-Горланъ.

— Не выдавать! — подхватили остальные голоса...

Мы наддали маху изо всѣхъ силъ и поспѣли какъ разъ во время. Цѣлые тучи аистовъ, чуть не впятеромъ на одного, напали врасплохъ на одинъ изъ треугольниковъ уральцевъ. Тѣ защищались энергично и стойко, но уже нѣсколько жу-

равлей было ранено и судорожно билось, путаясь въ густотѣ, сухомъ бурьянѣ.

Съ боевымъ крикомъ мы накинулись на побѣдителей и смяли ихъ разомъ. Верхоглядъ, на моихъ глазахъ, налету сшибъ одного аиста и погнался за другимъ... Папа-Горланъ колотилъ направо и налево, но аистовъ было слишкомъ много и со всѣхъ сторонъ слетались ихъ новыя и новыя стаи... Тутъ снова послышались наши боевые трубы — на выручку къ намъ — въ свою очередь неслись стремительно свѣжіе треугольники и впереди одного изъ нихъ Мудрый-Крыломахъ. Прибывшія силы мигомъ опрокинули аистовъ и заставили ихъ очистить поле битвы... Тѣ стали группироваться у кладбища, готовясь повторить атаку...

Очевидно, что бой готовъ былъ разгорѣться съ новою силою...

— Отступать! — раздалась команда Крыломаха.

— Зачѣмъ, какъ отступить?! — послышались недовольные голоса нашей молодежи.

— Отступать, не разсуждая, когда приказапо! — грозно прикрикнулъ папа-Горланъ. — Молодежь, не рваться!.. Назадъ!.. Сверху виднѣ...

Дѣйствительно, мы услышали голоса наверху, подняли головы, а тамъ нашъ дѣдушка Долгоносъ съ двумя треугольниками, соединенными въ одинъ, дѣлаютъ намъ предостерегающіе знаки... Они описываютъ большиѣ круги, повторяя гортанный, короткій крикъ тревоги.

Только что мы начали отступленіе, — какъ замѣтили людей, бѣгущихъ на мѣсто сраженія съ длинными ружьями въ рукахъ... Опасность была слишкомъ велика и, дѣйствительно, разсуждать было некогда.

Нѣсколько дымковъ вспыхнуло внизу, нѣсколько пуль проплывало мимо насъ, разрѣзая воздухъ, — къ счастью благополучно... Хотя аисты и друзья человѣка, какъ они сами хвастали, но звуки пальбы напугали ихъ не менѣе насъ, и они разсыпались врозь, не рѣшаясь преслѣдоватъ насъ, отступившихъ.

Когда мы всѣ собрались въ безопаснотѣ мѣстѣ, началась немедленно провѣрка и разслѣданіе причинъ кроваваго столкновенія.

Оказалось, что скору затѣяли аисты, вступившись за чужое добро, — просто придрались, благодаря своей задорной на-

турѣ, наши не поддались— слово за слово, завязалась драка... началось по обыкновенію изъ пустого, а кончилось серьезнымъ кровопролитiemъ... Если бы не поспѣла наша помощь, можетъ быть произошло бы новальное избіаніе цѣлаго треугольника.

Съ нашей стороны не досчитались четырехъ журавлей, оставшихся на мѣстѣ боя, да штукъ десять было, болѣе или менѣе, легко раненыхъ, а изъ-за чего?

— Изъ-за бобовъ,—сказалъ кто-то.

— Нѣть не совсѣмъ изъ-за бобовъ. Аисты не Ѣдять бобовъ и имъ не было бы жалко и обидно, еслибы мы объѣли хотя все поле... Они—вишь ты—вступились за добро человѣка и были правы,—рѣшилъ Клу-Клу.

— Бобы и вообще растительная пища созданы Богомъ для нашего употребленія,—заговорилъ папа-Горланъ.— Положимъ, что эти бобы посажены были человѣкомъ и принадлежали исключительно ему, да мы развѣ виноваты, что по близости не было бобовъ дикихъ, вольныхъ... А Ѣсть надо!.. Еслибы человѣкъ относился къ намъ не враждебно, мы бы охотно оказали ему, въ свою очередь, посильныя услуги... Напримѣръ...

Тутъ папа немножко опростоволосился. Какъ онъ ни придумывалъ подходящаго примѣра,—ничего подходящаго не навертывалось... Выручилъ папу Долгоносъ.

— Другъ нашъ, Горланъ, сказалъ великую истину: Ѣсть надо! Въ этомъ то все и дѣло!

Съ этимъ мы всѣ невольно согласились и порѣшили, что съ этой точки зрѣнія—мы тоже были совсѣмъ правы.

— И всегда бываетъ, когда люди, послѣ горячей драки, начнутъ разсуждать о причинахъ и своей правотѣ,—вмѣшался въ разговоръ премудрый Крыломахъ,—то всегда обѣ стороны окажутся правыми. Я разъ былъ свидѣтелемъ громаднаго кроваваго побоища между людьми, въ этой же сторонѣ... Массы людей, въ синихъ одеждахъ и въ красныхъ фескахъ, шли съ одной стороны—и такія же массы людей, въ сѣромъ и бѣлыхъ шапкахъ,—шли съ другой, на встрѣчу. Обѣ стороны кричали—за праваго Богъ! и, призывая этого единаго Бога, вступили въ драку... Да какую! что наша утренняя—передъ тѣмъ ужаснымъ побоищемъ... И обѣ стороны были правы, обѣ стороны были одинаково искренно убѣждены въ своей правотѣ, и ради этой правоты охотно жертвовали своею жизнью... и оставшіеся въ живыхъ до сихъ поръ сохранили это убѣженіе и переда-

дуть его своимъ дѣтямъ... Изъ-за чего же они дрались?.. Вѣроятно, и я въ томъ увѣренъ, что развѣ души павшихъ героевъ, безразлично съ какой бы стороны они ни были, встрѣтившись «тамъ» вмѣстѣ, узнаютъ только истину, самую то правду... А здѣсь, на землѣ, въ этихъ вопросахъ, пока никто и никогда не разберется. А это что же! особенно отличившійся герой сегодняшняго боя, что опъ такъ разукрашеннъ? — расходился старый философъ, обратясь въ мою сторону.

Тутъ только я замѣтилъ, что сдѣлался центромъ общаго наблюденія, и сконфузился окончательно.

Дѣло въ томъ, что вся моя шея была изукрашена красиво переплетшимися бобовыми стеблями, моимъ ночныхъ запасомъ, а Верхоглядъ подошелъ ко мнѣ и, ласково потыкавъ меня носомъ, замѣтилъ:

— Молодецъ! это хорошо слѣдовать добруму примѣру; — этакъ гораздо удобнѣе носить занасы, чѣмъ мнѣ мой кукурузный початокъ.

Однако, солнце поднялось и давно пора отправляться въ путь, народъ повсюду просыпался — трубы человѣческихъ жилищъ дымили усердно... отовсюду неслись звуки пробуждающейся жизни...

Пожалѣвъ павшихъ, помянувъ ихъ добрымъ словомъ, — тронулись въ путь, съ мѣста разбившись на отдѣльныя партіи.

Я успѣлъ все-таки отыскать заинтересовавшую меня журкую-уралку и, подѣлившись съ нею бобами, уже на лету пристроился къ нашему треугольнику.

#### XIV.

Мы опять, для сокращенія дороги, направились напрямикъ моремъ, на этотъ разъ нѣсколько ближе, держась къ берегу... Весь этотъ берегъ, почти сплошь, пестрѣлъ садами, городками и селеніями, а впереди поднимались другіе берега, — высокіе, тянулись стѣною влево, и между тѣми берегами и нашимъ, вдоль которого мы летѣли, словно узкія ворота, виднѣлся проливъ, а тамъ что-то неясно сверкало на солнцѣ своею бѣлизною и позолотою.

Надъ моремъ, еще не улегшимся послѣ свѣжаго ночного вѣтра, колыхался туманъ, начавшій слегка разсѣиваться подъ вліяніемъ солнечныхъ лучей — словно запавшись поднимался онъ передъ нами, открывая величественную картину... Узенькія во-

рота, казавшіяся намъ издали едва замѣтною щелью, теперь расширились, и мы увидали входъ въ проливъ, огражденный грозными укрѣпленіями. Тяжелыя очертанія угрюмыхъ крѣпостныхъ стѣнъ и громадныя пушки, выглядывающія изъ-за ихъ амбразуръ—такъ не подходили къ этимъ легкимъ изящнымъ замкамъ и дачамъ, повсюду раскинутымъ на красивыхъ берегахъ пролива, къ этой веселой зелени садовъ, къ этимъ чуднымъ гирляндамъ цветовъ, окаймляющимъ балконы и изгороди... Громадные корабли и пароходы входили и выходили изъ пролива, оживляя картину и живописными группами тѣснились у береговъ, а дальше—виднѣлся безконечный городъ, съ такими стройными минаретами, съ такими величественными куполами, что я ничего подобнаго не видѣлъ... Здѣсь, у пристаней, собралось столько судовъ, самыхъ разнообразныхъ, что, казалось, они сошлись со всѣхъ морей міра. Да такъ и было... Тутъ же стояли и особенные корабли, тяжелые и грозные, какъ тѣ крѣпости, что сторожили входъ въ это, по истинѣ, райское мѣсто. Это и были корабли-крѣпости... военные корабли, какъ ихъ называютъ... Дальше отъ нихъ кипѣла жизнь и слышался смѣшанный гулъ голосовъ,—около нихъ было тихо и пусто, словно присутствіе этихъ желѣзныхъ чудовищъ пугало и отгоняло на далекое разстояніе все живое, веселое.

На противоположномъ берегу, словно оторванное продолженіе этого города, виднѣлись опять тѣнистые сады, густыя аллеи стройныхъ кипарисовъ и между ними опять уютныя зданія, обнесенные вырѣзными балконами, обвитыя плющемъ и цветами... Оба берега поддерживали между собою оживленное сообщеніе и, казалось, жили одною общею жизнью.

— Царь-Градъ,—сообщилъ намъ папа.—Константинополь то-же, а это,—онъ указалъ вѣво,—Скутарі...

Ужасно хотѣлось спуститься именно здѣсь, поближе разсмотрѣть всѣ эти чудеса, но, повинуясь начальству, мы летѣли все дальше и дальше, оставляя за собою этотъ дивный городъ, съ его кипучею разнохарактерною жизнью.

Теперь мы неслись надъ другимъ моремъ, Мраморнымъ, хотя его прелестно синій цветъ ничего общаго не имѣлъ съ этимъ камнемъ, за то въ этой густой синевѣ—водной поверхности, словно нарисованные, ярко выдѣлялись небольшіе острова, гдѣ мрамора было сколько угодно... Мы пересѣкали море съ сѣверо-запада на юго-востокъ, и хотя чувствовали уже изряд-

ную усталость, но спуститься было некуда,—приходилось ле-  
теть и лететь... Къ счастью, легкій, ароматный, тихій, теплый  
вѣтеръ дулъ намъ въ догонку и облегчалъ путешествіе. Къ  
вечеру мы увиѣли опять живописный азіатскій городъ Бруссу.  
Мѣстность становилась сильно гориста—и давно уже на гори-  
зонтѣ виднѣлась какая-то особенная вершина, окутанная лег-  
кими облаками... Пролетѣвъ надъ Бруссою, откуда неслася за-  
унывные звуки, призывающіе къ молитвѣ, мы направились къ  
подножью давно замѣченной нами горы и, обогнувъ ее, стали  
тихо спускаться на каменистую пологую долину, бѣдную зе-  
ленью, но зато обѣщающую намъ покойную ночь, такъ какъ  
нигдѣ не было видно человѣческихъ жилищъ, за исключеніемъ  
настущихъ шатровъ, сгруппированныхъ у небольшого родника,  
осѣненнаго раскидистою, старою смоковницею.

Гору, у подножья которой мы расположились на ночлегъ,  
называютъ Кешишь-Дагъ. Въ часѣ хорошаго перелета отъ нея,  
несколько ближе къ морю, чуть-чуть блестѣли въ вечерней  
мглѣ два порядочныхъ озера, но мы любовались ими только  
издали. Тамъ теперь мѣсто было занято другими, чужими по-  
родами, и, избѣгая новыхъ столкновеній, мы предпочли пере-  
ночевать впроголодь, довольствуясь жалкими кустиками гор-  
ной малины, кое-гдѣ торчавшими въ каменистыхъ разсыпинахъ.

Былъ періодъ новолунія, и тонкій узенький серпъ мѣсяца  
робко, и то ненадолго, обрисовался на небѣ.

Длинная осенняя ночь, то-есть не осенняя, а, по здѣшнимъ  
мѣстамъ, превосходная лѣтняя, теплая, какъ у насъ на сѣверѣ,  
въ половинѣ самаго знонаго лѣта не бываетъ,—ночь эта про-  
шла совершенно спокойно.

Я дремалъ и думалъ о своей журкѣ-уралкѣ... Гдѣ-то она  
теперь? Что подѣлываетъ, спить ли покойно или аппетитно  
кушаетъ?.. Меня весьма успокоивало то обстоятельство, что она  
была подъ надежною охраною: самъ премудрый Крыломахъ  
предводительствовалъ ея треугольникомъ. Гдѣ-то они теперь?

— А «наши»,—подошелъ ко мнѣ Верхоглядъ,—этотъ хит-  
рецъ какъ будто-бы читалъ мои самые сокровенные мысли,—  
наши,—сказалъ онъ,—теперь помѣстились получше... Они тянуть  
берегомъ и, вѣроятно, перелетѣли на Митилишъ...

— Это что такое?

— Островъ, недалеко отъ берега... Превосходный островъ...  
Я тамъ былъ однажды. Тамъ, глубоко врѣзываясь, чуть не до

середины острова, есть прекрасная бухта... Въчно въ ней тихо, какая бы буря на морѣ ни свирѣствовала... Прежде это было самое излюбленное мѣсто морскихъ разбойниковъ.

— Ахъ, Боже мой, а «она» тамъ?!—вскрикнулъ я невольно, испуганный словомъ «разбойники».

— Кто она?

Я окончательно смутился.

— Эхъ, ты!—Верхоглядъ сочувственно засмѣялся. — Для насъ, журавлей, никакие морскіе разбойники неопасны. — А славная журочка эта... «Черношайка!..» Я, знаешь, вчера познакомился съ ея мамою и папою...

Онъ уже и имя узпалъ и всѣ подробности... Почему же это я все мѣшкалъ и зѣвалъ. Почему онъ такой прыткій и ловкій, а я словно не журавль, а филинъ какой-нибудь неповоротливый!.. Мне стало ужасно досадно, и, если бы не звучацій непрітворною искренностью голосъ Верхогляда, я бы непремѣнно отвѣчалъ ему рѣзкостью, но тутъ я промолчалъ... Только машинально повторилъ: «Черношайка».

— Ну, да, Черношайка! Конечно, ей далеко до твоей сестры, но, все-таки, премилая девица... И я тебя отъ души поздравляю...

— Когда же мы опять увидимся?—спросилъ я, вполнѣ увѣренный, что Верхогляду все извѣстно.

Онъ задумался и сталъ важно соображать что-то, должно быть очень серьезное. Онъ даже принялъ носомъ чертить на пескѣ какія-то странныя линіи...

— Вотъ, видишь ли, —началъ онъ.—Мы теперь находимся здѣсь... Вотъ это—наша гора... Вотъ такъ, совсѣмъ на западъ пойдетъ берегъ Мраморнаго моря, потомъ круто повернетъ на югъ, пройдя вотъ тутъ,—онъ опять ткнулъ носомъ,—Дарданеллы, затѣмъ повернетъ опять круто на востокъ и образуетъ большой заливъ, а противъ этого залива и есть островъ Митилинъ, о которомъ я тебѣ говорилъ. Потомъ вдоль берега все будетъ множество маленькихъ островковъ, масса... Дрянь островочки, но отдохнуть можно... и потомъ уже, если мы рискнемъ сильно сократить путь, и при этомъ вѣтеръ будетъ благопріятный, то можно перемахнуть прямо на островъ Кипръ, но я думаю, что мы перерѣжемъ заливъ Александруту нѣсколько сѣвернѣе, и потомъ все время на югъ, вплоть до Бейрута, Дамаска, па Іерусалимъ, Портъ-Саидъ, Александрію и, наконецъ, въ дельту великаго Нила...

Верхоглядъ увлекся своими познаніями, очевидно рисовался ими передо мною, неучемъ, и совершенно забылъ мой вопросъ... Я едва схватывалъ памятью этотъ рядъ именъ и названий, совершенно не понималъ чертежа на пескѣ и, наконецъ, рѣшился остановить рассказчика повторенiemъ своего вопроса.

— Да...—протянулъ онъ,—ты все насчетъ того-же... Я думаю, что раньше именно дельты, мы и не сойдемся вновь—цѣлымъ обществомъ... Я думаю, что неѣть; мѣста здѣсь, признаться сказать, не очень то сытыя... Въ пустыню, въ глубь страны забираться жарко, да и далеко, а по берегамъ—люддовато... Но если мы полетимъ отсюда на Кипръ, то тамъ хошо и, вѣроятно, тамъ намъ дадутъ хорошую передышку.

— Такъ можетъ быть на Кипрѣ?

— Да... Весьма возможно!..

— Скажи, пожалуйста, отчего ты все знаешь? Я вотъ, пролетѣвъ до сихъ поръ, положительно почти ничего не знаю! Кажется, спроси меня обстоятельно, гдѣ и какъ мы летали, кое-что помню, но начертить носомъ не могъ бы...

— Это потому, что это, мой другъ, твоё первое путешествіе... Для тебя все ново, все тебя развлекаетъ, но я... я уже привыкъ наблюдать и даже дѣлать отмѣтки. Богъ дастъ сдѣлаешь, какъ я, столько перелетовъ... научишься и ты.

— А ты сколько сдѣлалъ?

Верхоглядъ заинкунулъ, но скоро справился и проворчалъ, какъ-то двумысленно, не то «второй», не то «двадцать-второй».

— Второй?—подчеркнулъ я не безъ злого умысла.

— Какая теплая ночь!—вздохнулъ онъ.—Твоя сестрица спить, кажется, очень крѣпко... Покойной ночи и тебѣ, дружище!.. А мнѣ... мнѣ что-то не спится... я еще погуляю и немного помечтаю...

Онъ закинулъ голову кверху, поправилъ крылья, взглянуль на звѣздное небо, вздохнулъ и зашагалъ по долинѣ, скрываясь въ потемкахъ.

Смотрю, сестра моя проснулась, тоже вздохнула и шагнула въ сторону. Я сдѣлалъ видъ, что это все до меня никакъ не касается, уткнулъ голову подъ крыло и попробовалъ забыться...

— Ахъ, еслибы черезъ Кипръ!.. подумалось мнѣ... И я видѣлъ во снѣ Кипръ... Не знаю такой ли, какимъ онъ былъ въ дѣйствительности, но тотъ, что я видѣлъ во снѣ, не поддавался никакимъ, самыми восторженными описаніямъ.

Слѣдующій перелетъ мы совершали все время надъ очень гористою мѣстностью, не особенно густо, даже скорѣе скудно населеною... Въ долинахъ между горъ, на небольшихъ рѣчкахъ, виднѣлись бѣдныя селенія и поля... изрѣдка сады... Что обратило на себя наше вниманіе—это вооруженность обитателей... Безъ оружія не встрѣчалось, положительно, ни души... Разва три мы видѣли кровавыя сцены: какъ одни, спрятавшись за камнями, у дороги, поджидали другихъ и выскакивали неожиданно для тѣхъ, иногда убивая проѣзжихъ, а чаще просто отнимая у нихъ лошадей, быковъ или верблюдовъ... Непріятная сторона!

— Порядка мало!.. Сказано Турція!..—замѣтилъ папа.— Она и есть, да еще настоящая—Азіатская.

Наконецъ мы добрались до прелестнаго озера, лежащаго въ глубокой, горной котловинѣ и опустились. Здѣсь встрѣтилось и нѣсколько нашихъ партій, но, увы, между ними не было треугольника Крыломаха Премудраго...

— Кажется, черезъ Кипръ,—шепнуль мнѣ Верхоглядъ свои соображенія.—Мы летимъ прямо на заливъ Адалія... иначе мы бы забирали значительно восточнѣе... Къ тому же и погода стоять великолѣпная для морскаго перелета.

Снявшись съ ночлега, пролетѣвъ надъ горнымъ ущельемъ, по дну котораго змѣилась, прыгая и пѣнясь по камнямъ, маленькая рѣчка, мы увидѣли небольшой, бѣленыкій городокъ, отчетливо обозначавшійся на синемъ фонѣ моря.

Это и былъ заливъ Адалія, и мы, слѣдя за берегомъ, летя высоко, почти въ уровень съ гребнемъ горнаго хребта, спустились у мыса Анамуръ, на голомъ прибрежїѣ, усѣянномъ валунами и всевозможными ракушками...

## XV.

Дѣйствительно, рѣшено было сдѣлать перелетъ прямо на Кипръ. Перелетъ не особенно длинный, въ виду тихой превосходной погоды, но въ этихъ мѣстахъ неожиданно поднимаются бури, и если, на нашу бѣду, разыграется таковая во время перелета, да еще встрѣчная, или сбивающая въ сторону, къ западу, то можетъ быть худо. Кажется, всѣ признаки погоды были для насть благопріятны, и хотя между нашими стариками находились осторожные, совѣтовавшіе не довѣряться часто

обманчивой тишинѣ и летѣть вдоль берега, ограничившись только небольшимъ перелетомъ черезъ входъ въ Александретскую бухту, но большинство на совѣтѣ настояло на кипрскомъ направленіи, что для настѣ, молодежи, особенно для меня,— было очень пріятно...

Я только не зналъ, гдѣ треугольникъ Крыломаха. Болтливыя чайки увѣряли меня, что вчера протянули какіе-то журавли на Кипръ, но какіе это были именно, узнать не пришлось; это чайки такія, по правдѣ сказать, дуры, что отъ нихъ никакого толку не добѣшься.

— Наши не должны быть, — замѣтилъ Верхоглядъ, — потому что они летѣли много круженіе и обогнать насъ не могли никакимъ образомъ.

— Вѣрно! — подтвердилъ и папа.

Мы расположились отдохнуть какъ слѣдуетъ, кстати и дождаться другихъ партій. Стоянка была покойная, нарушаемая только крикливыми голосами чаекъ и немолчнымъ, вѣковымъ рокотомъ морского прибоя. Солнце палило невыносимо, и мы придерживались тѣневой стороны высокаго горнаго берега, изрѣдка сбѣгая къ водѣ, поплескать и покупаться въ пѣнистыхъ брызгахъ, набѣгающихъ на камни, зеленоватыхъ волнъ, каждый разъ выносящихъ на песокъ миллионы разнообразныхъ ракушекъ.

Къ ночи стали собираться и другія партіи и сообщили, что треугольникъ Крыломаха потянулся сѣвернѣе, на Александрету, въ виду того, что у него молодежь послабѣе, и онъ на большой морской перелетъ не рѣшился.

Островъ Кипръ потерялъ для меня всякую прелестъ.

Мнѣ даже пришло въ голову притвориться чрезмѣрно уставшимъ, авось либо, ради меня отмѣнять состоявшееся рѣшеніе, но совѣсть не допустила меня до такого униженія и я, скрѣпя сердце, подчинился общей участіи.

— Теперь уже до Нила, — не то улыбнулся, не то проникнутый сочувствіемъ, шепнулъ мнѣ Верхоглядъ.

Онъ, положительно, видѣлъ все, что у меня въ сердцѣ.

За эту ночь еще догнали настѣ два треугольника. Мы подвели счеты; оказалось, что все-таки, большинство было увлечено осторожностью премудраго Крыломаха.

Но погода, погода стояла прелестная и ничего не предчувствовалось подозрительного, что-бы могло поколебать наше рѣшеніе.

Мы простояли здѣсь весь день, и снялись чуть только побѣла полоска горизонта на востокѣ.

Быстро удалялся отъ насъ покинутый нами, еще погруженный въ темноту, берегъ, но уже вершины горного хребта зарумянились и красиво выступали во мракѣ своею причудливо зубчатою линіею.

Верхоглядъ увѣрялъ, что будто бы онъ уже видитъ вершину Кіонистры, громадной горы, занимающей средину острова, но, какъ мы ни напрягали нашего зре́нія, ничего похожаго на гору не замѣчали. Видѣлось, правда, впереди какое-то голубое облако, но оно скоро перемѣнило мѣсто и расплылось въ общей синевѣ, значитъ не гора. Наконецъ, исчезли очертанія оставленшаго нами берега, и мы летѣли, казалось, въ центрѣ необъятнаго воздушнаго пространства. Подъ нами море, но оно гладко, какъ зеркало, и края его сливаются съ краями неба; надъ нами безпредѣльная высь, такая же покойная, такая же голубая. Солнце ослѣпительно сверкаетъ надъ нами; солнечный блескъ также ослѣпительно отражается въ морѣ и, казалось, также льетъ потоки живительной теплоты и нѣги.

Летѣть легко и весело, и не страшно никакъ! Мы такъ проникнуты всѣ довѣріемъ къ вождямъ, что насъ никакъ не тревожить эта безпредѣльность. И вотъ, мы еще не устали, мы еще совершенно бодры и готовы летать, хоть цѣлый день еще, а уже впереди нась, теперь уже не для одного фантазера Верхогляда, а для всѣхъ нась, ясно и отчетливо, словно выростая изъ водъ, поднимается туманная, Кіонистро, выростая медленно, но вѣрно, опредѣляясь своими контурами, словно впیсящая въ воздухъ, отдѣленная отъ линіи горизонта темною воздушною полосою.

Вотъ и другія, болѣе низкія вершины показываются. Вотъ отдѣляющая полоса сузилась и исчезла. Вонъ линія берега съ бѣлою бахромою прибоевъ; слышенъ и гулъ ихъ, видны и чайки крикливыя. Уже можно различать гирлянды плюща, повившаго скалы. Еще часъ пути, меныше даже, и мы спустимся на твердую почву.

Однако, солнце было уже въ зепитѣ, когда мы, дѣйствительно, спустились на землю, близъ устья небольшой рѣчки, пролетѣвъ надъ красивымъ городкомъ Левкозіей, окруженномъ роскошными виноградниками.

Успѣхъ этого перелета, прямо моремъ, безъ возможности

скораго отступленія на сушу, если бы понадобилось, значительно ободрилъ насъ, и будущій такой-же перелетъ, почти вдвое больше, на Бейрутъ, насъ теперь не пугалъ никаколько.

Ночь провели мы здѣсь-же, ничто насъ не тревожило, ничего также не предвѣщало перемѣны погоды къ худшему, а также съ разсвѣтомъ мы продолжали нуть съ гораздо большою увѣренностью въ успѣхѣ, чѣмъ вчера, при первомъ опыте.

Около полудня мы не видѣли еще никакого признака земли, а внизу, подъ нами, до сихъ поръ гладкая водная поверхность стала подозрительно колыхаться, словно тяжело дышать, по беззвучно, безъ малѣйшаго всплеска, безъ всего, что бы напоминало волненіе.

— Ходу!..—послышалось спереди.

— Ходу, ходу!..—подхватило по нашимъ линіямъ.

Мы усилили легть, неслись такъ, что далеко разносился звенящій гармонической свистъ нашихъ крыльевъ.

А море начинало дышать тяжелѣ и тяжелѣ. Вѣтра нѣть, полное затишье; а подъ нами неподвижно стоящей корабль, съ повисшими парусами, тяжело скрипя, качается, то погружаясь глубоко въ воду своею разукрашенною кормою, то словно черпая своимъ острымъ носомъ. Въ его снастяхъ, ловко бѣгая по веревочнымъ лѣстницамъ, суетятся крохотные человѣчки, полуугольные, въ красныхъ фескахъ; они торопливо убираютъ паруса. Слышины свистки, чуть доносятся снизу голоса команды.

— Неважно! — вполголоса проговорилъ Верхоглядъ и не замѣтилъ перемѣнилъ мѣсто.

Опять обогналъ меня и помѣстился какъ разъ за мою сестрою.

— Посмотри влѣво,—шепнулъ онъ мнѣ.

Я исполнилъ его совѣтъ.

Тамъ поднималось что-то грозное, громадное, охватившее дугою чуть не полъ-горизонта и двигалось къ намъ, увеличиваясь въ ширину, гоня передъ собою тяжело клубящіяся облака.

— Ходу!—снова послышалось спереди.

Но мы уже и безъ того неслись во всю силу нашихъ крыльевъ, увы! начинающихъ уже чувствовать первые признаки утомленія.

Надъ поверхностью моря тревожно забѣгали бѣлые пѣнистые змѣйки, съ каждою минутою все увеличиваясь и уве-

личиваясь. Замѣченный пами корабль давно исчезъ изъ вида. Первый порывъ вѣтра налетѣлъ на насъ будто неожиданно, и тотчасъ же дугою выгнулъ прямыя стороны нашихъ треугольниковъ.

Мы, однако, еще не разрывались, дружно работали крыльями, но, странно, намъ казалось, что мы уже не двигаемся впередъ, а несетъ насъ вправо, песять неудержимо. Вдругъ, одновременно съ громовымъ, ужаснымъ, отбивающимъ разумъ, ошеломляющимъ ударомъ въ глазахъ у насъ блеснула зубчатая линія молніи. Всльдъ за этимъ ослѣпительнымъ свѣтомъ настушилъ мракъ. Солнце чуть виднѣлось надъ нами темно-краснымъ, уже негрѣющимъ шаромъ.

— Не разрываться, сдавайся по вѣтру,—едва донесся голосъ папы.

Но уже исполнить это приказаніе не было возможности. Мимо, чуть не сбивъ меня съ пути, пропесся вырванный изъ клина журавль; онъ безпомощно, словно не птица, а тряпка какая-то, кувыркаясь въ воздухѣ, только мелькнула на мгновеніе и исчезъ въ темномъ пространствѣ. Вотъ еще одна жертва. Вотъ сестра моя жалобно пискнула и разомъ поддалась внизъ, закинувъ головку, безнадежно задрыгавъ ногами. Я видѣлъ, какъ Верхоглядъ сразу хватилъ еще ниже, подъ нее, двѣ птицы сплотились какъ бы въ одну, но обѣ, судорожно борясь съ вихремъ, пошли наискосъ книзу и скрылись.

Самъ я уже не могу больше, не могу, не могу!.. Гибель неизбѣжна! Я никого не вижу кругомъ. Я одинъ. Поднимаясь я, лечу-ли впередъ—я ничего не сознаю, не чувствую. Кругомъ черныя тучи, внизу что-то реветь, словно какое-то сказочное чудовище. И вдругъ меня съ ногъ до головы обдало холодными брызгами. Въ ушахъ зазвенѣло. Надо мною поднималась громадная зеленая гора съ щѣистымъ гребнемъ, подомною темная зияющая пропасть. Я рванулся, собравъ послѣднія силы, взлетѣлъ ли я, нѣть, не знаю, но только съ размаха ударился о что-то твердое, упругое, словно натянутыя струны, и лишился сознанія.

Когда я пришелъ въ себя, я съ ужасомъ увидѣлъ смуглый человѣческія лица и почувствовалъ на своей спинѣ жесткую руку.

— Въ плѣну! — промелькнуло у меня въ головѣ, и тотчасъ-же съ первымъ представлениемъ о плѣнѣ, я вспомнилъ страшныя слова: «ножницы, веревка!..»

— Нѣтъ, живой! — послышался голосъ.

— Бѣдныя птицы, — проговорилъ другой, болѣе нѣжный должно быть женскій.

— Не замай, отлежится, — рѣшилъ кто-то третій.

И меня оставили въ покой.

И вотъ я начинаю понемногу приходить въ себя и украдкою осматриваться.

Небо звѣздное, кое-гдѣ черными косматыми клочьями несутся обрывки тучъ, надо мною, мачта, но какая-то короткая, словно сломанная наполовину, откуда висятъ перепутанныя снасти, а между ними люди что-то торопливо дѣлаютъ, не разберешь хорошенъко. Вотъ другая мачта чуть виднѣется; эта, кажется, цѣла. Освѣщенный красноватымъ свѣтомъ снизу, виденъ какой то парусъ, сильно вздутый, а за нимъ другой, поменьше.

Очевидно, я на кораблѣ, на его палубѣ, усѣянной обломками снастей; много людей занимаются ея уборкою. Стучитъ топоръ, слышины голоса. Свѣтъ идетъ снизу, черезъ окно, стекла котораго частью выбиты; вотъ что то выбросили за боргъ и это что-то шлепнулось грузно. Вотъ потянули какуюто веревку, задѣли меня, перевернули; я застоналъ отъ боли и кое-какъ отодвинулся, прижавшись къ бочкѣ, крѣпко привязанной къ своему мѣсту.

Я чувствовалъ себя совершенно разбитымъ, безпомощнымъ.

— Лучше бы смерть, — подумалъ я, и тутъ же самъ началъ себѣ возражать: «Почему же смерть? А если я поправлюсь. Можетъ быть, у меня ничего не сломано, можетъ быть крылья мои цѣлы, устали только, а потомъ отдохнуть и опять пригодятся. Только бы не эти ужасныя, безпощадныя ножницы! А что моя журка, что стало съ папою и мамою, что моя сестра и Верхоглядъ съ нею?»

Я вспомнилъ то ужасное мгновеніе, когда они оба исчезли въ пучинѣ, свернувшись въ одинъ клубокъ... «Кажется, это было одновременно и съ моей гибелью! Гдѣ-то они всеѣ теперь? что съ ними?»

А сонъ одолѣваетъ и никакія мысли, никакіе страхи не въ силахъ его отогнать... Такъ тепло стало, отрадно... Ничего теперь не болитъ, только двигаться не могу: головы поднять не въ силахъ, ноги вытянуть.

— Ножницы... Только бы не ножн...

Я заснул и, сколько времени спал, не мог отдать себѣ никакого отчета.

Представьте же себѣ мое изумлениѳ, мою радость, когда, проснувшись и почувствовавъ себя гораздо бодрѣе, я увидѣлъ, шагахъ въ трехъ отъ меня, тоже выглядывающаго изъ-за бочки, Верхогляда... Онъ дѣлалъ мнѣ какіе-то знаки, которыхъ я сразу не разобралъ.

— А сестра? — невольно сорвалось у меня съ языка.

— Тс! Лежи смирно! отдыхай, набирайся силъ, но кажись больнымъ, въ этомъ возможность спасенія... Сестра здѣсь... Она не ушиблась, слава Богу! — добавилъ онъ... — Ну, и почка же!.. Я уже, впрочемъ, успѣлъ сдѣлать кое-какія наблюденія и, кажется, намъ посчастливилось.

Солнце всходило... Море успокоивалось... На палубѣ видно было только двое людей. Одинъ — высокій стариkъ, въ kleen-чаторъ пальто и красной фескѣ, другой — почти голый, въ короткихъ панталонахъ, босой и тоже въ красной замаслянной шапочкѣ, съ длинною черною кистью на затылкѣ. Первый стоялъ на высокомъ мостиkѣ и смотрѣлъ въ трубу; второй, сидя на связкахъ веревокъ, набивалъ себѣ трубочку, зѣвая и лѣниво потягиваясь.

— Всѣ спятъ! — шепталъ Верхоглядъ. — Эхъ, кабы силы! Но, что дѣлать... Терпѣніе, мой другъ, терпѣніе.

— Гдѣ мы? — спросилъ я.

— Я думаю, что мы попали на корабль богомольцевъ — это большое для настѣ счастіе. Мы въ рукахъ людей сердобольныхъ и почти попутчиковъ. Корабль направляется въ Яффу. Я уже справился у капитана.

Верхоглядъ можетъ быть и дѣйствительно вѣрно уздалъ направлениe корабля, но уже, конечно, не справлялся лично у его капитана. У него вообще развита слабость поврять и похвастаться высокими знакомствами, и эта слабость не оставляла его даже въ такомъ критическомъ положеніи, въ кото-ромъ мы находились.

— Пить хочется до смерти! — проговорилъ я.

— А вотъ протяни голову немножко и пососи эту мокрую веревку. Небось, вода дождевая пахнетъ жиромъ и смолой немножко, но это отъ веревки.

Я исполнилъ совѣтъ и промочилъ запекшіеся языкъ и горло... Захотѣлось Ѣсть... О, что бы я отдалъ теперь — не только бы

за горохъ или кукурузу, но даже за какую - нибудь дрянь, вродѣ червячка или мертвой рыбки... но близко ничего не было похожаго на пищу и приходилось покориться печальной участии.

Междуд тѣмъ, съ восходомъ солнца, палуба стала оживляться. Изъ люковъ выходили люди, почесываясь и крестясь на востокъ; появились и женщины, и дѣти.

— А, что наши журки? — произнесла одна старушка, отыскивая настѣ глазами.

Скоро мы были окружены густою толпою, а сестру, которую я только теперь увидѣлъ, взялъ на руки какой-то стариикъ въ черномъ и сталъ нѣжно гладить, отстраняя, однако, руку каждый разъ, какъ моя сестра пыталась его ушипнуть.

— Будь кротка, — замѣтилъ ей Верхоглядъ.

— А этотъ, кажется, больше всѣхъ уморился, — обратился ко мнѣ другой, тоже въ черномъ. — Это ихъ, бѣдныхъ, бурею отнесло отъ берега.

— Удивительное дѣло, — замѣтилъ стариикъ, все еще держащей сестру на колѣнахъ. — Истинно, Промыселъ Господень!.. Безбрежность моря и единственная, малая точка въ ономъ корабль, — и привель Господь — Силь, тварей, въ бурную стихію увлеченныхъ, изнуренныхъ и обреченныхъ погибели — прямо на сю единую точку... яко въ гавань мира и спасенія.

— Премудрость! — вздохнулъ тутъ другой черный.

— Журочки, журочки... бѣдненькия, — залепетали дѣтскіе голоса.

Маленькая бѣлокурая дѣвочка присѣла около меня на корточки и стала меня ласкать и гладить. А Верхоглядъ, должно быть, оправившись раньше нашего, приподнялся на ноги и встрепенулся.

— Ай! — отскочилъ отъ него чумазый мальчикъ.

— Чего ты испугался... Онъ не тронетъ... Это птицы смиренныя, безобидныя... Чего испугался!

А Верхоглядъ граціозно раскланялся направо и налево и сдѣлалъ, то-есть хотѣлъ сдѣлать, самое граціозное па... но ему не удалось, и онъ чуть не шлепнулся на палубу... Усталость еще не прошла окончательно и ноги служить отказались.

Тѣмъ не менѣе это движеніе очень понравилось всѣмъ окружающимъ. Послышался смѣхъ... Даже черный матрось, оскаливъ свои бѣлые зубы, хрипло захохоталъ, а старый ка-

питанъ на мостикъ, все время наблюдавшій эту сцену, весело крикнулъ.

— Да вы покормите чѣмъ-нибудь этихъ новыхъ пассажировъ... Эй, принести варенаго рису съ кухни!

Ахъ, какъ это было умно!.. Какъ это было геніально, кстати!

— Кормить, кормить! Журокъ кормить... новыхъ пассажировъ! ха-ха-ха!—раздалось со всѣхъ сторонъ.

Очевидно, мы были центромъ всеобщаго вниманія... Ничего враждебнаго не замѣчалось въ этой толпѣ; напротивъ, всѣ смотрѣли такъ ласково, такъ привѣтливо.

— А ихъ-бы на вертелъ, а то въ супъ!—грынула неожиданно новый голосъ, обдавшій насъ холодомъ смертельнаго ужаса, и изъ темнаго люка, словно изъ-подъ земли, показалась звѣрская физіономія, въ бѣломъ колпакѣ и таковомъ-же фартукѣ... На поясѣ у него висѣло два страшныхъ ножа... и, если-бы не чашка съ превосходнымъ рисомъ, которую этотъ господинъ держаль въ рукахъ,—вся его фигура представляла-бы только олицетвореніе смерти и жестокой безпощадности. Но рисъ, рисъ нѣсколько смягчилъ общее впечатлѣніе, и этотъ дивный рисъ скоро предложенъ быль всесѣло нашему употребленію.

Страшно было, но мы кушали. Кушали и косились на человѣка съ ножами, а тотъ, закуривъ короткую трубочку, стоялъ около, растопыривъ ноги, и продолжаль:

— Жаркое было-бы недурно!

— Да развѣ ихъ єдять?—спросила какая-то худая женщина съ ребенкомъ на рукахъ...— Нѣшто цаплю єсть можно? Она поганью питается.

— Это не цапли! это журавли... Не той совсѣмъ породы,—озвѣчалъ ей кто-то, очень прилично одѣтый и въ очкахъ на длинномъ носу.

Слава Богу, догадались! Насъ, благородныхъ журавлей, принять за мерзкихъ цапель... Этого еще недоставало! Право, даже обидно было слушать подобныя вещи. Мы потому только смолчали, что очень уже были заняты рисомъ.

Однако, поднятый вопросъ: можно-ли насъ єсть или нельзя, заинтересовалъ насъ не на шутку. Мы понимали хорошо роковое значеніе этого вопроса, но самолюбіе наше невольно страдало, особенно когда кто-то вполнѣ утвердительно заявилъ, что єсть можно, но не стоитъ: жестко и невкусно!

— А попробовали-бы замариновать предварительно, — сорвалось у меня съ языка.

— Дуррракъ! — толкнулъ меня въ бокъ Верхоглядъ, — преболтался!

Къ счастью, моя откровенность не принесла бѣды... къ предложенію, воспользоваться нашимъ мясомъ, отнеслись, какъ въ шуткѣ... Никому и въ голову не приходило причинить памъ какое-нибудь зло, и мы всецѣло попали на попеченія старика, говорившаго о Промыслѣ Господнемъ. А тотъ рѣшилъ дать намъ свободу, какъ только мы ступимъ на землю.

— Богъ ихъ спась и сохранилъ, и мы не посягнемъ и Волю Господню приведемъ въ исполненіе! — произнесъ онъ, и всѣ единогласно съ нимъ согласились.

Участь наша была обеспечена.

Долго еще шли вокругъ насъ разные, болѣе или менѣе интересные разговоры... Говорили о томъ, что часто случается, будто бури цѣльми стаями загоняютъ на корабли разныхъ птичекъ... Говорили, что какъ-то тысячи ласточекъ, нанесенные ураганомъ на этотъ же гостепріимный корабль, нашли на немъ себѣ надежное убѣжище и были доставлены на берегъ. Говорили даже, что разъ хищный разбойникъ — ястребъ попалъ въ такое-же положеніе и его-бы не тронули, но онъ дурно себя вѣль и, неблагородный, при всѣхъ на глазахъ растерзаль ручного голубя, принадлежащаго самому капитану... Конечно, этого злодѣя постигла немедленно смертная казнь... его застрѣлили!

Однако, что насъ смущало и печалило, это то, что насъ только трое находилось налицо изъ всего многочисленнаго треугольника... Чтосталось съ другими? Гдѣ они? Погибли-ли безвозвратно или, можетъ быть, Божественный Промыселъ и ихъ коснулся своею рукою. Можетъ быть, и имъ удалось попасть на палубу корабля, а можетъ быть опуститься на какой-нибудь островъ.

— Тучи шли съ востока на западъ, — соображалъ, между тѣмъ, и что-то вычислялъ всезнающій Верхоглядъ. — Насъ захватило на полпути, между Ларнакою и Бейрутомъ. О! если вѣтеръ не мѣнялся и сохранилъ свое направлениe... Тамъ долго никакой земли нѣть, тамъ безъ конца все море и море! Вы представьте себѣ, что нашихъ могло пронести мимо самыхъ устьевъ Нила и попасть туда они не могли, подхваченные неудержимымъ, воздушнымъ теченіемъ... Это ужасно!

— Это ужасно! — подхватила, вздохнувъ, сестра.

Но мнѣ ничего не казалось ужаснымъ. Слова старика о Промыслѣ Господнемъ такъ глубоко запали мнѣ въ душу, что я почему-то былъ глубоко убѣжденъ въ спасеніи нашихъ и снова покойно задремалъ, чувствуя не безъ удовольствія, какъ послѣ насыщенія все возобновляются и возстановляются мои жизненные силы.

Корабль медленно покачивало, количество парусовъ увеличилось. Отъ этихъ громадныхъ парусовъ на палубу легла прохладная тѣнь. Гдѣ-то звенѣла струна... откуда-то снизу, черезъ открытый стеклянный люкъ, неслись чудные гармоничные аккорды дивнаго, неизвѣстнаго инструмента. Люди казались такими добрыми, хорошими, и совершенно изгладились изъ памяти тѣ злые, что такъ безпощадно палили въ насъ на Днѣпровскихъ затонахъ.

— Яффа! — послышался голосъ съ передней части корабля.

— Яффа! — перевель намъ Верхоглядъ.

Опъ, когда я проснулся вновь отъ этого крика, преважно похаживалъ на мостики, рядомъ съ капитаномъ, пританцовывалъ и вообще велъ себя самымъ фамильярнымъ образомъ.

Матросы дружно хохотали, глядя на его продѣлки.

Я тоже почувствовалъ себя въ полныхъ силахъ, разбудилъ сестру, и мы стали прогуливаться по палубѣ, шагая черезъ свернутыя кольцами веревки и даже черезъ вытянутыя, босыя и обутыя ноги пассажировъ, — крѣпко спавшихъ на подостланыхъ коврахъ, пользуясь пріятною тѣнью распущеныхъ парусовъ корабля.

Замѣтивъ насъ, Верхоглядъ соскочилъ съ мостика и присоединился къ нашей companiї.

— Теперь, — сказалъ онъ, — не зѣвать!.. Мы отдохнули достаточно!.. Судьба была къ намъ необыкновенно благосклонна! Злоупотреблять — даже Божимъ милосердіемъ — не слѣдуетъ. Люди добры къ намъ, но это настроеніе можетъ измѣниться... Берегъ близко!.. Видите этотъ бѣлый прибой, за нимъ уже песчаная отмель... Вонъ и маякъ виднѣется... Разъ, два, три!.. за мною! съ Богомъ!

Мы не дали себѣ времени обдумывать предложеніе Верхогляда и послѣдовали его примѣру, подскакнули слегка, разбѣжались и поднялись па воздухъ, выбравъ болѣе широкій про-

межутокъ въ этихъ многочисленныхъ, хитро перепутанныхъ корабельныхъ снастяхъ.

Теперь мы были виѣ всякой опасности.

Сзади мы слышали крики; кто-то кричалъ: «а журавли-то улетѣли!..» Слышался чей-то дѣтскій плачъ. Я обернулся.

Я видѣлъ у борта толпу людей и между ними, высоко вадъ головами, худую руку старика, посылающую намъ напутственное благословеніе.

Я едва удержался отъ слезъ. Какъ могутъ быть хороши люди, если они этого захотятъ!.. О, зачѣмъ они невсегда хотятъ быть таковыми.

А все-таки лучше отъ людей подальше!

## XVI.

Забравши сначала выше, мы инстинктивно направились въ сторону отъ развертывающейся передъ нами панорамы Яффы. Мы держались правѣ и, перелетѣвъ черезъ буруны, опустились на открытомъ песчаномъ мѣстѣ... Недалеко виднѣлся родникъ, съ бассейномъ, отдѣленнымъ бѣлымъ мраморомъ, около него росла группа чахлыхъ пальмъ, и въ тѣни одной изъ нихъ сидѣла смуглая женщина съ ребенкомъ, а около стоялъ высокій глиняный кувшинъ, наполненный уже водою... Нѣсколько женщинъ шли, удаляясь, съ такими же кувшинами на головахъ... Подальше, поднимая столбы красноватой пыли, мелодично позванивая колокольчиками, тянулся верблюжій караванъ подъ охраною вооруженныхъ всадниковъ.

Все это было для насъ ново и очень интересно.

Хитрецъ Верхоглядъ тотчасъ же предложилъ намъ избрать изъ своей среды предводителя... Онъ очень хорошо зналъ, что это право принадлежить ему безспорно, но того требовали законы, и ему, очевидно, пріятно было испытать, въ первый разъ въ жизни, удовольствіе быть избраннымъ.

Рѣшеніе послѣдовало единогласно, хотя и я не былъ оставленъ вниманіемъ: Верхоглядъ предложилъ избрать меня.

— Тepерь, друзья мои, извольте же повиноваться мнѣ безприкосновно!—произнесъ нашъ новый вождь.—Даже и вы сами, во всѣхъ остальныхъ слушаяхъ, моя повелительница!—кокетливо обратился онъ къ сестрѣ.—Во-первыхъ, господа, насъ трое. Это число позволяетъ намъ немедленно образовать

треугольникъ. Если бы насъ было двое — это, увы, было бы невозможно.

И онъ намъ принялъ чертить на пескѣ, доказывая эту неоспоримую истину.

— Я съ пимъ,—онъ указалъ на меня,—держимъ поочередно стражу и занимаемъ также поочередно передовое мѣсто. Вы, сударыня, освобождаетесь отъ всякихъ служебныхъ обязанностей.

Положимъ, что это былъ уже несовсѣмъ законный произволъ, но я не находилъ нужнымъ замѣтить этого, а сестра тѣмъ болѣе.

Верхоглядъ быстро освоился съ мѣстностью и хорошо опредѣлился. Онъ сообщилъ намъ, что перелетъ будетъ предстоять намъ отсюда, придерживаясь морского берега, прямо на Портъ-Сайдъ и Дамьетту.

— На Ниль! — окончилъ онъ свои соображенія и предложилъ намъ сдѣлать, пока для пробы, маленькій перелетъ... Во-первыхъ, дальше отъ этого родника, куда, все-таки, приходятъ люди, а во-вторыхъ, для пробы крыльевъ послѣ перенесенной нами изрядной передряги.

Мы пролетѣли часа два и опустились снова на отмели, уже окончательно мертваго, пустыннаго берега.

Къ вечеру мы нѣсколько отдохнули и нетерпѣніе летѣть на Ниль, гдѣ намъ улыбалась мысль — узнать хотя что-нибудь обѣ участіи нашихъ родныхъ и товарищѣй, было такъ велико, что рѣшено было сдѣлать перелетъ ночью... По крайней мѣрѣ, большую часть перелета, чтобы завтра меныше осталось.

Мы построились: впереди Верхоглядъ, за нимъ я съ сестрою, почти рядомъ, и полетѣли.

Чудная звѣздная ночь, теплая, дышащая нѣгой, стояла надъ спящей землею. Ощущеніе свободы было такъ пріятно... опасностей болѣе никакихъ не предвидѣлось. «О, какъ было бы хорошо, если бы мы нашли своихъ здравыми и невредимыми!»

Верхоглядъ вралъ всю дорогу безъ умолку.

Онъ намъ разсказывалъ, напримѣръ, какъ капитанъ корабля уговаривалъ его остаться и поступить къ нему въ помощники, какъ онъ отказывался, ссылаясь на свое высокое положеніе, какъ предводителя треугольника, какъ капитанъ жалъ ему ногу съ пожеланіями счастливаго пути и какъ, наконецъ, обнималъ его, прося не забывать и не упустить случая какъ-нибудь навѣдаться еще разъ.

— Весь корабль и весь вареный рисъ къ вашимъ услугамъ,—говорилъ капитанъ,—а повара бояться нечего... Тотъ хоть и негръ, но хорошо воспитанъ и не посмѣеть мариновать первого друга своего капитана.

Оба мы хотели отъ души и дѣлали видъ, что вѣримъ разсказчику безусловно, а тотъ разошелся такъ, что заявилъ будто бы капитанъ гдѣ-то въ Англіи заказалъ себѣ превосходный настоящія журавлиныя крылья и рѣшилъ послѣ выйти въ отставку и поступить въ журавли, вполнѣ надѣясь, что онъ, Верхоглядъ, не оставить его, въ свою очередь, своимъ высокимъ покровительствомъ.

Къ разсвѣту мы замѣтили впереди, то потухающую, то вспыхивающую снова огненную точку—это былъ далеко выдвинутый въ море маякъ Портъ-Саида, до котораго, впрочемъ, было еще очень далеко.

Маяки всегда строятъ такъ, что ихъ, особенно съ высоты журавлинаго полета, видно очень издали. Кажется и близко, особенно ночью, вотъ, вотъ сейчасъ уткнешься, а между тѣмъ летишь, летишь и конца нѣть.

Дѣйствительно, когда разсвѣло окончательно, мы только, и то издали, увидали чутъ замѣтную розоватую колонну, на верху которой сверкала какая-то искра. Это первые лучи восходящаго солнца играли, отражаясь въ стеклахъ маячнаго фонаря, въ виду котораго, въ ожиданіи очереди прохода, качалось множество паровыхъ и парусныхъ судовъ, а между ними шныряли маленькие, весело посвистывающіе пароходики.

Влѣво, рѣзко выдѣляясь въ ярко-желтомъ фонѣ песковъ, тянулась прямая, какъ стрѣла, узкая водная полоса канала, и по ней медленно ползли колоссальные корабли, распространяя надъ собою цѣлую тучу чернаго дыма.

За Портъ-Саидомъ, уходя въ туманъ, разстилалась низменная равнина, мѣстами покрытая зеленою камышей, мѣстами желтѣвшая песками, вся изрѣзанная безчисленными водными протоками. Эту низменность отъ Портъ-Саида отдѣляла невысокая гряда сыпучихъ песковъ.

— Дельта!—указалъ намъ Верхоглядъ...—Вотъ она здѣсь начинается!

Сердца наши забились сильно.... Страхъ и надежда смѣялись между собою, то рисуя намъ радостныя картины встрѣчи, то печальную будущность сиротства и горькихъ воспоминаній.

Мы расположились на отдыхъ именно въ этой, отдѣляющей чёртъ сыпучихъ песковъ, и къ полудню, зорко высматривая внизу и по сторонамъ, плавно неслись надъ дельтою Нила, вдыхая его сырья испаренія.

— Сюда!—радостно крикнулъ Верхоглядъ.

Мы замѣтили небольшую группу журавлей, пасущуюся на берегу лѣниваго, еле ползущаго протока.

Мы рванулись къ нимъ такъ стремительно, что забыли дисциплину и разстроили свой треугольникъ. На наши радостные крики снизу отзывались такими же веселыми трубами.

Это были наши... не нашего, то-есть прежняго треугольника, но другихъ... изъ тѣхъ, что тоже вынесли бурю. Изъ семидесяти журавлей этого клина осталось только шестнадцать, да и то чудомъ снесенныхъ прямо въ эти мѣста... Каковъ подневольный перелетъ! Прочие затерялись въ морѣ—и нѣть о нихъ никакихъ извѣстій... Вѣроятно, погибли.

На робкій вопросъ нашъ о треугольнике папы-Горлана— эти ничего не знали. Они сами еще не оправились достаточно, чтобы отправиться на розыски, и приглашали насть присоединиться къ нимъ.

— Кто у васъ старшій?—гордо спросилъ Верхоглядъ.

Ему отвѣтили.

Онъ направился къ указанному журавлю и сталъ съ нимъ совѣщаться, разговаривая вполголоса. Верхоглядъ убѣдилъ всѣхъ перемѣнить мѣсто стоянки. Ему это почему-то не понравилось. Предложилъ перѣбраться на другое, по моему, совершенно одинаковое, и, не откладывая въ долгій ящикъ, выбрать журавлей, нонадежныѣ и разослать ихъ на розыски. Впрочемъ, исполненіе этого охотно принятаго предложения было отложено до утра.

Къ ночи къ намъ еще прилетѣло нѣсколько чудомъ спасенныхъ. Одинъ изъ вновь прибывшихъ сообщилъ, что видѣлъ папу-Горлана еще живымъ, еще энергично боравшимся съ ураганомъ, и видѣлъ незадолго до своего собственнаго спасенія... Надежда увеличивалась. Едва дождались разсвѣта, какъ избранные развѣдчики отправились въ путь. Я тоже полетѣлъ съ ними, довѣреннымъ лицомъ отъ нашего треугольника, нѣсколько теперь увеличившагося, потому что Верхоглядъ немедленно присоединилъ прибывшихъ къ своимъ силамъ. Вообще, насть молодой вождь распоряжался гораздо энергичнѣй другого предводителя, и прочие журавли смотрѣли на насть не безъ нѣко-

торой зависти. Выбравъ себѣ товарища, я отправился на розыски. Едва мы отлетѣли немнога, какъ я замѣтилъ на пескѣ, на самомъ солнцепекѣ два большихъ, неподвижныхъ, зеленовато-черныхъ предмета и припаялъ ихъ за бревна, выброшенныя на берегъ волною; покрывавшая ихъ пѣсень еще болѣе увеличивала это подобіе... Каковъ же былъ мой ужасъ, когда я увидѣлъ, что эти бревна зашевелились и медленно поползли по песку, оставляя за собою глубокія борозды. Одно изъ этихъ бревенъ зѣвнуло и раскрыло страшную пасть, усеянную острыми зубами. Эта пасть была такъ велика, что въ нее могли бы помѣститься разомъ не только цѣликомъ журавль, но даже пара гораздо крупнѣйшихъ пеликановъ. Я не зналъ, что это за чудище, товарищъ мой тоже, а спросить было не у кого. Ограничивающійся только легкимъ облетомъ стороныю, мы продолжали путь и скоро увидали на маленькомъ, густо поросшемъ островкѣ, опять группу журавлей и между ними, къ величайшей моей радости, моего милаго, дорогаго, никогда такъ сильно не любимаго, какъ теперь, папу-Горлана.

Кубаремъ слетѣлъ я внизъ, зацѣпился ногами, ткнулъ носомъ въ песокъ и едва только могъ произнести, задыхаясь и то сквозь радостныя слезы:

— Папа, мой папа!

Папа вздрогнулъ, какъ бы спросонка, пристально посмотрѣлъ на меня и тихо спросилъ, словно не замѣчая моей радости:

— А сестра?..

— Всѣ живы, всѣ,—закричалъ я,—и Верхоглядъ живъ, онъ у насъ теперь предводителемъ.

— Предводителемъ!..—грустно покачалъ папа головою.— Это хорошо, очень хорошо! А я уже не гожусь, старъ, должно быть, становлюсь. Погубиль чуть не весь треугольникъ. Не послушался добрыхъ совѣтовъ, на силы свои понадѣялся. Ну, радъ, радъ, очень радъ, что хотя вы живы.

Я пристально взглянулъ на папу. Его узнать даже было трудно, такъ измѣнили его горе, да и утомленіе, быть можетъ. Я стала осматриваться.

— Не ищи, погибла!—проговорилъ папа.

И тутъ только я понялъ всю тяжесть его и нашей съ сестрой потери.

— Погибла на моихъ глазахъ,—продолжалъ онъ.—Захлестнуло проклятою волною и болѣе она уже не показывалась.

И заплакалъ горько, горько.

— Бѣдная сестричка моя! Какъ то я ей передамъ это тяжелое извѣстіе.

Папа, узнавъ, что мы на розыскахъ, похвалилъ насъ за это, скъзывъ: умно! и только; ссылаясь на свою усталость, отказался принять участіе въ общемъ дѣлѣ, но внимательно разспросилъ о мѣстѣ нашей стоянки и обѣщалъ къ вечеру присоединиться съ остатками, около него сгруппировавшимися.

Мы полетѣли дальше. Къ ночи наши дѣла настолько были успѣшны, что, кромѣ тѣхъ, что за усталостью не могли летѣть, я собралъ на наше становище около сотни журавлей, и нашъ лагерь сталъ немнога напоминать своею многочисленностью прежнія стоянки. Для три находились мы на тѣхъ-же мѣстахъ, все собирая разрозненные полчища. Дѣдушка Долгоносъ прилетѣлъ со своимъ совершенно цѣлымъ треугольникомъ на второй день. Ему просто посчастливилось. Онъ сдѣлалъ роковой перелетъ на Бейрутъ на другой день послѣ нашего, и вполнѣ благополучно. Запоздай и мы хоть немного, хоть полсутокъ всего, о, какъ было-бы хорошо, сколько жизней сбереглось бы. Но кто-же могъ знать, что насъ ожидаетъ впереди, одинъ Богъ, и да будетъ Его святая воля! Мы подвели счеты. Оказалось, что потеряно было въ морѣ всего до двухъ сотъ журавлей изъ разныхъ треугольниковъ, добрая третъ... ужасная потеря!

Къ концу третьяго дня стали появляться головы колоннъ Премудраго Крыломаха, осторожно летѣвшихъ вдоль берега. Мы начали устраиваться.

Выборъ Верхогляда въ вожди былъ утвержденъ. Его треугольникъ составили изъ остатковъ другихъ, потерявшихъ своихъ главарей. Положимъ, онъ самъ очень много рассказывалъ о своихъ подвигахъ, но главную вѣру дали показаніямъ моимъ и моей сестры. Но тутъ новому вождю пришлось попасть въ положеніе, несовсѣмъ удобное.

Я и моя сестра, по семейнымъ законамъ, должны были остаться въ треугольникѣ своего папа. Верхоглядъ не желалъ разставаться съ нами, главное, конечно, съ сестрою. Приходилось выбирать одно изъ двухъ: или отказаться отъ предводительства и остаться у насъ, или же разставаться. Верхоглядъ, впрочемъ, колебался недолго, а тутъ еще рѣшеніе ускоряль каждый томный взглядъ моей сестрицы.

— Оно, положимъ, — проговорилъ нашъ молодецъ, — лестно, весьма даже лестно и вполнѣ заслужено. Но это еще не уйдетъ, заслуги мои всегда оцѣняются по достоинству, а пока, я надѣюсь дорогой пап... то-есть, я поторопился, я хотѣлъ сказать, многоуважаемый господинъ Горланъ, что вы ничего не имѣете противъ моего присутствія въ вашемъ треугольникѣ, подъ вашимъ благосклоннымъ покровительствомъ.

Папа отвѣчалъ только короткимъ и сухимъ: «оставайся!» и вопросъ былъ рѣшенъ окончательно, къ общему нашему удовольствію. Старый Долгоносъ тоже сильно горевалъ о погибели нашей милой, заботливой маменьки и старался, какъ могъ, утѣшать своего осиротѣвшаго друга.

«Круты горки да забывчивы», говорить пословица, и нѣть такого горя, которое не заслонялось бы навѣки новыми радостями, какъ и сама смерть смѣняется новою жизнью.

Что касается до меня, то я такъ заинтересовался своею милою Журкою-Уралкою, что Верхоглядъ совѣтовалъ мнѣ просять у кого слѣдуетъ о переводе, но Крыломахъ Премудрый устроилъ все какъ нельзя лучше. Разъ, передъ вечеромъ, онъ пришелъ къ намъ, да и не одинъ, а съ Черношайкою и, смѣясь во все горло, проговорилъ, обращаясь къ папѣ-Горлану:

— Эй, дружище, возьми ты мою дурочку къ себѣ на излѣченіе! Чортъ знаетъ, что съ нею дѣлается! Плохо кушаетъ, а еще того хуже спитъ. Я убѣжденъ, что она у тебя въ треугольникѣ поправится. Знаю я эту болѣзнь!.. Давно, положимъ, очень давно, это было, но еще помню... Такъ вотъ, бери ее подъ свое покровительство.

Папа согласился, и съ этого счастливаго вечера мы съ Журкою-Уралкою, съ милою мою красавицею Черношайкою, уже болѣе не разлучались.

## XVII.

Уже здѣсь, въ низовьяхъ Нила, мы были вполнѣ обеспечены отъ зимнихъ холодовъ. Мы могли бы и здѣсь прожить новое лѣто, но предполагалось летѣть все дальше и дальше. Эти перелеты мы совершали не торопясь, зигзагами, то располагаясь на правомъ берегу, то переносясь на лѣвый. О сколько, по истинѣ, интереснаго встрѣчали мы на своемъ пути, проносясь плавно надъ этой страною чудесъ!

Наши старики, много разъ бывалые, опытные и все знающие, рассказывали намъ, объясняя все видѣнное, называли по именамъ и припоминали любопытныя, связанныя съ данною мѣстностью, просто духъ захватывающія приключенія.

Верхоглядъ, удивительное дѣло, враль гораздо меньше, но ко всему присматривался и прислушивался; сестра моя была имъ, очевидно, довольна и дарила его своею полнѣйшею благосклонностью. Мы съ Чернушкой тоже были вполнѣ счастливы, и путешествіе наше могло бы считаться истинно райскимъ, если бы не нарушалось изрѣдка тревожными и даже печальными минутами. Впрочемъ, все надо вести по порядку.

Первое чудо на нашемъ пути, конечно, былъ Каиръ, этотъ удивительный городъ съ плоскими крышами, съ чудными зданіями, съ величественнымъ видомъ на Нилъ. Верхоглядъ указалъ мнѣ на золоченую крышу высокаго, чрезвычайно красиваго минарета, съ которого онъ когда-то разогналъ голубей и ласточекъ. Узенькія темныя улицы города казались щелками, по въ нихъ копошилась и шумѣла кипучая жизнь, особенно въ тѣни крытыхъ базаровъ. Люди въ пестрыхъ и бѣлыхъ одеждахъ толпились на площадяхъ, занимали живописными группами мѣсто въ тѣни развѣсистыхъ деревьевъ, пили что-то изъ крохотныхъ чашечекъ и курили изъ длинныхъ, предлинныхъ трубокъ. Женщины, съ закрытыми лицами, какъ тѣни, бродили попарно и кучками, катались въ легкихъ изящныхъ коляскахъ и щебетали, какъ тѣ ласточки, миллионами сновавшія надъ городомъ. Между людьми просто по улицамъ бродили, похожія на нась, птицы, только носы у нихъ были гораздо длиннѣе. Это ибисы, еще болѣе близкія къ человѣку птицы, чѣмъ наши знакомые аисты, и этихъ тоже здѣсь было довольно. Но что за красавцы эти краснокрылы! Мы ихъ въ первый разъ замѣтили, вытянувшихся въ одну линію, неподвижно стоящихъ вдоль берега, на отмели. Что-то испугало ихъ, и они взлетѣли на воздухъ, точно громадные, огненно-красные кресты распластались они въ знойномъ воздухѣ вечера и, вытянувшись длиннѣйшія шеи, потянулись по другую сторону. Куда они рослѣе нась, журавлей! и носы у нихъ другіе совсѣмъ: короткіе, толстые и загнутые, какъ ложки. Вѣроятно, имъ нужны именно такой формы. Мы лежали въ пески лѣваго берега и видѣли величественные ряды пирамидъ. Мы видѣли колоссальную голову, напоминающую голову человѣка, съ разбитымъ приплоснутымъ

носомъ и въ странномъ головномъ уборѣ, словно громадныя уши висящемъ по бокамъ этой головы. Голова торчала изъ песка; чувствовалось, что подъ этимъ пескомъ погребено какое-то принадлежащее головѣ туловище, и все это такъ было велико что настоящіе люди, даже верблюды, казались крохотными мушиками. Мы видѣли стройныя финиковыхъ пальмы, видѣли, какъ ловко приспособились къ нимъ люди, чтобы лазить на самыи верхъ подъ ихъ густыя тѣнистые кроны, добывая оттуда спѣлые грозди вкусныхъ финиковъ, мы даже пробовали эти финики,—ихъ такъ много валялось около, на пескѣ, да и тѣ, что наверху, конечно, были для насъ, крылатыхъ, болѣе доступны, чѣмъ для человѣка. Печальную мертвую страну представляютъ эти песчаныя пустыни, словно море, разливающееся по ту сторону пирамидъ, но и тамъ жизнь!.. На быстроногихъ верблюдахъ скачутъ по этимъ пескамъ смуглые люди, въ ярко бѣлыхъ плащахъ, тянутся караваны и носятся въ воздухѣ громадные хищники, грифы, зорко всматриваясь въ даль, Богъ знаетъ какъ далеко различая въ сплошномъ тонѣ песковъ бѣльющаскости и смрадные трупы павшихъ отъ изнуренія животныхъ.

Разъ ночью, когда полная луна свѣтила своимъ мертвымъ холоднымъ свѣтомъ на уснувшую пустыню, мы видѣли животное съ красивою косматою гривою; этотъ звѣрь шелъ легкою кошачьей поступью, отbrasывая на пескѣ длинную тѣнь. Вотъ еще одна тѣнь мелькнула,—это другой звѣрь такого же вида, но безъ гривы. Они поровнялись, обнюхали другъ друга и залегли, помахивая своими длинными хвостами.

— Это львы, это страшнѣйшіе звѣри во всемъ свѣтѣ,—шепталъ моей сестрѣ Верхоглядъ.—Ихъ даже и люди боятся, а когда они начнутъ рычатъ, такъ это просто, словно раскатъ грома далекаго. Внушительно! Для насъ, журавлей, это, положимъ, пустяки,—добавилъ онъ самонадѣянно,—но для людей и прочихъ животныхъ, не скажу... Встрѣчаться не посовѣтывалъ бы.

Послѣ, по ночамъ, по закатѣ солнечномъ и передъ разсвѣтомъ, мы не разъ слыхивали рыканіе львовъ и жалобный вой сопровождающихъ этихъ царей пустыни жалкихъ шакаловъ трусливыхъ воришекъ, дрянныхъ звѣрей, нестоящихъ ни маѣвшаго вниманія.

— Это еще все пустяки!—говорилъ Долгоносъ-Всезнайка, когда мы, возвращаясь съ прогулокъ, рассказывали свои при-

ключенія, описывали все видѣнное... — Это пустяки! Вотъ дальше, у верховьевъ Нила, у подножія Голубыхъ горъ, на большихъ внутреннихъ моряхъ-озерахъ, что мы увидимъ, — это многое поинтереснѣе будетъ...

И мы съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ ждали обѣщанныхъ чудесъ, и все рвались впередъ и впередъ, открывая все новыя и новыя явленія, незнакомыя намъ, величественной природы.

И за ея подавляющими красотами, за этою, непрерывно смѣняющеюся новизною, мы все болѣе и болѣе забывали наши скромныя, родныя болота... Неблагодарные!.. мы забыли свою родину!..

Я говорю мы, то есть молодежь. Старики, напротивъ, тѣ собирались вмѣстѣ, высчитывали дни, когда наступить пора возвращенія, соображали, что теперь тамъ? и, говоря о забытыхъ нами мѣстахъ, выражались: «у насъ», а говоря о здѣшнихъ, такъ и говорили: «на Нилѣ, моль».

На третьемъ перелетѣ (мы все время не покидали путеводной ленты Нила) пришлось намъ увидѣть древнія развалины и колоссальныя фигуры мемноновъ... нелѣпые, лишенныя всякой красоты, едва сохранившіе подобіе человѣка, каменные сидачіе уроды, словно стерегутъ здѣсь теченіе Нила, отражаясь въ его стоячихъ затонахъ... А дальше густыя кроны роскошныхъ пальмъ букетомъ поднимаются надъ водою, и тамъ видна колонада, прямolineйная очертанія полуразвалившихъся воротъ, торчащія иглы обелисковъ, и все это покрыто сплошь причудливымъ узоромъ таинственныхъ, много тысячелѣтій сохранившихъся, надписей...

Я помню, меня особенно занимали эти надписи... Очевидно, что это именно надписи, а не просто узоры, это невольно чувствуется. Разъ я, случайно отдѣлившись отъ другихъ, долго стоялъ подъ кускомъ карниза, свалившимся откуда то сверху... Никто мнѣ не мѣшалъ, кругомъ было тихо, и я погрузился въ созерцательное положеніе. Я всматривался въ загадочные фигуры и силился постичь ихъ значеніе...

— Эй, ты, юный философъ! — раздалось неожиданно около меня.

Я даже вздрогнулъ.

— А ты, братъ, не забывай, что здѣсь не наши осташковскія болота,—толкнулъ меня дѣдушка Долгоносы,—это былъ онъ, —здѣсь сразу попадешь кому-нибудь на зубъ... Посмотри,

вонъ крокодиль изъ воды высунулся, это онъ на тебя засмотрѣлся, какъ ты вотъ на этотъ камень. Ну что нашелъ интереснаго?

Я сообщилъ ему, что именно меня интересуетъ.

Долгонось пристально посмотрѣль тоже, что-то припомнилъ и, къ величайшей моей радости, сказалъ:

— Это очень просто.

— Объясните, дѣдушка! — обрадовался я.

— А видишь ли вотъ этотъ первый знакъ, на что онъ похожъ?

Теперь для меня очевидно было, что первый знакъ выражалъ попытку художника изобразить дерево... Конечно, дерево это было нарисовано совсѣмъ по-дѣтски, но узнать можно было безошибочно.

Подошелъ тутъ Верхоглядъ къ намъ съ своею подругою... Еще захлопали крылья, это папа прилетѣль, тоже случайно, и съ пимъ штука пяточъ нашихъ. Моя Черношнейка тоже подбѣжала: она всегда очень любила разсказы Долгоноса-Всезнайки. Однимъ словомъ, образовалось изрядное общество слушателей, и нашъ маститый учитель былъ, очевидно, нѣсколько польщенъ оказаннымъ ему вниманіемъ.

— Такъ, значитъ, — продолжалъ онъ потомъ и остановился, — дерево такъ дерево, запомните его начальную букву.

— Д, — подсказала Черношнейка и сконфузилась.

— Почему не ё? — захототаль какой-то дуракъ въ заднихъ рядахъ слушателей.

— Недурить! — коротко отрѣзаль папа... — Ну, валай, друже... весьма интересно! Дерево такъ дерево...

— Второй знакъ — голова какого-то животнаго, по ушамъ, надо полагать...

— Осель! — подсказалъ я.

— Запомнимъ О.

— Третій?

Тутъ нѣсколько голосовъ разомъ, узнавъ изображеніе, крикнули: ложка!

— Вѣрно!.. Четвертый знакъ просто голова негра или какого-нибудь другого, это все равно! Я полагаю, что художникъ хотѣль этою головою выразить букву Г. Затѣмъ опять повторяется осель, затѣмъ...

Тутъ уже мы всѣ хоромъ крикнули: «носъ!» и стали съ недоумѣніемъ между собою переглядываться...

Что это, простая случайность, или...

Нашъ маститый дѣдушка стоялъ, скромно опустивъ голову, какъ будто преклонившись передъ какимъ-то величественнымъ воспоминаніемъ.

— Дѣдушка, это вы?.. Это ваше имя? .—робко спросила сестра...

— Не думаю,—произнесъ онъ...—Вѣроятно, одинъ изъ моихъ предковъ... нашъ родъ Долгоносовъ,—одинъ изъ старинѣйшихъ журавлиныхъ родовъ. Странно, однако, очень странно... Вотъ не ожидалъ!..

Нашъ ученый, но тѣмъ не менѣе скромный стариkъ быль, положительно, смущенъ своимъ открытиемъ... Вѣдь, надо-же было мнѣ остановиться надъ этимъ обломкомъ, надо же было появиться въ эту минуту Долгоносу, надо, чтобы собралась вся компанія, и такой ошеломляющей результатъ.

Лестно, крайне лестно, но, во всякомъ случаѣ, вполнѣ заслуженно.

— Сюда! сюда!—раздался тутъ голосъ Верхогляда.

Онъ ранѣе еще, въ первую минуту общаго недоумѣнія, куда то скрылся и теперь звалъ насъ зачѣмъ то. Вѣроятно, нашелъ что-нибудь крайне интересное.

Когда мы къ нему подлетѣли, онъ стоялъ, опустивъ носъ до земли, и внимательно что то разматривалъ.

На пескѣ, на совершенно ровно-заглаженномъ мѣстечкѣ, тоже виднѣлись какіе то знаки. Верхоглядъ ихъ разматривалъ очень внимательно.

— Какъ думаете, господа, это можно принять за волка?—спросилъ онъ, указывая на что то съ острыми зубами и торчащими врозь ушами.

— Ну, положимъ, волкъ!—согласился я и пристально посмотрѣлъ на шутника.

— Слѣдующій знакъ тоже дерево, по, замѣтьте, какое? Безъ сомнѣнія, елка,—читалъ Верхоглядъ.—Слѣдующее...

— Ракъ!—крикнулъ кто-то.

Тутъ кругомъ поднялся такой неудержимый, веселый смѣхъ, что даже дѣдушка Долгоносъ не обидѣлся на шутку-пародию Верхогляда и охотно присоединился къ смѣющемся хору.

— Ахъ, ты шутъ этакій!.. ха, ха, ха! --- гремѣль, выдѣляясь, голосъ отца.

— А я уже испугалась... — подошла тихонько сестра. — Я уже подумала-было, что вы хотели такъ обмануть насъ серьезно, изъ зависти къ заслуженной славѣ дѣдушки...

— Ну, могли ли вы это думать?.. Ну, похоже ли это на меня!... — успокаивалъ ее Верхоглядъ.

— Да, братъ,—хорошо папа-Горланъ,—если ты хочешь увѣковѣчить свое имя, такъ материаль выбирай покрѣпче, а то, ха, ха, ха!.. виши ты, на пескѣ!..

— На пескѣ ничего вѣчнаго не построишь,—смѣялись и другіе.—Выбирай, братъ, камень покрѣпче, долби его поглубже, а то на пескѣ... ха, ха, ха!.. до первого вѣтра, да что вѣтра, до первого воробья, которому вздумается здѣсь прогуляться.

— А что еще лучше, еще прочнѣе, чѣмъ всѣ вмѣстѣ взятые камни,—вмѣшался тутъ премудрый Крыломахъ: онъ налетѣлъ на общее веселье,—это сердца журавлины или даже вообще сердца. Надо, чтобы славныя и добрыя дѣла глубоко врѣзались въ душу современниковъ, передавались такими же глубокими, неизгладимыми чертами въ сердца потомства и, изъ поколѣнія въ поколѣніе, безъ напоминающей помощи колоссальныхъ, а все-таки нѣвѣчныхъ монументовъ, хранили вѣчную славу о добрыхъ и мудрыхъ своихъ предшественникахъ... Другъ Долгоносы, здорово! отъ души поздравляю!..

Порѣзвившись здѣсь, на этомъ островѣ, поплывавъ немнogo, благо молодежи было достаточно и, проникнувшись еще большимъ уваженiemъ къ нашему престарѣлому вождю, мы полетѣли уже всѣ вмѣстѣ на ту сторону, покупаться въ пескахъ, и наравились нечаянно на весьма печальную картину.

Вдоль берега, зорко всматриваясь въ густыя заросли необыкновенного по своей высотѣ камыша, мы замѣтили маленькую группу всадниковъ, повидимому нисколько для насъ неопасную, не только для насъ, но вообще для птицъ.

Люди были безъ ружей и везли плѣнниковъ, мирно и покойно сидящихъ у нихъ на рукахъ. Что это были за плѣнники, очевидно, птицы, да только какія, трудно было разобрать, такъ какъ головы у нихъ были прикрыты красными шапочками. Судя по оперенію, это были хищники. Ну, и слава Богу, туда имъ и дорога!.. Но, увы, эти плѣнники оказались предателями и союзниками человѣка въ его, вотъ уже по истинѣ, хищныхъ замыслахъ.

Широко заколыхались вершины густыхъ камышей, и изъ-за

нихъ, хлопая крыльями, поднялся прелестный, бѣлый, какъ снѣгъ, лебедь. Не успѣлъ онъ подняться въ половину своего взлета, какъ люди закричали, замахали руками и спустили своихъ прирученныхъ разбойниковъ. Два ястреба, какъ молния, взвились на воздухъ. Одинъ поднялся выше и сталъ описывать кругъ надъ испуганнымъ лебедемъ, другой потянулъ низомъ, не давая ему спастись въ камышахъ, не пуская къ водѣ. Началась смертельная борьба, пока еще безкровная. Лебедь понесся прямо, расчитывая обогнать преслѣдователя, тѣ за нимъ, замѣти приближаюшись къ намѣченной жертвѣ. Мы это все видѣли пока издали и теперь неслись на помощь къ лебедю, но опоздали. Верхній ястребъ, какъ камень, ударила бѣлого красавца сверху и словно исчезъ, зарывшись въ его роскошное опереніе; другой ястрѣбъ подрѣзалъ снизу, и въ то же мгновеніе въ воздухѣ пропесся жалобный крикъ смертельно раненаго лебедя, и онъ, вмѣстѣ со вшившимися въ него врагами, безнадежно, неправильно маша окровавленнымъ крыломъ, пыткось полетѣть на землю. Всадники съ дикими воплями торжества и побѣды гнали своихъ лошадей во всю прыть къ мѣсту паденія.

— Поздно! — остановилъ наше стремленіе помочь бѣднаго папа-Горланъ. — Повороти назадъ... Цѣли нѣтъ принимать бой... Выручить не успѣли, а мстительность не наше дѣло... Стой, молодецъ, не рисковать!

И было какъ разъ во-время. Всадники замѣтили наше приближеніе и показывали руками въ нашу сторону. Одинъ изъ нихъ слѣзъ съ лошади и старался отщѣпить ястребовъ отъ добычи, нахлобучивъ имъ на головы ихъ успокоительные колпачки.

Мы оттянули отъ берега и неслись надъ серединою рѣки въ полной безопасности, далеко опередивъ конныхъ людей съ ястребами. Подъ нами тяжело шелъ вверхъ по теченію пароходъ, таща на буксирѣ большія лодки, съ колесами во всю палубу, наполненные вооруженными солдатами въ бѣлыхъ каскахъ, оббитыхъ зелеными, легкими вуалями. Вдали виднѣлись еще такія же суда и, кромѣ того, появилась цѣлая флотилия легкихъ лодокъ съ коротенькими мачтами, но зато ужасно длинными, тонкими и гибкими реями, паруса которыхъ своею формою напоминали колоссальныя ласточкины крылья.

### XVIII.

Чѣмъ дальше поднимались мы по Нилу, тѣмъ становилось малолюднѣе. Характеръ мѣстности также измѣнялся значительно. Время года стояло такое, когда жара достигаетъ своей высшей силы. Близость раскаленныхъ пустынь еще болѣе усиливала нестерпимый зной, выжигая жалкія поля кое-гдѣ разбросанныхъ рисовыхъ плантаций.

— А у насъ теперь зима настоящая,—говорилъ папа.— Морозы, чай, такие заворачиваются, что на славу, да и снѣгомъ все сплошь покрыло, тамъ чистая смерть, только вороны съ воробьями и выдерживаются, намъ не стерпѣть!

Онъ намъ объяснилъ причины нашихъ ежегодныхъ перелетовъ, и мы благословляли Бога, даровавшаго намъ могучія крылья, а съ ними и вѣчное лѣто.

Но и здѣсь становилось, наконецъ, невыносимо. Всѣ крайности никуда не годятся: великий холодъ и чрезмѣрный зной одинаково неудобны. А дальше, говорили намъ, гораздо лучше. Дальше, хотя и южнѣе, а пойдутъ глухіе, дремучіе лѣса, за облака поднимутся высокія горы, вѣчнымъ льдомъ покрытыя, умѣряющія жаръ. Тамъ великія озера, цѣлые внутреннія моря. Тамъ рай сравнительно съ этой печальною, солнцемъ спаленnoю, мѣстностью.

Спустя недѣлю, мы проносились надъ пѣнистыми, бурливыми порогами Нила и видѣли, какъ гибнутъ, разбиваясь о камни, человѣкія человѣческія лодки. Скоро послѣ этого мы прибыли на мѣсто, гдѣ рѣка раздавалась. Влѣво шель широкій протокъ, Атбара, прямо—Баръ-эль-Абіадъ. Болотистые разливы, покрытые дымкою тумана, окружали городъ. Это былъ Хартумъ. Мы предпочли миновать его поскорѣе, и были на то довольно основательныя причины: тамъ слышались выстрѣлы и лилась кровь; тамъ изъ-за чего-то дрались люди: говорятъ, давно уже дерутся въ этихъ мѣстахъ, дерутся три расы—черные, смуглые и бѣлые. Чего-то подѣлить между собою не могутъ. Верхоглядъ пытался разъяснить намъ это, но какъ-то не особенно вразумительно выходило. Онъ намъ говорилъ, напримѣръ, что смуглые—это египтяне, и имъ очень непріятно, чтососѣди ихъ черные и отмыть эту черноту никакъ невозможно... Ну, убѣдились, что невозможно и оставь въ покой, а то, нѣтъ, все еще пробуютъ выяснить сосѣдей... Говорилъ онъ, что гдѣ то, далеко на сѣверѣ,

есть одна порода совсѣмъ бѣлыхъ людей. Эти люди вѣчно предлагають свои услуги, при каждомъ недоразумѣніи, между кѣмъ бы то ни было. Пришли эти люди и сюда, на помощь египтянамъ. Эти уже порѣшили, что если нельзя отмыть черноты, то по крайней мѣрѣ выбѣлить ихъ, чтобы по наружности подходило... Приялись бѣлить, а вмѣсто того столько крови пролили, что вмѣсто бѣлой, получилась самая красная окраска. Попытка ихъ не удалась, а платить за труды приходится смуглымъ, то есть египтянамъ. А тѣ уже совсѣмъ обѣднѣли, послѣднее у нихъ забирать начали бѣлые пришельцы; говорять они бѣлымъ: «господа, что же вы дѣластѣ?» А бѣлые отвѣ чаются: «какъ что, вносимъ въ ваши варварскія страны про свѣщеніе и, связавши васъ по рукамъ и погамъ, этимъ самимъ уничтожаемъ невольничество, насаждаемъ свободу и равенство... развѣ это неясно!» Такъ объясняль намъ Верхоглядъ все происходившее между людьми въ этихъ мѣстностяхъ, но, вѣроятно, онъ что-нибудь перепуталъ; впрочемъ, дальнѣйшія наши наблюденія, съ высоты птичьаго полета скрѣпѣ подтвердили объясненіе Верхогляда, и мы мало-по-малу поневолѣ должны были ему повѣрить.

Однажды мы неслѣсъ надъ дивнымъ, дремучимъ лѣсомъ; глухой шумъ голосовъ привлекъ наше вниманіе, и мы увидѣли большую толпу людей, съ трудомъ прокладывающихъ себѣ дорогу въ непроходимой чащѣ.

Шли больше черные, полуголые и совсѣмъ голые; они несли на головахъ своихъ и на спинахъ громадныя тяжести, какіе-то необыкновенной величины бѣлые клыки, кувшины, наполненные водою, мѣшки съ рисомъ и прочее. Около шли пѣшкомъ и тѣхали верхомъ смуглые люди и жестоко хлестали бичами черныхъ, если тѣ приставали или падали отъ усталости. Много черныхъ было обременено цѣпями, и между ними виднѣлись даже женщины съ дѣтьми. И тѣхъ не щадили безпощадные бichi египтянъ и арабовъ.

Эти странные путешественники не знали, что при выходѣ на берегъ они какъ разъ наткнутся на лагерь бѣлыхъ, а намъ сверху все было отлично видно, какъ на ладонѣ. „Чѣмъ-то, думаемъ, все это кончится?“ Намъ даже радостно стало: вотъ, думаемъ, бѣлые накажутъ смуглыхъ за ихъ жестокость въ чернѣмъ, они отнимутъ тѣхъ, освободятъ и поколотятъ злыхъ. И за дѣло!.. Дѣйствительно, столкнулись, началась отчаянная

свалка... Много съ обѣихъ сторонъ побито было народу, одолѣли подъ конецъ бѣлые. Что же мы увидѣли на слѣдующее утро? Нѣсколько смуглыхъ было повѣшено на деревьяхъ, остальные шли въ цѣпяхъ и тащили тяжести, а черные тоже шли съ ними рядомъ и тащили свой грузъ, только теперь бичами хлѣстали не смуглые, а бѣлые, и хлѣстали даже съ большою ловкостью и энергией. Мы видѣли деревни черныхъ, до тла сожженныя бѣлыми, видѣли разъ и мѣсто ужаснаго кроваваго побоища, гдѣ тѣла бѣлыхъ лежали цѣлыми грудами, привлекая гienъ и крылатыхъ хищниковъ; невозможный смрадъ отравлялъ воздухъ на громадномъ протяженіи, и мы летѣли дальше и дальше, огибая печальная мѣста человѣческихъ недоразумѣній. Наконецъ, мы надолго избавились отъ людей и попали въ такія пустыни, гдѣ, вѣроятно, нога человѣческая еще не заходила, то есть бѣлые и смуглые ноги.

Какие дивные лѣса сплошь покрывали эту райскую мѣстность, какие колоссы растительного міра возвышались своим кронами надъ всѣмъ, покрывая сплошною тѣнью громадных пространства. Какие чудные луга пересѣкали лѣсныя чащи, и по нимъ медленно протекали покойныя рѣки, несущія свои воды все въ тотъ же Баръ-эль-Абіадъ, какъ разъ по срединѣ прорѣзывающей эту цвѣтущую пустыню. Рѣдко, очень рѣдко попадались затерянные въ лѣсахъ шалаши деревень чернокожихъ, окруженные полями риса и пшеницы. Также и по большой рѣкѣ изрѣдка появлялись тяжелыя лодки съ вооруженными людьми и изъ подъ навѣсовъ, покрывающихъ палубы, слышался все тотъ же знакомый стонъ неволи и брязгъ цѣпей да свистающее хлюпанье бича по голому, потному тѣлу.

Ужасная страна! Богато одаренная Богомъ, отравленная человѣческою злобою!

Спустившись на почлегъ, предварительно тщательно осмотрѣвъ окрестности, для чего мы описали громадный кругъ, мы расположились на лугу, недалеко отъ пальмового лѣса, кишащаго попугаями и обезьянами. Дѣло было передъ закатомъ солнца, сумерокъ здѣсь не бываетъ, и густой мракъ почти моментально смыкаетъ яркий, солнечный свѣтъ дня. Стai попугаевъ устраивались засвѣтло на почлегъ... За пальмовымъ лѣсомъ разстипалось небольшое озеро, съ густо заросшими берегами; это озеро нѣсколькими притоками связано было съ рѣкою. Тамъ слышались грузные всплески и тяжелое сопѣніе

какихъ то черныхъ массъ,— это были купающиеся бегемоты, безобразные колоссы, тяжело и неуклюже ступающіе по сушѣ зато легко ныряющіе и плавающіе въ водѣ, какъ въ своей болѣе близкой стихіи.

Въ сторонѣ отъ опушки росло отдельное дерево, далеко раскинувшее свои вѣтви, пустившее внизъ, до самой земли, цѣлую бахрому воздушныхъ корней; къ этому дереву подошло какое-то странное животное, съ короткимъ туловищемъ, на высокихъ, какъ у верблюда, ногахъ, и съ длиною шею; голова животнаго была маленькая, сухая, съ небольшими рожками и красивыми черными глазами.

— Это жирафа,—подсказалъ Долгоносъ,—антилопа кроткая и мирная, ни для кого неопасная, робкая, но должно быть очень вкусная, и я постараюсь ее предостеречь... Я вижу грозящую ей опасность.

Сказавъ это, Долгоносъ пригласилъ папа, и оба они, внезапно поднявшись, пролетѣли мимо жирафа, задѣвъ ея на лету своими крыльями... Какъ разъ было во время! Только что испуганная антилопа отскочила, и тяжелою раскачкою рысью отѣжала къ опушкѣ пальмовника, какъ изъ подъ кроны однокаго дерева, словно новая живая вѣтвь, показалась громадная змѣя, конвульсивно извилась въ воздухѣ, крѣпко обвивъ хвостомъ древесный стволъ, и снова спряталась въ густыхъ зеленыхъ массахъ.

Проводить почти въ такихъ мѣстахъ было весьма опасно, страшная темнота мѣшала зоркому наблюденію, а луна была на ущербѣ и появлялась послѣ полуночи. Съ наступленiemъ мрака, повсюду загорались огоньки безчисленныхъ свѣтляковъ, то неподвижные, то беззвучно перелетающіе съ мѣста на мѣсто. Въ чащѣ изрѣдка сверкали и парные зеленоватыя точки и слышалась беспокойная возня обезьянъ, встревоженныхъ приближенiemъ пантеры... На отмеляхъ ходили крокодилы... На свѣтломъ фонѣ, отражающаго звѣздное небо, озера появились массивные черные силуэты,—это были слоны, пришедшиe на водопой. Мы еще засвѣтло видѣли ихъ, когда они, какъ будто чѣмъ-то раздраженные, шли лѣсомъ, одинъ за другимъ, изрѣдка втягивая воздухъ своими хоботами и потомъ выпуская его съ рѣзкимъ звукомъ, похожимъ на свистокъ парохода. Всплески воды и шелестъ камышей отъ набѣжавшей волны показывали, что слоны вздумали купаться. Въ это время надъ

горизонтомъ показался оранжево-темный дискъ восходящаго мѣсяца, и таинственный фосфорический свѣтъ, мало-по-малу, сталъ разливаться по кронамъ тропического лѣса.

Какая картина! Какое неизмѣримое, безконечное величіе творчества!

Но тутъ произошелъ такой переполохъ, такой адъ, что мы снялись разомъ и, какъ угорѣлые, пустились на утекъ, стараясь только не разбиться врозь, а держаться кучею.

Раздался ревъ пантеры, испуганные вопли обезьянъ и попугаевъ. Все переполошилось, послышались чьи-то жалобные, зовущіе на помощь, стоны. Ураганомъ, круша все на пути, пронеслись слоны, а мы летѣли дальше и дальше, и только со свѣтомъ опустились снова и то, выбравъ мѣсто подальше отъ всевозможныхъ засадъ и опасностей.

Да, здѣсь не заснешь такъ спокойно, какъ у насъ, на нашихъ мирныхъ сѣверныхъ болотахъ... А спать хочется... Треволненія истекшаго дня и этой тревожной ночи даютъ себя чувствовать: глаза смыкаются, такъ бы и заснуль, да подозрительны очень эти спящіе на пескѣ крокодилы... Только и надежда, что на чуткое ухо, да зоркіе глаза нашихъ часовыхъ. Здѣсь словно все наоборотъ: здѣсь не ночь, а скорѣе день приносить покой и отдыхновеніе; съ наступленіемъ же темноты пробуждается злая воля и вырываются наружу разбойничіи инстинкты. Приходится измѣнять свои сѣверные привычки и приоравливаться.

Нѣтъ, теперь я понимаю, почему мы выводимъ своихъ дѣтей не здѣсь, а на сѣверѣ. Здѣсь дай Богъ только свою нікуру уберечь, гдѣ уже тамъ нести заботливую службу вывидки и воспитанія. Впрочемъ, приспособляются же ко всему здѣшнію, постоянные обитатели... Да, но на то они и здѣшніе, а мы залетные, сѣверные. Недаромъ старики говорять о сѣверѣ: «въ нашихъ мѣстахъ», — теперь и мы, молодежь, стали задумываться о значеніи слова: «наши мѣста», и эти чудныя красоты южной природы, мало-по-малу, стали утрачивать для насъ свое чарующее обаяніе.

## XIX.

Подвигаясь, не торопясь, все южнѣе и южнѣе, проводя время то въ дорогѣ, то по цѣлымъ недѣлямъ на одномъ мѣстѣ,

если встрѣчались мѣста поспокойнѣе, обиліе корма мы находили повсюду,—мы, наконецъ, увидѣли на горизонтѣ пѣжныя очертанія горъ, принятые нами сначала за облака. Какъ должны быть велики эти горы, если мы ихъ увидѣли задолго, чутъ не за недѣлю раньше, чѣмъ мы прибыли къ ихъ подножію.

Вѣчные льды, покрывающіе вершины этихъ горъ, были для насъ недосягаемы. Даже орлы и грифы приближаются только къ ихъ окраинамъ. Каково же было наше изумленіе, когда мы увидѣли выше облаковъ, почти въ уровень съ началомъ ледника, но далеко отъ него, летящій въ воздухѣ предметъ необыкновенной формы. Это былъ пузырь, должно быть громадный, но намъ издали казавшійся небольше крохотной редиски; къ нему снизу была подвѣшена корзиночка, и въ ней копошилось что-то живое. Скоро мы разглядѣли, что это: это были люди... Да, люди! Тѣ самые люди, которымъ Богъ отказалъ въ крыльяхъ, ради, конечно, нашего спокойствія; которымъ суждено пресмыкаться только тамъ, внизу,—эти люди забрались въ области, вовсе имъ не принадлежащи.

### Бѣдныя птицы!

Мы долго наблюдали это необыкновенное явленіе, особенно Верхоглядъ,—тотъ съ героическою смѣлостью летѣлъ сколько могъ ближе къ пузырю, такъ что разсмотрѣлъ все весьма обстоятельно, рискуя, главнымъ образомъ, попасться въ когти стаи грифовъ, сопровождавшихъ забравшихся не въ свое мѣсто людей, не только съ одинаковымъ съ нами любопытствомъ, но даже съ осторженіемъ.

Вдругъ изъ корзинки вспыхнулъ дымокъ, до нашего слуха донесся чуть слышный выстрѣлъ, и одинъ изъ грифовъ, перекувырнувшись, комкомъ полетѣлъ внизъ, исчезая въ облакѣ.

Эге! надо значить относиться къ данному явленію съ уваженіемъ.

И понятно. Только гений человѣка могъ достигнуть возможности добраться до облака, подняться на эту высоту.

— Но не летѣть куда хочется, — пояснилъ вернувшийся Верхоглядъ,—я замѣтилъ, что люди могутъ пока только произвольно подниматься и опускаться, и то до времени, а не сеть ихъ вѣтромъ не по ихъ волѣ, а часто даже вопреки ихъ желанію, что весьма легко можетъ привести къ погибели.

— И ты правъ! — подтвердилъ Долгоносъ. — Лѣтѣ десять или двѣнадцать тому назадъ я видѣлъ не здѣсь, а значительно

съверный, такой же шаръ разорванною вдребезги тряпкою висѣвшій на деревьяхъ, а внизу бездыханное, почти безформенное тѣло человѣка. Научные опыты безъ жертвы не обходятся. Но только какъ они сюда попали? Это удивительно!..

Долго мы провожали глазами воздушный шаръ; наконецъ, онъ скрылся, незамѣтно какъ то, словно растаялъ въ этомъ синемъ воздухѣ. Больше мы его никогда и не видѣли, и участь воздушныхъ путешественниковъ осталась для насъ неизвѣстна.

Черезъ пять дней мы, перелетѣвъ черезъ горный кряжъ, да и не одинъ, не на самой высотѣ, надо льдами, а выбравъ мѣста пониже, увидѣли безконечную, водную равнину громаднаго внутренняго моря—и здѣсь, близъ его береговъ, предполагалось провести время вплоть до возвращенія на родину...

— На родину... Да, великое, чудное слово.

— Знаешь, милый, — говорила мнѣ мся Черношайка,— я все время ишу здѣсь клюквы; удивительное дѣло, — нигдѣ нѣтъ ни одной ягодки!.. Чего-чего здѣсь нѣтъ, но клюквы... А говорятъ еще страна, необыкновенно богатая.

— Нѣтъ, сударыня,—засмѣялся Верхоглядъ,—клюквы теперь вы не найдете; здѣсь еще до этого не дошли... Клюква—это штука тонкая и не носу здѣшнихъ дикарей ее клевать, такъ-то-съ!

— Жаль! — передернула крыльшками Черношайка,— а я бы теперь, кажется, всѣ финики, всѣ бананы и орѣшки—всё-все бы отдала за одну ягодку.

«Это всегда такъ бываетъ: женщины всегда особенно хотятъ того, чего нельзя достать», подумалъ я и сталъ придумывать, чѣмъ бы мнѣ утѣшить мою капризницу.

Но она уже забыла о клюквѣ и съ наслажденіемъ запустила носикъ въ кокосовый орѣхъ, спѣлый, упавшій со страшной высоты на камень и расколопившійся отъ того надвое.

Невдалекѣ отъ нашего становища было селеніе пегровъ... Высокій частоколь окружалъ группу плетеныхъ домовъ, круглыхъ, какъ боченки, смазанныхъ глинаю, и съ высокими конусообразными крышами... По близости были и ихъ поля съ маисомъ (кукурузою), тоже обнесенные частоколомъ; между полями и деревнею расположены были загоны для скота, огороженные еще выше, и на гребни частокола наложены были еще колючія растенія, съ иглами, острыми и куда болѣе длин-

ными, чѣмъ наши журавлиные носы,—предосторожность отъ пантеръ и львовъ, какъ намъ объяснили старшіе.

Совсѣмъ голые люди часто показывались вблизи наскъ, но они были безъ ружей, а потому менѣе опасны. Я говорю «менѣе», ибо опасность все-таки существовала: люди эти такъ ловко пускали стрѣлы изъ луковъ и даже просто руками швыряли короткіе дротики, что довѣряться особенно ихъ близости не слѣдовало. Двое изъ нашихъ уже поплатились за свое довѣріе, и мы оплакивали ихъ печальную участъ... И что удивительно: ляля Клу-клу, старый, опытный журавль, а прозѣвалъ бѣдняга. На моихъ глазахъ его насквозь пронзила острыя стрѣла, и черный человѣкъ съ торжествомъ потащилъ его въ свою хижину. Дикии уходили надолго куда-то далеко, оставляя въ деревнѣ только женщинъ и дѣтей; тогда было почти безопасно, особенно по ночамъ, навѣдываться въихъ кукурузники, что мы и дѣлали. Аисты и тутъ свивали свои гнѣзда на вершинахъ двухъ или трехъ конусовъ, но ихъ было немного и съ нами уживались они покойно. Мы отъ нихъ многое узнавали о жизни чернокожихъ... Эти аисты нѣсколько менѣе нашихъ и проводятъ тутъ круглый годъ, безъ перелета, держась поближе къ человѣку, они лучше выдерживаютъ здѣшнія зимы, а какая это зимы! «Это просто, говорили они, дожди, и дожди безъ конца, прерываемые иногда свирѣпыми бурями». Подчасъ бываетъ жутко, и если бы не люди, съ которыми они и здѣсь въ полномъ согласіи, то было бы плохо.

Познакомились мы и съ гигантскими марабутами. Что за дивная птица! и съ такимъ роскошнымъ опереніемъ, что люди грабятъ ихъ безпощадно. Вотъ еще удовольствіе носить дорогія одежды!

Когда мужчины возвращались изъ похода, они еле шли, такъ были отягчены добычею. Главное, что они приносили, это были слоновые клыки, груды которыхъ складывались у порога домиковъ, а то и просто у наружной изгороди.

У нихъ были лодки, грубо сдѣланныя и тяжелыя на ходу, иногда они нагружали эти лодки клыками и уплывали въ озеро, куда они плавали, мы пока еще не знали. Аисты говорили, что далеко, на томъ берегу, живутъ тоже люди и забираются охотно клыки, вымѣнивая ихъ на другіе товары. Дѣйствительно, когда лодки возвращались, то уже безъ клыковъ, а негры были необыкновенно веселы, пѣли, плясали и пили водку

изъ боченковъ; женщины и дѣти всегда радовались такому возвращенію, пили тоже, и на ихъ курчавыхъ, смѣшныхъ такихъ головахъ появлялись цветные платки и разныя украшенія.

Разъ какъ-то небольшая партія мужчинъ, вернувшись съ охоты, привела съ собою бѣлаго человѣка съ связанными руками, съ окровавленной головой, измученного, еле переставлявшаго ноги. Очевидно, что несчастный былъ плѣнникъ.

Они его накормили, напоили, развязали руки и заперли въ загонъ, приставивъ двухъ часовыхъ съ длинными копьями.

— Охъ, не къ добру они это сдѣлали! — сообщилъ намъ старый Марабу, — это рѣдко обходится имъ безнаказанно!

Мы не понимали, въ чемъ дѣло, но не прошло и недѣли, какъ мы были разбужены въ самую полночь заревомъ пожара, трескомъ пламени, пожиравшаго шалаши, стрѣльбою и криками отчаянія. При яркомъ свѣтѣ огня мы увидѣли, что партія бѣлыхъ и смуглыхъ людей окружила деревню и безпощадно истребляетъ ея обитателей... Мы не видѣли, погибъ ли плѣнникъ въ этомъ пожарѣ, былъ ли онъ освобожденъ, но не успѣло еще взойти солнце, какъ на мѣстѣ деревни остались только груды пепла и всюду валялись черные тѣла мужчинъ и женщинъ. Даже дѣтей не пощадили кровожадные мстители! Бѣлые забрали лодки, нагрузили ихъ клыками и скотомъ и поплыли къ югу, и мы почти до конца лѣта остались единственными обладателями созревшаго кукурузного поля.

Сначала наше положеніе показалось намъ весьма пріятнымъ; просто праздникъ наступилъ какъ-то, точно эти разгромленныя мѣста, эти поля и все, что на нихъ осталось, поступило въ наше распоряженіе какъ законное наслѣдство, конечно, за вычетомъ доли аистовъ, бѣдняковъ, потерявшихъ въ огнѣ свои косматыя гнѣзда. Но дышать здѣсь скоро стало невыносимо... Вонь отъ разлагающихся труповъ далеко заражала воздухъ, и мы принуждены были перемѣнить мѣсто нашей стоянки. Зато сколько собралось здѣсь крылатыхъ и четвероногихъ хищниковъ! Ихъ злобный вой и безконечные драки долго еще нарушали тишину ночей и прекратились только съ возвращеніемъ нѣсколькихъ негровъ, чудомъ спасшихся отъ ночного побоища, пришедшихъ сюда на пепелище оплакивать покойниковъ и возобновить свои жилища.

И намъ очень стыдно стало, что мы, думая, что всѣ перебиты, такъ безжалостно опустошили ихъ кукурузные плантаціи.

Мы даже простили имъ смерть дяди Клу-клу и другого нашего товарища, хотя въ душѣ и догадывались, что именно за это преступлѣніе покаралъ ихъ Господь, а разъ покаралъ, то и намъ слѣдовало укротить свою злобу и встрѣтить несчастныхъ съ миромъ. Да, поди-ка встрѣтъ!.. Вернулись люди, вернулись съ ними и ихъ зубы. Со злымъ свистомъ прорѣзала воздухъ стрѣла и впилась въ землю, какъ разъ около моей Черношѣйки; еще бы немножко, и я остался бы сиротою... Люди, даже черные люди, положительно неисправимы!

## XX.

По смерти дяди Клу-клу осталась его подруга, не молода, но и не старая еще, тучная Журка, и нашъ папа взялъ ее подъ свое покровительство. Онъ такъ добросовѣстно погрузился въ новыя заботы, что замѣтно охладѣлъ къ намъ, говоря, будто мы настолько уже выросли и возмужали, что можемъ жить и своимъ разумомъ, но дѣдушка Долгоносъ оставался съ нами попрежнему... У него давно уже не было по-други, и онъ постоянно держался по близости насъ, навѣщая и Верхогляда съ мою сестрицею.

А дѣдушка сильно постарѣлъ за это время и ослабѣлъ. Онъ уже больше отдыхалъ, чѣмъ леталъ, какъ мы, по окрестностямъ и говорилъ, что только и мечтаетъ, только и молитъ Бога, чтобы Онъ, Милосердый, послалъ ему смерть дома, на родинѣ, позволилъ еще разъ взглянуть на наши милыя осташковскія болота.

Время подходило къ концу февраля и, изъ разговоровъ между стариками, мы заключили, что время нашего отлета приближается. Странно, чѣмъ меньше оставалось этого времени, тѣмъ оно тянулось медленнѣе и медленнѣе. Сначала мы ограничивались только тѣмъ, что свои ежедневныя прогулки совершили исключительно по сѣверному направленію, и такимъ образомъ, мало-по-малу, оставляли эти мѣста, оттягивая снова къ Хартуму. Въ послѣднихъ числахъ февраля мы уже почти всѣ сгруппировались близъ устья Голубого Нила, на окружающихъ это устье обширнѣйшихъ болотахъ. Отсюда предполагалось организовать правильный походъ, дождавшись остальныхъ партій, кочевавшихъ въ верховьяхъ этого притока, въ Абиссиніи.

— Съ недѣльку погуляемъ здѣсь, да и съ Богомъ!—вздыхая, говорилъ дѣдушка Долгоносъ.

Онъ что то частенько сталъ вздыхать, особенно къ ночи... Перелеты съ большихъ озеръ онъ дѣлалъ съ трудомъ уже, иногда даже отставалъ и нагоняялъ уже на дневкахъ.

— Бодрись, старина!—утѣшалъ его нашъ папа...—Мы вотъ тутъ долго будемъ отгуливаться, силъ набираться. Кушай больше, не утомляйся зря, дасть Богъ, и сберешь силы.

— Не полагаю!—вздыхалъ Долгоносы.—Только бы до Филе добраться, хоть бы до этого-то мѣста, и то слава Богу!..

Это нашъ стариkъ вспомнилъ о разобранныхъ нами іероглифахъ, тамъ, на «Филе»; тщеславіе, значитъ, заговорило... Мы поняли это, но не подали и вида, что понимаемъ.

Говорить при живомъ о его надгробной эпитафіи, по меньшей мѣрѣ неделикатно.

Погода становилась туманиѣ, не холодно, нѣтъ, а какъ то душно въ воздухѣ.

— Тамъ, на озерахъ, уже, я думаю, начались дожди,— сообщалъ премудрый Крыломахъ.—Я разъ только во всю свою жизнь задержался тамъ позднѣе немногого... Больныхъ было много между нами, я съ ними и остался. Ну, я вамъ скажу, времячко было! Не дай Богъ въ другой разъ... Птицы, крылатыя птицы, и эти гибли,тонули въ этихъ невозможныхъ ливняхъ... страшное дѣло! Слова эти оказались пророческими. Дня черезъ четыре, по прибытии нашемъ на болота устий Голубого Нила, къ вечеру поднялся такой густой туманъ, что невидно было ничего на длину даже нашего носа. Мы съ Черношайкою прилегли бокъ-о-бокъ, забравшись подъ зонтичный листъ какой-то пальмы, и рѣшились выжидать. Казалось, мы остались только одни на всемъ свѣтѣ, еслибъ не окликъ Верхогляда, гдѣ-то недалеко.

— Эге!—крикнулъ онъ. Гдѣ ты тамъ? Что-то недобroe готовится!..

— Да, ну, не пугай!—откликнулась ему моя Черношайка. А было чего испугаться не на шутку.

Туманъ бы это еще ничего, но страшно было это грозное затаище, страшенъ былъ этотъ удушливый воздухъ, пропитанный какъ будто сѣрою. Багрово-красный свѣтъ виднѣлся въ сторонѣ заката, но онъ быстро потухъ, и наступилъ непроницаемый мракъ. Вдругъ гдѣ-то далеко прокатился громъ, и долго-долго не умолкали его глухие раскаты. Вотъ словно вѣтерокъ пахнулъ надъ нами... Вѣтеръ ли это? — можетъ быть такъ, испуганная птица пролетѣла близко, у насъ надъ головами.

Снова раскаты грома, ближе значительно! Молний нетъ, только туманъ все гуще и гуще, будто это уже не туманъ, а окружаетъ насъ водное пространство... Опять ударъ грома, и разомъ разразилась гроза, зашумѣлъ ужасающей ливень.

— Тону!.. — простонала кто-то недалеко.

На насъ набѣжала волна... Откуда она взялась, не понимаю. Мы взлетѣли немнога, но сила ливня одолѣла силу крыльевъ. Съ трудомъ пролетѣвъ пѣсколько шаговъ, мы, положительно, упали, а не спустились, къ счастью не на землю, а на какая то гибкія, хитро перепутанныя вѣтви... Кое-какъ, работая и ногами и крыльями, мы удержались на этомъ зыбкомъ помостѣ. Подъ нами ревѣла и пѣнилась вода. Минута была критическая.

Но тутъ насъ ослѣтила такая молния, что въ сравненіи съ нею то, что мы видѣли въ бурю надъ моремъ, показалось намъ пустою вспышкою... Разразился такой ударъ, что отнялъ у насъ разомъ и сознаніе и память. Очнулся я, меня, увы, уже одного несетъ волною, ударило обо что-то, опять понесло и, наконецъ, я зацѣпился въ какихъ-то заросляхъ. Кое-какъ спрavился я и сталъ понемногу соображать. А ливень все хлещетъ и хлещетъ. Безъ вѣтра, прямо, отвѣсно льются струи холоднаго дождя, и, казалось, конца этому не будетъ. А какой шумъ при этомъ! Я попытался крикнуть. Напрасная попытка! Словно у самого кончика носа оборвался мой крикъ и замеръ. Громовые удары теперь слѣдовали почти непрерывно... Зеленоватый свѣтъ молний не потухалъ. Усталый до нельзя, я не въ силахъ уже быть держаться. Всѣ мои члены окоченѣли, и меня понесло снова.

— Ну, думаю, теперь уже пришла моя окончательная погибель!

Наконецъ, я почувствовалъ подъ собою твердую почву, и въ то же время ливень прекратился разомъ. Пронесся сильный порывъ вѣтра, словно по мановенію волшебнаго жезла, разсѣялся мракъ и надо-мною ярко и отчетливо заблестало созвѣздіе южнаго креста. Вѣтеръ усилился, унося далеко черныя тучи, съ ихъ громами, молниями и этимъ безпощаднымъ ливнемъ, и долго еще слышенъ былъ глухой, замирающей шумъ процесшнейся надъ нами настоящей тропической бури.

— Я живъ, слава Богу... Но что съ нашими?..

И всѣ эти наши въ настоящую минуту сливались въ одномъ образѣ дорогой Черношейки.

— Что съ нею?

До разсвѣта нечего было и думать о розыскахъ. Взошедшее солнце быстро отогрѣло мои окоченѣвшіе члены. Я очутился на какомъ-то островѣ, безъ малѣйшаго признака растительности. Первое, что я увидѣлъ передъ собою, была страшная пасть крокодила, медленно подползавшаго ко мнѣ своими неуклюжими движеніями. Я чуть не лишился чувствъ со страха, но это было мгновеніе. Я рванулся, отскочилъ на нѣсколько шаговъ. Безобразный врагъ приподнялся на переднія лапы и злобно щелкнулъ своими челюстями. Къ счастію, трупъ какой-то маленькой антилопы, бѣлѣвшій на желтомъ пескѣ своимъ задкомъ, привлекъ на себя вниманіе чудовища, и я былъ спасенъ. Кое-какъ справившись съ намокшими крыльями, я, не безъ труда, перелетѣлъ съ этой отмели на твердый берегъ и здѣсь сталъ собираться съ силами. Часа черезъ два я чувствовалъ себя совершенно бодрымъ и тотчасъ же отправился на поиски. Скоро я нашелъ небольшую группу нашихъ, разсказывавшихъ мнѣ просто чудеса о своемъ спасеніи. Нѣсколько журавлей, менѣе измученныхъ, согласились мнѣ помочь. Мы поднялись на воздухъ и стали медленно описывать круги, все расширяя и расширяя поле своихъ наблюденій. И наблюденія эти увѣнчались успѣхомъ. Прежде всего я замѣтилъ папу-Горлана со вдовою Клуклу. Я очень обрадовался и спустился къ нимъ поздороваться. Но долго времени не терялъ; я только запомнилъ мѣсто, где папа приказалъ собираться къ вечеру.

— Старика разыщите! —крикнулъ онъ мнѣ вслѣдъ, — это главное!

Но, конечно, мы съ нимъ расходились во мнѣніяхъ о «главномъ»; по моему, главное, что я искалъ, я нашелъ только къ полудню. Моя Черношейка, слава Богу, осталась жива; ее такъ забило между камнями у самаго берега, что выбраться безъ посторонней помощи было бы для нея невозможно.

— Ахъ, какъ я хочу кушать! — это первое, чѣмъ она меня встрѣтила.

Этотъ дѣтскій эгоизмъ сначала непріятно кольнулъ меня въ сердце, но радость находки была такъ велика, что мнѣ было не до упрековъ. Помогши подругѣ выбраться на просторъ, мы тотчасъ же перелетѣли съ нею къ кустамъ, гдѣ можно было найти завтракъ, и я совершенно забылъ объ обязанности продолжать розыски. Правда, что какъ только мы утолили пер-

вый голодъ, такъ тотчасъ же подумали объ этой обязанности, и уже оба принялись за дѣло съ особеннымъ рвениемъ. Скоро мы увидѣли журку, летавшую понизу и беспокойно поглядывающую направо и налево.

Это была сестра.

— А Верхоглядъ? — крикнула ей.

— Не знаю!.. — проговорила и заплакала.

Мы присоединили ее къ нашей группѣ и полетѣли дальше.

Осматривая пристально окрестности, мы замѣчали много труповъ всевозможныхъ животныхъ, — это все были жертвы почного ливня. Мы видѣли и трупы нашихъ, невыдержавшихъ борьбы съ потокомъ, но этихъ было, къ счастію, немного.

Осмотрѣвъ ихъ, мы не нашли между ними ни Долгоноса ни Верхогляда.

— Должно быть спасены! — проговорилъ кто-то.

За Верхогляда я не очень беспокоился. Этотъ смѣлый, сильный и находчивый малый навѣрное сумѣлъ вывернуться изъ бѣды, но нашъ ослабѣвшій старики, нашъ, всѣми любимый, дѣдушка тревожилъ насъ всѣхъ, и для удобства розысковъ мы раздѣлились на нѣсколько партій. Къ полудню вернулись мы къ тому мѣсту, гдѣ утромъ я видѣлъ папу. Тамъ уже было десятка два журавлей и съ ними вдова Клу-клу, но папы уже не было.

— Старика ищетъ! — объяснила намъ его отсутствіе вдова. — Чудакъ! поѣсть даже не захотѣлъ; какъ отдохнулъ, и отправился.

Это было совершенно понятно.

— Летятъ! летятъ! — раздались радостные голоса.

Дѣйствительно, по взмаху крыльевъ приближавшихся къ намъ журавлей мы узнали и папу-Горлана и Долгоноса. Они летѣли рядомъ, почти вплотную, и папа поддерживалъ старика, помогая ему осторожно спуститься. Папа сообщилъ намъ, что видѣлъ и Верхогляда, но что тотъ, узнавъ отъ кого-то, что сестра моя спасена, полетѣлъ помогать другимъ.

— Гадкий! — проговорила сестра.

— Молодецъ! — укоризненно кивнула ей Долгоносъ, — такъ и слѣдуетъ.

— Одобряю! — согласился и отецъ.

И сестра успокоилась.

— Къ вечеру собрались всѣ уцѣлѣвшіе. Потери наши на этотъ разъ, славу Богу, были незначительны.

Верхоглядъ прилетѣлъ послѣднимъ и принесъ кусочекъ ка-

кой-то украшенной галуномъ тряпки, какъ доказательство, какъ увѣрялъ онъ, того, что провелъ страшную ночь на спинѣ слона, и вотъ эту тряпочку онъ оторвалъ отъ его сѣдла на память. Нашъ герой разсказывалъ, что подхваченный ливнемъ, онъ несся куда то во мракѣ ночи, но присутствія духа не терялъ. Улучивъ удобную минуту, онъ рванулся кверху и успѣлъ подняться такъ высоко, что досталъ, ощупью, копечко, до высокой кроны финиковой пальмы. Первымъ дѣломъ онъ побѣлъ финиковъ и собирался, захвативъ одну вѣточку съ собою, отыскивать свою подругу, но въ ту же минуту пальма съ страшнымъ трескомъ повалилась внизъ, и онъ чуть-чуть не попалъ съ размаха въ пасть крокодила; онъ даже задѣлъ его лѣвою ногою по зубамъ. Это была ужасная минута, которую онъ всю жизнь не забудетъ. Вмѣстѣ съ пальмою его несло по теченію, пока эта пальма не наткнулась на какое то судно. Онъ слышалъ голоса людей и чувствовалъ запахъ гари и дыма. Сосѣдство было очень опасное и, переведя духъ за стѣнкою капитанской рубки, Верхоглядъ снова полетѣлъ, но выбился изъ силъ и ударился грудью о чей то громадный задъ. Судя по хвосту, онъ узпалъ слона и ловко взобрался къ нему на спину. Животное это, должно быть, принадлежало важному лицу, очевидно самому Хартумскому губернатору, потому что на его спинѣ было дорогое сѣдло, украшенное золотою бахромою и спаображенное красivoю бесѣдкою. Въ этой то бесѣдѣ, спустивъ предварительно сторы, Верхоглядъ провелъ остальное время ужасной ночи, и къ разсвѣту, когда все стихло, оставилъ гостепріимную спину, замѣтивъ приближеніе людей.

— Я весьма сожалѣю, моя милая подруга,—обратился онъ къ сестрѣ,—что не донесъ вамъ своей финиковой вѣточки, но если вы узнаете употребленіе, которое я изъ нея сдѣлалъ, то, вѣроятно, за это не посѣтуете.

— Добрый малый,—вступилъ тутъ въ разговоръ дѣдушка Долгоносъ.—Это онъ мнѣ далъ позавтракать финиками. Я совершенно изнемогалъ, когда увидѣлъ Верхогляда; онъ первый пашель меня безпомощнымъ, покормилъ и улетѣлъ на розыски.

Все это наскѣ такъ тронуло, что разсѣяло всякия сомнѣнія въ фантастичности разсказа Верхогляда... Мы знали, что онъ многое тутъ привралъ, но вѣрить хотѣлось, и мы повѣрили.

Въ томъ то и дѣло, что надо умѣть отличить обыкновенную ложь отъ поэтическаго вдохновенія. Лгать всякий сумѣеть,

для этого надо только немножко забыть свою совѣсть, но сочинять дано далеко не всякому. Сочиняютъ только натуры избранныя, и вамъ нѣтъ никакого дѣла, никакого интереса знать, было-ли дѣйствительно все такъ, какъ разсказываютъ, лишь бы это разсказанное васъ заняло, вамъ понравилось бы и облагораживало ваши понятія.

Тронуло васъ, подействовало на душу и сердце, ну, и спасибо! А то находятся такие любители полицейского розыска, что сейчасъ станутъ обливать васъ ушатомъ холодной воды.

— Позвольте, господа,—закричать они,—гдѣ же это видано было, чтобы журавли, не имѣя ни черниль, ни бумаги, вели бы свои путевые записки?

Неправда ли, что подобное замѣчаніе было бы по меньшей мѣрѣ неостроумно!

Конечно, бывшая вдова Клу-клу, нынѣ моя любезная матиха, выслушавъ разсказъ Верхогляда, замѣтила, грубо немножко, по зато коротко:

— Все врѣть!

Но ей это извинительно. Она особа глупая, мало развитая умственно, папъ она понравилась только своею тучностью и спокойнымъ характеромъ. Но вѣдь какой же она критикъ! Я думаю, что даже самые недалекіе чирки, и тѣ бы не придали ея критическимъ способностямъ никакого значенія.

Вечеромъ, впрочемъ, Верхоглядъ, разговаривая съ сестрою, признался, что онъ собственно не помнить хорошо, что съ нимъ происходило во время катастрофы, но кажется ему, что именно то, что онъ разсказывалъ, даже нѣсколько больше.

— А финики?—спросила сестра.

— Финики, это истина,—отвѣчалъ Верхоглядъ,—финики были дѣйствительно финиками.

Въ тотъ же вечеръ вопросъ обѣ отлетѣ былъ решенъ окончательно.

## XXI.

На другой день мы приступили къ новому раздѣлу на треугольники и выбору предводителей. Дѣдушка Долгоносъ наотрѣзъ отказался отъ званія главноначальствующаго, ссылаясь на свою старость и полное утомленіе, и на его мѣсто единогласно былъ избранъ нашъ папа Горланъ-трубачъ. Въ начальники отдѣльныхъ треугольниковъ также единогласно былъ выбранъ Верхоглядъ.

Тотъ сдѣлалъ видъ, будто бы давно ожидалъ этого, и въ свое избраніе не видитъ ничего особенного, и покойно провѣрилъ сданныя подъ его начальство тридцать двѣ журавлины пары.

Онъ просто и ясно выразилъ имъ свои взгляды на дѣло.

— Я буду справедливъ,—сказалъ онъ,—но строгъ безпощадно во время похода и общественной службы. Внѣ же всего этого, прошу васъ, господа, всѣхъ считать меня своимъ добрымъ старшимъ товарищемъ.

Но что меня удивило и привело въ восторгъ, это мое личное избраніе, приравнивающее меня къ положенію, занимаемому теперь Верхоглядомъ. Я, право, сначала не повѣрилъ, но большинство голосовъ, поданныхъ за меня, было такъ внушительно, что избраніе мое состоялось безъ всякаго противорѣчія. Я, впрочемъ, подумалъ, что здѣсь играло большую роль желаніе сдѣлать пріятное для моего, всѣми глубоко уважаемаго, папы. Послѣ я уже зналъ, что кандидаты въ вожди были просто указаны дѣдушкою Долгоносомъ, а его авторитетъ былъ настолько силенъ, что съ его указаніемъ всѣ согласились безъ возраженія. Я рѣчи не говорилъ, я сказалъ только, что во всемъ буду слѣдоввать примѣру и указаніямъ папаши. Дѣйствительно, это было самое лучшее, что я могъ придумать въ эту торжественную минуту.

— За исключеніемъ, впрочемъ, морскаго перелета,—замѣтилъ папа.—Лучше для два лишнихъ, зато вѣриѣ.

Мы рѣшили подождать здѣсь только премудраго Крыломаха со своими, чтобы потомъ летѣть сообща вплоть до Дунайскихъ гирлъ, гдѣ, конечно, мы должны были раздѣлиться по двумъ разнымъ направленіямъ. Ждать пришлось недолго, не прошло и сутокъ, какъ явились нѣсколько отставшіе треугольники Крыломаха, уже готовые въ дальнее путешествіе. Мы тронулись въ большой походъ съ юга на сѣверъ на разсвѣтѣ слѣдующаго дня и скоро увидѣли па горизонтѣ волнистыхъ линій песчаныхъ пустынь, прилегающихъ къ нижнему теченію Нила. Въ первую же ночь мы опустились въ окрестностяхъ Вади-Гальфа и провели эту ночь безъ всякихъ приключений. Моя Черношайка просто не спускала съ меня глазъ; она относилась ко мнѣ съ такою любезною предупредительностью, такъ ласково, что мнѣ просто не хотѣлось думать, играетъ ли въ этомъ роль мое избраніе, или это все было бы также, если бы я оставался въ рядахъ простымъ журавлемъ, безъ ореола общественнаго довѣрія. Въ два слѣдующихъ перелета мы достигли Филе съ его многовѣковыми раз-

валичами. Дѣдушка Долгонось такъ ослабѣлъ, что на первомъ перелетѣ отсталъ на иѣсколько часовъ. Ради него мы должны были сдѣлать невходящую въ наши разсчеты дневку. Здѣсь же, прибывъ къ Филѣ, стариkъ безпомощно опустился на землю и положительно отказался продолжать совмѣстное путешествіе. Грустно провели мы весь вечеръ вокругъ нашего умирающаго бывшаго вождя и опытнаго руководителя. Долгонось лежалъ какъ разъ у обломка, на которомъ мы прочитали его имя. Ночь была тихая и лунная... Шакалы жалобно завывали па томъ берегу, и краснѣли во мракѣ мигающія точки огоньковъ на рыбачьихъ лодкахъ.

Старикъ говорилъ намъ:

— Живите мирно, живите, не желая никому зла, а если вамъ кто сдѣлаетъ зло, не мстите. Помните, что всякая месть беспомощна и не приносить уг҃шенія. Никого не осуждайте, помня, что и вы всѣ способны на поступки, достойные осужденія. Держитесь всегда въ крѣпкомъ союзѣ. Союзъ—сила, и помните, что общественный долгъ и общее дѣло выше вашего личнаго. Любите,—любовь все... Единственно только любовь есть мать всѣхъ земныхъ радостей и наслажденій. Сила любви сильнѣе силы смерти, и если я умираю спокойно, то только потому, что въ предсмертныя мои минуты, когда вы будете далеко отъ меня, я съ любовью буду слѣдить за вами, живо представляя себѣ всѣ ваши радости возвращенія на нашу чудную, дорогую родину. Ко сну клонить!—прошепталъ онъ чутъ слышно и смолкъ.

А къ разсвѣту, когда все было готово къ отлету, нашъ Долгонось лежалъ, вытянувъ прямо ноги, подогнувъ свою холлатую голову подъ окоченѣвшее крыло, и тысячи черныхъ мурашекъ ползали по немъ совершиенно безнаказанно.

Мы сиялись молча, и весь перелетъ это печальное молчаніе не нарушилось ни разу. Вотъ и Каиръ. Вотъ и зеленая равнина дельты Нила. Вотъ и чудная синяя полоса Средиземнаго моря. Прежнія впечатлѣнія возстановлялись сами собою; карта нашего путешествія рисовалась теперь совершенно ясно и отчетливо, только воображеніе наше забѣгало впередъ и впередъ, и мы уже, хладнокровно пробѣгая глазами всѣ эти знакомыя красоты востока, живо представляли себѣ наши кочковатыя болота, наши убраинныя цвѣтами родныя кочки, съ возрастающімъ петерпѣніемъ ожидая конца путешествія. У Дунайскихъ

гириль легионы премудраго Крыломаха разстались съ нами. Трогательно прощался старый главарь съ нашимъ папою; онъ говорилъ, будто предчувствуетъ, что это его послѣднее путешествіе.

— А знаешь, другъ мой,—говорилъ онъ,—когда присутствуешь при такой прекрасной, честной смерти, какою умеръ нашъ незабвенный Долгоносъ, такъ, право, самому умирать нисколько не страшно.

— Ну, полно! — утѣшалъ его папа, — поживемъ еще и полетаемъ.

Но премудрый Крыломахъ былъ правъ, предчувствіе его не обмануло. Болѣе мы съ нимъ уже никогда не встрѣчались.

## XXII.

Мы уже весело и бодро, по временамъ издавая радостные трубные звуки, неслись надъ темными еловыми лѣсами съвера. Былъ конецъ марта. Еще далеко не вездѣ сошелъ снѣгъ, но уже еолышко пригрѣвало изрядно. Только ночи были холодныя и по утрамъ порядочно морозило. Но съ каждымъ днемъ становилось все теплѣе и теплѣе. Вотъ и апрѣль съ своими шумно бѣгущими, вешними водами, съ первою зеленью, первыми цвѣтами подснѣжника... Уже недалеко осталось.

Радостное событие предшествовало нашему возвращенію на родину.

Къ намъ присоединился новый журавль, тотъ самый пѣнникъ, о которомъ рассказывалъ Верхоглядъ. Онъ говорилъ, что такъ пріучилъ къ себѣ людей, что они оказали ему полное довѣріе и забыли подрѣзывать крылья. Всю зиму онъ провелъ въ тепломъ сараѣ, вмѣстѣ съ курами и другою домашнею птицею. Передъ весною о немъ вспомнили и онъ услыхалъ разъ страшное слово «ножницы», тогда онъ рѣшился бѣжать. Крылья его настолько подросли, что онъ могъ дѣлать невысокіе перелеты, достаточные однако, чтобы перелетѣть заборъ и даже крыши сосѣднихъ сараевъ. Онъ выбралъ удобную минуту и бѣжалъ.

Первое время онъ проводилъ въ сосѣднемъ ельникѣ, рискуя замерзнуть или умереть съ голоду; питаться ему приходилось изрѣдка, отрывая изъ-подъ снѣга замерзшія, почернѣлые ягодки брусники, а то такъ и просто расклевывая павшія сосновыя шишки. Стало теплѣе, стало и сытнѣе. Крылья между тѣмъ все отростали и отростали; онъ могъ уже порядочно летать; практика

докончила дѣло. Сегодня утромъ онъ услыхалъ въ воздухѣ высоко надъ собою наши трубы, увидѣлъ пасъ, почувствовалъ разомъ удесятерившіяся силы и догналъ первый треугольникъ.

— Вѣдь не прогоните же меня вы, братцы? Примите меня, пока чужого, въ ваше общество,—просилъ онъ.

Ну, конечно, его приняли съ восторгомъ и нескрываемою шумною радостью. Встрѣча освободившагося пленника съ Верхоглядомъ была, поистинѣ, трогательна.

Еще два три усиленныхъ перелета, и мы, наконецъ, дома.

Мы въ этотъ день миновали Москву. Летѣли мы надъ нею ночью. Весь городъ, особенно церкви, были ярко иллюминированы огнями; тысячи народу окружали храмы, наполняя не только ихъ внутреннее пространство, но даже дворы и прилежащія улицы. Всюду теплились миллионы крохотныхъ огоньковъ и надъ всѣмъ этимъ стоялъ немолчный, знакомый намъ благовѣсть колоколовъ. Это была ночь великаго праздника, и повѣрите ли, что мы, птицы, раздѣляли какъ будто радость и тихій миръ, царствовавшій въ эту минуту въ сердцахъ человѣческихъ.

Это былъ съѣтлый привѣтъ родины, торжество нашего возвращенія.

На третій день мы увидѣли на горизонтѣ Осташковскія болота... Наши кочки!

Мы неслись съ такою скоростью; я думаю, что съ большею, чѣмъ мы тогда удирали отъ налетавшей на насъ бури, и стали спускаться. Мѣста наши мы нашли далеко не въ такомъ прекрасномъ видѣ, какъ мы ихъ оставили. Было еще рано, снѣгъ только что стаялъ, и бѣдная зелень чуть-чуть, кое-гдѣ пробивалась сквозь бурый, прошлогодній мохъ. Но съ каждымъ днемъ все принимало понемногу прежній живописный видъ, и мы, не теряя времени, принялись за устройство становища. Наше старое гнѣзда занялъ, по праву, папа съ своею новою женою. Я съ Черношкой, выбравъ прелестную кочку, принялись устраиваться по близости. Верхоглядъ, съ мою сестрою, шагахъ не болѣе въ сорока отъ насъ. Работа кипѣла быстро и черезъ недѣлю гнѣзда были готовы, да такія, что прелестны! особенно наше. Я нечаянно наткнулся на кусокъ стараго войлока, должно быть забытаго пастухами, и, попемпогу расщипавъ его на куски, перетаскалъ весь. Хватило вволю на устилку, даже можно было подѣлиться съ папа и Верхоглядомъ. Скоро въ нашихъ гнѣздахъ появилось по два прелестныхъ зеленовато-сѣ-  
— 188 —

рыхъ съ бурыми крапинками яйца, и наши милые подруги жизни мирно и покойно усѣлись на нихъ, вполнѣ обеспеченные подъ нашою взаимною охраною.

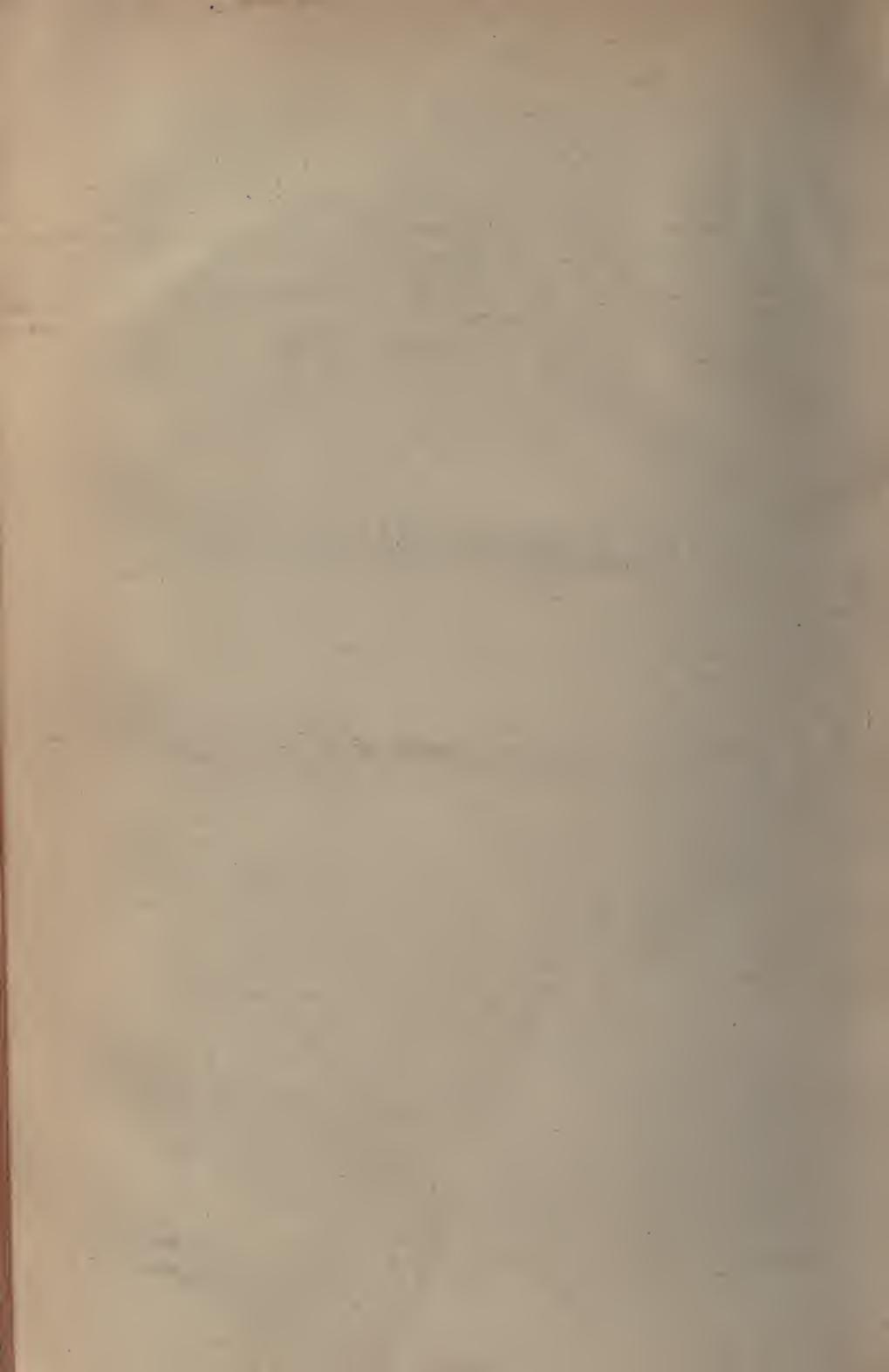
Какъ незамѣтно прошло урочное время высиdkи! Помню, я разъ возвратился съ поисковъ за кормомъ и засталъ у себя въ гнѣздѣ двухъ пресмѣшныхъ, но дорогихъ сердцу птенчиковъ. Я тотчасъ же крикнулъ своему сосѣду Верхогляду:

— А у меня, братъ, на дому съ прибылью! — и услышалъ его, уже нѣсколько хрипловатое:

«Поздравляю!»..



АНДРОПЪ ГОЛОВАНЪ.



## I.

Всю ночь бушевала снежная мятель, «пурга» по-здесьнему; не затихла и к утру, а, напротивъ того, съ разсвѣтомъ еще сильнѣе разыгралась.

Въ лѣсу въ такую мятель еще ничего, полъ-горя; густая чаща древесныхъ стволовъ, непролазныя дебри кустарныхъ зарослей защищаютъ путника отъ чудовищныхъ ударовъ разгулявшагося вихря, дробяты волны снежныхъ шкваловъ, осаживаютъ ихъ у опушекъ высокими наметами; быстро выростаетъ этотъ спасительный валъ, принимая на себя новые, хлестко набѣгающіе наносы,—и если только Богъ поможетъ оплошавшему промышленнику, застигнутому непогодою на открытомъ мѣстѣ, добраться до такого вала, если сохранилось у него еще силь преодолѣть это препятствіе, пробиться сквозь эту снежную, еще пока рыхлую, не слежавшуюся массу,—онъ спасенъ!.. Въ его ушахъ уже не раздается заунывный вой и разбойничий посвистъ злого вѣтра; его лицо не рѣжетъ, словно ножами, оледѣнѣлымъ снѣгомъ; его глаза уже видятъ, куда идти, какого направленія держаться; усталая, надорвавшаяся грудь дышитъ вольнѣе... Тихо, уютно въ темномъ, дремучемъ лѣсу, валить снѣгъ сверху, да только покойно; мягкая, бѣлая звѣздочки ровнымъ слоемъ устилаютъ кочковатую мшистую почву, заваленную сплошь осеннею перегнилью, пожелтѣлою листвой, торявыми, сухими буреломомъ; словно теплый паръ стелется по низу, синеватымъ туманомъ, инеемъ осѣдая на болѣе высокихъ вѣтвяхъ деревъ; отъ этой тишины, отъ этого относительного тепла клонить ко сну, одолѣваетъ неотвязная дремота измученного путника, и не боится опять теперь этого сна, смѣло готовится къ ночлегу, выбираетъ корягу съ корневою ямою около, стаскиваетъ сюда сучья посушѣ, моху, листья,—черезъ минуту и огонекъ готовъ; весело потрескиваетъ красное пламя, перебѣгая съ сучка на сучекъ, коробя смолистую кору; шипятъ

оть жару и словно плачутъ оледѣнѣлые прутья, а тамъ, гляди, и самая толца пня тлѣть начинаеть... Такой костеръ уже безъ присмотра, разъ наложенный опытными руками, всю ночь прогоритъ, до самаго свѣта грѣть будеть спящаго: заворачиваися только съ головою и съ ногами въ теплый волчій яргакъ, да и спи себѣ съ Богомъ, покойно.

Но горе, великое горе, тому, кто, захваченный пургою врасплохъ, не добредетъ до жилья, пріюта человѣческаго, не добредетъ до лѣса, пріюта всякой четвероногой твари; «желѣзный человѣкъ»—якуть и тотъ не пытается даже бороться съ мятымъ, переворачиваетъ свои легкія санки и ложится подъ нихъ, отдавая себя на волю Господню... Высокій снѣжный курганъ намететь въ такомъ мѣстѣ, и, когда стихнетъ, уляжется непогода, случается, что и хватить у бѣднаги силь выкарабкаться изъ-подъ снѣга, а то такъ и остается тамъ, вплоть до весны, когда солнце и теплые ливни растопятъ снѣгъ, раскроютъ его холодную могилу.

Опытные люди заблаговременно предвидятъ близость пурги,— и какъ только появятся на горизонтѣ ея грозные признаки, принимаютъ мѣры. Предвидя пургу, хозяинъ и скотину свою обережетъ, во дворъ загонитъ, собакъ даже припрячетъ и не гонитъ на улицу; варнаку-бродягѣ и тому дастъ пріютъ, не боясь исправничьяго наѣзда,—который сумасшедшій, не жалко своей головы, презирая мятымъ, самъ рвется въ путь, Христомъ Богомъ умолить такого неѣздить, а оставаться. Торгашъ дворникъ за пріютъ и тепло не беретъ даже денегъ въ такую пору, только за харчи на счетахъ выкладываетъ — не задержать путника, дать ему выѣхать, силою не остановить, если сильно упрямится, по-здѣшнему, значить принять великий грѣхъ на свою душу, самому себѣ впередъ такую же лютую смерть готовить. Таковъ уже обычай ведется по всей Сибири съизстари, и на нарушителя этого обычая люди смотрятъ, какъ на нехристя, чортова брата... Нѣтъ преступленія болѣшаго—отказать путнику въ пріютѣ передъ пургою, хотя въ этой сторонѣ случаются и такие путники, что, пожалуй, пріюта, жилья человѣческаго больше, чѣмъ самой пурги боятся, съ дороги, доброю волею, сворачиваютъ, завидя жилье, словно медвѣдь травленый, большой обходъ дѣлаютъ и боязливо коятся на привѣтливые дымки надъ трубами приземистыхъ избъ, тревожно прислушиваясь къ лаю собакъ въ той сторонѣ,

робко вздрагивая при каждомъ звуке, издалека долетѣвшаго, болѣе всего страшнаго человѣческаго голоса.

Такіе боязливые попадаются, впрочемъ, рѣдко,—они бываютъ только изъ тѣхъ, что плохо знаютъ русскій народъ и въ первый разъ пользуются своею краденою волею.

Вотъ и этотъ изъ такихъ, должно быть. Цѣлый день пропидѣль онъ за кустами у самой опушки лѣсной; передъ нимъ разстилалась сиѣжная, слегка волнистая, совершенно открытая мѣстность, только на горизонтѣ чуть-чуть синѣлись далекіе лѣса; къ тѣмъ лѣсамъ и надо было пробраться бродягѣ!.. Ну, какъ увидить кто на открытомъ мѣстѣ?! Тиха, безлюдна равнина, да дорога по ней змѣится, санная проѣзжая, не слишкомъ, положимъ, торная, безъ столбовъ верстовыхъ, а все-таки людми проложенная, не медвѣдями,—медвѣжьихъ тропъ этой человѣкѣ уже привыкъ не бояться и пользовался ими безъ страха и смущенія. Вела эта людская дорога по склону пригорка, пропадала за нимъ, а потомъ снова показывалась, поворачивая влево оврагомъ, снова всползала на верхъ и опять исчезала; и вотъ тутъ-то, въ этомъ самомъ мѣстѣ чуть чернѣлась разорванная цѣпью съ дюжины курныхъ избушекъ и покривившаяся колокольня старой деревянной церкви—это послѣднее обстоятельство болѣе всего пугало человѣка, засѣвшаго въ опушкѣ, въ чащѣ обезлиственнаго орѣшника.—Рѣшилъ онъ выждать ночи, когда стемнѣеть, и разсчитывалъ, что за эту длинную, зимнюю почъ успѣть онъ незамѣтно пройти верстъ тридцать, а тамъ, къ утру значитъ, навѣрное, снова въ лѣсу очутиться, снова въ безопасности, до слѣдующей перебѣжки по открытому мѣсту...

Видѣлъ человѣкѣ, что къ вечеру что-то странное стало твориться въ воздухѣ; багровымъ краснымъ шаромъ блеснуло солнце на самомъ горизонтѣ, въ эту минуту его только и видно было за весь день, заалѣли гребни холмовъ, словно червоннымъ золотомъ окрасились... Тихо, тихо стало кругомъ... каждый звукъ, самый легкій, далекій и тотъ отчетливо въ этой гробовой тишинѣ слышался... Верстъ за пять въ деревнѣ уныло завыли собаки, а кажется будто вотъ, вотъ тутъ, сейчасъ, за этимъ кустомъ, заголосили косматые стражи... Чуть видна по дорогѣ быстро двигающаяся, черная, двойная точка: то бѣгутъ саночки, запряженные маленькою, толстоногою лошаденкою, а скрыты полозьевъ такъ и рѣжетъ ухо; чекнула подкова, за-

дѣтая на бѣгу о другую, словно въ колоколь ударило; крикнула, погоняя, сѣдокъ, такъ и загудѣло по степи отъ этого выклика, и къ замирающему звуку его голоса присоединилось что-то другое, злобное, свистящее, словно какія-то невидимыя крылатыя чудовища заносились надъ снѣжною равниною, срываю мановеніемъ своихъ крыльевъ мелкую снѣжную пыль... Быстро погасли послѣдніе отблески багроваго золота—«закурилась степь», по мѣстному выражению, а еще пока ничего, все кругомъ хорошо видно, не сплошь, а отдѣльными струями налетаетъ вѣтеръ, сорвать снѣгъ съ открытаго гребня, покружить его немного ибросить. Здѣсь уже опять тихо, а въ другомъ мѣстѣ опять кружится,—это и есть самые злые признаки, послѣдніе уже вѣстовщики свирѣпой пурги, подвигающейся съ сѣверо-востока.

«Пора!» думаетъ человѣкъ за кустами, беретъ свою суковатую палку, оглядывается еще раза два кругомъ и рѣшается, наконецъ, показаться изъ своего убѣжища...

Настоящая пора—его сразу хлестнуло сильнымъ порывомъ вѣтра, чуть съ ногъ не сбило и сѣрую шинель распахнуло;—странная эта шинель была у путника, совсѣмъ не по здѣшнему климату одежда—одно сукно, да и то чуть не все въ ключахъ, мѣху никакого не подложено, за то на спинѣ, ради украшенія, желтый квадратикъ былъ напитъ, какъ разъ между лопатокъ, по самой серединѣ,—шапка на головѣ у человѣка была якутская мѣховая, на шей намотанъ платокъ цвѣтной, на ногахъ штаны сѣрыя же, короткія, а самыя ноги—одна въ сапогѣ, а другая тряпью обернута и веревочками перевязана; на этой-то ногѣ путникъ носилъ особое украшеніе, тяжелый браслетъ, съ болтавшимся на немъ одинокимъ звѣномъ желѣзной же цѣпи... Тяжель ли былъ этотъ браслетъ, или отъ другой какой причины, только путникъ шагалъ неровно, онъ все, именно эту, украшенную ногу оттягивалъ на ходу, сильнѣе наступая на другую ногу, лишеннную украшеній...

Не старъ былъ этотъ человѣкъ, да и не особенно молодъ, борода курчавая, небольшая, носъ прямой—тонкій, глаза большие такие, темные, а вокругъ глазъ еще того темнѣе, щеки впалыя, блѣдныя, шрамъ свѣжій на одной изъ нихъ, должно быть на сучекъ въ лѣсу напоролся...

Хлещеть путника вѣтромъ въ бокъ, хлещеть съ затылка, бьетъ прямо въ лицо, а онъ все себѣ идетъ, приваливая на

одну ногу, и не боится онъ пурги, правда, еще только начинаящейся; его даже будто радуютъ, тѣшатъ эти сиѣжные порывы, быстро заметающіе за нимъ глубокіе слѣды его ногъ, и укращенной и неукращенной...

И онъ все шелъ и шелъ.

Теперь онъ уже ничего не видѣлъ вокругъ себя—охваченный со всѣхъ сторонъ, разыгравшимся во всю свою силу, сиѣжкимъ вихремъ. Сбился онъ съ пути, съ разъ взятого направленія, или нѣтъ, онъ уже не могъ сообразить... Онъ шелъ и только... Вся его задача была въ томъ, чтобы переставлять ноги и плотнѣе кутаться въ свою изодранную, сѣрую шинель... Всѣ его силы, вся энергія, всѣ мысли, казалось, сосредоточились на выполненіи этой единственной задачи.

Одиночный, затерянный въ хаосѣ сибирской пурги—этотъ человѣкъ пока еще шелъ.

## II.

Лѣсь, кругомъ лѣсь, безъ конца, безъ просвѣта.

Вѣками растутъ эти колоссальные кедры и лиственица, и падаютъ, подкошенные своею старостью, а не топоромъ человѣческимъ. Рухнетъ, насквозь прогнившій, проточенный червемъ, уже потерявшій листву вѣковой гигантъ, застопетъ кругомъ отъ его паденія, тысячи молодыхъ порослей и побѣговъ раздавить его грузное, изрытое временемъ, поросшее косматымъ мохомъ тѣло,—не бѣда!.. Нѣтъ убыли лѣсу! Новая тысячи зеленої молодежи, питаясь трупомъ прадѣда, вновь поднимутъ свои кудрявые головки,—обовьютъ его, какъ вѣнкомъ, уберутъ, прикроютъ, нескоро и найдешь такую могилу.

Не на ровномъ мѣстѣ выросъ этотъ лѣсь, съ горы на гору стелется его дремучая, непролазная чаща, прорѣзанная глухими оврагами, суходолами, топкими, гніющими болотами, частими, споконъ вѣка проложенными тропами звѣриными, населенная обильно всякою живою тварью, гнѣздающейся и вверху, высоко въ этихъ кудрявыхъ, развесистыхъ кронахъ и въ дуплахъ корявыхъ стволовъ, и въ трущобахъ низовыхъ кустовъ, и въ мягкомъ коврѣ перегноя и мха, подъ корнями, далеко расползшимися, между собою перепутанными—не разберешь даже, какой корень какому дереву даетъ питаніе... Милліонами голосовъ стонеть, звенить и переливается эта разнобразная жизнь, и въ этихъ звукахъ слышна не одна и та

же мелодія, пѣтъ—тутъ опытное ухо слышить и мотивы разсвѣта, и мотивы полудённого жара, и пѣсню вечерняго заката, и длинную колыбельную пѣснь глухой темной ночи... Тутъ слышны и звуки тревоги, гнѣва, кровавой борьбы—тутъ слышны голоса любви и мира... Рѣдко только, очень рѣдко раздается здѣсь голосъ человѣческій, а уже съ этимъ голосомъ, непремѣнно, какъ неразлучный спутникъ его, громовой ударъ ружейнаго выстрѣла...

Смотришь съ высокой горы на такой лѣсъ... Безъ конца, теряясь въ синевѣ небосклона, разстилается волнующееся море разнообразнѣйшей зелени, всевозможныхъ формъ и оттенковъ... Вонъ цѣлымъ обществомъ сплотились во-едино кудрявые, мелкохвойные лиственицы, усыпанные золотистыми шишками; вонъ свѣтлымъ пятномъ, словно изумрудъ, горитъ на солнцѣ веселая береза, и сквозь кружева ея зазубренныхъ листочковъ просвѣчивается серебристо-блѣдый стволъ; а рядомъ гигантъ кедръ, выше всѣхъ головою—темный, такой угрюмый, не только внизъ, на то, что тамъ, подъ ногами—даже на вершины со-сѣдей густую тѣнь стелетъ... Дальше, тамъ, гдѣ словно раздвинулся немногого лѣсъ, окружая мокрую поляну, дрожать пепельно-зеленоватые листья осины, съ сѣрыми матовыми стволами, чернѣеть извилистый сукъ, засохшій, расщепленный ударомъ молнии, а дальше опять пошла мѣшаница, всего понемногу, а за нею полосою идутъ развѣистыя кроны сосенъ, краснѣютъ высокіе, прямые, какъ колонны, стволы, залитые душистою смолою,—и такъ все дальше и дальше, пока уже глазъ не въ съ lựcъ различить подробностей въ этомъ вѣчномъ царствѣ растительнаго міра.

Хорошъ лѣсъ лѣтомъ, чуденъ и осенью, одѣтый золотомъ и пурпуромъ умирающей листвы, грандіозенъ и величественъ въ суровую зиму, покрытый серебрянымъ инеемъ и тяжелыми снѣговыми шапками.

Этотъ лѣсъ, о которомъ я теперь рассказываю — глухая тайга сибирская...

Въ концѣ зимы, въ началѣ марта,—время самыхъ свирѣпыхъ, налетныхъ мятелей и быстро наступающихъ за ними первыхъ признаковъ весны, туманныхъ оттепелей—по тропѣ, проложенной днищемъ глубокаго оврага, чуть замѣтно вьющейся въ концѣ кустовъ, шли два человѣка и съ ними кудлатая, острорылая, вертлявая собаченка, весело помахивавшая на ходу

своимъ пушистымъ, въ колечко свитымъ, хвостикомъ. Дѣло было рано утромъ, только-что разсвѣло; морозное, голубое небо просвѣчивало вверху; чутъ слышно хрустѣлъ снѣгъ подъ мягкою обувью пѣшебодовъ; зато какъ колокольчикъ звонилъ, и разносился по лѣсу, подавленный эхомъ веселый лай собаченки.

Шедшій впереди былъ мужчина высокаго роста, широко-плечій, съ густою рыжею бородою, съ загрубѣлою, словно дубленою, кожею на лицѣ, изрытомъ и морщинами, следами времени, и другими знаками, следами былыхъ боевыхъ схватокъ. Большеіе сѣрые глаза бородача смотрѣли сурово и пристально впередъ, словно пронизывая лѣсную чащу. Онъ шелъ твердою и быстрою поступью, не заботясь о своемъ спутникѣ, а тому не разъ приходилось вподбѣжку догонять своего товарища.

На головѣ у него была шапка мѣховая, изъ пушистаго лисьяго хвоста; одѣтъ онъ былъ въ косматомъ волчьемъ полушубкѣ, шерстью внутрь, шерстью и наружу; ременный поясъ съ тяжелою мѣдною пряжкою плотно стягивалъ его талию; за поясомъ сзади топоръ, за плечами сибирка-винтовка, «гран-чатка», по здѣшнему, съ подогнутыми къ стволу подсошками; въ рукахъ крѣпкая вязовая рогатина, съ перекладиною и широкимъ ножемъ на концѣ, прирученнымъ прочно къ древку сыромятными ремнями; на широкой спинѣ приложены были на всякий случай пара якутскихъ лыжъ, неравно «оттепельть» такъ чтобы нога въ глубокомъ снѣгу не вязла; изъ мягкаго сапожнаго голенища выглядывалъ роговой черенокъ охотничьяго ножа, дополнявшаго вооруженіе рыжебородаго.

Другой спутникъ былъ ребенокъ лѣтъ десяти, одѣтый такъ же, какъ и его «батька», только оружія малому не полагалось, а волокъ онъ холщевую сумку съ ржаными лепешками и кускомъ вялелой оленины, и волокъ онъ эти запасы не на плечахъ своихъ, а на маленькихъ сапочкахъ, которыя были захвачены, конечно, не съ такою только скромною цѣлью, а вѣрою для чего-нибудь другого, на всякий случай.

Страшное впечатлѣніе производилъ своимъ видомъ этотъ ребенокъ, усердно старающейся не отстать отъ большого, и безъ того судьба наградила его большою головою, не по росту, а тутъ еще эта шапка косматая, на самыя уши надвинутая, словно не идетъ, а катится, подпрыгивая, этотъ живой, косматый шарикъ; и какіе глазенки были у этого шарика — темные, живые, точно у соболя, такъ и бѣгали они по сто-

ронамъ, веселымъ огонькомъ искрились. Ожиданіе чего-то, крайне интереснаго, выражалось въ этихъ глазахъ; съ дѣтскихъ губъ не разъ уже срывались нетерпѣливые, короткіе вопросы.

— Онъ теперь спить, батька? — запыхавшись говорилъ ребенокъ.

— Спитъ,—коротко отвѣчалъ батька, не оборачиваясь на ходу, мелькомъ не взглянувъ на спрашивавшаго.

— А мы его разбудимъ? — снова, помолчавъ, начинай ребенокъ.

— Разбудимъ!

— Онъ большой, батька, страш...шенній... зубища, во-какие!.. лапы когтятныя!..

— А кто его знаетъ; должно, большой.

— А больше того, что прошлый разъ мы убили?

— Молчи!

Съ полчаса шли молча. Батька ни слова, сынишка тоже молчитъ, хоть и хочется ему снова начать свои разспросы; только собаченка зачухала что-то подъ гнилой валежиной, снѣгъ лапами роетъ, визжитъ, заливается. Назадъ отскочила, припала на переднія лапы, оглянулась на путниковъ, а тѣ уже порядочно отошли. Подумаль песикъ, повертьль головою, приподнялъ заднюю лапку, тявкнулъ еще разокъ на прощанье съ валежиною и тѣмъ, что подъ нею пряталось, и пошелъ скачками догонять хозяевъ.

— Батька, а батька! Дай нонѣ я пальну... Ты его на рогатину примай, а я пальну.

— Дурный... — отвѣтилъ батька, и на этотъ разъ улыбнулся, пріостановился на ходу и смазаль сына легонько рукою по шапкѣ.—Да ты, «голованъ», и винтовки въ рукахъ не удержишь.

— Что-жъ, она не тяжелая. Батька, а батька!.. а онъ ревѣть будетъ?..

— Зареветь, небось!

— У, у, у! — потрясъ головою ребенокъ и глаза даже за-жмурилъ, пытаясь подражать медвѣжьему реву.

— Молчи! — снова обрѣзаль батька.—Смотри, у тебя Варашка лепешки поѣсть. Виши, какъ санки обнюхиваетъ. Знай свое дѣло, береги провантъ, медвѣжонокъ!..

— Медвѣжонокъ! — «Голованъ» весело засмѣялся.—Медвѣжонокъ о четырехъ лапахъ, батька!..

— А ты о сколькихъ?

— Я-то?!

Погладѣлъ Голованъ на свои руки, на ноги взглянулъ «и впрямь, думаетъ, четыре, только какже это?» Раздумье взяло ребенка, заставило его помолчать немножко, а тѣмъ временемъ всѣ трое забрались въ такую чашу, что еле-еле проридался передній, прокладывая своими мощными плечами дорогу въ этой сплошной путаницѣ оледенѣлыхъ вѣтвей низовой заросли.

Долго они шли по такой дорогѣ, да и дороги уже не было, тропа далеко сзади осталась, цѣликомъ ломили, значитъ; раза два топоромъ приходилось прорубаться; часа два поработали этакъ, стало какъ будто просторнѣй.

Пріостановился большой, озирается, духъ затаилъ «Голованъ», Варнашка съ насоку вѣжала на большую, вывороченную бурею коряжину, а коряжина эта вся сучьями завалена, толстымъ слоемъ снѣга покрыта, только чуть, въ одномъ мѣстѣ, вровень съ землею, небольшая продушина чернѣетъ. Дыбомъ, щетиною поднялась шерсть на собачьемъ хребтѣ, захлебывается лаемъ Варнашка и сверху на эту самую продушину смотритъ.

— Горячится, собака проклятая,—процѣдилъ сквозь зубы большой.—Эй, Голованъ, уйди прочь, стань вонъ тамъ у сосны, да поглядывай, а близко не суйся.

— Я, батька...

— Уйди же ты, каторжный!..

Заторопился бородатый, сразу по куржаку \*) на хворостѣ узналъ, что самъ дома. Теперь одна забота: какъ бы не выскочилъ до времени. Отмѣрилъ глазомъ девять шаговъ, шапку снялъ, перекрестился, наладилъ гранчатку, пороху на полку подсыпалъ, пальцемъ кремень ощупалъ, рогатина подлѣ, вотъ она, топоръ тоже въ снѣгу торчитъ, рукояткою вверху, чтобы во время схватиться было удобно. Готово!

И Варнашка понялъ, что готово, пуще принялся лаять, лапами рыться; поворачивается даже песъ отъ злости, такъ и рвется въ продушину; а Голованъ отбѣжалъ было по приказу отцовскому, а теперь опять близко подошелъ, шагахъ въ трехъ за отцомъ держится.

\*) Куржакъ — иней, образующійся отъ дыханія медведя у отверстія берлоги — у лаза.

— Бери это, бери! — покрываешь бородатый на собаку; швырнуль въ дыру кускомъ промерзшей, оледенѣлой коры. Крѣпко лежитъ хозяинъ, не хочетъ показываться.

— Бери его, бери!..

Словно мячикъ, кувыркомъ свернулся сверху Варнашка. Большая, темная масса разомъ раздвинула продушену, разметала сучья и ринулась на охотника. Гулко грянула гранатка, да пуля пошла верхомъ, по самому темени хватила всколзь. Отъ могучаго удара когтистой лапы, рогатина подлетѣла кверху и въ снѣгъ тычкомъ ткнулась.

— Врешь, не уйдешь! — прохрипѣлъ бородачъ. Ножъ только у него въ рукахъ остался. И видитъ Голованъ, что оплошалъ на этотъ разъ батька. Возятся оба въ глубокомъ снѣгу, такъ и брызжетъ алая кровь, а чья, медвѣжья или человѣчья, не разберешь сразу, вѣрно и та, и другая.

Сгребъ ребенокъ топоръ въ обѣ рученки; блѣдный, какъ снѣгъ, губа закусена, приоравливается, какъ отца выручить, и ничего ему не страшно; онъ этого рева, что гудить по лѣсу, какъ будто и не замѣчаетъ. Задѣлъ его медвѣдь лапою, отлетѣлъ онъ кубаремъ шаговъ на пять, поднялся на ноги, опять къ медвѣдю, а тотъ уже недвижимъ лежитъ, рыломъ въ снѣгъ уткнувшись, только уши его круглые чуть вздрагиваются, да вставшая дыбомъ шерсть медленно укладывается.

— Батька! — окликнулъ ребенокъ.

Чуть-чуть простональ батька подъ медвѣдемъ. И видны только отъ батька ноги въ сапогахъ да пола волчьяго полу-шубка...

— Батька... Батька!..

И стона уже больше теперь не слышно...

— Батька!..

Варнашка теребилъ медвѣдя сзади, такъ и впился въ него, околѣлаго, зубами, Голованъ тоже рученками ухватился за мѣхъ, тащить. Не подъ силу ребенку такая тяга.

А кругомъ-то все выворочено, изрыто, весь снѣгъ въ крови, ручьемъ эта кровь рыхлый снѣгъ буравить. Воронье налетѣло, наѣли по сучьямъ и иней съ нихъ отряхиваются.

— Батька! батька!.. — безъ устали, надрываясь, кричить ребенокъ, не плачетъ только, а дуетъ обоими кулаченками по неподвижной черной головѣ звѣря съ бѣлою проточиною по-срединѣ, и голосъ его охрипъ, надорвался, уже не слышится

въ немъ ничего свѣжаго, дѣтскаго, такъ только вытье одно, на Варнашкіо похоже.

Часть прошелъ, другой уже къ концу близится; обезсилѣлъ Голованъ, припалъ на медвѣжью голову, то забудется на минуту, словно заснетъ, то снова очнется и звать своего батьку примется.

Темнѣть стало въ лѣсу, снѣговые хлопья сверху мягко падаютъ, тепло такъ стало; Варнашка уже къ санкамъ павѣдался, закусилъ и снова лаять принялъся, забѣгая то спереди, то съ боковъ, то сзади, а Голованъ спитъ... Какъ онъ заснулъ, и не замѣтилъ. И не сонъ это былъ, а тяжелый обморокъ отъ волненія и крайней усталы.

### III.

Долго-ли, коротко-ли спалъ Голованъ, только слышить онъ, что Варнашка теперь уже его самого теребить зубами за воротъ и поворачиваетъ на самое ухо, да такъ жалостливо, боязно скучить песъ, будто чуетъ чго-то недобroe.

Очнулся ребенокъ, дрожить весь отъ холода; промерзла напотѣлая рубаха. Темно кругомъ; стѣною, безъ просвѣта, надвинулись со всѣхъ сторонъ старыя сосны... Черная темень внизу; вверху, высоко-высоко, чуть теплится серебряная звѣздочка.

Дыбомъ встала шерсть на собакѣ, хвостъ словно прилипъ къ заду; не знаетъ на какую лапку ступить песикъ и къ мальчугану жметсѧ, встать не даетъ на ноги.

А кругомъ слышно, какъ потрескиваетъ сухой валежникъ, лязгаютъ голодныя челости. Тамъ и сямъ въ густой чащѣ искрятся красныя искорки.

Поняль въ чемъ дѣло Голованъ; видѣлъ и слышалъ все это не разъ, въ длинныя зимнія ночи, выглядывая въ крохотное оконце батьковой сторожки. Оробѣлъ малыши, потому зналъ, чѣмъ дѣло кончиться можетъ.

— Падаль зачуяли, окаймлены,—мелькнуло у него въ головѣ отцова поговорка.

Взвизгнулъ Варнашка, словно ошпаренный; въ два прыжка очутился у лаза берложьяго, мелькнулъ на мгновеніе его пушистый хвостъ въ темной дырѣ и скрылся, скатился туда же и Голованъ за нимъ,—да и въ самую пору. Завыло волче

горло, другое подтянуло, тамъ третье, четвертое, черныя пятна вынеслись изъ кустовъ на поляну, одинъ съ разбѣгу черезъ медвѣдя издохшаго перемахнулъ и у самаго лаза острый рыломъ въ снѣгъ ткнулся. Въ мигъ собралось ихъ штукъ тридцать; которые сразу теребить «падаль» принялись, которые полуокругомъ сѣли у берлоги и воютъ жалобно, задравъ морды кверху.

— Пронеси Господь, съ нами сила крестная...—шепчеть Голованъ. Сложутъ, язва каторжная, моего батьку!

А въ глубинѣ берлоги ворчитъ и похрюкиваетъ что-то, да еще въ два голоса; какъ вскочили Голованъ съ собакою сюда, такъ и начали хрюкать, а то молча сидѣли, притаившись. Это были медвѣжата недѣльные, большеголовые такіе, коротенькие. Одинъ бочкомъ, бочкомъ, по стѣночкѣ пробирается, глупъ малый, не соображаетъ, что страшнѣе, новые ли гости или тѣ, что у входа сидятъ. Добрался дуракъ до лаза, да какъ фыркнуть вонъ и вздохнуть не успѣлъ, какъ только елочья отъ него полѣтили.

Тroe остались въ ямѣ: Голованъ, Варнашка да другой медвѣжонокъ, сидять всѣ троє молча. Пробовалъ было Мишка царапнуть мальчика лапою, когда тотъ уже очень близко подобрался и ощупывать его началъ, да тотъ его кулаченкомъ по рылу, вотъ онъ и стихъ, смирился.

Цѣлую ночь пировали волки на полянѣ. Сквозь берложій лазъ видно было, что такое голодное звѣрье продѣлывало.

Рвали и теребили звѣри издохшаго медвѣдя, да стащить не могли съ мѣста, не потому, что не подъ силу было, а безъ толку дѣло дѣлали, въ разныя стороны тянули, елозятъ только медвѣжій трупъ по батькину тѣлу, да глубже его въ снѣгъ заталкиваютъ, трещитъ изодранная зубами медвѣжья шкура, хрустятъ его кости на волчьихъ зубахъ. Одинъ ледащій волченокъ, не пускаютъ его старые къ настоящему кушанью, такъ онъ поясь ременный раздобылъ и гложеть, прихвативъ его передними лапами, зубами о жѣлѣзо лязгаетъ, должно быть пряжка попала. Жрутъ волки, давно знать такой добычи не видали! Иной отхватить шматъ медвѣжатины, въ сторону отбѣжитъ, къ кустамъ, да тамъ и заляжетъ озирающійся. Тѣ, что лазъ сторожили, поодиночкѣ, одинъ за другимъ бросили къ чорту свою службу, да къ общему дѣлу пристали. Одинъ, въ суматохѣ, лапою напоролся на что-то, должно быть, въ снѣгу на косарь рогатный наткнулся, взмылъ, отпрыгнулъ

и лапу свою окровавленную сталъ зализывать; другой на него наскочилъ, да зубами за загривокъ, разодрались въ кровь, и еще къ нимъ пристали.

Адъ въ лѣсу, да и только! Сопять, визжать, воютъ, словно угорѣлые мечутся волки; стономъ стонеть лѣсь, птица, перепуганная, всполошенная шумомъ, порхаетъ, сѣрый сычъ за гудѣль въ дуплѣ. Зубъ на зубъ не попадаетъ отъ страха у Голована, Варнашка насторожился, сидитъ теперь бодро; сюда моль, не доберутся, а медвѣженокъ клубкомъ косматымъ забился въ уголъ, не разберешь въ этомъ клубкѣ, гдѣ голова, гдѣ лапы. И тепло какъ въ берлогѣ, привольно, мягко, такъ бы и не выѣхъ отсюда. И спать хочется, и страхъ беретъ. «Пронеси Господь, съ нами сила крестная!».

И куда это ушли волки? было ихъ такъ много, а теперь ни одного нѣтъ. Слѣды на снѣгу ясно видны, утолоку сдѣлали страшную! Кругомъ, даже на низахъ кустарника клочья шерсти, тряпье, все въ крови. И въ лѣсу свѣтло стало: вверху небо золотистое, межъ стволовъ, за оврагомъ тоже яркимъ золотомъ просвѣчивается. Варнашка изъ берлоги выскочила уже иочные слѣды обнюхиваетъ. Огладили медвѣжью тушу порядкомъ волки, ногу батькину, что видна была изъ-подъ нея, тоже. Воронъ что слетѣлось на эту красную, исковерканную «падаль», голосу иного не слыхать за ихъ карканьемъ. Выѣхъ и Голованъ, по отцовской привычкѣ скребетъ рученкою свой затылокъ, думаетъ: «что же ему теперь дальше дѣлать надо?».

Только медвѣженокъ лежитъ себѣ, знай, клубкомъ, выглянуль было разъ изъ-подъ лапы, да увидѣль человѣка съ собакою, и снова закрылся.

День насталъ морозный, солнечный; засверкаль, заискрился серебромъ лѣсь, словно въ нарядъ самый праздничный убранный; поднялось солнце уже высоко, добралось лучами своими и до этой утолоки окровавленной.

#### IV.

Бѣсть захотѣлось Головану, да такъ, что даже рѣзь въ животѣ почувствовалъ мальчикъ.

Отыскаль онъ салазки,—волки ихъ въ кусты заташили; отыскаль и котомку, порванную въ клочья. Быль въ этой котомкѣ кусочекъ мяса сущенаго,—волки сѣли; были еще ле-

пешки, тѣхъ волки єсть не станутъ,—претить имъ отъ хлѣбнаго; гдѣ же эти лепешки? не видать нигдѣ, сколько ни шарилъ по снѣгу руками Голованъ; затерялись, не найдешь, а можетъ, и Варнашка слопалъ,—усиѣль таки песь позавтракать, недаромъ онъ невинными такими глазами вверхъ поглядываетъ, словно его служба теперь такая, чтобы за воронами надзоръ держать.

А єсть очень хочется Головану, да и морозъ не свой братъ, насквозь пробираеть, хотя и тихо въ лѣсу, невѣтрено. А дома тепло, дома у нихъ печка есть большущая, пузатая, жерло—во какое! Какъ натопить, бывало, батька, такъ хоть рубаху снимай,—жарко!—Дома есть и мясо, и лепешки, и щи остались въ горшкѣ, съ капустою и грибами... щи эти хоть и холодныя теперь,—батька-то ихъ, передъ уходомъ, въ сѣнцахъ на полкѣ поставилъ, надъ дверями,—да ихъ разогрѣть долго-ли... Дома все есть!..

Такъ думалъ и соображалъ Голованъ и, надумавшись вволю, сталъ собираться домой, туда, гдѣ его ожидаютъ всѣ эти, съблазнительныя для голоднаго желудка, сокровища...

Батьку-то какъ же тутъ оставить?.. А вѣдь его не достести на рукахъ, самъ не пойдетъ, потому поколѣль... то, бишь, померъ, а можетъ, это медвѣдь померъ, а батька поколѣль... разница-то есть, а въ чемъ—не сообразишь; да впрочемъ все едино: поколѣль, померъ, одно слово, значитъ, теперь его нѣту... Вотъ какъ былъ у насъ большой бѣлый песь,—звали его Полканъ,—здравый песь былъ,—разъ волка одинъ за шиворотъ сгребъ и въ избу къ намъ втащилъ,—да тоже поколѣль, и нѣтъ его. Полкашку батька тогда въ оврагѣ зарылъ, батьку также зарыть нужно, только какъ же его зарывать?! Вѣдь снѣгъ, земли нѣту, а батька Полкашку,—это хорошо Голованъ помнилъ,—въ землю зарылъ, а не въ снѣгъ, значитъ, и батьку въ землю надо—это значитъ послѣ, потому что послѣ снѣга опять земля будетъ, а послѣ земли опять снѣгъ, тамъ опять земля,—и когда земля бываетъ, тогда тепло и зелено все, а снѣгъ,—холодно и бѣло. А домой все-таки надо, тамъ щи и лепешки. «Варнашка, пойдемъ домой!»—закончилъ Голованъ свои размышленія, стоя надъ безобразною массою изуродованныхъ труповъ.

Забралъ Голованъ санки, уложилъ на нихъ отцовскую винтовку, топоръ, ножъ, весь снарядъ охотничій, что только по-

собралъ да отыскать въ изрытомъ снѣгу, потащилъ свой возъ, да тяжело, не под силу пришлось; вотъ бы Варнашку запрячь на подмогу, да молодъ окаянный, не привыченъ къ такой работе; виши! гоняетъ по кустамъ, словно очумѣлый; былъ бы Полканъ, тотъ собака солидная, тотъ возилъ здорово; надо, видно, бросить санки до другого раза; надумано—сдѣлано. Затолкалъ Голованъ санки съ кладью въ медвѣжью берлогу, вспомнилъ и про ея жильца, что съ нимъ ночь короталь,—какъ же его тутъ оставить? Вѣдь онъ тоже, чай, ёсть хочетъ, самъ кормиться не можетъ; надо и его взять въ избу, на готовые харчи.—«Ну, ты, ворочайся! Идемъ съ нами косолапый!..»

Упирается косолапый, хрюкотнило такую поднялъ, какъ его за уши на свѣтъ Божій поволокли, царапаться началъ; съѣздила его Голованъ раза два по мордѣ, долго возился, упарился возившись, а выволокъ таки, отвязалъ отъ сапей веревку и намоталъ ее медвѣженку на шею; потянули друга милаго и какъ потянули: Голованъ веревку-то черезъ плечо себѣ перекинулъ, обѣими руками за конецъ взялся и тащить, а Варнашка сзади за штаны медвѣженка похватывается, прыти поддается; тотъ бѣжитъ, обертывается, а все-таки впередъ поддается. Съ часъ шли такъ, а потомъ присмирѣлъ звѣренышъ, попривыкъ, пошелъ вольнѣе.

Далеко пришлось идти до дому; труднѣе всего было оврагами да густолѣсемъ на знакомую тропу выйти; спасибо, Варнашка пособилъ, тотъ дорогу лучше Голована помнилъ: какъ только видѣть песъ, что сбиваться начали, сейчасъ свою службу вспомнить, бросить медвѣженка, отбѣжитъ впередъ, въ стороны помечется немнога, сразу начнѣтъ дорогу и лаять примется:—иди, моль, сюда прямо на голосъ.

Раза два отдохнуть всѣ трое принимались. Великъ-ли день зимній, хотя бы и въ началѣ марта,—не успѣли и разглядѣть путники, какое-такое солнце бываетъ, а оно уже и спряталось за деревьями. Впрочемъ, всѣ трое на торный путь изъ трущобы засвѣтло выбрались—помогъ Господь! Еще пройти съ часъ—и дома будутъ... Вонъ видна на увалѣ старая сосна, громомъ разбитая; съ этою сосною поровняться да на горку выбраться, оттуда уже видны будутъ кедровники черные, а вѣво отъ нихъ—дичковая заросль, что по веснѣ, вся розовая, бѣлымъ цвѣтомъ покрывается; тамъ и избенка ихняя... близко, значитъ!..

А въ хорошемъ мѣстѣ пріютилась батькова избенка!

На южномъ, солнечномъ скатѣ оврага, въ гущинѣ дикихъ яблонь, какъ разъ на томъ мѣстѣ, гдѣ кончается тѣнь отъ столѣтнихъ кедровъ, когда солнце, въ лѣтнюю пору, достигаетъ самаго высокаго мѣста на своемъ пути и отсюда уже начинаетъ клониться къ западу,—видѣлась старая, поросшая мохомъ и травою, сѣрая крыша, а надъ нею черная, закоптѣлая, обуглившаяся даже труба, плетневая, густо смазанная глиною и снутри, и спаружи. Изба была въ одинъ срубъ, тепло замшена мохомъ; оконце выходило маленькое, всего въ поль-аршина; и въ рамѣ, заклеенной бумагою, даже кусочекъ стеклышка вставленъ, чтобы видѣть было хорошо. Дверь была въ одинъ щитъ, на березовыхъ, крученыхъ петляхъ, и запиралась снутри колышкомъ; съ той стороны, гдѣ дверь, былъ еще полусрубокъ приложенъ, въ родѣ сѣнцовъ выходило; надъ избою крыша на два ската, а надъ сѣнцами въ одинъ, на вѣсомъ; изъ сѣней тоже дверь наружу, потяжеле и покрѣпче и на желѣзныхъ петляхъ, а запоромъ у этой двери служилъ большой брусъ и закладывался этотъ брусъ тоже въ желѣзныя петли,—такую дверь не выломаешь сразу, какъ ни надѣйся. Внутри избы больше половины всего мѣста занимала печь, обыкновенная русская, только не изъ кирпичей сложенная, а глишобитная, безъ лежанки и съ покатымъ верхомъ; между печью и стѣною полати для спанья изъ плетня ивоваго и мохомъ сухимъ настланы; надъ палатами, на стѣнѣ, на колкахъ вся охотничья снасть развѣшена; подъ палатами двѣ кадки для запасу и ларь самодѣльный изъ горбылей, глубокий такой: какъ, бывало, Голованъ залѣзть туда, чтобы достать со дна, что надо, такъ безъ отцовской подмоги назадъ не выберется. У окошка, въ переднемъ углу, столь, доска на двухъ пняхъ, и другая доска пониже—скамейка, а на дворѣ, подъ окошкомъ, тоже такая-же скамейка прилажена спаружи; въ переднемъ углу—черная, закопченная доска и на ней два пятна посвѣтлѣе: батька все крестился на эту доску, когда куда въ дорогу собирался... Въ сѣняхъ жерди протянуты, и на жердяхъ, на распиялахъ шкуры сушились. Около сѣней, къ стѣнѣ самой навалена была куча хворосту, чтобы голливо подъ рукою было. Шагахъ въ десяти отъ избы, пониже ко дну оврага, гряды отецъ выкопалъ, сажаль что-то, да ничего путного, кромѣ крапивы, не выросло; а еще ниже

на самомъ днѣ—ключъ билъ, родникъ, и такой бойкій, что зимою, въ самые страшные морозы не замерзаль—обледѣнѣеть весь, сосульками уберется, а все бѣть живая струя и паръ отъ нея по дну оврага стелется.

Въ эту-то избу и добрались наши путники втроемъ, въ ту самую пору, какъ только въ лѣсу путемъ темнѣть начало.

Зналъ Голованъ, какъ надо отворять тяжелую сѣнную дверь,—онъ вѣдь всегда отворялъ ее своему батькѣ: взобрался онъ на кучу хвороста, оттуда на плоскую крышу, тамъ жерди пораздвинулъ, внизъ спустился, стащилъ брусь съ петлей—ну, и готово! пожалуйте, милости просимъ!

Расхозяйничался Андронъ на славу. Первымъ долгомъ «косолапаго» въ ларь запряталъ—сиди, моль, тамъ смирно! Затѣмъ ототкнулъ затычку, что въ трубѣ была, хворосту сухаго натаскалъ въ печь, досталъ огниво отцовскoe съ полки, огонь высѣкъ, растопилъ мигомъ, такъ что даже паръ повалилъ отъ нахолодѣвшихъ бревенъ сруба; досталъ и горшокъ съ полки надъ дверями и въ самый огонь сунулъ... Варнашка тоже помогать хотѣлъ, все подъ ногами вертѣлся да по угламъ нюхалъ, на задпія лапки поднимался и въ ларь норовилъ заглянуть, когда туда Мишку засадили:—какъ, моль, тамъ устроился жилицъ на новой квартире?..

А уже ночь настоящая настала; красная полоса свѣта легла изъ оконца вдоль по снѣгу, до самыхъ яблонь-дичковъ дотянулась... Досталъ Голованъ лепешекъ, немного ихъ, однако оказалось, всего штуку десятокъ:—одну самъ закусиль, другую Варнашкѣ, а третью медвѣженку въ ларь бросиль; только не єсть тотъ, церемонится; и здѣсь, какъ и въ берлогѣ, въ уголъ забился и въ клубокъ косматый свернулся.

Обжегся Андронъ Голованъ, какъ хватилъ изъ горшка первую ложку щей,—не торопись, значитъ, єшь полегоньку, степенно, какъ батька, бывало, єдалъ: возьметъ ложку, хлебнеть, откусить хлѣба, ложку на столъ положить, єдко прожевываетъ... Такъ и Голованъ началъ єсть, по примѣру отцовскому...

V.

Не такъ, чтобы уже очень давно,—съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ Голованъ началъ сознавать самого себя и все то, что вокругъ него дѣлалось, онъ видѣлъ и зналъ только своею

батьку, эту самую сторожку, — въ томъ самомъ видѣ, какъ она и теперь была,—лѣсь кругомъ, эти кедры, эти яблоньки-дички, этотъ родникъ, старого кобеля Полкашку, покойника уже, и щенка Варнашку, успѣвшаго уже превратиться въ здоровую мохнатую собаку-сибирку.

Все это облеклось передъ нимъ въ образы опредѣленные и вполнѣ сознательные, даже изученные имъ до нѣкоторой степени. Все остальное или не существовало для него вовсе, или же рисовалось въ его воображеніи въ самыхъ неясныхъ, туманныхъ очертаніяхъ.

Батька, это большой такой человѣкъ, больше всего живого, что только видѣлъ Голованъ въ лѣсу, за исключеніемъ развѣ медвѣда, да и то, когда тотъ на дыбки станетъ; волоса у батьки и борода рыжіе,—совсѣмъ такие, какъ щерсть у лисицы лѣтомъ,—шапка мѣховая, съ наушниками, рубаха бѣлая,—а иногда и красная,—короткій полушубокъ, высокіе сапоги съ гвоздями,—самая головка шкурою обернуты и ремнями у щиколотокъ прикручены. У батьки есть двѣ винтовки, обѣ гранатки; одну онъ съ собою бралъ, а другая все время на своемъ мѣстѣ виситъ безъ дѣла; батька говорилъ ему, что та была несчастливая винтовка... Голованъ не разъ уже спрашивалъ у батьки: «зачѣмъ несчастливал?» да батька не говорилъ, ругался только каждый разъ на такой вопросъ.

Батька каждый день уходилъ изъ избы, а иногда и по нѣсколько дней пропадалъ; его, Голована, тогда запиралъ дома и строго-настрого не приказывалъ огня разводить въ печи... Проявленію Головану отпускалось въ такие дни готоваго, и Полкашка уходилъ съ батькою, а Голованъ сидѣлъ и ждалъ... Когда батька возвращался, Голованъ еще издалека слышалъ его приближеніе.

Батька всегда свисталь громко, — такъ громко, что какъ только прокатится по лѣсу отцовскій посвистъ, такъ даже всѣ птицы въ яблонникѣ перестанутъ чирикать, примолкнуть.

Первымъ подбѣгалъ къ двери Варнашка и лапами начинай царапаться; песь съ одной стороны просится, скулитъ, а ребенокъ съ другой толчется и кричитъ:—Ба-а-а-атька!

А батька его никогда съ пустыми руками домой не возвращался, всегда что-нибудь да притащить: то лисицъ пару, то кабана приволочетъ на салазкахъ или на еловыхъ вѣтвяхъ, то козу дикую; маленькихъ еще звѣрьковъ приносилъ часто и птицу разную.

Сейчасъ разспросы пойдутъ:—что за звѣрь, да какъ его батька добылъ?..

Батька всегда охотно говорилъ обѣ этихъ дѣлахъ; сынишкѣ разсказывалъ такія хорошія вещи, такія занятныя, что послѣ его рассказовъ всю ночь Головану не спится и чудеса мерещатся.

Батька печь растопить, поѣсть сварить, добыча на полу лежитъ, посреди избы, около добычи Полкашка, клубкомъ свернувшись, и Голованъ съ другого бока, а батька разсказываетъ... Отрывисто говорить, словно сердится что-то,—нѣтъ-нѣтъ, да черезъ слово-другое и выругается, а занятно выходить, такъ-бы и слушалъ все, безъ конца, безъ передышки!

Много узналъ диковинъ Голованъ изъ рассказовъ отцовскихъ. Всякаго звѣря—лапку только покажи ему, хоть хвоста кончикъ,—сразу узнаетъ... Зналъ онъ и изюбря, и лося, и рысь—кошкую злую, хитрѣйшую, и хорька, и бѣлку, и глухаря птицу, и корсака, и россомаху, и куницу, и курну, и барсука—острорылого землекопа; соболя только два раза видѣлъ...

Отецъ тогда шибко ругался, доволенъ былъ, значить, уже очень. Голованъ даже слова его помнилъ, какъ онъ говорилъ, держа звѣрька за передніяя лапки и помахивая мягкимъ, пушистымъ хвостомъ по лицу ребенка.

— Эхъ, рѣдки стали, подлецы! — говорилъ батька.—Это, братъ, что?! понюхай-ка! знаешь, чѣмъ пахнетъ? Не знаешь!.. то-то, дуракъ! — Коли бы на день да по такой штукѣ, — да что на день, на недѣлю бы пришлось такъ...

Тутъ батька только рукою махнулъ и отвернулся, не договорилъ дальше...

Это все очень хорошо Голованъ помнилъ.

---

Разъ, только разъ всего, приходили сюда еще двое, такихъ точно, какъ батька, видомъ: и одежа такая, и росту такого же, и тоже съ винтовками; собакъ только, какъ Полкашка съ Варнашкою, съ тѣми не было. Откуда пришли эти двое—Голованъ не зналъ, куда ушли—тоже.

Когда они пришли, батьки дома не было. Голованъ одинъ сидѣлъ въ избѣ, взаперти, по обыкновенію, и очень испугался, завидѣвъ гостей въ окошко,—такъ испугался, что забился въ уголь, подъ шкуры, и примолкъ, не отозвался, когда тѣ кричали и дверь трясли изо всей мочи.

Ребенокъ помнилъ, что пришлецы Максима звали какого-то; послѣ уже, когда батька вернулся, Голованъ узналъ, что батька-то и есть этотъ самый Максимъ.

Когда всѣ трои вошли въ избу, гости въ уголъ взглянули, подъ крышею, гдѣ доска черная съ свѣтлыми пятнами висѣла, и что-то руками сдѣлали, этакъ на крестъ, ото лба на животъ, отъ одного плеча на другое. Батька тоже дѣлалъ это иногда, да Голованъ не зналъ—зачѣмъ, а теперь, когда и другіе сдѣлали, онъ понялъ только, что должно быть такъ и надо, и самъ принялъся за то же. Батька ничего про это ему не рассказывалъ и не объяснялъ, а тутъ и не спрашивалъ... Только съ этого времени черная доска получила для ребенка какое-то особенное, полное таинственности значеніе; онъ даже стала пугаться этихъ, расположенныхъ треугольникомъ, свѣтлыхъ, словно прорѣтыхъ чѣмъ-то, пятнышекъ, особенно когда приходилось оставаться одному, глазъ-на-глазъ съ этою загадочную доскою.

Съ тѣхъ поръ, какъ ушли эти двое, никто больше не приходилъ, то-есть не то, чтобы вовсе никто,—приходили юлки зимою, чуть не каждую ночь, и выли, глядя на жилье; разъ даже хорекъ подрылся въ сѣни:— такихъ только, на батьку похожихъ, никого не приходило.

---

Батька звѣря и птицу приносилъ изъ лѣсу, а муку, изъ которой они лепешки пекли, масло жидкое, зеленое, соль и еще воду какую-то, горькую, прегорькую, изъ села. А что такое это село, Голованъ, не зналъ,—зналъ только, что гдѣ-то очень далеко; потому что, когда батька приносилъ вышеизложенные предметы, то всегда дней пять, а то и больше не былъ дома. Приходилъ всегда сердитый и на вопросъ Голована: «а гдѣ это, батька, село?»—недобрый голосомъ, даже съ предварительной затрециною, отвѣчалъ:

— А тамъ, куда тебѣ и носа своего совать не зачѣмъ...

Ну какъ же тутъ его разспрашивать о селѣ,—похоже ли оно на лѣсъ или на что-нибудь другое?..

Годъ тому назадъ онъ узналъ только дорогу, по которой можно было попасть въ это таинственное село. Это было тогда, когда батька сталъ его иногда брать въ свои походы. И то Голованъ узналъ "далеко не все, что слѣдовало".

Разъ они долго-долго шли по лѣсу, ночевали два раза и

огонь тогда разводили. Сперва шли знакомыми для ребенка местами, а потом свернули такимъ глухимъ местомъ, что ину пору батька топоромъ прорубался; на третьи сутки мелколѣсье пошло, за большимъ оврагомъ, где протекалъ сердитый ручей и каменя большущіе лежали, вывороченные. Шли они все на моховую сторону, то-есть на ту, съ которой деревья наиболѣе опущены мохомъ, значитъ, на сѣверъ. Выбрались они, наконецъ, на широкую тропу, и ужъ эта тропа вывела ихъ вовсе изъ лѣса.

И вотъ, видѣлъ тутъ Голованъ диковину—большую, большую гору, совсѣмъ голую,—ни одного-то на ней кусточка,—и поднималась эта гора безъ конца, въ самый край неба упиралась. Здѣсь батька велѣлъ Головану сидѣть и его дожидаться и изъ кустовъ на опушку не вылѣзать,—а самъ пошелъ прямо на гору, все меньше и меньше становился, наконецъ, совсѣмъ сталъ — одна точка, съ муху величиною и спрятался.

Хотѣлъ было и Голованъ пойти по отцовскимъ слѣдамъ, да побоялся. Разстались они рано, рано утромъ, всю ночь шли передъ этимъ, а вернулся батька, когда солнце уже совсѣмъ сѣло, и принесъ мѣшокъ муки, другой мѣшочекъ поменьше, что-то въ синюю бумагу завороченное и бутылку воды горькой, а четыре шкуры, что съ собою взялъ, не принесъ—должно быть, въ этомъ самомъ селѣ оставилъ.

Вотъ все, что зналъ Голованъ о селѣ.

---

У Голована и мать была; только страшная мать, совсѣмъ не такая какъ у другихъ бываетъ.

Вотъ у медвѣженка, напримѣръ, тоже мать была—медвѣдица большая, что батьку задавила. Не разъ случалось батькѣ козь убивать съ дѣтенышами,—тоже матокъ значитъ,—свиней съ поросятами; одну убили разъ такую, что батька у нея изъ живота повынималъ порослюкъ, крохотныхъ, голенькихъ еще... сколько гнѣздъ онъ видаль, даже тутъ близко въ яблонникѣ: сперва яички тамъ, а послѣ итепчики пойдутъ; и мать у нихъ есть и отецъ,—мать сѣренѣкая, а отецъ покрасивѣе, или желтый весь, или съ хохломъ, или съ грудкою красною, какъ ягодка на кустахъ. Подъ самою крышею у нихъ даже есть такое гнѣздо, и каждую весну сидѣть въ немъ матка-самочки; а у него не такая мать, совсѣмъ особенная. Она тамъ, по ту

сторону ручья, подъ старою сосною лежитъ. Глядѣть, такъ просто куча земли, на муравьиную издали похожая, поросшая густымъ бурьяномъ, а надъ этою кучею два бруска, крестьяна-крестъ гвоздемъ сколоченные... вотъ и все!..

Батька ходилъ сюда съ нимъ вмѣстѣ и его одного отсыпалъ. Это бывало обыкновенно послѣ того, какъ батька, не ходя на охоту, цѣлый день просиживалъ на порогѣ молча и все изъ бутылки горькую воду прихлебывалъ... Сдѣлается такой страшный, глаза покраснѣютъ, шататься начнетъ, когда встанетъ на ноги, и руками за все хватается. Вотъ тогда и пойдутъ за оврагъ.

Придутъ, бывало, отецъ постоитъ молча съ минуту, насунется, брови сдвинеть, а шапку объ земь ударить—потомъ зареветь, какъ волкъ, завоетъ, ляжетъ грудью на кучу и землю цѣлуетъ, а рукою все со лба на грудь, съ одного плеча на другое.

Его, Голована, тоже заставить землю цѣловать...

— Тебя, волченокъ, родила, сама погибла,—сказаль онъ разъ ему въ такую минуту и такъ зло поглядѣль на него, что ребенокъ испугался и въ кусты спрятался; а послѣ все прошло. Послѣ того всякий разъ батька ласковѣе на сына поглядывалъ, по косматой головенкѣ гладиль его; спать ложился, спалъ долго, все метался и говорилъ что-то во снѣ,—не разберешь что, какъ будто звалъ кого-то; а на другой день все проходило, все начиналося по старому... до новаго постыденія.

Какъ только отецъ останется дома и за бутылку съ горькою водою возьмется, такъ уже Голованъ и зналъ, что пойдутъ они за оврагъ, къ матери, и все, что за этимъ должно слѣдовать.

Вотъ какая мать была у Андрона Голована.

## VI.

Съ мѣсяцъ прошло времени, какъ сталъ жить одинъ Голованъ безъ своего батьки.

Медвѣженокъ уже попривыкъ къ своему новому положенію, пересталъ быть дикаремъ, огрызаться да царапаться. Теперь онъ уже на заднія лапы становился и изъ ларя выглядывалъ съ любопытствомъ, безъ всякаго страха осматривая все, что только въ избѣ дѣгалось. Варнашка надзоръ имѣлъ за молодымъ звѣрькомъ самый строгій и совсѣмъ вонъ изъ ларя выходить не позволялъ... Запахъ такой пошелъ отъ Мишки по

дому, крѣпкій, какъ вотъ въ берлогѣ бываетъ и около нея, когда къ лазу на вѣтеръ подходиши...

Мало-по-малу стали привыкать Голованъ съ Варнашкою къ своему одиночеству, а то сначала тяжело было обоимъ и страшно даже, особенно почью.

Собака иногда по цѣлымъ часамъ выла и бѣгала куда-то надолго, по старымъ слѣдамъ... Голованъ или въ избѣ, или около держался, поблизости,—боялся еще одинъ отлучаться далеко отъ дому.

Еще до свѣта, рано утромъ, по старой привычкѣ просыпался Голованъ, и первымъ дѣломъ огонь разводилъ въ печи. За ночь въ избѣ становилось холодно, и даже бѣлый шелкъ проступалъ на замшенныхъ бревенчатыхъ стѣнахъ, особенно у окна и въ углу, гдѣ висѣла доска темная. Трутъ и сухого корыя было запасено вдоволь еще батькою: живо разгорались дрова въ печи, свѣтло становилось въ избѣ, весело трещало красное, живое такое пламя. Просыпался Мишка, ворчалъ и лѣзъ на дыбки; просыпался Варнашка, потягивался, оттягивалъ назадъ то одну лапу, то другую, махалъ своимъ хвостомъ и царапался въ дверь, озираясь на молодого хозяина: «выпусти, молъ, дѣло есть важное!» Черные тараканы за печью, усатые такие, тѣ не любятъ свѣта, тѣ сейчасъ бѣготни подымутъ суетливую и по щелямъ прачутся... Начинаетъ Голованъ свое хозяйстванье.

Заботливый батька наготовилъ провіантъ довольно: три окорока медвѣжьихъ, кабаныхъ штукъ пять, сущенаго мяса, тонко рѣзаннаго, въ ремни скрученаго,—вязка, только поднять подъ силу; осталось еще и муки не мало, соли, даже воды горькой въ бутылкѣ, да она теперь уже не требуется; попробовалъ было ребенокъ этой воды, изъ любознательности, да потомъ цѣлый часъ плевался; Мишкѣ даль, такъ totъ ничего, даже облизываться началь и опять потянулся рыломъ за прибавкою.

Стряпня Голована была незатѣйлива: отрѣжетъ мяса влѣнаго, положить въ горшокъ, нальеть воды—и въ огонь: какъ пойдутъ поверхъ пузыри, забулькаетъ черезъ край, значитъ готово—тащи назадъ и ёшь па здоровье. Варнашка его стряпнею не брезгалъ. А вотъ лепешки ему не удавались сначала: и помнить опь хорошо, какъ ихъ батька изъ муки дѣлалъ, а не такъ выходило,—то уголь углемъ вытащить изъ печи, то совсѣмъ какъ будто и въ печи не были,—сырыя; а то и такъ

бывало: съ одного боку черно, даже дымъ идеть, а съ другого—одно тѣсто комковатое. Впрочемъ, ёсть можно было. Мишка лепешками тѣми пробавлялся; что не доѣсть, въ уголъ ларя запрячетъ и прикроетъ чѣмъ ни попало, чтобы никому постороннему незамѣтно было.

Цѣлый день возится Голованъ, то въ избѣ по хозяйству, то въ сѣнахъ, то на дворѣ; Варнашка отъ него ни шага,—виѣсть разговоръ ведутъ и отлично понимаютъ другъ друга; когда близко что-нибудь недобroe подбирается, собака первая зачуяетъ и вѣсть дастъ: ея лай, вытье, злое рычаніе, маханье хвостомъ, дыбомъ шерсть на загривкѣ, все это было ясно Головану; изъ всего этого слагались цѣлые сложныя понятія, цѣлые представленія для ребенка; даже сравнительно бѣдные способы подобныхъ выраженій у медвѣженка-мишени, и тѣ скоро поняты были Голованомъ, и мохнатый, подростающій на славу, косолапикъ, скоро сродился съ мальчикомъ, пересталъ быть существомъ ему чуждымъ, отвѣтивъ на привязанность молодого хозяина такою же сильною, если даже не сильнѣею привязанностью. Всѣ трое сдружились и составили семью, хотя и нѣсколько оригиналную, но, навѣрное болѣе прочную и вѣрную, чѣмъ многія, исключительно, человѣческія семьи.

Приходилось Головану отлучаться, если и не очень далеко, то все-таки на столько, чтобы часа на два, на три не возвращаться: мальчикъ бралъ съ собою Варнашку, а Мишка оставался взаперти; помня, въ подобныхъ случаяхъ наставленія батьки, Голованъ слово въ слово передавалъ эти наставленія медвѣженку, и тотъ понималъ: понималъ, впрочемъ, только, что послѣ этой рѣчи ребенокъ уйдетъ и вернется не скоро. Мишка, слушая наставленіе, понятно, скучалъ и угрюмо пряталъ свою, широкую во лбу и заостренную книзу, морду, между передними лапами.

Въ одну изъ такихъ отлучекъ, медвѣженокъ и вылезъ въ первый разъ изъ ларя, конечно, самовольно, за что и былъ наказанъ судьбою. Звѣрь поднялся на дыбки, уцѣпился лапами, сталъ карабкаться и перевѣсилъ тяжелый ларь; значитъ, и въ мишкѣ за это время вѣсу прибыло достаточно—ларь качнулся на-бокъ, мишка ткнулся рыломъ сразмаху объ полъ, подняль ревъ страшный и заметался по избѣ, сперепугу сворачивая съ мѣста скамьи и все, что на пути попадалось. Всѣ эти препятствія еще болѣе пугали медвѣженка; онъ шарахнулся въ

двери, вышибъ ее плечомъ и очутился въ сѣняхъ; тамъ, вверху, подъ крышей, сіяль лазъ, гдѣ просвѣчивало сѣреое небо и колыхалась вершина сосѣдняго дерева. Мишка туда, цѣпляясь когтями по срубу, что по лѣстницѣ, выбрался на крышу, распугалъ, въ свою очередь, воронъ и голубей, да тамъ и засѣль, не рѣшаясь уже спуститься внизъ, ни опять назадъ въ темныя сѣни, ни по кучѣ хворосту и бурелому на наружный дворикъ; тутъ его, на крышѣ, и нашли вернувшіеся Голованъ съ Варнашкою и на прежнее мѣстожительство водворили, только уже не въ ларь, а держали на свободѣ.

## VII.

Теплѣе и теплѣе становилось съ каждымъ днемъ.

Сплошные туманы, за ночь поднявшіеся въ лѣсу, такъ и не расходились до полудня, скрывая за собою всѣ окрестности. Густая сѣрая завѣса стояла въ воздухѣ неподвижно, навѣвая тоску и скучу на все живое. И не только опытный, зоркій глазъ промышленника, но и болѣе острое зрѣніе дикаго звѣря не въ силахъ было проникнуть за эту глухую завѣсу, хотя сколько-нибудь въ даль... Въ пяти шагахъ исчезала земля подъ ногами... Эти дичковыя заросли, съ ихъ молодыми темно-малиновыми отпрысками, этотъ серебристо-матовый ивнякъ, эти черные кедры, залитые смолою, поросшіе клочьями сѣдого моха, все это скрыто за собою туманъ... Жутко, боязно, тоскливо становится человѣку передъ этою нѣмою, неумолимою стѣною; нѣсколько шаговъ впередъ и—тамъ уже все полно таинственности, неизвѣстности... Привычныя къ лѣснымъ походамъ ноги теряютъ свою увѣренность, исчезаютъ разстоянія, теряется мѣра, зрѣніе бесполезно... Всѣ звуки лѣса иначе раздаются въ этихъ густыхъ, плотныхъ тучахъ паровъ и дико, фальшиво принимаются ухомъ промышленника... И въ такую пору, въ лѣсу, сильнѣе чувствуется страхъ полнаго отчужденія отъ всего остального міра, страхъ забытости, одиночества.

Сидитъ Андронъ Голованъ на порогѣ своей избушки и робко поглядываетъ на эти тяжелыя туманныя стѣны, надвигающіяся на него со всѣхъ сторонъ; насторожившись сидить съ нимъ и Варнашка и моргаетъ глазами при каждомъ звукѣ весенней капели... Сильнѣе забилъ бойкій родникъ въ оврагѣ, сюда доносится его живой говоръ, только не такой, какъ всегда, а

особенный — глухой такой, басистый, словно льуть изъ ушата въ большую глубокую бочку. Грачи налетѣли, не видно ихъ, а тамъ, гдѣ-то, уже очень высоко, слышно ихъ гортанное карканье и тревожное хлопанье мокрыми крыльями... Что-то грузное пробирается кустами, за оврагомъ, трещитъ и ломится сухой буреломъ и валежникъ, носовой сапъ и словно вздохи ворчливые доносятся оттуда... и Мишка, заслушавъ эти именно звуки, завозился въ сѣняхъ, беспокойно озирается и перѣшительно отвѣчаетъ на нихъ похожимъ сапомъ, похожими вздохами... Это онъ, значитъ, родича своего почуялъ, тоже косолапаго, которому, должно быть,шибко надоѣлъ его берложій пость, и, зачуявъ тепло, рѣшилъ онъ выбраться оттуда раньше, чѣмъ слѣдуетъ по обычая... Вотъ онъ и бродитъ теперь, па каждомъ шагу проваливаясь по самое рыло въ разрыхленный снѣгъ, мокнетъ въ колдобинахъ, рѣжетъ лапы объ ледъ, взломанный имъ же самимъ на лѣсныхъ лужахъ.

Раздрябли, размокли отъ этихъ весеннихъ тумановъ не-вылазные глубокіе снѣжные сугробы и наметы; нога по колѣю проваливается, а гдѣ и по пойсъ увязнуть можно, если не совсѣмъ съ головою; на лыжахъ даже шагу ступить нельзя, и тѣ засасываетъ... Быстро таетъ толстая ледяная кора на бочагахъ, на болотахъ; пухнутъ, вздуваются мелкіе ручи и ломятъ ледъ своими прибывающими водами...

Рѣки бушуютъ въ оврагахъ; и съ грохотомъ, съ плескомъ катятся ихъ грязныя, пѣнистыя волны, смывая все на пути, все, что ни встрѣтять въ своемъ бѣшеномъ напорѣ. Столѣтия деревья, подмытыя въ корняхъ половодьемъ, клонятся, клонятся, исподволь сползаютъ, наконецъ, совсѣмъ, — и несетъ вешняя вода эти гигантскіе кедры и сосны, измалывая въ щепы ихъ вѣковые смолистые трупы...

Иные голоса, иные звуки оглашаютъ теперь таежныя дебри, и, покрывая собою весь этотъ вешній гуль, изрѣдка проносится грозный раскатъ первого весеннаго грома.

Весна идетъ!

И въ эту глухую, заваленную снѣгомъ, промерзшую, не-пролазную, дикую тайгу — тоже забирается желанная гостья.

Въ такую пору человѣкъ въ лѣсъ не заглядываетъ; тамъ онъ ничего не найдетъ себѣ путнаго, а на смерть можетъ на каждомъ шагу натолкнуться. Въ эту пору и для звѣря на-

стаетъ бездорожье, и тотъ норовить, гдѣ бы выбратьъ мѣстечко повыше да посуше, чтобы выждать и пересидѣть эту бурливую пору.

Иной день выдастся красный; туманъ поднимется и исчезнетъ, словно разойдется весь въ воздухѣ, истреплется въ клочья, пѣпляясь въ кудрявыхъ вершинахъ лѣса; синее небо проглянетъ, колыхнетъ теплый вѣтеръ деревья, словно дождь полются съ намокшихъ черныхъ вѣтвей потоки воды; мелкая птаха зачирикаетъ весело, много ея уже весны ради налетѣло; а снѣгъ такъ и таетъ, такъ и убываетъ на глазахъ: по оврагамъ, на южныхъ склонахъ, на взлобкахъ уваловъ, на открытыхъ полянахъ уже давно чернѣютъ, разростаясь съ каждымъ часомъ, кочковатыя, поросшія прошлогоднею желтою травою, заваленные мягкимъ ковромъ полой, гниющей листвы, проталины... Почки на ивнякѣ, на осинахъ, на мелкой заросли пухнуть и лопаются, разнося въ воздухѣ смолистый, чудный такой запахъ весны и пробуждающейся жизни.

Но все-таки еще много пройдетъ времени, пока уляжется оасходившаяся па славу весна, пока сѣгутъ излишнія, все разрушающія воды, войдутъ ручьи въ свои законные берега, хотя немногого просохнетъ разбухшая почва, окреѣнуть тропы, можно будетъ ступать по нимъ ногою человѣческою. Тогда уже все зелено кругомъ, тогда въ тѣневыхъ мѣстахъ, въ густой чащѣ широкихъ листьевъ, забѣлѣютъ граціозныя гроздочки бѣлыхъ, душистыхъ лапышей, словно голубыя звѣзды загорятся на солнѣ подсѣжники, запестрять на скатахъ уваловъ желтые одуванчики и розовымъ цвѣтомъ одѣнутся дичковыя заросли. Тогда вылѣзутъ изъ своихъ берлогъ и остальные косолапые и жадно паваливаются на молодые побѣги, травы пострѣла, желтовато-зеленою, сочною щетиною покрывающіе землю всюду, куда только ни доберется оживляющій лучъ весеннаго солнца.

Истый промышленникъ не любить такого времени. «Красно-то красно, да не путевое»,—говорить онъ, и звѣрь худъ, совсѣмъ за зиму отощалый, и шерсть на немъ пи къ чорту не годится, клочьями лѣзетъ, гроша не стоитъ, да и бить его не годится, не по Божьему будетъ, потому онъ, весны ради, о потомствѣ думаетъ, старается; его убить теперь, все равно, что цѣлую семью уничтожить, это даже и неразсчетливо; въ такую пору промышленникъ сидитъ дома и къ охотничьей,

лѣтней порѣ сготовливается. Батька Максимъ, тоже воть, все сидѣлъ дома, гранчатки правилъ, чистилъ, вывѣралъ, дробь раскатывалъ свинцовую, пули ліль, снасть чинилъ,—и въ село не ходилъ даже за бездорожьемъ, а съѣстной запасъ на годъ заготавливаль, чтобы на все лежачее время хватало бы.

### VIII.

И вышла такая бѣда, что къ этому самому лежачему времени—именно съѣстного запаса и не хватило у Голована съ его сожителями.

Кормились они вволю—«своя рука владыка, мѣры не знала», да и Варнашка много краль изъ сѣней. Муку почти всю Голованъ истратилъ на лепешки своего издѣлія, а что осталось въ пересыпѣ, подъ полатами, такъ-то Мишка выскребъ до-чиста, воспользовавшись отсутствиемъ хозяина и сторожа. Ужъ ругаль его, ругаль Голованъ за это, всѣ слова бранныя перебралъ, какія только у батьки перенялъ, были и такія слова, что и значенія ихъ не зналъ мальчикъ, а произносилъ и грозился избить «косолапаго» до полусмерти, а тотъ себѣ глядѣть на мальчугана да лапами рыло мучное обтираєтъ и облизывается. Варнашка тоже было лаять принялся, да бросилъ,—вспомнилъ, должно быть, песь, что и самъ въ такихъ дѣлахъ не чистъ; ну, да вѣдь бранью что возьмешь, запасы все-таки вышли, и добывать ихъ надобно.

Голованъ, однако, не особенно унывалъ при этихъ обстоятельствахъ. Вышли, такъ вышли! У батьки тоже не безъ конца танулись, выходили, онъ тогда въ село сбирался, а Голованъ развѣ не можетъ пойти въ селѣ?.. Страшно-то оно, точно что страшно, дѣло новое, совсѣмъ незнакомое, а пойти, отчего не пойти? пойти можно!

Мальчикъ уже разъ собрался идти, да чуть не потонулъ на такомъ мѣстѣ, гдѣ въ лѣтнюю пору и признака воды не было, значитъ, надо было обождать, не время еще!

И вотъ, прождавъ еще съ недѣлю, кое-какъ прокормившись остатками и уложивъ въ котомку немногого на дорогу, Голованъ собрался снова, крѣпко-накрѣпко заказавъ Мишѣ-вору: «изъ дому ни шагу!»

Пустился въ путь Голованъ вмѣстѣ съ Варнашкою.

Ново и чудно казалось ребенку въ этомъ быстро-зеленѣю-

щемъ лѣсу; и собака чувствовала себя въ какомъ-то особенномъ, восторженномъ состояніи духа, какъ угорѣлая носилась въ разныя стороны, описывала круги, весело лаяла безъ толку и значенія; то принималась какъ будто искать что-то внизу, подъ кочками, взрывая лапами сырую землю, да такъ усердно, что ключья моха летѣли во всѣ стороны; то, задравъ морду кверху, пускалась вдогонку за птицами и, остановившись не-подвижно на всемъ скаку, слѣдила за ихъ полетомъ своими живыми, разгорѣвшимися глазами...

И Головану не шлось тихо, степенно, какъ подобаетъ истому промышленнику, таcъ вотъ его и подмывало пуститься бѣгомъ, взапуски съ Варнашкою... Крикнулъ ястребъ высоко, высоко, да рѣзко такъ, словно сталью по стеклу царапнуль; Голованъ тоже перенялъ у него этотъ выкрикъ, перенялъ, да и смолкъ, испугался самъ своего голоса, подхваченного лѣснымъ эхомъ...

Бойко, ходко подавались впередъ наши путешественники. До самаго полудня шли безъ отдыха. Внимательно оглядываясь, узнавали Голованъ знакомыя мѣста. Узналь и вѣтлу старую, душлистую, снизу обугленную. Здѣсь они разъ съ батькою кабана-дикаря палили, оттого и обуглилось... Вспомнилось это дѣло Головану, да такъ живо, такъ ясно, что ему даже померещился батька, съ пучкомъ горящаго смольняка наклонившися надъ толстымъ, щетинистымъ трупомъ «лѣсовика-хрюкалы». Вотъ тутъ именно и было это дѣло: здѣсь батька, здѣсь онъ сидѣль, опорки у него еще развязались и онъ ихъ наложиваль... Тутъ вотъ Полкашка лежалъ и мухъ зеленыхъ ловилъ рымомъ, чавкалъ все, а Варнашки съ ними не было, Варнашка еще махонькій былъ, онъ въ сѣняхъ въ кошолкѣ лежалъ и все скулиль, просилъ чего-то...

Каждое мѣсто, каждая примѣта въ лѣсу наводила на Голована все новыя и новыя воспоминанія, и онъ шелъ и шелъ впередъ, не замѣчая, какъ уже начали измѣнять ему его крохотныя ножки, неладно обутыя, безъ отцовскаго присмотра... И Варнашка уже угомонился, идетъ степенно, рядомъ съ хозяиномъ, по сторонамъ пересталъ уже метаться, стала вопросительно поглядывать на Голована: «что-же, моль, не порали и привальчикъ легонькій сдѣлать да перекусить чѣмъ пообычаю?»

Распуталась одна нога на ходу, присѣль Голованъ перебуться, да такъ и заснуль, самъ непомня, какъ это случи-

лось, привалился головкою на котомку и захрапѣль, а Варнашка обнюхалъ его, оглядѣлся кругомъ, поворчалъ и свернулся тоже клубочкомъ.

Проснулся мальчикъ, а солнце уже на склонъ пошло, перевалило свою самую высокую точку подъема; прохладно такъ стало въ лѣсу, даже и слишкомъ прохладно. Озябъ Голованъ, проспавши на сырой холодной землѣ; закусиль, подѣлился съ товарищемъ и снова въ путь пустился, оглядѣвшись и намѣтивъ пока еще знакомую дорогу.

Заночевали они первый разъ въ дорогѣ, выбравши укромное мѣстечко: на увалѣ, за большимъ камнемъ. Пробовалъ было мальчикъ огонь развести, да дѣло не выгорѣло: сколько онъ ни бился, не загорается, да что хочешь, сырье, и трутъ что-то пересталъ дѣйствовать, сколько ни щелкалъ Голованъ о кремень отцовскимъ огнivомъ.

Мальчикъ щелкаетъ, искорки красныя отскакиваютъ, Варнашка глядитъ и за каждымъ ударомъ глазами моргаетъ, а все нѣтъ толку, все ничего не выщелкивается и не вымаргивается, такъ и бросили, легли спать безъ тепла и въ потемкахъ.

А жутко, страшно такъ стало въ лѣсу, въ эту тѣмную, сырью, холодную ночь таѣжную.

## IX.

Оставилъ одинъ взаперти сторожить избу, медвѣженокъ Мишка, выждавъ малое время, полѣзъ знакомымъ ходомъ на крышу и первымъ дѣломъ сталъ объѣдать молодую траву, проросшую въ щеляхъ прогнившихъ бревенъ; затѣмъ всталъ на заднія лапы, дотянулся до вѣтвей, свѣсившихся надъ избою, и ими тоже не побрезговалъ; потомъ посидѣль покойно съ часикъ, отмахиваясь лапами отъ назойливо-летавшихъ надъ нимъ золотистыхъ осъ, гнѣздо которыхъ сѣрымъ кошелькомъ висѣло подъ самою трубою; хотѣль было внизъ спускаться, наружу, прогулки ради, да вдругъ боязливо хрюкнулъ, попятился, потянуль носомъ воздухъ и, бочкомъ подобравшись къ лазу, проворно юркнулъ внизъ, да и притаился тамъ въ сѣняхъ, забившись въ уголь, по своему обыкновенію.

Звѣря испугало явленіе, совершенно неожиданное и новое, онъ зачуялъ и замѣтилъ глазомъ это явленіе прежде, чѣмъ сзмъ былъ замѣченъ... Онъ успѣль удрать и спрятаться, да

на... но-ли? Медвѣженокъ слышалъ ясно, что это что-то, такъ е... напугавшее, идеть прямо сюда, все ближе и ближе и... наружная дверь слегка дрогнула и заскрипѣла подъ напоромъ какой-то посторонней силы...

Междуд стволами кедровъ появилось новое живое существо; оно, постоявъ неподвижно на мѣстѣ, нерѣшительно двинулось впередъ и скрылось въ дичковой заросли... Слышно было, какъ шелестѣли и колебались вѣтви, густо усыпаны розовымъ цвѣтомъ, какъ шуршалъ палый листъ подъ ногами, какъ треснулъ подломившійся сучокъ... Прошла минута, другая... Все вновь затихло и успокоилось, но, вотъ, снова колыхнулся кустъ, совсѣмъ на окраинѣ заросли, въ какихъ-нибудь двадцати шагахъ отъ сторожки, высунулась сперва голова, да низко такъ, у самой земли, потомъ плечи, потомъ и весь человѣкъ вылѣзъ, проползъ еще шага три на четверенькахъ, и, наконецъ, поднялся на ноги...

На человѣкѣ были одни только лохмотья, — всюду выглядывало худое, голое, изможденное, покрытое рубцами и запекшимися ссадинами, тѣло; голова его казалась громадною, несоответствующею росту, такъ взбиты, всклочены, спутаны колтуномъ были его покрытые грязью волосы; борода заросла чуть не до самыхъ глазъ, а глаза, эти двѣ глубокія, черныя ямы, на днѣ которыхъ тусклымъ блескомъ свѣтились двѣ живыя точки, смотрѣли дико, не такъ, какъ смотрять глаза человѣческие.

А смотрѣли эти страшные глаза прямо на жилье, такъ неожиданно открытое ими въ этомъ глухомъ мѣстѣ, куда, казалось, и нога человѣческая не должна была бы заходить...

Это былъ тотъ самый человѣкъ, что, не страшась пурги, пустился смѣло на борьбу съ сибирскимъ ураганомъ... Это былъ тотъ самый, съ желѣзнымъ кольцомъ на ногѣ, съ желтымъ квадратомъ на сѣрой шинели: только теперь на немъ этой декорированной шинели не было и признаковъ.

Какъ онъ не погибъ въ снѣгахъ, какъ онъ добрался таки до опушки намѣченаго имъ на горизонтѣ лѣса, какъ провелъ онъ здѣсь, въ лѣсу, остатокъ суровой зимы? Все это знаетъ одинъ Богъ; онъ самъ не могъ бы дать отчета во всемъ случившемся съ нимъ за это время.

Питаясь коренями, кое-какъ добытыми изъ-подъ снѣга,

изнемогая отъ холода, проводя безконечные дни и еще больше безконечные ночи безъ огня, прячась, какъ звѣрь, чтобы не попасться на глаза человѣку, какъ человѣкъ, чтобы не попасться на зубы звѣря, таская за собою всюду свою больную, искалѣченную желѣзомъ ногу,—онъ жилъ...

Эта жизнь была для него пыткою, рядомъ тяжелыхъ, невыносимыхъ страданій, и страданій безъ цѣли, безъ значенія; а онъ жилъ, онъ не пытался умереть... Мало того, онъ избѣгалъ смерти, онъ напрягалъ всѣ свои усилия къ тому, чтобы сберечь, продлить эту проклятую жизнь, и дрожалъ отъ страха передъ опасностью, торжествовалъ, избѣгая этой опасности... Онъ боролся за свою жизнь, какъ борется за эту жизнь лѣка, волкъ, потерявшій свои зубы отъ старости, какъ борется рабочая кляча, изнемогающая отъ непосильной и вѣчной работы, безъ отдыха, какъ борется все то, что живетъ однимъ животнымъ инстинктомъ, повинуясь естественному чувству самосохраненія и борьбы, безъ какого-либо участія сознательной мысли, безъ умственного расчета: «да стоитъ ли сама данная жизнь, чтобы ради ея сохраненія вести эту невыносимую, безконечную, безотрадную борьбу!..»

Для того, чтобы сдѣлать такой расчетъ, надо быть человѣкомъ; онъ и былъ имъ, но это было давно, это было еще до того, какъ началась эта лѣсная жизнь... Это было... это тянулось и послѣ... гасло-гасло, мало-по-малу, и погасло совсѣмъ; но когда именно—это нельзя себѣ представить, это само собою пришло, медленно, исподволь, неотразимо, но всетаки пришло...

И вотъ у него сохранился только вѣшній образъ человѣка, да и то еще если рассматривать его пристально и съ должнымъ вниманіемъ, а больше ничего не осталось человѣческаго... оно или погибло совсѣмъ, или, можетъ быть, живетъ еще, чуть-чуть теплится, но уже само собою, безъ толчка извѣя, безъ посторонняго усиленія, не оживеть, не разгорится снова яркимъ и свѣтымъ пламенемъ.

Съ нимъ случилось то, что должно было случиться. Дикая природа одолѣла одинокаго, нравственно уже разбитаго, лишенаго помощи, оружія для борьбы, человѣка; она переработала его по своему, оставивъ ему только одни животные, въ самой природѣ живущіе инстинкты и во главѣ ихъ инстинктъ самосохраненія.

И человѣкъ этотъ пересталъ быть человѣкомъ. Онъ одичалъ.

Онъ бродилъ, не сознавая мѣста, не сознавая разстояній... Тepерь было ему лучше, чѣмъ зимою, теплѣе... Легче корешки отрывать и больше ихъ гораздо стало... Недавно у него пиръ былъ, настоящій пиръ. Онъ нашелъ забытый капканъ, а въ капканѣ звѣрька, давно уже околовшаго... онъ сначала испугался было немного... испугался, впрочемъ, одной части своей находки, именно капкана. Странная вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, штука! Ну, а потомъ оправился, сообразилъ, какъ надо вы-свободить звѣрька и, высвободивъ, унесъ его въ кусты, забился въ самую глушь и началъ ёсть; всего не могъ, конечно; что осталось, подъ пень спряталъ и сучьями завалилъ, да вѣрно не совсѣмъ аккуратно, потому что, когда на другой день опять пришелъ на это мѣсто, ужъ тутъ, оказалось, кто-то прежде него похозяйничалъ.

Одичалый даже взывалъ съ горя и зубами защелкалъ... Попадись ему теперь воръ, кто бы онъ ни былъ, онъ бы въ ключа его изорвалъ, да воръ-то, хитеръ небось, удралъ во-время...

Вотъ онъ теперь, случайно и сюда прибрелъ, съ какой стороны именно, Богъ вѣсть... Онъ видѣлъ только еще издали темные шапки вѣковыхъ кедровъ, на нихъ и шелъ, потомъ замѣтилъ семью бѣлокъ-сибирокъ, прыгающихъ по развѣ-систымъ вѣтвямъ; онъ его заняли, онъ ближе подошелъ, оглянулся, вскрикнулъ и остолбенѣлъ...

Онъ увидалъ человѣческое жилье.

Въ первое мгновеніе этого открытія, его какъ громомъ ударило въ голову; онъ даже присѣлъ и закрылся руками... Потомъ отошло, полегчало, только въ груди забилось, заколотилось что-то усиленно, скоро, такъ что даже больно стало... Онъ снова приподнялся, снова выглянула и быстро ринулся въ чащу заросли, раздѣлявшую его отъ этого жилья. Ползкомъ, не замѣчая, какъ хлестали и царапали его раздвигавшіяся сучья, онъ выбрался на опушку заросли и опять припалъ къ землѣ, повинувшись невольному чувству охватившей его паники... Здѣсь онъ лежалъ долго, высматривая изъ своей засады, и, наконецъ, рѣшился подойти вплотную къ этому неожиданному, полному таинственности, жилищу.

А какъ работалъ его слухъ въ эту минуту!.. Малѣйшій звукъ: полетъ осы, шуршаніе усатаго жука, пробиравшагося по дверному косяку, упавшая на землю сосновая шишкa, все это такъ звучно, такъ отчетливо отражалось въ его ухѣ.

Сквозь толстая, бревенчатая стены онъ ничего не могъ видѣть, но слухъ убѣдилъ его, что внутри пусто, что тамъ никого нѣтъ, въ самой то есть избѣ, а въ сѣняхъ есть, въ сѣняхъ кто-то притаился и чуть дышитъ, только не человѣкъ, нѣтъ... значитъ, не страшно.

Одичалый протянулъ руку и тронулъ за дверь. Заперта, не подается... Въ сѣняхъ завозилось и зацарапалось по стѣнѣ.

Это Мишка рѣшилъ убраться подобру-поздорову и направился къ верхнему лазу...

Подъ медвѣжими лапами крыша затрещала, сухой хворостъ полетѣлъ во всѣ стороны... перепуганный звѣрь черезъ голову перевалился съ крыши на дровянную кучу и пустился на утекъ въ лѣсъ, за оврагъ; человѣкъ, перепуганный не меныше звѣря, бросился въ другую сторону и снова залегъ въ кустахъ, не добѣжавъ даже до кедровика.

Прошло еще нѣсколько минутъ томительного, болѣзnenno-усиленного сердцебиенія... Одичалый видѣлъ, что именно сидѣло въ избѣ и что ушло оттуда; это его нѣсколько успокоило.

Медвѣдь! такъ что же такое, что медвѣдь? Медвѣдь вовсе дѣло не страшное, да еще такой маленький; а если медвѣдь здѣсь, такъ значитъ людей нѣту; чего же бояться.

А что — строить ли медвѣди такія избы, они ли здѣсь хозяева, или, можетъ, кто другой, да теперь только въ отлучкѣ, а могутъ и вернуться, — все это были соображенія слишкомъ уже сложныя,—одичалому не по силамъ. Вотъ конченымъ мясомъ изъ сѣней пахнетъ;—это вѣрно! это онъ понимать можетъ и добраться до этого мяса весьма ему желательно. Надо, значитъ, попытаться.

Потянувшись носомъ по данному направленію, человѣкъ снова направился къ дверямъ, снова тронулъ ихъ рукой и сталъ ощущивать косяки, какъ, моль, эта дверь отворяется... Плечомъ поналегъ, не подается.

— А какимъ ходомъ медвѣдь вышелъ?—мелькнуло у него въ головѣ.

Онъ обошелъ кругомъ, взлѣзъ на кучу хвороста, оттуда на крышу и заглянулъ внизъ... Здѣсь, значитъ. Сперва онъ спустилъ въ отверстіе свои ноги, и здоровую и искалѣченную, потомъ опустился самъ, держась на кистяхъ рукъ, повисъ и, освободивъ руки, упалъ, застонавъ отъ боли. Онъ упалъ, какъ

разъ, на больную ногу, звякнувъ желѣзомъ о что-то въ сѣняхъ, тоже желѣзное...

Какъ темно здѣсь. Сѣрымъ пыльнымъ лучемъ врываются сюда свѣтъ сквозь отверстіе въ крышѣ, колышется паутина въ этомъ лучѣ, золотистою точкою блеснула большая, налетѣвшая муха и потухла, скрывшись снова во мракѣ, и внизу темно, только на землѣ обрисовалось свѣтлое пятно, такое же неровное, клочковатое, какъ и само отверстіе... И какъ сильнѣ теперь копченымъ мясомъ пахнетъ, горѣлымъ чѣмъ-то, и кислый запахъ невыдѣланныхъ шкуръ тоже въ носъ лѣзетъ... Все это такое пріятное, новое, то есть уже черезчуръ старое, только давно-давно, совсѣмъ забытое.

А вотъ, мало-по-малу, все свѣтлѣе и свѣтлѣе становится, глаза привыкаютъ, обрисовывается и вторая дверь, полуоткрытая, и вороха самыхъ шкуръ на распилахъ, и уголъ бочки, выдвинувшійся изъ темноты своимъ пузатымъ бокомъ, — все теперь видно. А одичалый сидѣть на землѣ, озирается и третью рукою свою болѣющую ногу...

---

Всталъ онъ, перешагнулъ черезъ порогъ въ избу... Тутъ уже совсѣмъ свѣтло. Его глаза смотрѣли на все, щурясь и неребѣгая съ предмета на предметъ, его руки цѣпко хватались за что ни попало и все ощупывали; онъ даже началъ гладить этими исхудальными руками закопченное чело печки, словно хотѣлъ убѣдиться: давно-ли она топлена? потомъ онъ увидалъ на стѣнѣ висящій на полкѣ мѣховой яргакъ, торопливо сорвалъ его и натянулъ себѣ на плечи; это ему, очевидно, понравилось, онъ даже дико захочоталъ и сталъ прыгать... и вдругъ, словно опомнившись, разомъ пересталъ смѣяться, прекратилъ свою пляску, устремилъ глаза въ уголъ, гдѣ висѣла черная, пятнистая доска, и зашевелилъ губами, открывая свои черные зубы, изъѣденныя ципгою, дряблыя десны...

Это созерцательное состояніе продолжалось долго... Изъ сѣней все-таки пахло окорокомъ, надо было только разыскать, гдѣ же именно лежитъ этотъ привлекательный предметъ, и одичалый, не снимая чужого яргака, такъ пріятно, ласково грѣющаго ему острыя плечи и его тощую, съ ясно очерченными угловатыми лопatkами и хребтовою грядкою, спину, пошелъ на поиски.

Чутьемъ опъ скоро отыскалъ большую кость съ остатками сказки дѣда вородатаго.

мяса и принялъ ее глотать... слабыя десны не выдержали этой бѣшеной жвачки, ротъ несчастнаго наполнился кровью, а онъ все грызъ и грызъ, пока острая боль въ животѣ не заставила его выпустить изъ рукъ свою добычу...

Онъ опять шагнулъ черезъ порогъ... и вдругъ струсили и метнулся къ окну... послышался металлический, бренчащий ударъ, и когда одичалый былъ у самаго окна, этотъ звукъ повторился снова... Это звякаль о чѣто попадалось обрывокъ цѣпи, на его кожаномъ браслете... Причину страшнаго звука онъ скоро понялъ и снова успокоился...

Струя вѣтра, ворвавшись изъ сѣней въ открытую дверь, ударила прямо въ печное жерло и коснулась кучи не совсѣмъ еще остывшей золы; подъ этою грудою сѣраго пепла замелькали красныя искорки. Одичалый замѣтилъ ихъ и снова захочоталъ; онъ даже нагнулся, влѣзъ чуть не съ плечами въ жерло и самъ принялъ дуть на уголья, изо всей мочи...

— Огонь, огонь! — прошепталъ онъ совершенно ясно, отчетливо, и стала видать въ печь все, что находилъ удобнымъ, чтобы поддержать горѣніе.

Къ счастію, у самой печи лежала вязанка сухого валежника. Кто знаетъ: еслибы этого не случилось, въ печь полетѣло бы что-нибудь такое, что могло бы пригодиться и на другое, болѣе полезное дѣло.

Огонь разгорался живо, освѣщая это тощее лицо землистаго цвета, заросшее по глаза грязною щетиною... Пріятное ощущеніе костроваго тепла видимо дѣйствовало на одичалаго и дѣйствовало успокоительно. Онъ сѣлъ на полу, какъ разъ противъ печи, положилъ голову на согнутыя, поднятыя кверху колѣни, охватилъ эти колѣни руками и не спускалъ глазъ съ этихъ бойкихъ, красныхъ языковъ пламени, вылетавшихъ даже наружу и облизывавшихъ закругленное, закопченное печное чело...

Накиданныя щедрою, не хозяйскою рукою дрова разгорѣлись на славу; яркій свѣтъ огня поборолъ слабый лучъ деннаго свѣта, врывавшійся въ крохотное, заклеенное бумагою оконце; во всѣхъ углахъ, на полкахъ все стало видно отчетливо; каждый предметъ даль отблескъ и отбросилъ отъ себя на стѣну черную, мигающую тѣнь...

Одичалый сталъ осматриваться кругомъ. Его это все видимо занимало, и занимало сильно. Вдругъ онъ громко закричалъ и вскочилъ съ своего мѣста... Онъ увидѣлъ предметъ,

который вспомнилъ и узналъ сразу... Онъ вспомнилъ его значение, потому что и самый предметъ, и его значение долго-долго господствовали въ его мозгу, долго составляли его единую мысль, единую мечту, единую слабую надежду.

Умирающій отъ жажды не кинется такъ къ сосуду съ водою, скупой мавіакъ не бросится съ такою алчностью на груду золота, какъ одичалый бросился на этотъ предметъ, сорвалъ его со стѣны и снова опустился на землю, ослабѣвъ и отъ такого энергичнаго порыва, и отъ охватившаго его иного, давно имъ неиспытываемаго волненія.

Этотъ предметъ былъ напилокъ, простой стальной напилокъ, висѣвшій на стѣнѣ, на ременной петелькѣ.

Батька Максимъ этимъ напилкомъ оглаживалъ кремни для своихъ винтовокъ. Головану онъ не надобился вовсе и видѣть праздно, рядомъ съ кое-какими прочими инструментами, тамъ, гдѣ его въ послѣдній разъ повѣсила рука хозяйствская...

Какъ только это скромное орудіе очутилось въ рукахъ «одичалаго», тотъ, не теряя времени, сталъ ощупывать свое кандальное кольцо на ногѣ и, стиснувъ зубы, сверкая разгорѣвшимися глазами, поднесъ напилокъ къ спаямъ этого кольца.

Раздался скрипучій, рѣжущій ухо звукъ, одичалый, съ видимымъ наслажденіемъ, слушалъ эту музыку и все пилилъ и пилилъ...

Поть градомъ текъ по его впалымъ щекамъ, прокладывая грязные волосы, руки дрожали отъ напряженія, инструментъ поминутно соскачивалъ съ пути и ёрзalъ прямо по голой ногѣ, по этой красной, кольцеобразной опухоли, что должно было бы каждый разъ вызывать острую боль, но одичалый этой боли не чувствовалъ, весь погруженный въ свое занятіе.

Напилокъ проложилъ въ желѣзъ себѣ глубокую дорогу; теперь онъ уже ходилъ ровно, скрипя и визжа на всю избу, глубже и глубже проникая въ этотъ желѣзный браслетъ, послышался послѣдній лязгъ, затѣмъ одна половина кольца отпала, глухо стукнувъ о земляной полъ, другая съ обрывкомъ цѣпи осталась въ лѣвой рукѣ человѣка...

Окончивъ работу, тотъ долго-долго смотрѣлъ на свою освобожденную, наконецъ, ногу и вдругъ, судорожно сжалъ руками голову, зарыдалъ, какъ ребенокъ, и изъ этихъ темныхъ, провалившихся глазъ полились слезы, заискрившіяся свѣтыми каплями на косматой бородѣ одичалаго.

— Проклятое, проклятое... — бормоталъ онъ, съ отвращениемъ и ужасомъ глядя на эти перепиленные обломки кольца, на этотъ неподвижно лежавшій на полу обрывокъ цѣпи.

Потомъ онъ отодвинулся отъ непривычного для него предмета, отодвинулся порывисто, какъ будто сторонился отъ чего-то ядовитаго, смертельно опаснаго; желѣзныя обломки лежали попрежнему неподвижно, а ему показалось, что они тоже поползли за нимъ, что они преслѣдуютъ его, гремяще и металлически-скрипучимъ голосомъ шепчутъ:

— Нѣтъ, не уйдешь... куда, пріятель?!. Мы за тобою, всюду за тобою! Всю жизнь мы будемъ грызть твою ногу, всю жизнь, а когда сдохнешь, когда истлѣешь твое тѣло, на голыхъ костяхъ останемся,—не уйдешь ты отъ насъ, не освободишься...

— Проклятое, проклятое! — бормоталъ несчастный и все двигался дальше и дальше. Доползъ до порога, не перелѣзъ, перевалился какъ-то черезъ него всѣмъ тѣломъ и судорожнымъ движениемъ захлопнулъ за собою дверь...

Въ сѣняхъ онъ вздохнулъ свободнѣе и успокоился. Онъ даже улыбнулся, всталъ на ноги и, отыскавъ внутренній запоръ наружныхъ дверей, растворилъ ихъ настежъ... Волна срѣжаго, ароматического воздуха пахнула на него, обдавъ его запахомъ цвѣтушихъ зарослей. Покрывающейся листвою лѣсъ глухо шумѣлъ своими вершинами. Маленькия птички носились понизу, черкая своими крыльшками о сочную, усѣянную цвѣтами траву... Тучи комаровъ и мошекъ съ мелодичнымъ звономъ стояли въ воздухѣ туманными пятнами; какой-то сѣренѣй звѣрекъ пробирался кустами и, завидѣвъ человѣка, юркнулъ въ сторону, мелькнувъ въ чащѣ чернымъ кончикомъ своего пушистаго хвоста...

Надъ лѣсомъ, изъ-за оврага, надвигалась тяжелая, темпосизая туча, мало-по-малу закрывая собою виднѣвшіеся межъ вершинами кедровъ клочки голубого неба.

Все предвѣщало грозу, и грозу страшную, весеннюю... Въ воздухѣ, въ этомъ усиленномъ розмахѣ и раскачиваніи высокихъ кронъ, въ этомъ тревожномъ, низовомъ полетѣ птицъ, въ этомъ глухомъ, Богъ вѣсть откуда доносящемся рокотѣ, во всемъ чувствовалось ея приближеніе!

Одичалый сѣль на порогѣ и съ жадностью, полною грудью вдыхалъ въ себя паэлектризованный воздухъ. Прошелъ панический страхъ, успокоились его разбитые нервы... Даже въ

головѣ стало какъ будто яснѣе, ширѣ начала работать мысль... Возстановляющая память рисовала передъ нимъ давно забытые картины... Въ его глазахъ, въ чертахъ его лица появилось что-то особенное, похожее даже на человѣческое выраженіе.

Онъ видимо преображался. И это свѣтлое, отрадное преображеніе началось въ немъ вслѣдъ за минутою освобожденія отъ своего позорного кольца, какъ будто въ этомъ кускѣ жѣза заключалась вся суть, вся мощь оскотинившей его силы...

## X.

Внизу было тихо, а вверху все сильнѣе и сильнѣе колыхались темно-зеленыя вершины кедровъ, отряхивая съ своихъ вѣтвей высохшія за зиму, прошлогоднія шишки.

Молодой, серебристый листъ осинника дрожалъ и трепался на своихъ тонкихъ стебелькахъ; издали казалось, будто мириады мотыльковъ осипали эти деревья и вьются вокругъ безчисленнымъ, неугомоннымъ роемъ... Къ сплошному шуму дремучаго лѣса присоединился какой-то зловѣштій посвистъ,—этотъ звукъ раздавался все чаще и чаще, и съ каждымъ его налетомъ тревожнѣе и тревожнѣе метались птицы, забиваясь въ дупла деревьевъ, въ чащу низовой поросли, даже подъ навѣсы крыши сторожки покойнаго батьки Максима...

Рои комаровъ и мошекъ спустились еще ниже; теперь они уже туманомъ осѣдали надъ самою травою и ихъ звона уже не слышно было вовсе. Всѣ голоса терялись въ общемъ гулѣ, надвигавшемся съ сѣверо-востока, вмѣстѣ съ этой тяжелою, темно-сизою тучею...

Темно стало въ лѣсу, ни одного клочка голубого неба нигдѣ не просвѣчивало; вершины кедровника казались теперь совсѣмъ черными, словно въ трауръ одѣтыми; за каждымъ розмахомъ стволовъ слышался подозрительный скрипъ и сухой стукъ отъ ударовъ одной вѣтви о другую...

Растворенная дверь сама собою затворилась и снова распахнулась: человѣкъ, сидѣвшій на порогѣ, подвинулся къ косяку, плѣжалъ на дверь своимъ плечомъ и, опершись локтями о колѣни, сидѣлъ и ждалъ...

Онъ зналъ, что творится вокругъ него, онъ поимѣлъ хорошоѣ значеніе всѣхъ этихъ признаковъ лѣспного урагана—гроза его не пугала, а даже какъ будто радовала: что-то похожее

на улыбку осеняло теперь его лицо... Онъ сидѣлъ и ждалъ, покойно перенося свой взглядъ, то на дичковую, волнующуюся заросль, то на эти колыхающіеся гиганты-кедры, то туда, за ручей, гдѣ видѣлась безконечная колонада стволовъ и между ними вывороченные, обросшіе мохомъ, расколотые, можетъ быть, прежними грозами,—громадные камни, залегшіе надъ обрывистымъ склономъ лѣсного оврага.

Разомъ стихло въ лѣсу и успокоилось... Черный воронъ каркнулъ, камнемъ, сверкнувъ крыльями, ринулся внизъ и, не долетѣвъ немного до самой земли, скова расправилъ крылья и наискось, словно подкосивъ молодой бурьянъ, скрылся въ его гущинѣ...

Двѣ козы выскочили изъ кустовъ, переглянулись, замѣтили, должно быть, человѣка и, сдѣлавъ громадный скакокъ, мелькнувъ своими бѣлыми задками, исчезли снова...

Вдругъ, все освѣтилось зеленымъ, яркимъ осѣннителльнымъ свѣтомъ... Мгновеніе—и разразился страшный ударъ грома—и покатились во всѣ стороны его трескучіе, безконечные отголоски, подхваченные эхомъ...

Крупныя капли дождя точно пули защелкали о землю, дробясь о камни, смачивая толстые слои палаго листа, сбивая цвѣтковыя завязи, рикошетомъ отскакивая отъ гребня крыши, на плечи, на голову, на колѣни сидящаго на порогѣ.

А тотъ все сидѣлъ, ничѣмъ не обнаруживая намѣренія уйти отъ грозы, склониться отъ нея въ какое-нибудь укромное мѣстечко, убѣжище, хоть въ эту же самую избу, что была у него за спиною, на порогѣ которой усѣялся онъ въ данную минуту...

За первымъ ударомъ грома послѣдовалъ второй, еще рѣзче, еще продолжительнѣе. Разомъ, въ нѣсколькихъ мѣстахъ вспыхнули молніи и засверкали ихъ слѣпящіе зигзаги...

Въ воздухѣ запахло сѣрою, сипеватый дымъ заклубился между деревьями. Дождь усиливався и усиливался, превращаясь мало-по-малу въ сплошной ливень.

Еще молнія!.. Ея стрѣла ударила совсѣмъ отвѣсно, гдѣ-то близко... Раздавшійся за нею ударъ грома заставилъ даже «однозадаго» вздрогнуть и инстинктивно прикрыть голову руками... Одна изъ кедровыхъ вершинъ расщепилась надвое, и по ея комлю, прыгая съ вѣтки на вѣтку, забѣгали голубоватые огоньки... Гдѣ-то за оврагомъ, съ трескомъ ломая все по пути своего грузнаго паденія, рухнуло вѣковое дерево... Жалобный вой по-

слышался въ той сторонѣ и смолкъ, заглушенный новыми и новыми ударами грома.

Цѣлые потоки воды струились съ крыши, грязными пѣнистыми ручьями сбѣгая къ оврагу. Снова, какъ въ водополье, выступилъ изъ береговъ ближній ручей; цѣлымъ озера воды скопились въ котловинахъ, на всѣхъ низкихъ мѣстахъ... Ураганъ только крыломъ своимъ захватилъ эти мѣста, а грядами, по его слѣдамъ, ложились вывороченные съ корнемъ деревья.

Наступилъ непроницаемый мракъ, полный гула, грохота, свиста, хлестанья холоднаго ливня, треска гибнувшихъ сосенъ и буковъ... Удары молніи освѣщали на мгновеніе весь этотъ хаосъ, и съ каждымъ ударомъ какъ будто сильнѣе и сильнѣе разыгрывалась прихотливая мощь урагана.

А человѣкъ на порогѣ все сидѣлъ неподвижно, подставивъ свою голову разгулявшемуся ливню. Надѣтый на его плечи «чужой» яргакъ промокъ насквозь, несмотря на свою дубленую шкуру. Его босыя ноги по щиколотку полоскались въ дождевой канавѣ, образовавшейся отъ крышной капели. Избытной срубъ подозрительно вздрагивалъ отъ напора вѣтра, лицевая половина крыши уже оголилась: разметанная вихремъ, и безобразно, вкось и вкривь торчали ся обнаженные ребра, будто кости полуоглоданного трупа.

Печь въ избѣ еще не прогорѣла и красныя огненные искры, спопомъ вырываясь изъ трубы, гасли, тлѣя на смоченной крыше. Не будь дождя, разсѣянность одичалаго не обошлась бы дешево. Отъ жилища покойнаго Максима, законнаго наследства отсутствующаго Голована съ товарищами, навѣрное, не осталось бы ничего, кромѣ груды угольевъ и пепла.

---

Много за полночь стала затихать гроза. Прекратился ливень... Рыхлая, заваленная толстымъ слоемъ лѣсного перегноя почва быстро всасывала въ себя дождевую воду... Раскаты грома слышались уже гдѣ-то далеко и все тише и тише; на расчистившейся небѣ засверкали яркія звѣзды... «Большая медведица» раскинулась надъ самыми пострадавшими кедрами, и «Орионъ», опоясанный своимъ серебрянымъ поясомъ, поднимался уже надъ лѣсомъ, предвѣщая близость разсвѣта.

Въ дуплахъ деревьевъ, гукая и перекликаясь, стонали совы и неистово завывали колоссальный ушань-филинъ. Летучія мыши, по всѣмъ направленіямъ, чертили прохладный воздухъ

своимъ быстрымъ, беззвучнымъ полетомъ. Въ мокрой травѣ, словно изумруды, засвѣтились свѣтляки—и какъ много ихъ!. . . Всюду, куда ни взглянешь,—и тамъ, на полянѣ, и на низовьяхъ кустовъ, и вотъ здѣсь, ближе, на этихъ грудахъ смокгаго, почернѣлого хвороста,—всюду искрятся эти красивыя, зеленоватыя блестки...

«Одичалый», все, знай, сидѣть на своемъ мѣстѣ, словно приросъ къ нему и оторваться не можетъ, только положеніе его тѣла теперь измѣнилось, голова на грудь свѣсилась, самъ на бокъ перекосился, совсѣмъ опершись на дверной косякъ, одна рука на груди, за пазухой яргака, а другая безжизненно плетью повисла...

Онъ теперь спалъ, и спалъ крѣпко. Ему снилось . . .

Хорошій, свѣтлый сонъ ему снился. Этотъ сонъ пробудилъ въ немъ человѣка. Первый шагъ былъ сдѣланъ напилкомъ; дѣло этого простого, нехитро слаженного куска насыщенной стали, довершилъ благотворный, спасительный сонъ.

Онъ проснулся утромъ, когда солнце высоко поднялось надъ деревьями и стало согрѣвать его, намокшаго, своими живительными лучами, и проснулся онъ уже неодичальнымъ.

## XI.

Какъ тепло! Какъ чудесенъ этотъ освѣженный, очищенный грозою, утренний воздухъ!

Лѣниво потянулся, очнувшись отъ глубокаго сна человѣкъ и поднялся на ноги... Онъ пристально, съ выраженіемъ живого любопытства осмотрѣлся кругомъ, осмотрѣль сторожку и даже обошелъ вокругъ нея... Затѣмъ онъ шагнулъ черезъ порогъ, осмотрѣль сѣни, раздумывая и соображая что-то, безпрестанно прикладывая свою ладонь ко лбу... Онъ повторялъ это движеніе, какъ будто страдалъ сильною головною болью, но его лицо не выражало собою ничего болѣзненнаго, оно было спокойно, а глаза такъ даже весело смотрѣли изъ своихъ темныхъ впадинъ...

Человѣкъ этотъ былъ только немного слабъ на ногахъ и все еще прихрамывалъ... Сонъ, сырость мокраго отъ дождя тряпья, покрывавшаго его тѣло, отъ этого намокшаго, лубомъ стоявшаго мѣхового яргака, вызвали въ немъ лихорадочную дрожь, но яргакъ былъ уже сброшенъ и лежалъ у порога, а

жаркое солнце быстро высушивало тряпье и прогоняло эту несносную дрожь...

Человѣкъ изъ сѣней снова вошелъ въ избу; онъ прежде всего увидѣлъ куски желѣза на полу и съ отвращенiemъ оттолкнулъ ихъ съ дороги ногою. Затѣмъ онъ снова заглянулъ въ печь, снова растопилъ ее жарко, но теперь уже акуратно, тщательно собирая и укладывая въ огонь топливо...

На полкѣ, какъ разъ подъ темною доскою, лежала какаято толстая книга, старая, почернѣвшая, съ мѣдными, прорѣзанными застежками... Отблескъ отъ огня на этихъ застежкахъ, главное, и обратилъ его вниманіе. Онъ привсталъ колѣномъ на скамью, дотянулся рукою до этой книги, жадно схватилъ ее, не обращая вниманія на паука, выскочившаго изъ-подъ книги и торопливо побѣжавшаго по его рукѣ, и развернуль какъ разъ по срединѣ.

Онъ началъ читать. Сначала онъ читаль про себя, шевеля губами, потомъ эти шевеленія стали живѣе и живѣе, выразительнѣе и выразительнѣе. Въ избѣ послышались сперва пеисные звуки, изъ этихъ звуковъ составились слова, затѣмъ живымъ потокомъ полилась человѣческая рѣчь...

---

Всю ночь пролежалъ въ кустахъ трусливый бѣглецъ, медвѣженокъ-Мишка. Передъ началомъ грозы онъ было хотѣлъ вернуться домой, на мѣсто, насиженное, привычное, «свое собственное»... Тихо, осторожно подобрался звѣрь къ избѣ, а тамъ возится—нѣчто чужое, съ роду имъ невиданное, какоето громадное, страшное такое чудище и скрипить на всю окрестность желѣзомъ о желѣзо.

Попятился медвѣженокъ, задомъ, задомъ, да опять въ кусты... Переждалъ часикъ, видѣть гроза надвигается, страшно и тутъ на дворѣ оставаться, какъ быть?!

А чудище это на порогъ вылѣзло и усѣлось какъ разъ въ дверяхъ, не даетъ косолапому ходу, да и только.

Уже онъ и сзаду обходилъ, большой кругъ кустами сдѣлалъ, все хоронился, какъ бы не замѣтили его... Зашель съ дровяницы... Теперь бы только наверхъ взлѣзть, а дверь проклятая какъ хлопнетъ отъ вѣтра — и опять завозился, заерзъ «не въ пору гость», опять спугнулъ Мишку и заставилъ его удирать безъ оглядки.

Всю ночь такъ промаялся несчастный: и грозы страшно, и того еще страшнѣ...

Слѣпить молниа глаза медвѣженку, зная только отмаргивается, сѣчть его дождемъ, пробрали его мохнатую шубу, рушатся деревья кругомъ, того и гляди задавать горемыку... А въ избѣ бы въ теплыхъ сѣняхъ теперь хорошо бы спалось, уютно, тепло, сухо... «Вѣдь принесла же его не въ добрый часъ нелегкая!»

Такъ и промаялся косолапый до самаго утра. Смотреть теперь: «всталь, убрался, проклятый». Смотреть медвѣдь на отворенную настежь дверь, смотреть на черный столъ дыма, поднявшагося изъ трубы, безконечнымъ хвостомъ потянувшагося надъ зарослями, думаетъ: «Ишь ты, расхозяйничался!»

И стало молодого, глупаго звѣря разбирать любопытство. Пойду, моль, что будетъ, то будетъ, да понаблюдаю поближе...

Вотъ и пошелъ.

Бормочеть что-то въ избѣ, все громче да громче, яснѣ да яснѣ... Плавно такъ рокочетъ, словно ручей лѣтомъ по камешкамъ пробирается, занятно слушать, и страшнаго ничего нѣть въ этомъ рокотѣ...

Стоитъ мишка уже близко, въ какихъ-нибудь всего пять шагахъ отъ порога; то одно ухо насторожить и голову на бокъ наклонить, то другое и голову нагнеть на другую сторону, а самъ все впередъ да впередъ, крадучись, припадая брюхомъ къ самой землѣ; вотъ и въ самый порогъ уткнулся...

И словно понимаетъ звѣрь эти слова. Ужъ теперь оба уха насторожилъ, морду внизъ, въ землю уткнуль и лапою черезъ порогъ тячется...

А ченіе продолжается безъ остановки... Страшное чудище посреди избы стоитъ, книгу въ обѣихъ рукахъ держить, не замѣчаетъ приближенія четвероногаго слушателя. А мишка неуклюже, бокомъ перевалилъ черезъ преграду, попятился снова, увидавъ воочію человѣка, да тотъ на него не смотрить, вотъ онъ и успокоился. Теперь какъ разъ противъ избяной двери, что изъ сѣней вела, усѣлся... Чуть только вздрагивають его маленькия ноздри, да лукавые, ребяческіе еще глаза шурятся.

Дочиталъ человѣкъ, вздохнулъ и поднялъ свои очи.

Такъ неожиданно появившійся мишка съ первого взгляда показался ему громаднымъ, взрослымъ медвѣдемъ; онъ громко,

испуганно вскрикнулъ и выронилъ книгу, зрякнувшую обь полъ своими мѣдными застежками.

Этотъ хриплый, полный ужаса врикъ, заставилъ Мчику сдѣлать прыжокъ назадъ, кувырнуться черезъ порогъ и безъ оглядки дратъ въ заросли... Ошеломленный, охваченный ужасомъ звѣрь занять былъ теперь только одною мыслью: дальше и дальше бѣжать отъ этого непонятнаго, неизвѣстнаго, издающаго такие дикіе звуки существа, и онъ бѣжалъ.

Онъ уже миновалъ заросль, не сползъ, а скатился на дно оврага; разбрзгивая своимъ тѣломъ воды ручья, перебрался на тотъ берегъ, спрятался было за первымъ камнемъ, да почудилось ему, что за нимъ гонятся, и онъ бѣжалъ дальше, бѣжалъ, оставляя за собою слѣды своего испуга, «срамной» слѣдъ, какъ говорятъ звѣропромышленники.

## XII.

Почти въ сорока верстахъ отъ опушки лѣса, на рѣкѣ Орочнѣ, по ея нагорному берегу, раскинулось село «Чумленое».

Лѣтъ семьдесятъ тому назадъ, а можетъ быть, и послѣднее немногого, это было село большое, многолюдное, съ новою деревянною церковью св. Николы и называлось оно не настоящимъ печальнымъ именемъ, а по своему храмовому празднику, селомъ Никольскимъ. И жилось въ тѣ поры въ этомъ сель бойко и прибыльно, по той главной причинѣ, что большой трактъ иркутскій проходилъ какъ разъ черезъ это село, гдѣ была и почтовая станція казенная, съ крашеными полосатыми столбами у крыльца, съ фонаремъ на одномъ и доскою съ цифрами на другомъ.

Кромѣ почтоваго проѣзда и товарный обозный путь проходилъ тутъ же; кромѣ казенной станціи, четыре заѣзжихъ двора тутъ было, бѣлая харчевня одна и кабаковъ четырнадцать. За полверсты не доѣзжая, большой этапный загонъ издали краснѣлся своею крашеною крышею на казармѣ... Начальство тоже жило здѣсь, хоть и не такъ, чтобы очень важное, ну, а все-таки начальство... Весело жило тогда въ сель Никольскомъ.

Черные дни для села настали послѣ одной ревизіи великаго генерала, набѣхавшаго въ Сибирь изъ Петербурга. Эта ревизія всколыхнула всю за долгія времена настоявшуюся

грязь и тину сибирскую, много зла съ корнемъ повырвала, много только такъ подкосила, оставивъ корешки нетронутыми, много радостей принесла однимъ, не мало слезъ и горя другимъ, однимъ словомъ сокрушительно-очистительнымъ ураганомъ пропеслась по краю и крыломъ этого урагана заѣпила и село Никольское.

Первою и великою бѣдою для села было то, что большой трактъ пошелъ попрямѣе и поудобнѣе и миновалъ этотъ новый трактъ наше село, да такъ миновалъ, что верстъ на полтораста отскочилъ въ сторону...

Опустѣло село проѣзжимъ людомъ, повѣсили носы и постоянные его обитатели. Этапъ со всѣмъ начальствомъ перенесенъ былъ на новый трактъ, зайзжіе дворы пропустовали съ годикъ, да тоже покинуты были хозяевами, изъ четырнадцати кабаковъ тринадцать поснимали съ своихъ воротъ елки да шесты съ бутылками... Тихо такъ стало на селѣ, какъ уйдутъ бывало въ рабочую пору мужики на поле, да въ луга, такъ и не видать въ немъ никого кромѣ десятка старухъ-бабушекъ съ внучатами на избянныхъ завалинкахъ.

А тутъ скоро и новая бѣда нагрянула, еще горше первой. Занесли съ китайской границы два наемщика-батрака какуюто болѣзнь, чудную, да тяжкую... Разгулялась эта болѣзнь по селу на славу. Докторовъ нѣть, начальства близко тоже, знать дать во время поопасались мужики, и пошли они другъ за другомъ валиться, какъ мухи подъ осень. Священникъ старикъ, отецъ Митрофанъ, одинъ изъ первыхъ померъ, онъ принялъ было лечить заболѣвающей народъ, да хоронить покойниковъ по обряду съ трехдневною выстойкою на церковной паперти, заразился самъ да и отдалъ Богу душу, дьяконъ Никанорка, тотъ промысловаль въ то время, капканы на лисицъ ставиль, въ село по три мѣсяца не заглядывалъ, тотъ уцѣлѣль, да услыхалъ про сельскую бѣду, совсѣмъ уже назадъ не вернулся.

Съ мѣсяцъ, въ самую знойную пору бушевала болѣзнь на селѣ, безъ удержу, безъ пощады и выморила все это село дочиста; только и спаслись тѣ, кто, какъ Никанорка-дьяконъ, въ лѣсу таскались.

Многіе годы пропустовало село Никольское, прослыло оно тогда чумленымъ, да такъ и осталось на вѣчныя времена съ этимъ прозвищемъ. Стало снова заселяться исподволь, да только народомъ совсѣмъ иного склада и дѣла.

Въ настоящее время жило здѣсь нѣсколько семейств промышленниковъ, построившихъ себѣ на отлѣтъ отъ прежней улицы десятокъ теплыхъ избъ съ сарайми. Занимались они больше пушною добычею, да рыбою въ рѣкѣ Орочнѣ, малость пахали для хлѣбнаго корму, сѣно косили, потому лошадей держали для Ѣзда и коровъ для ребятишекъ. Прибыль вскорѣ послѣ того, Богъ вѣсть откуда, кабатчикъ Пашка, поставилъ ведро водки даромъ міру и открылъ свою торговлю.

Пушной товаръ возили ново-поселяне подъ конецъ зимы на трактъ, да хлопотно было возить, времени много тратилось, опять и товаръ безъ приспособленной возки портился за долгую дорогу... Выручили тогда изъ бѣды чумленцевъ добрые люди купцы-кулаки. Тѣ сами два раза въ годъ наѣзжать сюда начали, какъ просылали, сколько мѣхового добра скопляютъ звѣроловы. Пріѣдутъ эти купцы, бывало, навезутъ вина, ситцевъ разныхъ, желѣзного издѣлія, сукна толстаго, денегъ тоже захватятъ съ собою и давай мѣняться, и звѣроловамъ хорошо и купцамъ того много лучше. Такъ и завелись здѣсь сами собою два раза въ годъ, изъятно отъ казенныхъ сборовъ и всякаго надзору, не попавшія ни въ какой статистической списокъ, никакому начальству невѣдомыя ярмарки.

Опустѣлая церковь святаго Николы была глухо-наглуко новыми обитателями заколочена и вся утварь церковная собрана и въ землю зарыта, не потому что въ ней надобности не было, а потому, что нового письма образа были и книги новой печати по никоновскимъ переводамъ, а теперешнимъ прихожанамъ все старописнаго требовалось и это старописное опи хранили у мужика Ерила Сытаго, въ задней клѣти, гдѣ и службу справлялъ молельщикамъ этотъ Ерила Сытый, потому что за архиерея у нихъ считался.

Вотъ какъ въ настоящее время сложилась жизнь въ селѣ Чумленомъ, бывшемъ Никольскомъ.

Всполошилось сегодня все село чумляковъ и собрались передъ кабакомъ цѣловальника почти всѣ его обитатели, кто только изъ селѣ оставался.

Поймали мужики, самъ архиерей Ериль-Сытый и Манзуръ-Кузьма, на полѣ верстахъ въ пятнадцати мальчика незнакомаго, совсѣмъ дикаго какого-то, и привели сюда, а съ мальчикомъ и собаченка прибѣжала, презлющая, такъ за ноги и норовить хватить. Вокругъ этого пойманнаго мальчугана и стол-

пились чумляки, допросъ ему чинять, а Пашка полведерка на заваленкѣ выставилъ.

— Идемъ это мы,—рассказываетъ Ермилъ Сытый,—а этотъ пробирается сторонкою. Мы его окликнули, онъ сперва было пріостановился, а какъ стали подходить, онъ какъ прыснетъ въ бокъ да за кочки, въ болотину... Что за диковина! Я, это, съ одной стороны, Кузьма съ другой, только-только обошли, онъ какъ вскочить, да бѣгомъ, мы за нимъ, онъ отъ насъ... Насилу-насили изоблавили... Я кричу Кузьмѣ: «не тронь! Виши человѣкъ», а Кузьма: «какой человѣкъ, говорить, звѣрь особынныи, облизъянъ». Чуть его по виску не ошарашилъ...

— Да, ошарашилъ,—перебилъ тутъ Кузьма Манзуръ...—визжитъ, какъ поросенокъ, когда братъ начали, кусается. Эвось какъ зубами прохватилъ, въ кровь!..

— Диковина!—подхватилъ Пашка цѣловальникъ.—Да ты что за человѣкъ? отвѣчай, коли слово какое знаешь.

Приступилъ онъ съ грознымъ допросомъ къ ребенку, а тотъ прижался къ завалинѣ, собака къ нему прижалась тоже—оба смотрѣть дико, испуганно, оба въ грязи, не разберешь масти. Мальчикъ молчать, какъ пень, а собака ворчить злобно и боязно вмѣстѣ, хвостъ поджала и зубы клыки острые скамить: значитъ «не трогай!»

Подошелъ тутъ еще одинъ мужикъ Никаноръ, бывшій дьяконъ, здоровый, рыжій такой, подошелъ, приглядѣлся пристально, головою покачалъ, опять приглядѣлся.

— А поди-ко сюда, дядя Иванъ!—гаркнулъ онъ во все горло.

— Здѣсь,—отозвался дядя Иванъ, тоже рыжій, такой же здоровый. Онъ на задворкѣ своею гранчатки мыль. Не хотѣлъ бросать важнаго дѣла не кончивши, ради какой-нибудь бездѣлицы.

— Да поди сюда! толкомъ те говорятъ, чтобъ тя язвило! иди, что-ли.

— Чаго требуется?—раздвинулъ толпу дядя Иванъ.—Гранчатку съ отвинченными казеникомъ въ одной рукѣ держитъ, а въ другой прутъ ивовый съ тряпкою.

— А погляди-ко на этого малыша, никакъ знакомый?!

Смотрѣть дядя Иванъ, смотрѣть снова Никаноръ, бывшій дьяконъ, смотрѣть на нихъ и мальчикъ и уже не такъ пугливо и словно знакомое что-то представляется. А Варнашка,

почуявъ запахъ пороховой гари, отдалилъ свой хвостъ и махнуль имъ раза два въ знакъ легкаго успокоенія.

— Да вѣдь это Максимовъ мальченко,—вымолвилъ, наглядѣвшись въ волю, дядя Иванъ.

— Да я и самъ гляжу, что Андрошка, надо полагать,—поддакнулъ и Никаноръ-дьяконъ.

Были эти звѣроловы тѣ самые, что прошлю зимою въ сторожку приходили, признали мальчика, стали разспрашивать. Первымъ дѣломъ накормили, обмыли, рубаху чистую надѣли, обдергали его денекъ, чтобы онъ оглядѣлся да въ разсудокъ пришелъ, а все-таки настоящаго толку не добились.

Узнали только всѣ мужики, что онъ точно сынъ Максима, по прозвищу блаженнаго, того самаго, что въ лѣсу особнякомъ жилъ не мало верстъ отсюда и съ прочими людьми не любилъ знаться. Услыхали отъ Андрошки, что медвѣдица батьку задавила, а батька медвѣдицу, узнали, что есть еще медвѣженокъ-мishka, что этотъ медвѣжепокъ теперь избу сторожить, а печку топить не смѣеть, потому что Андронъ, уходя на село, строго заказалъ mishke не смѣть топить печки; узнали также, что лещешекъ нѣтъ уже больше у нихъ и мука вся изъ бочекъ вышла, что за этою мукою и пришелъ Голованъ, а воды горькой ему не надо.

— Ишь ты, подлецъ какой,—замѣтилъ при этомъ цѣловальникъ Пашка,—этакаго добра да не требуется.

Много узнали мужики изъ короткихъ, отрывочныхъ отвѣтовъ Голована и сообразили то, что надо идти въ лѣсную сторожку дяди Максима, самимъ навѣдаться и все осмотрѣть, а то изъ разсказовъ Голована выходитъ только, что случилось въ лѣсу съ дядею Максимомъ,—прозваннымъ за свой нравъ и жизнь блаженнымъ, лучшимъ промышленникомъ во всемъ околодѣ, самымъ добычнымъ и заговореннымъ,—случилось, вопреки этому заговору, что-то неладное, а это неладное надо самолично освидѣтельствовать.

Дня черезъ два собрались въ путь мужики. Пошли: дядя Иванъ, Никаноръ-дьяконъ, Ерила Сытый и еще стариечекъ одинъ, сѣдой какъ лунь, Якимъ Желѣзновъ, изъ бѣглыхъ, лѣтъ восьмидесяти, ужъ и языкъ настоящій потерявшій, а такъ только шамкавшій, однако на ногу еще крѣпкій, могущій хоть какой угодно походъ сломать и непремѣнно навязавшійся идти вмѣстѣ съ прочими въ тайгу, провѣдать жилье

блаженного дяди Максима, ежели уже покойника, то помяни Господь его душу.

Забрали прованту на всякий случай мужики, и вся шестеро: четыре мужика, Андрошка и песть Варнашка вышли изъ села, чуть только зорька утренняя замигала надъ поросшю сочною травою нагорною луговиною

### XIII.

Прожилъ сутки человѣкъ изъ лѣса въ Максимовой избѣ, прожилъ и вторыя, за ними третыи, обжился, привыкать уже стала къ мѣсту, никто изъ настоящихъ хозяевъ сюда не возвращается.

Сама изба, построенная человѣческими руками, все, что въ ней приложено и приспособлено было для жилья, предметы домашней утвари: оружіе, снасти, каждая мелочь, все это уже было изучено человѣкомъ изъ лѣса, даже получило особенную оцѣнку въ его глазахъ, все это такъ стало походить на что-то, какъ будто даже его собственное, что онъ сталъ пугаться одной мысли, когда-либо бросить все это и бѣжать снова въ лѣсъ, уступить свое мѣсто другому, болѣе законному хозяину.

А что этотъ хозяинъ существуетъ, что онъ даже незадолго до его прихода ушелъ отсюда, это было ясно человѣку изъ лѣса: онъ на каждомъ шагу убѣждался въ существованіи этого таинственнаго, закончаго хозяина, ждалъ его со страхомъ, недобroe чуя въ его приходѣ.

Вѣдь онъ столько времени провелъ въ лѣсу, какъ звѣрь, нѣть, хуже звѣря, у звѣря нѣть на ногахъ желѣзныхъ колецъ; онъ столько выстрадалъ, столько перенесъ лишений и невзгодъ, столько тяжелой борьбы за каждый моментъ своего существованія. Этотъ лѣсь сокрушилъ его, этотъ лѣсь посягнулъ даже на его разумъ. Вѣдь если бы еще немного времени, если бы онъ не наткнулся нечаянно на это жилье, если бы это жилье со всѣмъ, что въ немъ, не повѣяло на него благотворно, не вызвало бы реакціи, пробужденія отъ тяжелаго, томительнаго кошмара одичалости, чтобы было тогда?!

И вернуться снова въ этотъ страшный, проклятый лѣсь!.. Да развѣ же это возможно!

Положимъ, то, что заставило его бѣжать въ лѣсъ, то было еще ужаснѣй, но это было давно, это уже нѣсколько изгла-

дилось изъ памяти; оно не такъ живо, не такъ уже ярко рисуется, возстановляясь въ его воображениі; между тѣмъ какъ картины и эпизоды послѣдней жизни въ лѣсу, за исключенiemъ какихъ-то темныхъ, непонятныхъ промежутковъ времени, живо стоять передъ его глазами, заставляютъ его съ ужасомъ просыпаться по почамъ и долго потомъ дрожать на яву, ощущая на лбу, вызванныя страхомъ, капли холоднаго пота.

А здѣсь, въ избѣ, хорошо, здѣсь и лѣсъ кругомъ, какъ будто не тотъ, что тамъ, далеко, совсѣмъ иной, жилой и уютный. Здѣсь въ избѣ печь. Онъ затопить печь и сидѣть, любуется, воды въ котелкѣ вскипятитъ, положить туда кусокъ мяса варить; какъ это все хорошо! Онъ даже, затопивъ печь, выходилъ во дворъ, даже къ самymъ кедрамъ пробирался и оттуда съ наслажденiemъ смотрѣлъ на эту струю синеватаго дыма, вьющагося надъ закопченnoю трубою.

И рисуются въ его воображеніи въ такія минуты еще не забытыя, дорогія лица, чудятся они ему тамъ, будто въ избѣ сидятъ они и огонь развели, а онъ былъ въ отлучкѣ и теперь возвращается, и его ждутъ.

Подходя къ избѣ, онъ даже въ окно заглядывалъ и барабанилъ пальцами, стучалъ кулакомъ въ дверь, кричалъ: «а ну, отворите, друзья!» и, вздохнувъ глубоко, самъ отворялъ дверь и входилъ одинокимъ, забытымъ.

Жилью, этому самому жилью, онъ обязанъ былъ своими сладкими иллюзіями, здѣсь онъ послѣ столькихъ лѣтъ нашелъ первую книгу и читалъ ее.

Приходи же ты, законный обитатель и собственникъ, и выгони отсюда этого чужого, выгони, если у тебя рука поднимется на это святотатственное дѣло.

И вѣрилось, инстинктивно чуялось этому чужому, что его отсюда не выгонять. А ну, какъ...

Вчера вотъ ночью ему почудился будто бы собачій лай вдалекѣ... Онъ вскочилъ, выскочилъ на порогъ сѣней и слушалъ, затаивъ дыханіе, зажавъ руками свое усиленно-бьющеся сердце.

Затѣмъ онъ, шатаясь, вошелъ въ избу, его нервная система не выдержала потрясенія, и это потрясеніе разразилось истерическимъ припадкомъ. Онъ рыдалъ и смѣялся, его грудь словно клещами раздирало; онъ не стоналъ, упалъ на колѣни, распростерся на земляномъ полу передъ темною доскою, что висѣла высоко въ углу, и...

Онъ дѣлалъ теперь то, что уже давно, десятки лѣтъ, чуть не съ дѣтства еще было забыто, онъ молился.

Странная была эта молитва! Въ ней не было словъ, въ ней не выражалось никакихъ просьбъ, ни желаній; это было просто охватившій всю его натуру религіозный экстазъ, доводящій до изступленнаго, безсознательного состоянія.

За этою молитвою послѣдовалъ продолжительный обморокъ, отъ котораго онъ очнулся только утромъ, очнулся больной, разбитый, не понимая что такое и отчего это случилось.

---

А мишка-медвѣженокъ тотъ разъ такъ перетрусилъ, что даже и близко отъ избы пересталь держаться. Бродилъ онъ все по лѣсу, да и шибко пришлось по медвѣжьему вкусу это вольное бродяжничество! Травы молодой, особенно голубого пострѣлу, теплыми днями вволю повыигнало, объѣдается просто мишка этою новинкою, медвѣжьимъ салатомъ, кору молодыхъ побѣговъ гложетъ, за птицами сдуру гоняется, скрадеть \*) какую-нибудь пичужку, выскочить, а она отлетитъ въ сторону, на ближній кустъ, и стрекочетъ, словно подсмѣивается надъ неволкостью косолапаго.

Въ жаркие дни, въ лѣсныхъ базисахъ, въ лужахъ, густо поросшихъ осокою и купавками, полощется звѣрь, лягушекъ распугиваетъ; валежину нашелъ рогатую, съ утра до самаго полудня съ нею провозился, все съ мѣста на мѣсто перекатывалъ эту колоду, лапы позанозилъ и очень доволенъ остался, когда приволокъ, наконецъ, ее къ скату оврага и внизъ спровадилъ... житье просто мишка въ лѣсу! Думаетъ звѣрь: «полно, ужъ надо-ли когда-нибудь назадъ, въ избу, ворочаться?..».

Только онъ это задумалъ, чу!.. знакомые послышались звуки. Голосъ Варнашкинъ, да звонкій такой, такъ и затихаетъ. Шибко обрадовался звѣрь своему другу, напроломъ черезъ чашу ринулся, наперѣдъ, выскочилъ на тропу, а песь-пріятель тутъ какъ тутъ, хвостомъ вертить отъ удовольствія, даже повизгиваетъ и со всѣхъ концовъ косматаго друга обнюхиваетъ.

И мишка весело хрюкаетъ, лапою повалилъ пса, вмѣсть на земль валяются, не замѣтили какъ и третій подбѣжалъ, самъ Андрошка, за гриву мишкину ухватился и ругается:

---

\*) Подберется **невамѣтно** (иѣстное промысловое выраженіе).

— Ты чего же это избу бросиль, каторжный?!

А тутъ и мужики подошли, окружили, ходу нѣть отъ нихъ, дубьемъ загораживаютъ, хохочутъ, взявшись за бока, и диву дивятся, глядя на провинившагося батрака и сердитаго хозяина.

Мишка, какъ увидалъ мужиковъ, не хуже того раза перетрусили снова, да, что дѣлать, самъ Андронъ налицо, дѣться некуда; да эти не орутъ такъ, эти, виши, ободрили звѣря, приласкали; сѣдой дѣдушка корочку вкусную дамъ погладить, а Ермилъ Сытый водки посушилъ поднести, какъ домой дойдутъ.

Сдѣлали на мѣстѣ встрѣчи привальчикъ легоныкій и пошли далѣе.

#### XIV.

Человѣкъ изъ лѣсу въ это утро избу подмель, все вычистилъ, даже сѣни привелъ въ порядокъ, доску темную и ту снялъ и долго-долго мыть ее и протиралъ тряпкою. Выступили изъ-подъ густого слоя копоти красныя полосы, блеснула и позолота, мѣстами, писанный ликъ въ терновомъ вѣнцѣ выказался, строгій такой, истощенный. Долго глядѣль, впивался глазами въ изображеніе человѣкъ изъ лѣса и на мѣсто поставилъ отмытую доску. Затопилъ печь, самъ надѣль порты и рубаху чистую покойнаго Максима, вышелъ на порогъ и сѣль, словно чуяло его сердце, что именно сегодня должны вернуться настоящіе домохозяева.

И какъ же забилось, какъ екнуло это самое сердце, когда, уже не во снѣ, а въявѣ, послышался лай собаки за оврагомъ, и въ лѣсномъ шумѣ отчетливо, ясно загадѣли голоса человѣческіе.

— Батька! — крикнулъ было Голованъ, издали замѣтивъ человѣка на избянномъ порогѣ, но зоркіе глаза ребенка сразу поняли, что это не батька, а другой кто-то.

— Да, эвось, дядя Максимъ, — произнесъ было и Никаноръ-дьяконъ, — что же ты, пострѣль, сказывалъ, что батьку медвѣдица задавила?

— Задавила, — словно про себя промолвилъ Голованъ и замялся: итти, моль, къ избѣ, или нѣть?

А чужой человѣкъ стоитъ на колѣнахъ у дверей, земные поклоны отвѣшиваетъ подходящимъ и руки съ мольбою протягиваетъ.

Обступили его, стоять молча полукругомъ: старый Якимъ Железновъ смотрѣть, глаза щуря, и соображаетъ что-то, дядя

Иванъ затылокъ скребеть, Никапоръ-дьяконъ первымъ дѣломъ черезъ головы, внутрь избы заглядываетъ, нѣтъ ли тамъ еще кого? Андрошка къ Ермилинымъ поламъ прижался, Мишка задомъ пятится, а Варнашка такъ и насидастъ на чужого, вотъ-вотъ норовить его зубами тяпнуть какъ разъ за эти худыя, вытянутыя руки.

— Не гоните!..—глухо, словно не горломъ, а грудью, проговорилъ чужой человѣкъ.

— Да ты самъ откуда будешь и кто такой?!—спросилъ, накопецъ, Ермилъ Сытый.

— Не гоните,—снова повторилъ чужой.

— Откуда, говорятъ?

— Оттуда, изъ лѣсу...

Указалъ рукою на лѣсь бѣдняга и зарыдалъ, въ ногахъ валяется, твердить одно сквозь слезы «не гоните», да и только. Задумались мужики передъ порогомъ, смѣкаютъ, что либо человѣкъ не въ своемъ разумѣ, либо изъ такихъ, что ужъ черезъ край хватиля горя и напастей разныхъ, да и не изъ сѣрыхъ онъ будетъ, по облику видать, только во всякомъ случав не изъ такихъ, что гнать слѣдуетъ.

— Очнись, милый человѣкъ, никто тебя гнать не хочетъ,—какъ смогъ, поласковѣе сказалъ Ермилъ Сытый.—Да посторонись, другъ, дай и намъ въ избу ходу. Будеть же тебѣ ревѣть-то, воронья снѣдь, сказываютъ, «не погонимъ»!..

Забрались мужики въ избу, расхозяйничались, всему осмотрѣ подробный сдѣлали. Обѣдъ изъ принесенной провизіи на славу состряпали, потомъ для совѣта засѣли и порѣшили такъ:

Мальчонку съ собой взять въ деревню, а этого здѣсь въ избѣ оставить, оставить ему и снасть, и винтовку, и боевого запасу, пускай, моль, промыслуетъ, по Максимову наслѣдству. Блаженный, да послѣ блаженнаго. Чтобы, моль, на село къ нимъ не приходилъ, потому отъ грѣха подальше, мало ли что бываетъ, а что къ нему, въ избу, время отъ времени будутъ навѣдываться промышленники, оно имъ и споручно, когда жилье есть, ину пору непогоду пересидѣть, обогрѣться тоже зимою.

Разспросовъ этому блаженному никакихъ не чинить, потому ихъ самихъ претитъ отъ одного слова «допросъ», а тутъ еще сами этиакимъ богоопротивнымъ дѣломъ да заниматься станутъ. Не подобаетъ!

— Богъ тебѣ судья, кто ты былъ и что сдѣлалъ, Богъ надъ тобою одинъ и останется, такъ-то!

Сообщили это рѣшеніе блаженному, тотъ все время на деревянницѣ сидѣлъ; какъ услышаль, глаза у него даже заскрились. Андронъ тѣмъ временемъ все пытался мишку опять въ ларь засадить, да неудачно: выростъ звѣрь, не хочетъ въ ларь садиться, а если вѣзеть, то сейчасъ-же вонъ оттуда, свободно и безъ всякой посторонней помощи.

Ночь прошла; перепочевали всѣ, кто въ избѣ, кто на дворѣ, около; ужинать сварили каши съ саломъ; дивились, какъ блаженный эту кашу обработывалъ; наложили ему въ отдѣльную миску, сѣль онъ на порогъ, Варнашка около, уже помирились, да такъ изъ общей посудины и пользовались...

— Какой вѣры? Вѣроисповѣданія какого придерживаешься?— полюбопытствовалъ было Никаноръ, бывшій дьяконъ.

— Да, ну, тебя, жеребячья порода!—прошамкалъ старый Якимъ,—чего пристаешь къ нему: «какой вѣры, какой вѣры?..» да ты самъ, долгогривый, какой? Христіанской, что-ли?! Самъ вѣдь никоновецъ, чего же допрашиваешь.

— Не никоновецъ, а по исправленіому, святой памяти, патріархомъ Никономъ,—началъ было Никаноръ.

— Цыцъ! ражкій волкъ!—рявкнулъ Ермилъ Сытый,—уговоръ помнишь! Аль забылъ?! Такъ я напомню.

— Да, ну, вѣсть!—махнуль только рукою никоновецъ и полѣзъ въ котомку, гдѣ у него бутылка была заготовлена.

---

На другой день, оставивъ блаженнаго дома, пошли на то мѣсто, гдѣ Максимъ погибъ; мальчикъ дорогу имъ указывалъ. Отыскали берлогу, отыскали оглоданныя волками кости медвѣжьи и человѣческія, похоронили останки Максимовы, забрали и санки со счастью, вырубили топоромъ восьмиконечный крестъ на корѣ сосны, надъ могилою, и домой вернулись, прогулявъ за этимъ дѣломъ безъ малаго двое сутокъ.

— Пора и въ село собираться,—говорять Андрону:—ну, малый, готовься въ дорогу!

Андронъ какъ понялъ, что отъ него требуютъ, такъ и руками и ногами: «не хочу въ село, не хочу изъ батькиной сторожки». Убѣжалъ было въ лѣсъ отъ такого предложенія, насили у него изоблавили. Какъ же быть, не тащить же ребенка, словно звѣреныша какого, противъ воли его, въ мѣшкѣ силою.

Якимъ Желѣзновъ тутъ рѣчъ сталъ держать всему собранію, и началъ онъ эту рѣчъ, помолившись и поклонившись, по старому обычаю, на всѣ четыре стороны:

— Таперича,—говорилъ онъ,—отецъ евойный, Андрошкинъ, померъ, и померъ онъ какъ слѣдь быть, значитъ, на чистоту, и есть онъ, Андронъ, таперича, круглый сирота, потому и матери у него тоже нѣту. Господь, милостивецъ, печется и денно и нощно о всѣхъ тваряхъ земныхъ и водныхъ и, таперича, сироту тоже своимъ надзоромъ не оставилъ, послалъ ему человѣка блаженнаго изъ лѣсу, и быть этому человѣку отцомъ Андрону, за мѣсто покойнаго дяди Максима. Такъ-то! Все, значитъ, сіе указуетъ перстъ Господень, и вы персту сему не должны, ни Боже мой, перечить и супротивъ прати.

— И это дѣло,—погладивъ бороду, поддалину Ермилъ Сытый.

— Оставаться, значитъ, Андрошки въ лѣсу, потому устами младенца воля Божья сказывается.

Такъ закончилъ свое слово стариkъ Якимъ Желѣзновъ, такъ и порѣшили дѣло прочіе звѣроловы.

Передъ отходомъ своимъ еще совѣтъ дали остающимся; теперь уже рѣчъ держалъ не Якимъ, а самъ Ермилъ Сытый.

— Живите здѣсь, братцы, всѣ четверо, потому вѣдь васъ всего четыре штуки,—онъ указалъ пальцемъ по-очередно, словно подсчитывая, на блаженнаго, на мальчугана, на медвѣженка мишку и на пса Варнашку.—И живите по Божьему. Коли Богъ пошлетъ кого, пріютите; ты, набольшій, ты замѣсто отца остаешься, такъ ты это помятай завсегда и печись о маломъ. Къ лѣсу приглядѣлся, такъ промысловать можешь и не празднуй. Коли что понадобится, въ село Андрошку присытай. Онъ разъ нашелъ дорогу и другой разъ найдетъ, провожай его до опушки, а самъ не ходи, потому ты вѣдь не изъ сѣрыхъ, ты можетъ изъ такихъ, что выслѣдываютъ, а у насъ на селѣ неровень часъ это случиться можетъ, особливо какъ нарвешься на день наѣзжий, мѣновой. Такъ ты уже лучше сиди безвылазно въ лѣсу и наблюдай свой этапъ, строй избу, потому тоже это самое жилье завсегда намъ въ промысловое время пригодиться можетъ... попяль?

— Понялъ! — съ переполненнымъ чувствомъ благодарности сердцемъ отвѣчалъ блаженный, никакъ только не соображая одного, что такое значитъ: «человѣкъ не изъ сѣрыхъ, а по-

тому такой, что можетъ быть выслѣживаемый, и потому опасный».

Оставили мужики всю провизію, что съ собою притащили, забрали шкуру, что только нашли въ сѣяхъ на растягахъ, добычу покойнаго дяди Максима, и ушли, порѣшивъ къ общему удовольствію и судьбу блаженнаго, и Андрошкину; сотоварищи, организовавъ себѣ на зимнее, промысловое время, «общественный», какъ они называли, *этапъ*, надежное пристанище и даже до времени складочное мѣсто.

Межъ собою порѣшили обо всемъ зря не болтать, особенно при чужихъ людяхъ, во время наѣзда, мѣновое.

#### XV.

Хорошо зажили обитатели Максимовой избы на новомъ, порѣшенномъ положеніи.

Андронъ скоро привыкъ звать батькою человѣка изъ лѣсу; этотъ человѣкъ даже полюбился мальчику больше, чѣмъ его прежній батька; тотъ былъ грозенъ больно и суровъ, рѣдко отъ него на долю ребенка перепадало ласковое слово, а этотъ мягкий, обходительный, не крикнетъ даже на мальчугана никогда, а все съ ласкою обращается. Отецъ покойникъ, правда, добычливъ былъшибко на звѣря и птицу, и уже очень интересныя вещи про звѣре разсказывалъ; этотъ тоже много хорошаго говоритъ, совсѣмъ новаго, страсть тоже занятнаго, хотя вовсе непохожаго на батькины Максимовы рассказы.

Максимъ горькую воду пилъ, и это питье всегда сопровождалось большими непріятностями для ребенка, а этотъ не пьетъ горькой воды вовсе, а бутылку бережетъ на полѣ, на всякий иной случай...

Мысленно не разъ Голованъ сравнивалъ своего прежняго батьку съ новымъ, и каждый разъ такое сравненіе не было особенно выгодно для покойнаго... и съ каждымъ днемъ совмѣстной жизни, ребенокъ все болѣе и болѣе привязывался къ человѣку изъ лѣса, вытѣсняя изъ своего сердца и памяти образъ батьки Максима, такъ что этотъ образъ отошелъ уже на совсѣмъ отдаленный планъ, рисуясь въ представленияхъ Голована въ самыхъ неясныхъ чертахъ, вызывающихъ всегда болѣе непріятное, нежели пріятное воспоминаніе.

Скоро, еще скорѣе мальчика, привязался къ новому хо-

зяину и Варнашку песь; упорнѣе всѣхъ косился и обходилъ при встрѣчѣ бокомъ, ворчалъ и даже зубы скалилъ Мишка-мѣдвѣженокъ, да и тѣтъ скоро покорился, особенно послѣ того раза, какъ человѣкъ изъ лѣса нашелъ за оврагомъ, въ дуплѣ, улей дикихъ пчель, выцарапалъ оттуда сладкие, сочные соты и принесъ эту находку въ избу... Правда, тутъ непріятность маленькая для всѣхъ случилась: за похитителемъ ворвался цѣлый рой, раздраженныхъ покражею со взломомъ, крылатыхъ собственниковъ, и досталось же всѣмъ отъ нихъ: у кого носъ раздуло огурцомъ, у кого ухо вспухнуло, у мишкѣ такъ даже глаза закрылись на день. Насилу откурились осажденные, да зато послѣ великай празднікѣ насталъ.

Новый батька оттошилъ соты въ котелкѣ, медъ густой, темный такой, особо сливъ, а ярко-желтый воскъ особо; говорилъ Головану, что изъ этого воска свѣчи будетъ дѣлать и, что отъ этихъ свѣчей свѣтло и недымно, какъ отъ печки, будеть у нихъ въ избѣ, когда темныя, долгія ночи зимня начнутся.

Заинтересовался мальчикъ, что такое за свѣчи, да такъ заинтересовался, что даже сталъ желать: «какъ бы это зима скорѣе приходила!»

Новый батька тоже ходилъ на охоту, всегда съ Голованомъ, только мало удачи было спачала. Понималъ Андронъ, что этотъ недавно будто ведетъ промысловое дѣло, не такъ споро выходитъ у него все, какъ у стараго батьки. Ну, а по томъ дѣло пошло ладнѣе. Заходили тоже разъ сюда, уже передъ осенюю, тотъ же дьяконъ Никаноръ со старикомъ Яки-момъ Желѣзновымъ, долго говорили съ батькою, ночевали, съ разсвѣтомъ всѣ трое ушли и Варнашку взяли, Мишку съ Андрономъ дома оставили и цѣлую недѣлю въ лѣсу путались.

На пользу пошла новому батькѣ эта охотничья недѣля... Смѣтки-разуму было у него довольно, больше даже, чѣмъ надо на такое дѣло, а сиѣльстью Богъ не обидѣлъ... Послѣ этой недѣли совсѣмъ наладилось промыслованіе...

---

Кромѣ мѣховой добычи, еще дѣло было затѣяно. Новый батька кедровые да сосновые пни рыль по близости и въ кучу стаскивалъ; много возни было съ этою работою: тяжелые пни, иной такой крѣпкій, что и не расколешь его, цѣлый день съ топоромъ возившись; однако, терпѣніе все одолѣвало. Кучи эти

батька землею засыпать, дерномъ рѣзаннымъ обкладывать, желоба проводить изъ ивняка долбленаго, а потомъ подвалить съ одного конца сухолому разнаго, разведеть огонь, страсть! въ десяти шагахъ стоять жарко, и дасть этому огню прогорѣть хорошенъко. Цѣлую недѣлю, а то и больше все дымить такая куча, такъ, полосою черный дымъ и стелется по лѣсу; по желобамъ черное, густое потечетъ, батька дегтемъ называлъ и собирая этотъ деготь въ боченки пересѣки, да мало такихъ оказалось, батька самъ началь долбить подходящую посудину.

Пчель дикихъ перевель въ яблоковую заросьль и колоды долбленыя своего издѣлья имъ понаставляя, перегородокъ въ нихъ понадѣлалъ... послѣ у нихъ уже много меду было и воску накопилось столько, что съ залишкомъ на свѣчи хватило, а залишекъ этотъ продать, такъ можно, какъ батька говорилъ Андрону, новую гранчатку купить, со всѣмъ приборомъ.

Дивились мужики, какъ приходили, хотя и очень ўѣдко повторялись такія посѣщенія, всѣмъ затѣямъ батькинымъ, звать его досужливымъ начали; забирали деготь, захватывали меду, шкурье, все, что добыто, а въ избу провіанту подносили...

Батька голубей развелъ; они и прежде прилетали было на крышу, да немного, а теперь и селиться здѣсь гнѣздами стали, когда имъ нарочно отведена была для этого часть чердака. Шибко хотѣлось батькѣ курѣ развести, какъ просилъ достать ему изъ села пару; обѣщали все, да что-то не достали должно быть.

Какъ начнетъ батька соображать да рассказывать, что онъ только еще собирается завести да устроить, такъ просто глаза разгорятся у Андрона; и стать онъ теперь уже много понятливый прежпяго, уже онъ теперь зналъ не то только, что самъ глазами видѣлъ да рукамиощупывалъ, а многое даже такое, чего и не слыхалъ и не видалъ до этого, потому что, когда батька работаетъ, сынъ его названный все около него, а батька немолчитъ, у батьки и руки и языкъ въ ходу, все разсказываетъ и только такъ, ясно, не со злостью да урывками, какъ покойный Максимъ.

Рассказовъ батькиныхъ даже большиѳ мужики и тѣ заслушивались бывало, такъ оно занятно выходило.

Сколотиль батька большущую доску, выстрогалъ ее ладно да гладко, и поставилъ эту доску въ сѣняхъ къ свѣту лицомъ.

— Это зачёмъ, батька? — полюбопытствовалъ Голованъ, размазывая пальцемъ свѣтлую смолу, что сочилась на свѣжей струганкѣ.

— А это великое дѣло будетъ, — отвѣчалъ батька, гладя его по головѣ. — Это ты будешь грамотѣ учиться, а учатся для того, чтобы свѣту больше тебѣ было. Какъ выучишься, такъ самъ увидишь, какая разница быть грамотнымъ или быть человѣкомъ темнымъ.

— И Мишка учиться будетъ? — спрашивалъ заинтересовавшійся ребенокъ, не спуская теперь глазъ съ доски.

— Коли пойметъ, пусть и Мишка учится, — засмѣялся батька.

Время стояло такое, что и безъ ученья грамотѣ дѣло было, батька отложилъ это ученіе до зимы. Изо дня въ день шла покойная духомъ, рабочая жизнь. Батька веселый сталъ, меньше и меньше задумывался уже, какъ прежде бывало, въ мальчикѣ подросточкѣ души не чаилъ, да и какже иначе: въ этомъ ребенкѣ, Богомъ ему ниспосланномъ, сосредоточилась вся его жизнь, онъ теперь составлялъ цѣль этой жизни, онъ воскресилъ ее.

Лѣсъ дремучій, безконечный лѣсъ охватилъ его со всѣхъ сторонъ и отрѣзalъ его всего остального міра, но кромѣ лѣса стояла между нимъ и этимъ міромъ еще другая преграда, неокрушимая, неперелазная хотя и невидимая простымъ глазомъ.

Онъ умеръ для того міра, а здѣсь въ этомъ новомъ міру судьба послала ему вновь и новую жизнь, и новыя привязанности.

Человѣкъ изъ лѣса мечталъ, что онъ можетъ и долженъ сдѣлать изъ этой чистой первобытной, цѣльной природы, каковъ былъ сынъ покойного дяди Максима; онъ увлекался въ своихъ мечтахъ даже за предѣлы возможнаго. Когда онъ говорилъ что нибудь ребенку, онъ не сводилъ съ него глазъ и съ жадностью левилъ на его лицѣ каждую черту, сколько нибудь выражавшую, что ребенокъ его понимаетъ ясно; когда этого не удавалось, когда онъ убѣждался, что его слова не были поняты, онъ долго обдумывалъ и взвѣшивалъ свои собственные способы выраженій, искалъ въ нихъ причину непонятности, но никакъ не въ недостаткѣ способностей мальчика, мучился, страдалъ и все-таки, послѣ долгихъ, терпѣливыхъ усилий, добивался таки того, что требовалось.

А время шло своимъ чередомъ.

Мишка въ холѣ да на привольныхъ кормахъ подростъ, всѣхъ своихъ лѣсныхъ собратій перегналъ ростомъ, просто звѣремъ большимъ стала выглядывать, быль бы при маткѣ, давно бы братишекъ своихъ малыхъ пѣстовалъ. Самъ темнобурый, къ спинѣ и темени совсѣмъ черный, на лбу звѣздочка бѣлая, на груди тоже бѣлая проталина; изъ самыхъ, что ни вѣа-есть свирѣпыхъ долженъ бытъ быть по этимъ примѣтамъ, его даже мужики большіе, когда приходили, поопасывались; да привыкъ онъ къ духу и виду человѣческому, сдружился съ людьми и звѣрь былъ ласковый, даже услужливый, а къ тому же великий забавникъ: какъ примется кувыркаться да меду просить у большака, такъ просто всѣ за животы хватаются отъ смѣха, на всѣ продѣлки глядючи.

И Варнашка большимъ псимъ сталъ, степеннымъ сторожемъ и настоящимъ помощникомъ въ промысловомъ дѣлѣ, пересталъ зря по глупости брехать на вѣтеръ, когда и подастъ голосъ, такъ съ толкомъ. Съ медвѣдемъ въ большой дружбѣ состоялъ попрежнему, а спалъ врозь: мѣдвѣдь въ сѣняхъ, а несъ всегда на дворѣ у порога.

Андронъ Голованъ тоже выровнялся ростомъ, головою уже по поясъ хватать батькѣ и силы понабрался не по лѣтамъ, другому и взрослому не поднять то, что мальчикъ шутя взваливалъ себѣ на спину. Шустрый сталъ мальчуганъ, понятливый, на все способный: только намекни ему, а онъ уже и сообразилъ, словно за старое, давно знакомое дѣло принимается.

Пришло время грамотѣ учиться, такъ сразу сталъ перенимать эту науку у батьки; что онъ начертитъ углемъ на доскѣ, запомнить и самъ чертить тоже примется. Въ мѣсяцъ работы уже цѣлыя фразы на доскѣ писанныя разбиралъ и самъ слова складывалъ.

Разъ Никаноръ-дьяконъ, заставъ нашихъ за такою работою, упрекнулъ было батьку:

— Ты что жъ это, человѣче,—сказалъ онъ,—гражданской грамотѣ его обучаешь, а не съ часословомъ началь?

— Доберемся и до этого, — отмолвился только батька,— всему свое время.

И замялъ сейчасъ разговоръ, перейдя на то, какъ надо будеть на выдру ловушки ставить, потому они на лѣсныхъ озерахъ

рахъ мѣсто такое отыскали, что непремѣнно выдра водиться должна, какъ примѣты показываютъ.

Осень пришла. Пожелѣлъ листъ на деревьяхъ, опадать сталъ; еще чернѣе выдѣлялись кедры и сосны на этомъ желто-красномъ фонѣ лѣса. Натрясли цѣлый уголь въ сѣняхъ дикихъ яблокъ, насушили грибовъ, наготовили на зиму; этими мелочами покойный Максимъ никогда, бывало, не занимался, бабствомъ непутевымъ называлъ; топлива наготовили, гора горю, выше избы самой, и сложили эту гору теперь на иной мѣстѣ, болѣе удобномъ, какъ разъ съ сквозной стороны, чтобы дрова дровами, а и отъ вѣтру тоже была защита. Щели, какія только свѣтились въ срубѣ, всѣ тщательно законопатили, завалину землею обвалили, плетень вычинили, а гдѣ и новый заборъ сдѣлали.

Устроилъ тоже батька сани большія, хоть и легкія на ходу: «это, говорить, Мишка таскать будетъ; мы его пріучимъ, вотъ какъ снѣгъ выпадетъ». Уже и шлею на медвѣжью шею изготовилъ, все какъ слѣдуетъ сладилъ.

Задумывался онъ только надъ тѣмъ, что изба тѣсновата какъ будто, а какъ ее пораздвинешь, да и темно въ избѣ, окно-то больно мало. Ну да, Богъ дастъ, перезимуемъ, а тамъ у него планы были такие, чтобы упросить мужиковъ подсобить на общественное дѣло и сообща выстроить избу большую, свѣтлую, па двѣ половины и непремѣнно чтобы съ банею.

Разъ долго что-то не навѣдывались пріятели изъ села, а надо было. Послалъ батька Голована. Помни уговоръ самому на село не соваться, проводилъ его до опушки, даже на гору поднялся и оттуда все слѣдилъ глазами за ребенкомъ.

Сколько онъ мучился, сколько перенесъ, пока тотъ не вернулся; все ему худое мерещилось, все ему казалось, что вотъ ушелъ туда мальчуганъ и только онъ его и видѣлъ, что уже болѣе его Андронъ къ нему не вернется. Пройди еще послѣднее ожиданіе, и батька не вытерпѣлъ бы, онъ самъ пустился бы на поиски за сыномъ и какъ разъ влошался бы въ бѣду, пожалуй, потому что въ эту именно пору прибыли на село два чужихъ чиновала: урядникъ казачій съ казенного этапу и мѣщанинъ одинъ нерчицкій, что иногда навѣдывался въ село Чумленое соболей скупать и тѣмъ отъ прочихъ торгашей-скупщиковъ отличался, что никакого товару другого,

кроуѣ соболей, ему не требовалось. Захватить сколько есть, двѣ-ли штуки, три-ли, хоть одну, и Ѣдетъ себѣ назадъ, на своей саврасой кобылѣ.

И разсказывали эти два заѣзжихъ человѣка, что въ Нерчинскѣ года два тому назадъ одного бѣлага розыскиваютъ: примѣты разосланы повсюду и награды обѣщано пять сотенъ бумажекъ тому, кто либо самого розыскиваемаго доставить, либо укажетъ начальству мѣсто его жительства.

Ерииль Сытый, Никаноръ-дьяконъ бывшій, дядя Иванъ, Якимъ Желѣзновъ старый, всѣ прочіе мужики даже и глазомъ не моргнули, слыша такія рѣчи, только Пашка цѣловальникъ словно воззрился въ говорящаго и про себя въ бороду промолвилъ:

— Пять сотенныхъ деньги, за нихъ можно бы постараться, да гдѣ ты его отыщешь, этого бѣлага острожника, мало ли въ побѣгахъ кажинный годъ гибнетъ. Полтора года, сказываютъ, прошло, что-ли?— переспросилъ онъ уже громко.

— Можетъ и больше немногого,— отвѣчалъ казачий урядникъ. — Я самъ бумаги не видаль, а сказывали въ этапной канцеляріи.

## XVI.

Батька съ сыномъ пошли однажды на дальнія озера. Дѣло было уже глубокою осенью.

Находились эти озера за высокимъ кряжемъ, и дорога къ нимъ пролегала трудная; пока еще горами да сухимъ лѣсомъ ничего, а дальше за спускомъ болотины все залегли да топи, такія трясины, что, не зная путемъ мѣста, и не выберешься, какъ залишь сдуру. Черезъ эти трясины, по кочкамъ да по кориямъ сплетшимся, хитрыми извилинами шли кабаны тропы вплоть до самыхъ камышей, издали желтѣвшихъ своею густою щетиною. Тамъ въ одномъ мѣстѣ ива выросла какъ-то, и у этой самой ивы батька, еще лѣтомъ, выдолбивши членокъ, держалъ это нехитрое суденышко на привязи. На членокѣ этомъ можно было перебраться на островки, что шли цѣпью по самой серединѣ озера, а на одномъ изъ этихъ островковъ повыше замѣчены были и слѣды выдровой зимовки; тутъ батька лѣтомъ тоже видаль и самыхъ звѣрьковъ, какъ они высовывали изъ-подъ воды свои круглые, усатыя головы; видѣлъ даже на берегу двухъ: грѣлись они на солнышкѣ, а какъ зачуяли че-

ловѣка, проворно такъ, на своихъ короткихъ лапкахъ, опять къ водѣ удрали, только круги пошли на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ они нырка задали.

Утка тоже здѣсь на озерахъ было видимо-невидимо. Во время весеннаго прилета, такъ по ночамъ, бывало, не видать самой птицы, а только звонъ стонть во тьмѣ отъ взмаховъ безчисленныхъ крыльевъ. Лебеди здѣсь, долгошее, стаями плавали, гуси разводили семьи; что разной голенастой птицы, просто царство пернатое!..

Водилась тутъ и гадина разная, надо было съ осторожностью ходить въ этихъ мѣстахъ, а то и на смерть свою набрести можно было бы. Однимъ словомъ, мѣста были чудесныя.

Вотъ и собрались провѣдать эти самыя мѣста отецъ съ сыномъ.

Отецъ взялъ гранчатку, топоръ, лопатку вмѣсто весла, сынъ перекинулъ черезъ плечо холщевую сумку съ харчами; еще до полудни перевалили кряжъ, начали спускаться.

Обрамленныя желтыми камышами, широкою полосой зеленовато-буровой трясины, а дальше сплошною стѣною дремучаго синяго лѣса, эти озера развернулись передъ ихъ глазами со всѣми своими островками, со всѣми мельчайшими извилинами топкихъ береговъ. Высоко сводомъ синее осенное небо, бѣлые облака бѣгутъ по немъ, а внизу въ озерахъ то же небо, тѣ же облака. Тамъ словно серебромъ блеснуло солнце, скользнувъ своими косыми лучами въ водѣ, тамъ вскользнулась мелкая темно-свинцовая рябь; тамъ тихо, покойно, какъ въ зеркаль, отражаются на гладкой поверхности каждый островокъ, опрокинутый внизъ вершинами своихъ деревьевъ, каждый полетъ птицы издалека мелькающей своими бѣлыми крыльями. Вотъ вереницею тянутся, да низко такъ, запоздалые гуси. Вонъ, черные орлы плавно носятся надъ берегомъ, поджиная и подстерегая, не выкинетъ ли имъ прибоемъ на сухое мѣсто, какую-нибудь уснувшую рыбину. Вонъ и семья кабановъ тропинкою къ водѣ пробирается, вязнуть тоже тяжелыя твари, чуть вытаскиваютъ изъ тины свои ноги. Старый кабанъ-сѣкачъ, весь смолой залитый, цѣлое лѣто о сосны чесался должно быть, передомъ идетъ, рыло-пятакъ поднялъ и сверкаетъ на солнцѣ своими острыми клыками, злобно, подозрительно смотрѣть крохотные глазки, дыбомъ торчить жесткая грязная щетина, такъ и ходятъ косматыя стоячія уши и слышится его отрывистое предостерегательное похрюкиваніе.

Сдѣлали тутъ наши привалъ, огонекъ развели, потому день хотя и солнечный былъ, а все-таки холодновато въ лѣсу, особенно здѣсь съ навѣтренной стороны; такъ и пронизываетъ насквозь этимъ злымъ осеннимъ вѣтромъ. Сидѣть, закусываютъ, любуются видомъ на озера со всѣмъ, что на этихъ озерахъ живетъ и движется, разговариваютъ, а Варнашка тоже около лежитъ и гложетъ кость, зажавъ ее между передними лапами.

— Вотъ, видишь ты эти самыя озера,—говорить названный батька,— они другъ съ дружкою протоками связаны, можно эти протоки и порасчистить, тутъ большаго труда не будетъ. А озера эти далеко идутъ, а знаю, вонъ за тою горою огибаютъ серпомъ, верстъ на сто не меньше, а тамъ рѣка изъ послѣдняго большая выходитъ. Я помню эту рѣку, я ее видѣлъ, я чуть не утонулъ въ ней, когда переплывалъ,—давилъ онъ, задумавшись и словно припоминая какое-то обстоятельство, давно уже минувшее.—Тогда они стрѣляли еще по мнѣ.

— Кто стрѣлялъ?—испуганно спросилъ ребенокъ,—развѣ человѣка можно стрѣлять; волка стрѣляютъ, медведя. Дядя Никаноръ вотъ блокъ все бѣть изъ гранчатки, а человѣка развѣ стрѣлять можно?!

— Значить, можно,—промолвилъ батька.—А можетъ, я тогда человѣкомъ не былъ, можетъ быть меня за волка и считали.

— За волка?!

— Э, да нѣть, не къ тому я началъ!—словно опомнившись и тряхнувши головою, продолжалъ батька.—Такъ вотъ значить, по этимъ озерамъ можно до рѣки добраться, а тамъ уже широкая дорога; это и есть настоящій путь изъ лѣсу.

— Вотъ у насъ членокъ-долбушка есть, маленький онъ, для такого дѣла не годится, а можно вѣдь большія лодки построить, можно такія сдѣлать, что всю нашу избу цѣликомъ поставить на нихъ можно. На этихъ лодкахъ надо возить изъ лѣсу все, что здѣсь добываемъ. Здѣсь вотъ, гдѣ мы сидимъ, можно уголь жечь, деготь гнать, лѣсъ валить, доски пилить, тесъ, зимою, когда морозомъ стянетъ трясину, можно хоть цѣликомъ самыя большія деревья къ озеру стащить на санкахъ, тамъ ихъ въ плоты вязать на льду-то, а какъ растаетъ по веснѣ, гони водою эти плоты куда хочешь. Вода вѣдь дѣло великое, многосильное!..

— Тутъ и избѣ нашей мѣсто, а не тамъ, гдѣ она теперь стоитъ, въ трущобѣ невылазной, да не такую, вирочемъ, избу надо здѣсь, и не одну... надо большія избы, большие сараи, чтобы гдѣ было запасать все да хранить до времени; надо, чтобы здѣсь народу много жило и жиль бы этотъ народъ дружно, вотъ какъ мы съ тобою... тогда все хорошо пошло бы...

— Въ лѣсу тоже нужны избы, въ разныхъ мѣстахъ, особнячки. Эти избы народъ бы сберегали, промышленники притопъ въ нихъ имѣли бы, а здѣсь главное мѣсто сходки; тутъ и склады общественные... Тутъ больницу можно завести, знаешь, когда кто занеможеть? не знаешь ты еще этого, что значить занемочь, дай Богъ и не знать тебѣ никогда, да все можетъ случиться. Больница такое мѣсто, жилье, гдѣ всѣхъ больныхъ складываютъ и лечатъ ихъ, травы имъ даютъ полезныя, кормятъ, присматриваютъ за ними... Школу тоже для дѣтей... Вѣдь не одинъ ты на свѣтѣ маленький мальчикъ. Я вотъ тебя учу грамотѣ, рассказываю все, что знать слѣдуетъ; и другимъ тоже надо учиться, а школа—это большая, свѣтлая изба, и въ ней дѣти въ свободное время собираются, и ихъ учатъ. Одинъ человѣкъ большой учитъ ихъ разомъ всѣхъ—и писать учитъ, и читать, и тоже хорошія вещи разсказываетъ... Вотъ все бы это здѣсь надо и все это можно сдѣлать, только бы дядя Иванъ, да Никаноръ, да Ермилъ, Якимъ тоже, всѣ бы мужики взялись дружно за дѣло, все можно было бы сдѣлать. Дикія эти мѣста, безлюдныя, мало кто, а можетъ кромѣ насть и совсѣмъ никто сюда не заглядывалъ, и много лѣтъ пройдетъ еще—не заглянуть, а то бы совсѣмъ все перемѣнилось... Сколько добра въ лѣсу пропадаетъ, все бы пошло на пользу...

Говорить батька, а Андронъ слушаетъ, не все хорошо понимаетъ, а слушаетъ и все на озеро озирается, чудится ему: и лодки большія уже идутъ по нимъ, и плоты безъ конца тянутся, и мужики на берегу копошатся. Дымъ валить столбомъ на горѣ, избы стоять большія, все такія, какъ тотъ разъ онъ въ селѣ видаль, и сидѣть полукругомъ все мальчики маленькие, а батька въ серединѣ стоять, доска струганная около него, и чертить батька углемъ на этой доскѣ, а тѣ еще пока не понимаютъ что, понимаетъ только онъ одинъ, Андронъ, и читаетъ, слѣдя за углемъ батьки, длинное слово «Благосостояніе», то самое слово, надѣ складомъ котораго онъ, недѣли три тому назадъ, особенно усердствовалъ.

Живо прошелъ въ отцовскихъ запятныхъ розсказияхъ часть отдыха, минутою одною показался этотъ часъ Андрону. Побрали оставшуюся сиѣдь въ котомку, оглядѣль батька гранчаку, переобулись какъ слѣдуетъ для ходьбы по трясинымъ тропамъ и тронулись въ путь.

Нелегка была дорога лѣсомъ да горами, еще того тяжелѣе пошла пизомъ... Бились, бились путники, насили только къ вечеру добрались до камышей, за которыми уже чистыя воды начинались; вышли прямо къ ивамъ, гдѣ челнокъ быль привязанъ; а тутъ опять бѣда: вода сошла пониже, челнокъ-то на сухомъ мѣстѣ оказался. Это пустяки, долго ли его спихнуть, да расщелился онъ отъ засухи, нельзя спустить на воду, не проконопативши какъ слѣдуетъ, затонетъ...

Принялись за работу. Моху кругомъ въ волю; часа два возились однако, совсѣмъ темнѣть начало. Рѣшили во всякомъ случаѣ ночевать не здѣсь въ болотѣ, а на островѣ; тамъ много суще, тамъ даже есть одно мѣсто песчаное и соснякомъ поросшее; тамъ и посмолить можно будеть челнокъ, только бы въ немъ на ту сторону выбраться.

Ставили долбушку въ воду, ничего---держитъ. Сѣль осторожно на кормовую сторону батька съ лопатою, Андрона впередъ посадилъ, съ строгимъ наказомъ сидѣть смиро и не ворочаться, а Варнашку не пустили, Варнашка вплавь можетъ держаться за лодкою. По срединѣ сложили добро и оружіе.

Валокъ челнокъ, того и гляди перекувырнется; сидить онъ теперь глубоко въ водѣ подъ грузомъ, каждое движеніе размѣрять да взвѣшивать надо. А плыть не близко; глазомъ-то кажется, будто вотъ онъ, островъ-то, рукою подать, а поди, доберись сначала до его берега.

Холодновато стало подъ вечеръ, да и вѣтеръ усилился. Здѣсь между островкомъ еще тихая полоса, чуть только рабь набѣгаешь, а по ту сторону, по большему озеру, даже зайчики бѣлые забѣгали... Солнце садилось за тучи и красное такое стало... Безпокойно поглядываетъ батька въ ту сторону. «Ужъ не вернутесь ли?» думаетъ. А ворочаться теперь уже пѣть никакого расчета, отъ острова-то, пожалуй, теперь ближе будетъ, чѣмъ отъ матераго берега — да и на островѣ лѣсь есть, починку можно справить... Работаетъ батька усердно лопатою...

— Вода набирается! — остерегъ его Голованъ — онъ вѣдь на сказки дѣда Вородатаго.

самомъ днице сидѣлъ, такъ живо почувствовалъ холодную воду, просочившуюся сквозь сухую конопатку...

— Вижу, что вода—ничего не подѣлаешь... Скоро доберемся, небось, не затонемъ...

Сунулъ батька лопату прямикомъ въ воду, не досталь однако дна, хоть и просвѣчиваются оттуда длинные, перепутанные стебли водорослей...

Варнашка бодро плыветъ за ладьею, только пофыркиваетъ носомъ; въ сторону было погнался за какою-то чуркою, принялъ ее за живое существо, да замѣтилъ во время свою ошибку, сконфузился и сталъ на прежний курсъ, къ песчаной отмели...

— Батька, вода все больше набирается!..

— Вижу, что больше,—задыхаясь, отвѣтилъ батька, изо всей мочи налегая на лопату...

Потянулся ребенокъ, чтобы гранчатку убрать, да рожекъ съ порохомъ отъ подмочки спасти, набѣжала зыбь въ эту самую минуту, качнуло челнокъ, мальчикъ за бортъ рукою схватился, суденышко еще больше накренилось, черпнуло воды краемъ...

— Сиди смирно!..

Шагахъ въ двадцати отъ берега, немножко не доплыли, пошелъ челнокъ ко дну, до краевъ водою переполненный; взвылъ Варнашка, глядя на крушеніе, и около кружится... Ничего, обошлось благополучно—показалась намокшая голова батьки, струями вода течетъ съ бороды... Здѣсь точно уже неглубоко было, всего по грудь батькѣ. Головану нельзя стоять, онъ ухватился за плечо отцовское, и ногами бьетъ по водѣ, а гранчатку и сумку не выпускаеть, зубами держить за ременную перевязь...

Выбрались кое-какъ на берегъ, насквозь промокши,—такъ и обдало ихъ холоднымъ вѣтромъ, зубы дробь выбиваются... Бѣгомъ бросились въ молодой сосенникъ, тамъ затишье. Огонь разводить принялись, да вотъ бѣда—трутъ подмокъ, надо еще сыскать что подходящее .. Часа два возились съ огнемъ—пока запылало яркое пламя; тогда пораздѣвались оба донага, стали сушиться... Пойти бы теперь хорошо чего горячаго, да нечего, утопили провизію вмѣстѣ съ самодѣльною лодкою... Какъ согрѣлись, легли спать не ъвши, на тощій желудокъ, а ночью дождь пошелъ, да ливень осенний, холодный къ утру, такъ даже съ изморозью закрутилъ...

Задумался батька,—какъ же быть теперь съ обратною дорогою? Челнока со дна одному не поднять, да его теперь, чай, такъ тиною засосало, что и не отыщешь скоро, а здѣсь же на островѣ не зимовать, на ту, на свою сторону перебираться надо. Бросилъ онъ и выдру слѣдить, ну ее къ нелегкому, другая теперь, болѣе серьезная забота...

Долго думалъ батька и надумалъ: навязать пучки хворосту побольше, да на этихъ вязанкахъ и перебраться; принялись за работу... Съ холоду-то горячо за дѣло взялись; батька подсѣкаетъ вѣтви, Андронъ въ кучи стаскиваетъ на берегъ и влажетъ, а дождь, какъ на зло, не перестаетъ, сѣрыя сплошные тучи все небо обложили, туманомъ берега затянуло, только гулъ безконечнаго лѣса съ матерой стороны сюда доносится.

Вырубиль батька жердь длинную, обчистилъ сучья, осмотрѣлъ вязанки, скрѣпилъ ихъ, какъ могъ, и спустилъ на воду; усѣлся, хорошо держитъ, хоть и ноги въ водѣ; усадилъ Андрона, тотъ смѣется, все ему, малому, забавно; усадили и Варнашку—поплыли... Снесло ихъ вѣтромъ далеко отъ двухъ ивъ, отъ того мѣста, куда кабанья тропа выходила; пришлось потомъ еще долго сквозь камыши пихаться шестомъ. Прибыли къ ивамъ, совсѣмъ измучившись, даже Варнашка и тотъ нось повѣсили, хвостъ опустилъ и воетъ на вѣтеръ жалобно... Насилу-насилу добрались до сухаго пути, до лѣсного затишья; опять огонь развели, опять сушиться начали, еще ночь провели озябшіе, на тоцкій желудокъ.

Ночью батька проснулся отъ сильной головной боли, проснулся и наклонился къ спящему Андрону—этотъ бредить во снѣ, не разберешь словъ, а воркотня одна... Взялъ его за руку батька, нахмурился, положилъ ладонь свою ребенку на голову... Словно котелъ нагрѣтый, такъ и пышетъ... Всю ночь осталъную просидѣлъ батька, не смыкая глазъ надъ спящимъ сыномъ, сдѣлалъ надъ нимъ шалашъ изъ хвойныхъ вѣтокъ. Чуть свѣтать начало, проснулся Голованъ и первымъ дѣломъ пить запросилъ.

Заторопился батька домой—пошли. Только теперь Андронъ далеко не такъ прытко шагалъ, какъ сюда—на второй же верстѣ сталъ приставать, поблѣднѣлъ весь въ лицѣ, ноги подкашиваться начали, а только присѣлъ на минуту, опять всего въ жарь кинуло...

Тутъ уже зналъ батька, что ему надо дѣлать. Взялъ онъ ребенка на руки, какъ перышко вскинулъ и, позабывъ свою

головную боль, позабывъ усталость, словно не чувствуя своей довольно тяжелой ноши, зашагалъ такъ, что и на лошади не всякой бы догналъ сго по этимъ, еле проходимымъ лѣснымъ тропинкамъ...

Разнемогся бѣдняга Голованъ не на шутку... Одолѣли таки этотъ желѣзный, хотя и крохотный организмъ осенняя непогода да двѣ ночи подъ дождемъ послѣ невольного купанья; понялъ батька, что тутъ уже не отдѣлаться мальчугану легкую простудною хворостью, а падо будетъ, пожалуй, со злую болотною горячкою помѣряться силами... А болѣзнь эта въ здѣсніхъ краяхъ смертельный врагъ человѣка, отъ нея и взрослые богатыри не часто выздоравливаютъ, а ребенку гдѣ же перенести...

Добѣжалъ батька съ больнымъ дѣтищемъ на рукахъ до дому, ногою дверь вышибъ съ разбѣга, Мишку только напугалъ съ просонковъ; тотъ ластиться сталъ къ прибывшимъ, поги ребенку обнюхиваетъ, Андронъ не слышитъ медвѣжьихъ ласкъ, положилъ его батька на скамью, яргакъ подъ бокъ сунулъ, а онъ и лежитъ пластомъ, глаза закрылъ, стонетъ въ жару и руками безсознательно за голову хватается...

Живо батька печь растопилъ, обѣ двери настежъ, чтобы воздухъ освѣжить въ избѣ, воды согрѣль и мечется то отъ большого къ печи, то отъ печи къ больному и тоже все за голову хватается.. Мяты-бы, липового цвѣту, чаю... Господи! ничего-то у нихъ нѣту, а можно бы, вѣдь и не трудно бы все запасти было въ свое время... Да не запасено...

Проклинаетъ себя батька за такую оплошность,—кинулся къ полку подъ образомъ, тамъ бутылка стояла съ водкою, неужели же дядя Никаноръ послѣдній разъ, какъ приходилъ, всю выlopалъ... Нѣть, слава тебѣ Господи, есть еще немного!..

Раздѣль онъ Голована донага, натеръ его всего остатками водки, надѣль рубаху сухую, чистую, завернулъ въ яргакъ, прикрылъ сверху шкурами, самъ у изголовья сѣль и глазъ не спускаетъ съ этого пылающаго дѣтскаго личика... Пить все просить Андронъ, только и твердятъ его запекшіяся губы: «пить да пить»... А батька уже позаботился, бросиль въ котелокъ съ кипяткомъ горсть кислицъ-яблокъ, ждетъ только, чтобы вскипѣли...

Быстро прошелъ первый день заботъ, настала ночь, тяжкая ночь для больного... Изнылъ душою батька, слушая дикий, не-

связный, безтолковый бредъ ребенка, глядя па эти воспаленные, то мутно уставленные въ одну точку, то сверкающіе лихорадочными блескомъ глаза... А Варнашка, какъ на бѣду, все воетъ на дворѣ, да такъ уныло, словно бѣду какую-то песь чуетъ...

Прошла и эта печальная ночь... Утромъ какъ-будто полегчало больному... Жаръ унялся, и пришелъ сонъ покойный, ровный... Добрый знакъ!.. Повеселѣлъ и батька и вышелъ на дворѣ, подышать свѣжимъ воздухомъ да поразмѣться на тепломъ осеннемъ солнышкѣ...

И самому ему неможилось, да въ заботахъ о сынѣ боль не чувствовалась, сама собою проходила. Ходитъ батька по двору, всѣ лѣчебныя средства перебираетъ; знаетъ онъ многое, да гдѣ бы взять можно было...

— Хинь бы,—думаетъ онъ,—это первое дѣло,—зубами даже заскрипѣлъ отъ злости на свое безсиліе, на полную невозможность добыть это спасительное средство.—Нѣть, не умретъ онъ,—разсуждаетъ самъ съ собою батька,—натура цѣльная, петронутая, выдержитъ... не умретъ... не можетъ умереть... обѣ этомъ и думать нечего... Вотъ скоро, даже очень скоро, переломъ,—четыре-пять дней какихъ-нибудь, только наблюдать за жаромъ, чтобы жаръ этотъ не усилился чрезмѣрно, а тамъ... тамъ уже пойдетъ все хорошо... это пустяки... какая тутъ смерть!.. и похожаго ничего нѣту... Вздоръ!.. Варнашка!.. поди сюда, дуракъ, поди! Ну говори, умретъ онъ, ну, скажи,—да, ну же...

Подошелъ песь, на человѣка смотрить невесело и хвостомъ не вертить по обыкновенію, а все на двери избяныя оглядывается.

— Э, глупый! ты ничего не понимаешь—ты дуракъ, вотъ тоже струсишь, какъ я сначала. А теперь, смотри на меня, видишь,—вѣдь я ничего не боюсь, я покоенъ... мнѣ даже весело... ну, смотри на меня... и ты будь покоенъ и Мишкѣ скажи, чтобы не волновался, я говорю тебѣ: живъ будетъ... Бу-деть живъ! Пойми ты!..

Выкрикнулъ батька послѣднія слова, такъ выкрикнулъ, что даже гуль пошелъ по лѣсу... да какъ заплачетъ вдругъ и, шатаясь, подальше отъ избы, чтобы ребенокъ не слыхалъ во снѣ этихъ надрывающихъ душу рыданій, да не проснулся бы до времени.

Тихо, тихо, словно не къ себѣ домой, а къ чужому добру, за худымъ дѣломъ, подкрался батька къ избѣ, осторожно перешагнулъ за порогъ и поглядываетъ на спящаго, а у того

опять загорѣлись недобрый румянцемъ щеки и по лбу красноватыя, расходящіяся пятна выступили.

Схватился за голову названный отецъ, ноги подкосились... Сѣль онъ на порогъ и прислушивается...

Пить...—лепечетъ ребенокъ и слова метаться начинаетъ, снова руками въ воздухѣ размахиваетъ; яркакъ съ себя сбиль, шкуры раскидалъ,—приподняться хочетъ, да голова уже очень тяжела стала, словно свинцомъ налитая, къ изголовью притягиваетъ, перевѣшиваетъ...

Забылъ въ этотъ день батька про себя, ъсть даже себѣ не сварилъ, и Варнашка остался впроголодь... А Мишка на цѣлый день въ лѣсъ удралъ продовольствоваться, — онъ уже теперь частенько сталъ изъ дома шататься, въ силу звѣрь вошелъ, увѣренность въ себѣ почувствовалъ.

День за днемъ проводили, ничего отраднаго не принесли эти дни несчастному названному отцу; по временамъ, особенно подъ утро, если солнце на минуту показывалось, ребенокъ чувствовалъ себя бодрѣе, даже отца узнавалъ и Варнашку легонько по головѣ гладилъ, а потомъ снова становилось хуже и хуже. А погода, какъ на бѣду, тоже хмурилась, — время-то уже къ зимѣ близилось. Листъ послѣдній опалъ, по ночамъ морозы всю землю бѣлымъ налетомъ одѣвали, днемъ дожди зачастили и вѣтеръ холодный дулъ съ сѣвера. Разъ утромъ даже снѣгъ выпалъ, да растаялъ за день отъ дождя, только грязи прибавилъ. Не въ удобное время расхvorался Андронъ Голованъ, самое для поправки тяжелое.

А мужики-звѣроловы, словно на-зло, не идутъ да и только; правда, имъ теперь и дѣлать-то здѣсь въ лѣсу нечего, а все бы могли зайти провѣдать отшельниковъ. Теперь вотъ провизія выходитъ, а кого послать за нею; опять чаю хорошо бы раздобыть, ужъ этого добра навѣрно на селѣ достать можно; очень хорошо бы, полезно было поить мальчика тепленькимъ чайкомъ... Думалъ батька самому сходить, да страшно: какъ маѣчугана хвораго одного оставить на Варнашкинъ присмотръ!.. О томъ, что самому не слѣдъ въ людное мѣсто показываться, батька и не вспомнилъ, онъ бы теперь для Андрона — черту на рога полѣзъ, а не то, чтобы какого эстанаго испугался... Просто не зналъ, что и дѣлать бѣдняга, и рѣшилъ, наконецъ, идти самому на село, какъ только, хотя самую малость, сынъ поправляться станетъ.

Все онъ соображалъ, сколько времени долженъ онъ потерять на этотъ походъ, все онъ припоминалъ, гдѣ они ночевали, сколько уходили за день, разсчитывалъ и потомъ сокращалъ все ровно на половину, предполагая бѣгомъ и день и ночь, съ самыми только малыми роздыхами, совершать свое путешествіе.

Вчера вотъ, передъ вечеромъ, больной въ первый разъ заговорилъ съ нимъ ясно и сознательно; онъ даже присѣлъ на скамейкѣ и держался, сидя безъ чужой помощи,— силы, знать, начали возвращаться.

Какъ обрадовался отецъ, видя эти добрые признаки. Ужъ онъ ухаживалъ за мальчикомъ, ухаживалъ,— вымылъ его всего водою теплою, шкуры-покрышки перемѣнилъ, старая въ складѣ провѣтриться повѣсила, Мишкѣ не велѣлъ въ дверь скрестись, и даже въ рыло его за это ткнулъ ногою.

Сегодня день тоже прошелъ ничего, слава Богу,— больной даже єсть запросилъ. Наскребъ кое-какъ остатковъ крупы батька, уныло поглядѣлъ на пустое дно берестянки, гдѣ эта крупа хранилась, сварилъ, сталъ кормить... Только глазами єсть больше ребенокъ, смотреть на кашику, чуть только тронулъ ея на языкъ и оттолкнулъ мисочку. Сберегъ отецъ эту мисочку, тщательно обвязалъ и на полку верхнюю поставилъ. Вѣдь послѣдняя, не кормить же его хвораго копченымъ мясомъ...

— Надо идти, надо идти...— волнуется батька.— Эки, дьяволы! лѣтомъ, небось, чуть не каждую недѣлю таскались, а теперь и носу не высунуть изъ своего села, черти! Обабились, непогоды боятся, а еще промышленниками называются!.. Надо самому идти!.. Пять дней, пять ночей... ну, положимъ, не пять, положимъ четыре, Господи! Да что же мнѣ дѣлать? Что же мнѣ дѣлать?!

— Батька, зачѣмъ ты смотришь такъ страшно! проговорилъ неожиданно ребенокъ. Онъ давно слѣдилъ глазами за отцомъ, какъ тотъ все волосы себѣ ерошилъ, да по избѣ изъ угла въ уголъ мѣрялъ.

— Что, голубчикъ мой, что родной!—кинулся къ нему отецъ. Куда же ты встаешь! Нельзя еще, лежи! Вѣдь ты слабъ, мой милый, лежи...

— Я немного, батька, похожу тоже, надоѣло лежать-то... Я могу... посмотрѣ, я могу!..

И ребенокъ попытался спустить ноги со скамьи, коснулся

уже пола своими исхудалыми ногами, хотѣлъ встать, да трудно. Улыбнулся мальчикъ и снова убралъ ноги подъ шкуры.

— Холодно,—проговорилъ онъ и съежился, свернулся калачикомъ.

Подкинуль батька еще охапку сухолому въ печь. Опять о чай вспомнилъ, что ужъ куда хорошо бы было теперь-то сварить этого душистаго, вкуснаго чаю...

«И вотъ можетъ еще денекъ такой, какъ сегодня, и пойду... Ей-Богу пойду... Видимое дѣло, что вся опасность миновала— видимое дѣло, поправляется мальчикъ. Позывъ къ Ѣдѣ есть, возвратъ силъ чувствуется... ощущеніе холода тоже хорошій признакъ... Еще одинъ такой день и пойду, ей-Богу, пойду... Тѣхъ, до морозовъ, до снѣгу путевого не дождешься, надо идти самому, надо!..

Еще день прошелъ, тоже съ добрыми признаками; оно, можетъ быть, этихъ добрыхъ признаковъ и не было, да желаніе ихъ видѣть было сильно очень у батьки, вотъ онъ и видѣль во всемъ хорошее да хорошее... Варнашка тоже пересталъ выть, ужъ онъ цѣлую недѣлю не воетъ, разъ только, да и то совсѣмъ не потому, а волка, должно быть, почуялъ—это тоже важное предзнаменованіе, инстинктъ собаки — великое дѣло. Наука еще не дошла, почемъ знать, а тутъ есть основаніе, павѣрное, есть... Смотрика-ка, какъ весело смотрить песь, стоять на порогѣ, языкъ высунулъ на бокъ и смотрить на Андрона, словно глазами его въ лѣсъ на охоту выманиваетъ... «Поди сюда, глупый, поди, мой умница, дай я тебя расцѣлую»!..

И батька обнялъ пса за шею и цѣлуетъ его въ глаза, въ голову, а мальчикъ улыбается — ему это занятно кажется.

## XVII.

Выпалъ первый снѣгъ, ровною бѣлою скатертью легъ онъ на поля. Пріѣхалъ въ село Чумленое мѣщанинъ нерчинскій, соболятникъ, и подкатилъ на соврасомъ въ легкихъ санкахъ прямо къ воротамъ Пашкинского кабака.

Чужому, наѣзжему человѣку всегда рады. Часу не прошло, другъ за другомъ пособрались всѣ чумленцы, каждый будто такъ, за своимъ дѣломъ, не для чего-нибудь другого зашелъ— набилось полно народу питейное заведеніе. Мѣщанинъ новости разсказываетъ, какъ на тракту купца варнаки зарѣзали про-

шлую недѣлю, а у купца того, говорятъ, кроме товару, деньгами десять тысячъ было; какъ поймали одного нѣмца въ Нерчинскѣ съ казеннымъ золотымъ пескомъ; какъ баба въ Ягоднѣвѣ ребенка родила съ телячей головою; какой такой новый становой наѣхаль къ намъ смынать старого, потому на старого доносовъ много ужъ очень было въ губернію... Много занятнаго разсказываетъ словоохотливый мѣщанинъ, наливалась горячимъ чаемъ за самоваромъ—какъ не послушать такихъ росказней!..

Всѣ, кто только жилъ въ Чумленомъ да не находился въ отлучкѣ, всѣ сошлись. Пашка цѣловальникъ усердствуетъ, въ аршинъ балычину выложилъ на прилавокъ, пирогъ постановить приказалъ бабамъ, самъ стоитъ за стойкою у окна, ему и здѣсь-то всѣхъ видно, и на лицѣ кто пройдетъ, тоже не минуетъ его шустраго, пронырливаго глаза.

— И пріѣзжали еще наши съ Ирбита,—говорилъ мѣщанинъ,—жалуются всѣ, страсть!.. Вѣрите ли, братцы, какъ но-нечѣ на мѣховой товаръ цѣны падаютъ, упаси Господи! просто такихъ низкихъ цѣнъ и не слыхивали; долженъ былъ, надѣясь, что тогда у васъ собралъ, въ убытокъ себѣ спустить, потому, говорятъ, что дальше, то дешевли будетъ...

— Что же такъ?—усомнился Ермилъ Сытый, въ бороду себѣ посмѣваясь,—какая тому причина будетъ?

— А такая причина,---понизилъ голосъ пріѣзжай и даже не безъ таинственности кругомъ оглядѣлся,—такая причина, что изъ вѣрныхъ усть извѣстіе есть... Война будетъ, во-что!..

— Эта какая же война-то, съ кѣмъ?

— Да уже тамъ какая война и съ кѣмъ—это дѣло не наше, а времена, охъ-охъ, какія тяжелыя подходятъ!..

Вздохнулъ глубоко мѣщанинъ и сталъ себѣ цѣдить изъ чайника новую чашечку.

— Это ты, братъ, намъ кажинный разъ про цѣны толкуешь, якобы на упадъ идутъ эти цѣны самыя, и тоже который разъ войною пугаешь...—заговорилъ степенно Ермилъ Сытый.— А мы тебѣ одно слово держимъ, что война не война—намъ все единственно, и какие у тебя тамъ барыши будутъ, какие убытки, это тоже твое, не наше дѣло, копѣйко меныше со старой цѣны мы не спустимъ—вотъ-те и сказъ!

— Да кто мы, за кого говоришь ты—мы. Вишь ты заладилъ, мы; да я съ твою милостью и дѣловъ водить не стану, я вотъ съ прочими честными промышленниками, а не

сь тобою—зной свою моленную «подпольную» да береги, чтобы туда кто не заглянулъ, кто тебя за пастыря не почитаетъ,—озлился пріѣзжий.

— Ты мнѣ о моленой не говори, потому самъ не знаешь, есть ли такая, али зря люди болтаютъ, а что не со мною дѣло ведешь, такъ тебѣ же хуже, потому все дѣло у меня во гдѣ! Видишь?..

И Ермилъ сжалъ свой здоровый кулачище и протянуль его по направлению къ мѣщанину-соболятнику.

— Безъ моего слова съ тобою здѣсь и разговаривать-то никто не станетъ.

— Знаю я, милый человѣкъ, знаю, что ты здѣсь голова; чего во гнѣвѣ приходить изволишь!.. Экіе сердитые стали они у тебя ионечѣ,— подмигнуль онъ другу своему Пашкѣ цѣловальнику,—али къ первопутку это?

— Къ первопутку, должно быть,— усмѣхнулся цѣловальникъ, пристально въ окно взглядываясь.— Кого же Богъ несетъ, незнакомый совсѣмъ какъ будто... Робята, гляньте: кто это, вонъ черезъ плетень напрямикъ сюда переходитъ?

Выглянуль въ окошко Ермилъ Сытый и нахмурился, посмотрѣль Никаноръ-дьяконъ: «Ишь ты нелегкая его несетъ»,— проворчалъ и на мѣщанина покосился; посмотрѣль и самъ мѣщанинъ, проговорилъ: «Совсѣмъ лѣшій, какъ его, значитъ, на картинахъ представляютъ», и спросилъ: «Кто такой это будетъ?»

А черезъ заборъ перелѣзъ и шель, спотыкаясь о замерзшія гряды, покрытыя снѣгомъ, такъ что только кочерыжки капустные торчали наружу, ни кто иной, какъ «человѣкъ изъ лѣса», безъ шапки, съ всклокоченными волосами, въ разорванномъ мѣхомъ яргакѣ съ суковатою дубиною въ рукахъ. Шель онъ словно пьяный, шатаясь, чуть не упалъ, задѣвъ за порогъ и, не отворивъ руками, а всѣмъ тѣломъ сунувшись, распахнулъ дверь, ввалился въ избу, да тутъ и сѣль какъ куль, еле переводя дыханіе отъ чрезмѣрной усталости.

— Зачѣмъ пришелъ? — вполголоса спросилъ его стариkъ Якимъ Желѣзновъ,—онъ всѣхъ ближе къ нему находился.

— Андронъ боленъ... хлѣбъ вышелъ, чаю надо...—коснѣющимъ языкомъ пролепеталъ человѣкъ изъ лѣса.—Заморился я очень... сильнѣть... Помоги мнѣ, Господи!..

Тихо стало въ избѣ. Всѣ разступились и смотрѣть, и знакомые, и незнакомые, всѣ смотрѣть молча, кто съ участемъ,

кто подозрительно поглядываетъ на этого страннаго, заморенаго человѣка.

Подошелъ стариикъ Желѣзновъ къ прилавку, налилъ стаканъ водки, поднесъ человѣку изъ лѣса.

— На, выпей поскорѣе, отойдетъ, полегчаетъ...

— Уведи ты его, дѣдушка, отсюда отъ грѣха; уведи скорѣе къ себѣ, тамъ я зайду ужо, потолкуемъ, — шепнулъ ему на ухо Ермилъ Сытый.

— Кто же таковъ будеть? — снова полюбопытствовалъ мѣщанинъ — соболятникъ, когда дѣдушка, помявшись съ минутку для приличія, всталъ и ушелъ, уведя съ собою «человѣка изъ лѣса».

— А кто его знаетъ, мало ли всякаго народа въ этихъ мѣстахъ шатается! — отвѣтилъ равнодушнымъ тономъ цѣловальникъ Пашка, а самъ такое лицо состроилъ, что читать на этомъ лицѣ надо: «Догадываюсь, кто, да не только догадываюсь, а даже увѣренность имѣю...»

— Незнакомый какой?

— Кому нѣтъ, кому, можетъ, и знакомый.

— Кто же такие ирбитскіе-то прѣѣжали? — рѣзко перевелъ разговоръ на другой предметъ Ермилъ Сытый.

— Едреновы купцы съ трубчаниновскими приказчиками, во кто! — не задумываясь, совралъ мѣщанинъ.

— Старика Едренова знаю, — отозвался Никаноръ, бывшій дьяконъ.

— Ермилъ, подь-ко сюда! — высунулся изъ дверей Якимъ-дѣдъ. — Подь скорѣе, любезный, дѣло есть насчетъ капканной постановки...

Хитрилъ стариикъ тоже. Извѣстно, какая тамъ капканиая постановка, да нехитро выходило.

Даже фыркнулъ подлецъ цѣловальникъ, а мѣщанинъ прѣѣжій только покосился на Ермила и еще налилъ чашечку.

Всталъ Ермилъ будто не-хотя. «Сейчасъ ворочусь», говорить. Не спѣша натянуль на плечи полушибокъ.

— Дѣдушка, а дѣдушка! — крикнулъ Пашка. — Да что ты мнешься, свои люди! Веди сюда пятисотеннаго. Мы его чайкомъ да водочкою побалуемъ... Веди, что ли! Экій пародъ скрытный да пуганый...

Ермилъ до дверей дошелъ, а тутъ вернулся прямо къ прилавку, кулачищами оперся, да такъ въ глаза цѣловальнику и

уставился. Тотъ даже попятился и боязливо кругомъ оглядѣлся: ребята, молъ, выручайте.

— Какое ты слово сейчасъ сказалъ? — медленно, съ разстановкою произнесъ Ермилъ. — Какое слово такое?! О какомъ пятисотенномъ вспомнилъ? Есть у тебя крестъ-оть на шеѣ, али нѣту, а если есть, такъ покажи сначала, какой; можетъ, такой, «коимъ не возбраняется чесвѣку на человѣка бѣду накликать, алчности ради кровь близняго предати».

— Да за такое слово тебя и прирѣзать не грѣхъ, ей-же ей! — припалеръ съ другой стороны и Никаноръ, бывшій дьяконъ.

— Да отстаньте, лѣшие, чего пристали, — засмѣялся цѣловальникъ, только смѣхъ у него небольно смѣщенъ вышелъ. — И вправду пристали, медвѣжье... Извѣстно пошутилъ, что же такое! оть шутки ничего не станется.

— Ты-то шути, да незашучивайся, — предостерегъ его Ермилъ и вышелъ вонь изъ избы, по «канканью дѣлу» вызванный.

Не сидѣть же и прочимъ цѣлый день въ заведеніи; у каждого тоже свои дѣла нашлись, да и мѣщанинъ прїѣзжій менѣе словоохотливъ сталъ, позѣвываетъ. Бабы ему за перегородкою постель постлали и баню уже съ дорожки готовили.

Разошлись мужики.

— Думаешь, тотъ самый? — вполголоса спросилъ гость у хозяина, когда они вдвоемъ остались.

— Полагаю, такъ; самъ листа съ примѣтами не читаль, а сказывали, что есть бумага...

— Есть, есть; самъ знаю, что есть.

— Таперича его накормятъ, а тамъ назадъ спровадятъ, только ежели не очень далеко отсюда, да не должно быть, чтобы очень далеко, дальше Максимовой избы негдѣ жить ему.

— Гдѣ это Максимова изба?

— Не знаю, самъ въ тайгу не хожу, незачѣмъ, да и опасно.

— До опушки хоша бы выслѣдить.

— Чего?

— Нѣть, это я такъ... А что, не слыхать, есть черныши съ просѣдью... Попадались, чай, передъ осенью?

— Маловато... У Манзура запасена парочка, да у Ваньки штука, у Ермила еще прежнихъ пятокъ спрятано, безъ него не отдадутъ.

— Этотъ архипастырь вашъ, язва его жги, на семь еще полтину накидываетъ.

— Цыну знаеть.

— Придется дать, хоть въ убытокъ, а придется... Эхъ, времена, времена!

Вздохнулъ соболятникъ, разуваясь да залѣзая подъ стеганое ватное одѣяло и еще поверхъ натягивая халатъ изъ оленъяго мѣха, шерстью внутрь и наружу.

— Ври больше,—ухмыльнулся цѣловальникъ.—А о тебѣ сноха Прасковья соскучилась: «Когда же это, да когда Иванъ Митричъ пожалуетъ?» А вотъ онъ, Иванъ Митричъ, и пожаловалъ,—дождалась, гладкая!..

— И вовсе неправда, вы ему, Иванъ Митричъ, не вѣрьте. Бреть все, безстыдничь,—отозвался тонкій голосъ Прасковыи съ полатей.

— Привезъ я тебѣ, лебедка, нонѣ платъ китайскій, по синему полю бѣлая птица съ желтыми крыльями и краснымъ носомъ, — во весь ротъ зѣвая, протянулъ мѣщанинъ - соболятникъ.

— Мягко ли спать-то постлано?

— Спасибо, лебедка, спасибо. Ужъ всегда ты мнѣ, какъ слѣдъ быть, логовомъ у-ва-жиши...

Заснуль гость прѣзжій съ дороги часокъ-другой до обѣда. Приперъ Пашка заведеніе, самъ ходить полегоньку; бабамъ не велѣлъ горшками да мисками звякать, не обезпокоили бы.

---

Крѣпко спалъ въ «заведеніи» гость-прѣзжій, еще крѣпче спалъ заморенный, мало что не до-смерти, «человѣкъ изъ лѣса» въ курной землянкѣ Якима Желѣзного.

Никаноръ съ Ермиломъ ему готовляли тѣмъ временемъ все, что требовалось изъ запасовъ: чаю четверку завернули въ бумагку, даже сахару фунтъ добыли. Удивлялись звѣроловы, какъ ухитрился этакую дорогу человѣкъ такъ скоро отмахать, просто диву дались, на что сами ходоки первые въ округѣ. Рассказалъ имъ уже все человѣкъ изъ лѣса, что у него случилось; жалѣли мужики мальчика, крѣпко жалѣли, обѣщали черезъ недѣлю, какъ торги пошабашать, непремѣнно павѣдаться. Успокоились, когда услыхали, что Андронъ, слава Богу, теперь поправляется, что даже встаетъ самъ и по избѣ ходить; однако, все-таки рѣшили сегодня же въ ночь выпроводить «блаженаго» отсюда, ужъ очень смущало Ермилу слово кабатчика шуточное «пятисотенный!»

Какъ только смерклось какъ слѣдуетъ, разбудили заморенаго, напоили его, пакормили, Никаноръ съ Якимомъ взялись проводить до лѣсу, а Ермилъ дома остался наблюдать за пріѣзжимъ да за продавцами, чтобы цѣны «по малодушію своему» безъ него не скинули.

Вышелъ Ермилъ на улицу, часу въ девятомъ вечера, глядитъ: что за диковина!.. Саврасый въ запряжкѣ у кабака стоитъ, держитъ его самъ Пашка, а мѣщанинъ, запоясываясь, съ крылечка сходитъ.

— Куда это, поштенный? Аль уже домой безъ товару собрался, на ночь глядючи?..

— Здравствуй,—не прямо отвѣтилъ соболятникъ,—нѣть, зачѣмъ домой... это вишишь ты...

— Это онъ мнѣ продать савраса хочетъ,—перебилъ бойко потряхивая возжами, горяча коня, цѣловальникъ Пашка.—Подъ верхомъ-то я его видѣлъ, а каковъ ходъ въ упряжи—не знаю...

— Хорошо бѣжитъ, ужъ говорю тебѣ...—поддакнуль тутъ и мѣщанинъ,—такъ бѣжитъ, что на-поди... словно рысакъ наѣженный...

— И не закидывается?..

— Ни Боже мой... на возжахъ идетъ; всею грудью въ хомути ложится. Диво—не конь! Вѣрь на слово — нечего и пробовать...

— Какъ, безъ пробы... Безъ пробы невозможно.

— Врутъ,—думаетъ Ермилъ.—А что, ребятки, и я съ вами... я давно что-то въ санкахъ не ѿжалъ.

Посмотрѣлъ цѣловальникъ на мѣщанина, тотъ на него взглянулъ. «Какъ же быть теперь!» соображаютъ.

— Не тѣсновато-ли будетъ втроемъ,—почесалъ затылокъ Пашка, вымѣряя глазами крохотныя саночки, на длинныхъ, широкихъ, словно лыжи, полозьяхъ.

— Извини, поштенный, ужъ другой разъ когда прокатимъ,—рѣшительно отрѣзалъ мѣщанинъ нерчинскій и сѣль въ сани.—Садись пріятель!—протянулъ онъ за рукавъ Пашку, бери самъ возжи, я на чистоту...

Только сѣли, саврасый съ мѣста подхватилъ; пыль снѣжная ударила въ лицо Ермилу... глазъ проптереть не успѣль, а они уже далеко,—крайнюю избу огибаютъ... Выбѣжалъ и архипастырь за околицу, глядитъ... Нѣть, слава-ти, Господи, совсѣмъ въ другую сторону погнали.

Вернулись наши наездники однако поздношко, уже совсѣмъ свѣтать начало; должно быть большой крюкъ сдѣлали; не ради одной пробы такъ копя замылили, что паръ отъ него валилъ облакомъ, бока подвело и подколѣники дрожали, подгибаясь.

Пріѣздъ ихъ выслѣдилъ Ермилъ и порѣшилъ, что дѣло какъ будто не совсѣмъ чисто выходитъ.

Утромъ же вернулись и Никаноръ, бывшій дьяконъ, и Якимъ Желѣзновъ, дѣдушка. Они проводили «человѣка изъ лѣса» до опушки, сдали ему салазки съ провизіей. Разсказывали тоже, что видѣли слѣдъ сапнаго, когда возвращались, и пересѣкаль этотъ слѣдъ ихъ дорогу, какъ разъ у горы послѣдней, за болотами. Дивились они шибко этому необычному слѣду, а когда Ермилъ сообщилъ имъ, въ чемъ дѣло, тоже призадумались и согласились, что дѣйствительно нечисто что-то выходитъ...

Торопливо повель мѣщанинъ свои дѣла, полтинку сверхъ семи набавилъ, недолго оспаривая, уложилъ въ санки девять штукъ чернышай съ просѣдью, даже, сверхъ обыкновенія, у Манзура шесть волчьихъ шкуръ купилъ по семи гравенъ за штуку, пообѣдалъ, да послѣ обѣда и махнулъ домой, па большой трактъ, пообѣщавъ въ скорости еще разокъ, до глубокаго снѣга, повидаться.

А вечеромъ Ермилъ въ кабакѣ сказку разсказывалъ, какъ, лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ, жилъ тоже одинъ паренекъ ледащицъ и позарился тотъ паренекъ на сорокъ рублей послуенного вознагражденія, да и продалъ человѣка одного гонялаго,— такъ что же случилось послѣ этого? тотъ-то «преданный» пострадалъ вельми, а предателя нашли въ лѣсу на-двоемъ, межъ деревьевъ разорваннаго... такъ-то!

Не понравилась эта сказка что-то Пашкѣ цѣловальнику.

Спѣшио возвращался батька къ себѣ въ сторону, салазки за собою волокъ, все сомнѣніе брало его дорогою, да раздумье, хорошо-ли онъ распорядился, въ порядкѣ-ли все дома застанеть...

Когда онъ ушелъ, мальчикъ на ногахъ уже былъ хоть и пошатывался, а все-таки держался, спаль ту ночь хорошо, поѣлъ немногого... чего же лучше? Не вѣрѣлъ ему батька изъ избы ни шагу, а дома сидѣть, да больше лежать, чѣмъ сидѣть, печку топить два раза въ сутки и трубы не закрывать вовсе, чтобы воздухъ всегда чистый былъ, легкій. Дровъ онъ

запасъ ему достаточно и въ избѣ сложилъ; Мишку изъ сѣней выгналъ, можетъ, моль, и на дворѣ ночевать, не маленькой, а Варнашку въ сѣняхъ водворилъ... Отлично, значитъ.

Вотъ теперь вернется самъ съ провизіей, застанетъ сына уже совсѣмъ молодцомъ... Недолго отсутствовалъ, можетъ быть, уже совсѣмъ поправился хворый. Дай-то Господи!..

Иной разъ и худое думалось батькѣ дорогою, да такое худое, что онъ, самъ того не замѣчая, въ бѣгѣ переходилъ и злился все на салазки, что тѣ мѣшаютъ, тяжело нагружены, да за пни все цѣпляются...

Чѣмъ ближе была цѣль его похода, тѣмъ беспокойнѣе и беспокойнѣе билось отцовское сердце. Выбиваясь изъ силь, онъ ускорялъ свои шаги, сокращалъ часы отдыха, самъ себя обманывалъ, стараясь не замѣтить эту ноющую боль въ спинѣ и поясницѣ, это дрожаніе ногъ въ колѣяхъ. Онъ хваталъ сиѣгъ и набивалъ себѣ ротъ, чтобы унять этотъ жгучій жаръ, скигавший его внутренности... Тѣло его было окончательно изнурено и разбито непосильнымъ трудомъ, его поддерживали и гнали къ цѣли только непомѣрное возбужденіе и энергія.

Онъ все шелъ...

Вотъ уже недалеко, часъ ходьбы... даже меныше. Вонъ уже сквозь оголенный лѣсъ черпютъ желанные кедры. Вотъ и слѣды Мишкины идутъ отъ ручья... Уже совсѣмъ близко...

Какъ болѣзненно скжалось и замерло его сердце, когда съ той стороны донесся жалобный вой собаки. Это выль Варнашка въ сѣняхъ... больше некому выть...

Батька пріостановился, вздохнулъ усиленно полною грудью, бросилъ санки. Недалеко, послѣ взять можно, и побѣжалъ далѣе.

— Андронъ! — крикнулъ онъ, видя уже глазами избу и кучу дровъ около, и эти запертые двери сѣней. — Андронъ, дитя мое... мальчикъ мой, дорогой!..

Никто не отвѣчаетъ, никто не выходитъ на встрѣчу, только Варнашка, заслышиавъ хозяйскій голосъ, еще жалобнѣе завыла и начала царапаться въ дверь, защелкнутую по обыкновенію изнутри засовомъ.

— Андронъ! — не вскрикнулъ, прохрипѣлъ, надорвавши горло батька и кулаками высадилъ окно...

Тихо въ избѣ... пусто... Варнашка перебѣжала теперь сюда изъ сѣней, какъ бомба вылетѣла изъ окна, прямо подъ ноги прибывшему, все воетъ, оборачиваясь назадъ, глядя въ это

черное, четвероугольное отверстie, съ обрывками бумаги и прилипшимъ кусочкомъ стеклышка къ сломанной перекладинѣ.

И дверь вылетѣла такъ же, какъ окошко...

— Мальчикъ мой, малюточка,—кричитъ отецъ, хватаясь за дверные косяки...

У печи, давно потухшой и даже холодной, не то лежить, не то сидѣть, согнувшись въ три погибели, какой-то комочекъ, завернутый яргачиною... Рука только одна видна изъ подъ мѣха, и рука эта синяя, холодная, какъ ледъ, твердая, окоченѣлая и ногти на ней совсѣмъ черные...

Схватилъ на руки этотъ комочекъ батька, поднялъ: такъ и застыли скорчившіеся члены, не разгибаются. Больше сутокъ, какъ померъ, должно быть, несчастный мальчишка...

### XVIII.

Не прошло и недѣли, какъ уѣхалъ мѣщанинъ-соболятникъ, какъ нежданно-негаданно нагрянули въ село Чумленое двое саней и конныхъ казаковъ шестero.

Въ первыхъ саняхъ, запряженныхъ тройкою, гусемъ, сидѣлъ новый становой, усатый такой, брови сдвинуты вмѣстѣ, такъ и срослись, лицо тощее, щеки провалистыя да желтые такія, прозеленыю пошли даже — золь должно быть становой, какъ медведь, къ зимѣ жиромъ не запасшійся. Со становымъ помощникъ этанаго начальника — этотъ знакомый — прежній, мягкий въ голосѣ; самъ былъ прежде ссылкы да выслушился, доносы все писалъ анонимные, — ласковый, добрый, никто отъ него слова не слыхалъ браннаго, и колодниковъ иначе и не называлъ, какъ «голубчики вы мои, несчастненькие».

Въ другихъ саняхъ — писарь и четыре этаныхъ солдата съ ружьями. Остановились у кабака по обыкновенію.

Сбили все село Чумленое на ноги. Всѣмъ велѣль становой въ кабакъ собираться; только собралось-то не больно много, человѣкъ съ десятокъ, у кого только какія ни на есть бураженки были, а прочие всѣ, издали еще завидѣвши грозный поѣздъ, тягу дали и въ кустахъ по оврагу запрятались.

Начались допросы, и простые и перекрестные, загуляло перо писарское по бумагѣ. Пашка сейчашь самоваръ и наливки запасной поставилъ.

Становой съ командою прибылъ утромъ, а къ обѣду, того скавки дѣда Вородатаго.

же дня, пригналъ и мѣщанинъ нерчинскій на своеи саврасомъ,—продажа коня этого цѣловальнику Пашкѣ, надо полагать, разстроилась.

Пріѣхалъ мѣщанинъ и удивляется, что моль за сѣездъ, что случилось?.. Ужъ не уголовщина ли какая—оборони Господи!?

— Какое дѣло случилось, это мы еще доподлинно не знаемъ, а что твоя тутъ есть частица, такъ это, пожалуй, что и правда, — отвѣчалъ ему Ермилъ Сытый, ожидая своей очереди подъ надзоромъ казачьимъ.

---

Въ числѣ заблаговременно склонившихся былъ, конечно, и бывшій дьяконъ, самовольно промѣнявшій кадило на гранатъю охотничью... Только онъ, сообразивъ обстоятельства и заподозривъ истинную цѣль наѣзда, ушелъ не въ оврагъ, а прямо къ лѣсу, порѣшивъ предупредить блаженнаго обѣ облавѣ и спрятать его гдѣ-нибудь въ иномъ глухомъ мѣстѣ. Ушелъ дьяконъ вмѣстѣ съ Якимомъ Желѣзновымъ. Тотъ долженъ былъ въ избѣ оставаться, замѣсто хозяина—коли моль набредутъ на жилье, такъ чтобы подозрительности не было.

Они, всѣ троє съ Ермиломъ, давно предчувствовали не-доброе и заранѣе уговорились, какъ надо дѣйствовать—оттого Ермилъ и покойно ждалъ допроса, подсмѣиваясь, въ какихъ дуракахъ останутся предатели, и что имъ за то надлежитъ въ воздаяніе сдѣлать!..

Спѣшать Никаноръ съ Якимомъ, тоже день и ночь идутъ, а все не такъ ходко, какъ по той же дорогѣ шагалъ самъ «блаженный». Наконецъ-то прибыли на мѣсто...

Изба заколочена, Варнашка у порога лежитъ, тощій-претощій, даже не всталъ гостямъ на встрѣчу, а только хвостомъ махнулъ раза два, ласково...

Подумали мужики, обошли кругомъ... Неужли же дома никого нѣту? такъ зачѣмъ же собака не съ ними, а тутъ осталась?!.. Оклинули: нѣть отвѣта. Повозились у дверей,—отперли... Первымъ вошелъ Никаноръ, да какъ бросится назадъ...

— Съ нами сила крестная!—шепчетъ бывшій дьяконъ, а самъ побѣлѣлъ весь и губы трясутся.

Сунулся и Якимъ Желѣзновъ, и тотъ назадъ подался произнесъ:

— Вотъ такъ грѣхъ случился... Эко горе какое!..

Заглянули теперь оба: Лежить ребенокъ у печки, какъ тогда былъ, такъ и лежитъ... рядомъ доска, что въ углу висѣла, надвое топоромъ расколотая, а на аршинъ отъ полу висятъ ноги человѣческія... Темно вверху избы, гдѣ перекладины, ничего не видно, а что есть немного свѣту изъ оконца, такъ освѣщаетъ только этимъ свѣтомъ ноги въ опоркахъ, веревочками перевязанныхъ.

Тѣмъ временемъ къ лѣсу приближался весь казенный поѣздъ и съ нимъ мужики чумленцы, взятые, замѣсто провожатыхъ, въ таежныхъ трушобахъ всѣ тропы знающихъ.

А снѣгъ повалилъ хлоцьями, давно засыпалъ слѣды Никанора съ Якимомъ, тѣ, что они къ избѣ проложили, засыпалъ и тѣ, что назадъ отъ избы шли.

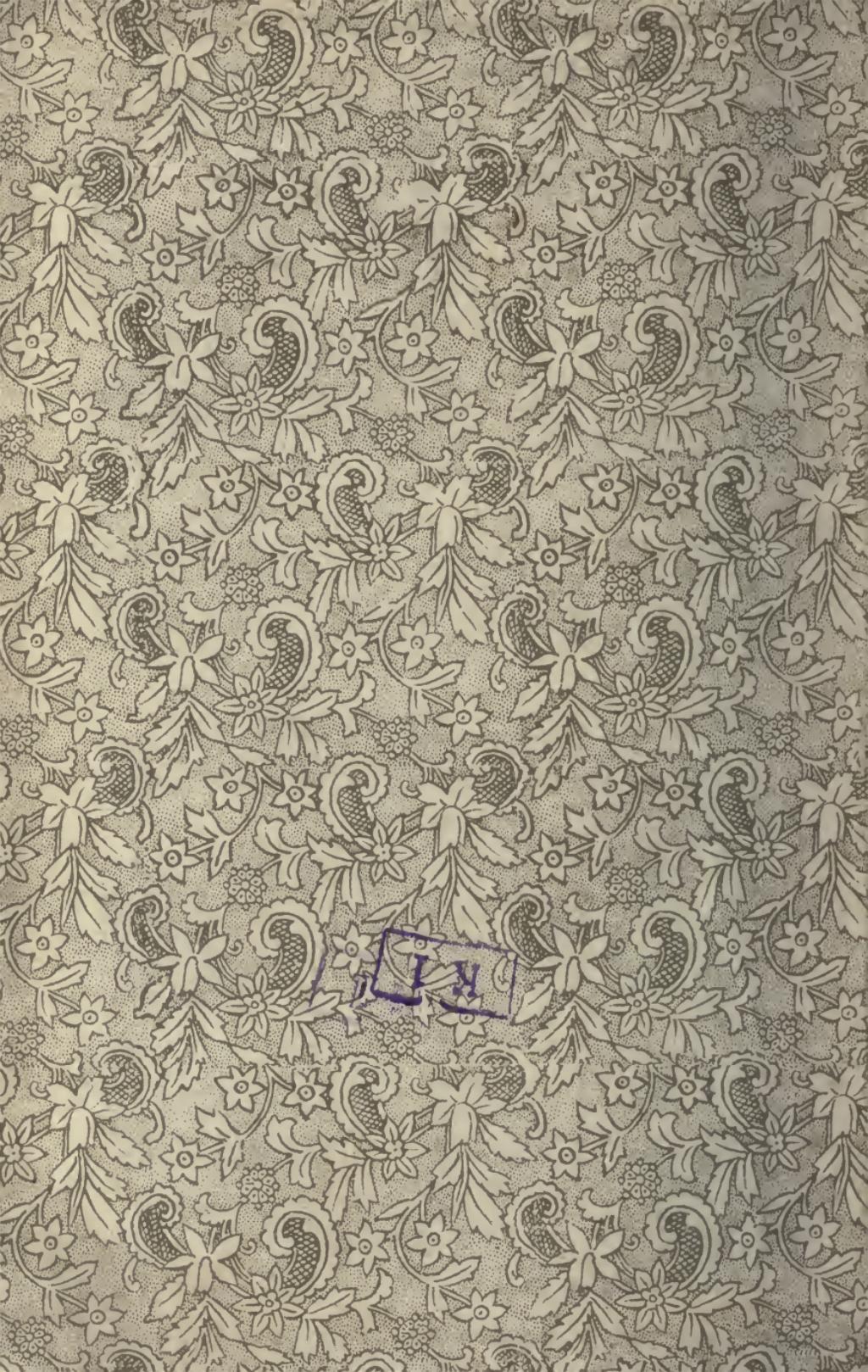
Тѣло ребенка они съ собой взяли, чтобы похоронить послѣ въ мѣстѣ хорошемъ, по христіанскому обычью, а къ избѣ подвалили хворосту и подпалили ее, вмѣстѣ съ трупомъ самоубійцы, рѣшивъ, что эта изба опоганеная, никому не будетъ на пользу, только моль отъ нея «нечисти» въ лѣсу прибавится—такъ и сдѣлали.

И пепель отъ этой избы остыть успѣлъ, когда подвель, наконецъ, Ермилъ Сытый къ мѣсту всю компанію, пропутавшись безъ малаго недѣлю по тайгѣ попапрасну.

Конецъ.



22  
200' - 5.77 (25.29)



LIV

01443

PLEASE DO NOT REMOVE  
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

---

---

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

---

---

PG  
3467  
K33  
1904  
t.5

Karazin, Nikolai Nikolaevich  
Polnoe sobranie sochinenii

